Федеральная архивная служба России

Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев

и

О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

В 2-х томах

Москва
РОССПЭН
2003

Федеральная архивная служба России

Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев

и

О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

Том 1. 1939–1942

Москва
РОССПЭН
2003

ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш 72

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 02-04-16258
и Федеральной целевой программы «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Редакционный совет РГАЛИ:
Т. М. Горяева (*председатель*), И. И. Аброскина, Л. Н. Бодрова,
Е. В. Бронникова, Н. Б. Волкова, С. Д. Воронин, Г. Ю. Дрязгунова,
А. Л. Евстигнеева, Е. Б. Коркина, Т. Л. Латыпова,
М. А. Рашковская, И. П. Сиротинская, Е. Ю. Филькина,
С. В. Шумихин

Составление Л. В. Хачатурян

Текстологическая подготовка документов
И. И. Аброскиной, Е. В. Калининой, О. В. Лексиной,
С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян

Вступительные статьи
протоиерея Григория Красноцветова,
Е. В. Калининой, Л. В. Хачатурян

Примечания
Н. А. Герчиковой, С. А. Мартьяновой,
Е. А. Осьмининой, Л. В. Хачатурян

Научное редактирование
О. Т. Ермишина, Л. А. Скрябиной

Ш 72 **И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах**: В 2 т. Т. I / Предисловие, подготовка текста и комментарий О. В. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. — 760 с., ил.

«Роман в письмах» — собрание писем И. С. Шмелева (1873—1950) и О. А. Бредиус-Субботиной (1904—1959), которое сам писатель считал своим последним художественным произведением. Любовная лирика сочетается с воспоминаниями, размышлениями о России, православии, писательстве, планами и фрагментами неопубликованных произведений.

В I том включены письма 1939—1942 гг.

© Красноцветов Г. П., 2003.
© Лексина О. В., Мартьянова С. А., Хачатурян Л. В.: предисловие, подготовка текста, комментарий, 2003.
© Российский государственный архив литературы и искусства, 2003.
© «Российская политическая энциклопедия», 2003.

ISBN 5 - 8243 - 0424 - 6

Последний роман Ивана Шмелева

Переписка Ивана Сергеевича Шмелева с Ольгой Александровной Бредиус-Субботиной началась в 1939 г. К этому времени И. С. Шмелев не только признанный писатель, но один из наиболее *русских* писателей эмиграции: один из тех, чье творчество воспринимается как связь с утраченной родиной, как глубочайшая нравственная ценность. Позади огромный жизненный и творческий опыт. Уже написаны романы «Солнце мертвых», «История любовная», «Няня из Москвы», «Богомолье», первые книги «Лета Господня» и «Путей небесных» — те произведения, по которым и сейчас мы представляем себе творческий облик И. С. Шмелева.

Известность пришла к И. С. Шмелеву уже в 1911 г. после публикации повести «Человек из ресторана». Судьба «маленького человека» становится в творчестве Шмелева зеркалом, в котором отражается и оценивается все «содержание» жизни, «правда», которую ищут и писатель, и герой повести. Уже в рассказах 1914—1915 гг. (сборник «Суровые дни») слышна нарастающая тревога: война не только разрушила размеренный уклад, но и лишила человека нравственной опоры: выбросила из привычной, хотя и трудной колеи в бездорожье. Февральскую революцию Шмелев, тем не менее, принял восторженно. Для него революция это не только социально-экономические преобразования, а в первую очередь возможность иной, более справедливой жизни.

Октябрьский переворот и Гражданская война навсегда разделили жизнь писателя на «до» и «после». В январе 1921 г. был расстрелян единственный горячо любимый сын Шмелева. «С ним все ушло, с ним взяли у меня все, всю мою силу и волю, — жизнь, осталась одна шелуха И вот живу я с грамотой охранной, с телеграммой тов. Калинина о покровительстве. Горько, больно. Вот она, скверная усмешка жизни. Вся моя «охранная-то грамота» в сыне была»[1] — писал И. С. Шмелев В. В. Вересаеву в декабре

---

[1] РГАЛИ. Ф. 1398. Оп. 2. Ед. хр. 645. Л. 1—2 об.

1921 г. От этой трагедии Шмелев не оправится никогда. Во всем его дальнейшем творчестве можно найти ее отзвуки, как бы ни укрыта, затаена была личная боль автора. Два года спустя, в эмиграции, Шмелев за четыре месяца напишет произведение, донесшее до сегодняшних дней остроту событий, переломивших не только жизни людей, но и историю народа. И для современного читателя роман-эпопея «Солнце мертвых» — один из наиболее страшных подлинных документов, «обвинительных свидетельств» произошедшего.

Даже эмигрировав, Шмелев остался (а вернее — в полной мере стал) национальным писателем. В 20 — начале 30-х годов Шмелев создает свою Россию — целый мир, ушедший из гремящего XX в., — «страну, которой нет на карте». По словам знакомого писателя, «Иван Сергеевич жил в двух планах: один — это существование писателя-эмигранта с его материальными и житейскими невзгодами и печалями. Другой — это был целый мир, какое-то мистическое житие в России»[1]. Именно тогда написаны романы «Лето Господне» (1927—1931, первая книга), «Богомолье» (1931), «Няня из Москвы» (1933) и сборники рассказов, которым сам Шмелев дал подзаголовок «Про нашу Россию».

Последнее десятилетие стало наиболее сложным в жизни писателя. Смерть жены была тяжелым ударом для И. С. Шмелева: он утратил опору, много лет поддерживавшую его. В 1936—1937 гг. И. С. Шмелев думает и о завершении своего пути, разбирает рукописи и переписку, раздает личные вещи. Дописав первую часть «Путей небесных» буквально за несколько дней до смерти жены, писатель обрывает работу над романом. Именно во время безнадежности, сомнений и глубокого одиночества, И. С. Шмелев получил первое письмо О. А. Бредиус-Субботиной — пока еще просто одной из его «по-читательниц», корреспонденток. Начинается «роман в письмах», который, по глубокому убеждению самого И. С. Шмелева, стал одним из главных событий его жизни, вобрав в себя все, пережитое и написанное, принесший новые жизненные силы и творческие планы.

Ольга Александровна Субботина (1904—1959) родилась в Угличе, в семье потомственного священника. Весь жизненный уклад семьи Субботиных воспитал в дочери чувство глубокой религиозности, острое переживание православия как необходимой основы жизни. Именно эта «наследствен-

---

[1] Мищенко А. Иван Шмелев // Возрождение. 1971. № 233. Цит. по изд.: Черников А. П. Лики жизни. Калуга, 2002. С. 61.

ная религиозность» (слова самого И. С. Шмелева) и вызвала у писателя чувство внутреннего родства, которое он ощутил уже в первых письмах своей корреспондентки. Еще в детстве, а особенно, в гимназические годы, проявилась творческая одаренность Ольги Субботиной — необычайно яркое образное мышление, задатки будущего художника. Окончив гимназию (преобразованную после 1917 г. в школу II ступени) О. А. Субботина поступила в художественное училище. Среди бурлящих течений 1920-х гг. религиозная тематика живописи выглядела смешным анахронизмом, непонятным и ненужным новой жизни. Оборвав учебу, Ольга Александровна лишилась возможности получить художественное образование. Невозможность реализовать себя в творчестве наложила свой отпечаток на характер и судьбу Ольги Александровны: в течение многих лет это была постоянная боль, исказившая ее жизнь.

В 1922 г. вместе с другими учеными был выслан за рубеж отчим О. А. Субботиной, ректор Казанского университета Александр Александрович Овчинников. В следующем году семья последовала за ним, и Ольга Александровна оказалась в эмиграции. Первые годы в Берлине были трудны для семьи Субботиных. Необходимость стабильного заработка определила выбор профессии — окончив медицинские курсы, Ольга Александровна поступила на работу в госпиталь. В начале 1930-х гг. произошло знакомство О. А. Субботиной с И. А. Ильиным, постепенно перешедшее в духовное водительство философа. Под влиянием И. А. Ильина Ольга Александровна совершила наиболее важные поступки в своей жизни. Именно его слова о мессианском призвании русской эмиграции (донести до Европы и Америки подлинную религию и подлинную культуру) сыграли решающую роль в замужестве Ольги Александровны. В 1937 г. она вышла замуж за Арнольда Бредиуса ван Ретвельда и переехала в Голландию. Живя в Голландии, Ольга Александровна поддерживала постоянную переписку с философом. Поэтому отражение «романа в письмах» между О. А. Субботиной и И. С. Шмелевым можно увидеть и в «Переписке двух Иванов» — переписке И. С. Шмелева с И. А. Ильиным.

Казалось бы незаметная фраза, краткое упоминание в одном из писем Шмелева 1939 г. означали начало большой, последней любви писателя. «Написала мне из Голландии O. Bredius-Soubbotina, — благоговеет перед Вами»[1]. Столь же

---

[1] Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. М., 2000. Т. 2. С. 274.

коротко отозвался о ней Ильин: «Субботины — целое гнездо хороших людей. Пишут недавно: мать и сын в Берлине (мой ученик), а дочь замужем в Голландии»[1]. Шмелев ответил на письмо Ольги Бредиус-Субботиной, постепенно завязалась переписка, ставшая необходимой обоим. Из писем И. С. Шмелева к И. А. Ильину: «Чудесно раскрывается мне душа О. Субботиной-Бредиус. Она исключительная, светлая, умная, душевно и духовно богатая, — непохожая на всех. Какая она, Вы знаете? Маленькие ее письма полны ласковости, нежности. Жалею, что так и не придется встретиться. Она поражающе чутка сердцем, и вся она — болеющее сердце. Но почему она — **одна**? Впрочем — *такая* всегда — ***одна***»[2]. Постепенно взаимная симпатия переросла в более глубокое чувство. Сходство имен (Ольга Александровна Шмелева — Ольга Александровна Субботина), внешнее сходство, постоянно подчеркиваемое Шмелевым, позволили ему видеть в Ольге Субботиной повторенье «первой» Оли: «Хотел бы побеседовать с ней вслух, многое сказать... — послана она была мне покойной моей Олей, во укрепление: это я **твердо знаю**. Ибо есть у меня знамение сего дара...»[3] В это время Шмелев возобновляет работу над романом «Пути небесные», прерванную после смерти жены. Ольга Александровна Субботина становится прототипом Дариньки (главной героини) второй части романа. Письма Шмелева к Ильину полны восхищения, радости, творческой энергии. «Она чиста, открыта, **детска**, и, часто, непостижима для меня. Она давно-давно была в моих предчувствиях, и я несчастен, что она... лишь коснулась моей жизни. [...] Но знаю я, что перепиской за почти 7 лет, мы многое нашли друг в друге, настолько, что **других** слов не надо. Мне было даровано счастье **увидеть** чудо русской женщины — во всем»[4].

Сравнивая «Роман в письмах» с «Перепиской двух Иванов», можно заметить, что наиболее верно характер Ольги Субботиной Шмелев передает именно в письме к Ильину: «...В Ольге Александровне я встретил *лучшее* издание персонажей — некоторых! — Достоевского. При всем обаянии — **поразительнейшей** одаренности!.. — но такие вывихи... такие «спазмы»... Господи, я плачу... Ведь такая душа, сердце... будь светло направлены — огромное могли

---

[1] Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 275.
[2] Там же. С. 293.
[3] Там же. С. 307.
[4] Там же. С. 423.

бы творить в Жизни!»[1]. «Будь я в ином плане писаний, да будь я моложе лет на 20—25 — я бы, м. б., провел ее — такую — в романе. В ней есть несомненная, яркая **русскость** и *страшный* душевно-духовный **опыт** предков. [...] Страшный груз... — сколько взято на душу всего поведанного на исповедях! [...] Но... много «чувствительности»... — в ней-то и растрачивается **глубина**-подлинность. *Все* проходит вспышками, до... «припадков», условно говоря. **Проходит,** *не всекаясь* глубоко. Скольжение. Странный характер, — удивительная мягкость и — порой — непостижимая жесткость, — такая крутая смена, — «буерачность» и души, и сердца. [...] Не хочу судить: жалею, глубоко жалею. Какой бы это был бриллиант, — если бы поддался алмаз граненью!..»[2]

Слова Ольги Александровны, повторенные Шмелевым в одном из писем к Ильину, прекрасно иллюстрируют то огромное влияние, которое имел на нее философ: «Как прав Иван Александрович! Как блестящи его выводы! Как верны! Мне он много дал опоры и как бы дал ключ к уразумению себя, — не в смысле искусства, а в общем. Как ключевая вода — кристально ясен ум его. Какая точность. Люблю такую точность, такую деловитость. Но она у него всегда не без тепла. И это чарует»[3]. Тем не менее, когда во время наиболее тяжелой ссоры с Ольгой Субботиной Шмелев обратится к Ильину за поддержкой, отзыв Ивана Александровича поразит его своей холодностью: «История с Ольгой меня *не удивляет*. Не хотел мешать Вам — *давно уже помалкиваю*. Я знаю ее лучше. *Теперь* Вы видите ее *вернее*. От Достоевского и от великих талантов там ничего и никогда не было. А от обычного женского тщеславия — *даже* в религии — *тем более* в религии — край непочатый»[4]. Шмелев горячо возразит ему, однако здесь, как и в отношении романа «Пути небесные» мнения корреспондентов разойдутся, и эти вопросы они будут обходить молчанием. «Я упомянул про героинь Достоевского в смысле «неистовства истерического», «одержимости»... а не про «таланты». Нет, она талантлива, и очень [...] А, все бы рассказать — бумаги не хватит. Сколько я сил положил, чтобы огранить... Она за эти 8 лет очень выросла! Накопилось **всего**. Иные письма восхищают... да, блеском. Я не оши-

---

[1] Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 80.
[2] Там же. Т. 3. С. 89—90.
[3] Там же. Т. 3. С. 83.
[4] Там же. Т. 3. С. 81.

бусь. Да и я не из нищих... если когда объявится эта «переписка»... — умопомрачительное «литературное событие»! Клады... неисчерпаемые по разнообразному содержанию и — **захвату**! **Не** было еще такого, **знаю**. А эпоха-то!!!! чего-чего не пришлось коснуться!..»[1]

Кем была в жизни Шмелева Ольга Александровна Бредиус-Субботина? В своем резком отзыве Ильин не одинок. Тем не менее, именно ее письма давали Шмелеву силу жить после всех потерь, и не просто жить, но продолжать работать. К ней, перед смертью, он обращает свое последнее письмо (написанное под его диктовку сиделкой — Иван Сергеевич уже не мог писать), к ней, в течение двенадцати лет, обращены самые нежные слова Ивана Шмелева.

* * *

Тематика переписки И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной была широкой — литературные и художественные течения русской эмиграции, судьбы Православной Церкви в СССР и за рубежом, догматика и религиозная философия, пути возрождения России. И. С. Шмелев обращался к Ольге Александровне по поводу своих лучших произведений, специально перепечатывая и исправляя их для нее. Понимая ее одаренность, И. С. Шмелев советовал ей (часто и упрекая) вернуться к творчеству, разбирал и оценивал ее работы в своих письмах.

Что же представляли письма Шмелева к ней? Прежде всего, это «дневник писателя» за последние 12 лет: повседневная жизнь в Париже, картины оккупации, англо-американская бомбежка, нужда, постоянные заботы о пропитании, болезни, поездка на год в Швейцарию, литературные выступления, его оценки себя и близких — и это все изо дня в день. Нередко Шмелев обращается к прошлому, вспоминая детство, смерть отца, жизнь в деревне, рождение сына, первые произведения, трагедию Крыма, болезнь и смерть жены.

Одна из постоянных тем переписки — отношение Шмелева к писательству, истории русской литературы и ее предназначению. «Писатели наши православные... — это отсеянное изо всего народа. Говорю о *подлинных*, их совсем немного у нас было, не нынешних...» (из письма 26.09.1941). Замечательна его характеристика Ф. М. Достоевского. В понимании Шмелева, произведения Достоевского

---

[1] Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 85—87.

стали как бы рубежом, вехой в истории русской литературы. Достоевский в равной степени и наследник Пушкина (и даже более глубоко — наследник религиозной традиции русской литературы), и предвестник «грядущего разброда». «Романы его — это опыты его — не отстоявшееся вдохновение... и потому не от Пушкина, не от Толстого. Те — певцы, а он — пророк, и страстный, и потому смутен. Он ставит себе задание, всегда. Страшно субъективен, горяч, сам в себе бунтует. Все его «герои» — он. И всегда — вопрос, возмущение, бунт. Бушующий внутренний, скрытый мир человеческих страстей и мыслей — вот что дал Достоевский — б о л е з н е н н о е в человеке. Иное — просто гениально по мыслям, по «взрывам» — возьми хоть «Легенду о Великом Инквизиторе»... Но искусство — преодоление хаоса, облечение в форму, по слову «да будет!». Тво-рение... Достоевский лишает, а не дает» (из письма 15.09.1943).

И. С. Шмелев неоднократно пишет о классиках русской литературы. Интересны и его оценки своих современников. В ряде писем охарактеризованы К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Л. Н. Андреев, А. М. Ремизов, А. Н. Волконский, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст и др. Более подробно Шмелев пишет о Николае Евреинове в связи с возможностью театральной постановки «Человека из ресторана».

В переписке последовательно обсуждается, иногда вызывая споры, творчество И. А. Ильина. «В нем есть порядком склонность «учительствовать» и «регламентировать». Даже и в м о л и т в е н н о м — дидактик и методик. О молитве... — он может хорошо сказать, но не для молитвы». «Иван Александрович — острый аналитик, творец схем, но... не образов. При этом он тонкий критик, я бы сказал — единственный настоящий в наше время». «Я — полная противоположность, хоть он и настаивает, что я мыслитель, большой даже... Нет, мысли мои воплощены в живое, живущее — это мысли-чувства, в них ходит-бьется живая кровь. Мне не надо исписывать сотни страниц чтобы внушить осмысление вещей и соотношение их, это дается искусством — в миг один — жестом, словом, действием принятого в сердце персонажа» (из писем 27.04.1942 и 31.08.1942).

Значительная часть писем содержит варианты произведений самого Шмелева: главы романов «Лето Господне», «Богомолье», повести «Куликово поле», фрагменты рассказов («Рождество в Москве», «Под горами», «Трапезондский

коньяк», «Свет во тьме» и др.). Нередко работа над произведением продолжалась и в процессе переписки — правка Шмелева уже по перепечатанному тексту. Среди этих писем наиболее интересны комментарии Шмелева к своим произведениям и размышления о них.

Для изучения творческого наследия Ивана Шмелева особенно важны письма позднего периода — 1943—1950 гг. В это время Шмелев возобновляет работу над романом «Пути небесные» (второй том), прерванную после смерти жены. Вместе с работой над второй частью романа в жизнь Шмелева входит его героиня. В письмах приведены фрагменты романа и авторские пояснения к ним. «Последнюю главу [«Пути в небе»] я изменял раз пятнадцать! Больше, лучше — я не могу. Совесть спокойна» (1947 г.). Однако более интересны планы и заметки, посвященные третьей и четвертой частям «Путей», раскрывающие сюжетную и философскую сторону незавершенного романа: «"Пути" творились, вырастали незаметно. Я Вас любил — и они любили, росли... Сколько в них вливалось! Я воскресил — я же творю их, я имею право, как Творец! — я воскресил моего Диму... я ему дал Дари... я дал ребенка им... я дал страдание-искупление, сверх всего, огромного... гимн творению, Творцу, земле и небу. Небо я спустил к земле и сочетал их...» (из письма 10.10.1941). Роман «Пути небесные» подводит итог не только творчеству Шмелева, но, в его понимании, и «беспутью» литературы XX в. Роман призван «направить», вернуть современную литературу к истоку словесности.

С осмыслением литературного творчества переплетается тема православия. Если в церковных обрядах Шмелев видит вершину творчества, отражение соборного духа церкви, то многие догматические положения вызывают напряженные раздумья писателя. В первую очередь это вопросы оправдания Бога и человеческих страданий. Мировая война воспринимается им как «суд истории», подготовление человечества к Третьему завету, новому Откровению. Подобная трактовка очень близка религиозно-философским исканиям последователей Владимира Соловьева, которым в целом ряде своих произведений («Неупиваемая чаша», «Пути небесные») отдает дань и Шмелев.

С православием неразрывно связана для Шмелева тема родины. Отношение писателя к СССР и Второй мировой войне гораздо сложнее односторонне понимаемого «коллаборационизма». СССР никогда не существовал для него как *Российское государство* (в этом взгляды Шмелева очень

близки И. А. Ильину). С точки зрения Шмелева, после Октябрьского переворота подлинная Россия была парализована чуждой ей властью, перестала существовать как реальное государство. Только с уничтожением «бесовского ига» возможно возрождение России и возвращение на родину писателя и его произведений. Шмелев неоднократно высказывается о желаемом, «необходимом» поражении СССР во Второй мировой войне, но в то же время все его произведения обращены не к эмигрантской диаспоре, а к русскому народу.

Возникший в мировоззрении Шмелева разрыв между «душой» Родины и ее «территорией» возводит переживаемые события почти на апокалипсическую высоту. С точки зрения Шмелева мировая война должна стать последним испытанием на пути к возрождению, это катарсис России — очищение через страдания. В подобной трактовке нападение Германии на СССР становится необходимой борьбой со злом — большевизмом. В переписке появляется образ Рыцаря[1], с победой которого связаны для писателя и возвращение на родину, и возможность встречи с Ольгой Александровной.

Убеждение в том, что Германия должна воевать не с Россией, а с большевизмом ради возрождения подлинной национальной России было присуще не только И. С. Шмелеву, но и определенным кругам русской эмиграции. Именно это, вполне объяснимое стремление было в дальнейшем успешно использовано нацистской пропагандой. В зависимости от того, к каким слоям населения она обращалась, использовались два почти противоположных образа России. Если первый образ представлял извечного врага Германии и всей цивилизации, то второй — возможного союзника, страны европейской культуры, но крайне враждебной идеологии. Так, в учебниках, изданных в 1942 году в Риге, на примере текстов И. Шмелева, Д. Мережковского, К. Бальмонта объяснялось, как и зачем надо любить и защищать Россию[2]. Те же имена были представлены в «Народных

---

[1] Не совсем ясно, что конкретно имеет в виду писатель в письме от 30.06.1941 («...подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола...»). Вероятно, подразумеваются Гитлер и Сталин, хотя возможно, что И. С. Шмелев использует обобщенный образ борьбы со злом.

[2] Именно в ответ на эту более тонкую пропагандистскую установку Сталин, умело манипулируя национальным самосознанием, был вынужден частично реабилитировать прошлое России, восстановить влияние Православной Церкви. Об этом см. Горяева Т. М. «Убить немца». Образ противника в советской пропаганде // Родина. 2002.

календарях» — книгах, предназначенных для жителей оккупированных территорий[1]. И во всех этих изданиях произведениям И. С. Шмелева отводилось главенствующее место.

Тем не менее, уже в 1943—1944 гг. позиция писателя значительно меняется. В первую очередь это связано с реалиями жизни в оккупированном Париже (любая информация о событиях на территории СССР подвергалась жесткой цензуре) и судьбами знакомых писателя, многие из которых погибли в концентрационных лагерях. Значительную роль сыграли здесь и письма Ольги Александровны, сопоставившей авторитарные режимы СССР и Германии. Иносказательно называя Гитлера и Сталина («хирург», «семинарист»), О. А. Бредиус-Субботина смогла донести до писателя свою позицию, минуя нацистскую цензуру. Образом войны становится уже не Рыцарь, а машина тоталитаризма, уничтожающая все на своем пути.

К письмам Ольги Александровны И. С. Шмелев относился гораздо глубже и трепетней, чем к обыкновенной частной переписке. Уже в письме 1941 г. он пишет о ее значении: «Оля, ты можешь сжечь мои письма? Я не могу — твои... это ты — живая, вечная. Ты можешь закрыть себя, снять свое имя, но отнять у жизни ценнейшее — подобного не было в веках! — это грех. Мы поем друг друга. Мы находим новое в любви...» (из письма 26.12.1941).

Для Шмелева переписка становится живым произведением, наиболее важные в литературном отношении письма он перепечатывает на машинке и просит Ольгу Александровну сохранить их. В 1944 г., для того, чтобы не разрывать переписку, Шмелев разбирает письма Ольги Александровны и пересылает их ей. Из письма 3 марта 1944 г.: «Я запаковал все твои письма в четыре пачки, 270 писем! На каждой написал: «Может быть опубликовано только с разрешения автора и только вместе с моими письмами к О. А. Бредиус-Субботиной», и отвез к профессору Карташеву... Я успокоился, когда отвез их. Сердце свое укрыл... Очень хорошо, что [ты] решилась положить в сейф мои письма в тихом городке... Одни без других не могут получить жизни». К концу жизни И. С. Шмелев все больше ук-

---

№ 10. С. 41—44; Константинов С. В. «Хайль Сталин!» Школьная политика Третьего рейха // Родина. 2002. № 10 (специальный выпуск). С. 51—53.

[1] Новая Европа на 1942 год. Новый календарь Спутник Сельского хозяина. II выпуск. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 100. Л. 76—79.

репляется в мысли, что переписка должна быть опубликована. «Мы, Олечка, сами должны отредактировать нашу переписку. Создастся небывалый роман, огромной художественности, опыта, захвата. Должны решить, что оставить, что закрыть, и определить срок будущего опубликования. Это должно остаться. Этот роман будет переведен на все языки» (из письма 24.11.1946).

И. С. Шмелеву было не дано завершить «Пути небесные». Как писала Ю. А. Кутырина «роман остановился на слове, которое явилось завершающим и всеисчерпывающим: "... Евангелие... тут все"». Но «духовный роман», как называл его сам Шмелев, был осуществлен в переписке с Ольгой Александровной: «Жизнь написала роман. Сего не выдумать. Это сердца наши — себя отдали» (из письма 21.02.1947). Сейчас, когда выполнена воля писателя и его переписка с О. А. Бредиус-Субботиной опубликована, читателям стали доступны бесценные сведения о жизни, творчестве, «пути небесном» И. С. Шмелева и той, которой были посвящены последние годы его жизни.

Л. В. Хачатурян

Возвращение в Россию

В 1990 г. я был назначен в Нидерланды в г. Роттердам настоятелем домовой православной церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы». В Роттердаме и его окрестностях проживало несколько семей из первой волны русской эмиграции, в том числе и Сергей Александрович Субботин со своей супругой Марией Филипповной Постниковой-Субботиной. Сам Сергей Александрович был интереснейшим человеком, очень церковным и артистичным, в свое время был знаком с актером Михаилом Чеховым, певцами Ф. И. Шаляпиным и Л. В. Собиновым, певицей Н. В. Плевицкой, балериной Анной Павловой, генералом П. Н. Врангелем, философом И. А. Ильиным. Семья Сергея Субботина родом из г. Рыбинска Ярославской губернии, где священником служил его отец Александр Александрович Субботин, который скончался, когда дети — Сергей и его сестра Ольга — были еще маленькие. После 1922 г. семья Субботиных оказались в эмиграции в Берлине, где Ольга Александровна училась в Русском научном институте, посещала лекции и выступления многих писателей и философов, в 1936 г. присутствовала на лекции И. С. Шмелева. В 1937 г. О. А. Субботина вышла замуж за голландца и переехала в Нидерланды.

9 июня 1939 г. в день своего рождения Ольга Александровна написала письмо И. С. Шмелеву, который ответил на него так, как он отвечал, наверное, многим своим почитателям и читателям, хотя что-то его душу тронуло: «Благодарю за привет писателю, — писал он уже 19 июня, — я его сохраню в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей-друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое». Потом последовали еще письма с той и другой стороны. Они стали обмениваться мыслями не только по поводу ежедневной жизни каждого из них, но и своими размышлениями о творчестве, окружающей жизни, политике. Обмен мнениями довольно быстро перерос в настоящую дружбу родствен-

ных душ. Через какое-то время они обменялись фотографиями.

О. А. Бредиус-Субботина скончалась 19 августа 1959 г. и похоронена на кладбище в Гааге. Затем ее переписка со Шмелевым хранилась у брата Сергея, после смерти которого в 1992 г. владелицей писем стала его вдова Мария Филипповна. Несколько раз она пыталась сжечь различные документы и письма, которые остались после смерти супруга. Я с ней часто и подолгу разговаривал, пытаясь убедить в необходимости передать переписку Шмелева в Россию. В конце концов, Мария Филипповна с громадным трудом согласилась передать письма в Россию, но только при непременном условии издать письма. Дело осложнялось тем, что у нее был рак, и смерть могла наступить очень быстро. Я через атташе по культуре посольства Российской Федерации в Нидерландах Е. Ю. Бутовта связался с РГАЛИ и получил ответ из архива в апреле 1996 г., но, к сожалению, ничего конкретного предпринять не успели — М. Ф. Постникова-Субботина умерла. Устное завещание, которое было мне дано — если удастся этот архив вернуть в Россию, то только с условием публикации писем и помощи в строительстве русской церкви в Роттердаме.

Приведением в порядок квартиры после смерти М. Ф. Постниковой-Субботиной занимался нотариус и дальний родственник со стороны Ольги Александровны, которые предложили мне (так как я последние годы много общался с Марией Филипповной) взять некоторые книги из библиотеки. Большое количество бумаг и газет было приготовлено ими на выброс. Среди этих вещей стояла и коробка, в которой, я знал, хранилась переписка. Я попросил взять эти письма. Голландцы посмотрели, что это бумаги на русском языке, старые. Поинтересовались, что это? Я объяснил, что пожелание покойной было передать эти документы в архив в Москву. Мне отдали коробку с письмами, и я до сих пор помню, как торопился быстрее спуститься по лестнице, чтобы, не дай Бог, голландцы не передумали. Так эти письма оказались у меня. Как выяснилось позднее, примерно через год, М. Ф. Постникова-Субботина все завещала Русской Церкви, но до этого момента переписка могла уже быть предана огню. В 1999 г. я передал все письма в РГАЛИ с тем же условием, что было высказано М. Ф. Постниковой-Субботиной — публикация писем и помощь в строительстве церкви в Роттердаме.

Похоронены они в одной могиле: М. Ф. Постникова-Субботина, которая сохранила письма для нас, и О. А. Бреди-

ус-Субботина, — та, которой на протяжении последних двенадцати лет жизни писал письма русский писатель Иван Шмелев. На могиле стоит мраморный белый православный крест.

Протоиерей Григорий Красноцветов

Архив И. С. Шмелева в РГАЛИ

Переписка И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной входящая в личный фонд И. С. Шмелева (№ 1198), созданный в РГАЛИ в 1949 г., публикуется по оригиналам, хранящимся в архиве.

Опись 1 фонда содержит материалы, переданные в РГАЛИ сыном домработницы Шмелевых — документы к биографии И. С. Шмелева, рукописи, фотографии, оставшиеся в Москве после эмиграции писателя. В опись 2 входят книги, статьи и фотографии, подаренные РГАЛИ Юлией Александровной Кутыриной и поступившие из Парижа.

Переписка И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной входит в опись 3 фонда (164 единицы хранения) и содержит 638 писем самого писателя и 513 писем его корреспондентки. Несмотря на столь внушительное количество, это не полное собрание писем — в фонде находятся и пустые конверты. Часть бывших в них писем уничтожена самой Ольгой Александровной, часть сохранилась в парижском архиве И. С. Шмелева (Российский Фонд Культуры)[1]. Основная часть писем — рукописные, но ряд писем Шмелева напечатан на машинке и содержит рукописную правку автора. К некоторым письмам приложены фотографии мест, связанных с жизнью И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной, фотографии самих корреспондентов и их родственников. Иногда к письмам приложены засушенные цветы и листья, а к письму от 3 декабря 1941 г. — локон волос Ольги Александровны.

Существенную трудность при датировке писем представляют периоды активной переписки Шмелева, когда письма писались по 3—4 раза в день. Определенную помощь ока-

---

[1] В настоящем издании публикуются 2 письма И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной, хранящихся в этом собрании. Всего в Российском Фонде Культуры находятся 5 писем И. С. Шмелева (включая черновики) и 3 письма О. А. Бредиус-Субботиной.

зывают сами корреспонденты, указывая на конверте или в ответном письме точную дату получения письма и сообщая о впечатлении, которое оно произвело. Хотя датировка писем О. А. Бредиус-Субботиной не отличалась особой точностью, процесс научного описания документов был облегчен тем, что практически все письма снабжены конвертами с почтовыми штемпелями, где стоит дата отправления письма. Часть писем написана на почтовых открытках. Начиная с 1944 г., И. С. Шмелев систематизирует и нумерует письма Ольги Александровны. Он обращается к ней с неоднократной просьбой начать перепечатку его писем к ней. К сожалению, эта работа не была завершена.

Кроме переписки, в состав поступившего из Голландии архива И. С. Шмелева входят его рукописи (рассказ «Куликово поле», отрывок повести «Под горами», дневниковые записи со стихотворениями «Завет прощальный», «Оле — в день Ангела» и др.), дарственные надписи, письма к А. А. Овчинниковой, письма с упоминаниями о писателе, записки О. А. Бредиус-Субботиной («Очень доверительно») об окружении И. С. Шмелева в последние годы жизни и о судьбе переписки после его смерти, ее рассказы и рисунки (в т.ч. автопортрет), переписка с родственниками и собранные ею материалы.

Е. В. Калинина

От составителя

В настоящем издании выполнена последняя воля И. С. Шмелева — его переписка с Ольгой Александровной Бредиус-Субботиной опубликована как самостоятельное художественное произведение. В книге выдержана сюжетная и хронологическая линия (первое обращение Ольги Александровны к писателю, постепенное узнавание друг друга в письмах, признание, взаимные исповеди, ревность, долгожданная личная встреча, разрыв, примирение и т.д.), соблюдена смысловая последовательность писем. Часть писем, не вошедшая в двухтомник (письма, содержащие повторные сведения или не столь интересные с художественной точки зрения, черновики, литературные наброски), будет включена в дополнительный том, рассчитанный на специалистов по русской эмиграции и ценителей творчества И. С. Шмелева.

Публикация эпистолярных материалов как литературного произведения вызывает определенные затруднения. Так, например, достаточно сложно установить точную последовательность переписки: письма задерживались цензурой, их отправление откладывалось, нередко одно и то же письмо, прочтенное в разное время, вызывало почти противоположную реакцию адресата.

При передаче текста составители стремились максимально сохранить индивидуальность корреспондентов. В тексте сохранены все авторские словообразования, интонационные знаки, ритмическая пунктуация (дефисы, отточия и др.), характерная для И. С. Шмелева разбивка слов на слоги, разрядка, подчеркивание и другие особенности. Слова, подчеркнутые дважды выделены курсивом, многократно подчеркнутые — жирным шрифтом. Оставлено без изменений намеренное повторение букв, прописные буквы в середине слова и характерное для людей, свободно владеющих иностранными языками, русско-латинское написание слов и выражений. Соответственно сохранено и авторское написание собирательных числительных (10-летка, 1/2 часа, 3-ое (трое) и т.п.).

В тексте оставлены без расшифровки инициалы, наиболее часто встречающиеся в переписке: И. С. Ш., И. Ш. (Иван Сергеевич Шмелев), О. А. (Ольга Александровна), С. (Сережа), А. (Арнольд), И. А. И., И. А. (Иван Александрович Ильин). Инициалы не расшифрованы и в том случае, если обозначение того или иного лица только инициалами входило в авторский замысел (поклонники О. А. Бредиус-Субботиной в «Повести жизни» и т.п.) Расшифровка других инициалов приводится в квадратных скобках.

Стремясь уместить как можно больше информации в письме (во время оккупации объем писем был лимитирован цензурой), корреспонденты писали на полях, между строк, и, нередко, поверх основного текста письма. В связи с этим иногда невозможно точно установить последовательность текста. В этом случае составителями сделаны пометы [На полях:] или [Приписка:].

Для свободного чтения «Романа в письмах» в тексте расшифрованы сокращения, которыми наиболее часто пользовались И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина (например: «Знаю, кк одиноко, кк пусто в тв. жизни» — «Знаю, как одиноко, как пусто в твоей жизни»; Мар. Кв-ва — Марина Квартирова). В тех случаях, когда сокращенный либо неразборчивый текст может быть истолкован различным образом, расшифровка приведена в квадратных скобках. Унифицировано написание порядковых числительных и обозначение дат. В книге приведено наиболее часто встречающееся в оригинале написание (9-го июня; 9.VI; 9.VI.39). Даты помещены в том месте, где их поставили авторы писем. Составительские даты указаны в квадратных скобках. В том случае, если приведение писем к современной орфографии и пунктуации не нарушало индивидуального стиля автора, в тексте изменено употребление запятых, прописных букв (главным образом — в письмах О. А. Бредиус-Субботиной), правописание окончаний и т.п. Были исправлены описки, устранены характерные ошибки в написании знаков препинания (2 точки вместо многоточия и т.п.).

Комментарий к письмам расположен в конце текста, для избежания путаницы использована сквозная нумерация сносок (1, 2, 3). Справочная информация (адрес, использование документа, архивный шифр) перенесена в конец издания и расположена непосредственно перед примечаниями к данному письму. Текстовые примечания расположены внизу страницы (i, ii. iii...), кроме того, в тексте сохранены авторские сноски (*).

Творческая группа, работавшая над подготовкой издания, благодарит за неоднократную помощь и содействие в работе протоиерея Григория Красноцветова и его семью, Наталью Борисовну Волкову, Татьяну Михайловну Горяеву, Татьяну Федоровну Павлову, Виктора Мирославовича Гуминского, Веру Николаевну Терехину, Лидию Алексеевну Спиридонову, Светлану Алексеевну Шушунову, Людмилу Игнатьевну и Валерия Петровича Цыгаников, Евгению Кузьминичну Дейч, Марию Викторовну Михайлову, Елену Баурджановну Коркину, Марию Аркадиевну Рашковскую, Татьяну Марковну Коробову, Людмилу Яковлевну Дворникову, Татьяну Викторовну Волкову, Ольгу Владимировну Рожкову, Ольгу Кузьминичну Землякову, Виктора Владимировича Леонидова, Сергея Николаевича Овсянникова, Анну Владимировну Толмачеву, и всех исследователей творчества И. С. Шмелева, без которых было бы невозможно осуществить это издание.

Necona

1939 - 1992

1

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9-го июня 1939 г.[i]

Глубокоуважаемый, искренне чтимый
и душевно любимый Иван Сергеевич!

По непреодолимому желанию выразить Вам преклонение мое перед Вами пишу Вам. В наше тяжелое время бессердечия, бездушия и безлюдья, как светлый луч светите Вы.

«О, вы, напоминающие о Господе, — не умолкайте!»[1] Не умолкайте! Ибо Вы ведете нас как вифлеемская звезда к ногам Христа.

Когда мне тяжело на душе, я беру Ваши книжки, и т.к. в них не лицемерная правда, а Душа, то становится и легко и ясно. И это Ваши «Лето Господне» и «Богомолье»[2] были моими подготовителями и к посту, и к Св. Пасхе. Увы, наши «батюшки» редко бывают истинно духовны, и часто не находишь у них того Духа, которым жила Русь. Читая Вас, я (и моя семья*), чувствовали все таким своим, родным, русским до последнего вздоха. И Вашего батюшку, такого прекрасного, так рано погибшего, и старенького Горкина, и Вас ребенка[3] мы любим, как любят своих близких. Простите мне, что так пишу, что все выходит как-то м. б. шаблонно. Но верьте, что от искреннего сердца идут мои слова. И хочется больше и больше знать о судьбе всех этих лиц, ставших близкими и родными. Я слушала Ваше чтение в Берлине[4] после того, как скончалась Ваша супруга[5]. Как ужасно, — столько чудесных, прекрасных близких лиц суждено было Вам утратить из жизни когда-то такой полной, богатой этими людьми. Если Вам пока̀жется м. б. иногда, что Вы одиноки, то не думайте так![ii] Вашим Духом

---

[i] Первое письмо И. С. Шмелеву О. А. Бредиус-Субботина отправила через журнал «Возрождение» по адресу: La Renaissance. 73, Avenue des Champs-Élysées, Paris, 16. На конверте помета редакции: от читат.

* Я временно была в Берлине.

[ii] Эта фраза в письме О. А. Бредиус-Субботиной подчеркнута И. С. Шмелевым. Авторское подчеркивание не оговаривается отдельно.

живут много людей, Ваша Божия Искра затеплила у многих лампаду. Для многих во всей эмиграции существуют лишь два человека, два пророка, — это Вы и Иван Александрович Ильин[6]. И если бы наше духовенство воспитывало людей в духе этих двух, то насколько бы поднялась наша мораль.

Я живу в Голландии, замужем за голландцем[7], в деревенской тишине; единственная связь с Русским — книги, т.к. русских людей очень здесь мало. Стараюсь у кого можно развивать вкус к путям и Вашим, и Ивана Александровича Ильина, ибо только они безошибочно непреложны.

Хотелось бы от всего сердца вымолить у Господа Вам еще на многие годы здоровья, радости, творчества для нас грешных.

Всего Вам доброго!

Искренне почитающая Вас

Ольга Бредиус-Субботина

2

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.VI.39

Сердечно признателен Вам, Ольга А., — не знаю отчества, — за привет писателю. Я его сохраню — в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей-друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое. Да, я очень одинок, я совсем одинок, и часто ропщу. Вы почувствовали это, сказали это, и правильно: я часто забываю, что я <u>не</u> одинок. Со мной, [в] духе, — моя покойная жена, мой, отнятый мучителями Родины, сын, офицер[8]. Господь же со мной! — и еще — великое множество русских людей, единомысленных. Да, знаю, слово мое, волею Божьей, доходит до читательского сердца. Только это еще дает силы. Вы так искренно, нежно обласкали душу мою. Но не называйте меня у ч и т е л е м. Я недостоин сего. Я — слабый, грешный человек, куда быть мне учителем нравственной жизни! О батюшках Вы напрасно. И в нашем Содоме есть светлые пастыри, есть. Всего Вам доброго. Спасибо

Ив. Шмелев

Привет Вашей семье. Спасибо!

3

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IX Св. Иоанна Богослова[9]
9.X.1939 écrit en russe[i]

Сердечно благодарю Вас, добрый друг, Ольга Александровна, за трогательный привет, — за Ваш подарок писателю-другу. Я принял его с легким сердцем, принял, растроганный, ибо за этим даром чувствую светлую душу Вашу. В эти суровые дни одиночество мое в жизни особенно давит. Растерянная душа не может уйти в работу, будто уж и писать не надо, будто и не для чего. Но знаю, что лишь работа может давать забвение и утверждение, — и надо закончить еще не завершенное — «Лето Господне» и «Пути Небесные»[10]. Уже с июля, как бы предчувствуя мировой кризис, потерял я волю к работе. Единственный близкий человек, наш Ives, или Ивик[11], внучатый племянник покойной Ольги Александровны, скоро должен быть мобилизован, и пока уехал в провинцию в лицей, где после 2-го башо[ii], сданного с отличием, проходит дни подготовки к Ecole Normale Supérieure, — Classe le matématiques spéciales[iii]. Две недели жил я в St. Geneviev, в Maison Russe[iiii]12 и каждый день ходил на могилку покойной О. А. Целую Вашу руку, добрый друг. Слава Богу, я имею кров и хлеб — в будущее не заглядываю, а теперь участие Ваше для меня — свет. Желаю здоровья. Сердечно Ваш Ив. Шмелев

4

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.X.39

Дорогой Иван Сергеевич!

Как рада я была сегодня получить Вашу открытку и узнать, что Вы здоровы. Я сейчас в ужасной тревоге за моих

---

[i] *Écrit en russe* — Написано по-русски (*фр.*). Сообщение для цензуры, необходимое для отправления письма из Франции, т.к. в соответствии с правилами письмо не должно превышать 4 страниц и должно содержать указание о том, на каком языке оно написано. Позднее эти сообщения делались на немецком языке (*der Brief in der russischen Spreche*). В дальнейшем при передаче текста писем стандартные пометы для цензуры опущены.

[ii] Экзамен на степень бакалавра (*от фр. bachot*).

[iii] Высший педагогический институт, математический факультет (*фр.*).

[iiii] Русский Дом (*фр.*).

маму[13] и брата[14]. Стараюсь изо всех сил их перетащить к нам в Голландию, но это очень трудно, м. б., даже безнадежно. Я измучилась от этой неизвестности: то отчаиваешься совершенно, то молишься, то будто веришь. Я — в это ужасное время совершенно одна, т.к. мой муж по делам должен был уехать из дома, и то уж до последнего момента был со мной. У него русская душа. Он очень любит все русское (не так, как многие иностранцы), не из экстравагантности, а просто вот так, — любит. По душе почти что православный, более православный, нежели некоторые из русских. И дом у нас русский. Но только я совсем одна теперь. Одна в деревне; дом стоит около шоссе, а кругом сады и поля. Никто ни ко мне не зайдет, ни я ни к кому не зайду. Ни души, кроме меня да птички. Есть кое-кто русские за 6 км, но не очень хочется их видеть, — чужие духом. Сколько дум разных пройдет в голове в одиночестве. Сейчас шторм[i] у нас, — мои высокие подсолнухи в саду сломило, и так все грустно. А летом было так уютно! Мама и брат у меня гостили, и подумайте: должны были 16-го сентября уехать. Как рвалось мое сердце, сколько было мук, просьб, молений даже! Люди не слышали этих молений. Теперь мы вновь стараемся, но что выйдет?! Как прекрасно, что Вы пишете еще «Пути Небесные» и «Лето Господне». Я не могла достать «Пути Небесные». Есть ли они в Париже?

Всего Вам доброго! Помолитесь за меня! Мне очень тяжело. Ваша Ольга Бредиус

Напишите мне, когда будет можно!

5

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23 октября 1939

Дорогая Ольга Александровна,

Ваше открытое письмецо, от 14 окт., очень тревожно, горько. Да не надо же так поддаваться огорчениям преходящим, Ваше одиночество — временно, увидите близких, Бог даст. Другое дело — одиночество безнадежное... Да и религиозная Вы, верою укрепитесь. А чтобы свидеться с мамой и братом, хлопочите, пока не убедитесь, что все испробовано. Вы же полноправная гражданка Голландии, и, на мой взгляд, ни божеские, ни человеческие законы не могут отнять у Вас естественного права иметь возле себя

---

[i] В оригинале — штурм. Далее это исправление не оговаривается.

близких, самых близких. Тем более, что Вы, сами, с Вашим мужем, искони голландцем, дадите им и кров, и хлеб. Они же — русские эмигранты не по своей злой воле, а в силу непреоборимых обстоятельств, в силу того, что по своей духовной природе не могли признать насильнической власти над своей Родиной за правомерную власть — и ушли под защиту той культуры и той морали, которая им духовно близка и которая еще не ушла из мира окончательно. Ваша страна, родина мужа Вашего, Голландия, — не признала большевиков закономерной российской властью, и это, несомненно, может Вам облегчить ходатайство Ваше за близких. Где же и пребывать-то Вашим близким, как не под Вашим кровом?! Это же — сама правда. Еще висит в Гааге на парадной двери дощечка — «легасьон рюсс»[i] [15]. И живет еще в Гааге «шаржэ д'аффэр»[ii] российской легации — Павел Константинович Пустошкин (Poustoshkine) — адрес: 66, Sweelingstraat, Za Haye. Если еще не просили у него совета и помощи, напишите ему. Я сегодня виделся с одной моей милой читательницей, она ему о Вас напишет. Я ей сказал, что я, русский писатель, которого г. П[устошкин], конечно, знает, и профессор государственного права и философ И. А. Ильин, проживающий в Цюрихе, мы оба ходатайствуем по Вашему делу и даем самый положительный отзыв о достойной семье Субботиных. Если он сможет разъяснить недоразумение, — ибо тут несомненно только недоразумение, — найдет возможным вступиться за соотечественников, — он это сделает. А он, как бы, все еще наш правозаступник, ибо в глазах Вашего Правительства он является как бы представителем русских, законных, интересов, т.к. для Голландии никакой «советской страны» не существует, дипломатически, а осталась Россия, пусть и в анабиозе. Даст Господь, зачтется это, российской историей зачтется, ибо российская история не кончена, а лишь прервалась насильнически. Ну, да поможет Вам Господь.

Я постараюсь послать Вам свой роман «Пути Небесные», справлюсь только на почте, можно ли пересылать книги.

Трудно теперь писать, собрать душу, — вихревые события все перерыли в ней. Особенно — тихое писать, мое, далекое... Газет не могу читать: кипят они «злобою дня сего». Видите ли: нас, русских, мир все еще очень мало знает. Он знает, конечно, нашу великую литературу, но...

---

i Дипломатическая миссия России (*от фр. Legation Russe*).

ii Поверенный в делах (*от фр. chargé d'affeires*).

она для него, пожалуй, как «всечеловеческая», — говорю о классиках, — стоит как бы в н е «русского» и «русских». На взгляд мира, мы еще «полудикари», — этому взгляду помогли — большевики из международного отброса, — нам еще «далеко» до... западной культуры! А мы-то знаем, кому еще далеко до подлинной культуры. Так вот, вспоминаю н а ш и, б ы л ы е, р о с с и й с к и е газеты! Наши были ку-да вдумчивей, сдержанней и — точней, особенно в исторические дни, в суровые дни народного испытания. Нет, мы знаем свою культуру, и не растрясем ее, вернем освобожденной России, — заветное это наше. Без этой высокой культуры не было бы и вселенской литературы нашей. Жива она и в порабощенном народе нашем, в его чудотворном языке.

Будьте крепки верой и духом, уповайте. Не бойтесь преходящего одиночества. Все это легкие испытания. Была бы жива душа. Помните, что ныне многим-многим миллионам людей — сверхмерное выпало на долю. Этим вот «сверхмерным» и меряется подлинная культура: будь мир воистину на высоте Подлинной культуры, не было бы того, что видим. Да, подрасти еще надо, надо... и не гордиться достижениями «ума» только, а не д у х а. Будьте сильны.

Сердечно Ваш Ив. Шмелев

6

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Бюнник, 19 окт. 1939 г.
ночью

Дорогой, душевно-родной Иван Сергеевич!

Послала Вам открытку, и так мне стыдно, что в ней писала лишь о своих думах, а Вас-то никак и не ободрила, не сказала того, что все-таки думала, а именно: что так грустно мне и за Вас, и за того мне незнакомого, но очевидно очень юного Ивика, и за многих, многих...

И если бы Вы знали, как много я думаю о Вас и о Вашем мире, о Ваших страницах русской души и веры!.. Моей семье и мне Вы близки и дороги как самый родной человек, каждым Вашим словом, каждой мыслью.

И вот мне захотелось Вам рассказать о себе. Можно?

Я уехала из России еще полуребенком, полуподростком. Но тот, объективно говоря, коротенький отрез моей жизни Там, на Родине, я чувствую как именно всю, целую, большую мою Жизнь. Все, что здесь — эпизод. Это конечно не

реально, не логично, но это такое внутреннее чувство. И все то, что во мне Там сложилось, так и осталось. Конечно, многому пришлось с годами научиться, разочароваться во многом, утратить свежесть чувств и детскость Веры, утратить нежность и научиться носить маску, и ничего не удалось из Прекрасного* умножить, приобрести к тому, что Там родилось...

А родилось и рождалось все это в той атмосфере, которой пронизана каждая Ваша вещь, до мелочей, до болезненных, подробных мелочей, будто вырванных из моей собственной души и памяти.

Мой отец[16] был священник, по призванию, по глубинной, чистой Вере; горел на своем посту душой. Ах, какой удивительный это был человек! Он умер 37-ми лет в год войны. Мы были (я и брат) очень малы. Но его, светлого, как Ангела, хорошо помним. Моя мать — та самая женщина, которая бы несомненно заслуживала быть поставленной в ряды героев. Сколько она несла на своих плечах забот и горя; и это все в ее 32 года! Какое было у них с отцом счастье, — только не полных 10 лет! И с тех пор собственно наша семья разбита, и с тех пор начался тот Крестный Путь, который и до сего дня не окончен.

Но впрочем, я хочу говорить о том, что было.

Знаете ли Вы Ярославль, Углич, Кострому?

Были ли Вы в тех краях Костромской губернии, где в дремучем лесу живут воспоминания о Сусанине? Знаете ли Вы ту чудесную русскую природу, немного простую, незатейливую, но такую чудесную Духом?! Это сердце России, такое глубокое, старое, Наше! Вот там, в этих лесах, лугах и полях, в деревушке (нет, в селе) выросла моя мать. Такая же цельная, неизломанная, простая и прямая, как и вся эта природа. Ее отец был благочинный[17] там, в Костромской губернии. Не могу всего Вам описывать, но коротко скажу, что, как в самом прекрасном романе, встретила она отца моего, такого светлого, прекрасного.

Род отца моего выходит из Углича, этого очаровательного волжского городка. Милая Волга! Вся жизнь моих родителей была гармония, счастье, безоблачный сон.

Не стоит говорить о том, что в доме царил дух религиозности, обряда, русского быта.

Так же, как у Вас, горели всюду лампады, отец пел молитвы[18], — он чудно пел, до священства даже выступал.

---

* Прекрасное только потому, что Там родилось. Сама же я очень несовершенна. Не находИте и Вы во мне ничего особенно светлого. Я недостойна этого! Я хочу только стать лучше.

Мы постились, а в сочельник[19] говели «до Звезды». Мы «славили Христа» в Рождество и Пасху, и для смеха «получали» от папы по рублю «в ручку». Я никогда, до моей смерти, не забуду первого говения и исповеди, этого звона «пом-ни» и чмокающей грязи под ногами*, — смеси талого снега и навоза на почерневшей мостовой. И шары на углу улицы и главное капели. Почему-то Пост, звон, капели и крик галок, — все это — одно. И как-то трепетно и грустно, и чего-то как будто ждешь, и на душе чудесно. И где это все еще повторится на Божьем свете? А как пахнет в церкви у Плащаницы... Гиацинты, нарциссы, тюльпаны и много азалий, и свечи, и женщины в платочках черных.

Помните?

А причащалась я в детстве на Крестопоклонной[20]. С вечера уж старались не говорить много, — а то согрешишь. А на утро у кроватки платье белое и новые ленточки в косички, и няня тоже в светлом, и мама в белом платье, а на голове не шляпа, а шарф. И все идут и идут в церковь, и все такие особенные, нарядные и строгие.

Это прошло... Неужели навсегда?!

А помните ли Погребение Христа?![21]

Я много раз в жизни переживала эту службу, но запомнила лишь одну.

Мне было 7 лет. Я умолила маму взять меня [на] заутреню. Как величественна, как Божественна была та служба. На полу лежал можжевельник, все в черном, женщины в платках, все торжественно-грустно, все необычайно, и свет такой особенный. А пение! Когда понесли Плащаницу и запели «Благообразный Иосиф»[22], я, помню, горько заплакала. Я совершенно реально увидела умершего Христа, без вопросов и сомнений шла я за Плащаницей, и сердце мое было полно горя, и не чувствуя веков, я была душой там, около Гефсимании. Как все это было величественно и просто. Как неповторимо чудесно.

Море свечей и море голов, звон особенный, какой-то падающий, и утро свежее и сырое.

За ручку с мамой, молча, словно боясь вернуть себя к действительности, мы приходим домой.

Кухарка уже возилась с тестом для куличей. Мне не хотелось идти спать, и я упросила маму взять меня еще к цветочнику выбрать цветы для пасхального стола. Ах, как жаль это было! В городе все шумело, торговало, жило <u>этой</u> жизнью.

---

* а на ногах уже весенние «калоши». Помните?

А дома я искренне расплакалась, когда увидала, что мама пробует скоромное тесто для куличей до разговения.

А Пасха?! Разве не воскресал для нас Христос?

Разве не совершалось с каждым в эту ночь великое чудо? Ах, если бы Вы знали нашу церковь!

Нерукотворного Спаса храм[23] был это.

Но какой храм! Перед ним, в ограде (там нету кладбища) перед алтарем могила моего отца. И когда был праздник 3-го Спаса[24], то вся церковь была в цветах. Как Вы сказали «Спасовы цветы»? Вот именно: бархатцы, георгины и многие другие осенние, будто на этот праздник только и выхоленные. И много брусничного листа. Гирлянды, гирлянды. Вся кухня у нас полна травы, цветов, всего, что для этого нужно. Я даже запах этот помню. Такой крепкий, лесной, горьковатый.

А как служил отец! О нем написан некролог был. Он умер в Казани, пробыв там 1/2 года, а похоронить его захотела паства в Рыбинске, где он служил 8 лет. Гроб не несли, а передавали через головы, — это была несколько-тысячная толпа плачущих людей.

Вся радость жизни, беспечность, детство наше ушли с ним вместе. Но все в руках Божьих. И мы через несколько лет увидели и в этом Промысл Божий. Сколько было потом страданий, как сложилась наша жизнь потом, — говорить долго м. б. скучно и не стоит. Я хотела только немного познакомить Вас с нами. И показать, почему все Ваше мне так дорого и близко. За все эти годы никто и никогда не был таким родным, таким духовно родным, как Вы. И я знаю, что Вы не посмеетесь и не осудите, если я скажу, что читая Ваши книги, я плачу, плачу о Вашем и о своем потерянном Рае. Как плачу и сейчас, вспоминая все невозвратное, такое близкое и единственное.

Простите меня, если надоела. Шлю Вам мой искренний привет. «Не умолкайте!!!» «Напоминайте о Господе!» Это нужно!

[На полях:] Помните, что м. б. многих Вы возвращаете к их Раю Вашими книгами, Вашими Путями даете идти к светлой цели! Ваша О. Б.

Перечитываю Ваш «Въезд в Париж»[25]. Какая Правда!

Черкните мне, если не осудите меня за навязчивость.

Перечитала письмо и боюсь, не приняли бы Вы мои отзывы о семье моей за хвастовство, но если бы я писала о папе и маме иначе, то это была бы ложь. Отец был действительно как Ангел. Я с Вами хочу быть совершенно правдивой. И если я отзываюсь так о родителях, то это еще вовсе

не дает мне права себя самое возносить. Ибо я их недостойна во многом.

27.X.39

P.S. Я не страдаю от одиночества, как такового, — это же пустяки. Что такое скука? Глупости! Когда такое творится в мире, то эти вещи даже стыдно замечать. Но, знаете, сколько всего передумаешь одна!

7

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.X.39

Дорогой, ласковый Иван Сергеевич!

Сегодня пришло Ваше письмецо с утешениями. Какое Вам спасибо! И после него я решаюсь послать Вам мое, написанное 19-го окт., но не посланное. Стеснялась надоедать.

Но самое-то главное: я получила позавчера разрешение на въезд моим!

Милый, дорогой Иван Сергеевич, как хорошо все еще Вы думаете о людях! Как верите еще в человечность в Вашем письме! Если бы Вы однако знали, чего стоило это разрешение, и главное как оно далось! С Пустошкиным я хорошо знакома, — он, как и я с мужем, понять не мог, что сердца в людях больше нет. Пустошкин не мог абсолютно ничего сделать при всем его желании. Адвокаты, связи, немалые связи (!) — не помогли. Железная дверь закона опустилась перед слезами нашими. Надо Вам сказать, что в роду моего мужа есть лица с интернациональной известностью, есть лица с очень большим влиянием. И только одному из них, члену правительства, удалось упросить, и то ему это дали, высказав пожелание, что при первой возможности брат уедет куда-нибудь, хотя временем его въезд не ограничили.

Но я счастлива! Я тотчас же хотела писать Вам, и сегодня написала бы и даже до Вашего письма.

Иван Александрович[26] тоже очень беспокоится о моих и писал мне, что «как удар» было для него мое известие, что они опять там.

И Вы знаете, как раз сегодня пишет мама, что положение может создаться ужасное, — их могут всех послать на прежнее пепелище! Подумайте только! Я все читаю и перечитываю Вашу книгу, переживаю, выплакиваю все, что там болит. И думаю, что ее можно было бы озаглавить

даже: «Въезд в Европу»*. Если бы я умела писать, то несколько этюдов на эту тему могла бы добавить. Например, после всех высказанных страданий, после жизненно важных соображений, когда нам в 1-ый раз отказали, то адвокат спросил: «а как же теперь Ваша матушка без прислуги будет жить?». Поняли они нас — нечего сказать! Ну, Господь с ними! Теперь все это позади. Я благодарю Бога. Часто думаю о милом, тоже родном Горкине.

Молюсь о Вас!
Всего Вам доброго!
Спасибо за поддержку. Спаси Вас Бог! О. Бредиус

8

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.XI.39

Милая Ольга Александровна,
Ваши письма радостью озарили меня, — и за Вас, и за меня. За Вас — что увидите, быть может, маму и брата; за меня — что так доверчиво отнеслись, привлекли и меня в сорадование, как близкого. Знаю о Вашем батюшке от И. А., а Вы так нежно и просто д а л и его духовный облик. Вы — умны сердцем, умны и умом, — и талантливо-живо, ярко даны изображение Вашего обихода и душевного уклада — Праздник душе дали, чуть приоткрыли свой мир. Чего же Вы стеснялись? Это-то и чудесно — искренность, и я очень ценю и благодарю. Метко Вы определили сущность «страдания» на взгляд адвоката. В этом — и в с е. И это так точно. Например, для Сельмы Лагерлёф[27] оказалось невнятным, почему мой Илья (в «Неупиваемой чаше»[28]) м о г вернуться в рабство, когда ему открывалось «счастье» — славы и богатства. И заметьте: ведь это как-никак писательница, и даже отмеченная некоторым дарованием. Чего спрашивать с прочих! Пишу Вам кратко, неуверенный, что письмо дойдет, в эти тревожные дни. Известите, что мама и брат — свиделись ли? И да успокоится душа Ваша, родственная моей. Не помню я Ваш внешний облик, так много было народу на моем чтении. Будьте здоровы, душой крепки, сильны волей.

Сердечно Ваш Ив. Шмелев
А письмо Ваше перечитывал.

---

* Ибо всюду на Западе одно и то же.

9

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XII.39

Дорогой Иван Сергеевич! Не знаю отчего, но, думая о Вас ежедневно, стремясь к Вам, я все же не могла писать. Т.е. я даже писала, много, но именно поэтому не решалась послать, а потом устарело, и так вот и вышло, что я молчала как будто. Нам очень много пришлось пережить, — Вы верно знаете? А как Вы? Мне так тоскливо, что давно ничего о Вас не знаю. Читаю еще одну Вашу книжку «Это было»[29]. Можно мне Вас спросить, какая вещь из Вами написанных больше всего Вам самому нравится? Или это нетактично с моей стороны? Тогда просто не отвечайте!! Мне больше всего нравятся «Лето Господне» и «Богомолье», «Пути Небесные» (читала только отрывки), а потом чудно тоже «Въезд в Париж», да хотя, все прекрасно. «Въезд в Париж» — стихи в прозе. Чудный стиль. Все дивно, но первые вещи (мной названные) уж как-то особенно еще душе близки, так что хочется плакать. «Няня из Москвы»[30] тоже дивная вещь. И «Человек из ресторана»[31]. Работаете Вы теперь или трудно? Я думаю, что именно Вам тяжело в такое время писать. Как досадно, что теперь нельзя в Париж поехать. Я так часто раньше собиралась. Тогда бы и могла Вас увидеть и так хорошо поговорить. Здесь русских мало, а по-душе совсем почти нет. Об Иване Александровиче я давно тоже ничего не знаю. Как-то они там? Милый Иван Сергеевич, да сохранит Господь Вас здоровым и благополучным и да пошлет мир и тишину людям своим в этом Новом Году! Страшно думать о том, что несет этот год, но будем молиться и верить, что Господь пощадит нас всех! Я всегда молюсь о Вас, чтобы Вы были подкреплены Божьим Духом, чтобы тьма не объяла Ваш талант, чтобы вся суета и ложь мира нашего не смутили Духа Вашего и не огорчили бы Вас. Чтобы Вы пели, пели Бога, чтобы Вы не умолкали, ибо только такое теперь нам нужно. Вы не один, — нет, за Вами много, много людей, сердца которых Вы ведете к Богу. Здесь в Голландии очень раскиданы все русские, и я очень вдали от центра, но все же мечтаю когда-нибудь устроить чтения Ваших вещей, особенно для детей и молодежи, забывающей Россию и Русское. Мои родные все еще не здесь, — трудно все это очень. М. б. я попаду к ним к Русскому Рождеству или Русскому Новому Году, если получу визу. А как Ваш племянник? Знаете, я получила очень горькую весть: — умер мой любимый дядя,

бывший нам вместо отца, чудесный человек, еще сравнительно молодой, в России, думаю, что погребен без отпевания. Как больно! Мама очень страдает, — это ее любимый брат. Он раньше был врач в Москве, а из-за большевиков уехал в Кострому, а потом в Иваново-Вознесенск. А где умер не знаем.

Может быть даже Вы его знали по Москве. Он был хороший хирург, — Д. А. Груздев[32].

[На полях:] Напишите!

Ну, всего, всего доброго!

Ваша О. Бредиус

10

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.II.40

Душевночтимый, дорогой Иван Сергеевич!

Очень тревожусь о Вас? Здоровы ли Вы?

Или м. б. Вам тяжело в эти мутные дни и не хочется никому писать? Тогда я не жду ответа. Я не хочу хоть как-нибудь тревожить Вас. Писала Вам несколько открыток в очень критические дни. Бог миловал, — пока что...

Сегодня я получила после большого промежутка, открытку от Ивана Александровича, который все мучается болями головы.

У нас все в напряженном ожидании о маме и Сереже. Трудно мне им настойчиво советовать что-либо. Но все же брат решается уехать. М. б. приедут к марту. Муж мой не ездил к ним. Вот уже 3 недели как я все хвораю, — не серьезно, но надоедливо. Муж приехал домой из-за моего нездоровья, но свалился сам с кашлем и т.п., а сейчас болит у него ухо, т.о. оба мы, как пленники, не выходим из дома. Но это все не страшно. Бог даст скоро будет тепло. Зима такая крутая, что здесь такую 50 лет уже не помнят. Снегу масса, почти русский пейзаж.

А настроение тревожно, и так уныло на душе!

Непрестанно звучит в ушах мой любимый псалом: «Хвали душе моя Господа»[33]... Знаете его? Можно мне его словами поделиться здесь с Вами? Как будто бы вместе помолиться...

«Хвали душе моя Господа, — восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны человеческие, — в них же несть спасения.

Изыдет дух его и возвратится в землю свою, — в той день погибнут все помышления его.

Блажен, ему же Бог Иаков помощник его,
Упование его на Господа Бога своего,
Сотворшаго Небо и Землю, Море и вся яже в них.
Хранящаго Истину в век, Творящаго суд обидимым,
Дающаго пищу алчущим.
Господь умудряет слепцы,
Господь возводит низверженные,
Господь решит окованныя,
Господь любит праведницы,
Господь хранит пришельцы,
Сира и вдову приимет, И путь грешных погубит...» и т.д.

Этот псалом пели у нас в селе как «Запричастный стих»[34], и он остался с тех пор в душе.

Теперь, он полон смысла, тогда неведомого и не близкого сердцу. Как будто бы за все наши муки изгнания мы вознаграждены самым высшим — Охраной Его! «Хранит пришельцы!»

Да сохранит Господь всех нас по белу свету!

Как больно за Россию, как всей душой хочется служить ей, помочь встряхнуться, сбросить иго, пока еще не поздно. Я не знаю как в других местах, но у нас приходится все время читать оскорбления России. Не S.S.S.R.[i], а России. Пишут прямо, что «русские, как нация — brutal[ii]». Оплевывают Петра I и Александра I, и пишут, что «никогда Россия не имела побед, а если что и завоевывала, то лишь благодаря хорошим союзникам или случаю». Меня не стеснялся один знакомый спросить «когда же я буду не русская, а финка»[35].

Никому не приходит в голову сделать разницу между Россией и большевиками. *Все* рады погибели не Советов, а России. Как тяжело это. У нас делаются сборы на Финляндию, а какие их побуждения? За красивые слова прячут пустые инстинкты. И. А. пишет, что на Финскую войну смотрят как на продолжение нашей Белой войны. Да, это так, но только тогда, если или Русские извне, или Русские изнутри смогут встать у руля истинной России. Все остальные, кто бы они ни были, не друзья наши.

Финны России тоже не друзья. Никому нет дела до нашей трагедии. Больше 20 лет смотрели все спокойно как русский народ истреблялся большевизмом, и никто не на-

---

[i] СССР (*от фр. USSR*).
[ii] Дикари (*фр.*).

ходил это безбожным. Всколыхнулись же нации только тогда, когда их интересам грозит опасность.

Я считаю, что Финская война — только благоприятная почва для толчка Сталину в спину, но сама по себе она Россию не спасет, т.к. до России никому нет дела. И когда тут злорадствуют, что уже 300 000 русских воинов уничтожено, так радуются не истреблению 300 000 большевиков, а именно русских.

Ничего, кроме гадостей, о России (за последние 300 лет!) не говорят у нас и не пишут. До слез тяжело. Никого я из русских тут не вижу. Трудно одной разбираться в этих проблемах. Удивляюсь на мужа моего: откуда у него такой прямо русский подход к этим вещам. Он чувствует, совершенно независимо от меня, точно так же. Если бы было иначе, то не вынести бы было всю здешнюю неправду.

Посмешищем делают Родину! И как мало у них такта, у них, культурных людей, по отношению к «дикарям». Душевно обрадовали бы Вы меня весточкой. Хотя не хочу неволить.

Книжки Ваши перечитываю и не могу начитаться. Все они почти наизусть знакомы, и все снова и снова влекут.

Напишите (если будете писать) как живется Вам. Я тревожусь о Вас, как о родном. Один знакомый молодой человек сказал моей маме, расставаясь со всеми нами: «родственность души — иногда больше родственности по плоти». И это верно. И Вы, и батюшка Ваш, и Горкин, и многие близкие Ваши, — это все родные, свои, милые Русские люди. И где бы мы все ни были разбросаны, но по тяге душ наших, мы найдем друг друга.

Милый, дорогой Иван Сергеевич, все же не легко Вам одному. Но знайте, что Вами, Вашим духом живут многие! Дай Бог Вам здоровья! И всего, всего доброго!

Как Ваш племянник? Где он?

Я от Вас от ноября ничего не имею и много думаю: как Вам живется? Как хорошо было бы, если бы не было войны! Я все мечтала пригласить Вас к нам на лето в гости, в деревню отдохнуть. Какой бы это был нам праздник! Мы приглашали И. А., и даже визу уже условились хлопотать, но тогда ему нельзя было. У нас так тихо... хорошие леса и парки, и очень красивое небо.

Ну, кончаю. Шлю Вам мои душевные пожелания всего доброго, в надежде, что Вы здоровы. Сердечно преданная Вам,

Ваша Ольга Бредиус

P.S. М. б., я глупо пишу о Финской войне, — но так чувствуется из-за всех оскорбительных статей нашей газеты.

Или Вы находите, что я не права?

11

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.II.40

Дорогой Иван Сергеевич!

Преисполненная чувством восхищения, преклонения (перед Вами и Вашим Творчеством), благодарности, великой благодарности, — пишу Вам, чтобы слабыми словами выразить хоть частичку того, что переживаю. «Пути Небесные» меня всю как-то захватили, унесли отсюда, заворожили прелестью свежей и подлинной, глубиной, святостью, и всем тем, что б ы л о и ч е г о н е т. Нехорошо слишком много заниматься своей персоной и еще хуже занимать ею других, но сейчас я не могу умолчать того, что я переживала: — это был какой-то сон наяву, вся душа была восхИщена, унесена, и я не могла жить повседневной жизнью. Мой муж, видя мои переживания, тоже с каким-то благоговением относится к этой драгоценной книжке и сказал, что обязательно займется русским языком, чтобы прочесть. Милый Иван Сергеевич, Вы меня так обогатили этим чудным подарком, что я даже выразить не могу. Хотелось бы знать как Вам живется. Здоровы ли? Не очень ли холодно. У нас была (да еще и есть) очень суровая зима. Мама с братом от страшного холода ютятся в одной комнате и то елееле нагретой. Они все-таки собираются, конечно при страшных внутренних мучениях и колебаниях, т.к. брат бросает там прекрасное место и идет в этом смысле ни на что. Боюсь и думать, чем все кончится. Хочется крепко верить в Бога, чтобы не было страшно. А как удивительна эта небывалая зима?! Будто бы гнев Божий. Хочется верить, что есть у настоящей, подлинной Родины (а не «Союза») хотя бы 3 праведника, ради которых Господь ее пощадит... Тяжело жить на отлете от всего русского, — я месяцами иногда слова русского не слышу, — чего не передумаешь о бедной нашей многострадальной России. Неужели же ничто там не способно вызвать пробуждение?! А ведь этой надеждой только и живешь!

Ну, всего, всего Вам доброго желаю я от полноты душевной. Ваша преданная Ольга Бредиус-Субботина

12

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.40

Милая Ольга Александровна,

Получив Ваше большое письмо, тотчас же написал Вам — и не послал, а накануне Вашего письма послал книгу: сердце сердцу весть подает. Не волнуйтесь, что пишут о нашей России мерзости: это — или невежды, или — враги. Знающие историю и честные — з н а ю т нас и н а ш е. Ответьте: читаете ли «Возрождение»[36]. Там [как это должно] хорошо отвечено невежде. А галки и на кресты марают. От глупых и лживых слов — наше не пропадет. А в минуты уныния читайте Пушкина, вду-мчиво, — и — Евангелие. Знайте: близок день Воскресения России, — и веруйте. А клевета — издавна. Во «Въезде в Париж» — я писал — «Russie»[37]. И Вы знаете, кто ненавидит, особенно, P.[i], — ясно. Рад, что «Пути Небесные» по душе Вам. У Вас чуткая, глубокая душа, — Вы поняли книгу, уверен. Но она не кончена: все собираюсь — дальше, но... многое мешает. А дуракам отвечайте смело о России — «узнайте о ней не из энциклопедических словарей и не из бездарных газеток». У Вас есть знающие и ценящие ее: например, проф. N. Ван-Вейк[38]. Да давайте идиотам читать статью в «Возрождении» — это, по-французски — «открытое письмо»[39] — заблуждающимся. Я отвечу ему закрытым, иначе — н е л ь з я. Я говорю об академике-писателе Ш. Моррасе[40]. Газету я вышлю, если не получаете. Так и суйте в нос, умно написано. А мужа учите русскому языку, упорно — это н а д о: не Шмелева читать, — Россию, Пушкина. Если он не знает по-французски, переведите ему «письмо» Любимова: он чудесно владеет французским языком — и талантлив. Кажется, [1 сл. нрзб.] заканчивать «Лето Господне», чтобы завершить путь свой «Пути Небесные», если будут силы. Мне так трудно и так пусто без моей Оли. Она была моим Ангелом-Хранителем. И это душевной ее заботой мог я написать «Пути»[41]. Теперь — беспутье, холод.
Ваш И. Шмелев

---

[i] Россию.

13

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.III.40

Милый Иван Сергеевич! Очень благодарю и за открыточку, и за газету. Буду всем давать и даже на картон подклею, чтобы прочнее. Мужу конечно тоже дам читать, — он свободно французским владеет, — лучше меня. Он вообще всесторонне образованный человек, в своем роде не совсем обычный человек и очень немногими понимаемый, и особенно в своей семье и среде. Потому-то вероятно я его и нашла, что не похож он на них. Отец его хорошо конечно к нему относится, т.к. любит, но никто его по достоинству его души не ценит из ихних. Впрочем, младшая его сестра[42], в этом году вышедшая замуж за русского, его тоже ценит, но только после того, как я ей его духовно показала. В салонах нашей знатной (часто даже очень знатной) родни, мой супруг скучает и буквально дремлет, уставши на полевой работе. Разговоры их ему так неинтересны, что мне бывает даже неловко. Но зато у мужиков, у простого люда, а также у наших русских он совсем другой человек. Не узнать его тогда. И там его любят и ценят, и знают. Все конечно в ужасе, что он, кончив один и несколько университетов прослушав, имея связи и т.п., стал простым хуторянином, да еще женился на чужой, иноверной, и что хуже всего — нищей. Ибо я, с их точки зрения — именно нищая. Разве не чудак? Но впрочем, меня приняли они все радушно, а некоторые даже весьма сердечно. Но мы живем только параллельно им, не смешиваясь с ними. И совершенно за бортом семьи живет его сестра с русским (не приняли). Брат мужа[43] (И. А. И. его прозвал метко «флюнтик») тоже было занялся «русским флиртом» и стал изучать «русскую народную душу», — серьезно! Ходил даже на какие-то лекции по этнографии, но «кишка тонка»! Теперь, вероятно, отрезвел от «русского дурмана». Говорю «вероятно», т.к. хоть и живет тут же, но вижу его 1—2 раза в год. Я, грешница, раньше его «увлечение Россией» всерьез принимала и самого его иначе ценила. Ну Бог с ними. С чего это я всю семью перебрала? Простите. А рассказать можно бы было еще больше. Пережито сердцем, кровью немало. Романов несколько можно бы было написать, как бы талант на это. А теперь другое: — со дня на день жду маму и Сережу, хотя из их писем ничего ясного не вижу. И настолько все ненадежно и обманчиво, что я

даже никому, кроме Вас, не говорю об этом. Мало ли что. И Вы тоже никому пока не говорите, что их жду. Мир мал.

Милый Иван Сергеевич, какое было бы счастье, если бы Вы закончили «Пути Небесные». Мне снился необычайный сон, — я видела «Пути Небесные». Конечно, это Ваша книга! Мне очень много хочется Вам сказать, но в открытке мало места, а они лучше доходят. Как рада была бы я Вас увидеть! Ужасно больно мне стало, когда прочла Ваше: «...чтобы завершить путь свой...» Не надо, миленький, дорогой, если и тяжело Вам одному, то все же не думайте так о своем пути. Хочется, чтобы Путь Ваш был долгий и с солнцем, и с цветами. Я часто думаю о смерти, почти всегда (м. б. оттого что одна), боюсь ее ужасно, панически, животно. Это мало веры? Или я скоро умру? Так боюсь, что это заслоняет радость бытия, даже в минуты счастья... что это? Ответьте! После смерти папы это так стало. Ах, если бы я могла Вас увидеть и все рассказать! У нас весна, в саду цветут подснежники. И наступает пост. Шлю Вам, сердечный мой, родственный привет! Будьте здоровы!

Ваша О. Б.С.

[На полях:] «Возрождение» я не получаю.

Простите, что расписалась о семье, но уж очень это все близко и тесно тут!

14

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.III.40

Ваши письма для меня всегда интересны, милый друг Ольга Александровна, всегда — «свет тихий»[44], это свет души Вашей, чуткой, тихой, и всегда чуть грустной. Благодарю за доверие. Спрашиваете — почему смерти страшитесь? Это неразрешимо, ибо это одна из «загадок Жизни». Кто ее разгадает! Толстой — в самый расцвет свой страшился — и до конца. А святые... не страшились? Все страшились, самые даже крепкие. Страшились — м. б. по-иному только. Толстой страшился — от избытка воображения жизни, и от жадности к ней. Думаю, что и в Вас эта «жажда жизни» (и пылкое воображение!), высокая цель, которую Вы ей даете, — ибо Вы очень жизненны и богаты воображеньем. Мне это знакомо. В юности были полосы, когда я переживал онемение от ужаса смерти. И чем человек счастливей — тем больше ужаса при думах о смерти. Теперь я, просто, не вдумываюсь. Но об этом надо гово-

рить, а не писать. Я тоже хотел бы увидеть Вас, и, чувствую, — много-много есть, о чем бы мы могли говорить, ибо я слышу Вашу душу. Ваши ласковые слова меня осветили, онежили как-то, — на миг сняли неизбывную тяжесть одинокости. Но почему Вы пишете, что — «одни». Вы же счастливы, у Вас прекрасный муж-друг, достойный, — это я слышу в Ваших письмах. Он Вас, конечно, понимает. Часто остаетесь одни? Умейте же быть одна, уходите в любимую работу. Должно быть у Вас нет детей..? Это грустно. Такие, как Вы, богатые душевно, должны иметь и передавать свое богатство, дабы не пропало бесцельно. Заняты ли Вы какой-нибудь работой, любимой? Нельзя же жить томлением и тревогой. Какую книгу послать Вам? (из моих). Вы, должно быть, очень еще юны, у Вас такая ярко-живая восприимчивость. Вы меня знаете, видали, а я не представляю себе Вашего образа внешнего, и мне странно, будто мы говорим впотьмах. Правда, я очень чувствую, с л ы ш у — душу Вашу. — События мешают писать, давят. Не поверите, — а будто я замурован, такое чувство. Как могу — о тихом писать в такое время?! В «Путях Небесных» придется мне говорить и о страхе смерти: н а д о. Только п р и д е т с я ли? Не забывайте. И — будьте всегда в делании. Сердечно Ваш Ив. Шмелев

[На полях:] Ну, что напишешь в открытке?! Не умею.

Читали ли Вы мое «Куликово поле»[45]?

Живи Вы близко — я почитал бы для Вас.

15

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.III.40

Дорогой Иван Сергеевич!

Ваша открыточка от 20.III. застала меня сильно больной, но несмотря на то, что я должна лежать лишь на спине и совершенно без движения (у меня было острое и *очень* сильное кровоизлияние из левой почки, — причина неизвестна), — я не могу удержаться от того, чтобы не написать Вам! Прежде всего: у меня наконец мои дорогие родные! Приехали они 11-го марта[46], а в ночь на 17-ое я уже заболела. Так мне это тяжело, что мама после всей ужасной усталости ее должна еще со мной возиться! Мы очень перепугались, а я думала, что уж прямо медленно истеку кровью. Понимаете что я передумала?! Все мои мысли и страхи о смерти, тревожившие особенно за последнее время, та

необъяснимая тоска, которую я все время испытывала, наводили меня на грустные чувства. Но пока что Бог милостив. Кровь мы остановили, температура и боли (вследствие образовавшихся кровяных сгустков в почке) прошли. Я только слаба очень. У меня столько мыслей, перебивающих одна другую, для Вас, а писать-то уж очень трудно. Уж, Бог даст, потом обо всем напишу. Сегодня было письмецо от М. Квартировой[47], которой я так завидую, что она была у Вас! За всю Вашу доброту ко мне я Вам так благодарна, что не могу высказать. Всякая книжка Ваша для меня — дар бесценный. «Куликово поле» читала только по отрывкам в газете, — собственно, не читала можно считать. Хотела я Вам послать с нас всех фотографию, но нет хорошей, а я когда поправлюсь, обязательно с себя Вам пошлю, чтобы «впотьмах» не было. Помолитесь обо мне, если будет к тому охота. Бог не без милости!

Эта открытка не ответ на Вашу чудную открытку, а так просто.

От всех нас Вам самый горячий привет. Ваша Ольга Бр.-С.

16

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.III.40

Всем сердцем желаю Вам, милый друг, полного выздоровления! Очень грустно все это, но уповайте на Милосердие Божие. Очевидно, Вы не остереглись после гриппа и — простудили почки. Знаю, что такое — болеть. В 34 году лежал в Американском госпитале, ожидая операции. Ее отменили, — чудесно было![48] Одна голландская писательница Бауэр[49], кажется (я утерял ее адрес), увлеченная познанной красотой русской словесности, (выучилась русскому языку!) — прислала мне в госпиталь, в самый Троицын День, — цветы. Добрый знак. Хотел бы я Вам послать, но это трудно ныне. Примите мои светлые пожелания. Ваш Ив. Шмелев

Если достану — пошлю Вам «Родное»[50]. Там есть, между прочими, «Росстани»[51], — м. б. они ответили на затронутую Вами тему. Когда-то я радостно писал их, да-вно-о... Ныне они мне почти безразличны.

[На полях:] Не утруждайтесь ответить, терпеливо поправляйтесь.

Радуюсь Вашей радости — маме и брату.

17

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.IV.40

Христос Воскресе, дорогой Иван Сергеевич!

От всего сердца приветствую Вас и заочно в Светлую ночь троекратно похристосуюсь с Вами. Дай Бог Вам здоровья, мира душевного и всего доброго! Сегодня из письма Марины Квартировой, я узнала, что Вы не очень хорошо себя чувствуете. Как это меня огорчило, не можете себе представить. Что с Вами? М. б. язва желудка? Так много людей страдают ею. Буду просить Бога, чтобы Вы скорее поправились. Я сама на прошлой неделе была на исследованиях в клинике, где меня несколько дней продержали и промучили разными разностями. В результате оказалось, что по-видимому я незаметно перенесла воспаление почек на ногах, как последствие гриппа (вернее болезни горла) еще зимой. Теперь только следы видны на пластинке[i], и доктора позволяют мне жить «как все», остерегаясь лишь острой пищи и утомления. Я очень рада, что Святые дни[52] проведу, Бог даст, без тревоги за здоровье. Мы мечтаем всей семьей с Великого Четверга[53] поехать в Гаагу на Богослужения. У нас чудная погода — жара даже как летом. В садике цветут массой нарциссы и гиацинты, и скоро раскроются тюльпаны. Так пасхально! Во все эти дни я душой с Вами! Напишите о Вашем здоровье! Всего, всего доброго! Искренне преданная Вам Ваша Ольга Бредиус

[Приписка А. А. Овчинниковой:]

Глубокоуважаемый
Иван Сергеевич!

Все праздники и события нашей жизни мы переживаем с теми же чувствами, что и Вы, и давно чувствуем Вас своим, родным, близким, — постоянно о Вас и думаем, и говорим и в Светлую заутреню, перебирая всех своих, перенесемся к Вам и радостно скажем свое Христос Воскресе!

Благодарная Вам мать Оли А. Овчинникова

---

[i] Здесь: рентгеновский снимок.

18

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.IV.40

Христос Воскресе, дорогая Ольга Александровна. Слава Богу — Ваше здоровье укрепляется, рад был узнать, очень. Глубоко тронуло-расстрогало — до слез! — меня Ваше пасхальное приветствие: почувствовал себя на светлый миг не одиноким. Ваш дар пасхальный, переданный мне Н[атальей] Я[ковлевной][54] — он согрел меня. Цветы светят мне. Мне было хорошо за Светлой Утреней. Причащался в Великую Субботу[55]. Чувствовал, что «храним». И вечная моя[56] — со мной, з н а ю. Верю, что Вам внушено было укрепить меня (прошлогоднее летнее письмо!). Желаю Вам здоровья и света. Привет маме и всем Вашим. Ив. Шмелев

[На полях:] Я был незаслуженно осыпан дарами друзей-читателей — и Вами, дорогая!

Я на днях напишу Вам. Я рвался написать — и болел, мешало.

Две недели возврат болей (язва duodeni, старая). [Немного лучше].

19

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.XII.1940

Милая Ольга Александровна,
Счастлив был узнать, что Вы живы и здоровы!

Это — самое светлое, что было у меня за эти месяцы. Я написал Вам на Вашу открытку от 3 мая (7 месяцев!)[57], пожелал Вам самого светлого и милости Господа.

Всегда Вы у меня на сердце. Не забуду Вашего 1-го письма — ответа на мой немой крик в одиночестве глубоком (в июне 1939 г.) Э т о передалось Вашей душе, както... Так надо было. И всегда верил, в болезни Вашей, что Вы будете здоровы и увидите много Света... Дай Бог. Трудно писать «Пути Небесные». Пожелайте мне удачи. Роман (в душе-уме) разворачивается широко, но — удастся ли? Ныне все неопределенно. Живу — легко как будто на душе... ... — а, вообще, — грезится, будто сплю.

Целую Вашу руку, далекий друг.
Ваш Ив. Шмелев

20

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.II.41

Дорогой, родной Иван Сергеевич!

Вот уж действительно: «сердце сердцу весть подает»! Я непрестанно думала о Вас, перебирая все возможности узнать хоть что-либо о Вас. Как вдруг вчера вечером письмецо Ваше! Вы мне доставили им такую радость, что и выразить трудно... Но Вам и рассказывать не надо, — Вы сами знаете... Как волнующе-радостно, чудесно было узнать, что Вы работаете над «Путями Небесными» дальше...

Конечно, от всей души я желаю Вам успеха, легкости и удовлетворения в этом!

Я очень часто об этом думала и думаю, и так прекрасно и отрадно сознавать, что этот дивный роман живет дальше

Что бы я дала за возможность видеть Вас и хоть чем-нибудь способствовать благоприятности условий, в которых протекает Ваша работа! —

Невероятно грустно, больно чувствовать такую оторванность, недосягаемость и даже без надежд на перемену.

Но я благодарю Бога за то, что Вы целы и здоровы! — Сколько было мучительных дней, когда и этой уверенности не было.

К сожалению, Вы так мало о себе пишете, что я не нахожу ответов на все то, что бы хотелось знать о Вас. Я из каждого Вашего слова стараюсь увидеть, угадать, как Вы себя чувствуете, как живется Вам?!

Знать и рассказать хотелось бы так много...

Милый Иван Сергеевич, знаете, что все время заботы и трепета о Вас и за Вас я не могла даже читать Ваших книг (большинства). Было как-то больно. Поймете?

В Крещенье только мы с мамой читали вслух из «Лета Господня», и много говорили о Вас. Мы очень, очень часто о вас думаем, как о самом милом, родном человеке.

Вот и сегодня, — идет снег, порой будто метель, — и вспоминается Дашенька[58] и роман Ваш. Ради Бога, поскольку Вам это возможно, пишите его. Для скольких людей Вы несете этим радость! — Хоть изредка давайте о себе знать, — очень прошу Вас. А за письмецо Ваше такое милое и за сердечность Вашу благодарю Вас от души... Перечитываю его без счета.

Открыточку Вашу от 3-го V получила тогда, в день большого отчаяния, т.к. хотели меня оперировать, но обошлось все хорошо! От 4-го до 8-го мая (вечера) я была в клинике

на исследовании (котором уже по счету!), возвратилась домой слабая: чуть ноги держали, и привезли-то не поездом, а на автомобиле, оберегая; ну а через 2—3 дня прекрасно прошагала километров 7—8 почти бегом, да еще при солнцепеке. Господь миловал всех! У отца моего мужа мы так и не были (как предполагалось), не смогли попасть, и вообще все вышло иначе.

— Мама и брат здесь, хотя последний с нами не живет, т.к. служит в другом городе[59]. Прочно ли — неизвестно. Живем мы тихо-скромно, стараясь как можно глубже уйти в сельское хозяйство. Не знаю, получили ли Вы мое письмо через И. А. (от него давным-давно ничего не слышу), там я писала, что разные бытовые черточки нашего житья-бытья напоминают мне отчасти разговор с [1 сл. нрзб.]. Муж мой старается над своим хутором изо всех сил. Забот очень много, — больше чем радости. Я настаиваю на переезде в деревню, но это трудно, т.к. дом занят там. При доме в Бюннике у нас есть куры только и летом хотим цветник перекопать на огород. Жду очень весны. Так надоел холод. Из-за того, что все группируемся у железной печурки, а потом приходится выскакивать в нетопленые комнаты, — часто все прихварывали. Живем мы в бывшем салоне (на юг), где и обедали в сильные морозы, и даже спали. Печка очень хорошая, так что на ней даже и готовим, а топим дровами с антрацитом. И тепло. Ну, мне не привыкать к таким обстановкам в «салоне», так что все идет прекрасно. И живо вспоминаю детство, — вернее юность. Иногда я мечтаю: если бы удалось устроиться хорошо на хуторе, — как чудесно было бы пригласить Вас. Это область мечты, но можно представить себе, что Вы бы у нас в деревне поселились? Или утопично? Ах да, болезнь моя просто исчезла! — через 1/2 года была опять у специалиста по почкам, и он только руками развел: с пластинки все подозрительное просто пропало! — Я очень рада. Горкин это сумел бы объяснить. И я так же думаю. Дорогой Иван Сергеевич, пишите! И никогда не думайте, что Вы одиноки! Господь да сохранит и защитит Вас! Берегите себя! Будьте здоровы.

Всегда мысленно и в молитве с Вами! Ваша Ольга Б.С.

[На полях:] Мама моя, как близкому душе человеку, тоже шлет Вам сердечное приветствие.

За мужа очень болею душой, т.к. сама подобное горе испытала, но утешить в таких случаях трудно. Работа — лучшее средство, а ее у него много, так что жизнь берет свои права.

21

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.III.41

Милая, далекая Ольга Александровна,

Самое для меня радостное изо всего, что случилось с мая прошлого года, — это то, что Вы совершенно здоровы. Я ждал этого, правда, слушая сердце свое. Конечно, Горкин знает, что это. И мы с Вами. А все те не доросли, — до сего знания. Извольте радоваться во-всю, пить солнце — во-всю. Жить молодо́ — во-во-всю. Идет весна — с ней идите, всем существо́м живите — и не раздумывайте, не пытайтесь управлять хаосом, который иногда водворяется в Вас. Это — обычное, у всех. Не разрешите умствований, это приводится в порядок само, когда в организме устанавливается равновесие. Ни минуты не вдумывайтесь в больное в Вас, а здоровейте бездумно, наполняя день веселым трудом. Молитва, легкая, краткая, — как дыханье. Светлей, светлей принимайте все, что дается. Помните, что Вы молоды, — и чувствуйте это счастье. За советы не серчайте, и философом не называйте, — от души пишу Вам.

Зима прошла для меня — быстро, но почти бесплодно. Вступаю в работу, — кружится голова, — как много надо, как смело надо. Да, «Пути» — в пути: но боль в руке мешала. Теперь прошло. Вот хозяйство мое много сил и времени берет. Но Бог поможет. Попросите Его, внушится мне — не бросать работу. Это самое мое заветное. До чего ужасны эти французские перья, острые, как жала. Не могу достать лучших, мягких, тупых.

Ваш «цветок к Пасхе» меня не огорчил, нет... но пусть больше не повторится, — прошу. У меня все есть. Пожелание мое Вам — к Пасхе? Пусть все гиацинты и тюльпаны обвеют Вас дыханием своим, светом своим! И отдадут Вам крупинки своего здоровья — цвета. О, повидал бы Германию и Голландию весной... но это никак не возможно, ни-как. Издалека слышу Вас, вижу, чувствую. Ваша милая карточка скрывает Вас, — не вижу. Но дополняю ее воображением. Милые цветы, цветы... и даже наш подсолнечник!

Почтение мое Вашей матушке. А Вам — целую руку. Напишу на днях, м. б. получите, как и я получил. Даринька моя должна продолжаться... но во что выльется? И знаю, и не знаю.

Словом, как итог всего — о, перо! — мне очень приятно писать Вам. Ну, живите с Богом и в мире с собой.

Ваш всегда И. Шмелев

Дописался! Сейчас поставленная на газ картошка — 3/4 часа тому! — вместо варки — испеклась! Хорошо — не сгорела, а то возня с кастрюлей, — вот Вам моя проза! Ничего!

22

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[16—17.IV.1941]

Ночь на Великий Четверг

Христос Воскресе!

От души приветствую Вас, дорогой и любимый Иван Сергеевич, и троекратно христосуюсь с Вами в мыслях и сердце. У меня есть маленькая надежда, что этот мой привет дойдет до Вас, — я так рада этой возможности.

В эти дни Страстной недели как-то особенно хочется хоть мысленно побыть с Вами!

Сегодня мы с мамой готовим (хоть и очень скромно) все к куличу и пасхе, яйца готовили к краске и т.п., а завтра очень бы хотелось уехать в церковь на остаток Великих дней. Очень жаль, что мы так далеко от храма и трудно всегда отлучаться надолго. А тут еще, как будто бы на радость лукавому, подоспели всякие каверзные дела, как например, суд с мужиком. Грязный тип и грязный его советник расхамели до того, что слов нет. Хутор так запущен, что там необходимо день и ночь нагонять работу, а мужик, несмотря на то, что его давно рассчитал муж, не уходит со двора. Наша квартира теперешняя уже сдана другим к 1 мая, а выехать нам некуда. Недавно, когда муж зашел в хутор, его мужик схватил за горло и стал душить и царапать руки. И вот подумайте, зло очевидное цветет пышным цветом, а нам же еще придется убираться на улицу.

Ну, Бог с ним. Не праздничные это разговоры! Очень только грустно, что отравляются этой суетой Святые Дни!

Очень я устала тоже. Иногда до отчаяния.

И не видно конца и просвета заботам.

Часто у меня в душе и мыслях все то, что Вы писали, и только там я нахожу свет и отдых.

Как работа Ваша? Верю, что хорошо и бодро идет вперед! Как хотелось бы мне иметь возможность хоть изредка Вас видеть!

Сколько безразличных лиц встречаешь на пути ежедневно, а тех, кто дают жизни свет и ценность — нет, недосягаемо далеки они. Как это обидно. Мне очень, очень не хва-

тает Вас. И так хочется дать Вам побольше тепла и уюта, и постоянное желание на сердце что-то хорошее сделать, — а все так невозможно. И письмеца от Вас так редки теперь стали. Ах, Вы знаете, открыточку-то Вашу от 3-го мая (про которую Вы пишете) я ведь не получила. Я получила 4-го мая от 28-го апреля и думала, что Вы о ней пишете, но прочитав ее я узнала, что Вы собирались еще писать, и датирована она была 28-м апр. Как досадно! Если бы Вы знали, какая драгоценность для меня каждое Ваше слово! В них столько чувствуется Вашей души, родной, прекрасной! —

Для меня нет ни одного писателя-современника, кроме Вас. Вы чудесным образом возвращаете нам утраченный рай, даете то, чего ищет душа и ни у кого не находит. Вы пишете о том, чем живете, чем бьется сердце Ваше. Я вечно буду преклоняться пред Душой и Духом Вашим, говорящим нам из Ваших книг!

Как мы должны бы Вас беречь все!

Пишите, дорогой Иван Сергеевич, давайте бедным русским людям воды живой! Думается, что с весной и теплом полегче будет жизнь. Хотя как Ваше здоровье по веснам? Часто у желудочных пациентов недочеты в желудке дают себя знать именно весной и осенью. Берегитесь ради Бога!

Хотелось бы мне, чтобы Вы почувствовали, как дороги Вы нам, как Вы совсем не одиноки, если только не отринете нас сами. Много, много русских людей отдают Вам свое сердце!

Простите меня, если я так пишу; — мне очень хочется, чтобы Вы почувствовали это.

Как поживает Ваш племянник? Я давно хочу спросить Вас о нем!

Недавно я наконец узнала, что И. А. И. сравнительно благополучен. Он 2 мес. болел бронхитом и плевритом, — теперь прошло. Они уезжали в горы. Наталья Николаевна[60] здорова. И. А. все свои письма к Вам (в том числе и мои) получил обратно. Очень больно за него: трудно им, и постоянно боли головные, хотя теперь стали лучше, но И. А. говорит о «привычке» к болям. От Марины я больше ничего не слыхала, а жду уже давно весточки.

В эти Великие Дни Поста и грядущей Пасхи особенно думается о всех братьях Веры Православной.

Как бы мне хотелось перенестись к Вам и хоть часок побыть с Вами!

В Заутреню Светлую я крепко подумаю о Вас и шепну Вам

«Христос Воскресе!»

А пока что, далекий и такой родной и близкий друг души, кончаю до следующих строк и шлю Вам ласковый поклон!

Будьте здоровы и Богом хранимы!

Все самое лучшее желаю Вам от всего сердца! Мама моя также очень сердечно поздравляет Вас и шлет тоже «Христос Воскресе!»

Всегда преданная Вам и любящая Вас Ольга Бредиус-Субботина

P.S. До Пасхальной субботы, если бы Вы захотели мне ответить, могли бы написать по адресу, указанному на конверте первого письма (парижского), ведь Вы его получили?

23

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IV.41

Христос Воскресе! — милый друг Ольга Александровна, — час тому, как узнал, что разрешено почтовое сношение с Голландией, и не могу тотчас же не сказать Вам — милый друг, Христос Воскресе! — и всем сердцем пожелать Вам здоровья и бодрости, и счастья, сколько может вместить сердце Ваше. Ваш Святой привет к Христову Воскресению принял я светло-светло. Особенная какая-то бодрость — желание работать над романом, — живет во мне эти последние дни. Роман не подвигался: я был задавлен обыденными хлопотами, но я сумею вырывать часы для души. Ваши светлые чувства к моему творчеству мне очень дороги, — Вы как бы посланы кем-то, мне дорогим, — душу мою укрепить и осветить! Милый друг, у меня и слова пропали, — так я светло взволнован. Сейчас меня заливает радость, что могу писать Вам. За все Ваше доброе ко мне — благодарю. И не могу писать. Хочу, чтобы сейчас же пошло письмо. Я не сетую, конечно, на Вас за Ваши «цветы». Но прошу, — не делайте этого, у меня все есть, — только близкого человека нет возле, но тут и Вы бессильны. Соберу мысли — и напишу Вам после, скоро, скажу, что еще не готов сказать. Будьте счастливы, милый друг, с Вами — т.е. что Вы есть, — мне легче как-то стало в жизни. Это со мной впервые, со дня кончины моей Оли. Целую Вашу руку. Пришлите мне Ваш портретик, чтобы я мог видеть Ваше лицо, Ваши глаза. Ну, до свидания, до свидания, — но вряд ли мы когда свидимся. Но у меня еще живо воображенье, и я заочно вижу Вас, чувствую и люблю Вас — родную мне душу.

Привет вашей маме. Ну, будьте здоровы и дышите молодостью, ж и в и т е!

Ваш Ив. Шмелев

События меня как-то возносят — и кажется, что мы, над обыденным поднятые живем в надземности, в вечности. И поставлены как бы перед лицо Судьбы. Вспомните Тютчева из «Цицерона»[61]: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» И — Пушкина «Пир во время чумы»[62] — И хочется писать об этом: Ведь мы за эти годы тысячелетия переживаем.

24

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.V.41 Wickenburgh

Дорогой Иван Сергеевич!

Будто могучие радостные крылья подняли и понесли меня в прекрасную даль... Я читаю глазами и душой Ваши милые слова и строки и не могу начитаться. Нужно ли говорить «спасибо» за все то, что Вы мне сказали?! Вы знаете без моих слов к а к дороги моему сердцу Ваши тепло и довери́е ко мне. Но все же я хочу, чтобы Вы знали, что я невыразимо благодарю Вас, что все что наполняет мою душу к Вам так велико, что не могу выразить.

Но вместе с этим чувством я стыжусь того, что недостойна Вашего отношения. Мне так хочется быть много, много лучше, чтобы со спокойной совестью принять Ваши дорогие слова. Я все последнее время очень страдаю от сознания своей ничтожности. Это очень все сложно. Не хочу об этом... Сейчас хочу только света и только в свете говорить с Вами.

Я очень счастлива узнать, что Вы увлеклись работой. Лучшего, радостнейшего известия от Вас я бы не могла себе представить.

Радость, с которой касаешься Святыни, наполняет меня, когда я пытаюсь душой коснуться Вашего творчества. Ваш роман для меня (именно «Пути») нечто такое чудесное, что всю как-то захватывает. Я писала Вам и опять так хочется сказать, что не существует для меня никакого писателя-современника, кроме Вас. Пожалуйста, милый, дорогой, не принимайте это за восторженные комплименты. Я это все терпеть не могу. Я с Вами совсем искренне говорю. Иначе я просто не могу с Вами.

Знаете, Иван Сергеевич, все время (буквально постоянно) мне так хочется что-то для Вас сделать, — много хорошего; — все, что я вижу или слышу красивого, я тотчас же бы хотела дать и Вам. Я почти уверена, что непременно мы увидимся — иначе уж очень было бы абсурдно. Не могу просто мыслить, что такая ничтожная причина как расстояние, станет навсегда преградой?! Разве не дико?! С моей стороны я приложу все старания, чтобы получить визу. И Вы увидите, что добьюсь! Мне так чувствуется.

Как больно мне, что не могу освободить Вас от забот дня повседневных и взять на себя мелкие хлопоты, заполняющие время. Это очень обидно. «Буду вырывать часы для души», — ужасно это... Ах, и кто это поймет?! Но может быть в этом, т.е. через это, особенно как-то чудесно преломляется Ваше Великое и захватывает так нас.

М. б. крест одиночества, трудностей и всего, что выпало на Вашу долю дает такой неземной Свет Творчеству Вашему. Простите, если я глупо пишу, но мне так кажется иногда. И все-таки все это не то, что я думаю, не могу выразить... Я не хочу сказать, что для творчества нужны страдания, — нет, я все, все бы сделала для того, чтобы отнять у Вас страдания и неудобства, дать Вам и уют и тепло, и беззаботность, — но мне кажется, что не страдания ли это Души Вашей одинокой дают нам то, перед чем мы только можем склонить колени.

Оторванность от Родины, Ваша одинокость в чужом мире, еще до Одиночества Вашего личного уже и тогда, так и бьется сердцем живым в каждую живую Д у ш у.

Я люблю Ваше каждое произведение, каждое слово, каждую мысль, я преклоняюсь перед Трудом Вашим и молюсь, чтобы Господь укрепил Вас! И сколько русских людей живут Вами!

Родной наш, берегите себя, будьте здоровы, бодры! Вы так нужны нам. Господь избрал Вас, чтобы Вы не умолкали!

Я так часто с Вами, т.е. вернее я все время в какой-то духовной готовности, настороженности в отношении Вас, что мне странно кажется, что Вы так далёки. Ваше письмецо через Марину Квартирову я получила тоже, и оно скрестилось с моим, которое, думаю, Вы не получили, т.к. я так и не поняла отправили его или нет (я просила моего соседа). Как хотелось мне послать Вам простое красное яичко к Пасхе, но это было нельзя. Портрет мой я пошлю Вам, но в следующем письме, т.к. это хочу послать тотчас же.

Все это время мы жили в досадной суете: должны были освободить дом прежний к 1-му мая, т.к. мы отказали, на-

деясь смочь переехать на хутор, но тип, сидящий на хуторе и рассчитанный мужем уже к 1-му апр., безобразничал и не съезжал, портя все хозяйство, моря скот и т.п. Был суд. Было масса всего такого, как делал сюсюкающий сын дворника «ссто, кому усси-то оболтали?»[63]. Вот такая атмосфера. Суд мы выиграли, тип уехал, а мы остались висеть между небом и землей. На 1—2 месяца мы остановились у одного знакомого мужа в его старом замке (в этом году 200 лет будет), где и живем сейчас. К счастью близко от хутора и можно ходить пешком даже туда. Хотим отделать дом и переехать. Собираться пришлось, таким образом, на 2 дома, и кроме всего заболела очень мама и слегла вплотную тотчас по приезде. Сегодня ей лучше, но она очень ослабела. Все это время было нашим больным зубом, и издергались мы все ужасно. Сейчас мы живем в чудных условиях, как в сказке, но даже и насладиться-то некогда. И все же хочется скорей «домой», хоть дома пока что и нет как бы. Живем мы оторвано от всего мира. Весна у нас очень холодная, и яблони все еще не раскрывают своих букетов, хоть и набрали их очень тугие и пышные. По стенам дома много шпалерных груш, — очень красиво. Все Вам хотелось бы описать, но тороплюсь письмо отнести в ящик, т.к. выемка только 2 раза в сутки и то в деревне за 3/4 часа ходьбы.

До июня наш адрес: «Wickenburgh»'t Goij
Post Houten (U.), Holland.

а потом: Schalkwijk (U.), Lage dijk 139.

Но я скоро напишу! Мне так радостно Вам писать! Я счастлива, что почта опять открыта.

Да хранит Вас Бог и даст Вам сил и радости Творчества.

От всей души приветствую Вас, далекий, дорогой, неоценимый! Ваша Ольга Б.

P.S. Цветы с хутора, мной самой уже посаженные.

Простите, что неряшливо выглядит письмо. Сегодня год тому назад, вечером я вышла из клиники, и так долго, долго потом от Вас ничего не слыхала!

Мама очень сердечно Вам кланяется!

25

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.V.41

Милая Ольга Александровна,

Приходится повторяться, но не могу не сказать, что, как всегда, письмо Ваше явилось для меня светлой радостью — бывают и «темные» радости! — Сам не знаю, не по-

нимаю, чем объяснить ту необычную взволнованность, с какой вскрываю конверт... Чувствуется мне как бы назначенность — получать от времени до времени знаки, что есть на свете тонко созвучная тебе душа, получать как бы отсвет отнятого у тебя, но тебя не оставившего совсем. Странное чувство... — проснуться — и тут же радостно вспомнить, что у тебя что-то праздничное, в тебе, с тобой... — Ваши редкие письма, в которых столько, как бы прикровенно, скромно, утаено ласковости и нежности. Много-много получал я писем от читателей-читательниц, — и много в них бывает и признательности, и заботливости, иногда истеричности ласковой, — но ни одно не вызывало, не рождало таких чувств во мне, как Ваши письма. Но довольно, Вы умны, Вы все чувствуете, — сердце Ваше заполняет и восполняет все несказуемое. Вы радуетесь, что я пишу наши «Пути»... — я их почти не пишу, а живу ими только, сердцем вычерчиваю, — условия жизни не дают больших полос свободного времени, а я иначе не могу работать: я могу писать, когда знаю, что ничто меня не оторвет. Но вот какая подробность: одновременно с Вашим письмом, пришло другое, от одного литератора-публициста былого времени, вдохновенное до удивления, — с великой хвалой «Путям Небесным», и как бы «требованием» — непременно закончить. В тот же день явился одни чуткий читатель-музыкант с ворохом книг моих для надписания, и стыдливо просил — о «Путях» — то же. Да, я знаю, есть у меня обязательство перед русским читателем. И я его должен выполнить, и что-то говорит мне, что светлая Ваша воля и Ваша дума о моей работе — помогут мне духовно. Сознание, что Вы ждете завершения труда, что Вы этого хотите — для меня уже повеление. Ибо чуется мне, видится духовным взором, что все это не случайно, а д а е т с я. И я крепче чувствую связь свою с дорогими отшедшими.

Не хвалите меня, я знаю Ваше отношение к моим писаниям. Не надо этого. Ведь когда любишь что искренно и полно — слова беспомощны высказать полноту. Вы пишете о визе... — я не понял: для чего виза? или Вы хотите приехать? Но не будет ли это неосторожно? В бурные времена лучше быть у своей пристани. Я — Вы это понимаете — был бы рад личной встрече с Вами, но я еще более буду рад, зная, что Вы у пристани, что никакие тревоги и неудобства Вас не коснутся. Будемте же перекликаться, только. И потом, еще... — увижу Вас, услышу Вас, и станет мне грустно, когда не станет Вас. А это может быть. Лучше и не видеться. Правда?

Вы спрашиваете о моем Ивике. Он вернулся, окрепший — он атлет-красавец, глаза у него и некоторые черты лица — так напоминают мне моего погибшего Сережечку, — общая у них кровь: он сын родной, по матери, племянницы моей Оли. Он любит меня, ласковый, не громко, но хорошо любит, я это знаю. Он снова на высших математических курсах при своем лицее[64], готовится к трудному конкурсу в Эколь Нормаль Суперьер, — его не влечет прикладное, он весь в чистой науке, готовит себя на путь ученого. Он умен, серьезен, очень к себе строг, с огромной волей. Политика его никак не трогает, он даже газет не знает, — в ином живет, в проблемах высшего математического знания. Что выйдет из него — не знаю, но должно выйти, — его очень ценят профессора. В субботу он приходит ко мне ночевать, я его покормлю, что есть, любит музыку, — это вторая его страсть, а третья — атлетический спорт, гимнастика на аппаратах. Оля моя воспитала его, живую душу в него вложила, скромную ласковость и чистоту, и простую веру. Мы его окрестили, когда ему было 6 лет, — теперь ему 21, — и имя ему Ивестион, — он по метрике своей — Ив.

Ну, дорогой друг, милый друг, нежный друг мой... мне хорошо от Ваших писем, я так привык к ласковости и нежности, и все это ушло от меня, и с какой болью! Такие утраты пережил — самое дорогое взято. Сына я потерял в Крыму... — ах, какой он был! Больно... Цветы Ваши — та же ласка, благодарю, целую руку, пославшую их.

Ваше письмо, писанное в ночь под Великий Четверг, я получил, и оно было для меня самым ныне близким «Христос Воскресе». Хотел бы приложить Вам ландыш, но... устыдился «сантиментальности». Но я мысленно посылаю, Вы его создадите воображением, оно у Вас живое, яркое, — чувствую. Я могу иногда вызывать этим благом у человека, одним из ценнейших благ, могу вызывать в с е, до осязаемости. Сейчас я вызвал, как пахнет первый ландыш, впервые увиденный мной, в детстве... — словами не скажешь. Я иногда так хочу услыхать Ваш голос, стараюсь вообразить звук его... — нет, не могу. А какой голосок у ландыша? Кажется, звон, еле слышный звон тонкого-тонкого фарфора, тончайшего, чистейшего... А слышите ли Вы шепотливый шорох голубых — синих, скорей — лесных колокольчиков, крупных, росой облитых? Когда встряхнешь целый пучок — как они шелестят, с подзвоном, приглушенным! А как шуршат спелые колосья!

В «Путях Небесных» — этому, всей природе я хотел бы пропеть славу словами моей Дари... — я хочу сам уйти в наши просторы русские, в звоны монастырские, в молитвы, в зимние поля, в глушь парков старых поместий... в сенокосы... в метели, в хозяйственный деревенский быт, — и все пронизать с в я т ы м, наполнить е ю, и через нее, Дариню, показать читателю русский мир Божий. Необъятность всего, что видит мое воображение, делает меня иногда немым и изумленным, — не одолеть! Но... надо; надо попытаться. Мне иногда кажется, что это н а к а з мне — написать, закончить, отразить уже д а н н о е, таящееся т а м, от века. Помните ли, если читали «Основы художества»[65], о совершенном в искусстве, Вашего профессора[66], — как в переводе Фета[67] говорится у персидского поэта Гафиза? Там приведено:

Сошло дыханье свыше,
И я слова распознаю:
«Гафиз, зачем мечтаешь,
Что сам творишь ты песнь свою?
С предвечного начала,
На лилиях и розах,
Узор ее волшебный
Стоит начертанный в раю...» — ?[i]

Это из тайн подлинного творчества. Ах, сколько бы мог я рассказать Вам, как, к а а к писались «Пути»! Всю правду... и Вы, м. б., убедились бы в истинности слов Гафиза. Вот почему трепет охватывает, когда думаешь что н а д о написать, что это непостижимо трудно, что... м. б. и надо спешить...

О, я знаю, мы могли бы много-много сказать друг-другу, и все понять... — но надо быть и благоразумным и покоряться требованиям жизни. Как говорил один татарин в Крыму: «тяни твои ножки, пока твое одеяло длинен будет». Так-с. Кстати, Вы читали мое «Под горами»[68] — очень давнее... Есть в немецком издании, — называется «Ли-и-бе ин дер Крим», издание Университетской библиотеки. Реклама. Подлинник вряд ли найдется, у меня один экземпляр, авторский. Итальянцы еще издали[69], — европейцы любят «экзотику». Там много еще юного-меня, хотя я писал эту вещь не юным уже, а молодым, но до 10-го года, помнится, до «Человека из ресторана». Там — юная любовь, «татарская». Видите, какой я смелый был? Прав-

---

[i] В оригинале разбивка стихотворения на строки отсутствует.

да, чтобы писать это, я проглядел десяток томов «Энциклопедии Крыма», изучал Коран и татарский фольклор, — но все же это, пожалуй, не истинная картина, а приличная олеография. Теперь мне смешно вспомнить, но писалось с горячей искренностью. Я начал, было, недавно, рассказ — «Дар чудесный» — и бросил: очень больно. Вспомнились дни счастья, молодость наша, наша поездка[70], в первый раз в жизни в горы, пикник, родники, собачка, моя Оля, мой Олёк, амазонкой, впервые севшая в дамское седло, но — как! Были удивлены татары-наездники. Наследственность[71] сказалась! Сперва, перед посадкой, татарин говорил ей: «Сыди, как свэчка... лошадь умней тэбя!» А потом — «зачим обманул — не ездил! сами лучши амазан, много ездил... плут ты, синие глаза...» И не стал писать... больно. А какая тема! Открылось — человек владеет таким чудесным даром — носить в себе чудесный аппарат — воображение... Я и сейчас слышу, как собачка хрустит головкой тараньки, под камнем, на вершине Чатыр-Дага[72]... я слышу аромат от шашлыка, вижу бессмертные глаза... — доселе! Мог бы написать все, в два-три дня, и вряд ли напишу.

Ну, до свиданья, милый друг, ласковость родная... до свидания в письме.

Да, Вы говорите, что Вы кажетесь себе *ни*<u>чтожной!</u> Бросьте. Вы знаете, что все мы «куплены дорогою ценой»[73] (Ап. Павел). Как же можете говорить?! Я-то Вашу «цену» знаю, но не стану писать об этом. Скромница Вы — вот и все, что пока скажу. Иначе взволнуют Вас мои оценки. Как Ваше здоровье? — Напишите. Как Ваша мама? Надеюсь, все хорошо. Самое мое острое желание, чтобы Вы были спокойны. Почему так? Ну — потому что я тогда покоен. Видите, какой я себялюбец! Целую Вашу руку, милый, хороший друг. Жду Вашего образа, — оживлю его воображением — вот Вы и близко. Ваш Ив. Шмелев

[Почтительно кланяюсь] Вашей маме.

26

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16 июня 1941

Дорогой, милый Иван Сергеевич!

Не могла, не хотела сразу отвечать Вам на Ваше такое милое мне письмо. Не хотела слишком скоро прервать праздник, предвкушение радости беседы с Вами. Я ежедневно мысленно говорила с Вами, наполняла целый день

общением с Вами и чувствовала, что, написав письмо, поставлю как бы точку. Но все же сегодня я не могла дольше и молчать, и вот пишу полная радостными мыслями о Вас. В Духов День[74] я так много думала о Вас, т.к. вспоминала, как 2 года тому назад (тогда это не был Духов день)[i] я решила писать Вам в первый раз. Ах, если бы Вы знали, как я писала и что это был за день! Искренней не могла я быть больше, чем тогда, и говорило у меня само сердце. И потому, м. б., и Вам это сразу почувствовалось. Много я тогда переживала...

Вы для меня так много значите, так много мне даете, что я не могу выразить.

Как мне трудно писать Вам, не говоря многого, т.к. Вы это запрещаете, а между тем это так важно мне.

Вы говорите, что лучше мне не стараться приехать лично. Я конечно поступлю так, как лучше для Вас, но мне хочется сказать почему я этого хотела;

в последний раз скажу то, что Вы мне запретили говорить, т.к. иначе нельзя.

Вы для меня наставник, учитель, источник правды душевной. Вы для меня ключ воды живой[75], к которому я стремлюсь всей душой. У меня много, много вопросов к Вам, вопросов жизненных, важных на всю жизнь. Я не могу писать Вам обо всем и не хочу отягощать Вас в письмах моими заботами. Мне грустно, что я опять должна говорить то, что Вы не хотите слушать, но что же мне делать? Как дать Вам понять и поверить, что только у такой Души, как Ваша спросила бы я совета на Жизнь?! Беседу с Вами я сохранила бы до конца моих дней в душе и сердце. Я эгоистка, и мне этого стыдно, но это правда, все то, что я пишу, и я хочу, чтобы Вы меня поняли.

Когда я говорю о своей ничтожности, то это не «скромничанье», — нет. Это моя боль, это правда. У меня есть вкус к добру, и я способна видеть то, что мне не хватает, и это меня мучает[i]. Я напротив — духовно очень себялюбива и горда. Прежде я была лучше и любила больше ближнего.

Мой дорогой, далекий, светлый Иван Сергеевич, я никогда не хочу писать Вам о моих трудностях[i], *т.к. Вам нужны* светлые, радостные письма, — я это чувствую[i]. Но мне иногда хотелось попросить Вас помолиться обо мне[ii].

И у меня есть «но» при мысли о встрече с Вами, вернее при мечте о ней. Я боюсь, что я в воображении Вашем со-

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

[ii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, его помета: ?

всем другая, и что мне будет больно, когда я в оригинале не буду соответствовать созданному Вами образу и утрачу Вас[i].

Этого я так боюсь, что только поэтому одному не решилась бы увидеться с Вами. И потому я уже теперь не хочу, чтобы Вы представляли меня лучше, чем я есть. Мне стыдно за все плохое во мне. Ради Бога, верьте мне, что я не скромничаю. Ведь у каждого человека бывает желание быть справедливо судимым. Я очень не люблю несправедливости в ту и другую сторону. Я не люблю себе приписывать добродетели, которых у меня нет. Я только скорблю о том, что я плохая. Не говорите мне ничего об этом, а то выходит, будто я напрашиваюсь на Ваш протест. Ничего об этом не надо говорить. Только лучше, если Вы меня будете считать просто очень мелкой женщиной[i] с обычными недостатками, — тогда мне легче жить. Тогда я не буду себе казаться вороной в павлиньих перьях. Как-то все глупо выходит. Но Вы поняли? Только одно истинно прекрасно, чисто и свободно от «ничтожности», — это мое искреннее, правдивое чувство душевности, духовной любви и преданности Вам. Это моя правда, святая и искренняя.

Но довольно о себе. Я поступлю во всем так, как хотите[i] этого Вы. Но все же я иногда мечтаю[i] и представляю себе различные картины[i], увы невозможной, встречи. Я говорю тогда с Вами о многом, стараясь угадать[i] Ваши советы, стараясь понять и увидеть жизнь[i].

Как волнующе-чудесно знать, что родится Ваш дивный роман, что «Пути» намечаются и оживают... Я бы хотела хоть какую-нибудь жертву принести этим «Путям», хоть бы как-нибудь, каким-нибудь участием способствовать их появлению, их оживанию. Подвиг души бы на себя положила, чтобы легче было Вам писать. Как бывало в старинных сказках: — один может своей жертвенностью помогать другому. Если бы это было можно!

В «Путях Небесных» — Божественное скрыто, будто бы собраны искры Божии, заложенные в людях, природе, способные проявиться на нашей грешной земле. Я плачу, когда читаю о желании Вашем пропеть гимн всему этому Божьему, нашей русской природе, всему, что дорого всем нам. Да подкрепит Вас Бог!

Я несколько раз порывалась сказать[i] Вам, что чувствуется необычайность в «Путях Небесных», Ваше Святая Святых, — но я не говорила этого, т.к. боялась быть не-

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

скромной. Я так это понимаю! Именно как у Гафиза! Я очень люблю «Основы художества». Милый Вы, как понимаю боль Вашу утрат безвременных, драгоценнейших! Как ужасно, действительно ужасно (не люблю это захватанное слово, но иначе не выразишь) все, что пришлось Вам пережить! Но Ваши милые усопшие конечно духовно с Вами! Как мог иначе называться Ваш сын?! Конечно Сергий! Я так это чувствую! Сколько любви, сколько гармонии, счастья. К чему утратить все это? За что? Для чего? Я понимаю как больно Вам писать о прошлом счастье. Но все-таки есть радость у Вас того, что Было. Печальная радость, но все же радость. Да, чудовищно то, что отнято у Вас! И ведь Вы поете, Ему, Единому Творцу, Ему, чья Воля да святится! И Он благ и не оставит Вас своей милостью. Я так этому верю. Не может быть иначе!

Я к сожалению не читала «Под горами»[i]. Постараюсь найти в немецком издании, но в Голландии ничего нет, — напишу в Берлин.

Мне радостно было узнать о Вашем Ивике (я зову его Вашими словами). Родная, близкая душа с Вами, и приятно это сознавать. Я ему заочно желаю успеха и продвижения в науке, счастья и радости. Это ведь и Ваша радость. Как мне хочется сделать для Вас что-нибудь! Если бы я жила в Париже, то я постаралась бы все, все сделать так, чтобы у Вас много времени для себя было, покоя, бестревожности. Ну, что я могу отсюда сделать?! Ничего. Только всей душой желать Вам этого.

Мы здесь живем чудесно: парк такой роскошный, не вылизанный по-английски, а больше русский. Я сижу сейчас под елками, и все кругом меня цветы, цветы, простенькие, синенькие, желтенькие, беленькие, совсем «наши». Птиц масса. Ежик бегал только что. Галки (люблю их уютное цоканье) возятся на деревьях и галдят, птенцов кормят. Солнце, облачка белыми барашками бегут. В Голландии небо очень красиво меняется, и облака — целая картина. Я смотрю на них и думаю, думаю. Ах, если бы можно было Вам погостить у нас! Сейчас будем сенокос начинать. Но, конечно, все это не то, что у нас. Все машины, машины. И вообще быта нашего нет. Все другое. Завтра м. б. высидятся у меня цыплятки. Курица «самоседка». Но точно, конечно, не знаю. Щеночка я себе купила, и назову его «Бушуй» в память Вашего Бушуя[76]. Видите какая обезьянка! Правда он еще такой маленький и совсем не бушующий. Крысолов

---

[i] Помета И. С. Шмелева: и не надо.

он, — здесь масса крыс, от воды. Ах как чудно сейчас запахло вдруг сеном и клевером!

Как отдохнули бы Вы у нас! Невозможно? Теперь невозможно с визами, я знаю, ну а в принципе? И гостить долго-долго, пока мы не надоедим? Ну, это только мечты, мечты мои, если нельзя, то я молчу... Только церковь от нас далеко. Это грустно. Мы от Пасхи не были до Троицы. На Троицу ездили, и мы с мамой ночевать остались в церковном доме, чтобы и Духов День еще там побыть. Приехал и муж мой в Духов День. И вот так надолго. Батюшка[77] хотел все у нас литургию служить, но мы сами (очень того по существу желая) отклонили, т.к. чувствуется будто недостойно в обычных наших грешных комнатах таинство совершать. Хотел он у меня для этого православных детей собрать для приобщения Св. Тайн (живущих в Утрехте и окрестностях), но эти дети никогда еще не бывали в храме, и думалось мне, что жаль, если у детей первое их такое Святое останется[i] в воспоминании какой-то профанацией. Все-таки у нас самый обыкновенный дом. Батюшка тоже согласился. Хотели было устроить всенощную, но с детками-то тоже каши не сваришь. Мало у всех тут русского, — смешанные браки, и потому все это трудно. Мне бы очень хотелось взять православного ребенка на воспитание. Не знаю только как, т.к. хотелось бы именно православного, маленького совсем. Много остается теперь сирот всюду, но как их получить? Или русского или славянина вообще. Но этим желанием[i] я только с Вами делюсь, пока. Пожелайте, чтобы это удалось! Здесь мало русских. Поистине прекрасная семья бывшего священника здесь[78], — вдова и ее дочери. Потом еще есть одна милая дама в Утрехте[79]. С ней мы видимся. Батюшка наш очень молодой монах, верующий, хороший священник. Мы с ним друзья, но все же Духом не близки. М. б. потому, что он еще по-молодости не очень опытен? Впрочем, близость Духа не наживается опытом. Нет, не то, — родственности Духа с ним не чувствую. А так мы с ним друзья. Жду его скоро в гости к себе на недельку так. Он любит природу и радуется всему трогательно. Во время моей болезни, много меня поддержал. Ну, милый Иван Сергеевич, кончаю, жду весточки от Вас, если не будет для Вас слишком часто, напишу еще, скоро опять. Посылаю мою фотографию, не последнюю (несколько лет назад) и очень уповаю, что дойдет. Не знаю, похожа ли. С большого

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

портрета дала уменьшить. Прикрасил фотограф. Много, много светлых дум о Вас, дорогой мой! Ваша Ольга Бр.С.

27

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.VI.41

Милый друг мой,

Послал Вам заказное письмо. Не оставляйте меня без вестей от Вас: мне так легко, когда Вы думаете обо мне, это мне дает силы в моих трудах. Вы — благословение Божие мне, Вы указаны и ея светлой душой, я верю, — моей Олей.

Я так озарен событием 22.VI[80], великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной. Как Вы душевно близки мне — слов не найду, — высказать. Милый, светлый мой друг, я думаю о Вас всечасно, и сам не понимаю, что со мной. Знаю — теперь я могу писать, хо-чу писать. Ваш Ив. Шмелев

28

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8 июля [1941]

Мой милый, бесценный друг!

По получении письма Вашего, непрерывно думаю о Вас, днем и ночью, и невыразимо... страдаю. Не удивляйтесь, да, очень и тяжко страдаю, страдаю от невозможности полнейшей говорить о самом важном, говорить так, как это должно. Столько чувств, мыслей и состояний пережила я за эти дни, что Вам и представить трудно, и вот от невыразимости этого конгломерата душевных волнений становится еще мучительней... О, если бы не пространство! Ваше милое письмо в своей личной (как бы), ко мне обращенной части, меня захватило радостью чрезвычайно, и ничего, кроме этой радости, не вызывает, и я полна ею. Сердце мое рвется Вам навстречу, и это чувство радостной взволнованности живет и поет во мне, и толкает Вам писать скорей, скорей. И вот несмотря на остальные чувства, несмотря на

то, что я просто не знаю как подступиться (к, как Вы называете, «важному»), я во имя нашей личной дружбы пишу — я слишком много живу одной душой с Вами и думаю; думаю и знойным днем (у нас чудесное лето), представляя, что Вам непременно такое солнце понравилось бы, — на румяном закате, когда чуть-чуть повеет прохладой, думаю ночью, стоя перед прудом, на островке которого так сказочно белеет старинная башенка, вся залитая луной. У нас только теперь начинают петь стрекозы. Я выхожу в таинственную полутьму ночи, чтобы говорить с Вами... слышите Вы тогда меня? Как дивно здесь у нас! Рай! Гостили у меня батюшка, потом вдова бывшего священника, постоянно бывают и другие на 1—2 дня. Они все зовут этот уголок «раем». Ах, если бы Вы были здесь!

Днем я много работаю в хуторском хозяйстве, т.е. без конца поливаю огород, подвязываю, подстригаю, полю и т.д., дома цыплята (прелестные!), кролики, вообще все домашнее хозяйство на нас с мамой. Я не держу прислугу, так что дела много. Кроме того, при постройке на хуторе масса трепки: мастера то и дело что-то хотят знать, да и нельзя их оставлять без подстрекания — уснут совсем. Целый день суеты, но это все бы ничего, если бы не постоянная забота о нашей дорогой Болящей[81]. Ее состояние удручает меня безмерно, и все то, что с ней связано. В связи с ней у меня получился какой-то драматизм[i] в отношении дяди Ивика: Хочу поделиться с Вами этим и верю, что Вы меня поймете и не осудите.

Вышло все из-за метода лечения моей любимой, вернее, из-за доктора. Вы знаете, что старушка всецело попала под влияние ее отвратительного племянника (семинариста дикого), мучившего ее своими безобразиями долгие годы и выматывавшего все ее добро. Всей своей болезнью она обязана ему, и нам так хотелось убрать этого хулигана. Недавно у нее появился новый врач в доме, настаивающий на хирургическом лечении. Дядя Ивик от него в восторге, веря, что он и племянника сумеет удалить, и старушку вылечить.

---

[i] Рвусь быть искренней с дядей, т.к. иначе не могу, — иначе я бы была очень несчастна. А высказав все дяде, мучаюсь, что как бы слишком навязываю свое. Я не навязывать хочу, но вдруг он так примет, для меня было бы это ужасно. И до той поры, пока я не объяснюсь с дядей, я не успокоюсь и не перестану страдать. Что-то он мне скажет в ответ?! Простите, что этим занимаю Вас.

Давно когда-то я тоже этого таким именно образом хотела, но вот посудите сами: за мою долгую (почти 15 лет!)[82] практику, за мой опыт, приобретенный во времена моей клинической бытности, я узнала, именно у з н а л а (не предполагаю, а знаю), что именно этот, вошедший в доверие Дяди Ивика, врач, не оправдает его доверия. Я знаю его так хорошо, как редко это может быть. Он гениален, как врач, но только для своего кармана, и если он узнал о семейных взаимоотношениях бабушки, то не выпустит ее из своих рук. Сравнивая *во всем* его (как человека, не как врача) с племянником-хулиганом, я могу лишь сказать, что «хрен редьки не слаще»! Я его очень, очень хорошо знаю. Его милая улыбка к бабушке — лишь маска волка, хотящего ее поскорее сожрать.

Ко мне лично и к нашим он относился всегда очень хорошо, так что я говорю строго объективно, только в интересах бабушки.

Я имела возможность в клиническую мою бытность его изучить вдоль и поперек, кроме того, его коллеги мне много о нем рассказывали, я со многими его лучшими друзьями была близко знакома.

О племяннике не может быть двух мнений, его надо убрать от «бабушки», но пускать в семью безморального, беспринципного, завравшегося и безбожного чужого человека — ужасно! —

У ж а с н о... Неизбывно. «Бабушка» умрет прежде, чем мы этого ждать сможем. В его собственном доме, его родня относятся к нему точно так же, как Дядя Ивик к племяннику бабушки. Именно лучшая часть его родни. Я много о нем говорила с доктором (которого Вы как-то назвали «Ваш профессор»), — и он с ужасом относился к его втиранию к бабушке. Он даже отчасти из-за этого разошелся с ним. Он мне прямо говорил: «волосы шевелятся, когда подумаешь об этакой возможности». Он был с ним прекрасно знаком, конечно, еще лучше меня.

Никто никогда потом не посмеет порога бабушкиного дома переступить, когда он расхозяйничается там. Я много полезного в человеческих взаимоотношениях видела за мои 15 лет бытности в клинике, и всю Страду Нашу общую оправдывала именно этим опытом.

Я благодарила судьбу, давшую мне возможность научиться тому, чего раньше не предполагала за покрывалом людской лжи, и э т и м о п ы т о м оправдывалась моя жизнь и мое назначение в ней. Я видела цель моего пребывания там и стремилась, не держа опыт только в себе, дать

его и другим, видя в этом особую важность... Ну а теперь о Дяде Ивике: я повторяю, что думала так же, как и он, но это была ошибка.

Вы хорошо знаете, как я люблю Дядю Ивика, что он для меня значит.

Теперь представьте, что дядя в полном восхищении подлецом, веря ему, не подозревая подлости, делал оценку на свой, честный аршин. Дядя рад, счастлив, что нашел для матери хорошего друга, а не допускает того, что это сам Дьявол, по словам «моего» профессора — это «гад».

Что делать мне? Я думала молчать, не пытаться делать ничего, но не могу. Не смею. Это было бы нечестно с моей стороны. Я боялась дядю лишить радостности его, боялась хоть какой-либо дисгармонии между нами, боялась, что мой крик души, кровный крик, пропадет даром. Но я решила все же сказать дяде. Я не хочу вмешиваться, навязывать свое мнение, и не смею этого делать, — но я обязана сказать то, что знает моя совесть. Я хочу на коленях, да, на коленях, просить во имя Бабушки прислушаться дядю к словам моим, и если он пока что их душой понять не сможет, а сердцем м. б. подсознательно не захочет (я конечно не сетую на это!), то просто м. б. он выждет еще немного. Он скоро убедится сам! Любя Дядю Ивика, я мучаюсь уже заранее тем, что он, такой чтимый, такой видный в нашей семье, вдруг сможет потом о чем-то из сказанного пожалеть. Его, именно его слова так много для нас всех значат, и если он делает мерзавцу хорошую рекомендацию, то это открывает последнему двери многих сердец. Если бы немножко подождать дяде! Пока что так опасны его слова. Это моя правда, — большая, чистая Правда. Не знаю, как это дядя примет. Хочу еще ему особенно подчеркнуть, что: 1) я никогда не на стороне племянника и что сама бы приняла все меры к его уничтожению; 2) хирургическое вмешательство конечно необходимо, как бы то в возрасте бабушки ни было опасно, но нельзя полагаться в своих делах на чужих людей, дарить им доверие, и кроме того, таким гадинам, как этот развратник беспринципный, знающий только свой карман. Дядя судит по нашим докторам-бессребреникам, которые работали по идее на добро Человечеству. Здесь, в Голландии, таких врачей нет! Ну, милый Иван Сергеевич, я надоела Вам, верно, своими рассуждениями. Простите! Жду очень, и скорее, Вашего ответа.

Я и мама здоровы. Напишите больше о себе!

Душевно Ваша О.

Напишите мне, пожалуйста! Я так жду!!

Отправляя уже письмо, получила Вашу открыточку. Мой милый, родной, прекрасный, шлю Вам привет от всего сердца. Мне так хочется молиться вместе с Вами! Молиться о том, чтобы мы остались надолго, навсегда в гармонии Души!

29

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23 июля 41 г.

Дорогой, далекий, прекрасный мой друг!

Сколько радости, волнения чудесного испытываю всякий раз, получив Ваше письмо. Я не могу никогда сразу отвечать Вам, хоть и думаю о Вас постоянно. Не могу, т.к. слишком волнуюсь для связного изложения мысли. Вот и сейчас еще не могу. Первым порывом бывает всегда острое желание Вас видеть и слышать, такое сильное желание, что плакать хочется от его неисполнимости.

Я должна Вас увидеть!

Я так боюсь всегда Ваших похвал мне... И с ужасом думаю о Вашем разочаровании. После моего разговора в отношении дяди Ивика каждое ласковое слово Ваше жжет меня укором как каленым железом. Я нечутка была. Я не смела лишать дядю радостности. Но что, что мне было делать? С тех пор как я с ним объяснилась, страдания души моей еще усилились, ибо чувствую сердцем, что больно ему стало. Я думала эти дни даже, что м. б. правильно выражение «святая ложь», — которое я никогда не оправдывала раньше. Тут была бы не ложь, а замалчивание разности мнений. М. б., это было бы нежнее. Но нет, я не могла и не могу так. Мой Дядя — моя совесть, мой душевный мир. Я не могу быть с ним неискренней. Скажите же мне, ради Бога, осталась ли я еще для Вас все прежней? Не мучайте меня ожиданием слишком долго! — Письмо мое предыдущее Вы верно получили? Господи, зачем я не могу говорить с Вами! Сколько раз я Вам вдогонку писать хотела, но не смела, думала, что надоедаю еще больше. Ваше последнее письмо мне дало силы и веры, что, м. б., простите. Хотя тут не в прощении дело. Мне больно, физически больно, что я доставила Дяде что-то неприятное, дала не то, что он ждал. Мучает меня именно невозможность ничего сделать для Дяди. Я не сплю ночи, беспрестанно думая о дяде, и Ваше чудесное письмо последнее к именинам я не могу, не

смею отнести на свой счет теперь. Вы верно не написали бы его таким, зная о моем письме к Дяде?! И еще главное то, что я все не полно и не совсем так высказалась, так, что Вы м. б. всего не узнали. Проще было бы говорить.

Я живу Вашей же мечтой, Вашими же надеждами, м. б. лишь иначе облекая их! Дорогой Иван Сергеевич, если бы Вы знали, как Вы мне близки и дороги! Если бы Вы знали, как много Вы мне даете Света и радости! Никогда еще я не чувствовала того, что чувствую в отношении Вас[i], — это такое вечное желание постоянно заботиться о Вас, сделать Вам что-то очень хорошее, и постоянный страх, что это не удастся. Ах, если бы Вы поняли меня! Я так живо чувствую все, что Вас касается!

И Вы понимаете, как я теперь страдаю! Как не люблю себя. Но все же не вижу, как бы я поступить могла иначе? Дорогой мой, родной и Светлый... посмотрите мне немного в сердце и узнайте, что в основном, Святом и главном, в нашем всех общем тоже, — у нас с Вами нет разногласия. Я верю, что Вы это почувствуете.

Вы спрашиваете, не помню ли я, что заставило меня писать Вам впервые? Конечно помню. Это было не «просто так».

9-ое июня, или 27 мая ст. ст. — день моего рождения. В 1939 г. этот день был не радостный для меня день, были неприятности. Я была настроена душой особенно восприимчиво.

Чувствовала себя как-то странно, м. б. ненужной миру, этот день казался мне без смысла. Я долго так одна сидела перед окном и равнодушно смотрела на солнце, и не хотела его видеть[i]. Мне было страшно подумать о поздравлениях, «веселых взглядах» и т.п. Я казалась себе такой одинокой[i]. Глаза мои упали случайно на почту, где было письмо от мамы из Берлина, а рядом еще полученный накануне пакетик тоже от мамы, который я нарочно оставила «до завтра». Открыла и увидела Вашу книжку[i 83]. Мама знала, что я так хотела собрать постепенно Ваши книги (в Голландии их не достать было вовсе). Я стала читать давно мне знакомое, и Ваша любовь к жизни, Ваше Святое, Ваша нежность и простота свершили что-то странное в моей душе. Я, сидя одна в душной гостиной, не видящая сияющего дня, вдруг увидела Вашими глазами, Ваше сияющее небо. Я плакала так сильно и безудержно над всем *Вашим*, что мне вдруг стало легче. Вы были так близки, так родны,

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

так понятны. И было радостно знать, что Вы где-то есть. Я перечитывала одно и то же, и мое личное стало уходить на задний план. Я ощущала душой своей Вашу Душу[i] и чувствовала, насколько одиноки должны быть Вы. Испытав только что одиночество сама, я остро и больно страдала за Вас. Страшно за Вас, как за близкого мне человека...

Я никогда никому не писала так, как Вам[i]. Много раз, в юности, увлекшись певцом, художником, музыкантом, поэтом, чувствовала какое-то желание выразить это, но не говорила и не писала никому и никогда. —

Я писала Вам от сердца, заливаясь слезами[i] только что улегшегося страдания[i], любви и сострадания к Вам. Моих тогдашних переживаний я не забуду никогда...

Мне как будто бы кто-то приоткрыл мою завесу мрака и показал Ваш Свет. Была ли это Воля Вашей Светлой покойной или папа мой обо мне помолился? — М. б. и то, и другое?

Переношусь в российскую усадьбу и вижу вечер золотой и тихий, и прудик и ветлы и чету, идущую из церкви[i]...

Вижу с Вами вместе, мой прекрасный, удивительный, нежный[i]!

Как трогательно *это «девочка под вуалью» и «листочек* ивы», и «взгляд». Как прекрасна, верно, была Она. Но ведь Она и есть, и Вы это знаете! Она так же с Вами, как папа мой со мной. Знаете, всякий раз, когда нам предстоит перенести тяжелое, Он, папочка, снится маме, как бы ободряя ее. И мы всегда выскакиваем из беды. О. А., конечно, всегда хранит Вас. Я в этом тоже уверена.

Вы знаете, так странно, но даже Ваши близкие мне дороги. Вот и об О. А. я вдруг так заплакала, прочитав о «девочке под вуалью»[i]. Так, будто я ее знала и я ее любила. И отца Вашего, и Горкина люблю и оплакиваю. Об О. А. я так внезапно для себя расплакалась[i], что за завтраком мама и муж спросили, что такое у меня случилось. Я понятно не сказала правды — никто бы этого не понял.

Как мало слов в нашем богатом языке[ii]!

Я не могу выразить Вам все, что хочется!

То, что Вы пишите о Ваших книгах и образах так необычайно, так Велико для меня, что я не могу всего сказать в этом письме.

Ваши сравнения меня с Анастасией[84] и Олей Средневой[85] — не знаю, что на них и сказать...

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

[ii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, в скобках его помета: чудесно!

Только то, что я боюсь Вашей ошибки[1] во мне! Я этого боюсь как кошмара! Ужасно боюсь[i]!! Почувствуйте это! Я бы хотела скорее, скорее видеть Вас и узнать, откажетесь Вы от меня такой, какой видите теперь или нет[i]. И если да, то пусть скорее! Как самоубийца, торопящийся свое задуманное свершить уж поскорее.

Я не сомневаюсь, что Вы ошиблись во мне[ii]. Но все же, хоть эти ложные пара лет[iii] [86] будут мне светить еще и после!

Ведь Вы меня тоже вырвали из темноты! Ах, как любите Вы Жизнь! Как молодо у Вас все! Как чудесно! Как влечет! Как нежны Вы! — Таких немного, а м. б. и нет теперь. Когда-то я наивно верила, что все такие, вот как Вы, как папа мой, и во всех видеть хотела добро. Как больно было увидеть другое! Какой это Дар великий в Вас — так уметь приобщать через Вас к Жизни!

Сегодня я не могла спать и встала посмотреть из окна[i]. Было чудесно над прудом таинственно и чуть-чуть страшно[i]. И так волнующе светили звезды в небе... Я посмотрела еще на воду и вдруг «открыла», что эти звезды *глубоко тонут*[i] и в прудочке. Это так естественно, но мне казалось особенно необычайно. Так часто зачаровывает нас нежданностью восход солнца, происходящий, однако каждый день[i].

Я долго смотрела на звезды и думала[i] все о Вас. Я завтра буду смотреть на небо в 12.30 и скажу Вам сердцем, что думаю о Вас, о Вашем ушедшем счастье, о Вашем светлом Друге-Ангеле[87], невидимом, но все же живущем и молящемся о Вас. Я помолюсь о Душе ее в день нашего общего Ангела. Я также думаю о Вашем сыне, и мне очень, очень больно. И так грустно, что ничем, ничем не могу Вас утешить... Я грущу невыразимо от слов Ваших некоторых. Знаете — о «завершить Путь». Не думайте так! Вы пишете, что «это "чуть" длится уже 6 лет...». Вы стало быть часто думаете об этом.

Дорогой мой, мне это так больно...

Свечка не могла сгореть на много больше, ведь для этого слишком коротка служба[iiii].

Я чувствую, что это «чуть» будет еще долго, долго. Только не надо об этом так много думать! И то же о Вашей заботе литературной:

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.
[ii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, его помета: удивительно!!
[iii] Помета И. С. Шмелева: на годы.
[iiii] Помета И. С. Шмелева: !!

Конечно, я всю себя дала бы в распоряжение для того, чтобы Вам было спокойнее, и все всегда сделаю из всех моих сил. Но какая горечь в этой «заботе». Я много над этим плакала. Вы должны мне поверить, что Вы очень, очень дороги мне[i]! Мне надо сейчас пока кончить, но я еще продолжу.

Уже ночь. Время так быстро ушло: сначала надо было пить чай, потом обедать, потом ходила за ягодами, и нужно было их разобрать тотчас же. Но все время я в мыслях с Вами[ii]... Вечер был чудесный. Безоблачно-золотой закат. Я шла навстречу солнцу, и текучее золото слепило глаза. Впереди вилась вся золотая в блеске солнца дорога, и по сторонам высокие ячмени. Золотой свет падал на поля, и ослепленным взором нельзя было ничего различить, кроме длинных усиков ячменных, горящих, золотых. И казалось, будто земля отвечает солнцу таким же сиянием[iii]. Мой дорогой, далекий, Вы были тогда в моей душе[ii]...

Мне так много хочется сказать Вам, но уже так стало поздно. Я скоро, скоро буду писать ответ на Ваше письмо. И много хочется сказать о Вашем творчестве. Скажу и [о] своих мечтах. Еще с детства. Расскажу Вам одному.

Я «Неупиваемую чашу» читала давно, еще совсем не видя, не сознавая Вас. У меня ее нет. Если бы можно было ее иметь сейчас! Как бы я была Вам благодарна! —

«Куликово поле» я не читала целиком, но отдельными отрывками. Я была в Голландии уже, когда оно вышло. Здесь теперь ничего нельзя достать. Мне это ужасно больно. Я все хотела бы прочесть Ваше! Когда я и на чтение Ваше шла, то еще Вас душой не увидала, но там, в зале, у меня впервые появилось чувство нежности к Вам и желание Вам добра. Помню меня возмущало, что зал был темный и с плохой акустикой, и вообще неуютный. Помните? Я слушала и других, например Бунина[88], но ничего подобного не испытывала.

[На полях:] Вот уже кончая письмо, наконец, решаюсь попросить Вас, дорогой Иван Сергеевич: пришлите, если это не затруднит Вас, мне Ваш портрет. Я смотрю на Вас только в книжке, а мне хочется видеть Вас часто. Моему брату Вы подарили, и я урывками смотрела. Я жду.

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, его помета: !!
[ii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.
[iii] Помета И. С. Шмелева: !!

Почему Вы никогда не пишите о Вашем здоровье? Я прошу очень Вас беречься! Спасибо за привет маме. Она Вам тоже кланяется.

Всей душой Ваша, О. Б.

Очевидно, одной Вашей открытки я не получила, о «смешанности образов», как Вы пишете.

30

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14 июля ст. ст. 1941 г.

Здравствуйте дорогой мой!

Не знаю прямо с чего и как начать!

Я так полна думой о Вас, так трудно выразить словами. Все эти дни я ежеминутно думала о Вас, тревожно, приподнято, радостно и боясь все время, что утратила уже Вас! (Ведь я еще все не имею ответа на мое письмо.) С трудом я проводила дни без того, чтобы не писать Вам, — так полна я была всем, что касается Вас. Хотела писать Вам сегодня, 14 ст. ст. и сказать Вам, что я переживаю душой этот день[89] с Вами. Но мне вчера уже трудно было молчать, и я все не понимала, ч т о-такое это беспокойство.

Вдруг вчера вечером приезжает какой-то мальчик и передает мне корзину — Expres. Я ломала голову, что, от кого и откуда?*

Какое-то странное волнение охватило меня, когда я раскрывала упаковку.

Описывать ли Вам то чувство, которое я испытала, увидев Ваше имя?!

Я окаменела от удивления, восторга, радости, нежнейшей благодарности Вам милому, нежному, — и от стыда за недостойность свою...

Зачем, зачем Вы так балуете меня?

Я не способна выразить все то, что меня волнует и, по правде говоря, я и сама себя не понимаю[i].

От какого-то детского восторга я ничего не могла другого сделать, как поцеловать розовые лепесточки цветка... Какое «спасибо» выразит мое чувство?! Я счастлива, что это растущий, живой цветок, который я могу растить и лелеять и много лет!

---

* Прислали цветок из Velp'a 24 в Houten, а Houten очевидно задержало еще 1 день. Голландцы заслали зачем-то в Velp. Не понимаю, т.к Utrecht ближе к нам.

[i] Подчеркнуто И.С.Шмелевым.

Господи, но мне так страшно подумать, что Вы, м. б., отвернулись от меня теперь. Как жду я Вашего ответа!!

Мне так много хочется Вам сказать, но я удерживаюсь, т.к. боюсь ответа Вашего. Если бы Вы знали, как дороги Вы душе моей![i]

Вот отчего все эти дни от 24-го и до вчера я так волновалась и думала о Вас! Это привет Ваш мне, живой привет был на пути ко мне! Зачем? Зачем?.. Вы так меня балуете!!

Если бы знали Вы, как мучаюсь я тем, что возможно доставила Вам горечь! Я не могу этого выразить.

Все это время я очень волнуюсь. Я не могу спать, и аппетит совсем пропал, как от волнения бывает перед экзаменом. Мои семейные уверяют, что я похудела и побледнела. Матушка, наша гостья, все время твердит: «что это О. А. с Вами, похорошели Вы, а так похудели, — совсем другая». Видите, я не больна, т.к. болезнь не красит, а похудела от грусти о Вас. Я боюсь утратить Вас. Я боюсь, что я уже утратила Вас. Лучше убейте сразу и скажите скорее. А м. б. я внушила сама себе этот страх, и Вы все тот же? Если бы это могло так быть! Но я боюсь, т.к. Вы слишком, слишком хорошо обо мне писали!

Как грустно мне! Как бы хотела я поговорить с Вами. Писать так трудно.

Я очень, очень хорошо понимаю Вашу боль о сыне Вашем. Я ненавижу кровно его мучителей-большевиков. Не думайте, что я не понимаю Вас! Я верю крепко, что Святое и Вечное в русском народе не умерло, и что Оно, это Святое, сбросит большевистское иго, и что Русский народ оправдает сам себя перед Богом и историей своей. Я рада была услышать о войне, т.к. что-то сошло с мертвой точки, и война поможет освободиться нашим родным и дорогим от сатанинской власти. Рано или поздно это свершится. Я твердо верю в свой народ! Вы тоже? Как молиться надо! Я очень взволнована, я плохо молюсь.

Сейчас цветочки Ваши стоят передо мной, — я любуюсь на них.

24-ое июля был яркий, чудный день! Как провели Вы его?

Я все время, не только [в] 12.30, но все, все время была душой у Вас. В 12.30 я пошла в сад и,.. только что вышла с веранды, как вижу, едут 2 гостьи, — одна тоже Ольга, праздновать именины у нас «в раю», как все «Wickenburgh» зовут. Я засуетилась и не могла уйти мыслью к Вам

---

[i] Абзац выделен И. С. Шмелевым.

так, как хотела. Но вдруг меня такой радостью захлестнуло, будто я что-то чудесное узнала и до того, что поделиться с кем-то хочется. Я даже постаралась сама себя уличить, не случилось ли чего, но тут же поняла, что это просто Ваш голос был ко мне. Это было удивительно, так необычайно.

Это было около 1 ч. дня. Я была очень весела и радостна до вечера. А вечером мне стало чего-то очень грустно... почему? Грустили Вы?

Я это все так ярко чувствовала. Я это не сочиняю. Это все честно!

Я каждый день хочу назначить время моего привета к Вам. Хотите?

Ну хоть в 11 ч. вечера. Суета дня уже уйдет, и еще не поздно. Я буду точно в 11 ч. веч. думать о Вас и Вы будете знать, что Вы не один. Да, Душа у Вас родная, близкая, своя! — «Одной духовной крови» — сказали Вы... В минуту отчаяния, сознания своей ненужности миру, я вдруг нежданно нашла отклик Ваш на свое страдание. Таких людей, как Вы, м. б., уже даже и нет теперь. Я разумею здесь, за рубежом... Такой Вы русский, чуткий, нежный, очаровательный, — слов не найду! Мне даже чуточку страшно, — примете еще все это за истерический бред у меня.

Но это сущая правда, и мне трудно молча это только в себе сознавать. Я не исступленно пишу, но совсем серьезно.

Для меня Вы — источник жизни!

Жизни юной, красивой, полной. Получили ли Вы мое письмо от 24-го июля, — я там уже писала, что Вы умеете приобщить к жизни через себя!

Пишите, дорогой друг, работайте, если можно. В Вас столько силы, столько истинной красоты!

С каким интересом я слушала бы Вас, о Вашей работе. Нет, не с интересом, а в Священном трепете!

Вот в Вас, в Вашей Душе столько огня из Божьей кошницы!

Для нас всех, а для меня как-то особенно, Вы такое сокровище! Что я могла бы для Вас сделать?!

Как больно сознавать расстояние?! Я все же верю, что увижу Вас! —

Ах, как много рассказала бы я Вам и о себе. Писать не могу. Я много видела горя. Жизнь у меня была не легка. Часто я роптала и даже (страшно подумать) говорила «зачем, зачем я родилась!» Мне казалось абсурдом, полнейшим всякое продолжение жизни. Мне за абсолютную истину казалось решение не иметь детей. Мне казалось преступ-

ным желание родителей для «своего счастья» давать жизнь новому человеку и посылать его на муку. И это была я, — я, которая в юности всю цель жизни видела в детях. Я радостно шла в жизнь. Я даже забыла об этом; мне напомнил один доктор, знавший меня по работе в первые годы в клинике и часто разговаривавший со мной о том — о сем, какая я была тогда. Я ужаснулась сама тому безрадостному содержанию в себе, слушая рассказ-воспоминание доктора обо мне же самой. Я не узнавала себя. И сказала ему об этом. Это был хороший, серьезный ученый товарищ. Тот объяснил это усталостью. Не знаю... Меня больно и беспощадно била жизнь. Но за все, за все я благодарю теперь Бога. Много мук было дано для моего же блага, и я бы не мучалась, если бы покорно принимала Волю Творца.

Но человек чувствует иначе.

Вы, каждым Вашим движением Души, каждым словом давали мне ответы на все. Я не знаю сама, какое чудо дало мне Вас. Не уходите же!

Теперь, за эти последние недели я нахожу в себе новые силы, я как-то иначе воспринимаю мир.

Ведь одно время я даже не считала себя вправе быть счастливой, — а Вы меня как-то подбодрили. Правда, моя черная полоса лежит далеко позади[i], но отголоски от нее оставались в душе очень долго. Я как-то так и не окрылилась вполне[i], хотя и жила и живу хорошо. Вы дали душе моей Живую Воду[i]. Помните, как в сказке: только после живой воды воскрес рыцарь. Боюсь, что в письме неполно и неясно... Но, м. б., Вы поймете.

О тоске «по невоплощенному» Вы говорите... Ах, я так много могла бы Вам сказать. Были, были мечты и у меня[i]... Я в России училась в Высшей художественной школе на живописном отделении. Я шла туда как в Храм. Буквально. И... ушла, — горько, с болью. Мне было 17 лет, когда я всю себя хотела отдать искусству. В Художественной школе были, как везде, большевики — футуристы, экспрессионисты, кубисты и т.п. Я слишком откровенно высказала свое мнение мальчишке-учителю. Не мог простить мне. Жизни не давал. Профессор отделения был из старых и как-то мне тихонько шепнул: «масса у Вас ошибок, но чуется мне что-то настоящее, мое же!» А сидела я над трудной акварелью и без указаний «футуриста-мальчишки» пробовала пробиться с а м а. Я летела домой как на крыль-

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

ях. «Масса ошибок» были мне как похвала за словами «что-то настоящее, мое же!». Через пару дней профессора выжили вместе с другими, и он уехал в Америку, а я осталась одна среди кого угодно, только не художников. Я ушла и поставила крест на искусстве... После мне было очень часто жаль, но не было другого выхода. За границей многие люди советовали, требовали даже, чтобы я продолжала, но я считала это для себя роскошью в наше тяжелое время изгнания. Мне нужно было скорее приниматься за дело, дававшее бы мне хлеб насущный. Я зарыла глубоко и наглухо в себе стремление к искусству, да и времени не было у меня, работавшей с 8 утра и до 11 вечера[90]. Я только очень изредка рисовала иконы. На живопись меня потянуло с раннего детства сильно и могуче. Теперь без необходимых данных, без подготовки, без «фундамента» я все равно художником не буду. Да и поздно... Поздно. Для многого я опоздала в жизни... Как быстро уходит молодость. А что я сделала? Как это горько знать! — Хорошим художником не быть, а плохим не хочу. На один миг мне недавно стало очень жаль, что упущено, т.к. страшно хотела бы иллюстрировать Ваши книги. Конечно с Вашего согласия. Но я задавила в себе и это, чтобы не дразнить себя.

О литературе?.. Я не рискую. У меня нет оригинальности. Давно, давно жил образ. Предмет. Высокий и Святой. Он толкал меня на Путь Искусства, он звал и приказывал. И все, все стерла жизнь. Жизнь с маленькой буквы, злая, тяжелая, скорбная жизнь. Этот образ родился в душе десятилетней Оли в церкви, и его намек я слабо попыталась дать на конкурсном экзамене на «вольную тему». «Старые» художники оценили, а молодые смеялись. Когда-нибудь скажу Вам все. Веря Вам, слушаясь Вас, м. б. я бы и попробовала писать, но у меня нет смелости писать о себе и нет оригинальности для другого. Простите, что так много говорю о себе. Кончаю, а сказать еще так много надо! Душевно Ваша О. Б.

То, что Вы пишете о Вашем творчестве, об искусстве, об образах, стоящих перед Вами, — так велико, так чудесно, так захватывает и поднимает меня! Обо мне Ваши слова настолько прекрасны, что мне их странно отнести к себе...

Ваша «Неупиваемая чаша», помню, на меня произвела большое впечатление, но тогда, когда я ее читала, — Вы еще были для меня просто талантливым писателем. Вы теперешний говорили бы мне конечно несравненно больше. И я не могу прочесть ее сейчас. Если бы я получить ее

могла — было бы большое счастье. Я послать бы могла обратно, если бы эта дама[91] хотела этого. Здесь ничего нельзя достать.

Сегодня слушала грамофонную пластинку хора Афонского[92] «Хвалите имя Господне»[93] и «Тебе поем»[94].

Знаете «Хвалите имя Господне» Львова[95]? Я его так люблю... Я очень люблю всенощную летом. Народу бывает мало, светло, хор поет звучно. И когда идешь в храм, то воздух уже не жжет, а ласкает, и стрижи так ласково перекликаются и задевают землю крылами. Я вспоминаю это из детства. И какое торжественное «Хвалите!»

Мне так хочется быть с Вами у всенощной. Больно, что здесь почти не приходится бывать в церкви.

И никогда нет хорошего хора.

Неужели никогда не увидеться с Вами? Родная, милая, нежная Душа?! Неужели?

Я верю, верно, что увижу Вас.

В прошлом письме я просила Вас о портрете. Пришлете?

Покойной ночи!

Я скоро еще буду писать.

Если я все еще смею, если Вы не отвергли уже меня.

Ах, если бы Вы поняли меня в том давнем разговоре о Дяде Ивике. Я не хотела спорить с ним и не несогласна в образе лечения бабушки, но только врача считаю неподходящим.

Мыслью долго, долго приветствую Вас дорогой, милый!

[На полях:] Получили ли мои письма от 9-го июня, 24-го июля?

Если Вам интересно, буду присылать любительские фотографии с меня, которые в изобилии делают брат мой и брат мужа.

Простите эти кляксы — это автоматическое перо так сделало. Я не переписываю. —

31

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VIII.41
Полдень

Каждое слово Ваше, свет мой, возвращает меня к жизни! Вчера получил Ваше канунное письмо. Клянусь, Вы — дар чудесный. По силе душевного богатства, не знаю равной Вам. Дар искусства явлен, до трепета! ослепляет!! Боже мой, Вы сами не сознаете этого!? Вы будете т в о р и т ь,

обязаны. Сестра моя, дружка моя, — целую слова Ваши, они — жемчуг. Ваша «дорога» — золото! Ваши «звезды» — глубинное. Как я счастлив, — в пустыне — найти такой родник! И плеск, и звон, и свежесть — все в Вас. Вы переполнены благодатью, живая вся. Смотрите на божий мир полными глазами — Вы все охватите. Немею перед таким сердцем! — Это посылаю наспех, завтра пишу полное. Все Ваши тревоги — мираж, горжусь Вашим биением сердца. Не люблю сниматься, но для Вас — завтра же отдам себя фотографу. Открытку Вы получили — там было — «не понимаю, что со мной творится» и «всечасно думаю...» Письмо все объяснит Вам. Весь день вчера — пел Ангел, я слушал с замиранием, целуя строки. «Чаша» послана через Берлин, от моих друзей[96]. Добыл лекарство против осложнений гриппа, если случится. Умоляю — оставьте поливку, не убивайте себя. Я слава Богу чувствую себя бодрым, как давно не было. Кипят мысли, — я озарен светло и свято. 9.VI.1939 — воистину день Рождения! Это — не в Вашей и не в моей воле, — это — дано. Вдумайтесь — во все. И Вы вспомните о ткани «Путей Небесных»: «знаки», «знаменья», «вехи» — Плана. Божественная Правда. Знаете... — я никогда не встречал даже подобия того, что Вы излили из сердца. И если бы это вошло в литературу (а оно войдет, наши письма, в историю русской литературы!) — это было бы ценнейшим из всего ее богатства. Это не слова «признательности», это — точный вывод ума и чувства. Целую руку. Ив. Шмелев

32

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.VIII.41

Милый Иван Сергеевич!

Пишу Вам в последний раз из Wickenburgh'a, — т.к. через день переселяемся уже на хутор. Мне очень грустно уходить отсюда. Здесь было так чудесно. На хуторе не будет свободы, т.к. дом стоит в ряду с другими и вообще все не то. Жаль парка и прудика, где я так часто думала о Вас и говорила мысленно с Вами. Каждый кустик мой приятель. Ну, ничего, — на хуторе свое есть, надо привыкать! И небо плачет вот уже который день. Будто и не бывало ярких дней... И для сельского хозяйства эти дожди теперь вредны, — убрать хлеб невозможно, а уже пора.

Как Вы живете? Я очень о Вас все время тревожусь — сама не пойму почему. Здоровы ли Вы? Сообщаю Вам мой новый адрес: Schalkwijk (U.), A.139 Holland.

Хочется верить, что скоро получу от Вас весточку. И, м. б. и фото?

Всего, всего Вам доброго, дорогой, милый Иван Сергеевич!

Сердечно Ваша

О. Б.-С.

33

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.VIII.41 11 ч. 30 вечера

Родная моя, свет мой неупиваемый! Я пока оставил большое письмо, ответ на письмо от 8.VII, потому что меня «обогрела» одна мысль, — и случилось такое «откровение», которое меня потрясло радостью несказанной, и я не мог продолжать. Вы узнаете, я м. б. завтра опишу все. Поверите ли? Но случилось — как было в «Путях Небесных», — мне «разъяснение». Знаете, я только вчера узнал, — клянусь святым для меня! — Анастасия[97] — значит — «Воскресшая»! День Вашего рождения стал для меня Днем Рождения! Пишу большое письмо пером, — так Вам приятней читать, чувствую. Оно очень большое, кажется. Дорогая, остались для меня прежней..? Вы еще прекрасней, еще глубинней, еще дороже стали... — если только эти слова могут передать — непередаваемое словами. Вчера я послал Вам открытку: мне больно, что ожидание м. б. болезненно для Вас. Мои все письма — только слабое отражение сложного и блистательного «мира», который во мне строится, вот уже больше года. Почему это во мне такая грусть за Вас, щемящая, слившаяся с неизъяснимой нежностью, будто Вы страдаете? — и Вы самое мне дорогое здесь, а я — бессилен утолить, только могу словами выражать жаление! В субботу 26-го весь день я был сам не свой, в тоске... — не знаю. Я повторю Вас, говоря, что непрерывно думаю о Вас — все ушло, и все ненужно, только одно, одно — живу Вами. Это очень светлое и чистое. О себе..? Я здоров, но не могу писать — все закрылось. Это пройдет, т.е. я овладею собой. Ваше письмо — драгоценность, я его читаю... читаю... или чистый свет? И. Шмелев. — Не забывайте меня.

«Неупиваемая чаша», послана Вам из Берлина.

34

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17 н. ст. VIII.1941

Дорогая... письмо 8.VII смутило меня тревогой Вашей. Ну, не прав ли я был, что Вы страстны в воображении Вашем и в чувствах? Вижу, чего Вы навоображали и как Вы себя расстроили! А для меня теперь самое важное, чтобы Вы были спокойны. Ваши тревоги передаются мне — и открывают Вас новую. Я, мог (!), ошибаться, — в Вас?! ... разочароваться, — после этого письма Вашего?! Милая, да разве Вы не чувствуете, кто Вы для меня теперь?! Как бы хотел я поцеловать глаза Ваши, которые столько плакали! Ах, чудесный ребенок Вы, головка-то Ваша как работает! И мнительны же Вы, как... и я. Рыбак рыбака видит издалека. Вы и при всем Вашем воображении не чувствуете, как я Вас знаю. Ах Вы, моя сестричка милая, художница! Какая же Вы огромнейшая художница! Письмо Ваше, от 23.VII, меня совершенно изумило. Об этом — дальше. Никогда не «хвалю» Вас, а говорю от сердца, правду.

От личного перейду к совершающемуся. Никакие испытания не страшны, только бы душа России сохранилась. «Какой выкуп даст человек за душу свою?»[98] Ныне — не «историческое», а как бы «божественно-трагическое»: сцена — мир, Рок — Господь, страдающее — для нас! — Россия, — не бесовский СССР, — развязка — «Христос Воскресе» — или гибель. «Да будет праведен Суд Твой, Господи!» Чаша исполнилась, меряется мерой — за все. Помимо людской воли. Так чувствую, и покойна душа моя.

Да, я слышу Вас, полон Вами. Такое владело мной, когда жил я призрачной жизнью ликов, лелея в них неизъяснимое «дас-эвиге-вейблихе»[99], что даже в Причастии чувствуют подвижники. Я жил в очаровании вызванных мною к жизни, и я любил их. Это со мной теперь, но это уж не лик, а... Вы, светлая, вышли из Ваших писем, и я... — не смею коснуться этого.

Лунной ночью стояли Вы на берегу пруда, спрашивали, — слышу ли Вас? — а башенка белела на островке — знаю ее теперь! — и Вы открываетесь мне в образе Анастасии... В «Неупиваемой» тоже островок[100]. Я только теперь открыл, что «Анастасия», с греческого, — «Воскресшая». Ольга = Елена = светильник. Угас мой светильник. «Воскресшая», Ольга... — ныне мне светите. Кто же это придумал? Этого нельзя придумать.

«9.VII», для меня, — Рождение «Воскресшей», — свет. Странная, дивная игра! Милая, как чудесно, как все во мне смешалось..! Я предвосхитил Вас 23 года тому, когда писалась «Чаша». Вы были тогда ребенком, но были уже даны: — «...на лилиях и розах узор ее волшебный...»? Вы получили от мамы из Берлина мой «Въезд в Париж» и нашли в «Яичке»[101] — «мое живое небо», и я увидел в нем — Вас. Вы отвалили камень[102] — и я живу.

Вы пишете — «сердце мое рвется Вам навстречу...» Вы знаете мое — и потому — «навстречу». Свет мой, да не смутит Вас мое признание, не замутит Ваших чистых далей! Мне плакать хочется, — и нет слез. Мне больно, когда я чувствую, как порой одиноки Вы. Это должно пройти. Вы будете писать, должны! И потому Вы — дитя мое, мы связаны — Рождением.

Теперь я мог бы писать «Пути», много излил бы в них, переломал бы в плане, задержал бы Дари на восхождении, бросил бы в искушения, — до чего обострились чувства! Но и другое слышу: благовест Оптиной[103], утишающий страсти, ее страсти. Она же страстная, как все подвижники. Дари близка Вам. На 1-ую ч. страсти достало у меня. На 2-ю хватит ли благочестия? Много в Вас вложено — и бьется. Вы переполнены. Пробуйте же излиться, творить. Тревога во мне — чувствую тоску Вашу. И не чужой ребенок утешит Вас. Вы — неутешная. Да, вот что... Вы медик, и должны знать, что после Вашей болезни напряженная работа — поливка и проч. — может сломать Вас. К чему тогда Ваше душевное богатство! Во-имя чего — «все на нас с мамой»?! Берегите себя. Вам нужен досуг, покой. В ином хотел бы я видеть Вас, — в мысли, мечтах и взлетах...

Вижу Вас утреннюю, в летнем покойном кресле, в тени березы... в легком белом, или светло-голубую, с книжкой. Смотрите — смотрите в себя, в небо, — снежные облачка на нем. И в светлых глазах — снежные облачка в лазури. Задумалась милая улыбка, глаза что-то хотят сказать, скользнувшее в мыслях, в сердце... — ненайденное еще. Июнь. Роса не сошла в тени, поет запоздавший соловей, в зарослях там, к купальне. Наплывает напевно... свежее что-то, юное... — вспомнилось почему-то — «Голубенький, чистый подснежник-цветок, а подле сквозистый, последний снежок...»[104] — от облачков ли снежных, от лазури..? от тонкого дуновения свежести..? Улыбка ясней, Вы радостны, — Вы нашли. Прядка у виска играет на ветерке, трогает бровь, ресницы, чуть щекотно. Божья коровка взбира-

ется по руке, на книжку. Смотрите на нее пытливо-детски, следят ресницы. Книжка скользит, падает мягко в траву... — не надо, хорошо так... откидываетесь, закинув руки, легкие рукава спадают, зеленовато-нежным играют острые локотки, искрятся солнечные блики. Смотрите в небо, на снежное облачко, — чернеют на нем зубчатые сердечки струящейся в ветерке березы. Мечтаете бездумно, ресницы дремлют... — и вдруг, бархатный червячок-березовик, падает Вам на шею, изумрудный... страшно испуганный, конечно. Вы чуть коситесь, ресницами, высматривая его улыбкой. Червячок оживает и смелеет, соображает что-то, водя головкой, оглядывает местность. Чутким прикосновением, — не смять бы нежную эту шелковистость, — снимаете его, глядите на ладони, сдуваете на травку. Лицо теперь детское совсем, с поднятой верхней губкой, так и оставшейся, от дыхания. Книжка..? Хорошо так, не думать, смотреть на облачко, на сердечки, на... — как земляникой пахнет!.. И столько свежести, радостного во всем, — в радужной паутинке над головой в березе, в искристых точках солнца, во всем существе Вашем. Парит над цветником, — видно из-под ресниц струение, — гелиотропом пахнет, — чуть монпансье, как-будто. Купаться... Солнце глядит из-за березы, ласкает руки, чуть дремлется... — легкая летняя истома.

Вот Вам — маленькая игра воображения.

24.VII — Ольгин День[105] — был на могилке[106]. Много цветов, береза-то как раскинулась за пять лет, — крест обняла, могилку, — снуют муравьи по ней. Высокий — восьмиконечный дубовый крест, с накрытием, как на Вашем родимом Севере, в Угличе где-нибудь, в Ростове... — бывал я там. Лампадка в фонарике-часовне, образок Богоматери, литой, старинный, горькое надписание словами Остромира[107], — совсем уголок родного. Солнце, ветерок задувает свечки, «вечная память»... — «Вы сегодня оживлены...» 12.30 — Вы обо мне подумали, я с л ы ш у, и мне легко.

Остались ли Вы для меня прежней? — после Вашего письма 8.VII? Вы — жизнь для меня, все, все. Если бы я смел в с е сказать Вам! — но это безнадежно, больно. Ваше последнее письмо меня изумило, кинуло в восторг, я целовал строки. К а к Вы сказали..! Про звезды — «глубоко тонут и в прудочке»! Милая, да помните ли, к а к Вы написали!? и это ночное — «и чуть-чуть страшно», — когда глядите из окна на пруд! и о «золотой дороге», когда шли в закате, меж ячменей (!) — как отвечала земля «сиянием»! И — «как мало слов в нашем богатом языке»! Да перед

этим меркнет фетовское «Как беден наш язык..! хочу — и не могу!» — А день 9.VI! Вы — огромное дарование! Целую Вас, милое дитя мое, Вы же дитя мое, свет мой. А это — «равнодушно смотрела на солнце и не хотела его видеть»! Это так верно, когда больна душа! Если бы Вы глядели в мое сердце! Если бы Вы знали, что мной пережито! Часть, только часть страданий оставил я в своем «Солнце мертвых»[108]! Я с изумлением вижу, что живу еще... Нет, я не жалоблюсь, не утешения ищу, говоря так. Я с ужасом вижу, что живу. Я не должен жить после всего, что было. Простите это ненужное отступление «к себе». Знайте, что Вы — огромное дарование, — ума и сердца. Это не похвала, не обмолвка сгоряча, не в освещении от Вашего света сказано! не в ослеплении. Вы — дар Божий. Помните это, это — обязывает. Расскажите мне о себе, все, все, что сердце позволит. Зачем Вы — в чужой стране?! за-чем?! ... Когда уехали из России, как учились, жили. Как могли проглядеть Вас?!! Я в ужас прихожу, когда подумаю, что мог не встретить Вас... хотя бы в письмах. Нет, я не мог не «встретить» Вас. Я знаю, — это было назначено — и потому — исполнилось. Ваши письма — жизнь мне, великое испытание: я вижу в них, как я ужасно счастлив, и как же я несчастен! Это — «прощальная улыбка»[109] за мой пожар. Всю жизнь горел, в воображении. Сжег ее и для Оли, и для себя... Теперь — «не цвести цветам зимой по снегу». Как сказано чудесно, и как же горько! Ну, что же, пора смириться. Воли наковал, кажется, за жизнь.

Не могу выслать портрета. Отличный фотограф-художник слишком омолодил меня, снял все морщины. Я — и не я. Я предложил восстановить «натуру» — ответ: «написавший «Неупиваемую чашу» не может состариться, я таким Вас представлял, таким и вижу, таким и дал». И еще: «когда Вы говорите с жаром, как вот со мной, Вы — еще моложе». Он в тот же день должен был уехать на отдых, (я захватил его на отдыхе) но обещал скоро попытаться исправить. Очень удачно, но я не посылаю Вам. Вообще, с фотографиями мне не везет: я — и не я, — лицо у меня слишком изменчиво. Фотограф (7-го авг. снимал) сделал до 20 «видов»-прикидок, — и все откинул: очень грустное лицо выходило. Наконец «схватил» — и вышло — нет, я не такой. Нет печали, правда, есть — порыв — но нет моего «характера». Yves'y[i] понравилось «это ты когда возил меня

---

[i] Иву (*фр., искаж.*).

на велосипеде» (лет тому 12). — Для моих читателей — сошло бы, но не для Вас. 11-го послал Вам лекарства. 4-го — «Неупиваемую чашу», через Берлин. Позволил себе выписать для Вас газету. Прочтите в № 30 статью — «Жизнь подсоветская», — такие массажи нужны. Знаете ли мое «Солнце мертвых»? Там — все. Как живу? — спрашиваете. От письма до письма. (Вашего, конечно). Много читаю (подготовка к «Путям»). Не пишу. 4-го был самый счастливый день за все эти 5 лет: Ваше «золотое» письмо. Я целовал его, как юноша, Тоничка[110] мой (из «Истории любовной»). И читаю каждый день, как молитву. Да... я давно не получал сухого цветочка в письме, — почему? Не потому ли, что когда-то написал Вам, что хотел бы Вам послать, да смутился... «сантиментальности». Да, потому? Но ведь это совсем другое... — мне или Вам. Умная, Вы понимаете. Прилагаю возвращенную мне открытку — тогда еще не было разрешено писать в Голландию. О здоровье? — Кажется, здоров, неважно. Хотя бы во сне увидеть Вас! Снимок с цыплятами — чудесно, в голландском вкусе. Особенно мне понравился 3-й слева — радостный такой. А вот у кролихи взгляд скорбный, — думы об участи потомства. Вы милы — юны (и нервны) (почему так скривились?) У Вашего мужа приятная улыбка. Мама — приятная помещица. Кланяюсь ей низко-низко, — дать жизнь такой! Целую Вашу руку, мое живое небо! Башенка — очень живописно. А в пруду-то чувствуется карась... травка такая. Почему-то за деревьями вода мне чувствуется. Оля, не для Вас места сырые... Милый друг, шлю Вам — «покойной ночи, дорогая!» Сейчас без 20 минут 12. Слушаю Бетховена. Смотрю на Ваш портрет. Он вот, на камине, рядом. Единственная, неповторимая...

Ну, ради Господа... не томите меня, пишите! Ваш Ив. Шмелев

[На полях:] 26-го VII я страшно тосковал — что с Вами было? Слава Богу?

Пришлите же мне глаза!

35

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VIII.41 воскресенье

Дорогой Иван Сергеевич!

Вашу открытку от 6-го авг. я получила лишь в четверг, а от 5-го вчера. Нет слов выразить радость мою... Я так

давно и напряженно ждала весточки Вашей. И так мне было тоскливо все это время. Ах, милый, родной друг, как часто хотелось мне писать Вам, но не знала, что значит молчанье Ваше и не хотела Вам мешать. Но накануне открыточки Вашей я вдруг решила все же писать. Я видела такой удивительный сон и так много думала о Вас. Я пережила такую веру в Бога и особенно в Воскресение, что во сне сказала: «жить стоит хотя бы только во имя вот этих переживаний, и я счастлива, что русская и православная». Я не могу описать его, но вся обстановка сна была такое напряжение всех духовных сил, что мне казалось будто это Воскресение нам (было масса народу русского) будет явлено воочию. Воскресение не праздник Пасхи, как воспоминание Воскресения, а само Воскресение. Было очень странно. Я проснулась от напряжения духа и ожидания, что вся эта масса людей что-то должна проявить... У меня часто бывают сны, странные, говорящие. Так, я видела сон о моем брате Сереже и сказала, что он обязательно заболеет. Сказала ему самому, не зная, что он уже заболел (и именно в тот день и именно так, как снилось). Он не хотел нас пугать и скрыл, и уехал к себе в Арнхем[i], и слег там. Потом уже узнали. Теперь он все еще болен, но лежит уже у нас. Простудился купаясь и лежа на сырой земле в мокром купальном костюме. Получил кровоизлияние из пузыря и боли, и жар. Теперь лучше немного, но долго продлится.

Ах, Господи, что же я так долго молчу, — спасибо вам за заботу Вашу обо мне, за лекарство. Но не надо! Правда, дорогой! Я очень берегусь. Мне стыдно, что Вы так заботитесь обо мне и так меня возносите, а я не стою этого. Мне страшно было бы теперь увидеться с Вами лично, — уж очень Вы хорошей меня рисуете. Правда я не такая. Сейчас мне стало смешно, что часто я говорю эту фразу. Как-то один знакомый даже стихами ответил (не своими). «Ах нет, я не такая, я совсем, совсем иная и т.д.» Знаете? Видимо мне часто приходилось протестовать. Но там было иначе. Но правда, прошу: представьте себе меня похуже! А то мне больно ваше разочарование будет А как мне хочется Вас увидеть! — В тот день, когда пришла первая весточка Ваша, было в первый раз солнце; с 27-го июля шли дожди. Мне так радостно было проснуться и тут же решить обязательно писать Вам. А с почтой... такая радость... Мне безумно счастливо от мысли, что Вам хоть чуточку легче на душе. И потом... как хорошо, что Вы хотите работать!

---

[i] В оригинале: Арнгейм.

Я понимаю, что когда слишком полна душа, и образы толпятся перед духовным взором, то трудно связно работать, понимаю, что у Вас слишком еще трепетно все, для того, чтобы писать, но это чудесно. И я с радостью жду того момента, когда «Пути» разовьются дальше. Если у Вас тогда не будет хватать на меня времени, то пишите только два слова, чтобы знать, что Вы здоровы. «Путей Небесных» мы многие, многие ждем!!!! Иван Сергеевич, голубчик, как мне благодарить Вас за высланную «Неупиваемую чашу»?! А разве тот, кто посылает может с ней расстаться? Напишите мне, нужно ли мне ее послать обратно и кому. Я готова была бы, кажется, от руки ее переписать. Здесь я ничего не могу достать. В Берлине мама старалась для меня все, что можно было Вашего достать, но это было тоже очень скудно. Значит кто-то <u>с в о е</u> посылает. Мне это так неловко. Я помню хорошо свое состояние, когда я читала «Неупиваемую чашу», — особенное, святое. Но теперь я прочту ее еще иначе. Тогда я не знала Вас. Если бы только <u>дошла</u> эта драгоценность! Не пропала! Я постоянно боюсь как бы не пропали Ваши письма, вот и теперь это большое письмо так долго идет, и я волнуюсь. Каждое слово Ваше — драгоценно мне.

Я пытаюсь через мужа попасть в члены библиотеки королевской в Гааге и надеюсь там найти Вас. Я хочу <u>все, все</u> прочесть Ваше. Я слышала, что кто-то здесь переводил Ваши книги. Кто это? Хорошо переводили и что? Разве можно перевести Вас на голландский язык?! Как надо чутко это делать!

Знаете, Николай Васильевич ван Вейк[i] скончался. Я все хотела Вам сообщить и забывала. Ранней весной. Был рак кишок. Я его лично знала, — мой муж с ним был хорошо знаком. Жаль. Он любил русское и просил похоронить с русской молитвой. Пел русский хор на могиле. Все свое имущество он завещал одному русскому другу. А это здесь прямо небывалое явление. Здесь ведь семья и родня (каковы бы отношения не были!) на первом месте после Бога. Чужие — это меряется на особую мерку. Но чужие, ставшие своими (замужество, например) зато освящены родовой принадлежностью и станут тоже своими, святыми. <u>Все</u> для рода, для мальчиков и то. Девочки — отброс, необходимое

---

[i] В оригинале фон Вейк. И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина называют Н. ван Вейка в письмах также фон Вийком. Далее исправление не оговаривается.

зло, которое все равно отойдет к ненавистным чужим. Как идеал — девиц не отдавать замуж, ибо тогда капитал дома.

Я счастлива, что молодое поколение семьи мужа все это так же ненавидит, как и я. Много можно было бы порассказать, но не стоит уж.

Я презираю деньги, особенно увидев западноевропейский капитализм. Благословляю труд и рада, что прошла тяжелую школу жизни и нужды.

Продолжаю в понедельник вечером, т.к. вчера было уже 1/2 2-го ночи.

Господи, что же это за радость мне! Сегодня пришла «Неупиваемая чаша»! Я хотела просить Вас на листочке прислать мне надпись к ней, а вдруг вижу, что Вы уже надписали! Каким образом? Объясните мне, откуда, от кого эта книга, и как Вы могли ее подписать??

Я безмерно рада. Но в то же время, мне и стыдно ужасно... Милый, дорогой, не балуйте меня так, — не надо. И главное: не хвалите меня. Нет, я не похожа на Анастасию, я совсем, совсем не красива. В детстве и юношестве я часто страдала от сознания своей некрасивости и считала себя дурнушкой. Я только очень люблю красоту, красоту всего, что совершенно в жизни. Вы как-то писали мне, что мое восприятие при чтении такое, как у очень юных. Не знаю, но одно верно, что когда я читаю Вас, то вся душа моя горит, и я живу всем Вашим. Вы так красивы! И хочется плакать от полноты души и сердца! М. б. у меня это детское осталось?! Мне говорил однажды некто, что самое характерное мое — наивность ребенка и детское сердце в сочетании рассудочности взрослой женщины. М. б. верно. Я знаю только, что осталась почти во всем такая же, как и в 7 лет. Странно. Душа не «взрослеет», она все та же, на всю жизнь. Только жаль, что уходит мягкость, чуткость, отзывчивость детства. Как хотела бы я вернуть их!

Как я любила людей, всех, без различия, как умела жалеть. Теперь я могу пройти мимо... Какие бывали исповеди, какие слезы! Вот эта свежесть прошла... Неужели не возвратится??

Вы чудный, Иван Сергеевич! Я всякий раз открываю новое в Вас, прекрасное!

Как досадно правда, что в книжку включился рассказ совсем другого духа! Неужели Бунин этого не почувствовал[111]?! Знаете, я года 1 1/2 тому назад несколько писем к

Вам разорвала не решаясь послать их из-за критики на Бунина. Я боялась показаться дерзким профаном.

Я не люблю Бунина... Т.е. конечно я признаю и чувствую мощь его творчества, но сам предмет[112] его не говорит душе. И там, где ждешь увидеть душу, — встречаешь чувственность. Он гениален, и я понимаю, что его вещи могут захватывать и увлекать. Но, но... не то.

Душа молчит. По-моему, он эгоистом должен быть, гордый, холодный. Не знаю почему, но у меня к нему холодок. Простите, если я не смею так писать! Но мне кажется, что это вот помещение рассказа к «Неупиваемой чаше» тоже характерно и потому я все-таки пишу. «Глаголом жги сердца людей!»[113]. Сердца! Он жжет, но разве сердце? Сердце в этом смысле?

Когда я читаю Ваши письма, то чувствую, что разговор с другими не дал бы того, что дают они. Они уносят куда-то, покоряют, влекут. Простая открытка являет такие краски, такое созвучие! Как много жизни в Вас! Как заставить Вы умеете жить и любить солнце! Как много Вы даете! Когда красиво небо или слышно птички пенье, иль просто кузнечики стрекочут ночью и звезды светят, — я думаю о Вас... Перед отъездом из Wickenburgh'a, как-то, было так чудесно... был свет за окнами закатный, розовый и золотой, был им весь парк наполнен. Я вышла в сад и замерла от очарования. Весь запад неба румянился нежнейшим светом, от пурпура до розоватости перламутра, переходя в оттенки чайной розы. Напротив, на востоке все было чисто, чисто и голубело нежно и прозрачно. И был контраст тот так необычаен и обаятелен до целомудренного трепета... А вдалеке уж где-то на горизонте туман спускался тонкой сеткой, скрывая резкость очертаний, и уводя куда-то [в] дали. А парк дышал под перламутром неба, и зелень казалась майски-яркой.

И тишина... Казалось будто сон все это, видение, и неживые на лугу коровы.

Такие есть картины у старых мастеров 18—19-го века. Минут 15 длилось очарование. И тогда я душой звала Вас... Всегда, всегда я думаю о Вас! Вы не беспокойтесь обо мне, — я здорова. Поливкой уже себя не утомляю, — сама погода все решила. Дожди. И скоро осень...

Я люблю осень. И ощущаю ее так, как успокоенность после рыданий, как размягченность после слез. Я нахожу себя самою снова осенью, а вот весной теряюсь в шуме и нету мысли. Грустно, тихо и умиротворенно в сердце осенью. Но хороша она ясная, в солнце и паутинках, а не с

ветром и дождями, и с небом цвета жести или грязной ваты.

На хуторе у нас мне хорошо. Хотя уж очень много дела и суетиться надо целый день. Утрами, часов в 4—5 приятно сквозь сон услышать, как гремит подойник, и на таратайке позвякивают ведра. Это идет работник в луг доить коров. Уютно скрипит водокачка на дворе, и просят пить телята. На огороде у меня масса овощей. Огурчиков русских столько выросло! Летом мы часто делали окрошку и солили их. Теперь я тоже должна все то солить, то варить, то стерилизовать на зиму; — ищу себе помощницу, но трудно найти.

Мечтаю отдохнуть, уехать, куда-нибудь к лесу, чтобы было время почитать, подумать, за грибами походить. Их здесь бывает очень много.

О, если бы можно было (!), то в Париж бы улетела. Как много сказать бы было Вам! Как много от Вас услышать... Я так живу Вашими «Путями», я как живую люблю Дариньку и мне так хочется много, много знать... Не любопытство это, а просто иначе даже и невозможно. Вы ведь поймете.

Иван Сергеевич! Еще одно: только мне стыдно, если это глупость моя, — скажите, как мне понять из надписи на «Чаше»[114] — «первый отсвет-страдание ее». — И отнести к чему?

Простите, что я так не умна, но мне хочется всякое слово Ваше вполне понять.

Скажете? Вы писали 30.VII, и письмо мое с некоторыми вещами обо мне еще ведь не получали? Я жду с трепетом! —

Опять уже стало поздно. Спокойной ночи! Завтра кончу.

26.VIII

А вот и «завтра». Я вся в волнении. Сейчас пришло Ваше письмо, большое, от 17-го авг. Я на него писать буду отдельно, после, когда немного успокоюсь. А сейчас только хочу сказать на Ваше: «О здоро́вье? — Кажется здоров, неважно». Как же Вы можете так легко писать «кажется» и «неважно». Я умоляю Вас беречься и подробно мне писать. С желудком будьте осторожны. Ради Бога! Я узнаю нельзя ли посылать посылки в Париж, — ведь у нас все еще такое доброкачественное, все, что надо для больных «ulcus duodeni»[115] и «ventrikel»[i]. М. б. и позволят. И второе: обязательно, непременно пришлите Ваш портрет! Тот, который

---

[i] Желудок (*нем.*).

уже есть, который Ивику нравится. Я очень, очень жду. У меня есть в Ваших книжках и Вы в памяти, когда читали. Мне никакие «неточности» не помешают. Умоляю, вышлите тотчас же!

Получили мое письмо от 27-го VII? Мой портрет тоже очень приукрашен. Я потому его не посылала долго. Но послала все же его именно, т.к. взгляд там мой, и сущность моя есть. Фотограф был русский, или из России вернее, по профессии юрист, но дошел до совершенства и был известен в Берлине. Снимал всю знать и артисток. Он говорил со мной на разные темы, заставлял реагировать невольно и снимал невзначай будто. Я не знала. Было масса снимков. Есть и с глазами, но неудачно, т.к. это единственный [раз], когда он позволил сесть в позу. Ну и вышла «поза».

До свидания! Ваша О. Б.

Тепло и ласку шлю Вам вдаль!! —

У нас такой разгром в доме, мастера работают, и пишу я на туалетном столике.

26.VIII М. б. после Вашего письма я немного понимаю надпись на «Чаше», но все же объясните! Да?

Сейчас пришло и лекарство! Спасибо!!! —

36

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.VIII.41

Дорогой Иван Сергеевич!

Все это время душа моя поет в радости неописуемой. Ваше письмо невозможно охватить сразу, нельзя на него ответить словами. Писала Вам вчера — 4 листа, но не посылаю. Все не то! И сейчас мне не дается. Я все еще взволнована слишком. И это письмо — не ответ еще. Напишу еще. Пою, пою целыми днями. Пою все, что знаю, — от молитв наших чудных и народных песен, — до избитых модных «танцулек». Простите мне это? Я иногда такая какая-то шалая бываю и даже увлекаюсь (конечно в шутку) каким-нибудь «shlager'ом». Как чуть останусь я одна — все мысли с Вами, но и все остальное время — невысказанно Вы в моей душе... Я сама не знаю, отчего это такая сила, влекущая все движения души к Вам. Мне бы хотелось писать Вам очень много, и много рассказать Вам о себе[116], но мысль, что письма должны быть прочитаны еще и другими, — останавливает и парализует порыв. Я сказала бы Вам многое, — от девочки Оли и до теперь. Я провела бы

Вас чрез взлеты, искры, молитвы, слезы, — чрез темноту отчаяния, выброшенности из жизни, ненужности, чрез все обиды, любовь и жертву, через тоску о «Вечном», чрез много увлечений ума и сердца, и, Боже мой (!), — чрез сколько разочарований! —

И сколько было чудесного, «укрытости», милости Божьей. И Вы бы поняли все, милый, м и л ы й ... М. б. я напишу еще. Не знаю...

Как хорошо бы было вдруг очутиться у Вас, в Париже! Я множество себе рисую вариантов нашей встречи.

То мы идем по полю, в цветах и солнце, в чудесном теплом ветре, — то в шуме волн и плеске океана я слушаю Ваш голос, — то... в храме я узнаю Вас среди толпы и радостно внимаю сияющему «Хвалите» в торжественном блеске вспыхнувших паникадил, — и опускаюсь на колени на «Слава в вышних Богу»[117]... А то у Вашего камина, уютно в тишине, внимая дроби дождя о стекла и плачу ветра в осенней стуже, там, за окном. И всюду — Вы чудесный, родной, — далекий и бесконечно близкий... Но нет, Вы не хотите, чтобы я появилась. Я чувствовала это, когда читала Ваше: «до свидания, конечно в письмах». И Ваши страхи за отплытие мне от «пристани», и все вообще. Вы не хотите. Но почему? Не говорите, я не спрашиваю... Но я не мыслю не увидеть Вас. И все же верю, что увижу! Вы не хотите?

Если бы Вы знали, как много в жизни я переживала сердцем, как себя я не любила, как хуже, хуже всех себя считала... А вот Вы говорите такое... такое совсем другое. Разве я могу все так вот принять на свое конто[i], — нет, я боюсь, что Вы ошиблись. И поймите меня, как я хочу отдать себя на суд Вам справедливый. Я бесконечно боюсь ошибки, разочарования во мне у Вас. Вы понимаете, что это для меня значит?? Я боюсь, что в письмах я другая, лучше, что ли. Ах, нет, не надо, не вызывайте меня к искусству, — я ничего не значу, не могу. Ведь так давно я все в себе похоронила. Теперь уж поздно. Писать на холсте я не умею, — мне не хватает школы, — поймите, как это ужасно! Гореть, желать и... не мочь. Я не могу писать. И учиться п о з д н о... Все в этом слове. Писать словами, — я тоже не умею. Писать красиво могу лишь Вам... И почему? Быть может, то Ваш гипноз, гипноз Вашего великого Таланта?! А я по впечатлительности воспринимаю...

---

[i] Здесь: принять на свой счет (*от нем. Konto* — счет).

Мне вдруг так стало горько, горько. И ничего я не умею... *Не смею* поверить, что я в жизни такая, как говорите Вы... Перечитала еще письмо Ваше. Господи, как я хотела бы Вашего праведного суда. Тогда бы я м. б. снова получила в себя Веру и м. б. могла бы что-нибудь «суметь»?

Получили Вы мое письмо от 27-го июля?

Я ни на что не способна. Плохая хозяйка даже, т.к. мне думать и мечтать хочется, а не хозяйством заниматься. Но все же надо! — Все эти дни масса дела. Устраиваться надо... Потому пока что не пишу больше, т.е. длинное. Скоро напишу. Мечтаю поехать отдохнуть. Устала я за лето. Масса бывала гостей, почти все лето. И переезд. Прислугу найти трудно. Хочется к лесу, к грибам... Ах, если бы в Париж! — Вчера узнала, что никакие посылки не разрешают. О визе не хлопочу — Вы не хотите. Это не упрек, а подчинение Вашей воле. Сию минуту стало мне очень грустно, и Вы уж не сердитесь. Жду Вашего портрета. Непременно. «Глаза» для Вас раздобыть постараюсь, — как только приду в себя и в норму.

[На полях:] Пишите мне почаще!

Здоровы ли Вы? Я волнуюсь.

Получили ли мое письмо от 24.VIII с Wickenburgh'ом?

Попробуйте эти перья — м. б. они лучше пишут, Вы как-то писали, что острые Вы не любите.

Шлю Вам, мой друг далекий, привет из сердца. Услышьте!

Ваша О. Б.

Сереже лучше стало.

37

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.IX.41

Дорогой мой, милый Иван Сергеевич!

Пытаюсь (уже в который раз!) на письмецо Ваше ответить. Оно вот предо мной, и дышит, бьется каждой строчкой. Ну разве, разве можно на него ответить, да еще письмом?! Я не найду ни слов, ни мыслей стройных не соберу. Вы милый, чудный, драгоценный мне! Что Вам скажу еще??

Какие краски, созвучья, аромат какой от каждой Вашей строчки! Я впитываю в душу их и стараюсь запечатлеть в уме и сердце.

Сколько чувств и мыслей разных роится, и все они, перебивая друг друга, лишают меня возможности их высказать.

На каждую Вашу фразу можно было бы ответить отдельным письмом.

Мой дорогой, прекрасный, нежный друг, скажу Вам прежде всего одно: — как грустно мне, как до слез (буквально) больно чувствовать Ваши страдания, горечь... «Солнце мертвых» я знаю... Родной, неоцененный... Но говорите обо всем, что мучает Вас, конечно если Вам позволит сердце, — мне дорого сознавать, что хоть как-нибудь смогу тогда облегчить Вам минуты горечи. Вы говорите: «я с ужасом вижу, что живу». Боже, как это ужасно горько! — Если б Вы знали, как нужны Вы, как Вы незаменимы, то Вы бы м. б. немножко утешились!

Подумайте, Россия пойдет за Вами!

Кто, как не Вы, покажете ей, больной, разбитой, запле-ванной большевизмом, — покажете ей ее Святой Путь?! Все они, родные нам братья, увидят в Ваших «Путях Небесных» и для себя свои знамения и вехи. Это Вы, который дает и воскрешает ушедшее уже 1/4 века и в благовесте монастырском, и в звуках песни, и в ярмарочной пестроте и шуме, наш быт чудесный, дивный, наших Угодников, тружеников, девушек чистых, странников, калек убогих, всех наших «чистых сердцем», даете Вы живых и ярких, зовущих за собой. И видится она, прекрасная, убогая, любимая превыше сил — в разливах рек весенних, в зное полдня, в кистях рябины ярких, в морозах жгучих крещенских. И слышится родная в шуме метелей, в звоне призывном, в «Христос Воскресе», в веселых песнях, в любовных соловьиных трелях, в овражных эхах, в... «приглушенном» подзвоне колокольчиков — голубых цветочках. И запах ландыша и любки, и терпкий аромат цветов Воздвиженских[118]... все это — Она.

Потеряно, утрачено, иль лишь забыто? М. б. все это еще смутно живет глубоко в сердце.

И Вы (Пророк!), Вы дадите им канву для узора, Вы позовете за собою, Вы дадите им не новый, а все тот же, забытый, но чудесный «Путь». Как же Вы можете удивляться, что живете?!

Пусть радостно бьется Ваше сердце. Ваше призвание очень велико.

И еще другое: — «не цвести цветам и т.д.»... — я не могу словами ничего сказать. Я только хочу, чтобы Вы почувствовали к а к это горько... именно то, что Вам это

горько. Как хотела бы я, чтобы Вы поверили, что для Вас нет времени и зимы. Разве Вы сами этого не знаете?

Ваши письма полны огня и жизни, и цветов не зимних и не по снегу.

Вы меня вытолкнули к солнцу своим внутренним горением и солнцем.

Я не могу говорить, т.к. все получается не то. Но правда — для Вас нет времени.

И это так чудесно[i].

И Вы же это знаете, знать должны...

Как мало пишете Вы о себе. Почему? Скромность?! Как здоровье Ваше?

Как волнует меня мысль о «Путях Небесных». Вы готовитесь к ним. Помоги Вам Бог! В них столько важного для нас всех. Они должны явиться!

Дивно все так там. Как бы я хотела говорить о них с Вами. Как трудно писать.

Я напишу (и собственно уже писала, но рвала) все о себе, все, что не жалко отдать в руки почты. Для Вас, только для Вас я м. б. попробую «писать». Но это не знаю.

Эти дни я очень тоскую, не сплю, и просыпаюсь от короткого забытья порой в слезах. Все это из-за бабушкиной болезни. Я очень за нее страдаю. А дальше? — Дождь, в доме все еще хаос, и даже вчера еще прорубили крышу на чердак для комнатки. Надолго возня, т.к. трудно получить материалы. Мне тоскливо... А 26-го июля я получила Ваши цветы, и страшно рвалось к Вам сердце, и было от расстояния очень грустно. — А Вы услышали и это?! Ну, пока кончаю.

Пишите!

Портрет Ваш жду... Пришлите, милый. Из сердца Вам привет шлю горячий и нежный. Ваша О. Б.С.

[На полях:] Ваша «игра воображенья» — чудесна, но я опять должна сказать, что я то не стою. Пишите, пожалуйста, почаще!

Цветочек хотела послать Вам, нежный розовый, но должна была скорее на автобус торопиться, письмо взяла с собой, чтобы из города скорей ушло. Цветочек в сердце. Пересылаю мыслью! Приписку делаю на почте в Утрехте.

---

[i] Со слов «И еще другое» до слов «И это так чудесно» выделено И. С. Шмелевым. Его помета: «Боже мой!»

38

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VIII.41

Милая-чудесная, видите, я не мог обмануться в назначенном Вам пути — в искусстве. Никаких колебаний — ищите в — сердце, оно скажет, что надо. Молодость проходит? Смеюсь. 30-ти лет я едва начинал. 32-х (в 1910 г., год смерти Л. Толстого) дал «Человека из ресторана», — он и теперь свежий. 40-ка лет (1918) — «Неупиваемую чашу» — 58-ми лет — «Пути Небесные» — они будут живы и к 2036 году.

Извольте работать. Только перестаньте худеть-бледнеть. Хорошеть можете, продолжайте. После лечения «cellucrine'ом» — расцветете розой. Кстати, что за цветок получили? Я просил послать Вам розы, а милые люди (знакомые знакомых) сделали лучше, кажется. В 11 ч. ночи я смотрел на Вас — и чувствую, как люблю Вас! Но это такая сладкая опаляющая мука, что... не лучше ли будет — для Вашего спокойствия, — перестать мне писать Вам? К чему это поведет?! Видеться мы не можем, а если бы и сталось это — новая рана сердца — безысходность. Было бы преступно нарушить Ваш — пусть относительный даже — покой. Я чувствую, как Вы свыкаетесь со мной, воображение Ваше может разгореться и — многому повредить. Цельно сердцем принять меня Вы не сможете, слишком большая разница между нами, в годах, (я — дело другое!)... и потому..? Остается: брожение чувств, — если есть намек этого, — надо перевести в полезную работу — в творчество. Мне — только полезно «брожение» (если забыть боль), для «Путей Небесных» (боюсь, не слишком ли будет «страстного»). Не виновен я, что страсти еще кипят, до... безумия.

Итак — пробуйте же писать, без страха, — и что хотите: найдете! На мой омоложенный портрет одна восторженная дама воскликнула: идеально похожи! Но я не хочу посылать — и — хочу. Хочу видеть Ваши глаза! Целую Вашу руку, несбыточная, желанная. Простите. Ваш Ив. Шмелев

[На полях:] Тоска-то моя!.. 26-го!!!

Итальянское издание «Чаши» все разошлось (30 тыс.!) у Bietti[119] (дешевое издание) 3,5 лиры. Будет новое, м. б. с художественными заставками.

Болел: обычные приступы дуодени, кончилось, кажется.

39

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VIII.41[i]

Милая Ольга Александровна, мне вернули заказное письмо с портретом. Ваше, от 24—26 авг., получил вчера. Благодарю. Досадно, что послал открытку, (кажется), где позволил себе быть слишком искренним (откровенным). Простите. Это, — не повторится. Не понял Вашего запроса о надписи на книге[120], — будьте добры привести полный текст. Возможно, я торопился, писал на глазах отъезжавшего, очень спешившего, мог сказать не ясно. Думаю, что Вас я не имел мысли смутить, и, конечно, слово «страданье» к Вам не может иметь отношения. Очень прошу, посылки продовольственные мне не посылайте, очень благодарю за доброту Вашу, — у меня есть все. Я здоров, «приступы» болей прошли. В голландском переводе есть три мои книги[121], — кажется, скверно переведено, одна с предисловием ван Вейка. Очень удручен кончиной Николая Васильевича. Как же, он бывал у меня, з н а л меня. Прекрасный человек. Он же выставлял мою кандидатуру в Нобелевский комитет[122], как европейский славист-академик. Масонско-большевистско-еврейская группа [2 сл. нрзб.], по директивам центра отклонила: «Солнце мертвых» — слишком жгло, да и до сих пор не охладело. Вы его не читали, да? Написанное Вам большое письмо остановил, получив Ваше и возвращенный портрет. Будьте здоровы. Ваш Ив. Шмелев. Напишу другое.

Непременно теперь же примите antigrippal.

40

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.IX.41 года
11—12 ч. ночи

Мой дорогой, родной мой, милый, неоценимый! Что с Вами? Откуда эти 2 открытки?

Ужели вправду Вы все там серьезно говорите?! — И верите тому, что сказали?

Очень мне больно после Ваших этих открыток. Последняя от 4-го сент. — заледенила меня совсем было. И... даже мне обидно стало.

---

[i] Исправлено О. А. Бредиус-Субботиной: 4 сент. 41.

Другому, не Вам, я написала бы совсем иначе, или вовсе не писала бы. Но Вы — меня тревожит это чрезвычайно.

Ну, дайте Вашу руку, мой далекий друг, взгляните мне в глаза и расскажите правду!..

Что с Вами? В чем Вы не поняли меня? Или в чем невольно я провинилась?..

Я тихо в мыслях глажу Вам руки и молча прошу моей душе поверить...

Голубчик мой, ну неужели Вы сами верите тому, что говорите в этих открытках?!

Да разве следует откуда-нибудь, что Вам за откровенность надо извиняться?

Что же тогда мне искать в Ваших письмах?

Чем станут для меня все Ваши письма без откровенности?.. Какая же цена фальшивым тонам? И разве я считаюсь в формах и т.п.? Ведь Вы же знаете, чего моя душа искала. Большей боли не могу себе в нашем всем представить, как утрата откровенности... Боже мой, этого не допусти!

Кто Вам подсказал, что я смущаюсь тем или иным от Вас?!

И надпись на «Неупиваемой чаше» — конечно, ничуть не смутила, но я хотела уточнить и почти что поняла ее. Вот она: «Моей светлой душе — Ольге Александровне Б.С. — первое отсвет-страдание ее, ныне явленной мне».

Я очень прошу Вас отнестись ко всему просто. Поверить мне. Не видеть страхов, — их нет. Я Вам скажу чистосердечно: мне чуточку обидно все это от Вас... Я думала, Вы знаете меня теперь уж лучше.

И... потом за посылку. Отчего Вы так особенно отталкиваете меня? Я слышала как раз совсем обратное тому, как Вы пишете. Это так естественно. Ведь это было бы ложным самолюбием. На общее нельзя ведь даже самолюбиво обижаться. Крайне огорчена возвращением портрета. Почему так? М. б. послать бы простым письмом? Или, скоро, на днях будет муж моей подруги, — буду просить его зайти, и м. б. Вы тогда передадите? Ну, сделайте, мой хороший!.. Доставьте же мне радость!

Иван Сергеевич, я не могу представить себе, чтобы Вы могли быть жестоким. Что случилось в промежуток от 27.VIII — до 4.IX? Откуда этот холод?

Или права я была в одной скользнувшей мысли, что и от 27-го авг. Вы нежно пытались отойти? Да? Правда?

Тогда скажите это мне прямо.

Я не из тех, которым нужна вежливость превыше всего. Я ищу правды. Вы — и дипломатия для меня нечто чуждое. Я искала Ваше сердце. И что я получаю? Камень?!

Неоткровенность, а также и извинения за откровенность — это пощечина Ваша мне! Вот это то, что я бы другому кому сказала. Я Вам этого *не* говорю. Я тревожусь, я чую, что тяжело Вам, что так вот спроста Вы бы мне такое не нанесли.

И потому я подхожу к Вам с лаской. Вы не сердитесь, что не выходит у меня все в письмах.

М. б. я немножко трушу, смущаюсь (просто по-женски) быть слишком ясной в письмах. Я боюсь написанного словом. Но разве Вам не ясно, как много нежности и... ах, такого чудесного для Вас в моей душе?!

Не знали? Не может быть! И все же зная, так меня могли обидеть? Тогда я ничего не понимаю. И спрашиваю потому: хотите Вы расстаться?! Если «да», — скажите прямо. И непременно отчего? И для чего? Я слишком горда, чтобы стать навязчивой. Я перестану конечно Вам писать тотчас же... Но, понимаете, я этому не верю... Откуда это иначе: «непременно теперь же принимайте antigrippal», — значит я как-то Вам небезразлична. По крайней мере хоть не совсем. И потому я не смущаюсь быть с Вами нежной, очень нежной... Какая мука — расстоянье! И потому, что в письмах я не умею говорить, я так хотела бы Вас увидеть. И Вы, увидя мои глаза,.. уж не смогли бы писать таких вот извинений. Т.е. конечно, если я для Вас все та же.

[На полях:] Почему свое большое письмо Вы отложили? Что было в моих письмах? Вы холоднее его хотите сделать? Вы испугались, что слишком я вообразила. Я кажется начинаю понимать.

Крещу Вас на сон, молюсь за Вас и обнимаю сердцем. Ваша О. Б.

Простите, что приписка на обрывке, — не оказалось бумаги, — заперта в шкафу, а ключ не найду сию минуту.

Приписка:

Ответьте непременно на вопрос:

Вам жаль сказанного, не потому, что откровенность меня смутить могла, но только потому, что Вам для себя жаль сказанного.

Вы увидали, что я не заслужила этого.

Да?

Это было бы для меня конечно самым болезненным, но и с этим было бы легче, чем оставаться без правды.

И потому прошу: скажите!

Я верю, что Вы это исполните.

Если я для Вас все та же еще, что и в день моего Ангела, хоть скажем, то Вы ответите скоро, тотчас же. А если нет...

Но почему разочарование? Что было?

А сколько дум о Вас, прекрасных, нежных... Если бы Вы знали все, — Вы возгордиться бы могли, как сильны Вы.

Но я молчу пока. Пока не знаю того, что с Вами, я не пишу.

Вы чуткий такой и милый, и добрый к людям, за что Вы мучаете меня?

Если Вы знаете меня (как писали), то должны знать, как больно делаете мне. Сознательно? Или боюсь сказать... любя?

Бывает и это. Бывает.

Но я хочу знать правду!

Простите, что написала слишком ясно, но я должна знать правду. Вы сами обронили это слово. Я потому только и смею его лишь повторить. Конечно, я не хочу придать ему какое-либо толкование, — любить можно по-разному. Люблю цветок, люблю ребенка, люблю грозу и т.д... и например: Люблю *свою* мечту в портрете неизвестной. Ведь это думается так. Не возношусь я, не приписываю к себе и не воображаю ничего, больше того, что как мечта в портрете. И потому Вы не смущайтесь. Я не возгордилась, не возомнила. Честно Вам говорю стыдиться Вам нечего. Я эти слова приму так, как Вы того хотите. «Лишь тайных дум мучений и блаженства он для тебя отысканный предлог». Вот так же! И м. б. я у художника, как Вы, лишь просто пешка. Модель к этюду. Я много пережила в жизни. И много понимаю. И поэтому еще, быть может: «броженье мне только полезно для "Путей Небесных"». Я понимаю.

Antigrippal мне не поможет. У меня болит в груди от сердца. Сжимает грудь как обруч железный по ночам, и я должна вставать, т.е. садиться. Это бывало раньше тоже. Не серьезно. Нервное. Я мучаюсь о бабушке и все ее во сне вижу и тогда боль.

41

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.IX.41[i]

Дорогая, письмо 27 июля обрадовало и встревожило. Нельзя Вам худеть, забудьте тревоги, победите эту ужасную мнительность и «страхи жизни», след прошлого. Каж-

---

[i] Оригиналы писем № 41 и № 42 утрачены. Текст публикуется по черновику. Повторные фрагменты сокращены.

дый день жизни — благословение, цените это. Внушайте себе: «я даровита, молода, здорова, сильна верой в себя и в Твою помощь, Господи!» Верно сказала Ваша гостья, что Вы — «совсем другая». Да, другая в Вас оживают цели, у Вас верный друг, бо-льше... и если так чувствуете, не смущайтесь, не закрывайте сердца. Это благотворно для творчества. Ничто не утрачено, никуда Вы не опоздали. Волей, бесспорным даром, трудом претворите Вы душевное богатство в прекрасное искусство. «Так и не окрылилась», — пишете. А я вижу, что окрылилась, только взмахнуть крылами! Забудьте про «гадкого утенка», взгляните в светлые воды — какое чудесное блистанье! Помните «Лебедь» Тютчева[123]? ...«Но нет завиднее удела, — О лебедь чистый, твоего — И чистой, как ты сам, одело — Тебя стихией Божество. — Она, между двойною бездной — Лелеет твой всезрящий сон — И полной славой тверди звездной — Ты отовсюду окружен.» Это пел тот, кто в 50 л. опалился страстью 18-летней девушки-пепиньерки Денисовой[124], 14 лет сжигал и сжег свое божество, сам сгорая, — а был женат и даже 2-м браком, и не преодолел «уз света», отдал на истязание страстно любимую. Урок: преодолей жизнь, умей творить ее. И любимая не преодолела, сгорела жертвой.

Я верю, дорог я Вам... и Вы мне дороги. Радуйтесь же, берегите себя, не смейте слабеть, дышите. Забудьте минувшее горькое, и закрестите ужасное это — «зачем я родилась?!» Вы спрашиваете — «какое чудо дало мне..?» Божья Воля. На вскрик неведомого сердца Вы т а к откликнулись! Благодарю, Господи. Так и примите Ваше Рожденье в Жизнь.

Ваше горькое слово о «детях» — сожгите в себе. Об этом можно лишь свято думать. Я знал счастье, — его убили. И брежу еще безумием. «Н е у х о д и т е ж е!» — писали Вы. Милая, сердце мое Вы знаете.

Да, я люблю всенощную, святой уют ее. И львовское «Хвалите», все в ней люблю. И зимнюю люблю, укрывающую от вьюг. Помните, как «пели звезды»?[125] под Рождество, в Кремле? («Пути Небесные») Это писал я как в полусне, там о «младенчиках», — это тоска моя. Даринькина тоска и радость-тайна. Если бы могли знать иные мои чувства, думы безумие мое! Теперь я знаю, у Дариньки д о л ж е н быть ребенок, — страшное испытание, радостный взрыв и — Крест. Помните ее «гвозди»? Гвоздь будет вбит[126].

Хорошо Вы сказали о летнем вечере — «воздух уже не жжет, а ласкает, и стрижи так ласково (!) перекликаются (!!) и задевают землю крылами». Стриж — птица злая,

если даже и он «ласков». Какая же благодать (у Вас) в летнем вечере, в воздухе церкви русской, в «Свете тихом»! Так еще никто не писал Ваше сердце н а ш л о, сумело сказать с в о е. Потому что глубоки Вы, правдивы, чисты сердцем, чудесная правда в Вас... — Ваш дар. А Вы — «нет у меня оригинальности»! Чего же е щ е Вам нужно?! Я не шучу искусством, Вы знаете. И если бы безумно полюбил женщину, и как бы ни была прекрасна она, у меня достало бы рассудка не быть слепым в творчестве, в его оценке. Этого с Вас довольно? Целую внутренне-зрящие глаза Ваши, они мастерски б е р у т. Такого еще никто от меня не получал — ни женского, ни девичьего рода, — а их слишком было достаточно, — я далеко не щедр на это. А Вы меня о б ж и г а е т е, милая моя дружка! Ну, продолжим Ваш тихий вечер, помечтаем немножко вместе... за всенощной, тут мы себе хозяева, и над нами властен один Хозяин, а Он — Благий.

Ну, мы — у всенощной, — этого Вы хотели! Ваша душа — в молитве и там, за церковным окном, — в е з д е. Внутренним глазом видите, слышите тонким слухом, трепетом сердца ловите...

За проселком, совсем у церкви, густая рожь; тянет с нее нагревом, цветеньем пряным, — в окно доносит, в веянии наплывающей прохлады «...видевше свет вечерний[127], поем Отца-а... Сы-на-а...» В вечернем свете, пологим скатом — хлеба, хлеба, пышные исполинские перины, чуть зыблются изумрудно-седой волной. Вон, на далеком крае, по невидной в хлебах дороге, ползет-колыхается воз с сеном, с бабенкой в белом платочке, запавшем за спину, — как же прозрачен воздух! — постук на колеях доносит. «...Петь быти гла-а-сы преподобны-ми-и...» — льется с полей и с неба, в стрижином верезге, в ладане, в вязком жасминном духе — от батюшкина дома, из садочка. Веет-ласкает Вашу щеку, чуть кружит голову, сладко, томно, — и такая несущая радость в Вас, радость несознанного счастья, влюбленности бездумной, беспредметной... жгуче, до слез в глазах... — «Благословенна Ты в жена-ах[128]... и благословен плод чре-ва Твоего-о...» В радостно возносящем нетерпении, без слов, без мысли, вся залитая счастьем, креститесь страстно, жарко, не зная, за что благодарите, не помня, о чем взываете. Краешком глаза ловите — шар-солнце, смутный, багряно-блеклый — катит оно по ржам, на дали... — да с чего же оно такое, замутилось..? Тайна в полях, святая, кто ее видел — знает: дрогнуло по хлебам вершинным, дохнуло мутью, куда ни глянь, — благостно-плодоносное

цветение, великое тайное рождение*. ...«Хвалите рабы Господа-а-а-а...»[129] Славите Вы, слезы в глазах сияют, играет сердце какою радостью! Взгляните, туда взгляните... — славят хлеба, сияют, дышат вечерним светом, зачавшие, — солнце коснулось их, тронуло теплой кровью, сизой пеленой закрылось. Верезг стрижей смолкает, прохлада гуще, — и перезвон. — «Слава Тебе, показавшему нам свет..!»[130] — внятен, как никогда, возглас из алтаря, все-возносящий к небу. И Вы припадаете к земле, смиренно, приминенно... — «...славословим Тя, благодарим Тя...»[131]

Хотел бы такой Вас видеть, — светлый порыв и трепет. Стоять и глядеть на Вас. Вот оно, наше творчество, милая, светлая моя... — Твоя от Твоих. Ну, как же... взмахнете крыльями? Правда, летать — чудесно? Ну, летите.

Какой же образ рождался «в душе десятилетней Оли...»? в церкви? Поведайте. О, если бы Вы были только — О. С.! Я писал недавно, в помрачении — не лучше ли перестать мне писать Вам, не тревожить душевного мира Вашего? Увы, трудно, без Ваших писем померкнет все для меня, как было три года, до нашей «встречи». Ведь с 17 лет я был в обаянии нежной ласки и сердце мое остановилось. И вот, «встреча» дарована? Не знаю... а, будь, что будет.

«Чаша» Вам послана. М. б. Крым откроется. Там у меня маленькая усадьба, домик наш...[132] — останется он в «Солнце мертвых». Вот, спою Вам последнюю страничку — «Солнца мертвых» — раскрылось вчера, повернуло ножом в сердце.

...Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, на старой груше, на маковке, — как уголек! На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется — споет и морю, и виноградникам, и далям... Тихи, грустны вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья, в белой дымке, задумчивы. Споет к горам — на солнце. И пустырю споет, и нам, и домику, грустное такое, нежное... Здесь у нас пустынно, — никто его не потревожит. Солнце за Бабуган зашло. Синеют горы. Звезды забелели. Дрозда уже не видно, но он поет. И там, где поруби-ли миндали, другой... Встречают свою весну. Но отчего так грустно? Я слушаю до темной ночи.

---

* Редкое явление (в первых числах июня) — когда тихой вечерней зарей «взрываются» пыльники цветенья и совершается оплодотворение хлебов. Крестьяне это з н а - ю т.

Вот уже и ночь. Дрозд замолчал. Зарей опять начнет... Мы его будем слушать — в последний раз[133].

Как бы прочел я Вам! Плакали бы вместе. И — мой тихий разговор с «незнайкой», «Торпедочкой» моей[134]... курочка была такая... и ее о н и убили, как все в России. Это не цыплятки Ваши, этого европейцы не поймут, те, западные «демократы». Сколько бы мог сказать Вам..! Чего не прочтут уже...

Да... три дня тому — 16/29 — августа, был в а ш праздник, Спаса Нерукотворного. Много травы, цветов осенних, горьковатых, лист брусничный... хоругви... Там у церковной стены — могила Вашего отца[135] — пастыря доброго. А знаете, и тут у нас смыкается! Третьего дня, 19 авг./1 сент. — н а ш праздник, нашего двора, «Донская»[136]. Самый близкий мне. Крестный Ход, со всего Замоскворечья, и из Кремля, в Донской монастырь[137], мимо нашего двора. Я его крепко дал, войдет во II ч. «Лета Господня», почти законченного, остается «кончина отца», все не могу закончить. Тоже — осенние цветы, подсолнухи, брусника, лес хоругвей. О-станется надолго. Вряд ли Вы читали. Там, в монастыре, могила моего отца... — цела ли?[138] Видите, какое «соотношение» могил! Во-он, откуда нити-то... и — «встречает свою весну». Но отчего так грустно?.. Я слушаю до темной ночи. [...]

Сколько же я мог бы сказать Вам, — не свое сердце облегчить, нет... — открыться сердцем, показать новые страницы, чего не прочтут уже. Вряд ли напишу. И о своем, что писано, — к а к писалось. Интимность творчества. Только бы Вам поведал, чуткой. Много нельзя сказать словами, — сказал бы сердцем к сердцу, взглядом. [...]

Ну, кончаю... Итак: будьте сильны, верните аппетит, но... «другой» останьтесь. Гостья Ваша — не «просто так» сказала. Это ее — «другая» — это слово меня взметнуло. Только не болейте! Если дошли лекарства, непременно принимайте против гриппа — «антигриппаль», страховка от осложнений гриппа. Каждые два с половиной месяца. И — селлюкрин. Увидите, как расцветете. Это — лучшее средство и для нервов. Будете вдвое сильны. На меня действие его — чудесно: после лечения — две коробки, — я себя начинаю чувствовать, будто я давний-давний, 30—35 лет, но м. б. и другое тут влияет и я — д р у г о й? Да, я д р у г о й.

А сколько пережито..! Вот, вчера, роясь в своем архиве, увидал «Журнал де Женев»[139]... даны портреты: ген. Кутепов[140], я, Теодор Обер[141], основатель Лиги по борьбе с большевизмом в мире. Написано: непримиримые борцы с большевизмом. Бог сохранил: четыре раза я был на волосок от

гибели. Первый раз — в Крыму послали на расстрел, спас «случай»[142]. Три раза здесь, во Франции. Это знают двое — я да Оля, — Бог сохранил. Как это терзало Олю! Четвертый раз — после ее кончины, я чуть не умер, уже холодел. — Ив мой ночевал со мной, я накануне его вызвал было это 29 июля 37 г. В тот же день, после кризиса, случайно посетил меня о. Иоанн Шаховской[144], проездом на испанский антибольшевистский фронт. Явление его было чудесное: «меня, — сказал он, — «привело» к Вам». Помню, стал на колени, молился у моей постели. Мне только что сделали три впрыскивания камфары. Сердце остановилось, было, давление — 4 с половиной. Через три дня случилось, после появления у меня «чекиста», — узналось после, человека оттуда, привезшего письмо от сестры Это мне платили за мое «Солнце мертвых», за мою непримиримость и влияние. К чему я это пишу Вам? Чтобы укрепить веру в «ведущую Руку». Так я верую. И в том, что я Вас «встретил», вижу не случайность. Пусть только Вам на благо, — и с меня сего довольно. Благодарю Тебя, Господи! «А мне пора пора уж отдохнуть и погасить лампаду...»[144]

Портрет Вам послан. Только бы нашел Вас. Но знайте, что это не натура. Слишком я молод дан, ну... глаза остались... только на портрете они чуть меньше. И — нет «глубины» — «тяжести в лице», по замечанию иных. Пусть, любИте, не любИте... как хотите. Да, какие духи послать Вам? — хочу так. Что любите? Ну же, говорите, дайте мне радовать Вас. Что за цветок получили? Я счастлив Вашей радостью. Трудно кончить общение с Вами. Целую, целую руку Вашу. Милая, как же Вы далеки — хоть близки-близки! Не томите долго хоть письмами. Как смотрит мама на Вашу переписку со мной?

Ваш до-конца — Ив. Шмелев

Вы — все.

Сейчас — 11 ч. вечера — я смотрю на Вас, Вы — со мной. Господи!..

42

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[12.IX.1941][i]

[...] Ну, продлим же Ваш летний вечер, вместе пойдем ко всенощной. Вы так хотели.

---

[i] Без авторской даты. Датировано по письмам И. С. Шмелева от 12 и 13 сентября 1941 г.

Да дарует Он нам благостно сил творящих, может быть, новое что-нибудь увидим — и покажем! — чего еще не было в искусстве? Что-то мелькнуло мне... что-то я, будто, видел..? — давно-давно. И это, что сейчас возникает в смутном пока воображении... — приношу, дорогая, Вам, — искра там Ваша теплится, — «Твоя от Твоих»[145], — да будет. Ну, дайте руку: в м е с т е — воображением. Чудесное наше — «Свете Тихий...» Вообразим, что Вы все еще Оля Субботина... — мы тут хозяева, — можем повелевать «пространством», можем творить и «время».

СВЕТЕ ТИХИЙ

Оле С.....ной

...Белая, у рощи, церковь. Поместье чье-то, тихие домики «поповки», березы в вечернем солнце. Первые дни июня. Тихо, далеко слышно, — лязгает коса в усадьбе. Поблескивают-тянут пчелы, доносит с луга теплом медовым. Играют ласточки. А вон, над речкой, стрижи мелькают, чиркают по проселку летом, вот-вот крылом заденут. А это семичасный, от станции отходит, рокотом там, у моста, видите — пар клубится, над дубками? В усадьбе ждут из Москвы гостей, — завтра именинница хозяйка: всенощную — попоздней, просили. Батюшка вон идет с «поповки», в белом подряснике, помахивает шляпой, — поспеете как раз к началу. Гуси как размахались, у колодца, блеск-то... солнцем их как, розовые фламинго словно. Да, уже восьмой час. А вон и гости, — во ржи клубится, тройка со станции, — благовестом встречают. А может быть и нас встречают? Когда-то так встречали, когда мы с ... ...Вы тоже Оля. Как прелестны, в белом, и васильки... в руке колосья... — русская Церера[146]. Очень идет вам, голубенькая перевязка, на самый лобик... как вы ю-ны! Почему так мало загорели? Свойство такое, ко-жи... а правда, чудесно мы встретились... во ржи, на самом перекрестке двух проселков, сговорились словно: вы — в церковь, я — в усадьбу. Рожь какая нынче высокая, густая... чуть ли не по-плечо вам. А ну-ка, станьте... ми-лая вы, Церера! Уж совсем полное цветенье... смотрите, пыльнички-то, совсем сухие, слышите, как шуршит..? — пыльца, дымочком..? Какое там — в с е знаю! Сердца вот вашего не знаю... или знаю? Нет не знаю. А когда взгляне-те... нет, не т а к, а... да, т а к вот когда глядите... о, милая..! Не буду. А видали когда-нибудь, вдруг все хлеба, все, сразу... вдруг будто задымятся-вздрогнут... и дымный полог, на все поля? Да, это редко видят. Народ-то знает... мне только раз случилось, видел святую тайну. Конечно, тайна, святое, как все вокруг. Что же говорю я вам, вы же

сказали как-то, что все святое, даже паутинки в поле. А помните, как вы, про звезды... — «глубоко тонут и в прудочке»?! Как же могу забыть такое, так никто еще не... это сердце сказало ваше. А где-то — «золотой свет солнца... падал на поля, и...» — не буду, милая. Да, душно сегодня, а как пахнет!.. какой-то пря-ный... как из печи дышит. Нет, вы попробуйте, рожь-то... совсем горячая! И вы разгорелись как, прямо — пылают щеки. Чем... смущаю... что т а к смотрю? Не любите... т а к о г о взгляда? то есть, к а к о г о взгляда? Странная вы сегодня, какая-то... не знаю. Ну.... будто тревога в вас... ну, будто в ожиданьи... счастья. Да, так... всегда у женщин, когда предчувствуют... в глазах тревога. Ну, вот теперь прячете глаза... даже и слова смущают! Нисколько..? — тогда не прячьтесь. Ну, ми-лая... взгляните... — и в глазах колосья! Зеленовато-серые у вас, с голубизной... в них небо! и ласточки!.. Не закрывайтесь, ласточку я вижу, церковь, березы, небо... глубь какая, какая даль!.. Только один раз, раз только... ласточку в них только... никто не видит... рожь... высо... кая... не видит... о, святая! С вами? в церковь?! вы хотите... почему хотите, чтоб и я... Ну, хорошо, не говорите а все-таки сказали, глаза сказали, ласточки сказали, бровки... как ласточки! Не буду, чинно буду, Свете тихий мой... Клянусь вам, это не кощунство! Да, м о й «Свете тихий»!..

Бьет-ласкает вашу щеку, — но почему она пылает? И такая прозрачная в вас радость.... несознанного — ожиданья? влюбленности бездумной, безотчетной — до слез в глазах. В радостно возносящем нетерпеньи, без слов, без думки, вся залитая счастьем, креститесь жарко, страстно, не зная — за что благодарите, не помня — о чем взываете. Краешком глаза ловите: шар-солнце, смутный, багряно-блеклый, — катит оно по ржам, на дали. «...Благословенна Ты-ы... в же-на-а-ах, и благословен плод чрева Твоего-о-о...» Да с чего же оно такое, замутилось? Тайна в полях, святое; кто ее видел — знает: дрогнуло по хлебам вершинным, дохнуло мутью, куда ни глянь, — благостно-плодоносное цветенье, великое, тайное рожденье. Трепетно смотрите, не постигая. «...Хвалите раби Го-спо-да-а-а...» Славите вы, слезы в глазах сияют, в милой руке колосья, дрожат цветеньем, играет сердце — какой же радостью! Глядите, скорей глядите: слава хлеба, сияют, дышат последним светом, зачавшие: солнце коснулось их, тронуло теплой кровью... — сизою пеленой закрылось. Верезг стрижей смолкает, прохлада гуще, — и перезвон: — «Слава Тебе, показавшему нам све-эт!» внятен, как никогда, возглас из алтаря, все-возносящий к

небу. И вы припадаете к земле, смиренно, примиренно — «славословим Тя, благодари-им Тя...»

Вот наше творчество — «Твоя от Твоих». Эту искру Вы во мне выбили, и она радостно обожгла меня... — в сердце ее примите, она согреет. Разве, без Вас, мог бы я это дать?! [...]

43

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.VIII/13.IX.41
10 ч. утра

О, дорогая, только что Ваше письмо от 31 авг.! Пойте, пойте, — я счастлив Вашей чистой радостью. Это чудо, что сегодня получил письмо! В ужас прихожу — если бы не получил! Я готов был послать сегодня Вам смертельное для меня письмо, уже готовое. Я себе навоображал — тупик! Как я вчера страдал! — до слез отчаяния: я был в ужасе, что смутил Ваш покой, и Вы — отмахиваетесь от «похвал», не зная, как показать, что я смутил Вас. Но все же я посылал Вам — «Свете Тихий» — нашу всенощную. Теперь — я *все* знаю. Я счастлив, свет мой тихий! Не бойтесь жизни! Вы — бесспорны! Все скажу. Пишите о себе, свое. Вы все о себе узнаете. Пишу, о, радость, Свет мой!
Ваш Ив. Шмелев

[На полях:] Все Ваши письма получил!

Всегда пишите на конверте свой адрес — expéditeur[i].

44

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20 сент. 41

Письмо Ваше вчерашнее от 14.IX, Ваше новогоднее[147], меня изумило, наполнило радостью, вознесло и... дало снова Вас! Как я счастлива! Кошмар окончился. Как я страдала! Вы чувствовали? Знали? Как удивительно: писали Вы 14-го, — когда я особенно о Вас грустила, металась, не знала что и делать. Вы мою тоску о крыльях угадали и говорите: «Вы вполне окрылились, только взмахнуть крылами». А вот мое в те же дни: «Вы мое солнце, Вы напоили меня теплом и светом... Найдет ли тучка; — она приходит, чтоб, уходя, Вас снова дать и ярче, и победней! И как на

---

[i] Отправитель (*фр.*).

солнце я могу лишь издалёка на Вас молиться... Но я молю судьбу мне даровать боольшие крылья, чтоб хоть немножко ближе к Вам подняться!..» И Ваши «страхи» — они ведь и мои, точно такие же были. Почти что в тех же фразах. «Отделаться», «отмахнуться», «отодвинуть»... Одно и то же.

Откуда это? И разве я не знала уже Ваше ужасное письмо. Я на него же Вам писала мою обиду. Вы поняли конечно? Не читая его, я его знала сердцем!

Вы спрашиваете: «... но тогда — зачем же все?». И как писала я об этом же?

Я не помню, поверьте, совсем не помню, всего, что Вам писала. Я писала, рвала, жгла, снова писала. Я не знаю, что Вы получили и что сожжено. Кажется послала все-таки о том, что не хочу быть в «Путях Небесных».

Теперь конечно все иначе. И конечно не надо больше Вам зачеркивать о встрече.

Она — чудесна, совершенна! Господи, как бьется, горит сердце!

Вы говорите: «Свет, солнце мое, я не могу без Вас, знаю». Прочли мое?

Откуда Вы списали нашу церковь? Я Вам о ней писала? О белой, и о полях, о ржи и обо всем? О той совсем нашей атмосфере, живущей в этом храме? Я писала? Я хотела писать о ней воспоминания. Не помню, послала ли я Вам?

Как странно.

Вчера я мысленно писала Вам: «что со мной? Я не знаю... Вы — писатель верно узнаете скорее. Что это, — счастье?» И Вы сказали мне, что это — с ч а с т ь е! Мы видим сердце издалека!

Вчера я ездила на целый день... для Вас! Правда! У нас здесь нет хорошего фотографа, и я была в Haarlem'e. Я так светилась Вами, Вашим счастьем, что сама не понимала как это возможно, после таких тяжелых писем, — такая радостность. У художницы-фотографа мне казалось, что я пришла, чтобы Вас встретить.

Мы говорили с ней и она меня уловить старалась. И вдруг... «ну, а теперь подумайте о том, для кого Вы здесь». Странно? Я очень покраснела и сказала: «То есть?» — «Разве не правда?» Глаза верно не скрыли. Не думаю, чтобы портрет был удачен... Меня испортил парикмахер, устроив из меня болонку. Я старалась сама изменить прическу,.. но не вышло. Всегда чудесно причесывал, а тут имела неосторожность [сказать], что иду к фотографу, — пересолил, перестарался.

Вы получили мои духи? Я никогда это не делаю, но мне хотелось, чтобы вы хоть раз меня почувствовали и в этом, в

этом пустяке. Или было письмо долго в пути и выдохлось? Когда я Вам писала о стрижах? Я ничего не помню.

Ах, да еще: я сказала, что понимаю, если Вы сетуете, что мое сердце не вполне Ваше (что-то в этом роде)... но я там сказала неудачно. Вы объясняете разницей возрастов и т.д. И этого я (для себя) не понимаю. Я могла бы Вас понять иначе: — мы далеко, и я в другой жизни. И на это я сказала, что Вы для меня «единственный в веках». Ну, не буду больше о больном! Сейчас так ярко солнце!

Писала Вам после одной бессонной (ужасной) ночи безумный стих. Конечно, прозой, — я не знаю рифмы. Рифма у меня украдывает главное, отвлекает. Не пошлю! Сама себя боюсь там, не узнаю... Но там все, все, все мое и Ваше. Без слов понятно. И потому... моих не надо слов!

И Вы сказали их, сказали чудно в «Свете тихий»... Я писала Вам, что м. б. искусство Ваше меня пленило, и потому я сама писать красиво стала... А Вы сказали: «"Твоя от Твоих" Искра от сердца Вашего...» Как чудесно... А о Божественном Плане? Я назвала Божественной комедией... На днях я в мыслях Вам писала, что вся жизнь моя была ожиданием Вас. И все как-то* скупо выходило, не то, обыденно для того чувства, что горит во мне. И вдруг: «вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой...»[148]

Я хотела писать. Была ночь, все спали. Протягивала к Вам руки, но было так, как бывает при отплытии парохода — Вы хотите обнять еще раз близкого Вашему сердцу, стоящего на берегу, но... между вами пространство, маленькое, но достаточно жестокое.

Я видела это все время во сне.

Как чудно Вы всеночную дали!

И как волшебно это упоминание о Наде, о тоже и у Нади пылающих щеках. Это именно так и бывает, что и других как-то видишь в том же. Я не могу объяснить. И баба на телеге. Флер д'оранжи? Вам я писала, что обожаю жасмин и всякий раз думаю о флер д'оранже, когда его срываю? Писала?

Теперь я знаю как Вы меня обидели. Я счастлива от такой обиды. Она же подтверждает счастье! Но скажите мне отчего? Были мои плохие письма? Неудачны? Плохо выразила верно? Скажете? Или не надо? Откуда знаете, что васильки люблю и даже о голубенькой повязке на голове. Носила.

---

* пятно от краски, — у нас все мажется. Я схватилась за что-то! Простите!

Конечно в переводе плохом я Вас читать не буду. Вас же нельзя перевести... Такой-то язык, такую душу!

О книгах Ваших?

«Лето Господне», «Родное», «Богомолье», «Человек из ресторана», «Это было», «Как мы летали»[149], «Въезд в Париж», «Пути Небесные» и «Чаша» — это я имею.

Читала, но не имею «Солнце мертвых» (читала его лет 10 тому, в тоске и муке ужасной, — сама тогда переживала много муки), «История любовная»[150] (хотела все спросить Вас, но не смела, — кто этот мальчик?) меня эта книга очень, очень интересовала.

«Куликово поле» книгой не могла достать — читала в журнале отрывками. «Няня из Москвы» — чудесна! «Старый Валаам»[151] не знаю, а также и «Die Liebe in der Kriem»[152]. Ужасно бы хотела все узнать.

Читала еще рассказы, например «Радуница»[153], — душой страдала. «Мери»[154] конечно знаю. Конечно плакала. Чудесно! Напрасно и ненужно у некоторых книг я восклицаю «чудесно» и т.д. Все, все Ваше дивно! Каждая строчка! Мне все одинаково дорого! Все — талант. Все! Понимаю, что И. А. 5 раз читал. Я очень люблю И. А. и за то еще, что он любит Вас! А помните: «любить можно по-разному: "люблю цветок" и т.д.» Ну, не буду!

На днях едет муж моей подруги[155]. Я не люблю его. А она — прелестна! Красавица и доброта... вот она была бы лучшая Анастасия! Красавица! Но собственная подруга? Не знаю. Люблю бывать с ней. Но никогда не интимны. У меня нет никого. Я женщинам перестала верить. Она добра и русская. Чутка, художница немного. Воспитывать взяла русскую девочку. Детей нет. В этом мы понимаем друг друга. Об этом говорим. Она видала тоже много горя, и жизнь другому, новому давать боится. Не страданье?

Хоть я не знаю, у меня-то иногда двоится. Да разве наще это дело. А кто же даст России смену новых? Я ничего не знаю. Это — одно из моих мучений! Это ужасно откровенно? М. б. лучше и не писать про это?! Мне чуточку даже стыдно.

Кончаю, но в мыслях говорю Вам дальше! Смотрите, смотрите на них и видьте ласточек, и небо, и рожь, и васильки — все это Вы! Ваша сердцем О.

[На полях:] Будьте здоровы, хранимы Богом. Милый...

Каждый вечер в 11 ч. я с Вами! А Вы?

Цветок Ваш все цветет — чудесно! Удивительно красивый!

Не беспокойтесь о моем здоровье — я совсем здорова. Боли сердца прошли!! Совсем прошли! Я здорова! Не беспокойтесь, дорогой мой!

Посылаю березку — из русского одного садика вчера. Получили мою любимую фотографию, последнюю под деревом в солнце?

Ваш «Свете тихий» должен свет увидеть. Его должны прочесть многие! Вот опять она — Родина!

45

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.IX.41
2.15 дня

Милая сумасбродка... славяночка моя бесценная... прелестная моя выдумщица... ну, что Вы вытворяете с собой, со мной! Знаете, когда сегодня, в десятом [часу] утра, принесли Ваше заказное[i], — вчера и получил Ваш экспресс и тотчас же послал экспресс ответный, — упало сердце... и когда я, еще в полусне, читал, — знаете, что я крикнул, — вслух крикнул, — себя не помня, закруженный счастьем, потрясенный, в неизъяснимой радости..? «Какая сумасшедшая... девчонка!» И в этом последнем слове было столько счастья, нежности страстной, мольбы, — прости! прости, мой Ангел! — отдачи всего себя, преклоненья, восторга, сознанья недостойности, ласки безграничной, любви благоговейной, святой, святого обожанья — нет слов таких, чтобы хоть чуть определить, что было в сердце..! Так переполненная счастьем материнства, только женщина-мать может такое выразить ребенку, когда ласкается, любуется бесценным... целует ножки, льнет вся, вся к нему... себя не помня, — то отступит, всплеснет руками, то душит поцелуями, трется щечкой, себя щекочет ресничками его, пяточки целует и шепчет страстно, как бы в забытьи... — «о, маль-чи... шка... милый мальчонка мой... мой глупышка славный... жизнь моя..!» И это не передаст всего, что в этом неизъяснимом слове-ласке: — «О, сумасшедшая... дев-чо... нка!!!» Да что Вы!.. Вы не разобрались в моем... я теперь ничего не помню, я же писал Вам в ослеплении, в смуте, в тоске, в безумстве... в страхе, что все пропало для меня, что я сам обманывал себя, воображал... смел Вам открыться серд-

---

[i] Здесь идет речь о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 15 сентября 1941 (№ 40).

цем... и — оскорбил Вас, осквернил признаньем! Смутил, в тупик завел... — и должен заставить Вас снять чары с сердца моего... а Вы... — да, клянусь, я так и думал, ни на минуту не сомневаясь, что я навязываю себя Вам, на скромность Вашу посягая... не имея никакого права душу Вам свою открыть... а все-таки открыл, не удержался, все силы растерял, и самолюбие, и уважение к Вам... — зная, что нельзя так, что Вы никогда не сможете хоть что-нибудь, похожее чуть-чуть на грустную ответность сердца, высказать... Самым святым мне, самым дорогим... священной памятью моих отшедших, заверю Вас... я был вся искренность... я ослепленными глазами увидал в Ваших просьбах считать Вас хоть немножко «хуже»... и в «я совсем не такая», — в этих словах смущенья я читал: «как Вы не понимаете, что так нельзя... я не могу Вас полюбить... ну, просто, Вы все переиначили, я люблю Ваши книги, через них и Вас, сердце Ваше... ну, как люблю Пушкина, благоговею перед Рафаэлем, люблю Чайковского... ну, и Вас, почти... нежность воображаемых теней в романах... как Вашу Дариньку... Анастасию... — вот и предел "любви", это же так ясно, так привычно, так ... приятно!» Мне, жаль, высказанного в письмах?! и — «для себя» жаль?! Вы... «не заслужили», чтобы я из — за Вас... ?! О, как жестоко было бы все это, если бы Вы на миг могли поверить, что я искал лишь повода... отойти от Вас! Да разве я, здравый, мог поверить, чтобы Вы могли любить меня?!! — не видя даже, через книги?! Я мучился, мучился давно, все мне предостерегающе грозилось: ни зву-ка, что делается в сердце..! спрячь, запри, затаись, несчастный фантазер... ведь это не твои герои, не тени снов твоих, не оживленные до осязаемости светлые твои — идеалы в тоске твоей, несбыточные твои... — это же живая, чистая, святая... недостижимая... лишь в снах являющаяся тебе, безумцу! Ведь ты — кто ты для Нее?! «Любимый из писателей». Будь счастлив этим, это же награда, — выше ее и быть не может! — а ты... вдруг навоображал, явь смешал с мечтаньем... ты гипнотизировал словами, образами, трепетом чувства, всем, что у тебя даров от Бога... — и... это же не только самообман, это же обман! — и только горе новое тебе на сердце, и оно сожжет остатки, что пощадили все страданья... а ты, более еще жестокий, чем испытанья жизни... сам все испепеляешь... — но это пусть, над своим ты властен! — нет, ты смеешь посягать на божество! ты же Ее божеством считаешь, и ты сме-ешь! на Ее скромность, на ее стыдливость, на

ее вежливость, чуткость Ее, ты ми-лостыни просишь, зная, что, м. б., и не откажут в милостыне, из со-страдания... мягко примут излияния и сумеют обратить в «легкую и безобидную игру»... Клянусь Вам, я всегда был откровенен и правдив перед Вами. Жизнь моя, Свет мой дивный... я плачу, если бы Вы увидали мое сердце!.. Я недостоин чувства Вашего, моя Царица, моя дивная из дивных, мое последнее Святое! Простите, милая, простите... о, прости, мой Ангел, как я нежно-свято люблю Вас, Оля моя... славяночка моя — царевна! замученное сердце полно последним жаром, все оно горит непостижимо, так нежданно... я же давно его утратил... — мне казалось так! Я недостоин, я не смею, — вот мое твердое признание: я не смею, я кощунствую, я — пусть изнемогаю от «огня», — нет, я не смею. А теперь... читаю Ваше письмо... я не смею верить... но я читаю, я знаю, как Вы чисты, как Вы правдивы, как недосягаемо правдивы! — я... я для Вас не только автор... я для Вас и живой еще..! Вот, моя гордыня... ви-дите? где же гордыня-то..? я взгляда Вашего не стою... так я себя скреп-ляю... тушу огонь свой... в мыслях оскорбить страшусь... О, несказанная... я так растерян... все во мне мутится, — Боже, это Т ы творишь? Не Темный это льет в душу мою свет... Твой это свет... в мои потемки... Да ведь Ты, Ты, Господи... все, все, так все направил, так ясно показал слепым глазам... — так все начертал... Когда смотрю на эти годы, на это откровенье с неба... на этот «случай», на мой вскрик, на скорбь Вашу, далекую, в день Вашего Рождения... на эту книжку... на эти 9 мес. «разлуки», внешней только, и как зрел плод... во мне зрел, и я чувствовал, как зрел он... эти девять месяцев разлуки я был светел... это был свет в сердце... это был шепот воскресавших надежд, возвращаемых утрат... когда все вижу... — Ты, Господи, жизнь мне возвращал... — а я, видите ли... я все не верил, я страшился омрачить сердечко Ваше... Как я Вас люблю..! это нельзя измерить, у меня нет мерок слова, теперь в этом, слова мне непокорны... разбежались... истаяли и потускнели, мои слова, покорные мои рабы... творцы! Девочка моя святая, как я люблю тебя, как нежно гляжу в твои глаза... как пальчики твои целую... я плачу, я не могу больше говорить... ничего не вижу, вот пишу... Простите меня, прости, родная, мой Бог, моя нетленная, ласточка... ты залетела в мое сердце, ты и как там неуютно... ну, побудь немного, я так счастлив... ну, умчишься, но ведь ты была в нем... — это безмерность счастья для меня... эта величайшая, слепящая награда, не по заслу-

гам... это щедрость Бога, это твое великодушие, это — кровь твоя, родная... только потому все это... Мы так похожи, до... оглушенного «непониманья»! Ведь эти же дни... я сердце разбивал свое... я метался, плакал... терял и находил... ночей не спал, сжигал и возносил, терялся в сомнениях, молил, звал, пел, жизнь клял, рвал письма, писал и рвал... хотел вернуть отправленное... говорил — а, будь что будет..! Я страшился... как будет, вот Вы здесь... взглянете... о, как я далек от созданного вами... Сердце, душа моя, мои к Вам молитвенные обращения в словах... все это — святая Правда... но ведь я же не такой глазам... ну, не урод я, знаю... ну, загораются еще глаза... и мысли оживляют черты мои... голос не дрожит, я еще киплю страстями, я могу чувствовать себя счастливым... я могу жить безумством... — но я ведь не такой... не для романа чувств, я это знаю... Было время, как меня любили... как я горел, сжигая, как Оля мучилась... — и я оставался верным ей, при этом! Я играл, до увлечения, — это в Москве все было, — я совершал безумные поездки, я не щадил чужого сердца... и — не виноват! — если рассказать Вам искушения! Так ведь тогда — какая страстность во мне вскипала! — И вот, теперь я с изумлением взираю, в себя гляжусь... и ви-жу... — страстность — есть! цела! я вспыхиваю и сгораю? чувства до изумления — свежи!.. но... новое еще я вижу: такого чувства... как теперь, сейчас... когда же оно было, такое чувство?! Было, когда мне было 17—18 л.! Оно все то же!! Оля заступила... О-лю!? Так заступила! Все спуталось во мне. Я снова начинаю быть. Господи, это Ты даровал... это Твое чу-до! Милая, светлая, новая моя Оля! Ты открываешься, ты светишь, ты приникаешь к сердцу... ты в нем живешь, ты освятила-воскресила... ножки твои целую, сердце... твои ресницы трогаю глазами, нежно-нежно... слушаю, как бьется сердце... о, не-жная моя... Господь Бог мой — Ты... вся Ты... сколько в Тебе жизни... женщины чудесной, чуткой, бурной, о, сумасшедшая... де-вчонка... безумица, упрямка, мнитка... вся нежность, вся стыдливость, скромность, нега... страсть! Все богатство, какое в русских женщинах, необычайных, лучших, все-славянках... рассыпано так щедро, но раздельно... — все в одной Тебе соединилось, как в высшем образце Творения! Я это вижу... и ты все знаешь, вся ты все чувствуешь, неизмеримое свое богатство. Смотри, вот сердце... смотри, родная, милая, смотри — все там правда, все, все... что я писал Вам... все там... такое чистое, такое точное... — все твои дары... вся твоя

сила, творческая... все — п р а в д а... Ты — светлый гений... ты все сможешь... все охватишь, все дашь людям... моя подружка, дружка! Это не хвала, не возвеличение... пойми, что Тебя уже н е л ь з я хвалить и возвеличить... ты Богом восхвалёна, Им возвеличена... Им сотворена т а к о й. Ты меня встретила, чтобы только я тебе сказал, всем сердцем-правдой: вот твое назначение, моя безумно-мудрая, мудрая всеми чувствами — н а в с е. Лебедь мой, взмахни крылами, летай вы-со-ко... смело д е л а й... преодолей естественную робость, ты одолеешь... о, моя, моя, моя... не песни пою тебе, правду т в о ю тебе же раскрываю... ну, маленькая, детка моя святая... бери же Правду, будь верна ей. Перекрестись, скажи — Господи, благодарю — и принимаю назначенье, буду, буду... как Ты велишь. Не выдумал я Вас, это Бог выдумал... а я только его орудие... н а ш е л Вас, Вы — для т о г о ж е назначения — меня нашли, позвали, звали и — з о в е т е. Пойте, ласточка нежная, быстрая, мой Свет тихий... пойте Бога, Жизнь, страдания, счастье... все, все, что бьется в сердце... — а я Вами жить буду, творить из Вас и Вами, огнем от Вас — великой светлой Вашей силой вооруженный... допою, что н а д о. Вместе будем петь... друг другу отдавая силы... — Я теперь в уме пою Чайковского... его лиризм... — и слова затертые становятся живыми... «Я имени ее не знаю... и не хочу узнать... земным названьем не желаю... ее назвать.»[156], «Красавица, богиня... ангел!» Смотрите, как ожили слова, от чувства. «Без Вас не мыслю дня прожить!»[157] Как бы хотел я с Вами слушать это! Я безумствую, с ужасом чувствую, ч т о я написал Вам! Но не вычеркиваю, не смею, — это — Правда. Вы нежно трогаете, Вы гладите любовно мою руку... — поймите, я всегда был откровенно-честен перед Вами... не покривил ни тенью слова-мысли... я лишь страшился смутить Вас, ваш покой нарушить... я так не верил... боялся, что упрекнете в самомнении... Я хотел надписанием на «Чаше» сказать Вам, — м. б. я неясно выразил, я был смущен присутствием другого, ожидавшего, когда я напишу... — хотел сказать, что и Вы тронуты отсветом страдания, и с Вами я, как мой Илья-страдалец[158], тоже опален страданием... — но как-то неясно вылилось... Почему так написал? Не знаю... — написалось так... спуталось во мне — Анастасия... Ольга... моя любовь, которая может коснуться Вас только, как страдание? Не знаю... я так мало о Вас знаю... и так много знаю, сердцем? Ваше — письмо, о Рождении... сдавило мое сердце... — и я замер тогда от счастья, я тогда

в первый раз у з н а л, что я Вам близок, очень близок... и не смел, не дерзал раскрыть, как я Вам близок. Мне было страшно уяснить, что я могу быть л..... ??! Как я безумно счастлив, милая. Как Вы хороши «у дерева» — сколько света, игры рефлексов... это — и на фотографии — б о л ь ш е, чем знаменитое Серова — девочка под деревом[159]. Вот, игра света! Снимите это ужасное слово Ваше — «пощ...на»[i]! Я ужаснулся, что мог оскорбить Вас, признаньем... невольным... так я благоговею перед Вами... оскорбить, ибо я недостоин Вас! Поймите же, это не рисовка, это — больная правда. И Вы в душе знаете это, и потому Вы так нежны ко мне, так чутко, так — любовно. Вы сами боитесь того, чего боюсь я... вы горды, и не можете быть навязчивой... — я навязчивым себе казался, показался, вдруг. Вот и все. И теперь я... Вы вознесли меня, так одарили... так... согрели сердцем! О, благодарю, моя несбыточная — сбывшаяся, — нет, теперь Вы уже — вся моя, вечная вся... — без Вас убью себя, клянусь, жить я без Вас не стану... н е могу... — и как все будет — я не знаю... и не хочу знать... не хочу мучить себя и Вас, не могу больше ничего. — Я Вас люблю крепко, неизменно, так не любил еще...

Спешу послать экспрессом. Мне лучше, болей опять нет. Я получил «Wickenburgh». Благодарю. Не мучайтесь «болящей». Все будет хорошо, радуйтесь! Примите же «anti-grippal»! И — cellucrine, умоляю!

Ваш до смерти, и после — Ив. Шмелев

[На полях:] Вы разбились на велосипеде — когда? какие последствия? Что Вы вытворяете!

«Свете тихий» — сохраните в сердце. Он Вами дан. Этого не было в литературе — зачатия полей. Но с Вами — я все могу, все преодолею — в творчестве.

В Вас влюблены... да как может быть иначе?! Ми-лая!

Сейчас после обеда — пойду, с почты, в церковь. Завтра Рождество Богородицы. С Вами иду. Несу Вас в сердце. О Вас буду молиться — и любить Вас.

Завтра я утону в «Путях». Пишете их Вы — во мне. Обнимаю тебя, Ты — моя, да? Я схожу с ума от счастья. Оля, Оля, Оля...

---

[i] В оригинале 5 точек.

46

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.IX.41

Милая, самое дорогое в жизни, — сердцем говорю Вам, — дороже мне всех ликов, чем я томился сладко, пытаясь воскресить их из мысленного праха... — я, дал, Вам... камень?! Вы его выдумали, этот камень-призрак. Если бы Вы бросили в меня, я бы поцеловал — В а ш камень! Я... «пытаюсь отойти»?! Где же чуткость Ваша, сердце, ум? почему они не осветили Ваше «потемнение»? Я испугался, что Вы «слишком вообразили»... ?! Я смутился, что допустил себя — признаться, — вытянулся к с о л н ц у, как цветок, забытый... — смутился, не оскорбил ли С о л н ц е. Боже мой, вдумайтесь, солнце мое живое! Я — «жестокий»? Мне, «для себя» — жаль сказанного? не ради Вас, которую смутил, как мне вдруг показалось?! Да я же благоговею перед Вами... поймите же... не могу же я сердце разорвать и... — вот, смотрите! Ну, чем заставлю Вас поверить... ну, я не знаю... Но знайте, — если бы Всемогущий сказал мне — «все твое — прахом, ничего не было и ничего не будет в твоем искусстве, но о н а б у д е т, какой ты е е знаешь, как теперь, далёко... — что изберешь?» Чтобы о н а была! — клянусь, вот моя правда. И э т о — «камень»?! В вашей руке мое письмо, 15.IX[i], там «Свете тихий»... — там в с е. Я тогда не знал о будущих «экспрессах» Ваших. Я для Вас писал набросок — «Свете тихий», к Вам тянулся, на Вас молился... это же не-льзя нарочно, это творится сердцем, Вы же, такая чуткая, должны же слышать музыку слов... ведь каждая творческая вещь, пусть маленькая, но сердцем порожденная, свой ритм имеет, передает биение сердца, его стучанье, его... красноречивое молчанье!.. Ласточка моя, мое очарованье, лучшая всех женщин... Вами дышал я, любовался Вами... пел Вам песню... пусть в этом незначительном отрывке... — но как легко, в сладком забытьи, в воображаемом — не бывшем, п е л о с ь! Вы пожелали — и я был счастлив. Вчитайтесь, — м. б. найдете с е р д ц е, ритмы его стучаний... — это нельзя придумать, нельзя подделать. Художник кисти знает, как п о е т «свет», его дуэты с тенью. Вы знаете, как поет Врубель в «Царевне Лебедь»[160], Левитан — «Над вечным покоем»[161], Саврасов в «Грачи прилетели»[162], серов-

[i] Вероятно, описка — 12 сентября.

ские портреты, не все. Нестеров — мистически-бескровный — мог бы спеть «ангело-любовь»... Даже малявинские «Бабы»[163]... — только, он скуден, малообразован. Всякое истинно-искусство — всегда песня, гимн. Поют цветы, и птицы... только «жестокие» не могут. Я — жестокий?! О, дайте же, обойму Вас, безнадежно... нежная моя... я же знаю, что Ваше сердце тосковало, тепла хотело, ласки... я же знаю! Ну, возьмите же все, что нежного во мне найдете... мне ни-чего не надо, лишь любить Вас, в мыслях Вас лелеять... славить, моя прекрасная царевна. Почему открытки..? Я их не помню, почти, лишь смутно... Потому, должно быть — что были письма, раньше, Ваши письма... там не было личного обращения, именного... там было обращение из сердца... — Вы знаете. Так и я не мог уже — я — раньше! — называть Вас по имени... — Помните, лирическое, у Чайковского? — «Я имени ее не знаю, и не хочу узнать... Земным названьем не желаю е е назвать...»? Вот, как душевно в е р н о! И вот, после именинного письма... Вы стали называть меня по-имени... — сердце вдруг мое затрепетало, затомилось... — мне показалось — после моего «признанья», — что я Вас смутил, что ли... ну, не знаю... Я чуток, м. б. обманно-чуток... Когда страшишься потерять бес-цен-ное... — сердце чутко-настороже... Я, благоговея, стал осторожным... — мне, какой я есмь, мне же так стыдно навязывать себя, льнуть с нежными словами излияний... разве я не понимаю?! — и я, — чего мне это сто-ило! — я запросил Вас, за Вас тревожась... Ну, да, я совершенно откровенен с Вами, говорю Вам в с е. Да, я знаю, что женщины влекутся не только внешним, не только «лаской тела», я з н а ю... Я знаю и свою силу дарования, я видел много женских глаз, страстно-благодарных... я чувствовал не раз, совсем недавно, как иные готовы в с е мне отдать... и отдавались бы душой и... телом! — з а маленький «им» г и м н... — благодаря з а в с е, что дал я их чувствам, даже их страстям моими образами, налитыми страстной жизнью... я м о г их очаровывать, раздражить в них чувственный инстинкт... с л о в а м и даже! — и я, — верьте мне, не верьте, воля Ваша, — я ни-когда, после гибели-утраты моего Сережи, не пользовался этим. Да, я знаю, что нервно-жизненные силы во мне целы, я признаю за телом властные его права, все принимаю, как дар Творца, я не аскет, несущий подвиг, мне т е л о нужно, да... нужно для возбуждения, для творческих порывов-взлетов... но я себя держал на поводу, для Оли, для п о р я д к а, для... не знаю. Раньше... в Москве, да, я увлекался,

редко... только два-три раза... — это было бурно, больно, не совсем и чисто... в отношении т о й, кого любил я безотчетно. (Вам только говорю!) Это было временное ослепленье, до «Чаши». Так вот, как у Тютчева... с Денисовой[i]. Он не одолел «уз света», я — «уз любви»: остался однолюбом. Оля моя н е з н а л а. И — слава Богу. Но она, в с е з н а л а... чутким сердцем... как мучилась..! мучился и я, скрывая. Это была... «святая ложь», как Вы назвали, помните? Моя «жертва» мучилась, немного, правда, — порвала с мужем, бросила девчушку... меня н е укоряла, — понимала..? — не знаю. Быстро утешилась, сошлась с белым офицером, — она училась пению в Москве, прекрасный голос, — как она мне пела партию «Миньоны»[164]! — Были слухи, что ее расстреляли большевики, офицер оказался в «группе», группу открыли, — мы были уже в Крыму. Так вот, голубка нежная моя... — вот мои грехи... перед женой. Правду говоря, я не считал их за грехи... да и теперь их не считаю... — требовал инстинкт, душа была свободна, нетронута... — в с я у сердца моей святой. Так вот, — теперь... вся моя душа, — перед Вами. Вы в с е закрыли, на земле. А т а м... — т а м же темных чувств, боренья крови... — нет, т а м — т о л ь к о с в е т, т а м — в ы с ш а я л ю б о в ь... т а м — кто может знать?! — что т а м? Опытом я знаю, к а к я л ю б л ю Вас, к а к о й л ю б о в ь ю: эта моя любовь — в ы с ш а я, какая только может быть на земле, — любовь до смерти. В с я л ю б о в ь, — я откровенен с Вами, полная любовь, — не только в воображении, благоговении, — нестеровское, что ли, — нет, тут и бурленье крови, и томленья страсти, и — поклонение, и нежность, и любовь у м а... — ну, как это можно, словом? — ну, — «я имени ее не знаю и не хочу узнать... земным названьем не желаю е е назвать!» Вот. Творят в искусстве лишь с т р а с т н ы е — я[ii]. Как и в подвижничестве. Я знаю, к а к Вы — страстны. Да эти же... «экспрессы», упреки, обвинения... нежность... — это что? Лю-бовь, конечно... пусть хоть... и д е а л а. Да Вы же — вся православная, моя славянка. Вы, м. б. еще не все постигли, что же такое — православный? Как понимаю я, — это — в ы с ш а я с в о б о д а д у ш и, полная свобода... только надо в ы - н е с т и ее! Я многое хотел бы сказать Вам... рука в руку говорить Вам о «православном», как я понимаю. В православном ценны — «жар и миг». Да, да. Тут нет игры

---

[i] Так в оригинале.

[ii] В оригинале подчеркнутые буквы объединены лигатурой.

словами. Пока скажу лишь — есть т р и момента, недоступных ни католицизму, ни лютеранству: притча о блудном сыне[165], миг на кресте, «помяни мя — разбойника»[166], и... неповторимое «Слово» Иоанна Златоуста — на Воскресение Христово[167]. Католики изгнали это слово из сочинений Отца Церкви. Хотели бы вырвать и заветные страницы Евангелия... — они их уличают. Мы, православные, — мы, просто, — скотина беспастушная[168]! Такая нам дана свобода... — ну, вы-держи! Страстные душой и телом, мы мечемся в своей свободе от Мадонны к Содому, по слову Достоевского[169]. А его герои! Митя Карамазов! Мы — «го-рячие», по Апокалипсису[170], нас Господь не изблюет из уст Своих. Мы и щ е м, путаясь в грехе, грешим в исканиях. Слишком мы степные, вольные, в просторах... Недаром князь Владимир, слишком накрутивший в жизни, — принял такую веру[171]: чувствовал с в о ю стихию. Потому-то и стала Русь — Россией. И Вы, милая девочка моя, Вы сами чувствуете, радостно плещете в ладошки, вся в слезах, от сна, Вас воскрешающего, — «Воскресенья», — в бурном напряжении чувств, — какая же Вы р у с с к а я и — православная! Браво, милая ласточка, вольная певунья... Вы — бурная-святая! Вы «неутешная» — помните, писал Вам, о ребенке? И я Вас так и учувствовал, всю, в с ю... — и о б н я л, уже давно-давно... когда — «кроме меня да птички»! Да Вы же сами не знаете себя, а я-то з н а ю, к а к у ю песнь споете. Вы — вольная чудесно, но уже и теперь в Вас чувство меры... Простите, но такой чудесный образ: Пушкин дал!![172] — образ для всех, творящих бурно... образ «сдержанного мерой творческого порыва», это — гениально! — Вот, напомню: «Кобылица молодая, — Честь кавказского тавра, — Что ты мчишься, удалая? — И тебе пришла пора; — Не косись пугливым оком, Ног на воздух не мечи, (Видите — к а к дано!! скульпту-ра!! Вот чудеса-то С л о в а!) — В поле гладком и широком — Своенравно не скачи. — Погоди, тебя заставлю — Я смириться подо мной: — В м е р н ы й к р у г твой бег направлю — У к о р о ч е н н о й у з д о й» — разрядкой данные слова — это я подчеркиваю, я даю разрядкой. — Не знаю, как Вы, а я э т о пережил, я себя сам укоротил уздой и направил в мерный бег... — слишком я был бурнопламенен, — тут помогла и светлая душа Оли, при ее жизни со мной, и — п о с л е. Для меня сомненья нет: она отозвалась на мою мольбу-тоску, и я увидел Свет... — Вас, «не в портрете неизвестной с в о ю мечту»... нет, Вас — все закрывшую,

живую... — радость, веленье, жизнь. Как Вы меня изобразили бо-льно... — в «обиде» Вашей, в гордости, в тревоге, в грусти. Ми-лая... я склоняюсь перед Вами, молюсь на Вас, целую Ваши ножки, стройные какие — у дерева! — какая вся Вы стройная, статная какая, легкая какая... — вся поете. Смотрю в восторге, — только глаза мои ласкают... — «твоей одежды не коснусь»! — о, милая..! чистая вся, святая. Как я люблю Вас, моя Олёль, — простите мне, я же хочу быть откровенным, Вы этого хотели, Вы — велите. Ну, отвернитесь, велите замолчать, — замолкну. Я, пытаюсь, «отойти», от Вас?! Слышите Вы, чем бьется мое сердце? кем одной? Вы знаете. Я — пишете Вы — «не смог бы писать так, если бы увидел глаза...» Хочу увидеть! «Броженье мне помогает»? Да, Любовь — самый верный друг творчества: она рождает детей... телесных и духовных. Не плохо это. На Вас смотрю, как... на модель? Много кругом «моделей». Вам самим нужны «модели», а в Вас, пред Вами вянут, гаснут все мои образы, то-нут... «Мучаю... любя»?! «Мечта, в портрете неизвестной»? Да, Ваш портрет — мечта. Прекрасная. Все дни любуюсь, — покрыли все портреты. Искры Ваши опаляют, до сладкого ожога, тревожат. «Если бы Вы знали все! Молчу пока». Да, всего не знаю. О, благодарю за то немногое, что знаю, храню в сердце, как святое. «Вы гордились бы, как вы сильны». Чем силен? Не знаю. М. б. почти знаю. Люблю Тебя, моя бесценная, Красавица, Прелестная, неупиваемая, неповторимая, несказанная! Всю Вас люблю... со всею Вашей страстной-тревожной устремленностью в порыве... чу-дная моя, — молиться на Вас хочу, — не песню, акафисты[173] Вам петь хотел бы. Что большего могу еще сказать? Все исчерпал; сложил все силы чувства в молитвы Вам. Страдаю — и люблю. Я, Вас, люблю. Люблю тебя, моя царевна, люблю безумно, девочка моя прелестная, вся в солнце... — Вы разрешили мне, Вы хотели, чтобы я был открытый... — я всегда был прям душой перед Вами. Я люблю тебя, милая Оля, сестра моя по духу, по призванности, красивую и молодую.... а я — какой! — ну, это же не может быть обидно, для Вас! Не видя и не слыша, на отдалении... — так полюбить, — нет, не влюбиться, нет, — так отдать себя в чувство всего! ... — так со мной не бывало, ни-когда! — детская моя любовь... — первая любовь, — это так понятно.

Антигриппал не поможет — пишете. Он необходим для страховки от осложнений после возможного гриппа. Прошу

Вас, извольте же принять. И селлюкрин, он даст Вам силы, мно-го силы! Я посылаю Вам сегодня же экспрессом (а, поздно, 7 ч. вечера, завтра) — три лекарства. Против бессонницы — отлично помогает «Седормид» Рош-а. Не форсируйте, на меня действует и пол-таблетки. 2 — «Спазмозедин» — по одной компримэ, 3 раза в день, перед едой, — принимайте в течение 10 дней. Это прекрасное средство против сердечных невралгий, толчков, тупых болей... нервного, как Вы сказали — порядка. Эти лекарства прописаны отличным доктором, проверено. Но, все же, установите прежде, характер сердечных болей, грудных (этого «обруча») — нет ли органических причин, сердечных, — только если их нет, а нервное... — тогда пользуйтесь. После 10 дней лечения начинайте «Фосфопинал» Жюэн, по две капсулы д в а раза в день, п о с л е еды (т.е. всего в день — 4). Если надо, вышлю еще. Будете прыгать и петь. Увидите! Это Вам необходимо для творчества, укрепитесь, — будете, миленькая моя, так летать воображением, пожаром загоритесь и других зажжете! Вы б у д е т е писать, я счастлив, я пою от счастья, что бу-дете писать — прекрасно, по-своему, как никто: Вы — си-ла! Клянусь Вам, я-то з н а ю Вас. Целую Ваши глаза. — Скажите же, чего — писали — не можете п о к а. Скажете? Это — радость мне, да? Вы все мне заполонили... я как опьяненный... жду, жду чего-то... так взволнован... а надо — к «Путям»... они уже к и п я т во мне... — боюсь, слишком я буду страстен в них... но Даринька будет иметь ребенка... и какие сцены!.. что я в и ж у! и г р а какая..! Призраки какие... и сколько — му... ки..!

Неужели не вместится во II часть? — Под Твоим з н а к о м будет, чую. И — м. б., III ч.? — нет, две части, только. В Вас влюблены..? Прекрасно, иначе не могло быть. Когда п р о я в и т е с ь — о, ско-лько будет! Нимфа — в голландском маскараде. Я Вас всю и с ц е л о в а л, на карточке — ну, не серчайте. Я — сумасшедший. Без Тебя — не жить. Твой, милая, весь твой. Ив. Шмелев

[На полях:] Ну, теперь остается получить, после приписки — нагоняй — «Ка-ак, Вы меня поцеловали?» Не Вас, а «нимфу» в портрете неизвестной. Пьк Вас.

Из-за одного этого готов сгореть, от Вашего огня. Да, Вы — моя? Пишите, ради Бога! — и мне, [и] — миру. Да, мир Вас узнает, в е р ю!

Как все это не похоже на меня, — до... Вас! Вот что *Вы* сделали.

Отопление будет, слава Богу. Да у меня, сверх, два электрических radiator'a. Тепло Вам будет, Вашим ножкам, в кресле. Пряничками буду кормить Вас и горячим шоколадом с молоком.

В отеле, 3 минуты от меня, жили Квартировы, у Вас будут ванна и телефон, и тепло. Спросите-ка Мариночку! А какие золотые дни стоят! Вижу мгновеньями, Вы закрыли все.

Сейчас, 11 ч. вечера. Письмо давно готово, все обрастает, беру его, любуюсь Вами. Что я говорю Вам! Я сам создаю слова, мне мало сущих. Как я целую Ваш портрет! Я весь в безумьи счастья. Я знал, Вы — да? Ну, пусть хоть на один миг, пол-мига! Ваше лицо наполняется в моих глазах жизнью... я чувствую Вас, слышу, Ваши губки теплеют, вот, розовые они, алые... Я их целую — ...о, ми-лая, как я люблю. Как Вас ласкаю! Откуда это? Такое полыхание страсти и любви нежнейшей [тонкой-тонкой] и — такой глубокой! Милая Олёль... я изнемогаю, нет сил...

О, Ваше сердце! Кто, откуда Вы?! Что со мной творится! Мог ли думать, что я еще такой?! такой — по-жар! И... такая нежность — истаивает сердце. Вот Вы — какая сила чар! Подобной женщины не знаю.

Как я для Вас буду читать! так ни-когда не читал — услышите! Отдам всю душу! Только за один взгляд!

Не знаете Вы, ско-лько Вы можете! В Вас исключительная сила творящей воли, душевного очарования, страсти, душевного богатства, воображения непостижимо-яркого. Вы — дарование безмерное. Клянусь.

Ради Бога, все, все от Вас приму: укоры (не виновен) — молчанье... (бо-льно!) только, ради Господа, верните себе здоровье, — ешьте, спите... лечитесь... — весь и навеки Ваш, все, все для Вас.

Уверяю Вас, у меня все есть. Нужно будет — мне пришлют мои же деньги, мой труд литературный — у меня на все хватит, будете — все узнаете.

А Россия... — если буду жив — даст все. Мне уже предлагали продать литературные права! Конечно, — отказал. Вот до революции «Нива»[174] покупала за 50 тысяч золотых рублей только «приложить»*[175]. Да мои «детские»[176] — в народные школы приносили до 3—4 тысяч золотых рублей в год.

---

* А тут все рухнуло. За эти годы — у меня книг 15—18 вышло. Не знает их Россия. Ну, по-чи-та-ет! Мой тираж в России был втрое сильней Бунина, все рос. [См. примечание 175 к письму № 46.]

Ну, все Вам расскажу, мно-го интересного, а сколько дивного! На днях я увидел чудесную Мадонну! Это — Красота! В окне напротив... как виденье! Напишу... — из области искусства. В ответ на Ваше — о, глупенькая моя сестричка! — слово — «Я совсем некрасива». Вот мы об этой красоте и поговорим в письме, ближайшем, если не забуду. А в Париже уж наверное. С трепетом жду Вас. Я не смущаюсь — но трепетанье чувствую... — Вашего разочарования. Ну, будь — что будет. Все свои мечтанья спрячу. Все-таки для Вас останется И. Ш. Для меня — Ваш Свет, и Ваш Талантище!

Милая, целую... Ив. Шмелев

Сначала — читайте по «машинке». Я и сам не разберу. Вот что Вы со мной творите!

Но знаю, я не буду видеть строчек. Вы только — и все — Вы, Ты, родная! Дитя мое, мой Свет тихий — о, сумасбродная девчонка! Что Вы написали! в expres! о, сумасбродка!

Вы — самая женственная из всех, всех — женщин, да! Извольте написать, безумица, какие духи любите? Очень прошу. Ах, какая ж Вы сумасбродка! И потому за это я Вас еще больше люблю — но больше уже нельзяя.

«Она меня — за муки полюбила[177]... а я ее — за сострадание к ним». Шекспир «Отелло». О, когда увижу?! Как у меня будет уютно с Вами! Ско-лько скажем! Каждый день — годы счастья!

47

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.IX.41

Дорогой, далекий, — шлю Вам привет, и жду, жду письма Вашего, обещанного, ответного... Его все нет еще! Писала Вам в Рождество Богородицы, а думаю... всегда... Не послала то письмо от 21-го. Слишком много слов, а все не выражают. Я так волнуюсь чего-то. Меня волнует особенно пока я не узнала откуда Ваше отчаяние тогда было? И почему Вы (когда еще все ясно было) вдруг написали: «Воображение Ваше может разгореться и многое испортить»*. Я навоображала? Что это: «учитесь властвовать собою»[178]..? Я должна знать. Весь день я с Вами — читаю все Ваши письма, потом метнулась к «Путям Небес-

---

* «я чувствую, как Вы свыкаетесь со мною.» Вы боялись этого? Скажите!

ным», — опять за письма... Мне все же странно, как Вы отговаривали (прямо трепетно) меня от приезда в Париж. И «быть благоразумной, считаться с условиями жизни». Объясните? Напишите подробно какое письмо мое было от 24-го — 26-го и какое от 31-го? Я все забыла. Пишу так много. Много на бумаге, а в мыслях еще больше. Сию секунду девочка из деревни принесла мне Ваш expres. Какое трепетное чувство, — сейчас открою.

Прочла.

Ответ мой, не на письмо, конечно, а на ТО, на Ваше, главное — найдите в сердце Вашем! — Как мучительно мало слов, — как много чувств, и... трепета, и счастья...

Как назову Вас, какими (жалкими!) словами скажу о том же?!

Нет, я хочу сказать Вам прямо, словами, и пусть извечно-знакомыми всему миру; не потому ли и вечно-живыми, как обмоленная икона в храме?! —

Да, я люблю Вас тоже. Давно, нежнейше и полно, и свято! Люблю.

«Вы не случайны в моей жизни, и, быть может я — в Вашей». Сказали Вы. Не бойтесь, отчего же это «быть может»? Да, знайте, люблю Вас. Всей силой души и сердца. Не говорила, не писала. Робела и не знала, нужно ли Вам это. А впрочем м. б. сама не оформляла, не сознавала. Но Вы могли увидеть души глазами в каждой моей строчке.

Поверьте, обязательно поверьте, что все время я была в тревоге, трепете и ожидании; я духом знала, что все именно т а к и будет. Я знала не словами, не разумом, а чем-то высшим. При мысли о Вас сжималось сердце. Я выразить бы это не сумела. Я понимаю такое «знание»[179] Дариньки. Таак понимаю!.. Вот и теперь я «знаю» еще и другое что-то. То, что Вас больше всего терзает, но не скажу. Нет, не скажу.

В моем стихе-безумье к Вам (не пошлю его ни за что!) намек есть бледной тенью на то, тонкой тенью, как дух мимозы. Не думайте, что что-нибудь, чего мне стыдно, — нет — это очень, очень свято! Я не потому молчу. А просто сердце приказало пока молчать.

Ах, как пою, смеюсь я навстречу солнцу! Как чудно, нежно небо, как звонки птички! И как мучительна разлука!.. Далекий, чудный, единственный... любимый.

Всей душой и сердцем любимый!

Вы не осудите меня? Пишу такое, пишу, не принадлежа Вам? Чужая! Осудите?

Мне очень больно касаться этого. Но это надо. Мне хочется сказать Вам, что это не кокетство, не влюбленность, не «Анна Каренина»[180] и не «со скуки», — не от неудовлетворенности в семейной жизни, во мне. Нет, — но потому, что Вы единственный, о Вас молилась годы, пред Вами, пред Духом Вашим преклоняюсь. Я много думала о «совестном акте»[181], что у И. А. так чудно разъяснено. И я не нахожу себе упрека. Поймите, что в Вас — жизнь и Вера в Бога, все самое чудесное, что делает жизнь Жизнью. И упрекнуть за любовь к этому никто не может. Ах, это сложно описать, но это я сердцем чую. Не оправданий себе ищу, а знаю. Я не боюсь себе обвинений и помню «не пщевати вины о гресе...» Но где не грех, — там нет вины. Не надо больше об этом. Больше мне сказать нечего. Не скажу больше.

Еще только одно: не думайте, что ветреная я.

Я только теперь так вот (себя не понимаю) могу все говорить. Я предаюсь волне бездумного океана — счастья. Я люблю Вас не только как писателя, — нет, — вполне, как только я могу любить. И я хочу об этом сказать Вам. Мне радостно сказать Вам это. Я испугалась мысли, что я Вам только для искусства? Скажите! Не томите! Это Ваше: «брожение мне только полезно (!) для "Путей Небесных"» меня ужасно как-то хлестнуло болью. Прекрасно, что для «Путей», но не хочу, чтоб т о л ь к о.

Ах, да, не думайте, что ветреная и т.д.

Не понимаю, что со мной. Прежде меня считали кто «гордой», кто «холодной», «русалкой» звали, а один остряк назвал «Fischauge»[i] и добавил «Fisch selbst ist immer zu warm, — Sie sind im Auge vom kalten Fisch»[ii]. В клинике меня расспрашивали довольно откровенно нормальна ли я в таких вещах, или просто «raffiniert»[iii]. Я очень была наивна и не понимала что их интересует. Один врач сказал, что я, наверное, очень «infantil»[iiii] или это русская натура? Пытали даже и про сны «не может быть, чтобы и в подсознании такой же холод». На вечеринках пытались под вином и, разжигая в модных танцах узнать все что-то. А я

---

i Здесь: льдышка (*буквально: глаз рыбы, нем.*).

ii «И даже рыба еще слишком горяча, — У Вас глаза холодной рыбы» (*нем.*).

iii Здесь: «слишком изысканна» (*нем.*).

iiii Здесь: «заторможена» (*нем.*).

держалась очень строго, оберегая «не расплескать бы». Вы знаете ли что такое нынешний медицинский мир? Я подходила к такому иногда вплотную, что даже странно было бы мне и подумать. Я все это с самой великой простотой, одна среди 5—6—10 врачей. Вот с их такими подходами. И потому особенно строга. И те — не знали к а к я любить умела. Да, холодная «русалка». О, какая была для меня мука эта любовь в ужасном тупике, с ее начальных дней, с признания (его) уж в тупике. Я ночи плакала, молилась, а днями отдавалась вся работе с горящими веками и жаркими губами от бессонья. Работа до самоистязания. Холодная «русалка». И, знаете, помог мне р а з у м. Рассудок. Всегда рассудочна была, — не по-женски, говорили.

И вот теперь? — Где все это? Одно бездумье! И я сама зову слова когда-то для меня звучавшие: «leben Sie nach Goethe, nicht zu viel Fragen, mehr Sonne, mehr Herz..!»[i] Я писала однажды сочинение на тему «Goethe und Frauen»[ii]. И знаю о его «крошке»[183]. Напишите мне о Тютчеве, — я о нем ничего не знаю, т.е. романа этого.

Нет рассудочности и нет вопросов... Есть одно — жажда видеть Вас... Хочу безумно увидеть сейчас же! Я раньше Вас учуяла тоску этого «далека». Х о ч у Вас видеть. Говорить с Вами, смотреть на Вас, сидеть с Вами молча, с закрытыми глазами...

Как мучает меня, что Вы нездоровы. Ради Создателя, берегитесь! —

Какой Вы чудный, нежный, Иван Сергеевич!

Мой милый, ненаглядный...

Какой прелестный наш язык! Как много ласки в нем, сравнений, как много неги и обаяния. И все же — не сказать всего, что хочешь.

Ах, да, Вы говорите об «истории литературы русской» и о письмах наших. Вы этого хотите? Я не хочу. Я никогда бы не дала Ваши письма ко мне большому свету[184]. По крайней мере, при моей жизни. Будто бахвальство какое-то, что «вот мол я какая хорошая». Я очень возмущалась, что Книппер-Чехова[185] публиковала Антона Павловича письма. Как это было горько. При моей жизни никто их не узнает. Или хотите Вы? Тогда — другое. Тогда совсем другое.

---

[i] «Живите по Гете, не задавайте слишком много вопросов, больше солнца, больше сердца..!» (*нем.*).

[ii] «Гете и женщины» (*нем.*).

Прислали фото. Ужасно. Отвратительно. Не то, что не похоже, а просто — совсем не я. Абсолютно. Не понимаю, как так можно. Ретушировкой еще больше испортили. Сегодня же иду к другому фотографу. Как хочу Вам послать «глаза». И как раз глаз-то и не видно — черные, вставные, не мои. Какая-то натянутость, жеманность... Ужас... А у меня серые глаза, с голубоватым, — иногда голубые.

Сегодня я причесалась (сама) совершенно так, как прежде, в девушках еще. Попробую, что будет.

Кончаю, т.к. пришли ко мне — ковры вымерять, линолеум класть, гардины вешать и т.п.

Я вся — в нездешнем. Как скучно — все эти мастера... Они такие тошные... А я слыву небось за ведьму у них. Бранюсь и требую скорости и работы, а не мазни. Боятся меня они больше, чем мужа. Ненавижу «кое-как». Наш работник (основной, полевой, так сказать) к счастью другой. Другое тесто, не похож на местных мужиков. Мы с ним друзья... Всегда веселый и довольный. Дождь идет,.. мокнет, а «ну, скоро разъяснится». А если солнце, то каждый раз: «с добрым утром, mevronw[i] что, Вы солнце принесли?! Тогда — милости просим». И смеется.

[На полях:] Ну, кончаю... Крещу, и долго, долго обнимаю сердцем. Ваша О.

Ваше письмо 14-го и «Свете Тихий» — получила и на него ответила 19-го уже.

Посылаю духи мои, вот здесь, на этом месте, чтобы хоть так меня почувствовали.

48

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.IX.41, 9 ч. вечера

«Чистейшей прелести чистейший образец»[186]! — только Пушкина вечным словом, — пытаясь выразить, хотя бы только близко, светлую сущность Вашу, — могу говорить Вам, чудесная, Чудесная! Так молитвенно, «невер», — какое заблужденье, — ныне, слава Богу, истлевшее! — назвал МАДОНУ, — (его правописание). Вы смутились, что я позволил себе так с Вами говорить? Нет тут кощунства: для «Мадонны» я нашел бы иное облеченье словом, — оно в молитве-величании — «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим»[187]. Вы для меня святы, —

---

[i] Хозяйка, госпожа (*голл.*).

все Вы для меня, в с е-Женщина! Я хочу словами выразить предельность чувствований, Вами во мне рожденных, новых, неведомых доселе, ни-когда! — и не могу, бессилен, — таких слов нет, для человеческого сердца, — о земном. Чувствую, как млеет сердце, ищет, стремится вылиться... — бессильно. Ну, что же... по-земному буду, тенью чувств. О, ми-лая, неупиваемая радость... я не верю чуду, — хочу — и не могу! — что Вы... «как много нежности и... ах, такого чудесного для Вас в моей душе!» — нет, я не обольщался, не смел поверить... слышал сердцем — и не смел понять. Светлая, девочка моя... поверьте, это правда, это... — как Вы мило-детски-верно говорите! — это честно. Вот за это-то, за это детское-простое, от сердца, как ничье, а только Ваше, я сверх-люблю Вас! Да нет, слов не хватает все передать. Что люблю в Вас? Все, всю Вас, хоть и не видел, голоса не знаю, глаз не знаю ясно... но люблю, инстинктом, глазами сердца, трепетом во мне, волненьем, тягой к Вам, безумием своим, страстями, темным, всем нежным, что во мне, всем светлым, что еще осталось светлого, всем бурным, что еще не нашло покоя, всем огнем, еще сжигающим... — вот не думал! — не видя, во сне люблю... — проснусь вдруг, и... обнимаю воздух, зову, какими именами называю — таких и нет. Днем, у себя, вдруг остановлюсь и начинаю с Вами говорить, беру портрет, трусь об него глазами... целовать смущаюсь... редко только, и бе-шено... — так мать, в безумстве от любви к ребенку, схватит вдруг, в порыве, — и за-душит в поцелуях. Спрашиваю себя, что это..? больное? Нет: знаю, что нет, знаю, что это предел любви, граница страсти, качанье души-тела крик, беззвучный, бессловесный, — зов..? Простите. Так все дни. Молюсь на Вас — и обнимаю. Стыжусь, страшусь... дерзаю! О, ми-лая, простите, но ничего не смею скрывать от Вас. Знаете, я так привык к Вам! Самовнушение? Ну, будто мы — свои, Вы — это уже я, почти будто мы с Вами давно-давно, все в друг-друге знаем, до родинки до — мыслей. Что же отсюда..? Хочу все сказать Вам, чтобы Вы все знали, какой я к Вам. Ну, вдруг Вас нет, что же я-то буду? Да, спрашиваю себя... Ни-что. Знаю, что это: и меня не будет. Иначе невозможно, я это знаю. Ну, пополам меня рассекли... — что же может быть! Но зачем я это говорю?! Не знаю. Вот сейчас, спать хочу лечь, но хочу дождаться — одиннадцати, услышать Ваше сердце... Вот, смотрю на Вас, в портрете, и «у дерева»... солнечную царевну, лесную нимфу, млеющую в солнце, такую отдающуюся сердцем, — чувствую,

как Вы те-плы... чисты, нежны-нежны... и говорю обеим: «де-вочка моя, как я люблю... как светло, безоглядно, страстно, бо-льно люблю, безумно, взрывно, тихо-тихо... Оля моя, моя Олёль, моя... не знаю... приснись мне, руку мою возьми, не говори ни слова, только погляди... я тебя недостоин, я это знаю, живу самообманом. — Да, вот ровно одиннадцать, так я говорю, смотрю... вот положил, портрет и «нимфу» и тут, около машинки, играет радио, Берлин... аккордеон, мне чуть весело, я задыхаюсь от чувства... целую... ми-лая нимфа, Олёль, моя леснушка... искорка во тьме. Боже мой, у Вас дрожат ресницы... не портрет — лицо живое... бьется там ток крови... почти я вижу, розовое вижу, бровки... ну, живые... зову глазами, вздохом. А о н а, «у дерева»... — в улыбке, в блеске... прозрачная! вижу чуть к коленям, целую кружевца, блики солнца — ско-лько их, вот очарованье света! вижу краски, фиолет теней, лиловость локтя, локотка... целую траву, воздух, вижу... о, девочка моя, о, святость моя небесная, лазурная, бабочка моя, — зачем же это все... так! бы-ло..! бу-дет..? Не верю. Господи, сделай так, как Воля Твоя только не так больно... сердцу чтобы не так... а сразу... сил у сердца нет... Я п л а ч у. Вот так сижу, пишу Вам. Вы тут... — и я не могу расстаться. Как обмирает сердце! Так вот, зальется... вспорхнет... — оно вполне здоровое, мой друг доктор говорит — «с этим мо-жете жить... ни... чего нет!» Легко мне, ну вот, выстукивает словно, — будет хорошо, будто... Как и о России оно мне... Вы помните, как я переживал ту, «финскую войну»... другое совсем было, а теперь — ну, так спокойно, будет С в е т л о Ей. Радио вдруг остановилось... нет, опять.

11 ч. 17 мин. Не хочу спать... Вы у меня в гостях, вот Вы... — Олёль! откуда ты, чудесная моя? Господь тебя мне показал, открыл из моей тьмы... Вымолил я тебя! Я помню этот страшный миг тоски... тот июнь вначале, 39 г., сижу на кровати, без мысли, раздавленный... — «О-ля!.. не могу я больше..! нет сил... так я одинок... оставлен... умереть бы... О-ля..!» — как я плакал, как звал... — это был возврат, страшный прилив тоски, горя, так остро сознанного. Долго я сидел, охватив голову руками, пригнувшись... Не помню больше. Кажется, было утро... не помню. И вот, через 4—5 дней... — Ваш отклик. Я это принял, как о т в е т. Кажется, я в ответном писал Вам тогда же. И вот — во ч т о ж е вы-ли-лось..?! В... счастье..? которого не вынесешь? в го-ре..? Что-нибудь одно. С р е д н е г о быть не может. Т а к (среднего) — н е может быть от Бога. От

Зла..? Нет, Злу не могло быть доступа. Тут — Свет. То, что в моей душе, и — знаю! — в Вашей, такой чистой, светлой, Господом созданной из Света, так Им одаренной... в этой золотинке, пролившейся из небесной кошницы, из Божьего сосуда — нет, это не з л о е... это благодатное... — но... к а к ж е?! как же все будет?! Господи, помоги понять, принять достойно, чисто, чтобы не пронзило сердца! Я грешный, я страстями грешен... знаю, я столько мучил ее, Олю... этой своей работой... — я проклинал эту ра-бо-ту! — и не мог не отдаваться ей весь, весь... и своим, порой, безумством... Неужели это мне — «Аз воздам»?! Ну, а Вы-то? Вы-то уж ни в чем... Ну, а как же я посмел мою Дари... бросить в искушения, в позор, в страдания на край погибели..? Я же не выдумывал, писалось — как в забытьи, порой, до... наваждения, до «откровенья»... Я Вам все скажу... как меня вело. Не выдумываю я, клянусь данным мне от Бога моим путем! Я же метель видел, на парижской улице! Я угадывал, чего нельзя угадать, — три раза так угадывал..! до ужаса! Оля знала это... и верила, что так дано. А из какого зернышка все зародилось! — для чего же все? для чего Оля ушла? почему? Последнюю главу, 33-ю, я написал за... две недели, кажется, до ее конца. Она просила последние недели: «милый, пиши... я хочу знать, что дальше будет». — Не что, а «<u>как</u>»: я ей рассказывал свои «виденья», она знала — дальше что... в общем, смутно, как у меня в воображении. Мне ведь и сейчас все смутно, я чутьем лишь каким-то и щу... в себе? — Как всегда. Я ничего не знаю, когда начинаю вещь... только «зернышко» неощутимое, смутность, только. Я Вам все о себе скажу, тебе, моя бесценная, мамочка моя в трудах... водитель мой... новый, мне сужденный, что ли... не знаю... я все скажу... всю душу выну перед тобой, моя святая, мама... Оля, Олёль моя..! О, сколько в сердце, как я тобой напитан, полон, весь — Ты, моя святыня, моя ангелика, девочка моя, какой я так хотел, девочку, свою... была бы теперь... пусть одна. Ну, мальчика моего убили, а она м. б. еще была бы... вот сидела бы, тут... говорила — «папа... ты устал». Нет, никогда не слышал, как бы девочка моя сказала... она меня любила бы... Простите, я весь в слезах... а пишу, вот стучу... как у меня нервы развертелись... А сегодня был хороший день, мне очень светлый, с Вами в мыслях, в душе... Меня позвали друзья завтракать в русский лучший ресторан, «Корнилов»... Хотел со мной познакомиться Афонский, хор-то его известный в соборе на

Дарю[188] поет... — все мои читатели... так ласково было... весело, один адвокат московский — удивительный рассказчик, друг Шаляпина, Коровина, всей художественной Москвы... тоже мой горячий читатель. — На Шан-з'Элизе солнце, блеск простора, воздух почти весенний, золотистые каштаны... блеск фонтанов на «Пуэн», нарядно... — золотое пред-осенье, теплы-ынь... Я ничего не пил, глоточек водки, только, — свежо в душе, и Вы, Вы, Вы, Ты, девочка моя... все сердце заняла, так и ношу, — пречистое даренье Бога... слушаю, смеюсь, рассказываю... я был весь собран, чуть в ударе, так легко было, так по-душам, с новыми друзьями... — и все время, ну, миг каждый чувствую Тебя... со мной, со мной, моя... моя... моя... моя... — так шептало в сердце, так радостно переливалось... А теперь в слезах... ничего, — обсохли мои глаза. Легче стало. Это от радости, пожалуй, от счастья, которого не заслужил? Ну, все равно, что будет, то и будет... Ну, пора, 12-5 мин. Бывало, Оля заставляла спать — «иди же, милый, устал ты»... А теперь сам должен заставлять себя. Легкая усталость. Домой вернулся в 5-м (дня, конечно), читал Пушкина, вот и его «Мадону» вспомнил, с нее и начал письмо. Спокойной ночи, девочка моя! спите, я послал Вам лекарства, чтобы снять с Вас «обруч» с Вашей грудки. Как Ваше сердце? Как Вас успокоить!? Ми-лая, верьте мне, все будет так, как Господь уставил. Предайтесь его Воле, он все излечит, чем болеете за дорогое. Милая, берегите себя, — я не знаю, чего бы я для Вас не сделал! Хотел написать Вам про мое «виденье», как недавно думал о детях... о Ваших черных мыслях, так унесся... и вдруг — Мадонна! Увидите, все очень обыкновенно, но — к а к это вдруг предстало! И еще хотел рассказать, как могла быть девочка у нас, да-вно-давно! и как п р о п а л а... как я шел Москвой и плакал — студентом был еще... нес... и плакал. Да ч т о нес-то!! ... И вот, Оля моя уже больше не могла... т в о р и т ь, — долго болела. Как мы молились... как в Крыму взывали... уже после Сережечки... теплилась надежда... ей тогда было 40—41, в 21 году... как она была красива, молода, сильна! Напрасные надежды... какой-то больной экстаз был, все это. Страшно вспоминать. Ну, многое хотел еще да, о н а ш и х близких праздниках... 16 и 19 авг.[189] Напишу еще... Покойной ночи, моя детка... целую в светлый, умный лобик нежная моя!..

[Между строк:] Милая, Оля! Если немного любите... вот, узнаете меня... Увидите меня... — Я весь Ваш, — если по сердцу я... — будьте моей, навечно... моей женой, закон-

ной, брачной! Все устроится. Я говорю сознательно, крепко. Простите, милая. Это вас не омрачило? Если да* — тогда ни словом не упоминайте, и я не стану.

25.IX.41 12 дня

Радость моя!! ... детулька, Олёль моя, как я счастлив Вами, так играет сердце, с пробужденья, поют в нем золотые птички, так вспархивают, рвутся к Вам, так нежно бьются, так Вас целуют в моем сердце, так ласкают, зовут к себе, всю, в с ю..! и навсегда, прекрасная из всех прелестных... прелестная из всех прекрасных... нет сил измерить мои чувства к Вам... к тебе, родная, святыня всех святынь ты мне... огонь мой жгучий-страстный, все темное во мне очистивший... о, свет бессмертный, гений мой воскресший, сияющая греза... нету слов, не знаю... Ты знаешь, ласточка... так я Тобою переполнен, ...так вознесен, так закружен тобою, так заметен любовною твоей метелью, так замучен сладко... о, еще, еще замучай, до боли жаркой, до вскрика счастья..! — так все превзойдено... слов не будет скоро, — онемею, молчание меня скует... созерцание Тебя, неуяснимой чувствами... — так только в высшем экстазе бывает, редко-редко... знают это святые... когда все чувства обессилены, и только созерцание и трепет, и горенье сердца... О, не-жная моя, о, ... — слова бледнеют, губы жаждут... ждут... Ты меня взяла, лаской освятила, лаской прелестной женщины, прелестной из прелестных, напоила незнаемой еще любовью, о, радостная королева-девочка! ...Я сейчас такой, что могу только вскрикивать, руки кидать к тебе, звать, звать... — это любви безумие... вот когда узнал, впервые... ?! Не знаю... Как это странно, смешно... во мне-то..! Какое молодое сердце вот не думал!! я — прежний? я — юный? тот мальчик, гимназист когда-то... наивно-чистый..? Я сохранил жар сердца, среди всех стуж, всей жизни... не растерял..! Да это чудо Божие... — Ольгу-ночка моя, Олёль моя, — ... Сейчас у меня детишки были... одного «белого» добровольца, он женат на француженке, когда-то убирал квартиру, два года у меня был... я крестил у него мальчушку, — хоро-шенький, два года только... — отец теперь уехал, под Варшаву, работает у немцев, механиком... — схватил я этого мальчушку... зацеловал... от счастья, что Ты так любишь, что Ты ж и в е ш ь... и такое безумство охватило... дрожу весь... Ушли они... — приносили письмо... — я думаю, в безумии... если бы... это м о й

---

* т.е. — омрачило.

был!.. О, ми-лая... Господи, да будет чу-до... дай мне, дай..! Безумие... Простите, чистая моя... я себя не помню. О, простите! я недостоин, я не смею даже таить в себе... Господи, прости меня. Милая моя, слушай, что недавно было недели три тому... Ты мне поверишь, да? Разве я могу тебе сказать неправду, хоть тень неправды показать тебе? Слушай. У меня остался лист письма... почему-то я не послал тебе... — когда рвал письма. Вот, слушай. Вот текст этого письма, 4.IX, в отрывке: «Сколько для себя света нашел я в чудесном письме июльском! Я прочел все в нем, и это "все" залило таким счастьем, такой чистотой чувства, животворящей! Ангел вошел ко мне, озарил крылами и воспел — "радуйся!"»[190] Верьте, чистая, это так. Боже, что я сейчас увидел, вот сейчас вот, когда написал — «чистая»! Клянусь Вам, дорогая, это не воображение, такая радость, дар мне — чтобы я мог сейчас же написать Вам? Слушайте. Я живу во 2-м этаже. Пишу против окна. Большое у меня окно. Сейчас 8 с половиной вечера, сумерки. Через узкую улицу, из окна в окно, вдруг — Мадонна! Всего пронзило светом... Го-споди! «Твою Красоту видел!» (не из того письма). — За сумасшедшего сочтете, милка, милка, милка моя, роднушка! Что со мной? — эти последние слова — «сегодняшние», не из приводимого письма: тогда я не мог бы так к Вам... а теперь... Вы дали счастье мне — быть совсем открытым с Вами, да? можно, да? не хмурятся бровки-ласточки, да? Я Вас целую — благодарю... А, мне все равно, я не могу уже себя держать... все равно, выбор один: — жизнь — смерть. Мне ничего не страшно. Я хочу жить Вами и... всю, всю, всю Вас целую... ну, оттолкните, я умру легко. — Теперь дальше, из того письма: — да, как играет сердце! — Ну, из письма: «Юная француженка, миловидная блондинка, тонкие черты, в светлом, явилась в раме окна, напротив... на темном фоне, — огня еще не зажигали, — с ребенком на руках... ну, как Богоматерь пишут. Смотря прямо как бы в мое окно, или — перед собой, она... — знаете, это вечное материнское движение..? — к себе ребенка, — неуловимо это, — целует в щечку, как-то сбочку целует, уголком губ целует, — все смотря ко мне... ну, так недвижно, лишь прильнула... — о, ско-лько в этом! о, святое материнство! Свет Господень! «В этом — в с е!» — мысль, мгновенно. Вот, что такое — Красота! Было мне явлено: «вот, Красота». Теперь продолжаю настоящее письмо. Ведь не раз видал но так, в раме окна, на темном фоне, на м о и мечтанья... — так увидел впервые, моя Святая. Как все условно! Вот оно, искусство!

Дано — жизнью, с улицы, дано — великое Искусство! Обрамленье, тона, и — сердце облекло, сердце очам дало! Как все условно и как непреложно верно! Взято — «сквозь магический кристалл»[191], по Пушкину, — и — Красота! Близко взглянуть — м. б. и некрасива, и грязновата, и ребенок пузырики пускает губенками, и кислотцой... — а в вуали сумерек, так мягко, так поет! Я видел — счастье. Будь я живописцем, дал бы в триптихе: явилась, потянулась, уголком губ, — поцелуй — недвижность. Француженка, мещанка... мать... — Богоматерь! Так творить Искусство... тут жизнь — сама творец, — случайный? Странно, — как с моим связалось! Счастлив передать Вам, тебе, родная... тебе, мой Ангел, — виденье это... Правду! Или скажешь, что «на ловца и зверь бежит»? Ну, что же... стало быть — «ловец» — под Чудом, под Благоволением Господним! — Благодарю, Господи, за дар Твой! Не мне, не мне... Имени Твоему хвала и поклонение. И Тебе, Тебе, Олёль моя, ножки твои целую, Ты меня озарила, озаряешь, Ты — ведешь. О, ми-лая... как я люблю Тебя, кровочка моя родная, чистая моя славянка!

Да, давно хотел сказать тебе: м. б. тебе не раз уже последние недели приходила мысль — письма на голубой бумаге... как Вагаев[192] в «Путях»... Это меня смутило бы. Но тут проще: нет, я не Вагаева повторяю, а вышло так — «под Вагаева», не-воль-но: была белая бумага, писал на ней, она вышла, не собрался поехать в центр, — есть еще там (есть и уже заказал оставить), а недавно мне кто-то принес блок, — проф. Карташев[193] (в подарок, я писал в Лейпциг, за его пасынка в плену)... я нетерпелив, остановить письма не могу... и взял, на голубой бумаге, а через два письма вспомнил — стало немного не по себе, что «под Вагаева», отмахнулся — пусть, под кого угодно, мне надо душу излить моей милой, я не могу без нее быть, я рвусь к ней... на какой угодно бумаге, есть и зеленая, а белой пакет оставил для «Путей», для чистовой редакции... — а на днях поеду и куплю. А пока — «голубые письма», пусть... милая моя в с е теперь знает, скоро совсем «ручная» будет, с в о я..? о, Господи! Вы не сердитесь, что я... но мне уже трудно собраться в ком, закрыться... не могу иначе с Вами, с то-бой, милочка моя, вся моя нежность... о, чудесная какая ты... славная какая, у-мная какая... мудрая... чуткая... — и твои тревоги, как мои, мы так похожи, не сердца, а Сердце, о д н о у нас. Всю тебя целую, весь в тебе, с тобой, — навеки. Если забудешь, отвернешь-

ся... сердце мое уже не отдаст тебя, — остынет, но в нем замрет в и д е н ь е... образ Твой, Оля.
Целую. Целую. Целую. Твой Ив. Шмелев

49

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.IX.41
День Веры, Надежды, Любви, —
День Софии[194].

Оля моя, Солнце мое! — Ты светишь! Ваше письмо — я получил вчера, в 4 ч., — а утром, вчера, т о, «Сумбурное», от 13.IX, — Вы так назвали. Я... счастлив?! Вчера я н и ч е г о не мог, душа играла, пела, плакала, смеялась, — душа — ребенком стала, таким чи-стым! таким — до изумления беззаветным, безоглядным, н е з д е ш н и м. О, святая, [всех Святых], ч т о Вы сказали! ч т о Вы дали мне!! — Оля, Оля... — у меня нет слов сказать Вам. Господи, за что мне э т о?! Это — что же э т о?! Я ждал, да... я не спал две ночи перед э т и м. А вчера, когда раскрыл и увидал... — Я же з н а л! давно знал... — и мучился. Это так велико, так непередаваемо священно... так я недостоин, — я у б е г а л от этого, что м о г л о быть, что я в и д е л... — и Вас невольно нежил. А я так давно — в е с ь Ваш, и так таил от самого себя... Оля, поймите, я всегда — когда это началось? — не знаю, — страшился, что это все — воображение, и вот — растает! «Русалка»! «Холодная» русалка! Ледяная. Вот Вы, хрустальная, вся льдистая сквозная, в Солнце, — я вижу Вас... — вот таете, моя снегурка... — вот, вырастаете цветком чудесным, весенним, летним... — вот, живая, девушка из леса, лесничка тихая, вся нежность, легкость, вся чистая, Пресветлая, мой Бог — Вы, в с е Вы мне, — все искупили для меня, в с е, в с е, все страдания утолили, н о в о г о меня создали — одним движением сердца, — одним — «л ю б л ю Вас»! Оля, Вы — ВСЕ. Я сейчас собой владею. Оля, слушайте. Слушай, мой Свет Святой... Клянусь всем нашим, — говорю перед Господом, как велит сердце, — это все открыто перед Вами: Вы — дар Господний. В Вас — Дар, Вы — Сила, Вы — гениальны! Да, я з н а ю. Все, что в женских душах рассыпано крупицами, — в Вас, одной, с л и т о, — Вы — Все-Женщина (не ё, а е). Все можете. Вы — само великое Искусство. Тут я не слеп, — я собирал «Вас» из Ваших писем, — мыслей, чувств, изгибов мыслей, извивов чувств... — я изумлялся, вглядывался... — востор-

гался, — такого ни-когда ни в ком — Вы неуловимы, Вас нельзя дать... — перед Вами, сущей, все чудеса, Все женские портреты наших титанов Слова — блекнут. Заверяю Вас, это — не хвала. Я могу только на Вас молиться... А Вы мне — «мечта в портрете неизвестной». Будете летать, должны, обязаны! Пойте Господа, Оля, — ка-ак споете — в с е! Счастье! — найти подругу, такую!! Это же мне — всем — милость Его. Падаю к ногам Вашим, моя Святая — и слышу, — «ты искал... — в Анастасии... в Дари... — вот увенчание исканий, вот Лик — Живой, надуманный Тобою, Явленный — тебе. Какою силой! Божьей Силой. Вот она, твоя Слава. Выше — быть не может. Нет на земле выше». Мы встретились ь. Недавно я видел Вас на перекрестке двух проселков. Мы молились вместе. Мы созерцали тайну. Ее — искусство наше не давало, не знало. Никто. Нашла ее любовь. Я вижу, как письмо играет, — пьяное оно, письмо, — душа, — счастьем опьяненная, но в с е, в с е — правда, такой правды, всей Правды не вместить. Милая, умная, гений мой светлый... я знаю, чего Вы не сказали. Я слышу... да, как же это свято! Святое увенчание. Да. Господи, да будет Воля Твоя.

Оля, святая девочка... Вы не омрачились моим — «будьте... моей, навечно, освященной Богом?» Не волнуйтесь, не смутитесь. Пока не говорите... я не смею, не смел... Но так сказалось. Оля, я Вас жду, Вас хочу увидеть. Сказать все сердцем сердцу. Видит Бог, как благоговейно, как бережно ношу Вас в сердце! Все — не мы, не мы... — все как бы Высшей Волей. Так я верю. Не могу иначе принять — так все знаменательно текло, зрел плод, — созрел. Как я люблю Вас, моя Олёль... — нет слов. Они найдутся, знаю. Сейчас я не могу писать «Пути». Но они бу-дут созданы. Вы — дали силу мне. Без Вас — я не мог бы, я это слышал, в сердце.

Да, ответить надо Вам. Да духи Ваши — не цвет ли яблони? или — мимоза? Нет, не «Эмерад» Коти. Скажите, я не успокоюсь. Еще что? Как хочу Вас видеть! портрет не разрешают. Жду Вас — случая. Я здоров, как Вы верно... о duodenum'e. Да, конечно. Да, ради Бога, пришлите Ваши стихи!! Пришлите, Оля. Оля, милая, я не могу без Вас. Вы нужны, жизни... это нужно для Вас самих. Это так нужно, так важно это! О всем моем — для меня — я Вам сказал — оно прах — пред Вами. Вы всем во мне повелеваете, все — освящаете. Все! Завтра я приду в форму, напишу. О романе Тютчева с институткой Денисовой. Приве-

ду и стихи. Но никогда не было — ни у кого! — как у нас с Вами, — нет, конечно, нашу переписку дать не при жизни... — но в истории литературы это будет — самый захватывающий, самый потрясающий роман! Как нужен слепцам — людям. Это — великолепие любви, это — откровение божественного Начала через любовь. Это — искать бога в человеческой душе, это — гимн Матери Света. Это — Рождение Любви. Оля, дайте мне Ваши глаза... я нежно целую их, я угадал их. Всю Вас целую взглядом, силой любви — безмерной. Нет, ни в чем не обвиняйте себя. Ни-в-чем! Оля, ...я же Вас... Оля, знайте... — если бы Вы мне не открылись, тогда, давно... — 9.VI.39 г. — я не стал бы жить. Я это чувствовал... И я позвал... безнадежно... — Вы отозвались, чтобы найти себя, чтобы удержать меня. Так надо было. Дальше... — скажите, что Вы знаете еще. Вы скажете? да, Оля, ми-лая! Целую Вас, Тебя. Крещу. Люблю. Твой Ив. Шмелев

Как хорошо — Вам — 37! — это пора расцвета, так Вы юны сердцем!

«Неупиваемая»! Ты мне Ее дала?! Ты, Дари? — Святое Слово дало мне Вас, Оля, Оля... — Чтобы я молился Вам. Мое искусство вернуло мне в с е, так беззаветно принесенное ему, — Вы вся из него вышли. Из чистоты всех л и к о в. Может ли быть награда — в ы ш е! Нет. Как хочу видеть Вас — сидеть, рука с рукой... и ни о чем не думать — Вас чувствовать, весенняя, — нет, Вы не «чужая», Вы — моя.

В такой душе — в святом хаосе — может ли твориться?! Но — зреть может. Созреет. Бу-дет. Будет жить. Вот они, — «Небесные пути». И по земле они проходят, небо на землю сводят. Надо найти его и показать.

С Вами я этого достигну. Так я верю.

Непременно примите antigrippal. И — укрепляйтесь. Берегите себя, родная!

И. Ш.

[На полях:] Пишите! Я Вам много послал. Вот мне творчество, — да, это нужно, так велено! Да будет. Пересмотрю все и отвечу. Покойно спите.

Как Вы расшиблись на велосипеде? Боли в груди — от этого?

Нет минуты, когда Вас нет со мной. Сегодня, в 6 ч. утра я звал Вас. Как ласкал [1 сл. нрзб.], называл.

50

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2 окт. 41

Родной мой... Пишу открытку, чтобы только сказать, что все эти дни писала Вам тома и... не могу ничего выразить. Не могу писать. М. б. все это сумбурное пошлю после, а теперь не могу. Пишу это. Коротко, чтобы не запутаться, чтобы молить Вас не страдать, не мучиться ожиданием писем, не делать ложных себе тревог... Я просто потрясена всем Вашим. Много Ваших писем получила. Я потрясена так, как никогда. Почти больна. Не пугайтесь — Вы не виноваты. Тут много чего! И с ужасом представляю, что Вы можете тоже нечто подобное переживать... Умоляю — берегите себя! Берегите нервы! Пока что скажу, что для всего, нашего, что от Бога — верю, что от Бога! — нам больше всего нужно хоть относительное спокойствие — иначе все будет еще сложнее. Я не посылала мои письма еще и потому, что боялась вспугнуть Вашу работу в «Путях Небесных». А теперь просто... не могу. Не мучьте себя представлениями «страхов», — я все та же. Нет — больше, гораздо больше «той же». Ваш вопрос, между машинных строчек от руки... «не омрачил», конечно. И потому я еще хочу сказать, чтобы Вы не думали, что если я молчу об этом, то это з н а к, что «омрачило». Как Вы там условились. Но я потрясена. Господи?! Я не грешила, нет, нет, я только сердцу дала волю... Из важного еще одно: в Париж я не смогу приехать. Я это теперь знаю. И это мне большое горе... я знаю также, что встреча нам необходима — Вы должны меня увидеть. Я — не Богиня. Обнимаю. Люблю. Ваша Оля

Сегодня я во сне (впервые) Вас видела. Очень странно... А вечером вчера, читая письмо Ваше «сейчас ровно 11 часов вечера...» — читая именно эти слова, слышу бой башни — 11!! Все что Вы пишите — я знаю, угадываю наперед. Пугающе... Пишите мне, только не надо ничего, что «auffallend»[i]; ради Бога, не надо ни духов и ничего! Все, все есть, что надо. Мне так немного надо! Я грим употребляю очень редко, только, чтобы не быть «отсталой». У меня еще очень свежи краски — это мой козырь, — и не выносит лицо никакой «приправы». Даже мыло не выношу я для лица, и моюсь только холодной, очень холодной

---

[i] Здесь: «бросается в глаза, выделяется» (*нем.*).

водой. Да, как Дари! Дари сегодня снилась! Какой у меня голос? Пою я меццо-сопрано или даже альтом. Грудной голос. Нам нужно видеться!.. Я знаю, что я должна Вам многое сказать... но отчего же не могу?.. Не могу... Я отдохну немного и напишу. Не сердитесь. Берегите же себя! Нам нужны силы. Пишите же «Пути»! Бог Вам в помощь! Муж мой многое знает*. Я слишком плескалась счастьем — не могла иначе, не могла и лгать. Помолитесь крепко и за меня. Мне очень тяжело и сложно!

[На полях:] Мысль, что и Вы страдаете — всего ужасней. Берегите себя!

Все, все здесь правда.

Скоро постараюсь написать. Вся я с Вами. Душой и сердцем Ваша.

51

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2 окт. 41 г.
4 ч. вечера

Милый, дорогой, чудесный, любимый!

Только что отправила Вам открытку и спешу послать вот это. Я так безумно взволнована.

Я боюсь, что Вы меня не поймете... Я там писала, что я потрясена. Боюсь, что Вы поймете это, как нечто отрицательное?! Нет, я вся, до глубины глубин моей души, и любящей, и православной, и русской — потрясена. Потрясена любовью, счастьем, нежностью, всей ужасной сложностью, которая вдруг возникла. Эта сложность не во мне и не в Вас.

Ведь у меня еще другая жизнь есть...

Я коснулась лишь слегка Вашего «вопроса между строчек, между машинных строчек, от руки...» (Это не слезы — вода-роса из розы!)

Это так огромно, так удивительно огромно, что мне нет сил собраться мыслями и чувством.

Конечно не «омрачило»! Как же Вы могли это подумать.

Но это так... так серьезно... И... если бы я была свободна! Я все Тебе бы дать хотела! Все, все!

Сережечку твоего, если не вернуть, то повторить; хоть тенью слабой!

Все, Иов[195] мой многострадальный, всего лишенный, — столько перетерпевший... и... все поющий Бога!..

---

* и это очень сложно!

Вот что я думаю сердцем, вот как я чувствую и как живу...

И знаю, Вы мне верите...

Вот мое сердце! Но как мне больно, как горестно, что все так сложно! Положимся на Бога. Он поможет и все устроит, если это все... от Бога! Я верю в это... Нам нужны силы, покой душевный. Успокойся и положись на Волю Божью. Иначе — грех!

Я не знаю, как все будет.

И кто я стала?

Мне хочется сказать Вам как мне больно, и боюсь Вас омрачить. «Пути» пишите! Ради Него, Создателя!

Как я люблю Вас, милый!

Нет у меня вопросов больше тех черных, о детях... Зато как много других!.. Сегодня я видела Вас во сне. А потом Дари. И все должна была беленькие детские туфельки выбрать и кому-то надеть...

Я не пишу умышленно никаких «разборов» по существу. Я так устала. Подожду немного. Напишу скоро Будьте только Вы спокойны. Я тоже так устала. Я немножко даже нездорова. Не волнуйтесь. Все нервы только. Просите крепко Бога о помощи мне и Вам, т.е. Вам и мне. Я потому сначала «мне» сказала, что о себе-то знаю, как это нужно!..

Я не сказала Вам о том, какая честь мне в Вашем «вопросе», — но это потому, что для сердца это все не так уж важно. Честь, слава, все это для ума, но не для сердца Я люблю Вас не за это. Родное, дорогое Ваше сердце люблю... Не говорите лишь про «годы», — как это не важно!.. Но у меня много других вопросов. *Вы* должны меня узнать ближе. Иначе я боюсь о чем-либо и думать. Вы должны меня понять в этом. У меня, кроме сердца и души, есть еще и характер. И много еще других мыслей, но о них после,.. когда справлюсь с собой. Если любите меня, то сделайте все, чтобы сдержать нервы, — Вы слишком себя мучаете... Хотя... я тоже! Мы должны себя беречь. Так нельзя! Умоляю!..

[На полях:] Я писала, что о Париже мне и думать нельзя. Это мне такое горе! Но как же мы увидимся? М. б. Вы приедете? Я не смею просить об этом. Но как же тогда иначе? Милый, подумайте! Ваша Оля «леснушка» (как это слово мило!) преступница? Господи! Господи, помоги!!

Ничего такого, что в глаза бросается, не присылайте! Не надо, ради Бога! Но трогательна Ваша забота, дорогой мой!.. Спасибо!

Я посылаю розу, первую за осень на этом кусте. М. б. это письмо получите ко дню Ангела, — тогда еще раз крепко Вас целую! Целую розу в серединку.

52

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.X.41—26.IX.41 8 ч. 45 мин. утра

Преставление апостола Иоанна Богослова. Какое серенькое утро! — как во мне.

Вчера писал до 3 ночи, тебе все, Оля, и не пошлю. Писал о Православии, о его духе, о свободе в нем. Слышал, как пробило — 4. Проснулся в 6, в 7... — с мокрыми глазами, — плакал? Сегодня я в церковь не пойду, не могу я в церковь, душа застыла. Будут люди, как ужасно, все у меня в разгроме, на столе вороха бумаг, писем недописанных, к тебе все, ведь давно ничего у меня, никого, ты только. Скован я с тобой, не оторвать. Сегодня не будет от тебя письма, были уже, два, одно такое светлое, другое... о, какое там чудесное! там ты мне — «ты» — сказала, отворила сердце, Сережечку дарила... в с е отдать хотела, — верю, Оля! — и сколько еще горького там было! Надо спешить, сейчас поеду в «Возрождение» отправлю книги для тебя, мой дар последний... Что же я тебе е щ е могу? Не велишь ты, тебя смущает. Ты... бояться стала! Это т ы-то! Сегодня еще — совсем последний привет тебе, в 8 ч. утра повезли в Берлин, Мариночке Квартировой — портрет мой. Ты получишь скоро, я умолял их послать. Там увидишь ты мои глаза, как они горят, в них — ты. Опять все мысли разбежались, не знаю Да, вот что. Вчера я писал Мариночке, было о тебе там, о твоем о г р о м н о м... о моей радости, что я у в и д е л это, только. И вот, писал когда, з н а л, что будет что-то важное сегодня, оставил радио открытым... Ведь вчера был день моего Сережечки, преп. Сергия Радонежского[196], России покровителя. Я ждал. Я т а к ждал, отзвука, — благовестия ждал — с «Куликова поля»! Я его писал ночами, весь в слезах, в дрожи, в ознобе, в в е р е. Ведь п р а в д у о Н е м, ходящем по России, услыхал я на могилке моей т о й Оли[197], которая вела меня всю жизнь. Ведь меня надо вести, я весь безвольный, — вот и послали тебя мне — довести. Ты не решаешься. Опять я... словно под водой пишу, вот как сдали нервы. Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался... Я услыхал фанфары, барабан — в 2 ч. 30 мин., — специальное коммюни-

ке: прорван фронт дьявола, под Вязьмой[198], перед Москвой, армии окружены... идет разделка, Преподобный в вотчину свою вступает. Божье творится не нашими путями, а Его, — невнятными для нас.

Сроки близки. Оля! Я хочу сказать тебе, что тебе Господи, вразуми же: — дано вести меня, а ты боишься принять такое. Некому это делать больше, пойми же, что — некому! Я как пробочка в потоке, я знаю меня бросает, меня прибьет куда-то... Я на распутье сейчас, я хочу в Россию ехать, искать чего-то, руки какой-то... я уже не могу без сердца женщины, я знаю. Я не могу. Я топчусь. После Оли, той, я мало сделал, только «Куликово поле» — оно большое, знаю... это было мне дано, ее могилкой, там я узнал о нем. Ты его не знаешь, что там главное. Оля моя, единственная моя... не отходи... не бросай меня. Слушай. Писатели, наши, православные... — это отсеянное изо всего народа. Говорю — о подлинных. Их совсем немного у нас было, ты их знаешь... не нынешних. Я — знаю — я отсеян из писателей, только я один — для нашего, для родного нашего. Мне не стыдно говорить тебе, ты — я, для меня. Одно со мной, так я чувствую. Только я, весь, жил, страдал Россией. Говорил о Ней. Ты знаешь все мое. Не все, все — узнаешь после. Ты не знаешь прежнего, не знаешь половины здешней — посылаю, чтобы знала. Таков удел мой. Все, что у меня с тобой творилось, только начало было, под покровом Божиим, по Его воле, — разве тебе не ясно? И для тебя так нужно. Ты ведь — вглядись в себя, — мне кажется... ты отвернулась от своего... ушла, в чужое... от обиды, от оскорбления? от горя? от непереносного... ушла. Выбрала себе чужого, в порыве, в растерянности, в подавленности... Так мне кажется. Ты мне ни-чего не говорила. Не открыла сердца. Смущалась? от гордости? Ты была отравлена каким-то ядом, озлобилась, душу свою опустошила, опустошала, сама... — не нашла сил уняться. Ты получила удар в сердце? Не знаю, мне кажется. Никто мне ничего не говорил. И ты нашла меня, водителя, слабого волей, но горящего любовью к своему. Мы нашли взаимно. Я открыл в тебе чудесный родник, великое богатство, — для того, от чего ты отвернулась. Тебе открылся путь. Сердце твое получило возмещение, вся обида твоя покрыта — и как покрыта! Ты так любима, так взята, так понята... так засветилась, вся! Оля, не отклоняй руки, которая тебя направила, — святой Руки! Оля моя, та, по воле Божией, получила право тебя утешить, укрепить меня... свела нас вместе. Разве ты не видишь?

Вдумайся, вспомни, милая, необычайная... Не повтори ошибки, будет поздно. Оля, не свяжи себя чужим ребенком! Преодолей все, будь верна пути, тебе показанному так поразительно о т к р ы т о! Что будет если не преодолеешь? Без тебя я не могу писать, не буду, откажусь, так — замотаюсь. Попаду в Россию, м. б. найду «водителя»... — не могу я теперь без женщины, — не тело тут, не утоление страстей, а мне надо ласки, теплоты, души я истосковался... я затерялся в одиночестве. Все будет тускло, без с в е т а. Я не выполню в полную меру моих сил. Я много сделал, но далеко не все. Мое наследство будет без ухода, без оправы, без д у ш и. Ты предназначена, — раскрыться, продолжать м о е, — у тебя Дар, огромный, Оля! Клянусь тебе, в этом я не могу обманываться, — я вижу... ты — гениальная! да, это не влюбленность, не любовь мне говорит: это моя чуткость говорит, я слышу э т у м у з ы к у... — твоего сердца, безмерного, глубокого, все-охватывающего сердца, израненного, и потому т а к о г о все-чуткого! Это твое сердце — самое-то н а ш е, от поколений твоих родов ты — в с я — особенная, как и я. Мы — ч и с т ы е, и мы д а н ы, для Ж и з н и, чтобы творить ее, н о в у ю на пепелище, на гноище, — в такие страшные дни наши, — о с в я т и т ь должны Родное, с м е н у должны править, во имя Божие, во имя нашего родного. Спроси папочку, сердцем воззови, — он скажет тебе. Оля, у меня нет больше слов. И времени нет, и сил. Я третью ночь не сплю, терзаюсь, жду чего-то... и верю, что подадим друг другу руки, вместе пойдем, как дружки, как ровни, как дети нашей дорогой, как Божьи дети. Оля, я безвольный, знаю я тобою силен... я Олей, т о й, был силен. Без нее — пропал бы. Ничего бы я не сделал. Она была д а н а. Теперь — ты мне даешься, и — боишься. Чего боишься? Света, такого яркого, такого... чистого, такого т и х о г о, — в искусстве, чистом, в чистой жизни! Ты со мной в венце пойдешь, благословленная! Оля, маму спроси, — она поддержит тебя. Неужели ты думаешь, что меня любовь плотская ослепила так, тобой? Я так благоговейно с тобой сближался, так нежно-свято прильнул к тебе, очаровался сердцем твоим, умом, талантом, ч е м-т о, чему названия не знаю — в ы с ш и м в р у с с к о й девушке... ты для меня — чистая девушка, непорочная голубка, загнанная бурей от родимой стаи... Оля, я простираю к тебе руки, зову тебя... — пойдем же вместе, не бойся, не смущайся, путь наш чистый, верный, не нами для нас начертанный. Т а к — д а н о. Недаром начаты мои — и не окончены — «П у т и Н е б е с-

ные». Ты их направишь, ты их мне освятишь, ты их собой замкнешь. Вглядись во все! в мой крик, в твое Рождение! — так найти друг друга, в такое время! в таком разгроме, в таких страданиях, — в твоих, в моих... — ведь это только святое Чудо могло помочь! Оля, крещу тебя, молю, зову, обнимаю твои колени, целую землю у ног твоих, — она уже святая, через тебя, моя царевна, моя светлика, мой ангел... — отдай мне твое сердце, нераздельно... дай мне жизнь, дай мне моего... твоего Сережечку! — Что мы знаем? Быть все может... может быть — святое ты выносишь под сердцем?! Великое! Мы оба — исключительны, как ты не понимаешь этого! Таких нет больше, при всем моем плохом и грешном. Нет таких, как мы. Это не гордыня, а знание. Это — дано, все видят, только не все уразумели. Олёнька моя, душа родимая, радость неизреченная моя, последняя надежда — ответь же! выпрями волю, душу, борись за свой удел, за назначенье, за свою правду, за свою свободу духа, сердца, — за Дар твой, он тебе от Бога, — ты его дашь людям, — ведь такого сердца нет на свете, нигде, как у тебя! Мое — потонет в нем, расплавится в твоем божественном огне, в этом вечном свете! Я-то знаю, и ты... тебе стыдливость, скромность мешают сознать, какое в тебе сердце, — какая сила! Оля, дорогая моя душа, моя красавица, мне не надо узнавать характер твой... — мне безразличен твой характер, — он — не нужен мне, — мне твое сердце нужно, — я знаю, что покорюсь тебе, таким я создан, — не управлять, а — следовать, храня свое. Нельзя во всем быть главным. Главное, чем управляю я, я только, — это — дар мой, не для меня, для — всех. Целую всю тебя, о как я тебя люблю, все крепче, все сильней, день ото дня, час-от-часу... дивлюсь, можно же любить так! Такого еще не знал в себе. Не бросай меня на полдороге, не покидай меня, родного самого — не найдешь родней, я самый близкий сердцу твоему, ты знаешь.

Твой Ив. Шмелев

Все, я, Оля, мой мальчик — молим тебя, — спаси себя и меня.

Напиши, здорова ли, я боюсь всего. Крещу, целую, всю тебя, — не могу без тебя, это не жизнь, я истаю, не губи меня! Если бы ты знала, как я страдаю.

53

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.X.41
11 ч. ночи — 12 ч. — 1 час ночи на 11.X

Далекая... о, какая далекая, теперь... потерянная так безвинно, Оля! Я уже смущаюсь писать Вам т ы... Вы меня этого лишили, не буду больше сердце Вам открывать, оно закрылось, оно забито болью. Снова вчитываюсь в страшное письмо, 2 окт., — 19 сентября! — канунный — ?! — день моего рождения, день несчастья! — и снова оглушаюсь. Так внезапно! 9 дней лишь прошло с памятного — 23.IX, светлейшего дня в жизни, когда сказали так ясно, просто, полно — л ю б л ю! Только де-вять дней... «счастья!» нет, во-семь, только: т о письмо я получил 29, несчастное — 7, в канунный день Ангела моего Сергуньки, ставший днем гибели моей любви. Что же случилось в эти 9 дней? Вы не открыли мне, не объяснили, оглушили, только. Этого я не заслужил. Вы меня на муку обрекли. Случилось, в и ж у. Вдруг — «о Париже и думать нельзя»! и — «что может броситься в глаза, не посылайте, ради Бога! не надо, ради Бога!» Страх? почти что — ужас?! — «ради Бога!» Что случилось? Неужели я до того «пустое место», мое израненное сердце до того «пустое место», что я могу и... обойтись без пояснений? Т а к Вы заключили Ваш «роман»? Т а к Вы поняли «о русском счастье»[199] — Достоевского? т а к ни Лиза Калитина[200], ни Татьяна Гремина[201] не понимали. О них особо, как и «о русском счастье», много бы я сказал Вам, написал бы роман, быть может — и хотел! — у меня с в о е «о русском счастье»... — и через 61 год — Достоевский говорил в 1880, — русская женщина, м. б. скажет — при случае, — «как это гениально!» У меня в с е — свое, как и понятие «греха», и — православия, о чем хотел в «Путях» поведать, — не скажу теперь, Вы это заглушили болью, ударом в сердце. Вы... мне на в с е откры-ткой отписали, отмахнулись... я не получил ее, она страшней, должно быть.... не приходила бы! Пожалели все же, бросили экспресс вдогонку. Благодарю за ку-де-грас[i]. Мне больно! О-ля, больно мне... Простите, тревожу Вас. Признайте же за мной хоть право на... — знать п р а в д у!

---

[i] Последний удар, «удар милосердия» (*от фр. coup de grâce*).

Простите, но я... Ваше — о моем мальчике... — я вспомнил! — не должен ли я принять за — ритм я слышу — «безумный стих», как Вы писали? Все — в одном! И — «это не слезы, а вода из розы!» Ну, конечно, вода из розы, я понимаю — и уважаю — Вашу гордость. Меня, оплакивать..? Оплакивать меня никто не будет, Господь избавил т у, кто так страшился этого, кто молился, чтобы Господь избавил... Он услышал. Я — не «многострадальный Иов»: тот тягался с Богом, я — принимаю все покорно. «М. б. Вы приедете?» Я слышу в этом — нет, не приезжайте. Ведь это так противоречит — «ничего такого, что в глаза бросается». Объясните? Не надо объяснять, теперь не надо, уже поздно[i]. Или и это — тайна, как все в Вас? — что рассказать хотели — и не рассказали. «И кто я стала?» Вы испугались, что теряете себя? Вы ничего не потеряли. Вы та же, чистая, как были. Разве я загрязнил Вас моими письмами? мечтами? «Свете тихий»? признаньем, что Вас люблю? Мне о-чень больно, Оля. Зачем, зачем Вы написали «какая честь мне»..? Это еще больней. И — «ведь у меня еще другая жизнь есть...» Жизнь..? Виноват: это я забыл. Да, главное я забыл. Советуете положиться на Волю Божию. «Иначе — грех». Я Вас не потревожу. Не объясняйте, почему так вдруг — все. Оставьте меня впотьмах, не подавайте милостыни. Мое «спокойствие» Вам нужно? Я теперь спокоен, для Вас. Убираю последние осколки, какие колют. Простите это убиранье — это письмо. М. б. кончу этим. Простите мое безумство, мою разбитость: в последних письмах, от 8, 9-го — я еще кричал, от боли. Теперь — осколки убираю — замолчу.

На прощание скажу Вам о «Путях Небесных», — Вы же остались хоть читателем моим, меня любившим? Верю Вам, в этом, — и доверюсь.

«Пути» — творились, вырастали, незаметно. Я Вас любил — и они любили. И росли. Столько в них вливалось..! Я любовался ими, я гордился ими. Я горел восторгом. Они вычерчивались в сердце — в Небе! Я воскресил — я же творю их, и имею право, как Творец! — я <u>воскресил</u> (убит? — ошибка газетного корреспондента) уже прекраснейшего «дон-жуана», — р-у-с-с-к-о-г-о! — моего Диму[202]... я ему дал Дари... я дал ребенка им... я дал страданье-искупленье, сверх всего, огромного... гимн творенью, Творцу, земле и небу. Небо я спустил к земле... и со-

---

[i] Это предложение дописано И. С. Шмелевым поверх машинописного текста от руки.

четал их. Это вошло бы во II часть. Рождалась — третья, в а ж н е й ш а я. Горело сердце. Я подходил к р е ш е н и ю. Смешалось... — Все. А теперь, доверюсь: не примите за похвальбу. Это — признание писателя — л ю б и м о й... читательнице, чуткой. Знаю, «Пути» Вам дороги. И — мне. Это Вам приятно будет.

Произошло сегодня. Два момента. Первый: Ирина[203] принесла цветы. Вы ее не знаете. Писал Вам? Не помню. Это дочь моего друга-доктора[204]. Я ее знал почти ребенком. Она — красива, очень. Мне нравилась. И — Оле. Ко мне привыкла. Бывало, голову положит на плечо и поцелует. Когда я выступал публично, она г о р е л а. Мы ее любили оба. После Оли она меня жалела. Я... мыкался по-заграницам, болел, метался. Продолжала, чисто, целовать меня (как и я ее — ч и с т о, клянусь!), когда видались, при встрече, как родная, как дочь, девочка совсем... 27 лет ей стало. В прошлом году... — я долго к ним не заходил, — когда болел я, с месяц не выходил, был тяжелый грипп, с головокруженьем, — я получил «билет на свадьбу». Вышла замуж за «товарища по школе»[205], рисовальщика, — пустое место. Я послал письмо, поздравил. Это было в ноябре. С тех пор так и не виделись. И странно: как-то забегала — не застала. Я два раза заходил, — они живут с отцом, — не заставал. Эти дни мой друг делает мне впрыскивания «ларистина», — так известный профессор Брюле мне прописал, давно, когда хотели оперировать меня, но преп. Серафим у с т р о и л, это было в 34-м, — и четыре раза я не заставал ее: не видел ни разу после свадьбы. Сегодня был в 3 ч. у них. «Ирина..?» — «Ушла куда-то». Странно. Дождь. З н а л а, что я буду. Доктор вчера был у меня, в день Ангела. Выпили мы с ним. Сказал, что разъезжается с супругой[207], — давно пора! От этого я был в восторге, доктор — удручен, очень уж глупо-религиозен, все «на волю Божию» полагался, до-положился, до болезни, до помрачения, до... стыда. Говорили об Ирине. Будет с ним жить, не с матерью. Муж..? Молчание. Пустое место..? Ирина..? Ничего... скучает... 28 лет — скучает. Ребенка нет. Такая же, хрупкая, женщина-ребенок, карие глаза, огромные... живые вишни, — круглоглазая она, модель Мадонны-девочки. Художница, чудесные эскизы, — парижские предместья, осень, голость, облезлые дома... — в сетке серой все, деревья плачут... — грустная душа немножко. С внутренним гореньем, бледновата, — у таких — внутри, горенье, лицевые сосуды не пускают кровь погулять, в лице. Помните, «Мисюсь»[206] — последние страницы — ночь, надежды...

«Мисюсь, где ты?» Доктор ушел вчера, угрюмый, — после двух рюмок! — раньше эти две всегда «шумели». Как-то, с год тому, сказал: «только бы не в мать пошла...» У той — всегда «горенье», другое только, — ровно 50! — уж слишком внутреннее: как-то я, шутя, протанцевал с ней, тому лет десять, вальс «Березку», у океана, ночью, в Ландах, под граммофон, — вспомнил в Севастополе оркестр матросский, «раковину» оркестра, звезды, свежесть моря, снежные кителя ловких моряков, матовые шары Яблочкова свети́ли шорох гравия, сырого, трубы в блеске, женщины, духи, корзины винограда... струйки шампанского Абрау, глаза гречанок, разлеты летних юбок в вальсе... острый, горьковатый дух рябчиков от ресторана, капельмейстер-боцман лихо играет на валторне... и машет, ловкий, ведет команду... — и... мы, двое, с Олей, у столика, счастливые и молодые, смотрим — и н е видим, ничего. Глаза-то видят, у меня-то, вбирают, по привычке, что им надо... и н е видят. И милая «Березка» в нас п о е т. Ну, вспомнилось... — пошел я с тоненькой Марго, в «горенье»... это у Марго, конечно, — и... чувствовал «горенье», у Марго... конечно... ну, 40 лет ей было, тогда-то, десять лет тому... — понятно. Меня не тронуло «горенье», с вызовом хотя. Я... ре-ли-ги-о-зен, тоже.

Пришел домой, сегодня. У двери — цветы, записка. Была. Впервые после свадьбы. «Так жалею, не застала». Послал ей «пней»[i] — увижу завтра. Цветы красивые, гляйоли, алые, и георгины-звезды... стрелки, остро-красные, — не серые, как все эскизы. Мне стало грустно. Мне стало ее жалко. Может быть, на жизнь пожаловаться приходила... я ее люблю, как дочку. Ах, «Мисюсь» — «Мисюсь»... Я ее спросил бы, счастлива ли... она не затаилась бы, сказала... и я сказал бы ей, как умудренный жизнью: «Милая "Мисюсь", не стоит плакать... ты юная совсем... пиши эскизы... повеселей... в Бога верь... и — во-ли больше... меньше боли... не жди на полустанках, полагайся лишь на себя, т в о р и сама жизнь, милая "Мисюсь"... все впереди твое... с папы не бери примера, с мамы — тоже». Выпили бы с ней Мюска, она поцеловала бы меня, как прежде... спросила бы, как прежде, — «Вам не легче?» Я сказал бы — «нет, не легче... тяжелей, Ирина». Остановила бы на мне глаза, живые вишни, и... ни слова, вздох легкий, только.

---

[i] Сообщение по пневматической почте (от *фр. pneumatique*).

Видите, этюд к роману. Их много, этюдов этих. Жизнь их пишет.

Да, «Пути». Их не будет... хоть и должны бы быть. Вот, довод, — второй момент, сегодня.

У меня был большой юрист[208], прекрасный адвокат, мой новый друг. У него убили сына[209], призванного французами. Горе у него. Очень любит женщин, хотя в годах, на год меня старше, 65. Стройный, живой. Топит горе в бабах, — простите. Жаловался на тоску. Бабы? Исчерпываются в полчаса. Все. Бабы... из приличных. Я сказал: «пять котлет»? Он понял: на каждую котлету — шести мин. довольно! И вот, тут-то он, — «Снова Ваши "Пути" читаю». «Снимает боль, скуку, уводит баб». Было приятно мне. Он — тонкий, очень. — «Все устарело, не могу читать... все вяло, ложь. И Толстой, и... все. Эта Дари... это новое... "духовный роман"»...

Это «мое» слово, он не знал. Читая снова, он находит новое. Все больше. Я был доволен. Это мне — награда, от читателя. Не от... читательницы!.. Это о-чень важно. От «знатока»... «котлет». Вкусил — «нет, эта — не "котлета"». Вспыхнуло во мне... и — погасло. Не примите за похвальбу, я не нуждаюсь в ней. Просто, за «этюд» примите. Жизнь их пишет... только «Путей»-то не сможет написать: они над жизнью. И вот, они — убиты. Нет, не Вами, — мною, моей ошибкой. Еще «этюд» — к роману.

Ив. Шмелев

Оля!... Я плачу... засохла Ваша роза, последняя, без слез. Вот лепесток ее.

[На полях:] Будьте здоровы. Я — спокоен.

Чтобы «не бросалось в глаза» — посылаю простым, не заказным, и не экспрессом.

Ваших духов не слышу — испарились, и не знаю, какие они были, Вы и это не сказали мне.

Вот «стрелка», от цветка Ирины.

Мой портрет у Мариночки теперь. Вы получите «Старый Валаам» из монастыря в Словакии. Я их просил послать, это издательство[210]. Я им отдал книгу, для монастыря.

Письма Ваши я сохраню: кому-нибудь понадобятся, как этюд к роману. Если прикажете вернуть — верну: их 33. (Столько же и глав в «Путях».)

54

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.X.41 Покров Пресв. Богородицы[211]

Пречистая да хранит тебя, дорогая, светлая, несбывшаяся... пока? — вовсе? — Оля моя, чистая! Позволь мне на «ты» с тобой, хоть это счастье, маленькое счастье, позволь мне, это не может оскорбить тебя, мы с тобой, как товарищи, как дружки, служим Единому, служим чистым сердцем, Бог видит это. Позволь, родная. Видишь мое сердце... ты видишь. Тяжело мне, очень тяжело, боль я задавил в себе, ни словом, ни вздохом тебя не потревожу, ни безумством, ни безоглядностью Все понимаю, всю сложность, для тебя. Прости т у, прямоту мою, я не мог таиться, в с е тебе сказал, чтобы ты знала, как я, к е м я тебя считаю, для меня. Теперь ты знаешь, все. Да, жизнь сложна. Я хотел, чтобы ты верила, к е м живу и — чем. Так еще недавно, — помнишь, Оля? — ровно тому месяц, 14.IX, так взволнованно ты мне писала... тебя встревожила моя тревога... помнишь? я боялся, что мое чувство может смутить покой твой... ты это приняла иначе, ты думала, что нужна мне лишь для «искусства». Я тебе открылся. Потом — сказал всю правду. Это тебя совсем смутило. Прости. Твое здоровье, покой твой мне дороже моей любви... светлая, не мучайся, я ни словом не потревожу больше. Только бы ты была здорова, светла, пела, как летняя, зарянка розогрудая моя. Я должен был бы понять, что ты облекала жизнь свою мечтой, что ты искала большей радости для своего взыскующего сердца... — и я счастлив, что хоть немного радости мое святое к тебе чувство дало тебе. Я не стану больше, лишь бы тихо и свято было все в твоей душе. О, чудесная моя, необычайная, далекая. Я так взволнован, так страдаю, что ты больна, все эти дни покоя не найду... Ну, прошу... думай же о себе, я тебе послал, что мог, сколько упрашивал — Оля, так я за тебя страшусь, ты слабеешь, похудела... твои нервы разбились, я это слышу... Господи, помоги мне уговорить ее! Оля, лечись же, ты медик, понимаешь. — Мне вернули два «экспресса», от 7 и 8-го, они были неразборчивы. Я рад. Так я был оглушен, так неверно понял твое письмо, 2-го, — открытки еще не получил. Я отдаюсь на волю Божию, я тебе послушен, я закрыл все в себе, как мне ни больно. Живи только, будь покойна, пой, моя ласточка, моя голубка светлая. Для тебя, во-имя тебя я попробую начать работу, забыться в ней. Это трудно. Было со мной такое, что... нет, не надо. Ну, я теперь почти спо-

коен. Э т о не повторится, мое отчаяние. Слишком мне дорого жить-сознавать, что есть ты на земле, хоть и не верю, что смогу увидеть чистую мою... Оля, я тебе во всем верю. Как благоговейно благодарю тебя за твое чувство, за твое сердце, за мою боль, которую ты поняла так свято, за моего Сережечку... Святая моя, благодарю тебя, руки твои целую, слов не найду высказать тебе, как чувствую. Посылать ничего не буду, будь покойна, ничем тебя не потревожу.

Ты писала о «русском счастье». Я знаю, это из речи Достоевского о Пушкине. Я многого не принимаю в ней. Надо вспомнить, к а к все там творилось. Достоевский и диалектик гениальный, да. Он победил тогда «обе половины» собрания, мыслящей России. Дал и Тургеневу «на бедность», пя-так, плакать его заставил, Ли-зой... А знаешь, как он писал жене, когда в гостинице готовил свою «победу»? Бешеный вулкан, — ему н е правда тогда нужна была, — по-бе-да! Он закрыл п р а в д у, он-то понимал, что не Лиза — не она, а сладенький Тургенев сказал н е п р а в д у, у-бил Лизу! Но это надо было тогда — Достоевскому! — создать «апофеоз», склеить две половинки русские, примирить непримиримое. Три дня склейка держалась, угар прошел. Включаю, понятно, и главное — о «русском счастье», Татьяну. И тут неправда. У меня свое понятие о «русском счастье». Дари за меня выскажет в победном споре с атеистом-врачом и другим, «страшным». М. б. скажу. Моя «правда» будет строиться на духе Православия, на Христе. Видишь, Олёчек мой, нежная моя... ты Дари поверишь? старцам оптинским поверишь, отцу Варнаве[212]? Они решали вопрос о «счастье». Не толкнули Дари «за стены», и не лишили «беззаконных» благословения. Не освятили бы они и «жертвы» Тани. У них своя мерка, с в о б о д о й во Христе, в Д у х е. Это — н а ш е, это Православие. Католики, лютеране — те п о д о ш л и бы с «п р а в о м» — римским — 1-ые, и с «анализом» — 2-ые. Н а ш и — сердцем, чего и Виктор Алексеевич[213] не постиг, тогда. Я иду от веры, что Божий Завет р а с т е т, развивается по своему Закону, как все Божие, ж и в е т. Только Тьма — мертва. Бог взращивает человека, творит вечно его живую душу, изволит, яко Всеблагий, поднять человека до Себя! И это Дари поймет, она вся н о в а я. Это познал и Дима, потому и — обновление его. Теперь ты, бесценная, ведешь меня в «Путях», и я хотел бы смотреть на Дари ч е р е з тебя, через твое сердце. Господи, ч т о во мне творится! Оля, ты не знаешь, к т о ты для меня. Будь н о в о й! не отдавайся той «закваске», которая в тебе, — так понятно это! — от ряда поколений

твоей крови, — святых для меня, клянусь! Папочка твой для меня — святыня, я молюсь ему. И все скажу — растет человеческий Дух, в обновлении. Дари назовет неправдой «подвиг» Лизы, святотатством! Лиза воспела «тьму». Богу нужна ли ее «жертва»? Насилие над духом неугодно Богу. Ее «уход» — надрыв. Кому построила она «счастье» на своем страдании? Лиза разбила себя, любимого и... вручила его «пустышке», грязи. Хорош «апофеоз»! Хитрый «диалектик» все понимал, знал, как взять победу. Взял, обворожил. Устроил и Тане «апофеоз». Знаешь, дружок, что Пушкин сам был удивлен, что так закончил. Крикнул удивленно-загадочно, в салоне своего друга-женщины: «а ведь моя Таня отвергла Евгения!» — «другому отдана и... т.д.!» А вот. Он уже готовился к женитьбе, был «весь огончарован»[214]. Страшась расплаты, «ловец чужих жен», он дает поучительный пример «верности», приковывает Таню к «нелюбимому» — он чуял, кто он для будущей жены! — Дари сказала бы: «какое святотатство»! Таинство освящает великое из таинств — любовь. Таня сказала Христу ложь. Она не любила мужа. Она продолжала любить его. На — «обещалась ли кому..?» — буквой сказала правду, духом — ложь: она вся рвалась к нему, молила! И убила таинством — себя, его и «мужа», — обманула в таинстве. И вот, на таком-то Достоевский строит — для него заведомо шаткое — понятие о «русском счастье»! Но тогда, в расколе русском, общественном, — все проглотили в бешеном восторге. А Достоевский сделал свое дело и... стал «адвокатом дьявола»[215]. С ним бывало и похуже, ты, м. б., детка моя, знаешь: не стоит. Анна Каренина тут святая, хоть и из «романа в конюшне», как припечатал желчный Щедрин. Ах, сколько бы говорил с тобой! сколько кипит в душе! — весь горю, так неспокоен, — надо остыть — к роману. Гимн какой спел бы, во имя твое, моя необычайная! Ты говоришь — «положись на его Волю, все будет, если это о... от Бога!»

Чистая душа, да от кого же, в с е-то?! Вглядись, родная, зоркая ласточка. Для меня нет сомнений. Но мало — только ждать, от Воли. Бог дает указания, Бог даровал волю человеку, свободную... великий дар! Бог ждет «творчества жизни» от своего чудесного создания, — или ты отвергнешь это? В плане Божьем — чтобы человек возрастал, чтобы творенье, подобие Его, творило Его Волю, познанную с Его Помощью, Олёк мой! Мне было грустно читать — видеть твою покорность «течению земному». Твой Дух — в свободе, — дух творческий, как я верю! Оля,

сама твори. Оля, у тебя крылья, — дар Божий. Оля, жизнь пересмотри свою... Напиши мне, поведай, доверься... расскажи о драме, как ты вышла из родного, почему? Я чувствую, что тут есть — от обиды, от неправды... — прости мне, что я позволил себе коснуться. Ты для меня вся чистая, вся непорочная, моя прекрасная царевна. Твоя воля, не хочешь — я ни слова не оброню, я весь в свободе и чту твою свободу. Я не посмею теперь ничего тебе послать, не тревожься... скажи только, какие твои духи, это — для меня. Хотел бы видеть локончик твой хотя бы... Мой портрет у Марины. Знаю. «Старый Валаам» — м. б. пошлют тебе из монастыря в Словакии, написал издательству. Еще м. б. издательства вышлют другие книги (8). Пошлют «Историю любовную» и «Свет Разума»[216]. Как могу — я — приехать? Если вещи бросаются в глаза... и — трудно найти предлог поездки. Но... если ты изволишь... я постараюсь все исполнить. Многое надо сказать, но места нет. Можно писать лишь 4 страницы. Да, мой возраст. Я родился в 77, как твой папочка, 20 сент. Официально я старше на 4 г.[217] — надо было представить при отъезде из «рая» право на выезд, ограничение возраста не менее 50 л., для военного комиссариата, в 23 году. Вот. Отец мой скончался в 85. В 80 г. — Пушкинские торжества — я, трехлетка, строил домик из билетов на трибуны. Отец тогда не был болен, был на празднике, но я в очерке «Как открывали Пушкина»[218] — дал его больным, — это художественная выдумка, прием, — он «не знал» Пушкина, — и — не был. Женился я в 95-м, не было полных 18 л. — !! — и... был уже в ней — Сережечка. Он родился — 6 янв. 96. Ей было 16 1/2 л. — я полюбил 14-ти л. — она приезжала из Петербурга, из института. Я — почти «Тоничка» из «Истории любовной», — она — в самом конце является, «глаза» ее... — много автобиографического в романе, — это — исключение. Больше я нигде не выводил ее. Утратив ее, я уже не мог вернуться к «Путям Небесным». Она, Господь... — послали мне тебя. Не от Бога — это?! Ты вошла в мою жизнь — для Господа, по Его Воле. Ты нашла себя. Так надо было. Проверь, что шепчет в сердце. Это твои Пути. Я не играю: я люблю, я жив тобой. Не уходи, Оля! Не мучай. Целую твои руки, мой гений. Твори свое, себя. Ты — призвана Господом. О, не забывай! Оля!!

Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Когда получишь книги, я пришлю автограф, ты наклеишь. Не забывай, не забывай!

Ради Бога, напиши о здоровье.

55

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4 окт. 41 г.[i]

Созвучья дивной Песни Мира я б уловить хотела
в гимн победный, —
— от рева волн могучих океанов,
раскатов гроз, сорвавшихся камней с утеса,
от ручейка весны журчащей,
трели соловья влюбленной,
от шепота колосьев спелых,
шума ласкового бора
и звона жаворонков в небе,
от шелеста осенних листьев,
метели-бури завыванья, —
до...
звонких слезок мартовской капели,
до... шороха травы, растущей,
до... лепета ребенка...
Букеты пышные Цветов Земли собрать бы я хотела, —
от лотоса,
мимозы стыдливо-робкой,
фиалки скромной, —
до...
жарких маков...
И ароматов Жизни я бы взять хотела, —
от свежести холодной льдинки, —
до душных волн сосны смолистой в солнце,
от нежности душистой детской щечки,
земляники спелой,
от ландыша благоуханья чистого, святого, —
до...
страстного дыханья алой розы
Чтобы к ногам Твоим повергнуть и знать,
Что Ты отдашь мне все, —
— в... одном лишь поцелуе[ii].

16 сент. 41 г.

---

[i] Помета И. С. Шмелева: Ошибочно: письмо написано 6.X.

[ii] В стихотворении сохранена ритмическая пунктуация О. А. Бредиус-Субботиной.

Вот этот «стих безумный» Мой родной, мой милый! Теперь он мне не кажется уж, ни «безумным», ни «не можно». Как будто правда, как Вы сказали, что — «все можно». Бесценный мой, чудесный, дивный... Как я люблю Вас!.. Никогда, никогда я этого еще не знала. Такой вот муки, муки, слаще самой жизни, тоски сжигающей, биений сердца таких, таких чудесных и... вот такого стремления, — стремления всей душой, всем помыслом, всем чувством, всем дыханьем, — стремленья... к Вам, конечно...

Конечно бывало и раньше: увлекалась, любила... но постоянно оставалось ч т о-т о в резерве... Делалась подсознательно выдержка на некоторую возможную неоткровенность, ну, дипломатическую «игру», что ли, с т о й стороны, — и некоторую, такую присущую всем женщинам, «хитрость» со своей стороны. И получалась часто — игра чувством. Красивая, но все же сколько-то игра... А я была игрок упрямый, я часто все срывала, когда не нравился мне ход другого...

Но здесь, но с Вами... тут мысли, тут силы для «игры»... Здесь дивная, «божественная комедия». Как я люблю Вас, как радостно мне Вам признаться в этом, без «лукавства», просто быть с Вами! Как я Вам верю! Как не хочу Вас мучить!..

Как я страдаю от разлуки! Родной мой! Как я бедна словами! Я не могу так выразить, как Вы это красиво можете!.. И мысли одна другую перебивают. Ах, да, «Свете Тихий»... неужели у Вас нет копии? Прислать? Я перепишу! Хотите? Хотите эту дивную «картинку» несколько обобщить? Лишить самого личного и дать на радость свету? Я не обижусь. Ведь Вас нельзя о д н о й держать; только для себя, под спудом беречь такое Чудо Божие, такое дивное Творенье... «Свете Тихий»... Я в следующем письме пошлю Вам. Делайте, что хотите. Милый, Вы не пишете «Пути Небесные»? Я понимаю, как трепетно, как неспокойно в душе... конечно, т а к трудно собраться в стройность работы... Но Вы ведь будете? Как я страдаю от разлуки...

Как мучаюсь... Вы? Тоже?

Какая острота, живучесть, порывистость чувства!..

Вам трудно писать — я знаю... Я ведь тоже ничего не могу делать. Я только думаю о Вас... Да, 30-го сент. Вы в 6 ч. утра меня звали?.. Я проснулась, тоже в 6 ч... Правда... И был у меня разговор с мужем. А в 1/2 8-го был Ваш экспресс... какой чудесный... Я была рада, что разговор был

до Вашего экспресса, — и независимо от Вас... А в общем, о нашей жизни...

Я не знаю, что и к а к будет... Я не вижу. От Бога ли? Тогда, 9.VI.39, я была во тьме. После, была у исповеди и так и сказала: «я чувствовала, как была во власти темной силы»... Но Вам писала я, я это чудно помню, не во тьме. М. б. из тьмы, взывая, хватаясь за Свет, именно от жажды Света!.. Грех ли это?! И разве Бог тогда попустил, дал т е м н о м у меня опутать, чтоб погубить и Вас? Из тьмы, из рва глубокого, я все же тянулась к Свету... Я помню, как я рыдала тогда, как я оплакивала все Святое, родное, что в Вас и у Вас так ярко!.. Я не во зле Вам писала... Нет... Ах, если бы з н а к! Я не могу молиться... Я вся в Вас... Нет у меня другого взлета... даже и к молитве. И я боюсь таких вот состояний. Некое пробужденье? Но я всегда ношу в себе о Боге помысел...

Милый, Иван Сергеевич (как захотелось назвать Вас), как будет дивно, когда родится из этого чудеснейшего, красивейшего чувства Ваш Труд!..

Мне иногда до ужаса бывает страшно, совестно пред миром, что Вы такое богатство, такой редчайший жемчуг мне, мне одной лишь рассыпаете... О, если бы можно было все это ухватить, собрать, сложить в сокровищницу... Как было бы велико... Как недостойна я... одна все это принять...

«Пути Небесные» творите, вот в этом Святом Пожаре! Пробуйте! Дайте все, всю силу, которая теперь завинчена[i] судьбой так крепко... Как это ужасно!

Я не могу к Тебе приехать!.. Да, да к Т е б е, не к Вам, а к Тебе... Я не могу больше не видеть Вас! Ну, разве не жестоко? Но Вы-то не хотели... И теперь не понимаю... Я не могу приехать... Но как же тогда? Так ничего, все просто так?.. Ах, сотворите тогда Вы, силой Вашего гения, сотворите тогда прекраснейшую сказку жизни!.. Нет, я должна Вас видеть, как Вы — меня! И Вашего портрета нет. Пошлите хоть маленькую [карточку]. Но я хочу не лик, а Вас увидеть-услышать! — Вы не можете приехать? Я не смею этого просить... Мужчинам легче дают визу. Мне же для себя не достать н и к а к. И потом — сейчас пытаться к Вам поехать — значило безумно все испортить дома (для нас испортить). Попробуйте приехать, если хотите только, я не смею просить. И скажем: пусть это будет з н а к.

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

Если удастся Или это нельзя? Нельзя искушать? Тогда не буду...

Если бы Вы смогли приехать, — то я бы предпочла остаться в Arnhem'e — это прелестный городок, — там есть леса (теперь все золотые), березы, и вид немного наш, русский. Я бы уехала на отдых. Мне он так нужен. Из нашего совместного отпуска, как предполагалось раньше, ничего не вышло. Муж лишь объявил, что ему некогда, что я могу одна уехать сколько хочу и т.д. В Arnhem'e мой Сережа, поэтому понятно, почему я в Arnhem'e. И в то же время Сереже я скажу, что быть хочу совсем одна и независима. Ему знать ничего не надо.

Не знаю иначе, здесь ничего более подходящего...

Но это ведь мечта только?! Но без мечты нельзя ведь жить!.. Нельзя жить без мечты...

Как часто я вспоминаю чеховскую «Дама с собачкой»... С собачкой, «с птичкой»... — не одно ли то же?!.

Не понимала как-то раньше душой при чем тут собачка... А как это верно. Мне всегда делалось надолго грустно, как-то горестно от этого повествования... А вот теперь... теперь ведь, пожалуй еще горестнее... не видеть даже!..

Если бы я т а к могла, как Вы, — то всю эту тоску, всю безысходность, эту молитву любви, — я бы воплотить хотела...

Пусть бы это было Дитя святое святого чувства! —

Но я не умею. Я инспирирована только Вами.

Вот этот «стих» я посылаю и стыжусь, как плох он... Я ведь знаю это. И чувствую, к а к бы его критиковать надо. Я вижу «со стороны» как бы. Но посылаю так, как был написан 16-го сент., когда я ничего еще от Вас не знала. Имела только 2 жестокие открытки... Понимаете, почему я его послать смущалась? Вас этот «стих» уверить должен, что я творить не умею. Я же вижу, как он безвкусен. Я не выразила им ничего из того, что бы хотела, — значит бессильна, не владею... Я даже себя как-то ненавижу, когда вот такую мазню вижу. Но посылаю, чтобы Вы уверовали в мои сомнения. Только, чур, не браниться... Напишите все, что Вам не понравится! В критике, конечно, браните! Я не боюсь!

Какой вчера был чудный день! Меня снимал вчера Сережа в саду плодовом. Конечно для Вас! Я хотела в светлом, радостная, с цветами! И когда я одевалась, — казалось, что на свидание с тобой иду. Как мне тогда тебя обнять хотелось! — Далекий, чудный... волшебник...

Л ю б л ю...

Ах, да, я все предостеречь Вас хотела... о себе... У меня скверный характер. Не боготворите так! Я больше всего страдаю от несправедливости и также к себе самой. Я не выношу незаслуженного поклонения. Понимаете, мне не по себе. Ну, будто я краду. Я не богиня. Я даже очень могу быть неприятной. Поверьте мне! Вы отвернетесь, когда Ваши мечты так рушатся! Мне говорил мой сослуживец (главный врач, русский, кавказец[219]), что я «ужасна». Он называл меня «glatteis»[i], утверждал, что я — в своей стихии, если заставлю поскользнуться. И поэтому — «glatteis»... Мы были... врагами? Нет. Друзьями? Конечно нет! Я знаю про себя, что мучила его. За что? Не знаю... Он любил, пожалуй, со страстью аскета. Был аскет науки. Любил как-то очень по-своему, по-кавказски. Хотел увидеть во мне рабу? Рабу чувства. Я оставалась упрямо тем, чем все звали. Представьте себе аскета, вдруг в налетевшем урагане страсти... Для меня это было ужасно... И... полным противоречием всему, что я в любви искала... За это, пожалуй, и мое «упрямство». Чувство его меня обидело, я его за это оскорбляла. Была невыносимейшая драма. Я не была «русалкой» — он был красив, умен и силен,.. дерзок. И все это так меня злило... И за «дерзость» его я ненавидеть начинала. Была игра, игра на высших нотах, на напряженнейшей струне... И все это в работе!.. Я работала с ним непосредственно, и как он мстил... По воскресеньям вызывал меня, отыскивал пациентов, выдумывал работу. Бранил, искал ошибок, упрекал за то, что пациенты обо мне влюбленно замечают. Требовал даже (!) прическу изменить, похуже, попроще сделать, — для пациентов. И все это «властью главного врача»... Шеф даже уж вступился, снял с меня его «опеку». Завел интрижку с сестрицей, чтобы... «назло». И все для того, чтобы вдруг поймать в операционной и клясться совсем в другом... Он умолял поверить ему; что он же «русский тоже!». А я (какая дрянь!) — «не русский Вы, таких я за русских не считаю». Отцом умершим клялся, что любит, что все остальное — ложь, — а я: «не верю, нет у Вас святого»... И знала, знала, что лгу. И стыдилась. А говорила. Месть его была ужасна... Я извелась. Он всячески меня извел. И заявил, что от моей достойной семьи меня отгородила пропасть, что я не заслужила быть дочерью моих родителей. Было так ужасно, что говорил с ним даже шеф и жена шефа. После, когда остыло все немного, ушел из клиники, женился (глупо как-то!) —

---

[i] Гололедица (*нем.*).

умирал у меня отчим[220]. Он его лечил и раньше. В день смерти пришел с такой любовью, тихий и массу [всего] для нас сделал. Сережа был тогда тоже при смерти... Сказал, потом... много спустя: «все было неправда, — никогда я так о Вас не думал — помощницы же в работе такой как Вы, я не найду всю жизнь. Но вот, что правда: с Вами жить — это дойти до предела счастья, сгореть в нем, чтобы в следующую же минуту проклясть Вас до преступления. И вся жизнь была бы Рай и Ад». Послушайте, как ужасно. Но он не прав: — это его чувство. Но значит, я могу такое чувство вызвать?! Когда мы виделись в последний раз (я была замужем), то я спросила: «ну а "glatteis?"» — «О, это остается!» У меня нет, не было и тогда ни тени чувства. Сюда он писал (совместно с женой, конечно) заботливые письма, особенно в болезни...

Странно все это было. И много я страдала. Его смятенья меня ужасно мучили. Но, понимаете, я тогда «играла». И в этом преступленье было. Злило меня еще и то, что он мою религиозность объяснил комплексом, психоанализом пытался все разложить. Сам — невер. И не любил детей. И вся его сущность казалась мне такой земной. Он и меня только так хотел видеть, а религию оставить, как игрушку ребенку. Так и говорил. И под каким-то таким углом и рассматривал. Все это меня ужасно возмущало. Понимаете? Но столько мне выслушать пришлось за те годы (да, годы!), что я в себе уж стала сомневаться... Конечно, была моя вина. Я играла. И увлекалась, — была я тоже только ведь в работе, без просвета, без мысли даже о просвете, — не позволяла себе мечтать о счастье, о личном... С 8 ч. утра до 10—11 ч. вечера — в больнице. Он точно так же, белый русский, отец большевиками умучен. Мальчишкой убежал, на гроши выучился, давал уроки и получил немецкую апробацию (редкость!) за исключительные заслуги в медицине. Прекрасный доктор. О личном никогда не думал. И вдруг — столкнулись. Именно столкнулись! Он — был целиком все обратное тому, чего я ждала. И подходил ко мне так, как я больше всего не терпела. На каждом шагу, на каждом слове. И все же... хотелось чего-то, кроме больных и микроскопа. И потому вот так я и злилась. На себя злилась! И на него за его... дерзость.

Нет, не любила, конечно. Это не был роман любви... То был другой... там я была — вся жертва, без упрека. То — было раньше, ровно 10 лет назад! Но и тогда — я не любила так, как нынче.

Нет, нет, все, все это не то! Лишь хочется, чтобы Вы обо мне больше знали, все и дурное, чтобы Вы не обольщались, знали п р а в д у. Да разве я могла бы Вас мучить? Даже невольно?! Никогда. И если нам вот нельзя увидеться, то я скреплю себя, и ни единым словом не скажу, как больно... Мне ведь невыносимо так вот быть... Но для Вас — все, все могу! Все могу вынести и даже самое тяжелое — ложь. Я все приму для Вас. И даже разлуку эту. Я благодарю Бога за все, что с Вами! Не надо муки! Не надо! Я люблю Вас! Знайте это! Пока что все так безысходно. М. б. так н а д о, чтоб мы любили на расстоянии? Так святее! Так надо для «Путей Небесных»?! Скажите, думаете Вы обо мне, что я непостоянна? Ветрена? Это было бы так больно. Поверите, что это все не то! Я так мало ведь имела от жизни! Вы даже не поверите! Да, много слез! Много муки, но мало счастья! Так мало! Я знаю, Вы хотите знать обо мне больше. Но мне не говорится на бумаге.

Мой муж — человек прекрасный и — нет на нем вины определенной... Он, конечно, верен мне! Но... А впрочем, не могу я на бумаге. Хотела бы вернуть тот год, когда только «я да птичка». Теперь опять <u>все</u> мешает. Мне трудно... Ах, да, я тебе писала, что нездорова... Лучше. Т.е. я все еще в тумане, волнении. Спать не могу. Хотела не писать пока, но не могу. Живу я только почтой. Пишите. Счастье мое, дорогой. Я грешная? Скажите! Вам я говорю <u>только</u> правду. Все — совсем честно! Никому я никогда так не признавалась. Я скромная вообще-то! Я не могла бы и поверить, что могу т а к. Люблю Вас! Все Вы во мне расшевелили, к жизни разбудили. Все силы души и сердца, ума, воображения, все чувства во мне проснулись...

Как я люблю Вас!.. Обнимаю Вас долго... Так нельзя писать?! Да, нельзя, я знаю. Это волнует... но... не могу.. молчать!

Люблю, безумно, до смерти, исступленно!

Все, все знайте! Как жду тебя, как томлюсь, страдаю без тебя и как счастлива всем этим! Грешно это? Скажи! Чем ты силен? Господи, да разве это назвать надо?! Не знаю чем, собой, всем! Словом твоим великим! Пишите же «Пути»! М. б. — это выход. Как бы я творить хотела, — и всю любовь свою туда отдать. А так нельзя ведь! Как горько! Но если мы увидимся, — я так боюсь разлуки снова. Не надо лучше встречи! Не знаю я о чем молиться! Твори! Твори! Насколько ты меня счастливей! Я обнимаю тебя мыслью и долго, долго Тебя целую... Оля

Перечитала письмо не могу кончить: к тебе хочу! Милый! Целую, це-лую много, крепко, обнимаю, замираю в твоих объятиях. Остаться так до смерти! Молюсь за тебя! Прости, что так пишу.

[На полях:] Пишите же! Скорее! Я живу только почтой! Пожалейте меня! Пишите! Пишите больше! Ответьте на все мои вопросы! Я жду!

Муж подруги все не едет — ждет визу. Как досадно, я хотела бы к Вашим именинам.

56

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9 окт. 41
Иоанна Богослова
11 30 ч. ночи

Почему Вы так давно не писали?
Мне очень грустно.
Ничего не могу больше.

О.

Открытка 12-го окт. только. Муж приятельницы сегодня уехал.

О.

57

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16 окт. 41

Дорогой мой, письмо Ваше «именинное» повергло меня в уныние и горечь... Что же Вы и с собой, и со мной делаете??

Это так-то «отдавая друг другу силы»?

Ваше состояние, Ваши тревоги и мучения (созданные Вами самим), передались и мне, — я не знала все это время что с собой начать[i]. Вот Вам слова из письма, не посланного мной от 13-го окт.: «Я не знаю, что со мной. Все это время (от 8-го окт.) я не в состоянии ни писать Вам, ни спокойно думать. В душе моей смятенье, беспокойство... без видимой причины... Т.к. в руках у меня Ваши давние письма... Не могу ничем объяснить, как только возможностью у Вас какого-то надлома...»

---

[i] Так в оригинале.

Вот видите Разве это не удивительно?

Писала Вам вчера очень большое письмо, но окончу его после и м. б. пошлю, — начала же новое, это только для того, чтобы, не уклоняясь от основного, сказать Вам коротко, что т а к н е л ь з я. Какая доблесть в том, что Вы всю волю бросили на растерзанье нервам? Кому это надо? Что Вы с собой делаете?? Нет, О. А., была бы Вами очень недовольна!

«...не могу я в церковь...»... Это у мальчика на «Богомолье» могли устать ножки — понятно. Но и то, что сказал ему Горкин?..[221] Нет, родной мой, так нельзя!

Но вот по существу: Вы себе наделали сами мук и страданий и совсем не подумали обо мне!

Если ты меня любишь, — почему же не пожалел? Или не понял меня? М. б. я сама виновата в том — слишком мало о себе открыла...

Ты не понял меня ни в письме, ни в жизни... В жизни — я и не думала «отбиться от родимой стайки», не стремилась никогда объевропеиться, душу свою опустошить не хотела... Разве она опустошилась? Иногда — помимо моей в том воли... не знала... может быть...

Я не с отчаянья, не с обиды, не в порыве и не на-зло ушла к нерусскому. Все тут несколько сложнее.

Письмо большое даст тебе больше, но здесь скажу лишь, что в этом нерусском, я нашла тогда больше, чем в окружающих меня своих. Я подходила к людям, нося в себе чудесный идеал, — м. б. образ отца моего... Искала нечто определенное. В тех, своих, кого я встречала, — было все так мелко... Молодежь в эмиграции меня поразила своим духовным уродством. А мужчины, как будто соскочившие со стержня, не представляли уже больше того, что делает мужчину ценным. И над всем этим еще какой-то цинизм и молодечество такими «достижениями». Были верно и другие, но мне не привел Бог встретить. Я много перенесла неправды, горя. То письмо тебе расскажет. Увидишь, какой камень был мне положен в протянутую руку[222]. И что я видела в среде «своих». Они мне не были с в о и по духу. Дух они вообще всякий в себе гасили. Я осталась очень русской!.. С этой стороны мой посажёный отец[223] меня знает достаточно близко. Прошу тебя, — спроси его обо мне! —

В муже я нашла человека близкого по духу. В нем нет совсем той грубой силы, которую я так не люблю в мужчинах, верующий по-нашему. Россию любит и знает.

И другое: — он дитя, на редкость дитя, с большим надломом в жизни. Его вести мне нужно было шажочек за ша-

жочком. И. А. так много об этом знает. Когда я приняла его, — он сам не верил в то, что право на жизнь имеет, что есть же в жизни р а д о с т ь. Меня И. А. предостерегал, что трудно будет мне... Но я взялась... и перед алтарем (и н а ш и м тоже!) сказала «да». Мой муж остался конечно таким, человеком вне жизни... Трудно мне Вам все это объяснить. Скажу примером: страстный он любитель книг, растратил капитал на них, скупает за безумные деньги (теперь, положим, после войны не может) редкостные экземпляры и... неразрезанные стоят они в шкафу. И даже не у нас в доме. До них и не доберешься!.. Это любовницы его неласканные, в гареме ждут череда... А я? Я тоже — такая книга...

М. б. когда-нибудь момент наступит, и ему захочется заняться мной серьезно... Он любит меня, без меня в делах — ни шагу, верен, понятно, — да ему и не до женщин! Ведь это какая-то жизнь, — а он вне жизни. Он массу помогает, тратит на это время, но для себя (а я, считаюсь конечно тоже «для себя») — считает преступлением такую роскошь. Жизнь — это долг, обязанность, — но никогда не радость. Я часто говорю ему, что у нас нет духовного обмена, о чем мы так мечтали. Его это убивает, но... ничто не меняется. Все время его, от раннего утра до ночи, забито всем, чем угодно. Обещает измениться, — но я знаю, что все так же и останется. По своим качествам — это человек редкостно-прекрасный. Но каждый из нас живет сам по себе. В мое рожденье (1939 г.) была еще и ссора, — сдали его нервы (не удивительно!) — я, понимаете, не ставлю «каждое лыко в строку», — прощать умею. И многое ему прощала. Но было горько, что в рожденье... И вообще у него — воскресенье, понедельник, будни, Рождество, Пасха — все одно, — один мутный день долга. Когда мне особенно тяжело бывало, я напоминала себе о том, что и заранее знала, на ч т о иду, и что знала, что его вести надо. Меня предупреждал И. А. Встреча со мной спасла его от гибели тогда. Это не одна я знала, а и его сестра. Он весь больной был. Понимаешь, как сложно?

Но я скажу Вам здесь всю правду, — я все-таки (несмотря на обещание пред Богом) — уйти хотела. Это было раза 3. Последний раз однажды в Wickenburgh'e, на Троицу. Разойтись друзьями. Потому что не имела больше силы вести его, безрезультатно... вести, бесплодно. Но всякий раз... жалела... Дитя он, беспомощный ребенок. Сережа мне говорил как-то: «без тебя ведь в одну неделю свернется с толку». Он всем верит... Ему бы кабинетным человеком,

профессором быть, а не с жульем-мужиками дело иметь. Я оставалась, повинуясь, жалости и долгу, и... любви?? Да, я не знаю, можно ли любить 2-х сразу... Или это жалость — будто любовь? Вот написала и боюсь, что обидишься, не поймешь меня... Ты успел уже запугать меня! Ты должен это понять! Пойми! Мы много с ним перенесли вместе, — получилась, конечно, известная сплоченность, — что бы это ни было...

Но ты поймешь, что я страдала. Я не жила, я убивала, и убиваю дни. День за днем всю жизнь. Порой я в исступлении ему кричу об этом, взываю... Теперь, впрочем, нет... Теперь я не прошу его ничего «исправить». По лозунгу: «чем хуже, тем лучше», м. б.?

Теперь с тобой, любя тебя, я предоставила все теченью. Клянусь тебе — я так сказала перед Богом: пусть будет так, как нужно, как покажет Господь! Я ничего (обещала Богу!) не хочу форсировать. Я все вручила Ему и жду... Я спокойно жду. Нельзя метаться. Иначе (если метаться) — не от Бога будет, придет решенье. Не думай, что у меня не хватит силы уйти (хоть это очень трудно, я знаю, — мама была за разведенным II-й раз), — но знай, что этот мой уход м. б. уничтожит тоже одну жизнь! Надо как-то выждать, — что мне Господь откроет! Ты в письме меня не понял: не не хочу, не убегаю, не испугалась — а не знаю, не могу, не свободна!

Неужели ты думаешь, что будучи свободной сделать выбор, я не пошла бы за тобой?

Я скажу тебе больше: — я все бы сама решила, за *все* бы взяла на себя ответ, даже за грех, за всякое решенье, где я сама за себя решаю, которое не убило бы, не искалечило бы другую жизнь. Будь ты здесь, — я доказала бы тебе это!.. Ну, приезжай! Я все тебе отдам в моем сердце, все, т.к. другому все равно не интересно (практически не интересно), все отдам тебе и не сочту грехом — ведь все равно все у меня под спудом. А разве сердце для того, чтобы умереть при жизни? Нет, это не грех. Я дам тебе всю нежность, все, без чего ты жить не можешь. Я ни у кого не отнимаю — ибо никто на это и не посягает. Но понимаешь ли ты мою драму? Ты не подумал обо мне. Я мучаюсь за троих! Что значит для меня развод. Да и не даст он согласия на развод. У нас же был с ним разговор об этом. Если я говорю, что не могу жизнь нашу больше выносить, то слышу: «gut, ich will alles verändern, aber wenn Du es nicht kannst, dann habe ich kein Recht um dich zurück zu halten, Dein Leben zu verderben, ...wenn ich auch selbst daran

zugrunde gehe...»[i] Но когда мелькнуло у него подозренье, что это из-за тебя, — о, как он изменился! Какая властность. «Nein, das geschieht niemals! Ich habe auch noch was zu sagen!»[ii]

Ты понимаешь, почему я стала осторожна?

Мне больно лгать. Я у почтальона выхватываю еще на двери почту, ища твое. Уверила, что это только писательская поэзия, а... я, ну, преклоняюсь... Не поверил в душе, конечно. Тем более, что под запал-то я сама другое сказала. Потому я и духи не захотела. Понятно?

Мне ужасен обман... особенно потому, что муж наивнодоверчив. Ведь ты... насколько ты счастливей, — ты радоваться, плакать, мечтать... свободно можешь, а я? Я вся в контроле... И ты не пожалел меня. Ты своим мученьем мучаешь меня ужасно. И для дела самого, если бы что-либо было, — это — порча. Ты понимаешь, что мне в Париж нельзя? Я могу настоять, удрать, но ты ведь должен знать, что это значит... И потом Бредиусы — очень сильны в Голландии. Это очень известный род. Мне не дадут, сыну не дадут так просто все разрешить. Нельзя — наспех. М. б. постепенно и можно. Не знаю. Надо положиться на волю Бога. Я не вижу ответа.

Зачем ты говоришь мне упреки? К чему «будь нераздельна» — разве я этого сама не хочу?

Зачем ты сыплешь соль мне в рану? *Что*, что же мне делать?? Неужели ты думаешь, что я могла, вот, так, на ветер бросить т о... о Сереже..? Что же я — холодная кокетка? Не стоит мне ничего все это? Да, я больна. Я так страдаю. Я люблю тебя, — ты знаешь к а к... люблю, принадлежа мужу!.. Ты никогда об этом не подумал? — Заставил сказать меня?! И что же? Ты меня не считаешь верно достаточно чистой, если допускаешь, что я в воле так оставить или нет, что я могла бы изменить все... да по халатности, удобству... оставляю обман... предпочитаю тебя мучить?.. Опомнись!! О п о м н и с ь! У меня н е т сейчас выхода! И потому я, очень молясь, прося у Бога защиты, дала все в руки Божьи!

Другого совета я не знаю... И дав Ему решить, я не мечусь. И умоляю тебя — и ты оставь метаться! Э т о — г р е х. Иначе — не от Бога!

---

[i] Хорошо, я хочу все изменить, но если ты этого не можешь выносить, то у меня нет права удерживать тебя, разрушать твою жизнь, даже если при этом я и сам погибну (*нем.*).

[ii] Нет, этого никогда не будет! Я тоже имею право кое-что сказать! (*нем.*).

Мы ничего не знаем... М. б. мой муж поймет, будет такой момент, обстоятельства,.. не знаю.

А пока, как ни ужасно... что же остается... как не терпеть..? Приедь сюда... Ну хоть немного вместе будем...

Я никуда не отхожу. Я — вся твоя. Пиши, говори мне все, как совсем твоей — все можно. Все мое сердце у тебя! Ты понимаешь — не любовь эта моя меня смущает, а необходимость обмана. Эта двойная принадлежность. Я тебе писала, что м. б. приехать сможешь *ты*? Не знаю, что ты на это скажешь. Не можешь? Но тогда что же? И вообще: приехать на неделю, чтобы после оторвать живое сердце?! Ужасно. Но видеться нам все же надо! Нет, я не знаю совета! Не знаю, что делать!

Умоляю тебя: не мучь тебя, меня! Пожалей меня!!

Помнишь, ты обещал, что «ни единой слезой» не затуманишь глаз моих, что уже довольно тебе любить меня «вдалеке». Почему ты думаешь, что мне легче? Откуда это? Я заклинаю Тебя памятью О. А. (ты пойми что это значит, что я этим заклинаю!) — не мучь тебя и меня! Что, что мне делать? Пойми: выбор я сделала тогда, перед алтарем, ведь не шутя, я знала, на что иду, знаю теперь, что значить будет уйти! Ты просишь тебя вести... а тот, Арнольд, он упадет, он... я не знаю какой ребенок. У него сложная, больная психика, он много страдал. Он не здоров... В этом — все! Я боюсь! Пойми меня! Тут все так сложно! Я боюсь, но я не знаю ничего. М. б. все же уйти мне надо?! Пусть Бог укажет! Его, Его — Святая Воля да будет!

Еще одно: когда ты мне вот так ужасно говоришь, я начинаю жалеть, что тогда тебе писала. М. б. было бы тебе сейчас без меня покойней? Да? Не надо было письма 9 июня 39 г.? Я вся разбита... За что ты мучаешь меня? Успокойся! Дай, мой любимый, я разглажу лобик, вот снизу вверх и к височкам, как бывало у папочки «разгоняла думки»! Не надо же так беспорядочно себя тиранить! Спи ночи! Кушай! И главное — займись трудом! О. А. тебя об этом просит! Чего ты хочешь? Заболеть? Чтоб я свернулась? Я сразу же почую, когда ты перестанешь так плохо себя вести. Успокойся. До всякого твоего письма я буду знать это! Исправься же! А то я рассержусь. Серьезно! Нам нужны силы! Пиши «Пути» — если любишь меня! Я так много терплю любви твоей ради! Ведь ты не хочешь же меня утратить?! Получил ли ты мою фотографию — она плоха. Ничего не вышло. Видел ли мужа подруги? Перо я посылаю в знак именно труда в «Путях», — пусть оно тебе обо мне напоминает! Ничего не написала на портрете из-за

оказии — неловко было. Пришлю отдельно — подклей! Что ты писал Квартировым обо мне? Меня это волнует! Зачем? Очень смущает! И потом еще одно: я очень, смертельно стражду в думах о бабушке. Все эти семейные отношения так ужасны, что когда радость дяди Ивика достигнет высшего предела, — я буду тосковать... до смерти. Это не слова. Тогда мне жизнь — не в жизнь... Не надо жизни! Я ведь знаю, *знаю*, что тогда будет! Как разочаруется, как разбит будет и сам дядя, увидев осколки своих надежд, именно потому, что он и с к л ю ч и т е л ь н ы й! Я так много знаю! Если бы он также все знал!

Но довольно... То, что я читаю через г-жу Земмеринг, — делает меня больной... Пусть дядя Ивик меня пощадит! Я извелась! Как я хотела бы сейчас к И. А.! Я изрыдалась бы до полного изнеможения, выплакала бы все горе! Я так прибита! Я кончаю. Мне так холодно, я вся поледенела. Лечь хочется.

Не мучайся — этим ты мне поможешь! Успокойся! Все будет хорошо! Так, как надо! Как Богу надо! Нельзя же силой у Него выхватывать, торопить сроки! Начни работу! Ты должен! Ради меня, если действительно, действенно любишь! Я тоже ищу успокоения в труде! Не порти жизнь! Тебя любят, перед тобой открыто сердце! Ведь не по нашей воле устроить что-либо так, а не иначе! Даже визу не достать для проезда. Волей-неволей сдержать себя придется! Успокой нервы — мне совсем не импонирует твое такое состояние! Ты должен изменить такое... больное. Спи, хоть с таблеткой, кушай, трудись. Пока что брось обо мне думать, не пиши, если это тебе трудно. Я жду твоих писем, но для тебя и эту жертву принесу.

[На полях:] Целую и благословляю. Твоя Оля

Умоляю — успокойся! Я же все т а же!

Если любишь, — пришли все, что мне писал! Я хочу все знать! У тебя много моих неотвеченных писем. Ответь же!

Как все вы, — мужчины, одинаковы!

Письмом я не довольна. Не так бы говорилось. Но не пишу новое. Тороплюсь отправить. Мигрень и озноб.

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.X.41 12—30 дня

Солнышко мое, Оля! — так мне дорого это словечко — ласка. В 8-м ч. первой мыслью — ты, к а к я звал тебя! Ты

без меня не можешь теперь, — и я не могу без тебя. Сейчас впивал твой «стих», — о, какая сила любви, несравнимой ни с кем нежности, с в е т а, — вкус к с л о в у, — что ты себя мучаешь сомнениями! Поэты наши, поэтессы — позеленели бы от своего бессилия перед тобой. У тебя — ток сердца, несравненный, его биение — ключ живой, тобой поется ж и з н ь, все от глубин души и недр, — это поэзия, истинная, мой жемчуг — женщина! У тебя ритм звучит, ты так напевна, свирель живая, ты так о т к р ы т а, дива — чудо... мой ангел светлый, птичка заревая! Ольга, не смей себя бранить, ты делаешь мне больно. Ты не знаешь своего «хозяйства», чем ты владеешь. В твоей головке, в сердце, в д у х е... в Душе... — для меня Душа в ы ш е духа... (Пусть грех!) Дух лишь проверяет, стережет Душу, ведет ее... — и с этим ныне согласно последнее течение немецкой философии, — и религиозной, — Д у ш а — в с е в человеке, его глубинная сущность. Так вот, твоя Душа — хозяйка великолепного «хозяйства», в твоих недрах. Целые дворцы там! — а ты сама знаешь в себе — пока! — лишь две-три комнатки, можешь туда входить, дышать, оттуда брать тосе, для «обихода», — он богатый, о-чень, этот твой обиход, который ты сейчас творишь... но по-мни, глупая! упрямка-девочка, кинарка-юнка... ты лишь пробуешь робкий голосок свой, только еще горлышком учишься играть, — я вижу, как там горошинка играет... Будешь сильнеть, расти, — ты же — юн-ка! — о, ка-кая бу-дешь! Верь мне, Оля, я не обманусь, нет, в э-том — н е могу обмануться! Все больше будешь узнавать свое «хозяйство», ключи узнаешь, от всех комнат твоих дворцов, — раскроешь... — заблестишь от радости, от счастья творческого, т в о е г о! Я вижу: вот, новое открыла, — свету сколько, тут жемчуг. Вот, еще дверь, открылась неожиданно — топазы, шампанские, льются, в солнце. Еще, вот этот ключ... — изумруды, ослепленье глаз. Вот, там... — сапфиры, твои глаза живые, синие какие, в н е б е все. И так, всю жизнь... все н о в о е... все ярче, громче, жарче. Конца не видно, — а — подвалы? там — что..? О, глубина там, з р е л ь, в и н о... из винограда, от топазов, изумруда, жемчужно-черного муската... — настойное, густое, от л ю б в и... — венец твой, увенчанье Духом. Веришь? в и д и ш ь ли, моя певунья?! «Увидь, увидь...» — как славно-детски говоришь ты, — в с е - о я помню, что находило твое сердце для меня! «У-видь!», «у-видь!..» — да это так поет весной, в солнечном молодом саду, в березках, чуть тронутых зеленым клейким пухом... пеночка поет на солнце, малиновка игра-

ет горлышком — «у-видь», «у-видь-у-видь..!» Увидала, все? Тепло тебе, на солнце, под березкой, в пеньи..? Плечиками ежишь, от восторга, как девочка, бывало? да? Ты видишь..? Я — ви-жу... всю тебя... всю, всю... даже как тебя моют в корытце, ма-ленькую... глу-пенькую такую... пупсика-девульку... Я тебя целую, Оля... как люблю тебя! Ты чувствуешь, как сильно еще во мне такое чувство? Да, живое. Что бы я написал теперь..! Вот, играто... крови, души..? Не знаю. Но не слепо, не страстью... — страстью взял бы на-черно, разлился, расплескался... дал бы «пятна», только... — а затем... собрал бы в форму, зрело, ме-рой... точной, — «в мерный круг». Вот, говоришь — «все для меня одной»? Да, для тебя, одной, моя царевна! только. Для тебя поет душа моя, только для тебя. Не тревожься, и для всех найдется, — ведь Ты, Ты... меня творишь, сама! Не понимаешь? Без тебя — я — пуст. Ты осветила мне мои потемки, ты повела меня в «подвалы», где все забыто... было. Ты дала ключи, ты нежно коснулась сердца... — и оно проснулось. Для тебя... для всех. Вот, твое чудо. Да. И — другое чудо: ты сама проснулась... стала раскрываться, расцветать... — «какие сильные набрали букеты... тугие и пышные...» Кто так сказал... ?! Давно, ты и не думала... — проснулась, вдруг зашевелилась... — «сквозь сон встречаешь утро года...»[225]. Ах, ты, годовалая моя... моя певунья, ласточка... зарянка розогрудая моя... — всю, в с ю тебя целую, страстно, как и ты... Ах, Оля... что со мной творится, вот не думал..! Не знал. Какое счастье! Бу-дет! Теперь — слушай, прошу тебя... чутко прислушайся. Так это важно. Оля, умоляю тебя... будь сильной. Думай, ты должна быть здорова, вернуть покой, сон, силу женщины, окрепнуть... для творчества, для творчества души и тела. По-мни, Оля! Примени все силы, нам надо выдержать. Брось «скуку», забудь тоску... петь себя заставь... — мы свидимся! — увидишь!! (я нахожу пути — увидеться) — черпай упование в великих наших, в моем искусстве! Многое найдешь ты в моем, м. б. еще незнаемом... да, и в «Старом Валааме» даже. И — в «Солнце мертвых», — вчитайся. Но, главное, читай Евангелие, Псалмы... Пу-шкина, Гете, если бы нашла Овидиевы «Метаморфозы»[226]... — какая сила... если бы в оригинале! Олёк мой, прошу тебя... — не смейся, не смейся, девчонка глу-пая, смеяться!.. — пей рыбий жир (рыбий глаз!) — !!!! — (рассмеялась?) — не вяжется, а? — все вяжется. Пушкин, чтобы написать «Пир... чумы» — ел, конечно, жиго, пил шато-д'Икем, ел апельсины —

любил он апельсины! — и... лю-бил! Все связано. Так вот: извольте есть «селюкрин», — конечно, он не тронут, да? — Ну, сознайся. Н у ж н о, дитя мое, пусть скучно. Если я пишу так жарко, — вот тебе-то... — так это потому еще, — ну, да, я страстно, до задыханья, люблю тебя... — потому еще, что я стараюсь, хочу быть сильным, я слежу за в с е м: стараюсь есть, — и ем! — принимаю «скуку» — да, и селюкрин, — гормоны! — и «гемостил», — это надо, это дает огромное питание нервам, крови... — я теперь сильней, чем был лет двадцать тому, и в с е это видят. Делаю легкую гимнастику, ручную. Ты замечала, — когда любят, — начинают править культ... «физике» своей? Это — инстинкт. Помни, моя плескушка-уточка, — простуды бойся. Ты страшно похудела!? Отчего? Дознай. Общий анализ вели сделать. Ведь от худения — что же будут твои почки делать: прыгать? вертеться, как горошина в бутылке? мучить тебя блужданьем? Возьми же себя в руки! Не брезгуй «антигрипалем», н а д о. Скажи мне, какой болезнью умер папа? Вдумывайся, — ведь это ужас, если ты не раскроешься! Это преступление будет, страшный г р е х. Вот, в чем грех. Не в любви нашей, нисколько... это — святое, это — милость Господня, знай! И ни-чего не бойся, не стыдись. Тут — п р а в д а, — «больше любви! солнца!» Или ты виновата, что не могла «раскрыться», в том, в чем живешь? Нет, ты — не виновата. Н е с м о г л и раскрыть, понять. Значит — банкротство такой любви. Ошибка, только. Твоя? Ну, и твоя. О-шибка. Я не смею касаться отношений твоих с Б[редиусом]. Ты не досказала, только — «прекрасный человек», — о, я верю, всей душой, что да! — «и нет на нем вины определенной» — ? «он верен мне, но...» Скажи мне все, если можешь... а — любовь... есть? У вас обоих? лю-бовь... не «физика», конечно... а — л ю б о в ь... сростанье душой—сердцем... б е з чего — лишь «ответ инстинкту»... пока не тошно. Т а к о е не дает ж и з н и, — с к у к а, только. Тут бессильно «таинство», оно уходит, оно — сквернится, — веришь ты, что человек растет? Растет и его Богопознание, — об этом я уже писал тебе. — Отклонился. Сон... — утиши нервы, принимай «седормид», н а д о. Бром. М. б. у тебя нехватка брома, не вырабатываешь сама? Этот «гипофиз», что ли... в мозгу, отдел, маленький отросток — читал я, о-чень это важно... от его дурной функции — утрата гармонии организма, общее нарушение. Я это испытал, ужа-сно! Друг меня выправил. Оля, не мне учить тебя, мне тут надо у тебя учиться — и бу-ду! Но послушай, моя упрямка, дичок мой... — будь

ручная тут... — ты во всем свободна, я не осмелюсь ни в чем тебе перечить, ни зернышка твоей свободы тронуть, — ни перышка оправить на тебе, моя кинарка золотая... но пощади себя-то! и меня... Безусловно, нужен тебе глицерофосфат, — огромная сейчас у тебя растрата драгоценного, — «угля нервных очагов» — погаснуть могут! Помни, Оля, глупая моя. Не кочевряжься, не криви ножки, детка, нехорошо. Отчего такое похудание? Останови, если возможно. У тебя на ферме — что же лучше! Ты — пока — будто в санатории. Дыши. Но... — приходится касаться, — надо будет, когда окрепнешь; решать. Придется все сказать Б[редиусу]. Как взрослые должны, смотреть правде в лицо. Жизнь не ждет. Мы красть не можем. Вот почему я тебе так сказал, прямо, честно: я тебя чту, я тебя люблю, — ты мне — Дар от Бога. Тебя я хочу — от Бога. Так и верь. Никаких сомнений, что наше не от Бога, — вот где грех, в сомнении. Ну, вот опять мало сказал, а 4 страницы. В следующем письме — тут же — продолжу. Надо объясниться с Б[редиусом]. Он — должен честно тебя понять. Каждый миг в мире — ты-сячи подобных «ошибок» жизни. Драм — сотни. Я верю, что Б[редиус] поймет. М. б. — ты ему совсем не в жизнь? Нет любви тут. Вот грех — без любви. Так. Не смущайся, что у него живешь. Ты с мамой — как даровые работницы. Целую, до-сейчас. Твой, весь, Ив. Шмелев

[На полях:] Ольгушечка, ничего не понимаю: ну, можно ли все больше, больше любить? А вот — все больше, больше....

Отвечу о Земмеринг — и на все. Должен ехать на панихиду. Да, напишу мое меню, вчера, сегодня. Увидишь!

После панихиды еду к другу-профессору узнать адрес голландского влиятельного журналиста Гр., который может посодействовать поездке. — Оля, знай, что я все сделаю.

Спасибо за «баварку»[227] — ми-лая какая, вся — жизнь! И — прелесть — в шапочке! О, тут, почти, глаза! Красавка. Расцеловал чернушку.

Как я молюсь на тебя за — свободное «ты», за жар твой. Всю, обнимаю, всю — целую! О, как хочу тебя..! — любить!

59

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.X.41 12 ч. 40 мин. дня

Моя голубка, Оля моя далекая... Только что послал открытку, получив твою — пустую. Больше не делай так, это больно. Понимаю, что это — от твоей боли. Проверь на почте, у них должна быть расписка в получении заказного экспресса от 30 сент. — парижский штемпель! Кто мог дать ее?! Не ты! От 25-го IX ты получила экспресс заказной, тебе его подали в половине 8 ч. утра 30 сент., это ты сообщила мне в письме от 5—6 окт. 9-го[i]. В открытке, бесприветной (от 9—12.X), ты написала — «почему Вы так д а в н о не писали?» Значит ты н е получила заказного экспресса от 30 сент., от руки, очень важный expres, — все сердце — он должен был получиться 5—6 окт., самое позднее, и потому ты не могла бы мне писать — «давно»! Проверь — и установишь, что пропало?! украли у тебя, т в о е?! Этого еще не доставало! Заяви требование почте. А ты м е н я винишь. Я перед тобой ни-когда, ни-чем еще не погрешил. И — н е погрешу. И вот, ты наказываешь меня пустой открыткой? Но от тебя — и это приму: я люблю тебя.

Да, 6-го окт. я читал в Берлине — в 1936 г., замученный горем и — трудом. Был как каменный. Твое большое письмо — мне свет. Нет, именно т а к пиши, открыто, сердцем. Ты в буре чувства, — не чурайся, это живая правда, это счастье. Ты бедна была им, ты так оголодала, так замучена, затравлена нечуткостью, — и все еще боишься ж и з н и! Слушай, Оля, как я, «безвольный», ма-льчик... боролся за м о е счастье и за счастье любимой. Мне было 16 лет, ей не было 15. Мать боялась, что я не кончу гимназии. Я каждый день, когда Оля приехала из Петербурга, кончив Патриотический институт[228], по вечерам ходил к ней. Пропускал уроки, — больше половины всех учебных дней! сам писал «письма об отсутствии», мать не хотела. Жаловалась на меня полиции,.. — ! — «я бегаю к девчонке, не учусь». Дурак пристав позволил себе вызвать меня. Ну, и сцена была! Я сумел, мальчишка, устыдить его — «у полиции, надеюсь, более важные обязанности, чем мешаться в мои дела...» Мать заявила директору, все раскрылось. Грозило исключение. Заступился учитель словесности...[229] — «нельзя губить исключительно даровитого маль-

---

[i] Так в оригинале.

чика!» Был наказан, пять «воскресений», насмешки — «жених»! Я оправдал себя, через три месяца был — первым, в 7 кл. Сохранился «балльник» в Москве, цел ли? — 2-ая пересадка — последний, 3-я — первый. И — продолжал «бегать» к невесте — ! — да! да! Раз мать заперла шубу. В мороз я ушел в курточке. В 12-ом ч. ночи меня не впустили, заперли ворота, дома. Через всю Москву я побежал к замужней сестре, 12 верст! — прибежал в 2 ч. ночи. Переполошил всех, — не замерз, любовь согрела. Кончил гимназию отлично, не хватало полбала до медали, но я о ней не думал: я жил Олей. И тогда же написал рассказ — это чуть ли не во время экзамена на аттестат зрелости! — «У мельницы»[230] — через год был напечатан в толстом журнале «Русское обозрение»[231], и встречен одобрением. Первый курс университета[232], 18 лет. Мне начинают скороспело сватать — для будущего! — богатую невесту, — мать старалась: я «понравился» в церкви, приданое 200 тысяч, нам дадут особняк на Поварской, имение, дачу в Крыму. Я не захотел даже «смотрин». Я ходил к Оле, в их бедную комнатку, — оттуда она выходила за меня, она, королевской крови, урожденная Охтерлони... — потомок дома Стюартов. (Портреты ее предков видела ее племянница, в родовом городе.) Мне было безразлично, я видел только Олю. Наконец — победа: мать позволила ей явиться, «познакомиться» — она ее хорошо знала, когда они одно время снимали квартиру в нашем доме, — потом им отказали, когда мать узнала, что я «ухаживаю», — мальчишка! Оля победила мать мою, очаровала, без усилий: слишком она была горда и... скромна. Мать ее ценила больше дочерей. Я перешел на 2 курс — юрист, я слушал и филологические науки, сравнительное языкознание, историю Ключевского... я еще бегал в публичную библиотеку — увлекался агрономией, — вбирал все... Наша свадьба, с помпой, в усадьбе матери[233], какой фейерверк был! На заре — в Москву, на тройке, 40 верст. Как восходило солнце! Да, вот как дети боролись за свое счастье! И вот, знай, Оля: это она, в заботе обо мне, оттуда... благословила меня — тобой. Вспомни, вдумайся, как все произошло. Это даст тебе сил..?! Помни и другое: недаром все так. Бог видит, как нужна ты мне. М. б. — и я — тебе? Не знаю. Ты меня должна знать больше, чем я тебя: я — в книгах, моих чистых книгах. Их знают миллионы людей, на всех языках. Я за свои книги вынес страшную борьбу. И до революции, когда меня старались заглушить критики — евреи — и не евреи. Они знали, кто я для

них и что — для России. Здесь, в продолжение 12 лет, меня пробовали топить, избегали называть меня и мое... (до смешного доходило!) — но даже левая печать — «Современные записки»[234] — уже н е могли б е з меня: меня требовал читатель! О, что со мной выделывали! с моим «Солнцем мертвых»! Ряд стран — все под давлением жидомасонства — покупал право на издание и... не издавал!! И я победил их... — на иностранных языках вышло до сей поры... до 50 книг (на немецком[235] — 9—10, не помню хорошо). Если бы я не был «я», — а, скажем, вел себя «политично»... — поверь, Оля, давно бы я был «лауреатом»... — за Бунина 12 лет старались: сам Нобель, шведский архиепископ, ряд членов Нобелевского комитета, — ставленники жидо-масонства, — Мне ни-чего не нужно было, — я писал о России, д л я своего народа, о с в о е м (не для Европы, но она читает!). Да, я победил, «безвольный». Вот, за э т о, мне д а н а высшая награда, сверх-приз — Ты!!! Я так и принимаю. А Россия — когда первые раны заживут... — ско-ро будет!! — Она наименует меня, м. б., — верным сыном, примет в сердце, даст все, что может дать. Сережечку не возвратить... его замучили, убили дьяволы! Святого моего, единственного моего, за Нее в с е отдавшего! У него осталась в Москве невеста. Он пошел за Нее, за Родину. Вот, дорогая моя, ты в с е знаешь, знаешь, что я сердце свое в книги вливал, с кровью б о л и. Я искал родного Неба, во тьме. В нем я искал... тебя? При живой Оле я не искал тебя... — после — мне нашла тебя — о н а. Так я верю. Больше не могу сказать.

Отчего ты так худеешь? Если — от... из-за меня, — нестрашно, не очень страшно. Но, м. б., — другое... проверь, про-шу тебя! Сделай общий анализ, нет ли причин молю! Откуда такое «потрясение»? Я так ясно, прямо тебе сказал — будь моей женой, церковной, полноправной. Взвесь все. Напиши мне, как ты выходила за — чужого. Объясни твое «но...» — «он мне верен, но...» Нет любви, взаимной? Что же за жизнь — без «главного»? Пусть совесть тебе все скажет, сердце... рассудок. Тянуть нельзя. Мне — нельзя. Для меня каждый день дорог. Мне важно найти решение, полное: от этого зависит моя работа, моя жизнь... Я много после Оли написал, но «главного» не сделал. Надо сделать или — к о н ч и т ь делание, уйти. Я устал. Душой. Телом я еще очень силен. Будто мне все еще 35—40 л. Меня изводили боли все эти 25 лет, и — режим, который я не всегда соблюдал, н е мог. В болях — писал. Кто это знает? Только я да Оля. Я катался от болей (в 23 году), когда писалось

«Солнце мертвых». Перечитай его — там этих болей ты не услышишь, другое, другие боли — услышишь. Вот, чем я силен: я принял дар от Бога, я его берег, я его — дал, через мое страданье — моим... — и — многим не моим.

Напиши, откройся, почему благодарила Бога за болезнь твою? Неужели то было... от другого? Это было то, что было с... Олей? В июле 96 г.? Да?! Это я писал, должно быть в пропавшем expres. У Оли был 3 мес. выкидыш, — Сережечка родился 6 янв. 1896 г. Но ты... цела? Ах, все равно... только бы душа твоя была цела! Напиши и о твоей «любви», будь открыта, как я перед тобой. Бог тебя спас от «деспота». Да, ты повергла бы себя в тягчайшее рабство. Но ты... не была же в его обладании? Нет? Ах, мне все равно... твоя душа не могла отдать себя. Одно мне непонятно: почему ты не ушла из клиники? Го-ды мучилась — или... — услаждалась? Не верю. Продолжала «игру» в таких условиях? Ты, так работавшая, чего страшилась? Могла найти другую клинику! Как странно. Или — это твоя «любовь» была, такая, с надрывом, в стиле Достоевского? Я тебе скажу: ты — после таких «опытов» над тобой, — готова для творчества. Ты должна писать не этюд, а — крупное. Ты его найдешь. Но оно — помни! — не должно быть «фотографией». Ты все преломишь... — тогда только будет искусство. Не пугайся, брось сомнения. Страх наполовину крадет силы. Будь смелой. Духовно, и сердцем — ты на много голов выше «гг. писателей». Мне-то уж поверишь? моему-то знанию? Пойми, — новая жизнь введет тебя в «художественную атмосферу», — а это незаменимо. Хорошо об этом у Чехова, в его письмах. Моя душа все тебе откроет, все тайны творчества, добытые только моим опытом, огромным. Я у себя учился — писать. Теория искусства ни-чего мне не давала, она — лишь «примечания». Я учился у «великих», вдумчиво, и... слушал сердце, — оно писало. Это первое условие искусства: без сердца творить нельзя, — тогда подделка, только. Но надо и стража сердцу: — ум, строгость, чуткость к слову — форме, труд, о, мно-го труда! Знаешь, Оля... — часто, особенно в последние годы, — да и ра-ньше! — Оля — не с укором, а с грустью говорила, стыдливо: «ты меня совсем... забыл». И она старалась — и как нежно, чутко... себя напомнить! Приносила жертву. В страстной работе, в борьбе за свое, — как меня терзали, мелочами! — я забывал ее. После, — мучился новым, вынашивая душой... и — забывал ее. Ведь «вся сила» уходила в творчество! В нем я был страстен, до галлюцинаций, «виде-

ний». Они брали остатки. Вот теперь... — я весь в тебе... — я не пишу, я — ж д у. Какая му-ка! Я слышу твой крик, твой з о в. И... — такая безнадежность, непреодолимость дали, пытка.

Напиши в с е, как ты любила, была жертвой. Мне не для «искусства» нужно, а для т е б я ж е. Для «искусства» — у меня в с е есть. Надо будет — в себе найду, в «подвалах», — в воображении. Ты не знаешь, к а к оно сильно у меня. Из н и ч е г о — м о г у! Будет живей живого. В с е могу. З н а ю. Тебе это мой Тоник скажет, в «Истории любовной». Вчитайся — и поймешь, ч т о я дал там. И. А. понял[236]. Понял и профессор-педагог немецкий[237] — забыл имя, — писавший: этот роман надо не один, не два раза прочесть, а три, четыре... пять... — это открывает тайну «смуты юных». Сколько там у меня «любвей»-то! Посчитай — «линии любви», виды, истоки чистоты и — грязи. Все сплетено. Как только мог Тоничка выбраться на чистую дорогу, из таких «дебрей»! Писал я, чуть обжигаемый одной молодой женщиной... — отмахивался от нее. Ах, Оля... сколько характеров... русской женщины! Сколько их хотело в з я т ь от меня... о г н я! Последний случай... — это только на словах могу, одной тебе... не на письме... — был со мной в Праге, в мае 37 г. Ставился вопрос о... жизни. Меня катала на своей машине жена одного инженера... русская, вся... и инженер русский... — мчала меня 130 км в час, и... в этом сумасшествии... прямо поставила вопрос... — я сумел ответить. Мне было безразлично, смерть — готов! Чутошный нажим руля — и гибель. Бог завершил все — двойной болезнью — моей — отравление? писал я — в июле, 29 — и — е е: она проглотила, случайно, кусочек тончайшей проволоки, от проволочной губки, посуду моют... в кушанье попала — ее спасли. А там — недосягаемость, события, все оборвалось. Она хотела от меня... — понимаешь? Она была бездетная. «Дама с собачкой», в буквальном смысле. Решительная была, лет 32, спортсменка, сильная, стройная, бледная, с внутренним огнем. Правда, тогда мой успех в Праге[238], моя речь о Пушкине и «купели Православия»[239] — потрясла всех, — «такого не запомнить», даже «Последние новости»[240] должны были признать «большой успех». На женщин это сильно действует. Но что мне писала одна девчушка, 14 лет! Неужели я разорвал эти письма? Не знаю... все в хаосе. Это была «болезнь». Племянница одного казачьего генерала. Вот это — темперамент. Я сумел успокоить сердце милой девчурки, так чисто, чутко, — так отцовски. Плакала она.

«Писательница» уже была, — дала мне слово «много учиться, думать». Где она и что с ней — не знаю.

Твое письмо 13 сент. — болезненно-чудесное. Непередаваемо. Кратко: «если это — лучше не писать друг другу — для моего покоя, то нет, не лучше» — не писать. Просила не давать себя в «Пути». «Я все вдруг понимаю», — и тут же, поперек: «ничего не понимаю». «9 июня "Рождение"? Рождение в му-ку? Кто же этого тогда хотел? Не может этого быть». «И "золотое" мое письмо проклясть мне»? Надо все переписать, письмо — «полубезумное». Но — для меня — все счастье. Не стыдись чувства, все пиши, Оля. Мне для сердца надо, укрепление. Нет, не трону твоего «Свете тихий» — , только — Тебе! Для других — хватит, дал все. Будь со мной «без лукавства». Лукавство — не для меня. Не снижай себя. Не требуй «знака», еще... — все дано. Это — язычество уже, это недостойно веры. Не называй меня по имени-отчеству — это уже прошло. Я могу для тебя быть только «ты», ну... твой... как хочешь. «Так — просто» (все, что с нами творится) не должно быть, это от нашей воли теперь зависит. Я свое сказал, буду действовать, что только в моих силах. Но ты не будь безвольной, — и — рабой. Во-имя чего? Ты — груда самоцветов, в них попал луч солнца, замкнут и — стреляет, все горит искрами, все бьется, ищет, меркнет, чтобы вспыхнуть, играет самоцветной жизнью... и рядом — прости! — кусок угря.... холодного, сырого, тинного. Так я вижу... ошибаюсь? Мне странно: «некогда.... можешь одна ехать... «Что это? Любовь?.. Это уже — равнодушие, по меньшей мере. Делай вывод. Я до сих пор не знаю, чем занят Б[редиус]. И чем был занят, когда ты была одна: «я да птичка». Гнилая связь — не связь, а насилие, над духом, — и это — благословлено Богом? Будь перед собой искренна. Не могу больше. Ты сама поставь вопросы. Отвечу.

Целую, твой наказанный безвинно. Твой Ваня — Ива — Ив. Шмелев

[На полях:] Затребуй у Б[редиуса] мне — твое письмо! Никто — из Голландии — не был у меня. Не полагайся на чужих. Не верь «приятельницам».

60

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.X.1941
5 ч. 40 мин. дня

Оля, дорогая, сердечко мое, свет мой вечный, — как я тобою счастлив! А вот, слушай... Я искал в своем хаосе... — дрожит от волнения рука, а я ее целую, — не ее, а тебя, т в о е с т и л о! — искал квитанцию на expres recommandies, писанное тебе 30.IX. От руки, — очень важное, я там душу, всю, открывал тебе, ты его не получила?.. — сколько я искал, эта — о д н а — куда-то скрылась, а все другие целы... И вот — нашел!! Bureau de Poste, Paris, rue Claud Terrasse, 30.IX.1941 — 165. Наведи справки, на почте. И вот, через 2—3 мин., звонок! Приносит почтальон — я не понял, что, от кого... Paris, 7, Rue Vignon «Robert Holer» — Fournitures Dentaires en gros[i]. — ?? ... Ну, и сразу понял, по золотой наклейке! Утрехт!.. Ты..! О, счастье — ты! Оля, детка, милка! Ты это! Первый раз пишу — и м, т в о и м... Тебе! Свет мне светит. Как приятно, мягкое какое. Веришь? Ни-когда... ни-кто... мне не дарил стило, — сколько было даров, подношений... — ни-когда, стило! У писателя — д о л ж н о быть стило! Сам я покупал себе. И скоро ломал. Т в о е г о н е сломаю до смерти! О, как сердце болит, ликуя. Оля, не вижу, слезы... Обнимаю, целую глаза твои, губки, всю тебя, светлую, усталую, измученную... Нет, я в с е сделаю, пока не ударюсь головой в стену, чтобы увидеть тебя и — все сказать, и все узнать — и в с е решить. Все пальчики твои целую. Это перо, ты его держала, ты на него смотрела, ты его благословила всем сердцем, — з н а ю! Какое легкое, послушное! скользит, играет в моей руке. Это не перо, это — это твоя душа играет в нем, оно — ж и в о е, от тебя. Ж и в о е, Оля! — Так н а д о было, чтобы н и к т о... а Ты только, первая, единственная — дала его мне в руку — п и ш и же, милый! Вот, и пишу, — не прошло 3 минут — пишу, тебе, первой — единственной! Ми-лая! Отыскивая квитанцию, вдруг нашел в хаосе — открытое письмо — тебе. Почему не послал? от 31 авг. — 13 сент.?! Ты — как раз — 13-го IX писала мне сумбурное из писем! Как странно! Досылаю, опущу сейчас вместе с этим, вместе с утренним, — Боже, сохрани их в пути! Оля — веришь? Т а к я еще н и-когда не любил. Вот

---

[i] Зубные принадлежности *оптом* (*фр.*).

так — вот. Ту Олю я не беру в сравнение: Она вне всего — теперь, — она бесстрастна теперь, и я не могу ее брать ни-ка-к. Ты понимаешь, там — Святое, вне нас. Но так, как Тебя, я не любил, никого. Все крепче верю — от Бога, от Него, от нее, от святой моей — все это, — ты, ты, ты! Дана, явлена. Оля, люблю тебя: будь сильна, не поддавайся ни тоске, ни скорби, ни болезни. Верь — будет! Или меня не будет. Я тебе еще напишу, как берут свое счастье. Только что у-знал... про Ивика. Он мне не сказал: боялся, как посмотрит дядя-Ваня, такой «строгий» — в —? — моральном смысле? Я, для него, — о-чень в таком смысле непреложен. И вот... чудесная девчонка[241], француженка, дочь фабриканта из Рубэ — северо-восток, — его взяла! Да! Учится русскому языку, бросила школу, где учила (ей 21 год — 22, как Иву). Приехала в Париж, (что с родителями они [устроили]?) — сняла в отеле №, и — взяла Ивку! Они уже 2—3 г. знакомы. Она без него не могла жить. Как он на моего Сережечку похож — две капли! Глаза-а..! — Ивку я не вижу, с именин. Он страшно осунулся, — атлет-то! Медовый месяц. Ду-рак! Боится дядю-Ваню. Если бы знал все-то! Как дядя-Ваня завоевал свое счастье! — и она, чистая моя! — и как — зачат — Сережечка!.. Все тебе говорю, моя далекая — во мне навеки! Когда свадьба — не знаю. Будет. Не побоялись ни бедности — возможной пока. Она будет учиться в художественной школе. Она рисует. Красива, сильна, спортсменка — из народа. Люблю я смелость! Целую. Твой всегда Ив. Ш.

[На полях:] Всю тебя целую. Ольга, как ты мне дорога! Свет мой тихий.

Я нашел на Стило серебряные знаки J. Ch. 26 — 9 — 41. Это — Ты! Свет мне!

Чуть посыпал «Эмерад»[i], томящий аромат — люблю.

Спешу на почту.

61

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.X.41 9 час. 15 вечера

Как хороша ты, Оля, как светла! Как мне тебя благодарить за этот личный дар?! Это — Лик мне светит. Я ждал его, — вот такой вот, — в себе носил. Это не красота, это — ее предел, это — запредел ее. Понимаешь, это

---

[i] Здесь: сухие духи.

лицо, — о нем надо, можно сказать одно: о, какое ми-лое лицо! В этом «ми-лое» столько есть, что можно только сердцем... не словами, ни-чем — назвать. Эта светлость, это мягкость, это — ясность-лучезарность — это сильней всяких «красот», глубже, неуловимей, — милость, умиление. «Красота...» — в ней не звучит тепло, не слышно — «сердце», она не излучает «содержания». В ясности твоего образа — огромное, его, это огромное, надо долго искать в душе своей, чутко вбирать его, творчески — сердцем наполнять. Это то, чего ждут, ищут все. Свое, особенное, ни на что не похожее, не тип, а чистая особость, чего нельзя уже ни у кого найти, — единственное, неповторимое, — чего нельзя утратить без потери всего. Понимаешь ли эти путанные пробы найти, что — это?! Выразить? Но ведь это — в снимке — один миг жизни лика! А их, мигов, — беспределье! — Вот, какое твое лицо. Я склоняюсь, как перед чудотворным ликом. Я благоговею, вбираю взглядом, — как прелестна! сколько жизни, за этими очами, — светом! Чудо мое чудесное! Благодарю, у меня нет слов сказать все, что есть... — только в душе сияет «Свете тихий» мой, мой... — одному мне так говорящий, так поющий не-звуками, а чем-то, — еще — для человеческого слова — непонятным, каким-то ему еще не данным — чувством? Милая, как же ты светла, жива, ми-ла!.. Ах, Оля, это невозможно... это особенное, музыка души, — лицо поет! Вот — чудо неуловимого искусства. Этот портрет — только великий мастер его понял бы... и — сделал славой. Такие лица — редкость, ну... как Мона Лиза... — но там — другое. Так вот, я — прав. Вот — Анастасия, могла бы быть такой, если бы не родилась из... моего воображения. Ныне она явилась в жизни. Мне, ее Предтече-провозвестнику. Дар мне — за веру, что Она есть. Жизнь оправдала творчество души и сердца. Слава Господу, за все, за все! За муки, за все боли, за — эту Радость — все покрыто. Тобой, Живой. Целую эти лучезарные глаза, — звезды. Милая, целую. Свет мой!

Но, как ты мне явилась..! Чудом. Слушай. Я уже писал, как получил перо. Узенький, тугой пакетик, по длине заклеенный. Я открыл концы и — выдавил картонный футлярчик — там перо. И... — оставил на столе обложку. Решил — спишу адрес магазина—отправителя, — поблагодарить за «Comission». Чтобы удобней прочитать, — разрезал ножницами... начал, было, — и увидел — какая-то бумажка там, белая... осторожно, вынул... конверт, — бланк, отель, имя... два слова — m-me N.N. проси-

ла... и т.д. Конверт... и — моя Ты... единственная в мире... Ты! Такой свет — счастья..! Не мог словами... нельзя. Если бы я... — мог, мог! — выкинул обертку!.. Это было бы таким ударом, таким намеком... Бог вразумил, я знаю. Я не мог тебя утратить. И не утрачу. Вот — это — Знак. Тебя потерять — нельзя. На-вечно данная, Дарованная. Фото чуть смялось, чуть-чуть. Пресс все сгладит, без малейшей складки. Все цело, все. Это — тоже — чудо. Ни цапинки, ни трещины, ни-чего. Завтра ты будешь в рамочке, — найду, что необходимо, что достойно. О, светлая, чистая моя. Как ты прекрасна, до — прославления! песнопения! Завтра пойду по адресу отеля, поблагодарить. И — там увижу. Я так взволнован, так все во мне дрожит, от Света счастья... — свет чую, счастья. И мне страшно, в сравнении с тобой... такому! А, что будет — будет. Я тебя нашел. И — не могу утратить. Тревожусь, не опоздаю ли, застану ли? Послано 18-го. Завтра — 21-ое. Пошлю «pneu» и попрошу позвонить, дам телефон друзей назначить час. У меня нет, я не выношу их, да и нужды нет особой. Кому надо — меня всегда найдут. Вот, когда ты будешь — другое дело. В Москве, бывало, изводили, висели. Правда, и я, порой, висел, но только для дела (по — нашему «Книгоиздательству писателей»[242]), а если что «личное» — просил Олю. Милая, благодарю.

Закончу об Ивике. Явятся когда — я встречу их рукоплесканием. Молодец — девчонка! Нашлось-таки нечто посильней математики. Сразу сломала все! взяла! А то бы... Ивик — «слепой»... его бы слопали, бабища какая, хищная... А тут — взаимно, уже два года встреч в Auberge de la Jeunnesse[i], — ее письма, ее пылкая влюбленность — взяла. Как она его искала, когда рухнул французский фронт[243], и мальчик оказался в Пиренеях[244], а она — в самом пекле, у Рубэ... Летом съехались у — дяди ее — торговца, где-то. Ну, заполыхало... безопасно. А там — явилась в Париж, дома все сломала, — взяла — и — будет «русский» — пусть полурусский, как и она, почти. Отец — француз. То-то он принялся читать дядю-Ваню... Это — она его, уверен. Какова энергия. Там же, в Рубэ, нашла русского учителя, и, говорит, уже понимает разговор. Я рад за Ивку, только бы сдал тяжелый конкурс — самый тяжелый. Он выбрал — «чистую науку». Ecole Normale Superieure[245]. Твой Ив. Шмелев. О, как целую всю.

Крещу тебя. Боже, дай ей сил! Твой Ив. Шмелев

---

i Туристическая база для молодежи (*фр.*).

62

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.X.41 2 ч. 20 мин. дня
кончил — ночью

Милый друг, пишу Вам оказией, м. б. мне удастся это. Послал мужу Вашей приятельницы «пней» и жду ответа, чтобы лично поблагодарить его за великодушную миссию. Попробую послать для Вас французское издание «Солнца»[246] и немецкое — «Любви»[247]. И — свое сердце, в глазах моих. Я в озарении, весь, как никогда. Ваша икона — неизъяснимо ослепляет. Я в бреду, священном. Знаете ли Вы, Дари..? — Вы — Дари. В Вас — непонятное, необлекаемое словом, ни-как... — узренная раз, Вы незабвенны. Нет сил забыться, — Вы, Вы, Вы... — так неотступно, так безвольно. Почему — «Вы»? Да, вот — «оказия»... — но тут — перед иконой-то — благоговение, и я — «в параде». Это тайна неповторимых ликов. Это неопределимо — «радостностью», «счастьем», «неземным», — эти слова в Вас ничто не выражают, ни-как не определяют. Это — Божия тайна, ласка Божия, красота Божия. Это ведь свет поет Вашим светозарным устремлением, обетованием, неисповедимым в Вас чудесным чудом. Это тайна, — от нее не оторвешься, она влечет непобедимо. Какое счастье — всегда смотреть на Вас, Вас видеть! Вас чувствовать, как благодатно ослепленный. Молиться, вот что можно, с Вами. Свете тихий... изумленная Святая! Слова не выражают Вас, лишь чувство знает, кто Вы. И не скажет, не может, так оно безмолвно. Сколько раз спрашивал себя — «кто — Вы... ?!» Нет ответа сердцу, и не будет: ему не надо ни ответа, ни определений: знает без слов: слова роняют. В Вас Небо, Свет, — Вы — Божие дитя, никто его не видел. Безнадежно пытаться находить слова: Вы — ненаходимы словом, — только чувством, тончайшим, возносящим, как в «Тебе поем». О, как бессилен я — дать Вам определение. Несу Вас в сердце, возношу молитвой. Свете мой тихий..! Олёк мой! Как хороша ты!

Сегодня хлопотливый день. Разговор об авторских правах. Я не даю. Знают, что им надо. Просят «хотя бы две-три книги, — для "всея России"». Из Кёнигсберга, кто-то... в проекте — «трест книгоиздательств». Что же намечают? «Богомолье»... «Лето Господне»... «Пути Небесные»..! Знают — пойдет м. б. в сотнях тысяч. Такого не найдут ни у кого; все знают. Я тоже знаю. Если договоримся, обусловив, к а к мне, мне (и — тебе, моя дружка, глав-

ное — тебе!) полезно, — «Путей» не дам. Они принадлежат кому-то... не только мне... кому-то. Они творятся. И — с-творятся. В них чудная Дари, дополненная, новая Дари, — звено от женщины — к всеженщине, к ангело-женщине, нетленной. Господи, дай силы! «Пути» пойдут своей дорогой, своим путем. «Пути» возьмут Россию, будут Ей светить, — так сердце шепчет. «Пути» — священный знак, обетование, искание, надежда... осуществление надежды, воскресание!

Ваше перо — никому ни слова не напишет, знайте! Вам только, только во-имя Ваше, для Вас и — через Вас. «Пути» непостижимо Ваши. Двойные. Ее — Отшедшей, Ей писались, ЕЮ... и — ныне с у щ е й, озаренной и озаряющей, — Вы знаете ее?! ... Она — необычайна, уверяю Вас. Да, да?

Да, вот что... Простите... в одном из писем, — кажется, вчера? — я перед Вами очень виноват. Я не должен был касаться. Я удручен... прошу — простите! Вы поймете. Я сравнил... груда самоцветов, в них луч, плененный, бьется светом, в искрах, колет, льется, сверкает страстно, взрывно... — и — рядом... — темное, сырое... тинное. Я не должен был. Мог иначе: свет — тени, смутность, непонимание... предел различности. Это моя ошибка, — и как мне не по себе теперь! Простите, винюсь: бесславно это, нехорошо. Так не должен был. Не помрачите света Вашего, — так больно, так... сорвалось. Не вижу оправданий себе, — поверьте, мне перед Вами стыдно. Ну... браните, только помилуйте, — голову мою, повинную.

М. б. уже уехал г. Т[олен]? Сейчас мне нашли-таки «Солнце Мертвых», библиотечный экземпляр, до дыр зачитанный, но цельный. Я его себе оставлю, очень он «испытан» читателем. Я пошлю Вам свой, «единственный», — Единственной, — мне в радость это. Над ним я... плакал... редко-редко брал с полки, сердце трогал — спит или... все еще живо? Живо, всегда томится, видит. Не утомляйте сердца, слегка касайтесь... верю — найдете больше, чем когда-то, внятней, все. Трудно его читать: ритм скрытый слышен... порой — болезненный. Найдете мое сердце, перебои уловите, тоску... о, Вам все будет внятно. Вы, ведь, — как — ни-кто. О, милая... мой свет, последний!

...«Пней» все нет, — м. б. уже уехал? Но тогда отель вернул бы мне. До завтра. Я хотел г. Т[олену] за его великодушие дать на память голландский экземпляр «Человека», — в отчаянном, должно быть перевоЗе! И Вам — рус-

ский «Солнце» и немецкий «Любовь в Крыму». Там недурно моя переводчица[248] дала «сборную» статью об авторе, с выдержками из Бальмонта[249], Амфитеатрова[250] и др. Да, я знаю, кто первый у нас писатель... — много слышу, от кругов «литературы» — доносится. Сегодня от Мережковского[251] ко мне «посол», зондируют, как я насчет продажи «авторских». Им нужно, очень, — мою инициативу. Сказал: готовые деньги мне нетрудно брать, — сами придут. В России сейчас — все чувствуют — да так и есть! — духовное оголодание, нужен — Свет. Будет. От Церкви. От литературы чистой, ее так мало. «Советская» бесповоротно признана «похабством, окаянством». наконец-то! Я 15 лет боролся с «Возрождением» столько места уделявшем «помойке» — кормление Ходасевичам[252]. Посветит «Богомолье», «Лето Господне» — его будет две книги. «Пути Небесные» — тобой посветят, Оля, — но что мне делать? Поймешь ли... — что со мной? И счастье, до невыносимости... — и — ох, как трудно мне! Ты «пришла чудесно и укрыто», чуть не пропала, до того «укрыто». Я писал, как ты была затиснута, в обложку. Надо было учувствовать. Я учувствовал. Вчера пришла, и принесла перо, первое мне в жизни — в дар. Какое счастье! как Знак! Так и принял — ко благу! Ты спала ночку, первую, — в конвертике, как новорожденная детулька, — в томе Даля, — гладилась от скручки. Я нагрузил четыре тома. К утру ты была — гла-денькая, покорная, «пай-детка» (все — твои слова). Я поцеловал тебя, так нежно, не разбудить бы. Ты сейчас... вот ты! рядом, всего аршинчик, — о, как хорошо-прелестна! Как... сердцем смотришь — вся в полете, в свете!.. О-ля..! Нет сил быть без тебя, так до-лго-долго... Ты в стеклянном, живая... стекла не слышно, — ты — Царица, да! Знаешь, чуть есть... Царица наша, красавица... Мученица Александра[253]... — святая, Царица... Святой Руси? Да, была бы... если бы Святая Русь была... но темная она была, подспудная-святая... И Царица... подспудная, невзгодная, несрочная... Ты — чуть, намек неуловимый. В кокошнике боярышни... — вся, наша Русь. Ты — кровная. Ты — светозорька, ты — радостная королева-девочка, да, вот когда нашел-то! Ты сложная, Дари-Анастасия-Ольга-Воскресшая — и Победительница скорби. Что мне делать?! Ты вошла, Неупиваемая Радость. Я знаю — без тебя нет жизни, воли к работе, нет вольного дыхания. Ты должна быть... ты — будешь! Или ничего не будет. Я все силы за тебя отдам, все испытаю, Господу все предам, молю, — и буду делать, добиваться, умолять тебя, крепить... только

бы ты была сильна, здорова, не теряла веры, не хладела. Все наше пронизано предназначе-нием! Этого нельзя придумать. Сейчас, так ярко в и ж у, что чувствовал, как получилось первое твое письмо, то, «день Рождения». Такой ласки не помню... так согрело, до восторга святого... никто так не писал, сердцем... так переполненным. Я так взял в сердце..! Проверь, когда ответил. Я не мог медлить... скоро? В ужас прихожу опять, — если бы затерялось, в редакции! Столько моего терялось! После узнавал: несколько раз издательства искали меня, иностранные — кто портил?! Мне писали с Аляски, из Австралии... — искал читатель... Сколько не достали меня..! — «терялось», залеживалось месяцами. Если бы твое пропало! Не получив ответа, — не написала бы еще? Так бы и... — Ужас, ужас. Господь н е допустил. Как с в е т, я принял. Проследи, как я тебя касался, тихо, тихо... душу твою хотел раскрыть, все больше, так бережно, так... любовно-нежно. И это — «я да птичка»... — так меня... коснулось, самого трепетного в сердце, так жалко тебя стало, — будто в с е я понял. И — ты уже родная стала, я уже не мог молчать... я смущался только, не смел открыться, показаться навязчивым... — боялся, себя боялся, жалости твоей ко мне боялся... — целения боялся, милосердия боялся, — ну, один... и буду... везти возок. И — Свет!! какой же — Свет! И э т о, это, Оля... не от Бога?! Тебя я недостоин. Говорить не буду, очень сложно и больно. Причина — и велика, и... так ничтожна! Разница наша... 27 лет. Правда, если внести в с е сходства... и главное... горение, дар творчества, твое душевное богатство, твои дары неиспиваемы... да! да!! — даже и твои «изломы», — но это так острит желания! — так душу теребит — в е д е т... — разница сжимается, — душа-то наша «не взрослеет», Оля! — мы оба слишком молоды ею. Да, у тебя «изломы». Но это — «пряность». Не лишне это. Но для меня — пожалуй лишне. Разжигать меня не надо, я не хладен, — во мне довольно пряностей, — ты же пока не знаешь. Да, я пылкий, иначе — не был бы — я. — Ты должна узнать меня, тогда... — решится. Да... вчера, когда пришла и подарила... день был особенный — 20 окт. — 7-ое, «Сергия и Вакха»[254], день Ангела отца. Вспоминал я... день уходил. И вот... — «открытия», в траурный мой день. А, для меня все — «знаки». Сегодня — 8 окт. — день его кончины, 56 л. тому, в 85-м. День прошел, 8 с половиной уже. «Пней» все нет. До завтра? На тебя любуюсь... — пришла со-всем ты? Оля? да? Как ты славно смотришь — в и д и ш ь... что?

Все забыто. Неделями ждут письма. Земмеринг, небось, не понимает... или — понимает. Я ей чуть коснусь, какая ты... — позволишь? Чуть-чуть. Она на книжке видела. Умная она. Знаешь, она достойна ласкового слова, твоего, верь, милая. Чувства ее так чисты, так неколебимо верны. И Милочка[255]. Конечно, им и в голову не приходило видеть во мне другое, что-то, — только любимого писателя, столь «много» им дававшего, — вот почему они такие — видят они во мне. Еще не купил «магнит» — духи! — а может быть оказия от них. Но напиши — какие ты любишь. Это — для меня. Для «чар» — обмана. Наши рабочие бывают в отпуске. Достану завтра. Теперь все у меня — «завтра». Только не ты, и не то, что надо делать, — жду адресов, ищу путей, — где эта Бауэр, писательница? Да вряд ли она тут — что-нибудь. Два письма послано. Так тянется... — надо «нерв» найти, кто мог бы разрешить мою поездку. Ведь знаю, есть мои читатели... десять моих книг читают... и — находили, узнавали из книг моих с признательностью — что, бывало, казалось темным. Я писал тебе, как кто-то «всю русскую психологию» постиг из «Няни» — «Киндерфрау», — какое неудачное название. Я сколько раз писал — непременно «из Москвы»! Гов[i] — не звучит так — Фрау — Москау... Ну, Бог наведет. Племянница Олина[256] — с этим их «романом» — да еще тут... ее «муж»[257] спятил... мыкается она... вызову ее завтра — эта все дороги знает, упорная. Оля, бывало, все дивилась. Для «дяди-Вани» — все сделает. Ты ее, м. б. в радио слыхала... Кутырина... — фольклор... баю «баю»[ii], петухом кричала, былины напевала... дарованье, да, есть... но... «ложное искусство» — под-искусство. Поздно взялась. Математичка, музыкантша — ученица Рахманинова[258], по Москве. И — в голове сумбур. С мужем развелась[259] — француз, ничтожество! — сплелась с... дубиной, самозванцем[260], идиотом, — я ей все нагадал! — и вот, спасает от желто-дома. Как еще жив... — ходит по Парижу и всех «кроет», знает по-французски одно слово — «m.....» — ген. Камброна[261]. Чуть-было его немцы не забрали, — а надо бы... — она случилась, выдрала: ее признал один из немцев — видел в «Солдатском очаге» — она там пела. Так вот, она — возьмется — может многое. Сейчас вызову ее (утро 22-го). Ивка не заявляется, «медует». — И — курсы, работа.

---

i Воспитательница (*от фр. gouvernante*).

ii Так в оригинале.

Прошу... сделай для меня... — не надо ли тебе чего... ?! мне дорога твоя свобода, — м. б. ты стеснена в чем? у меня есть все... и будет еще больше. Только скажи, — все сделаю. Тебе может понадобиться. Ольга, изволь сказать, смотри, осерчаю! Задушу в поцелуях. Суют авансы — не беру, своей свободой дорожу. Терпеть не мог закабаляться, всегда — на воле. А в России... все бы поглядели вместе... всю прознали! и — как! На своей машине, сильной. — Помню, как в Праге инженерша меня мотала..! — вот рассказ-то..! Я давал «машину», бег-гон... в — «Это было»... в — «Приключении»[262]... где еще? Отец любил верхом, Оля — тоже любила гон, и — машину... много изъездили. Военно-Грузинской дорогой в Грузию спускаться..! Или — Байдарские ворота, скучная дорога... — и — ух, вдруг простор! — все море... и какое!! Не найти нигде — вдруг, провалился камень... — мо-ре! в грудь, — небом! синим током — морем! волей!.. — Помню, давал я в «Винограде»[263] — тут не знают, — на Чатырдагском Перевале... — море... великое «корыто с синькой» — Саше — горничная-девушка — вдруг мелькнуло... только корыто с синькой знала! — Тебе понравится мой «Виноград» — ты сама — му-скатный виноград мой. Ну, слушай, кончик III гл. — уловишь «колыханье», гул — дале-о-кий... моря? — вслушайся в ритм... Музыкант уловит. — плавность, на-кат... Вот, сейчас: (из «Винограда») ...«Винтами и петлями (пауза) — я буду для тебя двоеточие ставить, легче услыхать внутренний ритм, — побежала вниз белая дорога на синее море» :: — паузы, разного счета, — «а оно ясне-ло — и вливалось в глаза. Влилось, — и никогда не уйдет теперь, хоть потеряй глаза, :: хоть уткнись в темный угол :: на весь век свой. Корыто ли с синькой увидит взгляд, к небу ли подымутся усталые глаза, — встанет оно, живое, и вольется в душу. Все целиком, огромное. Придет из-за тысяч верст и вольется. В снах придет теперь — и вольется». Ничего писалось? «Виноград» любили. Саша удалась — и — повар-старик. И — виноград. Дано вино в подвалах, как набирает силу. Му-зыка вина, песенка его дана. Тугоухие не слышат. А я — пою. Вот Рахманинов поймет — он говорил мне, — а я раньше его знал, что пою. Как спел бы... Тебе, моя царевна! Ты — тут! красавица, светло мне, от тебя... о, как благодарю за... Дар твой, за тебя. За — все. Господи, услышь, — я пел Тебя... я буду петь Тебя! Услышь!! Но надо и «нудить» цели... помоги, Господи! Светись, мой Свет!

Ольга, я так крепко тебя целую, так ..... — что писк я слышу. Оля, за что обидела пустой открыткой? Я весь с тобой. Глупая, целую. Твой Глупый

Утро 22-го — 10 ч. — а «пней» все нет. Буду звонить.

Сегодня опять напишу. Не могу. Ты чем меня зачаровала? чем?! Ну, погоди... мы это разгадаем, вместе у з н а е м.

«Погоди, тебя заставлю
Я смириться .....»[264] — ?! —

М. б. ты дашь адрес верный, — на Сережу? — Я тогда буду par expres (5 дней доходят). Сделай это. Скажи — куда.

63

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.X.41 5 ч. вечера

Оля, я не могу больше так жить, — это сплошное страдание. Если нет у тебя силы изменить свою жизнь, так и скажи. Нельзя жить двойной жизнью, обманывая себя. Что препятствует тебе связать свою жизнь с моей? Если это — неопределенность, тревога за твоих, я ее устраняю: и мама, и брат будут всегда с тобой. Другое чувство? Но тогда скажи открыто, и я не потревожу тебя ни словом, — ни словом не упрекну, постараюсь в с е забыть. Удастся ли это — не знаю, но иного исхода не вижу. Необходимость увидеться? Для меня нет этой необходимости, я тебя у з н а л. Для тебя? Тогда постарайся встретиться со мной там, где живут наши друзья — Наталья Яковлевна с Марией. Они пригласят тебя, — неужели и тут — «нельзя и думать»? На что же ты обрекаешь себя? и меня? У тебя родилась потребность беседовать со мной в письмах. У меня — больше: жизнь с тобой. Письма меня только мучают, в данных условиях. Да ты вон и этого хочешь меня лишить (твоя открытка в 2 строчки, а я все время пишу тебе). Нужно кончить эту тяжелую «игру», — для меня хотя бы. У меня мало надежды приехать в Голландию, но я ее не оставляю. Ну, хорошо: свидимся. А — дальше? Все то же? Нет, на это я не могу согласиться. Я должен знать твой прямой, заключительный ответ. Хочешь связать свою жизнь с моей? Решай. Знаю: тебе куда сложней, — я свободен. Но нельзя закрывать глаза, нельзя тянуть эту неопределенность: она убивает меня, я не могу в ней писать, и у меня не остается воли жить. Или — жизнь с тобой, или — ни-чего. Это уже мое дело — как я выйду из этой пустоты.

Если при любви ко мне, во что я безусловно верю, — нет другого, тогда единственное решение: выйти из тупика, не портить своей жизни и не убивать меня. Отсюда: необходимо смело все сказать другому — и начать новое, не склоняться перед неопределенностью, — ее не будет, будет все ясно: новая жизнь, со свободным сердцем. Повторяю: ни за себя, ни за своих не бойся. Все мое — твое. Будущее твое совершенно обеспечено. Для текущего средства у меня есть; для будущего — открываются. В ближайшие дни я подпишу договор, вполне ограждающий интересы наши. Авторские мои права я никому не уступлю. Эти права будут — твоими. За покой твой (материальные удобства) — я отвечаю, можешь мне поверить. Да я знаю же, что для тебя главное не в этом. Но знай и ты: я не могу жить без тебя. Если твоя любовь — не только временное увлечение, — и ты не сможешь — без меня. Зачем тогда тянуть, ждать — чего? Тебя пугает чувство греха? Его нет, и не будет, греха. А как назвать жизнь — через силу? сверх сил? когда утрачена связь, освященная Церковью? А это есть на самом деле. Только — сделкой с совестью и, в сущности, — медленным самоуничтожением, связанным с моею гибелью. Надо найти силы — и решить радикально. Я предлагаю попытку — свидеться у Марины, там, где она. Это — легче. Если же тебе и это недоступно, в таком случае я не вижу никакого смысла и в моей поездке в Голландию, — она, при таком безволии и покорности судьбе, не приведет к развязке. Будь искренней перед совестью, не прячь за дерево голову, как глупый страус. Счастье берется, — а не приходит на зов, при полном безволии зовущего, при его «страхах».

В последний раз говорю: любишь — будем вместе; колеблешься, — скажи раз навсегда. И неопределенность кончится. Я говорю, как перед Богом: люблю тебя — и не могу без тебя. Жду тебя. Ни тебе, ни мне не надо «краденого счастья». Значит: узел надо разрубить, найти в себе сил и ничего не бояться. Людей бояться?! Значит: любви нет крепкой, и нечего себя обманывать. Я тебя высоко несу, крепко люблю, людей не боюсь, — слишком хорошо их знаю, — и перед всеми назову тебя моею законной женой, пусть и не вдруг освятится наша совместная жизнь Церковью. Двойная жизнь — обман, самообман, мне ее не надо.

Решай же. Я буду ждать этого решения до Рождества. Буду тебе писать, буду добиваться возможности тебя увидеть. С Новым Годом мы должны кончить эту муку. Что будет со мной, если утрачу тебя, — не знаю. М. б. буду

стремиться уехать на Родину. М. б. — все кончится для меня, как это ни тяжело, ни кощунственно в отношении тебя, моя голубка.

У меня сейчас снова — боли. Это, я знаю, от «событий». Я сгораю на этом огне, — невольно, да, но это твой огонь.

Люблю тебя. Целую. Благословляю за то малое счастье, что ты даешь мне в письмах. Господь да сохранит тебя.

Твой Ив. Шмелев

64

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.X.41 1 ч. 40 дня

Дорогая больнушка моя, весь с тобой, всегда! Ты больна, надо определить — чем. Твои сны — больные, слишком они красочны, блестят. Это всегда в болезни. Болезнь — следствие всего: и от чужого климата (ужасная Голландия!), и от сложившейся так горько жизни твоей, и от разлуки. Ты нашла меня — и нет меня. Не меня, а сердце, любовь мою. Заставь сделать общий анализ. Для твоего покоя — на все готов. Вчера послал письмо, — беру его назад. Я буду ждать тебя, не стану торопить, примирюсь с горькой долей, — только окрепни, моя святая, мое счастье, моя несбытка! Чтобы не огорчило тебя вчерашнее письмо, это посылаю par expres, — не могу иначе, а то ты измучаешься. Меня сегодня взметнули твои строки (два письма expres). Бедняжка! Чего бы только не сделал для тебя! Что пользы, если стану укорять — жалеть, что ты с собой сделала, на что отдала жизнь, с чем связала! Теперь — бесцельно. Не прощаю И. А., что он не воспрепятствовал, все зная! Это ужас! Так замуровать себя, и во-имя че-го! Видишь, я угадал, сказав о голландцах, о высоком % психиков, о яде мешаной крови! «Драма в детстве»! У многих из них такая «драма», — кровь гиблая! За что — тебе-то?! Конечно, это повод для развода, очень веский, но... это может длиться долго. Но больше всего мне больно — недуг твой. В тех условиях ты не оправишься. И ничего не могу придумать, чтобы спасти тебя. Живи, прикованная... — я с тобой скован, я буду пытаться уйти в работу, пока... — знаю, что мой роман «Пути Небесные» — не будут светлы, — слишком я придавлен. Нет, я не враг твой: мне больно только, очень больно, все. Буду добывать разрешение на поездку. Но ведь ты не будешь в силах приехать, где я буду! Ну, допустим, — ну, приеду в Arnhem...

не в Schalkwijk[265] же Ваш, эту уездную щель, чтобы на тебя указывали пальцами! М. б. в Берлин? — писал я Квартировым, чтобы тебя позвали. Но ведь, пожалуй, и в Arnhem ты не приедешь. С больным человеком ты ничего не уладишь, а его nevrose только тебя погубит. Его ты не исцелишь, жертва твоя бесплодна. Теперь понятно мне: дать жизнь будущему у-ро-ду! — это кошмар. За мои «нервы» не беспокойся: испытаны, нельзя больше их пытать, — не отзываются. Писал вчера — снова боли... Это — те же нервы, не от язвы, а — отражательные, от «вздутий», — не могу режим держать, такие условия (хлеб), но все есть у меня, с избытком, — могу делиться — и рад. Мое меню — даже роскошь. Русская «няня», 65 л., новгородка, — прекрасно готовит. На днях я угощал моего друга-доктора: салат, суп из потрохов, жареная курица, хорошее бордо (я не пью), блинчики с творогом, виноград, кофе. И это — случайно [вышло], к такому часу забежал доктор. Мясо — 4—5 раз в неделю (жиго, ветчина, бифштекс). Очень она меня жалеет, эта «няня», что один я на свете. Она ходила за дочкой ген. Слащова[266], убитого в Москве большевиками. Как я живу тобой, Олёк мой! Все смотрю, смотрю: новая..! — пишу твоим стило! Ты еще не знаешь, а я уже написал тебе (21.X). Чтобы ты знала, как я живу тобой, вот письма: после 25.IX, где я просил тебя связать церковно свою жизнь с моей, — я писал: 30.X — expres, 7 и 8 — expres (вернулись), 9 — expres, 10 — открытое, 11-го — закрытое (по твоему приказу я не посылаю ни заказных, ни срочных, только это письмо — как исключение, во имя твоего покоя). Дальше 15.X — закрытое, 16.X — издательство послало, пока, 2 моих книги. Завтра (нет, в понедельник 27-го) — другие. «Старый Валаам» должен прийти из монастыря на Карпатской Руси. 17.X — два, утром и вечером (Я почувствовал, как тебе нужно мое-твое сердце!), 20-го X — 2 закрытых и 3 открытых, из них одна старая, забившаяся в моем писательском хаосе. Бывало, Оля его улаживала, а я сердился, что мешает мне. Мой «хаос» особый, — для — «чтобы под рукой все было!» 21.X — два закрытых утром и вечером, 23-го закрытое, 24 — два закрытых письма. Ви-дишь, Ольгушка?! — как я не пишу тебе! Я — исписываюсь — для тебя. Моя святая, Царица! Для всего света у меня уже ни-чего не остается. Все — лежит, ты все закрыла. Так... — я никогда, ни-кого не любил. Оля — особо, — она — детская любовь, перелившаяся в необходимость любви — очень тонкой. А к тебе — все — и эта, «очень тонкая»,

и — сильная, требовательная, бурная, жгучая, и — умная, — от общего нам «искусства» — «к светлой дружке». Сердце должно подсказать тебе, когда и как — уйти от тяжкой атмосферы Шалквейка, — это нужно, спасай себя, во-имя большего, чем ты, я, наше чувство... — во-имя бу-дущего! и — того ценного в духе, что в обоих нас. Но — будь осторожна: психоз свободен, безотчетно. Я теперь буду об этом ду-мать... — а, это моя судьба — думать, выдумывать, надумывать, — не открещусь. Но сидеть сложа руки — не буду, буду искать. тебя.

— Сказать в письме о «Путях» — романе — невозможно: о «хаосе» — нельзя. Все еще хаос. Кратко: в Дари все тонут. В 1-ой половине 2-ой части Дима — призрак, живой, (видится Дари, встречи в поле, в парке, до...(!!)). Циник-доктор (не твой кавказец, а давно, до тебя, наметил) — атеист. Борьба Дари — и выход ее «на проповедь», духовный рост. Все слито с природой, (гимны), с бытом поместий, типы людские русские (от низов дО верха). Болезнь Виктора Алексеевича и первое «чудо» (стучится Оптина Пустынь). Первое посещение обители (старец Амвросий[267]). Появление живого Димы. Грехопадение (июльский полдень, гроза). Крестный ход, в полях (будет раньше о «зачатии» — и тревоги Дари). Явление матушки Агнии (это начало смешения «неба» и «земли»). Не понятно тебе? Трудно — на словах, надо говорить — глаза в глаза, тогда услышишь сердцем. Отъезд Димы на фронт (он был ранен, а не убит, был в отпуске — и уезжает.) Его гибель там... Дари узнает, что она беременна. Ее переживания, — это самое важное в этой части, много света — и — ужаса. Эта часть романа кончается смертью мальчика, (на 2-м году). Должно дать любовь матери — тончайшую и — животную (ряд сцен!) — к ребенку, и — *вой* Дари. Это ряд сцен, меня страшащих, — одолею ли? Два—три посещения Оптиной. «О русском счастье». («Дворянское гнездо», Татьяна... — В[иктор] Ал[ексеевич] хотел бы вести Дари, — бессилен.) Тайна — чей ребенок — неизвестно ни ей, ни В[иктору] Ал[ексеевичу]... но читателю, [пожалуй], будет ясно. Тут очень трудно дать «намеки». Будто нет греха... для Дари... — явь в ней слилась с галлюцинациями, но сердце ее — знает, от кого. Тут интересное место — самоубийство юноши, в нее влюбленного, — художника, бывшего владельца «Уютовки». Ах, Оля, какая ночь у меня — в наброске: первая ночь Дари, (и игра звезд в зеркале), под Ивана Купала (приезд)! Там-то твое... гениальное! — «звезды глубоко тонут и в прудочке»!!! Новая фигура: няня, быв-

шая крепостная Варвары Тургеневой[268], матери писателя. Много «знамений». Эта «няня» — символ русской женской души, очень здоровой, она очень влияет на Дари. Потеряв ребенка, пережив гибель «небесного супруга», Дари видит «оставленный "возок"». Надо его до-везти. 3-я часть романа — духовное обновление В[иктора] А[лексеевича] — Дари — попытка обновиться — атеиста-доктора, полупокоренного Дари, его покушение на Дари (страшная сцена, как бы «явление Ада — Дьяволу»). Гибель доктора. Но столько фигур, это нельзя в письме. Провал в 20 лет. (Это трудно для структуры романа.) — новое место. Новая Дари. Ее смерть (это по трудности — выполнимо ли?). Действие в Средней Азии, на туркестанской дороге, на р. Аму-Дарье. Сбылось пророчество старца Иосифа[269]. «А светлый конец найдешь, земной, на своей реке!» (Аму Дарья) Это такой должен быть апофеоз Святости, ее победы, чистоты, любви к людям (всенародное покаяние Дари!) Видишь мой «хаос»? Он уложится в форму в процессе работы. (Да, явление тигра в орловском поле!) Все — правда. Читатель должен видеть, как небо слито с землей. Ну, милка моя... не могу больше, чувствую как в твоем сердце — и радость, и недоумение. Но твой Ваня-мальчик, (зови так, не Иван Сергеевич!) знает, видит вышивку на канве романа, и должен одолеть — по-бе-дить! И с тобой — только с тобой, — победа бу-дет! Работы — на меньше года бы. Да, з н а ю. «Няню из Москвы» — я написал — в 3 месяца. Пусть попробуют такой рекорд поставить! Для «Путей» — мне надо любить, о-чень, безумно... — тогда роман будет насыщен тихой «страстью». 1-ая часть была в любви Олиной, но... мешала ей боль за нашего мальчика. Я ее заменил Дари, и Дари меня будила. Ах, Оля... это трудно объяснить. Я знаю, что в работе над II частью я буду грезить, гореть, м. б. видеть. Она будет связана тобой, про-ни-зана. Беря от меня силы, ты мне будешь возвращать их — удесятеренно. Да! Я буду о-чень тебя любить..! Но... будет ли все это?! «Пути» не могут быть оскопленными. К концу только — повеет бесплотностью. Кульминационный пункт — зачатие. (Поляна, малина спеет. О, какой бунт красного, запахов.... — пожар крови!) Дари в этот один момент вся истает, отдаст все, что было в ней земного. Как бы — за этим — наступит ее «Преображение». Да, картина падающих звезд (28 [июля] Прохора-Никанора[270]). Ну, не кажется тебе, что я — полусумасшедший? Нет, это я все сведу в страстную симфонию.

О семье, о матери — в следующем письме. И на все отвечу. На твои чуткие слова — о музыке, живописи. Губки дай, поцелую. Ты — новая у меня под стеклом, — необычайна. Все уже дано в письмах, они в дороге. Все. Ты — Царица, так напомнишь, в миг какой-то, — Императрицу! Оля, все, все для тебя, всему покорен, — только живи! победи болезнь! ничем не тревожься, деточка, кровка моя родная, — все для тебя, скую себя твоею цепью, сломаю боль свою, — будь же здорова, я пошлю «селюкрин» — очень важно. Можно? Напиши. Антигриппал прими. Я принял, и болел бронхитом только два-три дня. Много дал тебе письмами, увидишь. Ка-ак я тебя вижу! Божий дар Ты мне. Как жду..! как .... — не скажу. Целую, всю. Уже ничего не помню. Отвечу. Не пишу больше, чтобы не вернули. Благодарю за ласку! Ив. Шмелев

[На полях:] Если бы захватил m-r Т[олена] — послал бы тебе мое колечко, черной эмали, бриллиант.

Совсем не тревожусь за Россию! Освятится!

Не надо ли тебе денег? Я пошлю на Сережу, если разрешат, или на Марину.

Целую ручку у мамы.

Как я восхищен тобою — новой!

Не захватил голландца!

Как я хочу тебя, видеть, слышать тебя, баюкать! Ах, Оля... — а дни уходят.

Получила — меня от Мариночки? опять торгуют мои авторские права!

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22 окт. 41 г.

Вчера письмо Ваше от 10-го окт.

К нему мне нечего добавить. Вы знаете, что Вы там и как писали. Но я скажу Вам все же, что я все увидала, все поняла.

Вы не оставили ничего, что могло бы больно уколоть меня.

Сердце мое, открытое Вам мною просто и без затей, — Вы как бы бросили в помойку, в сорный угол,.. в котел общий, где варятся и г р а н ь я в чувства, кипя словесной пеной наших эмигрантских тетей. (Я часто таких видела: одна мне показала письмо свое, оставившему ее... «другу»... «я стою у последней черты», а когда я спросила,

что это значит, — так сама не знала и призналась, что «просто хорошо звучит».)

Зачем ты это сделал?

Ты, именно ты не мог не видеть, *не осязать*, положенное тебе в руки, живое мое сердце!

Зачем мое святое читаешь, хочешь читать, наоборот?

На зов мой приехать... «слышу не приезжайте!» Ведь Вы не верите этому сами!! Не можете верить!

Вы не поняли мое: «я не могу приехать, и это мне большое горе»??

Да, «тети» тоже могут это, но разве Вы-то не различили?

Ты не оставил ничего, что больно могло бы резать. «Осколки»-то Ваши в меня швырнули, — «осколки», сделанные самим собою!..

О «Путях Небесных» даже... «они убиты, нет не Вами, — мною, моей ошибкой». И... «это мне награда, от читателя. Не от читательницы». И этого Вы не оставили мне! Хоть и говорил вначале письма как о «читательнице чуткой, хотя бы только». Нет, этот «бабий», «тонкий», «знаток», — он ценит... и это Вам «ценнее, чем читательница».

Правда ли это?

...«бабы из приличных». Чем определяете Вы «приличность»? Классом?.. «Котлеты... по 6 минут на каждую...» Даже деление произвели: 30 : 5 = 6!..

Что это? Вы — роковыми словами швырнули в мою душу: «теперь уже поздно, не надо объяснений», «это письмо последнее», и «...Ваших 33 письма!» И... много еще! Если Вам дорого т о, ценное, большое, — не надо так!

Не нахожу я объяснений тому, что породило это в Вас! И вот и с розой: я в муке за тебя, что больно тебе было бы подумать, не плакала ли я, — по себе судя, — я писала: «это не слезы — вода из розы». Это и было так. Как же ты-то меня колол за это?!

Ты ничего не пощадил, чтобы меня изранить. Даже, узнав все из того же от 2-го, о том, что «свежи у меня еще краски», — воспел бледность лица,

г о р я щ е й и з н у т р и, Ирины!

Мое больное, самое больное, о сожженных моих портретах, там, в России, о разбитой моей мечте большой, о всем з-а-д-а-в-л-е-н-н-о-м во мне... Вы и это не пощадили.

Ирина — художница, у нее «прекрасные этюды».

Да, у меня их нет. И никогда не будет. Я никому об этом здесь не открывала, — тебе про эту боль сказала, робко... не сразу доверилась.

А ты?.. Ириной бросил?

Я не ревную. Ревности здесь нет места. Ваше, да и мое, — я ставлю выше.

Чтоб Вы не поняли, как это будет больно? Нет, ты знал, как ты меня изранишь! И это ты, — понявший с полувздоха тоску Ирины!..

Я все тебе открыла, — ясней нельзя!

Мое все сердце я отдала тебе, а ты... ты, в твоих руках его, горячее, имея,.. хотел сам, *сам* хотел увидеть его... это горящее... увидеть камнем!

Ты вдруг не понял, что могло случиться. «Какой страх», «почему страх».

Вспомни, вспомни, Ч Т О я тебе давала, к чему звала тебя к себе, звала в «горе», что «сама не могу приехать»... К чему о Лизе, о Татьяне? Этого — они не обещали. Я вспомнила «Даму с собачкой»... Это — Лиза? Твое письмо чудовищно...

Вы на меня обвинительный акт опрокинули, — пригвоздили. И даже доктора, отца Ирины, вспомнили, — меня уколоть было удобней: ...«очень уж глупо-религиозен, все на волю Божию...» Умышленно — неприкровенно? Я понимаю.

Ты понимаешь меня немножко слишком примитивно: — я — зрелая духом. И для меня: «на Волю Божию» — значит: вся моя правда, моя Вера, мой Опыт! Смеяться над этим разве мог ты?

Вчера я Вам писала свой роман, — всю жизнь мою, в нескольких письмах... Конечно не посылаю...

Вы мелочами себя тревожите: «духи не пахнут, роза завяла», а спросили Вы, что в моем сердце?

Мне больно будет, если Вы меня не поймете...

Понять же очень просто: — читайте тО, что тут стоИт и не ищите других, надстрочных смыслов...

Я не жалуюсь. Я Вас и не укоряю. Но я должна сказать во имя Правды, что то, что сделали Вы, — о п а с н о.

Как берегла я Вас! И даже то, о чем я уже скрывать не смела, — я все же скрыла по мере сил, чтобы сохранить покой Вам! Не помешать в работе. Я уничтожила 2—3 письма о драме с мужем, о всем, что было, об унижении... Я только написала то, чего уже нельзя было скрыть, что «о Париже нельзя и думать»... О... «моем

горе», чтобы дать знать тебе и этим дать возможность тебе приехать.

Я верила, что наше с тобой — Правда. И потому — «на Волю Божью». На «грешность» мою толкнул меня ты сам же: «как же смел я Дари мою бросить в искушенье, в позор, на край погибели?»

Нет, ты меня совсем не знаешь!

Не важно, что ты зовешь меня Святая, Прекрасная и все другое... Но важно, как со мной ты поступаешь! «Чистая»... и «чистой» о... «котлетах»...

И как легко у тебя с «ошибкой» получилось! Ну, прямо «Полукровка» Вертинского[271]!

Я, кончая, хочу сказать, что если ты ищешь сердце, ласку, друга, — то — оставь... все это... имени этому, в твоем письме 10-го — я не найду. Не знаю, что это...

Но оставь это!

И я тебе не повторяю что люблю, и как люблю. Ты знаешь это. А не знаешь если?.. то, значит, и не узнаешь, хоть сотни раз тверди я все об этом!..

Мне — нечего тебе еще отдать!

Я *все* дала!

Вынь это из мусора, куда ты сам забросил, отмой, почисти — и увидишь!

Мне грустно, если это письмо должно доставить боль тебе. Я всегда помню: «мне нужны радостные письма». С какой лаской, нежностью, бережливой заботливостью я тебе писала, выбирая даже слово, чтобы лучше, мягче... А ты не понял? Сердца звук не понял? Ты-то?! И «стих» мой не увидел? Хоть писала его и внешне стихом. Там было о созвучиях, цветах и ароматах, и поцелуе. Я не художница! Я знаю! Я слишком захлебнулась, захлебалась жизнью.

Забудьте про мои «таланты» — их просто нет!

Не говорите о них н-и-к-о-г-д-а!

Мне больно это! Все это только было!

Поймите, что мне больно, что я сожгла себя в искусстве!

Храни Вас Бог! Будьте здоровы!

Ольга

P.S. Вы, со свойственной Вам гениальностью творить чудесное, — Вы так же гениально сотворили это злое, 10-го!

Что это? Я жду объяснений Ваших. Я до них не могу писать Вам.

Ольга

66

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.X.41 1 ч. 20 мин. дня

Ольгушечка моя, забудь мое помрачение, — все это от страшной любви к тебе, от хаоса во мне и ужаса, что могу тебя утратить. Вот, клянусь именем, памятью моих дорогих, — люблю тебя все мучительней, все отчаянней! Вот именно — отчаянней, и потому, все во мне кричит, я нагромождаю себе ужасов, мечусь в своем нагромождении, — и это — безвольно — отдается в письмах. Этого не будет больше, — ты увидишь, ты м. б. до этого письма прочтешь, ско-лько я послал! Я уже забыл, что я тебе писал, — так все в хаосе. Я теряюсь, как тебе объяснить какое-то мое письмо — чертово пись-мо! — от 10-го окт. Я писал открытое 10-го, а 11-го — закрытое, судя по записи в блокноте, чтобы хоть это помнить: сколько писем и когда послал. Только и могу — тебе писать. Совсем утонул в тебе, всего себя — тебе! Ну, что я тебе скажу?! Если бы я все (или — почти все?) знал, что теперь знаю, не написал бы так. Нет же у меня копий! Ни одно твое замечание не верно. Т.е. — твои выводы из моих идиотских строк. Я горя всем, — и ревностью, и сознанием, что потерял тебя, и растерянностью, и — болью за тебя, и — бессилием сейчас все это устранить, спасти тебя! Ольга моя, безумная, умная, глубокая, святая, да, да! — чистая, да-да! — единственная, — да, да, да! Для меня не может быть никаких Ирин, Людмил... — никого! В любви к тебе — так она всеохватна, всезахватна, — я себя, настоящего, теряю... все мне темно, слова безотчетны, я — без самонаблюдения... я мечусь. Я с тобой — как с другом, как с товаркой, как с самим собой, — и потому все тебе говорю, — и эти идиотские, пошлые «котлеты»... Так и есть! Для меня это — котлеты жрать — когда другие этому предаются! Я никогда не предавался, — я люблю чисто, так только могу. И вот «бабы» — котлетные, для жратвы, — у жрущих. Это — вне меня. Теперь — Ирина эта... Нет ее для меня! Ты — только. Ее «пейзажи»... — как мальчик написал, взманить тебя — к себе, глупо и недостойно это тебя и меня, — ее «пейзажи», все не стоят одной твоей буковки в светлом письме твоем! Прости же мое неистовство! Ну, так неверно я принял твое письмо — от 2 окт.? — Я был в отчаянии. Я хотел... — о, было такое! — умереть, — я даже, в отчаянии, неосторожно порезался бритвой, — безопасной! — потерял много крови, 2 часа был один без памяти, с платком,

прижатым к шее, у артерии, — прости, это случайно, я весь дрожал... Стал слабеть, лег, прижал платок... и ничего не чувствовал. Когда пришел в себя — платок присох, я его сорвал... и опять... но тут я кинулся к воде, замотал горло, — и потом, слава Богу... Залил одеколоном и йодом. На другой день я был вполне здоров и — еще лучше! Будто искупался. Ну, вот — видишь, что со мной. Безумие любви, вот что. Теперь другое... написал, что Милочка Земмеринг хочет приехать — посоветоваться, как ей готовить себя для России. Она не приедет. Я не хочу. Все равно, она и уехала бы, какой приехала бы... Но т.к. я все тебе пишу, я написал бы, если бы она приехала, — а ты могла бы волноваться... — и потому я написал, что м. б. сам весной приеду в Берлин, и обо всем поговорим, а ей посоветовал — продолжать на юридическом факультете или — идти в институт «Экрана» — всего Экрана, техники и сцены, — это сила для жизни, если брать экран не как жидовски-доходную статью, а как важнейший рычаг просвещения и ведения народа. Как — «это письмо последнее»? Это, я — написал? Но это же бред! Это безумие. Я ничего не помню. О-ля, Бог мой, миллионы «прим» — ничто! Ты — одна, гений мой, творица истинная! Оля, мой водитель, — ты должна работать, ты - все! Ольга, я не смел и коснуться мысли, образа, что, что (!) ты мне отдавала! Я уперся в одно, как ослепленный ужасом: она уходит, она связана, она — другого любит, она ему всем пожертвовала, — все все — для него. А меня... — как «разнообразие», как пряность, так... Я как бы иногда чувствовал игру твою. Ты же писала, что ты была — «игрок упорный, и часто срывала все, когда ход партнера тебе не нравился». Я все это в миллион раз увеличил! На себя свел. Я ведь бил себя по глазам, видящими тебя Святой! — когда рисовал себе сцены — !!! — с тем насильником-кавказцем... — чего я не навоображал! Это — мое преступление! Оля, я не в силах отвечать на твои обвинения. Оба мы хороши — два сапога — пара. Но ты-то — Свет, а я — во тьме. Я ни-чего не знаю, о тебе, — или очень мало. Ради Бога, все, всю драму дай мне... не бойся, я не стану мучиться. Но я должен все знать. Но все это уже — прошлое, и из моих писем ты все увидишь, как я — к тебе. Вчера я так молился о тебе! До слез, до крика — к Ней, Пречистой, — сохранить Тебя! Оля, после молитвы — дикой, иступленной, перемешанной Тобой, всей, всякой, в горящем воображении, — я все на Тебя смотрел, — ты в луче лампы, тут, как Новая Чудо-

творная моя, Икона Небесная! — и — страшно-страшно Земная, — я твое дыханье пил! — после всего я... стал смотреть (до 4 ч. ночи) «Старый Валаам». И — прочитал страниц до 60, все думая: «вот это ей понравится... вот тут она будет сладко плакать... вот это ее еще ко мне приблизит... вот — улыбнется, вот смеяться будет...» — Пойми, ты в с е пронизала собой — во мне. Если ты меня забудешь — я все забуду, жизнь свою сожгу сразу, без думки, — как спичку чиркну! Вот я какой — к тебе, с тобой, — без тебя. Знай это. Я все сделаю, чтобы быть около тебя. Я нашел путь. Вдруг осветило! Я получу право ехать! Сегодня же пишу. Мне не откажут. Верю. О н меня чтит, очень, и он имеет огромное знакомство — там. Это наш военный, писатель[272]. Он все сделает, о чем попрошу, я верю. Если не сделает, — никто не сделает. Ласковая ласточка, я тебя люблю, как никогда не любил! Это — выше всех чувств моих, — выше сил моих! Все забудь, — не было моего помрачения! Не могу разбираться, не стану. Не хочу. Это пыль от моего бунта, она слепит. Брось. Приласкай, приласкайся, прижмись сердцем, сожги меня собой, — я не могу без тебя. Прочти все мои письма, последние, они в пути. Ты меня связала требованием — не слать expres. Ведь письма плетутся, и они отстают уже от нового меня, еще ближе к тебе, — нельзя быть ближе, искренней, жарчей, страстней, нежней! Ты — все взяла — не слышишь? Я — в боли за тебя, пойми, глупая, злюка, красочка, свежесть, — о, твое лицо! Все девушки, все женщины одной реснички твоей не стоят! Я — весь чистый, твой, клянусь Сережечкой! Ни одного взгляда, ни на какую! — не нужны мне, ничто для меня они! Это я — про Ирину — она как дочка друга, я был бы рад, если бы она была Ивкина! Да нельзя теперь, и она на 6 л. его старше. Но если бы я тебя не встретил, а она хоть чуть любила бы меня, и мне было бы 45—40 л. — нет, и тогда не женился бы! Ни за что! Я ее целовал при Оле, как ребенка, всей чистотой и — полным безразличием. Мы ее 10-леткой знали. Оля, твой изумительный по краскам, по глубокому чувству стих-сердце... он во мне, как Солнце! Олёк, взгляни лаской, прижмись глазками к сердцу, — увидь, увидь! Ужаснешься, что там, ты все его взяла, оно все занято, груди больно от такой любви! Брось это «Вы»! Оно режет меня. Оля, гадкая, бедная, ласкунчик мой, безумка, мученица, — сделай, как советую (послано письмо). Поезжай в санаторий. Я буду у тебя, да, да! Ты вся — дар от Бога. Пришли три письма о твоей жизни! Все хочу знать! Как ты

жгла себя — для другого, во-имя ч е г о! Ольга, безумица, все-Женщина! Я счастлив был бы землю целовать, где ты пройдешь! Я — для тебя Тоник, мальчик твой, — только умней и... еще пыльче! (неправ, но все равно). — Твой портрет сегодня увеличу, завтра. Бегаю по квартире, в пустоте, ловлю тебя, мыслью ищу — Оля, Оля, Олёк! Не могу жить без тебя. Ты — кто Ты мне? Дочурка, мама, — у меня не было м а м ы, а... мамаша! — сестричка, жена, любимка, (Тетёль[i], Ивки) ты — все цветы на свете, все лучи, все звоны... ты — Жизнь, живая кровь, — тобой я есмь. Ол-ь, я... такой! Слышишь ли, как бьется сила жизни во мне! От тебя. Оля, я ничего не ответил на твое письмо: его н е т, и моего не было. Ты — только. Все — ты. Я ничем не мог тебя мучить. Это — сон дурной. Ты — Дари. Дар — Ты, и я весь — любовь. Нет терпения выискивать в твоем письме. Его нет. Твой б е з у м е ц Ив. Шмелев

[На полях:] Весь твой, все эти дни с июня 39. Я для тебя «ты», не Вы. Не смей!!! Не смей, Оля моя!

Что «опасно»? Что я сделал так? Крещу тебя!

Твое творчество в России (твои портреты) — святое для меня! Го-споди!

Ты — гениальна сердцем. Потому — необычаен Дар. И еще смеешь сомневаться в себе! В Божьем даре?!

Ну, и подобрались друг к другу! Кажется, оба задохнемся, друг от друга! Не знал такого чувства. Потому что два таланта — и каких..! до чего же схожих!!

Мы совсем безумные! Помни одно: люблю — до смерти.

67

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28/29 окт. 41

Любимушка мой, это только «gutachten»[ii]. Письма идут особо.

Как я ушла к... «чужому»? Или вернее почему? Кто он? Я кажется тебе писала (или порвала?) о его потрясении в детстве-юности, о его «болезни»? Так вот: отец — деспот, мать — святая. Мать умерла. Все: жена, дети, прислуга — были подвластны отцу. Он «добрый-малый», — я с ним чудесно лажу, лучше, чем его дочки. Правда теперь

---

[i] *Тетёль* — здесь: тетя Оля (обращение Ива Жантийома к О. А. Шмелевой).

[ii] Свидетельство (*нем.*).

206

(ему 78) — он мягче стал, — ну, а тогда был неограниченным «монархом». Дети воспитывались им, конечно, во всем том, что мне здесь так мерзко. Кальвинизм — ужасно тут проявлен. И — все!.. Мать страдала... потом узналось. Арнольд боготворил мать. Понимал драму. И вот он — отпрыск и надежда «великого рода!», — он чурается этого рода. Для него «Бредиусы» стали нарицательным, для всего, что его душе было мерзко. Он рано развился. В 14 лет прочел всего Канта, знал весь энциклопедический словарь. Читал массу. Отец — собственно мало образован. Не знаю, что он читал, хоть и говорит на разных языках. По воле родителя Ара (он старший) отдали учиться музыке (орган(!)) — он был и музыкален, и мечтателен, и очень религиозен. С восторгом принял это учение... и... попал! М. б. ты слышал о скандале в Голландии, об одном известном (знаменитость) органисте — homosexual'e? Об этом мой отчим еще в бытность в России слышал. Его выслали из Голландии, — уехал в Вену, а оттуда, тоже со скандалом, — в Америку. И там 1—2 года тому назад умер. Ару было лет 9—10. Я не могу от него в с е г о узнать. Но было что-то ужасное. Мальчишка бился, кусался, до истерики, до исступленья. На его глазах учитель проделывал гадости со старшими, которые тоже отбивались, били стульями своего «патрона». Арнольду было сказано, что если он дома расскажет, то всем будет огромное несчастье — месть!

...Он умолял дома взять его от органиста. «Ах, ты лентяй, то-то ты ничего еще не можешь играть... а то так... красиво... мальчик играл бы для нас на органе... и так д у х о в н о!» Когда он плакал, молил, не шел просто — его лупили (отец) по щекам. Ну, а учитель все разжигался на упрямца. И вот случилось самое ужасное... Тот, для вида, для отвода глаз, — жил с бабой. Именно — бабой. И вот та, должна была мальчишку совратить. Мне только 1 раз муж сказал: «отвратительная глыба мяса, периной на меня рухнула и все душила». И вся эта мерзость до... припадка у А. Что было с ним, он сам не знает. Органист на все это любовался и... избил «идиота-мальчишку». И так вот около 2-х лет. Под вечным страхом подобного. До тех пор, пока одна девушка, невеста одной из «жертв» — совершенно нормального мальчика, — заявила полиции, не боясь «угроз». Надо было найти «улики» — рассказов было не достаточно. И вот на одном концерте в соборе, этот мальчик «сдался», дал понять, что наконец согласен. Спровоцировал. И вот, когда уже нельзя было сомневаться что это

такое — вышла полиция, спрятавшаяся за трубы органа. Арест. Высылка. Только тогда дома поняли, отчего этот «лентяй» упрямился идти на уроки. Но, не вразумился отец. И в каждом случае жизни проявлял себя по-старому. Так, когда А. надо было выбрать профессию, — отец нашел благоприлично его старшему отпрыску быть пастором. А. — очень верующий. Стал учиться. Но, учась, он понял, что кальвинизм — не Церковь, ничто. Он изучил все религии, был в Лондоне, Париже, Берлине. Он был всецело взят Православием.

Когда он сдал выпускной экзамен, и ему предложили приход — он отказался. Он пришел к матери и рассказал, что лгать не может, что он сам не верит, тому, что должен проповедовать. Мать поняла его, хоть было ей очень больно. Во время разговора их вошел отец и... узнав... дал Ару пощечину! Это окончившему-то студенту! Ты все поймешь, если скажу, что здесь до 30 лет — дети под опекой. Даже не венчают до 30 лет без бумаги от родителей о согласии. Отец не понял ничего. Он сказал: «помни, я, я твой отец — тебе на земле заместитель Бога, — меня слушайся. Ты как Каин, если уйдешь из Церкви!» Ар все бросил. Не работал. Уехал в горы — страстный альпинист. Хотел все с жизнью кончить. Гнет у них дома ужасный. Одна сестра кидалась из окошка. От гнета. И вот случилось с ним: на языке науки — Verdrängung, Hemmung, Winterbewußtsein — Störung[i]... называй как хочешь. Единый свет, который еще остался — была мать...

Все, что связывалось с женщиной-женой-любовницей... было — грязью. Конечно, он развивался, рос, был здоровый мальчик, — был влюблен в девушку у них в доме, (Тоничкина Паша[273]), но что это было?.. Она была похожа на Мадонну. Не смела напоминать другое, вызывать другое... Другое — низость, гадость, улица.

Он был в Берлине в 1929 г. — видел меня в церкви. Думал, что я замужем — была я с крестницей моей на руках — причащала ее. Ему казалось, что в моей молитве, в «материнстве» он увидал... и т о... и другое... И — не отвратило. Впервые. Он бывал в церкви. Приехал нарочно для этого из Голландии — отдохнуть духом. Тут еще припуталась одна история — ему не удалось узнать, кто я. А в 1931 г. — после моей любви — моего горя, — он был снова. Мы увидали друг друга в наш Рождественский Со-

---

[i] Искривление, торможение, «зимнее сознание», расстройство (*нем.*).

чельник. Я плакала у образа, еще не начиналась служба. Я рыдала, себя не помня, — как вдруг — почувствовала чей-то взгляд... Незнакомец. Не наш... Кто это? Сколько участия, ласки, тоски какой-то было в его взгляде... И вот, *не зная*, кто я, думая, что чья-то жена, он на другое утро представился моему отчиму, прося его дать некоторые православные книги. Его направил староста к нам. Поймешь и удивление, и восторг, и... что-то неописуемое при знакомстве?.. Я-то была тогда мертва. Я вся была убита, взята куда-то... Он [чуял] это. Нежно подошел. Потом перед отъездом во <u>всем</u> признался и просил позволить... не терять из вида. Писал мне... Стихи... Письма... удивительные письма. Он так любил православие, так впитывал в себя все, то, чего не видел дома. Учил русский язык. Массу всего знает. А дома драмы... Мать умерла еще раньше, в 1926/27 г. Это его убило страшно. Он называл меня Мадонной-Женщиной — его Mutterimago[i], святыней. Он был у своего доктора, чтобы рассказать, что все прошло, что любовь — счастье, что... Но ему ничего не пришлось сказать... доктор на пороге ему уже крикнул: «Вы любите?!» «Вы — здоровы»! То, что было у <u>него</u> — понятно! А я? Я им была от смерти отогрета. Меня он чутко понял. Ждал терпеливо годы, пока забуду. Он полюбил даже... того... любимого... ушедшего... Странно?! Впервые он целовал свою «Мадонну», перед которой раньше только стоял в молитве. И молился на ту, которую целовал. Он массу дал мне тепла, доверия. Всю израненную, он меня успокоил. Мы писали много. Я стала ему дорога... и все же слишком... м а м а. Я м а м о й и осталась... так все время... берегу его, помогаю бороться с жизнью. Отца переупрямить. За все его «аллюры» Ар прослыл в «роду» чудаком. Его — вера, его ученье, его... женитьба... что как не чудачество. На бедной? Русской? Кто такие русские? Казаки? Свечки жрут, руками мясо держат? П р а в о с л а в и е? А это что такое? Его ломали, упрекали, точили. Ко мне летели телеграммы даже. Вплоть до... ах, ну, их!

Я отказала! Гордо! Отказала, когда мы были обручены. Я отказалась уже от места в клинике. Лежал покойник отчим, а брат Сережа — при смерти. Чудо его спасло. Я отказалась. Это был сент./окт. 1936. Ты был тогда в Берлине! Муж поругался с отцом, уехал и заявил, что будет сельским хозяином, а, что с пастором оставили бы его в покое.

---

i Символ материнства (*нем.*).

Я ему это советовала. Я его тогда уже вела. И правильно вела. Мне и доктор его, и И. А. — сказали это.

Я выпрямляла ему волю, давала слова для отца, поддерживала его. Любила ли его? Да, любила, но не так, как Тебя... Любила, опекая, а это ведь не даст то, что ищешь. Мама... Няня... Я не могла ему вся, всей душой отдаться, без оглядок: «а как это ему?» И я все время помнила, что надо ему помочь и быть начеку.

И вот... когда я кончила все, то встал вопрос: «что же дальше?» Мой шеф, ужасный рвач, вдруг как-то позвал меня, в октябре же (в конце) и говорит, что жутко на меня смотреть, что мне бы нужен «отдых» — будто забыл, что я уходить хотела. И что он вот теперь же, не откладывая на Рождество, просит меня на неделю уйти в отпуск. Спать, есть, гулять.

Небывалое... Ни с кем. Я 10 лет работала — такого не видала... Он требовал, чтобы тотчас же! Я ушла. Спала. И вся затихла как-то. И вдруг звонок (после 3-х дней покоя моего), — сестра Арнольда — моя подруга. Я ей сказала: «пойми, мне тяжело вас всех видеть, дай отболеть, не приходи!» — «Нет, Olga, необходимо, поверь, я не спроста». Она пришла. И умоляла, да умоляла понять ее отца: — тот, получив отказ, мой гордый отказ, — поехал к сыну. И тот ему сказал впервые в жизни: «уйди, не дам тебе ни Веру мою, ни Сердце!» Долго говорили, и — отец не «милостиво», а мило звал меня, упрашивал, молил приехать. Elisabeth мне показала его письмо к ней — ко мне он не решался. Боялся он за жизнь своего сына. Ар был тогда как мертвый весь. Много чего было! И. А. «позволил» мне («нашей русской Олечке») поехать. Но виза? Служба? Говорила Elisabeth. Служба? И этот странный отпуск (!), виза? Я ничего сама не хотела делать. Верру[274] была у консула. И вот, обычно длилось 3—4 недели. А тут — 3 минуты. Это я приняла как знак! Я ехала на другой день к старику. Он мне прислал даже спальный билет II kl. Мы говорили много. Я его взяла совсем. Прямотой? Я не ломала себя. Была горда всем Нашим. И так и показала. И. А. хотела быть достойной. Меня он наставлял*. Старик все понял. И... он, он, тот, который все расстроил, молил меня... не бросать сына...

Каак он меня молил. Мне он открыл и свою душу, как он несчастен, не понят, никем, никем. И дети... дети все

---

* Первоначально не хотел «отдать им». Но узнав Арнольда — полю бил его и благословил.

как чужие. Я много ему сказала Правды. Все понял. Пригласил меня на Рождество приехать, когда и сын будет. Ару я не писала больше. Ждала, что он. Волю его пытала. А он... он весь рухнул. Не рисковал писать. Как и все у него в жизни. Он «не имеет права на радость». «Жизнь — долг, обязанность». На Святках все и решилось. Я знала, что Ар без меня ничего бы не добился. Это не самомнение — это — правда. Это знает и его отец, и доктор, и сестра. На Пасхе было обручение официальное. А в ноябре 1937, 16-го числа — свадьба, — в Голландии — гражданская и в церкви, и 19-го ноября — в Берлине в соборе... Это и была — с в а д ь б а. Скоро 4 года! Мы уехали в Югославию, оба искали наше, православное. Ар полон им! Женитьба дала ему уверенность в себе, хоть и немного. До этого... его торкали, смотрели, как на человека... ну, как на белую ворону. Многие из «р о д а» знали его отношение к Бредиусам, а те, кто не знали — чувствовали, что он не «свой». С ним не считались. «Ну, что он может?» «Такую глупость и в профессии своей показал...» После женитьбы стали считаться. Я заставила. И православие поставила на высоту. Все приняли. Брат его, настолько не брал его в расчет, что серьезно думал у меня найти «тепленькое местечко». Я ласково и нежно... показала, что ошибся. Без слов, без указаний — понял. Влюблен... и только. Девочки у него постоянно — развлечется. Во время же нашей свадьбы, — было его чувство — очень... тревожно. На балу он даже мне почти прямо сказал. Бесился при мысли, что скоро мы вдвоем уедем. Тоже — чернил бы с радостью брата! И вот мы — вместе... Ты видишь — я «не отбилась от родимой стаи»... Тут все сложнее. И м. б. ты поймешь, что, оставаясь чудным человеком, тонким, (нет, не угрем, тинным), — Ар все же — вне жизни... Иногда мне *очень* с ним тяжело. Он — трудный. И жизни, Жизни — нет...

У него нет импульса жизни, желания счастья, радости этого счастья. Всего того, чем полон ты.

Господи, как я люблю тебя, «Ивик», мой, позволь тебя назвать так. Мне давно нравится это ласковое... «И в и к...» Ты, понимаешь? Я хочу сама радости, а я ее только отыскиваю для другого. Я... устала.

Ар — теоретик... Всегда боялся жизни. У него жизнь вся в его плане. А время... все ломает. «Вот погоди, я все устрою!!» А жизнь уходит. И с отпуском... не то, что он не хочет, а правда... «некогда». И раз женат, и я хорошая, то чего же беспокоиться?.. Когда-нибудь (?!) мы все устроим. Вот... в этом роде... Мне трудно тебе это все объяснить. И я

часто теперь замечаю у тебя ноты недоверия. Например: «Что это... страдала или — услаждалась?» И... «почему не ушла из клиники?» Ты за моей спиной чего-то ищешь. Не надо. И теперь я боюсь, что ты мне бросишь: «адвокат А.». Нет, это только, чтобы все объяснить! Ты п о н и м а е ш ь?

А теперь... люблю тебя. Безумно... Отчаянно. На все, на все согласна для тебя, для себя... Но ты понимаешь боль мою от сознания этой всей драмы. Ар даже м. б. держать меня не станет... весь обвалится. Это для него будет общим крахом. В семье его съедят тоже. «И этого не сумел». И то уже донимают, отчего детей нет. Рады бы и это ему повесить. Я этого, детей, не хочу. От них всех не хочу! Не знаю почему... Не знаю. Не хотела. М. б. устала. От всей жизни устала.

Как все будет? Не знаю... М. б. все очень просто. Уйти «к другому» — невозможно. Чем бы это кончилось? Наверное горем. Я этого горя не в силах перешагнуть! М. б., — случится само, как несколько раз бывало. Ссора... Уйду. К тебе... М. б. даже скоро. Кто знает. Но все равно, и уходя, вот даже так, я буду знать, что это «дитя» «не ведает, что творит». Он — дитя. И наивен так же, как глупое дитя. Я у него первая и единственная. Знаю, что другой не будет... Понимаешь, его надо знать. Писем он никогда красть не будет! — это у отца им омерзело. Тот и до сих пор это делает... Понимаешь: я — жена-мать-мадонна, — вдруг уйду, разочарую. Покажусь т о й... обычной, которую он презирал и которой боялся... Мне он сказал: «Ты мне Небо и Землю показала рядом, освятила любовь, дала веру в чистоту...» У него долгое время отвращение даже к детям было, как напоминанию о любви. Это было сильное психическое потрясение. Ведь только 9—10 лет! Девушку, жившую у них, он бил однажды. Почему? Мне Doctor объяснил. Зачем живая, — не Мадонна?!

Трудно, трудно жить! Пойми меня! Ар совсем не ревнив, т.е. так кажется... потому, что слишком я — вне подозрений. Он *сам* никогда бы не изменил, и потому не может и у меня во-образить. Он долго верно не понимал бы, что ему говорят серьезно. Вчера так было. У него взяли любимую лошадь, и он сказал: «да все хорошее приятно всем, — вот на тебя тоже небось были бы желающие (шутя!)». Я — «ну, а отпустил бы?» — «Чушь какая, мне писать надо». — «Нет, скажи, Ар!» Хохочет детски: «ты как ребенок: папа, а я если так, то ты как? Глупышка». Не понял. А я т а к спросила, что у мамы глаза круглые стали. Он дитя до жути. Вот, длинное письмо, а всего не объяснить. Спроси

И. А. Он нас всех знает. Он А. тебе раскроет. Целую и люблю. Оля

[На полях:] Я — ни «рода Бредиусов», ни людей не боюсь. Пойми! О «подходе» к А., м. б. спросить совета у И. А.? Он — психолог! Скажи!

Ивика твоего поздравляю!

68

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29 окт. 41

Мой милый, дорогой... мучитель!

Вчера вечером — твои 17-го, 18-го X... И потому пишу вот!

Я утром уже знала, что... все темное прошло. Почему? Не знаю... А тогда, 8, 9, и до... вчера... мне было так противно на душе, так тошно. В день Иоанна Богослова я не могла Вам писать (прости мне это «Вы» — еще мне трудно так привыкнуть)... — а 13-го я писала т а а а к, что — ужас. Ужас, потому, что не было з р и м ы х причин... Но они были эти причины, — в тебе были! Твое письмо от 10-го меня отбросило и придавило. Говорю тебе прямо. Каким образом оно получилось?! Мне это надо понять! Это очень важно. Когда я тебе в моем от 22-го сказала, что до объяснений твоих, я писать тебе не буду, то это не было «наказанием», — нет, я действительно не могла бы тебе писать. Все надломилось и опрокинулось. Я увидела в тебе то, от чего однажды очень страдала, отчего вся моя... сломка жизни! И потому я хотела, хочу видеть,.. что тебя толкнуло. Я смертельно испугалась... Я читала совершенно то, что... тогда... в 1924—27 годах. Понимаешь, словами то же. И потому хочу знать... Слова ли только, или за словами — ужас. Я в жизни перенесла невероятно много, — ты не сможешь себе представить... Но э т о... это было предельностью страданий. Если бы это показали в кино, то — зал бы принял за нагромождение, передержку. Я — все вынесла. Я и сейчас еще как будто оглушена... Прошу тебя... открой мне, что тебя смутило? И почему так?

Но не хочу я больше этого всего! Прошу, будем осторожнее, — давай беречь друг друга. Беречь святое.

Я — странная такая... могу вынести я много, долго терпеть, но в каком-то определенном... вдруг — не могу. И тогда... ничто, ничто уже не удержит... Так и было тогда...

давно... Я девочка была совсем, но нашла силы. Я не к тебе это отношу, а... вообще.

Жизнь моя... полна встреч, событий, драм и потрясений. И каждая — роман. Вот бы тебе писать их! Пиши! Я дам тебе их!

Не понимаю, как это случалось. Я не искала ни людей, ни их и сердца. Т.е. нет, я... ждала... одного... определенного... но его не было... а все другое? Иногда принимала за «заветное»... была ошибка. Их было много... этих... «претендентов» на... как мой отчим-остряк шутя их звал, «претендент на скальп». Нет, конечно, их «скальпы» были мне не нужны, — они охотно снимали голову сами. Вчера нашла в бумагах «акафист» отчима на меня:

«Тебе тезоименитая прабабка твоя Ольга[275], Древлян истребити хотящи, врабие и враны с возженными хвостами на домы их насылаше и сии огню предате. Ты же возженными стрелами сердца своего верных рабов твоих многажды испепелила еси. Темже, сие зряще, вопиим ти: радуйся, в хитрости твоей княгиню Ольгу превзошедшая, радуйся сих новых Древлян неумолимая победо, радуйся обаяния женского непревосходимая художница, радуйся, яко ни вранов, ни врабиев для победы твоей никакоже требуети, Великая скальпоносице Ольго, радуйся!»

Конечно, шутка. Отчим любил такие «писульки» и делал их на знакомых тоже. Я не была «кокеткой», хотя мне дама одна говорила (мать подруги): «Олечка, Вы вся — кокетство... Вы со мной вот, старой женщиной, говорите и не замечаете, как кокетничаете, вся блестите». Конечно, это не было кокетство. Я, — верно (!), сама того не замечала, — как «блещу»... Я редко бываю тусклая. И это только если кто-нибудь есть, кто давит. Ту необъяснимую «нагруженность драм» у меня, я объясняю только этим свойством: — завлекать несознательно... просто: быть самой собой... И это было всюду... у всех наций. В Художественной школе писать хотел один преподаватель (из старших, — т.е. в смысле «прежних») — «Мону Лизу», «Джіоконду» — просил меня позировать. Как сумасшедший бегал и «ловил улыбку Моны Лизы XX века». Хотел он «дать свою разгадку новой Джіоконды». Мне было тогда 17 лет. Я знаю, что у меня бывало это сходство. Это и женщины находили. Особенно, когда я была полнее. Я была в юности полнее. Нет, не толстушка, конечно! Я писала тебе о «свежести красок», — ты верно понял «румянец во всю щеку»? Нет. У меня цвета пастели, и потому их портит всякое прикосновение посторонней «приправы». Пока еще

не нужно. Это от папы. Я никогда не загораю. И пудру (только для лба и носа) мне всегда подбирали и составляли в магазине при мне же. И летом я могу пользоваться еще от зимы. Так мал загар. Мои духи хотел ты знать. Ты не поверишь: — это тоже очень субъективно... Я всегда меняю, мешаю несколько сразу, по настроению, по вкусу, — иногда я не переношу их... и голова болит. Но в общем очень люблю. Всегда какой-нибудь цветочный (ландыш) мешаю с подходящим «fantasie». И пробую. Никто не знает: какие духи у меня... они мои просто! Последние, что я тебе послала: «My sin» (англ.) и... ландыш. Обожаю Guerlain'a — почти что все... Но их нет давно. Были л'Эман, Коти... но бросила... хоть долго их имела. И... вообще... я их сама выдумываю.

Например, помнишь были в моде л'Ориган (Коти)? Я их не могла терпеть под конец и отдала прислуге в клинике... Мигрень всегда бывала. Поэтому всегда сама пробую. Ничего не посылай! Хорошо? Лечиться я буду... Ты спрашиваешь, отчего худею?.. От... тебя! И тут ничего не поможет. Когда я жду твоих писем, то я буквально, дрожу. Я их еле-еле вскрываю. Пересыхает в горле. Буквально! Я никогда этого не испытала. Не сплю. С тобой говорю. Сердце стучит. Не до еды. И все — украдкой. О сложности с А. — я тебе писала... К нему нельзя прийти просто с «уходом». Я знаю одно: — если уйти, то это должно быть вне зависимости от тебя. Мне ведь все виднее. Поверь мне! Мучений у меня очень много. Не таких, как ты думаешь. Я — достаточно н о в а я. Но помимо — этого! Пойми и помолись! Недаром же я вспомнила о «Даме с собачкой». Легко ли мне это?! Не знаю, как я без тебя буду! Жду встречи! Целую тебя ответно, так же как ты, меня... ты знаешь... Все, что ты мне — то и я тебе! Нет, не грех! Я знаю. М. б. мы себя письмами мучаем и делаем разлуку еще невыносимей. Без «ты» и этого «безумства» было бы легче? Или нельзя?! Я иногда с ума схожу без тебя, читая твою страсть! Послушай, я вчера свой дневник читала (18 лет!) — там было: «Оля (подруге), ты пишешь, что недавно прочла о любви двоих, знавших друг друга только по письмам. Да, это, конечно, странно, но мне так понятно. Я бы хотела такой любви, и только такой. Он любит ведь только душу!» Послушай, бесценный мой, все, все, чего я, шутя, желала, — все мне далось. Так, я говорила своей подруге-лютеранке: «Оля (тоже Оля, было 3 подруги — все Оли), я тебе завидую; — если ты выйдешь замуж, то будешь венчаться в 2-х церквах, — как это красиво!» Я ду-

рочка тогда была, (18 1/2), (идиотка была — даже не дурочка!) — шутя болтала... и... получила. И многое — такое. И вот о письмах. Дневник мой очень забавный... Тебе бы почитать. Все та же! та же! Много об этюдах в школе. Маленькие пробы пера... А, как ты больно меня дразнил Ириной... И... зачем о 6-тиминутных, «из прилич-ных»? Ну, хорошо, не буду... Какая Bauer? Где? Я найду ее по книге и все сделаю, что могу*. Но, м. б., мне-то лучше в стороне остаться? Голландия — это деревня — все извест-но. Бредиусы — очень известны. Знаешь известного цени-теля — знатока Рембранта? Dr. Bredius? Он у Вас, в Mon-aco. Это дядя. Их целый музей в Гааге. Очень известны. Пригвоздят меня (не муж, он не ихний) цепями, не дадут так просто! Я их знаю! И как же знаю! Муж-то с ними бо-ролся. Их — жертва. И болезнь его от них была отчасти. Потом я думала: устроить вечер здесь, в нашем болоте, по-моему для тебя будет... неудовлетворительно**... На Пасху было 20 человек русских в храме. Очень мало-русски! «Дамы» считают священным долгом стать вполне «Mevronw»..! У меня ни одной подруги! В Утрехте — есть одна — прелесть — это исключение! А муж — дубина! Я его так и зову «дубина». Сломал ее конечно. Уйти хотела. Осталась. Здесь женщина — ребенок, без прав. Хуже Домо-строя. Завидовала мне, что «мягкий муж, — я вот однаж-ды в такого же влюбилась, ища тепла и ласки, и уйти хоте-ла; — в нашего соседа». Бедная! А дубина был у Вас и сде-лал все как... дубина!

Получил ли ты? Портрет — гадость. Потому я ничего на нем не написала. И отчасти оттого, что Фася могла бы прочесть. Несмотря на эти «глаза» — я вся — натянутость. Даже дубина это заметил. Мама удерживала меня посы-лать. Но я у 2-х фотографов была — лучших. И ничего не вышло. У мужа есть мой чудный портрет с глазами, одно-временно с твоим 1-ым снималась. Хотела я с того пере-снять, но у мужа — как все — «под спудом», и так не знаю даже, где он. М. б. найдет, тогда дам переснять тебе. Мари-на не шлет. Она ужасно не точна. Тогда письмо от янв., по-слала в марте! Неужели и теперь так. Попроси ее! Еще! Я так жду! Вчера прислали извещение, что 2 книги пришли! Какое же тебе спасибо! Я так горю вся нетерпением! Какие? С твоим автографом? Из Булони. Пришли скорей автограф!

---

* Может дать визу только германская власть! Узнала!

** а главное: для меня опасна такая огласка. Муж поймет, что я с тобой! Он все всегда знает.

Ах да, отчего папа умер? Не бойся — не tbc.[1], — у него была оспа. Это было ужасно... Натуральная оспа, без всякой эпидемии в городе, — хотя в Казани часто она скрывается у татар. Меня на tbc. всю тысячу раз пересветили и перестукали. Ничего! Constitutionell — подхожу, и потому шеф и «кавказец» меня подробно исследовали, когда начинала худеть... Ничего! («кавказец» — только рентгеновские снимки исследовал, — ко мне же не подпускал его мой шеф). О Hypophyse я знаю. Это очень важно. У меня был пациент — молодой барон, разбившийся на охоте и повредивший Hypophyse — у него стал diabetis insipidus, — ужасно страдал. Это не сахарная болезнь, но лишь ее симптомы! Из моей лаборатории диагноз вышел.

Как часто это бывало. Сколько диагнозов, «отгадок», драм, я выносила из моей работы. Было интересно. Но очень тяжело!

[На полях:] Посылаю пока маленькие «глаза».

Послала с «дубиной» тебе перо. Получишь. Это для «Путей»! Чтобы быть вместе, хоть так. В твоей руке!

Мне хочется рисовать! М. б. буду — для себя!

Непременно, непременно напиши, что ты сказал в злом письме о моих 33-х письмах, — я не разобрала. Сжечь хотел «в 11 ч.»? Или что это: 11 ч.? Скажи.

Книгу фон de Фелдэ я знаю. Я их, такие не люблю. М. б. интересно и даже «полезно», но и вредно...

Не получила «стрелки» Ирины. В письме 14-го о Достоевском я не о речи его. Одна заметка в «Дневнике писателя»[276].

Получил ли expres 16-го, 19-го и фото в саду, в белом? Целую тебя и обнимаю тебя безумно, пусть грешно! Люблю.

Оля

Отчаянно люблю! Пиши мне все, все, как ты любишь. И знай, что... всем тебе отвечу!.. Обнимаю тебя долго... бесконечно, жарко...

69

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.X.41 12 ч. 20 вечера

Здравствуй, гуленька, ну, как твое здоровье, — не пишешь ты? Какое ласковое перышко твое, — должно быть знает, кому пишу, старается. Сегодня не отвечаю на твое,

---

[1] Туберкулез (*лат.*).

16.X, — другим я занят, да... — т о б о й. Всегда. Знаешь, меду мне прислали, мно-го... всю бы в нем выкупал, потом всю бы... обцеловал до пятнышка последнего, — ну, как амброзии вкусил бы... знаешь, боги-то, амброзию вкушали... стал бы им причастным, — ты же сама амброзия, гулюлька! Сегодня я с утра «в полете», — мое сердце. Так взмывает, — ну, что такое? Все ты в нем, так неугомонно-дивно, — что такое? Ну, вспомни... книги получила? Или — письмо? Светло тебе? Ну хоть немного? Не забыла еще Далекого? Не пиши, ни-когда, что ты меня «уж бояться стала»? Мне больно. И забудь, что — «мне нужны радостные письма». Уж какой раз ты об этом мне..! Изволь забыть. Меня... бояться? Ну, можно ли так, бо-льно! У меня сердце тает для тебя, такою нежностью, такою лаской... О-ля! Никогда, — помни!, ничем не упрекну чудесную мою чудеску — «Девушку с цветами». На, вот тебе, — за это:

Девушка с цветами

Оле Субботиной

Светлая Олёль... / как ты прекрасна! / Вся в белом, / с белыми цветами. / Легка, / лилейна. / Линии какие, / какие руки! / Белая голубка, / гулька, / лилия, / снежинка, / нежность, / с в е т. / О, ми-лая, // веснянка! / Кто ты? / откуда ты?..// Все новый образ, / новая загадка... / Песня? / Кто пропоет тебя? / как передать ручьистость линий, / изгиб руки, / невнятную улыбку... / пальчик этот! — / Что он п о е т? / что видят затененные глаза, / за далью?...///

Девушка с цветами, / кто ты? // Девственность / — и грусть. / И светлость. // Смотришь в даль... / Что там, за далью... — / с ч а с т ь е? // У сердца — белые ромашки, / пленницы твои, / ручные. / Ну, / загадай о счастье: // « ... любит?.. / не любит... / любит..?» // Ну?..* — // что шепчет сердце / — сердцу? /

«Л ю б и т»!//

О, милые цветы, / осенние, / — предснежье! / Спешите, / доцветайте в ветре. / А вы, / у сердца... / слышите, как бьется? // что п о е т? / Прошелестите мне, / шепните... / лепестком, последним, / нежным... //

«Л ю-б и т»!! ... ///

Дождь, / ветер. / Дали смутны. / Где вы... / цветы, последние?.. // Сухие, / потемневшие головки... / — толь-

---

* пауза, чуть длительней.

ко?! // А цвет ваш / белый, / — ваши лепестки..? /// Отпели песню, / все... / опали. ///

Девушка с цветами, / где ты? / Все в дали смотришь? // Смутны дали, / в ветре. / А вы, / у сердца... / пленницы ручные... / где же вы?.. // Спросить у ветра..? /

— Ветер, / ве-тер..! // Л ю - б и т..? ///

Ветер... / ветер... ///

Ив. Шмелев

Для чтения ясные паузы даны знаком / (отрубь, как бы, но... ч у т к о!!) Тогда с л ы ш н о.

// более длительные паузы

/// еще длительней.

31.X.1941 12 ч. 40 дня
Париж

Тебе, Олёль, — пропелось. Может быть, в ответ, на то письмо, 16.X..? — Не знаю. Так, пропелось. Не надо смутных далей. Не надо ветра. Ждать — не надо. Так — сказалось. Это не я сказал, — пропелось. Что они ответят, эти дали? Смутным. О, ми-лая... веснянка!.. Целую.

Твой всегда Ив. Шмелев

Как бы т е б е я про-чел!.. Писал — и — странно! — плакал.

И. Ш.

3 ч. дня

«Девушка с цветами» будет увеличена, чтобы — на мольберт. Чудесно! Спасибо тебе, Олёк. Спасибо — брату. Это большая радость. Но как ты похудела! Не смей!! Умоляю, принимай «cellucrine», фосфор, ешь больше, пой, (если можешь), гуляй, отдыхай, ни-каких работ, так и заяви — больна. Ты на самом деле больна. Но, ради Бога, Олёчек... детка. Ты писала — «хитрю» я, будто скудно мне живется. Смешно. Вот, сейчас я завтракал. Вот что: чудесно жареный на сковороде картофель (на постном масле, я люблю порой), — велел своей «подруге дней моих суровых»[277] — новгородской, — ну, вылитая Арина Родионовна, которая воспитала нам из Саши — А. С. Пушкина! — так вот и у меня такая же, только приходит, для порядку. А то ходила Елена (не тургеневская, но она очень модница была, трясла сережками, часто подтягивая сквозные чулочки, и любила — «покажите на карте военной, где фронт французский». — Я эту манеру не люблю, меня это стало тревожить, и я заменил Ариной Родионовной, давно, с год). Так вот — картофель (пищит на сковородке!) — как бы мы поели дружно, будь ты тут! Стоя бы в кухне, ели. Прямо

бы с «шипелки» (сковородки), я бы тебе поджаренных в ротик, а ты мне, и глаза бы, пожалуй, выкололи, или — в губку. Затем — пара битков с гарниром, рюмка зубровки (это по случаю холодной погоды и моего состояния, «несущего»), бретонская галета на масле, с вареньем — мирабель, кофе с медом. Плохо? Потому и пишу пло-хо. Ах, Олёк... будь ты со мной сейчас, как бы мы... я тебя обнял бы, до пи-ска... сыграли бы с тобой в четыре руки «Крейцерову сона-ту-у...» — лопнули бы все струны на рояле! Поняла?.. Глу-пая, ты ни-чего, конечно, не поняла. Бог даст, поймешь, если не будешь смотреть в дали. Ах, какой бы я рассказ тебе рассказал, — сейчас лежал и вспомнил — как меня Оля «разыграла» на... бегах! Это вот расска-зик. Так и не напишу. (Потому и «Мери», и бега в «Путях», что заплатил за них. Пусть напишут!) Это из... «Семейного счастья»[278], — это му-дрость. И какой же эффект! Уж чего я не видал, а такого не ожидал. Это — как любящая жена у ч и т мужа, — до чего же тонко-педагогично! Как-нибудь расскажу. Надо это «в лицах», — это я умею, во мне, говорят, бо-льшой артист, пропал. Да ведь и нельзя же в одном поезде сразу и в Москву, и в Питер. А почему вспомнил? Сегодня снежок просыпал скупой сольцей — и вспомнил — шубу надо вынуть, — в ней я на бега начал в Москве. Здесь она на складе все дремала, прошлый год взял — зима была студеная. Новая почти шуба, шаль в смушку, с сединой, и шапка, как у хохлов, такая же, с проломцем. Прошлый год выйдешь — Париж дивится! Ну, — Москва! Парад. Бывало, на бега в ней — на лихаче! Пролихачивал, довольно[279]. Вот, Оля меня раз и научила... да-а!.. Но — до будущего письма, напомнишь если.

У меня тепло, электрический радиатор, не «солнце», а верней, на 2000 гектоват[i] — пришлось все же большое ателье разгородить, — на все не хватит. Комната длиной 12 шагов больших, шириной 9—10, — плясать можно. И окна огромные, надо два радиатора, да я один отдал знакомым, там больные. Скоро затопят, сейчас что-то забурлило в водяных радиаторах. Милушка, Олька, велела ты поставить печь или радиатор электрический в твоей комнате наверху? Тебе необходимо тепло-тепло, нервные детки — особенно требуют. У меня сердце кровью заливается, как подумаю о твоих муках! Я весь дрожу. Т а к... делить себя! Ужас! Ну, я стиснул зубы, я терплю. Писать не могу, конечно... не мо-гу-у... С тобой... я бы к лету кончил «Пути»! Теперь

---

[i] Так в оригинале, вероятно описка И. С. Шмелева.

моя сила — от тебя. И от тебя — «не могу». Изволь дать мне эту гнусную «Полукровку»! Не отстану. Ольга, Олька, гулька, гу-ленька... — ну, когда же?.. Я не знаю, добьюсь ли визы. Увидеть... — и — вырвать сердце! Это — на пытку..? Я не знаю. Не хотел нынче ни строчки тебе писать, а только — «Девушку с цветами», — на! Но я не в тебя, не такой жестоковыйный, несмотря на... мое детство, после отца. А ты, «ласкунчик», — вот какая же-сто-кая: я готов изорвать твою открытку от 13.X, где два слова: «почему не писали давно», «грустно» и — «не могу больше». Это — из дали-то! Это — на 2 недели-то! И почему — это — мне — «все мужчины одинаковы»? Ты столько мужчин знала?! Что это — за сравнение? Не стыдно? Из каких это «пред-по-сы-лок»? И почему это у И. А. — плакать? выплакаться? Думаешь, он меня нежней? Нет. Я тебе уж — чужой? Не знаешь ты меня. Ты — попробуй — скажи И. А. напротив... — узнаешь. Я его люблю. Но — я его и знаю. У всех свои, конечно, «пунктики». Вот, если дифирамб споешь Ивану Александровичу — шелком заиграет. Да, он умен, но — абстрактно. Я терпеть не могу их «диалектики», философов. Я люблю тело — во всем, даже — в духовном. Прочтешь, м. б., «Старый Валаам» — там, сквозь Тело — дух сквозится. Не терплю формул, схем, чертежей в разрезах, женщин — педагогических, спекулятивной философии (созерцательной). Я люблю тебя, Гульку, в белом, леснушку — в баварочке, ножку в сквозном чулочке, грудь в обрисовке-чуть — ну, дышит «про себя»... — я всю тебя люблю, моя все-мирка! Ты — одна — во Всем. Ах, Олёк, как трудно. И трудно тебе понять, что ты для меня, такая! Ну, недолго быть Танталом[280]... — цветы отходят, — ветер, вечер... Напиши о здоровье, о t°. Лежи. Ну, помаленьку отучай... меня. Реже пиши, «жури»... жди «Воли Божией». Да... М. б. можно тебе писать на маму? М. б. возьмешь ящик на почте? Если пропадают письма. От 30-го IX expres — получен? Очень важный. Книги? Я хотел бы на брата Сережу послать тебе духи. Какие — твои? Извести обо всем, — куда послать? Повез бы тебя в Opera, к цыганам, сидели бы в русском ресторане... везде! Развеселил бы я мою Ольгушку, мою Царевну! Целую. Твой весь Ив. Шмелев

Напиши адрес Сережи. Я на него пошлю для тебя — «cellucrine» — и еще какие лекарства и духи — какие?

70

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботниной

3.XI.41

Вот, Олёль, сперва, упрощенная ткань романа «Пути Небесные»[281]. Самая сжатая. Постепенно я ее буду — для тебя — растягивать и наносить на нее вырисовку.

Приезд в Уютово, под Мценском, в канун Ивана Купалы[282], 23 июня. Их встречает перезвон церквей. Вечер, идет всенощная. На Дари это производит глубокое впечатление: с Предтечей для нее связано «обетование» (см. I ч. — Воскресенский монастырь[283]). Ее поясок с молитвой, забытый, — выступает. Образ Димы... — Томление — «везти возок» — слова старца Варнавы, — что это значит? совместимо ли с этим — ее «тайна» — желание ребенка? Во — «грехе»! Но это желание в ней живет. В благовестах и в том, что сегодня канун «Предтечи», — на новоселье — чуется ей некое «знамение»: она просветлена. Вид вечером городка (из окна поезда) — мягко отражен в ее душе. Встреча на вокзале, — сюрприз — группа путейцев, шампанское, она — в белом, чудесная, радостная... груда земляники... Почему — встреча? Любовь сослуживцев к Виктору Алексеевичу (1), слухи о Дари и «романе» — в преувеличенном виде дошли до Мценска (2). Приказ по линии директора Управления дороги — показать товарищеское сочувствие собрату, «обойденному» — дружно собраться всем «линейным» инженерам (3), «тайна» — разбогатевший от сибирского наследства (!) с необычайной красавицей (маскарад в Дворянском собрании вызвал фантастические толки), почему-то «ушел в трущобу, купив именьице». Зовут — в город, — ужин в летнем саду, на берегу реки... — но Дари устала. Она — засыпана цветами. Едет одна в Уютово, (5—6 верст), ее провожают бывшие владельцы имения — студент-медик (70-ые годы!) и — его брат 18 л., даровитый художник. На него Дари произвела потрясающее впечатление, ее глаза. (Должна быть линия «романа» —) он не может уехать на «этюды», как хотел, он остается, — в баньке бывшей жить, — для этюдов «этого лица... "святой"» + ? (что — в ней — ему захватывающе — неясно). — Ну, видишь, Олёк, как трудно даже пустую ткань давать, а это даже еще и не 1-ая глава! Товарищи увозят В[иктора] А[лексеевича] праздновать «встречу» в городе, до... 3-х ночи! Уютово. Дорога во ржи. Закат. «Уютово». Общий вид. В усадьбе, в людской, «именины» «Аграфены-няни», воспитавшей молодых людей. Встреча ее

с Дари. (Она — бывшая крепостная Варвары Петровны Тургеневой: Спасское-Лутовиново[284] — совсем недалеко.) Это очень нужный мне тип русской цельной души крестьянской женщины, (огромная ее роль в романе!). Она очень независима. Ей Дари пришлась по сердцу. Она останется в усадьбе. (В романе будет мимолетная встреча Дари с И. С. Тургеневым — на вокзале, в один из его последних приездов. Его оценка Дари (по рассказам Аграфены). Дари — ее первая ночь в усадьбе. Она — наверху — спальня ее. Трюмо. Окно на пруд. Звезды. Соловьи. Она причесывается на ночь перед трюмо. Трюмо отлогое — отражение в нем звезд, самой Дари... Дари — в звездах, в трюмо!

Впервые — ее любование собой, ее торс (в светелке жарко), ее грудь (черные соски), — в звездах... — в ней пробуждается нечто вакхическое... — первое «видение»... Димы (1-ая галлюцинация)... и впервые, здесь, ее «успокоенность» — после январской бури — подвергается испытанию. Она — в кресле вольтеровском, у окна. Засыпает (полу-сон) в пении соловьев (последних!). Ее сон — спутанный, (и Дима!) из обрывков дня. И — танцы у воды обнаженных женщин... — тело владеет духом, покрывает... сладкая истома, возникновение «греховного». Пробуждение. Ночь. Звезды... И — твое, Олёк! — открытие, очень глубокое — «звезды глубоко тонут и в прудочке!». В этом — для Дари — святая связанность Неба с земным. Звон колокольцев. Компания провожает В. А. до «Уютова», пение. Фейерверк на пруду — в честь новоприбывших владельцев (полупьяные). Вроде серенады. Баритон — инженер, кн. [фамилия нрзб.], — видевший Дари в московском маскараде — поет. Дари показывается в окне... — видением. Общий восторг. О «кончине» Димы Дари не знает. (Ей это скажет В. А. несколько дней после). Утро. Дари впервые идет (она уже не засыпала) к ранней [обедне] — в Мценск. Дорога росистыми полями, березовой рощей, — мягкий пейзаж русского июня — травы, лошадь, коляска, дымящаяся река, — встреча с «дурочкой» при въезде в город. Радостный свет в душе Дари. Она — нашла успокоение — «уют»... Слова дурочки о «грозе» (ясное небо!), которая вот накатит, — не смущают. Мечта о ребенке проснулась ярко — (причащение детей-младенцев!) — с этой мечтой она возвращается в усадьбу... (Это — 1-ая глава).

Оля, это все очень скупо, без красок... и я вижу, что так передавать тебе нельзя. Я дальше дам лишь самое краткое течение «событий». Здесь я не мог и намека дать на «внутреннее»... на «душу» — а это самое важное в «Путях».

9 ч. 15 мин. вечера

Завтра «Казанская»[285], был у всенощной, — пересилил себя, помня твою нерадостность, что не был на Иоанна Богослова, про «ножки устали»[286] вспомнил... — и получил от церкви благое. Я молился, — давно так не молился, — о моей светлой девочке[287], — ты ее знаешь, — я просил ей здоровья, с в е т а, с и л ы, — с ч а с т ь я. Я услыхал любимое место — от Луки, I, 26 — 38 и возглас — «Богородицу и Матерь Света...»[288] — унес меня к далекому — «Свете тихий», к тебе, Ольгуля, в лето, в тихий свет... «Казанская» — мой приходской праздник[289], — многое вспомнилось... — Темная икона, родовая «Казанская», в матушкиной спальной... — Почему? Горестно вспомнилась. Это как раз на твое: «почему ты мало говоришь мне о своем... о матери[290]..?» Что же смущать мою светлую, видевшую так мало света! Ну, слушай. Это всегда мне больно вспоминать. Ну, шепну тебе, ты меня больше пожалеешь (как народ понимает), хоть в сердце приласкаешь. Нет, нет, только не жалости! Я не выпрашиваю, не жалости, а — ласки, любви. Народное слово «жалеет» неопределимо: это выше, глубже «ласки» — это — сердцем к сердцу.

После кончины отца — я писал тебе — матушка была в очень трудном [положении]. Я поступил в гимназию[291]. Задерганный дома, я н и ч е г о не понимал по русской грамматике! Учитель был больной[292] (рак печени, кажется) — чуть ошибся — 2, или 1. Мать, часто за пустяки меня наказывала розгами (призывалась новая кухарка, здоровущая баба, — и [даже] очень добрая!) Она держала жертву, а мать секла... до — часто — моего бесчувствия. Гимназия, постоянные двойки по русскому «разбору» (это продолжалось 2—3 мес., перевод в другую гимназию — и — пятерки!). После наказания пол был усеян мелкими кусками сухих березовых веток. А я молился криком черному образу «Казанской» — спаси! помоги!! Мое в с е тело было покрыто рубцами, и меня... силой заставляли ходить в баню! Понимаешь? Когда меня втаскивали в комнату матери — и шли где-то приготовления к «пытке» (искали розог) я дрожа, маленький, — (я был очень худой, и нервный) я, с кулачками у груди, молил черную икону... Она была недвижна, за негасимой лампадой. И — начиналось. Иногда 3 раза в неделю. В другой гимназии[293] мне не давался латинский (в 6-м кл. я был влюблен в «Метаморфозы» Овидия, был — лучший). Меня теперь секли за латинские двойки. Потом — за всякие. Потом... — дошло до призыва дворника: я уже мог бороться (это продолжалось до...

4 кл., когда мне было 12 л.). Помню, я схватил хлебный нож. Тогда — кончилось. Все это было толчком к будущему «неверию» (глупо-студенческое). Я отстаивал себя с ранних лет. Помню, в 5-м кл. я занимался физическими опытами в своей комнате, гальванопластикой, выводил цыплят аппаратом своей конструкции, выращивал в комнате «огурцы Рытова», «японскую рожь», — у меня был всегда хаос. И в то же время ночами глотал все, что было из книг, все, романы, (Загоскин[294] особенно). Я прочитывал до десятка книг в неделю! да еще бегал в Румянцевскую публичную библиотеку[295]. Учился у сестры Мани[296] на рояле, пел (!). У меня, — все говорили — исключительный был голос, огромный объем легких (доктора и теперь удивляются, легкие закрывали почки далеко внизу), и диафрагма поставлена — «на [1 сл. нрзб.] исключительного диапазона» (я и теперь читаю публично сочно, сильно — хоть 3 часа!). Словом, до встречи с Олей, — у меня все минутки дня и часы ночи пожалуй были заняты. Я весь — и всем — кипел. Как я себя перед тобой расхваливаю! а?! — Я пишу только правду. — Нет, я зла не помнил. Мать я... сожалел. А после — и любил. Она никого не ласкала, такой нрав. Отец... — он был другой, он никогда меня не тронул. Уезжая в Европу, я нежно простился. Она писала мне с большой любовью. Да, она уже гордилась мной. Она уже меня смущалась. Молилась. Кажется, я стал для нее «самым любимым». Бедная старушка. Сухонькая стала. Умерла на 89-м или 88-м [году] — а м. б. и на 91-м, кажется в 36 г. — или 35-м году — все спуталось у меня. — Вот почему я мало — о ней. И еще помню — Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения — больше передергиваний. После говенья матушка всегда — раздражена, — усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой — и мать дала пощечину. Я — другой — опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) — наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, — и плакал. (Горкина уже не было.) Вот так-вот я выучивался переживать страдания... маленькие... но я переносил их так, будто так все страдают. Я развивал в себе «воображение страдания». — Так зачинался будущий страдающий русский писатель. Значит, у меня была уже готова м я г к а я душевная ткань. Ее создали — отец, Горкин, другие... девочки в пансионе[297]... очень меня любившие, — я им так много выдумывал чуднОго. Я влюбился впервые 8 лет — в Шурочку Бочарову — молил ее брата дать мне ее портретик. Я очень хотел ласки. Босой, в

ночной рубашке я выбегал в сени, на мороз — чтобы умереть. О «поле» я познал очень рано (ну, понятно: большой двор, — в с е!). Но я остался сравнительно чистым. (Я был девственно-чист для Оли.) Гимназистки меня дразнили — «глазастый»! 12 лет я был влюблен — «до безумия». Плакал от любви — все в ту же Сашу. Потом — в деревне — в Таню. Отзвуком этого — совсем нежданно — явились «Росстани», ее деревня, под Звенигородом[298] (местность, дана любовно). О ней — чуть в «Истории любовной», как собирали землянику на «вырубке» (вишни — в кувшин!). Ну, вот, голубка, мои боли и радости. В молодости я был на волоске от смерти раз 4—5. Раз тонул — откачали (в деревне, где Таня). 2-ой раз тонули вместе с Сережечкой в Сочи[299], — уже почти без чувств нас выкинуло 9-м валом (мы схватили друг-друга — и потому тонули). Ну, что об этом? ... Да, смерть отца была так мне остро-страшно-болезненна, — мне тяжело писать, вот почему я никак не могу приступить, чтобы дать последние 3—4 очерка «Лета Господня» II ч. У меня для нее уже очерков 15 ждут (были напечатаны в газетах). Ну, будут печататься в России, как новое. Такого материала, в книги не включенного, у меня — до 60 печатных листов — целый капитал. Кто его использует? Книги, «как приложения» — например к будущей «Ниве» или другому — дадут тоже очень большой капитал, причем авторские права останутся за автором, и «приложения» еще более способствует ходу отдельных изданий. Я хотел бы, чтобы это было в с е — твое, Оля. Ты исполнила бы мою волю. Оля, — вот икона Богоматери... я смотрю на нее — и говорю Ей: «да, Оля, моя любовь, мой свет, — и с т и н н а я, огромнейшее сердце, необычайное дарование, она в с е может, она — готовая для художественного творчества, — в с л о в е. Благослови ее, Пречистая! Она — д о с т о й н а я».

Девочка моя, хочу тебя... любить, ласкать, чувствовать — вот тут, близко, всегда... Олюля моя, ну — будто мы всегда знали друг друга, вместе выросли, годы — годы... — ну, будто ты д о л ж н а была мне явиться, — иначе и быть не могло! Знаешь, мне тебя совсем не стыдно, о чем бы я ни говорил тебе — все слова с тобой возможны... чистые слова, любви и ласки. И все — движения, все, все... — они — ласка, — и всегда, в о в с е м — чистая, так я смотрю на тебя, будто ты — я. Во многом я устыдился бы перед сестрой Катей (самой близкой из 3-х)[300], а перед тобой — ну, будто давно-давно ты стала м о е й, так внутренно моей, до самой-самой телесной близости — ну, ты —

во мне, и я — в тебе. И — нераздельно. Вот, мысленно, — обнял тебя — и держу... и всю целую — и — весь забылся. Оля, как все будет — не знаю. Я молился. Иногда, мгновенье... мысль... — ты будешь здесь, такая уверенная, вдруг, ты будешь... ты уже едешь... — даже задохнешься!

Ответь же, можно на Сережу писать? Послать? Какие твои любимые духи? Не ландыш? Нет... не грэпэпль? — Блоссона (его Оля всегда покупала), одни из самых тонких и дорогих. Любила Ландыш, но он томит. Я любил, когда она тихо подойдет, а я пишу, ни-чего не слышу, хоть пожар, — не вижу, — и... на голову мне — накапает грэпэплем... я не слышу, потом — запах бросает меня куда-то... и я прихожу в себя. Чтобы заставить меня идти спать (я уже измучен) — говорит: «ну и я не буду спать, буду сидеть тихо». Мне жаль ее — и я иду. Оля, девочка... неужели н и когда не повторится — с тобой, необычайной? И следа не будет? — обе м. б. ярчайшие линии — исчезнут..? Целую, всю. Твой Ив. Шмелев. Жду и жду.

[На полях:] Оля, это у тебя, у шейки, цветы — бегония или орхидеи?

Когда ты прислала стило — моя машинка вдруг сломалась! (Обиделась?) Надо починить.

Я не смею тебе всего о себе — текущее — писать: тебя это задевает, расстраивает.

Повторю твое: «неужели ты, Оля, не чувствуешь, к т о ты для меня?!» Я — твой, весь, — и только.

Ты на большом портрете так ясна — чудесна... вот именно — такая (давняя моя).

Ты хоть немного признаешь за мной чутья к прекрасному? Ты — можно ли быть прекрасней?!!! Не в красоте.

Пишу о справках — в Гаагу, в Берлин. Но мы можем не встретится и при разрешении на поездку в Голландию.

71

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.XI.41
10 ч. утра

Оля, во-имя твое, пробую писать II ч. «Путей Небесных». Послал тебе план 1-ой главы. Но как же трудно, без тебя!

Умоляю, — напиши, — хотя бы, — здорова ли?

Я в мучительной неизвестности, 13 дней.

Все валится из рук. Несмотря на горечь письма последнего, я в восторге, как ты умна, как сильна в мысли, и слове! Это уж говорю я, другой, — твой «читатель». Спасибо, умница, гордость моя, радость моя! — моя преемница!!

Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Поставлена ли печка в комнате? Лечишься ли?

22.X — «Казанская», Божья Матерь — был у всенощной. Молился.

Читаю о «галлюцинациях» для романа. Читаю А. С. Хомякова[301] о православии, для «Путей», — чудесно!

72

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.XI.41 г.

Милый мой, дорогой мой, Гений мой!

Вчера вечером получила твое от 28-го... С «объяснениями». Спасибо тебе за все! Как я тебя вдруг увидела! Сердце твое чудесное!

Ивочка, родной мой, как мне больно, как я сегодня всю ночь за тебя страдала! И вот хочу тебе сказать, сказать из сердца, твоему сердцу! Поверь мне и руководись этим!

Не станем мучить один другого! С тех пор, как ты мне «открылся», — и до сих пор — сплошная мука... Какие-то нагромождения, объяснения, пикирования, упадки и взлеты... У обоих. Я много было начала тебе писать в ответ на твои письма от 29, 31 (я их обозначила ошибочно «28 и 30») и 28-го, но... не надо этого! Письма идут медленно, — благодаря этому не угадывают момента и не помогают, а нагромождают. Хоть на время, — уйдем от муки! Дадим тепло и ласку. Отойдем хоть к периоду июльскому*, к радости!

Ты понимаешь, мы, сейчас все равно ничего изменить не можем. Приходится считаться с условиями жизни. И это время, — не будем убивать себя...

Когда ты страдаешь, что «время уходит» и мы не вместе,.. то... как ты мне-то больно делаешь! Возьми себе в сердце, что я скажу сейчас:

Когда ты говоришь так, — я виню себя! Виню в том, что, не имея силы сразу сказать «б» — сказала тебе чистым сердцем — «а». Когда я просто, без всякой тени на «игру»,

---

* только как пример, а не отхождение «назад».

тебе ответила тем же, твоим же, — я не думала ни о чем. Я слушала только свое сердце! Мне следовало (?) бы рассудком проверить, что из этого выйдет? Я в этом виновата? Я казнюсь этим. И только потому, что *ты*, мой неоцененный, от этого страдаешь! Я, кажется, тебе и тогда писала, что свой обычный рассудок потеряла. Так это и было!

Я не «учла» тогда, что не смогу так легко и сразу покончить со сложной жизнью, что ты так отнесешься. Я просто, совсем не учла. М. б. потому, что я слишком мало душой в этой жизни. Я о ней забыла, просто. Но она есть. И очень сложно есть.

Иван, поверь мне, что ни игры, ни «для пряности», ни для «развлечения»! Пойми это навсегда!

И я «не ухожу», не «отмахиваюсь», — абсурд все это. Вся моя вина в том, что я открылась тебе, открылась, не зная что же дальше? Простишь ли это? Обвинишь ли? Но я, я и за муки благодарю Создателя. И все, что я тебе говорила и раньше — так и есть! Да, все — необычайно! Я много тебе хотела писать о моих думах, планах. Но пока... самое акute[i], физическое, так сказать: мне нужен покой. Я издергалась. Любя меня, ты это поймешь — верю. Хоть на какое-то время, я отодвину «разбор» этих проблем. Надо спокойно крепко молиться. Я свято берегу тебя в сердце. Береги и ты меня! Какое-то испытание это. Но я уверена, что «откроется». И вот, после этого письма, я буду тебе писать — покойно, без «проблем», а просто от сердца, как друг. Бережливо. Мне нужен ясный взор, ясность мысли. А так, как сейчас... толкусь я на одном месте.

Теперь, еще: — санаторий — только вред. Я *не* «ломаюсь»! Положись на меня, на знание мое самой себя! От мужа мне опасности — *никакой*. Поверь!!

«Драмы» особой не было. Не стану ничего описывать, не потому, что не хочу, а просто потому, что существенного ничего не было, а в письмах все выглядит иначе и придает «вес». О жизни моей м. б. как-нибудь напишу. Сейчас у меня каждый нерв болит. Не хочется ничего касаться. Я все тебе доверю! И за твою доверчивость тебе спасибо!

Письмо твое от 10-го — мне ни «не прощать», ни «прощать»: — это вне таких понятий. И я все, и... наперед тебе прощаю! Все гораздо серьезней я беру. Меня пугают твои «помрачения». Но об этом тоже не хочу! Одно тебе скажу: в таких «помрачениях» — ты тоже себя теряешь. Не отвечаешь за себя как бы!? Мне это страшно. Я девочкой 19—

---

[i] Острый, здесь: самое необходимое (*лат.*).

22 лет много пережила. И еще: никогда не поддавайся чувству, состоянию... с бритвой! Что ты мне сказал?

Я этого не переношу. Физически не могу. Не то, что сказал, а таких состояний. «Не переношу» — не в смысле «не нравится», а именно буквально! После той истории в 1924—26 годах. Помни — такие «провалы» сознания, «утрата на миг воли» — меня могут уничтожить! Я это говорю совсем серьезно. Вполне отвечаю за то, что говорю. Это — самое для меня ужасное. Я убегу от этого. Я не утверждаю, что у тебя *такие* «провалы»... Но меня толкнула на это «бритва». Ну, и довольно. Я ничего, ничего больше такого не могу. Я принимаю селюкрин, мне стало будто лучше. Но позавчера твои «страхи» за меня, твои письма... отбросили все назад. Я тебя не упрекаю. Ты и не мог м. б. иначе. Но давай договоримся! Ведь нет же оснований для мук! Ну, все равно, хоть на короткий срок — давай возьмем себе покой... Я не могу больше! И ты — еще больше! Я освоюсь за это время, м. б. окрепну. Продумаю... и тогда можно что-то у в и д е т ь.

С такими нервами — я ни на что не гожусь. Ты понимаешь? Я верю, что, любя, ты понял?! Ты понимаешь, при всем желании сейчас ничего нельзя форсировать. Я была в Гааге, узнала, что визы женщинам не дают. Одна невеста просит пустить ее во Францию к жениху — есть документы о предстоящем браке. Не дают. Другая собирается давно к родителям в Париж — то же самое.

И потому, — технически — невозможно, так чего же мы себя подогреваем?.. А жизнь так коротка — и так скупа, — зачем же портить то, что еще дается?!

Я не могу так. Не хочу никаких «разборов», мук, упреков! Я знаю: все как-то само (это не пассивность, хоть и звучит так) устроится.

Не за что Богу тебя «карать». Ты — чистый сердцем! Как я люблю все, все Твое!

Чудесный ты в искании своем. Чудесная была и твоя «Оля» (прости, что так ее я называю). М и л ы й! И верь, что ничего дурного не будет! Не знаю, не вижу, не касаюсь пока, что и как будет! Но знаю, что сердце мое дает тебе все то, чего ты жаждешь. М. б. я гадкая тем, что не взвесила сил своих в борьбе с жизнью, не смела говорить тебе о своем сердце?! Карай меня за это. Я не смела давать тебе муку. Но, поверь, что это невольно, без игры, *от сердца*! Не мучай себя воображениями. Моими «муками» и т.п. Я, в своей теперешней жизни — живу сама по себе. Не мучь

себя. О жизни моей прежней ничего не думай. Для тебя там мук не было!

Напишу тебе «Полукровку», только, чтобы не томил себя. И не письмо само по себе, но эти «помрачения» — меня тревожат. Берегись их, друг мой!

«Мне не нужно женщины, мне нужна лишь тема,
Чтобы в сердце вспыхнувшем, прозвучал напев...
Я могу из падали создавать поэмы,
Я люблю из горничных делать королев...
Так, в вечернем дансинге, как-то ночью мая,
Где тела сплетенные колыхал джаз-банд,
Я, так нежно выдумал Вас, моя Красавица,
Вас, моя Волшебница Недалеких стран...
Как поет в хрусталях электричество,
Я влюблен в Вашу тонкую бровь; —
Вы танцуете, Ваше Величество,
Королева-Любовь!..
Так, в вечернем дансинге, как-то ночью мая,
Где тела сплетенные, колыхал джаз-банд,
Я так глуупо выдумал Вас, моя проостаая,
Вас, моя волшебница, недалеких стран!..
И души Вашей нищей убожество
Было так тяжело разгадать,
Вы уходите, Ваше... ничтожество...
Полукровка... Ошибка... опять![i]

Но не надо, прошу, — ничего больше... я так устала! Не беспокойся о здоровье — все только переутомление нервов. Я — вся здорова иначе!

Благословляю тебя, мой родной, лучик мой, солнышко! Молюсь за тебя и за себя! Твоя Оля

[На полях:] За всеми «страданиями» нашими я ровно ничего не писала о всем твоем чудесном. Не думай, что я оглохла к этому. Нет, я в восхищении от всего, что ты мне о своем пишешь! Пиши же «Пути»! Ну, любя меня! Пиши, я духом всегда с тобой! Попробуй — начни!

Еще одна просьба для моего покоя: не касайся тем о бабушкиной драме. Это мне — деревянная пила!

Никогда бы я к ним за защитой не обратилась[302]. Пойми!

Жду твоих спокойных, мирных писем! Не страдай больше! Не мучь себя мной. Я здорова, когда спокоен ты!

---

[i] В стихотворении сохранена интонационная разрядка и пунктуация О. А. Бредиус-Субботиной.

Пришли мне автограф для «Истории любовной» и «Света Разума». Пиши же «Пути»! Сон мой с голубками, конечно — твой!

Ты пишешь: «приехать... на пытку?»... Я ничего не требую. Все, все, как хочешь ты! Пойми меня! Одно мое желание: как можно меньше боли тебе, — как можно больше счастья!

М. б. я тебе еще смогу послать снимок, дам уменьшить — «глаза» — хороши! Художественно. Марина не шлет! Пробери ее!

73

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.XI.41

Господи, до чего же я страдаю... за тебя, конечно!

Ты все еще не получил моих писем?! Я же уже и до твоих «объяснений» писала, я сама измучилась! Послала 3 expres'a, кажется 30-го? И еще письмо и открытку, и еще письмо.

8-го я тебе писала, что «не надо друг друга мучить». Просила отодвинуть «проблемы», — теперь я уже себя кляну за эту «диктовку писем». Но ты поймешь? Поймешь, что это я от страданий за тебя, родной мой? Иван-Царевич мой, поверь мне, сердцем поверь, раз и навсегда, что я не хочу «утратиться» для тебя, не могу, не могу я «отмахиваться» и все т.п. Вся боль моя как раз вот в том, что знаю, как ты воспринимаешь мое «по-неволе», «под спудом», как ты страдаешь... *знаю* это, болею этим,.. а... что я могу сделать? Я бьюсь головой об стенку, в тупике моем... Пойми же! Что же ты думаешь, что *мне*-то не больно? Что мне радость что ли оставаться вдали тебя? И трудно объяснить все!

Я не «сует неврозных, не драм» боюсь, от А. не грозит мне ничего, но... я уже писала... с ним трудно это! И, все же, я тебе писала, что «может все решиться очень просто». Конечно, может. Это не объяснить в писаньи. И я устала, не могу об этом больше. Я все тебе скажу. Нет, я греха не вижу. Не так ты понял. Не надо об этом больше! Я ведь тебе писала о разных моих «страхах», о твоей «всепринадлежности» и т.д. — о, не прими и это как «отмахиванье». Я всего боюсь. Я, до безумия, боюсь твоей боли! Пойми же! И только о Твоей боли думая, я опять «пожалела» и о письме, и об «открывании» себя тебе. О, нет, не пожалела,

конечно нет! Для себя *не* пожалела... Но для тебя! Я для тебя должна была молчать?? Скажи же, светлый мой?! Как я страшусь твоих «молитв» мне! Иван, какая ответственность на мне! Я — не святая! Друг мой, ангел светлый, — я — не Святая! И вдруг все рухнет, когда меня увидишь!? Иван, ты пишешь, — м. б. ты визу не получишь? Неужели? Это правда? Я еще чуточку надеюсь...

В детстве... я в Рыбинске гулять ходила с няней, глазели по окошкам. Куклу я увидела... чудную. Мечту мою... это был bébéi в натуральную величину, и все, все натурально, до бутылочки-сосочка. И личико глупенькое, некрасивое — ребячье. Ну все, все. Я каждый день простаивала перед магазином. И к Рождеству, робко попросила маму... подарить мне бэбэшку. Только эту! Заграничная была эта кукла. Не было такой второй. Подходили Святки[303]... И однажды я вдруг взгрустнула, что... не будет уж «сюрприза» (у нас всегда сюрпризом дарили), что уже... знаю. Немножко жалко стало... В сочельник, уже в кроватке заснуть хотела... входит мама. «Олюнчик, а куклы-то ведь нет, продали ее уж, — я тебе другую купила и вот говорю, чтобы завтра не плакала ты, моя дочурка». Я плакала тИхонько в уголок подушки. И... засыпала... И вдруг... (я не забуду), уже из погруженья в сон, вдруг ясно, откуда-то из сердца: «кукла будет! Мама нарочно, чтобы... сюрприз был». И, сладко веря, я засыпаю в счастье... Была ли кукла? Да, конечно! Сердце сказало правду!

И вот я и теперь как будто верю, что ты приедешь!

«Как будто» — оттого, что жизнь так часто била, нет сил поверить как тогда... в «куклу»!

Послушай, тебе ведь надо с Сережей что-то сговориться по литературным делам. Как будто бы с нотариусом что-то обсудить надо. А для нотариальных дел дают визы. Это я узнала! Сережа не может к тебе поехать, т.к. он работает очень ответственно, отлучиться не может. Фактически он в фирме все везет. Это же поймут.

Сережа в Arnhem'e. Pension Master, Apeldoorushe weg 5. Я могу жить в Arnhem'e! Я же писала.

Ну, с Богом! И успокойся! Не мечись! Не надо! Побережем друг друга! Мы многое выясним лично. Писать я просто боюсь... Я разучилась писать. Все — тебе боль,.. а я хочу только радости тебе! Меня пугает такая Высокая любовь твоя!.. Я боюсь свидания. Я — не идеал. И ты это увидишь! Я — ведьма! Правда! Злюка, капризница, «под на-

i Младенец, здесь: кукла-пупс (*фр.*).

строение» наговорю чего угодно, если разозлюсь! С тобой так не было ни разу! С тобой я осторожна. Но я могу быть и противной, гадкой, злючкой! Однажды, я сердилась на кавказца; когда он вышел из лаборатории, то я... (так скопилось во мне) стала плеваться! Стыдно? Я и сейчас краснею. Я была с помощницей моей. Я в дверь, ему во след, он не видел, плевалась. А та, долго еще все вспоминала о «темпераменте» своей «принцессы». Мне стыдно... Я могла бы даже его ударить.

Я однажды (правда, однажды) ударила одного по щеке, еще девчонкой. Есть фотография за 5 мин. до этого. И «он» сияет. За пошлость о «женщинах». Их было 7 — мальчишек, а нас — барышень — двое. Я предупредила: «если еще хоть один анекдот выползет, Толя, то я Вас ударю». С хохотом он рассказал пошлейшее из пошлейшего... Это не сравнение с «котлетами»[i]!!! А кончилось... дико! Я тотчас же просила прощения. Я не могла иначе! Мне было очень скверно. Вот видишь, как... иногда кипит во мне! Какая же — святая?! Там много было эпизодов... ты бы чудесно написал! Молодо было! Юно! Этот Толя влюблен был... он потом по-глупому пари (даже и не пари) огромной жердью треснул по голове вола, с полным возом снопов. Все свалилось в канаву. А на верху сидели детки! Все обошлось благополучно. Зачем? Спроси его! Впрочем... не спросить... умер он... И сбросить с мостика меня хотел. Зачем? Зачем? И все это крутилось в... любовной атмосфере.

Ах, к чему я так отступила?!

Милый, чудесный, ласковый, дорогой мой! Слов нет у меня, нет выражений!.. Книги твои еще сегодня! Как ты задарил меня! И кааак я счастлива! Ты, все ты, такой родной, знакомый! Я так узнаю тебя во всем твоем! Как трогательно ты: Оле Субб... Это было 9.X... в муках? Милушечка мой! Родименький ты мой!.. Нет сил ответить на твои письма! Сегодня от 1-го, 2-го, 3-го и открытка. Я плачу. Я склоняю колени. Отца твоего люблю я! «Молодчик» был. Так и вижу! Душистый! Свежий! И... мамочке твоей целую невидимую руку! Сколько было и ей скорби!

Как все мне дорого, что ты расскажешь! Конечно, плачу вместе с мальчиком, наказанным. Как его ласкаю! Роднушечку моего!

Как больно о «Путях Небесных» ты... Почему их «м. б. не будет»? Я не могу так! Не мучай! Я бы не смогла ни

---

[i] Это предложение дописано О. А. Бредиус-Субботиной поверх текста другими чернилами.

строчки там написать. Чуткий Ванечка, пойми, что я бы з а с т ы л а у твоего «ребенка»! Пиши их, умоляю! Я — духом я, — с тобой! Я часто тебе писать буду! Господь пытает м. б. тебя. Пока... пока не ясно, — пиши! То, что я из сердца тебе однажды отдала — т.е. — все сердце само — я не возьму обратно.

Что будет, как будет — не знаю. Не вижу!

— Но знаю, что никакое расстояние взять не в силах тебя из сердца! Я сейчас — в смятении, от наших «нагро-мождений» я устала... отдохнуть бы! Я отдохну, коли пока «проблемы» отодвину. Это — мне сейчас — насущно. Не мучь себя! Не мучь. Ваня, я страдаю **твоей** болью! Пойми же! П о ж а л е й хоть! Иди к доктору! Отчего боли?? Я боюсь за тебя! Береги язву! Если я тебе нужна в болезни, если болезнь признают немецкие доктора, то я постараюсь достать визу и приеду, ухаживать за тобой*! Я умоляю тебя беречься! М. б. тебе легче было бы твоему другу-доктору открыться? Он понял бы твои «нервы»? И ты был бы не один. Он же не болтун? Вчера мы были у Сережи. Я у него забыла стило мое. Трудно писать так. Чудный был день. И я влюбилась в Arnhem. Братец мой — хороший. Мужчина! И какой мягкий. И. А. звал его «мой Сережик». Об И. А. — ты очень верно. Он любит «придите, поклонимся и припадем»[304], как сказал один знакомый. Но я все ему прощаю. К нему «плакать» собиралась, не от «неимения тебя», а потому, что он объективен в суждении обо мне. Ты же, (как и я к тебе) эту объективность — утратил. Это же естественно. Наталья Николаевна тебе нравится? Я не могу ее понять. Как женщина она суха, по-моему. Всегда была такая? Рядом с ним?! Ах, какое тютчевское чудесное о сне[305]... Дивно! Напиши... и... и же о Денисовой! Ну, милый мой, спи спокойно! Господь да сохранит тебя.

Целую тебя в лобик. Крещу и еще... много... много целую...

Оля

[На полях:] В твоей воле — я не сомневалась. И потому не соглашалась с твоим «безволием»... Понял?

Я недостойна тебя. Ты так велик, — ВЕЛИК! Трепещу перед «Путями». Дивно!!!!

---

* Хоть это и было бы м. б. почти что невозможно из-за «дома».

74

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.X.—4.XI.41
7 ч. вечера
6.XI — 4 ч. дня

Милый Олёчек, — здорова ли ты? Я не спал ночь, пишу с тяжелой головой, несвязно. Перечитал «Даму с собачкой». Не знаю, вырос ли я, — в 38 г., помню, в Швейцарии читал последний раз: да, Чехов, но... до чего неважные «герои»! Влеченье — не обосновано. Гуров дан полупустым — и Анна Сергеевна — как бледна содержанием! Не срастаются с читателем. Совершенно неверна психо-физически сцена «у нее». И этот «арбуз» — штрих-то удачный, да не здесь: ну, у «девицы» — ну, допустим. Обстановки Крыма, «экзотики», — а она много помогла бы! — неслышно, ибо — цикады, море, кипарисы — все из папье-маше, не срощено со страстью. Да и страсти нет. Чехов в этом хладен, inépuissance[i]! Она т у т очень нужна. Чехов в этом (страсти и любви) — не с а м, а по-наслышке. Умный читатель (ты, например) дополнит все воображением. «Лакей» — хорошо, но как м а л о: ибо е е-то не дано! Чтобы почувствовалось, — о, страдающая душа, г о л о д н а я! Словом — рассказ «наспех», и все в нем — наспех. Т а к трактовать огромную тему — слабым художественным зарядом, — недопустимо. Поднес Чехов ко рту твоему ложечку варенья, а распробовать не дал. А тут все дело — в распробовании. Эскизно. Человечек-то (Гуров) пошловатый, без «зернышка». И выходит — «забавное приключение», не жаль их, гг. домовладельцев.

А теперь — к важному. Не изволишь ли испытать себя? Я предложу тебе очень трудный «творческий акт». Выполни — и будет твое «крещение». Не трусь только, — одолеешь, тебя хватит. Я давно собирался дать один жестокий рассказ-очерк — «Восточный мотив»[306]. Не очень мне нравится заглавие. Ну, «Восточный напев». «Пляс». «Пляска», «Пляски». Нет, лучше — «Восточный напев». Не важно. Я знаю, что его н и г д е не напечатали бы, «страха ради иудейска». Нынче — можно и — н у ж н о. Размер — самый малый, странички на 3—4. Газетных строк — 200—250—300, самое большое. Видишь, как легко! Жиды тебя за него распнут. В случае печатания — поставишь псевдо-

---

[i] Бессилен (*фр.*).

ним, например, Оля С. Теперь — маленький предварительный совет позволю себе дать тебе, — как общее (для всего дальнейшего твоего искусства). Не нажимать, не подчеркивать, скрыть совсем свою душу. Самый спокойный тон. Ничего лишнего, что не идет к сути. Красивости — ни-ни! Чтобы — «слову тесно, чувству — простор» — (читательскому и твоему-укрытому), без крика. Полная искренность — будто любимому рассказываешь, интимно. Ненужных — лишних — «пейзажей» избегать, чего часто, — почти всегда! — не делает Бунин, очень часто Тургенев (ни к селу, ни к городу) — и никогда — Достоевский. Помни: «пейзаж» нужен, когда он связан с душой действующего лица, что-нибудь уяснить помогает, а не для любования и — отвлечения. Самый лучший пример «пейзажа» — гениальнейший прием! — у Чехова — в повести «В овраге»[307] — когда Липа (ах, ка-ка-я! лучшая во всех творениях его! —) несла своего ошпаренного мальчика: дорога, ночь, месяц, кукушка, выпь, соловьи, лягушки. Здесь — высота — эта VIII глава рассказа — выше которой Чехов не подымался. Это — лучшее во всей мировой художественной прозе. И — какая простота! Бунину здесь до чеховской щиколотки не подняться: ему трагическое — никогда не удается. На этом, детка моя, учись. Можешь найти и у .... — поищи в «Про одну старуху»[308]. Но я свято склоняюсь тут перед А. П. Чеховым. Есть и — в «Солнце мертвых»... — но там — крик трагизма, другое, — так надо. Тут, у Чехова, на таких контрастах построено! Радость ночи — и всего в степи, — и — прибитость каменная бедной человеческой души. Дай, Олёк, щечку, — хочу поцеловать, в радости, что в тебе все это есть, сила сердца, и художественная умность. Сестричку свою целую избранную Господом! Будь смела.

Предстоит тебе труд огромный, но какой сладостный, какой — во — Имя! Помни: всегда учись. Чехов верный (большей частью) водитель. Еще шедевры: «Архиерей», «Ночью»[309] (в поле бабы на [страстной неделе] — и студент, — Чехов выделял этот рассказ). Помни: начало всегда должно быть — смелым, простым, как бы вводом в суть. В рассказе — общая окраска — голод, смерь. И в этом страшном (фон этот все время должен чувствоваться, даже в «пейзаже», — как в музыке — музыкальный фон — тон, река, — на чем и разыгрываются лейтмотивы. Тут — самое страшное, — какой контраст будет! — «песня, танцы». Ты — умная, — все поймешь. Слушай.

Место — Симферополь. Можешь прямо сказать, можно и С. (но — Крым!). Начало весны, еще голо, но — поют жаворонки, черные дрозды. Очень ветрено. Белая пыль. Сероватые невысокие дома, каменные ограды, на них еще пыльные (прошлогодние) плети «ломоноса» (вьющееся растение). Время — начало марта 22 года. Кое-где — видно за оградами — плодовые деревья в цвету — персики (миндаль отцвел), груши — редко. Голод. На тротуарах — всюду — умирающие, истощенные... дети, женщины, старики, вся-
кие. Работы нет. Большевики уже 2-ой год. Даже трупы. Собак — н е т (съели!), ни кошек. Редко в пыльных кипарисах — прячутся голуби — полевые. Для Крыма — Симферополя характерны — пирамидальные тополя очень высокие, кипарисы — в серых язвах, ржавчине порой, пыли, растрепаны, оглоданы ветром (весеннее равноденствие). Это — обрати внимание — покачивание кипарисов и голых верхушек тополей... (дивятся?!). Носит пыль. Люди валяются, как кучи тряпья. У многих в костлявых желтых руках стиснуты грязные «деньги» советские. Тогда за 1 штучку монпансье — платили тысячу руб. (вот ц е н а!). Сухие кости, камни (!). Стоны — нутряные, от слабости предсмертной, будто под землей. (Все я сам видел.) Не пройдешь 10 шагов — труп, умирающий, иногда — грозди, в кучке, прижавшись. С тупыми лицами проходят красноармейцы (привыкли). Не глядя уже, приходят по своим делам горожане (все серо, изношено). На базаре, (— запрещено торговать!) на редких столах-мостках — на блюде груда вареного риса, облитая кизиловым соком? киселем? Редко — белый хлеб, ситный, огромная коврига. Какая-то зеленоватая колбаса (?!), каменные лепехи — чуреки? — редко творог в липовой выдолбке (где тесто ставят). Этот базар до первой тревоги... соглядатаи следят — не идут ли красноармейцы — свисток — и нет базара. А захватят — все волокут, и товар, и торгашей. Я видел: некто купил фунта два белого ситного, завернул в рядно, — крепкое деревенское полотнище — полотенце? Вдруг стая голодных двуногих кинулась (как собаки грызутся стаей, ничего не видно в пыли!) свалка, — и — в миг! буквально — меньше минуты — ни-чего! — маленькие лоскутки от рядна (зубами рвали!) — ни хлеба, понятно, полумертвый покупатель в пыли... — миг один! — и — ни-кого. И никому нет дела. И кругом — полутрупы: татары, цыгане, армяне, греки, русские... — ни одного жида. А в Симферополе их бы-ло. Жиды — служили Советам. Учреждения все были набиты ими. (Об этом, конечно, нечего писать, — разве в шепоте

кучек услышишь осторожное ворчание — «теперь о н и хозяева»). Пример: в отделе социальной безопасности — социального обеспечения — жидовки, с наганами и браунингами на лаковом поясе — бегали, зажимая уши от воя баб (с грудными и подручными детьми), кричавших: «дай-те же хлебца деткам... погибаем... молочка дитю... у меня кровью пошло-о... Что ж нам, в помойке их топить... в море кидать?» Жидовки, бегая, — в истеричном виде, — вопят: «у нас нет вам хлеба! кидайте... куда *хочете*!» — (Сам видел.) И вот — при этой обстановке (1 1/2—2 страницы — все) — угловой магазин, бывшая лучшая кондитерская Симферополя (Сердечный, фамилия) — окна огромные, выходят одно на одну большую улицу, другое — на другую (перекресток улиц Пушкина и — Жуковского) — так что если смотреть в одно окно — видишь в другое — другую улицу. Помню, я с писателем Треневым[310] шел... — музыка!! — Истекающий истомой, негой — томящий страстью... мотив. Танго?.. Очень замедленные переливы, качание томное... — чувствуется страсть, качание тел — в страсти, зовущей, ну, будто бы спаривание страстное под музыку... (вот так dance macabre[i]!) Совокупление Смерти... с Чумой?! И — видим: над входом (угловым): красная вывеска — полотнище, и на ней черным: «Студия ритмического танца — дунканизм» (!)[311] — какой-то жиденок, очевидно, намалевал. Смотрим: 4 музыканта-еврея: квартет! Кружатся пары, в туниках, голоногие, голорукие, упитанные розовые лица девушек и юношей — еврейских, только! Полные плечи, полные, розоватые предплечья, серьги в ушах, прически «a l'ange» — ангельские!! — томятся в качающем-страстном танце — и в лицах (губастые юноши!) — по-хоть! Влажные, сытые глаза, (выпуклые большей частью) влажные губы... и эти губы-рты... жу-ют! И видно, как глотательной спазмой продвигаются в горле куски... чего? — Стоят два стола: на одном — колбаса (не зеленая), сыр, яйца... На другом: груды хлеба пшеничного — глаз режет белизна! — молоко в бутылках, стаканы, сливочное масло глыбой, варенье. Два жида-юноши у входа, с... винтовками! Те пары потанцуют, прижимаясь э т и м и местами, — к столам, запихивают до растопыренных ушей все и — все напев истомный, напев Востока. Музыканты, во фраках-рвани — то-же жуют... все жует-поет телом пухлым — льнет друг к другу — прилипает — и все плывет — покачивается — в ритме — танце — в «дунка-

---

[i] Пляска смерти (*фр.*).

низме». А кругом, под окнами — издыхают. Да, я это видел. Помню, враз толкнули мы друг друга, взглянули в глаза друг-другу — и сказали враз: «видите..?» Это был — самый подлинный Пурим (см. книгу Эсфирь)[312]. Соитие на трупах (всех: русских, татарских, армянских...) Тогда вечерами громыхали грузовики — полные трупов, и на ямах мостовой — эти трупы подскакивали, вздымались плечи, головы, руки... — и падали. Тоже — и ребят — грудами, как мерзлых поросят — возили. Вот — материал. Сделай из него этюд, очерк... — все. Можешь — протокольно, краткими фразами. Можно — плавным течением рассказа, эпически. Если не найдешь в себе «ключа», ритма, тона... поищи у меня — в «Свете Разума» (книга), там есть рассказы («Музыкальное утро»[313], «Гунны»[314]... еще...) Надо выдержать ритм. Можно переломить, — одним — общий фон голода-умирания (1 часть), другим — напев... Но — просто, просто, даже сухо. Можно так: (подзаголовок) Рассказ друга... рассказ доктора, рассказ прохожего... — ну, что сама найдешь, дорогушечка моя.

Вот как ты любишь! Я тебя засыпал письмами, памятуя, что тебе тяжело. А мне?! Или — «чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей»[315]? Оля, я не хочу быть навязчивым. Это мое письмо — последнее, пока не получу твоих. Чем я тебя обидел? Что — в безумии был? И как все это мелко... — я видел (и — ви-жу!!) в тебе большое сердце... Разве все мои письма не сказали тебе всего? Моя Алушта свободна от большевиков[316]. Уеду... скоро. Ты меня удаляешь (а сам не верю, что написал!) (никуда не уеду без тебя, знаю). Ну, я спокоен (вовсе нет). Я тебя нашел, я тебе дал — (мало дал!) что мог — из отдаления. Будь здорова! (да!) Будь счастлива (со мной!), Оля. Бог да благословит тебя (и меня!)[i] Не бойся писать. Пиши, рви, правь, пиши — добьешься. Сама все поймешь. Тебе дано.

Твой Ив. Шмелев

Озноб, лягу. 9 ч. 30 вечера

[На полях:] 6.XI

Твои письма от 29.X — воскрес! Никакого озноба, здоров, — ве-рю!

Ты — ВСЕ. А что это — ВСЕ — сейчас напишу.

---

[i] В этом абзаце все фразы и слова в круглых скобках дописаны И. С. Шмелевым между строк.

Иду за твоими увеличенными фото (два). Фото, что привез «дубина» — д л я меня — в с я ты! Молюсь! Спасибо за гримасы.

Ответь: могу ли — par expres?

Я... живу... ?! — только тобой. Т о л ь к о. Ты все з а п о л о н и л а, ибо ты сама великое искусство. Даже — мое искусство!

Я вчера случайно раскрыл «Историю любовную» и — до 3 ч. ночи! Сказал себе: молодец, — Тонька!

Я прав: ты была бы Величайшей Актрисой! Ты — (еси) — есть она.

Можешь воплотить в с - е.

75

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.XI.41 1 ч. дня
13.XI — 11 ч. дня

Милая Олёль, какая ты большая стала, — «девушка с цветами». И — портрет-«гримаса» увеличил. Чудесная! Все новый образ, новая загадка. Я разгадал тебя. Узнаешь, почему — т а к а я.

Да, об «ошибке», моей. Все — правда. Моя «ошибка»: — так внезапно все сказал тебе, о нашей жизни, Церковью благословленной! если бы! Это (мне показалось из твоего ответного письма, 2.X, —) тебя смутило, и ты — о т х о д и ш ь. Вот, в чем моя «ошибка», — в отчаянии показалось, — вот почему сказал: мои «Пути Небесные» — «погублены». Ну, довольно об этом.

Твой рассказ о свадьбе, обо всем тяжелом, — я с болью принял. Скажу: достойнейшая из достойных, горжусь тобой. Но так мне горько! Ты узнаешь, почему. Письмо твое — рассказ о жизни — потрясло меня: т а к ты написала! Да, и эта сцена, с И. А., — ты и его о ч а р о в а л а, в и ж у. Всех чаруешь. Кто — ты? Знаю: этой ночью вдруг осветилось мне. Слушай, дива: ты — от Храма, от Святых недр. Моя Дари — тоже, от Церкви, но не вся. В ней — «Божья золотинка», чуяние миров иных. Дари влечет неизъяснимо, всех. Тебя — всю, до восторга. Да, ты узнала в ней сестру. Я дал тебе ее. Быть может, для тебя ее искал, писал, — и вот, Тебя нашел, ж и в у ю. Дари — сложна. Но ты — сложней: тебя века лепили. Этого тебе никто не говорил, никто не скажет. Богом дано мне было — узнать тебя. Дари — твоя предтеча. Слушай, Оля.

В каждом — две сущности, известно это: душа и страсти. Не ново это. Гениальный поэт говорит об этой «двойне» глубже и точней. Вот, Тютчев: «О, вещая душа моя[317], — О, сердце полное тревоги, — О, как ты бьешься на пороге — Как бы двойного бытия... — Так, ты жилище двух миров, — Твой день — болезненный и страстный, — Твой сон — пророчески-неясный, — Как откровение духОв... — Пускай страдальческую грудь — Волнуют страсти роковые, — Душа готова, как Мария, — К ногам Христа навек прильнуть». Красиво, четко, ярко, глубоко. Огромное — в немногом: свойство великого таланта. Я иду от того же, «двойственного», и даю свое наполнение. Отсюда — Дари, как проявление бунта в человеке, двух основ его. Кто победит? Это нерв «Путей Небесных». Они остановились, я умирал духовно, ты знаешь теперь все. И вот, на крик отчаяния — явлена мне ты. Кто — ты? Теперь я знаю. Да, Дари твоя предтеча! В тебе течет лучшая из кровей, — земно-небесная. Ты — как чудотворная Икона, «обмоленная». Даже невер Герцен, говоря об Иверской, признает силу этой «обмолённости»[318]. Ты таишь в себе, от многих поколений — «Свете тихий», «Тебе поем», «Святый Боже...»[319] — все зовы, все моления, все горения сердца твоих отшедших, миллионы очей народных, молящих все Святое... — все людские скорби, все грехи, все боли, все восторги, всю близость к Богу, все-все, поведанное надуху твоим отшедшим... все, к Богу вознесенное в молитвах твоих творцов, (все от них — в тебе!). Ты в своих очах таишь их слезы, и слезы миллионов глаз, стоны миллионов душ, слезы скорби, покаяния, благоговения, радости... в сердце твоем — свет Таинств. В слухе твоем — благовест немолчный... в ручках твоих, поющих, — неисчислимость крестных знамений, благословений... в устах твоих — святое целование Ликов, Креста, святого Праха Преподобных. В девственной чистоте твоей — неупиваемая чистота Пречистой светит, освящает все. В порывах сердца — величание сущего, всего, — святое ликование, — Небо. Вот откуда вся сложность, вся неопределимость, — все к тебе влечение! От веков, от предков, — все от Храма. В се принимает Храм: и чистоту, и грех... и взлеты духа, и души томленья. Все в тебе. Вот — тайна Божия, веков — наследство. Прирожденность. Так в тебе сказалось, тайносложно. Ты — усложненная моя Дари. Вот откуда многоцветная игра, — от лучшей, от высокой крови! от крови, осиянной Храмом, св. Тайнами, Господней Благодатью.

Религия — Искусство... — это две дочери Господни, две сестры. Старшая — Религия. Ты все охватишь, старшая. Мое — тобой живет. Пою тебе, святая девушка от Храма. Цветы мои, из лучшего во мне возросшие, хотел бы возложить на милую твою головку. Перекрести меня, родная! самая родная, в веках зачатая! Ты меня ждала? искала? Этого не знаю... может быть. Но знаю, как я ждал, искал — и в снах, и в грезах, и в томлениях, и в облаках, и на земле, в тенях, скользящих от облаков, и в солнечных закатах, и в звезде верней, и в пении звезд... — помнишь — ночь в Кремле[320]? Я плакал с моей Дари, в исканиях, в тоске, не сознавая — кого ищу... Так смутно было, так скучно, пусто... еще до тьмы. Мои метания, этот страшный год, 36-ой... — боль в сердце, самоистязание, крик, никому не слышный! И что же, Го-споди... ты, ты была тогда... живая, так близко, вся своя, свободная!.. Так трудно, так окольно... таким зажатым стоном вызванная... Ольга! Если бы подошла тогда ... 6 окт.! я знаю, — я тебя узнал бы, Оля... я чуткий, Оля... я узнал бы. Неужели мои глаза не останавливались на тебе, тогда..? Но почему мне было так тепло?.. — я смутно помню. Ты была свободна... Сколько рук ко мне тянулось там, везде... и — не было твоей! Не было дано нам встретиться. Что помешало? кто?! Свет? тьма? Не знаю. Ласточка моя, не создавай лишних «потемок» для себя, молю, родная, Оля! Я весь твой, все тобой закрыто. Мне ничего, никого, кроме тебя, не надо: Ты неверно представляешь, что кто-нибудь может нам мешать. Все будет от нас зависеть, если будем вместе. Мои «почитатели» — все далеко. Здесь меня мало беспокоят. Друзей немного. И все будут чтить тебя! Я знаю: ты сама, собой, — заставишь, — своей необычайной силой и — чарованием. Никто не посягнет на мою Олюшу! — Она — Святыня.

Земмеринг..? Это — недоразумение. Я ничего ей не писал, но у меня не было выхода: я хотел скорей послать «Чашу» — и случай представился: ехал человек к ней. Святыня моя — для нее святое. Она духовно меня чтит, поверь. Я не знаю ее слов к тебе. Напиши. Я ей тогда отвечу, и для нее это будет очень горько и — повелительно. Не можешь ты думать, что я позволил бы тебя коснуться! Я не знал. Напиши, прошу. Ее дочка не приедет: сама мать написала, — начались лекции, и визу дают с большим трудом. Для меня эта «Милочка» — дитя. Но они стеклышко, — бриллиант-Олёчек все режет! Оля, слушай, — единственная моя: будешь ли ты моей женой — не

знаю. Господь знает; но... — до последнего дня жизни моей — только ты — единственная, вечная, моя. Никто, никакая, ни-когда! Клянусь тебе... тобой, жизнью твоей клянусь! — это самое страшное заклятие! Молю тебя, думай о здоровье, о жизни. Я жду тебя. Я буду ждать тебя, сколько бы протекло дней. Без тебя — гибель. С тобой — все надежды, вся полнота бытия. Не смей думать, гони мысль черную — «лучше бы не жить!» Если не за себя, — за меня подумай: это гибель и мне: без тебя — я жить не стану. Это не слова. Мне нечем будет жить. — Да, Земмеринг я сказал, — несколько дней тому: «моя Оля (Земмеринг глубоко мистична!) дала мне свою руку и свою душу: она внушила О. А. мне написать и осветить мой путь: это исполнилось. Отныне я нашел устои, на которых мне дано стоять и продолжать свой труд. Я благодарю Господа. Иначе — мне была бы гибель. Я полным сердцем принял эту духовную мою сестру — ибо она мне сестра, моя дружка, — это дарование огромное!» В ответ на это — вот что написала З[еммеринг]: «Это, конечно, посланно Усопшим Ангелом Вам на утешение. Примите и благодарите. Прежде всего я молюсь о Вашем успокоении. То, что может дать Вам это — и мне дорого. Как бы нам вступить в переписку с О. А., — не знаю, я боюсь быть назойливой».

Оля, ты мне прости, если я сделал этим тебе хоть что-то досадное, но поверь мне: если бы я не верил глубоко в чистоту чувств ко мне Земмеринг, я не написал бы: она — глубоко религиозна, любит свою семью, и мое творчество — путь к России, к Богу, — вот за что она любит меня. Она и тебя будет любить, — я знаю. У ней, в семье, недавно была драма, она поведала мне: «Вы — рыцарь. Помните, сколько дам и девушек (в Риге, да и всюду!) просили за жизнь Димы[321], — вот обрадуете! А у нас свой Дима остался в Риге и даже многим похож на Вашего, — красив, талантлив, очень образован... и оставил пулю в паркете гостиной («не моя — так ничья!»). Милочка только чуть на это побледнела, а войдя через 10 мин. в спальню, где мы с ним сидели на опрокинутом шкафу (мы укладывались) остановилась в изумлении — он целовал меня в плечико и тихо плакал — я нашла для него слова. Я была за него, но у М[илочки] твердый характер, и она находит, что не время было об этом думать». Я написал тебе, — о, свет мой, Олька (— что ты со мной, со всем во мне сотворила, как дивно!) все это, чтобы ты поняла, что З[еммеринг] мне верит, что я для нее — совесть: ее очень ценила, не зная, моя Усопшая. Она была очень чутка в

оценке людей. И никогда Земмеринг не «послала» бы дочь ко мне в том смысле, как ты предположила. Она могла бы нам быть очень нужной. Но если бы ты сказала мне — не надо, я все сделаю, — чтобы ты была покойна. Ты для меня — все: и моя люба, и моя единственная, и моя молитва, и мой — Водитель, и — моя совесть. Ножки твои целую, молю тебя: я пошлю еще «селюкрин», принимай! Это средство — чудесное, открыто нашим проф. Кепиновым[322]. Лучший «восстановитель» всех сил, (витамина А, С и еще..? — Е, м. б.) (ищут еще этот витамин). Госпитали Парижа выписывают у биотерапии — килограммы..! Henrostyl dr. Roussel'я — слабый и имеет недостатки (действует на пищеварительный тракт), а cellucrine — дает цветение крови, в с е укрепляет. Я на себе проверил. Твое исхудание меня мучает. Детка, я всю нежность, до слез жгучих, до боли в сердце, отдаю тебе... Олька моя, сладость и боль моя... слушайся меня, лечись, верь, что мы сольем наши сердца и наши муки, и наши желания, и в с е наше... — хоть бы миг с тобой! Ольгунка, Олёль, Ольгунок, Олюнчик мой — слушайся! Все слезы твои высушу, в свои глаза волью, только бы ты была хоть чуть счастлива! Я страшусь, что окажусь недостойным твоей любви, что ты, увидя меня, подумаешь — как я ошиблась! Какой я некрасивый, рядом с тобой! Оля, молюсь о тебе, как умею (не умею!) — и знаю, что ты мне дана — Ее[323] молитвами. Она охранит тебя. Оля, целую тебя, бедняжка моя, страдалица. Господи, помоги ей узнать хоть лучик счастья! Твой Ива — Тоник.

Ив. Шмелев

[На полях:] Давно-давно Оля подарила мне колечко: черная эмаль с бриллиантом. И — сама носила. Я хочу надеть его тебе.

Завтра отвечу на все три expres.

Нашел знатока комбинаций духов — монах[324]!!!

Сейчас еду — послать тебе книги и... к Geurlain.

Дам эту страсть — духи — Дари! Монах, Афонский... — (увижу их) знатоки... духов, не духов, а...

Не сетуй, что шлю expres: н а д о.

76

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.XI.41
11 ч. 30 мин. дня

Олёль, Ольгунка, Ольгушонок, знай, что если «Пути Небесные» будут написаны, это только через тебя — и пусть

все мои читатели и — особенно — читательницы знают, что должны т е б я благодарить. И за Диму — воскрешенного, — Т е б я, Тебя, — только! История Литературы Русской — отметит э т о.

День без тебя — п р о п а щ и й.

Если бы ты видела, во что обратилась моя «литературная лаборатория»! Везде — к тебе, о тебе... — вороха лоскутков, листов... — все [затопилось] тобой. На все ты смотришь. Ищу мольбертики для увеличенных фото. Рамочки — узенькие, ободки, матово-серебряные. Ты — ч у д е с н а! Как от Жар-Птицы с в е т у меня! Целую. Твой вечно! Ив. Шмелев

[На полях:] Целую маму и Сережу. На него пошлю — что надо.

Хочешь — пошлю Тютчева? Есть?

77

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.XI.41 9 ч. вечера

Светлая Олёль, письмо твое, нежное, целую, все читаю, вижу сердце! Пришло 10-го — не ждал, не мог надеяться... — и загадал, — что же делать, за это даже ухватился, — что со мной было 8 и 9-го!! — дождь, дождь, — и я в дожде, с в о е м, — да, слезы, слезы... навещали друзья — «что с Вами?!» — так я н е м о г... взгляну на твой портретик... — и — слезы. Ни-когда не было еще такого, нервы, что ли, сдали? 9-го были мои «молодые»[325], ласковые. От них я скрыл с е б я, читал им Пушкина, вел беседу, на французском. Радость от них. А после — ужас. В этом ужасе писал тебе — и не послал. Нашел себя. Так тебя мне жалко стало, столько нежности забилось в сердце..! Молился. Письма не ждал. И — загадал, как н е в о з м о ж н о е: будет завтра от тебя (знал, что не будет!) — сбудется. Утром заказное — из Берлина, от Земмеринг. Не будет! Пришел с утренней прогулки — моя старушка, добрая душа: «вот, письмецо Вам». Пронизало дрожью, — и я увидел с в е т, Твой, — ослепило!

Ну, буду давать тебе ответ по порядку: 1) на 29.X, с «артисткой»: Чудесна! Не отдам. Н о в а я, опять. Ты знаешь с а м а: ты большая артистка. Огромная, во в с е м. И — для экрана. Ты — гениальна. Бог тебя оберег. Ты, многое и с п е п е л и в, сгорела бы. Нет, ты — для иного. И ты исполнишь. Помни, Оля... ты д о л ж н а! Как счастлив я, что

ты хочешь рисовать! Ищи себя! Ни-когда не поздно. Но ты, все же, — для другого. Ты будешь писать. Это вольет в себя все твои дарования, все! Художественное слово все может: петь, лепить, творить краски, музыку, игру, — все. Слово — выражение сердца, ума, глаза, — всех чувств. Оно, такое, с виду, простое... буковки... — оно — Слово! — «Logos» — Оно, Великое, — Плоть быть[326]! Выше Его — нет. Слово — Бог, Творец. Все вбирает и все — творит. Вот, где — ты, — в нем. Что сказал о 33-х письмах? Милка, ты не поняла! Я сказал: у меня твоих 33 письма. 33 главы — в «Путях». Там последняя — 33-я — была написана дней за 10—11, до кончины Оли. Как странно! Я сопоставил: и тут — 33. И — знаю теперь — было тебе 33 г., когда ты стала не своей! Я увидел, — для себя — здесь — конец! Вот — все. Сжечь?! Твое?! — Ты можешь взять их у меня, — отдам, тебе же — твое. Только. Душу свою испепелить?! Неужели ты могла подумать?! — 2) Толен не оказался джентльменом. Кто он, дантист? Твоя фотография — она вон стоит, в ребристой, узкой, — чтобы не «убила» лицо! — рамке, большая — 18—24 [см.]. На T.S.F.[i] — поешь ты. Как чудесна! Бог уберег. Ты была скручена в конверте — отеля, г. Т[олен] тобой завернул коробочку с пером и окрутил обверткой. Да, он «дубина». И — знаешь? Даже не соизволил написать 2 строк... а — на конверте: «NN. просила послать маленький пакет». — Подпись, без «вежливостей». Все. Я не придал значения: спрашивать с... голландца? Смешно. Я их знаю... — это же квинтэссенция всеевропейской узости, мещанства, жадности — ну, все плантаторы, клеймо такое.

А, бедная твоя приятельница! О, бедные пичуги наши! Сколько их разметало бурей! Горько. Я получил к вечеру, чуть не сгубил твоего портретика, — бросил уже в корзинку ту обертку, — в ней застрял конвертик. Что меня надоумило — взглянуть еще? Да, адрес списать. И... — я похолодел от этой выходки... «дубины». Я послал очень вежливый «pneu», просил принять меня. Приложил, — для голландца! — оплаченный «pneu», с готовым адресом. Ждал 2 дня. Поехал, повез, как благодарность, голландский экземпляр «Человека из ресторана», — «De Kellner» (издательство Moulenhoff, Amsterdam) (должно быть ахов перевод — жид переводил[327]?) Это гг. голландцы самовольно, не уведомив меня, издали. Писательница Bauer, ка-

---

[i] Радио (*от фр. télégraphie sans fil*).

жется писала письмо в газетах, стыдила. Они мне уплатили... — 500 франков! — за эту книгу! В Германии она просила тысяч в 30 — экземпляров и — идет. Отзывы какие были! Но то — Германия! Там меня никогда не обижали, дарили большим вниманием, начиная с Гергардта Гауптмана[328]. Кнут Гамсун[329] мне писал, чудесно. Читал на шведском языке. Там тоже не обижали. Нигде, даже — латыши платили. Он, кажется, на 15 языках выходил, даже на китайском и японском. А эти... — европейские жиды? Не застал г. «дубины»: послал 18-го, в субботу, знал, что по воскресениям почты нет. А в понедельник, кажется, отъехал. Взял свой «pneu», оставив адрес и записку. Дал на чай гарсону. И — не дождался: «дубина» уже был дома и — работал. Я хотел вторично, с ним, переслать тебе разрешенное фото. Я ему признателен, все же: я тобой живу. Ты — совсюду на меня глядишь. Вот, слева, розоватый свет высокой лампы мягко дает чудеску «Песню»! Как ты прелестна, как юна, легка, вся — в ветре, — улетишь?.. Как смирны — белые цветы, в плену, ручные!.. Как струятся складки, как ты легка, о, бабочка моя, цветок в полете! Как вижу... всю! как — греза, царевна яблонь, нежное цветение, ласка... — чудо! Ты знаешь, — ты — чудесная картина! Так, стать... — так датьсяя... — только истинный, большой художник — может. Ты вся — Искусство. Вся — грация. Вся — божья мысль, Творца. Хотел бы обернуться цветиком простым-ручным, плененным. Пояском твоим, Царица! Складкой платья. Листочком яблони, у щечки... чуть касаться! Оля!.. Свет, от Тебя, всего переполняет... петь Тебя, всю жизнь! О, буду, сколько силы станет... мою Дари, другую... новую... последнюю. Тобой — закончится, призвание, здесь. А там..? Оля! Благодарю. За все. За эти слезы... Я их коснулся, нежно, грустно, чутко. Краем губ коснулся. Влить в свои глаза хотел бы, слить со своими... — хоть этим быть счастливым! Нет, не надо плакать. Ты — сильная, — столько вынести..! — так может только — сила, вера. Живи, Олёль, — узнаешь счастье. Ну, пусть хоть не со мной... — все в Воле Божией, — но я всем сердцем, всем во мне светлым, — хочу, чтобы ты узнала счастье! Господи, даруй мне милость: хоть в моем труде оставить лик чудесный, образ светлый, живой — в сердцах! Две Оли: первая — завершена... вторая — и последняя — две — и на всю жизнь! — таких..? О, Господи, благодарю Тебя! — о, огромное богатство, счастье неупиваемое! Оля... — как ты чудесна! Все письмо — святой огонь твой. Как ты растешь, как раскрыва-

ешься! Слепишь собой, своим богатством сердца — и ума. Нет, у тебя ум не от «Mann»[i], — ум — больший: сердце-ум! Таким — не дано мужчинам жить, или — очень редким: большим творцам, не всем: тут — женское — в основе, высшее, от небо-женщины. Тут — тайна. Мы ее попробуем понять и — дать. Пусть знают. В этом — нерв «Путей Небесных». Я — через тебя — его нащупал... а вот — дам ли?.. Бог поможет. Тогда и — «Ныне отпущаеши, Владыко...»[330] Это было нужно. Это Им дается. По молитве... Ее? Да, верю, верю, знаю. Оля! Слушай. Тот год, 37-ой — был для меня ужасный. 36-ой ударил в сердце. Оля ушла, — так быстро, так непонятно-странно. Уснула. Доктор ее убил[331]. Мертвая — она живая, спит. Я не могу смотреть. Я велел снять ее, нашел силу... через 3 часа по смерти. Спит. Живая. Горькая улыбка на губах, так горько сжатых... — все будто, поняла... — и горечь, скорбь. М. б. последний миг о сыне, о Сережечке... узнала... она еще надеялась... м. б. не убили большевики?.. Я знал все. Ей не говорил. Ужас, мы не служили панихиды... — мы знали, но таили друг от друга. Убили... — и как убили! Ночью, в морозе... повели... на окраину Феодосии, в Крыму. Там теперь немцы... можно бы найти, у меня есть одна примета... Да, за 1/2 ч., за 1/4 ч. до смерти, она просила, — я был в аптеке, но вернулся за 10 мин. до конца... Она просила Юлю, мать Ивика: «Ваничка, бедный... он с утра не ел... дай ему...» Не могу, Оля... И — в сердце, всего, камнем. Ну, ты знаешь мой 36-ой г. В январе 37-го она явилась мне, предупредила, что меня ждет «страшное»: болезнь моя, июль. В начале сентября я стал освобождаться, ото всего, раздавал, рвал... — 12 сент., — бросив квартиру, — я был с 1-го у профессора-друга, Карташева[332], у кумы[333] (Ивика крестили), они уехали. Я, слабый, с доктором-другом и Ивиком — поехали автокаром в Ментону[334]. Меня звали — в Италию, русские колонии в Риме, Флоренции, Милане. Ряд моих чтений. Задержка с визой. Большевики тормозили, посол делал запрос: «как, нашему ярому врагу» ... ..? Тогда считались с ними, надо было так. Я не ропщу. Амфитеатров, мой друг милый, выбился из сил. Он, между прочим, дал предисловие к итальянскому изданию «Солнца мертвых», до сего времени не появившемуся. М. б. скоро выйдет. Читал в Ялте[?][ii], как всегда успех большой. Знакомства. Милая

---

[i] Мужчина (*нем.*).

[ii] Описка И. С. Шмелева.

княжна Кантакузен[335], (иконы пишет, всякие артикли расписывает) — моя большая почитательница, и ее мать, и архиепископ Владимир[336] (его отца убили большевики) — много-много. Я был еще слаб, но читал на полный голос[337], гремело. И — тут, — в начале октября читал, чуть ли не в день Ангела, с t° 38, (грипп) — помню страшная тоска, ночью, (жил у двух старых дам — и няня была, «из Москвы»[338]). Я плакал ночью. День Ангела... один. Ивик был у Серовых, (семья доктора) за Каннами. Я его отослал, там молодежь (за письмом пропустил условленные 11 ч. ночи! Целую глазки-свет). О, тоска была, — не знаю, что такое. Ждал визу. 2 ноября, в ливень, выехал в Париж. Метался. 4-го началось головокружение. Помню, писал завещание. Взял из банка деньги. Все — Ивику. Не мог — на воздухе. Круженье. Доктор: бром надо! Поднял! Фосфор и бром. Спас. С 20-го ноября (помню — с 20-го!) — я мог сам мыться в ванне. Проходило. 6-го дек. ходил в Сергиево Подворье[339] (я жил в 19 arrondissement[i]). Рождество. Тоска-а... — и я плакал, один. Не ходил обедать. Принесли друзья пирог, вина... Навещали часто, каждый день кто-нибудь. Ивик тоже. В Рождество я плакал. Ку-да меня загнало жизнью! В комнатку[340]. Зачем я бросил нашу квартиру? 1 г. 3 мес. без нее жил. Все ее было на месте. Я ходил и — плакал. А тут — все раскидал, в комнатке, чужой... один. Профессор с женой были в Греции. И вот, — нет сил: бежать! Уехал в Швейцарию[341], простился с ее могилкой — в Швейцарию, — весной — на Карпаты, в монастырь[342]! Да, я хотел там, навсегда, остаться. Этот монастырь особенный: там 1/2 монахов — белые офицеры. Там — чудесно. 20 апр. выехал из Швейцарии в Прагу[343]. Приехал в Великую Субботу. Холодно. Встречали. Но я свалился: грипп. Простудился в Цюрихе, ходил за визами, — всего было! Чехи не были теперь любезны, надо было требовать... добился, телеграммами. У Заутрени не был, лежал. В четверг на Пасхе — мой вечер[344]. Все продали, на 1000 человек зал. Старый знакомый (после Пушкинского был, в тридцать седьмом). К. Д.[345] встречала мило, слабая после операции. И все та же ее собачка, кофейная. Я был с визитом, — «все забылось», — но так была мила! Звала — у них остаться. Нет, не остался. Жил в частной гостинице «Аметист»[346]. Вызвал доктора, t 39. Мне необходимо читать! Не могу подводить своих, люди истратились, призжают издалека... «Нельзя. Хотите — воспаление?» Доктор, еврей — теперь в

---

[i] Округ (*фр.*).

Америке, сын доктора Альтшуллера[347], по Ялте, — лечил Чехова, отек-то. Я не послушался доктора. Попросил камфорных пилюль, для сердца. Читал — в 2 отделения. Весь вечер наполнил. Весь мокрый. Очень успешно, как в тумане все, сотни лиц, автографы, портреты... — и опять «страстное письмо» милой девочки 14-летки. Десять дней — в «Аметисте», — в монастырь... — и два мес. лежки, с головокружением. Лето пропало. Монастырь не дал покоя, — все мне теперь претило в мире. 2-го мая 38-го [года] в Париж. Да, этот 37 год — этот ноябрь — кошмар. Я его кошмарно почувствовал снова, прочтя твое письмо. В Париже — легче. В августе — с доктором в Ментону[348]. Чудесно жили с ним, в огромном парке, у кн. Волконского[349]. Читал милой Великой Княгине Ксении Александровне[350] — она моя читательница. Как и многие из Царского Дома — Ольга Великая Княгиня[351] прислала мне письмо и — две свои открытки. Я ей — для детей — от [2 сл. нрзб.] две книжки. Играли днем в рулетку, каждый день. Я — выздоровел. Я уже мог шутить. Близилась война, но Мюнхен[352] — приостановил. Нанял квартиру, Буало[353]. В 39-ом, в июне... ну, все знаешь. Я нашел тебя. Вот, какими... страшными... и чудными «путями». Олёк, целую. Не смею нарушить правила. Злоупотребляю терпением благосклонного контроля. Твой всегда Ивик

[На полях:] Видишь, все еще не ответил. Не забывай, Олёль. О, ми-лая! Не могу без тебя.

Оля, спешно сообщи — какие духи Guerlain — жду!!!

Лечись. Ешь. Пой. Верь. Олёк, будь покойна. Я твой. Я — чистый, Оля. Весь. Всегда. Твой.

Дальше буду писать короче, боюсь нарушить правила — ради Бога, 4 дня нет писем.

Милка, пришли портретик с глазами, я увеличу!

О, как... люблю..! Всю целую, в с ю..!

78

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.XI.41

Здравствуй, милый мой! Я все жду от тебя обещанного «сейчас пишу» — после получения моих от 30-го! Но ты не написал «сейчас»?! Ты мучаешь меня и «платишь» мне? Да? Ну, я не ворчу! Сейчас я очень огорчилась: пошла в свою комнату полить твой цветочек, и... что же? Он замерз!! Он весь в бутонах, весь все еще в цветах, и еще вчера

уборщица-девушка все восторгалась им. Сегодня ночью был мороз, дул ветер прямо в эту раму, и весь он стал водянистый, прозрачный... Я чуть не плачу! У меня много всяких цветов, но этот... Все удивлялись, что цветет с июля не переставая! В комнате моей холод адский — топить нельзя, хоть и есть радиатор. Электрический паек, даже для нас увеличенный, слишком мал. Приходится очень экономить. У меня электрическая кухня — массу берет. И то теперь я ухитряюсь варить иначе и только уж необходимое на кухне электричеством. Я принесла цветочек в салон — там теплее, но не очень тепло. М. б. он не совсем еще погиб?! В комнате моей я не живу, конечно — невозможно. Это досадно, т.к. мне бы хотелось работать без помехи, одной... Я получила твою «задачу» мне... Я очень горда и рада. Но... (ужасная я, — все — «но»??) Но... я не могу ее исполнить так, как ты хотел бы... Я напишу тебе то, что я могу, чтобы ты не думал, что я трушу, или еще что. Но не считай это «творчеством» — это только решение задачи. Творчество — должно во мне родиться. Так я чувствую. Прости, если это тебе не по сердцу. Твое же, как бы ты мне не был близок, все же — т в о е. И я с благоговением сделаю у р о к! Ну, будто в школе! Я постараюсь ответить твоим требованиям. Одно скажу, что напишу я только часть, не все. Ты увидишь, к а к я могу, или... не могу. Почему н е в с е — ты бы понял, но надо мне тебе было бы рассказать много обо всем, что во мне. А это невозможно... Чисто технически, (однако, и для «духа» важно) — мне не хватит некоторых знаний... Например: я не могу ясно перенестись в тот город — я его не во-ображаю... Люди, речь... Кто умирал? Я видела в Нижнем Новгороде, в Поволжье, например, голод, — там умирала беднота. Интеллигенты «крутились» как-то. Но это не так уж важно. Не думай, что я так уж вот все бы и выписала, нет, но — предмет, о котором я хочу говорить, должен передо мной быть ясным. Но все же я постараюсь вообразить и во-образить! Природа конечно тоже мне незнакома. Сердцу она чужая. Я никогда не была в Крыму. И если будет неувязка, то ты знаешь, откуда это?! Я, значит, не так увидела. Мне очень интересны твои письма на мои от 30-го. Я очень их жду. Ну, не мучь же! Я эти дни не писала тебе, т.к. просто не могла. Большая гадкая неприятность — мерзкий тип один, шантажист и жулик, Смердяков[354] какой-то, опять выплыл на сцену. Мучает Арнольда... Однажды уж было так. Через год начинает снова. Мерзкие есть люди. Вчера я прямо от бешенства дрожала. Бог знает, что еще предстоит. Масса здесь

жулья,.. среди всех классов. На меня все это очень действует. Долго не могу утихнуть. Ненавижу несправедливость. Гадость!..

Но я все дни с тобой. В твоих книгах. Я вечерами не могу оторваться. Перечитываю «Солнце мертвых». Я его совсем иначе воспринимаю теперь. Тогда, давно, я... не могла его читать... от боли... Будто автор меня жег железом, в раны сыпал солью. Я была очень нервна тогда, чрезмерно восприимчива. Хоть и теперь, — читаю книги я как-то иначе, чем другие (поскольку вижу). Люди читают, критикуют, и... живут дальше,.. своей жизнью. А я, я начинаю <u>жить</u> тем, что прочла. Я понимаю Тоничку, его впечатление от Тургенева «Первой любви»[355]. Я ее <u>точно так же</u> воспринимала. «Солнце мертвых», тогда меня как-то убило... Я всюду видела смерть, до... ужаса... Я не дочитала <u>за один раз</u> книгу. Брала ее после. Дочитала. Так было, когда я девочкой читала «Преступление и наказание»[356]. Я не могла, я болела, читая. Теперь я зрелее. Я иначе читаю. Я тебя знаю. И мне еще больнее, но... иначе больнее. Я плачу над «Солнцем мертвых»! Какая прелесть — «Степное чудо»[357]! В «Свете Разума» мне <u>очень</u> нравится «твоему Сереже»[i]! Чудесно! И стиль какой! И «Музыкальное утро», и «Гунны» (<u>очень</u>)!, и «Блаженные»[358], ах, все, все! Я называю отдельно некоторые вещи только потому, что они чем-нибудь меня <u>особенным</u> удивили! «Про одну старуху» — всегда чудесно!

Теперь из твоей открытки: о Земмеринг — ты меня не хочешь понять! *Ты* сам писал, что она, прочитав посвящение на книге, ревнует. Неужели ты не знаешь, что ревновать можно не только из любви. Именно: она читательница, чуткая, тебе все хотящая сделать, — видит вдруг, что ты кого-то ценишь <u>так</u>, как <u>ей</u> бы это причиталось! Я-то, женщина, чудесно это понимаю. Я нашу сестру давно знаю. Я женщин (обыденных) — не люблю. Т.е., нет, не люблю те черты, которые присущи им. А женщин, женское, то, что <u>ты</u> любишь, люблю я очень. И м. б. потому среди писателей нет или мало женщин, что... воспеть самое чудесное, «das ewige Weibliche» (это самое дивное в мире!) — дано, конечно, лишь мужчине. Я иногда могу влюбиться (не думай, <u>не</u> pervers[ii]!) в женщину, именно в это «das ewige Weibliche». Я наслаждаюсь иногда в театре или кино не только игрой, но всей природой хорошей актрисы. Я не

---

[i] Посвящение рассказа С. И. Шмелеву.

[ii] Извращенный (*нем.*).

могу это объяснить, но это как-то необыкновенно. А в жизни... женщины-мещанки чаще героини. Не обижайся, но... И. А. не позволил бы так З[еммеринг] о Наталье Николаевне! И не искал бы ей извинений. За одно это замечание ее тебе (о понимании или не понимании «Неупиваемой чаши»). Конечно, я не Н[аталья] Н[иколаевна], для тебя не в этой роли, но все же!.. Я не хочу, чтобы ты от нее (о, их много) устранился, но я знаю, что так вот относясь, как ты теперь к этому, говоря только «тебя все полюбят», — ты... я знаю это... не хочешь понять, что надо оградить... И я не постигаю, как ты, писатель, да еще такой... ты тут не видишь сердцем!

Впрочем, это бывает очень часто. Толстой в жизни своей с С[офьей] А[ндреевной][359] — был какой?? Непостижимо! Но, довольно! Для меня: З[еммеринг] меня хотела (я не далась ей, и как нежно, мягко, почти любовно!) оскорбить, — а ты не понял. Извиняешь ей, меня уверить хочешь, что «все полюбят»! И все... Я ничего не хочу и не жду. Пишу только в пояснение! Я умею не замечать людей!

Я давно хотела тебя просить, — ты знаком с Карташевым? Он был приятель с дядей моим, маминым братом. М. б., случайно знает он что-нибудь о судьбе его жены Александры Васильевны Груздевой, урожденной Лаговской? Это была большая драма. М. б. при случае, спросишь его? Как поживает твой Ивик и его избранница? Я все надеюсь, что ты пришлешь о «Праздниках»[360]. Ты написал? Как верно дивно! М. б. скоро к Вам поедет от нас Сережин шеф. Я попрошу его тебя увидеть. Или м. б. одна армяночка, если ее пустят к больной матери. Мы недавно ужасно потешались... В Гааге гостят чудесные ребята, матушкины внуки. Мальчик Сережа, 9-ти лет, разумник, чудесный, прелесть. Так вот, эта армяночка рассказывает, как ей не дают визу, как она в комендатуре плачет, просит. Отец С. спрашивает: «как же Вы уедете, я у Вас на велосипеде корзиночку для дитенка видел?» (Это для собаки у нее). «Да», — говорит она, — «к сожалению, она еще пустует, еще не собралась». — «Ну, какая же Вы запасливая, корзиночку заранее купили. Советую о соске позаботиться, — резина пропадает». Другие стали советовать, кто во что горазд. И вдруг совсем спокойно, с кресла: «...и главное, самое трудное, папа, детку надо достать!» Это Сергушка! Отец серьезно, в тон ему: «О, М. девочка хитрая, она достанет». — «Да, достанет?» «Да, сынишка, не беспокойся, она сумеет, и журавля обманет, заманит к себе и баста». Мальчик поверил. Ну а мы все долго хохотали. Ребята — на

удивленье. До того русски! Матушка, вдова того священника, который учил Bauer[361]. Очень милая семья. Есть у нее дочь[362] одна из 3-х — обаятельная, прелесть! Не очень молода, но — чудо! Написать бы было о ней можно много! Как жаль, что я не мужчина! Вот видишь! Масса в ней из Божьей Кошницы. О, не «святоша»! Вся — Жизнь! И драма! Ну, довольно. Я два листа уже взяла. Не стану злоупотреблять любезностью цензора! Посылаю тебе 2 фото: одну — лаборантку (моя маленькая лаборатория), для шефа, с реакцией на lues (Wassermann)[i] — моя специальность — за нее я была известна в клинике. Это особенно ценил шеф, что хорошо ее делала. Это не легкая реакция. И ответственность очень большая: я — даю диагноз. Делали ее перед замужеством на память шефу. Другая: мой уголок гостиной, где я тебе писала первое письмо в 1939 г. Целую и благословляю. Оля

[На полях:] Я все еще не здорова. Не сплю. Худею. Но стал аппетит лучше. Выгляжу смертно бледной. Нет больше «красок».

Тебе это больше, кажется, нравится?

Я очень тороплюсь на почту, потому как-то не очень хорошо писалось! Принимаю селюкрин.

Зачем пришлешь еще? Его же не надо все время принимать. Это же курс лечения. Этот я кончаю. Какой же перерыв?

79

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.XI.41[ii]

Мой дорогой, родной, далекий... и та-кой близкий сердцу!

Как мне тепло и радостно, что ты где-то меня любишь!

И какая горькая жизнь моя!! Помнишь м. б. (?) когда-то еще давно писала я тебе что-то в этом роде: «но у Вас хоть было счастье...» Написала и испугалась, — не понял бы как намек на меня. Это давно было... Да, почему не подошла тогда?? 6-го окт.? Нет, не узнал бы ты меня, — вот потому верно и не надо было, чтобы подошла. Если бы не узнал, «отделался» бы парой общих милых слов, я же все

---

[i] Сифилис (*лат.*). Реакция Вассермана подтверждает данный диагноз.

[ii] Помета И. С. Шмелева на конверте: в пути 20 дней!

бы устно уже сказала, и верю не так бы свободно, как тогда в письме... и... этим бы все и исчерпалось. Могло бы так быть ведь?! Сережу моего И. А. тебе рекомендовал. С. был на ужине с тобой. Ты дал ему твой портрет! А я? Я не подошла тогда. Я ведь тогда была «убита Богом»... Я еле-еле принуждала себя показываться людям. Я вся была убита. Нет, ты ни разу не посмотрел на меня. Я сидела с мамой как раз позади проф. Франка[363] и его жены[364] (знаешь их?), от прохода направо, если стоять лицом к кафедре. Я чудно все помню! Неприметна, вся в черном, за черной вуалькой, траур был, по отчиму. Да, я тогда была совсем свободна, свободней, чем когда-либо раньше... И значит так было надо...

Ах, письмо твое!.. Не возноси меня! Я разве стою?! Я очень, очень обыденна! О, если бы так непорочна! Было... было много от того, что пишешь ты. Не то, но от того! «С живой (?) картины список бледный»[365]. Теперь и этого нет! Я очень была чиста, болезненно чутка к чистоте и правде. Нет, я все же многое утратила на всем моем пути! Ты святотатствуешь, зовя меня святой! Нет, нет! Да, я о тебе молилась! Ты говоришь «не знаю, искала ли ты меня». — Я же тебе писала: «молилась о Вас годами»... Да, искала. *Еще* бы... раз один — прожить сначала! Я не могу теперь уже давно молиться, хоть постоянно в думах обращаюсь к Богу. Давно отстала по утрам молиться и на ночь. С Wickenburgh'a. Я вся в волнении. Господь простит? Сегодня мама именинница. Хотела помолиться... не вышло. Помолись за меня! А от Марины все ничего! Ужасно!

В последний раз коснусь Земмеринг, чтобы исчерпать эту «тему». Я никогда ничего другого не искала в желании матери послать к тебе дочь, кроме того, что ей обязательно хочется твою «скуку», «пустоту окружения» и т.п. заполнить Милочкой. Так сказать, Милочку пустить в ореол твоего сияния. Это же лестно девочке, да и матери. М. б. она войдет в какой-нибудь «гимн» твой?! И во мне, видя (именно) читательницу-соперницу, — постаралась бы вдвойне это сделать. Таких «мироносиц»[366] я много видела у людей тебе подобных. Ничего любовного я и не искала. Не от одной же любви бывает ревность. Ну, Господь с ней! Но, милый, прошу тебя, (исполни хоть раз (!!!!) о чем прошу) не пиши ей *ничего* обо мне. Исполнишь? Я ведь могу тоже хоть что-то пожелать?! Мне жаль, что я ее коснулась... я не знала, что она тебе духовно так дорога. Ты ей писал о «Путях Небесных», м. б. даже раньше, чем мне, на мои мольбы (сквозь го-ды!). Я не упрекаю. Но это мне мерило!

Оставь ее и меня в отдельности. Я не хочу ее писем, не хочу какого бы то ни было ее касания. Я тоже очень верно чую людей. Никогда не обманывалась. Обещаешь? Ты непослушный, впрочем, ни одной моей воли не исполнил! Нет, не сержусь, а только так знакомлюсь с тобой и в этом. Не надо духов! Мне совестно! Умоляю, не балуй меня! Ничто не делает меня в жизни (в «свете») такой беспомощной, как комплименты и подарки... Я глупо теряюсь. Книги твои я с радостью принимаю,.. как тебя!

Пришли же надписи к ним, а то они — немые... Ах, Марина, Марина! Я твои письма перечитываю, вдыхаю, под подушкой они спят... Ах, вот что: об И. А. — мне невыразимо было бы больно всякое неточное понимание о нем. Вот характеристика его ко мне отношения, данная им самим, пожалуй и самая точная.

Мы часто были в переписке[367], в его отъездах, так просто, — о книгах, о трудностях его (каких-нибудь внешних) и моих. Вот:

«Милая Олечка! Вчера получил Ваше трогательное для меня письмо о книгах. Все, что Вы пишете, меня радует и утешает. Именно такому читателю, как Вы, я предназначал эти книги; и мой метод философствовать состоит именно в пеликанстве "собой питаю". И что Вы это почувствовали и так отозвались — для меня большая духовная радость. Спасибо Вам за письмо и за отношение. Я Вас тоже буду всегда любить и помнить».

Дальше о делах, и...

«я пишу — а мир на меня огрызается и грозит. Вы правы: людишки, да и все.

Целую Вас и Ваши ручки.

Ваш сердечно И.»

Я не «чаровала» его. Но чтила. И он знал, что это от души и ценил. Эти короткие слова в его устах уже очень много. Он и лично целовал меня иногда, в порыве духовной родственности. При всех. Никогда одну. И только в щечку. М. б. он русское начало во мне любил. На чтении его о Пушкине (я конечно была), несмотря на его великое горение, — он меня у в и д е л. И в антракте сказал мне: «Олечка, Вы настоящая русская невеста, строгая, чистая, прямо излучаете чистоту... И... платье Вам идет, масса вкуса». Было траурное черное бархатное с шелковыми белыми (крем почти) кружевами. Вот это и все!..

У И. А. много вкуса, и он просто вещи отмечает, — больше ничего.

Послушай... я плакать готова: сейчас приехал Сережа (к маме-именинице) и сказал, что шеф срочно уже в субботу вместо вчера уехал. И завтра будет уже обратно! Ужасно. С. его по делу даже не застал уже! М. б. опять скоро поедет. У тебя есть же адрес одного из них? Мне говорил тогда этот господин, что послал тебе адрес. Перед Пасхой это было. Где-то у тебя, тоже Paris 16-е. Спроси, не ожидает ли их опять, — м. б. будешь тогда знать, сам и заранее. Я плачу. Ужасно это! Ты упрямец! Отчего сразу тогда летом не послал? Мучаешь меня: К книге-то приложить, конечно, можно? Попробуй! Прошу тебя, напиши Марине!

Ну, дальше, — да, И. А... Вот еще одно: когда перед «разрывом» впервые меня звал отец Арнольда:

«...Нужно ли ехать для этого прозрения? Стоит ли покупать это прозрение ценой унизительной поездки?

Я стою за то, чтобы не ехать. У меня чувство такое, что не этот брак даст Оле счастье; что на этом и эдаком браке никогда не было и не будет благословения Божия. Счастье Оля найдет только с русским, мужественным и патриотическим сердцем.

... ...

А мертвое и неверное надо отсечь.

Вот если Вам понадобится отсекающее письмо, то я готов помочь.

12.IX.1936»

Письмо длинное было. Я даю только самое сильное.

И я «отсекла», радикально, хирургически. И. А. одобрил вполне. И после этого «отсечения»... ты знаешь, что было после... И. А., тот же И. А., понял, что мне все же надо ехать. Благословил меня на поездку. А после... и на брак. Случилось это в нем после знакомства и разговора *интимного* с Арнольдом.

Да, в этот короткий промежуток... от сент. — до ноября... — был ты в моей... близи! Но я была тогда «исчерпана» вся горем. Горями. А ты? Разве нет? Ты же кровоточил, болел утратой. Нет, т о г д а, — не надо было! Вероятно — не надо. Не знаю ничего! Господь знает!

Какой ты чудный, чистый, прекрасный!

Милый мой, родненький, Херувим! Ах, если бы здесь ты был! Как много людей живут в твоей близи. Проходят мимо! Что же я-то далеко так? Ты не приедешь? Я боюсь спрашивать об этом. Боюсь, что скажешь «нет». Я всего боюсь. Ты писал, что для тебя «приехать — вырвать сердце, боль»... Я — только и живу этой мечтой тебя увидеть, — но боюсь твоей боли. Я не хочу мучить тебя! Ты

знаешь: я вся ожидание, решай же, как тебе лучше! А м. б. удастся все-таки? И м. б. (Господи, если бы!) и мне удастся потом, весной, к тебе приехать! Я так хочу быть у тебя, в твоем уюте! Ну, кончаю... Нежно, нежно гляжу тебе в глаза (да где же они!!?), целую их... и... плачу... Твоя «Светлана»*

[На полях:] Сегодня же пишу еще! Письма простые, идут так же как и expres!

20.XI

Объясни, почему ты так волновался 8-го и 9-го? Ты же уже получил (6-го) мое письмо от 29-го? Ты же писал! Напиши обязательно!

17-го твое письмо от 13-го! Мне все время очень грустно без тебя! Плачу я! И над твоей жизнью все то время! Отчего скончалась О. А.? Воспаление легких? Скажешь? Но если тяжело, — то не пиши.

20.XI

Сегодня твой expres от 13-го (2-ое).

Душенька, не надо часто expres. Сегодня вышло не очень гладко. Утром рано, когда его приносили, я выскочила проводить брата до гаража (т.е. до автомобиля в сарае) и не слыхала звонка. Потом ушла одеваться. Я была еще в халатике утреннем. И после лишь нашла бумажку, извещавшую, что мне на почте заказной expres. Его нужно было самой взять с почты. Я тотчас послала на моем велосипеде девушку. Ей не дали, т.к. уже послали с обычным, урочным почтальоном. За ее отсутствием мужу понадобился мой велосипед. Его сломался. Когда пришел почтальон, то почту я приняла у него, на глазах мужа, уходившего как раз из дома. Был удивлен почему у меня уже на руках расписка. Ни слова не сказал. Но как-то.., ну, все равно! Когда я жду expres, то уже не сплю с 5—6 час., — их приносят рано.

[К письму 19—20 ноября приложено фото дома в Бюннике. Надпись на фото:]

Вот весь домик в Bunnik'e, где я так много думала о тебе. Где я была... только я да птичка.

Дом для 2-х семей.

← показывает на нашу половину, а рядом жил тот, кто перед Пасхой у тебя был. Или послал тебе только мой привет?! Внизу: гостиная, где я тебе писала, столовая, кабинет маленький, кухня, и т.д. Наверху: спальня, где я так долго

---

* Почему «Светлана»? Мне в детстве очень нравилось это имя. Кто-то меня утешил, что Ольга — то же по значению. Olga, Elga, Helga, Helios! Светлана!

болела! комната для приезжающих, маленькая комната (Сережина), ванна. И выше еще — чердак. Сбоку гараж. Сзади сад-огород. Много передумано... Я любила все-таки Bunnik. В а н е ч к а... целую тебя!

80

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.XI.41
6 ч. вечера

Родная моя детуля, Олёчек, — какое чудесное, ласковое письмо, 20.XI! Целую ручку, писавшую, сердечко твое — прильнувшее так нежно. В томлении был, все эти дни, — а вчерашнее письмо 15—17.XI — что было с тобой? Какое-то... «через себя» письмо! Я его определил — «сборное», вы-нужденное... — усталость? полная разбитость? Я был в отчаянии. Много написал, — все эти дни, — и не отсылал, жалко было, что может удручить родную, свет мой отем-нить. Всю тебя целую, твою душку, о, сердце чу-дное!

Хочу ответить на в с е. Оля, раз навсегда условимся: я для тебя — в е с ь твой, как держишь в сердце, — никто другой, а самый твой, самый близкий твой, и ты мне — единственная, самое дорогое, ты — как ты, Оля, Ольгунок, Олёк. Меня, писателя, — какой бы я там ни был, — оставь другим, берут, считают, ценят, бранят... — как хотят. Никто, ничто не может — для меня — стоять между нами, я неотделим — для себя — от тебя, моей Олечки, моей чистой, моей пресветлой. С этим и останусь, я, для себя. Такой, ни с кем и ни с чем не соизмеримой, ни-когда, ни в чем, тебя лелею, храню в сердце. И это не может, для меня, измениться, независимо от того, как ты берешь меня.

О визе... — у меня почти нет надежды. Можешь ли думать, что я не рвусь? Но — помимо визы — есть другое. Я писал тебе — о пытке, о встрече на краткий миг и — подумать страшно. И еще. Если смущает посылка expres, заказного, если ты так страшишься «языков» провинции... — что все всё там знают, а эта семья там громка... — то как же тебя не смутит встреча?! Вдумайся! Это же так ясно. И какая пища болтунам и всем канальям, охочим до трезвона. Делать тебя целью грязных домыслов «соседей» — ведь там все — «соседи»! — эти лягушки голландского болота! Ясно, ясно. Я знаю отлично русскую провинцию. Голландия — еще пониже нашей. Тем более, что мы, русские — из какой-то непонятной ненависти и... зависти, да, да! —

для многих — притча во языцех, «странные», l'âme slave[i]. А тут... — где тебя знают, — в том же Arnhem'e..! Это не Париж, не Берлин... — где никому нет никакого дела ни до чего — странного. Мы будем видеться, светло и чисто узнавать друг-друга... — а языки... — свое у них, у языков. Мне — совершенно безразлично, но тебе... — ты же так тревожна! Я все обдумал. Нет. Не смею. Я даже не ставлю вопроса о твоем «движении» — величайшей жертвенности, неоценимой, для меня священной. Но, Олёчек... я целую твои ножки, я землю целую, где ты стоишь... но я не дерзну принять... я тебя слишком высоко ценю, ты для меня — только ты м о я, в с я, только свободная вся, прямая вся, гордо-смело смотрящая, по праву сознающая — я — т в о я. Только. Иначе — знаю — о, какая мука! Будет. В и ж у. Какое же томление, тревога! Ты мне — бесценная, незаменимая, нетленная для меня, — и такой же ты должна быть для всех, кто меня знает, кто меня считает верным всему тому, что знает от меня, из меня. Для меня поставить тебя в сомнительное положение — сделать мишенью хотя бы только гадких подозрений, — да, «гадких» — с их лицемерной каланчи... — невыносимо. Это, Олёк, не Ялта даже, где тоже не было никому дела до «энтерьер[ii]». Если бы ты бросала свой кров, — не только «свой»... — тогда другое дело. Или усомнишься в искренности моей? обвинишь меня в слабости души? в наигранности, в позе?! Не смею и говорить об этом. Чего бы я не дал... чтобы хоть день с тобой! Близко бы тебя видеть, руку твою держать, в твои глаза все излить из сердца... О-ля! Дай же твои губки, моя голубка... мое счастье, неизъяснимое ни словами, ни чувством, ни взглядом, всю глубину мою тебе дающим... Я все предвижу, и мне больно, когда подумаю, как ты все это примешь! Ведь я всем жертвую, все отдаю, на что хоть смутно еще надеюсь, — отказаться от т е б я, ж и в о й, в с е й, столько обещавшей, все отдающей... всю себя! Подумай — и ответь. Я сделаю так, <u>как</u> ты мне скажешь. Тогда — я припаду к твоим коленям. Да, Оля... я готов на все, на смерть, на муки, на все утраты, ради тебя... только не на твои страдания. Я с в о б о д н о, смело, — при данном положении — смотрю. И — не упрекну себя, и — ни-ни-когда — т е б я. Реши. Да, мне надо будет обсудить с Сережей, — он инженер? при какой фирме? — «условия договора о приобретении моих литературных прав», и — при согласии — совер-

---

[i] Славянская душа (*фр.*).

[ii] Здесь: окружающая обстановка (*от фр. interieur*).

шить нотариальный договор. И это мне необходимо решить в самый ближайший срок. Для сего, главным образом, я и буду в Arnhem'е. В другом месте, при современных условиях его работы в предприятии, встретить его я не смогу. Он не сможет в Париж приехать? Или ты, по его доверенности, не сможешь? Время года, зима — значения не имеет. Я все равно — питаю надежду — выполнить то, что меня начинает очень мучить. Не состоится поездка в Arnhem — я хочу ехать в лагеря советских пленных[368], буду просить-ся. — Эти дни я взволнован, не сплю... да, с перерывом в одну ночь, я не смыкал глаз 2 ночи, весь в кипении мыслей: ехать, сердцем к родному подойти! Я уже заготовил письма: о разрешении поездки.

Мне больно, что я, русский, писатель, — в стороне от такого исключительного, единственного за все века жизни русской — события неизмеримого исторического смысла. Я должен видеть, во что обратил большевизм за эти 24 г. душу народа, как испепелял в ней свет Божий и образ человеческий. Я хотел бы пойти к ним, братски, с лаской... — не говорить речи, нет, не учить, а светить, отомкнуть заклепанные души, найти в них уцелевшее, светлое, м. б. — верю — и священное. У меня есть ключ — верный, творящий. Я знаю, я — проверял: неоспоримый. Да, только у меня. И это знают, мно-гие..! Я пойду к ним с одной моей книгой, и она многое осветит. Пойду к ним... с «Богомольем». И — верю, — найду, сыщу, — во что я крепко верю. Отомкнутся души. Не обманусь и — не обману. Отказаться от этого — мне будет трудно. Буду просить, стучаться. Вчера и сегодня был у меня Алеша Кварматиров, из Берлина[368а]. Я спрашивал его. Пока — все — неопределенно. Но я — мне поездка в Arnhem не помешает, после нее поеду... ах, если бы ты была со мной! Как бы мы слили наши души, слезы наши — с их слезами! Да, я уже в и ж у эти слезы, знаю. Я знаю наш народ, Оля... сколько я говорил — и как! — перед многотысячными буйными толпами... и [это] в самые острые дни «половодья», — в марте 17-го и в России, и по Сибири[368б]. А ныне... — я вижу, как глаза яснеют, как растопляются сердца... как рты кривятся, от подступающих рыданий, да... — они еще способны плакать, найти, познать себя, свое, святое, вечное! Оля! Это не мальчик говорит — мечтатель, это говорю я, многое страшное видавший, столько переживший, разделивший все муки — с Родиной. И ты благословишь меня. И я узнаю сладость со-страдания со всеми и м и... и — ко всем им, темным, обманутым, растленным, затор-

канным, которых делали зверями... и — не сделали, я верю. Я сниму коросту с сердца, я посвечу в него... — оно проснется — в Божьем свете Правды. Я поведу их за собой, с моими малыми на... богомолье. И они пойдут. И они познают, признают, узнают истинный Лик России — былой Святой Руси. Это не самонадеянность моя: это моя вера, это — есть. Я сам увижу чудо — и покажу. Как?.. Я все продумал. И все мне ясно. Это — мой трудовой подвиг, национального писателя, — слуги народа, и нетленный Образ Преподобного будет моим поводырем. Да, поведу к нему, самому родному, такому всем им понятному... да, да, они его поймут! через мое простое слово! и — полюбят, и — припадут. И — приведу к Нему.

Вспомни последние страницы из моего очерка «Два письма»[369]. Там — чуть намечено, — да-вно я верил в это. И это — близится. Ты меня перекрестишь, пойду если... — и какой силой загорится сердце, от любви бездонной — к Тебе, и — к Ней. к Родимой, Оля! Светик мой, ласточка моя! Да, я загляну в твои глаза, родные такие мне, — и всю тебя увижу, кого искал давно-давно... предвидел, предчувствуя... — с 17—18 гг.[370] — с «Чаши»... и — до «Путей». Да, ты Дари узнала, поняла. Ведь ты — она, и она — ты, Оля, Ольга, ми-лая, вечная моя! Как она обогатилась, осложнилась, ополнокровилась, как расцвела — во мне. Теперь я знаю, что и как писать, — все знаю. Ты получила письмо, где я нашел, что ты — «от Церкви». Ну, так знай. Теперь я больше знаю. Тебя-Дари — знаю и другую, не святую — небесную, а чу-дную, земную, во плоти, такую страстную, да, от земли, от тлена, от страстей... и ты, вторая, — будешь сгорать, в борьбе с — небесной. Вот теперь я вижу, что II ч. романа — самая жгучая, самая страстная — и — я задыхаюсь от картин! — самая решающая всю задачу «Путей». И она крепко спаяна с I-ой — и перельется светом в III-ю — восхождение на Крест — и — к Свету. Ты, ты во мне творилась и — творила. Я не сознавал. И вот — все вижу. Да, Олёчек, гулька, голубка, жизнь сердца моего, Светлая, святая, — да! — и согрешающая, и освещаемая... что я вижу! Сегодня глаз не сомкнул (бром приму, надо). О, какой пожар осенний видел, парк кленов — червонных, янтарных, розовые сети по вершинам... и — осенний вихрь — все сорвал, все черно... — дам!! Дари все видит, — и — ско-лько же! Олёлик, надо кончить. Но я и пятой части не сказал тебе. На все отвечу, все исчерпаю. По порядку последних 5—6 писем. Много писал — не отсылал. Не то, не мог, страшился удручить.

Нет, я берегу тебя, я чуток, Оля... Ты такая мне драгоценность..! Пылинку на ресничку не опущу, все твои слезки оставлю в глазках — оберегу, сколько есть силы в сердце.

Целую, всю, крещу, молюсь о тебе, за тебя, — тебе. Твой Ив. Шмелев

Как счастлив твоей лаской! Не сказать.

Марина не видела меня. Оказия еще не заходила к ней.

Без тебя их [«Путей»] не будет. Но тебя люблю больше, чем «Пути». Олёк мой, слушай, я повторю: ты, ты творишь со мной, во мне — «Пути Небесные». Как? Не все ли равно — как! Творишь.

Никаких болей, и я бодр, несмотря на 2 ночи без сна. А когда свежо — гимнастика! всегда утром.

А «Девушку с цветами» — ты получила? — Грустная она? Я объясню. Ты написала о «ромашках».

Не задержу, — отвечу на все — Оля!

Если бы ты была со мной — как бы записал! — и любил бы. Так хочется!

81

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Ноябрь 1941 г.]

Письмо № 1

Пишу конспектно. Сколько же биения сердца за этим конспектом!!

Кто я? Откуда? Как жила? Давно хотела тебе все сказать...

Родилась в Ярославле, — году увезли в Рыбинск. Там папа принял священство. До 8 лет в Рыбинске. Оттуда в Казань. Крестный путь отца... Много воспоминаний, много мотивов... Страданий. 1/2 года жизни в Казани до смерти папы. Ужас. Казань чужда нам... Никого, кроме 2 семей. В Казани папа учился в Академии у митрополита Антония*[371] (ректор), его очень любившего. Масса переживаний. Хотела бы дать этюды. Мои страдания после утраты отца, до... болезни. Мое «бегство» ночью. Мое «сумасшествие». Не буквально, конечно. Я не училась в школе. Меня готовили дома. После «шока» моего никто не знал, как я смогу учиться, в том смысле, что должна уходить из дома, — я

---

* Епископ Серафим Парижский папу знает тоже.

не отходила от мамы ни на шаг, будучи уверенной, что и она умрет. Всюду я видела смерть. Все ею закрылось. И была права, — спасла однажды маму. Моя мечта была учиться в Институте, чтобы «после увидеть Царский Двор». Это были детские мечтания... Меня отдали в Казанский Родионовский институт[372]. Я согласилась для «мечты» зажать боль и страх и покинуть дом. Но это было именно «зажать»... Кто бы знал, что я переживала там. Я — 9—10-ти лет! Меня наказывали, жаловались маме. Мне жестоко попадало. Я дерзила, говорила в лица правду, т.к. знала, что ко мне несправедливы. За это попадало еще больше. За уроками я... думала... О чем? О всем. О доме. Об отце. О смерти. Я поступила 1-ой ученицей, подготовлена классом выше. Но меня не хотели утомлять и отдали в VII-ой. Мне нечего было делать. Я была способна. Все этим тыкали, — и я ненавидела это слово «способна». Я убегала в уборную, где не было классной дамы, «классухи», так мы ее звали, и плакала одна, запершись, вволю. Мне попадало снова. Моя подруга была девочка резвая, шалунья, до исступления религиозная, любившая моего папу. Маме жаловались, что я из всего класса выбрала самую отчаянную. Она умерла. Умерла как святая. Ей Богоматерь при кончине явилась! Батюшка говорил. Она и была святая! Нина! От скарлатины. Я заразилась от нее. Болела тоже. Институт я, конечно, не кончила. После революции нас рассовали по школам II-ой ступени. Коммерсанты, реалисты, гимназисты, институтки, кадеты (из Москвы)... Винегрет! Баклуши били. Вечерами занимались. Мальчишки лампочки портили, пробки выкручивали. Уходили в потемках учителя, а тогда зажигали свет и... танцевали. Я перестала ходить в школу на 1—2 мес. Слышу, что «чистку» производят и 4 параллельных класса соединяют в один. Сдавали «зачеты». Я осталась. Мы стали работать. Учителя были старые. Хорошо было. Много работали по литературе. Параллельно со школой я служила в статистическом бюро. 15-ти лет начала. Получала паек хороший. Какие-то «способности» и там проявила. Даже повышение получила. Все служили: мама, отчим, я.

Мамино замужество в 1920 году. Много дум, переживаний. Я — безумно ревнива могу быть. Всех маминых «поклонников» (она была красива и строга) я помогала ей гонять. Один был... хороший[373], это я умом знала, а сердцем его ненавидела еще больше. Очень молод. Ушел на войну. Я (о, ужас!) молилась о том, чтоб не вернулся. Его убили. К отчиму этого чувства не было. Я его любила и жалела. М. б. потому, что знала, что это не был роман маминого сердца,

а — дружба что ли? Масса переживаний. После школы, тотчас же Художественная Школа — Храм! Развал искусства, развал мечты. Уход мой. Попытка поступить в Университет. Нельзя! Буржуйка. Провалили по политграмоте (якобы!). Голод. Мешочничество мамы. Смерть 1-ой жены от холеры и дочери отчима от тифа. Ужас. Как умирала Верочка[374]! Она была душой с отцом и нами. Болезнь тифом. Мама при смерти. У меня и отчима малярия, — все лежали. Мама еле выкарабкалась. Уехали отдыхать к матери А[лександра] А[лександровича] (отчим тоже Александр Александрович, как отец мой)... Оставались Сережа, я и прислуга-дура. Совершенная дура. Обыск в их отсутствие и ордер на арест профессора[375]. Все перерыли, от 1 ч. ночи до 7 утра. А в 7 ч. я бежала за 6 верст на огород окопать картошку.

Телеграммы моей мама не получила, — перехватили. Приезд их, и скорый отъезд в Костромскую губ. к бабушке[376]. Там отчим и остался на осень. Больше не приходили за ним. Мы поехали обратно в Казань — боялись. На пароходе случайное знакомство с одной курсисткой, которая стала жить у нас. Чудно пела... оттуда и Chopin и Schubert и... много, много... Через нее я попала в Святилище... к гениальному управителю хора, у которого еще студентом пел папа. У отца был «райский голос». Я не верила, что Иван Семенович[377] меня принял в хор. Был очень строгий! Мы давали концерты. Была радость. Я обожала И[вана] С[еменовича]. Однажды он, объясняя хористу его соло, сказал: «эх, молодой человек, поете Вы про любовь и про "милую", а, и угрюмо же у Вас выходит! Вот был у меня один... давно, давно, пел это, но... как! Вы улыбнитесь, когда "милая" поете, подумайте о милой! Да, давно это было. Случайно мы встретились снова, просили его спеть, — не хочет, — сан. Да. Позвольте: у меня есть О. А. Субботина — художественной школы. Прошу, выйдите сюда». А я уж давно знала, о ком это он и чуть удерживала слезы. Я вышла. «Вы не родственница, (м. б. случайно) некого батюшки...» Я не стерпела: «да, А. А. Субботин? — Это мой папа». У нас завязалась дружба. Странная. Трогательно-нежная дружба. Огромного роста, монгольского чуть-чуть вида, моложавый и прямой, прямой — он, 63—64 лет, и... маленькая девчушка — Оля, 16—17 лет. Я его боготворила в искусстве, — обожала в жизни. Да, «И. С.»*. Он был певец русской народной песни. Он был знаменит. Мы уеха-

* Получила от Ивана Семеновича письмо в Берлине... если бы ты его прочел. Удивительно! Можно бы думать, что у нас был роман, но самый тонкий, небесный.

ли заграницу [в] 1923 году, — отчима выслали, с партией ученых в 1922 г. Я уезжала, оставляя чуть-чуть Сердце. Немного. Я 18-ти лет увлеклась кузеном этой певуньи-курсистки... Володя был тоже «попович». Славный мальчик. Пел, писал немного, играл хорошо. Просил меня не уезжать, остаться для него, стать его женой. Я уехала. Немножко думала о нем. Простились глупо. Просил поцеловать — не позволила. Не пришел на пристань. Меня манила заграница. Мы уезжали на 3 года (!). И верили, что еще до этого срока свергнутся большевики. Не будет же терпеть Европа! Мы не прощались, — мы говорили «до свидания!» Путешествие по Волге. Ярославль. Рыбинск, — впервые после смерти отца. Его могила в Рыбинске — по просьбе прихожан. Его перевозили.

Прощанье с бабушкой... Тяжело. И вот... Москва. О, сколько было всего в Москве! Как я вбирала всю ее! Я днями жила в Третьяковской галерее, в Музее, всюду. Театры... И... заграница. Не буду ее описывать. Ты знаешь. Я ехала восторженно, ища правды, Правды. Я обо всем мечтала. Ах, Ваня, как в письме тесно. Сколько всего было!!! В душе же, — было, помню, одно искание: цель и оправдание жизни. Не только моей, маленькой, но общей, целой. Я мучилась этим ужасно. Меня и религия тогда тревожила. Я все искала справедливости. Я даже иногда начинала молиться за Иуду, т.к. видела в нем выполнителя Великого Плана. Я с 7 лет этим вопросом мучилась. Да, с 7 лет. Папа в отчаянии был от моих таких вопросов. Я мучалась своей бесцельностью, ненужностью. Выплакивала ночи. Искала, ждала чего-то. Ответа. Ставила ставки на большое, разочаровывалась, падала духом... Помню, однажды 2 раза в один день бегала к исповеди, ища ответа, стегая себя, свою душу. Я много тогда жила внутри.

В Берлине мы попали в русский дом при кладбище[378]. Отживающие люди, — «кунсткамера». Влачилась жизнь. Я ездила на лекции в Русский институт[379]. Без интереса. Скучала о подругах, о Володе, о России. Показалось мне здесь все бездушно, безыдейно. Мы больше т а м за свое боролись, всюду. Была же тут какая-то сытая праздность. Я не нашла себе друзей по духу. Меня баловали в Институте. Весело было. Было на факультете 3 Оли. Всего 3 девушки и все 3 — Оли. Я бегала девчонкой, с косами. Хохотушка была, и кругленькая тогда. Так было до весны 24 г.

Перед Рождеством, вдруг появился в русском доме некто. Этот некто оказался только что выпущенный из тюрьмы по политическим делам (оправданный), русский. Я

не знаю, что там было, — кажется хорошие «друзья» оклеветали. Но вот, в пост, к Пасхе я готовила церковь. Делала цветы. Я выдумала на настоящие большие сучья деревьев накалывать розеточки из нежной розовой бумаги под цвет персика. Было очень эффектно. Все думали, что это живые. И вот я за работой этой слышу голос, полный скептицизма и желчи. Что-то вроде, что Царство Небесное зарабатываю. Это и был этот некто, этот N.

Ну, до следующего письма.

82

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.XI.41

Бесценный мой! Писала тебе, послала одно, другое написала, — не пошлю (слез там много и даже на бумаге), не надо. Пишу сейчас еще. Все думы о тебе. Сию минутку открыточка твоя еще от 13-го, а утром было твое expres от 13/14. Видишь, почти одновременно! Я не могу выразить тебе всего, что меня волнует. Душу твою я возношу, к ней приникаю, целую сердце твое! Как мог ты мне сказать, что может у меня быть счастье «хотя бы не со мной» (т.е. не с тобой)!? Как мог? Нет, после тебя, твоего сєрдца, твоей песни дивной, неземной... кто же дать может... счастье?? Не буду уходить в это дальше... Дойду до того же, что и в непосланном письме... До слез. Я рада, что живу тобой. Что где-то ты меня любишь, далекий! За что? Так?

Мне страшно того, как ты меня рисуешь. Твоя открытка, — ты там о «Путях Небесных», о моем в них. Мне жутко. На такую высоту возносишь. Ванечка, милый, поверь мне, это не слова, не «скромничанье», не напрашивание на комплименты... — это — правда, что скажу тебе: — я ужасно смущаюсь, что ты меня с твоим Великим вводишь в твое Святая Святых. И еще: ты о читателях-читательницах, об Истории Литературы Русской пишешь. Мне стыдно убожества своего. Я же не стою этого! У меня ни чуточки не говорит ни честолюбие, ни тщеславие от этого, — но мне просто неловко, совестно.

Поймешь? Куда же мне, такой простушке! — Пойми ты! Ты не говори никому обо мне, а то я глаз не покажу! Я — только для тебя, тебя самого, не писателя. Это уж твое дело... для чего я тебе, но... ты не говори никому, что я такая (как ты меня видишь). Я — просто обыкновенная. Когда же у меня будет твой портрет?! М. б. посылать

можно? Я постараюсь тебе мой послать. Я боюсь тебя спрашивать о визе. Неужели без надежды? Или ты не хочешь больше?

Я боюсь за тебя зимой, — простудишься в пути еще?! Я буду волноваться ужасно! Письмо твое о страданиях твоих с 1936 года, я взяла в сердце. Мне скорбно и за тебя и за страдалицу твою, О. А. Как ужасно о Сереженьке[380]! Скажи, родной, если не больно слишком, отчего скончалась О. А.? Кто-то говорил, что воспаление легких. Как ты все вынес? Как мне больно, как рвешь ты мне сердце словами: «ныне отпущаеши...» Ну, неужели ты не сознаешь, что это для меня?! Я боюсь отдать отчет этим словам, представить их! Не могу! Милый, не надо так! Как мне больно! Ты это уже однажды мне писал, давно. Тогда мне было тоже уже больно.

Но... теперь..? Ивушка, ты пишешь, что мучился моим молчанием 8-го и 9-го, но у тебя же (по твоим словам) были мои письма от 29-го уже 6-го. Объясни. Я ничего не понимаю. Я послала 3 expres — все 30-го, одно, кажется, писала 29-го. Ах, пока не забыла: не посылай на Сережу ничего для меня! Если ты деньги пришлешь, то я серьезно очень разгневаюсь. Не шути со мной тогда. С. пошлет обратно. Не надо ссориться. Умоляю. Мне *ничего не* надо. Деньги у меня есть! Духов, — не надо тоже. Я понимаю, что тебе хочется это, но меня смущает. Не надо. Те, что я от Guerlain имела, давно... тех нет здесь, как вообще ничего из Парижа. Есть еще несколько Коти, случайно. Но те, Guerlain, — я не могу принять, — они дорогие, я не хочу! Когда увижу тебя, то и будет, а сейчас — не надо! Ты понимаешь — мне совестно!? Книги твои я принимаю с восторгом! Я обожаю тебя, Иван мой милый! Преклоняюсь. Великий, чудный, прекрасный, гениальный, Иван Сергеевич[i]! Какой ты добрый, милый к людям, чуткий! Душенька моя! Нет, для тебя не может давать Господь испытаний. Это мне: — «...и Аз воздам...»[381] Мне, гадкой, за то, что м. б. хотела в жизни не только видеть шипы, за то что позволяла себе «играть», забыться, не думать... Не часто это было. Я всегда людей жалела, берегла их сердце. А сама я часто страдала, себя я не щадила. За что же так жестоко теперь? За что же ты страдаешь?! Я помню, как я однажды, сперва увлекшись одним врачом[382], приват-доцентом, не зная о нем ничего подробно, встречалась с ним. У нас в клинике, на вечеринках пел он (дивно), был эстет и музыкант. Когда-ни-

---

[i] В предложении сохранена пунктуация оригинала.

будь, если хочешь, расскажу больше. Был в форме S.A.[383], — для меня символ борьбы с большевизмом. Это было [в] 1934 г. Искусство, поездки на его машине за город, прогулки. Редко, 1—2 раза, вечером и даже за полночь вино, шампанское... Я знала о нем очень мало. О его личной жизни. Видела его только. Узнала, что он женат. Это было мне ужасно. Помню, как я его убеждала забыть меня. Я упрекала себя в легкомыслии, в увлеченности, я не смела так, должна была отдавать отчет! Я тотчас же ему сказала, что не могу продолжать видеться. Ничего особенного в этих встречах не было. Но не хотела я больше привязываться дальше. Он уверял, что с женой у него все кончено, что они только под одной кровлей, а что ей он не муж давно.

Что ей это — все равно. Не правда это было. Я все потом узнала, случайно. Она очень страдала. Не из-за меня,.. со мной ничего не было большого, — бывали до меня, другие. Но не думай, однако, что это был «Draufgänger»[i] — нет, — не знаю почему. Я умоляла его меня забыть. А он-то: дежурил у клиники, к нам на дом приходил, с Сережей говорить хотел, с родителями. Всюду искал меня, не отдавал жизни. Я стойко уходила. Господи, Ты видел, не хотела я чужих слез. Я ее жалела. Я знала, что ее он ценил, что не все у них еще сломалось. Были дети, четверо и один еще приемыш, калека — пациент его.

Я это все узнала. Удивительно узнала. И я ему писала. Просила во имя любви ко мне понять, что я не могу около него остаться, что это против моего душевного уклада. Не понял и вот что писал: «Der Brief, den Du mir schriebst, und den ich eben nochmal durchlas, ist eine Offenbarung. So herzig, wie Du mir schriebst, soll ich Dein Kamerad bleiben.

Du sollst immer zu mir kommen können, wenn Du was auf dem Herzen hast.

Du sollst in mir einen Pol haben, in der Erscheinungen Flucht.

Du sollst die Schwere Deines russischen Gemüts[ii] mal abladen können bei mir, eintauschen konnen in den Flug eines der Erde enthobenen, und doch ihr so nahen Weltgeisten.

Makrokosmos — nennt ihn Goethe.

---

[i] Сорвиголова, здесь: ловелас (*нем.*).

[ii] Подчеркнутые слова в тексте объединены лигатурой, над ней помета О. А. Бредиус-Субботиной: ерунда.

Soviel Menschliches ist in Deinem Brief, soviel noch nicht zur Blühte gekommenes, dass ich den beneide, der es reifen lässt.

Als Traube lass ich Dich mir aus der Händen gleiten, voll und saftig... vielleicht kommst Du als Wein nochmal an meinen Mund!

Sei ewig gegrüsst!»[i]

Была еще одна встреча после письма. Вечер в клинике. Я холодно (умышленно) его встретила. Помощница моя все ахала и говорила: «только теперь я понимаю, что значит "den kalten Rücken zeigen"[ii]. Мне было больно, но... пришлось. А он? Безумничал еще. Просили петь его «Lakrime Christi»[iii] — чудесно это пел. Голос был дивный, берущий душу. Сам — не красивый. Глаза лучистые, чудесные. И голос! — не хотел петь, не в духе был, после меня, строгой. Я тоже попросила: «не ломайтесь, доктор, спойте!» «Хорошо, для Вас!» Громко, все слыхали. Зло сказал. И спел. Божественно. Все думали, не выпил ли он лишку. Так смотрел он ко мне! И... спев... схватил рукой все струны на гитаре и разом порвал их. Изрезал руку.

Безумие — оперировать должен был на утро. Гитару же я нашла, уходя, у себя в гардеробном шкафу, в лаборатории. Она осталась там и после моего ухода. После моего обручения был еще раз у меня в лаборатории, прощался. Плакал... И все же, хорошо, что отошел. Жена ему дала еще девочку... Славные детишки. Он их любит. Жену чтит, как верного друга. А м. б. и любит.

Я помню, как мучила себя, томила душу свою, что так неосторожно отнеслась, могла увлечься, без отчета: к чему все поведет. Не любя серьезно, а, собственно, «и г р а я». Я мучилась долго. За «игру» именно. Запретила ему говорить, писать. Посылал мне концерты Брамса для граммо-

---

[i] «Письмо, которое ты мне написала, и которое я сейчас еще раз прочел, — это откровение. Ты мне так сердечно пишешь, [думаю] что я мог бы остаться твоим товарищем. Ты можешь всегда ко мне прийти, когда у тебя будет что-нибудь на сердце. Ты можешь найти во мне твердую опору, если что-нибудь изменится. Ты могла бы у меня сбросить тяжесть своей русской души, могла бы сменить на полет свободного от земли и такого близкого ей Мирового духа. Макрокосмос — называет его Гете. Так много человеческого в твоем письме, так много еще не расцветшего, что я завидую тому, кто доведет это до зрелости. Подобно виноградинке, я позволяю тебе выскользнуть из моих рук, зрелой и сочной... Может быть, ты вином еще попадешь в мой рот! Приветствую тебя вечно!» (*нем.*).

[ii] Повернулась к нему спиной (*нем.*).

[iii] Слезы Христовы (*лат.*).

фона и «через них объяснялся». Я после этого случая особенно осторожна была в жизни. Я же не была уж так сознательно виновата. Я же не знала, а узнав все прекратила. За что же мне мучение? За что же ты страдаешь? За что должна я мимо своего счастья пройти??

Или м. б. все-таки не мимо!? Ах, Господи, помоги свято принять Твою Волю! Без ропота. Ты, Иван, осуждаешь меня? О, если бы ты меня увидел. Сердце мое увидел! Как много бы я тебе сказала сердцем! Как я искала тебя, крупицы малые я собирала у всех, ища тебя! Какой великий ты! За что мне счастье такое быть тобой любимой?! Я же не стою. Я боюсь, что ты разочаруешься. Ну, какая же я святая?! О, нет! Не увлекалась бы так. Не было ничего ужасного. Но так хотелось чуточку радости, уйти от больницы, больных, больного всего. Dr. S. был радостный... Я могла бы увлечься и пением, и шампанским, и цыганами. Я иногда будто себя теряю. Но... до границы. Я знаю эту грань. Ах, я люблю веселье! Люблю, что ты умеешь жить! Я знаю это!! Я еще узнала это давно, из твоих книг. Люблю тебя земного. Люблю тебя небесного! Как я хотела бы с тобой на тройке, в зимнем блеске, вдвоем промчаться! Ах, все, все с тобой прекрасно! И бег, и лёт, и вихрь безумства, и... тишина камина. Не оторваться, не кончить письма... Завтра еду к Фасе в Утрехт. Целую тебя, обнимаю, всей душой с тобой. Сердцем льну к тебе. Ласкаюсь киской. Люблю... Знаешь? Чувствуешь ли? Мучаюсь о твоем здоровье! Напиши же! Ваньчик, не присылай же того, что меня очень огорчит! Исполни! Пришли мне автографы для книжек. Не забудь! Ответишь на все вопросы?

Целую еще. Твоя вся Оля

[На полях:] Написал Марине? Ивик[384], не сердись, что я прошу тебя не посылать. Ты должен понять, что я не могу принять!! Я заплачу. Разгневаюсь! И главное, что мне не надо. У меня все есть!

Писала тебе о Груздевой, если Карташев о ней не знает, то спроси (при случае) о Зерцалове[385]. Это его сослуживец в Петрограде был. Ее муж (или любовник — не знаешь?).

83

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.XI.41

Господи, Ваня, да что же это?? Письмо твое от 15-го — какое отчаяние мне! Да, что ты себе выдумал?? Ну, поверь же мне хоть раз, что не могу я сознательно тебя мучить!

Отчего писем долго нет? Да, разве можешь ты себя этим уверять в страхах?! Мучить, не спать, болеть?! Ну, я не знаю чем, чем тебя уверить?! Я в отчаянии.

А я, — я дохожу до каких-то галлюцинаций.

Я все вдруг начинаю угадывать, видеть... Если не ошибаюсь, я тебе 15-го как раз писала, что безумно тревожусь за твое здоровье. Да? 15-го? Я все это время как в бреду. Я — вся у тебя, в тебе! Неужели не чувствуешь? Сегодня люблю тебя особенно нежно. Все, все о тебе! Неужели ты не чувствуешь! Я — вся к тебе! Ты увидишь — я 19-го тебе писала! А сегодня, возвращаясь домой от Фаси, я маме говорю: «у меня такое чувство, что получу какое-то необычайное письмо сегодня, — м. б. радость, м. б. горе. Но я вся — волнение». — «От кого?» — «Думаю, что от И. С.» «Думаю» это только маме, а для себя я знала, что конечно от тебя. У меня руки стали холодные, и не согрелись во весь вечер, даже от готовки обеда (мы обедаем в 7 ч. вечера). Почта... я уверена, что «что-то». Конверт с твоим почерком, — будто не ты писал — большие буквы. «Господи, что с ним?» — Крикнула. Сережа был случайно рядом. «С кем?» — «Так, ничего». Я с ума сойду. Иван, не казни меня, не казни, я достаточно наказана жизнью. За что только? Не знаю. Жила всю жизнь не для себя. Если бы ты все обо мне знал! Не хочу хвалиться. Но другие говорили. Желали мне счастья. Уверены были в нем. «Заслужила-де». Зачем же ты-то мне не веришь? Господи! Какой кошмар. Я улететь готова, телеграммы не разрешают. Послала бы с одним словом только «люблю». Не поверил бы? Ах, ты противный, злой мальчик, Тонька!! Чего ты хочешь?? Не мучь себя и меня! Не выдумывай, фантазер ты этакий! Сегодня я тебе портрет мой дала переснять. Пошлю, м. б. можно? Мне нравится.

Тонька, Тонька, Тонька!!!!! Что мне с тобой сделать? Ну, скажи? Ты всегда такой мучитель? Приедешь? Я знаю, ты мог бы! Господи, теперь я мучаюсь твоей болезнью... Что это? Отчего? Все, все хочу знать! Дай мне адрес твоего доктора, отца И[рины]. Можно ему писать? Знает он обо мне что-нибудь? Если нет, то не надо! У моего отчима было так с глазом — это *очень* серьезно. Боялся он холода и всегда голову в тепле держал. Ветер — самый вред.

Это — ирит? Будь ради Бога осторожен! Тебе тогда мои письма не прочесть, если газету трудно? Или можно. Писать крупней, более четко? Я не могу тебе писать четко. Пишу всегда очень нервно, быстро, одна мысль гонит другую. И. А. пишу четко, будто чистописание. Тебе — иное.

Скучно так, по-школьному. С ума схожу от твоего страдания! Не понимаю тебя. Такой легкости приходить в отчаяние! Ванюша, нельзя так! Ну, черт со мной, пусть я хвораю, если тебе легче от того, что на мне надо выместить, то вымещай!

Я все, все претерплю. Мне так уже больно, что хуже вряд ли может?! Ну, добивай меня, измучай, сожги... но хоть один раз дай тебя увидеть,.. поцеловать... Тогда, добей! Всей моей жизни, моей драмы (давнишней) ты не представишь... О, если бы вместе, поговорить, все рассказать!.. И тогда, 1937 г., ноябрь...

Что знаешь ты обо мне? Что мог себе представить?! 2-го ноября (мамино рождение) был бал. Я не была, конечно, там танцевали Сережа, будущая моя золовка и брат ее. Этот бал не важен, это только календарная точность... Я помню, я доведена была уже до... почти что длительного бессознания. И это уже когда была назначена свадьба, заказан стол в Берлине на 43 человека, музыканты и все такое. Я уже ушла из клиники давно. И вот тут-то, началось безобразие, полуанонимное, без ведома жениха. В Голландии интрига, вплоть до отказа в печатном извещении о браке. Без ведома Арнольда и даже его отца. Сестричка. Не Елизавета, — другая. Ведьма. Буквально — змея, ласкавшая меня прежде больше всех. *Что* было — не выдумать для сказки! И. А. остолбенел. Арнольду больше всего напакостили. Я же, думала, что это от него исходит. Когда от него узнала, что он-то даже ничего не знает, — не верила. Приехал он в Берлин тотчас же. Но это я убежала вперед. А было то, что 2-го ноября я не стерпела, взяла телефон и позвонила Елизавете: «я не могу, не хочу, ради человеческого достоинства не смею, дальше иметь с Вами всеми дело! Передай дальше Вашему роду, что я эту "честь" отклоняю. Кончаю все, *я* сама! Довольно! Я горда собой и своим родом! Всего доброго!» Они были на балу. «Как шпареные» — слова Сережи. Повесив трубку, я чуть не упала. Я в телефон кричала, не говорила. Была не истерика, а что-то хуже. Беззвучная истерика. Я побледнела, не могла идти. Мамины слезы меня привели в себя. Легла. И заболела. И. А. вызвал телеграммой Арнольда. Арнольд лишь в Берлине от Сережи на вокзале узнал всю гадость своей сестры. Елизавета горела стыдом за своих. Ездила стыдить сестру в Голландию, уезжал и Cornelius (Kees), за тем же.

Сумасшедший дом. Я как мертвая лежала. Не знаю сколько дней... Не ела, никого не пускала к себе. Боли всюду. Не было слез. Все было гадко. Хотела уйти от всего.

Из клиники я ушла уже. Средства к жизни, кроме моего заработка, уже годами не было. У меня было хорошее место, но я держалась за него зубами, т.к. как иностранка я не могла работать в городских и государственных больницах. Частных же[386] не так много. Ну, это особая статья. Тут тоже слез было проглочено не мало. Шеф отлично знал, что без меня не справится, но еще лучше знал и то, что мне не так-то просто от него уйти... Но это — в сторону.

Я все же решила уйти, порвать, бросить... Меня, конечно, приняли бы обратно на место... но... каково? Да, А. приехал, бесился, звонил отцу, глаза «открывал» тому тоже, унять просил девчонку. Отец заболел. Назначили все, как хотели. Девчонку игнорировали. Арнольд простаивал часы на коленях у моей кровати, молил. Являлся сам жертвой. 12-го ноября я встала. Согласилась... Арнольд уехал 12-го, взяв слово, что я приеду. Меня везла Елизавета 14-го ноября на поезде-эскпрессе в Голландию. Полуживую — невесту. 15-го я лежала. Елизавета отдалила сестру, сказав мне, что от нее «поистине злое исходит». 15-го мне долбили что-то о брачном контракте, о нотариусе, о деньгах...(!) ...гадость! Мне было все — все равно. 16-го я в 7 ч. утра встала, еле стоя на ногах, помню, брала ванну в холодной комнате. Брр... Пришла парикмахерша, причесывала. Я не выходила к столу. Чай не пила. Язык чужой. В 11 ч. подъехал автомобиль, — Сережа... Пришел ко мне, урвался из Берлина, он только что получил службу, несколько дней, маленькую. Я залилась слезами, его увидя. Благословил меня, положил мне золотой в туфельку (мама научила). Оделся, во фраке, красивый... В 12 ч. я сошла в «Halle» и... не узнала дома. Это был сад всяких цветов. Встретил А. — сердечно, возвышенно, как «Мадонну», — говорил он. Церемония (именно!) открылась. Лакей с булавой и т.п. И. А. велел мне ни гу-гу с сестрой. Я исполнила. В 7 ч. вечера с ночным поездом мы ехали, «молодые», в Берлин... Твой ноябрь ничто по сравнению с моим. В письмах невозможно все сказать. Сестра искалечила многое. Она в Америке. Мой «нервный шок» дал себя чувствовать долго. Рождество мы были у мамы. Я возвратилась из «hochzeitsreise»[i], больная. Ангина, — получила в итальянских лагунах. В бреду привез меня Арнольд. Лечил кавказец. Был очень мил. Спас от осложнений. Мама ему только верит.

---

[i] Свадебное путешествие (*нем.*).

Да, вот какой был мой 37 год. 12-го приехали в Голландию, — я кое-как уже выздоровела. На Пасху я была в Берлине у мамы. Как больно мне, что ты страдал тогда... О, если бы знала!.. Иван, м. б. было бы все иначе! Обожаю тебя, целую... о, кааак целую.

Безумец ты, мой, родной, любимый! Будь здоров! Пиши, хоть одно слово! Умоляю! Оля

[На полях:] Розы мамины.

Береги здоровье!!!! Успокойся! Родной, милый! Пиши! Я жду! Приедешь?

Эти дни я увлеклась твоими книгами, — м. б. потому и задержка писем?

84

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.XI.41
2 ч. дня

Свет сегодня, Оля, — письмо 15.XI — запоздавшее, с 2 фото, где ты в лаборатории, чудеска! Мудрая ты, г о т о в а я, — пиши! Ка-ак ты понимаешь в с е! до чего чуткая! — говорю, как ты пишешь о «писании». Все верно. Это — чутье такое. Я повторил бы твое — дословно. Нет, это не «учеба» тебе: я дал лишь «т е м у». Ты свободна. Как и что хочешь — делай. М о ж е ш ь. В с е сделай. Воображзишь все. Как ты о «ewige Weibliche»! Опыт в е к о в — в тебе. Само дастся. Ну, и богачка! Нет, не «кобылица молодая», хоть порой и мечешь ноги в воздух, — ты уже «в мерном кругу», удалая. Целую в... мордочку — в глазок «косящий» (о, не «пугливый»!). Будешь писать — сознай с в о б о д у, не оглядывайся, а — как х о з я и н! — над всем. Как в своих анализах. Высыпи из души, а после будешь формовать, очищать, стягивать. Я же знаю, как ты готова, — я вровень с тобой, поверь, дружка моя, заветная. Вот именно: ты из редчайших женщин, кому внятно святое — очарование «ewige Weibliche» — сама призналась.

Послушай, однако... так я хочу быть бережным к тебе, а ты — «добивай, измучай!» Объясни: чем я..? Не надо, Олёк... ну, прошу. Боль в глазу — прошла. Это я, помнится, недавно налетел на дверь, в сумерках. Мои капли уняли «тяжесть». В Москве было плохо: одурев от работы, спеша на воздух, с разлету наскочил на ребро двери, — это был удар! Разбил надбровную дугу в кровь, и скульце, и — в глазное яблоко, в зрачок!.. Вот «свет»-то увидал! 4 мес. во

тьме сидел, бо-ли..! Это было воспаление радужной оболочки. Повторялось, от простуды, но все реже, с перерывами в 3—5 лет. В Крыму, когда убили Сержика, такое было... Оля мне читала у печурки «Чашу», Евангелие... Знаю, это бывает и от другого, но в нашем роду — никогда этого «другого» не было: я — чистый. Ну, проверь в лаборатории — увидишь. Не боюсь.

Твой ноябрь 37 г. — о, мученица, загнанная птичка! Я плакал сердцем, я бился у твоей кроватки, я целовал твои реснички влажные, я видел твое замученное сердце, Оля... Я на коленях, с болью, глядел в тебя! Ничем тебя не потревожу, оберегу. Как ты дорога мне!

О враче № 2. Да, неосторожность, мне далось это болезненно. Преодолела, — а победителей не судят. Как все относительно! В сравнении с таким — «кавказец» — чище, умней, выше, при всей «кавказскости». Этот — самодовольный — циник, недалекий, да, — и пошляк. Его письмо — чудовищная наглость, бесстыдство. Если бы моя сестра получила такое, я знал бы, как ответить. Ты — хранишь?! ... — уничижение!? Ты — лишь — «гроздь полносочная». Тебе было позволено — «выскользнуть»... в надежде что — «вином в уста вольешься... вернешься...»!!

Обращение как с «вещью»! Да еще скрадено — у Катулла[387], повторенное не раз в вариациях... опошлено! Фу, гадко как! Даже и Гете потревожен этим ничтожеством. Бормотание о «Weltgeisten»[i]... И это повторное — «sollst»[ii], «kommen können»[iii]!.. — благодарила за дозволение?! Это — «Полюс» (вот это так «водитель»!), эта пошлятина о «тяготах русской души», (всякого жита по лопате!) с указанием «склада» («in mir»[iiii]!) — «должна и мо-жешь»! Мне тошно, будто наглотался грязи. И это — «Du»[iiiii]. Ты позволяла — «Du»? В 34, когда уже «вела» того, кто «теперь он целовал свою мадонну»! Что это?! как совмещалось?! Полуночное шампанское, поездка, «Du»... что еще... ? — и — «водительство»? Это мне — загадка. Психологический провал. Ездить — да еще с шампанским... — не зная, с кем..! Как это с тобой могло статься? Это же — «ловец», обыкновеннейший «минюскюль»[iiiiii]! «По-дешевке». В плащике

---

[i] Мировой дух (*нем.*)
[ii] Должна (*нем.*).
[iii] Приходить (*нем.*).
[iiii] У меня (*нем.*).
[iiiii] Ты (*нем.*).
[iiiiii] Маленький, здесь: ничтожный (*от фр. minuscule*).

дешевого «эстета», — и еще, при этом, — глу-пый! Да как же чист «наш легкомысленный Евгений»! (на письмо Тани). «Быть может, чувствий пыл старинный — Им на минуту овладел; — Но обмануть он не хотел — Доверчивость души невинной»[388]. А этот — вор, — и еще дешевый, без риска. И при этом такое «величественное великодушие»: «я дозволяю тебе выскользнуть из моих рук...» но..! — «м. б. вернешься»... и т.д. Вот оно «право на вещь» — «jus rerum»[i]! Тьфу! Дальше — хуже. После «леденящей» встречи... твоя просьба — спеть! Хотела ли — обнаружить свою силу? Опять — психологическая загадка. И его «демонстративная» тебе отместка! Это уже самораздевание бесстыжее... при честном народе! Вплоть до... срыва. Сорвалось, — и вот — наглядность. Что же это, как не глупость и не циническое бесчинство, намек, непостижимо наглое обращение с девушкой! Что могли из всего сего вывести остальные зрители?! Только одно — «роман завершился, — после поездок ночных... — ссорой. Ну, помирятся». Причем все, конечно, знали, что этот «срыватель струн» — женатый. И — последняя гадость. Гитара сунута в твой... гардероб! После сего — будь я тогда в Берлине и знай все это, я предложил бы этому «эстету» «проехаться в подгороднюю рощу». Ты была «безвольна», и все объяснимо. Ты преодолела, все же. Но «скольжение» было. Эти «игры» — известны — они пряны, щекотны именно «скольжением» — это — «demi-copulation»[ii], как у «Demi-vierges» М. Прево[389]. Это, конечно, показывает «темперамент». Во мне — осадок горечи. Прости за откровенность, но с тобой я не могу иначе. Ты так хотела. Вот это — из «изломов».

Еще — «изломы». Острой болью принял я твой «рассказ о семье»[390] — 28—29.X. Моя тревога за тебя родилась из «проявления»: побои зависимой девушке. Все возможно, «психоз безволен». И — «случай с братцем»: «ласково и нежно» но... «дала понять». Остался «красивым мальчиком»! Тут ласково и нежно могут быть приняты как «неопределенная возможность», полуобещание. Отсюда — надоедливая «влюбленность». Совместное катание на велосипедах: «нестрогая!» И еще: «драма... после узналось это». Отец, «деспот» — «добрый малый». Уж не с той ли служанкой? с «мадонной», которую били?

---

[i] Право на вещь (*лат.*).

[ii] Полуобладание (*фр.*).

Да, знаменитый род, все хороши, до «ведьмы» и начертательницы «значочков». (Betty[391]: «отпуск «рвача», визамолния: все пущено в ход для спасения втуне.) И в этом «доме» — жемчужина, в навозной куче. Попранная, так. Обреченное спасаешь твоею, чистой, кровью! Ты чтишь ее, эту исключительную кровь?! — дар Божий. Чти, чти. Она — неповторима. Я писал тебе про «девушку от Храма». Это я нашел, уясняя тебя — себе. Я там не сказал о «страстях». Понимаешь, как я искал тебя? Через... Дари. Она — дву-родная. От княжеского корня и — от Церкви. Ты — вся — от Церкви. Но, ведь, в Храме — все. Небо и — земное, греховное. Оно выгружается к подножию Креста. Там — Преображение, благовещение, Воскресение. Но там и аналой с Крестом и Евангелием, за ширмой, «канун» и пол, закапанный слезами. Вот — где — «Слагают "Schwere"[i] русской души», а не в пустопорожности «ловца» — «Draufgänger», конечно, — только м. б. без прыти и напора. Ну, кончу.

«Проблему» — я отодвигаю, хорошо. Ты была потрясена моей «ошибкой» — стремительностью, прямотой: я ведь не «ловец». И «Полукровка» тут совсем некстати. Слушаюсь, покорен. Конечно, никому я не писал в Голландию: я ведь и не глупец.

Да, я люблю жизнь. Иначе я не был бы тем, кто я. Умею ли я жить... — это другое дело. Нет, не умею. Но смог бы и уметь. Для читателя я, после «Человека из ресторана», — прожигатель жизни, иначе — как же? Дать так ресторанное..? В Питере родилась легенда в литературных кругах: служил лакеем в [1 сл. нрзб.] ресторане! Мне говорили об этом Кони[392], академик Венгеров[393] (проверял!!), Василий Иванович Немирович-Данченко[394]... Чудаки. Но... как же?.. Очень просто. «Любовь» к тому, что даешь и... некий дар. — ? — «Теория сочетаний», по алгебре. — ? — 10 знаков, а чисел из них — ? — — Ну, по 2—3 элементам — могу дать — почти все, внутренней логикой, психологическим чутьем... неким даром — и — трудом. Чтобы дать маленькое «Под горами» («Liebe in der Krim»), мало было видеть Крым: я прочитал 12-томную Энциклопедию Крыма (все о нем и татарах) — и надо еще «влюбиться». Надо было полюбить лошадей, «круг», азарт даже, чтобы дать «Мери», «бега» в «Путях Небесных»; — надо было полюбить всздух конный. Не любя женщины, не мог бы дать Анастасии, Паши, Дари, Катички[395] и

---

[i] Тяжесть (*нем.*).

прочих. Ну, а найдешь у меня... грязь? Почему — понятно: не люблю. Страсти... люблю и о-чень знаю. Из себя. Огненность моя не злая, а нежная, вся — ласка. И потому — женщина для меня — любимая, священная. Я служу ей, как в таинстве. Молюсь всему в ней. Вот, ты вышла из ванны — вода уже святая, для меня, умоюсь ею. Тебе служу, всему — в Тебе. И — не раб. Ибо тогда не было бы и служенья: раб не служит, а служит. И оттого — горяч, порой цепляю, невольно, в страстности.

Олёк, не надо было поливать бегонию: пора прошла, клубень сбереги умело. Напрасно столько требовала от нее. Ей нужен отдых. Вот она и стала усыпать. М. б. спасешь клубень. Узнай. Мне долго писать о сем, но я это знаю, я люблю цветы, и растворы знаю. Я сам выращивал самое капризное — глоксинии, — из семян-пыли!

Я полюбил тебя, Олёньчик, не случайно: я в тебе нашел именно то, что любил всегда, в частях... а в тебе увидел — все, в сгущенности. Ну... и — объят. И это все растет и крепнет. Ты все еще раскрываешься. Вот — и в этом письме, запоздавшем, от 15-го (было еще от 15) новое: чуткость художества (знаешь, как писать, без наставлений: надо увидеть.) — Увидь же! можешь. И южный город почувствуешь: дома из беловато-серого камня, небо — синь, пирамидальные тополя, кипарисы, пыльные, (в ржавчине-пятнах) — воздух степи, сухость, все камень... Минареты — редко — каменные ограды, из грубых кусков, на них сухие плети «ломоноса» (весна, март, цветут груши), — чего же еще! Все. Умирающие — рвань. Не разобрать — кто. Желтизна и бурость лиц, кожаные чувяки... полосатые штаны у татар, цыгане (они все одинаковы), русские — тоже. Интеллигенция..? Выбиты, ушли, служат. Дети — тряпки, кучкой. Матери... — страшные — да ты, все видишь зоркая моя ластушка! О, как люблю, хочу... ласкать тебя, родная моя дружка, — весь в стремлении и — бессилен — увидеть хотя бы! Во мне — будто гроза сухая... Ты жасмин любишь — почему? Не скажешь. Так и в любви. Да, могу все разобрать, почему и почему, а сказать итожно — нельзя. Неопределимо. Вчера так нежил тебя, звал..! весь таял, дышал тобой, теплом твоим, слышал даже теплое белье, дышание тела... негу-ласку. — и — призрачность. УзнАю... не узнАю..? Порой я чувствую тебя так остро! Из твоих писем — волнами, м. б. раз в месяц, дня 3 сряду. Как бы периоды... Я связываю это с твоим, физиологическим... ты понимаешь. Угадать хочу... и оттого, во мне — такая нежность, такая

тяга... к творящемуся в тебе, к твоему т о к у... к о ж и д а н и ю твоей частички — ж и т ь, родиться. О, дивное и — так с тобой соединяющее... до исступления! (Не хмурься за мои «анализы», — это же я, ты же не хотела бы видеть во мне лишь песнопевца!)

Видишь — и опять не написал в с е г о. В кипении мысли. Но все соберу, на все отвечу. Обнимаю, люблю, ласкаю, до писка, до... — как дети любят, — у-у-у... до «скрипа». — У меня довольно тепло. Утром было + 11°С. Но могу пустить радиатор электрический, хотя и норма. Но я — когда с тобой, а теперь — с тобой, — легко переношу. Вот, сделаю два—3 движения руками — ...будто обнял, привлек... — тепло! Дай насмотреться... дай же губки... чистые, чуть в пленочках... сухие? Принимай, без прерываний, селюкрин, — окрепнешь. Я послал, но вышлю еще, еще. Не бойся, вреда никакого. Можешь последние 2—3 дня сокращать до 2, 1 в день. Только — за 1/2 ч. до еды, не меньше. Проделай 2—3 лечения. И полюбишь — крепче. Плечики целую, «душку», шейку... нежно, чуть щекочу, ресницами... чуть дышу... тебя вдыхаю, Олёль, Ольгушонок милый. Твой Ив. Шмелев

85

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.XI.41

Дорогая моя Ольга, меня поразила твоя «гордыня»! Я тебе не «задачу» давал: я предложил дать свое, — дал лишь сюжет, и ты вольна не принять. «Дам лишь часть», — пишешь ты. Я п о н я л, — почему. На твои взгляды на известный вопрос не посягаю. Но, — изображая «случай» — (общий), ты и не ломаешь свои убеждения! Иначе — искусство будет не свободно. Не à thése[i] тебе предлагал, — а дай ж и з н ь! Здесь гордыня не у места. Она должна бы уместной быть в случае с «доктором-эстетом», — где она совсем сникла. Там ты дозволила обращаться с собой, как с «рабой». Да еще ценишь такое унижение! И. Ш.

[На полях:] Флобер учил Мопассана[396] 10 лет. И там гордыня не проявлялась.

Дай мне адрес прелестной дочки священника[397] в Гааге. Я спрошу у ней адрес Bauer.

---

[i] Тезис (*фр.*).

86

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.XII.41

Досылаю это письмо, не дошедшее
до тебя из-за приложенных
к нему трех фото.
И. Ш.

Я тебе, девочка моя, Олюлька моя, такое письмо вчера начеркал, — а сегодня чуть не послал! — что самому жутко стало! Чумовое, злое, — всю тебя изобрел мукой своей, — и — перечитав — порвал. Сама виновата! Ну, прочь тьма, я светлую тебя люблю, лелею. Такой останешься. Ты что же брыкаешься, заносишься?! Думаешь — не слышу? Все слышу. И «прищур» твой — «ну, будто в школе!» — «урок»... И сама же знает, что да, — это (брыкание) будет мне не по сердцу. Ты... передо мной... — кто тебя так всем сердцем обвивает... так любит... так ценит... — ты — гордиться?! Тебе обидным показалось? Ты — извини — совсем глупышка. «Ноги в воздух не мечи»! Лучше поцелуй, ду-рочка. Вчитайся, как я в тебя верю. Я тебе не урок задавал, а дал труднейшую тему, зерно — создай! А ты — «по-жа-луйста без наставлений!» — смысл такой твоих слов. Дайся, я тебя задушу, упрямку, злюку... прильну и — не дам дышать, не дам этому злюке-ротику раскрыться и отпускать свои «изломы». Ты высказала желание быть вместе у всенощной, как бы бессознательно предложила мне «зерно». Я взрастил его — для тебя, Ольгушонок, — в «Свете тихий»[398]. Послала «Девушку в ветре» — я взял как «задание» — и дал «Девушку с цветами»[399]. На твою творческую свободу я не покушался, как не покушался Пушкин на свободу Гоголя, дав ему сюжеты «Мертвых душ», «Ревизора». Таким же путем явились «Холстомер», «Воскресение», «Живой труп»[400]. О Достоевском и говорить нечего[401]. Всем нам задает «уроки» — Жизнь.

Я не брыкался, когда получал от нее «Куликово поле», «Про одну старуху», «Трапезондский коньяк»[402] (эх, прочел бы тебе эту — удавшуюся — песенку! — а ты бы меня наградила). И вот эти задания удавались, и моя творческая свобода не ущербилась. Тебе была предложена тема — очень трудная! — а ты проявила ненужное, неуместное самолюбие. Берегись: это страшная помеха! — в творчестве. Знай, что на творческую твою свободу и

мысли не было давить. Или ты так меня еще мало знаешь? Я с тобой вровень хочу, а ты... что же? Знай: ни сверху вниз, ни снизу вверх у меня с тобой. Пусть и ты такая же будешь! Если не хочешь дать целого, не пиши ничего: читать не стану. Я все понял, почему не будешь. А, разница идеологий? Болеешь этой рабской «ветряной оспой русской идиотской интеллигентщины»? Табу для тебя «вопросики» иные. В искусстве не может быть «вопросов». Оно — дает бесстрастно. И. А. «запретил»? Эх, поговорил бы я с тобой. Я бы тебе еврейский вопрос изобразил целой религиозно-философской системой. Не пиши. Этот страшный лакомый (пусть — боль!) кус я для себя оставлю. Я от великой любви предложил его тебе — ты отшвырнула. Я хотел вернуть тебе покой, за-влечь, у-влечь тебя... в работу... — предложил... — а ты... ?! Хорошо! Вот ты какая! Да, вумная головушка, если бы даже урок ..... (тут этого не было) чем же тут стыдиться, заноситься?! Флобер 10 лет гонял Мопассана. И когда тот принес «Пышку», — сказал: «Теперь, мальчик, можешь». Мне стало больно. Проявляй себя и свое — где надо, а не со мной. Не сохраняй писем, вроде — «с полносочной гроздью», подлого письма доктора № 2. Эх, что я тебе вчера писал! Так пронзил тебя — все о том же — что... пожалел и — порвал. Ну, довольно. «Девушка с цветами» тебе ничего не сказала. Значит — не сумел. Дальше — не повторю.

Дай мне адрес (имя-отчество) «чудесной» — одной из Розановых. Я кое-что о ней слыхал, в связи с г. П[устошкиным][403]. Та? Она должна знать адрес Clemance Bauer. Я напишу ей. Что ты выдумываешь — какой-то я «мужской»! Я — я, — такого скромника еще не встречала: мне все «мужское» в твоем смысле — претит! Я — весь «женский», и потому так высоко ставлю Женщину. Я бы не мог тебя ценить, если бы ты была «женой при муже». Мало же ты меня знаешь! Моя Оля — была всегда сама.

Ответь, как ты сумела совмещать «ведение будущего супруга» с «поездками», и его «целование своей мадонны» с... шампанским, (с поцелуями, конечно и еще с кой-чем (заполночь шампанское!)), с «Du»... с его тебе «наказами», с «sollst» и прочим, до — «грозди»! до восхищения, что тебя расценивают, как «petite-chose»[i], — да, да! Это дурацкое «величие»! Все мне непонятно в этих «изломах». «Жена при муже»! А теперь... в Шалквейкской щели — ты кто? Удобство! Где твое — «сама»? Где проявление себя?

---

[i] Маленькая вещица, безделушка (*фр.*).

Не в кричаньи же на рабочих? не в устройстве же гнезда? Ты — так, всего страшишься, где ты — сама. Ты же на веревочке! Ты так себя сама поставила. А «Шпекиных»[404] (почтарей) не смущайся. Как ты довольна, что тебя предупредил Шалквейкский Шпекин! Ну, и нечего со мной-то считаться. Я на твою свободу не покушался. Напиши-ка лучше, что было 9.VI.36 г. — все.

Твоя открытка от 6-го XI — сегодня!! и одновременно, от 26.XI, — крупными буквами. Я не писал из-за глаза. А, озлившись на твое восхищение от письма доктора № 2 — убрал все твои портреты на 3 дня. Уходил («серчала баба на торг, а торг про то и не ведал!»). Да неужто ты... чем больше к тебе нежности, покорности... — тем больше ты закидываешься? и — обратно. Не прав ли мой Женька: «Когда идешь к женщине, бери хлыст и розу»[405]? Ты «докторам» все прощаешь, до «гитары» — Ну, буду злой. Вчера у меня + 7° Ц. Плюнул — и окатился в ванной (3 таза) — водой в 4° Ц. Стало жарко, а к вечеру — бац! — + 38, 8! Плюнул — и выпил грогу. Сейчас — 36,7. И — тепло. Сейчас мой завтрак: бифштекс с печеным картофелем, шоколадный крем, 1/2 стакана Сен-Эмильтон, лепешка с черничным вареньем. — Ты писала, что моя открытка от 10-го «нечто вот такое, что мелькнуло сходством в письме — это было пределом муки». Объясни же! И об инженерше (о жизни и смерти) «это я испила тогда, только было наоборот». Что это, объясни. И еще: что было «ужасного», когда тебе было 19—22 г. (в 23-м?) Объясни. И — что это за «тайна» Георгия[406], он почему-то должен был отказаться от тебя. «Мама знала». Ничего не понимаю. Если ты что-то приоткрываешь — ты должна сказать ясно. — Sedormide попробуй 1/2 таблетки за 1/2 часа до сна. Цветочек ты вынудила заболеть: надо было давно (в начале октября) — бросить поливку, он должен был спать. Это — луковка, он не должен погибнуть. Ах ты, Оля — Оля: «твой ноябрь ничто... в сравнении с моим!» Утраты, одиночество, тревоги — боль за литературное наследие — кто озаботится? — неоконченные труды, утрата себя — головокружения до невозможности ступить шагу, рана в сердце, тоска. Не состязаюсь с тобой. Но вот что: все это, мое — моей волей не могло быть излечено. Все твое — могло быть избегнуто твоей волей. Ты сама шла на это, после 2-х отказов! Разве ты не могла обойтись без Голландии? Или у г. Б[редиуса] не хватало духа обойтись без отцовской помощи? Помню мы с Олей решили — не согласится мать — без нее обойтись. «Гроши» роли не играли,

ни «булава». Любовь все освящала, преодолевала. Я, помню — были месяцы! — из богатейшей семьи, (у матери 8 домов было в Москве) — бегал через всю Москву на уроки — давал за 20 руб. в месяц, каждый день! Студентом был. А когда Оля нашла раз <u>три</u> рубля на улице, — она сияла: купила мне... бутылку «хинной» — и одеколон! Мы смеялись, когда раз всю неделю ели печеную картошку. Я ей очищал, она — мне. И наш мальчик в ладошки бил, когда мы ему сразу, оба подносили! И девочка, за ним хо-
дившая, смеялась, — все картошка! А, получив за урок, я купил ананас. Ну, целую глазки твои, — птичка. Дай же губки. Люблю — [1 сл. нрзб.].

[На полях:] Еще не на все ответил из писем 30.X. «На могилке» — верни мне.

Сегодня Алеша Квартиров уезжает. Я дал поручение. Дал и портрет для тебя. Та бестия[407] не был у них.

Жду — пустят ли в лагеря. В Берлине узнаю, смогу ли в Arnhem.

Ах, какая ты... кобылица молодая! Ну, целую, злюка.

Ты мне надоела с Земмеринг. Я ей послал злое письмо. Довольна твоя душенька?

87

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.XII.41
(первое)
1 ч. дня

Здравствуй, дорогая моя Ольгулинька, получил твое письмо «для слепого»[i]. Но я зрячий еще — и кое-что <u>новое</u> вижу в тебе. Ого-о! — с чем Вас и поздравляю! — Итак, в тебе есть чуть-чуть, а м. б. и больше — от genus masculus[ii]! Как ты чувствуешь это «ewige Weibliche»! Даже до... «влюбленности» (ну, «чуть-чуть») в... актрис! Несомненно. Я и раньше твоего признания это чуял. В тебе, наряду с очень женственным, есть не-женственная рассудочность и ум, — ну, не eines Mannes[iii], но... чуть-чуть. <u>И</u> — размах. И — азарт. И... — да мно-го этих «<u>и</u>» можно насчитать. Но

---

[i] В этот период у И. С. Шмелева усилилась болезнь глаза, и О. А. Бредиус-Субботина посылала ему «официальные» письма, поскольку их должен был прочесть И. С. Шмелеву посторонний человек.

[ii] Мужского рода (*лат.*).

[iii] Мужчины (*нем.*).

это пусть будет пополнение «чудесно-женственного»! И твое восхищение Фасей, и еще — m-lle Розановой — с восклицанием — «если бы я была мужчиной!» Ну, и что же? Было бы очень плохо и — вернее — досадно... для меня! Все я в тебе угадал, теперь вижу. Сложна природа твоя, и... капризна. Мне надо поберечь мою Дари, — она — вся — женщина. И вот, когда увидал я тебя в лаборатории, мне бросилась в глаза твоя зрелость: ты мне показалась скорей женщиной, чем девулькой. Тут-то проявилось, очевидно, — почему тут?! — нечто в тебе от непрекрасного пола, — некая му-же-скость! Да, что это за словечко у тебя было — в скобках! — (perkers или ferkers?). Я не знаю, а это редко со мной, что я не знаю. В словарях не нашел. И еще — «Daraufgänger» — «напористый»? — Скажи. — 25.XI — ты испытывала — тоску? А я — истекающую к тебе... тончайшую нежность! — до изнеможения. — Сегодня у меня в квартире 6 1/2. Я опять озлился (болван управляющий не поставил [еще] какой-то решетки в отоплении и истязает жильцов). Посему, я, затеплив электрический радиатор, (а, пусть штрафуют за превышение «нормы»!) пошел, прямо из теплой постели, в ледяную ванную и окатился 4 тазами ледяной воды! И — чудесно. Я всегда так, «к л и-н о м»! И потому — пою. Холод, э т о т, никогда не одолеет! Я его одолею. — А как ты представляешь, что это за «ewige Weibliche», чем так пустомельски иногда, швыряются, не понимая. Не ты!

Я думаю, что это понятие — не только мягкость телес и чувств содержит, грацию движений, нежность — негу + sexe-appel[i], влечение к себе, часто непреодолимое... но, главным образом — материнство, его возможности, его цели (или бесцельность), его неистощимость... его подсознательную притягательную прелесть (с чего?), — первоначало жизни, залог ее бесконечности, и всеобщую нашу (всех!) зависимость от этого начала, от силы жизненности (и обетования!) в нем, на нас (всех) изливающейся. Это «Weibliche», это «reproduction éternelle»[ii] — светит н а м радостью и манит, потому что ...в нем все противоположно и противоборствует — смерти! В «Weibliche» — залог бессмертия! и предельной, жадно искомой к р а с о т ы! — Вот почему эта п р е л е с т ь — с Богоматери (все — божественно-Женственное! «Благословенна Ты в Женах!»[408]). И чудесно выразил это н а ш е, Пушкин: «Чис-

---

[i] Сексуальная привлекательность (*фр.*).

[ii] Вечное воспроизведение, возрождение (*фр.*).

тейшей прелести чистейший образец»[409]! И посему — сближение с любимой — предел счастья! Это как бы прикасание к «бессмертию». Почему и в итоге — «продолжение» — зачатие... бесконечность. Отсюда-то и частое противопоставление — теза—антитеза!: Любовь — Смерть. Синонимизм: Любовь — Жизнь, Любовь — Вечность! Женщина — символ Вечности, — «reproduction eternelle» — гроза ничто'у! Тот центр, вокруг чего — все крутится. Отсюда — неизъяснимость, стихийность этого притяжения, этого зова — призыва — этого (будничноо выражаясь) sexe-appel. На ушко я бы тебе сказал ясней, уяснил бы суть значения некоторых «глаголов» — определяющих «действие женщины» — и мольбу к ней — выраженную по-русски очень коротеньким словечком, всего в 3 буковки, из коих две — гласных. Ты поняла? И совсем неверно, выражение, что женщина «отдается»: напротив, она берет, поглощает, топит в себе... — она творит. А он — тонет в ней. Ибо она — поглощающая и вечно дарящая, сладостно творящая Вечность. Не то бы сказал еще тебе, будь ты со мной. В письме — лишь тень, неуловимость.

Еще раз скажу: если не можешь (или не хочешь) написать весь рассказ, — не посылай мне «кусочка» — я читать не стану. Излечись от «датской болезни» — «слабоумия» в отношении некоторых запрещений-вопросов. Надо иметь смелость своего подхода, а не «прописной истинки» — завета русской (и только, в былое время; и ныне — и общей) интеллигентщины, всегда ходившей на корде у самомнящих — и сомнительных! — «мыслителей» и «учителей жизни». В ряде таких вопросов стоит — еврейский — под табу. Его решение навязывали нам с конца 70-х годов (до сего — была свобода: русская литература не была труслива (запугана, ибо пугателей еще не было)): Гоголь, Тургенев, Достоевский, даже... Чехов, (помнишь, — его «Знакомый мужчина»[410]? — как его жиды не замордовали? М. б. потому, что в других очерках он «исправился»?) Я никогда их не боялся; если говорил с +, то по юному идеализму, но скоро возрос и увидал, что это такое! И уж никакие жупелы не были мне страшны: Я был им страшен, и они мне отплатили.

Моя «Арина Родионовна» заболела, не приходит. Сам как-то готовлю себе (уж и погром в кухне!) — половину посуды перебил, черкаюсь, жгусь, жгу, — плюнул! Придется писать «m-lle» Helene, — черт с ней, пусть подтягивает свои сквозные чулочки, трясет сережками и кудельками —

и просит показать ей, «а где теперь проходит линия фронта?» — И вдруг — окажусь я в положении о. Сергия (Толстого)[411]? Нет, пальца себе не отрублю, а... правдоподобней. Мне эти «положения» знакомы, — пока выходил победителем. Теперь порой спрашиваю себя: к чему же теперь-то укорачивать себя? когда все так шатко, так... безнадежно? Ско-лько «чаш» прошло мимо рта! — по моей светлой воле. А дни уходят! Последнее время я чувствую себя в этом смысле очень о г о л о д а в ш и м. Меня начинают посещать «сновидения». Я мучаюсь. Долго ли будут помогать мои обливания ледяной водой! Нет, я, конечно, совладаю с собой..? Кстати: на днях я разговорился с одним приятелем, очень милым и любящим меня, преданным. До 3-х ч. ночи проговорили, — он заночевал даже. Я разболтался (под влиянием дум о тебе) о прошлом, об «искушениях». И п о д н я л в себе такое воспоминание, что собеседник вскрикнул: «И Вы не дали об этом! Это был бы Ваш шедевр[i]!» Да, пожалуй, — за-был? Это была бы история редкостной девичьи-женской души, неописуемого горя-любви, преданности-жертвенности, о б о ж а н и я до... беспредельности! И — моей выдержки? Знаешь, — «искушения св. Антония»[412] (у Флобера, хотя — это бледное искушение). <u>М о е</u>, — было — необычайное. Но об этом писать в письме... — надо десяток писем, или большой роман! Это история Даши[413], у нас жившей (10—12 л.) со дня, когда Сережечке было 2—3 года. Ее отражение отчасти в... Паше («История любовная»), частью — в рассказе «В усадьбе»[414], т. VI «Карусель», дореволюционное издание[415], ты не знаешь, — в Гла-ше... — слышишь «созвучие имен»? Стало быть осталось от <u>э т о г о</u> во мне! Она и сейчас, должно быть жива, в Москве, ей, пожалуй, лет 50. Было 4 детей, муж умер в 14 году, от саркомы. Она была очень мила, блондинка, светло-голубые глаза, тоненькая — и нервная. Из деревни прямо, (Московская губ., ст. Лопасня Курской дороги) сирота. Мы ее воспитали и выдали замуж. Она ходила за Сережечкой. Если бы тебе <u>в с е</u> рассказать (ее чувство длилось и в замужестве — в е ч н о е!) — не поверила бы. Она, между прочим, <u>о - ч е н ь</u> любила Олю, ч т и — л а! — молилась на нее! — и — на меня!! — и — на Сережечку! Были такие положения, (о, ка-кие!) что «О. Сергий» — бледен в сравнении. Там — <u>ни-чего</u>, а тут — <u>что ни день — н о в о е</u> (одну главу я назвал бы: «Малиновое варенье»). Но главное — во Владимире на Клязьме, в 904—

---

[i] В оригинале: шёдёвр.

905 гг. (и мой «визит» — в июле!) — й — ее свадьба. До трагедии! До — потрясающе-трогательной пре-лести! Ну, как-нибудь поведаю. Целую, обнимаю, до — н е д р!!!, — дай же губки, Олёк! — страдаю. Доколе, Господи?! К тебе поездка — не решиться, т о л ь к о в Берлине. Алеша сегодня уехал. Повез тебе меня.

Я пока здоров. Твой — пока — Ив. Шмелев

Решится ли вопрос о моей поездке в лагеря?!

88

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.XII.41
(Второе)
5 ч. дня

Знаешь, что я хочу послать тебе, Олёк? Что ты очень любишь — так мне думается, — и я тоже, — кувшинного изюма, не синего — увы! — и не на ветке. — а «malaga», — очень-очень сахарного, крупного, золотистого, душистого! Будешь читать, поджав под себя лапки, как киска, (ах, как ты чудесно — «ласкаюсь киской!») и жустрить. Розами пахнет. Теперь его во всем Париже не найти, а я для тебя с б е р е г. Теперь он очень засахарился, — пишу тебе вот — и грызу, — и весь с тобой, и — в т е б е! Сейчас я весь в каком-то «р а с п а д е», в неге, истоме... при 9° в комнате. Но радиатор горит, грозя законом. Черт с ним, с... радиатором, конечно. По случаю «теплого» дня — пил коньяк. Не действует: голова светла, думы о тебе — горят, и... все горит. Этого я, наконец, не выдержу. Или — сгорю, или — у-г о р ю. Первое лучше, да? Знаешь, Оля, ведь я любил с детства — (ну, с 15 л. и до — конца) очень ю н о й любовью. А теперь, если бы мы встретились, было бы в с е так «глубоко-сознательно», — конечно, в самом н е умственном смысле, а в самом ж и в о м с о д е р ж а н и и! Ты поняла? То пьют вино, очень тонкое, неумелки, — а то — п ь ю т его знатоки-ценители. «Две маленькие разницы», — как говорят в Одессе. Почему же я с т а л «знатоком»? Научился, что ли, у кого? — как юный Дафнис[416] у «опыта»? Нет. Собственным чувством постиг в с е. Одно дело смотреть на вино, другое — п и т ь, не забывая, что э т о — в и н о. А я, обычно, забывал, по оставшейся во мне «юной порывистости» — в миг сгореть! О, теперь была бы вся полнота, цвет и вся душистая влага любви! И — будто и поздно. Но... странная природа: одному плоду определила созреть в несколько дней — из зеле-

ной ягоды — малина! — а другому — месяца полтора, — вишня! Ах, красивое слово, со-ч-ное! Я — за позднее созревание. А ты? Я — пе-рсики люблю, — тоже позднуши. И — гранаты. А — апельсин, если улежится и накопит «апельсинной» бордовой сладости! Слыхала, вдруг в театре апельсином... из ложи рядом? — т е п л ы м! с л а - д к и м! Ты вот — такая апельсина, — теплая, пряная, — я з н а ю. Оль, ми-лка... ну, что же это... ну, ка-ак же это... ?! Оль... ну, поласкайся киской... хоть чуть... Ольга!

Через дней 8—10, — узнав, что «Apres l'ondee» получен, я вышлю — «L'heure bleue». А — «Jasmin»? Ну, скажи. И — что еще? Пока есть. А то может кончиться. А какую пудру любишь? На меня очень действует, к р у ж и т сладко — «Эмерид». Коти. Но он и дурманит. Он действует, странно, как... это «подтягивание чулочка»! Искрой. И почему во мне — при всем таком — неизмеримо больше в о л и, чем у о. Сергия? Очевидно, Толстой был <u>весь</u> в м я с е, сам. Из себя и писал. А его «наставления» — головные и... безвкусные, как жеваная бумага. Его «Дьявол»[417] — жарок. Это его — и з м е н а Софье Андреевне[418]. Да. И она (С[офья] А[ндреевна]) не позволяла печатать при жизни. А я — хоть и 10 «дьяволов» мог бы изобразить, но отплевался от них. Толстой «Дашу» взял бы сразу, а я... Но это моя тайна. Ты ее или <u>не</u> узнаешь, или узнаешь лишь тогда только, когда... — не скажу — когда. Сама догадайся. Я крестил у ней девочку — Олю. В честь «барыни», должно быть. И первый сынишка у ней был Ваня, второй — Сережа. Не забуду, как на свадебном балу она сама подошла ко мне, и к а к — в первый раз! — взгляну-ла! И шепотом — глухим, задохнувшись: «ну, в первый и в последний... протан*цуй*... (!!!) со мной... сам х о т е *л* ведь... чтобы научилась...»

И я танцевал с ней. И она... — не скажу. А после, улучив миг, поймала меня в коридоре... и — обняла! Как — вот-вот уже женщина. Я был потрясен. И... месяцы... да, да... не была н и ч ь е й. Что творилось у них!.. Чего она ждала? Требования развода? Не знаю. Знаю, что это был ад. И — для меня. И я... должен был в м е ш а т ь с я. О, какая это была сцена... на кладбище Новодевичьего монастыря! <u>Я</u> должен был ее уговаривать. Она... чуть не подняла руку... на... Крест! Это была исступленная... жертва! В ее глазах я был виноват — <u>в о в с е м</u>. Без вины. Но она была права в одном, чуть права: «я ведь н и ч е г о не просила... все отдавала... не разрушала... только о д н о г о... вас любить! — а остальное — мое дело». Мы ее развили чтением,

и вот — она так могла говорить. Она хотела быть лишь наложницей. Шла на все. На ложь, конечно, — при исключительной чистоте своей. При неизменной любви к Оле! Рабыней. Это мне претило, при всем соблазне и при всем жаре моем. Ибо были часы, когда мы одни оставались в доме. Но было 8—10 дней, когда мы были только одни. Оля была в Москве, где заболел брюшным тифом мальчик наш во время гощения у бабушки. Так вот все и (потрясающее!!) произошло (а что — не скажу) в эти дни... Но тут целый «роман». Ты его узнаешь весь, если... или — совсем не узнаешь. Больше к этому не вернусь. Вот видишь, как давался мне опыт — для творчества! Трудно давался. Никто этого не знает, *одна* Ты. И потому я жду тебя. Ты — должна быть последним опытом, и — полным, да. Завоевал же я награду?! Тобой я все верну. Исчерпаю.

Ольга, Ольгуша, Ольгушечка, Ольгушоночка, — я пропадаю без тебя. Это — хуже всего. Это — предел. И — безысходность. Изволь написать обо всем. Ты мне много — ??? — наставила. И не сказала. Я уже писал тебе. Жду. Я слишком тебе открывался. Да, у меня на правой руке указатльный палец без 1/2 фаланги, с 9 лет. Это — мать меня втащила в темную комнату, я упирался, схватился за щель между притолкой и той стороной двери, где петли, и — дверь захлопнулась с силой: 1/2 фаланги осталась в коридоре. Невольно — всегда вижу это. И не помню злом. О, как целую тебя! Лучше бы ты мне все пальцы отхватила, чем — так. Оля, целую — всю тебя! Всю. Всю.

Твой Тоник

А правда, он все-таки немножко на меня похож? Таким же глупым и остался. А найди-ка где в литературе сцену — ка-ак[i] целовались через гнилой забор![419]

89

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.XII.41
Введение во Храм[420]

Я в большом смятении, мой дорогой мучитель!

Открытка твоя от 29-го меня положительно сбивает с толку. Откуда ты взял мою «гордыню»? Разве я не писала

---

[i] Слово взято в рамку И. С. Шмелевым.

тебе, что я счастлива и горда (но совсем не так горда, как ты это понимаешь) твоей «задачей» мне!? Как же иначе я и могла к этому отнестись? Я просто боюсь писать, — ты все совсем иначе понимаешь и толкуешь. Или я писать не умею, чтобы меня понять могли??

Иван, ты должен же сердцем, наконец, чуять, что я тебе говорю! Я не постигаю этого!

Я слишком маленькой, ничтожной, недостойной тебя себя чувствую, и... вдруг... ты, ты Великий — мне дал *серьезно* тему. Ты мне доверил, всерьез доверил!.. Ваня, разве могло быть больше радости мне? Подумай сам! Я так гордилась... Я не возгордилась, но гордилась... Я счастлива была. Я только боялась, что из-за незнания многого, из-за того, что это не из меня выросло, а тобой Великим дано, — не выйдет так, как этого хотел бы ты. И я сказала, что это ведь не из меня, что я только по-школьнически могу выполнить.

Ваня, я не 10 лет, я 100 лет хотела бы быть твоей ученицей. И уже одно то, что тебе не скучно было бы возиться со мной, так сказать было бы из-за чего, — это одно делало бы меня счастливой и гордой. Неужели ты всего этого не понял. И неужели ты не знаешь все еще к т о ты мне!? Я ужасаюсь тому, что все надо еще биться мне лбом о стенку, доказывать тебе, а ты?.. Не веришь? Ваня, Ваня, как это больно!

Ах, и о хирурге том тоже: ты обижаешь меня. Где же я «р а б а»? В том, что он, известный доктор, старше меня намного, бегал как мальчик, а я его отстранила? В чем? Когда я ничего о нем не знала и увлеклась было, — в этом раба?

Он не был ни пошл, ни груб. И это такой тип человека, который как раз дальше всего от рабства и своего и чужого. Если бы ты знал то мое письмо ему, что было ему как «offenbarung»[i], — то не бросил бы в меня камень. И он по-своему страдал оттого, что отойти был должен. Он говорил даже об уходе от жены... но *я* не хотела слушать. Подумай — дети! Он ни на что не посягал. Я была совсем свободна, а не раба. И если бы это было иначе, то не сказал бы он мне в письме из своего путешествия на Wintersport[ii] (с женой): «...ich habe so viel am Weihnachten an Dich gedacht und mir immer wieder überlegte, was Dich wohl zu der merkwürdigen Aussprache veranlasst haben kann. Ich bin

---

[i] Откровение (*нем.*).

[ii] Зимний спортивный курорт (*нем.*).

doch so viel älter als Du und wünsche mich von Dir belehren lassen»[i]. Нет, я не стыжусь ничего из моего прошлого! И ты не должен его стыдиться и бояться. То, что я увлекалась! Но я не могла иначе. Я ведь не кукла была. Но я всегда знала меру. Ваня, жизнь ко мне была так скупа, так бедна счастьем.., что, право, за эти «крохи» не надо бы упрекать. Я ему писать даже запретила (!), когда все узнала... Он граммофонную [запись] концерта присылал, чтобы выразить свое чувство... Где же я раба? О, нет! Не понимаю твоего укора! Как все это больно! Ты запугиваешь меня! Ваня, какой ты мучитель! Но я люблю тебя! У меня бывают абсурдные мысли иногда. Я порой думаю... Нет, боюсь сказать... Ваня, не мучай меня. Отчего ты не отвечаешь на мои вопросы? Отчего эти открытки? Отчего эти 12 дней молчания? Кто или что у тебя вытеснили меня? Я не могу... я так пряма с тобой, так без лукавства. Неужели это и есть вина? Надо хитрить, мучить, плести тенета, игру, кокетство?

Все это, что мне противно от природы, все это, чем женщины «чаруют»? Тебе это от меня надо? Отчего меня простую ты не бережешь? И когда я томлюсь неотвеченными вопросами, прямо тебе сказанными, — ты молчишь, ты отделываешься... открыткой? Я не упрекаю, я тебя слишком люблю для этого. Но, слушай, я знаю... редко ценят прямоту. Нужна я тебе — ломака?

Скромная «Таня»[421]... неинтересна?.. Я не могу иначе. Я с тобой — вся правда. Да и всегда, со всеми. Я не могу иначе. Если бы твои друзья все это знали, все эти мои муки, и на них твои все недоверия, подозрения, «страхи»... я думаю тебе бы всякий сказал, где правда... Ты не хочешь видеть. Ах, ну брось! Скучно, больно, тяжко это!

Я люблю тебя отчаянно... Ну, скажи же и ты! Ты чем-то занят... не мной. Ты не пишешь больших писем. Этих чудных писем, дающих мне жизнь! Да, жизнь чудесную!.. Они же и как сладкий яд, морфий... я к ним тянусь, я не могу без них... Если бы ты хоть знал, хоть чувствовал немного всю силу моей любви к тебе!

О, эти мысли, эти догадки! Абсурдны, ужасны, но почему они? Сказать? Я чувствую.., что ты.., что ты... не хочешь, чтобы мы были вместе.

---

[i] «...на Рождество я так много думал о тебе и все снова и снова размышлял, что могло быть поводом для твоего замечательного высказывания. Хоть я и намного старше тебя, но хочу учиться у тебя» (*нем.*).

Тебе я м. б. приятна для «Путей Небесных». Нет, все не то, не так. Но что-то в этом роде. Еще не ясно мне, но я открою. Одно я знаю: ты не хочешь встречи!.. Это не упреки...

Ужасно! И вот тогда, не следует, по «правилам» жизни и мне тебе говорить о своей любви..?

А я не могу! Я все хочу тебе сказать! Как я люблю, как мучаюсь, как ночи я не сплю. Как я тебя зову тихонечко и нежно. Слышишь? Я исступленно тебя порой зову. Как это тяжко... Как горько...

«Мне бесконечно грустно. Мне так мучительно, так страшно без тебя». Знаешь этот романс? «Ты успокой меня, скажи, что это шутка...» Морфесси пел[422]. Я его не слыхала. Пели-имитировали другие. Ваня, я *люблю* тебя!

Нет, нет слов... все те же три слова: я люблю тебя, я тебя люблю, люблю я тебя, тебя я люблю! Иван Сергеевич, Великий, Гений, Божество мое, я преклоняюсь перед... Вами-Тобой! Благоговею, замираю... от любви...

Все сердце залито, сжато болью блаженства. Ваня, пиши мне все,.. любишь ли еще? Отчего у меня чувство, что ты отходишь? Побереги меня. Я *плохо справляюсь* с силами. Не му-чай.

Ваня, я обнимаю тебя нежно-нежно, долго смотрю тебе в глаза, до устали, до слез... Я целую тебя так долго, так жарко и так трепетно... Ах, милый, родной мой, счастье мое! Радость!

Друг мой верный (?), я тебе верный друг, я знаю. Ванечка, не могу больше. Как я жду тебя, как хочу к тебе сама... как ужасно это расстояние! Скажи мне еще один раз, что ты меня любишь. Отчего ты так долго не писал? Отчего эти открытки? Отчего не отвечаешь на вопросы? Получил ли еще мою фотографию? Послушай, ты рассказал обо мне кому? Серову? Кто это? И что же? Видел он меня? И что сказал? О, если бы они все знали, как тебя любить можно!.. Какой ты противный, какой ты мучающий и... какой... чудесный!

Как ты жить умеешь! Как все меня в тебе восторгает, тянет к себе, как я безумно, да, безумно тебя люблю. Милый мой, покойной ночи! Спи спокойно! Ты видишь меня иногда во сне? Сейчас 10.30 ч. Скоро наше «свидание». Ты думаешь? Я знаю, когда ты думаешь... Ваня, а-у!? В туман, в дали: — а-у у !.. Слышишь?!

Твоя «девочка с цветами». Твоя Оля

5.XII

Случайно не послала письмо и получила твое (28.XII)[i]. Спасибо, мой родной, за все. Ты чудесно, ценно [дал] мне, меня «учишь», бранишь за № 2! Напишу еще. Ваня, по одному «его» письму не суди, — он был ведь зол, когда писал. Даже без обращения. Он не был грязен ко мне! Я тогда еще никого не «вела» — с А. была довольно редкая переписка. Я жила в больничных интересах, как в гробу. Оттуда и «срыв». Прости! Я тебя еще больше полюбила после письма!..

90

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.XII.41

Дорогой мой, единственный, несравнимый!

Писала тебе еще на твое 26-го, — получила твое от 28-го с Сережечкой, — бросила на полуслове, — стала отвечать на новое, запечатала и... не посылаю. Оттого, что все еще не сказала того, что кипит в душе... И не сказать. Ваня, Сережечку твоего, как Святого Рыцаря принимаю. Увидишь ли всю полноту этих моих чувств?! Милый, святой, прекрасный мальчик! Ванечка, — твоя частичка... Я много в нем твоего нахожу, не только [рост]. Что-то — неуловимое, то, чего именно свои не видят, а чужие именуют «фамильным сходством». У меня часто бродит мысль: а м. б. он жив?! Не может этого быть? О, если бы чудо!! Какое твое доверие ко мне, как я ценю это... Послать такое сокровище! Ваня, какой ты мне еще удивительный предстал! И кажется, будто я тебя теперь всего вижу... Нет, тебя так скоро не узнаешь! Какой ты чудный, бескомпромиссный. Да, я все, все понимаю. Драгоценность моя, сокровище! Я никогда такого не встречала, нигде, ни даже в книгах. Ну, кто такой? Нет такого! Нет, был такой — у меня в сердце, в душе. По «образу и подобию» того идеала, что создала я девочкой по папе. Папа был чистый, дивно-чистый. И знаешь, этот вот, живущий в сердце, — т.е. — *Ты*, — оберегал меня всю жизнь от грязи.

Ванечка, ты о № 2 — не верно. Ничего там не было, что бы меня забрызгало. Не надо о нем. Как я благодарю тебя за все, что ты мне пишешь, за то, как «учишь», как объясняешь как нельзя жить. Я в ужасе от себя... Неужели так

---

[i] Так в оригинале.

это и было? Но я не чувствовала тогда этого. Отчего же? Ванечка, какая же я скверная. Нет, я не «от Церкви» тогда, а... м. б. только церковный коврик для твоей коленопреклоненной молитвы. Ванечка, м. б. ты бы понял, если бы все я рассказала. Меня тот не грязью, не дон-жуанством прельстил, а как раз тем, что меня единственно может увлечь, — чем-то положительным, чистым. М. б. его любовь к детям, к пению и живописи, его любовь удивительная к матери-старушке. М. б. то, что среди моей ужасной «гробовой» жизни в больничной атмосфере с 8 утра и до 11 ночи... не было никакого свежего дуновения. И вот, на балу, тоже по обязанности службы, встречаю кого-то другого. Слышу об искусстве... Он не был груб. И никогда не посягал. Эта «красивость», эти фразы... можно объяснить их совсем другим. Это «выпускание» из рук... он сожалел искренне — не смотрел как на вещь. Это не «дозволение» вернуться было. Это его «молодечество», «храбрение». М. б. в этом единственном письме, которое тебе попалось, такое впечатление, но это не было так.

Я очень чутка была, — я бы грязь узнала. Он не рискнул бы тогда явиться на глаза мамы. А он ведь был у нас, — его только не приняли, т.к. не было отчима. Сказали дома нет.

Отчего я поехала? Да, этого не надо. Конечно. Что на меня нашло? Но, знаешь, я никого, никогда не боялась. Я слишком знаю себя. Я знаю, что не соскользну. Я это твердо знаю. Я знала, что не опасно. У меня бывают такие настроения-удали? Что-то такое. После работы, кропотливой, тяжелой для души, — уйти в другое. Будто забыться. Я ему ничего не позволила. Но я и этим казнилась. Поэтому тебе и писала. Не за это ли мне «и Аз воздам». Это самое необъяснимое, самое мое темное. Именно оттого, что «игра» без смысла. Спасибо тебе за то, как ты мне все показал. И, хотя это не так, не совсем так было, — все же я многому научилась. И... самое главное... я вижу тебя. Тебя, учащего, такого... чудесного! Ни одна ласка не взяла бы меня так сильно, как это твое «ученье». Я обожаю тебя, чистого, такого редкого, такого... совсем единственного! Я боюсь, что недостойна тебя... Ты разочарован? Но не надо из-за этого № 2... Он не стоит, ничего не было там для разочарования. О Кесе (брат А.) — не думай. Я его расцениваю очень мелкой монеткой. И для него «решительный» и «серьезный» отпор был бы — слишком многовесен. Вообразил бы, что всерьез его брать можно. Я отсадила его очень прочно. Будь уверен, — я их хорошо знаю. Мой тон к нему

таков, что он и обидеться не может (ласково и нежно), и подойти не решится. Серьезный же отпор повлек бы только серьезное отношение. Он не стоит этого. Это (по словам И. А.) «брючкин, сердечкин, сладочкин, улыбкин». Хорошо? Катанье на велосипедах? Ерунда! Он привязывался, что научит меня кататься и когда-то (давно) сказал: «Du hast wohl Hemmungen mit mir zu bleiben?»[i] Дурак! Я тогда грубо даже ответила. Это был 1937 г. А теперь я ездила, как... с собачкой, с... рабом. И такое мое поведение он лучше всего понял. Но этот, он не плохо в душе ко мне относится. Я знаю, он гадостей бы не допустил все-таки. Ему «отбить» хотелось. Но понял бы. Только я-то даже и до разговоров не сошла. После этого он очень меня уважает. От многих слыхала, как он свою Schwägerin[ii] рисует. Видишь. Слушай, у меня очень точное мерило для грязи. Я ее тотчас узнаю. Верно. Поверь мне. № 2 — забудь. Устно я бы тебе все рассказала, и ты бы — понял без сомнения.

О «изломах» еще: ты пишешь, что «все в ход пущено». Я ничего не пускала в ход. Я только рассказала тебе очень просто о семье, для того, чтобы ты мог себе представить и также понять откуда я «перст Божий» для себя увидела. И в этой скорой визе, и в «отпуске рвача-шефа» и т.п. Ванечка, я для тебя ничего не «пускаю в ход». Я тебе оттого все и говорю, что хочу без прикрас перед тобой открыться. Помнишь, всегда Суда твоего просила. Мне для себя важно определиться. Ты — мой судья. Мне очень хочется начать писать. Я изнервничалась оттого, что все помехи. Селюкрин меня «вздернул на дыбы» как-то. Но от этого еще беспокойней... Я все же принимаю. О бегонии я спрашивала в лучшем садоводстве, — мне сказали то же самое о клубне, но у этой не клубень. Тогда велели поливать и в тепло. М. б. будут побеги новые, т.к. зазеленело. У меня «легкая рука» на цветы. Азалия цветет 4 года сряду по 300—400 цветков. Шапка. Ее даже фотографировать хотели для рекламы удобрения. Не дала. Что за базар. Ты глоксинии выращивал? Это бархатные колокольчики? Чудесно! Как я за все это тебя люблю! Ты цыплят выводил? Я — тоже, под мышкой яйцо носила! Живая жизнь! Ванечка, мне не выразить к т о ты мне! И как касаешься ты... всего... самого такого некасаемого словом. Как служит тебе слово! Как послушно! Ванечка, ты Тютчева мне достал? Мне и радостно, и стыдно, что так балуешь! Не надо! Не балуй так! Ты спра-

---

[i] «Ты может быть опасаешься оставаться со мной?» (*нем.*).
[ii] Свояченица (*нем.*).

шиваешь, получила ли я «Старый Валаам» и «Мери». Нет. Еще нет. Ванечка, можно мне попросить тебя о чем-то? «Куликово поле» ты не достанешь? Мне очень стыдно, но я его так хочу. Здесь — безнадежно. Я искала в библиотеке ван Вейка. Никто ничего не знает, т.к. его библиотека завещана Университету, а Университет все, его, не интересующее Университет (не научное), отдаст аукциону. Я жду этого аукциона. Ванечка, послушай, что вчера было: у меня утром тоска была. Я стояла у календаря и вижу, что на 3.XII стоит. Сорвала листочки и загадала: «а что сегодня? То и будет». Вижу: — смотри и ты. Я посылаю его тебе, но ты пришли мне, — я всякую буковку твою берегу. Ванечка, я в следующем письме скажу тебе еще одно, о Сережечке. Я ошеломлена была вчера... когда увидела фотографию его.

Ваня, теперь о том, что важно. О том, что уже писала, что закрылось твоим письмом от 28-го. Но о чем надо. О встрече. Я много думала о ней. Я знаю, что это значит — на миг... и оторвать сердце. Я теперь уже скорблю, представляя это. Но... Сердце мне говорит, не чувство только, а и ум сердца, — что не быть встреча может только при ведении всего к разрыву. Без нее — топтание на одном месте, мертвая точка. Так чувствую и вижу я. Это не голос моего «движения». Нет. Я очень трезво, и строго, и серьезно все продумала. Встреча — необходима. Каков ее исход бы ни был. М. б. будет мука... Я все знаю. Но предрешив не видаться, — мы предрешаем неминуемо, если не прямое расхождение-разрыв, то... несхождение наверное. Так, и только так я вижу. Но я не настаиваю ни на чем. Я предоставляю все тебе. Пусть не заботит тебя техническая сторона для меня. Arnhem мне чужой город. Никто не знает. Expres и т.п. — это другое. Подумай, и ты поймешь. Мне необходима моя «незапятнанность», абсолютная независимость дела от кого-то третьего. Expres — дают поводы. По законам так надо. Не я это выдумываю. Я об Arnhem'е все продумала. Ты положись на меня — я очень «хитрая». Твои «планы» делают свидание еще более неотложным. Сережа с удовольствием к твоим услугам. Он тебя очень чтит, как и мама. Ваня, объясни еще твое: «ведь я всем жертвую, все отдаю, на что хоть смутно еще надеюсь, — отказаться от тебя, живой, всей, столько обещавшей, все отдающей... всю себя! Подумай — и ответь. Я сделаю так, как ты мне скажешь». Я не понимаю и томлюсь этим непониманием... Объясни. Почему жертва, ради чего, кого? Какая жертва? И что могу я за тебя решить! Я не мыслю возможности

такой даже... не увидеть... Милый Ивик, целую тебя; люблю бесконечно, ...ах да, не пиши никогда такого... абсурдного о каких-то моих возможных думах при встрече. Тебе не стыдно самому так думать? И еще мне приписывать?! Я же тебя знаю! Это ты меня не видел! Это мне бояться надо. Получил ли мое письмо — жизнь № 1?

Ваник, пришлешь надпись к книгам? Ну, хоть к «Солнцу мертвых», если так трудно ко всем! Ах, еще: ты не понимаешь, как я могла «при водительстве» увлечься № 2? Тогда «водительство» еще не началось. Т.е. вполне не началось. И... в 33 г. я предлагала Арнольду кончить [все]. Были такие данные. Я не была уверена, что я окончательно смогу его вести. Его Nevroze давал себя знать. А вообще-то: № 2 — никому — не измена! Ну, Господь с тобой! Твоя Оля

[На полях:] Твоя машинка все больна? Никаких духов больше не надо. Эти — чудесны!

Ужасно, что у тебя холодно!

Что-то еще хотела написать, позабыла, не могу «схватить». Автограф к глазам пришлю. Если ты пришлешь. Вспомнила: «Пути Небесные» ты пишешь? Твои «планы» помешают писать?

91

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.XII.41
11 ч. дня

Письма твоего, конечно, не сжег,
а поцеловал, не боясь никакого гриппа.
Да от тебя, — бояться!

Бедная моя детулька, Олёль родная, — Господи, ты больна! Умоляю, прими же «antigrippal» — он не дает вреда, он избавит от осложнений! Уверен, что ты не принимала, — как я просил! Сама не можешь, дай знать Сереже, чтобы извещал меня хоть словечком. Для меня ты — сама жизнь, больше, чем моя жизнь: моя вера, упование, вера в тебя, в т в о е, а это за пределами моей жизни. Ольга, все силы сердца, веры вкладываю в мольбу за тебя: будь здорова! да не будет ужасного, что было с тобой! Олёлечка моя чудесная, ласковка, милка, светик, свет мой, святая, девочка чистая — ты для меня в с я чистая! Прости мои кипучие зацепки, это б о л е н и е мое — ну, да, это ревность к давнему, необоснованная, это — мои «изломы»! Я кляну их, и — весь нежный к тебе, весь — светлый к тебе. Я прекло-

нился, я обнимаю твои ножки, я тобой болею, я люблю тебя неизведанной еще любовью, такой тонкой, таинственной, нежной, чистой... назвать не знаю. Оля, как ты можешь, как ты умеешь быть нежной, — сердце пропадает, истекает от этой нежности. Извини мой «разбор» твоего рассказа, — не имею никакого права касаться всего твоего. Ты безупречна — это верой знаю, — тебя только острой жалостью можно пожалеть за вынесенные тобой мучения. Я же знаю, как ты несла тяготы жизни, как ты жертвовала собой, как выносила семью на своих плечах, слабевших! — на своих нервах, безжалостно терзаемых житейским злом. Оля, ты для меня — Святая, при всех, как ты называла, — «изломах», — кто смеет в чем-либо укорить тебя! Я любуюсь тобой, Прекрасная! впервые у з н а н н а я, т а к а я! Ты мне дороже жизни моей, и клянусь, Оль-Оль, — я отдам жизнь во-имя твое, если бы это было нужно. Это <u>не</u> слова. — За меня будь покойна, во в с е м. Мой отрывочный рассказ (в 2-х письмах) о кусочке моей жизни — да не смутит тебя. И э т о, такое жуткое, такое н е о б ы ч н о е, такое порой болезненное — не столько для меня лично, а для бедной девушки, потом женщины, — прошло для меня <u>в н е</u>, — как это не удивительно мне теперь! Это почти невероятно было бы для читателей, если бы прочли такой, совершенно исключительный, р о м а н, — историю одной женской души. Как бы для о п ы т а постигало меня подобное! Ты д о л ж н а выздороветь, — и я расскажу тебе <u>в с е</u>. Часть — сильно п р е л о м л е н н о е! — только отразилась в творчестве, тебе известном, — пополняла «детскую историйку», — странно иногда совпадавшую с «Дашиной», как бы пролог к грядущему! Там — Паша и была Пашей, а тут именно Даша, ходившая за нашим мальчиком. Ведь она была совсем деревенская девушка, — и я для нее, в дальнейшем ее р о с т е, становился б о ж е с т в о м. Правда, м. б. я был не совсем заурядным и тогда. Я был молодой, необычайно живой (если и теперь я киплю, не слышу, не помню возраста!). Я — в воображении — был искрометен. Я мог часами говорить поэтами... я был артистом, разыгрывал дома целые акты <u>за всех</u> лиц, и я был... очень увлекательным <u>е е</u> учителем! Кааак она слушала меня, как смотрела! Я <u>н е</u> играл ею, — я все забывал, сам увлекаясь с в о и м. И еще — пел, по слуху знал чуть ли не все оперы (оперетки — *ни* одной!). Да, я даже и прославленной «Прекрасной Елены»[423] — не видал. Ты в моих книгах не найдешь, думаю, ни строчки. Ну, я <u>для тебя</u> — только для моей Оли! = для Тебя только, = я довольно подробно в с е

напишу, в письмах, — только лечись, окрепни. Я так встревожен. Тогда, в 40 г. — в феврале, я тебя жалел, я тебя ободрял, я уже тревожился. Теперь... — ты знаешь, кто Ты для меня. Я на коленях, я прижимаюсь к тебе, я весь в тебе, моя красавица, моя слабенькая худышка... я хотел бы отдать тебе свои силы... — слава Богу, я здоров, бодр, я весь с тобой, все миги дней. О, как рвусь сердцем, всем во мне! — к тебе, к тебе. Олюнчик, напиши, если пальчики в силах, — целую их, чуть сжимаю в губах. Господи, помоги Олечке моей! Твой В. Шмелев

Грипп дает малокровье, съедает гемоглобин. Непременно — селюкрин! ты должна получить. Еще вышлю.

Странное со мной: живость воображения такая, будто я все тот же Тоник, — ни ущерблення, ни на йоту! Я такой живости образов не чувствовал и 30 лет тому! Я все мог бы написать — и скоро! Единственное, чего *не мог* бы, — это — «Солнце мертвых»! Такой му-ки не повторится. Силу его я знаю. Да, не писали — и не напишут. И знаешь — недавно, я взял... и я прочел себе, вслух, мой шепот «Торпедке»... — курочке, уходившей... Там — все открылось мне. Но я все ужасы, все смерти — закрыл... — ты знаешь? — песенкой — такой простой, и такой грустной... — песенкой... дрозда. Конец, сведение всей эпопеи (это — эпопея, ибо захватывает эпоху, весь народ, скажу — мир!) я дал очень тихо, pianissimo... Да, голубка... не все это всё поймут, как ты, я, Оля отшедшая... читатели из очень чутких. Но все знают, что это. Когда я, вечерами (2—3 вечера) впервые читал маленькому кругу понимающих, в Грассе (Alpes Maritimes), у Буниных, (мы тогда с июня по октябрь жили вместе, тогда Бунин настоял, чтобы мы приехали на их виллу, в огромном парке, — «Mont Fleury», — я согласился, но... на общие расходы по хозяйству) читал только что написанную эпопею, — чтение потрясло. Бунин не мог сдержать себя (эта работа резала его, я знаю) — слишком он большой художник! — (а в искусстве правда повелевает, пусть — на миг!) — и вскрикнул, когда кончилось: «Это... будет переведено на все языки!» Я знал это... сверхчувством. Но они-то не знали, чего мне это стоило! Этот страшный акт творческий. Только один я знал. Да, Оля знала. И я — ты видишь — все — личное — обошел, укрыл, сколько мог, нашу боль неизлечимую. Там о Сережечке — только где-то — в молчании — в тО-нах! Книга, конечно, делала свое в душах... и будет. Но «бесы» и иже с ними... они корчились от злобы. Они прятали это «Солнце». Они

называли его «книгой злобы и ненависти!»[424] Да, большинство левых, масоны, и — евреи (большинство). И там было решено: ты понимаешь, что было решено. «Собрашеся архиереи и старцы...»[425] И травля началась... о, какая! Только Оля знала да я. И так я кипел, делая, вскрывая днями мира язву — ужас красный — бесов! Ныне я могу — я в праве — сказать облегченно молитву св. Симеона.

О, как я счастлив, что эта моя книга открылась твоей светлой, нежной, глубокой, чуткой, прильнувшей к моему — душе! Как счастлив, видит Господь! — Господи, благодарю Тебя! — что я встретил и узнал тебя, Оля! счастлив, что ты знаешь меня — и любишь. Это — за все — награда мне, за все. Благоговейно припадаю к твоим коленям, обнимаю, прячу слезы, — слезы боли за прошлое, боли утрат, непереносные... слезы нежности к тебе, слезы любви к тебе, радости тобой и слезы муки... тобой и за тебя. Оля, Ольга, Ольгуша... — губки дай, ну поцелуй глаза мне, — так много они плакали... но теперь и радостно могут смотреть на счастье — в отдалении... и в каком же! и — к а к же! Ты все почувствуешь. И боль, и любовь, и — вскрик.

Целую. Твой, только, и всегда. И. Ш.

Вот, на всякий случай, адрес доктора моего: Mr. S. Sieroff, 73, rue Erlanger, Paris 16. Зовут Сергей Михеевич (С. М. Серов).

92

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.XII.41[i] — День Введения во Храм
4 ч. дня — Пресв. Богородицы

Радость мой, светик Оля, киса-а... — молился о тебе сегодня. 21 ноября... — горькое, о, какое сегодня! День скорби. В этот день, в ночь на это 21.XI (4.XII) видели мы с Олей в последний раз нашего мальчика. Это было в 20 году. Его взяли от нас большевики и увезли. Так и не увидали больше. А нас сковали в Алуште. Это была пытка, отчаянные попытки хоть что-нибудь узнать, снестись с Москвой, с Горьким[426], с Феодосией. Это были конвульсии.

---

[i] К письму приложены поминальные записки «О здравии Ольги и Иоанна» и «Об упокоении Ольги и убиенного воина Сергия», на каждой из которых рукой О. А. Бредиус-Субботиной сделаны пометы: 21.XI и 4.XII.1941.

Всегда с тех пор, — если была церковь, мы были в церкви. Молились о... будто живом еще! — Вчера я забыл, что канун, — в тревоге о тебе. Но сегодня рано поднялся, был у обедни. Вот, видишь: о них-и-о нас молился и вынул просфоры. Птичка моя! Какое чудесное сегодня Евангелие! Я его очень люблю, этот простой, глубокий рассказ. И сегодня задумал, забыв: какое будет сегодня? И в чем смысл его для — нас? «Марфа и Мария»[427]! И так мне светло стало! Прояснило вдруг: такая бытовая, такая верная подробность! С виду — просто как! Зачем привел ее св. Лука? Как вспомнил? «Случай малый жизни» Его, этого выдумать нельзя. Так это не громко, не событийно. Это — было! И это врезалось в памяти. Частный случай — «в гостях». Это — сама Правда. Вот психологическое доказательство подлинности. Пришел в гости — и вот как просто случилось — маленькое, — и обида, чуть ревность! И — наставление. И — какое! Помните: есть земля, но — главное — есть Небо! Дух. Искания его. Бог. Свет. Высоты. И — Любовь! «Мне любовь нужна, не лепешки твои, Марфа», Сердце твое нужно. Принимает все — и угощение — яства, и — ведет. Мало сего: в этих нескольких строчках о быте — чудесный апофеоз-гимн: прославление Матери Света, Чудесной, — Материнства! Посторонняя, кто-то, свидетельница, — из гостей, конечно, или — прохожая, слышавшая ропот Марфы, и Его слова, — восклицает, славя Мать: «Благословенно чрево, носившее Тя, и сосцы...»[428] Вот освящение любви земно-небесного (человеческого — для смертных) акта! Меня, сегодня, впервые — так озарило. И я... думал все время о тебе, о нас. Если бы такой святостью благословлена была наша любовь! Быт, радушие, угощение, и — все о Господе, все Им пронизано, и большее отдано Вечной Правде, Жизни Духа Любви! — Любви. Я всю любовь беру, и земную, — брак в Кане![429] Он любовался Его Марией! И — благословлено. Оля, помолись, приникни к Ней, к Нему! Помолись о нас!.. Милая, как ты близка мне, бесценная!

Моя «Арина Родионовна»[430] все не приходит, — больна. Адреса ее не знаю, горе. Завтра наведу справки. Не хочу Елены, привык к новгородке, к ее «дозорам». Опять набил посуды, начудил в кухне, — не люблю плохих ресторанов, и в центр ехать — поздно было, от обедни. Но сыт, только в пюре картофельное вместо сгущенного бульона, из похожей бутылочки, — вкатил muscat! Ну, с сосисками сошло. И еще шоколадный крем, — как-то сумел сварить, — и — грушу с коньяком. Я, ведь, вроде рыжего Гараньки[431] (из

«Лета Господня»). И поглядел на себя со стороны, думая, как мой Василий Васильевич[432]: «Мудровать-то мудрует!». Бац! посыпалось. Смех. И все — о тебе. Оттого и набил посуды.

Олёлька, принимай же селюкрин и — антигриппал. Ты, гадкая, не послушалась, не принимала вовремя! И — заболела. Я з н а ю. Хочу цветов послать — не замерзли бы. Я здоров. Получила «Старый Валаам»? Автографы пришлю, когда точно узнаю, какие мои книги получила, в с е. Дай список. Целую лобик, глазки, губки, щечки, шейку, грудку, — все, все ..... до последнего мизинчика на ножке. Всю. Понимаешь... в с ю. Ох, Оля... о, какое томление! Ведь я тобой как бы восполняю все, на что имел право и силу в жизни, — и не взял: выбрал — славословие, как Мария. Но ведь Мария о б о ж а л а!.. Это же — любовь ее! Все брошено. Сидела у ног — и в с я в Нем. Я весь в тебе, в Тебе: в земной — и — творящей Сердцем. Весь — в твоем телесном облике — и весь с тобой, с Т о б о й, Д у ш а! Олёк, дай губки, дай, дай... всю себя! О, как люблю!.. Нет у меня сил не крикнуть, как люблю!..

Дай мне весь порядок твоего обычного дня, — по часам, — чтобы я знал каждый час, где ты, что делаешь. Когда ложишься? Тепло ли одета? В шерстяном ли белье, на тельце есть ли теплое? Если да — никогда до теплых дней не оставляй шерстяного, в с е г д а, — и — ночью! В проклятой стране болотной — иначе нельзя, — все сырое: сердца, умишки, слова, чувства, д о м а!

Прячу лицо в складках твоей одежды, дышу тобой, буквально. Хочу дышать!

Целую. Твой Тоник — Иван — Ваня Шмелев

Я весь в бунте, от тебя! Никогда не было т а к о г о!

Какое запоздание, — и какой огонь! Что это?! Как ты в з я л а!

93

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.XII.41
2 ч. дня

Встревожен твоей болезнью, девочка моя чудесная, радость, свет мой! Вчера запросил Сережу и маму, послал тебе, — много писал эти дни, — и все о тебе, во всем — Ты! Можно ли так — все сильней чувствовать, как ты дорога, как незаменима, как прекрасна! Олёль, пусть мама на-

пишет мне, если тебе трудно. Я совсем здоров, не боюсь холода, — мне так тепло, (жарко!) — от одного знания, как ты любишь. Ура, сегодня заявилась «Арина Родионовна», ахнула на кавардак у меня, — «кто это у Вас набил посуды!» — «Я, Арина Родионовна, с радости!» Ну, да, с радости, что я люблю тебя, больнушка Олёк, что я — в тебе, в сердце, и ты — во мне! Ольга, в с я!

О, я тебе расскажу невероятную историю — а она была! — и ты в сердце ее сбережешь. Таких историй не было, думаю, ни у кого! Вот какой был твой Ваня! Дурак? Сумасброд? Чудак? или — это готовился родиться писатель русский? Все это крепило меня — для будущего. Но и сколько же мучений было! Сейчас получил письмо. М. б. меня выпишут в Берлин. Оттуда буду хлопотать о лагерях. Какой, к черту, я русский писатель, если сам не увижу души русской, ее остатков после 24 лет ада у бесов?! Алеша Квартиров взял с собой мою карточку — м. б. ты скоро получишь. Изволь ответить, на каких духах остановился твой выбор. Я пошлю еще «L'heure bleue» и «Muguet». Не смей отмахиваться, — не лишай меня малой радости! Сейчас еду за новыми рамами для твоей мордашечки неизъяснимой. Затем — в Эмигрантский комитет[433], по важному делу о поездке. А буду уже в Берлине хлопотать об Arnhem'e. Я бодр и — всегда ты — во мне, вливаешь в меня силы. Но... как же мне писать хочется, — не меньше (или — чуть меньше!) — чем — тебя! Но если бы ты была уже моей, — как бы я писал! Оля, киса... («ласкаюсь киской»!) — как ты умеешь, ласково — (и что же я за этим раскрываю в воображении!) — о, милая! Не могу написать, нельзя, не выдержит бумага (сгорит!), как люблю! Олёк, как бы прочитал тебе кусочки из «Солнца мертвых»! Плакал бы с тобой. Да разве это только?! Я бы тебе сыграл свое! Оля, — дошло ли письмо, где я говорю тебе, отчего ты такая? Ты — от Церкви, и — от страстей. Люблю, душу тебя нежно в руках... Вчера доктор попробовал мое рукопожатие... — поразился. Стал крутить мне руки... и не мог свернуть, — я оказался сильней его. Ему 57 — и я ему шутя скрутил его руки. Это ты мне дала такую силу? Правда, я всегда упражнялся, — [1 сл. нрзб.] — 3 [1 сл. нрзб.] раза в день, когда еще «боролся с искушениями» («история Даши»!). Я расскажу... Сцена на кладбище Новодевичьего монастыря — небывалое. А сцена в июле (малиновое варение), когда Даша предстала... — не скажу. После, в полном рассказе. Если бы я написал этот роман, — его читал бы

весь мир. Но... я не напишу: 1) не люблю писать со своей жизни, 2) жива Даша, (должно быть) 3) на очереди «Пути Небесные». Но ты будешь знать в с е.

Сегодня утром твоя открытка — expres, 28-го XI. Знай, Оля: ни тени мысли — не должно быть у тебя, — что я не хочу писать, — я только этим и живу! Я — увидишь, — сколько писал тебе, с 26-го. Не разберешься.

Сегодня письмо из Берлина: зовут — на 2 мес.! — отогреваться от парижской ледяной квартиры! А я — несмотря на запрещение доктора — окачиваюсь ледяной водой. Но сегодня — в последний раз: на дворе теплей, только сырость, брр... — не терплю, как и ты, этого студня. Я люблю крепкий мороз, а свежо — я быстро согреваюсь... яркими представлениями — т е б я! Жгучая моя, солнце мое слепящее! Ольга... — Оль!..

Ну, надо ехать в центр, дела. Обнимаю, ласточка... («бровки — как ласточки»!) лелею сердцем, мыслью, тоской неусыпающей и... всем стремлением — только Ты! всегда! — Твой крепко, только, — Ваня

Спаси тебя, Господь, Оленька моя!
Будь здорова! Ешь больше!
Селюкрин — обязательно!
Прими «antigrippal»!
Не будь упрямкой,
капризкой, мнишкой...
и — злю-кой! Ты вся —
нежность, зло — не к
тебе! Ты — Свет и
лю-ба!

Твой И.Ш.

Remington-portative[i].
Моя машинка чинится — и вся будет
заново. Вот она и начнет петь «Пути».
Не лечилась лет 10. Пора и сдать.
Я без нее скучаю. Очень.
Но твое перо — спасение.
Всегда его целую, когда беру.

Почему?

И твои письма «с гриппом».
Никаких зараз не боюсь, а —
от тебя..! — это только
излечение в с е г о, от
тебя! Губки..!

---

[i] Портативная пишущая машинка (*фр.*).

94

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.XII.—6.XII.41
12 ч. 15 мин. ночи на 6-ое
Посылаю почему-то 7-го

Знаешь, Ольгушоночка, в нашей переписке сам черт ногу сломит. Она *не* может *не* войти в историю русской литературы, (но когда я пишу тебе, будь уверена, что об этом забываю и не для «истории» пишу, а весь — в тебе, до самозабвения!) и будущие словесники во многом запнутся, — придется делать много «примечаний». Дело в том, что «expres» перебивают письма, посланные раньше, ответы на expres перегоняют ответы на письма ранние, а т.к. ты меняешься по часам (я — хотя и «вспыхиваю», но редко), то путаница для гг. словесников будет непосильная, чтобы им разобраться в самом содержании «истории странных сношений, очевидно, безумно любящих друг друга корреспондентов». Смотри: в письме от 21.XI — expres'е — ты вся — нежность и радость моя. Получил его 27.XI. На другой день — писала — в отчаянии от моей обиды (и все о письме 15.XI!), непостижимо жестко. За это время я тебе — только свет посылал. А твое письмо 22.XI получил сегодня! «Историки» скажут — «письма из сумасшедшего дома!» Ну, это мое письмо поможет. Целую голубку. И. Ш.

Прошу: ешь больше устриц! Дают кровь. Я ем по 2 дюжины и фосфор.

95

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.XII.41

«Скажи как любишь» — В открыточке твоей от 1-го XII...

«Напиши как любишь» — мое, — скрестилось где-то с твоим в пути... (Или — неужели в неотосланном сгорело?)... Но все равно... эти... слова... летят навстречу! —

Ты хочешь того же, что и я!.. Как мне понятно это! Ты хочешь слышать, впивать глазами, еще, еще раз знать, прочесть, чтобы, на миг хоть, волной любви быть унесенным... чтобы словам этим дать сердце сжать до сладкой боли и... «замереть»... Так, я, читая твое, вдруг вздрогнувся, глаза закроются, и от них пройдет струей горячей до сердца. Сожмет его... Как чудесно!.. И... голова закружится чуть-чуть... И несколько мгновений я отрываюсь от

письма, чтобы снова, снова, снова его впитать глазами, вобрать чуть слышный аромат твой, всякую черточку заметить и отыскать за ней движение твоей мысли, чувства, угадать твое дыхание...

Ивик, радость моя,.. мне мало твоих писем! — А сама я... не могу всего сказать тебе в письме. О, как завидую я твоему Дару суметь словами сказать все так, что не хватает в груди дыхания... Как ты 2—3 чертами коснуться можешь такого [скрытого]... Конечно поняла... Как ты мне близок! Такой совсем ты свой, мой, невероятно близкий! Так радостно-близкий. И — так убийственно далёко! И в этом мука... Нестерпимо. Я так страдаю. Так же не может! И что, что я могу! Ваня, я так... несчастна. Несчастна и... в то же время так безумно счастлива тобой! Господи, отчего же так все сложно? Как опрометчиво я поступила тогда в 37 г.! Я вспоминаю шаг за шагом эту весну, лето, осень 36 г., последнего свободного и... вспомнила: 22-го июня 36 г. как раз пришел отчим из больницы накануне, — я так страдала. Я помню, было мне невыносимо. Я вдруг решила позвонить И. А., который тогда еще не был так близок нам. Я еще о личном с ним не говорила.

Я решилась позвонить ему. С. даже останавливал, указывая на то, что так просто его не тревожат, что он это не любит, занят. И. А. — «понял» и... позвал меня тотчас же к ним приехать. И у них, не оставил в доме (мне, помню, не хотелось и перед Н[атальей] Н[иколаевной] открыться, и я не знала, как же мне сказать все), но чутко угадав, повел гулять.

Когда мы шли, меня пронзило вдруг ужасной болью, под сердцем где-то. Я ему сказала: «будто меня, как бабочку, кто-то на булавку посадил». И. А. объяснил мне, какой это нерв и отчего может быть. Так было раза 2. Во всю жизнь не повторилось больше. Мы долго где-то гуляли и говорили. Я ничего не видела. Но под конец куда-то мы пришли, и вдруг И. А. остановился... Передохнуть... А я... вижу, стала видеть... — березки. И говорю: «Господи, как наши, будто Россия». «А я и хотел узнать, — увидите ли?» И. А. дал мне свои книги... Я потом (авг.) была на море. Взяла с собой и маму, — она издергалась тогда бедная. Сережа сдавал последние экзамены.

В начале сентября я возвратилась из отпуска, а 15-го сент. скончался отчим... ужасно..! Сережа в день его похорон лежал при смерти — фурункул в носу, не собравшийся в одно место, но расползшийся флегмоной по всей ткани. Было 7 разрезов. Спас его удивительнейший русский спе-

циалист — Б. Э. Родэ. 15-го же утром я получила письмо из Голландии, на котором и решила *все, все* кончить. Это — 36-ой год! Не лучше 37-го! Но тогда, эта боль в груди! Ваня, не твою ли я приняла из далей? Ваня, милый мой! Но все же отчего карать меня? За что? Эта опрометчивость моя вытекала из святого желания, жертвы... Я тогда не о себе думала... Я *никогда* не думала об этом как об «устройстве» себя или еще что-либо подобное. Нет, Ваня, верь мне. Пока я служила, пока я была необходима дома, моим, я не считала возможным устраивать «личную судьбу».

У меня было несколько случаев возможности «прекрасно устроиться». Но я... возмущенно отклоняла. Я не смела и думать. И... ни<u>ни</u>какой зависимости от этого «устройства».

О моей семье заботилась <u>я</u>, сама. Никаких замужеств из-за «устройства» я бы не потерпела. Работали мы с мамой. Мама дала мне и С. образование, и мы смогли стать на ноги. Я считала, что мой заработок — это мамин вклад. М. б. потому, что <u>все</u> я в себе держала «зажатым», — м. б. поэтому и был «прорыв», как тогда с хирургом. Все-таки жизнь-то шла, и я была молода, и уже 30 лет! Только «посмотреть» жизнь хотела! Что-то кроме клиники и долга. Не знаю. Я не оправдываю себя. Ну, довольно. Я слез наглоталась вволю. За что же еще и еще? Ванечка, я так тебя люблю! Так рвусь к тебе... так... вся твоя! Мне стыдно стало из твоего письма за мое «движение жертвенности». Я не продуманно сказала. Только по движению сердца. Опять опрометчивость. Я поняла, я знаю, что так нельзя. Что ты — без компромиссов,.. что, ну,.. вообще... нельзя. Не «по букве», не по «Лизиным» мотивам, и не по «Тане»[434], — но где-то в глубокой правде. Это — беспорядок. Беспорядок для слишком мне святого. Кукушка? В детстве у нас в журнале «Жаворонок»[435], я прочла рассказ: «страдания молодой кукушки». Птенчик в чужом гнезде. Нет, я не могу стать кукушкой. Я <u>не моих</u> боюсь страданий! О, милый, мой, чудесный! И все же... как ты далеко, далеко... Ну, хоть бы вдали тебя увидеть... Да, хоть во сне, сгореть в одном пожаре! И... не проснуться для мутной жизни! Милый, родной мой! Чувствуешь ли ты, как я страдаю! Как <u>ты</u> живешь? Напиши. Безумие порой на меня находит, не могу, все мне душно... Ив, милый! <u>Как</u> выражу тебе все безумство мое? Почувствуй! Да, ты — без компромисса, без всякого, без тени, — и мне — противен он. Противно компромиссное, но... прости, прости мне все мое безумство... мне иногда... у меня иногда все отступает на зад-

ний план. Я ничего не вижу, я не слышу ничего, кроме голоса любви к тебе безумной.

И я не подумала тогда обо всем, когда о «жертвенности» писала. Только я не смотрю на это как на «жертвенность» — это твое слово. Для меня — э т а дву-единая жертва, не... жертвенность, да еще моя!

Нет, не это, но... возможность жертвы, истинной жертвы... Ты понимаешь...

Ивушка, и все-таки, мы должны видеться! Я — потухну. Я не буду тебя своими огнями тревожить! Нет, не знаю, что я говорю. Я не знаю, ничего не знаю. И только все во мне кричит, что видеть тебя должна, что невыносимо это... так далеко ты. Что столько на душе всего, что должен ты знать, — все твое должна знать я. Ивочка, реши ты, — ты мудрый. «Свидание — пытка». Я знаю. Ужасно это! Обязательно напиши — объясни мне твои слова, где ты говоришь, что я должна подумать и решить. *Почему* должна *я* решить приехать тебе или нет?? Непременно скажи. Это очень важно! Ванечка, если бы т у д а... вместе... Невозможно это!.. Я преступление делаю, что письмо это так пишу. Если мы не можем встретиться, то... так писать... можно ли? Какие угли! Какая «сухая гроза». Чудесно как сказал ты! И все же не могу молчать. Сегодня я несказанно с тобой вся! Видишь? Во сне тебе срывала маргариточки красненькие. И у меня в саду одна еще цветет, последняя. Не хотела это письмо послать — но нет, знай все!

Поймешь ли муку мою? На цепи я! Ужасно, Ваня, любить так... вдалеке... Ах, ну кончать надо, а я не сказала того, о Сережечке, что хотела... Ну, коротко. Ваня, не сочти за святотатство это — ты знаешь, когда выпала карточка из письма, я крикнула, взглянув бегло: — это — одно лицо, с тем, 10 лет назад... Сережа лучше, духовный, Ты! Тот умер для моего сердца теперь совершенно. Откуда это сходство?! Я показала С., маме, и оба в голос: «как похож на Г. К.[436]». Мама впрочем поправилась: «Этот лучше, — можно сказать, что Г. К. на него похож». Все, кроме рта... так похоже. Ванечка, это не кощунство.

Я не могу ничего сделать, — это так странно! О. А. потомок его же предков. Оттуда? В широком смысле. Нация.

Тот, Георгий — был достойный. Редкость в XX веке! Он Сережечку не оскорбит сходством.

Сережечка для меня — Святой! Герой, рыцарь наш! Твоя душа, Ванечка! Ты — единственный.

Целую тебя нежно-нежно. Оля

96

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.XII.41
12 ч. ночи

«Твой — пока — Ив. Шм.».

«Пока»? А — *не* «пока»? Я хочу тебе сказать, дорогой Ваня, что это — совершенно твое, и только твое... Я не могу и не смею этим интересоваться. Я и не хочу тоже знать, как ты это разрешаешь. Helene или еще кто и как... Я не хочу узнать, было или нет... И никогда не сообщай мне об этом. Я исхода этой твоей борьбы не хочу знать. И не спрошу. Это каждый из нас «решает» сердцем и только сам... и по-себе. Я раздумалась об этом... что же, ты готов и... на... «увенчание», помнишь, как и что ты определил этим словом. «Священное увенчание»... Ну, не скажу (в случае Helene) — Священное — это было бы по меньшей мере не чутко, но «увенчание» — можно... Да?

Или... ты... воспользуешься услужливым, компромиссным обходом?? Ты-то? Или Helene позаботится..? Бывает. Я много в наших «клинических случаях» всякого видела. Часто случалось быть переводчицей у наших, русских «дам», обращавшихся за советом. А я... и перевести-то не умела... Ну, однако, — это не мое дело. Вы уж там решите. Я же больше ничего не хочу знать. Понимаешь, я тебя не упрекаю... Не пойми так. Но как досадно, что всякий раз, когда тобой душа особенно полна (получишь мое сегодняшнее письмо — увидишь), — ты окатываешь меня холодной водой...

Судьба!.. Кстати, — брось эти обливания — они могут иметь только обратное действие — вызвать циркуляцию крови еще более сильную. Действие только на короткий срок, для того, что бы вернуться к первоначальному состоянию... Все равно как при super aciditat[i] желудка превратно думать, что принятием только alcali уничтожишь причину. Это только «гасит» на момент, для того, чтобы после (скоро) вызвать сильнейшую реакцию. Я проверяла это [1 сл. нрзб.] 2—3 часа и... после падения кислотности вначале, — видела в конце гораздо больший подъем ее, чем в исходном пункте. Atropin (беладонна) и только + alcali, это другое дело, и... диета. Ну, довольно. Человек — очень интересная... история... уж не касаясь его души! Во мне-лабо-

---

[i] Повышенная кислотность желудка (*лат.*).

рантке ты увидел нечто «мужское»? М. б. оттого, что мне женственность в чистом виде мешала работать?! Иногда я проявляла себя с больными такой, какой никогда себя не знала. Для многих мягкость и нежность — губительны. Надо показать энергию, трезвость, напор даже, чтобы покорить больного, издерганного человека. Надо смочь приказать. Я часто достигала того, чего врачи не могли добиться. И мне многое (чисто медицинское) открывали пациенты, чего не решались сказать врачу. Я вставляла зонд в duodenum[i] в 1—2 минуты, тогда как доктор бился иногда часами. И это не ловкость, это сила другая, это suggestion[ii], уверенность, «приказ».

Больной ценит не мямлю, а решительного, того, кто ему должен помочь. Мне часто говорили обо мне мнения больных. А я смеялась... до чего же «Голиафом духа» меня они видели. А я-то... так слаба. И это никто не знал. Кстати... «мне нужно поберечь мою Дари, — она вся женщина». Ваня, Оля № 2 конечно уже «не Все-женщина»? Ошибка? Что ты этим хочешь сказать? То, что и «Аргентинка»[437] была, и Пенелопой, и даже Жанной д'Арк, и... много кем, а потом все-таки стала «акульим затрепанным хвостом»...

Почему же уж не «Полукровка». Поберечь Дари? От кого? От чего? Не ответишь. Я тебя теперь знаю: ты не отвечаешь на важные вопросы... Ты обходишь эти письма — будто их и не было...

Утро 10.XI.41

Я плохо спала. Как много ты можешь и умеешь дарить, и — как еще более мастерски берешь все обратно!

Не знаю, понял ли ты сам, что мне значат и как звучат в сердце твои слова: «Нет, мне надо поберечь мою Дари, — она вся женщина». Ты понял? От вредного моего влияния поберечь?! Эти слова взяли у меня *все* тобою так полно данное когда-то. Даваемое постоянно.

И вот, я, не в оправдание себя, а потому что это нужно, — скажу несколько подробней о моей работе и взгляде на нее.

То, что ты определил во мне и «зрелостью женщины» (!), и «genus masculus» (!) — это то, что немцы хорошо называют «Sachlichkeit»[iii]. Это то, без чего нельзя работать, там, около больных. Я обладала этим свойством вполне. Без него — не бывает ни хороших врачей, ни хороших ассис-

---

[i] Двенадцатиперстная кишка (*лат.*).
[ii] Внушение (*фр.*).
[iii] Деловитость, объективность (*нем.*).

тенток. Я не разумею ни бессердечность, ни холодность, ни «стриженую нигилистку-акушерку»[438], сплевывающую сигаретку, ни «синий чулок». А именно — «Sachlichkeit». Я должна была забывать, что я «genus femininus»[i]. И только тогда, забыв, я могла работать. С сознанием своей «женскости», женственности — я бы мучила и больного, и (смущением) себя. Кто много болел — тот это ценит и в сестрах, и во врачах. Смущение (а оно неизбежно, коли я не выхожу из своего «genus femininus») это то же самое, что хихикание на известные вопросы. Во всяком случае действие на больных одно и то же. Да и могла ли бы я работать и с докторами, не будь у меня этой «брони»? Я с ней, этой «броней» могла с невозмутимым спокойствием сообщать результаты анализов, какие бы они «щекотливые»* ни были. И среди «Leukocyter»[ii], «Erythrocyter»[iii] и т.п. называть и совсем другое.

Иногда даже, исследуя нечто самого врача. (Было так). А сколько симуляций открывалось, сколько семейных драм. Я ведь исследовала не только кровь, но все решительно секреции человеческого организма. Иногда это нужно бывало и для разводов. Ты понял? Я знаю, что не всем удается овладеть собою. И у моих учениц (я практически вела девочек) я старалась вызвать отношение ко всему самое серьезное. Я не видела потом ни одной улыбки. Я очень легко краснела и краснею, но на работе, — о чем бы ни приходилось говорить, (если это было дело), — я не краснела. Ты понимаешь, что в самой глубине было верное понимание долга. Кавказец на работе никогда ни взглядом, ни, ни чем не давал повода к смущению. Он гениальный врач.

И я скажу, что всякий служитель медицинского искусства, — а я считаю, что медицина не только наука, но и тончайшее искусство, — должен быть именно таким. Как истинный художник, смотрящий на свою натурщицу. Художник, а не «маратель». И... больше: я — «Sachlichkeit» в клинике, говорила с пациентом прямо, деловито и серьезно о чем угодно, — я вне клиники не смогла бы и подумать так. Так, до сих пор, я не могу, например, спросить в незнакомом доме, ну, скажем, в ресторане, — спросить о расположении некоторых помещений. Глупо? Через силу

---

[i] Женский род (*лат.*).

* у меня не смело быть «щекотливых» вопросов

[ii] Лейкоциты (*нем.*).

[iii] Эритроциты (*нем.*).

(каждый раз) себя принуждать приходится. Я — в жизни... до смешного — женщина. И застенчива до... ненормальности. Иногда, я даже, читая (ну хоть некоторые твои письма), одна, краснею. И ручаюсь, что устно, многого бы тебе не сказала. Ты знаешь, что я маме даже не позволяю войти ко мне в ванную комнату, когда я купаюсь! Поверишь? Ну, а когда болела?! Ужасно! Самое страшное было — это дать-ся им всем на растерзание. И тогда... о, как спасительно это «Sachlichkeit» врача! Понимаешь, стриженые нигилистки — они «вид» делают, что «Sachlichkeit», а на самом деле, только подчеркивают, или... просто «синим чулком» становятся. И перестают быть вообще «genus femininus». Я никогда не переставала. И если кто-нибудь, скажем, вызвал меня в вестибюль, то встретил бы все ту же Олю.

Однажды, я из клиники уходила в гости, очень интересующие меня. И, не имея времени, не заходя домой, переоделась у сестры. Выходя из комнаты, совсем уже не лаборанткой, а приподнятой Олей, я встретила группу пациентов. Там был один молодой ученый — американец... Их взгляды удивления, будто чудо увидели. На другой день я снова «в форме» — делаю им уколы... Американец смотрит и говорит: «Вас не узнать сегодня, Вы вчера были... совсем другая». Я молчу и прошу дать руку для укола. — «Я долго не спал, все думал, — как может так человек носить два лица?» Этот американец пытался вызвать у меня то, случайно виденное им лицо, пытался говорить, даже жаловаться на боли, на горькую судьбу свою (несчастный был очень, — ошибка доктора), спрашивал кавказца «когда же следующий укол, и нельзя ли, чтобы "русская" его делала, а не помощница». Кавказец мне «мстил» за это. Ничего не понимал, объясняя моим «кокетством»! Примитивен был! Но я так и осталась для американца сфинксом. Иногда, когда кто-нибудь очень «трусил», я себя даже колола, вытягивала у себя желудочный сок, чтобы доказать, что это — ничего, не страшно. Не хваля себя, скажу, что в практике врача я была ему правой рукой и отчасти именно потому, что... «Sachlichkeit». Это удавалось не всем, не многим. Хороших сестер было мало. Сестра — «синий чулок» — не любили таких. — Сестра «мягкая» — кончалось «интрижкой».

Нет, надо было остаться женщиной, сохранить и «sexe-appel», непременно сохранить, но убрать подальше, чтобы не мешали. И остаться — только человеком, Человеком!

Вот и еще какое (парадокс как бы) объяснение может быть этому «Sachlichkeit». И я не сомневаюсь, что Дари, поставленная условиями жизни в такую обстановку, — была бы именно такой...

Появился бы и «ум», и «рассудочность». Довольно об этом. О «слабоумии» — я не страдаю этой «интеллигентской» болью. И отношением к некоторым вопросам так же, как и к «сахарному мужику»[439]. Здесь несколько иначе. Ты не угадал меня в этом. Устно — понял бы. Мое восхищение Фасей и т.п... это как бы «постороннее» восхищение. Я это просто «вижу», именно только, «если бы была мужчиной»! Я просто замечаю. Хорош был бы художник без этого!

Словечко, которое ты не разобрал: pervers (извращенный). Так вот: — это не pervers. Ни — капельки от «чувствий», — для этого я — слишком женщина. Я всегда считала, что выполнила свой долг достойно. И это знали и другие! И ты напрасно тревожишься, что «зрители» это-то могли заключить. Эти «зрители» меня прекрасно знали и «заключения» могли быть невыгодны только для «него». Я могла бы тебе это доказать письмами и сослуживцев, и сослуживиц, — за кого меня они все считали. Ты когда-то мне бросил упрек, почему я «услаждалась» слежкой кавказца. Я теперь в праве спросить тебя: «почему *ты* позволял мучиться Даше? Разве нельзя было ситуацию изменить?!» Но я знаю, что я на это ответа не получу, как и на многое другое. Я не сержусь. Мне только хочется знать, *кто* я тебе теперь, если «Дари надо уберечь» от меня?? М. б. на это дашь ответ? Целую. Оля

Получил ли портрет?

Поездка твоя ко мне — тоже, таким образом, — твое дело[i]. Как хочешь.

Одно из писем от 3.XII получила.

97

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.XII.41 8—30 вечера
7.XII — приписки

Нежный цветочек мой, кроткая девочка, (и, ах, бурная какая кипень), больнушка милая... так бы и стоял на коле-

---

[i] В таких условиях, м. б., ты прав, и нам нельзя встречаться. Повторяю — твое дело!

нях у твоей постельки чистой, глаз бы не отводил, угадывая, что тебе, родная, дать, чем тебя успокоить... как ребенка баюкал бы, сердцем отогревал, слезами овлажняя смякшие губки твои! Сказки тебе шептал бы, надумывал светлые сказы для тебя, самые нежные, и твое пылкое воображение сливалось бы с моим, любовным! Ах, Оля, светик неугасаемый, вечный, чудесный, — весь в живых самоцветах светик! Пальчики твои согревал бы вздохами, тонкие, слабые, бледненькие такие, — я в и ж у их! — сердечко слушал, усталое, трепетное, как у птички пугливой, истомленной. О, ми-лая... безумица умная моя, чудесная и в своем безбрежье, — кипучая нетерпеливка — и сладкая, сладкая гневунья... — все в тебе так пленительно! Страшно богата ты, всеми дарами сердца, — вся ласковость... всеми души движениями, вся — преисполнена! Дива моя далекая, чуемая так близко, совсем близко... — вот, в этом сердце, вот тут вот, — слышишь, как по тебе стучится, к тебе стучится, тобой, тобой, — единой тобою, только! Смотришь... — я это, Оля, всегда с тобой, тобою воскрешенный, тобою найденный в пустоте, тобою отогретый, пробужденный во сне предсмертном! Я целую твои глаза, светлую бирюзу твою, капли живые Неба, лазурь живую. Я, несмелый, бровки твоей касаюсь трепетными ресницами, — трепетными от слез счастливых, от слез невольных, упасть не смеющих на твое лицо, святое, — мученицы моей пресветлой. Да, Оля... эти слезы мои — счастливые, слезы л ю б и м о г о, потрясенного небывалым счастьем — т а к о й любовью! Муки мои, скорби мои, томления, все, чем убила жизнь, — все ты собой закрыла, сняла с меня! Ласточка ты весенняя, песня моя последняя, — слышу ее, неспетую, — и счастлив! Сухие губки, больные,.. в пленочках, о, детские какие... — я их вижу, я их касаюсь мыслью, я их — л ю б л ю. Люба моя, ты дремлешь... о, спящая Царевна... как хороша ты... прядку сниму со щечки... целУю прядку — о, нежная! — дышать не смею, потревожить тебя боюсь, взглядом оберегаю... Сердцем пою молитвы, — «пошли, Пречистая, Олечке — легкий сон!»

Но как это слабо выражает — что чувствую! — Ты поймешь и такое, Оля... ты в с е поймешь. И скажешь — одной слезинкой, повисшей на ресницах, — если бы сохранить ее! оправить в бриллианты... — с е р д е ч н у ю... эту... б р и л л и а н т у! — бесценную!! — все потонуло в ней, все — любовь!

Я сладко плачу. Горит камин. Смотришь совсюду — Ты. И маленькая — за чаем, с мамой, — первая твоя — моя

картинка! Всегда на столе, с самого того дня, как пришла ко мне издалёка, «закрытая», но сердце мое играло, — помню. И стала раскрываться, живой цветок! Ныне — совсем раскрылась... Боже, как ослепительно! Ольга, знаю — откуда Ты! Вышла из творческих томлений, созданая и мной, и — Жизнью. Я ждал тебя, ты в подсознательном дремала... — и вот, рождение! — нет, это не песни сердца, не нежное ласканье словом, — это живая правда, это биение сердца, — тобой биение, мое живое Счастье! мое живое Небо! Господи, благодарю за милость твою мне, за Олю, посланную Тобой! Оля моя, отшедшая! Благодарю тебя за твои молитвы — ты ее вымолила у Господа, — пусть в любование только... издалёка... — этот, мне, тихий свет! радость мою, последнюю, — ярче всех радостей на земле.

Я тебе не наскучил, детка? Лирики я всегда чуждался, личной. И не могу вот — без лирики, без пения: душа поет. Слишком на сердце много, хочется нежно думать, нежно ласкать тебя.

11 ч. — весь о тебе, в тебе. Тебя слышу... и трепещу, здорова ли ты, больна... — не знаю. Будь же здорова, девочка! Осветись, озарись, свет мой немеркнущий, Олё-ля! Весь в непонятной дрожи... так о тебе тоскую, — новые, неизведанные чувства, — и боль, и задыхаюсь от волнения. Милая, будь здорова. Целую, всю, всю тебя, все в тебе.

Прошу тебя, не ходи на почту затемно и в дурную погоду. Что *это*?! Не смей. Не смей, не смей и думать: «не-буду беречь себя!» Вот, простудилась. Буду ждать терпеливо твоих писем, верю, что любишь, Оля... я буду терпеливо ждать. — Ты права: у нас только одна, Церковь — Христова. Эти раздоры[440]... — я в них не разбираюсь, в этом тленном. — Скажи, что вызвало в тебе восторг от сознания, что ты православная? Это же — так и есть. Но — какая частность жизни, случай, мысль? Ты написала: «Сегодня (23.XI, воскресение) я с такой остротой почувствовала радость Православия». Надо больше, чаще читать Евангелие — размышляя, уходя туда, где творилось Оно. Это — великая сладостность. Я мечтал дать народу «картины Его Жизни на Земле»! Дать — в великой простоте, ясности. Евангелие — предел сего, это — Божеское... но человеку нелишне помогать входить в это Божеское своим опытом... через сказ,.. — впрочем, это, думаю, я <u>для себя</u> хотел: дать бытовую сторону той жизни, дерзнуть — освоить Христа, подойти от «Фомы»[441]... — осязать все. Ставят — Мистерии, — потребность чувственной стороны

нашей. Так — и через слово — образ. Хотел. М. б. — в завершение, если ты поможешь... но как это зыбко! Давняя мечта — о Христе! Твой сон — напиши, родная. Боже мой! В тебе вышло из — подсознания — обо мне. Я тебе больно сделал, в письмах? И вон, как в ы ш л о. Это в связи с физической болью: ты уже была больна. Какая-то болевая точка ныла. И — связалось все. Милая, я никому физической боли в жизни своей, своим действием не причинял. Раз только Ивика хворостиной... да и то мимо, — увернулся! Очень я разгорелся на него, где-то он пропадал до темноты (в Альпах было, при Оле).

Как ты поразительно можешь лаской сказать! («ласкаюсь киской»!!) До сладостной боли в сердце у меня. И вот, начинаю видеть эту ласку... в целой жизни, во всех ее сторонах, в жизни с тобой... во всех, в самых интимных... — кружится голова. Оля, Олечка, Олёнок... — как я в и ж у..! — сердце обмирает, как хорошо, как чисто, как неизъяснимо... как — н и к о г д а! Не знаю. Оля о-чень была ласкова... чиста, стыдлива, — до чего стыдлива! В иных случаях она не позволяла, чтобы я был... Помню, ее роды Сережечкой... опасные, — он был очень крупный ребенок, — много мучилась. Я, ты понимаешь, был в ужасе, бегал ночью за гинекологом... что я творил!! И она, в страшных муках... помнила стыд... меня стыдилась! Помню: холодно было в нашей квартире (в собственном доме, мать дала квартирку), нагревала «Молния» +12!! Мороз был..! — в ночь на Крещение! И этот — первый крик..! в 1/2 1-го ночи. Не передать э т о... сверх-чувство! И — смущение, мое. И — «первая грудь»... О, святое Материнство! Как хочу дать это в Дари!.. И — два года ее счастья. И все — перед этим, все «движения»... толчки... — и все — в связи с красотой божественной природы и — Женщины! Как я невольно тебя мучил — сужу по твоим письмам. Я 6—7 дней не мог писать, глаз болел. Но — помню — страшная смута, раздражение на тебя охватило, — за что — не помню. Я сдерживал себя — не писать. Стыжусь. Мучился. Твое письмо, ласковое... ослепило, я взметнулся, я жалел, я негодовал на себя... — и — истек в сладкой боли, в счастьи... — я все исправил в себе. Я молился на тебя, молил тебя — простить мне.

Ну, оставим это — потемнение. — Начну тебе — об «истории одной любви». Кусками. Это для чего-то н у ж н о. «Исповедь воображения». Построю по обрывкам воспоминаний, склею... наитием, художественной п р а в д о й, что пропало. Но — буду краток. Ты пополнишь: у тебя с и л а —

не тусклей моей, м. б., — ярче в ином. Ты можешь. О, как целую, дружку чувствую в тебе, и — ка-кую! Ты смеешь говорить — «я — маленькая»! Да, ты для меня — деточка маленькая, только. Ты — ласка. Я — с лаской к тебе. Потому и называю — маленькая. А ты — бо-льша-я! Поверь, это не «ласка»: это — моя правда, т в о я. Суть. Ты — очень большая. Невиданая мной — какая! Не могу в этом ошибиться. Поверь в себя! Смешно: застряло в сердце у тебя: я, *тебя* дал — дал? — в обиду?! Я умру за тебя, Оля! Я не мыслю, чтобы тебя можно было — обидеть. Ты — неприкосновенна, все — мимо тебя. Разве можно оскорбить стихию?! Ты для меня в — «над всеми». Так и сказано — кому это должно быть сказано. Веришь? Ну, прибей, если не веришь. —

— Сереже был год. Надо было няню, помимо прислуги «за все». Оля хотела молоденькую. Я — не помню. М. б. — тоже. Сейчас — если бы случилось чудо, — взял бы «Арину Родионовну». Чушь, когда хотят к ребенку молодую. Конечно, есть «за это». Но больше — «за подлинную н я н ю». Язык!! Мудрость. Спокойствие. Ровность. Темп. Конечно, если старая няня — достойная этого имени. И всегда — с Господом. И — нет «помыслов». Чистота, «физика» уступает «духу», душе. Взгляд, огромное значение, — добрые глаза «ба-бушки». М я г к о с т ь, как бы — «шлепанки». Поэтическая сторона — у к л а д л и в о с т ь. Молитва!! Спокойствие чистого духа старой няни — сообщатся младенцу.

Сама жизнь т а к хочет. Мать — основа. Но — широкая «п о д о с н о в а» — бабушка, ее замена — старая няня. Меньше — всякого риска! Мудрость — во всем (опытность) передается младенцу. Медлительное стучание сердца старой няни... — важно для младенца. Я понял это на нашем опыте, при чудесных качествах Даши: Сережечка рос в тревожных темпах. В страстных темпах и — взглядах. Ее (Даши) взгляды (глаза) старались найти м е н я (да! это я потом понял). Хорошо. Прислуга встретила на улице «девочку», в платьишке. Приглянулась. Оля сказала — приведи. Явилась «Дашутка», служила в семье трактирщика-соседа. Сирота. Крестьянка Серпуховского уезда, Московской губернии. Брат где-то в Таганроге, сапожником..! Жизнь кидала. Оле понравилась Даша. Взяла. Пришла с маленьким узелком. 14 лет. Блондинка, светло-голубые глаза, прямой нос, лицо продолговатое (родинка у рта), благородного типа, худенькая, стройная. Рост средний, совсем средний — так и остался, т.е. был меньше, росла. Но всегда —

тощая. Очень живая. Масса напевов, бауток, загадок, «крылатых словечек», — жила у бабушки (померла) до 13 л., по-слуху набилась. Очень быстро схватывала все. Умная. Приятный голос, жидковатый, — девичьим остался на всю жизнь. Сережечку сразу полюбила. И — он. И Оля. Я... — вне сего был. Строгий, хмурый, — с женщинами, — все равно какие. Меня сначала всегда боялись: очень серьезен. М. б. это — самозащита? Такое было и у мальчика. Оля после говорила: «Я тебя не знала больше года знакомства: ты был какой-то "натянутый"». Это, должно быть, от смущения: весь напрягался, как мой Женька[442]. Но всегда льнул (в себе) к женскому. Тосковал без женского. Понятно: вырос между женщин (прислуга, сестры, подруги их, кормилица, всегда приходило много женщин). Отец любил женщин. О-чень. До — романов. Были — на стороне. Притягивал: был живой, фантазер, «молодчик». Любил хорошо одеваться, — франтил. После него стался большой «гардероб». Много шляп и прочего. До следующего раза. Целую, всю. Твой — «выдумщик» Ваня

Сейчас узнал: сегодня утром (7-го) умер Д. С. Мережковский, 76 л. Вдруг??

Оля, я страшусь: ты выдумала меня: я так некрасив, измятое лицо, — мой «жар» тебя увлек! увидишь — скажешь — нет, это не он! Ну, все равно, — «образ» останется.

Счастлив твоими письмами! Благодарю, целую руку.

Я здоров. Несмотря на 3 ледяных душа.

Доктор назвал сумасшедшим. Запретил опыты.

98

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.XII.41
12 ч. дня

Дорогая Ольгуша, ласточка, не пойму, — в чем я не могу поверить тебе? в искренность твою? — Объясни (это на твое письмо 23.XI). Верю тебе во всем, всегда. Не понимаю... Тебе не верить — тогда остается что же? — во все веру утратить: ты все, ведь, для меня! Или ты сомневаешься в этом?

Если бы ты могла душу мою увидеть, — изумилась бы, как ты ее взяла, наполнила собой, все заместила в ней, собой все осветила! Думал ли я, что может быть такое?! Я, для кого повелительным было только мной рожденное в

мыслях, чувствах, в воображении... в вере, в моих убеждениях... — я поставил со всем этим, рядом, как максиму мою, — ведущее начало, — тебя, твое, от тебя... — душевно-духовное твое — и да, да... — обаяние образа твоего, меня заполонившее. Это уже — как бы — «богослужение». Поставил, принял, в и д я, что это — только благо, только свет, только — счастье! Ну, что же еще сказать? Или — кто мог бы больше, выше сказать тебе?! Одно движение твоей реснички — уже значение. Правда, есть во мне начала незыблемые, где ты бессильна изменить что-либо, но эти начала и для тебя священны, если ты глубже вдумаешься. Мы во всем едины. Мы так похожи! Потому и не в силах — ныне — забыть друг-друга. Мы только половинки целого, нам неизвестного во всем объеме. Мы будем сожжены великой болью, если друг друга потеряем. Я не могу без тебя ни мыслить, ни дышать: я опустошусь. В ночь на сегодня... я почти обладал тобой, — проснулся с клокотаньем в сердце, обнимая... И заплакал — от безнадежности тебя обнять, о, горлинка моя!

Как чутка ты! Ты выбрала «Степное чудо», — я не слишком его ценю, родная... — эту песню сердца. «Свечка»[443]... — да, в ней ярче, в ней осязаемей Родное. Но вот, вчера, по просьбе прочитать — моих друзей, — я им читал — «В ударном порядке» (из книги «Про одну старуху»)[444]. Знаешь, Олёк, этот рассказ я никогда не мог читать публично. Сколько раз начинал — не мог. Знал, что задохнусь и оскандалюсь: зарыдаю. Не могу. Вчера я читал его двоим, мне близким: доктору, и одному поэту[445] (ты не знаешь: это — поэт, хоть никогда не напечатал ни строчки, — очень чуткий, мой ценитель, давний). И что же? Задушили слезы. Я дважды прерывал — не мог. Боль — за все. А последняя глава — земной поклон... — я зарыдал и бросил книгу. Как я мог — так?! Когда писал я — плакал, помню. Тут — предел великой силы слова: жалит оно все — сердце, душу, глаза сжигает. Этот рассказ я отдаю тебе: в будущих изданиях твой он, в честь твою, Олёчек, в поклоненье твоему сердцу чуткому! Ты освятишь его, — прими, родная. И «Степное чудо», — и «Свечку» — все прими, ты, вся — родная, вся — Русь — чудеска!

Если бы мог тебя обнять! Не было бы ночи, да... зарю бы встретили твои глаза, — вся — в Солнце! вся — в истоме, в жажде... Что я пишу, безумный?! Прости, детулька... бешеный такой, безумный... как сегодня, ночью... молил тебя, весь жил тобой, всю тебя чувствовал, живую, яр-

кую, и — бурную какую! Не знаю, что со мной. Не знал такого, ни-когда... не думал.

Северный цветок так — спешит пройти все фазы краткой жизни, живет часами, бурно, — два-три дня — вся жизнь. В снег семена бросает — дозревайте! Дозревают и жизнь дают, как в чуде. Чем кратче миги, тем — предельно ярче. Так — со мной? Как странно. —

Продолжаю «историю». Но... как тревожусь о твоем здоровье!

На девочку я, конечно, не обращал внимания. Приятно было слушать, как она напевала свои песенки засыпавшему мальчику. Всегда живая, быстрая, веселая. Всегда напевала что-то. Хорошо играла с Сережей в игрушки, сама забавлялась. Вся была довольна. Вечерами я часто читал вслух Оле классиков, Пушкина особенно. Уложив Сережу, Даша слушала у притолоки. Оля позволила ей шить за общим столом, в столовой, и слушать. Она многого не понимала, но слушала жадно. Я все-гда хорошо читал, — «как на театре», — говорила Даша, — мы ее брали иногда, в ложу, а Сережа оставался с прислугой. Балет кружил Даше голову. Раз я ее застал, как она танцевала на «пуан», приподняв юбчонку. Ноги у ней были стройные. Ей было уже 15—16 л. Оля решила учить ее грамоте (Д[аша] не умела читать!). Скоро выучилась. Жадно вбирала грамоту, — превосходная память, сметка. Оля решила готовить ее на народную учительницу. Та была рада. Я внес метод в обучение. Сам заинтересовался. Я уже окончил Университет, отбывал воинскую повинность, на прапорщика запаса. Летом жили в Петровско-Разумовском, близко лагеря. Впервые узнал Д[ашино] чувство ко мне. Раз возвращался бором на велосипеде из лагеря на дачу. Близ дачи встретила раз меня Д[аша] с Сережей и... краснея, подала мне букетик «первой земляники»: «для Вас, барин, набирали с Сережечкой». Стал находить у себя на столе — цветы. Иногда сам учил ее — рассказывал из русской истории. «И все-то, все-то Вы, барин, знаете! и как хорошо сказываете!» И всегда — краснела. Чисто одевалась, всегда вышитый фартучек, на груди шиповник или жасмин, как делала Оля. Моя адвокатура[446]. Первая «казенная» защита в Окружной [палате]. Оля пошла слушать меня, и Д[аша] упросила взять и ее. Она увидала меня во фраке, — очень ей понравилось. Казенная защита — скучное дело для суда. Всегда рецидивисты — и обвинение. На этот раз было не так. Судили рецидивиста за 3 преступления: кража (попытка) железных балок со стройки, побег из тюремной больницы и отлучка с

места приписки. Все — доказано. Но я сделал из этого — событие. Товарищ прокурора должен был возражать на мои «оригинальные» доводы. Зал суда наполнился адвокатами (прокурор говорил вторично! небывалое!). Я видел Олю и Д[ашу] в первом ряду публики. Я снова разбил доводы прокурора, доказывая, что покушения на кражу не было, — было «озорство!» — покушение с «негодными средствами». Чистая софистика, конечно, но я был молод и горяч. Председатель суда наклонился в сторону секретаря и спрашивает: как фамилия молодого защитника? Я это слышу. Мне льстит. Моя 2-ая реплика товарищу прокурора — убийственна. Я как бы ввел новый принцип — «шальное покушение на кражу» («кража никогда не могла удаться») и это знал обвиняемый. А если он уже вывез со двора балки, то это объясняется непостижимым легкомыслием сторожей. (Ну, представьте, гг. присяжные заседатели, такую картину: Среди бела дня я прихожу на Неглинную, к Государственному банку, и на людях начинаю подкапываться под стену! Что это? покушение — или — озорство? Или — бросаю ясный оловянный [1 сл. нрзб.] — кружок на прилавок в пивной и кричу: две бутылки пива!) Присяжные улыбаются. Прокурор зеленеет. Вердикт по всем 3 обвинениям — невиновен! Небывалый случай. Суд смущен. Мой подзащитный оглушен! «Подсудимый, вы свободны!». Аплодисменты адвокатов. Я — весь — блеск. Помню: Даша смотрела, как на божество. Оля улыбалась на «софиста»: она уже знала, как я буду анализировать, — я не спал ночь и говорил ей, как присяжным, изучив дело. Спрыснули у Чуева успех — кофе с кулебякой. Д[аша] не сводила глаз с меня, — помню — пролила кофе на платье. И впервые — дома, вечером, — когда я встретился с ней в коридоре, она вдруг — «ах, как красиво вы, барин, говорили... заслушались все... и фрак очень красиво... очень было жалко вора, бледный был... и вы его оправили... он Богу будет за вас молиться». — «А ты поняла?» — «Все поняла... Вас-то да не понять, умней всех!» Адвокатура мне была противна: я видел всю кривизну.

Я чего-то ждал. Надо было зарабатывать, дела были мелкие, мне патрон не давал солидных, — раз только послал на шаткий гражданский процесс, за себя: «75% провала, попробуйте». Я попробовал — и выиграл. Он мне заплатил (из гонорара в 3 тысячи — 300 рублей!). Прилично, по тем временам, на 2 месяца жизни. Но я решил узнать провинцию, бросил адвокатуру и поступил чиновником особых поручений в Казенную палату во Владимире на Клязьме[447].

Выходил в податные инспектора. Это было в 902 году. Мне было 25 лет. Даше 17—18. Она стала красивой девушкой. Раз я ее застал в зале перед зеркалом, она любовалась, какая у ней грудь, подпирала ее ладонями. (Это дано чуть в «Истории любовной».) Увидев меня, она вскрикнула — и побежала, с расстегнутой кофточкой. Меня это смутило, впервые. Я видел эти две «груши», и она должно быть видела мой взгляд. Это было накануне отъезда из Москвы. Я еще сказал ей: «если хочешь иметь хороший бюст, надевай корсет, спроси у Оли, что надо». Она стала пунцовая и... на следующий день сама купила корсет, — и, чтобы я это знал, — громко сказала Оле: «а без корсета вольней, барыня... зато красиво!»

Целую всю, и — без корсета. Твой И. Ш. Продолжение следует.

Олёль, как я скучаю, как томлюсь. Хочу опять во сне... целовать!

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.XII.41
10 вечера

Эти дни, дорогой Олёк, — в мучительной за тебя тревоге! Ты писала, — должно быть гриппом заболела, и кончились весточки о тебе. На 4—5 день, сегодня, твое письмо, — но, увы, раннее, 19.XI! Я писал Сереже и маме — написали бы о тебе. Жду, мысли одолели, в тревоге весь. Много я писал тебе, грустная моя птичка, чтобы хоть этим помочь тебе в болезни. Чистая моя, голубонька, я завтра поеду, м. б. узнаю о тебе, м. б. Сережин патрон[448], за короткое пребывание в Париже что-нибудь рассказывал знакомым, как ты живешь, — ведь Сережа твой мог ему и о болезни сказать. Да эти голландцы ведь только о наживе думают, практики, — вряд ли что о тебе узнаю. Но каждый день думаю, — м. б. Оля моя меня увидит. А я... — тоже, надеюсь. Да, очень трудно теперь получить разрешение на поездку, хоть мне и очень нужно, в связи с изданием моих книг. Нужно и в Берлин, — я 7 лет отчета не имел от «Издательства S. Fisher»[449] (три книги у него). Милая, не кори, что я «непослушный». Тебе — я всегда послушен. Expres на тебя давно не посылаю, не тревожу. Земмеринг ничего о тебе не писал (в 1-м письме лишь, что ты большое дарование, и чутко, и глубоко понимаешь творческое слово). В чем же непослушен? Не могу я не послать

тебе маленького привета, — так твоя жизнь тускла, никакого отдыха духу твоему, душе, сердцу! Только мои письма. Сейчас вспомнилось флоберовское — кажется о m-me Bovary: «жизнь ее была похожа на существование паука (неудачное слово, как Флобер дал такой промах! — сравнивая мятущуюся душу с — чем! — лучше бы сказал — «мушки»!) сплетшего тенетки свои в чердачном окне — на север...»[450]

Иначе бы я сказал: «жизнь твоя, светлая моя Олёля, похожа на прозябание цветка розочки дикой, странными судьбами возросшей в узкой щели, меж высоких стен: ни солнце никогда не заглядывало туда, ни месяц, ни звездочки не было ему видно, — лишь дождь, да ветер, да снег зимой, захлестывали родимый кустик». К а к живешь ты?! Фася — единое существо (я не говорю о Сереже, о маме...), кого ты навещаешь, да книги... Ни церкви, ни театра, ни живых людей, ни чудесных выставок искусства... ни концертов ж и в ы х (не radio!), ни-кого, кому бы душу открыть..! Оля, ведь это лучшие годы твои! Прости, не сердечко твое тревожу, — о тебе болею, вырвал слова из сердца! Ну, как же не послать тебе хотя бы малого, — от себя, — т-е-б-е! Не лишай меня хоть этого, маленького «счастья» — приласкаться к тебе! Мысленно упасть перед тобой, руки протянуть к тебе!.. — все, все душой шепнуть тебе, — я этим пустякам, которые позволил себе послать, — глазами, шепотом нежным говорил: «Олёль, вот в этом хоть — биение сердца о тебе, прими... Скажи в пространство — «ми-лый... я понимаю твое чувство... я в э т о м его отсвет вижу!» —

Да, я уже писал тебе: «Ольга» — значит — светильник, факел, — а «Светлана» — древнерусское = Фотина (Фотиния) — греческое слово — светящая, Светлана. Потому и зову — Светлая моя. Да ведь ты и в самом деле — Светлая! — Светик, переломи себя, не лишай себя величайшего — Молитвы. Я — лентяй, не всегда молюсь, но я могу себя заставить: и тогда — получаю — облегчение. Оля, н а д о это! Спрашиваешь: «Господь простит?» Не Ему же это надо... — т е б е! Попробуй, открой душу, все сердце... до слез... взывай! И почувствуешь Его свет, хоть на миг один! Упражняй душу. Молись. Чудесные есть молитвы. Ты — вольная душа, в полете! Ты — можешь молиться! Молись, Олёк! Неужели не можешь себя заставить и утром, и вечером, (— и в полдень!) душой пропеть Ей «благословенна Ты в женах!» Ему — как маленькая девочка — «Отче наш»..! Ему — «Святый Боже..!» Ему — «Пресвятая Троица»[451].

Молись, Оля! К папочке взывай... — о нем молись: надо. Это лучшее лечение духа... (и души!) — о, когда до слез..! — Оля — почувствуешь. Давай, условимся: в 10 ч. вечера, в 12 ч. дня, в 10 ч. утра: — вместе будем молиться, хотя бы эти 4 молитовки! — каждый раз, в том порядке, как написалось! И я еще буду взывать к твоей покровительнице (Ангелу хранителю — это особое — так и молим Ему — имен их мы не знаем) — а ты — к моему Святому. Так это легко, — ну, дадим друг-другу слово! С Николина дня (19.XII) я начну в эти часы молиться — с тобой. Я — слаб в вере, но я... знаю, что все Правда, что дала нам Православная Церковь. Оля, тысячелетиями, всеми народами — выкован опыт Молитвы! Он необходим — слабому, т.е. человеку. Обоготворяем иных из смертных: как же отказаться от светлой радости — от духовной близости к Бессмертным, — от пути Молитвой! В моем жизненном опыте я не раз слышал Их внушение! Тебе — говорю правду. Верь! Чьи-то молитвы не раз спасали меня! Это особенно я понял... в памятный день 8.II.30 г., когда вдруг увидел готовившуюся мне яму — и «наитием», молниеносной мыслью уклонился от гибели. Я был намечен ближайшим за ген. Кутеповым... Ген. Деникин[452] был у меня в Севре дня за 3—4 до 8.II — и «посоветовал» быть крайне осторожным, «по возможности, один не ходите!» Он, случайно, получил «справку» (секретную). После 8.II я остерегался... — потом мне надоело это. Бесы знали, какое действие производят мои книги, мои слова. Моя корреспонденция проходила через их лапы, з н а ю. В ту пору я молился чаще... и, чтобы успокоить неприятную тревогу (только Оля знала — и мучилась), — ушел в «Богомолье»: вышла книга, которая будет жить... до-лго-о! Стань, детка, Ваней-ребенком, Горкиным... стань «самым простым сердечком»! В горькую минуту — к Молитве! — или — открой Евангелие... — вчитайся! Я не ханжа, и терпеть не могу «бухгалтеров от Православия» — есть такие: если он не попадет к началу службы в храм — он не идет! «Всегда молитесь!» Какая Истина! Олёчек... так затомилось сердце, как прочитал: «Я так хочу быть у тебя, в твоем уюте!» Ах, я взял бы тебя на руки и поместил бы в глубокое кожаное кресло. Вот сейчас, вижу: как сейчас горит камин (центральное отопление — будет с 15.XII!) — я подвинул стол, слева греет от раскалившегося *«буле»*[i], «яиц червонных». На камине, невысоко

---

[i] Мера угля (*от фр. bouille*).

над полом (метр) — ты, среднего размера потрет, «был скручен», но воскрес. Другой, в 4 раза увеличенный, направо от камина, на радио, — я всегда вижу тебя. «Девочка с цветами» — рядом с Сережей — Олей, на стене, увеличенная в 10—12 раз, — чудесно. Вся стена в больших портретных «видах» (20—25). За radio к окну — книжные полки, до «Святого Угла». Там Богоматерь (дар генерала Д[еникина], ему поднес монастырь в Белгороде), медное Распятие — дар рижской русской гимназии[452а]. Иоанн Богослов — дар тоже. Богоматерь (фототипия [Рагусской]), присланная И. А. Фотография Иверской часовни в Москве, большая фотография. Храм Христа-Спасителя — дар из Берлина, от семьи Редлих[453]. Снимки с могилки. Большой портрет в овальной раме, перевязан национальным флагом-лентой — с Сережечкой (увеличено с карточки, какая у тебя). Серебряная лампада голубая, с глазками, дар почитателей из Риги (Софья Климова[454]), под ней на нитке — сосновая шишка с... Валаама[452б]. Сейчас я пишу и пью кофе... В комнате 16—17°. У стола и все 20—22. Ты — в кресле, с ножками под себя. Я у ног твоих, голова моя у тебя на коленях... ты нежно ласкаешь голову, которая столько в себе носила дум, образов, м. б. в и д е н и й... — которая — вся — т в о я, вся — о тебе! Я целую твое платье, я снизу в радости, в восторге... немой, гляжу в твои глаза — и вижу — ла-сточек, в них они, н а д ними, — «бровки — как ласточки!» Я слышу твое сердце. Мы молчим... — так мы друг другу близки, — слов не надо. В моем взгляде — боль даже, так я тебя люблю, до... счастья-боли! Не могу глаз отвести... света нет, огонь камина, только — на твоем лице — отблеск жара — яиц червонных... в глазах золотые-пунцовые искры... Я целую руки... прячу глаза... — ласточка, залетная..! Иногда в и ж у... ты в постели, проснулась... я нес тебе кофе... целую милый локон, руки... локоток (т о т... помнишь? — «летний» — с солнечными бликами, в березе?) вижу шелкового червячка... снимаю... целую, — кузнечика того — о, «Свете Тихий»! — Не ответил на все письмо. Отвечу. И — об И. А. Он <u>не</u> захотел нас познакомить, я <u>в с е</u> забыл, что было после. Где я ужинал?! Не помню. Я был подавлен, в полусне. Но... тебя я с л ы ш а л, я был в волнении... Я видел, да... «траур»... это помню. Я тебя у з н а л бы! По г о л о с у, — увидал глаза... — у з н а л бы. Оля, положи себе, как правило: каждый день начинай с Евангелия. Читай — где откроется. Хотя бы одну страницу! Люблю, целую. Твой Ваня

[На полях:] Оля, все же около тебя — мама, Сережа, из кровных... — у меня — ни-ко-го! — да, Ты... всегда но... лишь о б р а з!

«Историю одной девичьей души» — до следующего письма.

Ландыш[i]. →

Сегодня купил и для себя «ландыш».

Вот, сейчас, кончив письмо, я задумал — с си-лой! — вышел 7-ой стих, 15 гл. от Иоанна[455]. Да, клянусь любовью к тебе!

и открылось еще: Гл. 16, Марка 1—5 ст.[456] Уверуй — и молись, Оля!

100

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.XII.41
3 ч. дня

Дорогая ласточка, *здорова ли?* Любуюсь на тебя — вижу тебя в этих розовых-свежих бабочках цикламена, (я описался вчера, пора бегоний — прошла, цикламен это, твой привет мне,) — они залетели ко мне в унылый час острого чувства одиночества, — и я весь засветился твоим сердцем — твоим чудесным с в е т о м — ж и з н и. Вот она, и шестерка мотыльков, — пасхальный свет мне светит. П о д а л и со вкусом, — в серебряной бумаге, — так и стоят — рожденные твоим желанием — ласку мне послать. И обещают сколько..! — бутонов много-много. Я их беречь, как твое сердце, буду. Каждый день буду опрыскивать пульверизатором. На час-два буду прогуливать на воле, окна им открывать, — дышите, нежные! Целую твои ручки, долго гляжу в глаза твои, родная. Благодарю, благодарю.

Оля, милая, — вдумываюсь в твой «конспект» жизни... — о, сколько девушек безоглядно переменили бы судьбы свои на твои радости-страдания! Ведь в этом же и жизнь! Вся ты слишком н а п о л н е н а, обогащена чувствами, подчувствами... светом и отсветами — Жизни! Гордись и дорожи таким богатством. «Мало радости», «так мало счастья», — писала ты. В ч е м же — счастье? Не в устойчивости же и унылости покоя! удобств! — или — единого большого чувства! Как же оценишь чудесный дар большого чувства, если не испытаешь всего разнообразия явлений?

---

[i] Письмо надушено.

Нет, ты богата, как редко — кто. Много сердец поранено твоим явлением в Жизни, — обогащение прияли! — от тебя, благодаря тебе! Ты — насыщала, ты — будила, грела, манила, уводила от сего — в иное, м. б. И — жгла. Все это наполняло, освещало, чаровало, томило и манило Жизни. Все это не бесследно проходило и для тебя. О, ты на редкость же богата! Много ты мне дала, — а я ли не обогащался Жизнью, — всем в ней! Не испивая от нее, лишь прикасаясь ко краю Чаши. Так мне надо было — не упиваться, — прикасаться только. Не расточаться, а — беречься... для иного. Жалею ли? Да, иногда... жалею. Впрочем, пылкость воображения мне помогала: будто испивал.

Мое живое Солнце, Оля, Ольгуна... — не обрывай рассказа, говори, шепчи... — я будто в этом вижу тебя, я чувствую тебя, так близко... жалею, радуюсь тобой. Олёчек, помнишь, — чуть ли не во 2-м — 3-м письме к тебе, (ты заболела и писала мне, в начале 40 года), я сказал: «Вы так жадны до жизни. Вы — страстны по природе... Вы будете здоровы, Вы в Жизни будете...» Когда писал это, — так мне хотелось (и так верилось!), чтобы ты осталась жить, счастье чтобы тебе сияло... — и так хотелось — ближе, ближе знать тебя, дружбы твоей хотелось! — молился о тебе... ждал весточки, ждал сердца твоего... — откроется? — о, какое сердце! — это знал. И — ждал. Я уже видел твою душу, твой свет. Мне уже было больно — не писать тебе. Оля, такой, какая ты... — я не встречал в своих корреспондентках, — их много было! были очень чуткие, глубокие, даровитые в чувствах к прекрасному в искусстве, в жизни... Но такой — единственной — нет, не было. Ты — необычайная. Отмеченная Богом. Береги себя, такую. Ты дана великой благодатью нашей, — лучшим нашим, — Душой Церкви! — от нее шла в Жизни, в Жизнь. Помни, Оля, — не разменяйся, отдавай же Ей и Жизни — долг твой. Твори, не принижай себя (что можешь делать даже при всем великом самолюбии, гордыни даже!)

Ну, ты прости: это не «наставление», — это моя с тобой беседа, моя просьба, мольба к тебе. Слушай свое сердце, делай.

Вот еще что: не забудь же сказать, какой образ был в твоей душе — «10-летки Оли». Мне дорого все о тебе, тобою сказанное. Все, что можешь, (и захочешь) — скажи. Мне это — в радость, м. б. и в томление, — но от тебя... — все дорого.

Я тебе доскажу «историю Даши», — увидишь, она не так уж обыкновенна, это «история одной любви», не «История любовная». Слышишь «разницу»?

Ольга бесценная! Вся ты — от Искусства также, от младшенькой сестренки, от Храма, от Религии. ВСЯ! Поразительно, до чего ты проникновенно-чутка-тревожна! Не «неврозы» это, нет, — это твоя природа. Как ты глубоко-заманчива! Не «магнитна», а — заманчива, затаена — чудесна! Неужели так и не увижу тебя?! Ольга, до чего ты обща со мной! Я потрясен бываю, — вдруг такое свое в тебе узнаю! До... мелочей, другим невидных, до... больного — в нас! Порой встречаю то же выражение чувства — и теми же словами! Будто из одного разбитого куска — мы оба. И — встретились, и — какие же преграды! Как бы по воле... Умысла! Злого? Благого? И — для чего же?! О, какое же это испытание! И — для чего же? — Сейчас слышу элегического Шопена. Мы оба любим одно и то же. Я — лириков в музыке — как ты: Шуберта, Шопена, Чайковского. Классическое Римского-Корсакова. Степную тоску в Бородине, «шумы народной стихии» — Мусоргского[457]. Моцарта... — детским слухом слышу, простоту и прозрачность мелодий чистых, как бы — с неба!

Оля, милая, радость, небесная... Святой зову тебя... — в тебе чудесно много от света — святости, лучшего, что может быть в человеческом, — о, как слышу это! Если бы не узнал тебя... — я был бы ограблен в жизни, — ныне осыпан счастьем, — пусть сухим... о, это все же — счастье! Ты, ты мне вернула, — отнятое страданиями, — ты их закрыла, ты Богом мне дана... — на муку? на радостную муку?! Какая правда, Тютчева, — завтра пошлю тебе: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней... — Сияй, сияй, прощальный свет — Любви последней, зари вечерней... — Полнеба обхватила тень, — Лишь там на западе брежжит сиянье, — Помедли, помедли, вечерний день, — Продлись, продлись, очарованье! — Пускай скудеет в жилах кровь, — Но в сердце не скудеет нежность... — О, ты, последняя любовь! — Ты и блаженство, и безнадежность!»[458] Странные стихи, единственные... Техники стиха спорят о том, в какой же мерке дано? бесплодно спорят. — Тютчев т у т дал свой никем неповторенный «размер». Ими он чрезвычайно богат, богаче гораздо Пушкина, Т[ютчев] — вольней — в технике. — Олёк моя, — без тебя я не смог бы дать (если дам!) «Пути Небесные» так, как они должны быть даны. На днях получу починенную ма-

шинку, и — пока разрешатся мои планы поездок (жду)... — буду писать. Что..? — Не знаю. Целую, молюсь на тебя, Оля! Твой Ваня

[На полях:] М. б. тебе необходим бромистый препарат? Прошу: прими «antigrippal»! И все время принимай «cellucrine». Ты сильно расстроена.

Олёк, я тебе послушен, и не посылаю давно expres на тебя. Правда? Ты чудесно рассказываешь, и разве не видишь, как жемчуг в тебе чувствуют в с е! А я... !!! в с е в тебе вижу. Ради Бога будь бережливей к себе.

Оля, прошу, скорей сообщи, будет ли Сережа у себя в Arnhem'е 5-го I, в понедельник? Пишу на случай, м. б. не смогу послать, что хочу. Прошу!

101

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.XII.41
1 ч. дня

Какое счастье, Олёк чудесный, ты прислала мне сегодня! Боже, до чего прекрасна! — нет слов назвать Тебя! Светлая, святая Дева! Нет, не кощунствую, не смею, — не в э т о м смысле говорю так, — Ты несравнима, Святая, Пресвятая Дева-Мать! Но ты так близка к Святому Идеалу, т у т близка! Твои глаза... — О ч и, не глаза. Я их предчувствовал — в затишьи, в затени ресниц. Я з н а л их. Оля, ты — именно — А н а с т а с и я! Такую в и д е л, сердцем видел, — наконец, у в и д е л. Да, я и с к а л тебя, предвечный Идеал, — Прекрасную! Вот, нашел. Что мне делать? молиться? благоговеть? страшиться, что полюбил т а к у ю... что — смею человечески любить? смотреть?.. — будь же благословенна, единственная, непостижимая, моя Уника! — Кошмар какой-то... — ты все еще пишешь «ins Blaue hinein»[i]! Я жду, страдаю твоей тревогой, — я же здоров, сколько писал тебе, с 26.XI... — Нет, никогда не позволю себе тревожить тебя, говорить о какой-нибудь болезни! Не постигаю, к а к это прорвалось — о глазе! Не хотел же, поверь мне. Я понял, получив ж и в о й цветок, что ты его связала со «Знамением Пресвятой Богородицы»[459], — с нашей «Чашей», моя неизреченная, н е у п и в а е м а я! И, знаешь, то же движение сердца заставило меня послать тебе о т в е т н о е, как-будто: я послал 26.XI, за 3 дня до

---

[i] «В неизвестность», здесь: «для слепого» (*нем.*).

твоего привета, — но, верю, твое передалось мне, ты уже думала о «ласке» — мне! Я истекал такой нежностью к тебе, — нельзя нежней. И это чувство смешано с тревогой за тебя, — больна ты?! И — не знать!! Ты так неосторожна, — больная, ездишь, — или не понимаешь, как опасно? заболеть пневмонией, когда ты так ослабла, исхудала! Что же мама смотрит?! Ты все та же, неукротимая упрямка, сумасбродка! Пойми же, до чего ты вся исключительна! Твое письмо № 1 — «рассказ о жизни», — всю тебя уяснил мне, всю в и ж у... всю люблю, т у, девочку-чудеску! Оля, поясни мне, что с тобой было (после кончины папочки), какое «бегство» ночью, какое «сумасшествие»? Малютка — тогда — была уже огромная! Так переживать! Непостижимо, или — чудо. Ты — чудо. В тебе все — чудо. Олёк мой... — зачем ты жжешь написаное? Гордячка, ты совершенства хочешь? Совершенство — жжешь! Ничего не пиши, что я советовал... — пиши — что хочешь, как хочешь, — только пиши! Силу свою сознай. Пиши свободно, не проявляй гордыни — относясь к себе так строго. Быть себе критиком — так трудно! Пой свободно. Как ты тонко в с е постигаешь! Как все необычайно у тебя! Двумя-тремя строками даешь так <u>четко</u> — <u>все</u>! Ско-лько я раскрыл в твоем «конспекте»! Кто этот чуткий управитель хора? Его слова — о «милой», — как верно, глубоко, — какая чуткость! И эта — девочка!

Да, чудо случилось: твой портрет дошел. Это — второе чудо. —

Давно-давно (в Москве), ушиб я (расшиб) <u>правый</u> глаз, ты угадала. 12—15. XI — левый отяжелел, — два-три дня я не мог читать, — прошло. От легкого ушиба это, и — от растирания ночью, пяточкой ладони. Ты же навообража-ла — бездну! И вот — наказан: не получаю полных писем! Утешаюсь, что ты в с е знаешь, только письма твои еще в пути. И трепещу, что заболела, — ужасы такие приходят в голову... всего страшусь. Милая, солнышко мое святое, просияй! Шепни мне, что получила мой привет, — давно-давно послал, — и был так счастлив, что хоть малым этим тебя порадую. Знаешь, Олёк... — я для тебя сварил варенье, с а м! Грушу нельзя послать, очень она нежна... так — я ее очистил и варенье сделал, для тебя. Я не только рассказы могу писать: для тебя я все, все могу. Как я радовался! И, кажется, недурно сделал. Помнил, как Оля делала. Но предельный вес посылки — 1 кг[i] — позволил

---

[i] В оригинале: 1 кл.

только немного послать тебе. Завтра, м. б. отправлю: «L'heure bleue» («Guerlain'a»), плитку «Rialta» и флакончик «груши». Ну, ты — детка, будто. Боюсь, что шоколад плохой. Я давно его берег, тебе. Прости, если плохой. Постараюсь найти получше — к Рождеству, — м. б. «пьяных вишен»?

Алеша Квартиров взял с собой портрет, — м. б. передаст тебе. Но этот портрет скрал мои черты «живые», — писательские. Я недоволен. Там — восторженный и молодой, какой-то... будто музыкант. Я — глубже взглядом, тяжелей от скорби. Ну, ты, все равно, выдумаешь меня. Я тебя недостоин. Я — внутренний, твой, настоящий, — в книгах, в письмах, в чувствах. Там — вся правда. А этот — легкий, — не такой я. Скажи о снах. Как Богородицу видала? Твое все так мне важно, так дорого! Пиши о жизни. Продолжу «историю любви».

Перед отъездом во Владимир, Оля спросила Дашу: «поедешь с нами?» — Та в этом услыхала: «м. б. не поедешь». Заплакала, в истерике: «хотите меня оставить! зачем же так приучили меня к себе? Или это "барин" меня не хочет?» — и в страхе поглядела на меня. Я сказал — «нет, хочу». Вся засияла и весь день игралась, пела, Сережу тормошила, душила поцелуями, как бы с ума сошла. Да, был еще случай. Мы жили под Серпуховом, у монастыря, в бору. Я увлекся стрельбой по ястребам[460]. Они унесли мою любимку — белую курочку, выведенную мной в инкубаторе. Я их набил м. б. больше сотни. Помню, охотился. На опушке бора приметил Дашу с Сережей. Она лежала на спине, раскинувшись. Ее ноги, в черных чулках были совсем открыты, — до верха — тела: так задралась у ней юбчонка. Услыхав мои шаги, прикрылась... и запела: «Охотник — охотник... не убивай нас, мы не волки, — мы заиньки... погладь нас!» — И Сережечка повторил — «погладь нас, мы... заиньки...» Я поцеловал его, и... погладил Дашу, чуть поласкал по щечке. Что было!! Она схватила мою руку и стала целовать, безумно. Я смутился. Я видел ноги... — и погладил — ноги, слыша их. Она — сомлела, вся ослабла. Не знаю, что бы случилось, если бы не было мальчика. Это было первое искушение. В тот же вечер она была как пьяная. А я — все забыл, — прошло.

Во Владимире началось самое страшное. Мы с Олей и Сережечкой уехали в Москву к моей матери — на именины (10 окт., Евлампии). Сереженька заболел брюшным тифом. Мы задержались, мучились. Незадолго до этого, весной он болел ползучим воспалением легких. Тиф был очень опас-

ный. Мог умереть. Ночи не спали. Тянулось с месяц, эта длинная, медленно повышавшаяся и понижавшаяся t°. Кризис. Пошло на поправку. Самое опасное, когда необходима [сложная] диета. Меня вызвали депешей во Владимир — съезд податных инспекторов. Я уехал. Оля — в Москве, при Сереже. Помню — мое появление в домике, над Клязьмой: будто усадебка. Даша встретила... — «а барыня, а Сережечка?» Она знала, что пошло на поправку. Она была сама не своя: одни, — м. б. на 1—2 недели! Молодые, мне — 29 лет, ей — 21. Вполне созревшая, красивая девушка. Я увидел взгляд ее... смущенный — и счастливый, — и робкий. — Ужинали — вдвоем. Мы всегда сажали с собой. Она ухитрилась приготовить необыкновенный ужин: достала рябчиков, (я люблю их, знала), сделала блинчики с творогом (люблю), суп перловый из гусиных потрохов... — разварной налим (помню! она все знала, что я люблю). Подала рюмку хинной [1 сл. нрзб.], — я налил и ей выпить. Но она и без нее была пьяна. Поужинали, почти в молчании. Она все время убегала за чем-то... — все спрашивала — «а когда же Сережечка?» Ночь. Снег и метель, (ноябрь). Я сел к печке с книгой, в качалке. Она убирала со стола. Мне было неспокойно. Она... — была в новом платье, в косах. Бегала, и от нее шел ветерок. Пахло — резедой. Да, я чувствовал по ее косившим, убегавшим взглядам, робким и тревожным, что она ждет, готова. Я... ты понимаешь, Оля... я давно не знал женщины, м. б. больше 6 недель... я был возбужден. Был момент, когда я чуть не протянул к ней руку, когда она близко пробегала, вея ветерком и резедой. Но... заставил себя думать о мальчике, об Оле, которая там, страдает (не думал о Даше! она мне верила!!) — и удержался. Ушел в спальню. Заперся. Ночь была ужасная. Даша долго стучала тарелками. До утра не спал. Утром она встретила меня... горячими пирожками к кофе. И ее косы были положены на темени, это ей шло. До следующего письма. Целую. Твой Ваня

102

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.XII.41
10 ч. вечера

Будь благословенна, родная Оля..! — взывает во мне неизъяснимое, — чувство-чувств, самое нежное, что может быть, в человеческом сердце, — не нахожу, как можно это назвать... — такое великое, такое... — любовь ли, боль ли

во мне... — все вместе. Все эти дни, — а сколько их прошло мучительно! — одно и одно — что с ней? — тревога, тоска, до боли острой, такое чувство, будто трепет за самое дорогое на земле. 18 дней! — и я ни-чего не знаю, что с тобой? И никто, ни слова, ни... 13-го, в субботу, это состояние обнажилось, перелилось в отчаяние. Я как бы мертвый был, душевно. Без чувств, без мысли лежал я, слыша, как ночь подходит. После 6-ти — было так — «никто не придет». Один, всю ночь без сна, до утра. И вот, когда все в городе затихло, будто ночь глухая, — так казалось, — я уже хотел опустить оконные заслоны... — звонок! — Это был твой привет... родная, твой прилет — милые бабочки впорхнули... розокрылые, нежные. Как я их целовал, Оля! Милые... — улыбки сердца, единственного — для меня — в целом мире! Светло стало, на миг... — и снова — как волнами, — тоска — и радость. Не могу понять, что это?! Так все дни, эти, последние... Мне больно, — больна ты, Оля? Не знаю. Тяжело мне. Я писал Сереже, маме твоей... — давно, 4-го, срочно, — нет отклика. Твое самое последнее, — что ты, больная, поехала в Утрехт... — зачем же, Го-споди! — от 2.XII[i], — и все. Жду — страшусь. В воскресенье, 14-го, — все то же, до озноба. Нервы. Поднялась t°. Без сна, всю ночь. Ночевал друг[461]. Утром — другой, доктор мой. Ни-чего! «Это Вам — за опыт с ледяным обливанием». Строго сказал, это бывает редко. «Будь другое сердце, — finis![ii]» — Я усмехнулся: «столько всего вынесло... — этот лед — пустяк!» Оставил все же опыты. Не помогли: тревога — боль — все те же.

Смотрю на твои «глаза», в твои глаза! Необыкновенно. Такого лица — не видел ни во сне, ни в жизни. Ни у кого. Ни на картинах мастеров во все века, — что знаю — ни в иконах... — ни у кого, ни-где. Ты усмехнешься? Скажешь — «ну, понятно... так всегда, когда...» Понятно. Нет. Я могу даже и — «когда...» — остаться, для «бесстрастного надзора», — и бесстрастным зрителем, — я как-то умею это, — это нужно для того (во мне), кто смотрит, видит, — вбирает. И я, владея собой, — это бывало в самые острые мгновения в моей жизни, — говорю: такого лица (Лика!) я не знал. Теперь увидел... — да! вот Она... вот, наконец, Она!.. моя Анастасия... Воскрес-

---

[i] Несовпадение дат. При условии, что последнее письмо О. А. Бредиус-Субботиной датировано 2.XII.1941 разрыв между сообщениями составляет 14 дней.

[ii] Конец (*лат.*).

шая! Смиренница! или — скромница! или — нет, нет, не правда! — «сознательная "скромница"»..? Что же ты писала, зачем себя «дурнушкой» — называла? Из-... за игры?! Со мной-то?! Этим меня нельзя... Сбить с толку? внушить мне... — что?! Чтобы не обольщался? Разве ты не видишь — второй раз: чудо. Ты его хотела, верила в него? ждала? Оно случилось. Благословенная, прошла ты, невредимая... никем не остановленная, свободная... сама прошла... сама остановила взгляды, приковала... и — прошла! С другими — не бывает. Ты чудную имеешь власть — проходишь — радуешь... о, милая, чудесная... Ты же песня, — вот ты кто. Так называл тебя я, нежно. Песню нельзя сказать, — пропеть лишь можно. Песню и — молитву. Да, на Тебя молиться можно, стоять в молчании — и молиться, сердцем. Помнишь — чудесное тютчевское? «Умом России не понять, — Аршином общим не измерить: — У ней особенная стать — В Россию можно только верить» (1866 г.). Было нашему Гению 63 года, когда провещал Он это сверх-чувственное провидение! Ему надо верить! (разрядка в этом слове — его). Можно ли понимать, понять... Песню? Песню можно только внять. Как и Россию. И не чувством обыкновенного у человека слуха: а слухом — сердца: верой. Тем чувством, которое — в молитве, теплится, горит... пылает. Это — внутреннее чувство — сложнейшее, неразделимое... — это — слияние, и <u>извлеченное</u> из этого слияния трех, необъяснимых, — веры, надежды, любви, — девятое, что ли, сверхчувство? Как его назвать? — чувство света, Света, — все озаряющего... согревающего... влекущего к себе — неодолимо. Пошляки, «фрейдисты» и всезнайки... те — просто: (книзу стащат: «x-appel»! —) что угодно можно под этот икс подставить!

Люди Света (и — от Света) не могут это словом называть: неведомое, чудное... влекущее... — в выси, вне сего. Великие мастера искали вечно, томились, тщась отыскать такое в лицах. Ре-дко находили. Рафаэль... — Сикстинскую мадонну... но... тревожит <u>нечто</u> (да, в низинках) у иных его «Мадонна». Леонардо... да, но... Прославленная, «загадочная» Монна[i] Лиза, «Джо-ко-нда..!» Какая тут «загадка»? Гейневский дурак у моря[462] ждал ответа на «вопросы»... дурака. Оно молчало. (У Гейне как и все у этих, — скрадено у мудрецов Востока: не его, — как ихним Волосатым Марксом — у египтян... у китай-

---

[i] Так в оригинале.

цев — все раньше было!) Вся эта «Лиза» — вся — разгадка, и преголейшая: ну, кто же Она?! Она... так ясно... — «похотливая лисица...» — вот кто. И — чуть раскосость... (лисица-то!) И еще — грязновата, сальновата, и... потновата. Вот мое определение. Для большей ясности — поищем в «Притчах»[463] — и увидишь (это — про нее, про «Джоконду») (у меня давно подчеркнуто, с меткой — полюбуйся на «Мону Лизу»): «поела... — и обтерла рот свой, и говорит (дожевывая, прибавлю): «а что я худого сделала?» Словом — «игрушечка». И как же чудесна-возвышенна чеховская «Душечка»[464], — перед этой «загадкой» — «Лизой» (от слова — лизать, губки облизывать...) и какие же рас-тя-ну-тые... какие же ни-точки... эти сластуни-губки, этот рот... — какой же долгий-лисий!.. Как и чуть-чуть «раскосость» глаз («один — чуть в Питер, другой — чуть в Арзамас!») — Это отпечатала «Россия» (умом какую — не понять). Олёк, чудесная... Ольга..! — вот твой Лик — стоит разгадывания... Его не понять: его, как русскую-русскую Песню... чудо-песню — можно лишь внять. Вот — Тебе, светлая, — мой, Акафист... чистый, вдохновенный, благоговейный, — от моего благоговения. Что такое — благо-говеть? Стариннейшее слово. — благо-жити, благо-быти, благостно-быти. Точно. Смысл углубленный: покорность, смирение, уважение, страх = «страх Божий» — высокая степень почитания, почтительности, чудесного трепета, как перед Святыней. Вот что это значит: «благоговение». Так вот, от такого (10-го?) чувства, пою перед Тобою, Песня, — Песню, чудесному в тебе — святому — для меня: священному! Да, это не исключает иного чувства, любви, — и страсти, — устремления, — ты же знаешь... что же мне таиться?! — пусть все смутно, но все во мне, что ты узнала в моих книгах, в письмах, в умолчаниях... — все тебе известно, святлая моя, чудесная! Пою, и поклоняюсь, и страдаю, и... томлюсь Тобою. О, Ми-лая, Загадка! Вот — вижу и отгадку: Песня, Чудесная... и — о, сколь редким — внятная! М. б. только — мне, одному. Я ведь беру особым чувством, — ты его не знаешь... и я... — не знаю. Но оно — во мне. Дано. Как Дар. Это — я чувствую. И слышу. И многое — вижу. Как... почему так..? Не знаю. Я тебя больше, яснее знаю, чем ты — себя. Только нельзя сказать... словами. Можно... и-зо-бразить. Во-образить: искусством. Большим, ИСКУССТВОМ. Его — это искусство, — знаю. Есть оно. Во мне. Изображу — ли... — этого не знаю. Словами... можно ли любить заставить? в-любить? Нельзя,

простыми. Словами — образами? Можно. Я это доказал. Ты знаешь. Моя Дари — в л ю б л я е т. Женщин, мужчин... и девушек... и — мальчуганов. Власть Дари... в чем? Никто не знает. И я — не знаю. Но она есть, д а н а. Кем? Чем? — Искусством. Бо-льшим Ис-кусством. Ис-кушéнием. Это — я — знаю. Е с т ь. Целую. Жду с благовейным трепетом — хоть слова: о здоровье. Твой Ваня

[На полях:] Смотрю — молюсь. И Песня, и — Молитва!

Но почему же — ни словечка мне — на — этой, Чудной! Или — я не достоин? А — кто достоин?! Кто́?! Сказать — «Мадонна» — о, как это... «по-дачному»! Смотри «Чашу» — 1—3 страницы[465].

Удивительно большие у тебя «радужницы» (iris) = «райки»! Это — чрезвычайно редко!

Оля, как хотел бы увидеть «маленькую Олю», 10-летку.

С э т и м письмом, — о тебе — не могу [мешать] историйку — о себе...

103

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботниной

22.XII.41[i] 2 ч. дня

Чудесная, чистая моя Олюша, — забудь о моих упреках, не смею я в чем-либо укорить тéбя: ты всегда будешь чистая, и, Господи, посмею ли в горькой твоей жизни искать ошибки! Навсегда забудь. Это было мое больное, с чем всегда боролся. Не смей никогда принижать себя и называть меня словами, чего я недостоин. Я только Ваня тебе, только дружка твой, верный твой, до конца. Не бойся моей привычки поминать «Ныне отпущаеши». Это чудесная молитва. Всегда, кончая большой труд я повторял ее! Мы все, православные, слышим и повторяем ее в конце вечерни, и после литургии, в благодарственных «часах». Милая, нежная, согревающая сердце! Знай: я тебя л ю б л ю, единственную, посланную мне Богом по молитвам Оли; ты это знаешь, и никто не может заместить тебя: у меня нет ни глаз, ни сердца — ни для кого другой, ни на миг. Любить тебя — для меня значит быть тебя достойным, чистей-шим! Ты — или уже ни-кто. Возьми это в сердечко, и я буду покоен. Буду хоть этим счастлив. Я плачу, моя Олюша, от счастья, что ты живешь, что ты... лю-бишь меня, т а к лю-

---

[i] На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной: ласковое. Начало о «Даше».

бишь! Оля, зачем ты говоришь, «если не встретимся, тогда — — разрыв, но, предрешив н е видаться, — мы предрешаем неминуемо, если не прямое расхождение-разрыв, то... несхождение наверное». Почему? Да, я боялся «встречи» с тобой... боялся: увидишь меня и — отвернешься от своего Вани, от т а к о г о! Т е б я потерять страшился! Ну вот, признался тебе! С болью, со стыдом, — признался! Разве я тебе — такой нужен? Не можешь ты такого, жизнью и временем побитого человека, полюбить. Ну, что же, если и есть еще во мне огонь... живость чувств... но я так некрасив, и так неярок лицом... Но, клянусь тебе, ничего бы я так не желал теперь, как хоть на миг увидеть тебя, моя прекрасная, моя единственная! Оля, не обманываю я тебя, я все пытаюсь делать, чтобы достать позволение приехать! Но ты видишь, как это трудно. На днях я говорил с видным человеком, который едет в Берлин, — это управляющий делами русской эмиграции во Франции[466]. Он обещал мне хлопотать о позволении поехать в лагеря. Только в Берлине я могу добиваться визы в Голландию. Все так говорят. Я буду добиваться, пусть из моей поездки выйдет гибель твоего чувства ко мне, — мое чувство сильней в с е г о. Ты вросла в мое сердце, и только земной конец тебя закроет от меня. Пойми, поверь, я плачу, говоря все это. Ты не услышишь от меня — отныне — ни одного укора, я не ревную к прошлому. Смею ли? Ты — безупречна, ты свята, мученица... как я смел подумать даже?! мунить тебя, мою голубку, которая для меня — в с е!? Но почему — разрыв? Ты можешь меня забыть, если теперь не свидимся? можешь? Ну, повтори, что можешь забыть... я н е могу! у ж е не могу! Как ты не поймешь, что у такого, как я, не может быть л е г к о с т и в сердце! Или — н и - ч е г о, или — только о д н о, и — как же крепко! Силы чувства моего не слышишь? Не з н а л а е щ е т а к о г о чувства? такого не встречала? А по зеркалу совести моей не можешь судить, по моим книгам, где в с е — правда, где — я в е с ь?! Не святой я, да... но — когда я открываю в книгах свое сердце — я — подлинный, э т и м не могу шутить. Тогда — зачем же я т а к полюбил, пошел слепо на муку, чтобы после всего, что я сказал тебе, что мое сердце так чисто, так открыто тебе крикнуло... после всего услышать — «расхождение» — или — «несхождение наверное»! Тогда оставим, бросим эти «письма», эту сладкую му-ку, для меня! Ну, скорей делай, бросай, забывай меня... даже если я невиноват, если не могу преодолеть железных законов нашего времени. Если бы ты все знала..! Русский писатель —

для эпохи нашей — это не голландец деловик, который может разъезжать свободно. Мы не торгуем, мы не строим материальной жизни... — мы — всем чужие, особенно такой, как я. Я тебе нужен, я своей родине, м. б., нужен, но миру... я не нужен. Я — чужой, слишком чужой со всей своей мукой, со своей любовью к родине, к — т е б е! Ты для меня — знай это, Оля моя, — свет родины нашей, ты — русская девочка для меня, ты полюбила мое сердце — это моя родина так меня обласкала... тобой, з а себя! Послала мне прощальную свою улыбку. За мои слезы, за мое горе, за все томления! И ты, чуткая такая... т а к страшно говоришь — тогда — разрыв! Я тебе верю — и скажу — ты первая не перенесешь разрыва, ты пустоту увидишь, не дай Бог. Я хоть чем-то ее наполнял для тебя, для себя. Вернуться мне к страшным дням июня 39, когда я выл от одиночества? Но знай: милостыни мне не надо. Обойдусь без милостыни, дотяну дни в пустоте. Сейчас все для меня мрачно. Потому и писать тебе не мог 12 дней. И глаз, и — тоска сердца, и — холодное письмо твое. Я даже убрал на три дня твои портреты, чтобы испытать себя... я был убит твоим письмом, холодным... уже не помню... — и не выдержал! Я плакал, я молился на тебя, «девушку с цветами». Я томился, что ты осталась холодной к ней, — ко мне, к моей тоске! Я же тосковал за нас, когда писал ее, про «дали», в которых она не виновата! Я ночи не спал, когда ты болела... я уже видел, что ты умираешь, что тебя нет... — и писал Сереже и маме! А ты про такое маленькое, про Елену... — на чей аршин меряешь меня? «Чаша» — и — Елена! Дари — и пошлость!? Ты — ты во всем — и мерзость!? Евангелие, Пушкин, Псалмы... церковь, перед Крестом... — и — «полчаса любви»? Тьфу, мне страшно, мне претит, Оля, я страшился подумать — бывало! — что я — писатель. Перечитай же странички, «Как я стал писателем»[467]. Я благоговел, я не смел думать, чтобы с нашего двора — я — пи-сатель! Русский писатель — не торговец, не бульварник, не «кавалер». Я могу быть маленьким, — «средь детей ничтожных мира быть может, всех ничтожней он»... — «но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел»[468]. Я это всосал с детства и потому благоговел. Цельным бери меня. Я не раздваиваюсь. Я страшусь. Оля, да, я все силы отдам, чтобы оставить тебе «дар» — «Пути». Это моя заповедь. И если я не увижу тебя, то не по моей воле, а вопреки моей воле. Мы в стальном кольце непреодоли-

мости, разве не видишь? Да, я во многом теперь сомневаюсь, и мои восторги июня — вянут.

Страдаю за тебя, тобой, собой. Не увидеть тебя! Господи, смилуйся над нами! дай же чудо! О, какие нежные, какие страстные твои письма! Что они делают со мной! Я каждую минуту терзаюсь тобой, ужасы воображаю. Как ты таешь, и как я бессилен! Этот трагизм — я его не знаю в жизни, ни в литературе. Только в «Чаше» — чуть такое. Сам себе напророчил... неизбежность!

Путаюсь в твоих письмах. Не знаю, на что отвечать. Да, тему я тебе дал совсем серьезно. Пробуй писать. Не бойся, что не удается, — удастся. Хирурга — к черту. Ты — необычайная, с меркой к тебе не подойду. Ты — единственная. Ты мне — Таня. Нет, ты мне нужна не для «Путей», — для — меня, для сердца, для жизни, для — подумать не смею... — с ч а с т ь я! Не смей и думать, что я не хочу встречи! К т о же я тогда?! Я твой верный, навечно. Я рассказал о тебе — другу доктору Серову. Не все. А лишь — какая ты — чудесная! Он все понял. Твой портрет — и что привез «дубина», и «глаза». Он мог только сказать — «храните это счастье, будьте нежны...» — клянусь! Он знает мои прорывы, мой характер. Раз он удержал меня — я вспомнил его слово — «будьте нежны», — от злейшего письма. Но это от моей пылкости, от страха, что я тебя потеряю, ты так была холодна... уж не помню. Знай одно: т а к о й любви, какой люблю тебя, не знал еще, и ни у кого не видел, — в литературе, в жизни.

Напиши продолжение «жизни»[469] — ты делала цветы на сучья, для церкви. Я не понял про Г. К. У к о г о же он служил? у — «бесов»? Не принимаю. Почему ты не могла уйти с ним? почему ты его не удержала? Похож на Сережу? Ты ошиблась: на С. никто не может быть похож. Он был — неповторим. Ты поняла силу искусства в «Солнце мертвых». Да, все — боль, но моей, за м о е — нет там. А меня клеймили жиды и левые: «книга злобы и... ненависти»! Я могу тебя корить, что ты мне открыла свое чувство?! Ч т о это?! Я — целую твои ножки, Оля! Так я недостоин тебя. Весь тобой жив, только. Забудешь — вынешь душу из меня. Нет, этого не будет. Читаю сейчас твое письмо и ужасаюсь: э т о, я —? — писал! «Надо поберечь Дари..?» Это безумие мое! Я не узнаю себя! Клянусь, это — не я, твой, писал! Я весь тобой взят, полон, тобой — «все-женщиной!» Оля, это дьявол мог м н о ю написать! Как я гадок, Оля! Умоляю, забудь эти злые слова! Проклятый я, я теперь страдаю, — я же молюсь на тебя, дитя! Как я несчастен, не

умею унять в себе мгновенное раздражение! Оля, помни, знай: никогда — во имя твое — ни мысли гадкой, ни похоти, ни-когда! Ты мне защита, и я клянусь Господом, моими дорогими, Оля... будешь ли ты моей, нет ли, — никакой для меня не будет, и — не надо мне, чем тебя уверить?! Я — молюсь на тебя, Оля. Целую, люблю, страдаю.

Твой Ваня, только твой, аскет.

Про «историю» напишу. Начало вернули, но я вчера послал, б е з фото.

104

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.41[i] 9 ч. вечера

Оля, милая, чистая, мудрая! Я сражен твоим письмом 9.XII, полученным сегодня. Что я натворил, чего наговорил! И это — я! «Надо мне беречь мою Дари!» От тебя? Боже мой, я т а к написал? Оля, это только безумный мог так написать. Птичка моя, радость моя, ангельчик мой, моя все-Женщина! Я потрясен твоим умом, твоей чуткостью, твоей таинственной силой постигать, как надо себя ставить в сложнейших положениях жизни. Твой рассказ о работе в клинике, о «Захлихкайт» — я бы вольно перевел — «здравомыслие»! — это тончайший психологический анализ «женщины у больных», красавицы-женщины, все-женщины у больных мужчин! Чудо мое чудесное, небывалая, не бывшая никогда! И ты т а к сумела, так нетронуто прошла все рифы, все касания! Святая, мудрая, крепкая, чудо-Дева! Как я перед тобой мал, Оля! Я тебя цеплял! я позволил себе (тебе) т а к о й — т а к писать! Мне стыдно, больно... я на коленях перед тобой, я молю тебя — прости. Оля, я в томлении это сказал... я себя не помнил от досады на что-то, что мелькнуло, от боли, что я так поздно узнал тебя. На все вопросы отвечу, только поставь их еще раз, — я запутался в письмах, я весь потерялся в чувстве к тебе, в огромном, неопределимом, безмерном. А сегодня, как нарочно, мое такое нежное письмо вернули, — из-за фото, три фото, домашних снимков приложил, со мной... — я его отослал, это от 3.XII. Мне вернули еще 2 с фото. Дошлю без фото. Там я всю нежность свою тебе открыл, у твоей постельки, на коленках у тебя стоял, молился за тебя, на

---

[i] На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной: Чудное!
[*] действительность, учет реального.

тебя, Оля. Боже мой, ты меня разишь моим же, этой «Аргентинкой» из «Это было»! Оля, забудем эти «цапки», эту злую мою манеру — делать боль! Оля, не оставляй меня... ужас будет мне, без тебя, найденной, данной так чудесно и так больно! Ведь на свете, нигде нет такой, — ты — единственная, я знаю. Ты — от папочки твоего, тоже единственного. О, какое счастье любить такую! и какая боль — не встретить! Оля, я весь открылся бы тебе, лучший, какого ты не знаешь, — в шепоте с тобой, в движениях сердца, — я нашел бы в себе новое для тебя, и ты почувствовала бы, каким я могу быть с тобой, кого боготворю, кого превыше всего знаю, кого мучительно люблю, за кого все отдам, Оля! Что во мне творится, если бы ты могла увидеть! Вся моя душа — пустыня, в сравнении с твоим богатством. Я трепещу теперь, что не в силах перелить в Дари хоть частицу от тебя, — я буду, должен написать ее! Почему я, идиот, мог увидать в тебе — генус маскулинум[1]? Чушь какая, безумие, — ничем не могу объяснить? Ужели — ревностью к... другим, ко всем? Не видя те-бя — я смею так смотреть на тебя, будто ты вся — моя! Какое самодурство! этого не замечал в себе. Нежно тебя лелеять, оберегать от волнений, а я — так! Накажи меня, ну... не пиши мне неделю... наложи епитимию на недостойного. Как ты огромна, Оля! как мудро-сложна! как необычайна.

Теряюсь, на что я должен тебе ответить? Да, «Куликово поле». Оно было напечатано в газете, только, в двух №№[470]. Не было издано, как многое. Но я тебе его пришлю. Я для тебя сам его перепишу, и буду посылать частями. Ты его потом прочтешь сразу. Оно — больше тысячи строк. Его я отдаю — ТЕБЕ. Вскоре после «Куликова поля» я получил письмо твое, июнь 39 г. Я плакал, когда писал. Ночью, помню, — слезы лились, от благоговения перед Святым, кого я дерзнул описывать... преп. Сергия! Это — м. б. самая светлая из всех моих работ. Я трепетал. Я посмел веру — доказать жизнью. Укрепить и себя, и — многих. Это — боль о нашем. Это — и благовестие. Рассказ невера, или никако-вера, маловера. Листочек из календаря дал путано из моего очерка, переврали что-то. Мое видение Родины.

Да, еще... я написал, что... «всем жертвую»? Должно быть я неправильно выразился. Смысл такой, должно быть: отказаться — тебя увидеть, не приехать к тебе, — это значит — от всего ценнейшего отказаться, всем пожертво-

---

[1] Мужской род (*от лат. genus másculus*).

вать... Своей волей я этого не могу, я не могу отказаться от «встречи», — только непреоборимые препятствия могут вынудить эту «жертву». Я тебе писал, что «боюсь» твоего разочарования мною. Я преодолею э т о. Но я спрашиваю себя, ч т о же мы можем тогда решить? Ни-чего. Препоны останутся, — ибо внешнее положение не изменится долго: мы — отделены «событиями». На какие же вопросы я должен тебе ответить? Я тебя люблю — и не могу уже перестать любить. Ты это знаешь. Ко мне уехать ты не можешь, если бы даже и была свободна. — Напиши дальше о своей жизни в Берлине, о встрече с Г.

Ты пишешь, что «изображение О. А., святой твоей, я принимаю как высокий дар твой». Разве я его тебе послал, ты получила? Я послал О. — молодую, в Крыму, но ее мне вернули вчера. Боже мой, Оля, я тоже не могу без тебя! не могу!! Дни идут пустые, от письма до письма, твоего. Я пошлю тебе уменьшенное паспортное — фото урода! Плохо вышло. Милая, не верно твое суждение, будто я не хочу тебя видеть, чтобы не изменить созданного воображением образа Дари! Я тебя — т е п е р ь — в и ж у, могу представить, по портретам. Но живая т ы неизмеримо краше еще! Я — з н а ю. Оля, я так тебя люблю, так святонежно, так чисто, так глубоко... — сердце тает, сладкой болью истекает стоном... Олель моя. Если бы тебя увидеть! Руки сложил бы, как на молитве тайной! Влил бы всю в глаза, всю взял бы в душу, без слов, одной силой взгляда, и не говорил бы, шептал бы только — Оль моя, Олёля, Ольгуна, Ольга! И ты поняла бы из этих тихих слов всю мою жизнь в тебе! Я никого так не любил, Олёлик. Олю мою я любил детской любовью, светлой радостью... потом — привык, любил как ту, без которой не мог бы быть. Как мать Сережечки, порой — как красивую женщину, ближе всех и лучше. Спокойная, ровная любовь, естественная какая-то. Тебя люблю — как драгоценнейшую из всех женщин, как д а р, как сбывшееся несбыточное... как величайшую из земных ценностей, как п о д р у г у, как все-Женщину... как — Женщину. Нельзя определить словами. До боли в сердце. В с е в тебе люблю, все твое — свято для меня. Как я целовал, вдыхал твой локон! Чуть светлей Олиного. Такого ждал, знал по фото, — исцеловал, сейчас целую, прижимаю к глазам, колечки эти! Живые, Олины колечки! Утонул бы в них, себя бы задушил, — забыл бы все — ты, только ты, душистая моя, детуля... Оля! Ночью проснусь — «есть Оля! живая, где-то... любит... — о, приди, приди во сне»... раз только видел... будто обнимал тебя,

будто так близко ты была... почти моей! Как билось сердце! — Оля, я хочу встречи, и не уверен, что добьюсь. Надо не здесь хлопотать, а в Берлине. Жду ответа от Алеши Квартирова. А они все — могила. Нет, неверно, что если бы ты приехала в Париж, оставалось бы какое-то мое нежелание, — «но», «помимо визы». Если бы ты приехала в Париж, ты не вернулась бы в Голландию. Я умолил бы тебя остаться. И мы работали бы вместе, радостно. Как бы я тебя наполнил, душу твою... всем, что во мне невысказанного! И ты осталась бы, я знаю. Знаешь, Оля... как каждое воскресение, были вчера мои «молодые». Мы пели втроем русские песни, студенческие... и Лючик пела, и очень мило, с хорошим выговором... И вот, сегодня была мать Ива, Юля, племянница Оли. Сказала: они в восторге от тебя, говорят — «как, побыв у дяди Вани, уходим — и в нас свет такой... какой у него чудесный голос! как он увлекает! наполняет душу родным... все новое узнаем... какой живой он, все оживляет в нас!» Мне было приятно слышать. Да, я и сам увлекаюсь, молодею. Я читал им Лафонтена[471] и показал, насколько же наш Крылов чудесен, — читал им «Мэтр корбо сюр эн арбр першэ, тэнэ т'ан сон бек ан фромаж» — ну, «Ворона и лисица». И Лючик поняла, как велик Крылов! Француженка — и поняла. Я дал «лисицу», какой у Лафонтена и не почувствуешь. Пели и «Казанскую»[472] — «Там где тинный Булак со Казанкой-рекой...» И — «Вечерний звон»[473], много. Мой баритон не посрамился. Я любовался ими, юными. Сережечкина счастья не дождался... — ну, ихнего дождался. Ушли — и как же пусто стало! И все время — думал о тебе, Олечек! Все на портреты любовался, пел тебе, далекой, — о, какой же близкой! Оля, 12 дней не писал: 4 дня глаз болел. А потом твое холодное — уж не помню — письмо... ревностью задело, во мне похолодело, что ли... спрятал твои портреты... — наказал себя, безумствовал... — как тосковал, что ты меня не любишь. Такой я мнительный, как и ты, — мы так похожи, одного теста, будто ты — я, — тревоги, страхи, муки, и — томление. Оля, ты говоришь — «я же еще молода сравнительно»! Ты — не сравнительно, а воистину молода, юна... и будешь до-лго молодой! Такие не стареют. Ты вся — порох, огонь, порыв, краса-вица! Выше всех красавиц! Пожалей меня. О, как я одинок! У тебя мама, братик, — у меня... кровное мое — где?! Целую. Я весь в тебе. Твой Ваня — урод.

Любишь финики? Пришлю только скажи, дай счастье.

105

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.41

Мой дорогой, до самозабвения любимый, родной мой!

Столько мыслей кипит, — ни одну не схватить надолго, — бегут, летят... О том, что будто «ты мне не веришь...» Не знаю точно, что я писала 23.XI, но м. б. это все об одном и том же, о главном: когда мне «кажутся» или (не кажутся) твои упреки (ну, намеки), будто от меня зависит вся жуть нашей безысходности,.. то мне горько...

Ты как-то писал: «от тебя не жду писем, — слишком много у тебя моих...» Я помню как меня это пронзило... Ну, согласись, что я могла тогда сделать выводы, что ты «не веришь» до какой степени глубоко я тебя люблю, как все это «чем меньше женщину мы любим и т.д.» — *не* относится [ко мне]. Ты пойми, что вся моя жизнь в тебе! Если бы этого не было так, то... разве бы я могла так писать? Мой милый Иван Сергеевич, я иногда ужасаюсь, что я смею, рискую, святотатствую... говоря с тобой на «ты» и вот так, как говорю. Ты, понимаешь, что это возможно у меня только в силу великой любви!.. Она, эта любовь, закрыла мне ту грань, что между Гением-Тобой и... мной, маленькой[i]...

Ты же Гений! Ты понимаешь, какие чары дала любовь, что и это мое сознание закрыла...

Я не могу сказать и выразить словом. Если бы не было войны, и я могла бы как, скажем в 38—39 всюду без визы ездить, — то я бы убежала к тебе... Я и теперь об этом думаю. Глупо? Конечно. Но я мечтаю... Я убежала бы к тебе и... не возвратилась. По-моему, это самое простое. Хотя я знаю, что это и самое больное. Жена моего дяди (Груздева), чудесного отца троих (!) детей и (как всем казалось) прекрасного мужа (кто может судить об отношениях супругов? Но был он человек прекрасный, и как мужчина интересный) — сбежала с его же другом-сослуживцем. Потому я просила узнать через проф. Карташева — он все это знал. А мы ее и ее нового мужа (?) потеряли из вида. Двух мальчиков она оставила, а девочку украла. Разбита жизнь была. Ее все проклинали. Но кто, что знает? Конечно дети! Это серьезней! Они страдали очень и называли ее «она». Ну, да, так вот теперь и этого исхода нету! Ну, приеду, а

---

i Выделение О. А. Бредиус-Субботиной.

ведь меня в Париже не оставят, не позволят... и... водворят на место! Я потеряла меру всему! Дни уходят, летят недели... Куда?! Ах, сегодня утром пришли 2 книжки: «Мери» и «Liebe in der Krim». Я жадно кинулась на них. Особенно на последнюю, — ее я не знала. И биография... твоя... так странно читать, о живом же никогда еще не писали! Хорошо, но как же бледно! Да, нет, всего никто не скажет! Они все тебя ценят с обще-понятной точки зрения (исключаю Бальмонта), — но все твое очарование, Твой Гений для нас, да и для них, — это твоя вся русская сущность! Ты, — как ни один еще писатель, — *весь* русский, все самое прекрасное Руси — в тебе! И *Это*, будучи абсолютно Прекрасным, в Вечном — является и мировым. И потому влечет их,.. а они не знают откуда это! Ты — Русь, — в ее Прекрасной Душе и форме. И эта Душа, Святая, Прекрасная абсолютной Красотой, — она всеобща. Они это могут называть как хотят, но... мы-то, я-то... знаю откуда это! Я на коленях перед Тобой! Неземной мой Гений! С Достоевским тебя сравнили?! Я — *не* сравню! Не потому, что хочу умалить 1-го, но потому, что Ты, правда, *не* сравним! Твое творчество, как и ты сам, — и не сравнимы, — и не повторимы!

Скажи, там говорится о том, что ты пишешь что-то о России, но скрываешь что. Ты написал? Или пишешь? Или... неужели бросил?

Я не хочу выпытывать у тебя, но... только: пишешь? А «Пути»? Неужели не пишешь? Это мне горько, Ванёчек! Как ждут все! А я? Это жизнь моя! Это же Дитя Твое! Ваньчик, ты много раз писал о том «таинственном», «чудесном» «как творились "Пути"». Но не сказал. Или ты это мне никогда не скажешь? Как же? Ваник, пиши же «Пути»! А если ты уедешь, то не сможешь писать, — или и это тебе возможно? Вернусь еще к биографии: как можно пытаться исчерпать этим: «любит цветы, музыку...» Ты же Все любишь! И это — твоя основа! Ты, пусть даже много слез проливший, — ты радостен! Это твое главное.

У тебя всюду это — эта любовь ко всему, пусть не действенная в некоторых случаях, но это состояние любви, ее наличие. Ты милуешь даже ад! Даже в «Солнце мертвых»! Да! Да! У тебя нигде нет злобы! Нигде! А «музыку, цветы» любить... Это же может всякий! Какое же это определение для тебя?!

Ты самую последнюю букашку любишь, — потому что она — живое, жизнь! Ты вот березового червячка на моем платье любишь. Ибо, не любя, нельзя так писать, как ты!

И отца твоего коснулись, но... что же таак... бледно, тускло? Он чудо-прелесть, твой отец. Я влюблена в него! Чудный! А тут: любил купать соловьев, да «Lämpchen»[i] зажигать. А какие такие «Lämpchen»[474] и почему, и... к а к?! На свой «аршин» пытался дать тип «мягкого» отца что ли? «Rührend»[ii] что ли? Не знаю.

Биография не плоха, но... бледно, бледно... Уж лучше не касаться, коли не все, не полно!

Да разве можно тебя дать в 2 страницах!

Многое дали чутко, любя и нежно, и за это уж спасибо! Но разве тебя всего охватили?! Твое чудесное в «Неупиваемой чаше»? Ну, «Путей» еще не знали, но ведь в тебе-то это все *уже* жило! И ты — в «Богомолье», ты — весь чудесный — Быт Русский. Поймет кто разве из не нас? Напишут: «Haufen gelben und blauen Rüben»[iii] — разве можно быт твой «перевести» на чужой язык? Как бы талантлив переводчик не был? и будут... Rüben[iiii]! А у тебя — она хрустит на зубах эта чудная репка, что рассыпана горами, а не на лоточке кучкой! Ну разве можно кому понять и оценить то, чего они не знают! Я много могла бы сказать тебе и так бы этого хотела. Но тесно на бумаге!

Пишу когда вот так и вижу взором Души, какой ты... Великий... Гений... и страшно! Как же я смею... так просто?! Я на коленях перед Тобой, Великий мой!

Мне страшно и «писать»... но хочется очень. И м. б. я все-таки буду. Ванёчек, я писала вчера, что «так больно», — Ты не волнуйся... болезни нет. Это я болею — духом! Тоской, все по тебе, родимый мой! Сегодня лучше. Буду стараться есть больше. Мне не к лицу худеть, тебе не понравлюсь... и потому буду, буду стараться исправиться! Я жду тебя! Ревную к «Даше» (или ты ее дал Дари?). Ревную ко всем и всему! Много осталось еще, что сказать хотела! Напишу! Целую и люблю крепко. *Оля* твоя.

[На полях:] Сейчас уютно-преуютно пьем с мамой вдвоем чай с твоими конфетами! Я — вся с тобой!

А как твоя «Елена-прекрасная»?

М и л е н ь к и й! А-у у... Слышишь????

Я никогда не знаю, что и когда тебе писала. Жаль, что не оставляю копий, но это скучно.

---

[i] Лампочки (*нем.*).
[ii] Трогательный (*нем.*).
[iii] «Гора желтых или синих реп» (*нем.*).
[iiii] Репа (*нем.*).

106

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.XII.41[i] 1 ч. дня
Св. Николая Чудотворца

Дорогой мой, родной Ваня!

Как благодарить мне тебя, как выразить все мои чувства?! Сам Господь внушил Тебе — Благовестителю, достойнейшему носителю имени Евангелиста, Богослова, — поддержать и утешить меня! Я вся свечусь твоим светом, я спокойна, в душе тепло и тихо!.. Сегодня я молилась с тобой, — вчера я получила твое письмо от 10.XII с «условием», — и рада как, что во-время пришло! Сегодня и молилась... И утром, и в 12 дня! И сказала тебе мыслью — сердцем: «с Праздником, Ванечка!» У меня была тоска, ужасная какая-то. Но 15-го уже прошла, вдруг, сменясь какой-то бурной жаждой жизни. Я писала тогда тебе (не послано еще!) — пошлю. И вот до вчера... я... не знаю, что это было? Тоска одного сорта прошла, сперва сменясь «бурливостью жизни», а потом сошла новая тоска и задавила всю меня. Я вся рвалась к тебе. Я с 17 на 18-ое не спала почти. Я притворялась только, что сплю. А утром тоска не оставляла, я плача, тебя звала, отчаянно... не только сердцем, но прямо слышно, шептала тебе все, все, что мучило сердце. Я называла тебя всеми именами, какие мне входили в душу, звала тебя, заклинала тебя приехать, умоляла верить мне всегда, во всем. Клялась в любви к тебе. Называла тебя так, как Дари Диму в метели[475]... Только сознательно, ответственно. Я встала рано, не в силах больше так страдать, чтобы развлечься суетой хозяйства. И утром же твое письмо! Такое чудное, светлое... Ангел мой! Я плакала слезами легкими, отрадными. И как о Вере ты сказал. И как это у Св. Иоанна... Я вечером же молилась и читала Евангелие (я его всегда за правило положила читать после болезни и читала, ...до... Wickenburgha, а потом я все у себя перепутала), и знаешь, что мне открылось? — «алчущие исполни благ и богатящиеся отпусти тщи»[476]. Как удивительно?! Не правда ли? И я — верую...

А утром сегодня опять на том же месте, но на страничке слева я посмотрела... Это чудесное Евангелие, одно из моих любимых... «Во дни оны восставше Мариам, идя в гор-

---

[i] Помета И. С. Шмелева на конверте: гениальное истолкование «ewige Weiblishe».

ние...»[477], и я увидела ...«благословенна Ты в женах!»... Правда! Я заплакала, и слезы упали на это место, а на обратной стороне, где было пятно слезы моей, стояло о том, как вошел к Ней Ангел и сказал Ей «радуйся!» Ты еще не знаешь всего из моего детства, но я верю, что узнаешь... и тогда поймешь... как это чудесно... И я, после молитвы, как мы условились... еще, сама того не ожидая, молиться стала, чтобы Бог благословил меня... на... Творчество! Да, во Имя Его! Ванечка, мне так хорошо вдруг стало. И вся тоска ушла. Я люблю тебя светло и радостно, и верю, что все как-то Бог даст и устроит! Напомни мне рассказать тебе об одной ночи под св. Николая (о Савве Освященном[477a] и о Николае Угоднике)! Это — от Праотцов моих еще! Напомни. Сейчас я хочу только о тебе!

Ванюшечка, меня гнетут мои письма к тебе, — я глупо писала, иногда от отчаяния будто даже сердясь. Но никогда это не так! И еще одно: я писала тебе о том, что ты «даже и ад милуешь», — не пойми это неверно. Не прими за какое-то «непротивленчество» что ли... Нет, я хочу сказать, что ты, карая ад, видя смрад его, скорбя о всем, как никто, — ты не брызжешь желчью (что бывает обычно у других), — но милостиво сходишь в него, как это делал и Христос! Ведь претерпев все, что ты вынес от них в «аду», — ты бы, мог писать иначе. А у тебя... сколько же еще сердца... И тем ярче выплывает сущность зла в «Солнце мертвых», — тем глубже мрак, — чем больше ты там свое, личное скрыл. Это потрясающее что-то. Я взяла «Солнце мертвых» — как ярчайшее в этом, а во всем другом... до чего же ты... добр! У тебя эта Любовь и Доброта... от самого Евангелиста, Твоего, а Тот? Ведь он на груди у самого Источника Любви и Света лежал и слушал Его Сердце! И это так бледно выражено в очерке. Ну, не касались бы уж вовсе! И я — не довольна! Ванечка, как чудно ты сказал мне о «розочке дикой»... Как верно! Я это место прочла маме... Поразила ее эта чуткость и меткость сравнения. Плакали обе. Она меня жалела. Я буду лечиться, Ваня. Я хочу быть здоровой и, верю, что буду! Я начала новый «курс» селюкрина, с... сегодня... Сегодня чудный день!

Мне каждую ночь почти ты снишься, вернее о тебе...

Я в сладостной трепетности прочла «Liebe in der Krim»! Господи, какой ужас, если бы я эту книжку не узнала! Это — дивно, Ваня! Божественно! Даже не в оригинале! Скажи, что они обозначают словом «geisslein»[i]? Как у

---

i Козочка (*нем.*).

тебя? Как Нургет называл ее любимый? Чудесно, Ваня! А этот сад с вишнями! Эти теплые вишни! Я их осязаю. Какой ты!! Я люблю татар. Я их много видала. Знала тоже роман один татарский. И ведь это — ты! Ты, Ты... всюду.

Как я чувствовала тебя! Если бы только мог это все представить! Я была там, с тобой, в саду... Тоничка!

Ты рожден, чтобы земное все очистить огнем небесным, чтобы Творцу все наше грешное изобразить и дать в самом прекрасном, достойном своем явлении. Бог радуется на тебя, Ваня! И если Божью красоту... во всем... в вишне (да, красивое слово!), в букашке, в пыли даже!, в людях — Его подобии, в любви, в оленьем зове... во всем... — не видят люди... а они часто, почти всегда не видят и топчут, — то Ты дан Им, Богом, нам показать... Конечно ты — Апостол! Ванечка, склоняюсь к ногам твоим. Бессмертный! Великий! Вечный! Ах, и другие есть художники, но... все — не то! У тебя — *Божия* искра... У кого ее еще так ярко найдешь? Ты весь особенный! И в этом почитании Богоматери! Дивный мой!

И вот о Богоматери! Это твое тонкое понимание чуднейших чар жизни — этого же ни у кого т а к нет!

Ванечка, пойми сердцем то, что сейчас скажу: (м. б. слово плохо выразит): эту очарованность отражением Богоматери в Жизни, в слабом повторении, подобии и внешней формой, т.е. в живых женщинах, то, что можно, пожалуй, определить «ewige Weiblishe» — эту очарованность я часто чувствую. Читая книги, или наблюдая жизнь, или просто любуясь этим проявлением. И, видя, в любви 2-х сторон, одну... такую, с этим несказанным очарованием, я и любуюсь ею. Дико женщине влюбиться в сестру свою... если это «влюбиться» понято не верно, грубо. Я не люблю в ней то, что вне этой «отраженности» Предвечной, Прекрасной, Блаженнейшей между женами... Я до трепета любуюсь, наблюдая любовь, как таковую (книга ли это или еще что). Я не «чары» этого «героя» вижу, но его чувство, его влюбленность, поклонение тому в н е й, что заставляет трепетать. Описывая любовь такую, я (если бы я стала писать) без сомнения любила бы в «нем» — его любовь, (не мускулы его и молодцеватость и т.п., а) именно проявление его любви и через это его самого! Ты знаешь, я никогда бы не могла полюбить мужчину просто вот так с виду, очаровавшись им самим... И я пленена всегда проявлением поклонения вечному женственному. И я, любя, обожая это, люблю его. Потому я думаю, что люблю не женщину-героиню, но это чудесное в ней, это является настолько священным, что выхо-

дит за пределы наши. Это что-то абстрактное, что-то над нами. Часто женщины, влекомые своими страстишками и по зависти ненавидя «свою сестру» не в и д я т божественного, чарующего всех. Потому я думала, что среди женщин мало может быть истинных художниц. Надо «уметь» с Выси смотреть, а не на линии своего носа. Ты, подумай, как грубо и не художественно было бы в изображении любви, — описание е г о... Восхищение им как таковым только. Другое дело, если я «его» вижу тоже в в е ч н о м, — например, г е р о й. Ну, как король Александр I[478]. Это другое. Это — вечное и потому влечет. Но в обычной любви, в освященности, в чарах ее, — мы, конечно, должны увидеть «ее», а не «его». Ибо только этой «вечно-женственной» прелестью освящена любовь! Так я понимаю. А если писательница его в любви (обычной не героической) дает, то и получится бульварность. Сила мускулов и больше ничего. Я люблю «его», потому что «он» зажегся, или я чувствую в нем эту восприимчивость, возможность ее, в е ч н ы м светом, данным «ей» Е ю. Можно понять[i]? Ванюрочка, скажи почему же ты хочешь от меня беречь Дари? Я *не* обижаюсь, но должна знать! Как ты все угадываешь, — я только что писала о «березовичке», а ты уж его мне тоже посылаешь! Хотела спросить тебя давно, как у тебя, вокруг тебя, — и ты даешь мне твою комнату. Спасибо, родной! Я так и представляла. Нарисую тебе, как я вижу.

Ванечка, ты не присылай еще духов, — к чему так баловать? Я не запрещаю это, но... просто... зачем же? Я наслаждаюсь твоми конфетами — прелесть! Но, чур — не посылай! Я об изюме тебе писала, что не люблю его. Не омрачайся! Это не значит нелюбовь, а только не значит любви. Я равнодушна, а т.к. ты любишь, то жаль мне отсылать редкость! Я его сберегу тебе!!!! Хорошо? Господи, неужели будет это, что тебя увижу? Солнышко ты мое! Получил ли мое фото? И волосы? А цветы? Неужели нет? Я же их послала (велела послать) к 10-му XII! Ванечка, я получила следующие книги: «Свет Разума»[479], «История любовная», «Про одну старуху», «Степное чудо», «Няня из Москвы», «Солнце мертвых», «Liebe in der Krim» и «Мери»! Все они от тебя! Богатство какое! Пришлешь автограф? Пришли же фото! Я все книги переплету. «Старый Валаам» не пришел еще. Ты спрашивал.

---

* Угадываю... Конечно, все подсознательно.

[i] Эти два предложения обведены О. А. Бредиус-Субботиной.

[На полях:] «Ewige Weiblishe» — неуловимо, как чувство, которое приказывает обернуться, когда кто-то сзади смотрит.

Вань, я пудреницу-реликвию[480] приняла с чувством недостойности. Сохраню подобающе. Но «доказательства» мне не нужны ведь. Я знаю тебя!

Целую тебя, обнимаю и люблю... люблю..! Оля твоя.

107

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12/25—26.XII.41[i]
12 ч. дня

Ласточка моя Олёль, радостно взволновали меня твои последние письма! Как я тобой счастлив, детка, как светит мне твое глубокое чувство! Необычайная, чистая, небесная! Не называй меня великими словами, недостоин я. Оля-голубочка, не думай, что я удовлетворен «оригинальностью наших отношений»! Каждый день разлуки с тобой — для меня ужас, утрата заветной надежды... — ты знаешь. Быть с тобой, слиться не только *душой* — чувством, а всем в нас... дать жизнь... Господи, думать страшно, что все обратится в призрак, — что мы не встретимся! Что скрывать, так мало надежды, что могу получить позволение приехать. Но, родная... не будем же терять последней надежды. Оля, меня пугает это твое слово о «завещании». Оля, не теряй веры, молись, будь крепкой, — только через молитву найдем силы. Знай, что я *верен* тебе, что я хочу быть достойным твоей великой любви, тебя! Я — как «рыцарь бедный», твоим образом жив, тебя лелею, тобой дышу. «Пути» я буду, начну писать, — для тебя, во-имя твое. Клянусь тебе. Условия моей неустроенной — бытовой — жизни и события мешают, — горение тобой все закрывает... Олёк! Это бред был, что надо «беречь» Дари! Только тобой и могу ее писать, без тебя — не было бы ее, клянусь. Нет минуты в днях моих, чтобы не думал о тебе, не жил тобой. Единственная, все заполнившая, — не знал никогда, чтобы могла быть такая любовь. Вечная, последняя для меня на земле, козочка моя! Да, то словечко в «Лиэбе» — «геслейн» — козочка! Не отвечаю тебе на письма, а лишь пытаюсь успокоить тебя. Оля, я счастлив, как ты открылась, открывалась мне, — и твои слова — о любви — такое головокружитель-

---

[i] На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной: Божественное.

ное счастье, до задыхания, до пьяного восторга. Как ты умна! как тонко разбираешься в искусстве слова! Ты, Оля, сама не знаешь, как ты драгоценна, — явление необычайное. Ты — готовая, ты должна писать, что хочешь, как хочешь, — ты есть уже! Решись, начни, — это тебя успокоит. Олёк, следи за здоровьем, ешь больше, принимай «селюкрин», укрепишься. Не будем ни на миг терять надежды. Не насмешка же над нами — чудо нашей встречи! Я трепещу перед тобой, недостойный твоей любви. Оля, мученица, бедная моя страдалица... — сколько вынесла ты! Оля, ты можешь сжечь мои письма? я не могу — твои, ни за что: это — ты, живая, вечная. Ты можешь закрыть себя, снять свое имя, но отнять у жизни ценнейшее, — подобного не было в веках! — это грех. Мы поем друг-друга. Мы находим новое в любви, столько духовно ценного, исключительного! Эти обмены чувством — это же наши дети, это свет наш... — это святое наше... — и сжигать этого нельзя. Олёчек, я плавлюсь в твоей любви, я сладостно сгораю... — и ни за какие блага не отказался бы променять эту «муку любви»... — пусть даже она и не увенчается. Я знаю твои страдания... но помни же, ты в расцвете красоты и силы, ты должна жить, у тебя будут цели, если судьбе угодно будет отнять меня. Первое — ты должна быть здорова сильна духом, верой, надеждой. Ты много перенесла, м. б. это последнее твое испытание. Надо быть смелой, гордой, — и вынести. Почему ты не ценишь даже — пока — такое счастье? Вспомни, сколько вокруг страданий, и — безнадежности, у стольких! Вдумайся, Оля... — твои слова повторяю: пребудь в Воле Господа! У тебя есть предчувствие, что «устроится» — и живи этим пока... — я знаю, что у тебя воли больше, нежели у меня. Не отдавайся набегу острых дум, не запугивай себя невозможностями... — мы живем в такое время, в вихре таких событий, когда все возможно. Правда, не по времени трудна любовь наша, так несвоевременно случилась она! кто знает, что будет?! Как же можно отчаиваться, терять себя? Верь же мне, дорогая птичка моя, бесценная... — только надеждой на встречу с тобой и жив. Будем же верить, молиться, умолять Господа! Помни: не случайна наша любовь, она — нужна нам обоим. Для чего, во что выльется — кто может знать?! Верь, верь... И не мучай себя призраками: я — твой, и только твой. Таким и останусь, до конца, какой бы ни был он. Я счастлив уже и тем, что ты есть, что ты — в тепле, с мамой с братом, что ты не нуждаешься, что ты можешь лечиться, что ты так еще юна! Твои

37 лет..! Да ты еще 30 лет будешь свежа сердцем, прекрасна телом, — вся — несказанная. С твоей душевной сущностью — ты долго-долго будешь юна, свежа, светла. Мне больно помыслить, что кто-то другой может дать тебе полное счастье... — но, Оля... — я так люблю тебя, что гашу боль эту... — только бы ты была счастливой. Ты знаешь сама, что наша любовь, наш «обмен» выбил в тебе много чудесных искр, ты зреешь душой несомненно, раскрываешься, расцветаешь... все прекрасней ты, все полней чувствами... — какая же эта сила для твоей будущей творческой работы! И я счастлив, что являюсь кремнем для твоего огнива. От нашей полной встречи, — душевно-телесной, — ты, конечно, еще пышней бы расцвела... вошла во всю полноту сил души-сердца! О, какой бы это был пожар чудесный! У меня сердце обмирает... только помыслю..! Влиться в тебя, в тебе сгореть... — о, дух захватывает от такого счастья! Олюша, я сегодня ночью проснулся — и так хотел тебя..! до слез, так и уснул в слезах. Дай мне твою чудесную, милую головку, я положу ее себе на грудь, я буду ласкать твои локончики, целовать лобик твой, бровки-ласточки, грудки твои нежные, голубка, душку твою... и всю, всю заласкал бы, о, как заласкал бы! — и ты отдала бы мне всю страсть свою, и жизнь дала бы... нашему ребеночку, — о, как я верю! — и это был бы чудесный, светлый, красивый, гениальный, да... — ты же необычайная, моя небесная невеста, моя Олёль! До боли острой я тебя люблю, до сладкой боли. Я слышу тепло твоих объятий, жарких, нежных, бурных, дающих жизнь, ищущих ее, — чтобы дать ее другому существу! Оля, я безумствую, я горю, тоскую, стражду, зову тебя, как никогда еще не звал! Я не могу без тебя, я весь сгораю без тебя.

Сегодня, — перерыв — 26-го, нашел твою карточку — «с новым годом!» — благодарю. Твои мотыльки, цвета сомон, цикламен, дают новых, новых детей, я над ними стою и плачу. Оля, где же ты?! Оля, какая это му-ка — не иметь тебя. Я счастлив, что ты молишься. Молись, Олек мой. Какое видение было тебе в ночь на Св. Николая? Ты велишь напомнить. Все мне скажи. Оля, как ты чудесно-тонко говоришь о «Солнце мертвых». Да, Оля, я не зло давал книгами, я жалел все в мире, в Божьем мире. Я знаю: никто не написал бы «Солнце мертвых». Знаю. Это мне Господь помог. И как же скоро я написал! Писал — в болях, — напишу страницу — и катаюсь от болей — «язва» — на диване, перерыв, опять пишу... — и какое было облегчение, когда я кончил пьяниссимо, груст-

но — пением дрозда! Свел — к минору — такое страшное! — Оля, я не отвечаю на твои последние письма, я отвечу, я в угаре от тебя, в тумане от твоей кружащей меня любви, от твоей страсти. Ты — Женщина, вся, вся, дивная, чудесная, как никакая другая... все заполняющая, зовущая, влекущая, все отдающая! Свет мой, моя любовь, моя Царица, моя Небесная-земная, моя дружка, любимка, нежка, ласка, дурманка моя, — о, как я тебя жду, хочу, зову! И — бессилен перед далью, — неурочность бьет любовь нашу, но не охладит, нет, — может убить, но это только — убив жизнь. «Лиэбе ин дер Крим» — в переводе — слабо, не то, нет музыки, — и вишни — не вишни, у меня персики там, пер-сики... сочные, как ты! Моя Нургет — это все зачатки будущих женщин нежных... твои предтечи. Оля, я тебе все, все отдаю, все посвящаю тебе, что не отдал еще... — всего себя тебе отдаю! «Куликово поле» — твое! Я тебе пошлю — сам перепишу. Оля, я буду, если буду здоров, писать «Пути»... — так трудно сейчас, в холоду, в посещениях, все отрываться надо... — для всего. Оля, я просил своих милых бывших переводчиц в Гааге — мадмуазель де Хааз — «Мери» переводили для большой старинной газеты[481] когда-то — послать на Сережу — к нашему Рождеству — или шоколадных конфет тебе, или — ландыши. Думаю, они это сделают. Я написал, что сосчитаюсь в Париже с их родственником. Написал им еще 17. Я послал тебе 19-го «Эр блэ» и «грушку», сам очистил и сварил варенье, для тебя! Шоколад не вместился в вес, оставил. Пьяных вишен не мог достать, но я найду что-то, мне обещали. Мне так радостно хоть чем-нибудь тебя развлечь, приласкать, мою нежную, мою светленькую Олю, мою единственную девочку. Так любить как я, — такое счастье! И быть так любимым! Зорька-зорька моя, свет мой последний, «вечерний»... — будь спокойней, будь счастливой этим малым счастьем — верь, надейся, Оля! Будь сильной, будь стойкой, — черпай силу в молитве! Только она даст силу, волю. Как ты чудесно говоришь о любви женщины, о любви — к женщине! О — героине любви! О сущности любви к н е й, и «вечно-женственном».

Ты же необычайно чутка, огромна! Пиши — что хочешь, как хочешь, только пиши. Я не постигаю, как я, идиот, мог написать, что надо беречь Дари от... тебя! Ты ее всю пронизала, наполнила во мне! Оля, ты увидишь, к а к это выйдет! Я дам ей столько любви, столько от тебя..! Как ты ее с о з д а е ш ь во мне! Целую твои ножки, голенькие, пальчики, коленочки... всю тебя. Все в тебе! В с е! Пойми,

как ты мне необходима... Оля, дай мне себя, во сне, — я не могу тебя достать... а так хочу..! — Изюм дай маме: Поцелуй ее и Сережу, за меня: я вас всех троих люблю, моих родных, моих близких. Через тебя. Какая умная твоя мамочка! Я ей напишу, — какая мудрая, какая чуткая. Она меня ни в чем не упрекнула! Я н е виноват, Олек... в твоих мучениях. Я косвенно, м. б., виноват, только. Оля, я пошлю тебе автографы. Знаешь, что я написал на книге «Мери»: «Это будет твоя любимая лошадка, Оля. Не ты ли это?» Неужели ты не получила «Старый Валаам»? Ответь же. Я пошлю, через Берлин. Он должен тебя так успокоить! Там много — «моего». Я пошлю тебе «Ландыш» Герлен, ждет, опасаюсь часто напоминать таможне. Ответь же: хочешь «Жасмин»? Я всю тебя задушил бы... духами! всю тебя осыпал бы дарами, малыми такими... Олёк... но мне так хочется тебя ласкать, радовать немножко! Твои глазки светлыми видеть, — Оля, цени каждый миг дней — все, все цени, всему радуйся: дождю, холоду, ветру, — но береги себя! — заре, звездам, запахам фермы, меканью телят, звону молочной струйки, травкам первым, первым примулам на солнце, месяцу ясному, холодному... ласке мамы, — пусть она гладит твою головку... братику радуйся, целуй его... — будто меня целуешь... — огню ночному, рано утром, — свечке нашей, давней, о, как я рад был ей, когда был маленьким! — дровам горящим, печке теплой, хлебу... тарелке супа, «хлебу насущному»! — голоду и сытости, кровке твоей, в руках, по жилкам, сердечку, которое и для меня стучит... — ну, всему, что Божье, ведь! Как это все хорошо в псалмах... — о хвалении Бога, я чуть дал в «Свете Разума»! Как я теперь все это чувствую! Я хочу все это дать в «Путях»! Они — твои, Оля! Все — твои. Ее — и — твои. Ты е е заместила, ты — о н а — в твоем лике, мне посланном, — ты — и любовь, и страсть, и мука моя... только ты, вся — ты, все — ты. Оля, будем верить, молиться... ждать. Оля, я знаю, как тяжело тебе, как ты меня ждешь, — м. б. в ы д у м а в, — а, все равно, ты моего сердца ждешь... услышать. Я поклоняюсь тебе, всему — в тебе: твоей красоте, прелести неизъяснимой, линиям тела твоего, изгибам, ж и з н и в тебе! любви твоей. Олик мой, Ольгуна, Ольгушонок... — как ты мне близка, как драгоценна! как незаменима, как вся любима, вся, вся, до... последней черточки, до ноготка на пальчике, до... не знаю! Я дышу твоим локончиком, воображаю всю, всю — тону в тебе, сгораю, исхожу всей силой любви-страсти! Оля, я хочу тебя! О, какая это мука... не найти тебя! Ну, во сне

явись, отдайся мне, я бережно — нежно-нежно коснусь тебя, всю обниму глазами... мою последнюю, мою первую, такую. Я не знал женщин, кроме Оли, — детской Оли... — она меня любила, детского. А ты — ты бы по-другому еще любила, знаю. Какие чудные твои письма! Сколько в них страсти, любви, прелести души, сердца... они наполнены тобой, единственной, трепетной такой, такой живой, такой тревожной, рвущейся..! Я целую эти строчки, я вдыхаю их... — твой аромат, Оля, твою душу, твое все. О, как люблю тебя, люба моя! Оля, поздравляю тебя, м. б. в Рождество получишь. Свет Разума в тебе сияющий вижу. Будь здорова! Люби меня — ну, поцелуй, приласкай, губки дай... девочка моя! Ты и дочурка, и сестричка, и женщина. Ты — все для меня — столько счастья дала мне — любовью! Будь радостна. Замираю в тебе, весь твой Ваня. Напишу на письма.

108

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.XII.41
1 ч. 30 дня

Голубка моя Оля, хочу, чтобы это письмо получила ты ко дню Рождества Христова, и была светла, радостно-тиха, вся — свет! С Праздником, нежная моя, единственная моя, необычайная, о, какая дивная из женщин, — не знаю, не знал такой. Будь здорова, сильна, радостна, Христова дочка! Я счастлив: последнее письмо твое, от 19, — совершенно исключительное. Как ты расцвела, созрела, углублена, — ты, кажется, не сознаешь (не хочешь сознать?) этого, — тем ценней. Твоя очарованность «отражением Богоматери», — как же ты ее уяснила мне! Как ты проникласъ тайной «вечно-женственного»! И как ты нашла слова — выразить это твое очаровательное постижение! Твое толкование «чудеснейшего» в Любви... — что тебя привлекает... — как мне понятно стало, сколько в тебе самой от этого «чудеснейшего», вот т о, что казнит меня сладко за мой идиотизм злой, когда я, не помня души своей, весь внешний и опустошенный, мог — ! — обронить злое-глупое, пропустив безотчетно в письмо, что надо «беречь» от тебя Дари! Да ты сама должна беречь Дари от меня, чтобы я ее не испортил! Ты же — вся — опровержение моего идиотизма! Да, да, гениальная девочка моя... — вот именно вечно-женственное-то и есть отсвет

непостижимой прелести Прелестной из Прелестных, — «чистейший прелести чистейший образец», — вечно-творящая святая Сила (Воля?) — «сила» — не подходит тут, но не умею заменить! — прекрасное Начало (Неупиваемое Зачатие) всему творимому, непостижимо-влекущее всех и вся, — все освящающее, все-радующее, таинственный катализатор — ! — (неудачно, не умею!) — «тайна тайн», противостоящая инертному, мертвящему, темному. Источник Жизни — синоним «вечно женственному», вечно-рождающему, зовущему к движению, жизни, радости, свету, — ВСЕ — в противоположение — НИЧТО. Это — Родник Жизни, первооснова Красоты, Добра, Истины... — Идеал всех идеалов, Совершенство всех совершенств, — без чего — небытие, недвижность. «Вечно-женственным» в Нем Самом — Бог сотворил мир. Глубочайшая из тайн. И стремленье к этому «вечно-женственному» — всеобще. Дон-Жуанизм — маленькое, но он — тяга, искание этой Тайны! У женщины оно — земное проявление ее сущности, и ты наделена им в необычайной щедрости. Вот почему, бессознательно, называл я тебя «Все-Женщиной». Ты — именно — дочка Богоматери, ты Ее, из Храма вышла... — и вознесла в себе, творила непостижимо, возрастая, Ее отражение, ж и в о е! Гениально дано тобой разграничение между «бульварным» и «высоким искусством»! А твои слова, взятые тобой в «квадрат линий» (очертила!) «Я люблю "его", потому что "он" зажегся — или я чувствую в нем эту восприимчивость, возможность ее, — в е ч н ы м с в е т о м, данным "ей"» — подчеркнула! Ею. «Можно понять?» — спрашивала ты. — О, да, я в с е понял в этом недоговоренном, потому что договаривать нельзя, тут о т а к о м, что и выражать-то словами невозможно, ты-то з н а е ш ь, ибо — гениальна ты! Радость моя, в каком восторге я от тебя! Как ты глубока, чутка, всегранна, исполин мой нежный! Мне стыдно за свою глупость, — я порой бываю ужасно туп! — Верно, верно, — сказала ты, — что среди женщин мало истинных художниц: они не могут так отделиться от себя и почувствовать — огромным воображением — «вечно-женственное», — они слишком мелкострастны для этого! А ты мо-жешь, ты — гениальная, ты — с потрясающим воображением и чуткостью безмерной... — как ты просветлена! А ты знаешь ли, кому этим обязана? Во-Имя Господа, ты обязана папочке твоему! Я хочу верить-знать, что он был в е с ь в очаровании Матерью Света, он — «бедный Рыцарь» Единственной, — он — Ее служитель. Как хотел бы я услышать его служенье ЕЙ! —

как, должно быть проникался он Ее очарованием светлым, чистейшим, в Празднования Ей! Он дал тебе жизнь и с ней — Свет Ее, Ее постижение, Ее очарование. Оля, чистая, чистейшая, — я упиваюсь твоим сердцем, твоим умом, твоим безграничным дарованьем. До чего же я счастлив! Такую найти... и быть такою любимым — Господня Милость! Полюбить такую — разве это трудно? Это — закон, это «быть любимым» — увенчание всей жизни, всех обид и страданий утоление, возмещение! — Ах, Ольга, — вот они, мои крики, — «кто ты? откуда ты?!» Это же инстинкт вел — открыть, и как давно?!

Ну, видишь теперь, как я верно шел к тебе, ощупью, вслепую... — знал (чем?) все в тебе, только названия сему не знал! — Я не мог обмануться. И вот, ты раскрылась вся — и как же дивно! — в этом очаровательном письме твоем — от 19.XII. А ты еще говорила, — я сожгу, нельзя отдавать «истории»! Это будет святотатство, Оля! Ты обогащаешь всех. Олёк, — прими же от Господа дар твой благоговейно — и дай ему жизнь — путь.

Вот — твое назначение. Твори-пиши, что хочешь, как хочешь, — будет чудесно. Спроси сердце, спроси ЕЕ. Вот он, смысл нашей встречи, нашего обоюдного искания. Вот искупление наших томлений. Мы должны встретиться, я знаю: срока не знаю, но встреча должна быть. Хотя бы — чтобы хоть глаза твои живые видеть, к сердцу тебя прижать и не отпустить, никогда... — не знаю, сольемся ли... но я тебя хочу видеть, чтобы хоть ножки твои целовать, Ангел мой чистый, коснуться тебя, осязать твое земное. — И все это не ответ: коснулся, только. Надо говорить, сердцем.

Почему ты не получила «Старый Валаам»?! Я напишу в Берлин... Или — еще раз отсюда пошлю. Я знаю, что давал издательству, послать.

Сегодня у меня — 8 градусов Ц. Я растопил камин. Электрические радиаторы превысили норму, не буду обращать внимания. Пока не отапливается дом! Все — «завтраки». Моя «Арина Родионовна» в праздники не бывает, — в церковь ходит. Я хозяйствую, — дико! Но сегодня мне так хорошо, — от тебя! от мыслей о тебе. Вчера я в 11 час. — так (!) тебя почувствовал — и как же нежно ласкал тебя! Меня пронзило что-то... взглянул на часы — как раз — 11! И я обнял твою головку, прижал к груди... — о, воображение какое! — ласкал, гладил локончики твои, шептал тебе... о, что я говорил! — и как жарко было в сердце! как оно таяло, нежностью, до слез тихих... — и я чувствовал тебя, льнула ты... — и мы молились оба,

и — любили друг друга! — чисто, светло, до боли сладкой. Сегодня я с тобой молился, в 12 ч. дня — и слышал, как ты спокойна. Будь счастлива, светла, моя голубка, нежка, чутка, умка... — о, Оля моя... — да нет же слов, для тебя всех слов так мало, так ты необъятна, неназываема! Олёль, девочка-женщина, цветок, козочка... звездочка, ласточка, мушка золотая-голубая, перлик мой, самоцветка, вся, игрушечка живая, трепетка, нервка... ты чудесно-нервка, — дорогулька... — ну, нет у меня слов для тебя, сладкая моя... душа бессмертная, красавица из всех красавиц! Ты — Пречистая (Ее — отражение земное!) для меня. Оля... вот теперь я вижу — через твое несказАнное, — какой огромный Смысл в «воплощении» через Деву — Господа, Земного! Он, Волей Своей, определил — явить Себя миру — через Высшее-Чистейшее — Таинственнейшее для земнородных — через — Вечно-Женственное, Вечно-Девственное! Лучшего, более подобающего для Него на земле — не могло быть. Вот она, Тайна! Вечно-Девственно-Женственное — едино, одно. И Рождество — сегодня — Праздник всех чистых, чутких, уповающих, постигающих смысл Вечного и — Жизни. Все этим в мире здешнем очищено и вознесено! Все — Свет Разума, все — Свет Любви, Цвет Любви. Это — наш Праздник. Мы с тобой его постигаем глубоко, я — через тебя. Ты — через меня? Но ты-то — мой свет, моя сила, моя — любовь, чистейшая, небывалая, небесная, — от Неба, Его Волею. Ты мне дана. Как ясно это вижу! Ты столько искр выбила во мне. Душу твою люблю, и все в тебе люблю, земное-святое, телесное, — оно у тебя — чистое, влекущее тайной нетленной прелести, какая в тебе... — у меня кружится голова, ликует сердце, я весь — в тебе! Я — с тобой, я близко с тобой, нельзя ближе, я весь в тебя излился, в тебе свечусь, и это чувствую... — и ты так нежно меня ласкаешь, недостойного... Ольга, помни, как ты необычайна, найди в себе уверенность — сознай — и — ты молилась! — отдайся творчеству. Не бойся, пусть не ладится пока, — на-ла-дится! Себя слушай, что велит душа.

На письмо предыдущее отвечаю, от 17.XII. О биографии моей... — мудрая, умней нельзя определить! «Пишу что-то о России»... Это, очевидно, хотели сказать, что я думал дать «Спас Черный»[482], большой роман, — я дал «Солдаты»[483], глав 10 — и оставил, ушел в другое. Вряд ли вернусь. Теперь — «Пути»... Я — во-Имя Твое должен их дать. И — твои они, посвящу тебе, как «Куликово поле», как — *все*, никому мною неотданное. Ты взяла всего

меня, — и пусть, только твой, и для тебя, только. Нет, Оля, я не могу ни в чем тебя упрекнуть: «жуть нашей безысходности» не зависит от тебя, — ни от меня. Я знаю: будь в твоей воле — ты была бы со мной. О «таинственном» в «Путях». Слушай: не зная ничего, я написал — когда служили панихиду по брату В[иктора] А[лексеевича]: «а не помолебствуете ли Анастасии — Узорешительнице... ныне память ее празднуем». Сказала просвирня. Я не имел права так сказать, я не знал. Написал и — опомнился: бросился к календарю: там было: да, в этот день е е память! Это — откровение было. Я был потрясен. Второе: в метель у Страстного монастыря, ночью рассказ Димы о метели... Я написал, — около Вологды охотились... монастырь... и заставил — ничего не зная! — сказать Дари: — «это же ваш монастырь... Димитрия Прилуцкого... — дружки преп. Сергия...» — Это — святой Димы[484]... Написал — и... опомнился: «что это я?» Не имею права так... читатель проверит... — но так это вязалось хорошо..! Я после нашел книгу о монастырях... достал с трудом, — и что же! Да, под Вологдой... монастырь... Димитрия Прилуцкого! Я был потрясен!! Оля моя!!! — это так было дивно!! Я почувствовал, что Господь меня просветлял. И — третье: — поражающее! — в тяжкую минуту для Дари... она хотела идти ко всенощной*, в Новый год[a]: я написал это, и это было мне необходимо, для важного, психологически, в романе, для развития его: но почему бы в Новый год быть всенощной? Год был дан точно — кажется, 77-й. Я, написав, стал проверять себя, отсчитывая, с поправками на високос и прочее — нашел: 1 янв. этого нового года пришлось на... субботу!!! Всенощная *должна* была быть, что мне и надо было!!! Ив после дал мне математическую *формулу* — точно суббота. Целую. Твой Ваня

[На полях:] Я буду стараться стать тебя достойным в «Путях» — Тебе. Вчера послал тебе 2 посылки — и приложил когда-то недосланную плитку шоколада. Прости — так все недостойно — тебя!

Оля, лечись, не слабей, — тебе — жить — творить во имя Святой Любви. Мне — принести в дар тебе — «Пути Небесные» и хоть раз — поцеловать тебя!

О, как целую тебя, Ольга! до писка! Сегодня, 29-го — посылаю «Старый Валаам», «На морском берегу»[484a i] и для Сережи — «Про одну старуху».

---

* необходимо было мне, по сути романа!

[i] Здесь и далее название праздника приведено к современной орфографии.

109

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.XII.41[i]

Посылаю тебе продолжение «жизни», написанное уже несколько дней тому назад. Сейчас я ничего не могу писать, из-за той страшной, неизбывной и непонятной тоски, что овладела мной эти дни.

Попытаюсь преодолеть ее.

Самое важное еще для меня: мысли о встрече нашей или не встрече я тебе уже изложила в предыдущих письмах.

К этому добавлю только, что чем дальше, тем мне яснее — в то время как встреча (как таковая) ничего не предрешает, — *н е* встреча — предрешает все! И именно, что... мы никогда не встретимся... Ясно!..

И это так важно, так должно быть свободно каждым решено, что я тебя не вынуждаю и ни к чему не склоняю, но само собой разумеется, что из решений твоих я делаю выводы. Мне всегда казалось, что ты не хочешь, избегаешь встречи. М. б. я и не права.

Если бы ты все же захотел хлопотать (ибо ты до сих пор еще не хлопотал, — я это *знаю* (!)), — то сообщаю, что С. уже не при фирме Shumacher, но со вчерашнего дня принял на себя всю фирму, и таким образом вместо фирмы Shumacher стала фирма [1 сл. нрзб.] S. Subbotin. Он, как директор, не может действительно отлучиться. Сережа привез мне сегодня твои лакомства и прочее. Ну, что мне с тобой делать? Побранить или поцеловать? О книгах я давно писала и благодарила. Все получила, которые ты отсылал.

В следующем письме перечислю.

Целую. Оля

[На полях:] Получил ли мою фотографию?

«Реликвию» я и приняла как таковую. Об этом еще напишу особо. Много дум!

Прости, что мало пишу, — не могу... У меня это бывает. Пройдет. Спать больше надо тогда!

«Повесть жизни». № 2

Передо мной стоял N. с сарказмом, с какой-то горечью. Что он говорил, не помню точно, но что-то о своей ничтожности, о презрении всех к нему, и что ему это т а а к без-

---

[i] Это письмо было задержано. И. С. Шмелев получил его только 29.12.1941 вечерней почтой.

различно. Что-то и о религии (тоже с улыбочкой, но видно было, что это — маска). Я ему советовала почитать Евангелие и о презрении сказала, что идиоты только за тюрьму могут презирать. Евангелие он читал еще в тюрьме, и много.

Стали раскланиваться. Так до Пасхи. В Великий Четверг служил у нас, присланный откуда-то священник[485], прокричали о нем, что и «пьяница», и «редкий развратник» и т.п. Уехали все, кто мог, на службу в город. И я тоже. Берегли, видите ли, мы все себя, «не запачкаться» бы от «пьяницы-попа»... Возвратясь, однако, узнали, что этот батюшка (лет 30—31) служил исключительно проникновенно и всех «взял». Был и N. Не удивительно, что эта служба была в устах всех «ос» сплошным жужжанием. N. тоже пришел «поделиться» впечатлением. И... уж не очень саркастически смеялся. Был он весь заторкан, без тепла, без дома. Священник оказался необычайным. Привился у нас в семье.

Я глубоко стыдилась моего тогдашнего отъезда в город. Тоже, святоша! Я покаялась ему в этом. Мы сдружились. Он мне потом много помог в жизни. Стали мы особенно беречь батюшку от наговоров. Пылкий он был, не «умел» себя вести с «жабами». Легковерный, как дитя. Его можно было разыграть и затащить куда-нибудь. Вот однажды N. пригласил его в пивную. Я, помню, возмутилась и поругалась с N. Я его стыдила. После этого столкновения N. стал как-то уважать меня. На Троицу я плела гирлянды в церковь. Подходит N.: «О. А., а себе-то Вы и не оставили цветов? Все расхватаны?» Да, я о себе забыла. Посмеясь его заботе, я сказала: «ну, сколько же кругом цветов (цвели белые акации, все одуряя), авось и мне хватит!» Вечером слышим шум в саду. И что-то хлопнулось около моей двери. Крики... Это N. рвал мне белые акации, а заведующий домом, не видя, кто это в деревьях, его оскорбил. Понятно: за плечами тюрьма, а тут... «вор?» И вот уехал в город. Ночью же, без гроша. Все ахали и охали. Букет одна дамочка подобрала себе, пока я была в комнате. Так бы и кончилось... Но я заболела малярией, от кого-то узнал. Прислал мне письмо, — просил простить за «беспокойство», прислал «вместо т е х цветов, васильки». Еще спустя немного, явился к институту и подал мне письмо, прося потом ответить. Бледный весь, робкий. В письме стояло, что я его «человеком сделала», и Бога ему дала, охоту жить вернула и много, много. В конце просил стать его женой, иначе... «не хочет, не будет жить. Не для чего и не для кого...» Прочитав его, я вся вдруг потускнела, поблек-

ла. Я не знала, что же это? Я не любила его, жалела только по-человечеству. Всю ночь мучилась, прося Бога помочь мне. Мне было 19—20 лет. Я боялась погубить его отказом. Перед тем я все молилась, чтобы открылся мне мой смысл жизни! Я этим очень тогда мучилась... И вот... я вдруг это и приняла за указание, за ответ мне. Встала ночью и записала:

«Это мне Крест дается, и я его принимаю». Я согласилась. Мы не могли тотчас жениться, т.к. надо было хоть кому-нибудь из нас, хоть как-нибудь устроиться. Любил он меня безумно, исступленно, чисто, оберегая от всего, от себя тоже. Но со временем, и очень скоро, началось тиранство. Ревность его доходила до пределов. К маме, к подруге, к прохожим. Я не смела хорошо, к лицу одеться. Ни на концерт, — никуда. Только — он. Весь мир должен был пропасть для него у меня. Я все терпела. Угрозы убить себя, меня... Постоянно. Мама моя была не рада этому браку, но она нашу свободу не насиловала. Его родные благословили, радостно. И вот так длилось до 26 года. Любить я его не любила, но притерпелась. А тогда казалось, что и полюбила будто. Его любовь меня как будто собой ослепила. Баловал меня, как это могут только н а ш и, русские. Но его угрозы, его попытки «кончить с собой», его бритва у пульсов... и еще много чего... измучили меня. Я разучилась смеяться. Я была в вечном страхе. Я никому не говорила ни слова, боясь, что мама, и так настроенная против, — запретит. Я верила в мою «миссию спасти человека». Гордыня? Да, гордыня. Я так и на исповеди это назвала. И потому — поражение гордыне. Терпела. Отдавала ему все силы, и, страдая и сострадая, я, правда, будто и полюбила его. Но во всяком случае — терпела. Отдавала ему все, что у меня было. Скрашивала жизнь ему, чем могла. Все свое время, всех знакомых бросила, ежедневно писала ему, если не виделись. Посылала ему цветы (любил очень). Даже дневник свой отдала, чтобы успокоить его ревность. Но дальше все было хуже. Дошло до того, что он явился на русскую «Татьяну»[486], — я должна была из-за отчима там быть, а N. не хотел ни за что. Мне сквозь слезы идти пришлось, — не хотела, но надо было. А N. этого не хотел понять. И вот, явился туда пьяный и вытащил меня за руку из пар полонеза... Представляешь. И предлагает отвезти домой, в Тегель. Я возмущена была. Это была ночь 2 ч. Скандал был бы, к нашим «кумушкам» явиться с ним вдвоем ночью. Я осталась у подруги. Сережа был тоже на балу, — возмущался ужасно. А N. обещал броситься в

канал этой же ночью. Его увел кто-то. Всю ночь меня била лихорадка. Измывался недели 2—3 надо мной, до примирения. Эти примирения бывали зато — верхом его блаженства. Тогда — все к ногам. Меня же это все доконало. И я уже не знала, что мне делать. И вот... в 26 г., вдруг открылось, что у него tbc., надо в больницу. Мой отчим ему и денег, тогда нам жилось хорошо, дал, и вообще мы сделали все, что могли. Я каждый день его навещать должна была, это езды 1 1/2 часа [в] один конец! И если опаздывала на 5 мин., то... молчание часами и муки в письмах. Да, а надо тебе сказать, что за время нашего знакомства, он изменился очень: бросил пить совершенно, причащаться ходил (с детства не был), все подчистил в себе. Ну, и я светилась и... гордилась радостно. Мама ужасалась моим сидениям в палате tbc., и т.к. я стала скелетом, то повела к доктору. Тот tbc. *не* нашел абсолютно, но посоветовал уехать из всей этой атмосферы. И я уехала в Баварию. Что это было! Какие проклятия. Я хотела с полпути возвратиться... Его желание умереть, «под забором» и т.д. А я-то... всему-то я верила... и... дрожала.

Но сказать надо, что он был человек неплохой, и взял меня тем, что с папочки пример хотел взять. Папочку чтил. Меня чистотой берег и даже немцам не называл меня просто: «Braut»[i] (т.к. под Braut кое-что другое сходило с рук), а всегда говорил «meine verlobte Braut»[ii]. Он готов бы был убить каждого, [кто мог] хоть как-нибудь пошловато затронуть меня. Я это ценила и все это у себя приняла за любовь. И... терпела. Из больницы его перевозили в санаторий, — я устроила: всюду бегала и молила. И вот тут-то и разыгралось... Измучил меня он ужасно и... под конец стал «разрывы» инсценировать. Сперва я верила, плакала, за жизнь его боялась (объявлял голодные забастовки, — это с tbc.-то!), а потом просто не стало сил для страдания. Не описать всего! Ужас, что он делал! Дал еще свой дневник... много там имен было: Дези, Рези и т.п. Собачьи клички! Я, помню, вся изошла слезами, т.к. на чистоте-то все у меня и держалось! И тут его «разрывы», с «О. А.» и «Вы». Я не поехала однажды к нему. Мама и отчим поехали узнать, что такое. Уговорили его не делать глупостей с собой, беречь себя для самого себя!

Вскоре, говорит: «Оля, т.к. мне придется ехать в Париж, — мне не дают продления паспорта здесь, — по-

---

i Невеста (*нем.*).

ii «Моя обрученная невеста» (*нем.*).

едем вместе, я тебя одну не оставлю, я с ума сойду, — мы тихонько уйдем от твоих». И тут-то я и сказала: «н е т». Я и сейчас не могу описывать спокойно. Коротко скажу, что он, обещавший сделать все, всякую подлость, которую мир не видел еще и содрогнется от нее, для того, чтобы меня удержать, — он и сделал эту подлость. После угроз убить маму, меня, себя, он приехал в Берлин, — меня же, полуживую, спрятали в одной клинике со строгим запретом посетителей. Нашел меня, обманул сестру и вошел. Он сказал мне снова, что «нет и не было той подлости... и т.д.» Я ему сказала, что *не могу* идти с ним больше. Нет ни сил, ни веры ни во что. Он выскочил и, наткнувшись на маму и отчима в коридоре, тут же эту «*подлость*» и сделал... О ней *я* узнала позже... Кратко не рассказать... Но... попытаюсь. Он, желая, чтобы меня домашние мои (мама *очень* строга) выгнали меня, опорочил меня и перед мамой, и перед отчимом. Для мамы предназначалось моральное — что я его, N., любовница уже давно, что, м. б. даже ребенок будет, а для отчима, что я его ненавижу, не примиряюсь, что мама вышла замуж, и зову его подлецом.

Кто тут чему верил и кто не верил, — писать невозможно. А мне-то было — все равно! Видя, что это не действует (мама сказала ему, что бесчестье девушки — прежде всего ее забота), он стал охотиться на меня, чтобы пристрелить. Полиции его мы не выдавали из-за его болезни, из-за его «прошлого». Я умолила своих не оглашать о нем. Жалела человека. Меня надо было спасать. Мама (она — канцлер!) выдумала меня отвезти в дом, который он не знал. У всех знакомых он перебывал, ища. На рассвете меня увезли. Мы все уехали и заперли квартиру. И хорошо сделали, — что он только вытворял! Из моего укрытия, я переехала через много времени в город в одну семью к ребенку. И жила там почти год. Никуда не высовывая носу. Однажды он подстерег меня на улице (нарочно приехав из санатория).

Продолжение следует.

110

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Декабрь 1941 г.]

Продолжение № 3

Я была у знакомых, а он поджидал на улице. И тогда пришлось мне, переодевшись мальчиком, скрыться в автомобиле. Помню, как заплакала моя питомица, увидя со-

всем кого-то «чужого»! Не узнала меня. «Подлость» на мне висела. Никто не говорил о ней, но я знала, что мама не знает, *точно* не знает верить ей или нет. Ужасные мгновения... Чужие, в этом, куда легче. Чужому можно высказаться, а свои... трудно! И висела до покаяния N. Об этом после. Я попала в хорошие условия. Была не няня, конечно, а член семьи. Тут еще «предложение делал» доктор, «прятавший» меня тогда в клинику. Отказала. Этот эпизод обхожу, а тоже о-чень характерно! Многие меня дурой звали, что отказала. Богач!!! Прожив так у моей детки — Наденьки (сколько слез моих она, только она видела!!), я решила, что все же на карьере няни-компаньонки оставаться — нельзя. Я стала думать, что с собой делать. «Предложение» доктора имело только один +, — он в разговорах со мной заинтересовал меня лабораторской работой. И мне пришло на ум этим заняться. Вскоре я познакомилась у подруги с одним студентом-медиком — русским-немцем, большой мечтатель, целомудренный, музыкант, — явление несколько необычайное. Он отнесся ко мне очень чутко и тепло, и я попросила его помочь мне все ближе разузнать об этом учении. Он узнал все, что было надо, дал адреса. И я в один прекрасный день поехала на розыски (тогда еще плохо владея немецким языком). У меня, нерешительной, часто бывает, что в нужный момент, я решаю — сразу! Так и тут. Я все нашла, выбрала школу и... решила. На другой день отчим поехал узнать об условиях, и... меня приняли. Я училась 1/2 года, только на отделении для лаборатории, т.к. все равно как иностранка не имела прав на экзамен. Я потом всего добилась, и **сдала**-таки экзамен!!! Но и 1/2 года тянуть было трудно. Мама зарабатывала на наше учение, только сама. Она шила. И таким образом вносила за учение С. и меня. Через 1/2 года я захотела во что бы то ни стало встать на ноги. Я сказала нашей учительнице. Она посоветовала мне идти волонтеркой в Charité, а там много возможностей. Ко мне она относилась исключительно, ценя серьезность отношения. Все-то барышни шли больше мужей искать среди медицинского мира! Меня она (по секрету от остальных) послала на самое лучшее место волонтерки. Charité приняло меня с любовью. На всю жизнь сохраню благодарность всем там! Я попала в маленькую, при-палатную лабораторию. Там я была нелегально, т.к. из-за ревности сестер (эти поголовно все мужей ищут!), были скандалы. Запретил шеф брать лаборантку. Врачи должны были сами тратить время на анализы. Меня «тихонько» взяли. Я и была тихая. Даже мегера Ober-

schwester[1] не могла ничем зацепить. Не знаю почему, но врачи относились ко мне почти что нежно. Бережно. Я, неопытная совсем в «западноевропейских делах», — я часто слыхала предостережения, что «всем им пальца в рот не клади». Говорили, что коли мужчина здешний чашку кофе тебе предложит, так знай, что за это он ждет уже «уплаты». А тут, — каждое утро на столе у меня: то груша, то пирожные, то шоколад. И все неизвестный... Так что «отплаты»-то некому спрашивать. Меня смущало это очень. Однажды, я сидела у микроскопа, мучаясь, не понимая, что вижу. Подходит сзади один и, кладя руку на плечо мне, хочет тоже нагнуться и посмотреть... Я, вспомня все предупреждения об «ужасных медиках», тотчас вскочила: «как Вы смеете так подходить ко мне, класть руку Вашу?» Теперь мне смешно, и я удивляюсь, что он тогда все же понял... Он объяснил мне, что это привычный жест, что ко мне ничего такого, чего я не хочу, ни он, ни другие, — не позволили бы себе, что он рад, что наконец может со мной об этом высказаться и успокоить меня, т.к. давно уже замечает мое смущение. И с этого дня этот доктор стал моим товарищем. Он показывал мне все, что мне могло бы пригодиться в работе, знакомил меня с видными людьми Charité, устроил меня в виде исключения в главную лабораторию. И это, только это дало мне потом все! Я могла бы много рассказать об этом друге (без малейшего привкуса), но это завело бы далеко. Скажу, что он заботился обо мне как брат. Оцени: видя мою душевную смятенность (я была всегда пришиблена), он приглашал меня на всякие русские концерты, фильмы и т.п. Я не хотела идти. И вот: «Frl. S. Ich zeige und erkläre Ihnen alles in Ihrem Beruf, warum wollen Sie mir nicht helfen Ihre schöne russische Lieder zu verstehen?»[ii]. Я сказала, что мне тяжело, ничего не хочется... «Тогда, знаете что, пойдите Вы одна, а я буду только сидеть рядом, чтобы, если Вам я понадобился бы, чтобы Вы знали, что сосед Ваш — не чужой, Вам надо рассеяться». Он не был навязчив. Я дошла до полного расстройства нервной системы. Я не спала совсем. И никто этого не знал. Днем я работала еще лихорадочней, а ночи... от морфия меня только рвало. Дома не знали, что и делать. В Charité никто бы и не узнал, если бы однажды я не упала с трам-

---

i Старшая медсестра (*нем.*).

ii «Фройлен Субботина, я показываю и объясняю Вам все в Вашей профессии. Почему Вы не хотите помочь мне понять Ваши прекрасные русские песни?» (*нем.*).

вая и не разбила ноги. Я рассказала тогда. В то время лечили в Charité бессонницу гипнозом. Был тогда знаменитый гипнотизер — врач из Luxemburg'a. Они решили и мне так помочь. И, если бы ты видел, как тревожился тогда этот мой товарищ. Он известил главного врача, поставил условием присутствие minimum 3-х свидетелей, точно оговорить метод гипноза и долготу его. Меня вылечили... В большой лаборатории я пришлась по вкусу старшей лаборантке. Она полюбила меня, свою «Subbotinchen»[i]. Три месяца после моего к ней вступления, вышла замуж одна девушка, родственница директора, химичка, плохо работавшая клинически, но бывшая на жаловании из ссуд поликлиники, не штатная. Секретно от меня, Frl. Sch.[487] представила меня директору как достойную кандидатку на это место, указав, что и в бытность той девушки, большинство работ той, исполняла фактически я же. И вот однажды она мне говорит: «gehen Sie morgen zum Direktor, vielleicht... kriegen Sie Taschengeld... einwenig»[ii]. Я думала 20—30 RM. Но я была принята на 100 RM в месяц. Я даже не верила! Такое богатство! Я удвоила свои старания... Мне поручили уже самостоятельную работу, я вела 3 дня в неделю *всю* главную лабораторию, для всей II медицинской клиники одна!

Скоро, мой будущий шеф, обратился к старшей лаборантке с просьбой дать ему какую-нибудь надежную волонтерку, для совершенно самостоятельной работы в его клинике. Она дала меня. Я поступила туда в феврале 1929 г. Мне все, знавшие хорошо шефа, говорили, что мне не вынести будет у него, что все убегают. Но я осталась до... 1937 г. Я не сказала тебе, что до поступления моего в Charité, я познакомилась *с одним* врачом[488]. Через моего отчима. Русский немец, православный. Очень верующий. Я его рассматривала как «старшего дядю», спрашивала то то, то другое о медицине, о моей работе.

Его хвалили все, кто его знали. Было в нем что-то обаятельное. Пел, чудесно пел. В церкви первый, до начала. Но вдруг он перестал у нас бывать. Однажды я его должна была пригласить в гости. Отказ. И объяснение почему. Он никогда больше не придет. Понимаешь? Я ему мешаю... Я была потрясена. Он вдруг стал так мне... чужд и непоня-

---

[i] Здесь: ласкательное обращение к О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] «...пойдите завтра к директору... может быть Вы получите немного денег» (*нем.*).

тен, и... притягателен! Ужас мой был именно в этом. Я впервые такое к себе в жизни слышала. Я его стала избегать.

Судьбе угодно было нас пару раз бросить вместе... Было ужасно... Ужасно потому, что при всем моем знании о его чувствах, совсем противоположных тому, чего искала душа моя, я поддавалась ему, его обаянию. Я была очень стойка. Он перестал бывать в церкви. Зачем стойка?! Я встретилась с ним в одном доме, — хозяева меня не понимали. Почему я его не «пожалею». Но он сам меня за это втайне уважал, сознался после, много после. Я не могу тебе описать. Но это было для меня ужасно!.. Я рассказала бы тебе все! С перерывами в 1/2 года — 1 год, мы виделись снова. И с новой силой у него — пожар, у меня — Св. Антоний[489]? М. б. Однажды, даже, — подумай, мы случайно (?) оказались вместе на одном курорте... Я не забуду этого... Я ушла, н е уехала с ним в ночь на горевшем в фонарях пароходе, он остался один, злой, темный... и... очень, очень большой язычник... Проходя к дому, я еще задержалась нарочно у одной дамы, я миновала его Hotel, — и вижу... на шторе светлой... тень... фигура молится... и каак, Ваня! А на другой день он на моих глазах развратничал с девчонкой. Много было! Мне не надо было этого касаться кратко. Боюсь, — ты не поймешь меня!

Продолжение следует.

111

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Декабрь 1941 г.]

№ 4 (?) или 5-ый? Ну, № 4

Надо или подробно, — или никак! Ты так, кратко, не составишь себе картины. Сложно все: почему не женились? Масса разных сложностей*. И главное: «нашла коса на камень». Он был вполне свободен. Ну, конечно Freundin[i] были. Он был намного меня старше. В моем разочаровании, в горе от узнавания его «грехов», утешал меня тот студент, который помог поступить в школу. Этот был чист, как девочка. Мечтал свой первый поцелуй дать своей невесте. Потом, много после, когда он поцелуи растерял, но... все

---

* И еще то, что я свое, личное, тогда считала роскошью, не смела о себе думать. Нам тяжело жилось тогда.

[i] Подруга, любовница (*нем.*).

же, оставаясь нетронутым, — он умолял меня выйти за него замуж. Теперь женат. Его исправила жена... Сам сознался, что до женитьбы за... 1—2 года, — его развратили девчонки-сестры в больнице. Плакал, когда мне каялся. Умолял спасти его. Письма его у меня, Ваня, чудесные. *Я — не любила, я ценила его.* Это была чистая душа. Женился он 32 лет. Лет до 30—31 берег себя. И не «мямля», а пылкий мальчик. Увлекательный. Музыкант еще больший, чем доктор. Тип русского врача-бессребреника. Идеалист... крайний. Мать его знавали кто, говорили, что Святая была. Ну, этот, между прочим. Дима же (тот, старший) был другой... До 1930 г. я страдала. И потом вдруг решила: разом отрезать все! Я все, всякое знакомство прервала, сказав, что «люблю теперь другого» (соврала), что все, все должно забыться. Все кончилось, не без боли с каждой стороны... И все-таки было еще одно, последнее испытание, еще одна встреча. Я не описываю этой встречи, т.к. это целый роман сам по себе. Здесь уместно было бы сказать и о борьбе, и о победе. Я уезжала в отпуск. Разбита. С этим чувством к Д., пришло будто все, что раздавил и обманул N.* И ужас был в том, что, стремясь к чистому, я сталкивалась в Д. и с... другим. Отбрасывалась душой от него и... вновь его обаяние и чары... Не считай его, однако, пустельгой, — он сложнее и чище многих.

В нем есть что-то от Нечаева[490], но более зрелое и потому еще более опасное. Умен очень. Мама его любила. Я думаю, что я тогда была для всего того слишком юна. Я не понимала его. Я панически всего боялась. Странно все это было. Это был шторм, на меня налетевший, на меня, еще совсем не окрепшую. Я вновь вся разбита, вновь ошибка, — нет идеала. Я на Tegeruse'e[491]. «Баварочка» у тебя в лодке — это тогда. Иван, я тогда ужасно мучилась. Я уходила одна в горы, кидалась на землю, плакала, чего-то искала, я его звала, Его — всякого, порой даже очень земного, бежала от Него всем существом и вся к нему тянулась... и таак страдала. Я набирала букеты этих сиреневых Zeitlosen[i] и видела, вбирала в себя, почему-то в них всю страсть его, все безумие. Аромат их — яд. Я ставила их к себе, заболеть бы хоть. И заболела. Горной лихорадкой.

В Берлин приехала после 3-х недель отпуска. Я не описываю еще одну встречу по пути (с Димой) (на отдых). Слабая и не отдохнула. Выдержала и не увиделась. Перестала ходить в церковь. Ходила в другую. И... затихла. Работала.

---

* «N.» — не начальная буква имени, а просто так.

[i] Безвременник (*нем.*).

Нигде не бывала. Забывало ли сердце? Да. После тех мук на горах... о, что это было! Я не понимала сама: откуда во мне это? И что это? Это Дашин крестик на груди[492]... После этих мук я вдруг *вся* стихла! Работала свежо и бодро. Charité, клиника моя новая... без конца работы! И вот осенью поздней, почти зимой... столкнулась с... Георгием. Я не заметила его тогда. Вернувшись из клиники, я торопилась кончить одно рукоделие, чтобы отнести как подарок одной имениннице. А у отчима сидел кто-то, кого оставили и чай пить. Я извинилась и дошивала свое, тут же, у лампы. И ушла в гости. Кто это? Не все ли равно. Кто-то, интересующийся лекциями А[лександра] А[лександровича]. Уезжает к себе за океан и спрашивал о книгах. Зимой просил по возвращении еще зайти. Я и не думала о нем. И вот однажды: звонок. Вернулся, привез привет А[лександру] А[лександровичу] от кого-то. Я не видела его. Рождество... он в церкви, а после службы: отчим, очень гостеприимный был, спрашивает: «Вы куда, домой?» — «нет, куда-нибудь, м. б. в кино», — «заходите к нам». — «Серьезно? Благодарю, если не стеснит?» У нас гость. Дома ничего не приготовлено. Но тем не менее крайне уютный вечер. Мы видим впервые друг друга. Я помню только большие как-то особенно прямо смотрящие глаза, синие, не голубые, а синие, как море. Я таких не видала. Его благодарность за вечер. И все. Немного позже, — приходит, — мама одна дома, и: «я пришел очень просить профессора ко мне теперь в гости» — «его дома нет, я не знаю, сможет ли он!» — «ну, тогда все равно, кто сможет, я очень, очень прошу всю Вашу семью ко мне за город». И вот... была сказка... В зимнюю ночь, снег шел, морозно, поехали мы все на его чудесной машине... А там? Холостой, мальчик, без всякой хозяйки, устроил с другом... сказку! Это была Россия?.. Как будто! На стенах русские картины, чудесные, в углу образ. За столом все русские закуски и вина, самовар. Ужин из русского ресторана. А после... на чудесном граммофоне Шаляпин[493], Собинов[494], Неждановa[495]. Откуда нашли? В Риге, Пскове, всюду, где были по службе. И совсем после: было очень уютно. Отчим уже декламировал своего любимого Тютчева и Фета, — встает Георгий и... декламирует из «Евгения Онегина» наизусть «вначале жизни мною правил...» знаешь, где: «...и умереть у милых ног!»[496] Это он выучил для этого вечера. Поздно ночью уезжали мы домой... На утро, провожая меня на службу, мама сказала: «всю ночь не могла заснуть, впервые за все изгнанье так отогрели души, тихонько, так чутко». Мы условились, что на масляной на

блины к нам. Я заметила, конечно, неуловимо, чуть-чуть, кому было все это. Я видела его чуть-чуть скошенный глаз при «...и умереть у милых ног». И вот блины. И он, и друг. На утро он должен ехать на 3 недели на Wintersport... Однажды в клинику мне телефон. Кто? Он... через 1 неделю вернулся, скучно. Не может ли пригласить меня на очень хороший концерт сегодня? Столько мольбы... «Да, спасибо!» Еще визит у наших. Хотел бы чаще бывать, много говорить и читать по-русски. Не могли ли бы мы что-нибудь читать, хоть Толстого? Тогда хоть по средам 1 час. Хорошо. Среды... И я жила от среды до среды.

Сережа, он и я. Потом отпал Сережа. Мы — читали. Чехова много[497]. Любил он его. Толстого. Однажды не мог прийти он, прислал цветы мне, — гортензий корзины, голубых, цвета вечерних сумерек в марте. Знаешь? И был уж март... Тоска, такая... Он заметил. «О. А., почему всегда Вы грустны? О Родине?» «Да, о ней, о многом, о чем-то, чего не скажешь». — «Весна, — а Вы не видите ее, хотите, не будем читать сегодня, пойдемте... в весну заглянете, развеселитесь м. б.?» И мы катались. Он говорил о том, как с первого же раза всю меня заметил. Что я не жеманюсь, как все девицы, что ему легко со мной. И это рукоделие, и грусть, и все, все. Что грустить не надо, что жизнь и ему тяжела, что я его счастливей, — я — свободна, а он: — он вечно в форме, никогда не сам собою. Что его «личная» жизнь — только вот в этих русских книгах, в этих «средах», а остальное — ложь, натянутость. Что лишь на русском языке он не лукавит, что это его родной, душевный, его язык. О матери-покойнице говорил... И мы возвратились к чаю... домой. В другие среды мы читали. Еще одна среда... грустно... обоим... отчего же? И потом 30 мая! «О. А., поедемте на воздух, там читать!» «Хорошо». Гудит мотор, несется, куда? Помню как радостью ныло сердце. Я знала, что что-то будет! И... вдруг... круто повернув, Г. поворачивает автомобиль... обратно? «О, нет, но здесь так хорошо!» И правда. Пред рощей... Поле... широкое поле. И... уже первая звездочка! Я помню, я на нее смотрела... Слова любви? Они всегда, всегда одни и те же... Да! Чудные слова любви. Ему было 28 л. — Самостоятельный, видный на своем посту и... такой робкий. Робкий, чистый мальчик. Один поцелуй... почти что братский. И звездочка мигала, смеялась, или плакала? И я?!

Продолжение следует.

112

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.XII.41

№ 5

Он говорил, что полюбил, как только я вошла тогда впервые, в зеленой шубке с лисой, и на воротнике, и на рукавах, и на подоле. Как потом тихонько шила что-то. Что он сказал тогда в сердце: «вот она, которую искал я всюду». Что девушки его страны чужды ему, крикливы, шумны, модны, пусты, — куклы. Что я ему и мать, и сестра, и... любимая. Что русский язык — его души язык, что он на нем только молиться может, на нем он не лукавит, не «пачкает его буднем» (так и сказал!). Просил беречь меня его (язык) от всех чужих влияний. Себя беречь, не потерять ни черточки на западноевропейском базаре! Читали ли мы дальше? Редко... Не было в книгах для нас ничего чудесного... Дивной сказкой развертывался чудесный роман моей юности. Волшебный — как сказка, короткий — как сказка... Каждый из нас знал с первого того вечера, под звездочкой, что плакала и смеялась... что этот сон — будет короткий, что перервется он, что боли будет вволю. И потому мы были грустны... тогда... в марте... над голубыми гортензиями... в голубом часе!.. Я... знала смутно. Георгий... знал все очень точно.

Он себя винил потом, что «дал себе волю», что «не скрыл», что «не ушел раньше, не открывшись». Но тогда казалось все иначе, — хотелось верить в чудо. Мы его втайне ждали оба. Впрочем Георгий принимал шаги. Пытался сделать кое-что. Ну... довольно... этого не н а д о было. И я это увидела много спустя! Коротко скажу, в общих чертах о причине невозможности любви нашей. Отношения его сородичей с бабушкиным домом[498], ее управляющим и т.п. были таковы, что... я — отпадала. Любовь Г. ко мне, верной бабушкиной внучке, не нравилась его родным. Они постановили на «семейном совете» Г. женить на девушке из совсем другой семьи. Этого «постановления» Г. изменить *не* мог. Сложно описать все. Но даже уход Г. из-под опеки своего рода (он хотел это сделать) не решал бы вопроса, при всей натуре Георгия и при моем отношении к таким вопросам.

Я не хотела его жертвы. Такой жертвы.

Мы знали, что разойдемся. Но не говорили. Если бы ты знал, что это было за время. Мы встречались, молчаливым

уговором, как брат с сестрой, стараясь никогда не создавать любовной атмосферы. Ездили на людные концерты, в кино, в театры. Никогда не читали больше. Не гуляли. Однажды только... были в кино, на премьере... не было других мест, — только ложи. Мы оказались вдвоем в ней. Совсем темно. Играли что-то очень ритмичное, — я обернулась чуть к нему и сказала: «через 1—2 недели Европа затанцует под новый Schlager». Г. не расслышал, подвинулся чуть ближе. Я повторила. И увидела, что Г. не слышит, не слушает даже, не может слушать. С трудом мы понимали фильм и... вышли. Когда отъехали от горевшего огнями центра, Г. сказал мне: «какой кошмар, Оля, не иметь силы жить, тебя не видя, и... видя... так страдать! Я хотел бы всю молодость свою бросить в пространство, стать стариком и... хоть таким, спокойно быть у тебя... я не знаю, не знаю, что мне делать!!? Помоги мне и ты, иначе — я пулю в лоб пущу себе!» И я помогала. Больше я не обращалась к нему... никак. Я холодна стала. Но однажды... звонок в клинику. «Оля?» — «Я». «Ты знаешь, я звоню, чтобы сказать, что мне без тебя грустно, пусто...» И при встрече... ни словом, ни взглядом. Я все сердцем знала... Потом словами мне Г. все сказал. Почему все безнадежно... Ваня, ты «давал» часто бег мотора, но... еще один... никем не дан... Это была пытка. Мы мчались по берлинской автостраде, без возможности остановиться. Г. говорил мне весь ужас. Вколачивал гвозди в гроб и свой и мой, забивал сердце. И я сказала: «останови, я не могу, я хочу одна остаться!» И мы не смели остановиться. Г. гнал только скорее, чтобы выехать на поле и там остановиться. Стена камней, серая справа, серая дорога... асфальт и... гонка, гонка... Я крикнула: «Жорж, я выскочу, я не могу, я с ума схожу, к чему же жить?!» — «Не к чему, Оля, но все же нельзя, останься». И он, держа меня правой рукой до боли, левой правил. Ужас. Ужас! И вот... несколько дней Ж. не было у нас... Я знала, что его теряю... На 3-й день письмо отчаяния его через Rohrpost[i]. И телефон: «Оля, ты скучала без меня? Да? Хочешь, и я все брошу, пусть скандал, но тогда... я с тобой буду... Ты понимаешь, скандал громкий будет, я... нам трудно будет жить вначале, но реши ты!»

И я сказала: «нет, выдержи, не бросай!» А сама рыдала. Я потому сказала так, что считала, что не я должна у него вынудить жертву. Жертву приносят сами. А он? О нем я узнала позже, много позже! Он в этом моем движении этого

---

[i] Пневматическая почта (*нем.*).

не понял. Он боялся «испорченной карьерой» мне «навязаться», — потом узнала, что ему втолковать пытались, что мне его «блеск» нужен, а «низвергнутый» — не интересен, что потому я и не «решила». И его... женили. Но это после...

Проходило лето. 26-го июля мы «прощались». Т.е. потому, что я уезжала в отпуск. Но знали, что — это крайний срок, чувствовали, что проститься уже — пора! Опять... все то же. Ни словом, и ни звуком... Г. только попросил позволить пройти в ту комнату, где мы раньше читали. Когда он вышел... я видела, что на глазах еще были слезы. Я проводила его до калитки. И тут, внизу, где уже ходили люди, — он взял мои руки и, обе их целуя, сказал: «Оля, ты должна запомнить, что, что бы ты ни узнала обо мне, — верь, что только ты — прекрасна! Ты — Прекрасна, я только тебя любил и буду любить. Но обещай мне, Оля, что ты не сделаешь ничего, что бы омрачило меня и маму твою!» Я не поняла тогда этого. И он уехал. Хотел писать. О встрече мы не говорили. И о не встрече тоже не говорили. Со следующего дня — мой отпуск в клинике. Я уехала на море. Там, я писала ему стихи, письма, мысли... Я звала его в пространствах. Кричала в волны его имя, искала глаза его в голубоватой сини. Когда вернулась, — ничего о нем не знала... Не писал он. И я... не посылала писаний. Я знала сердцем, что ему забыть меня надо... И знала, что помочь в этом надо. Но я страдала. Я написала его другу с просьбой сообщить о Жорже, не говоря ему. Я бы хотела, чтобы он был за океаном. У себя. Но я знала сердцем, что он здесь, ближе. И томилась. И вот, слушай: однажды в клинике, мне моя ученица показывала фото из отпуска ее... И автомобиль один, фирмы... «Нэш». Я знала, что в Берлине их было только 3, потому что трудно было всегда с ремонтом. Я остолбенела и спросила: «кто это?» «Это мой... жених». «Кто?» Я вся дрожала! Она назвала мне имя чужое. «Вы... тоже... знаете эту... марку, — их только три здесь, и один меня всегда злит. Когда я жду моего жениха и слушаю каждый гудок, то непременно приедет этот, вспугнет, я выскочу... "Нэш", но... другой...» Я спрашиваю: «Какой № автомобиля, Вы не заметили, м. б. это тот, третий, который ни Вы, ни я не знаем». «О, да! Еще бы! Это — 7...» И она назвала мне № Георгия. Все поплыло у меня перед глазами. А она трещала: «Вчера вот, тоже, и стоит перед моим домом, будто дразнит!» «Как, вчера? Не может этого быть! Вы ошиблись!» Мы спорим. Элен говорит мне: «Хорошо, pari! Когда приедет, я позвоню Вам, но Вы

должны приехать, должны, я хочу выиграть pari!» И мы держали! Школа кончилась, Элен ушла домой. Я вся горела. Г. здесь! Молчит. Значит что-то случилось. Я знала сердцем что! И вдруг через 1—2 часа мне телефон: «Frl. Subbotina? — автомобиль №... у моего дома, он простоит 2—3 часа — это обычно. Я жду Вас. Вот адрес!» И я? Я бросила службу (правда часы работы уже отошли, я кончала реакцию Wassermann. И могла через 1 ч. выехать, оставив на помощницу записи и уборку аппаратов) и поехала. По пути я перешла в такси, т.к. мне казалось, что я опоздаю. На опушке большого парка мы остановились. Я еще издали узнала «Нэш». Элен стояла у окна и хлопала в ладоши, она жила в партере. Через тяжелые зеркальные двери я вошла в полутемное фойе шикарного дома и... не успела еще войти в прихожую Элен, как услыхала сверху... его шаги! Я не могла ошибиться. Это был он. Но я, вместо того, чтобы пройти ему навстречу, я кинулась к Элен, захлопнув двери. Я вся была смущена. Перед ученицей-то, хороша! Но Элен была почти ровесницей мне, она кончала школу, — поняла, что здесь что-то серьезное творится и повелительно мне сказала: «подите, и узнайте, правильно ли я сказала, — м. б. этот автомобиль куплен другими?» «Подите, Вы успеете еще, теперь холодно, вечер, мотор должен разогреться, он не скоро еще отъедет, подите!» Она толкала меня к выходу, и я как пьяная ей повиновалась.

Продолжение следует.

Ванечка, массу сегодня тебе пишу, — потому письмо не написалось уж. Если почта долго идет перед праздником, то уже сейчас шлю поцелуй к Новому Году! Да будет он для нас счастливым!

113

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Декабрь 1941 г.]

№ 6

Мотор дрожал, готовился толкнуть машину, сорваться, унестись... И... двинулся... А я... стояла за зеркальной дверью, в темноте портала, как в колодце. И... прощалась. Прощалась с тенью милой, мыслью!.. И вдруг! Что это? Остановился. Открыла дверь и, не могла больше, будто проснулась. Все это в секундах было...

И в автомобиле открылась тоже дверка. Георгий вышел и шел мне навстречу. Как выглядела я, — не знаю, но я видела его... Что это был за ужас! Г. был как полотно, худой, измотанный, убитый. «Оля! Как ты? Откуда? Жизнь моя! Это же чудо какое-то!» Он медленно, как-то странно, с усилием, сдвигая с пальцев правой руки, стащил перчатку... Я поняла. Я только взглянула. Все спросила, все узнала взглядом. «Да, Оля, я... женат». Я ничего больше не сказала. Я поняла все. Он много говорил мне что-то. Что — не помню. Не понимала и тогда. Я поняла только одно, что он несчастлив. Что любит меня все. Сказал, что, отъезжая от дома (там жил его «учитель» русского языка) в последний раз, перед отъездом из Германии, хотел еще раз, хоть взглядом окинув этот уголок его сердца, проститься мысленно со мной. Потому и задержал мотор, — меня *не* видя. А я, увидя это задержание, открыла двери. И вот предстала ему — живая. Он думал, что это видение, не сразу поверил. Парадную дверь, за которой я стояла, и его, отделяла широкая улица, — он не видел меня. Понимаешь, как удивительно! В автомобиле лежал Чехов, тот самый, которого мы читали. Мы приехали к моему дому. Я вышла, без единого слова. Легла и ждала смерти. Мне казалось вполне возможным умереть от горя, просто вот, лечь и умереть! Отчим вызвал маму, испугался моего вида. А вечером я получила письмо, опущенное накануне. Г. писал мне о себе всю правду. Ответ на то, которое я писала его другу. Мне тогда чуть приоткрылась вся гнусная интрига, расставленная нам обоим. Г. — понял? Я думаю! Я работала дальше, уколачивая сердце, забивая жизнь в стальной ящик. Не ища больше счастья, не в е р я, не надеясь. Наступала зима 31/32 года. Ты дальше знаешь. И вот... однажды, года через 2—3, я приглашена на большой домашний бал дипломатов. Хозяева — мои друзья, я бываю там охотно и знаю, что это честь — попасть на такой бал. Не много у них таких «избранных». Немного трусила. Приподнятые нервы. В новом бальном туалете. Мама чудно шила. Всегда я была хорошо одета, как нам ни трудно было. Я знаю, что за столом я [буду] — дамой одного важного дипломата, что надо себя держать в струнке. Я в ударе. Хорошо говорю по-немецки в этот вечер. За ужином сосед заметил это и говорил мне комплименты. Переходят все охотно на эту тему. И вдруг я слышу, дама напротив, феноменом языковым называет... Георгия! Я помню, как пошло у меня все кругами перед глазами. Чего мне стоило взять себя в руки. Сосед мой увлечен был новой темой — подали икру, грибки и все такое,

что к водке, по-русски, (Хозяин бывал раньше в России), — хвалил икру, уговаривал меня взять «хоть чуточку побольше». Не заметил моего волнения. Но... после, в салоне, где мягко горели свечи и гости погрузились в эмоции от ликеров и курений, а другие в гостиной танцевали... я, проходя в прихожую, чтобы освежиться, вздохнуть, одной момент остаться, — я слышу по-русски: «скажите, Вы — О. А.?» Дама, что была напротив, стояла около меня. «Я угадала Вас. Не удивляйтесь. Я все знаю. Я — друг детства друга Mr. G.»... Я онемела, застыла. Наконец сказала: «я ничего не понимаю». Та мягко меня взяла за плечи и сказала: «я знаю, что жизнь Mr... разбита, а Вы... несчастны..?» «Я сразу же поняла, что это — Вы, та, о которой мы ломали головы с Володей[499] (друг Г.), я угадала Вас, когда увидела за ужином смущение Ваше. Мы знали, что ту девушку зовут О. А., и потому я, решив узнать наверняка, Вы ли это, обратилась сейчас просто: "О. А.!"» И я узнала грустную историю Г. Его женитьбу на «кукле», и как это «кукла» его измучила, — ревностью и неумением вести себя испортила ему карьеру, пустила его в трубу, до того, что даже прежнюю хорошую квартиру оставить должен был, и «Нэш» продал — дорого стало. И потом жену отправил «исправиться» к своим родным. И жил долго один. Я получила письмо от него, где он начал словами: «мечтам и годам нет возврата»,.. но «м. б. можно возвратить хоть доброе расположение друг к другу...» Писал, что... «но вся моя женитьба и новая жизнь ничего в этом не изменили...» Мучился тем, что меня заставил страдать, что как-то надо было бы иначе. И т.д. Но это, — после. А... дама эта рассказала мне очень много. Я не могла уж слушать. Надо было идти в гостиную. Нельзя отсутствовать так долго. Я не могла идти в салон, сидеть, бездействовать... страдать. А в гостиной... танцы. Играют пластинки, крутятся, шумят что-то... И... вдруг: «Happy days»! То, что так давно кружило, вело нас с Г. в танце... Я мучилась воспоминанием. А в уши все проникало, звенело, пело. Я помню каждое его прикосновение, подпевание, перевод словечек отдельных, взгляды его, чуть-чуть пожатие руки и все... все то, что можно сказать без слова. Я танцевала с молодым консулом, с трудом попадая в такт от волнения. Вертелось в мысли: один, жена за океаном, не любит... Танцы, танцы, ликеры, смех, комплименты, цветы, танцы, танцы... Хозяин в ударе и в свободную минутку меня благодарит за «отлично выполненную» миссию соседки-дамы с капризным, обычно хмурым дипломатом. Вечер удался. Хозяйка меня тащит в

спальню «подушиться», «поделиться впечатлениями». И говорит: «Олечка, я пьяная совсем, ка-кой ликер муж выкопал, с ума сошел! А Вы?» Я — ни капли! «Олечка, да Вы... совсем... ни капельки? Не пробовали даже? Да что с Вами? Бледны как?» Меня они вдвоем (хозяин и хозяйка) поят наспех шампанским, «чтобы не было скучных». Я пью. Покоряюсь. Я подхожу к граммофону и завожу сама «Happy days». Стою и слушаю. Танцуют пары... Ко мне подходит кто-то тоже. Я танцую... танцую сердцем. Рву его, рву на части и вспоминаю каждое прикосновение... Кружится в голове шампанским, — я смелее... Я вижу эту даму снова, смеюсь нарочно громко, без бледности. Горят шампанским глаза и щеки. Она подходит снова: «Вы... Вы виноваты... зачем не удержали его у себя?! Я видела его однажды, после его женитьбы. Несчастный мальчик». И рассказала всю интригу. И то, как его от меня тянули и как объяснили ему то, что я не приняла жертвы. Не стану описывать всего. Пыткой стал этот бал. Гремела уже капелла (граммофон был в перерыве), кружились пары, все было в блеске, в вихре вина, духов и флирта. Я была убита. При разъезде эта дама мне шепнула: «напишите ему... и Вы его спасете!» Мне было все противно. К чему она вмешалась. Я потом узнала, — она говорила все верно. Но я не написала. В одном письме, на смерть отчима (1936 г.), Г. мне писал, что «поеду домой, чтобы познакомиться с моей дочкой»... Опять была жена одна за морем? Мы не виделись больше. Я работала. И втайне чего-то ждала. Я нарочно тянула с решением выйти замуж. Я хотела быть свободной. Все это было ужасно. Нельзя сказать кратко. Недавно сравнительно я прочла в газетах, что у него родился сын. Ты без сомнения его имя слыхал и знаешь. В старой России был известен его дядя[500]. Но я не назову.

Тот портрет, что ты получил (оба и с глазами, и 3/4) переснят с того негатива, который я дала сделать для Г. Но... он не взял. Не захотел. Потом узнала. Ему тяжело было. Я тоже не взяла его портрета. Нет у меня его. Я видела однажды его учителя, и, будучи с ним знакомой, спросила его полусмеясь: «а ученик Ваш как? Его супруга тоже говорит по-русски?» «О, нет!» «Какова она?» «Она? — Очень субтильна». Смех. И все. Куколка... Но, все же мать — его детей. И вот еще одно... Он заболел однажды. Его на аэроплане повезли в Вену на операцию. Я это через год узнала от мамы. Он ей написал. А мне в ту ночь снился сон, будто я сестра в клинике и должна ходить за тяжело больным. Я вхожу в комнату и вижу свежеоперированного,

спит еще. Подхожу и вижу — Жорж! Я проснулась, и знала, что он болен. Странно? Я всегда знала все о нем. Он это маме даже говорил, боялся моего этого свойства. Весной 1939 г. я была у мамы. По просьбе одной семьи обратилась к Г. с просьбой. Был телефонной разговор. Я была внутри уже тоже спокойна. Его: «Оля, Оля, как странно, опять твой голос!» Спросил, долго ли я в Берлине, — огорчение, что уезжаю в Голландию. Он был летом в Берлине. Сережа его видел. Он изменился очень, похудел, и... постарел. С. был удивлен. Г. раньше был так интересен, а тут — поблек. Ну, вот и все. Конечно этим еще не кончилось мое жизнеописание. Было так много. Я не сказала и 1/10-ой! Я доскажу тебе.

Посылаю кусочек платья, в котором «прощалась» с Ж. — оно все в воланчиках, длинное и широкое.

Под «Татьяну». Целую. Оля

Кое-что еще надо рассказать и о Диме. Я звала его «Микита». Ему это шло.

114

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[22—23.XII.1941]

№ 7

Ну, вот, милый Ваня, рассказала тебе о себе, поскольку это возможно в краткой форме. Было бы легче говорить устно. Много было. «Роман» с Димой был тяжелый урок, испытание, пытка даже. Я в нем сгорела вся, сгорела я — земная.

Это была борьба ужасная. И мука вся в этой борьбе. Я убегала от соблазна, ненавидела его, но, увидя Д., вся терялась. И вот ужасно: то, что ужасало, отталкивало, то же и притягивало с силой! В то время я была так вся обострена, так... на «высшей ноте», что трудно описать. Я умышленно не даю тебе ни одной «сцены». Их дать в письме невозможно, кратко невозможно. Это — был бы роман.

Д. женился, на одной... его бывшей «Freundin». Разница между ними лет 20—22. Она — как сам он выразился другу «хорошая баба» и больше ничего. Воровка, лгунья, ну, одним словом — «баба» из таких, где только «баба». Обкрадывает его же. Водит шашни с другими. Года 4—5 у них не было детей, т.к. Д. говорил, что от «этого мяса не хочу!» Но, кажется, теперь есть дочка. Постоянно скандалы. Однажды, когда у них были гости, он ее запер в...

уборной, чтобы она не мешала, не портила настроение. Но цинично говорил, что «для постели хороша». Ужас! Я презирать его стала за эту женитьбу. И вообще! Но было время, когда было иначе. Ты знаешь, я маме как-то сказала: «если бы я могла остаться incognito для Д., то я бы хотела от Микиты иметь ребенка, но пусть потом никогда его не увижу больше. Чтобы не было разврата». Дико? Да, тогда я ужасно хотела иметь детей. Жизнь без детей казалась мне погибшей. Но т.к. incognito остаться было бы невозможно, то... оставалось... бегать друг от друга. Если бы я тебе описала мой отпуск на море... когда Д. был там же! И... никто, никто даже не догадывался, что мы знакомы. Какое это было дикое что-то!

Мы встречались как только что познакомившиеся. До комизмов доходило. Однажды я болела, еще раньше в Берлине, — наши его просили осмотреть. Я тогда еще не совсем знала, какой он ко мне. Но догадывалась. А тут... совсем поняла. И с температурой убежала на вечер, где был и он. Танцевала с ним вальс полубольная. Дня 3 сбивала градусник, чтобы дома не знали. Меня бранил он за это. Я не сказала, что ради него, а делала вид, что ради «кого-то» другого. Ты меня осуждаешь? Я чувствую, что да. Да, это было что-то помимо меня. А я, сама я — боролась. Мне Д. сказал однажды, что «через Вас, Олечка, я м. б. еще очищусь и лучше стану... останьтесь такой, какая есть». Ах, много чего было. Ревнив был он ужасно. Однажды чуть скандала не устроил из-за пустяка. А то... просфорку за меня давал вынимать и дарил ее. Он был — весь огонь. Но я его забыла совсем, как бы переболев, — отболела. Я очень страдала в той борьбе. И когда покорила себя земную, — то — освободилась и... навсегда. Я его видела часто потом и так спокойно, будто ничего никогда не было!

Я не рассказала тебе о разных других встречах. Они — не главны. Не ковали меня. Их было не мало. Были так называемые «партии». Но я их просто отметала. Был еще один «роман», но... такой какой-то нестеровский... Милый, чудесный русский... мальчик... и имя ласковое... Лёня! На Троицу, на прогулке (целая компания на сеновале), — мое рождение было, признался мне в любви. Молился со мной, на меня и за меня... (Красиво для этюда). Это-то дивное было и все... вперемешку... И молитвы, и слова любви, и... поцелуи. Я не могла бы поверить, что он такой. Меня это как-то захватило тогда. Тронуло...

Утром, в 5 ч. я пошла к лесу, одна. И вдруг слышу: «сюда, сюда, Лёня умирает!» У него был припадок падучей,

эпилепсии! Это его убило. Ушел в себя. Потом уехал из Европы. Давно было. Теперь женат. Очень счастлив. Она — вторым браком и с сынком. Он его тоже любит. Это — редкий был человек. Потом, после свадьбы моей, я узнала еще один «роман». В букете красных роз нашла мама записку — письмо мне. Когда я вернулась из путешествия — прочла. И обомлела от удивления. Была тут разгадка об одном знакомом, поведение которого было всегда так странно, что никто его не понимал. Говорил о любви своей и просил прощения, что не принял приглашения моего в шаферы. Не был и на свадьбе. Я ничего не знала!

Я не знаю, писала ли тебе я о жизни моей в Charité? Я много писала и много жгла! Профессор молодой? Это тоже из «партий». И об одном «Lepatins Sekretär»[i]? Тоже — «партия». Еще были несколько, которые раздражали надоедливостью. Но для сердца не было больше никого. Были шутки. Например: один влюбился в меня, уверял, что я похожа на кого-то, от кого он без ума. Знаешь на кого? На Бригитту Хельм[501]. Я оскорбилась и выгнала. «Ну, и идите к Б. Х.» Обиделся. Это было только своего рода «комплимент», а я и не поняла!

Было много курьезного. Всякого. Все проходило мимо, не оставляя царапинки. Теперь о б о в с е м, и о Ж о р ж е, думаю спокойно. Все ушло...

22.XII.41

Ну, милый Иван, если бы тебе всю мою жизнь обработать и дать миру! Преломить так, чтобы живые не обиделись. Все живы! Я сама не сумею. Очень уж трудно. Ванечка, я пишу целый день сегодня, потому не отвечаю на письмо твое. Я получила твои открытку 12.XII, письмо 10.XII и письмо 15.XII. Из вскользь брошенного замечания, я поняла, что ты цветок получил. Пишешь так, как будто уже писал об этом. Очевидно, письма пропали?! Какие? Тебе нравится портрет? Я рада. Но ты имей в виду, что это 10 л. назад! Я теперь хуже! Ну, ты знаешь какая! Ваня, почему ты тоже не пошлешь так, как я? Напиши так же! Попроси чуда! Чудо будет! Цензор ведь тоже с сердцем и м. б. очень чуток! Маленькую карточку ведь можно! Ну попроси! Пришли! Я умоляю! Алеша не даст мне! Вот увидишь!

Мариночка, я люблю ее, всегда хороша ко мне была, а тут... не отвечает на мою мольбу ни строчкой! А я писала ей «как родной». Они все, все чувствуют обиду-ревность за

---

[i] Секретарь Липатина (*нем.*).

то, что выделил ты одну из них, читательниц. Понимаешь? Нельзя и сердиться. Это понятно. Не передадут они мне! И потому молю тебя еще раз: ни с кем не говори обо мне! Особенно там! Обещаешь!? Я беру с тебя честное слово!

Ванечка, ты — дуся! Варенье варил? Ну, что же мне сказать на это?! Мне только больно, что ты сахар переводишь и себя лишаешь. Умоляю, — не делай этого больше! Я же страдаю этим! Я ценю это, тронута безумно, невыразимо, но... страдаю. Береги себя! Мне так хорошо (в этом смысле), что я бы с радостью тебе послала. Я не ем сахара. Но, вот странность: отсюда нельзя посылать!

Ванюша, пришли себя! Это, только это! Я м. б. скоро получу твои книги! Нашла один склад!! Ура! Жду каталога. Я напишу тебе о сне (о Богоматери) и обо всем. Напомни! Безумно волнует твой роман с Дашей. Не могу читать! Хочу жить там, тогда, но... иначе! Не смею так! Побрани меня! Но это от любви! Хочу родиться снова. Целую жизнь с тобой прожить! Нет, не хватило бы моего сердца! Я слишком тебя люблю!

Я умерла бы от ревности ко всему! Целую... Глупая твоя Оля
23.XII
Твои чудные письма от Сережи! Отвечу!

115

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XII.41[i]

Ванечка, мой светик, мой бесценный!

Что с тобой? Болел ты? Тоскуешь? Я так скорблю сегодня о тебе. Ничем я не могу развлечься. Пять дней я все ждала от тебя весточки, издергалась за эти «праздники», — ждала, что «вот уж в понедельник-то несколько писем сразу получу от тебя», моя радость... Но... сегодня только одна открытка! И — ничего в ней! Только, что 3 письма твоих тебе вернули! Отчего же? Из-за любительского маленького фото? Но я же получала их от тебя раньше. Сережечку и О. А. А ты... ты не пришел! Ужасно это! Ну, подумай: если бы у тебя ничего от меня не было!? А я вот так томлюсь... Ты долго тогда, осенью, капризничал, все не хотел послать мне. Ну, вот, а я наказана! Я всегда так невезуча в жизни. Я ничего не жду! Как пусто, как тос-

---

[i] Помета И. С. Шмелева на конверте: чудесно дала поездку к свекру. «праздники»!

кливо! И ты не хочешь, не хочешь видеться! Я знаю! А я — я живу только этим. И ты этого понять не хочешь. Я не смогу жить дальше, не имея надежды на нашу встречу. Пойми! Поверь! Я обожаю тебя. Я больше, сильней любить не могу, не способна! Если бы можно было убежать к тебе! Но это невозможно!.. Ужасно!.. Если бы ты все обо мне знал! Но я не могу писать обо всем... И невозможно все эти чувства, муки, страдания описать. У меня нет никакого больше порядка в жизни. Я с трудом заставляю себя хоть что-то делать. Я устала. Я несусь куда-то. Разобьюсь как щепка? Что-то должно случиться... Так жить — нельзя. Я живу только от почты и до почты. И когда не получаю, — то увядаю сразу. Когда получаю — горю, сгораю, рвусь к тебе всем сердцем. Я буду стараться весной к тебе приехать. М. б. и будет чудо, — получу визу! О, если бы люди знали! Если бы знали, то дали бы визу. У всех у них бы растопилось сердце. Как я люблю тебя, Ванюша мой... Ну, если бы кто-нибудь представил себе, что Гете так бы мучился, не мог бы встретиться с любимой, так, как ты, страдал бы (о себе не говорю я — кому же интересна я?), то ведь конечно всякий, самый строгий чиновник понял бы... О, я верю в чудо! Мы должны увидеться!! Пусть страдать еще больше придется, пусть я сломаю всю себя, разорву мое сердце! Но, я не могу жить так дальше! Я должна знать хоть, что тебя увижу! Я каждую минуту мучаюсь, не зная здоров ли ты... И этот холод! Господи, неужели ты не можешь что-нибудь придумать?? Переселиться туда, где центральное отопление. К друзьям? Или ты не любишь это? Я понимаю — у себя лучше. Но хоть на время! Мама и С. до переезда ко мне тоже одну зиму жили у знакомых с центральным отоплением. У твоего доктора не мог бы хоть самые холода остаться? Или у него так же холодно?! Ужасно меня это мучает. Я боюсь твоей поездки. Еще заболеть можно. Мало ли чего схватить можно. Подожди хоть до весны. Не езди! Я буду стараться к тебе приехать весной. Если ты ко мне не хочешь. Для меня-то ведь почти безумно это, ужасно трудно. Меня же муж не пустит... Разве ты этого до сих пор не понял?! Сюда, ко мне, приедь! Здесь и тепло, и хорошо бы было...

Ну, как хочешь! Я так... несчастна!.. Нет, ты этого не понимаешь!

На «праздниках» я уезжала на 2 дня. Тоска была — ужасная... У свекра, традиционно... но, Боже, какой зеленый ужас!.. Я поехала только 25-го вечером, а А. уехал уже 24-го. Мы утром 25-го были трое в Амстердаме у одних русских... У дочери священника[502]. Уютно, мило... Оттуда

я к «папаше». Там в большом доме холодно, одна только печка топится, а все остальное утопает в сыром холоде. И окна еще были открыты, — проветривали, надымило что ли... В теплой комнате, где волей-неволей все вместе должны сидеть, — лежит параличная тетка. Несчастнейшее существо. Ей 75 лет, всю жизнь отдала семье своей, не смея думать о личном счастье. Без любви, без понятия даже о таковой. Богатая, но не смевшая хоть что-либо на себя тратить. Все копить надо для р о д а... Теперь она — кусок живого мяса. Не говорит, не двигается, только плачет звонко, как ребенок больной. И мычит. Все конечно болит, т.к. лицо порой искажается болью и, говорят, что пролежни огромные у нее и от лежания, и от всего того, что с ней случается (как у бебешек). Ужас... Она была самая приятная в жизни из семьи. Забитая. И вот еще такой конец... Но уж хоть бы конец, а то одно страдание. Ее увозят спать в другую комнату, но все обеды, ужины и т.д. она со всеми вместе. Отец — старик 78 л., но бодрый очень и живой, возится с сестрой очень самоотверженно. Но в доме атмосфера умирания. Зажигали елку, совершенно точно так же, как все года перед этим. Только меньше был круг семьи: одна дочка в Америке, а другую папаша не признает, т.к. вышла замуж за русского. Мотивируется официально это тем, что он разведенный, и что, следовательно, по Библии — она тоже прелюбодействует[503]. Года 2 «папаша» ездил ко мне с выписками из Евангелия (Марка), где это сказано. Я лично думаю, что будь Юрий[504] богат, знатен и имел бы место почетное, — то все эти изречения потеряли бы смысл свой, точно так же, как слова Христа о книжниках и фарисеях[505], и как: «легче пройти верблюду сквозь игольные уши»[506] и т.д. Это почему-то игнорируется совершенно. И многое другое. Но... Юрий — беженец, без денег, без места, хоть в прошлом и полковник-гвардеец. Я не ценю его как человека, но возмущаюсь отношением к нему свекра. Т.к. он его не по существу ценит. Его истинные недостатки он даже и не видит. Ну, так Бог с ними! Нудно и тоскливо пели хоралы, — одно и то же! И елочка горела все так же под столькими парами глаз: «не загорелось бы!» Даже и ведро с водой стояло за дверью, как всегда. Подарки дарили тоже. Масса во всяких вариациях библейской мудрости... и в календарях, и в книгах, и в альманахах... Валандались до 1—2 ч. ночи. Спать холодно и темно, т.к. всюду лампочки горят очень тусклые — экономия. На другое утро я уже в 10 1/2 простилась и уехала к дочке с Юрием. У тех

что-то полурусское-полуголландское. Но все же уютно. Тепло. Лампадка. Снежок шел. Я все о тебе думала...

Юрий сам варит кофе и чай, и... вкусно. Сережа тоже туда приехал. Позавтракали дружно, весело болтая за столом. Прошел день в дорогах. Они от нас далеко. Я, не заезжая к свекру, проехала в Schalkwijk (Схалквейк), а С. еще с визитом. Съехались с ним в 6 ч. в Утрехте у автобуса. А. хотел быть тоже, но опоздал и ночевал еще ночь у отца. А мы даже очень уютно проводили время. В субботу были у Фаси, мы трое. Фася милая. И несчастна, конечно. Сказала мне, что так бы хотела в о л и, чтобы хоть нищей, но быть свободной. Мы рядом сидели с ней за столом и... больше ничего не сказав, поняли хорошо друг друга. Были ее родители (чудесный ее отец! Ему 80 лет, а все еще такой молодчик!), ее сестра (тоже за голландцем) и мы. Мужья (ее и ее сестры)[i] не являлись с прогулки очень долго, было уютно, болтали по-русски. Потом пришли те. Мы вскоре уехали. Фася читала (я ей дала) «Историю любовную» — в восторге! Сказала, что «жаль ей Пашу» и что «так все понятно». Ванечка, как котишка мне мешает: вскочил на шею, мурлычет, сосет мочку уха и играет бусами. Щекотно ужасно! У меня 2 котенка: чудесная черная киска, ласковая, чудная, с темпераментом, и вот этот лентяй-котишка. Оба, как бархат. Котик норовит соскочить на бумагу и мешает писать. Сбросила его, — трется об ноги. И поет-поет...

Сейчас почта. От тебя н и ч е г о! Ванечка, здоров ты?

Ты спрашивал, кто этот управитель хора был? Иван Семенович Морев. В Казани очень известен! Папа студентом тоже пел у него, только в церковном хоре. А я в студенческом. Почему я бегала ночью? Это надо дольше рассказывать. Я тогда была почти что помешана, я всюду видела смерть, и ее неизбежность меня ужасала. Я была тогда «уверена», что и мама должна так же быстро и нежданно уйти, как папа. О, если бы описать те картины, которые рисовало мне мое воображение! Я видела все так, будто это уже свершилось, и надо было много приложить стараний, чтобы разуверить меня. В ту ночь я тоже уверила себя, что мама умерла. Ее не было дома. Это была ночь перед нашим отъездом из Казани. Она была у друзей. Я же, была уверена, что мама где-то мертвая лежит должно быть, на улице упала. И я ушла. Искать? Не знаю. Должно быть. В совершенно незнакомом городе. Мне было 9—10 лет. Конечно и прислуга была виновата. Я опишу подробней. Я много чего

---

[i] В оригинале: мужья ее и ее сестры.

воображала, да еще и теперь воображаю. Я однажды от ревности за маму (лет 12-ти) вся дрожала, до обморока. А ничего такого и не было. Вообразила! Меня в этом «сумасшествии» успокоить могла только бабушка. Ее удивительной добротой и лаской. Чаще же меня за это наказывали. И это было напрасно.

[На полях:] Ты на последней открытке поставил: «22.XII.40».

30.XII

Сегодня письмо твое от 22—23.XII. Милый! Но почему одна страничка!?

Ну, крепко тебя, мое солнышко, целую, обнимаю, благословляю... Ванечка, роднуся, миленький! Сердечко мое! Будь здоров! Я так хочу тебя видеть! Берегись. Береги себя для меня! Твоя Оля

О Елене — глупости! Но зачем ты мне сам так писал?! «Выдержу ли?» Я-то тебе верю!!!!

116

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.XII.41

Ванюрочка, мой светик ясный, родной, хороший!

Вчера вечером радость какая! Тебя, тебя бесценного моего, я увидела! Ну, неужели тебе не стыдно так говорить?! Ты, что же, ты потерял способность вдруг видеть, что прекрасно? Это ты-то? Ты — чудесен! Я любуюсь тобой, я люблю тебя, я так рада, что наконец, хоть так, могу глазки твои видеть. Я вытащила сперва письмо скорей читать (их пришло 4 сразу: — 2 открытки, 2 письма) и вдруг вижу, — упало что-то из конверта... Я не ждала больше, я в горе была, что не пошлешь ты больше мне. И вдруг... Ты такой милый, такой прекрасный, такой... большой!.. И это не только я говорю («ослепленная», скажешь м. б. ты?), но и мама. Когда она увидела, то сказала: «до чего же хорошо лицо. Это лицо большого человека!» Как ты смеешь о себе так говорить, как написал на карточке?! Это вместо надписания-то мне! Стыдись! что же ты, хотел бы быть «сладочкин, улыбкин»? Смазливый? Фуй! Стыдись! Ты, — какой ты тут, — прелесть! Я обожаю тебя! Я вижу твои глаза, все говорящие глаза! Твой Сережа — чудный, милый, юный, но ты, — поверь, ты мне (даже по этой паспортной фотографии) — больше нравишься! Какая величина! Какой свет! Какая душа! Сережа там еще дитя. Чудесное дитя чудесного отца! Прекрасный приток могучей

реки — Т е б я! Я тебе нарочно о С. говорю, т.к. ты, я знаю, его обаяние признаешь и видишь! Так вот знай: — ты — источник, ты — первоначало. И для меня — еще прекрасней!! Поверишь теперь?! «Разрыв» и «несхождение» я разумела иначе: очень просто: коли не увидимся, то как же реально будем вместе?? И только. Никогда я тебя не «брошу»! Н е смей так думать! Ты — жизнь моя! Ты информирован н е верно: разрешение на поездку в Голландию можешь получить на месте. Я это знаю. По нотариальным делам дают визу. Я пойду сама в комендатуру и точно все узнаю. Я уже узнавала. Я живу только мечтой приехать к тебе весной! Хочешь? Милый, слов нет сказать как люблю тебя! Знай это всегда. Мне даже д-р Серов дорог! Все твое люблю! Целую Тебя моя радость!

Сегодня жду Сережу. [1 сл. нрзб.] надо все приготовить, потому пишу открытку. Ты в сердце.

[На полях:] Всю ночь ты снился!

Сегодня открыла Евангелие: Соборное Послание ап. Иакова, гл. I, ст. 10—12[507], и дальше.

Но я н е н а в и ж у богатство же!

Целую и люблю, всегда, всегда. Оля, твоя конечно.

117

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1.I.42 г.

Ах, ты родимый мой, несказанно-любимый!

Ванечка мой — Солнышко радостное в лазурном небе!

Счастье мое единственное, вся жизнь моя! Радость!

Пишу тебе в первый день года. Страшусь, как всегда, этого года, но молюсь и верю, что хорошо будет! Так и ты — не сомневайся! Я люблю тебя так нежно, так хорошо, так глубоко! Я вчера, т.е. сегодня ночью твою карточку на сердце держала, у самого сердца, за платьем, — чувствовала ее все время. А в 12 ч. и несколько секунд я убежала в комнату мамы и поцеловала тебя. Когда мы пили вино в 12, то я маме по-русски сказала: «за далекого». Она тоже выпила за тебя. Ванечка, я так трепетно тебя люблю! Я н и к о г д а тебя не оставлю! Нельзя жизнь свою оставить! Я всегда буду около тебя, — пока иначе нельзя — хоть мыслью, письмами, и когда будет можно, — то и вся буду с тобой (убегу)! Умоляю тебя не говорить так о себе! Ты — чудесен! Ванёчек мой родной, отчего же страдал ты те 12 дней? Какое мое письмо? Видимо невольное, глупое, т.к. не могу я быть «холодна» к тебе! Солнышко мое, я ина-че

себе объяснила твою муку, — и... поняла ее, хоть ты и не прав! Я думала, что приближение дней (16 и 19-го XI) тебя смущало. Да? И ты думал, представлял, воображал!.. Но ты увидел, что я была с тобой! — Всегда, Ваньчик, я с тобой! Если бы ты *все*, все знал, как я с тобой! И только! Милушка мой! Ну, успокойся, никогда не думай плохого! Слышишь?

Сердечко мое, да разве я тебе не писала ничего о «девушке с цветами»? Я же целые страницы о ней писала... Неужели я сожгла и не повторила?! Я многое жгу и потом не знаю, послала или нет. Верно так это и было. Ужасно это! Я тебе сперва только, как знак, что получила, писала: «спасибо за ромашки». Что-то в этом духе. А потом в тот же день писала много. Но потом была недовольна чем-то собой и сожгла, много писала еще и жгла. И была уверена, что о «Девушке с цветами» повторила. Вань, часто одна мысль захлестывает другую... У меня никогда неисчерпаемые темы для тебя. Масса чего тебе сказать надо. И все не хватает ни слов, ни времени, ни возможности. Напомни рассказать тебе еще одну «историю с шефом», и обязательно о снах: о Богоматери, о Кресте звездном (давно, в юности), о папе (в Святую ночь, первую без него — это был 40-й день по нем). И, если хочешь, о сне с тобой — злым. Об образе я напишу тебе, сама. Ваня, о Христе, как бы это было чудно! Пиши, Ваньчик. Я знаю, как это у тебя божественно выйдет! Из сердца твоего, из Души твоей великой!

Мне жаль, что умер Мережковский, — еще один ушел!

Но я не люблю его творчество — не чувствуешь сердце. Все будто надумано... о сердце, а сердца-то и не видно. Но, о покойнике не хочу так. Царство ему Небесное! Отчего умер? Ванечка, с какой болью я читала об О. А.! Я тебя чувствую в этой боли. Отчего скончалась О. А.? Напиши. Лечил ее кто? Не Серов? Серов — отец Ирины? Напиши. Как он мил, с его словами обо мне! Вчера вечером я получила твое нежное письмо 6—7.XII. Чудесное! Будто ты сам со мной! И опять там сбоку: «страшусь, увидишь и т.д.» Тонька-фантазер! Глупый! Я же знаю тебя! Я же давно тебя знаю! Кто же по-твоему я? Неужели я не понимаю сердцем что воистину прекрасно?! И что — красиво? Линии Аполлона? Или что? Для меня — лучше тебя нет! И больше не смей! Ни гу-гу! Я себя тоже ненавижу и, сравнивая с «безупречным», — вижу массу недостатков, до... страдания. До снов об этом. Но все же я тебе верю, твоей любви ко мне. Ми-лень-кий мой! Я верю, верю, что мы увидимся. Только хлопотать надо прямо (не через русское эмигрантское представительство) у немецких властей. Для нотариальных дел

дают визу! Ванечка, друг мой, я знаю, как никто, как трудно нам «разъезжать», как ты пишешь. Знаю, знаю! Конечно, мы не голландцы-дельцы. Ванечка, мне кажется, что ты совсем тут. Я и вчера, и сегодня твои духи вдыхаю, на тебя смотрю. Как чудесно, что я получила «тебя»! Милый мой мальчик! Я отца твоего люблю. Я чувствовала всегда в нем много шарма. Ты так чудесно «дал» его, любовью своей дал. Я бы влюбилась в него — не сомневаюсь! Душистый, «молодчик»! Ты от него «взял» эту любовь к жизни и пылкость?! Я тебе еще буду писать — отвечать. А сейчас не могу ничего, кроме ласканья... Какой ты маняще на маленьком фото в Ужгороде[508]. Вся твоя поза... Мне хочется впорхнуть на скамью и юркнуть под эту вытянутую руку (правую). Все, все, даже то, как левая кисть руки лежит на колене! Все меня в тебе волнует! Я знаю, какой ты необычайный! Ведь это, то, что тянет, — так необъяснимо. Я это в тебе знаю. И даже в этих маленьких фото, чувствую. В «Ужгороде» не меньше, хоть и маленький, потому, что ты — свободный, сам — собой! И сколько скорби у тебя в глазах... Ванечка! Она меня всю приковала к тебе сладкой болью! Какие глаза, Ваня, у тебя! Святой мой!

[На полях:] Как ты о локоне моем пишешь и о том, что чувствуешь при поцелуе его! А я? Я — твоя конечно! «Самодурство», говоришь ты, думать, что я твоя?? Нет, не самодурство! Целую и люблю — до бесконечности! Не могу кончить ласкаться. Родной, любимый! Твоя Оля. Оля Шмелева... Я с ума сошла? Нет. Люблю!

Моя азалия цвести начинает, шлю. Получишь ли вовремя мой снежно-белый привет?

Капли вина — за нас!

Не «очищай» ничего от пошлин! Я абсолютно ничего здесь *не* должна буду платить.

Твое письмо 13.XII не пришло еще.

118

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.I.42

Ванюшечка, дорогой, несказанно близкий, единственный, неоценимый, ненаглядный, светик ясный, Ангел мой!

Я не в силах тебе «ответить» на письмо твое от 25—26-го! Я так бледна перед тобой. Ты будто чуял тоску мою. На все, без вопросов, ответил! Ванечка, я так страдаю без тебя, и потому только так вчера писала. Ты-то поймешь меня! Мне страшно стало, что тебе эта «отвлеченная» любовь

меня, живую меня, заменить может. Я «ревновать» стала к этой «письменной» любви. Понял? Ваня, голубчик мой, я все сделаю, чтобы преодолеть страдание. Но, пойми, что без тебя — все, все тускло! И не только эгоистично без тебя, но и за тебя! Я мучаюсь, что ты один, что у тебя нет постоянного уюта, что нет хозяйки у тебя, что так мало заботы о тебе, постоянной! Ничего бы я сейчас так не хотела, как быть около тебя, в состоянии снять все твои досадные житейские заботы... Как бы я хотела быть опять в клинике, чтобы быть самостоятельной, чтобы *тебе* ни о чем не думать даже! Чтобы ты только себя берег для творчества твоего великого! С какой бы радостью я сняла все заботы с тебя! Ванечка, я тебе как-то намекнула о «планах» своих. Это я думала поступить здесь снова в лабораторию, чтобы постепенно «отойти». Понимаешь, сначала ездить из дома, потом взять комнату и только на воскресенье приезжать «домой». И посмотреть, что бы было. И приучить к отсутствию. Но ничего не выйдет. Нельзя найти службу. Нельзя найти себе заместительницу в кухне. Сколько ищу. И вообще — не выходит. Я не знаю, как и что, но я надеюсь. М. б., что-нибудь изменится, как ты пишешь. Ох, Ваня, Ваня, если бы ты все, все знал! Пойми, что никто, никогда не даст мне счастья! Не говори так! Ужасно это, так же, как и «ныне отпущаеши». Не может быть мне счастья вне тебя! На что мне молодость? Куда же? Кому она? Пусть уходит жизнь... И как безумно я хочу... Сережечки!..

Ах, я забыла написать тебе! Мне снилось на днях, быть может, на 1-ое янв. даже, что: не то у меня есть уже, не то будет (и я знаю) — дочка. Именно дочка. И я сомневаюсь, хочешь ли ты дочку, думая, что тебе приятнее сын. И хочу знать твое отношение, страшась услышать... А ты, так радостно сказал: чудесно как, я всегда, всегда хотел девочку... я назову ее «Оля». Странно? Безумство — что пишу так?! Я не могу, Ваня, я все тебе хочу сказать! Ты так мне близок! Ванечка, родной, далекий мой! Ах, ты опять что-то посылаешь!? Не балуй меня так! Нет, я «Старый Валаам» не получила. Ванечка, пришли автограф! Господи, я не достойна твоих Даров! Книг твоих! Я так ничтожна! Ваня, мальчик мой, я обожаю тебя, я всем моим существом люблю тебя! Я не могу без тебя! Ты — ты все мне! Я верю, что мы увидимся. Иначе, как все бесцельно. Ваня, как ужасно умереть смоковницей, той, которую Христос проклял[509]?! Но я хочу только с тобой! Как я бы воспитала! Ванечка, какая Душа в тебе Великая! Ты же единственный!! И все это не продлится? Ужасно, Ваня! Но я буду тер-

пелива, я не буду страдать! Ну, разве могу я это обещать? Иван мой, радость моя и счастье!

Я никогда так не любила. Я спала всю жизнь до тебя. Как все было мелко до тебя! Ванечка, Ангел мой! Нет слов, чтобы сказать все!

Ты — все мое счастье, жизнь моя! Конечно, ты не виноват в моих муках! Ты мне жизнь дал! Ты пробудил меня к прекрасному. Кто тебя винит? Мама? Не может быть. Она тебя любит!

Ваня, как обнимаю тебя, вся с тобой, целую, долго, жарко, нежно. Как умею! Ивик мой, душенька моя! Твои письма меня уносят в мир прекрасный, сказочный, чудесный!

Я ужасаюсь, что на твое многое прекрасное в письмах не могу ответить. Я вся полна тобой. Не могу писать связно! Как время бежит. У меня все так недавно. И Wickenburgh будто — вчера. Ваня, зачем ты долго молчал, ...если бы я тогда, раньше знала! Если бы ты хоть год тому назад «открылся». Хотя... что же? Все внешнее остается! Меня не пустили бы к тебе! Ваня, Ваня мой! Я вся в угаре, в любви, в песне! Солнышко мое! Как я хотела бы прийти к тебе, явиться сновидением хоть! И ты! Я так жду тебя! Ваня! Милая радость! Чудесный мой! Прости мне все мои злые письма! Как я могла на тебя злиться!? Ваня, когда я была холодная? Не могла же! Я дорожу каждым часом даже (не то, что днем), пока живу тобой, твоей любовью! Ваня мой милый, ласковый, нежный! Кто ты мне?! Все, все! Счастье мое! Я целыми днями любуюсь тобой... Порой ты будто оживаешь: будто шевелишься! Как бы я тебя успокоила, приласкала... как отогрела бы, как я сама взяла бы от тебя любовь и радость жизни! Рыцарь мой светлый! Тоничка мой! Как я все, все дала тебе бы! Родной мой! «Роднее нет»! Что я могу еще сказать?! Нет слов! Возьми же все воображеньем, что и в сердце у меня горит, тоскует, томится, рвется к тебе — моему бесценному! Ты потому меня так любишь — что я тебя люблю без меры. Я — одержима этой стихией! Я не пережила бы, кажется, от счастья... твоей любви! Как жду тебя! Меня смущает, сдерживает... неловко как-то... сказать тебе больше, все, что так наполнило меня с краями! Ты — умеешь. Я — женщина,.. стесняюсь и робею. И, Боже, сколько же я уже сказала! Я все, все понимаю... Я так тебя чувствую... будто ты здесь!

Ты пишешь о моей карточке «с Новым годом?» Я ничего не понимаю: я послала через магазин тебе к 1.I.42 (н. ст. — т.к. все-таки этот день меняет календарь) ландыши или белую сирень и велела приложить карточку. Ты говоришь о цикламенах? Их послали к 10-му (Знамение) и опоздали. А

эти послали раньше? И что? Неужели опять цикламены? Идиоты. Или жулики? Я так просила ландыши. Сказали, что не знают, можно ли во Францию. Тогда я заказала, «если нельзя» — белую сирень... Я знаю, ты ее любишь. Но непременно душистые цветы! Я так хотела этого! А что они сделали?! Это вечно так! Еще и до войны жулили! Теперь я просила послать белую азалию или белые гиацинты к Рождеству. Наверное тоже перепутают. Я все определила, и форму, и размер, и упаковку. И верно опять обманут. Я писала д-ру Серову, прося его достать как надо и дать отправить тебе вовремя. Но оказалось, что нельзя переводить деньги. Пришлось письмо уничтожить. Я так жалела. Он-то бы тебя устроил? Я хотела его просить елочку тебе от меня устроить, но думала, что это слишком сложно, и не просила. Просила ландышей тебе найти! Но, вот, ничего не вышло. Но зачем ты все посылаешь? Дружок мой, старайся себя беречь! Умоляю! Все, что ты мне посылаешь — кушай сам! Береги все для себя. У нас здесь все есть. Это письмо мое только непосредственная реакция на твое. Я на все еще отвечу. О «видении» напишу, — это не мне было, а одному дедушке моему... Напомни. Сейчас вскочил кот и всю исцарапал (любя топчется по плечам), а потом на письмо соскочил и замазал лапками. Откуда-то притащил жирные пятна? Ой, знаю, скрипела дверь, смазали, а на полу капли. Притащил-таки! Прости эту мазню! Ты видишь, даже лапки отпечатал?! Но я вся *исцарапана*! И сосет *уши* и волосы! Тоже — вкус! Ну, дорогой, бесценный мой, до скорого письма! Так много сказать надо! Так мало сказано! Я очень хочу писать, но не могу — я вся в вихре! Уляжется это? Или никогда? Ты же знаешь? Я не могу быть ни с кем, кроме тебя, счастливой! Пойми это! Мне горько, что ты мне этого желаешь. Ну, поревнуй же! Неужели остался бы спокоен?! Я ужасно ревнива! Но ты не мучай, — я тебе доверчиво сказала! Я очень страдаю этой страстью. Хорошо сказано у немцев: «Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft»[i]. Я ведь так и делаю. Отыскиваю и мучаюсь. Я такая же, как ты — безудержная. И часто страдаю. Я тебя очень понимаю! Я каждую секунду с ..... тобой! А молиться... иногда не успеваю. Я говорю, что вся — трепет. Ну, целую, крещу, вся с тобой! Оля

Ужасны эти пятна — прости. Не стала переписывать! Испачкала и блок — отпечаталось.

---

[i] «Ревность творит страсть, которая с азартом ищет то, что творит страдание» (*нем.*).

119

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.I.42 г.[i]

Неизъяснимый свет мой, радость, восторг мой, упоение, счастье!

Не собрать мысли, не охватить их словом, не унять чувства, не заставить их покориться строчкам... Я вся в тебе, неизъяснимое мое блаженство! Мука моя! Тоска, томленье! Как я люблю тебя, как ищу тебя во всем, во всех проявлениях жизни, в природе... во всем, во всем! О, как люблю... безбрежно, какой чудесной силой, как волнующе... безмерно!.. Все больше! О, если бы поэтом быть! Сколько бы я тебе сложила песнопений! Ванечка, бесценный мой! Каким криком сердца я возвестила бы любовь мою к тебе, как звучно, полно и... нежно! Наполнить мир всесь этим зовом-кликом, застыть в нем, в ожидании тебя, Тебя, чудесный мой... Затрепеталось эхо, задрожало на облаках, в лучах солнца, в мерцании звезд, в луны сиянии, упало б в море, скатилось с гор бы, орла вспугнуло бы трепетно-могуче, разбудило бы птичку, нашу — северяночку какую... лелейно бы коснулось розы нежной, фиалки чистой, ландыша-фарфора и позвенело бы еще в нем. Ах, Ванечка, налитый персик бы поцеловало и докатилось бы до твоего сердца?! ...

Но я... немая... и стихаю!

В а н е ч к а ! ! ! ! —

Как ты чудесен! Твое письмо от 29-го на С. — Рождественское я уже получила, — в субботу (2-го) привез С. И, Господи, что ты делаешь? — еще 2 посылки — эти твои чудесные дары! Чудесный ландыш, сквозь пробочку даже так благоухает! И флаконч**и**к такой милый — будто — ландыш! Плиточку шоколада я всю зацеловала... ты ее трогал, сломал... все-таки втиснул же! И коробочка в золотом перевиве! Бесценно все! Я вся осыпана тобой, одарена безмерно. За что? Зачем? Мне стыдно! А сегодня! Все уплывает в счастье... в горе-муке, в тоске... и все же в счастье... Сегодня книги твои: «Старый Валаам», «На морском берегу» и «Про одну старуху» (Сереже?) и... Тютчева... С П А С И Б О! Я переполнена! О, как богата я с тобой! Как чудесна стала жизнь моя! Времени не хватает! Я вся занята... И, о, сколько же чудесного я открываю!.. Меня волнует очень Тют-

---

[i] Описка О. А. Бредиус-Субботиной: 4.I.1941. На конверте помета И. С. Шмелева: Оля получила мои посылки. Ее «крик любви». Чудесная! Из ее детства.

чев... И это ты его мне показал... Я люблю его, как все, что нравится тебе! Но я потом об этом... а сейчас только о тебе, к тебе, мое Светило! Я обожаю тебя! Я не могу выразить то, что чувствую к тебе!! Я тебя тоже и очень детски еще люблю. Я удивляюсь часто на себя... настолько я еще девочка — Оля. Как странна судьба моя: я ни у кого (сколько же было!) не была первой! Это больно мне! Первое — такое чудное! Ни у кого ни у кого... Я всегда слышала: «после тебя никтого так любить не буду... "последняя"...» Горько мне! Но не подумай что я ревную... Нет. Правда нет, совсем честно! Я О. А. чту очень высоко, вне всего. Я недостойной себя считаю ее[i]. Это тоже — совсем честно! Нет, Ванечка, мы должны же встретиться! Не могу помыслить, что иначе будет! Нет, не только для искр творческих мы даны друг другу... Я слишком тебя всего люблю, чтобы остаться только для этого! О, нет, я не «выдумала» тебя! Можно ли тебя выдумать?! Вся цель жизни моей — тебя увидеть! Исступленная, отчаянная!.. Одержимая я! Я тобой одержима! Да, я жду сердца твоего! Тебя всего жду — ибо Ты — сердце! Ты — сердце! Пойми! Как я жду сердце! Чтобы услыхать его биение живое... только мне! В ответ на мое, так близко услыхать, чтобы не знать чье это бьется... мое ли? Твое ли, безценный!? Иван, я сердце твое в себе хочу услышать!..

Почувствовать и дать, его опять... Тебе! Ты понял? Но ты... все знаешь! Ты веришь мне теперь, я знаю... О, как я вырастаю с каждым днем в любви моей к тебе... Как бледны были мои письма, — как ты читать мог, не сердясь, на них? Я и теперь еще нищая, но я уж понимаю как надо быть! Нет, не то, плохо сказалось. «Надо» звучит — будто кто-то кого-то обязывает — ...во мне же — все свободно!

Я, теперь сердцем смелее, оттого что оно бурлит, полное, не находя исхода!.. Ванечка, выброс ь глупые мои письма! Много глупого там! И все обиды о З[еммеринг]... мне стыдно! Ах, Ивочка, мой ненаглядный... Какой ты мне родной... Твои письма (26-го, открытка 27-го)... чудесны! Я плакала много, их читая. Я получила в пятницу их. Всю ночь думала о тебе...

Утром поехали с мамой в Утрехт. Я — вся в тебе... Сижу в автобусе и... все о тебе, о тебе. И чувствую, что по щеке слезы одна за другой, — тогда только опомнилась...

Ваньчик, у меня камнем на сердце твой холод! Я страдаю больше, чем если бы сама холодала... Что можно сде-

---

[i] Так в оригинале. Вероятно, описка О. А. Бредиус-Субботиной.

лать?! Вань, ты пишешь о «страдании многих», о моей внешней «устроенности», ты пишешь о твоей «неустроенной-бытовой жизни». Меня то тоской наполнило. Ужасом. Ваня, тебе плохо? Скажи! Ты дергаешься на всякие мелочи? Трудно все? Ванечка, ты пишешь: «если буду здоров»... Ты плохо себя чувствуешь? Напиши мне все, все! Ведь мы же свои! Какие «посещения» тебя отвлекают? Попроси же немножко тебя попокоить! Или неудобно это? Да ты верно и сам не любишь один долго сидеть. Ванечек, все, что ты можешь достать, — доставай для себя, — у меня все, все есть! Береги себя, — это самая моя большая радость. Этим — я живу! Ты здоровый, бодрый, веселый — мое счастье! Обо мне ты не волнуйся: я здорова. Принимаю селюкрин (странно он на меня действует!). Все для тебя. Хороший стал аппетит опять. Толстеть я и не хочу. Но все я бы сделала, чтобы быть для тебя и лучше духом, и красивей телом... Я так недостойна! — Ванечка, завтра — сочельник... Помню девчушкой я «говела до звезды» — всегда... И не голодала... Однажды, было это в Казани, мы говели... Уж подходило время ехать ко всенощной, а я все бегала к окну — смотрела звездочек!.. Были тучи... Мама уверяла, «что это только символ, что уже за вечерней пропели "Звезду"» — «Рождество»[510], и что «папа даже съел просфорку»... Я не унималась. И услыша про папу... расплакалась... как мог *он*, он — идеал мой... съесть... *до* звезды!

Это было такое горе! Папа сам утешал меня, говоря серьезно как со взрослой. Я поверила. Я даже съела киселя овсяного с медовой подливкой (сыта, знаешь?), и мы поехали в церковь... Звездочек не было видно... И было на душе все-таки... тускло...

И когда мы возвращались, и ветром разогнало тучи и звездочки горели... мне было грустно-грустно. Зачем не договела?.. Я ярко помню это Рождество, последнее с папочкой... Я много расскажу тебе. Напомни. Выпиши отдельно, что тебя интересует и напомни: о моем первом грехе (о двух даже). О Иуде-Предателе, о сне моем в Бюннике уже (Богоматерь), о сне «крестном», в Казани... Об одном папином прихожанине — «Чаша». О чуде со мной 3-хлеткой, если еще не писала. А теперь скажу тебе о папе. Ты угадал, сердцем своим понял: — папа служил Ей! Для Нее, и по Ее зову пошел в священники. Папа, будучи в последнем классе семинарии, учась отлично по всем предметам, был преследуем одним учителем. Подкладка — ревность, за брата папы, «отбившего» у учителя невесту. Он изводил папу ужасно. И на окончательный экзамен готовил провал. И

много каверз. Папа был очень чуток к неправде (я это у него взяла) и страдал невыразимо. И вот, перед экзаменом (я не знаю сейчас точно почему особенно трагично могло для него оказаться это «проваливание», но это так было) папа молился у образа Божьей Матери, в церкви. Никого не было. Папа молился с верой необычайной и сказалось само у него в сердце: «покажи Правду Твою и я буду служить Тебе всю жизнь мою». И услышал: «Будешь, будешь!» Никого в храме не было — это было утром, без службы... Женский голос сказал и стих... И папочка служил Ей и Сыну Ее Единородному! И как служил, Ваня! Да, если бы ты его знал! У меня есть книжка-некролог о папе[511]. Переслала бы, если бы было можно... А встреча папы и мамы!.. Чудесный какой «роман!» Большая часть этого «романа» — в... письмах. Они один только раз виделись... а все остальное — письма! И потом решили: «увидеться, чтобы себя проверить». Еще одна встреча, решившая все, без вопросов, в сердце. И после нее, каждый сам по себе написал «решение». И до чего же чисто, хрусталь-но-чисто! Папа поцеловал маму впервые, обручась, за 3 дня до свадьбы. Она — была его первая, а он ее первый! И первый мамин поцелуй! Мама всегда говорит, что таких браков м. б. 1:1000. Вся родня у нас — духовная.

Отец папы — протоиерей Углича, его отец тоже, дед — тоже. Отец мамы[512] — протоиерей в Костромской губернии, его отец тоже, дед тоже. Со стороны бабушек — то же самое. Были некоторые из них люди особенные. Как бы из потустороннего. Я опишу тебе. Напомни. Мои деды — оба — незаурядные личности. Папин отец очень рано умер, т.е., я его не помню. Мамин же отец прошел перед нами сильной личностью. И смерть его была — ужасна силой Таинства этого. Умирал долго, сознательно. Мы были все около него, в 1916 г. Это был очень сильный духом человек. Достойный. Я чтила его. Хотя близости у меня с ним не было. Он «метаний» моих не мог своей, другой совсем, природой понять. Бранил меня за мои «тревоги». Бабушка — совсем другое. Мягкий, тонкий свет! Напишу больше. Кончать надо! Целую тебя, солнце мое! Оля

[На полях:] О «завещании» моем *не* тревожься. Об этом — диком факте я объясню тебе. Напомни обязательно. Да, я изменю его, или уничтожу. Давно хотела!

Получил ли «жизнь мою»? Я все послала. Твое письмо от 13-го не пришло.

Напиши, нравится ли тебе такой цвет ниточки, которой сшила письмо? Мне это надо.

120

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.I.42
2-ое

Мое сокровище, родной мой Ваня!

Сегодня выдался мне денек, — могу долго писать тебе. И вот еще одно письмо. Перечитала твои. Спрашиваешь, «какой частный случай» показал мне прелесть Православия? Кажется, я 23-го XI была здесь в католической церкви... должно быть, контраст этот... Читаю дальше, — твои «изумления» на работу в клинике... О, Ваня, сколько там было. Слушай: когда я кончила работу волонтерки в Charité, я все же еще там оставалась, пока до приискания места. И вот, однажды (была отчаянная безработица 28—29 гг.?) мне прислали из бывшей моей школы извещение, что один доктор ищет лаборантку. Я не смела не идти, т.к. тогда бы больше не прислали. Да и не было оснований еще не идти. Хотя тот друг-доктор, который мне много помогал в Charité, всегда говорил: «ох, S., Вы не для практики молодого врача, — поищите лучше ученого или, если такое чудо, м. б., — частные клиники, но не к "Praktiker Arzt"»[i]. В государственной или городской больнице я работать не могла как иностранка. Это «требование» было как раз к «Praktiker Arzt». Нечего делать — пошла. Еврей. Вопросы: имя, возраст и т.д., — знания, школа, стаж — его не поинтересовали. И... «есть родные?» «Кто отец». И... «Вы носите форму сестры на работе?» И... еще более дико... «у Вас "Bubi-Kopf"?» Т.е. стриженая... У меня тогда уже были отрезаны волосы. Но я ему не ответила, а только сказала: «мне кажется, что это к работе отношения не имеет». — «О, да, при операциях это очень важно, чтобы длинные волосы не мешали». Я встала и сказала, что я вообще не для операций, а только лаборантка. И попросила его сказать в школе, что я по специальности ему не подхожу. Он не слушая меня спрашивает: «Вы живете с родителями?» Я: «да, конечно». Это его очевидно мало устраивало и согласился, что «да, я по специальности ему не подхожу». Я не простясь пошла к двери. Но тут он еще нагнал и пытался (гнусно!) взять за талию и провести в дверь. Я выскочила как ужаленная. На лестнице я плакала. И с ужасом думала, что наступает уже этот «крестный путь», о

---

[i] Практикующий врач (*нем.*).

котором столько (!) слыхала... На улице, внизу ждал меня мой спутник — доктор из Charité. Очень хорошо меня понял. Записал имя нахала, чтобы уязвить при случае «коллегу». И тут же «утешил», что подобных типов (увы!) много и что мне лучше было бы не начинать такой карьеры. Обещал искать для меня работу у какого-нибудь ученого. Когда я попала в Клинику, — то эта сторона «крестного пути» отпадала. Я не зависела от личного каприза врача. Было 2 шефа. Один славился ученостью (приезжали к нему из Франции, Голландии, Бельгии) и строгостью и невероятной требовательностью. Лаборантки вылетали одна за другой. «Враг женщин» — говорили про него. Я поняла потом каких женщин, — тех, что в медицине ищут мужей, а не работу видят, — тех он презирал и гнал вон. Другой был меньше врач, чем купец. Практик. Мне был отвратителен. Всем, решительно. Первый был старше, некрасив, хмур. Этот — для меня — гад, а другие его считали красивым. Очень высокий, молод довольно. «Бабьё» — пациентки и др. с ума сходили, за одно трепанье по щеке все забывали. Мне он сразу не понравился. Не знаю чем. Нет, он не был циник, не был обыкновенный нахал, за бабами не бегал. Цену себе знал. По-моему, совсем бесстрастен. Только деньги. Честолюбив. Безумно везуч в жизни. До жути! Я его называла «Поликратом»[513]. Все удавалось ему. И этой своей материальной везучестью был он тоже противен. По духу своему был всему, что во мне — диаметрально противоположен. И очень умен. Сразу понял, что со мной контакта не будет. И по честолюбию, не из-за симпатии, — был уязвлен. Я ждала только прихода старшего шефа. Его строгость мне была приятна. Я сразу же ему сказала, что я знаю и чего не знаю. Он сам сидел за микроскопом, показывая мне незнакомое и объясняя. Врачи — ассистент его трепетали. Бранил их как ребят. Ко мне относился хорошо. К русскому Рождеству *сам* отпустил меня на 2 дня. Он бывал в Польше и знал наши праздники. За его защитой (она не выражалась никак, но я чувствовала ее) я не боялась молодого шефа. Тот сам-то побаивался своего cousin'a[i]. Но вот открыли школу при клинике. Набрали девиц. Появилась одна молодая вдовушка и стала «гоняться» за молодым шефом. Тот был женат, имел дочку — Helga, (эта девочка родилась тоже 9-го июня. Обожала меня, писала прямо любовные письма. Мать ревновала).

---

[i] Двоюродного брата (*фр.*).

Вдовушка гонялась. Была удивительно умна, масса шарма. Но злого, злого начала женщина! Ужасная. Всюду сеяла свару. Шеф хорошо относился к одной девушке. Вдове это помешало. Очернила ту и вот та в немилости. Ее преследовать стал шеф. По проискам вдовы в черном теле держал. Отослал ее помогать мне в лаборатории (т.е. «с глаз долой») — раньше же ему на семинарах помогала. Та была не плохой человек, но тоже, будучи «в силе» проявляла себя! И надо мной «куражилась» бывало. Но когда низверглась, — жалко мне ее стало. Возмутила несправедливость меня, и я ее стала «отогревать». Работали дружно.

Случилось, что умер старший шеф. Ужасно, трагично. Я долго о нем молилась. Как он жалел, что приходилось мне на Рождество Христово ездить делать у него исследования. «Не стоит трудов Ваших, умру, знаю». Сам определил что у него, прося «коллег» вскрыть его тело и сличить его диагноз. До конца — ученый! После его смерти вся власть у другого. Отношения наши вежливо-корректны... Не могу описать всю ту зависть, свары, что варили «бабы». Мне прибавили жалование на 3-ий мес. — так <u>как</u> же меня пилили!! Боже! Вплоть до порчи термостатов, чтобы Wassermann не удался! Ну, да. Работали мы с девушкой этой, а вдовушка все точила. Досадно, что никакой прорухи нет у той. Зовет меня раз шеф и говорит: «как работает Frl. v. F.?» — «Хорошо». — «У Вас все — хорошо! Я никогда от Вас ничего не слыхал другого! Вы держите руку учениц, а не шефа. Все покрыто у Вас mit dem Mantel der Liebe[i], знаете ли Вы, что Ваше место отняли бы 1000 немецких девушек, und mit einem Handkuss![ii] И все бы докладывали и работали бы так, как <u>мне</u> надо!» Я была изумлена. Я только сказала, что мне <u>нечего</u> покрывать «плащом любви». «Вы думаете это "подло" — "доносить" — знаю я Ваши взгляды XIX-го века. Нет, я называю это: "zu seinem Arbeitsgeber halten!"»[iii] В кабинете сидела вдовушка. И тут я увидала ее глаза. Ясно было, что она настрочила. Стыдно ей стало. Вступила: «Frl. S. много работает, м. б. она не имеет возможности <u>все</u> видеть, что делается у учениц». Меня отпустили. Я ничего не понимала. Frl. v. F. вскоре сделала большую «рюху». Я взяла вину ее на себя, сказала, что я от утомления перепутала. Я говорила по телефону с шефом.

---

i Плащ любви, здесь: покров любви (*нем.*).

ii Целуя руки (*нем.*).

iii Держать руку работодателя, здесь: соблюдать интересы работодателя (*нем.*).

Он не поверил, что я. Я уверяла. После, я слыхала, что вдовушка говорила: «Frl. S. ist verdammt intelligent und das weiss Chef. Er gibt um 2 hier, die so sind, — ist u. S. Sie hat d. Chef vorgemacht, als wäre v. F. unschuldig. Es ist nicht wahr, aber er musste je, glauben![i]» Мое счастье было, что отношение между мной и шефом были холодны — иначе она сожрала бы меня. Часто я думала, что любовь дочки (на 20 л. меня моложе) [смягчала] еще отца против меня, за эту историю с v. F. Я не дала ему ее выбросить как тряпку из школы. Потом вдовушка многих повыкидывала. Гадостей было вволю. Я плакала каждый день. Придирки шефа. Постоянные попреки безработицей и хлебом! Ужас. Я искала места, но бесплодно. Я ненавидела его. И так до того... когда наоборот стало: нехватка рабочих рук! О, как он изменился. Награждал меня, — впрочем и раньше это бывало. Но тут иначе, более тонко, чутко даже. Речи держал, хваля публично. Но я и делала же массу. Вдова вышла замуж и успокоилась. Жена шефа хорошо относилась. Появление кавказца и его «мучительства» сгладили неприязнь к шефу — заступался. Моя болезнь, 3 недели лежки в клинике... милое отношение, простое, радушное. Мой блестящий экзамен в школе. Частое доверие шефа в делах клиники. Никогда не пускал меня в отпуск, пока сам не возвращался, не верил никому. Он стал мягче. Но никогда, никогда не мог он обмануться, что он только — шеф и ни чуточки человек для меня. Никакой! Видимо его это задевало. И вот слушай: весной однажды (1936 г.) он заявляет мне, что м. б. сегодня мне надо с ним на аэроплане вылететь к одному больному, чтобы я была готова и приготовила инструменты. Строго держалось в секрете куда и к кому. Какая-то видная персона... Я 3 дня была начеку. И вот вдруг ехать. Но не аэропланом, а просто экспрессом — в... Мюнхен. Мы очень быстро были на месте. По дороге обедали в вагоне-ресторане, изыскано, тонко, с винами. Ему явно хотелось снять взаимоотношения шефа и подчиненной. Все старался разговорить меня, говоря только отвлеченно, не по службе. Много обо мне, чокаясь со мной, за меня, за «intelligenz»[ii], что он так ценит и т.п. О, я была — только лаборантка! Правда не у микроскопа, но все же! Приехав в Мюнхен, мы нашли уже ждавший автомобиль,

---

[i] Fr. S. чертовски интеллигентна и шеф это знает. Он говорил о 2-х таких здесь. Она убедила шефа, что v. F. невиновна. Это неправда, но ему все же пришлось поверить! (*нем.*).

[ii] Интеллект (*нем.*).

увезший нас в поместье больного. Я поселилась на ночь в отеле, а шеф проехал с шофером в усадьбу. На утро за мной прислали. Больного я не видала. Его кровь для исследования кое-как взял сам шеф. Я сделала в 1/2 ч. исследования, и была свободна. Это было весной ранней. Все было так чудесно в Баварии. Шеф пригласил пройтись по усадьбе. И все расспрашивал меня о родине, все в лирических тонах. Обедали в доме больного. Его жена была очень мила. Спросила, когда мы обратно, и не заказать ли билетов по телефону, чтобы все было готово. Я сидела тут же и слышала, как шеф сказал: «очень мило, если можно я сейчас же свяжусь по телефону с Мюнхеном и закажу на сегодня ночной поезд — нам надо спешить, завтра работы масса в Берлине». И я слышала, как он заказал: «2 Karten für Neute, II kl.» — «Ja». «Ja». «Danke»[i]. Все. До вóкзала на машине пациента. В Мюнхене шеф показал мне (и шоферу — он очень демократичен всегда) известный Bierkeller[ii]. Угощал пивом. А я его терпеть не могу! Продолжение следует.

Ванечка, целую тебя, друг мой. Не наскучило? Эти рассказы? Твоя Оля

121

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.I.42 г.

Ванюшечка мой родной! Вчера писала тебе 2 письма, но пометила ошибочно 4.I. Я очень за тебя тревожусь. Уже 5-ый день нет от тебя писем. От 29-го expres я не считаю, т.к. оно к завтра! Перечитаю и унесусь к тебе! Не забыл ли д-р С[еров] мою просьбу?! Если да, то напомни ему — у него мое письмо. Милый Ангел мой, я сегодня в такой радости: ты поймешь ее — для других такую малую, — а для меня — счастье! М. б. помнишь — цветочек твой у меня замерз? Он совсем погибшим казался. Я уже и не писала ничего. А как мне жаль было! Больше, чем жаль! Я по нему, как в сказке, угадывала все о тебе! Но я все же его (весь опал, а стебелек-стволик стал не выше 1 сантиметра — отвалилось все!) холила, поливала, на солнечное окно поставила и под стакан. Я теперь тебе открою: я его Святой водичкой полила и перекрестила, и... так его жизни хотела. Я задумала тогда... И не решалась сама себе даже со-

---

[i] 2 билета до Нойте, II кл. — Да. Да. Спасибо (*нем.*).
[ii] Пивная, погребок (*нем.*).

знаться. Уверена была, что погиб. Сегодня, как всегда, подошла утром к нему посмотреть на «култышку-створлик»... — и... Ванечка... подумай, рядом, чуть поодаль, от корня пошел новый росток! Это чудо, Ваня! Это ответ мне?! Нам? Сегодня, в сочельник! Я заплакала от радости и побежала к маме. Та поняла и ласково пристыдила: «ну, такая большая, а плачешь!». Будто детку! И так тепло мне!

Ванечка, а ты рад? У меня однажды на Рождество Христово от елки свежие ростки пошли! Целую. Оля твоя.

[На полях:] Не сердишься за глупый вопрос в письме одном от 1.I-го?

Прости! «Старый Валаам» так близок сердцу.

122

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7 янв./25 дек. — ночь на 8-ое. 42 г.

Волшебный мой, светлый, упоительный, чудесный!
ЛЮБИМЫЙ!!

Как я рвалась тебе писать весь день. Но не было минутки — мы уезжали в Гаагу в церковь и только вечером могли быть дома. Какое чудное было Рождество у меня! У нас?! Еще 6-го, вечером я так все думала о тебе, так трепетно молилась (в 10 ч. веч.) дома. Я в столовой погасила огонь и только с лампадочкой молилась... о тебе... о нас. У Его яслей! И в 11 ч. я вышла в сад перед домом. Выпал снег (у нас-то!!), чудный, лег на дома, на деревья, на заборы... все укутал, украсил, обелил... Морозило чуть-чуть... Шаги скрипели! Было тихо-тихо. Я искала звезды... Тучки были... Нашла одну, — высокую, высокую... Не знаю какая, какого созвездия... все было закрыто. Одна она теплилась на востоке. Я стояла в тишине этой снежной одна — совсем одна с тобой, и говорила сердцем! Мне верилось, что ты тоже смотришь, м. б. и эту звездочку видишь! Ты знаешь, я ребенком верила, что звезды — это окошечки в Божье Небо (где Бог, *за* твердью) и потому такие светлые. Что Ангелы их утром закрывают, а ночью открывают, чтобы и нам светло было! Не помню кто это мне рассказал так... В немом молчании вдруг пробила башня 11 ч... Как я тебе молилась!! Ты угадал? Услышал? Мне было тихо, радостно и светло на сердце... В письме твоем ты спросил меня, отчего я «не ценю хоть пока такое счастье»? О, я ценю его. Я каждый день ценю, но больно мне, что этот «каждый день» украдывается от нашего большого счастья, от полного и только нашей жизни! Вдали тебя, я принуж-

даюсь жизнью отдавать досуг и силы совсем другой стороне моего существования. Мне это трудно... Понимаешь? Но я не стану отягощать и волновать тебя. И если трудно или невозможно, то... я на все должна буду согласиться для твоего покоя. Я буду радоваться всему, что ты даешь, не спрашивая большего. Я смогу это, любя тебя... Ужасно как! Как я люблю тебя. Ты верно получил уж «жизнь» мою и знаешь, что я всю душу свою заглушить могу, если любимому это надо. Но никого я так не любила как тебя. И потому для тебя способна на всякую <u>свою</u> боль.

Ну, хорошо, ты знаешь это! — Вчера я так хорошо молилась. Пел настоящий хор, а не мы (как обычно), случайные. Было празднично во всем. И огоньки, как глаза живые мерцали в елках. Много деток было — причащались. Горели у них глаза и щечки. И я <u>не</u> пела, а могла молиться. Стояла перед самым образом Рождества Христова. Во мне все так светилось, так пело нежно, так озаряло... будто ты светил мне — мой светильник! Я подала за нас записочку, я знала когда унесли ее и видеть могла, когда батюшка читал. Я с ним вместе т а к горячо молилась! Хотела угадать, где ты... и молишься ли... и все твои думы... Получил ли ты письмо мое от Серова? Я его просила дать его тебе в сочельник, чтобы <u>точно</u> к Празднику. А цветы мои белые? Прислали? Я посылала (кроме 10-го дек.) к Новому Году (нов. ст.) — я <u>его</u> считаю «рубежом», т.к. по нему меняю числа, пишу тебе уже — 19<u>42-ой</u>! И к нашему Рождеству просила белых цветов: ландышей, азалию или гиацинты. Прислали? Как все неточности досадны! — После службы мы были у матушки... уютно, мило. Фасенька была, урвалась от «дубины»... К нам приютилась, всюду с нами. Ехали... в метели!.. Я волновалась вся... <u>твоя</u> метель! И еще: в вагоне я вижу рекламу — упрощение поездки *на Лейпцигскую* Мессу. Легкость визы! <u>Ты не можешь</u>? Я завтра же <u>все</u> узнаю. Меня отпускает Арнольд туда! Подумай! Какое было бы счастье тебя увидеть и услыхать! Но я боюсь уж и просить... Я только робко <u>намекаю</u>, чтобы не корить себя же потом, что умолчала... Если хочешь, то напиши скорее. Условимся о сроке! Легко дается виза! Так рекламируется, что даже бесплатная виза и дешевый проезд. Значит отказывать <u>не</u> будут!

В Утрехте кружило снегом. Мы побежали с мамой кое-что купить еще... Я сделала себе сама подарок. Купила пластинку граммофонную — последнюю русскую. Не было больше ни Афонского, ни казаков, никого. Случайная оказалась. Два танго (я люблю танго, когда его хорошо выпол-

нить), русские — слова — странно так... будто для меня! «Голубые глаза» и «Вино любви». Снег слепил глаза, кружился, падал за воротник. Какие хлопья сперва — вата! Мы с Фасей его ловили и пили... Потом мелкой крупкой сыпал всюду-всюду. Какое чудное было Рождество! И сейчас... ночь, белая ночь... Спишь ты?

А вечером, дома... о, как томилась я молчаньем твоим. Письмо 29-го припло так рано! Я новых строк ждала! И вот уже 6-ой день нет ничего! Отчего же? И ты не написал мне ничего к «рубежу»? Я так ждала — я очень суеверна! Почему не написал? Но ты ведь думал обо мне?! Да? На «рубеже» ты был со мной? Как я — с тобой всем сердцем? Да? Я хочу верить! Ты знал, что я 31-го трепещу этого «рубежа» и, верно, хоть и не написал, — но жил одной же мыслью?! Верю! Я так ждала, томилась, — хоть бы строчка! И вот почта — твой конверт! Увы — для мамы! Я не знаю, что ты ей пишешь — не любит мама давать свои письма. Я знаю, что ты здоров. Да? И... вдруг почтальон еще приносит — заказное — пакет! Мне! «Пути» — твои «Пути»! Отчего «Пути»? И вижу... «Любимой, светлой, — Оле моей, дружке моей»! Ты хотел «Пути» дать мне теперешней твоей? Да? Или ответил ты мне на мое заветное: я все это время думаю, что творишь ты, — чуется. Этим объясняю я и твои письма в 1 листочек, и долгое молчанье! И... смиряюсь... Мне радостно, если ты пишешь, но и больно, что не приобщил меня, не сказал... Как крепко я бы за тебя молилась! Ты скажешь мне?! Ты знаешь как я переживаю творчество твое! Ванечка, я эти твои «Пути» с благоговением взяла... «Спасибо» — не выразит моего чувства! Здесь все, все переливы счастья, любви, поклонения тебе, мой Гений! И — мне залог, что ты творишь их! Ответ твой мне!? Начало этого Года? Замена твоего молчанья пред «рубежом»? Ответь на все?! О, как я жду письма твоего теперь! Я жажду, как никогда! Хочу знать все, как горит в тебе!? Я жду, что в следующем письме ты мне откроешься! О, неужели, ты скажешь, что... пишешь их?.. Благослови тебя Бог! Я твои книжки все отдам переплести. Уже сговорились. В полотно. Кожа — невозможно, увы! Темно-темно красного цвета с золотом. Красиво? Но не подумай, что цвета той ниточки, что послала. Это для другого! Нет, совсем темный, красный, как вино... С той недели начнут. Тютчева я всего просматриваю, ища твоих отметок... Как сладостно это! Как я тебя благодарю! Я упиваюсь «Старым Валаамом» и «На морском берегу»[514] — чудесно! Я вся в тебе, с тобой! Ванечка, отчего ты мне не пишешь

больше про Дашу? И почему нет писем из возвращенных? Ты послал? И по-моему еще одно (?) пропало, т.к., судя по тексту писем, полученных, еще должны были быть! И напиши еще *какую* «карточку с Новым Годом» ты получил 26 дек.? Я не понимаю. Ванечка, я посылаю тебе веточку елки из церкви, с образа. Я для тебя и для себя ее взяла... Сегодня, когда будет гореть елка (мы вчера не зажигали — берегли свечки для сегодня, т.к. Сережа только сегодня сможет приехать) — я буду говорить с тобой! Напиши мне как провел ты праздники? Мне это так хочется знать! Как бы радостно я устроила тебе елку. Как трепетно-ярко горели бы свечи! Милый Ангел... Но мне так грустно, что ты давно не пишешь... Я живу только тобой! Я дышу только тогда, когда мне почта приносит радость твою!

Ах, «Пути Небесные»! Знаешь, я на что открыла? О Рождественской Всенощной, где «пели звезды»! Как ты чудесно, божественно пишешь! Как мне благодарить тебя!? Как тонко ты дал мне понять! Как нежно! — «Пути Небесные» — прислал ты мне на этот грядущий год! Я могла бы забыть все, все на свете, — я днями не ела бы ничего и забыла бы, что сон есть, — если бы я могла уйти только в твое! Как упоительно! Я так счастлива, в... моей тоске даже! Но почему же ты не пишешь?? Я тревожусь. Я так жду, так исступленно, дико-страстно, жду письма твоего! Эти словечки дорогие на «Путях» — они у меня в сердце, но мне их... мало! Я хочу знать какой ты вот теперь, самый последний, что думаешь, что делаешь, что чувствуешь!? 2-го янв. послал ты — и уже 7-го здесь! А писем все нет, и нет. От Алеши тоже ничего нет! Я на всех Вас не насмотрюсь: тебя люблю, обожаю... Сережу — чту, люблю (как твоего) чту, чту — как святого! О. А. — отображенье твоей любви — люблю, чту ее — мы так ей все должны поклониться! Сколько дала она тебе. Я на нее смотрю — вижу Сережечку... твоего... Тебя!! Дня не проходит, чтобы я на всех твоих все не смотрела... Ты был на ее могилке? Будешь? Поклонись ей от меня, недостойной!!!

[На полях:] Целую, Ванечка, тебя! Молюсь! И жду, жду вести! Твоя Оля

Чудом, я услыхала вечером... 4-ый [1 сл. нрзб.] Шубер-та!! Мне слала улыбку... Богоматерь?

В сочельник[515] я смутилась: я прося «откровения» посмотрела какое Евангелие полагается. И... посмотри, что стоит на литургию 6-го[516] ряд. Но Христос же ханжество и лицемерие порицал, и меня бы понял и простил?!

123

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.XII.41

Жду окончания «повести жизни», о жизни с «эном» — почему он так закрыт буквой? Жду и о «Георгии», — словом, жду всей повести. До ознакомления со всем не напишу ни слова. Я очень занят делом, — пишу, но не «Пути».

И. Ш.

Жду объяснений: почему я не должен упоминать об О. Субботиной, в бытность мою в столице? Я должен знать всю правду.

И. Ш.

Нельзя в таком поминать святое для меня.

124

И.С. Шмелев — О.А. Бредиус-Субботиной

2.I.42 12 ч. дня

Нежная моя, голубка Оля, я только что молился, с тобой в сердце. Весенняя сиренька-нежка... — вдыхаю тебя, взглядом с цветов твоих вбираю, целую бледные крестики-олёльки! (У меня есть о «сирени» — в «Лике Скрытом»[517] — не знаешь ты, а там — о, как много «страдания любви»!) М. б. пришлю выписку (это еще в 16-м г. — я нежданно дал предчувствие «ужасов»). Нет, я после пошепчу тебе о твоем сердце... я так взбудоражен многим... — не знаешь ты, почувствовала, м. б.? С 29-го, как получил твою «повесть жизни», — 3 и 4 №№, я четыре дня был отравлен, пронзен, подавлен, как ни-когда! На третий день, порвав много написанного тебе, — я все же старался держать себя властью мысли, — если бы все послал, было бы — для тебя ужасно! — я не мог сдержать боль... и отправил тебе «безличную» открытку, 31 дек. Сейчас я хотел бы вернуть ее... — и шлю вдогонку это. Не вини меня, я выдержал огромную борьбу с чувственной стороной во мне, не светлой. Тебе будет понятно мое остро-больное, раз ты сама сознаешься, как волнует тебя мой... — «ро-ман»! — говоришь ты, — «с Дашей»... У меня не было никакого романа, ни с Дашей, ни... с кем другим, при всем богатстве возможностей. Я не «исцелован» весь, как ты... — я остался вне этих «приделов любвей» — при-творов «дэми-копюлясьн»...[i] — т.к. —

---

[i] Полуобладание (*от фр. demi-copulation*).

для меня — «исцеловыванье» равнозначно этому — «д-к», — по-русски было бы стыдно мне написать. Ты вся исцелована, как м. б. еще никакая другая женщина (или, верней, девушка), жизнь которых знавал я и по их мне признаньям (как писателю), и по наблюдениям, и по романам-искусству. Ты писала-рассказывала с увлеченьем (и с болью) мне — о, понимаю, о-чень сокращенно, «с купюрами», — как тебя исцеловывали... — и не думала, *как* это вонзается, как жалит, жжет, прожигает, рвет, де-рет сердце. Ну, раз ты нашла возможным так изображать... — так оголено, так, я сказал бы, вне чувства меры, чего требует даже примитивное искусство... если ты не учла последствий этих «скользких» порханий по цветкам любви или ее суррогатов... *для «любимого... читателя»*... для его достаточно уже переполненного всем сердца, то не посетуй же на мой, вырвавшийся из этого ада «восприятий» вскрик, за который я все же виню себя. Спешу этим письмом обогнать его и тебя успокоить: мне твой покой дорог, милая Оля. Скажу кратко: твоя «история» с укрытым тобой буквой «Н» персонажем, — ни общественного положения, никакой «личной приметы», ни образовательного ценза, ни... единой положительной черточки! Весь этот ком грязи дан тобой мне так полно... — и я все эти дни чувствовал отвратительную тошноту, будто наглотался гнили. За несколько недель «раскланиванья», после «цветочного воровства», — должно быть и «политическое отбыванье» было сродни уголовному — беру все «энное»! — плаксиво-фальшивое свидетельство о «богопознании» через тебя, о «приятии жизни» — о, дешевка! — «предложение» и... «согласна»! Все я понимаю, и «гордыню», и «ужас», и «жертву», и... юность! А дальше — «отдавала все, что было»... — ! — «посылала цветы» — «любил очень!» — а кто же не любит... ?! — и... отдала самое заветное, самое ценнейшее, чего не поверяют в большинстве случаев даже любимым-дорогим — «дневник»! Это — такому-то..! Вытаскивание силой с танца, в общественном собрании... (Это могло быть возможно только при полном обладании!) Согласись — не говорю уже о «дальнейшем», до... «подлости». Ты почему-то так и забыла досказать, как же эта «подлость» была удостоверена? (чем?) — что это, действительно «подлость», а не — правда! — согласись, что если бы я, *я* тебе такое вот рассказал, ты бы как могла мне ответить! А у меня было с Д[ашей] все чисто (да еще при каких условиях! Я тебе напишу!), и я честно могу смотреть тебе и всем, и ее детям в глаза! И я... *исправляю свой невольный вскрик*, — я тебя не оскорбил никак, не упрекнул, — я лишь жестко-безлич-

но — запросил тебя в открытке. Больше я не коснусь этого. И прошу тебя — б о л ь ш е мне об этом не писать. Но о «покаянии» в подлости «полусветлой личности» — скажи. Только. Крест. Я тебе доскажу о моих «романах», и ты увидишь, сколько там было того, что может, воистину стать предметом высокого и ч и с т о г о искусства! Я тебе скажу и об искусстве, много дам нового, чего не найдешь ты ни в эстетиках разных школ, ни в «философии и теории искусства». Из твоих же «партий» и «романов» (странно: как ты не оценила воистину ч и с т о е — врача с его «концертами русской песни». Это — единственный ч и с т ы й) — можно лишь выкроить психологию любовных томлений и «отталкиваний-притягиваний», и... разве с большим напряжением — разве только в случае с Г. — опять зашифровка, ибо я не могу понять, — такой я бестолковый! — да у кого же он и ч е м у работал?! — можно через некий «магический кристалл» — Пушкина! — увидеть воистину-искусство, т.е. освежение духа, новый мир, сотворенный художником, приподнятый над земным. Это ты знаешь по «Чаше», «Путям», по *большинству* моих работ. Обилие твоих «встреч» дает понятие не об «избытке сердца», а об обилии «чувственных раздражений», каком-то «элементе» в тебе, который привлекает, м. б. т в о и невольные «манеры» — что называется «эманация женственного», о силе этого элемента, что, конечно, не исключает твоего духовно-душевного богатства. Я отлично учитываю твою «юность», твою жажду осмыслить жизнь... но я не закрываю глаз и на другое (отметил еще в письме от февр. 1940 г.!! — не зная тебя): на твою «жажду жить», «жадность к жизни»... на... элемент «особливо женский», — не... женственный, не «эвиге-вейблихе»! — на то, что, грубо выражаясь, можно было бы назвать... «власть чувств-плоти», с чем соединено, ныне в равной степени силы, — «нравственный протест», «моральное начало» (императив), «благоговенье перед духовной высотой и чистотой». Конечно, ты боролась, ты жаждала и жаждешь и д е а л ь н о г о, ты искренна, ты мучаешься, страдаешь от сознания несовершенств в тебе, — и ты очень требовательна к чистоте и совершенству в других, твоих... партнерах! Да, я мог бы сделать тебя «героиней», но для сего я должен был бы придать тебе, от творческого воображения, «духовной прелести». Она есть *в тебе*, но — в твоей «повести» — едва различима. Она сильно выражена в иных письмах ко мне. Ты — для меня — полна прелести, *ты для меня* — чудесна и дорога, какая есть, к а к о й я — внутренне о т б и р а я тебя (высекая по своему о б р а-

з у), — тебя творю в себе. В «повести» же ты сильно подсушена, упрощена, взрывна, неровна, остроугольна, — и все это, конечно, объяснимо «конспективностью», волнующей тебя спешкой и... м. б. с м у щ е н и е м, — передо мной ли, перед твоей ли взыскующей совестливостью. И — главнее всего — ты — как и в периоды «романов», так и во время написания «повести» — болезненна, вернее — больна. Да, ты — больна. И — серьезно больна. Я не врач, н о в и ж у и с л ы ш у, насколько ты больна. Это — от в с е г о. И — больше всего — от «исцеловыванья», от «сухой любви», от бунта низших инстинктов, «пониже-поясничных». Если бы мы с тобой встретились — ты н е знала меня вовсе тогда! — в 36-м г. (потому и не было воли познакомиться), я верю, что теперь ты была бы здорова. Ты жила бы многим и н ы м, и... м. б. своим ребенком. Он необходим тебе, т а к о й, полной глубоких и тонких ч у в с т в! Родная, нежная моя, светлая моя... и — хочу сказать — ч и с т а я. Все прошлое — в н е меня, и я его н е помню. Я знаю только м о ю Олю, мою, углубленную, обогащенную, — страданиями, — исключительную по душевной красоте, чрезмерно — ! — одаренную, со всеми чудесными возможностями. Оля, ты м а л о питала в своей жизни эту главную и важнейшую часть своего существа — от религии *ли*, от искусства ли, от «мысли» ли. Ты с л у ч а й н о и *не* гармонично образована. У тебя много провалов в этом, но многое и в з я т о, случайно взято, — «от жизни», благодаря исключительной одаренности твоей. У тебя природный т а к т, чуткость к изящному, во всех смыслах, к п р е к р а с н о м у во всех видах... — и наряду с этим — в ы в и х — к «цыганщине», к «мясу жизни», порой — к скользкому в ней. Ты чутко понимаешь дух «Твоя от Твоих»[518], о, глубже и проникновенней многих блестяще образованных, и больше, чем, м. б. 95 процентов в с е х женщин... — но ты — очень сильно ценишь и... «н е Твоя», и «н е от Твоих». Но, что главное, — ты имеешь у п о р — на «духовно-душевное» наследие твоих поколений — и вкус и волю к борьбе за высокоценное, чудесно-чистое, святое! В тебе чудесная сила, редкостная... — сила, отмечающая С в я т ы х, — то, что так поражает нас в житиях, — как у Марии Египетской[519], — не смущайся, я не о темном в ней говорю, у большинства целомудреннейших, как Варвара Мученица[520], Анастасия, Дария... о, дорогая моя, голубка моя..! я так чту тебя, я так люблю все твои светлые проявления, и... — твое огромное дарование! Нет, я еще больше уверен в твоих огромных

силах, прочитав — и не раз — твой — мучительнейший для меня — «конспект жизни».

Я чуть коснулся тебя тут... Я много тебе сказать должен. А пока: я просветлел и пришел в себя после твоего «Новогоднего письма» — оно — сверх-дивно! — после твоего письма — свято-нежного, адресованного на доктора. Да, это мой доктор. А Гааз — это я моего доктора сравнивал с известным «святым доктором бедных» — Гаазом[521], в середине XIX века жившим в Москве, тюремным доктором, о ком дал исчерпывающую монографию академик Кони[522]. Вчера я весь светился. Вчера же, в европейский Новый год, принесли без меня твою сирень! Я был на завтраке у друзей. Я целовал ее, все ее пышные ветви, все ее крестики, твои глаза, звездочки сердца твоего, — я был так счастлив! А вечером пришли «молодые», друзья, и я им пел, много пел... — откуда такой — бархатный! — баритон взялся? И пел чудесную — «Что затуманилась зоренька ясная, пала на землю росой? Что призадумалась, девица красная... Очи блеснули слезой»[523]. Оля, ты получишь меня, увидишь. Ах, да... я должен послать тебе «Пути Небесные». Чтобы ты могла располагать лишним экземпляром и перечитать все — еще раз. Найдешь много нового, тебе желанного... Неужели мадмуазель де Хааз не пошлют тебе из Гааги — о чем просил их? Я писал им еще 17, заказным. Балую я тебя? Нет, я — люблю тебя, — глубоко, и истинно люблю. Нетронуто люблю, как любят самое чистое, самое желанное. Люблю всю, люблю не надрывно, а верно. Я знаю, что такое — любить, для сего мне не надо было «эпизодов»: это редкое чувство у меня никогда не дробилось, и потому, должно быть, я сумел его передавать многим — и во многом моем. Моя любовь вырастала из здоровых корней. Благодарю Бога за эту Милость. Г. не чисто русский?! Кто же? Почему «за океан»? Служил кому?! У тебя так смутно это. Я хотел бы знать. Маме послано письмо. Сереже — книга. Послал и «Старый Валаам», тебе.

Целую. Сделаю все, чтобы увидеть тебя. Твой Ваня

Прошу: не величай меня гением, апостолом и прочими — это не наше с тобой дело. Я — работник, как Бог дает.

М. б. найду тебе свечек на елочку, девочка моя! и пошлю такие рождественские прянички (бретонские), которых, бьюсь об заклад, ты ни-когда не ела, — и они будут тебе приятны, только очень зыбки.

Твои румяные мотыльки цветут буйно. У меня утром + 6—7°. Скоро — отопление [включат].

125

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.I.42 10.30 вечера
Посылается 3.I.42. — 5 ч. дня

Светись же в Наше Рождество. И — овладей собой.

Ты, Олёчек, сама не спросишь, и потому я сам скажу о твоей «повести жизни». Ты не только вышла с честью из трудностей сжатой картины жизни, но местами дала, прямо, отлично, мастерски, — сужу по впечатлению на меня.

В зависимости от настроения духа твоего, от л и ч н о г о, местами давала подробней, местами — совсем скупо, порой — с провалами. Это твое право. Стараешься избегать избитых выражений. Кстати: «пара минут», «пара лет» и подобные — неродственны нашему языку. Бег машины дан скупо-смутно, но ты и сама была «на острие». Лучше — вечер дипломатов, сцена за стеклянной дверью. Г. у тебя вышел совсем бледно: ни в и д а, ни характера, — никакой. Все его реплики заурядны, ни особливости, ни глубинки (об одной, очень <u>в с е</u> в нем дающей, — подробно, в следующем письме). Ничем не выдается из средних его класса: молодой человек европейско-американской серединки. Вообще (почти без исключения) все твои «встречные» — средний калибр, иные — вне калибра. Все, просто, — «жизни поверхностной». И это не твоя вина, мой дружок: ты сумела бы д а т ь, если бы они сумели б ы т ь, кем-то, ну, как например, — градина среди рядовых градинок. У тебя память острая, глаз меткий. В э т о м, родная моя, я никак не смею говорить впустую. Грубей всех — Д. Это — самец-животное. Он противен не меньше, чем «безобразничавшее истерическое ничтожество» и «притворщик-лгун» Н. Мягче и чище других, м. б. и совсем чистый, — доктор, предлагавший русские концерты. Единственная светлая точка в поразительной грязи или бесцветности, оплескивавшей тебя. Г. — весь средний, м. б. чуть лиричен, вернее — чтением натаскивавший на себя лиризм (или — себя на лиризм). Очевидное желание «прийтись по вкусу русской — непременно, "тургеневской" — девушке». Отсюда — Чехов, «среды»... — сколок с московско-берлинского русского интеллигентского «убивания времени» и все же — п о з а. Он, конечно, — «свой от своих», т.е. уже с практическим подходом к жизни, карьеризмом, и, понятно, со скепсисом к жизни, к миру, ко всему прочему, что — не он. Суховатый взгляд на людей, м. б. даже «вздох о чем-то». Желание по-

нравиться «русской»: «заводится» русская лирика: самовар, Шаляпин, Пушкин, — «специально выучено для вечера»! — «водка-закуска»... до... заглядывания в церковь. Смешного нет тут, даже чуть трогательно, но «постановка», для определенной цели. И тут нет порочного: так естественно завоевывать чувство, да... но если бы не обратилось все в «игру с поцелуями», от безволия ли, от страха ли за карьеру, или — от... всосавшейся в кровь рассудочности и практического подхода к жизни. Все рассчитано: начиная с визита к русскому профессору... — просьба о книгах, (как у голландца), — они воображением не блещут, — до повторного визита, приглашения на «все по-русски», «чтения» входившего на Западе в моду Чехова, конечно Толстого — «что-нибудь»... поездка на машине за город... — автомобиль у них занял место свахи, порой — сводни, — пыль в глаза чужими деньгами, — в ту пору Америка уже снимала пенки с российской крови, и много перья русской птицы уже дымилось кровью в банковских «лукошках» Америко-Европы. Да... — Нет, Оля милая... в русских «тегелях» были не одни «кумушки», «осы», «жабы»: там были еще «Оли»... там были чудесные матери, ночами продававшие глаза за шитьем на «балы для дипломатов», там были русские калеки-инвалиды, там были отцы расстрелянных детей, сироты умученных большевиками родителей, матери сгибнувших сыновей, при полном безразличии ко всему «американских дипломатов», культивировавших «русский свычай» и шаляпинское «ухнем», так недавно распевавшееся самим для матерых чекистов[524] в застенках полоненной и изнасилованной Москвы, где тут же, в подпольях, сверлили офицерские затылки из наганов. И вот один из этих безразличных, — лично, допускаю, «ни в чем особенно невинный» — Г. старался привить себе очаровательную русскую птичку, приманивая ее лаской, теплом, даже «родимым кормом» (в широком смысле), светом... и автомобильным гоном, — конечно, «с самыми благородными видами». Имени его ты мне не скажешь, писала ты. От этого я ничего не потеряю. Зачем только тогда поминать об «известности» его отца в прежней России! Думаю, что и это мне ничего не скажет. Особо выдающихся иноземцев, в дипломатии и делячестве, у нас не гремело, — делали свое дело тихо-мирно, известностью славились все больше у метрдотелей, у хозяек «домов публичных», портных, кокоток, у ювелиров и иных дам света-полусвета, любивших поблистать, при тощих карманах законных супругов. Этих наезжих я видывал и в Москве, и в Питере: они любили

порой и к «искусству» прикоснуться, — к «моде», — одного «дипломата» из великодержавных, тошнило от коктейлей на ковер в кабинете Л. Андреева[525]. Нянька моя кой-чего набралась от них. Этих «гарри-жоржей», — так называли их наши казаки-певцы, — повидал я в Биарице, где один такой «подсосок», — тоже отметина казачья, — сынков, выкачивавших доллары от папенек «из-за океана», — целую неделю пил виски с пивом и плакал над русскими песнями, вышвыривая сотняги, — спал даже в кабаке, — только казаки — были и студенты — казаки — совали ему обратно в карман, стыдились «обирать» пьяного подсоска.

Милая Олёль, ты, кажется, и до сего времени вспоминаешь что-то привлекательное в душе этого Г. Но что же, собственно? Возможно, что он был лучше многих таких же, но и он, лучший, не оказался способным пожертвовать во имя любви... карьерой, жениться на русской — и такой чудесной! — русской девушке! — для очарования которой выучивался и Пушкин, — русский учитель, конечно, карьеры, я таких знавал в Париже — американцев: планы дипломатов из молодых были — попасть в «чудесную совдепию», с «русским языком», великодержавную, где все... и столько очаровательных русских женщин и девушек! Ты — не могла входить в «эти планы»: ты — Оля, светлая дочурка святого о. Александра[526], — да, я его люблю, не зная по земле, но я его знаю душой, я его по тебе знаю (не всей, о, нет!), девочка моя! — и Г. знал, что с тобой... «эти планы» неосуществимы: ведь ты-то к бесам-мучителям не поехала бы и в ранге «супруги самого амбасадера»! — для очарования которой был и самовар, и, возможно, — «Иже херувимы» Бортнянского[527], в исполнении придворной капеллы, и «Хвалите имя Господне» Львова, и... все возможно... даже «Боже Царя храни»[528]! — и «закуски-водки», и икра кубом, и кефалья икра в тузлучках, и... семга с балыками. Г. не осилил законов своего клана, не допустил замараться «мезальянсом». Это — по Чехову — люди «холодной крови». При чем тут сбившие его с толку дамы? Это же все — постфактум выплывает, как «очищение». Он же не мальчик. Он достаточно зрел, чтобы в таком важном, как «отрыв сердца», чтобы лично убедиться, да верно ли объясняют какие-то «дамы»! И так, ведь, просто: «Оля, а правда ли, что ты..?» — Ведь у вас опять «ты», и тут! — близость, и с поцелуями! — чего же такого-то, все разъясняющего... смущаться! Не будь же, милая, адвокатом... и против себя самой, за Г.! Ты ведь сама этому «пустяку» не веришь.

Ведь ты же сама мне писала раньше, до «повести», что Г. говорил с мамой, что он должен был «отказаться». От нее-то мог же он узнать, что «потеря карьерного блеска» — для тебя — ничто! Значит... ты оказалась в его глазах — и в его... сердце, «израненном» — легче этой самой «карьеры». Ну, что же... по закону «удельного веса» — чего же весит этот любитель поцелуев русской прелестной девушки... «карьерист»? И какого же веса-силы — его любовь?! В этом надо быть точной, строгой, стойкой. Ты — такая. Вот кто увел от тебя, отвел от тебя Г. — не его «кукла»: а иная «женщина» — «Карьера». Она для тебя — пыль! Для меня — тоже пыль. А какого же веса... пыль?! Ты оказалась весом легче... пы-ли! Теперь я, я оскорблен за тебя! Тут, Оля, не место ревности, во всей этой строгой логике: тут оскорбление твоей Правды, твоей веры, твоей Любви! И я оскорблен за эти высочайшие ценности земной жизни, — я за тебя оскорблен. И, клянусь тебе! если бы я, так знавший тебя, как знаю ныне... (о, далеко еще не всю!) если бы я был там, если бы я безнадежно тебя любил — а ведь отказ-то мог для меня окрылить надежды! — я бы заставил этого «гари-жоржа» передо мной ответить за оскорбленную русскую, — <u>мою-русскую</u>, <u>мою-родную</u>, <u>по Родине!</u> — девушку. А если бы он не дал ответа, я сделал бы так, что *вся его «карьера»*, его золотая пыль была бы кончена для него, ибо такая важная особа не выдерживает самого «пустяка»: личного оскорбления. Никакие последствия меня не остановили бы, я-то себя знаю: и знаю, что есть в той стране, где это могло случиться, законность и живо право. Я, юрист, выиграл бы свой собственный процесс, — если бы дошло дело до процесса, — и «карьера» была бы припечатана еще раз, и газеты целого света были бы рады «приятному и доходному скандалу». Еще бы... участники-то — некоторого внимания-то стоят? Хотя бы — дипломатического и... литературного. Была бы ты вмешана..? Но «имя» твое было бы укрыто, — дело не в имени, — оно для нас, русских, — дело борьбы за правду нашу, за последнее у нас оставшееся, нашу честь, за право. Вот, пока, до следующего письма о «повести». — Нет, ты <u>не обижай</u> меня: я послал тебе духи — для тебя, живой Оли... я люблю тебя. Оля, открой и дыши ими. Я посылаю живой. Целую мою Олю. И как во мне му-у-утно!

Твой Ив. Шмелев

Сейчас посылаю прянички (на твою елочку — тебе!). Угости своих. Бретонские «крепы» — надо подсушить, если отволгли, — они чудесны, р о с с ы п ь!

Помни: будешь есть прянички — не съешь меня, — до того они м о и!

Посылаются еще раз «Пути Небесные», чтобы ты, если зачитали, — прочла с полным вниманием!!!!

Одновременно посылаю 10 свечек на елку. Непременно зажги, голубка! Хоть на Крещение. Красных свечек всего в Париже 16 шт. Мне дали «из любви», в соборе.

Свечи и прянички на елку не тебе, а 10-летке Оле, м о е й, о с о б о й — Оле.

После всего — я тебе скажу в ы в о д мой... уже о тебе. Сегодня я не мог спать. *Все очень* важно.

126

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.I.42 1 ч. дня

О-льга, Олёль моя, яркая моя звездочка, святая, светлика милая, чудо мое дивное, чистая моя, рождественская снежка моя... бриллиант льдистый-огненный, нежка, дорогулька..! Какое же нетленное, в е ч н о е твое приветствие-ласка мне к Рождеству! Господи, до чего ты необычайна сердцем, вся ласка, вся льнушка, вся любовь высокая-светлая, дива моя, Олюля... дар бесценный, неповторимый... — кто мне такое писал?! Я много видел любви и нежности, но Ты — ни с кем не сравнима, несравненна! Каждый твой вздох, каждое биенье сердца я слышал в этих словах огня-любви и молитвы, и грусти светлой, и нежности нездешней... ангелика пресветлая, вне-земная! О, как я чту тебя, бедная моя, столько страдавшая, так боровшаяся с темным в человеке — и в тебе, снежинка! — столько пролившая слез неоценимых, столько принявшая в сердце, в душу, — о, достойная папочки Святого Твоего! Люблю, — не могу сказать, как... чту, молюсь на тебя, ножки твои целую, ластонька, киночка, жавороночка моя небесная! Что со мной было, когда читал, и еще, еще... в и д е л твои глаза, пречистая моя, Женщина... Девочка, Дева, Девуля... Олюля, Олюлька, Ольгуна...

8.I в 1 ч. дня принесли мне твое дыханье, — три твои поцелуя, снежинка... чистые, снежные, тонкого живого фарфора — колокольчики... — о, какие же ж и в ы е... гиацинты! Все твое — ж и з н ь ю полной цветет-поет! Все! Эти

буйные мотыльки... розы крылатые... розо-сомончики... — с 13 дек... поют для меня молитву-песню... я их целую всегда, сколько раз в день прибегу в холодную комнату — в ней 5 градусов! — и это я нарочно, окна открываю, чтобы они жили, твои живые поцелуи, крылатые. Я их опрыскиваю тончайшей водяной пылью. И нежная, как твое дыханье, пышная-пышная белая сирень, — все цветет! Ее крестики опадают, я их целую, я их вдыхаю, над ними стою задумчиво... — в них — ты, моя бледнушка, моя хрупка, моя атласная... как их крылёнки... Ну, все живет, все поет мне, и эти три — эти — живой фарфор, это — все ты, вся ты — душистая, нежная, снежная, льдистая и... огненная какая! Вся богатая твоя природа, твоя душа... — для меня — цветенье, ликованье, порыв, метанье, игра и свет. От них, таких нежных, я слышу сердцем: «это Она... мы от нее к тебе... мы — твои, мы — цветы Рождества Христова, привет и радость. Ну, поцелуй же нас, приласкай... и в нас поцелуешь нашу Олю, приласкаешь далекую свою...» И я целую. Это же твой сад-цветник у меня, — и как все сильно, свеже, как все живет тобой — тобой, только. Оля, Ольгуля... нет слов сердце мое открыть тебе... — там и слезы, и ликованье, и... томленье. Я целую их — тебя, милый Олёль, целую — глазами, ресницами, губами, сердцем... шепчу им — твоим — лю-блю. Здравствуй, моя Олёль, здравствуй, дета, снежная... какой же обвила лаской... о, дивная! Сердце мое исходит по тебе.

Эти дни я не принадлежу себе, но я весь с тобой. Мне пришлось два раза отлучаться от самого себя... — меня тревожат по делам интимным, у меня требуют совета, душевного укрепления, мне сообщают заветные тайны, меня хотят видеть, умирая... Странное творится... Меня замотали эти дни, как нарочно. Молил один, тяжко больной[529], — когда-то городской голова одного из крымских городов, просил поддержать морально любимую его девочку... замужнюю, — ей 35 л., у нее сын 17 л., — по его мнению, несчастную в браке. Доверил «тайну». Я обещал. Я утешал. Мы расстались с ним бодро. Другой, генерал, бывший военный агент России[530], еще до войны, — ему — вторая операция. Он не хочет умереть, «не пожав мне руки... за все... за все...» Я должен был ехать за Париж, я не мог отказать ему, он много, очень много сделал для военных-белых. Основал казачий музей... Мы виделись... и он был радостен, и — кажется — мы будем друзьями. В день нашего Рождества я должен был быть на «меценатском» завтраке в ресторане «Москва». Там я невольно стал центром,

и пришлось говорить, говорить... — но я все же и завтракал, — и чудесно! — были останки писательства, искусства... — и сколько же моих верных! Не ждал, — я полагал, что мое идет в гущу русскую-эмигрантскую... а тут видишь, что захвачены... все... — вплоть до... левых в искусстве, до бывших снобов, эстетов, символистов! И можешь себе вообразить, что мои «простые», моя «нянька»[531], мой «Горкин»... — близки этим. Вот не думал-то! И молодые, и старики... захвачены... «философией человека, — Дари и Вагаева»! ждут «дальше»... Ждут... я не сказал им, что я пишу, что я слушаю твой голос... что я жив у тобой в моей работе, в моей жизни. Что я давно принял в сердце твой шепот, твое хотенье, твое дыханье «Небесными Путями», что я полнюсь тобой! Ольга моя, — я эти дни был очень истомлен, с 29-го дек... — твоим рассказом о жизни... я терзался... я — болел, я готов был сжечь все... я писал много тебе, и чуть не послал, но свет во мне удержал меня, я пересилил страсти, я очистил померкнувшую душу, утишил сердце... М. б. когда-нибудь я прочту тебе, я сберегу до тебя... но не пошлю теперь. Я создал огромный обвинительный акт... — я разобрал все, и ты была бы потрясена, узнав все. Я все раскрыл, все «петли», все обманы, все западни, все «случайно», и ты бы ужаснулась, какая под всем трясина. Я увидал тебя, светлую... вновь увидал... я тебя очистил в себе, снял — для себя — с тебя все наносное, нечистое, все прикосновенья, поцелуи, вожделенья... — и так мне жалко стало тебя..! И я прижал твою милую головку к моей груди, я ласкал твои щечки, я гладил нежно твои глаза... Я люблю тебя. Я благодарю тебя за прямоту, за откровенность, за самообвинения. Я болею сознанием, как мало пеклись о тебе, как мало было тебе нравственной укрепы... как одинока ты была в труднейшие полосы жизни... как ты ошибалась в людях, как «позы» принимала за истинное, как тебя... ма-зали... как тебя развращали, старались разбудить низшее в тебе, как приучали не смущаться грязным. Оля, не пиши мне такое, как я прочел у тебя, — эти гадкие слова — это са-ло жизни человёнков, похотливых... — я разумею — «о бабе» и подобное, о... «хороша для...» И это ужасное признание об «инкогнито», о желании от... сала... от этого похотливого куля с мясом — ребенка! Оля... не черни себя, мне больно... Я тебя создал в себе — чистую, целомудренную... Помни, что любовь творится так же, как и произведения искусства! Есть искусство — пошлое, грязное — не искусство, конечно, а потуга! — есть порнография, есть — проза-

ическое, есть поза-лирическое, есть рассудочное — «поползновенья», и есть — вдохновенное искусство! Так и любовь. И вдохновенность никак не исключает всей полноты любви — душевно-телесной... напротив, в этой вдохновенной любви только, и другая, низшая сторона, получает наиболее чудесное и влекущее выражение, освящается вдохновенностью, принимает тончайший оттенок, самый интимнейший, самый влекущий. Возьми Пушкина: «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»[532]! Любовь вдохновенная, влекущая — это любовь смиренницы моей... о, какое же это наслажденье! Пушкин в с е понимал! Я тебе напишу полней. И вот, во всем твоем рассказе я не нашел и подобия этого последнего вида любви — искусства! Ты ее еще не знаешь — п о л н о й. Ты узнаешь ее, душевную, пока в н е слияния полного... но ты уже чувствуешь ее ценность, любви этой. Я е е знаю. И я верю, что ты ее узнаешь. Это такой чудесный взлет в с е г о в нас... и как же грязны покажутся — после-то! — все испытанные «касания», раздражения, поцелуйчики... «движения», жесты. Все это — бездарная любовь, как бывают бездарные произведения — потуги — «под искусство». Люди не умеют любить. Они недалеко ушли от животных. И поверь, что у многих животных любовь красивей, чем у «глыб-кулей сала». Те только раздражают «центры», бунтуют мутную кровь, возбуждают и в других, стараются их сделать своими подобиями. Отсюда и — «хороша для ..... ли!» Меня тошнит от этой пошлости, как когда-то тошнило и бунтовало от... Золя[533]. У людишек такого сорта, — а их мно-го... «от пошлого» нет вкуса в любви... в лучшем случае они — лишь копия обезьян. И развращавший тебя д-р № 3 — от них первый, и, конечно, не «лучше многих». Не подобием ли был его «друг», тебя познакомивший и приглашавший его — тебя — ! — осматривать!? — «г-н профессор»? Судя по вкусу его «акафиста»... — я представляю. Нет, довольно. Умоляю тебя, не пиши мне «голых» слов, я их не терплю, мне они страшны в твоих устах! — этот цинизм... — тебя совращавший. И эта «сцена» на горах, эти вдыхания «страсти», — это же все грязнейшие суррогаты для возбуждения, как сивуха... а подлинное возбуждение, в котором все тонет, — от вдохновенной любви, — ее-то, такую, и имеет в виду «таинство», Бог в человеке! Там напряжение еще сильней, но как же чище, незаметней, — все покрывается несжигающим опалением любовью! Ты этого не знаешь. И конечно, не докторам это знать, типа «язычников», я бы сказал «животно-похотливого». Господи, благодарю Тебя, за Олю благодарю!

Олёк, это твой папочка, это святой о. Александр за тебя молил Господа! Олёк, милка, душка, светик, ласка, ласкунчик мой... останься чистой, светлой, просветленной, живой — от Неба, — ты пребудешь всегда юной сердцем, телом, мощной Красотой — моей нетленной Дари-Олёль! Я твоей силой-чистотой буду творить ее — тогда. Оля, если бы ты узнала, что я писал тебе, о тебе! Я был в гневе, в страдании... но я был и в правде — я все разобрал... — и ужаснулся, какая же подлость вокруг тебя творилась! И это «шампанское», эти «хозяева» на дипломатическом вечере... — и сколько же «белых ниток», которых ты не замечала! Ты ужаснулась бы...

Ольга, ты не знаешь еще, как я тебя люблю. Я тебе пошлю всю историю о Даше, и увидишь, что я преодолел, как и почему я остался нерушимым... — это большая трагедия, — не моя! — и как это все удачно разрешилось! Иначе я не мог бы дать то, что дал в своем искусстве! И ты не узнала бы меня.

Вот уже 7 дней нет от тебя письма. Ты получила ли что-нибудь из Гааги? Я так просил послать тебе шоколадных конфет или белых цветов к Рождеству! Я писал м-ль Хааз что сосчитаюсь с их близкими в Париже. Меня волнует это. Они всегда были ко мне внимательны. Я им не дал твоего имени, я дал адрес Сережи и просил — отметить: для русской читательницы в Голландии от русского писателя в Париже. Я тебе послал «Пути Небесные», чтобы ты еще внимательно прочитала... — и ты бы м. б. нашла бы там — новое... желанное. Надо роман этот читать не один раз. Мне вернули бисквиты, нельзя. А теперь, с 5.I, все посылки запрещены. Мне горько: я хотел послать тебе — «Жасмин». Оля, если ты не будешь жить моими духами, которые я послал тебе, я заболею. Мне так светло, когда хоть малым могу порадовать желанную, мою — всю! мое — все в тебе! Олёк мой, как ты прекрасна, как умна, чутка, нежна... богата сердцем! Олёк, я не могу писать «твою историю», эти виды любви — не мои, я их не воображу, мне претит. Материала у тебя много, но это все мне чуждо. Я не могу давать произведений искусства — где нет Духа, где только «мясо», «страсть», или — лирическая «поза», как с Г. Там много — напускного, фальши, и — похоти, прикрытой «позой». Там много лжи. Я это доказал. Я знаю этого «дядю, известного в старой России» и его скандал — грязь! Ты бы ужаснулась. Но не могу оскорбить твоего слуха этим скверным анекдотом.

Спешу, мне надо в два места, — завтра еще на завтрак, потом за Париж.

Начали топить, но это только насмешка, в комнате 9 Ц.

Ты прислала мне себя — фото, не для меня сделанный, — «непринятый» (— и я знаю — почему непринятый). Прислала, зная, что родной писатель примет чужой портрет. В первую минуту, узнав, как родился этот портрет, я задумался... было движение — вернуть. И жаль мне стало нежной, чудесной девушки русской, так оскорбленной, так заторканной жесткой и темной жизнью... — и я поцеловал эти нежные, эти девичьи-чистые черты, эти столько слез пролившие глаза — и мысленно прижал к сердцу ее, бедняжку... всю ее в сердце принял. И сохраню, — пусть в боли... И кусочек платья... того, неведомого мне, зачем-то мне присланный. Я и его принял: это же твое, тут, в этом ты — вся женщина: «Смотри, вот в этом я тогда... прощалась». Да — женщина.

Целую твои глаза. Твой Ваня, голубка моя!

[На полях:] Ты подвергла меня «рассказом» пытке, но... я перегорел, преодолел темное в себе. Мне дорога Оля — светлая, моя. И — та, 10-летка!

Молю: хотя бы в снах была ты — близко! вся моя.

Можешь забыть меня, но во мне ты — будешь! Только для тебя — перепишу «Куликово поле».

Ольга, получила книгу? Оль, а «ландыш», а из — Гааги? Напиши.

Доктор посылает тебе письмо. Это — подвиг, для меня это. Он страдает письмо[фобией].

127

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.I.42, 5 ч. дня

Светлянка лучистая моя, Олёлик, — как и назвать — не знаю, так во мне светишься, так тобой полон я, так тобой сердце искрится, все слова погасила ты, все пред тобою меркнет — для меня! Сегодня мороз, но я весел-светел от твоих писем, от тебя в них. Целую твои цветы снежные, живы они, тобой сияют. Сирень нежная — ты, царевна, и гиацинты — все ты, вся ты, и мотыльки окрыляются с каждым днем, все новые бутоны — все ты, вся Ты! Оля, радость, свет, жизнь, сила, надежда моя, — любовь моя! Ласковая-прелестная. Слышу твое дыханье, дышу цветами. Олель, дай же мне чудо, приди! явись, чаровница, — все

закружилось передо мной от твоей открытки 31 — от твоего слова — «хочешь..?» Если бы это чудо, весной..! Оля, я тебе всю правду, всегда, пишу. Ты поймешь меня: столько меня смущает... я же странный, я не мог бы взглянуть в глаза Сереже... ну, мне все казалось бы, все меня осудят, зачем я здесь. Не осуждения я страшусь, а му-ки своей страшусь, — она все во мне придавит, все оцепенит, погасит. Ты понимаешь это во мне, ну... будто я все еще стыдливое дитя... не знаю, как объяснить тебе. Я буду ждать весны, ранней, м. б. многое другое будет. Сейчас я не могу и в Берлин ехать, получил сегодня извещение: мне не разрешат публичные чтения, а о лагерях и думать нечего. Я не боюсь и тифус экзантематик[i], безразлично, поехал бы, но... непреодолимо. Знай, если ты не совершишь чуда, я все равно пересилю в себе свое и добьюсь — увидеть тебя. Молю: будь покойна, будь здоровой, детка, следи за собой, веруй — все сбудется. Как и для тебя, для меня встреча с тобой — свет, без него не могу жить. Не слова это, Оля, — правда это моя, — нет мига, когда бы ты не была со мной, во мне, вся. О, я всю бы вы-пил тебя, влил тебя всю, всего бы себя отдал тебе! — и тогда пусть бы конец. Но только тогда. Я буду жить только во имя тебя, во имя увенчания любви нашей. Олёк, сегодня письмо из Гааги, как я рад: тебе посланы ландыши! Конфет шоколадных нельзя, нет их, только 100 г можно бы — пишут мне друзья. Но я тебе послал немного сам, и теперь жалею, что так мало, надеялся на Гаагу. А теперь — посылки отменены, всякие. Счастлив, что успел послать тебе — что хотел. «Пути Небесные» — подари от меня маме, если можешь, — надеюсь, что ты нашла в них мое сердце. Ах, да... все это так неудачно, меня все же нет, все мягко, слабо — чувствую, вижу.

Письма твои чудесны. Описала «праздники» — «зеленый ужас-скуку» — мастерски. Ты — все можешь! Ты вся — дар, умна, зорка, сердце мое чудесное! — так бы и обнял всю, всю... до крика, до боли, до... помрачения. «На море» — очень метко, сочно, живо (страстно), верно... — только «напевно»... — бери проще, меньше возбуждения, покойней. Понимаю, что это как бы «стихотворение в прозе», но много давать так — трудно и для автора, и для читателя. Не бойся, у тебя на все хватит силы-умения, — ты же дала труднейшее — сжатое изложение событий жизни, — и — одолела! А подробнее давать, со сценами, —

---

[i] Сыпной тиф (*от фр. typhus exanthématique*).

легче, поверь, больше свободы! Пиши — что хочешь. Но лучше: не о своем, а «через свое», — через свой душевный опыт: описывай и «выдумывай» — о других. Твори. И — рисуй, рисуй, но уходи в творчество, — и сохранишь себя. Не долго ждать, встретимся, и — все найдем, верь, Ольга моя милая. Обо мне не тревожься, я здоров, бодр, надеюсь, — и твой, весь твой, во всем, всегда, верный. Доктор[534] ответил тебе. Только, глупый, помянул обо мне — «увлекающийся». Я его не поправил — он читал мне письмо, — но этим словом он хотел сказать, конечно, — «пылкий», страстный во всем, горячий, восприимчивый, стремительный. Не пойми превратно. Я ни кем не увлекаюсь: я увлекаюсь чем-нибудь, меня захватившим: работой своей, планами, мыслями, вопросами, цветами — твоими!!! — когда-то — «бегами», игрой в винт, — играл тонко, но когда играл во Владимире на Клязьме, памятные 10 дней, уходя от соблазна, играл безумно, проваливая верные «шлемы». Любил винт чистый-классический. Я всем увлекался, что захватывало чувства, и... ни-когда не изменял Оле. Теперь — было бы смешно и преступно... когда у меня все потонуло в тебе.

Вчера — весь день на людях, вернулся к 9, а меня уже ждали мои «юные», замерзали у двери, — забыл оставить ключ от квартиры у консьержки. Ну, я их покормил и заласкал, читал им — неутомимый! — Пушкина — «Пир во время чумы» и «Бориса» — Пимена с Григорием[535]. Сегодня утром — снова нарочный от генерала Ознобишина, — бывший военный агент — до великой войны еще! — у кого я был недавно. Умоляет — на днях ему вторая операция, — завтра, на завтрак! Я был неприятно озадачен. Оказывается, я так — прости! — «очаровал» всех у него, и его... — молит — «это даст мне силы перенести операцию, я столько поразительного услыхал, вся душа переполнена...» Ну, могу ли отказать — в таких условиях! Меня теребят, и я бессилен отказать. Поеду. Что я за проповедник?! Мои книги дают все... Ах, Олёк... ты не знаешь моего «Лика скрытого», посвященного в 16 году — Сережечке! Там так мно-го... и страдания, и... предчувствий. М. б. ты выпишешь из Берлина* «Европейше Ревю», книга журнала янв. 34 г. — тогда адрес был: Берлин, W. — 35, Лютцовштрассе 91 а. Но там лишь часть рассказа, 12 страниц больших, — философия полковника Шеметова[536], —

---

* Рассказ называется «Das verborgene Antlitz». Iwan Schmeljow. Стр. 35—47.

основа вещи. А вся-то вещь..! — я бы сам тебе прочитал..! Положил бы твою головку к сердцу — и все бы тебе перелил в душу, так нежно, так любовно, с такой сладкой болью, Олёля моя... — и нежно целовал бы твои глаза... и плакал бы с тобой над жизнью, над болью и страданиями людскими. Там, в рассказе, все дано, что потом должно было быть и что еще длится: обман ЖИЗНИ. И во всем — сами виноваты. Там, в рассказе — две «системы» строить жизнь и познавать ее, — сталкиваются: рацио, ratio, и... сердце, душа... — самому смутно.

Ах, как люблю тебя! До физической боли в сердце, до... крика в нем. Зову, жду, грежу, молю, молюсь, тоскую, вспыхиваю, горю... сгораю... — сегодня особенно, весь взбит, рвусь к тебе мыслью, вижу... так воображаю..! — живую, теплую, трепетную в моих руках, склоняюсь, ножки целую твои... безумствую. И сам за собой слежу, все это вижу в себе, стараюсь сдержать себя, и — снова рвусь, мечусь. Сегодня под утро... звал, звал... видел тебя, до страсти... — что со мной! Ни-когда такого не было... Это ты... думаешь, сердцем льнешь, манишь, влечешь, чаруешь..? Ты — чаровница, в тебе сила волшебная, невиданная мною... — ты, будто, часть моей души, и потому я не могу жить без той части, без тебя, ищу, зову, томлюсь, пою тебя, молю — дай же мою душу... она — ее часть — в тебе... Оля, если бы случилось чудо — огромное..! — ты понимаешь, о чем я... чтобы ты продолжалась, чтобы наше жило, осталось для жизни... и без нас! Безумство? Нет, — возможность. Я не хочу пройти мимо этой «можности»! это — может быть, это святое для меня, такое упование..! — Господи, Ты видишь, как я чувствую, как чисто, как благоговейно. Творчество любви, самое вдохновенное... — все освящает. В нем — все тленное получает силу нетленного, очищается, и все страстное, от жгучей крови, становится почти святым. Девочка моя, прекрасная моя... все слова теряю, когда хочу выразить всю любовь, ее неизмеримость, ее свет вечный во мне. Целую тебя, святочка моя, нежка, умненькая, свет неугасимый... прелесть прелестнейшая! О, моя Ольгуля... дай же губки...

[На полях:] Твой — всегда — до конца — Ваня

Как ты необычайна во всем! А — в чувствах..! Чудо ты.

Сбереги пасхальную свечку! Получила? А «Старый Валаам»? А — меня? еще... — ?

Оля, слушай: прошлого, всего, — что тебя коснулось, — для меня нет. Ты — сама правда. Правда.

128

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.I.42, 9—40 утра
Канун нашего Нового года.

Дорогая моя Ольгушечка, что ты пишешь!? ... — 29.XII — «разобьюсь, как щепка» — ! — «что-то должно случиться», «так жить нельзя», «я так несчастна!» Господи... все я понимаю, ласточка... и молю тебя: выдержи, не сдавайся, верь! Будь же сильна любовью, единственная моя, светляночка! Мне легче, думаешь? Ты хоть с мамой, с братиком, ласковое слово слышишь, сама скажешь... а я — все один. Ну, Ивик... ну, друзья, редкие, — я же всей-то души не распахну, не оттаю хоть на мгновенье... — только тобой и жив, далекая, солнце мое живое. Ведь все ты мне, ты только! И когда вижу — о, как вижу! — твои страдания, чувствую их по письмам, — а я их всегда в сердце держу, всегда томлюсь тобой... — я мечусь, бессильный. И все же верю — увидимся и сольемся сердцем, всем лучшим в нас! Не сможешь в Париж весной — я изойду в усильях, клянусь тебе, мученица моя, святая девочка моя... все сделаю, чтобы преодолеть свое смущенье, к тебе приехать, добиться позволения. М. б. посодействует мне наш Эмигрантский комитет, куда и я должен был войти... но я не люблю официальных «хомутов», дерганья... я очень «неделовит», и заявил, что моя работа литературная требует всего меня, и потому я числюсь под титулом «почетного председателя литературно-просветительского отдела». Нужно было лишь имя мое. Так вот, м. б. мне за это дадут поддержку, уповаю, т.к. управляющим делами русской эмиграции во Франции[537] состоит партийный человек — русский, — который знает и ценит мое искусство. Кстати: нет надежды поехать в Берлин и устроить литературное публичное чтение мое, — таковы условия времени. О моих планах — посетить лагеря — нечего и думать: вчера получил точные справки. А то я поехал бы, не взирая на погоду, на тифус экзантематик. Милуша, Олёлик мой... ох, как верить хочу, что добуду тебя, Жар-Птица! Ах, Ольгушка... ох, как верить хочу, что добуду тебя, Жар-Птица! Ах, Ольгушка... ты — молода, у тебя запас — можешь ждать... а мне каждая неделя — убыль... и я все-

таки, верю! Слава Богу — бодр, дивятся: какой все легкий, какой горячий... такой же запал и пыл! Да, когда увлечен мыслью, образом, — я горяч, я в стремлении, весь. Силой воли, жизненным током во мне стараюсь себя держать на «укороченной узде», в мере, как цирковая лошадь. Это — чудо-сила твоей любви, небывалая радость! Без тебя я давно бы сник. А теперь я с таким зарядом, столько воли творческой, образы ярко выпуклы, все кипит, все горит во мне. Пропою я тебе «Пути Небесные», — обещаю, верю. Ох, как сам зачаруюсь ими, тобой, голубка... только один я знаю, только тебе шепчу, — никто моего не чует. Молю: будь же бодрей, держись, роднушка, дружка моя чудесно-дивная, прелесть моя нескаванная! Сама ты себя не знаешь... а я-то вижу! Вижу и говорю: мне надо Олю мою, мне надо, надо... для сердца надо, для моего огня надо... для радости, для исхода моей любви: с ней только, с этой моей девулей все завершу, все важное, все мое! Е ю только и завершу. Но не думай, что лишь для этого ты нужна мне! Ты мне для всего нужна, и для тебя самой, для всей полноты любви, полной, никак не стерильной... я хочу всей любви! О, как тебя целую, как ласкаю, моя неугасимая!

Чудесно, Олюша, дала ты «праздники»! Не чуешь, а? А я все вобрал, все вижу, будто с тобой там жил и пропитался всем этим «зеленым ужасом», задохнулся в удушьи этом, — веселей у чертей в болоте! А эта «тетка» несчастная, — ах, тоска больная! И... виновата сама... безволием. Мучающееся полуживое мя-со... Ужас и — отвращение — все, в чем ты жила два дня — «праздничные»!? Фу-ты, какая страшная духота! Мне душно. И... гимны... Свету. Видишь, чувствуешь, что такое наше Православие, наше свободное дыхание! Бешены мы, грешны, грязны можем быть... кромешники степные... но уж если душа вдруг загорится... слезами, радостью изойдем, растопимся и все растопим, и Ему — Светлому — гимн-то какой споем! как его мы восчувствуем, как взликуем! как оправдаем все наше! Олёк, роднушка, кипучка милая, дергушечка нервная моя... в тебе такое же пыланье, наше..! И ты никнешь? Да ты порой во всю силу твоей груди, сердца твоего огромного, славь и — верь! Будь молода, сильна, прекрасна, верна чудесному, что живет теперь в сердце твоем великом! Ты — великолепна дарами Духа, ты так свежа — да, творя, ибо ты творишь, не замечая, не постигая, как ты мне все передала письмом! И как же просто, и как же ярко! Этим «ведром» за дверью... да ты

все этим одним ведром сказала! На все оглядка, всего — боязнь! И «елка» ихняя — не «Елка», а... тоска зеленая, повинность, как и их «гимны» — скверная «бухгалтерия». Они не умеют жить, они не умеют петь Господа, благодарить за жизнь! Они — все дохлые, все удушающие. Ходячие тексты мутные, бормотуны немые и глухие, — какие-то — «сырой холод». Я там охолодал и сник, тоской меня тошнит... — и это ты в двадцати строчках дала! Дай, обниму тебя, зацелую, прижму к сердцу, моя красавица, умница, дар святой! Так и твори, в простоте, без «нажима», без «подчеркиваний», легким дыханием... — у тебя глаз все видит, и сердце все облекает и все — берет! Я вижу даже, как сама «елка» сохнет там от тоски — «ку-да же меня втащили!» И это твое — «валандались — до 1—2 ч. ночи»... — не скажешь лучше! Молодец, Олёк! Ах, как целую тебя, от страшной радости, от твоего света творящего! Елка... тексты... пролежни... — !!! — какой же воздух там должен быть! Лампочки от него-то и тусклы. И во все таком — ты!!? твоя яркость, порыв к жизни, острота чуткости... — Господи, какая топь! Тебе нечем было дышать. Да от такого — в болото убежишь, в глушь лесную: там звезды на снегу играют, там елки дышат с тобой смолкой тонкой, здоровье в тебя вливают... там и галка заблудшая трепыхнется в «лапах», и ты услышишь, что и она живая, и она живет, и она — Бога по-своему славит и благодарит! Там ни «теток», ни надерганных фальшиво текстов, ни удавки, ни маски, ни душевной вони... — там Бог во всем. Ты мне этой одной картинкой всю «закваску» ихнюю показала, и я мог бы всю жизнь их изобразить, во всех проявлениях, — по одному твоему такому удивительному наброску! Молодец, чудо-диво-Оля! Не хвалю тебя, а радуюсь тебе, живому дару в тебе! Бог-Господь в тебе. И как же ты можешь клониться, никнуть в жизни... — все перетерпи, дождемся, увидим наш час, увидим наши праздники, — если удержим веру. Прошу тебя, девочка моя: ешь больше, копи силы, лечись, — да, принимай селюкрин, он тебе силы даст, крови даст, нервы подтянет, — а это самое важное! Как же я тебя чту-люблю. Олёк! Все твое, что было, — его нет для меня. Для меня ты — какую знаю теперь, какую несу в сердце, — чистую мою, рвущуюся к жизни-свету, любящую меня, — мое во мне неважном... любящую прекрасное, вечное, чистое, святое. Дай, обниму тебя, моя гуля, моя голубонька, моя певунья... — пой, Оля, пой, дорогая... будь же бодрой... Я сегодня рано поднялся, в 6, и первая мысль — ты, твое, о

тебе... — и счастье, что ты — живая, пусть далеко пока, но ты так близко, со мной, у сердца, вот тут, Олёк... я чувствую тебя, я тебя ласкаю, я тебя... о, как же люблю тебя, и какое же это счастье — вот так любить! так неизмеримо сильно, так верно, так светло-непобедимо! Весь в тебе, ну весь, весь... — и пою в душе, да и не в душе... а кофе варил и пел — «Приди под кро-вом... те-плой но-о-очи... кругом все ти-и-хо... — над нами зве-зды — небо ночи... они на на-ас с тобой глядят...» — помнишь, из «Князя Игоря»? И с каким вкусом — а в комнате 6 градусов, — но это хорошо, что не 4! — пил кофе... пустил электрический радиатор... — у нас 3-го дня начали топить — скупей скупого — и... лопнуло в моторе что-то! — говорят — дня через два затопят... А мне — плевать, могут и не затапливать. Вынесем все-с, и холод, и невзгоды. Все это такой пустяк, если вообразить, что в мире-то вершится, по... плану Божию! Тво-рится... — что должно было быть, для того-то и ковали гвозди. У меня это в «Лике скрытом» еще в 16 г. было дано, — тоска по мальчику, который был на войне, — выдавила из меня тревогу-тоску эту и... — предчувствие «обмана Жизни». А теперь... во мне спокойно, я живу Олей, я жду ее, я найду ее, ибо я хочу этого и верю в это. И целую, целую мою царевну, мою силу, мою веру, мою Олюлю... мою светлую, жгучку пылкую, трепыхушку, нежку, ласточку острокрылую, небесную... — ну, дай же губки... я так тоскую по ним, по глазкам, по ротику, по сердечку... — я слышу, как оно — тукает, как оно живет, держит в себе своего, выдуманного Ваню... — ну, пусть... а все же любишь, о-чень любишь... ну, «песенки» мои любишь, и в них — меня. А я тебя за тебя люблю, за ум, за сердце, за нежность, какой ни у кого нет... только у Оли моей... люблю за твои «картинки», за то, что ты — из того же, что и я, — теста... добротного, божьего, солнечного, творящего, вечного... Дай же губки, Олёчек... вот, вот, целую.

Спешу, ошибки сама поправь.

Твой Ваня

129

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.I.42, 8 вечера

Сейчас получил от I янв., твое и «общее»-привет[538], а вчера от 4-го — два, чудесное — этот «крик» любви! — и

счастлив, что получила книги и духи, и конфеты. Ольга, изволь жить духами, съешь все варенье-грушку, для тебя же я старался: хотел очистить для тебя грушку, так хотел..! — и вот, очистил и сварил-послал. И это было мне так радостно, хоть этим войти в тебя, моей заботкой, моей далекой лаской. О, нежная моя... эти твои — «я сердце твое в себе хочу услышать». О, я понял, я страстно тебя обнял, воображением, до осязаемости, всю... — о, ты бы услыхала мое сердце — в тебе! И отдала живое, новое... сердечко, наше! Оля, Оля... если бы ты здесь, со мной... вот, у камина, я посадил бы тебя в большое кресло глубокое... я обнял бы твои колени, прижался бы к тебе, моя пичужка... так ласкал бы..! — так нежно-страстно, так уютно-кротко, так сильно-жарко... — прости, чудеска... Нет, я не уничтожу ни одного из твоих писем, — все они — ты! разная, и — вся ты. Я люблю и страстность твою, и даже неправоту твою, — все та же пылкость. Поцелуем снял бы я твои слезы, слезы тоски-любви, когда ты в автобусе ехала. Не тревожься, я не страдаю от холода, привык я... — и скоро затопят по-настоящему, — мотор испортился. У меня и электрический радиатор в 1500 ватт — у стола градусов 13—14. Чудесно ты о «звездочке» в рождественский сочельник, о папе, чуткая какая, детка. О, милое сердечко, как ты бьешься чутко... ах, послушал бы его биение, слил со своим, — все ночи слушал бы, во сне как бьется. Оля-Оля... говоришь — «пиши»! Я могу писать, когда захвачен чувством сильным к тому, о чем пишу... — тобой захвачен, и тебе пишу! Все эти месяцы. Живу тобой. Ты мне не для писания, — для жизни, ты мне для тебя нужна, вся ты, как сила жизни, как свет жизни, как — радость, как бодрость... — и тогда — работа! Что бы я писал, и как писал бы! Без тебя мне трудно, пусто, и — кажется — бесцельно. Но я себя заставлю, м. б. Не могу выкраивать часа 3—4 сряду, полных, забыться в своем мире... Надо что-то... — не обедал? Надо отрываться, искать, что есть там, в кухне, — моя старушка приходит не каждый день, у ней еще другие, — у доктора Серова по четвергам, еще. Вот это меня гнетет, а я привыкаю к людям очень туго. Надо идти за молоком, за хлебом, за... всем. Что же, таков удел писателя, оставшегося одиноким. Странно, как я мог еще столько написать после Оли! Ты многого еще не знаешь из моего. «Старый Валаам», с 6-й главы писалось уже после. «Куликово поле», «Филипповки», «Радуница», «Ледяной дом», «Говенье», «Вербное воскресенье»[539], «Светлый день»[540], «Вино-

град»[541], «На Святой» — !! — «Рождество»[542], дек. 39! — «Егорьев день»[543] — июнь 39-го — !! — «Трапезондский коньяк» — вот дана любовь-то «турчанки» к русскому офицеру! — быль! — «Крестопоклонная»[544] — март 39, одновременно с «Куликовым полем»! — «Свет вечный»[545], посвящен И. А. И. — переведено на немецкий, в «Эуропэише Ревю», янв. 38-го, произвел сильное действие на читателей, писал редактор благодарность! — можешь выписать, адрес я тебе дал вчера. «Лампадочка», дек. 36, «Покров»[546], янв. 37, — удачно, кажется «Глас в нощи»[547], — рассказ родился на могилке Оли, март 37. А ты знаешь «Милость преп. Серафима»? — о моей болезни, сне-предсонье, — я почувствовал, что операции не будет! И еще — «Заветная встреча» — моя 2-х часовая «лекция» о Пушкине, произведшая фурор в Праге[548]! Я был страстен — и взял всю аудиторию. И — влюбил в себя 15-летнюю девчурку. О, что за письма она писала мне, в бреду вся! И — тогда та, инженерша, Катя, — я ее так не звал, а Екатерина Дмитриевна, — а это «про себя» — она мне ни-как не нравилась, а просто... — любопытный экземпляр. И сколько еще не вошло в «книги»! «Каменный век»[549] — большая повесть, жуткая, крымская. «Чертов балаган»[550] — жуткое и — острое, удар по интеллигенции. «Панорама» — «потрясающее», как называли, боялись печатать гг. масоны из «Возрождения»[551]: страшный удар по «интеллигенции»! — Да, я не могу винить «народ», во всем — преступление интел-полуинтеллигенции! «Солдаты» — почти книга, брошено. «Иностранец»[552], — страниц 80 — и не плохое, — брошено, в 38, в Швейцарии, — переутомился, заболел. «В тумане»[552a] — как и «Панорама» — эти два очерка должны бы войти в будущее издание «Солнца мертвых». Видишь, сколького ты, моя дружка, еще не знаешь! Ведь я работаю, — если я свободен! — очень скоро. «Няня» была дана в 2 мес., «Солнце мертвых» — что-то всего 3—4 мес. Я — горячий, страстный в работе, как и во всем, что меня захватит, — как вот любовь к тебе! — но это и несравнимо! Потому так и пишет Серов, — да, отец Ирины, — «увлекающийся».

Жду продолжения «поездки с шефом». Олёк, мне все важно — твое, особенно из детства, о твоих мечтаньях детки. Напиши мне: о твоем первом «грехе», и о Светлом Дне — 40 по кончине папочки, о сне в Бюннике — Богоматерь! — о сне «крестном» — ?!! — Об одном папином прихожанине — «Чаша»... О чуде с тобой — 3-леткой — о, как целую я эту милую дитютю! — Оля, я тебя вижу... я

всякую тебя воображу, я всякую тебя люблю... — ты ведь самая мне родная, будто ты одной крови со мной... — мы же с тобой чистые, славяне, ты — славяночка! Я — от земли, прадеды мои были государственные крестьяне... Богородского уезда, Московской губ. — самой разбойной волости, Гуслицкой, откуда фабриканты Морозовы[553] — с нами как-то в родне, через прабабку Устинью[554], — святую! — «гуслицкие» известны выжелкой[i] фальшивых бумажек, — Морозовы! — но не мои: мои всегда были малого достатка, должно быть от «фантазий», — отец вот, как он задумал «Ледяной дом»! — эх, прочел бы моей милой! Для тебя, Ольгуша, все, все, все... всего себя отдам! Вот и не видел вживе, не слыхал твоего голоса! Как хотел бы знать, какой. Бывают голоса, — в них — вся женщина! Помню голос артистки Малого театра — Лешковской[555]! Вот сочный-то, живые хрустали, так и слышишь: «я — женщина»! Не была красива, в жизни страшная неряха, всегда непричесанная, туфли на босу ногу, но... «Божией Милостью» талантище! Я, гимназистом, помню ее первое появление на сцене в «Старых годах», Шпажинского[556]. Играла инженю. А в «Волках и Овцах» — «черничку»..! — ах, сердце играло от ее искусства. Ну, и голосок! Еще — у спикерши, в бесовском радио... голос меня тревожил. «Духовна» ты моя, нежка-поповна! Вот, где клады-то! О, Россия наша! Какие девушки наши! какие!! Ду-ши-то какие! Я только чуть коснулся их... в своей работе. Правда, я много дал... Анастасию Павловну, Дари, Пашу, Катичку из «Няни», — и... [душу] русскую православную — чудесную какую — Горкина! Господи, благодарю Тебя, за все!! О, «Богомолье», — лучшее мое, так сердце мне говорит. «Старый Валаам» — родное тоже, очень! Да, я знаю, много сердец мое вбирает, им живет, пусть часом только. — Мережковский... — ты верно пишешь: «сердца» там нет и тени. Это — «холодный кипяток», так кто-то определил его. «Из книг сличал». Склеивал, по нужному рецепту: тезис, антитезис, синтезис, так во всем. И. А. написал о современных писателях[557], выбрал 4: Бунина, Ремизова, Мережковского, меня. Дал мне прочесть. Меня — вознес очень высоко. Бунина — проанатомировал умно, отметив «родовую сексуальность». Ремизова — т-так, пощекотал. Мережковского — буквально... разда-вил! — в ничто. Я ему сказал: за-чем? Убьет вас «кирпичом» — у него тома тяжелые, например «Атланти-

---

[i] Так в оригинале.

да»[558], — он, ведь, выбирал «самое кричащее», — привлечь. И. А. решил Мережковского выпустить, т.е. выкинуть из книги. Жаль, книга не появилась, печататься должна была в Риге, — все спуталось. Обо мне читал в Берлине, две лекции[559]. Ты, пожалуй, не слыхала. Его взял — особенно — мой рассказ «Свет Разума». Время — лучший оценщик: «Человек из ресторана» — имеет возраст 31 год, и жив доселе. «Богомолье» будет жить... как и «Лето Господне». И — «Чаша», и «Пути», и «Няня», и «Солнце»... — это «вехи». Иные у образов их держат — «Лето Господне», «Богомолье». Говеют с ними... !! — верно, как и ты, — писала! Я — Бог помог — дал родную ласку, душу нашу, лучшее в нас, грешных. Дитя мое, как я люблю тебя! Вот, за твое сердце, за твою душу люблю... И вспоминаю, как я пел моим «Что затуманилась зоренька ясная...». Конец такой — это «разбойничья песня» — «Много за душу твою одинокую... Много я душ загублю... — Я ль виноват, что тебя — синеокую! — там "черноокую"! — больше, чем ду-шу люблю?! ...»

Ласточка-касаточка, обласкала ты меня, нежка моя. Сегодня начну переписывать для тебя «Куликово поле». А сперва — на письма твои отвечу. Да, ты про какую-то ниточку спрашивала: но то письмо было скреплено не ниточкой, а тонкой металлической скобочкой золотисто-медного цвета.

Получила ли 2-й экземпляр «Путей Небесных»? Нашла ли при 2-м чтении — живое, желанное душе твоей? Ох, как всю обнимаю! Во сне тебя видел: полненькую, кругло-глазую-голубоглазую... и что-то — очень «близкое», ты сидела на моих коленях, спинкой... и я целовал тебя в шейку...

Твой Ваня

[На полях:] Моя Арина Родионовна, болевшая 2 дня, явилась опять. Жгу электрический радиатор. И не унываю. Ах, Оль, как осветилось мне — увидал — Оля Шмелева! Это — должно быть! Люблю!!!

Об истории с Дашей напишу!

130

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.I.42 1 [ч.] дня

Ольгуночка, дай губки! Вот, вот, вот... Зима переломилась, ждать недолго, будем верить. Счастлив, что хоть из-

дали мне удается наполнять твою взыскующую душу, такую страстно-жадную. У Тютчева я крестиком пометил стихи, связанные с Денисьевой — не Денисовой, как в книге. Да, страстная была у нее душа, как у тебя. Ее характер дан Тютчевым в стихотворении — «Ты волна...»[560]

Если бы вместе были, каждый день наполнялась бы душа твоя новым, з н а ю! Это была бы вдохновенная любовь! Бывает и бездарная, и — грязная, и — прозаическая. Ты вдохновенной любви еще не знала, вижу по «повести». С американцем — у тебя-то была м. б. и вдохновенная, а у Г. — «с оглядкой», полу-стерильная... и он уже в и д е л «субтильную» — не куклу, «куклы» не «выпускают в трубу»!

Я написал тебе в с е о Г. и не послал, не захотел «мутить». В с е было обставлено в русском духе, чтобы подманить птичку родной прикормкой. И сколько же «случайностей», как в бездарном американском фильме! И Эллен, и «дама» на дипломатическом вечере, и «хозяева»-подлецы, спаивавшие шампанским «птичку», и — «напишите ему», и «пари», и «случайное совпадение»: в одном доме и учитель «священного языка», на котором тоже можно отлично лгать, и Г., и «паристка»: и твои шаги, «слившиеся» с шагами Г., и остановка мотора, и выпихиванье «паристкой», и — «открылась дверца». Подумать: захотелось «невольно к этим грустным берегам...» — где жил учитель «священного языка»! Тебя поймать хотели, сделать любовницей, п о к а... Чудесна «поза», это при сильном-то чувстве — «поза»: «Мечтам и годам нет возврата»[561]... — но можно вернуть «добрые отношения»... «женитьба ничего не изменила»... — для Г.! Ну, «гарсоньерка», обставленная в русском стиле, с краденым образом, м. б. даже из твоей церкви в Рыбинске... — тогда ведь мо-да была на русское! А где же «пуля в лоб»? Лгалось на «священном языке»? И — бедный же Чехов с Пушкиным! И их пустили в дело. Что за пошлость! Ну, словом, я такой реквизитуар[i] тебе написал — не послал... — жаль тебя стало, девочку пылкую, чистую. А о докторе № 3 — «и это был — "лучше многих"»! Я — в ужасе. И это «Дима», какая «близость»-то... а ты — ни единой «сцены» не дала. И... «Микита»... — какая... слова не найду. Я был так пронзен всем этим... и это «инкогнито», меня повергло в отчаянье. Дать жизнь от «мяса», хотеть ребенка от циника! Ну, не раскапываюсь в твоих «случайных встречах», в этом «беганьи друг от

---

[i] Обвинительная речь (*от фр. rékuisitoire*).

друга», при котором все время — «встречи». Ну и профессор, «познакомил»... приглашали «осматривать» чистую девушку... кем? Циником. Сластеной, похотливым. Воображаю, как он разжигал, умело... бунтовал твои «нервные центры»! Весь он в этом — в женитьбе на мясе, «хороша для... постели»! Тьфу. Я весь в страдании, когда думаю об этом, в с е м. Но... прошлое твое... — Бог с ним. Я преодолеваю в с е. Ты — для меня — нетленна. Хочу так верить. Ты боролась, вижу. Ты — страдалица, моя бедная Оля. Для скольких — с н е д ь! И — только. Душу твою... к т о в и д е л?! кто — щадил? наполнял? чутко всматривался в ее красоту?! Ведь только во вдохновенной любви — земная любовь освящена, вознесена, укрыта, поглощена... — и дает плодоношение — святое почти. Тогда ничего не стыдно, тогда все — п р а в д а и благословение! Тогда — брак. Тогда — свет, святое счастье. О, как бы хотелось мне с тобой пожить — зимой даже — в чудесной обители! — под Москвой — Саввы Звенигородского монастырь[562]! Леса. Снега. Звезды. Жаркая-жаркая светлица, пол белый, еловый. Прогулки на лыжах. Всенощная, рука в руку. Молитва, жаркая, в любви. Чувствованье друг друга. Теплая светлица, ужин, чудесный... отлично готовили осетрину по-американски, московскую солянку, блины... Помню, как мы с Олей и Сережечкой, в 12 году, и кто-то еще... — провели так дня три. Днем — на лыжах, ходили за 4—5 верст в Дюдьково, — где действие моей повести «Росстани». Там я, 12-летний, впервые влюбился, до сладкой муки, в Таню-девочку... — вот ей-то я сунул «вишни» когда собирали землянику — «История любовная». С тобой бы мы ско-лько пережили бы чудесного, моя Ольгуля! Как бы жарко любились! И слушали бы впросонках перезвон часов. И я — ночью — ты чуть дремала бы, усталая... — смочил бы жаркие твои губки абрикотином, сладким апельсином... и нежно целовал бы свою леснушку-лыжницу! А кругом — бор, мороз, в нем звезды лучистые, и — просыпались бы от солнца — о, яркого какого, со снегирями на голубом снегу! — и — просфоры горячие, с теплым кагором... — обедня, с в е т л а я такая, — и жажда жизни, любви, еще любви, еще, еще, еще... — щечки твои в морозе рдеют, глаза чудесно ярки, полны счастья, неги, нежки... — и верст на 20 на тройке, с бубенцами, — лыжи сзади, стояком, — морозной пылью веет, вот и станция «Голицыно», купе, Москва... к Эйнем — коробку шоколада с ликерами, и — дома, теплый воздух, цветы, оставленная рукопись... — успею! — и ты, в качалке, мягкая вся, теплая,

желанная, — всегда желанная! — и... наполненная новым, свежим, бодрая такая... — завтра будешь набрасывать «зимний монастырь», сугробы, тропку с лыжными следками, сосны на обрыве, над «Русской Швейцарией» — так звали место там, — о, красота какая! И... — сама не чуешь, а под сердцем «снежное дитя» — святое чудо! Ах, воображенье! Зачем я это все? Завтра? Вернисаж, лежит билет, выставка картин... новая драма в Малом, «Град-Китеж» в Большом, ужин в «Праге», рябчики, волован с омарами, навага... помнишь ли навагу? — и столько планов в сердце, в голове... — к столу, к столу... и «новое рожденье», роится что-то, еще совсем неясное, но... тянет... «Ольга, не приставай... пиши свою картинку, я — свое». «Нет, Оля... приставай, всегда... ну, сядь сюда, ко мне... Олёк мой, киска... дай же губки! О, милые фиалки... вся ты — душистая, вся теплая... такая... киска! Ну, сядь ближе,.. ну, теснее... ближе, ближе... К черту телефон, совсем не время... пускай трещит...» — в тебе, в тебе весь, все забыто, плывет, уносит... Как я раздразнил себя, как вижу... Господи, а время все уносит... и события хромают. Ну, пусть мечты... но сладко жить в мечтах, они так ярки, до... изнеможенья. Помнишь Пушкина: «Мороз и солнце; День чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный... — Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты негой взоры, Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись!»[563]

Ни у кого не была «первой»? Как так? Ты для меня — первая, такая! Что о завещании? напиши. Почему мне — «плохо» — ? Без тебя — да, плохо. Почему странное действие селюкрина? Он дает тебе кровь, витаминит тебя, дает силу, аппетит, питает нервы. Это — твое спасенье. Да, папочка твой Ей служил. Иначе не могло быть: он же большое сердце! Не бойся, пиши «словом»: можешь. И — рисуй. Но не проводи часы в «трепетаньях», это же мучительно, бесплодно. Заполняй все свое время, душу. Живи хоть этим, только живи. Да, я хочу увидеть «живую» Олю, и не только увидеть, а и... любить ее, свою женку. Да, чудесно: ты должна быть Оля Шмелева! Ты — уже есть она, для меня. Азалию поцеловал, духи вдыхаю, «каплю» слизнул, за твое здоровье. Хотел бы тебя выпить. И быть пьяным тобой. От тебя можно опьянеть, знаю. Теперь вот — пьян тобой. Ты чудесно дала встречу Нового года. У сердца держала? Но я другой тут, фото никуда, я — сильнее взглядом и лицом, тут — мягко-слабо, никуда. Да, я в натуре — старей, конечно, рубцы жизни, но я — глубже, а не «манная каша», не «известный скри-

пач», как можно судить по большой фото, если б ты ее имела! Там, правда, глаза... на малой — нет глаз, все стертое, слабое. И все же страшусь, что ты — у, какой! — скажешь разочарованно. Если б десяток лет скостить! Все бы я вернул! Да, 16 и 19 — был в волнении. О «девушке с цветами» ты ничего не писала, только «спасибо за ромашки». Думал — расстроилась, — о «далях»-то! Напиши об образе. Какой образ предносился тебе, 10-летке Оле, в церкви? — давно прошу дать! О. А. скончалась от грудной жабы. Не хотела лечиться. Лечил и Серов, он-то и определил, в 33-м г., но, мягкий, не настаивал, мне не сказал, что «жаба»: только — расширение аорты. Не велел работать, а она убивала себя, мучилась о Сереже, не хотела жить. За 2 недели подлец доктор — Аитов[564], перед нашей предположительной поездкой за границу[565], сказал: «ни-чего... снимок ничего не дает мне, у вас сердце молодой женщины!» Не прописали даже «тринитрин»! У ней всегда последние 3 года ломило грудь. 21-го июня — приступ. Стихло к ночи. Утром 22 — снова, я метался. Мне больно писать. В 1 ч. 20 мин. — конец. Ее негодяй доктор (Чекунов) убил. 3 последовательных впрыскивания «понтапона», а она «доверова порошка» еще молодой не выносила. Она уснула! Я тебе все писал, — не получила разве? Сняли с нее фото, — как спит. И как прекрасна! Я все писал!! Ты забыла? Как в гробу лежала, как я читал над ней, как украсил ее головку белыми лилиями! — Царица!

Пылкость — от отца. У него она проявлялась в делах и — кажется в любви... — серенькие связи были, не поэтические, думаю. Любил красивую молодую женщиу, кормилицу старшего брата, — «русская красота». Очевидно, нужно было мотать «излишек сил». У меня — в творчество ушла вся пылкость, уходила. Но полосами я не писал, по полгода, году... — тогда — я жил, но... однолюбом, Оля! С меня было довольно чистой моей, смиренницы. Нравится «ужгородская» карточка? Да, «свободный» я тут, похож, и... если бы ты впорхнула под руку, так бы и приросла, — не отпустил бы, конечно. Что ты все повторяешь: «если бы ты все обо мне знал!» — ? Кажется, все знаю. Что же еще-то? И так ты меня истомила своими «поцелуями»! Ну, я не ставлю это в вину... — очевидно, странно ты была воспитана, легко смотрела. И я... порой... смущаюсь... страшусь.

Жду окончания поездки с «шефом». Предвкушаю какую-нибудь «выходку». Все же удивляюсь твоей выдержке, достоинству, серьезности, уму, знаниям, — ты же боль-

шое дарованье. Все даровитые (и — *я*) — требуют «жизни чувством», знаю. Знаешь, ты могла бы стать, при другой структуре душевной, — а м. б. при большей напористости... — модной... — щажу твой слух. И не было бы нашей «встречи». Прошлое твое слишком «насыщено», — ясно, что в тебе сильно выражен этот с-ап[i], что привлекает. Скоты тебя пробовали развращать, раздражать. Умело. Могли довести до... ямы. И доктор № 3 — главный скот. Пишешь: «как он молился, Ваня!» Это ты по «тени» судишь? Ну, ты ошибаешься: так не молятся! Молиться — значит, душу Богу открывать: не жестами это творится, а внутренним гореньем. В тишине, в покое, в созерцании. Не — в кривляньях, взмахах рук, трясении головой и проч. Все это — от шаманства, от переполненности грязью, мясом... И странно, как это ты всегда «сталкивалась» с этим кулем мяса! Даже была свидетельницей его: «развратничал на твоих глазах с девчонкой». Каким же образом? И почему ты — свидетельница? И почему не дала ни одной «сцены»? и почему все «встречи» — и на море? Воображение мне дает много смутного... и непристойного. Мне больно... но... что же можно изменить? Мне грустно. Опять я сам себя расстроил. И тебя. Не надо было тебе этого касаться. Искренна ты... — и, кажется, не до конца. Ибо ты писала: «теперь я люблю другого, забудем все, все...» Значит, было что-то, что надо бы забыть? Представляю, как он разжигал тебя, твою «восприимчивость», «некоторые нервные центры», как знающий их назначение, хоть, быть может, и плохой врач. Ты поддавалась. Что это за «Цайтлозе»? Не знаю. Как по-русски? Дурман? головолом? Фиолетовые, шапками, растут в овра-гах — «болиголов»? Меня дурманит «любка», «ночная фиалка», «восковка», из редких в средней российской полосе орхидейных. Все твое «возбуждение» на горах происходило от «нервного расстройства», которым наградил тебя «достойный врач», и оттого, что твоя душа спала, была усыплена «поверхностными раздражениями». Не давал ли тебе «порнографического чтения»? Есть мерзавцы, которые пишут сознательно о низком в человеке, да и в человеке-то полусвихнувшемся. Таков английский прохвост, — умер, слава Богу! — Лауренс[566], что ли... Я его сознательно не читал. Но знаю по критикам, смаковавшим в отзывах (жидки-критики!). Эти упивались, как и иные «женщинки». Там что-то о «любви к силе самца». Но это обычно у

---

[i] Игра слов: с-ап — sexe-appel (*фр.*).

«пустых» душой, англичанок и американок. Этой дряни много было в Париже, по дансингам искали «случки». К несчастью, иные наши отличались, кавалеры, содержанты. Немногие. Было э т о и в России, но это — «с жиру», или от — пустоты. Такие — по темпераменту — для проституции: не социальные дурные условия гонят в проституцию девушек и женщин, главным образом, а... «темперамент», т.е. — легкость раздражения определенной «сферы». «Жертвы темперамента». Подумать: ско-лько было в России монастырей женских! десятки, сотни тысяч девушек-белиц, молодых монахинь. Их душа ж и л а чистым, и они легко бороли страсти. Не катались по земле и не вдыхали «страсть» из цветов. Тут — больное. В моей Дари э т о г о н е будет. Я ее сохраню. Иначе — провал ее. Ее «сгорание» будет — и н а ч е. Она слишком целомудренна, при всей страстности. Тем-то она и влечет. И не подумай, что доктор № 3 дал толчок к моему «атеисту-цинику», врачу уездному в Мценске[567]: я его задумал, н е зная ничего о твоих «докторах». Я, кажется, тебе писал? Еще года три задумал, — дать «нигилиста», 70-х годов.

Целую, Олёк! Твой, расстроившийся, Ваня

Оля, ж и в и духами, всеми. Варенье — грушку съешь, в с е. Иначе — заболею, помни.

131

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.I.42 1 ч. дня
2-ое письмо с «Куликовым полем»

Милая Ольга, продолжаю «Куликово поле» — для тебя: хвостик I-й главы и II-ю. Рассказ постепенно становится углубленней, как увидишь, — парижские жидки и «левые» — безбожники пришли от него в ярость: как смел Шмелев так «кощунственно» ввести в литературу ч у д о! Идиоты: ч у д о вошло с а м о в литературу русскую, ибо, во-1-х, она сама — чудо, а, во-2-х, это ч у д о моего рассказа д а н о Жизнью. В основе — неоспоримый «случай», сообщенный мне под клятвой, людьми чистыми, проверенный мною до бесспорности. Этот «случай» был мне сообщен у могилки Оли, человеком культурным, которому передал о «чуде» — видевший участников этого «чуда», со слезами ему — тайно — открывшихся. Я два года таил этот «случай», — он был мне дан в 2—3 словах, — я в с е наполнил сам, т.е. сам как бы «повел следствие», внес, конечно,

много из своего личного опыта, — разговор с профессором, «абсурд», и — самое трудное! — язык Преподобного. Сколько я тут положил души — это только я знаю: без помощи свыше я не мог бы одолеть трудностей. Жиды, конечно, и не чуют, как трепетал писатель, вводя в искусство Небожителя. Моя главная цель — показать, что — для Духа — нет ограничений во времени и пространстве: все есть, и всегда будет, — нет границы между здесь и — там. Этот рассказ заставил плакать И. А. и — поставил вопрос: не сомневается ли сам писатель[568], как его все же несколько скептический «следователь». Нет: ни «следователь», ни писатель, как увидишь, не сомневаются. Конечно, этот опыт — вообще, единственный в литературах, если не считать «Путей Небесных», «Милости преп. Серафима», также.

Любопытно, какие чувства вызвал бы этот рассказ у европейцев! Понять и принять его может, конечно, вполне, лишь очень простая или уж очень тонкая — в религиозно-философском смысле! — русская Душа. Я счастлив, что могу отдать этот мой, «самый заветный»! — труд. Люблю тебя! — Кому — отдать? — Тебе, Оля, — чуткому сердцу твоему, — ты сохранишь память о святом, непрестанно наполняющем жизнь, только редко чувствуют это люди. Милая, всегда чувствуй это, всегда верь в это, — и будешь радостна и благодарна Богу за то, что вызвана к жизни, что принимаешь ее — как Дар[i].

[На полях:] Целую мою дружку, единственную мою, жизнь мою, — тебя, моя Олюша, о, моя трепетная! И как же люблю! Нет меры этому чувству. Твой Ваньчик

Оля, я о-чень хочу писать «Пути» и... <u>любить</u> Тебя! Я — <u>готов</u>.

Прости, Олёк: эти пятна от духов!

Знай, Олёк: переписываю и <u>чуть иногда правлю</u>: это последняя редакция, самая окончательная, для тебя и печати. Сохрани же. II книга «Путей» — будет посвящена Тебе, и — 3-я. Твой Ванёк

---

[i] Далее следует текст рассказа «Куликово поле», гл. 1—2.

132

И.С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.I.42 7 вечера

Ах, милая Ольгуля, как же меня и восхитило, и опечалило твое письмо от 7 на 8 янв.! — вчера вечером полученное! Ты удивляешься, что «Пути Небесные», посланные 2-го, — нет, 3-го! — уже пришли, а письма нет. Да, так и должно было случиться, должны были придти вовремя, к Рождеству, и они были, и я... я был в них, и я поздравил тебя, родная, я был с тобой, около тебя. Я же на елку твою пришел, я хотел так, всем сердцем, и это исполнилось, но ты не увидела меня! А я был, и «аз есмь» с тобой. Да, в моей книге, в моих «Путях Небесных»! Ни Марина, ни Алеша не дали меня тебе, а я сам себя дал тебе! Да ты вчитайся во всю книгу, разве ты не увидишь меня? разве не встретишь твоего Ваню, так восторженно о тебе мечтающего, далекого — и близкого такого!? Я провел с тобой вечер Праздника, я был у тебя твоим, любимым, светлым Ваней, живущим тобой, только тобой одной. Что ты, чудесная, сделала со мной? какой силой, какими чарами? Лаской, сердцем твоим, единственным, неповторимым. Девочка нежная, — ты — ребенок еще, совсем дитя, ты можешь ловить губками снежинки, пить их, радоваться им, родному! Ты дитя Света, Оля... — и такой останься, всегда такой пребудь, — это же так чудесно! Найди же меня, и поцелуй, хоть раз. И я услышу это, радостью в сердце скажется, за тысячу верст почувствую!

Странно мне, что ты не получила и другой привет мой: корзинку ландышей! и еще — свечки на елку твою. Я обо всем подумал, распорядился. Только вот бисквиты «Дрикотин», очень хорошие, и чудесные бретонские крэпы мне вернули: это продукты тикетные, не проходят. А с 5-го кончились все посылки. Из свечей красных — их 5 — сохрани́ хоть одну для Светлой Заутрени: будешь одна ты — с такой: таких больше нет уже, я достал 5 из последних 16 во всем Париже! Друзья мои из Гааги написали мне — я тебе уже писал! — что дали заказ известному цветочнику в Арнхеме, знакомому знакомого их брата, и заказ должен был быть доставлен в адрес Сережи. Коробки шоколадных конфет, по справкам в лучших кондитерских Гааги достать невозможно, с трудом давали по 100 г — жалею. Но, предчувствуя это, я все же *послал* тебе *из* Парижа маленькую коробку, как мог достать: не дрянь ли, а? Я рад, что все, что хотел послать тебе, послано было вовремя, как

раз до 5-го янв. Неужели ты уже отдала переплетать «Пути Небесные»? А я думал — в мягкий бы переплет переплела, в полотняный! — можно в трубку сверты-вать, — знаешь, есть такие? Мои российские книги[569] Оля отдала переплести в мягкое, только, правда, кожаное, бордо, — и они должно быть теперь где-то... у какого-ни-будь любителя-комиссара... услаждают его очи. Если бы только их не сожгли. Ведь они все у меня сожгли! Письмо твое о Рождестве прекрасно. Елочки... не дошло, но я нашел в конверте одну иглинку, и принял ее — от тебя! — как свет. «Ниточки» тоже — в другом письме не нашел: скобочка медноватая, только! Но надо быть горячо признательными контролю! Благородные люди, с сердцем. Сохраним же о них самую признательную память и поже-лаем им и их любимым — счастья, здоровья, благоденст-вия, — и — чтобы грозы поры тяжелой пронеслись над ними, не омрачив, не тронув! Помилуй, Господи! помилуй любящих и любимых! Ты — Весь — Любовь, Господи!

Оля, снежная девочка моя... как ты чудесна-чутка, нежна. Как хороша ты в снегу, на снегу, в ночи Рождества, к звездочке далекой смотришь! Милое дитя, чистая моя... родименькая моя... свет мой, увы — закатный! Но ведь и закатный свет — чудесен, о, как чудесен! И как богат... лу-чами! игра какая, блеск золота и пурпура какой..! и... грус-ти сколько! — до утра не увидишь... Ничего, благодарю за все, за все благодарю Тебя, Всевышний! Много Ты ми-лостиво даровал мне, много видал я светлой радости. Да, чистой, высокой, часто — неземной. Много испытаний мне судил принять... — благодарю за них: они мне выковали душу — знать горе, боли, скорби, му-ку... — я их вылил в книгах, я жалел... — и это благо. И вот, Ты дал мне на склоне жизни — счастье... последнее: не видя, слыша сердцем, полюбил... вторую в жизни... тоже Олю..! Благодарю за эту, дальнюю... любовь. Благодарю за все. Молюсь: будь милостив и помоги увидеть, ска-зать — *«люблю»*, все сказать глазами... сердцем, всю боль ее принять в себя, утешить, закрыть все темное, согреть го-лубку, столько страдавшую. И помоги мне в моих «Путях Небесных».

Сегодня Крещенский Сочельник. Помнишь, как пролила Дари св. воду[570]? Я не брал сегодня, ночь спал плохо, опоз-дал к обедне. Пойду завтра. Завтра Сережечкин день рожде-ния. Я уже слышу, мне остро-одиноко. Он родился 6-го янв. в 11 ч. 30 мин., на 7-ое. Мороз был. В комнате было гради-сов 10, горела «молния». Окна в ледышках. Я ездил за аку-

шером, роды были трудные. Оля вся померкла, много потеряла крови. Был миг страшный. Вливали физиологический раствор. Помню крик, первый крик мальчика. Буренько тельце, все напряженное... Увидел — ма-льчик, мой! И — заплакал. Сидел у библиотечного шкафа. Доктор: «поздравляю, отец-студент! Мальчик — на диво. Будет в свое время петь "Гаудеамус игитур!"»[571] Утро, окошки в ледяных пленках, розы от солнца. Оля, спокойная, слабая, в белой кофточке, кружевной, в меховой накидке. И... мальчик, уже у груди ее... умеет! Чудо.

6—19. Богоявление. 9-30 вечера

Был у обедни, у водосвятия[572]. Подал просфоры: за отнятых у меня, за... дарованную, новую Олю. Св. вода. Не пролью. Весь день — тяжелый. Один. Тоска, тоска, до боли. Лег, в прошлое смотрел, — оно терзало. Подали письма. Твоего нет. Ну, бу-дет... От Сережи. Вижу: все получила. Жаль, ландыши доставлены Сереже 6-го, как я хотел, ты мне не ответила, я спрашивал, будет ли 5-го в Арнхеме? Тогда, м. б. получила в Рождество. Почему не заехала к нему? Не верила мне, что пишу нужное? И свечки послал. И «Пути Небесные» — чтобы самому прийти к тебе на елку. И — пришел. Ты не узнала, что я пришел к тебе? Не почувствовала? Не поняла? Ведь «Пути» же я тебе в 40-м послал. Или сочла меня за непомнящего. Я все помню. Иначе, как же я мог бы писать, никогда не имея записных книжек? А я их ни-когда не имел. Я — слишком нетерпелив, и слишком верю в память: останется то, что важно. И не ошибся. Осталось еще на две, на три жизни. Сколько я писал тебе... не поняла? Ищи же меня в «Путях», мой «отсвет», и мои глаза. Увидишь, верю. Что ты кощунствуешь с Евангелием и — томишь себя? Это же не «Оракул»[572a], чтобы всегда отвечать.

На сочельник рождественский — ты так и запросила «откровения»? — чудесное от Луки — II гл., стихи 1-20[573]. А ты — новостильница, взяла на 6? янв.? Не проповедь ли Иоанна?[574] За литургией сегодня много думалось: как совершенно дано, соз-дано! — соборным Духом Церкви — богослужение! Какие Песни, Мысли... и так весь Годовой Круг! Сколько давал себе слово — весь Круг прослушать в Церкви! И не выдерживал. Все наше богослужение — самое совершенное, что мог только создать гений Церкви, — по благодати Св. Духа! Выше нет нигде. А знаешь ли ты самое чудесное из Круга? «Похвала Пресв. Богородицы»![575] В пятницу 5 недели Великого Поста. Такого про-

славления Матери Света я не слыхивал. Можно было бы — навеки остаться в храме! Какие гимны!! На все напевы, со всей России! «Величит Душа моя Господа...»[576] — необычайно, я замирал, бывало, слушая в Сергиевом Подворье хор. Да, ты нашла на 6, в сочельник не Евангелие Праздника, а очередное, на вторник 31 седмицы, по Пятидесятнице: Марка, 10—2-12[577]. На сочельник же, полагается в этом году 4 евангелия на Царских Часах, Евангелие на вечерне, а на литургии полагается, — чего ты н е усмотрела, — от Луки, II — 1-20 стихи — чудесные. О «разводном» же письме, что тебя с м у т и л о, сказано не для тебя, а — воистину — фарисеям, типа твоего свекра. «По жестокосердию вашему дал Вам старый Моисей право развода»[578]. А не «по жестокосердию»? Нет такого права, когда «брак святых»... когда все соблюдено в чистоте, когда нет в и н ы, когда нет никакого «повода». Ты права: Христос тебя не только простил бы... он, ведь, и «грешниц» прощал и привлекал к себе... — или тогда ты должна все Милосердие отвергнуть, оправдать «ад в браке». Помни: в с е в Церкви гармонично и никогда — насилия! Из сего и надо исходить. Т у т пресекается попытка сделать из брака «перепархивание»[i], как у синематографических «звезд». При сем надо помнить, что в Евангелии — две нравственных стороны: одна — для полного совершенства, тут брак н е поощряется. Другая — для в с е х. Но, главное, Евангелие не «гадальная книга», а — книга Л ю б в и. Чаще глядись в нее.

7—20 янв. Утро. Снег. Тоска отошла, я даже пою — «Ночной зефир струит эфир...»[579] Топлюсь последним углем. Жгу ящики. Мотор все еще чинят. Температура в комнате — 7 градусов. Руки мерзнут, писать трудно. Какие тут «Пути...» Пишешь о «Лейпцигской ме-ссе...» — почему н е о... ярмарке? Я не из промышленников, для кого льготы. Я — не принадлежу к голландской нации, я — с волчьим паспортом, да еще просроченным, — надо месяц-другой, чтобы его восстановить... а я не выношу хождений по конюшням префектурным. Но я все своевременно достану — на случай. Новое постижение моей «Няни» — немцами: на этот раз — образованная дама, — ее дочь — литературный критик[580]. Она прочла «Няню» в немецком переводе и заявила моей — Олиной племяннице, матери Ивика: «необычайный прием искусства, когда по 2—3 словечкам "монолога" — получаешь незабываемые образы. О, как те-

---

[i] В *оригинале: перепахивание.*

перь мне ясна "русская" Правда! Это же "апостол" Правды, эта "простая душа русской крестьянки"».

Письма от тебя все нет. Жду продолжения «поездки с шефом клиники» — в спальном вагоне..? О... Даше... вышлю, но тебя это волнует... надо ли? Дальше будет волновать еще сильней, я знаю. Все — близко к трагическому, — не по моей вине. Волей светлой я это «трагическое» сумел обезвредить, сберечь «живую душу» истерзавшейся девушки. Я не любил «опытов» над чистыми, я не из докторов под №№№№. Снова прочти «Пути», посланные ныне, — до конца. Больше ни слова не скажу. Я что-то снова смутен, в томлении... Делаю вывод: от папы в тебе сильна духовная сторона, от мамы... ?!! — физиологическая, страстная. Думаю, что не ошибся. Твое воспитание велось неправильно. Тебя слишком отдавали твоей — непонятной тебе — свободе... Отсюда — все.

Целую. Твой Ваня. О, как же я одинок! Переписываю для тебя «Куликово поле».

Твое стило 2-го янв. раззевилось, я очень нажимаю. Отдам завтра починять: скрепляющая «платинка» цела. Пишу рвущим пером. Попробую найти твои, посланные, они при письме.

Ландыши были поблекшие? М. б. Сережа держал их в комнате с центральным отоплением?

133

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.I.42 г.

Иван мой!

Какой горькой болью пронзила сердце мне открытка твоя от 31-го дек. Так, без имени, без местоимения даже, без привета! Ужасно это — ужасно мне! И это... под Новый год!

За что же? Что я сделала?

Чем согрешила?

М. б. ты забыл текст ее точный? —

— «Жду окончания "повести жизни", о жизни с "Эном" — почему так закрыт буквой? Жду и о "Георгии", — словом, жду всей повести. До ознакомления со всем не напишу ни слова. Я очень занят делом, — пишу, но не "Пути".

И. Ш.

Жду объяснений: почему я не должен упоминать об О. Субботиной в бытность мою в столице? Я должен знать всю правду.

И. Ш.

Нельзя в таком поминать святое для меня».

Я не успела еще послать письмо мое... Колебалась отослать ли... И все не посылаю... Ты сам тогда увидишь — можно ли было более жестоко сломать все, опрокинуть и дать... такой ответ...

Я не понимаю тебя.

Это — больное.

Мне очень тяжело... Обидно. Горько... Куда ушел мой ясный праздник? Мое белое Рождество?! —

Не могу пока писать.

О.

Будь здоров!

P.S. Лучше бы пропала она в пути, эта открытка твоя!

134

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.1.42

Все эти невыносимые 9 дней не могла найти в себе силы хоть как-нибудь отозваться на то, что обрушилось на меня со 2-го дня Рождества Христова, парализовало и придавило душу.

Я пишу сейчас, т.к. молчание мое тоже мучительно мне и т.к. еще больнее было бы думать, что могло бы оно истолковаться новым «изломом» или чем-то вроде «воздействия».

Нет, я пишу, чтобы сказать, на открытку от 31.XII.41 и письма от 2.I.42 ответить невозможно! Как невозможно бывает отвечать на любую клевету.

Оба эти письма, долженствовавшие меня «успокоить» (!!), отняли у меня всякую светлую точку, на которую я бы могла опереться. Выбили у меня почву из-под ног, лишили буквально всякой возможности хоть что-либо ответить. «Ласковые» слова в них — позолота пилюли. И, как таковые, вносят лишь горечь в сердце! В этих письмах не недоверие Фомы, не сомнение, не срывы даже (их-то я бы поняла), но —

— настойчивое утверждение созданных самим собой же «фактов», утверждение их, как непрелож-ность!

А эти эпитеты: «особливо женской манеры», и эти... «пониже поясницы»?.. И много... много...

Не обида — это мне!! Нет! *Все* гораздо глубже! И не мне же, «вывихнутой на цыганщину», «недостойной о. Александра», «полуобразованной» и... вообще всей, такой... «полу-...» (мерзкой/какой обрисованной!), — не мне же такой — уяснять крупному человеку, что:

недоверие такого порядка в отношении порядочной (воистину порядочной, а не в смысле адвокатских «котлет») женщины было бы равносильно, в отношении мужчины, сомнению в самой примитивной честности! В отношении же «любимой»? — непостижимо мне это!

Да! Я могла бы послать «доказательства подлости, а не правды», требуемые от меня — но *я знаю*, что тогда человек, уверовавший мне *после* этих «доказательств», что такой человек мне был бы не нужен больше!

Я в последний момент воздержалась от этого.

Не может быть в таком вопросе 2-х мнений!

И действие этих писем, пригвоздивших меня, по чудовищности своей не сравнимо для сердца моего н и с чем, кроме самой, т о й подлости «N»!

В этих письмах весь мой духовный облик того времени так искажен, «разукрашен» богатейшей фантазией и так обезображен и обезОбражен, что я ужасаюсь той нечуткости (?), с какой это было сделано. Я не люблю неправды, ни в отношеении других, ни в отношении себя, — и вот во имя справедливости, отбросив скромность, я протестую, против *всего* в этих письмах! Не против изображения мелких фактиков, но против толкования их! Против той сути, которая была дана взамен настоящей — ужасная, несправедливая!

Я не могу теперь, будучи так заклейменной, «оправдываться». Мне противно это. Но я обязана во имя Высшей Справедливости сказать, что без натяжки можно меня считать чистой. И... достойной моего покойного отца[i].

Я это знаю, душой своей знаю! —

Я не запачкалась ничем!

Как не понять было (после всех моих писем, и не только последнего времени) — в ч е м была драма моей жизни?!

И это после моего письма о «понимании любви» и о том «за что я люблю "его"» (т.е. героя)?

Следуя непосредственному порыву, поведать любимому все о себе, я не «давала» ни «романа», ни «героев», но, не-

---

[i] Эти два предложения взяты О. А. Бредиус-Субботиной в рамку.

щадно, относясь к себе самой, писала полуисповедь, полужалобу на жизнь свою.

Ни не правды, ни неправды не содержит в себе этот мой «рассказ». Да и к чему же была бы она?

Умышленно «они» почти не обрисованы. Никак. А о себе? Я уж сказала: полуисповедь!

И потому так «голо».

Чтобы... «не пщевати вины о гресех»...

Разве нужно быть особливо-грязной духом, чтобы почувствовать искушение?

Я за всю свою, т у, прошлую жизнь ни перед кем не опускала глаз. И папе моему не пришлось бы меня стыдиться.

И вот, прочтя все «обвинения» мне, я спрашиваю себя:

1) Как же можно останавливаться на такой мерзкой, пакостной, всей... «полу... какой-то» (да, да, такой я обрисована, — и это гадкое «дэми»!), развратной девчонкой — крутившейся с «гарри-жоржами» и кончившей свое «дэми... бытие», замужеством «из-за удобств». (Господи, Господи!)...

2) Что дало повод к этому... странному обращению со мной?

Все это «обращение» со мной дает мне чувствовать, что я не уважаема. За что?

Это упрек мне в «двойственности» — не отвечает ли он на этот вопрос «за что»? Не говорит ли он, что за последние эти мои 1/2 года?

«Я никогда не опускала глаз ни перед кем» — сказала я. Да, за исключением этих 1/2 года.

За них то и «двойственность»? С невыразимой горечью принимаю упрек этот! Глубоко запал он в душу!

Я должна разобрать все, для всей жизни, и здесь, и... т а м... Я поняла через упрек этот (как же больно мне!), что «преступив» хоть что-нибудь, надо быть готовой даже к обвинению с той стороны, с которой никак не ожидаешь. Очень больно это! И все же я скажу, что и за это бить меня нельзя!

Я, с а м а я, и только я знаю, что я отвечу Богу![i]

Возникновение «чумовых писем» о ч е н ь важно с а м о по с е б е, вне зависимости от того, доходят ли они до цели, или — то по воле цензуры, то по мягкости Сергея Михеевича, задерживаются до поры до времени, чтобы быть досланными «под горячую руку». И это от 1.XII... для

---

[i] Это предложение взято в рамку О. А. Бредиус-Субботиной.

чего оно? Я же сердцем, душой объяснила, что и не думаю «брыкаться от задачи литературной». Для чего же тогда и писать, если ничему нет веры, если, фантазии созданные, фантомы, имеют больше прав на жизнь, чем моя Правда?!

О моих переживаниях, чувствах, и м. б. чуяниях я не могу писать сейчас, — я страшусь поспешных выводов, непоправимых заключений.

Мне слишком дорого все то Светлое, бывшее между нами, чтобы неосторожно углубить, и без того сверлящую, трещину. И потому я не говорю того, что мне прожигает душу...

Я не знаю как и когда все это изживется, но хочу верить, что Бог поможет в этом!

Прошу (хоть именем папы) поверить мне, что пишу я без всяких «изломов», — и если не делаю никаких обращений, то только потому, что мне тяжело это, потому что не хочу принуждать себя. И точно также я не могу сердцем поблагодарить за присланное: свечи, «Пути Небесные», давно просимое, цветы. Мне больно это... что не могу! С. поставил ландыши в гостиной, — с тех пор я их не вижу. Не могу!

О. Б.-С.

135

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.I.42

Ваня мой любимый!

Из последней моей силы пишу тебе. Не слова это — клянусь Богом тебе, что так это. И заклинаю тебя верить моему каждому слову!

Я в отчаянии полном, безутешно, горько! Твое письмо от 10-го I перечитываю и вижу, что то, что я приняла за Веру мне — вовсе не вера. Это ты только из любви ко мне, стараешься увидеть меня такой, какой хочешь видеть. Как ты и сам сказал — «для того, чтобы тебя сделать героиней, я бы должен был тебя сильно преломить моим искусством». Для меня в этом весь ужас, вся погибель моя. Для меня твой «обвинительный акт» (пусть я его не читала, но он есть!) — мой смертный приговор. Ты одно поверь: ты для меня всегда был тем, что для людей — Пророки! Ты — мой источник жизни! Жизни духа! Поверишь м. б., т.к. это я *всегда* писала!

И вот ты, Учитель мой, Пророк и все, все мне дорогое — ты даешь мне этот «обвинительный акт»! *Это* — мой

облик, тобой сделанный! Печать, клеймо мне на душу. Я не могу дышать! Бесценный Ваня, пойми меня!

Все, весь рай мой с тобой — закончится этим! Пойми: я люблю тебя полно, всем существом моим, но вся почва, на которой это выросло, на чем спелась эта дивная райская песня, — эта почва — целомудренность Души моей! Моя лучшая часть, моя Душа, мой Дух — создали весь этот лучезарный мир твой! И верь мне (!) — я всегда была такая!

Я каленым железом готова бы выжечь каждый, полученный поцелуй, что тебя так мучает.

Но, верь мне (!) — ты воспринял меня *не* верно, не верно обвинил!

Ну, хоть примером пойми: Тоничка твой! Даша! Ваня, а мне вот, такой «сквернoй», казалось уж «слишком не по-девичьи» то, что Даша могла «сомлеть». Я не смела сказать тебе этого, но мне это не уяснялось. Я, теперь женщина, чувствовала, что не могла бы «сомлеть». У меня *всегда* (и никогда не было иначе!) было такое сильное желание горения, парения Духа, что я вся только это хотела видеть и в другом. Я вся была струной! Струна же не может смягнуть. И, если бы ты меня увидел хоть раз, то понял бы, что мне органически гадки эти «особливо-женские манеры» даже и в других. Я же тебе писала, кто мои героини. Моя вина — неосторожность. Воображение, заменяющее действительность. Кто меня близко знают — знают это. Одна дама издевалась даже надо мной цинично за то, что по-мне выходить должно, что большинство мужчин — девственники. Я же не гадкая оттого, что в каждой моей «встрече» «видела» то, что искала. Я на некоторых данных — всегда религиозного порядка, — строила свой образ. И потом так верила сама, что разочарование стоило мне больших потрясений. И если бы ты знал, что я испытывала в душе моей при этом! Ты никогда бы не поднял на меня камня! Мое «темное» на горах и иногда проявляющее себя и еще, никто не знал, не видел. И наоборот считали все ненормально развитой, холодной. Я волей себя всю сковывала, ненавидя себя самое. С ужасом спрашивая себя «откуда эти чувства?» Я клянусь тебе! Клянусь! Я бичевала себя за это! Это редко бывало, такие чувства! Я о «горах» тебе написала, потому, что до сих пор их себе не могу простить, что «предавалась» этим чувствам, цветы эти еще рвала... Я каялась во всех таких помыслах на исповеди. Я очень строго к исповеди и к себе отношусь. Я никогда не пользовалась «особливо-женской манерой», никогда не «завлекала», никогда сознательно не обращала на себя внимания.

Но ты ведь мне не веришь!!

Как ужасно это! Чем же доказать мне?!

Я изнемогаю от этого!

Ты пойми, что утратив для тебя целомудренную ценность — я вообще утрачиваюсь для тебя!

Что же это — конец??

Ваня, но все же это — ложь! Ты выдумал что-то! Я не понимаю, как это возможно! Я пойду к батюшке. Я все ему расскажу. И если я такая (но нет, это не так, я себя знаю!) — то что же мне?? Я не могу жить так! Я все, все прошла памятью и скажу тебе, что я всю жизнь искала только чистоты! Это мой Kennzeichnen![i] Я не вру! Это моя сущность! Я — такая! И если ты мне только из любви дозволяешь остаться в твоем сердце и создаешь меня сам только, то — это ужас... я так *не* могу! Я виновата тем, что с хирургом была бездумна! Я виню себя за него! Эта бездумность была плодом моего страдания вечного тогда. Хотелось просто посмотреть, не участвуя сама, как люди умеют смеяться и петь. Я ничуть не запачкалась. Я дура, я могу увлечься пеньем, весельем. Я не люблю цыганщину, это не мое, но у меня бывает настроение только, может бывать, когда я это чем-то в себе принимать могу. Ну, ты-то тоже ведь хотел со мной «к цыганам». Писал же! Это не значит, что нас с тобой только они влекут. Но я поняла тебя. Я не могу объяснить.

И самое, самое главное: у меня, при моем постоянном духовном голоде, при моем искании «папы», — при постоянном «обжигании» на этом — появлялось отчаяние иногда. Я была всегда очень одинока. Я клянусь тебе всем мне святым, что если бы я тебя нашла тогда, то ни на кого бы даже и не посмотрела! Ваня, ужасно, что мне не поверить можешь! Мне трудно говорить! Счастье Тони, что он нашел «синие глаза, поведшие его за собой», так скоро! А если бы он ошибся, так как ошибалась я все время!? Тоник искал бы дальше, я уверена. «Находя», творил бы их снова, этих чудесных «херувим» из грязной Серафимы. Что же стал бы он грязнее от этого? Я позволяла себя поцеловать не грязному, но тому светлому, которого я сама создавала, которому, как казалось, не грех это, но наоборот — чудесно... Я — *не* «зацелована» как ты это видишь.

Важно ведь то, *как* ты это воспринял. И продажная женщина целует, и Дари целует, но сам факт поцелуя еще не говорит ничего! Я клянусь тебе, что низкие инстинкты

---

[i] Характер (*нем.*).

не имели никакого у меня места! Поверь! Наоборот все! М. б. невероятно тебе это — но я клянусь: я — рыцарь, жертва этой чистоты, я ее искала всю жизнь. Я срывалась, т.к. ошибалась в людях, но разве это такой грех, за который ты меня обвиняешь? Я вообще не так обычна. Я м. б. немного ненормальна. Я еще ребенком была «сумасшедшая». Я — фанатичка, фантазерка, я м. б. чуть-чуть наивна. Иногда мне кажется, что я бы не могла быть матерью, т.к. сама все еще ребенок. Это не кокетство — я пишу тебе так, как бы говорила на духу. Сегодня Крещенье! Мне так бы хотелось *все* очистить «Водою и Духом!» Ваня, пока твой «обвинительный акт» существует, — я не смогу ни жить, ни писать — я пишу только для тебя, я а не смогу, если в то, из чего я творить хочу, — ты не веришь!

[На полях:] Пойми!!

С 10-го от тебя нет писем. Получил мои новогодние?

Если свечи только 10-летке, то я их не приму! Я та же, что и 10-ти лет! Поверь мне!

Какая-то насмешка судьбы: — мне, ненавидящей всю эту «особливость женскую» — такой упрек!

Твое письмо от 10-го I открыло своей любовью мою «заслонку», — я могу высказаться. Но мне тяжело писать до твоей веры.

Люблю тебя до смерти! До моей смерти! Только тебя.

Не знаю как и подписаться. Могу ли еще Оля?

Если ты мне не веришь, то мне стыдно за подпись мою на письме новогоднем. Как ты ее принял? Я боюсь! «"Гадина" смела так» — подумал ты? Да?

Хорошо, пусть мы никогда не свидимся. Я все так же тебя буду любить! М. б. ты тогда поверишь, что я люблю Духом!?

136

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.I.42[i]

Дорогой Иван!

Вчерашнее твое письмо от 18—19—20.I крайне меня удивило и... очень больно затронуло.

Не могу понять как ты сумел «опечалиться» моим письмом от 7—8.I! Я писала его в такой нежной тоске по тебе, в

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: характеристика духовного облика мамы. Чудесно! О, как же О. умна!

такой светлой любви... это последнее письмо до начала кошмара, и сейчас еще не прошедшего. То письмо шло из сердца, открыто, искренне, особенно-нежно. Что можно было найти в нем для обиды? Не понимаю. Если ты так все принимать хочешь, то отнимаешь у меня всякую возможность письменного общения с тобой. У меня руки опускаются!

Затем еще одно: ты затронул мою мать. Я никогда особенно много о ней не писала, но теперь я считаю долгом своим рассказать тебе о ней. Ты можешь считать меня чем и кем угодно, но ни в какой степени ты не можешь, найденное тобой порочное во мне, вкладывать в мать мою! Мама моя относится к тем женщинам, которых нужно было бы отметить в жизни, назвать Героем. Не героиней, а героем! И когда я впервые, давно, до встречи с тобой, тоже думала о «творчестве», то это было в связи с этим. Я считала для великой, людской Правды, необходимым начертить жизнь этой удивительной Женщины, — Человека. Не потому, что это мать моя. Я умею быть очень объективной. С мамой мы очень разны в характере. И во внешности. С уроном для меня. Мама красавица, была и есть еще. До удивления я ничего не взяла от нее. Это все замечали. В детстве я плакала от этого, воображая, что я «найденыш». Но это в сторону!

Внутренне — мать моя сильная духом, властная, волевая натура. Цельность, ясность ума, трезвость, здравость суждения, светлость и чистота, какая-то особая крепость, — вот что чувствует каждый, кто с ней сталкивается. Полное отсутствие «изломов», кокетства, всего того, чем часто страдают женщины. И в этом смысле мама очень мало женщина.

Мама непорочна вполне, целомудрена до предела, какого могут достичь смертные. Я ручаюсь, что трудно было бы найти вторую такую. Она — однолюбка, вполне!

Я-то это хорошо знаю! Оставшись вдовой 32-х лет, мама привлекала очень многих. Я ревнивица-фантазерка была чудесным сыщиком. Где только я ни бывала, чего только не старалась угадать... И я скажу, что при моей безумной щепетильной требовательности к родительской высоте и непоколебимости — я сохранила к маме тогдашней и до сих пор самое святое почитание. Я до безумия ревновала к одному офицеру (очень чуткий, хороший), именно потому и казался мне опасным, что хороший был. Но как же свята была мама!!! Как я стыдилась после самой же себя! Ни единого взгляда, ни единого движения!

Мама, оставшись с нами без всяких средств, начала учиться на Высших женских курсах, чтобы ни от кого не зависеть и смочь вытянуть нас на дорогу. Она все экзамены сдала на «весьма». Отказывала себе во всем. Давала уроки и за это имела комнату и стол. Уставала до безумия. Заболела — галлюцинации видела. Наша начальница института однажды при каком-то родительском акте публично начала воспевать маму, как «чудесный образец русской Женщины!» Мама очень скромна, застенчива. Не любит напоминать о себе, забот о себе. И даже это выражается резкостью у нее. Может бывать раздражительна. У мамы есть недостатки, конечно, я их знаю, — но вовсе не те, что ты сказал. Она может быть резка, очень пряма и напориста в споре. Она может быть неприятна некоторым, м. б. от тех качеств сильных, волевых людей. Мама властна. Но кто бы не сталкивался с ней, оставлял всегда чудесную о ней память. Она очаровательна с людьми. Мне казалась мама слишком строгой ко мне. Мама не терпит никаких «кокетств» органически. Мои «изломы» она просто не понимает. Так и говорит: «я тебя ведь во многом не понимаю». Она очень определенна. Активна, деятельна во всем!

Мои фантазерства, воображения, тревоги, все мое «иррациональное» — чуждо ей. Сама она не лишена и мистицизма, но все это в хороших рамках, уравновешено. Мама верующая очень, глубоко, здорово. Без всяких «надрывов». Всякие «психосдвиги», «психоанализы» и т.п. чужды ей. Она мне сколько раз говорила, что на моем месте не нашла бы общей почвы с Арнольдом. Что такое ей просто чуждо и скучно. И удивлялась, что я во всем этом как-то разбиралась. Ее жизнь личная погасла вся со смертью папы. Она всю себя зачеркнула. Для нас. Она пропала вся для себя. Скорбная доля ее!

Грешно, именно грешно, говорить о ней так, как это сделал ты! Я делаю поправку только на то, что ты ее не знал. Но все же надо осторожней!

Мать моя (как и еще некоторые виденные мною в эмиграции — очень немного!) — Герой! Герой не одного какого-либо момента жизни, но повседневный! С выдержкой и постоянством необычайным!

Этих героев не чествуют, их никто не знает. И потому я хотела все же хоть убогий (по силам), создать памятник.

Физиологическую сторону у нее (мне противно даже писать это!), у матери моей никто, ни в какую лупу не увидит. Да, она очень живая, м. б. страстная, но не в смысле любовном. Мама настолько личность, недюжинная, не

по-женски недюжинная, что эта самая «физиологическая сторона» просто исчезает. С почетом к ней относились самые крупные люди из наших знакомых. Например, один строжайший проф. богословия, авторитет всего города, апостол (буквально!) — чтил маму, как «редкую, святую душу!» И когда мама смущалась ее предстоящим браком (не касайся дурно этого ее шага!), то этот же священник уяснял ей сущность очень многого. Я не могу и не смею все писать в письме.

Второй мамин брак не снижает ее ничуть. И это говорю я, вернейший ее «телохранитель» и вернейший папин «паж». Надо знать многое, чтобы судить. Меня воспитывала мама строго. И в вопросах любви особо-строго. Мама порицала всякое неосторожное слово, кокетство. Она мне о себе рассказывала и говорила: «когда я была молоденькая и за мной "ухаживали", то я никогда не "играла", не "кокетничала", но сама себя спрашивала: нравится он мне так, что я бы всю жизнь прошла с ним? И если нет, то я давала сейчас же понять, что ему со мной делать нечего. Помни, Оля, — никогда не "играй", если не чувствуешь Любви. Только, когда я папу вашего встретила, то все во мне сказало: "вот он!"» И тогда мама, не ломаясь, сказала ему то, что чувствовала на его вопрос. Я этим руководствуюсь всю жизнь. Но мое горе в том, что я ошибаюсь, я фантазирую, создаю себе образы и так уверяюсь, что могу не видеть действительности. Или не точно видеть.

Я не могла бы увлечься нулем, но по нескольким признакам, подходящим к моему идеалу я дорисовываю себе этот идеал. Мой идеал всегда чудесный! Чистый! И только чистый! И встречаясь с людьми я верила, что они лучше, что это-то и есть идеал, единственный. Меня всегда подкупала религиозность, любовь к природе, к детям. «Низменные инстинкты» отвращали, разбивали, до болезни. Не много было таких «ожогов», но все мои встречи, которые тебе рассказала, были такие. Остальных, кто мне не нравились, я отшвыривала. Во мне никак не проявлялась «физиологическая сторона». Какой вздор!! Что за гадости ты подозреваешь опять в поездке с шефом?! Я же тебе написала, как этого подлеца посадила на задние лапки.

Мне тошно писать обо всем этом. Если ты продолжаешь меня считать такой пакостной, то это твое дело.

Меня мутит от всего этого! Я не хочу больше никак касаться всего этого. И пишу сегодня только потому, что считаю своим долгом в отношении матери. Хотя мне претило делать такой «разбор» о Ней! Это мое святое — мама!

Пусть мы часто расходимся в характерах, спорах, восприятиях, — но она объективно светла и непорочно — чиста! Марай меня, но на нее не посягай! Мне больно, что я дала тебе повод (дала ли?) из моей повести вычитать нечто, что бросило тень на нее. Это ужас! Со страхом открываю твои письма, т.к. не в силах просто больше перенести неправду. Нет, не трогай мать! Знаешь, однажды среди матросни и солдатни мы с мамой протискивались на пароход однажды. Обе в полушубках и платках. Один матрос маму (досадно, вперед проходит) ткнул «эй ты, тетка!» Ты знаешь, что со мной тогда стало?! Я не побоялась его нагана. Остановился в ругани... «ну, чего ты, ишь озлилась как за мать-то!»[i] Но теперь не только *за мать*, но и за Человека-Героя! Я повторяю, что делаю поправку на то, что ты ничего не знал о ней. И... извиняю. Но мне очень больно!

Оля

[На полях:] Мать моя много взяла от ее отца. Человека редкого, чтимого за праведника во всем округе.

Мне так хочется света между нами! Тепла и ласки! Зачем ты мучаешь себя и меня?!

Зачем ты все так хочешь портить? Сознательно? Нароч-но?

137

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.I.42 5-30 вечера

Моя святая, вся чистая моя, голубочка моя Олюша, как больно в сердце от твоих страданий, безвинная моя... и я, я, недостойный, я причинил их! Сознание горькое моего зла, — о, я его изжил, я им лишь миг какой-то был порабощен! — так меня потрясло, так я противен себе стал... если бы ты все это увидела в моей душе, ты сжалилась бы и простила. Ты меня простила, знаю. Не видя, всей моей боли этой не постигая, ты уже меня простила, я так это чувствую, я так тебя вижу, Святая... так приникаю к тебе, как к самому величайшему благу, как к самому для меня чистейшему и святому в жизни моей... простила ты, я верю, верю... и целую твои ножки, светик ты мой... О, как я тебя обидел... Но я не хотел, не мог хотеть этого, ты же меня знаешь. Был такой темный час, все во мне запылало

---

[i] не сочти это воспоминание за «сравнение», — я хочу тебе только сказать, что девчонкой я уже за мать стояла горой.

и обожгло, и я — да, бессознательно, весь во власти страшного воображения, — не удержался, послал ту бессмысленную, бесчинную открытку... — и, придя в себя, ужаснулся, что я наделал! Я тут же написал, письмо за письмом, молил тебя не принимать этой открытки, не видеть ее, — ее будто и не было. Но, должно быть, я все еще пытался выбраться из петли злой, еще, должно быть, сильней запутался, я ничего не помню, Оля! Боже мой, я молю тебя, моя детка, верь мне, верь тому, кто ты для меня! Выше духом, чище, святей, глубже, достойней, прозрачней, святей тебя... — нет для меня никого, заклинаю тебя поверить мне в этом, всем дорогим клянусь... Оля, ты для меня стала еще дороже, еще заветней, еще святей... можно ли любить больше, чем люблю тебя? Так я ни-кого не любил... такой божественной души нигде же нельзя встретить, это только ты, ты одна, такая, Олюша... меня душат слезы, я не смею глядеть на тебя, мне даже стыдно и страшно сознавать, что я могу писать тебе, после моего зла... Ольга, я тебе во всем верю, я тебе всегда, как узнал тебя, верил и верю, и верней этого нет ничего во мне. Нежней моего сердца ныне не может быть — к тебе... это предел сил моих, предел всего святого, чистого, на что я мог бы быть способен! Оля, прошу, забудь все это, никогда не поминай о моем позоре перед тобой! Ты неприкосновенна, ты безгрешна, и как же ты велика, чудесна, непостижима для меня отныне — и до смерти, и там, я верю, там ты будешь для меня — другого — святой, все-чистой, вечной моей... с моими, милыми... Ты единственная, непорочная, непостижимая! Я всем сердцем, всею прямотой его говорю тебе — как я недостоин тебя! ножку твою не смею взглядом даже поцеловать... Оля, мне так тягостно за твои боли, за мою проклятость! Помилуй, родная... Вытесни из сердца... я же тотчас раскаялся, я молил не верить моему бешеному слову! Я не имел никакого права касаться всего твоего, это была твоя святая воля открыть мне и светлое, и больное в тебе, и я вижу, какой же ослепительный свет твоей Души! как ты чудесна, и как я могу порой быть гадким! Это мука неизбывная... Как подумаю, что ты все святые дни... что перечувствовала, что выплакала..! И мои бедные цветочки... — а как же я старался, чтобы твои глаза увидали в них немножко хоть чистого, что есть во мне, увидали, смотря на эти бедные ландышки... как вспомню — вот реву сейчас, пишу тебе, ничего не вижу, от боли... от такой нежности, от такой светлости от тебя... бедные они, одинокие, как мы с тобой в целом мире... ждали и глазками снеж-

ными просили... — «погляди, Оля... это же Ваня твой к тебе пришел... погляди на нас, девочка светлая... мы от Вани твоего к тебе... и тебя не можем найти...» Оля... когда я пишу тебе, у меня слезы кричат от твоей боли... Я так о тебе думал светло все эти дни... я так хотел хоть малым, что я могу для тебя, передать тебе мое сердце... хоть малым тебя порадовать, сказать и м и, этими чистыми глазками цветов... к т о ты для меня, как я томлюсь вдали, всем твоим мучаюсь... Если бы ты увидала в с е во мне, что только тобой живет, тобой светится, ты бы приникла ко мне, и пожалели бы мы друг-дружку, за все скорби... Оля, я молюсь на тебя, я не могу, знаю, не могу часа без мысли о тебе... Я все эти месяцы создавал тебя, берег тебя, жил только тобой... — и вот, так гадко сорваться... так злом бросить в неповинную... так детски открывшуюся в самом болезненном... В с е я понимаю, знаю, к а к я виноват... Разумом-Духом з н а ю... что ты — Святая, а чувствишком мелким закрыться от Правды... — как я допустил?! Олёчек, позволь поцеловать руку твою, заглянуть в светлые глаза! Я тебя чту, Оля, я сознательно н е мог бы так поступить, не смел бы. Ты совершенно исключительная, к тебе нельзя подходить с обычным уровнем, — я это в смуте упустил из виду: я делал выводы из твоего рассказа с обычной меркой, с р е д н е й, м. б. и законной для обычного явления человеческой души, но только н е для твоей. Горько раскаиваюсь в этой недостойной ошибке. Ты вся от в ы с ш е г о, ты от Идеала человеческого духа, а не обычная. Для тысяч душ мой вывод был бы закономерен, но н е для тебя. Я говорю это сознательно и твердо. Ты права. Тебе н е л ь з я не верить, и я должен был это знать... еще бы н е должен, когда имею столько т о ч н ы х данных, только редчайшей душе свойственных. Это мне непростительно, я должен был понимать, о к о м речь! Да, ты безусловно права, пряма, ч и с т а, с в я т а! На тебя надо в з и р а т ь, а не глядеть. Родная, ценнейшая из ценного, необычайная! Разве я не был прав, так не раз тебя именуя?! Это сердце, чуткость моя т а к — и давно! — тебя определили, а о б ы ч н о с т ь моя, подавляемая страстями невысокими, неповинную тебя сравняло с обычным уровнем! Вот в чем моя ужасная, горькая ошибка, — и мне, мне самому горькая, до боли, — поверь же искренности моей, Оля! И забудь, залечи эту рану, если еще любишь меня, вечного твоего, истинного, незатемненного. Простим же друг-другу наши о б щ и е слабости: они из одного истока, из — для меня — безмерной, с т р а ш н о й к тебе Любви, чистой-чистой,

почти нездешней. Я это чувствую, и словом не могу назвать т а к о е. Знаю, что и в тебе это, хоть и не заслужил, — тоже знаю! — ни-когда такой Души не встречал, никогда... — и потому... м е ш а ю с ь, сбиваюсь на привычные мерки душевно-страстных определений. Больше нет сил говорить, не могу, бессилен больше.

Ольга, я весь уйду в работу над «Путями Небесными», вот только перепишу для тебя «Куликово поле». Буду воимя твое работать, моя светлая, моя далекая, моя ненаглядная. Я всегда с тобой и только — о тебе! Сладостная это и мучительная жизнь... т а к любить, и т а к бессильным быть перед безмерными событиями, когда и свидеться трудно, недоступно! Но молю: будем же верить, что наши пути сольются, что мы найдем, наконец, друг друга, чтобы не расставаться, не затеряться, — не могу я жить без Света, ты мне Свет.

Боже мой, как я ждал Праздника, как надеялся... моя Олёль согреется сердцем, почувствует меня в этих чистых цветках... как мечтал! Эта твоя «одна» свечечка на верхушке елочки твоей... ты писала! — меня опечалила! Я до тоски метался — послать тебе — радостных, ярких... и как мало нашел, но все же я нашел и верил — вот, 3-ье сегодня... м. б. попадут на 2-й день, так и думал, и так был рад, когда Сережа написал... как раз к 8-му едет. И «Пути» мои так во-время дошли... не знаю, в с е ли. И... почти з а б ы л про зло в открытке... верил, что оно придет позднее моей «отмены». Неужели я и в других письмах так «вырвался»?! Не думал. Я искренно просил — не считаться с открыткой, — я уже овладел истинной меркой для тебя, восстановил себя на верный уровень — к тебе! Клянусь, моя бесценная, клянусь самым дорогим, нетленным! Должно быть обреченные ландыши п о г а с л и, за эти 9 дней?! Ты не хочешь меня опечалить и говоришь — чудесные! 9 дней! Ольга, все твои цветы ж и в у т! Все, все, все. Это — чудо, т а к долго оставаться свежими, ж и в ы м и. Я их целую, вхожу к ним часто, в холодную их комнату, — моя очень большая комната, как бы «ателье», на зиму перегорожена портьерой и холостой — картонной — стенкой, иначе не согреть; и в той, и в другой по большому окну, около 4 1/2 метров каждое, и холодят. В ней сейчас 10 градусов, а у цветов 3—4. Согреваюсь электро-радиатором. Олюша, не «золотить пилюлю» писал тебе вдогонку за открыткой, а всем сердцем ласкался, молился на тебя. О, как я тебя люблю, — ты не простая моя Оля, ты — правда! — как Святыня мне, ты — Божественная, чистая, молитва моя,

небо мое... Оля, верь мне, какую голубоглазую тебя я видел во сне, золотистую, нежную! Ну, чем высказать, как ты для меня чиста, свята? Господь мне тебя послал — мне быть лучшим, чистым через тебя! Ни слова больше о других, для меня в твоей всей жизни — ты только, одна ты, нетленная. Я должен был преклониться перед твоими терзаньями, перед беспримерной волей к чистоте, к идеалу, к жертвенности! Ты была предоставлена в тягчайшие дни жизни юной лишь своим силам, своей неопытности в жизни, ты искала в людях чистейшего, я знаю... и — сколько выстрадала! И я позволил себе столько неопрятных слов... я горел страстями, утратил власть над собой, лучшим, не совладал — на миг — с безумием, и... — как же я болею!

Олёль, ты все еще любишь? моя? да? Без тебя не могу, погибну.

Целую чистые глаза твои. Твой Ваня. Олюша, да, близкая? Молюсь.

[На полях:] Не забывай меня! Я жду твоего письма, как жизни! Ни слова о больном. Оно вне тебя.

Ты, бедняжка, мерзнешь... Оля, успокойся, поверь же мне! В слезах гляжу на тебя. И как ты мне дорога!!!

Досылаю это письмо, почему-то — в душевном смятении — не отправленное (замененное другим).

И. Ш.

138

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.I.42[i], 4 дня

Олюночка родная, ласковая моя, прокурор мой беспощадный, — скажу сильнее: гениальный! да, твое письмо «без обращения» — столь резко меня хлестнувшее, — я и сейчас чувствую его «ожоги» в сердце — и по-делом! — а письмо пришло вчера, — письмо это твое — кажется пределом всего, что мог бы желать гениальный из всех гениальных обвинителей! Ты потрясающе умна, необычайна, я такой сжатости и силы выражений — да еще в душевной муке! — не встречал, и сам Достоевский, мастер на «обвинения», — возьми «Карамазовых», «Преступление и...» —

---

[i] К письму приложены поминальные записки «О здравии Ольги и Иоанна» и «Об упокоении Ольги и Сергия убиенного». На каждой помета И. С. Шмелева: На Богоявление.

не мог бы создать лучшего «реквизитуара»!! Не сочти все это за «подход» к тебе, за попытку тебя смягчить: ни ты, ни я в этом не нуждаемся, ты — пряма, я — найду и без этого путь оправдания, не только милосердия твоего ко мне. Я искренно говорю: при всей моей горечи от твоего письма-обвинения, я восхищаюсь твоим умом, твоей страстностью, твоей мерой. Чудесная, незаменимая, родная, дружка! И — всегда и во всем чистая, верная, — святая, для меня. И будь, будь такой, навсегда.

Твое возмущение мною мне понятно. Но я хочу хоть половину моей вины снять с себя: я зачеркнул свою «открытку» — от 31.XII, я вдогонь отправил письмо за письмом, прося тебя с этой безумной открыткой не считаться. Опоздали письма? Одно помни: я — как все, грешный, в страстях, в возбужденьях, в безумном напряжении охранить — в душе — твой лик чудесный, неприкосновенный. Помни же, кощунство не чуждо и высоко-духовным, испытанным, сжегшим, кажется, все в себе земное, страстное... — и они порой обуреваемы, и, мыслями боковыми, как-то грешат кощунством, воспевая в то же время Святое, недоступное людскому праху! Мысли злые, разжигающие, их мысли-чувства иногда грязнят все-честное. Все это — искушения, бренность плотского, греху повинного. Твои откровения мне я принял болью, я подошел к тебе с обычной меркой, меряющей страстную душу и страстное в тебе, как и во всех, и, борясь с чем-то, во мне протестующим и за тебя стоящим, я все же смутился духом и пытался найти в тебе уязвимые точки. И находил, сам сему не веря. Святая, чистая моя Олёль, я должен был мерить тебя совсем иною меркой, редкой, почти мне недоступной: в работе над своим искусством я применяю общечеловеческое мерило, а ты не этого масштаба: ты — сверх-масштаба. Я должен был исходить из идеальнейшего и чистейшего, и святейшего, что в тебе сильно представлено, что тебе даровано. И — проще исходить, в детской простоте, и в детской вере. В них только — правда Святого. Ты себе Крест взяла, за несчастного, ты пожалела, не жалея себя, а я... подчинился мелкому во мне, обычно-среднему. И — возгорелся. И — возгордился. И — ныне очищаюсь. Ты — нетленна, ты благословенна. И я склоняюсь перед тобой, я ножки твои целую, дитя Света, я весь в слезах перед твоей Иконой... — прости меня. Все, все прости мне, Оля. И верь, как же я плакал вчера, как мучился! Эти девять дней твоих безвинных страданий остались во мне, и терзают меня. Не вспоминай о моем позоре перед тобой. Ты — нетленной ос-

талась, а я... кощунственник. И чистые цветы — одни, сиротки наши! Все твои цветы — ж и в у т!! Оля, голубка, гуленька моя, единственная и в е ч н а я моя... — поверь мне, я искренно винюсь, и открываю тебе темную сторону своего бунтующего сердца. Я кляну себя, а тебя молю — забудь. Я всегда в е р и л и буду верить в тебя, в твою чистоту, в твою исключительность и непохожесть ни на кого из земных. Таких, как ты, я н е знал. И не узнаю. Таких — н е т на земле. Знаешь, Оль, ведь я создавал, пытался создать мою Дари... из ч е г о-то... чего н е видел в жизни, во что и поверить не мог бы... — я лишь мечтал о такой... и — что же? Я н а ш е л такую, — Т е б я! Да, да... я написал тебя, тебя не зная, написал женщину-дитя, просветленную небесным светом, сквозящую этим светом, — и — все же, повинную г р е х у, страстям... и — нетленную. Да, я счастлив, что предвосхитил тебя... нашел намек на тебя... и — н а ш е л настоящую Тебя. Да, теперь уж мне точно ясно: что Дари — Ты. Я был в нее влюблен, иначе я не смог бы ее дать... — я уже тогда любил тебя, искал тебя, в ы д у м ы в а л тебя, твой Лик Бессмертный! Ныне — я в с ю тебя нашел. И я напишу тебя. Да, Дари осложнилась. Во мне. Она теперь ж и в е т во мне ж и в о ю, полною несказанной прелести! О, как же я люблю ее — **Тебя**! Ольгуна, ты стала для меня еще дороже, еще чище, еще святей. Ты — во всем — беспредельна, во всем — лучшем-то. Я, безумец, ножки твои целовать должен, благодарить тебя, что ты открылась мне — и т а к детски-чисто, как на-духу, открылась! Эти муки твои на горах, эти вдыхания цветов, это борение страстей в тебе, эти з о в ы... — это сама святая правда, это н а ш а «цепь земная», ею прикованы к земному! Ты открыла мне это, ты подарила э т о моей Дари. Для меня это — твое откровение мне. И это, слабо угаданное мною в Дари, — крестик под грудью! — эти твои томления, — какая правда! — ты подаришь роману. А себя... всю себя, дивную, ты подаришь Ване твоему, который тебя любит и чтит, как самое драгоценное, святейшее! Оля, твои вопросы в письмах от 1-го и 2 янв. — я понимаю, и я отвечу на них. Чего хочу от тебя? Оля, я хочу, чтобы ты была моей, в с е й моей, женой моей, была со мной, была моей святыней, моей Иконой чудотворной. Оля, я тебя люблю в с е й любовью, и не страшусь, и не стыжусь этой своей любви к тебе, хоть и насколько же я тебя старше! Но ты — не боишься сама сего, ты меня любишь, я так тебе верю, твоей любви... и я зову тебя, и я... не знаю, что же мне сделать, чтобы все это, последняя мечта-желание жизни, осуществи-

лась скорей. Я не стыжусь и самовольства, и — пока — незаконности. Мне ждать нельзя. Я хочу того же, святого в любви, в полной любви, как и ты. Оля, дай мне Сережечку, или — Олю... — все драгоценно, все свято, все — предел счастья. Да, ты воспитала бы ребенка, я знаю. Нового, чистого, светло-просветленного в уме и сердце! Это был бы Дар твой-мой — живой жизни. Олюша, верь мне, — я хочу твоей любви, счастья с тобой, ласковой с тобой общей жизни, на моем скользком склоне. Поздно? Время неизмеримо днями, годами: так оно условно. Но ждать долго, ты знаешь сама, нельзя. Чем можем ускорить начало нашего нового, общего пути? Мой приезд... конечно, этого не решает, ни-чего не решает. Я тебя знаю, всю знаю, и я хочу тебя живой, но... увидеть на день-другой... и — уйти, в свою пустоту одиночества! Правда, я могу уйти в свою работу... — но, Оля, с тобой, возле тебя моя работа, знаю, будет искрометна, ярка, сильна, оживотворена — тобой. Все может измениться, облегчить... но срока мы не знаем. Дни уходят. Вот, 4 месяца, как я тебе открылся весь, всей душой, сказав: Оля, будь моей женой, законной. Теперь скажу: если пока нельзя тебе быть моей женой по закону, будь ею по духу, по плоти, по молитве нашей, общей... пока. Я открыто назову тебя моей женой, мне никого не стыдно и не страшно. Ты нужна жизни, ты не можешь, не имеешь права быть вне ее. Тут, в этих словах — все. Ты не должна быть под спудом. Я буду счастлив наполнять твою душу — чем пожелаешь, что в моей власти, в моих силах, в моем умении. Ты жизни не боишься, ты — сама Жизнь. И я — с тобой, не боюсь ни за тебя, ни за себя. Если откроется Россия, — у нас все будет, пусть хоть короткий отрезок лет, что мне суждено прожить. Ты для меня ныне единственная, вечная, земная и небесная. Ты — с моими отшедшими — единое для меня. И они, — если они есть там, — они тебя любят и благословляют. Верю так. Никогда ты мне не была необходима только для искусства. Ты мне дорога, живая, обладаемая вполне, ты, Оля, Олюша, Ольга, Ольгуночка, Олёль моя, Олюночка, моя дива чистая, моя Дева. Вот как я смотрю на тебя, как ценю тебя, как люблю тебя! Я все люблю и ценю в тебе: и твою чистоту, и твою земную порыв-страстность. Я напел тебя, я вызвал тебя мечтой, и ты выступила из смутных далей, олицетворилась, ожила, — и я тебя дождался, как бы создал. Да, я верю: у нас одна с тобой Душа, как бы половинки, разделенные, которые стремятся слиться. И — должны слить-

ся. Я тебе писал, что цветок ж и т ь будет, хоть и не клубень. Так бывает очень редко, я знаю. Пусть э т о будет знамением нам: будем жить. Будем же творить в жизни! Так слитно-дружно, как бывает редко-редко. Оля, вот мое сердце, смотри: я в с ю правду тебе сказал, только Правду, мою, нашу. Я понимаю твою любовь, ибо она и во мне, такая же. И я так же страдаю и жду, жду тебя. Я все силы употреблю, чтобы нам свидеться, — скоро весна, и я приеду, буду пытаться... или — ты приедешь. И ты пытайся. Я так молю тебя! Я так досадую, что удержал тебя тогда... но ведь и тогда было уже трудно. Ведь мы открылись друг другу уже после возобновившейся нашей переписки, после — много! — твоей болезни (40 г.), — весной 41 г. Разве могла приехать ты? «Сердце сердцу весть подает», написано тобой «встречно», в апреле 41 г.: не могла приехать? Нет. Никогда не удовлетворюсь этой «любовью в письмах», ни-когда. Она только сближает нас, уяснеяет друг-другу, но не отдает друг-другу. Мы должны с а м и, своей волей, отдаться друг-другу. Как это сделать..? Все еще не знаю. Без тебя — нет жизни, я не горю в работе, но я <u>х о ч у</u> гореть. И буду. «Пути» готовы, пиши. Стило исправят в понедельник. Как чудесны твои цветы! Сирень — 23 день! Гиацинт! Цикламены — с 13.XII. Целую всю, всю, всю. Твой Ваня

[На полях:] В эту субботнюю всенощную начинают петь чудесное: «Покаяние отверзи ми двери Жизнодавче[581]. Утренность бо дух мой ко Храму, Св. Твоему»... Оля, как бы я хотел все постные службы — с тобой, в России! Оля! О, сколько мы чудесного пережили бы, и — <u>вместе</u> одной Душой! И это должно <u>быть</u>, б у д е т! Верю. Не уйду — до того! М. б. еще 20 лет проживем вместе! И сколько я могу написать! Во мне столько воли к творческому! И — столько — планов! На 3 жизни хватило бы!

Нашла меня в «Путях»?

Горели алые свечки? Сохранила одну к Светлой Заутрене?

Масленица — 9-го февр. Новгородка Арина Родионовна (вот няня-то была!) спечет мне блинов. Люблю блины — и все. Я все люблю.

Неужели мы когда-нибудь будем вместе — в с е — обедать, думать, писать, играть?!! — Да. Петь.

Бедняжка, как ты мучаешься в холоде, с печами! У меня +10—11°! Скоро пустят центральное отопление. А [1 сл. нрзб.] теперь — 1-й день — хороший!

Я тебе все сказал. Мне нечего скрывать от тебя! Я — силен, чтобы жить с тобой, я ничем не болен, кроме «сонной» ulcus duodeni. Сердце мое — хорошее.

Ох, как все сильней люблю, Олюша, и как жду. Как живую тебя хочу!

Прилагаю твои-мои цветы в пакетике. Поцелуй.

139

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.I.42 8 утра

Милая Моя Ольгуна, я написал тебе и в ответ на твое письмо «без личного обращения», и на последующее. Написал также и по поводу разрешения самого главного — как нужно поступить, чтобы покончить нам с тяжелым для нас положением неопределенности твоей и моей жизни. Все эти три дня с письма твоего я в подавленности и смуте. Я вижу, что необходимо еще раз коснуться и твоего письма от 17.I, и моего предложения о разрешении неопределенности. Последнее особенно необходимо, а почему, — поймешь.

Я сильно ранен твоим уподоблением моего поступка с тобой, — говорю о моей открытке от 31 дек. и о моих письмах, посланных вдогонку открытке, чтобы исправить горестную мою раздраженность от твоей «повести жизни» — уподоблением действия моих писем — подлости, совершенной некогда в отношении тебя неведомым мне «Н», кого я определил, как «безобразничающее истерическое ничтожество». Перечитай же мои письма внимательней, и увидишь, как ты меня хлестнула. Своими письмами вдогонку я брал назад ту проклятую открытку, просил простить мне ее, и в письмах не пилюлю золотил ласковыми словами, а искренне винился и старался объяснить тебе, что моя просьба о «всей правде» вытекает из разбора твоего душевно-физического строя, твоих поступков и отношений с лицами — «встречными» в твоей «повести». Разве не вправе был я просить тебя закончить рассказ о «Н», — ибо ты его-то и не закончила, лишь пообещав сказать о «покаянии "Н"», — ? Разве это «утверждение клеветы»?! Разве здесь непонятно тебе мое волнение? разве не мог я испытывать то, что переживал Фома? Фоме Господь ответил, ты знаешь — как, и не сказал ему, как сказала ты мне: «уйди, ты мне не нужен больше». А ты это сказала мне, почти сказала, хоть и не высказала явно. Тут, в моем понятном

волнении, не утверждение клеветы, а страстное желание убедить себя, что искушавшие меня томления, — поставь же себя на мое место, и тебе станет ясно, как психологически прав я! — лишь давящий мираж-кошмар. Это не утверждение «непреложности», не грязь, которой будто бы я тебя пачкаю, это — мое страдание, навязчивая мысль, меня терзавшая, безумная мысль, ныне сгоревшая. Я боролся с нею, и я одолел ее, а не подчинился ей, не принял ее, как непреложность. Я очень терзался тем, что она могла во мне родиться, и я цеплялся за все, что могло бы ее закрыть от меня. Ты могла бы понять мое душевное состояние, если бы не ослепилась раздражением, и тогда ты поступила бы, как Христос в отношении томлений Фомы[582]. Ты все преувеличила, что было мною высказано в письмах, мои муки за тебя ты обратила в грязь, которой я будто бы тебя «пачкаю». Не так это, я всегда верил в чистоту твою, в идеальность твоих порывов, в способность твою к жертвенности. Но согласись же, Оля, что у меня были основания для смущения, для вопросов, для «помрачения» ясности в восприятиях того или другого из сообщенной мне «повести жизни». Все эти «деми», упоминаемые тобой, лишь логически оправдываемые заключения из фактов, из анализа твоих поступков. Все эти «увлечения» твои, так часто чередовавшиеся, так легко возникавшие, так неизменно приводившие — и так быстро! — к иным интимностям в обращении с увлекавшими тебя лицами, — могли же они вызвать во мне горькие и волнующие предположения о «легкости» восприятий, о... «это же так все невинно», так извинительно, так... безгрешно! и так... безотчетно! И «Дима», — тут уже бли-зость! — и «Микита», и... об «инкогнито», о... таком сверх-интимном, как «ребенок»... и твои слова «Диме»... — «надо все» — еще и подчеркнуто это «все»! — «все забыть...» Что — забыть? что — это «все»? Зачем это «все... все»... забыть? — если ровно ничего не было? Значит все те же «легкие поцелуи», такие «быстрые», так легко уделяемые, как и в случае с «Лёней»... и, значит, так легко извинительные? И как же, при таком напряженном (в данном случае) легкомыслии, — а таких случаев — очень много, — и «Лёня», и «Н», и «Дима», и «хирург», и «Г»... и... и... кто еще? Разве я, кому ты дала право вглядываться в твою жизнь, не получил от тебя же права спросить тебя, просить тебя — объяснить мне то-то и то-то в этом хороводе «увлечений»? При чем же тут «пачканье», при чем же тут уподобление моего понятного волнения утверждению непреложности? —

«подлости "Н"»? Почему даже отказ признать за мной тот простительный душевный хаос, в котором был и томился Фома когда-то, и что так любовно-ласково-кротко принято было самим Христом, и прощено Им? Оля, я тебе во всем верю, правде твоей верю, но я слабый, греховный человек, я тебе отдаю всего себя, я перед тобой душу раскрываю, доверчиво, томления свои открываю, и моя мольба к тебе не неверие в твою чистоту, а моление — «укрепи же меня, слабого, смутного, грешного... укрепи меня, Олюша, в моей вере в тебя... ты же сама, невольно, колебала ее твоим "рассказом"!» В ослепленности от сильного вживания в твой рассказ, я начинал громоздить всякие ужасы... и в то же мгновение я им не верил, я тебе, твоей духовной силе верил... и в тот же миг я молил тебя: «Оля, я несу в сердце твой чудесный, твой чудотворный образ, Образ... я на него молюсь... помоги же мне удержать его в себе! снизойди к шаткости моей грешной, к моим сомнениям, к моей неисследимой тоске!» И это, такое понятное, терзание, и эту страстную жажду утверждения твоей высоты и чисто-ты, ты понимаешь, как мое убеждение в непреложности того, от чего я отмахиваюсь, чему никак не верю, не хочу, не могу верить... и чем томлюсь! И если бы я просил «доказательств», и ты бы дала их мне, и я бы только по ним признал правду твою, ты могла бы сказать — «такой мне не нужен больше»! Мне доказательства не нужны, ты — вот моя вера и мой упор, и я победил себя, и ты для меня — нетленна, ты для меня — чудотворный Образ! Вот это и есть истинная моя правда, моя чудотворная опора в томительных искушениях моих, в греховной слабости создания, из праха сотворенного. «Чумовые» письма мои — внешнее выражение «томлений праха», я изливал в них томления и не отсылал их тебе, — я побеждал себя сам! А о письме 1 дек... — это же не в укор, что я все же, возвращенное раз, снова посылал, не в укор тебе, а потому, что там я давал литературные примеры, которые могли быть полезными тебе. Я поверил тебе, что ты не из каприза не хочешь писать то, о чем я просил тебя, а от смущенья перед трудностями работы — но никак не задачи. И послал тебе, как бы с тобой беседуя. А «чумовые» письма я ни-когда не отсылал, я их рвал, слабое, грешное в себе рвал. Ты знаешь, я живу воображением, оно часто уводит в нереальность: мои «чумовые» — повелительный отклик мучительному воображаемому, — я откликаюсь — и тем избавляю себя от «призраков», — и потом рву эти «призраки на бумаге», — и они никогда не возвращаются ко мне. В

твоей «повести» много «призраков», они стали давить меня, и — чтобы от них избавиться, я писал «чумовые письма». Слишком ты дорога мне, слишком предельно, вернее: беспредельно! тебя люблю, возношу, смотрю на тебя снизу вверх, и все, что тебя коснулось, — уже осквернение тебя в моем сердце, уже попытка тебя снизить, и я начинаю тобой томиться, я начинаю эту борьбу с призраками, тебя во мне темнящими. Как же, значит, ярко твое изображение их даже в сжатом виде, в этом конспекте-рассказе! Что бы со мной сделала, если бы стала давать «сцены»! Ты, твои «призраки» задушили бы меня. Тоже, м. б. только в меньшей степени, было бы и с другими, — читателями. Суди же сама, Олюша, до чего ты сильна в изображении, в творчестве — начальном! — твоем. Есть закон психологии творчества: когда что-нибудь начинает загромождать душу, художник должен чтобы избавить себя от этого бремени, — излить его в творческом порыве. Так Гоголь, угнетаемый «тоскою жизни», избавлялся от этой тоски, от ее призраков, творя свои «Мертвые души»[583]. И так — со всеми. Так и со мной, от твоей «повести». Теперь, «сотворив» «чумовые письма», я избавился от бремени. Ты — свет мой и чистота, ты — Икона мне, и я на тебя молюсь. Оля, это не слова. Бывает и другое: душа начинает изнывать по... свету, по чистоте, по красоте, по идеальному... и надо, повелительно надо избавить ее, душу, от этого «изнывания». Тогда создаются, невольно, великие шедевры-идеалы. Я — несомненно! — изнывал по идеалу-женщине, я его видел пусть несовершенным — в отсвете моей Оли: и я взывал к жизни мой идеальный «призрак» — мою Анастасию. И — повторилось это обременяющее душу изнывание, вызывание идеала-женщины! Разве я мою Дари знал? Почти не знал. Я некое лишь отражение ее видел... и я стал звать ее, я стал лепить ее... — и вот, повелительно-волшебно, она явилась, моя Дари... — «Пути»! Задолго до встречи с тобой, моя Царица! Я вызвал ее к жизни... и она, пройдя через мою душу в книгу, явилась, вся живая, — Ты, моя Олюша! ты!! Явилась, как увенчание исканий призрачных... — из мира идей, платоновского мира[584], — и оказалась... явью! От этого я никогда не отойду. Ты пришла, ты — есть, ты станешь моей реальностью. Вот она, моя правда, вот мое толкование самому себе — моего искусства. Ты, вечно ты... и до конца — Ты! Тебя дала мне Жизнь, не мной ты создана, ты создана Господом, но вымолена, выстрадана мною. Я тебя чувствовал, искал, и, поскольку сил хватило, — со-

здал словом, из призрачного мира моего, в силу душевной моей потребности, моей жажды, моих исканий. Это — чудо: И это чудо, — явь, ты — е с и! Ну, теперь тебе все понятно. Теперь ты поймешь, с к а к о й же силой я могу любить тебя! как н е могу без тебя? Веришь? Я в тебя крепко верю, я тебя люблю неизведанной еще любовью, я же создал тебя, из с е б я, я вызвал тебя, — и ты воплотилась в жизни, Ты — явилась, ж и в а я! Веришь? Чувствуешь, как же люблю тебя? Мало этого: ты — мое дитя, ты — моя сила, вера, любовь, страсть, творческая воля, — в с е! Веришь, Оля? Верь. Это — сама живая правда моего сердца, мысли, воли. «Напишу тебя, не бывшая никогда, и — будешь!»[585] Помнишь? Вот. «Напишу тебя, моя Дари... и ты придешь ко мне, и станешь — м о е ю, м н о ю!» И вот — ты пришла. Не буковками-словами, а всею своею сущностью, чистотой, красотой, душой, — в с е м! Как же ты можешь испортить мою Дари?! (безумец, писал когда-то..!) Ты ее дополняешь, ты ее во мне, во всей полноте и свете... рождаешь. Вот тебе моя правда... о тебе! Ну, утихни, девочка моя мятежная... ну, улыбнись светло... ну, дай же нежно, чисто поцеловать твои глаза... дай же слить твои чистые и грустные такие слезы с моими, горестными, мучительными и облегченно-озаряющими душу слезами. Смотри, разве это не чудо... — звать, творить, и — н а й т и, — не только в ускользающих ликах от искусства, а и — ж и в у ю, трепетную, истинную, как созданный Богом — Свет! Как же не быть счастливым! Как же не петь хвалу! И я пою тебя, и буду петь тебя, буду Господа петь з а тебя! и так будет — пока не остановилось сердце. Ты в нем и даешь ему жить собой. Да сохранит тебя Бог! Верни же Рождество, верни святые дни, н а ш и дни! Бедные, оставленные цветы... верни же их забывшему их сердцу твоему, покинувшему их... д л я п р и з р а к о в. А я ни-когда не покидал мои цветы, твои цветы — и тебя в них. Я за тебя боролся с призраками, и не отдал им тебя на поругание, во всей чистоте нетленной хранил и храню в сердце. Верь, Оля, незаменимая, неизменяемая, 10-летка-Оля, всегда о д н а! Ну, гуленька, прими же свечки, для тебя искал, для моей чудесной, 10-летки-Оли-Ольги, — глупенькой, маленькой и такой б о л ь ш о й! Твой, с ч а с т л и в ы й Ваня

140

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.I.42 11 утра

Дорогая моя, светляночка, голубка моя... Я писал тебе о «встрече», о новой жизни, — я призвал тебя к решительному шагу в жизни нашей. Эти дни я много томился думами об этом. Слушай, — и принимай все, как самое искреннее мое. Тут — ни «уклонений», ни «страхов перед новым» нет у меня. Тут — за тебя, за твою судьбу боязнь, — и только: не за себя.

Завтра будет 4 мес., как я открылся тебе и сказал прямо, верно: Оля, будь со мной, будь моею женой, законной, благословенной в таинстве. Тебя это потрясло, смутило, ты стала просить ничего не посылать, что могло бы... Ты помнишь. Твое письмо, от 2 окт. Теперь оно снова возникло во мне вместе с болью в растерянности моей, и вызвало те ужасные дни, октябрьские. Мне тогда казалось, что я тебя утратил, ты — уходила от меня. Это было не так. Но твое смятение было. Мне тревожно думать, что и на этот раз, получив мое письмо, от 23.I, ты смутишься, ты снова впадешь в трепет-муку, от моих слов. Я учитываю и это, и то, что ты, м. б. загоришься и — надо же когда-нибудь решить! — найдешь в себе силы сделать решительный шаг, м. б. и бесповоротный. Моя совесть, моя сильная любовь к тебе, мое почитание тебя, мое преклонение перед тобою, моя крепкая вера в исключительность и единственность твою, моя вся нежность к тебе... — все это велит мне быть очень с тобою бережным, не просить от тебя усилий сверх твоих сил. Оля... я с открытой душой к тебе говорю: все обдумай, пересмотри в себе, прежде, чем сделаешь важный шаг. Ведь, написав тебе то, что я написал в письме 23-го янв., я беру на себя огромную ответственность. Твой шаг м. б. и непоправим, для всей твоей жизни. Все обсуди. Ты меня не знаешь лично, не видала, не проверяла опытом жизни. Допускаю: мы встретились — в Париже ли, в Арнхеме ли... Нет, ты приехала, как я предполагал, ко мне. Ну, подумай... ну, а если я в каком-то отношении, ну... не подхожу тебе... ну, просто, ты увидишь вдруг, что выдуманный тобой, сотворенный в мечтах, по книгам моим, по моим ли письмам, — чем-то —, а м. б. даже и многим, — не отвечает тому душевному и внешнему образу, который ты сотворила в душе твоей?! Так это неопределимо словами, но может случиться... — тогда что же? Вот почему и говорю: Оля, ты мне дорога, превыше всего ты

для меня, я уже не могу жить без тебя... Но сколько же раз ты ошибалась в твоей жизни, отыскивая «единственного»! Сколько страданий, сколько надломов в твоей душе и жизни! И если, так крепко-нежно ты уверовала, что я должен быть тем «единственным», кого ты ждала, искала и, показалось тебе, — нашла... если вдруг ты и на сей раз убедишься в разочаровании, если я, земной, я — явь, — окажусь не тем, кого ты выносила в себе... что же тогда? Кто может поручиться, что я — тот самый? Надо все предвидеть. Да, для меня твое разочарование, новая твоя ошибка... будут тяжки, м. б. я не вынесу такого испытания... ну, речь у меня — не обо мне: о тебе речь. И я хочу остеречь тебя: поступай, дорогая, так, чтобы твой шаг ко мне навстречу не оказался непоправимым. У меня сердце сжимается, я эти ночи, с 21, когда пришло твое письмо без обращения, спать не сплю, все думаю... — и мне страшно. Не за себя, Оля. Не усмотри, умоляю тебя, в этих словах моих «уклонения», «подколесинщины», «нерешительности»... нет, это все будет неверное толкование слов моих, чувства моего. Ты для меня — дар Божий, сокровище незаслуженное: от такого дара — не откажусь, никогда. Я жду тебя, я зову тебя и я страшусь за твою судьбу. Разочароваться, не имея возможности отступить назад, вернуться — пусть в скучный, пустой уют-покой, — это что же? снова в испытания, в океан беспощадной жизни, в непосильную работу, и это с надорванными силами, м. б. бессильной... — от этого меня бросает в тоску и ужас. Ну, просто, ни я, ни мой уклад, ни обстановка, ни все другое, ну... просто, тебе не приглянутся. Ты горда, ты самолюбива, ты очень душевно-тревожна и требовательна — к идеальному. А я могу тебе показаться «совсем не тем», кого ты ожидала! Оля, все обдумай. Я настолько старше тебя... м. б. и это ляжет в душе твоей — пусть несознанным вполне — моим недостатком. Мой пыл душевный, многое во мне — могут показаться тебе с изъянами. Мой быт и привычки могут оказаться слишком и скромными, и отличающимися резко от той внешней обстановки, материальной... с какой ты освоилась, конечно, за эти годы в Голландии. Кто знает... ?! Покажусь унылым, — я не всегда бываю живым, я порой ухожу «в свое», скучаю мучительно... скучаю, когда во мне не строятся планы, не вяжется, не спорится моя работа... я очень — в работе — однотонен, скучен, недоволен собой и жизнью... — и это может тебе не понравиться. Да, я буду стараться так жить, чтобы ты была светла, счастлива, довольна, чтобы ты сама

строила свой мир и в нем жила... — в свой-то я тебя призываю, там нет для тебя никаких преград... но ты посчитайся и со своими свойствами. Я все хочу тебе сказать, ко всему привлечь твое внимание перед решением. Какая тяжесть ответственности на мне, за тебя, самое мне дорогое ныне! Я мог тебя увлечь и своими книгами, моим внутренним миром, моими устремлениями, моими письмами, очаровать и мыслями, и чувствами, и идеалами... наконец, мог, просто, заворожить гипнозом речи, жара, страстностью моей, моим «порывом», моим поклонением тебе... и ты начала создавать меня, лепить по своему желанию, мечтам... — и вот, вдруг откроется тебе, что созданный так я — другой, как будто! Погаснет очарование, ты вдруг увидишь, что о п я т ь ошиблась! Пути назад, в установившуюся обстановку за эти 4—5 лет, — уже нет. Да, я знаю, ты способна на жертвенность... ты, светло-гордая, м. б. и виду не покажешь, стерпишь... но с томлением, с горечью сознанной ошибки не справишься, затаишь в себе горечь, боль... тоску... снова начнешь искать... Вот обдумай и это. И все, связанное с решением, все последствия — для тебя и твоих, со стороны голландского дома... Я говорю тебе прямо: люблю, сильно, неизменно, мне с тобой нечего терять, с тобой — в с е у меня; но жертвы твоей я не смогу принять, сознание будет меня терзать: твоя вина, это — через тебя... ты исказил для нее все перспективы, ввел в заблуждение, обманул ее чаяния, ты — во всем ее страдании виновен. И это обдумай, Оля. И потому я, изменяя отчасти план, сообщенный мною тебе в письме 23 янв., предлагаю: не разрывать пока окончательно с А., — это всецело твое право, к а к поступать, — м. б. ты приедешь, не ко мне... а поселишься в отеле, приедешь на несколько дней... — не знаю, как ты все представляешь. Для меня — если забыть ответственность, — безмерное счастье — чтобы ты стала навсегда моей, Олей, с моим именем, полноправной, моей женой и хозяйкой в доме. Для тебя... если хоть малое разочарование во мне... — при сделанном решительном шаге, — последствия могут оказаться сверх твоих сил. Все продумай. Не усмотри в моих словах — умоляю! — и повторяю!! — нерешительности, колебания связать свою жизнь с тобой: нет, я честно, прямо говорю тебе: я д а в н о решил для себя, и не отступлюсь от дарованного радостного счастья, света жизни. Меня мучает все, тебя касающееся. Приедешь если, мы будем много времени проводить друг с другом. У меня перед глазами твой милый образ, и вся ты — счастье, которого не ждал, несбыточное, — вдруг —

сбывающееся! Ты ближе, глубже меня узнаешь, больше поймешь: ты же так умна, так проникновенна, ты все взвесишь и сделаешь вывод: что же надо и как надо решить, на что решиться. Помни еще одно: ты еще молода, ты многое увидишь впереди... а я... у меня, для меня каждый день на счету, и утратить тебя — для меня неизлечимо, этого удара, третьего! — я не выдержу. Не из себялюбия говорю, а опять-таки — ради тебя: удар и на тебе отразится, в твоем внутреннем чутком мире: у тебя совесть — мучающаяся, ох, какая же требовательная, тревожная! Если душа твоя меня принимает даже и теперь, принимает полно, ну, тогда решай... и чем скорее решение — тем легче мне, да и тебе, так чувствую. Но, принимай только после тщательного продумывания. М. б. я и ошибаюсь, м. б. ты уже все обдумала, спросила не раз и ум, и сердце, и эту твою особенную такую — проницательность, способность к внутреннему прозрению, ви-дению. Тогда, конечно, эти мои рассуждения — ох, я не люблю рассуждений! — излишни. Вот все, что хотел тебе сказать. Ответь, Оля.

Сейчас, Олёчек, твой экспресс, 19.I. Молю, успокойся: ты для меня — святая, чистая, да... — «чистейшей прелести чистейший образец»! Все понимаю, одолел, — и давно! — всех призраков: ты для меня — 10-летка Оля, и ты, теперь — едино-целое, неизменяемое, бессмертное, как Идеал. Клянусь Богом, Он видит, что в моей душе бессмертной — к тебе. Ты мне — все, ты — воплотившееся ныне в жизни, для меня, Святое Святых. Ноги твоей поцеловать я недостоин. Пусть же я утрачу самое заветное во мне, если я говорю неправду. Я только в тебя и верю. И счастлив же, что я давно уже, с первых твоих слов ко мне эту Веру нашел, и живу ею, и буду молить Господа дать мне сил быть тебя достойным: Слов нет — определить тебя, сказать тебе, кто ты для меня. Как я был счастлив, увидя твое — Оля, с моим наследственным именем семейным! Благодарю тебя за эту честь, в письме твоем Новогоднем — за мое от тебя Счастье! Изгони из души сомнения во мне, — ты бы ужаснулась, сколько держит мое сердце — всю Тебя! — и не разрывается!! — и озарила бы меня понявшими все глазами. Твой, навсегда, крепкий верой тебе, в тебя — Ваня Шмелев + Оля Шмелева.

Ну, до чего ты чудесно-умна, Оля! до чего ты прелестна — детка!

141

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.I.42 8 вечера

Оля, милая, устал я... мучаюсь твоею болью. Если мои объяснения ничего не скажут тебе, — значит, бессилен я, или нет веры мне. Отнесись все же ко мне мягче, вспомни, что я не совершенство, а от персти земной, и бываю порой слепцом[586]. Тебя волнует, писала ты, мой рассказ о Даше; а в нем я не герой «романа»: я лишь жалел бедную, незадачливую девушку. Сделай вывод. Давно нет от тебя известий, мне тяжело. Я все сказал тебе. Ну, продолжу рассказ о Даше. (Сейчас получил твои заказные от 22—23.I. И весь — сгораю в боли. И молю, молюсь Тебе!)

...Эти 9—10 дней, с глазу-на-глаз с 20 л. пригожей девушкой, — мне было лет 30, — были суровой пробой. Чувство ее ко мне я знал. Я привез ей записку Оли: «пока замени меня, чтобы Ваня не так остро чувствовал мое отсутствие». Кухарку Оля разочла перед отъездом в Москву, — не подходила. Записка взволновала Дашу. Я пошутил, помню: «вот и заменяй». Она смутилась, вспыхнула. И принялась «заменять». Стала закармливать. К кофе всегда пирожки, пончики, «розанчики». Обеды разнообразны, до... стерлядок, — бегала к рыбакам вниз, на Клязьме стерлядь — редкость; рябчики, провансаль с омарами, волованы... «бёфы» с соусами, — она давно изучила мой вкус, — или ей так казалось? — пломбиры, блинчики со сливками. Всегда свежие цветы. Азалию раз... — «полтинник только!» — из своих, а мне говорила — «из барыних». Стала нарядней, прически, новые туфельки на каблуках. Слышу — цветущей яблоней..! — «Не думайте, это мои». «Грэпепль» Блоссон, очень дорогие и тонкие духи, Оля только их брала. Как вечер, я шел играть в карты, до 5 утра. Приходя, находил ее спящей в качалке перед печкой, глаза красные, наплаканные. Раз постучалась ко мне в спальню, рассветало: «Аничка мучается, все слышно... страшно мне... я тут побуду». Хотелось ей голос живой услышать? — была очень нервная. А это 16 л. дочь хозяйки мучительно угасала в чахотке, — рядом, за бревенчатой стеной была квартира их. Я не ответил, смутился. Постояла в дверях, пошла, села в качалку, плакала, я слышал, (рядом) — от тоски ли, от страха ли..? Утром взглянуть на меня смущалась. Выйдя в тот вечер, я заколебался: мело метелью, и извозчика не найти. Вернулся, и воображение заработало «картинами». Метель меня всегда как-то взвин-

чивала. Я вошел неслышно, дверь не была на крюке. Даша, в качалке, встретила меня радостно-испуганным взглядом и тут же опустила глаза. Во мне помутилось на мгновенье, но я раздраженно крикнул: «черрт... портсигар забыл... поищи!» Она медленно поднялась, качнулась, чуть не упала на качалку... искала долго (бывший у меня в кармане) портсигар... и я — неслышно ушел в метель. Я вызвал мыслью Москву, комнату с зеленой лампой, мальчика в кроватке, склонившуюся над ним — о, сколько ночей так было! — маму... В тот вечер я играл вдумчиво. Утром телеграмма: вечером приезжают. Даша сказала-вздохнула искренно: «ну, слава Богу». Оля привезла новость: Д. очень понравилась какому-то молодому чиновнику, видел ее у брата Оли на карточке с Сережечкой. Хочет приехать познакомиться. Д. ни слова, побледнела. Сказала как-то, что замуж пока не хочет. «Сбыть хотите меня?» — слезы, заплакал и Сережечка. И экзамен на народную учительницу б о я л а с ь держать, хотя была готова. Занималась с ней урывками Оля, и еще ходила одна учительница, ее подружка. Эта подружка тоже советовала замуж. Ездили в Москву на Рождество, вернулись. Вскоре приехал брат Оли с женихом, не предупредив нас даже. Даша разливала чай, как неживая. Жених — не очень казистый — не понравился. Мы не настаивали. Скоро я бросил службу, Москва, начинался мой «путь писателя»[587]. В 1907, все-таки состоялась свадьба: умолял Олина брата жених, тот долго уговаривал Д. — и мы с Олей были удивлены даже, что Д. решилась, наконец. Почувствовала себя «лишней»? боялась остаться «старой девой»? Ей шел 22-й только, кажется. Она была очень самолюбива, не хотела «себя навязывать»..? Должно быть, убедилась, что не сбыться ее «грешной мечте... хоть на денечек счастья!» — как-то сказала после... м. б. в Ново-Девичьем монастыре, — при «объяснении» со мной.. На свадьбе удивила «выходкой». Никогда не пила вина, а тут — несколько бокалов шампанского, — и с а м а подошла ко мне: «ну, протанцуйте со мной хоть напоследок!» Танцуя, не отпуская меня, шептала, — от сердца отрывала: «все равно, вас не смогу забыть, е м у женой не буду, пусть хоть убьет». Я курил в официантской. Даша вдруг сзади нежданно обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы, вся как-то вывернулась. Я опешил. Никого не было в полутемном углу, но я заметил, как старик официант, несший мороженое, запнулся и помотал головой. Даша шепнула истерично — «на каторгу иду!..» На следующий день — с визитом. У Д. глаза наплаканы, как-то она притихла, поник-

ла. Молодой — уныло-растерянный. Это был скромный, лет 25-ти, неглупый, сильно полюбивший Д. и теперь — «все понявший». Д. упорствовала больше полугода! Приехал как-то брат Оли, «сват» и сказал мне наедине: «он убежден, что у вас с Д. было... правда?» Я ответил: «ду-рак!» (каюсь: я его хотел ударить! занес руку!) — и передал Оле. Она мне верила, встревожилась за Д. Надо было воздействовать. Я велел Д. прийти в Ново-Девичий монастырь, — они жили рядом. Мы вышли на кладбище, бродили, — драматическая сцена! Д. подняла руку на крест и крикнула, что покончит с собой. «Вы показали мне жизнь, а теперь... как в яме я... чем помешала вам, что втихомолку-то люблю?! Все бы вынесла, вас бы видеть только... и Сережечкой болею, и Ольгу Александровну как люблю..! Боже мой, зачем я в петлю полезла... что мне делать... только убить себя..!» Я ее убеждал, говорил, как нам тяжело: «на мне и на тебе висит гнусное подозрение, позор, и перед Олей, и перед твоим мужем! Тогда уж не надо было соглашаться... тебя не принуждали!..» Это была правда, и она это понимала. — «А если согласилась... — учти последствия!» Она крикнула: «Ты так хочешь? несчастная я, дура..! Для тебя и для О. А. ... хорошо... приму все!.. я вас всех троих люблю, ми-ленькие мои...» Ломала руки, падала на могилы, стонала... Редкие в этот час — 10 утра, шла обедня, — посетители должно быть думали, что оплакивает утрату. Да так оно и было. Впервые тогда сказала она заветное это «ты». Вскоре «молодые» были у нас. Муж смущенный и радостный, терялся. Даша — та же, поникшая. Через год — девочка, Оля крестила. Еще через год — другая, Ольгушка, моя крестница. За 7 л. — две парочки. В 13-м г. я заехал к Д. с дачи, — Оля просила отвезти детям платьица и гостинцы. Застал одну Д. — было утром, муж на службе, старшие девочки играли на дворе в песочек. В квартире было душно, мухи, томяще пахло малиной, — Д. варила варенье. В колясочке спал годовалый Ваничка. Я застал Д. в распашном голубом капоте, разнеженную жарой. Она изумилась мне, пугливо огляделась и быстро задернула занавески — на улицу, — в I-ом этаже. Я был в белом, пике. Кинулась ко мне и обняла-прильнула. После я увидал малиновые следы на куртке, от ее рук, губ? Я потерялся, смешалось все, — таз на примусе, малина, ребенок, томящий запах. Она порывисто прижалась ко мне, и я почувствовал ее большой живот, — она была опять беременна, четвертым, Сережечкой. Это меня сразу отрезвило. Я отвел ее руки в засохших потеках малинового сока, ото-

рвался от «малиновых» губ ее, показал взглядом на ребенка. Она смотрела в меня странными, «пьяными» глазами, смотрела почти безумно, сонно и — огненно! — и шептала страстно, жарко, и умоляюще: «хоть приласкал бы!.. и за что так убила жизнь!? ...» Этот ее шепот смякших губ, этот ее большой — и такой жалкий! — живот ее... вызвали во мне острую жалость к ней. Я сказал: «после...» Она вскрикнула — «да?! ... я хочу... от тебя... самого дорогого...» — и стала падать — сползла на пол. Я помочил ей голову, она очнулась. В октябре родила. В февр. 14-го г. заболел муж саркомой, убился о медный наугольник расчетной книги, — она стойком стояла, а он неудачно спрыгнул с лесенки на нее. Операция запоздала. Летом, больной, гостил у нас на даче[587a], в острых болях. Жалко было его, беднягу. Признался мне в «дурных мыслях» — когда-то! — и просил простить его. В авг. умер. Я ездил по России, писал «Суровые дни»[588], — книга эта имела большой успех — «отражения войны в народе». Вернувшись, нашел Д. письмо: она звала меня, напоминала. Я не ответил, не бывал у ней. Да и не до того было. Сережечка, студент, в артиллерийском дивизионе, экзамен на офицера, на фронт. Не до «встреч» было. Большевизм. Сережечка едет в Добровольческую армию. Мы с Олей следом — в Крым. После кончины Оли Д. писала мне: «правда ли — дошло до нас — О. А. тяжело больна? Все брошу, дети взрослые, позвольте приехать, буду около вас, я теперь буду нужна вам, вам тяжело...» Я не ответил. Я был убит. Ни-кому, даже сестре Катюше[589] не мог написать о горе — сил не было. Будто смущало, что такое горе, а я все еще живу! Д. было тогда лет 48. Вот вся история с Д. В Москве, когда вернулись из Крыма, и уже не было нашего Сережечки... — мы были раздавлены... у Оли — она не знала! — теплилась надежда, — м. б. Сережечке удалось спастись? м. б. он за границей? Я не сказал Даше. Она была тихая-тихая, убитая, затерзанная жизнью. Тяжело... Вот это мой «роман». Как плакала Д., провожая нас! А мы были окаменевшие, уже неживые, — светило солнце мертвых. Это я понял после, чуть отойдя.

Олёк мой, от тебя 4 дня нет письма. Я страдаю, я весь сгораю, я мучаюсь твоею болью. Я весь — святая Вера в Тебя, Достойнейшая, Чистейшая, небывшая никогда, Единственная, Неисповедимая... не могу, бессилен всю оценить тебя. Как ты огромна! Молиться на тебя — и взирать! Сердце твое целую. Твой Ваня. О, как люблю!

Оля, ради всего Святого, утиши сердечко! Живи, О-ля!

142

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.I.42 4 дня

Святая моя, страдалица, непостижимая, недоступная ни чувству, ни уму... не знаю, как называть тебя, все слова ничтожны перед твоим Образом, я теряюсь, я плачу, Оля, я не могу читать твои прожигающие мою совесть и мое сердце строки, живые, трепетные от крика измученного сердца твоего, я не нахожу себе названия, самого позорного, самого унизительного, я не сознаю себя, — да кто же это мог моими словами так измучить самое дорогое всей жизни, самое святое ныне для меня, без чего я, как прах, как позор самому себе?! Господи, какая темная власть овладела моей душой? Как это могло случиться? Как могли прорваться из меня и попасть к тебе — все худшее, что еще не отгорело во мне-прахе, как..? — о, поверь, чем могу тебе внушить, ведь мое чувство к тебе — такого не испытал, не мог и вообразить, что может быть во мне такое, с в я т о е, такое благоговейное, такое... ослепительное для человеческого духа, такое всепоглощающее т ь м у, все в ней освящающее, все очищающее, к Богу, к Его высотам недоступным возносящее! Ты мне собой открыла и собой создала во м н е р а й с к о е состояние сердца и духа! Не мог и вообразить, что есть — Т а к а я! Только чуть, только тень слабую предчувствовал, ловил лучшим, что было в моей душе, о чем тосковал, чего искал безнадежно, что мучило так сладко, во что не мог поверить, думая, — это же мной вызвано, этого нет нигде... — вот, что я чувствовал, когда намекалось во мне искание «неупиваемой», небываемой, «никогда не бывшей»! Поверишь? Да ведь это же я давно-давно выкрикнул из себя, моим Ильей, его душой, полной тоски исканий... ты это знаешь, ты это видишь в моей книге, в моей «Неупиваемой»! Ольга, Оля моя, небесная моя, чистая... *моя ли? — я боюсь этого слова*, этого посягательства, — таким недостойным я себя перед тобой в и ж у! Но ты же знаешь, это не выдумано теперь, как оправдание, — это давно сказано! «Напишу тебя, н е б ы в ш а я н и к о г д а, — и бу-дешь!» И вот, свершилось чудо, далось чудо, явилось чудо — о, Ты явилась, Ольга, и я склоняюсь, я молюсь на тебя, я плачу, как же я недостоин тебя! Вызвать, породить, в муках сердца и тоски с о з д а т ь дерзновенно и благоговейно... и — н а й т и! Из персти земной, силой крови сердца, силой напряжений воображения создавал, — ведь все из себя-праха вылеплял... — и прах преобразился,

претворился, преосуществился..! — Господи, я не кощунствую, но я не нахожу земных слов, чтобы выразить высоту, святость того чувства, живу которым, думая о Ней, единственной и непостижимой для меня, для моего ума и сердца! Слова не выразят чувства... «мысль изреченная — есть *ложь*»[590]! — лучшего, тютчевского, определения — не знаю. Оля, Ольга, святая, Святая, жизнь и сила моя... — пойми ничтожество мое, я становлюсь мгновениями слепцом, я отдаюсь власти чего-то — темного? страшного, — во мне? — но это знакомо из творений великих-чутких. Ольга, странное дело: я же ни-когда не изображал в своих книгах этой тьмы, — ревности, ее мук... — где говорил я сильно, исчерпывающе об этом? Я не знал этого чувства? Не питалось оно моими соками, думами, кровью во мне? Нет, кажется... Было давно, смешное... зачатки сего... когда я, мальчик, гимназист, объяснялся с полковником... грозил ему... — ! — безумный мальчик! — и как мне теперь смешно, и как же все было юно-глупо! — и за что, из-за чего?! Только потому, что он был добр к семье Оли и предложил самому поехать к губернатору и достать поскорей какую-то важную бумагу, нужную для семьи... что-то о пенсии по севастопольскому Комитету, — отец и дед Оли были герои Севастопольской войны[591]... — и я увидал, как полковник, пристав нашей части, ехал на извозчике с юной Олей в канцелярию губернатора... — я явился — не наведя справок, очертя голову, — в участок, добился этого пристава, и... потребовал «оставить в покое девушку»! мою невесту!.. Безумец! Но... этот «безумец», 16—17 л., очевидно уже тогда подавал признаки натуры бешеной, безумной, безоглядной... Всего только один раз! Пристав-полковник был поражен, растерялся, развел руками... я помню только... слова... «ничего не пойму»... «послушайте... ни-чего не пойму...» — а мальчик крикнул что-то дикое и... хлопнул дверью! Потом я горел стыдом и плакал перед Олей... В полчаса было сделано, на что тратились обычно недели мытарства по канцеляриям... Олю это потрясло.

Тот, из чувства чести братьям по оружию, уважения к героям великой кампании, сам взял на себя труд облегчить нуждавшейся семье ее трудное положение — только что скончался отец Оли! — а мальчишка... лез на рожон, сам подвергал себя будущим ущемлениям всевластного «участка», полиции... ни с чем не считаясь... — и добился-таки, мно-го мне потом пришлось изведать мытарств, когда приходилось впоследствии иметь дела, выбирать удостоверения

и прочее... — вот когда — один раз в жизни! — я о с л е п на время! — Оля плакала, чистая, она была оскорблена. Я ли не любил ее! Есть женщины, — извращенные? — или мучить любящие? — которым такое чувство... льстит им это? — не знаю... но ч и с т ы е этого н е выносят. Ясновидец душ — Шекспир... наш Достоевский... — много отдали сил — определить это чувство... — перечитай «Отелло»! Дездемона... — ясная, чистая голубка... страдалица... — дан предел ослепления... но там роковым стечением обстоятельств... в с е питало слепоту и бешенство Отелло, оправдывало... Определение — Лессинга[592]? — которое ты привела в письме — очень точно, но н е глубоко. Т у т — г л у б ж е. Я не занимался этим, это — очевидно — было чуждо тому состоянию моей души, в котором я нахожусь, когда живу воображением... н е т у меня этого у ж а с а в писании, разве чуть, в «Истории любовной», д е т с к о е, зеленая незрелость... Я боюсь этой темноты. И теперь, когда меня схватило, и п о н е с с я я в вихре этого дьявольского кошмара... чем могу оправдаться? Страхом, что ч т о-то могло коснуться тебя, моей Святыни..? Запоздалым, бесправным, оскорбляющим чистоту моей Чудотворной — для моего духа! — Иконы, моей Божественной! Найди хоть каплю снисхождения, прощения, не отвернись, Ольга моя... я не могу так страдать, нет у меня сил на это, я все эти ужасные недели... был в самоистязании. Я болел нестерпимо твоими страданиями, твоей — о, какой страшной для меня! — болью. Я... да, я страшился... — как ты! — вскрывать письма твои... Сегодня... я держал их в руках... нет, не могу читать, боюсь... боли твоей боюсь... И я увидал, и я принял в сердце эту боль, и я... вот, терзаюсь, плачу, умоляю... что я могу с расстоянием, с временем сделать?! Когда еще получишь объяснения мои?! Да где, какие объяснения найду, — ведь я же себя не понимаю, откуда э т о?! Клянусь, в с е истлело, я могу только молиться на чистоту твою, проклинать гнусность свою, свое недостоинство перед тобою! Молюсь в прахе перед тобой, вымаливаю стоном твое снисхождение. Ольга! я люблю в страшной муке — от любви! — тебя, предельно-смертно люблю, до жертвы — какой угодно, н а ч т о у г о д н о! — и знаю, — принесу, легко пойду на жертву, во имя святой и неисповедимой любви к тебе. Любовь..? Нет, мое чувство выше этого понятия... это — за-любовь, это — сверх-любовь, это — Бог в душе, Святая — в сердце, это — с л у ж е н и е во-имя Тебя, Прекрасная! во-имя Тебя, Непостигаемая! Я к тебе подошел в своей темноте — как к лучшей, как к лю-

бимой, огромно-безмерно-любимой... и как это мало выражает! Я должен был подойти к тебе — в этом — как к Святой, как к Идеалу, которого не знала еще моя душа... я еще не нашел — тогда! — меры, тебя достойной, ибо на земле, для меня, такой меры не было, нет... я ее не знал. Теперь я — из страшного опыта жизни, от Тебя... вижу эту меру: она — безмерность. Я еще не умею в полной силе охватить эту меру — Безмерность, с которой я должен приближаться к тебе... не в оценках, нет, а... в благоговении... в молениях Тебе, в Молитве к Тебе, Прекрасная, Чистая, моя Святая, моя Безгрешная, моя земная Богоматерь! Не кощунство... Ты — рождаешь Бога — во мне, и в этом смысле Ты — мне — Богоматерь, Ты — Матерь моего земного Света, Оля моя... моя Царица... Земная... для меня, земного. Поверишь крику сердца? Оно стучит Тобой, оно не может говорить Тебе неправды. Ты беспредельно возросла во мне... и каким же малым кажусь себе я! Оля, Ольгуля, Олёля моя, земная моя — для меня, — ты же — Небесная, от Храма, в сущности своей, но — для меня — такого малого, слабого, — ты — Земная, моя Оля... Прости, я знаю недостоинство свое... Господи, чем я заслужил, что Такая, небывшая, лишь тенью намекнувшая в воображении... меня жалеет, меня... любит?.. Мне подумать — дерзновенье! — Оля... такая... меня... любит?.. Ольга, это правда? Я не смею думать, что заслужил Тебя. Это мне сон дается... за мои недостоинства и боли? Оля, не отвернись. Оля — нет Веры у меня большей, чистейшей, — в Тебя только, Светлая! О, — страшно сказать — люблю тебя! Как это мало, — чту! молюсь Тебе! Жизнь и Свет мой. Полубезумный, от света ослепленный. Твой Ваня

Ольга, Ольгуля, Олюша... приникни к недостойному, — ты вся — Щедрость, Милосердие. Вся — Любовь!

143

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.II.42 10 вечера
4.II — 2 дня

Дорогая моя, светлая, Олюшечка, не могу не ласкаться к тебе, сердце велит быть с тобой, хоть в письмах пока. Мне так много надо сказать тебе, на твои вскрики боли, моя бедняжка! Господи, если бы ты была со мной... головку твою прижал бы к груди, у сердца, смотрел бы в твои глаза

глубокие, всю душу твою вливал бы в свою нежность, в нежную боль за тебя, о тебе. Милая дружка моя, сестричка-дружка, ласточка тревожная... все, все ты надумала, себя истомила всю — напрасно, мой дружок, ты для меня с каждым днем дороже, неоценимей, — если бы ты поверила! Ты заплакала бы над собой — мниткой, глупкой, гордяшкой, — да, ты д о л ж н а гордиться, — в высоком значении этого смутного понятия, очень широкого! — должна сознавать свою значимость. Оля, поверь мне: могу ли говорить неправду? Пишешь — «загнана»... м н о й... ?! О, как же больно слышать! Господи, Ты видишь, как я люблю ее! «загнана...» Оля, разве не писал тебе, не изумлялся твоему уму, твоей поражающей силе — «схватывать налету», и как глубоко-верно — в с е, в с е... Ты столько знаешь, я восхищался таким даром. Я в с е вижу, я по одному иному слову пойму, к а к и ч т о ты б е р е ш ь! Твои выводы о «любви», о «героях», о «вечно-женственном», об искусстве и литературе, о религии, о народах, о людях... — в л и ч н о м ты, на мой взгляд, нередко обманывалась, — и это от ослепления мысленно предносившимся, созданным тобою Идеалом! — от «захвата» тебя им, причем всегда слабеет сила наблюдения-разборки; — о работе, о природе, о... — обо всем. Твоя манера излагать — высокой мощи, такта, хватки сущности, — совсем не женской, где — у женщин — всегда мелочи затирают важное, — ; форма художественной лепки! — поверь же! — одним-двумя словами даешь картину, глубину, я д р о (о «бобрике» на голландских полах!). Письма твои богаты содержанием, незаурядны, ж и в ы, метки, порою — беспощадны. Твои «картины» — незабываемы! Ты притворяешься? или — слепа к себе? стыдлива, неуверена-робка? Так это же — знакомый знак бесспорного таланта: скромность, «слепота к себе». Долго я был таким, до сего дня. С тобой лишь — ты же ближе всего мне, ты же — почти что «я»! — с тобой я бываю открытый, и слепота спадает: я ценю себя вернее. Так помни же: образованность не определяется дипломом: она — все тот же д а р. Иной пройдет все школы, набьет все черепные сундуки... и — каша, кладь. Твой «диплом» — от Божьей школы, и на его печати Г о л у б ь в Свете, Лучезарный[593]. Ты — как, не знаю, — в з я л а от Жизни — и от книг, понятно, — б о л ь ш о е, важное, взяла «закваски», «заготовки»... и из них творишь свое образование. И будет так всегда. Как — в творчестве. Разве большой художник в с е прочел, все видел, слышал, записал, продумал? Нисколько. Он в з я л лишь горсть... но

только не шелухи, а... зерен. И творит — посевы. И его нива великий, новый урожай приносит. Это — у тебя. Во всем. Не только в творческом. Большинству надо тысячу книг прочесть, — тебе — одну. Ты все сама до-чтешь, собою, своей душой, и... чем-то, что есть дар. Веришь? Вот твое «полу» какое! — смотрю я на тебя в «священном ужасе», — по слову Пушкина[594], в сердце моем прожглось, смотри! — вот моя правда о тебе, голубка! За что же ты так меня... — «загнал»!.. Ну, будто ножом мне в сердце кто-то повернул. Ты — гениальна сердцем, нервами чутка до боли нестерпимой и до эффектов, тоже нестерпимо-ярких! Ты — нет таких! Ты — и таких не будет. Потому что все то, что тебя создало, — кровь, природа, время, быт, народ, вся закваска жизни... и — Благодать... — не повторяются, раз только такое сочетание бывает — из мириад плюс бесконечность сочетаний в вечном. Скажешь: гимн? «молебствие»? Нет, этим нельзя шутить. Так подними же, милая, головку, погляди на Ваню... Тебя поющего в великой Правде! Погоди... еще обязан тебе сказать. Есть в тебе... гордыня. Не плохая. Нет. Гордыня чести. Мучает тебя и, мучая, мешает часто видеть верно. Когда ты «в деле», т.е. — затронута. Тут ты вся — «в сбоях», в пожаре, вся пылаешь, все бьешь, ломаешь, разрываешь сердце, колешь, можешь больно ранить, чтобы после сострадать и плакать. Деточка моя, голубоглазка, неуемная, горячка, — разве неправда это? Я поражаюсь, как ты много знаешь, и как верно знаешь! Ольгуна... прости, я о себе скажу. Я тоже много знаю, в разном, не в научном, — я и свои-то — юридические и словесные науки в «книжном» смысле, перезабыл... при мне — закваска их. Так вот. Что-то есть во мне, как и в тебе: по двум-трем «данным» — создаю большое, где тьма подробностей, штрихов и красок, лиц, движений, положений... — могут сказать — и говорили! — что «прошел огонь и воду и трубы медные»... — «специалист»! А мне смешно, молчу. Знаю: тысячи кутил, десятки тысяч «ресторанных» не построят и «кабинета» даже ресторанного... — а Иван Шмелев, м. б., почти и не видавший дна-то ресторанного, — все дал! Настолько все, что теперь и нечего писать об этом, о — «ресторане Жизни»[595]. Это и у тебя, малютка. И потому мы — дру-жки, и потому так чувствуем, сродни-лись. Общая Душа, одна и та же... — в главном. Но ты — неповторима. Ты — не я. Ты — слишком. Ибо, кроме всего, что я имею, ты имеешь особое: от — Храма, от крови твоих предков, от Благодати Божией: а это уделя-

ется — т.е. такое сочетание! — один раз в вечном. Ну, поверила? Ну, обернись же, прежней, Олей, всей, открытой, доверчивой, ручной... и — все во мне понявшей, всему во мне поверившей. Не озирайся, прильни же сердцем, верой, будь просто, как была со мной, — все мне говори, а я все буду в сердце складывать, лелеять... не оскверню! Ольга моя, я все твое храню, знаю все, знаю, какою меркой тебя мерить... вечный Идеал твой знаю. Ну, прости же темное мое, мое пыланье, ревность О тебе! Всегда я верил... в смуте был — И верил! Ну, приблизься, не отдаляйся... прежней стань. Бывает и с великим музыкантом... — оступится на ноте, только. Ах, вот что... — если есть, голубочка... пришли мне маленькую карточку папину... какую хочешь. Я люблю его, ничтожный перед ним, — свято люблю, благоговейно.

Милая, я счастлив, твое перо при мне! Сохранишь красную свечку к Заутрене? Олечек, как бы хотел с тобой у мефимонов[596] постоять, или в пяток на Пятой — величание — «Похвала Пресв. Богородице» — послушать, все с тобой. В великие минуты, руку твою держать и говорить рукой тебе — правда, как чудесно? Оля?! Это бу-дет! Дождаться надо. С тобой, пусть ты была бы старше, все равно, душа твоя все та же, Олина душа. Твой образ выношен во мне, — неизменяем, мой.

Такая нежность плещется во мне, как в матери бывает... так я слышу. Знаешь, видала, как матери ласкают, играются с ребенком? Отбежит, — так и у матерей животных даже, даже у... коров, с телкАми! — глядит, глядит, и — кинется, зароется головкой, рядом, сбоку смотрит... щекочет пяточку, вдруг зацелует-зацелует... до слез чудесных, и лепечет, все лепечет, свои словечки, невнятные... — и вдруг прижмет-прижмет... до страха! — будто — вот-вот возьмут!.. и повторяет, как во сне, — нет, нет... не отдам, ни-кому-ни-кому... моего... мою... золотце мое... — и вот целует, от темечка до пяточки, все, все — до... девчонка если — до... «бантика...», до «персика», — мальчишка если... до... пупышки... до «кранчика»! матери все свято, все чудесно! И шепчет — у, откушу!.. Ах, чудесно.

Вот, Оля... слабенький намек к «Путям». Там это — видится мне, у Дари... о, сколько сцен я вижу! и — каких же! Дал бы — «как носила», все «чуянья» внутри... все замиранья, все «думки», все — виденья. Роды дам... — хотел бы! — радость материнства, силу материнства... всю ласку материнства, негу материнства... святость. И... — год счастья... и... Голгофу. Почему? Да потому, что

надо, — еще неясно мне, но — вижу — надо. И потом — бывает в жизни. Это — казнь страшная, и эта «казнь» должна давать итоги, — о-гро-мные. Важно, для опыта в духовном. Это — живой водой поливка: будет Воскресение, из мертвых. Просто, мой душевный опыт, — м. б. — художнический спорт, «на силу» достижения. Не знаю. А м. б. и — прозревание задачи: «страдание за что, или во-имя чего дается?» «оправдание страдания» — это вопрос — из «вечных». Твоя любовь может мне решать. Я верю и надеюсь. О, если бы ты, Олик мой, решилась, начала писать! Что хочешь, я не хочу тебя вести, ты сама сможешь, как когда-то смог и я. Да... вот еще... вертится — и давно! — писал И. А., он загорелся, понукал! — Хотел давать ма-ленькие этюдики, в страничку — обо всем[597]: ну, «снег»*, «дым», — «одуванчик», — «береза»... «ночь», — «масленок», — «радуга» — «сирень» — «черемуха»... «мыло» — «блины», — «росток» — «мороз», — «чулан», — «крест-купол»... Видишь, просто: связать с «внутренним образом» предмета свою душу, сердце: тут и детские ощущения, — «мыльная пена!»- и «радость жизни», и красота божья, — и «душа вещи», и — быт, чуть-чуть, и... запахи... и отражения их в духе человека... — бездна. А в общем — гимн Господу, за все — «Твоя от Твоих»! Да, Оль? Ты поняла, я знаю. Не стихотворение в прозе, а... «блеск в душе», игранье. Ну, это можно провести в «Путях»... — так, кой-где, прошвой, но шелково-цветным. Знаешь, все юно во мне играет и поет. Господи, продли! Только бы не свянуть. Ты поможешь, да? Моя Молитва-Оля! Как тебя люблю, несу... храню! Целую всю, всю... о, чистая моя, святая Оля, Дева, Свет Вечерний мой! Игра какая!

Дай, обниму тебя, целую душку. Твой крепко Ваня. Ольгуна, ты так и не дописала поездку с шефом, доскажи. Я знаю: ты посадила! Ми-лая!

[На полях:] Потому и дал такие бега[598], каких нет в литературе, знаю. И все знают.

После завтрака думал к фотографу — сняться фото-паспорт, в шубе и шапке, — для тебя, — москвичом! Так езжал на бега.

Получила письмо доктора? Ты была рада — мне? Напиши, когда нашла, — что? Живой образ в романе!

---

* пример: письмо вчерашнее «запахи и ласки-поцелуи», и до-чего же дошло! — до любки, — «бантика»? Не опускай глаза, прости, я — безумствую, О-льга..! Оля — все мои тайны творческой работы — твои, ты — я, я — ты. Думать вместе! Это счастье!

Олюша, я порой до страсти люблю «цыганщину»! Я все люблю. Когда не пишу — я хоть на голове ходить! Порой я, — и в таком возрасте — бешеный мальчишка! Вот доктор называет — «увлекающийся». И я — азартный, люблю бега, рулетку. Но... не карты..? Отлично играю в домино en-deux[i], могу играть высокой ставкой.

Как досадно, посылки с 5.I — не допускаются, а хотел бы послать тебе — фиников, конфет шоколадных, фруктов!

Мыши — ужас! А твои котишки? Я не выношу, кажется не заснул бы! Бедняжка! Если бы вырвалась!

Оля, я вижу тебя у меня, — жизни не хватило бы — душа с душой! Оля, не застудись! Прими антигриппаль! Когда же батюшка? Я с ним послал бы кое-что.

А знаешь, Л. Толстой, при всей гениальности художника-скульптора, — был очень глуп? Да. Так говорил В. О. Ключевский[599]. Они не терпели друг друга. И Толстой понимал это, и злился. Отсюда — его философско-моральная отсебятина. Это — не Пушкин-умница! Толстой был короток!

Я тебе сегодня послал — о запахах цветов и... ласки! Ты не... ежишься? Нет, это я так живу тобой! пока, «в уме». Ах, если бы... ! Ты для меня все та же, чистая девочка, Оля! Ты — Все-Женщина, и умна же! Народ говорит: «баба с печи летит — 7 дум передумает». Ты — «баба» семи-думная.

Сколько ты, — твоя любовь, моя — к тебе любовь, — выбила искр во мне! Я ведь засыпал! Теперь — горю, страстно хочу писать, во-имя Твое, Оля.

144

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.II.42 8-45 вечера

22 янв. ст. ст. Памятка: в 15 г. в Москве — премьера моей пьесы «На паях», в Драматическом театре[600]. Скажу ниже.

Олюша, скучно, томительно без тебя, не могу писать, только письма. Я тебе томы накрутил, взгляни! Жду, а придет — или хлеснешь (раньше!), или ужалишь твоею болью (теперь) сердце. Я уже забыл, как ты ласкать умеешь... ах, у-ме-ешь! — и боюсь читать: укоры, твоя боль, и так мне больно за тебя, и сознаю, что виноват я в этом,

---

i На двоих (*фр.*).

очень ты болезененно чутка и мни-тельна... а я неосторожен... а как я на тебя молюсь, как чту, как верую в тебя! как самому святому поклоняюсь! — и страдаю. Все нет писем, разрешительных... а я да-вно послал, и — ско-лько!

Был кн. А. Н. Волконский[601], мой друг, привез письмо Вел. Князя Владимира[602], из Сен-Бриака: Вел. Кн. читает «Богомолье», — восхищен, шлет искренний привет[603]. Хорошо, увидит лик Св. Руси, ее душу познает, — это нужно. — Сегодня был у фотографа, «москвичом, зимним», все для тебя: хочу все нравиться тебе. Правда, так еще ни разу не снимался. Так вот, бывало, ездил на бега, азартничал, золотом швырялся и... золото ссыпал в карманы. Но больше — вы-сыпал. Оля меня «исправила», чудесно! Не писал тебе? Кажется, писал. «Мотыльки» цветут, в бутонах, много. Сирень и гиацинты — спят. А наш «больнушка», не замерз? Если и замерз, не придавай значения. Что же твои котишки? «Лентяй» бумагу маслит, спинку тебе царапает? ушко сосет-щекочет? Он со вкусом. Лучше бы мышами занимался, негодяй. А «с темпераментом»? м-ль кощёнка? По окошкам все, глазеет, о чердачках мечтает? «боту» наводит язычком? Лучше бы мышами занималась, а не «мечтами». Избаловала милая хозяйка? Высечь надо, — ну, их, понятно. Погода полу-мерзь, мне холодно, чуть-чуть. Жгу радиатор, забывая «норму». Все равно. Итак, твой Ваня пришел к тебе как раз, на Рождество. И — мерз, в забвеньи. Грустно. Так и не видал я Рождества! Светлое, — в потемках, в смуте. Все сами портим. Думал: ковер-бы-самолет! Другие ныне самолеты, сказки спят. Царевна... где Царевна? Жар-Птица, где ты?! «Жизни мышья беготня... что тревожишь ты меня?.. Что ты значишь, скучный шепот? — Укоризну, или ропот — Мной утраченного дня?..»[604] — «Хочу сказать, что все люблю я, — Что все я твой. Сюда, сюда!..» «Я тень зову, я жду Леилы: — Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»[605]

22 янв. 1915. Премьера. Успех. Вызовы. Подносят огромный — в полтора метра лавровый венок, в красных лентах, с золотом дат. У подъезда девушки суют цветы. Не за что! Пьеса мне противна, чушь. Одно лишь: язык. Знаю: не моя, не по мне, хоть сам писал. Силой заставили, вырвали для театра. Артистки переругались из-за роли: роль главная — старуха. Отлично вышла. Остальное — мерзость, плююсь доселе. Стыдно. Разве теперь такое дал бы! Да не тянет, для сцены. Я — для «внутри», — душе! Ну, м. б. без меня будут переделывать из прозы. Надо еще и — ремесло, для театра, а я не делюсь, деньги и

явная слава меня не влекут, — не люблю шума. А играть мог бы. Из-за театра Чехов лишил нас мно-гого, дал меньше. И не дал вечного. Применялся ко «вкусам». А — весь чистый! Болезнь... — надо было зарабатывать! — и еще навязалась бабища Книппер, до-сосала нашего тонкого, чуткого. Плевал кровью в Ялте, а она играла и... игралась, вся — фальшь, бездарная, сделанная из чужих кусочков. Ладно. Венок висел в кабинете. Когда, при большевиках, уплотняли, пришел один болван, выбирал «покои». Увидал венок. «А ето вы за-годя себе..?» — «Загодя». Когда приехал из Крыма, венок стал похож на ощипанный цирковой обруч. Уплотнивший оказался... по-варом, и за 2—3 года «подносил» клиентам «лавры», в соусах, в супах... «улаврил», и тем исправил «лесть» милых театралов: пьеса — дрянь была, мне стыдно. Спасибо, повар справедливый, «перст судьбы»! Не было «героини», тебя. Теперь бы... с тобой..! — царапались бы «героини»... и не нашлось бы ни одной для ГЕРОИНИ. Но... поднесли бы не один лавровый... — хватило бы на сотню поваров, осталось бы для... загодя. Ну, и что толку бы? Все — в конце концов — ощипывается. Всегда будет избыток поваров. Не — стоит. Шекспир? Да. Но... писал много стихов, неважных, не написал «Войны и мира», «Карамазовых» , «Идиота»... «Кто к чему приставлен», — сказано у Чехова[606]! Правда. Зато и Достоевский не написал — «Макбета», «Лира», «Ромео и Джульетту», «Шейлока» — т.е. «Венецианского купца». Кто к чему приставлен. «Не завидуй!» Ну, продолжим «Куликово поле», посвященное одной «Оле, урожденной Субботиной». Знаешь? Ну, м. б., у-знаешь, когда появится в издании... в России!? Да, конечно. «Загодя» или — позже? Никто не знает. И никакие повара не смогут ощипать такие лавры. А они — бу-дут, есть — прости мне, Господи, такое «загодя»-упование! Но «Оля, урожденная Субботина» услышит, — м. б.?! И — вспомянет... Ваню. Или — вместе, — лучше? Услышать. Лучше, да. И — не «вспоминать». Ну, приласкай, в уме хоть... ну, чуть-чуть, мне холодно, от жизни, от одинокости... «Всюду мрак и сон докучный; — Ход часов лишь однозвучный — Раздается близ меня. — Парки бабье лепетанье, — Спящей ночи трепетанье, — Жизни мышья беготня...» Но все же у меня хоть мышей нет... ах, бедняжка! Увез бы тебя на ковре-самолете..! — да «самолеты»-то пошли другие, нужные. Ах, сказки-сказки..! А ведь нельзя без сказок... — о, будут и ковры! Иначе — пьеса сыграна... «занавес давай!» — сказал когда-то, кто-то,

в... «На пеньках». «Волхвы придут, большие... Нам не видеть»[607]. — Ну, продолжаю:

«Куликово поле» — посвящается Оле, урождённой Субботиной[i].

—— Прости, Олюша... М. б. даже и о-чень почтенный[ii], но извинюсь перед ним, что на четверть часа его оставлю: есть захотелось, уже одиннадцать ночи, а я забыл поужинать. —— Ну, вот, поужинал. Сварил всмятку яичко, съел три столбика «пти-сюис», будто сгущенная свежая сметана — «крэм»! — с сахаром и кусочком сливочного масла, с хлебом, апельсин, папироса. Мог бы гречневых блинов, вчера заказал на улице, баба французская пекла, похожи на деревенские наши, 20 шт. — 20 фр. — получил, возвращаясь с пером, и не ждал, не выношу «хвостов»! — вчера и сегодня ел, разогрев в паровой ванне, с маслом и горячим молоком, — за сметану: сытно, вкусно, очень! Но лень делать им «баню». Есть и мед, и сухие бананы, сегодня друзья купили для меня, «по случаю», — витаминно и сытно! Есть бисквиты, «дрикотин», которые мне вернули! — но у меня кроме твоих — есть. Тебя должны дождаться «бретонские крэпы»! Есть сардины, но они должны тебя дождаться, но у меня и помимо твоих — есть, — раритэ! Есть масло, грецкие орехи и миндаль, должны тебя дождаться! — вместе будем, изюм есть — один я буду! — тебе не дам. Мог бы манную сварить, есть и молоко, но лень возиться. Есть хорошее вино, но... лень открывать бутылку Сент-Эмийон, — хорошее бордо. Есть мюска, коньяк... — не посчитай за алкоголика! — но... мне не пьется. Чай есть, крепкий, но я хочу покойной ночи, есть и какао, но я... не хочу возиться, мешать, ошпаривать... — я его умею д а т ь — как шоколад! Ты видишь, милая детуля, ско-лько у меня этого — е с т ь! — чтобы есть. Я хорошо кормлюсь. А когда приходит «няня», кормит или блинцами, или оладушками, — вот, в пятницу поставит на дрожжах и — с медом, или сахаром посыплю. Сварит суп из квэкера, густой. Или — рагу, дня на два. Нашел «черничный сок», вот и кисель! ну, рис к нему. Я, Оля, хорошо кормлюсь, много лучше многих, и — разумно, — режим! диета! Люблю омары, лангусту — и иногда и разрешу, но доктор не рекомендует. Устрицы люблю! и... ры-бу! Но... надо сейчас же, тогда вкусно, а без Арины Родионовны — нет, не люблю возиться, чистить... не выношу! Лучше картофель,

---

[i] Далее — текст повести «Куликово поле» (гл. IX).

[ii] Последняя фраза отрывка была о «почтенном господине».

под бешамель. Или — «фри», но... не дает диета. А теперь, выкурив, — к «почтенному».

Но и тут не могу к «почтенному», — ложусь спать, I ночи — 5-ое, февраль, утром нет письма твоего: пустое утро. Еду по русским лавкам, искать запасов. Консьержка дает письмо о. Дионисия. Читаю тут же. Ми-лая, родная, девочка светлая, чистая моя. Ты — мне — вязала! Целую твои ручки, золотые! От счастья обезумел. И — масло. Тронут заботкой твоей, но у меня е с т ь, в с е есть. И папочкин некролог? Благодарю, чистая моя звездочка, ка-ак благодарю! Все получу в воскресенье. И позову к себе этого молодого монаха... я знаю, к т о он. Его отец писал в жидовской газете «Последние новости» (капитан Лукин[608]), продался за гонорар. И монах постеснится ко мне приехать? М. б. я бы угостил его, радушно. Я хотел бы, чтобы он видел, как я живу, и рассказал тебе, родная. Ко мне митрополиты заезжали, не гнушались. Ну, да черт с ним... если и не приедет. Я все же навяжу ему для тебя, что хочу. А я х о ч у. И ты получишь. Ты получишь, что я нашел, чего нигде уже не найти, я достал у ч и т а т е л е й, для с е б я сбереженное. Они уделили мне. Ты получишь... вя-зигу! для (2—3) пирогов. Ты давно не ела этот «деликатес», — не знаешь? У мамы спросишь. Ночь мочить. Варить часа полтора, не допустить до «клея», лишь до прозрачности, пропустить в машинку или порубить. Это — если положишь сезонных ваших селедочных филейчиков, — судака не найдете, — чудесный пирог, добавить рубленые яйца. Видишь какой я гастроном? Сегодня мне моя новгородка спекла кулебячку, — это для монаха, на случай: я хочу затащить его, подлеца, и — даже наградить книгой. Д л я тебя. В с е — для тебя. У меня теперь в с е — только для тебя. Сам я живу — только ради тебя, для тебя. Живу тобой. Но зачем такие отчаянные письма? И запоздалые. Вчера... с капелькой крови, из пальчика порезанного. Олюша, я снял ее кусочком хлебца сырого — и приобщился... тобой! Как вку-сно, Олёк! О, ты не знаешь еще: мне все в тебе свято, все, все, ты даже не воображаешь... ты бы в глупый ужас пришла, если бы я тебе открылся, до чего все твое мне свято, твои все... кровки! Молчу. Молюсь на тебя. — Еще: достал редкость — твою родную... клюкву! Ты кисель забыла? Я нашел, для тебя, детка. Чу-дом! Клюквы нет три года. Но... нашел — сбереженный экстракт, чудесный, — сейчас испробовал на опыте. Ну, дивно. Способ приготовления: на пузырек эстракта — 12—13 объемов воды, выйдет 3 большие тарелки. Сахару надо как следует. Ну, карто-

фельной муки, понятно. Аромат цел. И витамины целы. Клюквенный морс можешь. Противо-скорбутное! Оздоровляет тело. На здоровье! Еще — попробую завтра — шоколадные конфеты. Еще — тоже случайно — чернослив! чудесный. Пожуй, это н е изюм! Сделай картофельные котлеты, что ли, угости маму. Да, «Пути Небесные» — я не думал отнимать у тебя. Тебе обе книги дороги? Я счастлив. Маме я могу послать 3-й. Монах не возьмет, пожалуй! Оля, твоя открытка — отчаянная, от 22.I. Я в е с ь твой. Оля, забудь о чепухе с «повестью жизни». Как ты смеешь сомневаться в себе?! называть себя — балластом? Ты — с ума сошла?! Ты... не нужна... ни-кому?! Ты — с е б е самой нужна, м н е нужна! Без тебя — меня не будет. Помни, я правду говорю. В письме вчерашнем, с каплей, ч т о ты осмелилась сказать! «Не могу ничего написать»!? Чушь! Ты в с е напишешь. Все преодолеешь! Предсказываю тебе. Поверь в себя, мне поверь, чудачка! Ты — с и л а! Не бойся, в преодолевании-то и радость. Пиши так, будто рассказываешь самому дорогому, кого не можешь обмануть, — как бы со-вестью своей пиши. Ведь ты же т в о р и л а, в письмах! И — ка-ак! Ольгушонок гадкий, не смей принижать себя! Н е позволяю, я, я, — а я н е ошибаюсь. Я — тертый, очень. Все считались в былых жюри с моим решением! Я открывал дарования, и не ошибался. И — ставил крест на «наглых», на пустобрехах... — и никогда не обманулся. Бунин со мной повозился из-за своих «любимчиков», которые ему «песни пели», в глаза. В Москве, эн когда! Звали меня — «кипучим», «неистовым»[608a]. Я был неумолим, раз дело доходило до моего искусства. Я его берег в других. Оля, ты — все можешь, мне поверь! Это не моя любовь говорит, это — моя правда. Не будь правды, я не толкнул бы любимую больше всего в свете — на разочарование. Ты будешь писать, я тебе дам силу, т в о ю. Я тебя всему научу. И ты это поймешь с полслова, к а к надо приступать. Да ты же с а м а уже можешь — в с е! Купальщики, не умеющие плавать, велосипедисты, не умеющие ездить, не смогут уловить, точно, миг, когда они у ж е у м е ю т. Так и тут. Неудачи... — прекрасно. Еще проба — прекрасно. Еще... — отлично. И — п о-ш л а-а... — и — уже не оторвешься. Пиши о детстве, — о чем хочешь. Ты — умна, шельмочка, затмишь всех, вот тебе мой суд. Ты умеешь — в и д е т ь, воображать. У тебя с в о и слова, и будто с в о я манера, в ритм твоему м и р у. Пойми, т а к о г о нет ни у кого! Ты непостижимо сложна-богата! Ж и в и в творчестве твоем — и только. И как же будешь страдать им, и как же

будешь им счастлива! Сны пиши, что хочешь. Видения ночные. Напиши «Церковные цветы», ваш праздник. Я тебе сознательно предложил труднейшее — «Восточный мотив», но ты не хочешь в него в ж и т ь с я. Да, трудно, но тебе — по силам. Напиши, как Сережа едет к невесте, — допустим... — и везет «ландыши»... — и — что было с ним, как отморозил уши, и заморозил ландыши. Как отогревал их на снегу. Плети, выдумывай, смеши даже. Все — для практики. В твоем опыте — бездна тем. Да одна поездка с шефом — не оконченная, оборванная умело... — продолжение следует! — на телефонном разговоре с вокзалом: «спальные места!» Изволь досказать, иначе я рассержусь. Я теперь очень крепок, никакие «рискованные места» меня не шатнут: я тебе верю, Ольга, — дай же мне чуть потерзаться ревностью о... тебе! Оля, Бога зови, молись: «Господи, дай мне в о л и, радостной воли к работе!» Все. «Благослови, Господи!» И не смей больше писать «отчаяния». Я тебе столько написал, а ты все не получила? — т о г д а еще не получила. Теперь — с тобой. И ты — в тревоге? что я «форсирую»? Нет, делай так, как м о ж н о. Одного страшусь: увидишь меня — и отвернешься, разочаруешься... — Но я — для себя — я уже себя связал с тобой. Ты не жалей меня, ты о себе думай... Теперь не все смогу дать тебе, как бы хотел. Но будет — в с е, для тебя, творящей. А в России — в с е, в с е. Ты в с е мои права получишь, и сделаешь, как н а д о. Ты любишь мою сущность? Она — верна, ты не ошибешься в ней. Она — в книгах. А в жизни... я — по тебе, Олёк. Только н е молодой. Но ты... особенная. И мое письмо, где я остерегаю тебя, н е порывать безоглядно... я хотел бы взять назад. Но совесть мне не позволяет. Взвесь в с е. Мой «уют» скромный, без лакировки, без «бобрика». Пока, да. Т а м — было бы в с е. Но ты — особенная, ты — от Храма, Оля. Ты — чудесна. Как люблю тебя, и как я недостоин тебя! — Еще пошлю духи: «Сирень» и «Душистую фиалку», жаль, «Жасмина» нет, редкие это, вышли. Еще: бретонские крепы, их надо подсушить, тогда чудесны. Еще: бисквиты, с сюрпризом. Тоже подсушить. Еще: «сухих бананов», это не изюм, увидишь. Угощай твоих. И — прошу — ж и в и духами! Не храни. А грушку-ту? Оля, все съешь, я для тебя все старался. Возьмет ли монах посылку? Ну, постараюсь — раз — очаровать его. Он, должно быть н е читал меня, несчастный. Писал ли тебе? Романовы меня читают, любят: Ксения, Ольга тоже. Вчера у Герлэн хотел бы в с е купить для тебя. Когда я попадаю в хороший магазин — все хочу купить, когда в хоро-

шем настроении — я расточитель по природе, шалый. А когда люблю — всегда в хорошем настроении. Оля знала это. И сердилась. Однажды я у Эйнем накупил на 100 руб. всяких коробок. У Елисеева — кульки закусок, на 20 чел. — что на глаза попало. Люблю... это только 2-й раз в жизни, но оговорюсь: такое, как с тобой — впервые. Тогда я любил сильно, светло. Теперь я люблю не только сильно и светло: теперь я сознаю, как я люблю. Пьют вино по-разному. Теперь я пил бы — пью! — понимая, что пью чудесное вино, не только пью, но и сознаю, что пью со вкусом, что понимаю и ценю, что пью, какое вино пью! Ты, понятка, все поняла, ты — мое вино живое! Мы оба пьем и ценим наше вино, мы пьем друг друга. И как же небывало-странно! мучительно и — сладко, — я. Ты... тоже? О, прекрасная моя Олюша... как хочу с тобой молиться! Если бы — в глухом монастыре, твоем, из костромских, весной, в посту... в елках бы идти, в березах, талых... галки кричат весенне... капель родная... — и я держу тебя, и звезды над нами... мы от всенощной идем... куда-то... в теплые покои... там лежанка, жарко... там твоя белая кроватка, Оля... я приношу тебе горячий чай... просфорный хлеб, как на Валааме... — я ножки твои кутаю, я сижу у твоей подушки... сердце слушаю, твое, как оно ровно бьется, и теплоту твою целую... и шепчу — люблю... о, моя девочка, моя родная Оля... как мы чисты, как мы хорошо с тобой говеем... завтра будем приобщаться, после исповеди. Грехи? Нет у тебя грехов... мечты... И солнце же какое завтра! и — в ветре, вешнем ветре, березы плещут голыми ветвями... и лужи, лужи, в солнце... Ах, Олёчек... глаза твои, в них небо, свет! Целую, всю целую. Твой Ваня

7.II — Завтра к о. Дионисию, за твоими дарами, святыми! О-ля-а-а! Как жду твоего светлого, ласкового письма.

3-е письмо с отрывком «Куликова поля».

Оля, прости — все прерываю. Читай, спустя, сразу. Больше не буду прерывать тобой. Все — ты, каждый миг — ты!

Оля, неужели ты у этого «батюшки»-молокососа будешь исповедоваться?! Какие это па-стыри! Были, твой папочка! У таких — профанация. Это — карьеристы, через Евлогия[609]!

145

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.II.42

Мой дорогой, мой милый Ваня!

Ужасно изорвалось все сердце: и за тебя — за твои тревоги обо мне, и за всю «запутанность»; — и так все время рвусь тебе писать, а как назло не удается. Подумай — негде. У меня холод, мыши (последнее съели одеяло, 2 простыни и еше байковую подкладку на матрасы), а в остальных комнатах я никогда не одна, а хотелось бы спокойно, надолго сесть за письмо. Пишу урывками. Душа вся изныла. Ваньчик, я получила твое письмо от 24-го на меня («разумное»), с «предостереганиями» в решении и т.д. гораздо раньше, чем те, что на С. были посланы. С. застрял у нас из-за заносов снежных — не проехать на автомобиле было. Когда я получила это «разумное», то у меня поднялось странное чувство и я тебе о нем писала (не послала). Мне показалось, что ты испугался меня, что ты вначале, в письме от 23.I, на которое ты ссылаешься, хотел меня заверить, что не «гнушаешься» мной и как яркий пример этого, снова стал говорить о нашей общей жизни, но что потом ты испугался меня, испугался возможности моей «измены» тебе, «порханья». И оттуда эти: «считайся и со своими свойствами», «может быть начнешь снова искать», и (в еще раньшем одном письме) «и я смущаюсь, мне страшно». Я тогда это последнее не могла понять, — почему и чего страшно. Я оставила письмо лежать до прихода от 23.I. Когда я получила все (4), то вижу, милый Ваня, что 24.I ты был все еще, или снова чем-то уязвлен. Правда ведь? М. б. мое письмо опять тебя растревожило, или думы? Ванёчек, одно еще меня задавило болью тупой в твоем письме от 24-го; — это, что ты говоришь: «может быть пока не надо порывать окончательно с А., чтобы не отрезать пути обратно»? Ваньчик, ты понял это? Что это мне? Я никогда, мой друг, никого не придерживала и не придерживаю «на всякий случай», «про запас». Для этого надо быть какой-то совсем иной, да и партнера уж очень мало уважать, по-человечески относиться. Я этого бы не могла. И если я не ушла от А., то не потому, что мне некуда. Я бы не побоялась труда. Я же писала,что хотела на пробу поотойти от дома. Я не сделала этого, т.к. не нашла ничего, но это не значит, что некуда. Я всегда могла бы уйти, но тут те соображения, вернее, та мука, о которой я так давно писала уже!

И вот еще что: я никогда* бы не разрушила брака-Таинства, для кого-нибудь другого и тем более для «порханья». — Понимаешь? Если бы мой брак с А. был Браком-Таинством, то при всей любви моей даже и к тебе (сердцу ведь приказать нельзя, — себя сдержать можно, но сердце мое полюбило бы тебя все равно, будь я даже в Браке, ибо ты — моя Душа!), при всей трагичности этого положения, я бы не расторгла Брака-Таинства. Ты пойми меня, друг мой, что это уж такое свойство души моей, — я измучилась бы.

И если я все же сочла возможным тебе «открыться» и затем *так* писать, как я писала, то это только потому, что совестью моей, душой моей знаю, что я *могла это сделать*. Без укоров совести!

Ибо *Б*рака, брака-Таинства, того брака, который я бы не решилась разбить, — у меня с А. нету.

Говорю это не потому, что хочу этого, что тобой увлечена, но потому, что это действительно так и есть. Причины, удерживающие меня все же тут — другие, — ты знаешь, как все сложно. Но иногда мне все же думается, что состояние, в котором я пребываю, становится еще сложнее всего прочего и тогда я, в порыве этих дум, тебе писала, что кажется решилась бы на «просто убежать, уехать к тебе и остаться». Я, видно, много тебе писала такого, в письме от 1.I. и т.д. И мне, конечно, было больно, что ты никак на это все не отозвался. Я даже точно не помню что писала, но сердце знало, что много было и боли, и любви, и ласки, и... вопросов. И ты до-лго не сказал ничего... Это ныло.

И вот ты вспомнил мне письмо 2-го окт. Мне показалось, что им, этим от 2-го окт., ты себя «ограждаешь». Не знаю, м. б. не верно все это. И знаешь, Ваня, что всего вернее и... безнадежнее? Это: сколько бы мы о том не толковали, кто из нас встречи хочет, и кто нет и т.п., — все равно это не в наших силах, не в нашей власти. Мы м. б. напрасно тревожим друг друга всем этим. Ты, правда, можешь считать — я по всей, по всей вероятности н е приеду. Я не смогу приехать. Мне ведь так же, как и тебе, трудно, или невозможно получить визу. Ты мне зло заметил, что тебе «не так легко разъезжать, как голландцам». Но это не верно. Мы же в этом все уравнены теперь. Разницы никакой. Только та, что женщине еще труднее дают. На яр-

---

* м. б. ты не поймешь меня, — огорчишься, подумав, что мало бы любила. Но это не так. Я, м. б., умерла бы с горя, от любви к тебе, но семьи бы не смогла нарушить, если бы таковая была. Это уж просто мой характер. Но у меня нет ни семьи, ни такого великого брака...

марку я не поеду. Тоже потому, что *не* могу. Кстати: разве такой грех, что я сказала «месса»? Ты же тоже иногда некоторые слова говоришь по-французски, но это все ерунда.

Ванечка, мой родной, ты все еще меня не видишь, не той видишь. Я не небесная, но самая простая, но не плохая, как ты рисуешь. Не для того, чтобы «обсуждать» твое «разумное» письмо от 24.I, но для уяснения тебе меня: что мне что-то бы могло «не приглянуться», «захотела бы в свой уют-удобство». Ваня, трудно мне говорить даже, когда так все наоборот! Мои удобства?! 1) ты их, верно, очень преувеличиваешь, 2) я вещи жизненные ценю иначе, иной ценой. Работы я никакой не боюсь. Я лучше, уютней, дома себя чувствую в нашей, простой обстановке, в русской.

Мы сами-то по себе жили очень просто, порой нуждались, но были всегда бодры. Говорю об изгнании. Писала я тебе или нет? Что на моей свадьбе, видя всю эту гремящую пустоту, я прямо остро почувствовала, что утрата эмигрантской доли со всей нуждой и тяготой, промена ее на всю эту мишуру, мне болезненна. И сказала И. А.: «Знаете, И. А., мне жаль нужды моей эмигрантской!» И он это очень понял. Ваня, я ничего не боюсь. Я презираю «удобства»! В их «удобствах» — *нет* удобства души, — душе неуютно. О, как хочу я написать, много... про это!

Я бы боялась только одного: — мне надо поправиться. Я пока тебе ничего о своем здоровье писать не буду. Ничего, идет, не больна. Мне кажется, что малокровие у меня сильное. Буду лечиться. То, что ты излагаешь в письме (24.I.) — все разумно. И я считаю, что для тебя очень важна была бы встреча и личное знакомство. И особенно после моей глупой «повести». Ты пойми, что не внешнее важно мне. И оставь этот вздор, который ты о себе часто повторяешь!!

Но у меня тоже есть некоторые пункты, о которых надо было бы только г о в о р и т ь. Ничего общего с твоими «недостатками» не имеет! Уверена, что во всем сошлись бы душой! Одно меня иногда колет, больно жалит в тебе — это то, что ты, доверенными тебе от полноты сердечной, интимными вещами, в минуту раздражения колешь меня. Это бывало не раз. Например: «а скажи-ка лучше, что было 9 июня 1939 г.» Я бы хотела, если бы Бог судил так, жить с тобой так, чтобы *все* тебе смочь сказать. И верю, и знаю, что так бы и было!

Господи, Ваня, случилось что: мама упала с лестницы во дворе — расшиблась ужасно. Перерыв сделала поэтому, по-

слала тебе открытку об этом, чтобы не волновался. Теперь продолжаю. Маме чуть лучше.

Да, так вот, Ванюша мой, все, конечно, очень важно, важно все взвесить. Я согласна. А разве я не взвесила? Я тебя знаю! Но ты меня, я чувствую, неверно представляешь себе. Милый мой, родной, я не могу ничего тебе сказать и «ответить» «о плане» твоем. Нечего и говорить, что всю меня он захватил радостью, сердце мне захватил, но... что мы можем сделать?! Мы совсем бессильны! Видно, надо мириться с тем, что до конца войны мы не увидимся. Но если бы (!), — то я думала, конечно, не к тебе, а где-нибудь нейтрально остановиться. Не из-за сплетен обо мне, но так для тебя лучше, думается. Но это все мечты лишь. Увидимся ли мы? Не знаю. Ванечка, ты для меня единственный! Я же тебя знаю! И думаю, что любя, можно обойти все, что больно бы могло коснуться другого. Я думаю, что любя, истинно любя, нельзя делать больно, серьезно больно. И все то, чем мы друг друга «колем» иногда, все это оттого, что мы далёко друг от друга. Это же все совсем иное! Я решила, что надо все, все говорить совсем прямо, а воспринимать все совсем просто и тогда все будет ясно. Давай так жить! И потому я тебе прямо сказала, чем ты мне делаешь иногда больно (примечание о 9 июня 1939 г.). И ты мне прости, если я что-нибудь делаю в этом роде и скажи, чтобы я так не делала. Будем совсем откровенны... Мне не хотелось бы касаться еще раз моей «повести» и всего.., но должна, т.к. ты, мой родной, не понял меня. Я не сравнивала твой поступок с .....[i] N. Но сказала, что «письма твои производят на меня такое же действие»! Это совсем другой разговор. Открытка твоя 31.I была мне меньшим кинжалом в сердце, нежели письма. В письмах ты прямо сравнивал меня с... грязью. Ты сказал: «если бы я стал твое давать Дари, то это было бы ее провалом,» «Дари целомудренна при всей ее страстности и не стала бы кататься по земле» и т.д. Я тебе это пишу не в укор, но лишь уясняя, что я не преувеличила ничего. Ты даже запретил мне ревностью объяснить! Помнишь? Письма были мне, правда, приговором. Мой родной Ваня, прости меня, что глупой «повестью» моей я так тебя разбередила. Я, описывая незначащие факты, тем самым уже, что их брала, давала им вес.

Ты пишешь, что веришь мне без доказательств. И потому я хочу тебе их дать. С N.: он написал письмо на 16 стр.

---

[i] Вероятно: с подлостью.

к родителям и ко мне, где признавался в подлости своей, где просил мне верить, молиться за меня и на меня, сообщил, что оставил мысль о самоубийстве, т.к. только живя может еще изгладить свое преступление против меня. И если бы нужно было его какое-либо участие для моего покоя, то он всегда начеку, без всякой надежды меня хотя бы увидеть. Длинное послание, если хочешь, то выписки сделаю. И еще: письма священника того, о котором писала. Он был другом N. и моим духовником. Он знал все, т.е. все мое «нутро», вплоть до моих мучительных разборов совестью всего, каждого помышления даже. Его характеристика меня, моей души, его обозначение: «все произошло от чистоты сердца Вашего». Он утешал меня, уверял меня в моей исключительности (в смысле чистоты как раз) в XX веке, указывая, что я поплатилась за наивность свою. И т.д. и т.п. Если хочешь, пошлю. Выписала бы сейчас, но длинно очень. Писем надо искать — их много! Относительно же «Микиты» — прилагаю его карту, попавшуюся мне на глаза, при разборе других писем, от священника. — Ты увидишь, что близости никакой не было. «Микитка» его прозвище у всех. И видишь и «Вы», и «О. А.» «Подарок» же, за который благодарит — просфорка, которую я ему послала на Рождество, т.к. был он тогда без храма, в лесной глуши у больного волчанкой и тосковал без храма. Мы уже «расстались» тогда, т.е. я запретила говорить о чувствах ему, но когда узнала от его друзей, как ему горько без Литургии, я послала ему просфорку, даже без письма. Мне хотелось его привести в «порядок» душевный! Если хочешь, пошлю тебе еще его письмо 1928/9 и там тоже «О. А.» и «Вы». Их всего три. Послать все? Могу и хочу! О Лёне? Это святой мальчик. Его влюбленность была молением каким-то.

Послала бы и письма N., но он их выкрал (!) у меня, в мое отсутствие, когда я скрывалась от него. Сидел у наших и улучил момент, и украл. Понимаешь, чтобы «доказательств» не было, что он «чушь городит». Кое-какие случайно остались. Прислать?

Ну, Ванечка, кончаю. Целую и крещу. Оля

Посылаю сегодня же письмо и в него вкладываю письмо Д. — Это очень велико вышло[i].

---

[i] Со слов «в него» и до конца предложение подчеркнуто красным карандашом.

146

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.II.42

Милый и дорогой Ваня!

Сегодня еще хочется сказать тебе, до чего истомилась душа по м и р у, т и ш и н е, б л а г о с т и!

Я не знаю, что меня так измучило, но я буквально вся выдохлась, все во мне в упадке, утомлено? И не хочется так вот писать тебе, — знаю, что больно тебе будет. Но ничего другого не могу из себя выжать. М. б. скоро пройдет это. У меня особенно тяжело переживается как бы отсутствие цели жизни. Я не вижу ничего пред собой. Мне очень хочется подойти ближе к Церкви. Батюшка наш — в общем хороший пастырь, только по молодости мало может дать, в смысле «совета в жизни», да и очень он «нарочито монах», не в плохом смысле, а так, по молодости. Я впрочем его люблю. Не понимаю лишь, отчего это эти молодые батюшки-монахи не любят, даже не терпят никакого «благолепия» в храме, все должно быть сверх-скромно, — даже убого. Православие такое яркое! К чему прибедняться? Ты его видел? Я надеюсь попасть к ним в Сретение, если пойдут автобусы.

Пришлось сделать перерыв письма: пришли детки нашего деревенского шофера, попросили сена для их кроликов. Я уж давно велела им приходить, хоть чем-нибудь их покормить хотела. Нищета у них ужасная, невообразимая. Я случайно зашла к ним однажды справиться об автобусе. Мать лежит от истощения и слабости, а кругом 7 ребят! Старшей девочке — 14 лет, а маленькой года нету. И все это копошилось около голого стола, без покрышки, только со следами, лежавшего хлеба. По стенам и в проходах громоздятся всевозможные приспособления для спанья. Еле-еле топится железка. Кругом тряпье и сор. У матери в постели лежит ее маленькая дочурка, заходясь кашлем. Мне стыдно было своего сытого вида, нарядной одежды — это было воскресенье. Детки до того испиты, худы, до того «зачиврели» как-то, что жалко глядеть. Как у плохой скотины шерсть растет вихрами и не блестит, так и у них волосенки какие-то «шершавые». Погладишь — сердце сожмется. Дала этим 2-м, что пришли поесть немного, дала немного с собой, приходить велела. Как-то говорила с отцом их: невообразимо, что тут творится. Какая вражда между католиками и протестантами: лучше собаке дадут корку, но не инако-верующему! Подыхай, коли не наш! Здесь это болез-

ненно прямо! Эта деревня сплошь католическая, так — подыхай лютеранин, а в лютеранских — подыхай католик! Есть, однако, и среди голландского общества очень крупные люди. Сереже повезло на таких. Это обычно люди, сами пробившиеся в жизнь, знающие труд. Ох, много бы могла я порассказать о здешних нравах, голландских, о хваленой Западной Европе. Я с гордостью называю себя а з и а т к о й! И чем «азиатней», тем лучше! На какой гнили все тут держится! Пни ногой и полетит все вверх тормашками! А мы еще преклонялись перед ними, чего-то «стыдились» даже в себе! Ну, нет, я теперь очень определенно веду себя и свое ценю по достоинству. И презираю всех, кто пред ними себя о-плевывал. Немирович-Данченко всю вселенную перевосхвалял, кроме своей земли родной[610]. Перечитала я его хвалы и Голландии[611] — , какая гниль! А свой край описывая, только и выбрал, что скверный климат Петербурга. Пишет об Италии (влюбленно прямо) и ей противопоставляет Петербург! Отчего же не Крым? Это же не честно! А потом воют о потерянном рае! Ужас, что за общество у нас было!

[На полях:] Читаю позор о дуэли Пушкина. Хорош и «Двор»-то! Всякое светило гения у нас прежде всего травили. Ничего не могли уберечь!

Голландско-французскому прохвосту[612] больше почета, чем народному Гению! Я ненавижу всю нашу аристократию, — это она виновата во всей трагедии! Все эти «белые ментики»[612а]! «Французящие»!

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.II.42, 11 ч. дня

Олюша, светленькая моя, как я благодарю тебя, что догадалась послать мне «скорое» письмо, получил сейчас, от 10.II. Но что же такое куцее, такое вы-нужденное?! Ты вся выпита, нет ни тени чувства, — тень бледная от тебя, недавно такой нежной, сильной сердцем, — где же ты, Оля моя? Как ты устала, — извела с а м а себя. Я весь в тревоге за твое здоровье. И как не догадался послать с попом селюкрин тебе?! Пустяки послал, а нужного нет. Ольга, что с тобой делать?! Чего ты раскапываешься во мне, ч е - г о еще тебе нужно от меня?! Я весь тебе дан, в книгах! Мало?.. Ведь я — самый настоящий — в книгах моих, я слишком о т к р ы т ы й, м. б. самый подлинный из писателей совре-

менных. И весь, особенно открытый — в «Истории любовной». Там я «росток» всего себя. Там я и добрый, и «злой». Только усилить надо все там, и вот он, твой Ваня. Вглядись же. Там и мечтатель, и выдумщик, и нежный, и дитя, и искра, и искренний, и любящий, и страстный, и жалеющий, и плакса, и за собой следящий, и немного «играющий», — но не притворяющийся, а — просто — игрунок. Там и горячка, и порох, и ревнивец до помрачения, до исступления, до наскока на рожон — сцена с кучером! — и философ, и требующий идеала-совершенства, и смысла жизни, и тянущийся к «тайне», и взыскующий женской ласки и отдачи всего себя — ей... и отталкивающийся от грязи, до... болезни! до потери сознания. Там весь Тонька — Ваньчик твой. Чего же еще-то тебе надо искать во мне?! Ну, вот... никому не раскрывал своего творческого, это тебе только, в первый раз в жизни. Я не щажу себя, но я и не восхваляю себя: я лишь даю себя. Я, конечно, и страстен, м. б. даже безмерно... но не сла-дострастен. Ольга, ты должна совладать с собой. Ты вся истекаешь, истекла. Истаять хочешь? Я 14 писал тебе... опять тебя «схватит», опять начнешь кричать..? Вчера послал разъясняющее письмо. Это шлю вдогон. Олечек, ласточка, зачем же так обессиливаешь и охлаждаешь себя? Ну, смотри... — и во мне равновесие заколеблется: я и... резко изменчив. Я — увлекающийся. И я боюсь — за тебя, и за себя... — если я уйду от тебя, от дорогого мне... — я уйду совсем. Я чувствую это. У меня — на тебя — может и не хватить силы горения. Я м. б. предпочту огонек менее яркий, но все же греющий... и он может зажечься... Ласка женщины на меня оказывает страшное влечение... — и нежно глядящие глаза меня влекут. У меня никого нет, правду говорю... но это не значит, что — не будет. Зачем так безразлично, так «без себя» начала писать мне? Устала? охладела?.. Не выдерживаешь такого темпа? Нет, я вижу, что с тобой мне не совладать: ты — или обжигаешь беспричинным гневом, или — охлаждаешь твоей душевной анемией. Нет, я вижу, что ты хочешь заставить меня — тебя увидеть. Сама ты ни-когда не ступишь решительно, не сделаешь шага навстречу мне. Придет тепло, и я попытаюсь приехать — тебя увидеть. Превозмогу и ложный стыд, и свою странную застенчивость... если к тому времени буду еще самим собой, т.е. — если ты не захолодишь меня совсем. Я вижу, чувствую, что чем больше тебя люблю, — и ты это отлично знаешь, — тем больше огня требуешь от меня, тем больше проявлений хочешь видеть. Ты, как будто, не мо-

жешь жить и любить в равновесии устойчивом: тебе необходимо «качанье», пусть хоть совсем — «срыв»! Такая ты беспокойная душа. Это может нравиться, привлекать новизной, но это не может долго выноситься, — для меня, по крайней мере. Ты не любишь равномерности, я не выношу «качаний», хоть и люблю «новизну», но эта новизна не значит — поворота наизнанку. Ты меня выпиваешь — и сама выпиваешься. Кончи с этим. Я уже больше месяца не слышу ни одного ласкового слова, не вижу твоего «сердца», — ты его испепелила? Или не видишь ты, как твой Ванёчек из кожи вылез, чтобы огладить тебя, утихомирить, всю душу свою открыть тебе?.. Чего тебе еще-то надо? С тебя, с тебя писал Пушкин «из Анакреона», — про «кобылицу». Ты — «честь кавказского тавра», да... но не надо этого «мечи», этого «косись»! Нужен «мерный круг». Ты... неужели ты не терпишь ничего «мерного», и тебе необходима «безмерность» и... хаос? Я, хаотический порой, не выношу в а ж н е й ш е м... именно, хаоса. А важнейшее для меня — мое искусство, и моя любовь, — любовь, ведь, тоже вели-кое Искусство! В ней — для меня — начало божественное, а все божественное не терпит хаоса: отец хаоса — Дьявол! Помни это. Пост идет, пришел. Помни же величайший из символов его, его повелительную основу — молитву Исаака Сирина![613] Праздность — а в этом понятии — огромное! — уныние... о, какое наполнение тут! — любо-на-чалие... — тут тоже глубина головокружительная! — и... празднословие... — «не даждь ми»! Господи... я потрясен! Сейчас от о. Дионисия письмо!! Ужас!! Ты знаешь... он пишет, что может взять с собой т о л ь к о половину того, что я привез ему для тебя!! А какую половину — не пишет. Хоть бы запросил меня — какую!!? С а м, видишь, будет в ы б и р а т ь... эту «половину»! Ну, знаешь... я выхожу из себя... Ну, почему он 8-го, когда я был у него, не сказал, что не может взять всего, я бы тогда сам распределил! А вторую половину он, видишь ли, оставил до следующей оказии! Что за самовластие, чтобы не сказать... глупость! гадость! О, эти «"вобла" в рясе», выпекаемые пастыри... «числом поболее, ценою подешевле»[614]! И к таким еще дуры ходят на исповедь! Не о тебе дело, ты — умница! Я про «тетей» — твое определение! — говорю. Да их, этих грошовых и бездарных пастырей — улицы мести, а не грешной совести служить помогой! Я опрокинут, я — в отчаянии. Ч т о, ч т о о н — идиот! — выбрал для тебя?! Не знаю. А я ему, полупустыннику, еще «Свет Разума» подарил!

Ему надо бы «Мрак умишки» послать, да у меня нет такого. Что он выбрал? Там два флакона духов «Гэрлэн» — «сирень» и «фиалка», коробочка шоколадных конфет, печенье с «Ваней», какого ты не видала еще, средний Ваня, ни большой, ни малюсенький! — там — «крэп бретонн», там три флакона «клюквы» — тебе «запах поста», там вязига для родного пирога, там — чернослив, французский, суховатый, там «сухие бананы»... — ну, не черт ли, прости меня, Господи! Это — издевательство! Я его проклинаю, окаянного монаха. И посмотри, какая хитрюга и прохвост! Письмо помечено «11» одиннадцатым февраля и лежало до вчера! Нарочно: пошли тогда, я бы покатил в Медон, я бы его убедил взять все, — дурака и труса! — или, в крайнем случае я бы с а м указал, что надо взять. Нет, я не могу дальше... я так расстроен! Этот гад сознательно сделал гадость. Плюнь на него и отвернись. Я этому скоту и слова не напишу. Напиши мне, какая оказия может навернуться. Тогда я съезжу к родителям этого пустопорожнего мниха, заберу «половину» и буду ожидать. Что за «курбет» он выкинул, да одолеют его бесы, окаянного! наплюют ему в беззубую глотку, и да язвят его всю жизнь до скончания его бездарного и бесплодного века! А-минь. Олюньчик, и твоя открытка прилетела с мниховым подлым письмишком! Где ты пишешь, как мама упала, как ты спишь в морозе — о, бедняжечка! — мечешься. Олька моя, Олькушка, Олюшечка, я всю тебя целую, я тебя тискаю до хруста, я тебя пью всю, всю, всю... — о, ласточка, звездочка моя... Олюлюньчик, Олька бедная, бесшабашная бешенка, жгучка, капризка, мучительница моя, терзалка, да где же ты? да когда же ты... ... ?! Олька, я с ума схожу без тебя, от тебя... — О, поп окаянный! да переломает он все свои лядвеи и потроха растрясет, и пусть все его вещи у него отберут, у гада! Заклинания на его голову шепчу, — а я могу-у, если захочу!! — он будет шесть месяцев орать от чертей, которые будут пороть его крапивой-жгучкой по всем пунктам, печатным и непечатным! Аэх, окаянный нечестивец... то-то я сразу почувствовал... какой он каверзник-тихоня! А я еще на прощанье... под благословение! Да я бы его благословил, лошадиную голову! Ну, что же с мамочкой? Господи, — ради тебя, милушенька, — смилуйся над нами! Я ее люблю, твою мамулечку... я всем сердцем шлю ей моленья — будь здорова, для Олюнчика нашего! Олюна, Олюлик, Ольгушонок... я невыносимо тебя люблю, я весь горю, тобой стражду, тобой живу, тобой брежу, тобой дышу, тобой бешусь, тобой сладко томлюсь! Олюшенька, красочка моя, де-

вулинька... я целую всю тебя, все в тебе... — но что за черт этот мних проклятый! Как он смел? Дурак, потому и — смел! дерзок на пакости! Проклинаю его, бесовского мниха, как он смел над тобой насмеяться! Да он, идиот, за счастье почесть должен, что для тебя везет! Ведь — ан-гелу везет! что ему Я доверил! я его просил, я ему... мою книгу — для тебя все! — дал! Ну, увидишь, пло-хо будет ему! у-ви-дишь!! Унесут его черти в провал адов. Подавится он просвирой, и спалит она ему все внутренности его! А я-то мечтал... порадовать мою детку! мою ласку, мою... кровку! Оля, я все сделал... я так мечтал... я... до слез больно... о, мних подлый! Ольга, ты еще не выдумай, что я увлекусь кем-то, если и т.д. Пропал Ваня твой, пришила его навек одна... Олька! Твой Ваня

В общем, — как будто здоров, но... наплевать.

148

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Посвящаю Оле Субботиной

О мышах и проч.
(Элегия)

«Жизни мышья беготня,
что тревожишь ты меня?..»
А. Пушкин

Мышей она страшилась пуще Бога,
Мышам она «всю душу» отдала, —
Не потому ль и ласки так немного
В последних письмах мне дала..?

Мышей голландских стоит ли страшиться?
Они — кошмар голландских серых снов:
Пусть миллиард их в грязи копошится, —
Сей символ тлеющих о с н о в!

Мышам — мышиное, себе ж — крепи надежды,
Пресветлой, радостной и нежной вновь пребудь.
Ну, что-нибудь мышам пожертвуй из одежды...
А для меня — всей прежней будь.

16.II.1942 Ваня
Париж

Это, если и не «драгоценность», то хотя бы — как «курьез» — ну, еще оправдает «хранение».

[К письму приложена открытка:] Возвращается, по принадлежности — собственнице, как драгоценность, достойная хранения[i].

И. Ш.

16.II.42

Paris

149

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.II.42 6 вечера

Дорогая моя Ольгунка, светлый мой ангел, очень меня тревожит твоя подавленность. Ты больна, детка моя родная, ты истомлена, и я ума не приложу, — ну, как я мог бы тебе помочь! Надо тебе лечиться от нервного переутомления, нужен и фитин, и бром, и — мышьяк! Необходимы вспрыскиванья, необходим и селюкрин... черт меня догадал забыть — еще дослать с монахом! но если у тебя еще есть — принимай. Ну, что мне сделать для тебя... как тебя вырвать из этой ямы голландской, дать тебе солнца, жизни, Оля моя бесценная! Душевная опустошенность еще... не видишь цели жизни! Есть у тебя цель эта, есть же..! Воля только у тебя пропала, а ее надо вернуть — силы физические-нервные укрепить, — и «запоешь». Я весь душой с тобой, я волей своей хочу укрыть тебя от изнурения, радость тебе влить в сердце, мое счастье, моя бедняжка, одинокая моя! Оля, верни же веру! Крепче стой на временном беспутьи... верь мне, ты должна быть счастливой, и ты будешь счастливой!.. Ты — юная, моя прелестная Олюна, ты будешь творить, ты должна! Отбрось сомнения, — это же все от неврастении, возьми себя в руки, внушай себе, проси помощи Божией, поверь же, наконец, тому, кто понимает тебя и твое, как никто на свете! Кто все отдаст за твое счастье. Оля, мне нелегко читать твои последние письма, в них нет ни единого слова ласки, но я это понимаю и не укорю тебя. Я верю в тебя, я знаю, что ты любишь горемычного Ваню своего, сейчас бессильного даже жизнь отдать за тебя, лишь бы покой и свет, и

---

[i] На обороте текст: Mimduberg 8.I/31 / Милая Ольга Александровна! / Большое, пребольшое спасибо за добрую память и чудный подарок. Ваш / Микитка.

самообладание вернулись к тебе. Не теряй же остатка воли — и ты окрепнешь. Скажи, — и я исполню, — что я мог бы сделать, как повести себя, чтобы ты обрела спокойствие, — хотя бы для того, чтобы перетерпеть и поправить здоровье! Я на все пойду, — доброе, конечно, тебе полезное.

Олёчек, горестная девочка, поверь, во-имя Господа поверь мне, ты сама себе нашептала, что я обидел тебя. Ты сама себе внушила о «малообразованности». Это полное извращение того, к а к я тебя ценю! Прошу, еще раз: выпиши подлинные строки мои... — этого н е м о г л о быть! я же не идиот, не дурак круглый, чтобы сказать такое. «Провалы», «обвалы»... — чудачка моя, кто же из смертных не имеет в своем умственно-нравственном запасе «провало-обвалов»! И — вот тебе Крест! — я не знаю ни-кого, не знал ни-кого в жизни, ни мужчин, ни женщин... кто бы имел в своем умственно-нравственном запасе с т о л ь к о и т а к о г о, как ты. Пойми же, упрямица, задорка, мнитка... что ты — с и л а! что ты все преодолеешь в предстоящем тебе пути — в искусстве, да, в творчестве с л о в о м — образом. Я не знаю о твоем даре в живописи, но об исключительной одаренности твоей — я имею совершенно твердое мнение, — и буду тебе в сердце кричать! ты д о л ж н а т в о р и т ь! Как же можно внушать себе, что я тебя «пригвоздил»?! Оля, не приводи же меня в отчаяние!

Вчера я послал письмо с крепкими словцами о монахе. Но это — чтобы выговориться, от возмущения. И это шутливые выкрики, Бог с ним... — ну, не забрал произвольно какой-то половины моей посылки тебе. И это не я, это — озорной мальчишка Тонька, тебе хорошо известный. Это со мной бывает. Оля, бывало, скажет: «Ну, до чего ты еще ребенок, Ваня... будто все тот же, какого я в серой гимназической курточке встретила впервые, у садовой калитки...» Все о н живет во мне, знаю сам это свое «неистребимое наследство», свою «кипучку». Часто ловлю себя на этой «непосредственности», «неискушенности», «взрывах», на этой — да! — «душевной свежести», не смотря ни на что. Это же, Олюночка, д у ш а, — а «она не взрослеет, ведь», — дорогое твое, и какое же премудрое определение! Ласточка ты моя... как нежно-нежно чувствую тебя... голубка! В э т о м-то — «не взрослеет» твоем — наглядне́йшее доказательство отдельности д у ш и от «меняющегося в нас», тленного, смертного, ежемгновенно отмирающего, — доказательство и н о г о в нас б ы т и я, вечной части от Великого Целого — Духа, Бога! — Это, по Пушкину, — «бессмертья, может быть залог»[615], — но для меня — без

«может быть», а — воистину залог, — доказательство вечного в нас. Ну, подыми головку, улыбнись Ване-Тонику — бессмертному, — бессмертная Оля. Не склоняйся пред препонами жизни: жизнь с ее препонами — рабочее поле наше! Мы в нем хозяева! Или — бессмертное в нас должно покориться тленному?! Ни-когда! Мы можем спотыкаться, ослабевать, но в нашей воле средства: подниматься и смотреть на наше поле взглядом хозяина. Верь в это, верь, что ты сама ставишь себе цели, и сама же до-стигаешь, и имеешь все средства к сему — в себе. Я не подбадриваю тебя, нет, милка... я свидетельствую тебе из моего духовного опыта, и, имея дело с тобой, я знаю, что имею дело с величайшей ценностью — с одареннейшей, чудесной, прелестной, бессмертной Душой твоей! Верь мне, моя ненаглядка, моя чистая птичка, замученная жизнью... — верь мне, в тебе все силы, и они просыпаются. Только оправься телом... без него же — здесь душа не может. А пока мы здесь, — приходится тащить эту тяжелую и неудобную порой одежонку.

Метко ты про молодых «пастырей»... — «нарочитые монахи»! И верно, — что Православие наше — яркое. Больше — в Православии кульминационный пункт — Праздники-то! — «Воскресение»! Ра-дость, восторг, пенье во-всю, до душевного опьянения... а потому и — благо-лепие, святое торжество, священное зре-ли-ще... культ, богатейший, в цветах-огнях-звуках... в блеске «неба», в дарах земли. Все — подавай, празднуем, священно пируем, голосим, — вызваниваем — трезвоним... — отсюда и красота церковной стройки, красоты монастырского пейзажа, песнопений, глубин церковно-мистерийного, всего. А куцые монахи «нарочито» — невнятики, мелочь. Чужд православию аскетизм грязи, бывали уклоны... но аскетизм подвижников — не самоцель, а лишь трамплин для высоченнейшего скачка ввысь! Маленькие не понимают. А ты, моя красавица, большая, ты все чувствуешь, я счастлив тебя слушать, я счастлив и горд, что ты меня слышишь, мы делимся сердцами и всем в нас, у нас огромное богатство, мы — дружки. Я счастлив, Оля, что Господь, — и моя усопшая Оля — дали мне тебя... и я пою тебя, пою тобою... Оля моя, верь мне, во мне лучшее говорит к тебе, вот сейчас... я это так ярко слышу...

Вчера я тебе послал о «мышах», стишонки. Ты не сочтешь «мышей» моих просто мышами. Я для сего и взял эпиграфом Пушкина два стиха. «Мыши», «мышиное» — это вообще — «суета», очень земное, а тут еще и «голланд-

ская суета», «мышья беготня». Так и принимай. И не преувеличь смысла. Да, внеси поправку: в I-ом стихе — надо: «боялась больше Бога», и во 2-ом — надо, лучше: «все силы отдала» — не душу. Но это я шуточно, тут мальчик Тоня немножко, под руку, сбаловал. Иногда он, бездельник, играется. Ну, вот опять... под-руку, а ты полулыбайся, ну... с лаской ко мне, хоть маленькой... — я так одинок, я так тоскую по тебе... Ну, вот: «Прости»: «Прости: с тобой не смею спорить, — Страшусь отныне возражать, — Не буду больше прекословить, — Лишь ковриком у ног лежать. —— Положишь ножку — о, блаженство! — Наступишь — счастья через край, — Притопнешь — Оля!.. совершенство!! ... — Толкнешь — и в сердце светлый рай. —— Рабом у Олиньки прелестной... — Какой восторг! какая честь!..[i] Как пред Богинею Небесной, — Готов к ногам твоим упасть. — Смотри же, до чего покорный! — Готов хоть век с тобой играть, — Пока, из прихоти задорной, — Игры не вздумаешь сорвать». — Ну, ты улыбнулась? или похмурилась? Ну, тогда ты глупая девочка, нео-бра-зованная, бяка... Оля, как я тобою счастлив и... несчастлив..! и ты все-о понимаешь — почему. Не надо тебе разжевывать и в рот пихать, не младенка. Но я верю, что — будет. Я так хочу. И ты. И мы, пока живы, на здешнем поле хозяева. И головы не склоним, а сами вспашем, как нам надо. Душа моя, бессмертная, дает мне силы, поддерживает, выпрямляет... — и я превозмогаю, все. «Оробей-загорюй — ку-рица обидит!»[ii] — верно.

Пост... но я его не обоняю... — здесь он неслышен, наш пост. Ах, с тобой бы... в монастыре далеком, глухом... недельку по-русски отговеть, всей бы полнотой души и сердца, так нежно-чутко, так свято-тонко... так бережно друг к другу! Ах, какой же восторг, так! И какой же свет — после, и — надолго..! И какая крепкая любовь, какая ясная, какая сближающая, сливающая души — в одно! Мы бы тогда — в монастыре — в ангелов превратились бы, сумели бы почувствовать так, вообразить: мы же с тобой так богаты чувством... все можем вообразить и — преобразить себя самих! О, это высокое наслаждение, тончайшее, выше всех эстетик. Да, Олик? Ты все понимаешь. Пишу — и слышу, как ты глубоко переживаешь понимание. И вот, то, что написал тебе... — сейчас — мысль!.. — «об этом кинуть в "Пути Небесные"». Ты знаешь, мне

---

[i] В оригинале: часть.
[ii] В оригинале: обит.

говорят: ваши «Пути» действуют на атеистов даже... и для них меняется перспектива вертикального отношения к земному: они чувствуют, что, вчитываясь в роман, они начинают не с высоты роста своего, а как бы с высот смотреть на землю... Вчера мне донесла одна чуткая, иконы пишет... очень талантливая... — с трепетом говорила, а я о тебе думал, слушая: — «Оля моя это давно сама знала». — Вот ты будешь говеть... Не у этой же «воблы в рясе» душу очищать: т.е., не он же будет «свидетелем» очищения твоей души! Такие «нарочито»-монахи — не годятся. Можно на них, конечно, внимания не обращать... но при них очищаться... — не-эт... я смотрю так: наставления искать можно лишь у достойнейших, а таких достойнейших... два-три в столетие бывает... как о. Варнава, старец Амвросий Оптинский... Мне их советы были бы нужны. Но не — рядовых. Ну, я понимаю: поехал в дальний монастырь, нашел старца посуровей... — ладно, выслушивай меня, диагност духа... А в «мышьей» плоскости, да еще твоей, голландской, где развлекаются «мышьей беготней»... нет. Я всегда в таких случаях очищаю душу «в уме». Я говорю, да... Кресту говорю, упираясь духом в Евангелие... говорю вслух общее. А частное — я умственно ему приношу смиренно, иногда — в слезах. Прав ли я? Суди сама. Наша Церковь допускает «глухую» исповедь, при беспамятстве, и — общую — с амвона, как бы перекрестный допрос. Вслух? Да. Но тут — тоже «в уме». И это правильно. Конечно, тут, по духу этой общей исповеди, надо бы разуметь всенародное покаяние — всех пред всеми... но это же невозможно, никто ничего понимать и ничему внимать не будет. Я исхожу из основного: в Православии величайшая свобода человеку! Смотри у Господа, как каялся мытарь[616]. Вот — указание. Смирение, искренность полнейшая... зачем испытывать-пы-тать человека?! Заставлять, чтобы он пересиливал себя: к подножию Креста неси тяготы твои. Так я и поступаю. Я искренно стараюсь говорить, при «свидетеле», но лишь «схему», без раскраски в живые цвета. И чувствую, что этого достаточно. «Милости хочу, а не жертвы»[617]. И никогда в свое «любопытного батюшку» не введу. Другое дело... — мой старец! Но где же я его найду?! Я мысленно говорю моему «старцу-свидетелю». И — облегчаю душу. Я не думаю навязывать тебе, Олёчек. Я лишь сам тебе сейчас поисповедывался. Прости мне, родная, что вольно ли, невольно ли погрешал перед тобою... Нет, милая... я не погрешал, не хотел погрешать перед тобою,

чистая моя радость. И любовь к тебе, и твою любовь я грехом не считаю. Я считаю их — дарованною — мне, нам? — благодатью Божией, светлой радостью, и во-Имя Его. Так во мне глубоко сознается сила и смысл моего к тебе чувства любви. Пусть тут и от земного... пусть некое «плотское», пусть... и это для меня — не греховное. Я возношусь и мыслями об этом, ибо в основе — не греховное, а осуществление земной любви... причем это — земное — очень малая частица огромности всей Любви. Я такого не испытывал в жизни. Ныне, в итоге всего пережитого, вынесенного, прочувствованного, продуманного, я так вот и беру, так вот и живу любовью к тебе... — жив сим! Ольга моя, да будет с нами Господь и Его святая Воля да направит нас. Мы хотим чистого, это Он видит... и я верю, что это по Его воле, в Его плане — и наша (твоя!) необычайная чуткость в исканьи-томленьи... и наша встреча. И потому я не мыслю, чтобы это — нами или кем-то — было нарушено. Нет, но мы обязаны, сами, крепить себя... смотреть большими глазами... и разглядывать не отдельные мазочки на вырисовывающейся картине-плане нашей жизни, а все целое, которое дается зрить.

Ты так и не закончила мне рассказа о поездке с шефом клиники к больному в Мюнхен. Оборвала. Ты доскажешь, да?

Прилагаю автограф на «Историю любовную». На что еще дать тебе? Как я жду от тебя письма, а его нет! Последние три письма — 8—10 февр. оставили во мне горевое, горькое... Оля, ты — со мной? ты не устала от меня..? Оля, я все могу вытерпеть... будь же со мной искренней, своей, — и мне будет легче. Глаза твои глубокие целую мыслью, ручки твои целую, усталые, твое сердце согреть хотел бы... Оля моя далекая... увидеть тебя хочу, и — должен. Верю.

Писал я «Восточный мотив», но не отделывал, а пока вчерне. О «белых ментиках» нисколько не зацеплен, ты, конечно, права, много, в «высшем свете» — и низости, и тьмы. У меня от тебя никогда не м. б. никаких тайн, вся душа, все мои думы должны быть тебе открыты. Иначе я не представляю себе. Буду счастлив, если напишешь о себе-девочке. О, ми-лая!.. О папе писал, целую за все! Какое чудесное лицо! — Ты от него. Молюсь за тебя, всегда, — и я чувствую, как ты делаешь меня лучшим, умягчаешь, утишаешь. Если бы тебе пожить одной! — там бы где-нибудь пожить! Но надо освободиться от утомляющей работы, читать, не вызывая напряжения мозга. Оля, принимай фитин хоть, и — гемоглобин! Ешь, ешь, — не постись, не исто-

щайся. Я плачу о тебе, так я бессилен! Оля, вряд ли вышлют журналы, найди в библиотеке в Гааге. Об И. А. ничего, уже 3-й год! Спасибо тебе, за привет мира! Взираю на тебя, чистая моя! Как ты мне дорога, Оля!.. Твой, вечно твой Ваня

[На полях:] Твоя чудная «грелочка» спит на моей подушке. Я ее всегда слышу — тебя. Спасибо.

Прилагаю автограф к моей книге «История любовная».

«Куликово поле» читай целиком, когда все получишь. Да ты умеешь читать.

150

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.II.42 4-30 дня

Милый мой Ольгуньчик... а-у-у-у..! Не могу не писать тебе, особенно при твоем душевном и телесном переутомлении и при твоей подавленности. Я слишком встревожен, ты не знаешь — как! — Ну, вряд ли тебе пошлют из Берлина «Эвропейше Ревю», тем более за прежние годы. Лучше выпиши из местных библиотек (или из публичной?), в центре, — немецкая культура высоко ценилась и ценится в европейских странах, особенно в северных, где немецкий язык — господствующий, из не-своих. За немецкой словесностью культурный слой там следил внимательно, и такой крупный ежемесячник, как «Эвропейше Ревю», издававшийся герром Карлом Антоном Принцем Роган, под председательством в издательско-редакционном Комитете тройного д-ра Вильгельма Зольфа, должен выписываться солидными книгохранилищами. Так вот: в янв. книге за 34 г. (я тебе уже писал, повторю) напечатан перевод моего рассказа «Дасс Ферборгене Антлитц»[618] — лишь части этого большого рассказа, — посвященного «моему сыну», в которой дана «философская система капитана Шеметова». Рассказ этот, как я тебе тоже, кажется, писал, вызвал «эхо» в немецких читающих кругах, и редакция получила ряд писем, что в свою очередь вызвало у Редакции желание получить «соответственный, такой же глубокий», другой рассказ мой. Я тогда писал тихие очерки «Богомолья» и «Лета Господня». Но в 38 г., в январской же книге — ! — обычно, журналы дают в янв. книгах «приманки»... — был напечатан мой рассказ, посвященный проф. И. А. Ильину, — «Дасс эвигэ Лихьт»[619], — редакцию не только удовлетворивший, но, как мне писал редактор д-р Иоахим Морас, — «потрясший». Слава Богу! Уверен, что ты най-

дешь обе книжки журнала. Прочти, голубка, и напиши, как понравился (или не понравился!) перевод. Мне очень важно твое суждение. Ты — вся — художник! Дело в том, что мой оригинал не всегда поддается переводу, и, конечно, впечатление у читателей перевода не может быть полным. Хвалы немецкой критики меня тем более радовали всегда. Кстати, ты в библиотеке можешь, наверное, получить мои немецкие книги — переводы, и мне очень хотелось бы услышать твое мнение, к а к звучит по-немецки то, что тебе хорошо известно. Вот эти книги: «Ди-и Зоннэ дер Тоттен», 2 — «Дер кельнэр», 3 — «Дер ниэгелеэртэ Кельх», 4 — «Фор-Фрю-и-линг», 5 — «Дер Бэрихьт айнэс ээмалиген Меньшэн», 6 — «Мари»—«Мери», и при ней — «Майн Марс» и «Дас Бююхербрэтт», 7 — «Эйнэ лихьтэ Эриннерунг», 8 — «Киндерфрау»[620]. Кроме того, помимо многих рассказов в газетах, между прочим большая повесть «Каменный век» — в «Нэйэ Цюрхер Цайтунг», в философско-богословском журнале — Берлин — «Эккарт» (его-то наверняка выписывали библиотеки в Голландии, журнал протестантский!), в книге за июль—авг. 33 г. напечатана повесть «Валльфарт ан Бротт»[621], в том же «Эккарт», в июле—авг. 32 — повесть «Ан дэн Баумстюмпфен»[622], в журнале «Диэ Тат», издававшемся в Иене, за 28 г. декабрь, и январь, февраль и март 29-го — моя повесть «Диэзес вар»[623]... — Не стану перечислять многих газет и журналов с другими рассказами — и «для юношества», отмечу:
м. б. тебя заинтересует статья ныне уже очень известного немецкого писателя и моего друга — Эрнста Вихерта[624], — «Убер Иван Шмельов»[625], к 60-летию — ! — тогда мне было, правду говоря, 56 лет, а н е 60, но это не важно. Я принял паспортно-официальные лета, а для тебя восстановил — п р а в д у. А все проклятые большевики! Эта статья помещена в журнале «Эккарт», Heft[i] окт. 33, а в том же «Эккарт», за июль—авг. 32 — статья профессора И. А. И. — где и «На пеньках», — «Иван Шмельов — Профет дер Кризэ»[626]. Я, кажется, писал тебе, что Ученым издательством при Кенигсбергском Университете издана большая ученая работа — диссертация обо мне — 161 страница — «Иван Шмельов! Лебэн унд Шаффэн дес гроссэн руссишэн Шрифтштеллерс», фон Михаэль Ашенбреннэр[627]... М. б. достанешь. Ну, видишь, Ольгуночка, твой Ваня не такой уж лентяй... письмо-писец! — ведь у меня теперь, с российскими — до 40 томиков, из коих на разных язы-

---

[i] Номер (*нем.*).

ках, — включая китайский и японский! (ну, чего китаец понимает!? Нет, он-то и понимает, — да, «Чаша» им *взята*!) — вышло около... 50 книг, а сколько грабителями издано, и мне неизвестно..! — это один Господь знает. Ваши угри голландские и сырники (во всех смыслах!) издали три, да «Каменный век» или — «Мери»... в газетах, «Орел», перевод покойного Ван Вейка... мно-го..! Кой-что наверное найдешь, из немецких переводов.

Сейчас пришла караимочка[628] (впервые без сына, осмелела!), — жена одного торговца (а раньше он был богат!), я тебе о ней писал, очень вумная, — любит читать мои немецкие книги! — и принесла мне: «варе́ников» — ! — ура!! — 2 «пти-сюис» (крем) — ура, ура-а!.. и... моркови (пол-уры!)! (а вчера один читатель подал мне один фунт малороссийского сала! Ну, что же я поделаю?! — и кило — чудесного, старого, варенья мирабель. Я отплачиваю книгами, но запас их на исходе.) Я ей дал «Эуропэишэ Ревю» — как раз она увидала у меня на столе, — пишу-то тебе! — и пожелала взять. Ну, я ей поцеловал лапчонку, — как у киски, ма-ленькая! — но не «из уважения и любви», как ты можешь вообразить, ибо ты бо-льшая воображалка! — а... за... «варе́ники»! и за варенье, и — за морковь... — ровно три (2 1/2) раза. Пришла с хорошо намазанными губками, подведенными глазками... — глаза у ней, правда, I-й сорт! — чо-орные... — а я, ты знаешь, ведь, какие глаза я люблю... и — чьи!.. — ну, дай, чу-уточку только... ну, за... мои «труды» хоть... — не за мои глаза... — они устали смотреть, они устали плакать... они устали — не видеть... тебя, гулинька... Можно, да..? Спасибо, Олюша.

Сегодня я послал твоей маме — можно сказать — нашей? Ну, хорошо: нашей маме письмо... и уж влетело там некоторой особе... по первое число! Во-1-х, по случаю благополучного «слета» с голландской лестницы... — да и сама «страна каналов и каналий»... скоро слетит со всех винтов и лестниц! — а во-2-х, по случаю твоего состояния здоровья, вернее — не-здоровья. Надо с тобой решительно поступать... И просил: накажите, ради Бога, Вашу Олю... посадите ее на — не на хлеб — на воду, а... в тепло, и чтобы она часами лежала днем, и лечилась, иначе... Ольга, я твердо говорю тебе: я — по своим работам обязан был многое изучать... — я «из лучших уст» специалистов слушал — для меня специально делали! — лекции о... психических и нервных заболеваниях, и, главным образом, — что относится к вашей не-милости, — о неврастении... Эта проклятущая болезнь может оказаться неизлечимой, если

длительно запущена, и дает итоги очень плохие! Помни это. Ты можешь быть через два—три мес. вполне здоровой, сильной, прекрасной (впрочем, ты и теперь — прекрасна!), если возьмешься за себя серьезно. Всякое чтение, требующее усилий (в том числе — и особенно *мое!*) — *бро-сить*! Только — легкое... озаряющее душу — хороших поэтов! Пу-шкина читай. Кстати, ты знаешь его «Прозерпину»[629]? Вчера я наткнулся на это, и прочел 3 раза! Шедевр! Музыка... Это — подлинный случай с Пушкиным... он его «прикрыл» — фальшивым подзаголовком из французского поэта Парни! Это — гордая жена[630] генерал-губернатора графа Воронцова, в Одессе, Элиза... отдалась-таки ему — Пушкину, в гроте... на берегу моря. Их — краткая и пламенная — любовь была оборвана... — его Воронцов «упек»-таки — видимо — подозревал... — выехал Пушкин в свое Михайловское! — в ссылку[631]. Пушкин заплатил ему ивестной эпиграммой «Полугерой, полуневежда...» А ей заплатил — образом Тани!! Она ему заплатила... и платила всю жизнь: до глубокой старости, слепая, приказав читать подряд все его... Когда кончалась последняя книга — начиналось сначала. И так — всю жизнь! Пушкин дал о ней чудесный «талисман»... и много-много! Да, 37 женщин было у него... «романических». Сначала он не понравился ей, был неряшлив... дурно одевался... но зажег и обжег ее своим огнем. Стихотворение — удивительное... есть там две—три строчки... слишком г о л ы е... — но к а к даны! Это — «И молчит, и томно стонет...» — эх, прочел бы! У меня вчера доктор — и это в среду на первой неделе Великого Поста! — крякнул даже. Я ему даже грохот колесницы Плутоновой д а л чтением. «Плещут волны Флегетона» — река в подземном царстве! — «Своды тартара[i] дрожат...» Слышишь эту аллитерацию — «тарррртаррра», «дрррожат»? Ну, и дал же он эту Прозерпину..!

Нет, моя милая девчурочка... я не жаловался маме... я только просил ее — упросить тебя — заняться собой. Родная, ты хочешь, чтобы я у м е р, да? Я тебе не стану лгать... как я томлюсь твоим состоянием... — я — именно — начну умирать... если не возродишься ты, не возьмешь себя в ручки, не начнешь лечиться. Пойми, глупенькая детка... — ты легко выздоровеешь! Верь, что все будет хорошо, я — в е р ю. Я непременно приеду к тебе, в Арнхем, когда потеплеет, постараюсь добиться. И мы будем гулять с тобой, и я буду читать тебе, и — столько нам есть —

---

i. Так в оригинале.

что сказать друг другу! И я попрошу моего друга, одного из моих читателей в Германии — есть же они! — не смейся, не смейся... — посадить тебя в авион и умчать со мной в Париж! Ну, найдем какого-нибудь рыцаря... — как в сказках бывает! — и он, прихватив нас, и — бомбы... — а ты приносишь, это всем известно! — счастье, одним взглядом! — ринется к берегам Альбиона, ахнет на какой-нибудь Гулль или Бирмингем — «ку-дэ-бю»[i] — и снизится на полях Нормандии. Вдруг случится такое чудесное?! Я бы с охотой прокатился под английские пулеметы, — они скверно стреляют, не немцы! — и ничего страшного, потому что в шуме моторов ты выстрелов не услышишь, и нестрашно тебе будет. Ну, помни: я тебе пришлю «заговорные слова» внушения, и они сделают с тобой чудо, ты увидишь... их надо читать раза три на дню... и непременно, ложась спать... — со-ставлю! И сны будут тебе, «легкие, как сон»[632]. Ну, целую твои небесные... Ольгушоночек! Сейчас прочитал статью о Шмелеве Эрнста Вихерта в скверном русском переводе, сделанном для меня, моей переводчицы «Кандрюшки», как ее И. А. величает (они любят друг друга, как кошка и фокс-терьер), — я ведь «малообразованный» и потому слаб в немецком языке (Кнут Гамсун писал мне: «Я малограмотный, языков не знаю, и потому пишу Вам на своем, норвежском»). Прочитал — и полез от смущения под стол (очень он сильно, об Иване Шмелеве!), ну, гениально! Тебе будет интересно, как об этом Тоньке пишут немецкие писатели. (Писал и Томас Манн[633], да я его за великого не считаю, хоть он и ставит меня выше Тургенева (не удивил!), сравнивая по калибру с... Достоевским.) Непременно прочитай. Только не плякай, там о-чень много моей боли. Там и новое узнание обо мне, как мне простой человек подал кусок хлеба! — уплатил гонорар за «Человека из ресторана», — сам «человек из ресторана». Но был единственный луч света в эти страшные дни нашего Распятия. Тебя эта статья «окрылит»: ведь ты тоже подала «чашу освежающую» — умиравшему! Целую. Вечно твой Ваня-Тоник. Тонька. Тонюрка

[На полях:] Прилагаю автограф к «Мери».

4 дня нет письма, — сегодня Великий пост, и нет меня... постишь*?

Олюша, ты нигде не найдешь теперь шелковых (настоящих!) чулочков. Я найду. Изволь мне — без ужимок! —

---

[i] Здесь: направленный удар (*от фр. coup de but*).

* неправильно, но я так хочу. Ты-то поймешь.

дать: какого цвета, (голого?) высоты... и размер ноги. У тебя должен быть большой №, ты — рослая, мне кажется? И ноги у тебя — длинные? макароны? — Ну, не Тонька? И все-то ему знать надо! А я все же выше Пушкина буду (ростом!). Он был — «мартышка». Ты чуешь, как я распелся? Это — от «вареников». —

Что творится у меня на книжных полках!! Будто черти там возились.

Прошу: пока читай на сон, — ш е п ч и! — «Слава в вышних Богу...»[634] Так я лечил свой с и л ь н ы й невроз!

151

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.II.42

Милый Ванюша!

Исписала тебе 4 листа, и такая вышла тоска, что не пошлю! Ты прости меня, что такая я нудная. Сегодня твоя открытка от 22.I! Так долго!

Вчера писала тебе. Тоже тоскливо вышло. До вчерашнего вечера я невероятно томилась тоской. Но вечером стало лучше. Я легла в теплой темной комнате. Только камин играл огнями по стенам и потолку. Успокоилась. Много читала. Ваня, если бы устно, то много бы тебе всего о себе сказала, дум, муки, всего, всего! А так, не написать. Сегодня я весь день вожусь с ягнятками. Родились 2, но 1 очень слабый. Скоро и умер. А второго кормлю из рожка. Мать очень молода и не имеет молока. Очень мил! Сегодня тает. Слава Богу! Ванечка, я вчера тебе писала, как я ненавижу нашу «аристократию» и сказала «все эти белые ментики, французящие» — только после, я вспомнила, что Вагаев был у Дари в белом ментике. Не подумай, что я его задеть хотела. Нет, но понятие «белый ментик». Всю нездоровость, внешность! Я много обо всем думаю. Ваня, ты пишешь, что начнешь "Пути". С Богом! Молюсь за тебя! Ты в «злой» открытке от 31.XII писал «пишу, но не "Пути". А что? Скажешь? Что-нибудь новое? Скажи же мне!

Я не могу преодолеть усталости, внутренней какой-то апатии. А то бы я так много тебе о себе написала. О девочке. Получил ли о папе моем? Видел батюшку? Портрет папин — плохо вышел, т.к. это фотокопия. Оригинал же (портрет) очень похож. Папа блондин, а тут темный вышел. Я бы довольна была, если бы тебе это доставило радость (эта брошюрка).

Помолись за меня, чтобы Бог дал мне мир душевный! Я так устала!

Не знаю что со мной. До изнеможения я устала. И душой и телом!

Хоть бы в пост стало лучше! Я бы хотела остаться хоть на время, одна, совсем одна! И невозможно это! Летом уходить буду. Гулять. Я очень устала от всего, от людей, от обстановки, от всего. И давно. Я никогда не отдыхала, так, чтобы о себе подумать. Эта усталость еще м. б. с клиники. Не было никогда «Entspannung»[i], но наоборот все новое и новое «Spannung»[ii]. Ваня, я просила выслать мне «Лик скрытый». Пока ответа нет. Не знаешь ты чего об И. А.? Кажется, болел? Мы ничего не слыхали. Как-то он там?! Ваня, тороплюсь на почту, а то поздно будет. Тебе шлю пожелание мира, тишины, работы успешной, спорой! И ты помолись за меня об этом же! Давай хорошо проведем пост! Крещу тебя.

Твоя Оля

Шлю заказным, чтобы скорее послать тебе привет мира! Ваня, я никогда не «испытывала» тебя!

152

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.II.42[iii]

Здравствуй, дорогой Ваня!

Давно нет от тебя ни слуху — ни духу. С. был всего неделю у нас, так что тоже не знаю, есть ли что на его имя. М. б. завтра привезет, — он уехал вчера. Как живешь ты? Здоров ли? У меня ничего нового, конечно, нет. Вожусь целые дни и ночи (!) до полного «истерзывания» сердца с умирающим ягненочком. Я так привязалась к нему и полюбила его, что не могу смотреть на его муки. У матки не оказалось молока. И никакие меры (впрыскивания, корм, питье) не помогли. Кто-то определил, что она на 2 недели раньше разрешилась. Один умер сразу, а другой борется. Дали ему (по совету ветеринара) коровьего молока, но у него открылся ужасный катар кишок. Каждые 10—15 мин.

---

[i] Успокоение (*нем.*).

[ii] Беспокойство, напряжение (*нем.*).

[iii] Помета И. С. Шмелева на конверте: чудесный рассказ о яичке с птенчиком! Это избранный рассказ — для хрестоматий и о сердце (ягненочек!).

водой! Тогда ничего не стали давать — только воду. Лучше стало. Ветеринар дал опять молока. Опять хуже. Лежит и головку свесил. Посоветовали соседи давать рисовый отвар. Я из последних маленьких запасов делала (м. б. преступление против своих домашних по теперешнему времени), стал будто веселее, даже «требовал» еды, а к вечеру «скис». Вот 4-ый день сегодня. Мука. Сегодня раздобыл для меня работник, это пушкинский «Балда» — молодец! Я его и зову «Балда»! (бегал по всей деревне — 4—5 километров, искал, нет ли еще у кого овцы с ягнятами) 3 ст. овечьего молока. Мой больной обезумел от радости, лизнув его, — все жадно выпил. Больше не могли достать. Тогда побежал работник искать козу. Нашли. Пробую. Но слаб очень. Умрет... думаю так. Я ему Dextropur давала — оживило его. Но нет больше, а в аптеках тоже не достать теперь. Какое страдание смотреть как он, учуя меня, наклонившуюся над ним, вдруг из последних силенок вскочит и примется тыкаться мордочкой мне под подбородок, вертит хвостишком (полуживой-то!), перебирает ножонками и пробует сосать. Он думает, что это «что-то теплое» — его матка. Ужасно я мучаюсь, на него глядя! Сейчас ничего не помогает. Кишочки больны чрезмерно снова. Мы по очереди встаем по ночам к нему, чтобы понемножку давать ему для питания, чтобы не ослаб окончательно. Какие изумрудные у него глазки, когда свет попадает, — смотрит жалостно-жалостно. И я не могу помочь! Сейчас попоила его — выпил 50 [1 сл. нрзб.]. Все мокро под ним. Вынула, вычистила, вытерла его. Положила опять под электрическую грелку. М. б. глупо все это?! Но не могу видеть страданий. Я с детства люблю маленьких животных. Помню, как однажды у нас была клушка-самоседка с 16 цыплятами, а 4 яйца укатились. В одном был полуживой цыпленок. Я не могла выбросить его. Умолила бабушку дать его мне и держала его подмышкой. Несколько дней я это вынесла, но в субботу должна была идти в баню (всегда в субботу баню топили) и мама рассердилась, что я «убожусь», не бегаю, не играю, а только с рукой своей ношусь. Я попросила бабушку его спрятать в горнушку печки, пока моюсь. Пришла из бани и сразу за свое яичко. Цыпленок уже пищал и слышно было его трепыханье. Ночи я лежала на спине и, конечно, не спала как следует. За ужином я поссорилась с двоюродным братом, сидевшим рядом и толкавшим нарочно под руку, и тогда его отец встал и вывел меня из-за стола. Мама еще не сходила к столу, поэтому дядя счел себя вправе распорядиться за нее. Он вывел меня на двор и

велел отдать ему яйцо. Я заплакала. Тогда он сказал, что я должна стыдиться такого ослушания, — мама запретила, а я все ношусь и еще скандалю за столом, «всех заставляю с яйцом носиться», что у меня рука заболит и т.д. И вынул мое яичко, и забросил его на сарай, на крышу. Я только крикнула: «ай!» Будто оторвалось у меня что-то. Я стояла такой несчастной, что дядя понял, как непохоже это все было на «ослушание», — он как-то неловко поднял меня и на руках отнес домой — я была 9—10 лет. Это было первое лето после папы. И все объяснял, что птенчик все равно не выжил бы, что это была бы ему худшая мука. В ту ночь я составляла план, как я залезу на крышу сарая и найду яичко... или уже птенчика? Я не допускала мысли, что он убился. Тихонько пробралась вниз, но дверь была заперта. Рано утром я в рубашонке сбежала к работницам, прося посмотреть... там... на крыше. Не было там ни яичка, ни даже скорлупки. Должно быть, вороны стащили. Долго, долго тосковала я по яичку. И, недавно, разбирая последние письма бабушки уже за границу, читаю: « у нас нынче клока с 12 цыплятами, помнится как Олечка их любила». Да, как чудесно все живое! И как ужасно, что столько живого... гибнет! И кого?! Людей! Я стараюсь уходить душой в мир животных, растений,.. но, смотри, сколько и там горя! Ну довольно! Я получила теперь все об «истории одной любви», как ты называешь, — я бы обозначила это иначе. Ты написал по крайней мере, что это «конец».

Я ничего, никакого комментария тебе не скажу, письменно не скажу. Мы достаточно занимались чужими «романами», терзая себя, и теперь я от всего такого хочу отойти. В письмах. Но я прочла очень внимательно и сделала интересные наблюдения и получила себе объяснения многому, чего не понимала*.

Объясни — что такое «однолюб»?!

Пришлешь автограф? Я должна отдать книги!

[На полях:] Ну, всего, всего светлого пока! Был ли батюшка? Оля

Передал ты доктору мою благодарность за письмо?

---

* Ты писал в одном письме (давно): «Эти созвучия имен — Паша, Даша... заметила? Очевидно, это не прошло мимо меня». Я скажу больше: твои неоднократные «любви» (в творчестве) к не ровне, или к не совсем ровне, и эта намечающаяся сцена Дари и Вагаева с «малиной», это все то же самое: твои неизжитые ожоги Дашиной «любви» — томления, ее. Ее?

153

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.II.42

Милый, родной мой Ванюша!

Не кори меня, что не так часто писала, и если не смогу и в будущем писать ежедневно. Ничего общего с какими-либо тебе неприятными причинами, это не имеет.

Если бы ты смог душу мою увидеть, то ты бы все, все понял! Стою перед трудной задачей — в письме дать тебе понять... Видишь ли, давно уж мучалась душой... о многом. Но за последнее время я буквально исстрадалась. Я чувствовала необходимость для духа моего, все пересмотреть во мне, как бы «расчистить». Я так страдала духом, что и физически заболела. Я не писала тебе — я надеялась скоро все превозмочь духовно и поправиться телесно. Мне вообще было трудно, при такой моей «сумятице», что-то давать другому, хотя бы в форме писем. И я писала бестолково, не так, как бы хотелось. Не выходило. Ты это мое состояние *не ставь* только в зависимость от нашей «истории» из-за моей «повести». Это все гораздо глубже, и рано, или поздно, но вскрылось бы! Я сама не видела ничего, не знала что мне делать. Но мое физическое состояние как бы дало «развязку». Я стала очень страдать физически: головокружение, слабость, апатия, тоска до схваток в сердце, до боли и даже нечто вроде обмороков, правда без полного бессознания, но все же состояние такое, что я теряла равновесие и должна была ложиться. Все это так встревожило и меня, и моих, что в этот вторник усадили меня на автобус и проводили в Haarlem к врачу, — одному из самых передовых здесь, а еще более мне нужный потому, что хорошо знает всю жизнь Бредиусов и мог бы мне во многом помочь. Он сделал анализ крови — оказалось все совершенно нормально (ниже приведу — можешь, если хочешь, показать Серову), обследовал меня и нашел, что: сердце органически здорово, но крайне нервно, легкие *совершенно* здоровы, печень — немного увеличена и чувствительна при давлении (это явление у меня бывало и раньше, — м. б. даже не патологично при моей «конституции» — habitus asthenicus), — увеличена также и щитовидная железа, что тоже не удивительно. Миндалины в самом лучшем порядке. Врач нашел сильное нервное истощение и утомление и сказал, что «по моему состоянию он охотнее всего поместил бы меня в лечебницу, где за мной был бы хороший уход и никаких забот». Спросил меня о причинах моей нервности и о

браке моем «с лицом, ему известным». Уже в воскресенье вечером, отчасти, и в понедельник окончательно, идя к нему, я сама себе дала ответ на многое[i], и когда он спросил меня: «что же Вы хотите делать?» — я сказала, что «хочу переменить обстановку». Я чувствовала душой, что для «расчистки» всего моего мира, я должна быть где-то одна, независима от внешнего, в покое. Все время мне хотелось «от всего уйти». Я только не знала, как это сделать. Мы ведь даже карточками продовольственными связаны, т.к. их должны были сдать, как «самоснабдители». Я чувствовала, что дальше жить в такой «замусоренности», неясности я не могу, и получилось положение, доведшее меня до предельной тоски... Доктор очень одобрил мое решение, указав, впрочем, на большие трудности времени хоть куда-либо двинуться из дома, да еще так «издергавшись». Просил меня подумать о лечебнице на 1—2 недели и затем взять «отпуск». Я думала использовать время поста и уехать в Гаагу, с тем, чтобы смочь ходить в храм и хоть немного «найти себя». Я так много страдала за все это время, — так много случилось странного и удивительного в моем душевном мире, пришедшего извне, что я не могла больше давать жизни нести себя по волнам. Я просила Бога дать мне указание. Дать мне способ найти ответ. Устроить все так, как угодно будет Богу. И я чувствую, что я должна поступить так, как мне это у к а з у е т с я сейчас. Указуется помимо меня даже, просто моей болезненностью как бы.

Я должна уйти от всего, что стало таким неясным, больным, мутным, встать в другую обстановку и осмотреться, всмотреться в себя и других. Я должна дать возможность и Арнольду всмотреться и все понять. А как все это нам всем д а с т с я, — мы должны положиться на Волю Господа. Я ни в ту, ни в другую сторону ничего не буду форсировать и все, что случится, — приму как у к а з а н и е, как Божий Д а р.

Иначе я не могу думать. Я не могу и оставаться пассивной. Это — единственно-возможный выход (не подходящее слово), который не будет мучить мою совесть. И как бы трудно (внешне, материально — в смысле еды, жилья и т.п.) ни было мне это «отхождение», я о б я з а н а это сделать перед собой и перед Богом.

Ты никогда не должен думать, что на тебе «ответственность» за это. Нет. Как это ни странно, но это верно, что я

---

[i] Все выделенные слова в этом предложении подчеркнуты красным.

«расчищаю» вне зависимости от тебя и твоих чувств. Мне очень трудно было отрешить внутренне эту «зависимость», — это стоило мне много силы духа, и я несомненно гораздо легче, и гораздо раньше занялась бы этим вопросом, — если бы не мучилась совестью за эту возможную «зависимость». Понял? Но я поняла и уяснила, что я обязана, совершенно *вне* тебя, «перед Небом и пред собой» все «выяснить». И с точки зрения такой постановки, я и приступаю. Честно, чисто, прямо, без того, чтобы форсировать. Я тебе скажу, как на духу, что это мне трудно. Очень трудно. Но это нужно. И никакой другой «выход» — для моей совести не будет Выход. Не даст покоя. И я теперь успокоилась. Накануне поездки к доктору я говорила с А. и закончила тем, что предложила и врачу. Он понял, что между нами не то, что освящается Богом, согласился и счел мое решение правильным. М. б. ты огорчишься мной, но я не могу иначе, как так. И именно: предоставить безнажимно Провидению и... считаться с обеими возможностями.

Я чувствую, что это долг мой перед тем, что было освящено Церковью, что ушло (?), что я должна увидеть — или ушедшим, или нет. Но я должна свободно предоставить, свободно увидеть. И если... ушло, то я *тогда* спокойна буду, без укоров. Понимаешь? Мне трудно это объяснить, не могу.

Я уверена, что ушло. Доктор мне сказал то же самое, признав, однако, что решение мое относительно дальнейшего поведения правильно, — во всех отношениях. Я говорила со свекром. И тот тоже согласился. Сестра мужа тоже, сказав, что таких женщин как *я «одна на тысячи»*. Ты *видишь*, Ваня, как «вдруг» я принялась за себя. Но это не вдруг. М. б. ты не поймешь меня. Но постарайся! Я считаю, вернее я чувствую душой, что иначе я не могу. Например, твое предложение «пока не рвать окончательно», т.е. в зависимости от моего счастья, от чего-то личного, моего, — я не могу! Если я найду, путем чистых, честных моих исканий, что все «прошло», что нет ничего, что Господь «связал», то я не побоюсь уйти... ибо так чище! Так нужно. Если не уйду из-за условий из дома, то уйду все же... иначе! И независимо от того, что скажешь ты. Даже, если бы ты меня не захотел.

Потому и говорю, что ты — вне ответственности за меня.

Это лучше и тебе, и мне. Я буду просить Бога о Его милости и указаний. Пока что я дома, но надо двинуться.

Предстоит мне еще одно ужасное дело: этот доктор «помешан» на модном течении — рвать коренные зубы. Просветил мои челюсти и приказал вырвать 8—9 коренных зубов! Будто бы на кончиках их корней что-то не благополучно. Это же ужас! Я еще не решилась. Написала в Берлин. Спроси Серова, можно ли полагаться на эту «модность»? Если решусь, то поеду в Haarlem и лягу в лечебницу там, а если нет, то не знаю, что буду делать. Думаю устроиться в Гааге в пансионе, с мамой. Но, конечно, надо и о доме позаботиться, как-то устроить. Хотя дома свекор сказал: «пусть сам о себе заботится и поймет что для него ты». Старик понял, что... пусто у нас... Я это увидала. Ты не волнуйся о моем здоровье: я принимаю 3 разных лекарства, берегу себя и буду беречь. Все это у меня от больной души... Все, Бог даст, пройдет. Только никогда я не могу жить с своей душой в конфликте. Все «образуется». Я переживаю своего рода кризис. И серьезнейший. И ты поймешь меня. Я верю. Поймешь, Ваня? Поймешь отчего не писалось. М. б. очень будут трудные дни, — трудно будет писать, чтобы остаться вне... ты понимаешь? Но мне это нужно, это «вне» всего... Только сама с собой и Богом. И ты всегда у меня в сердце, 15-го я так тебя ласкала... оттаяла. И вот пришло решение. Я сообщу тебе мой адрес, когда уеду, куда, а пока мама тут, перешлют. Я сама еще ничего не знаю. Молись за меня крепко и верь, что Бог не оставит. Проси мне силы.

[На полях:] Ванечка, я словами не могу выразить моей благодарности тебе за «Куликово поле»! «Спасибо» — бледнеет перед тем, что во мне!

Я *не* получила 1 и 2 письма с «Куликовым полем». Пропали? Когда послал?[i]

Я бы хотела поласкать тебя, приголубить, Ванечка. Ты понимаешь, как невыносимо мне это одиночество добровольное. Но оно во имя необходимого, Высшего. Должна вынести! Помолись же! Только тогда я сочту возможным найти себя, свою силу духа, гордость, свободу. Только тогда найду радость! Когда тебе очень захочется моей ласки, прочти, что было раньше, т.к. все это живет во мне, но мне писать так — это значит жечь себя! Понимаешь? Жечь и сми-

---

[i] Абзац подчеркнут красным карандашом. Далее в письме анализ крови О. А. Бредиус-Субботиной. В настоящем издании не публикуется.

нее. Я буду тебе писать обо всем. Постараюсь очень часто. Я все та же, вся твоя Оля! И всегда.

154

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.II.42 вечер

Родной мой Ванюрочка,

Отправила сегодня тебе мое заказное, «серьезное» письмо, а вечером пришло твое от 11.II, где должна бы была быть фотография, — но, увы, — ее нет! Ванечка, пришли же еще и прикрепи, чтобы опять не выпала. Я так хочу тебя — Москвича! И еще: пришли же автографы, а то я не могу отдать книги в переплет.

Я в отчаянии, что не дошло 2-х писем №№ 1 и 2 «Куликово поле». Ну, просто ужас! Ванюша, родной, если они пропали, то неужели ты не дошлешь?! Мне стыдно просить тебя, еще раз засаживать за переписку. И не только стыдно, но и мучительно. Господи, хоть бы еще пришли!

Ванечка, я еще мучаюсь, что ты будешь мучиться моим сегодняшним письмом, первым. Ты не волнуйся — как только я увидела, как действовать мне, чтобы найти покой, так мне и стало легче. У меня все — душевное. До того как решиться практически, куда и как я направлюсь для «уединения» и «отдыха», я уже и дома буду проводить режим, т.е. много отдыхать. Сегодня я спала до 11 ч. дня и завтракала в постели. Днем отдыхала. И чувствую себя лучше. Я извелась неопределенностью моего положения и отношения со всем меня окружающим. Я должна была все «расчистить». И если мне по трудности обстоятельств жизни нельзя будет дольше остаться вне дома, то я и дома поставлю себя так, что не будет смуты. Я поселюсь у себя в комнате, где закрыты уже все мышиные дыры и буду жить независимо. Постараюсь найти прислугу, чтобы меньше было и дела, и соприкосновений со всем прочим. Но для того, чтобы мне быть спокойной своей совестью, я хочу спокойно, на расстоянии, по возможности объективно всё «рассмотреть». А главное: я верю, что найдя равновесие (в одиночестве это легче) я сумею понять Божие произволение. Я на это уповаю. Молись и ты. Мне очень мучительны были все дни, недели последние, я так страдала. Не думай и не терзай себя, что это из-за твоих писем тех, «потемнение» твое, что ли.., нет, голубушка мой, — это должно было бы все равно явиться. Я себя знаю. Я не могу жить,

когда у меня что-то не ясно в душе. Я для себя, в душе не смутна, я знаю что во мне, я отвечаю за это, но у меня была спутанная жизнь и я должна все уяснить.

Я перед Богом должна это.

И я потрясена твоим: «мне иногда кажется, что нас разыгрывают злые силы»... Я это часто думала. Я пугалась такой возможности. И это было главным двигателем для того, чтобы начать «разбирать» себя и все.

Я боюсь этих злых сил. Я прошу Бога указать мне. Предоставляю как бы решению Свыше. Я подчинюсь. Я говорю: «да будет Воля Твоя»[635], прошу только Светлую Волю, устранение возможных «злых сил».

Я не могу всего ясно выразить, почему я мучилась, почему я считаю нужным уехать... Но это родилось во мне и окрепло. Это как-то помимо меня явилось.

Для всего моего дальнейшего поведения у меня теперь создалась уже почва и в семье Арнольда и вообще. И создалась правильно. Доктор, человек много видавший и переживший сам (в семейной жизни), меня очень одобрил.

Я не могла бы мириться с жизнью такой, как она тянулась. Ты поймешь меня? Ты разделишь это мое? Верно я чувствую? Я не могу смотреть так, что... погляжу на тебя, «взвешу» что-то и решу: оттолкнуться или нет от «придерживаемого» Арнольда. Я это не тебя передерживаю, но по существу это так бы и было.

Я считаю, что в браке не должно быть мути. И необходимо, независимо ни от чего другого, внести свет в потемки, чтобы увидеть все зияющие углы. Все, что есть и чего нет. Я не могу мириться с «на всякий случай». И если я увижу, что ничего нет, то для моего внутреннего решения (если невозможно и внешнее пока) мне не надо знать, есть ли кто-нибудь, кто подберет меня. Я считаю невозможным тогда так пребывать. Я ничуть не сетую на тебя, говоря так. Ты не мог писать иначе, чувствуя ответственность на себе, с одной стороны, и не будучи уверен в моей сути, — с другой стороны.

Ты, конечно, не видя меня, еще не знаешь меня вполне. Я повторяю, что независимо от тебя и того, захочешь ли ты меня, суждено ли нам быть вместе и т.п., — я должна решить, как мне жить.

Иначе я не смогу уважать себя.

Ты это поймешь? Я к тебе все та же нежность, ласка, любовь, страсть. Я не считаю, не чувствую это грехом. Я уже писала, что не вижу того, что в браке «связано» Богом. Но если я все же что-то «пересматриваю», то это еще для

того, чтобы совесть моя меня никогда не упрекнула. Чтобы не дать торжества «злой силы». Чтобы все, от себя зависящее, сделать. И решить.

М. б., я долго прожить должна, прикованной обстоятельствами к Schalkwijk'у, вдали от тебя. Но это все же не безнадежно. Я все равно и на расстоянии все та же, твоя Оля.

Мы посмотрим, что даст нам Господь.

Мне хочется узнать Господню Волю! Будем молиться! М. б., я не буду тебе писать таких «сумасшедших»* писем, как в Новый Год, но ты не думай, что я изменилась. Я все та же. И ей останусь навсегда.

Но ты поймешь, что, ища ответа, ища себя самой, я рвусь на части в таких «сумасшедших» письмах.

21.II.42 Продолжаю сегодня. Ваня, вся я с тобой, в тебе. Перечитываю письмо твое дорогое... какой ты дивный мой! Ванечка, как больно, что не дошло фото... Попытайся еще!

Ванюша, солнышко, скажи мне обязательно, *что* ты разумел под «злыми силами», которые «нами играют?» Ты боишься, что началось все, по воле злой силы? Неужели? Да? Я этого часто боялась, спрашивала себя. Будем молиться Господу, чтобы он нам помог. В этом Господь не откажет. Напиши же мне о «злой силе»... Ваня, не мучайся, что не было встречи в 36 г. — значит так было надо. Я лично уверена, зная себя, что от смущенья ничего бы особенного тебе не сказала, ничем бы я не выделилась для тебя из толпы многих, тебя любивших. Я ничего, кроме благодарности за твой талант, восхищения им, преклонения перед ним и м. б. сочувствия тебе в горе, не сказала бы тогда в моем взгляде. А таких глаз сколько же! Я совсем не так ярка (как ты это теперь вообразил), для того, чтобы с первой встречи остановить на себе, да еще такого как ты, да еще так тогда убитого потерей. А, между тем, поговорив тогда и высказав свое восхищение тобой устно, я бы, пожалуй, не решилась еще раз «докучать» собой. Я же себя знаю... Ванюша, ты пишешь о том, как я должна писать. Именно так я только и могла бы: рассказывать тебе. Если буду, то только так. Иначе не мыслю.

Ванюша, я написала в Прощеное воскресенье один маленький рассказик... о моем «Первом посте», т.е. первое говение. Я его так ярко помню. И еще у меня была цель именно об образе. Я потому тебе просто так и не писала до

---

* конечно, я буду тебе вообще писать, писать душой и сердцем, как я есть!

сих пор, т.к. думала «подарить» сразу рассказик. Теперь я очень вся какая-то «больная», но хочу. М. б. и буду. У меня есть «з а д а ч а» творческая, не какого-либо одного рассказа, но моего т в о р ч е с т в а вообще. Если таковое будет. Я знаю, в о и м я ч е г о я бы писала. Это будет очень важно, очень нужно для России. Если только удастся. Если сумею. Но даже если бездарно, то, хоть в виде дневника, но дам. Кто-нибудь хоть м. б. сошлется. Большего я и не жду. Я бы хотела у тебя поучиться, но меня смущает, что я как загипнотизированная тобой, *невольно* (поверь!) впадаю в твой тон. Я должна прямо бороться с этим. Будто тебя «краду». Если бы удалось мне то, что хочу душой, то это было бы как бы твоим «притоком», — это те же воды... Пусть наши, живые воды! Если бы я тебя увидела, то все бы рассказала... Ванечка, как ты маму-то обрадовал «Няней»! Лучше не мог и придумать! Это ее самая любимая вещь твоя! Она очень, особенно ее ценит! От о. Дионисия нет вестей. Я не могла еще быть в Гааге, но постараюсь как можно скорее туда попасть. Ванёк, ты этой фуфайкой доволен, или она очень толста и неудобна? М. б. очень жмет? Мы с мамой для С. такие делали, и он просил туже, а то они «висят». «Мохры» у ворота, конечно надо отрезать, — что же это моя «помощница»-то не рассмотрела, а я ее еще просила. Я тебе писала, как она отправлялась. Я не могла отрезать и даже еще раз взглянуть, т.к. на поезд мчалась. Чего же она прозевала?! Злит это меня! «Духи как будто» — пишешь ты... конечно, я ее душила, чтобы еще больше быть с тобой! Выдохлись? В швах должно быть больше осталось, т.к. я, не имея дома пуловера (он был в красильне), взяла те нитки, которыми сшивала и их надушила. Попробуй! О папе составили некролог на очень кратких материалах. Однажды только ездила к ним (полубольная сердцем, от горя) мама, — вот тогда-то я и бегала из дома ее искать ночью.

Мой милый дружок, ты не волнуйся обо мне, о здоровье. Я уже 2 дня как приехала от доктора (была там с вторника до четверга включительно) и принимаю его лекарства и сразу же аппетит стал лучше. После селюкрина тоже вначале так было, но потом не действовало — видимо, «привыкла» уже к нему. И спала хорошо, и сердце не скулит. Я все еще усталая какая-то, но не «кружусь на карусели» больше. Думаю, что в больницу не поеду, но отдохнув дома, поеду в Гаагу. Надо найти прислугу, — это отчаянно трудно. С зубами не знаю что делать. Подумай, ведь это всё хорошие зубы! Т.е. пломбированные, но внешне абсолютно

в порядке. Никаких признаков болезни, кроме того, что на рентгеновском снимке что-то узрели глаза доктора. Это его «конек» — у всех пациентов смотрит рентгеном и нещадно рвет. Это «течение» в медицине было у некоторых врачей и в Берлине. Это американская система. Не могу себе представить, что это такая необходимость, — тогда почему же раньше-то народ жил, да поживал? Знаю некоторых и у нас в клинике, — вырвали все коренные, а больная не поправилась, то есть не стало лучше. У меня рот был и есть в идеальном порядке, и еще недавно я сделала ряд хороших и дорогих поправок и их все вон! Например, один зуб с фарфоровой коронкой (120 R.M.), — делал известный зубной врач, прекрасно, — и его вон! Не понимаю. Не могу скоро решиться. Спроси мнение Серова вообще по поводу этого модного «течения».

Мама тебе сегодня напишет обо мне, чтобы ты не беспокоился слишком о моем здоровье! Меня бы это мучило очень.

[На полях:] Вся я в мыслях с тобой, роднуша мой, твоя Оля

Кланяюсь Сергею Михеевичу — передай!

Мой ягненочек умер, без меня. Но вчера родились 2 новых, здоровенькие. Весна!

155

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.II.42

Ваня, чудесный мой, дивный Ваня!

Я под впечатлением «Лика скрытого» — получила из Studtgart'a «Europeische Revue». Какой ты... п р о р о к!

Не могу иначе, сердись —, не сердись, а ты такой мне всегда представляешься!

Ванюша, дивно! Как жаль, что отрывок только! Как жалею я, до слез, что я тебя раньше не «открыла». В Берлине в первые годы можно было тебя доставать. Потом — ничего не было, все расхватано!

Как жаль, что я с И. А.* о тебе так мало говорила! Он же знал тебя! Ужасно это! Я у микроскопа просидела... Ну, м. б. хоть кому-нибудь была польза! Я, знаешь, как тебя «открыла»? Помню еще самое первое время за границей...

* В одном письме к Сереже И. А. (давно!) пишет: «рад, что по душе Вам И. С. Ш».

К нам ходила (очень редко) жена одного профессора — урожденная еврейка. Она была «вумная», а м. б. и умная. Во всяком случае очень начитанная. Мы ее так и звали: «а Вы читали?» Это ее обычный вопрос при встрече.

И вот она часто спрашивала меня: «...а Вы Шмелева читали?» Я сказала, что не читала, но что очень бы хотела. Я же и в библиотеку-то не могла урваться, т.к. до 11 вечера работала. И однажды она принесла мне «Неупиваемую чашу»! Я пришла полумертвая, домученная днем, домой, и мама говорит: «была Н. В., принесла тебе книжку, я ее пока стала читать, дай немножко времени, я кончу». На другой же день я стала ее читать и остолбенела. Ваня, я не могу тебе описать того, что я чувствовала... Мне казалось, что в нашем мире слез и крови и, главное плоти, — не могло быть ничего подобного, что давал ты... Ты-то сам казался мне чем-то... сверх-земным! Следующая книга была «Солнце мертвых». Она совпала с очень тяжелым моим житьем. Я вся убита была. Мне ее (суди — какая сила!) тяжело было читать. Ее впечатление на меня было так велико, что я... не могла дочитать. Я тогда как бы болела. Эта дама (еврейка), крещеная по убеждению, давно, очень верующая, «ищущая». Я не очень ее любила, но просто... объективно говоря. «Солнце мертвых» она буквально «проповедывала». У нее был и ум, и вкус несомненно. Я думаю, что твое «беззлобие», твой отказ от своего, личного горя... Это-то и покоряет. И даже, вот... еврейка!

Потом была лекция И. А. о тебе в «Нейарт[i] объединении»[636], — я уже тогда «рвалась»... но это было невозможно, посторонние не допускались. Ах, потом меня отбрасывало, конечно, жизнью. Я много роптала, плакала, не видела Света,.. а свет-то был! Почему я не жила Тобой?! Ну, почему мы не живем Евангелием? Мы знаем его, ценим, а... не живем... Вот так и я с тобой тогда. Но с чтения твоего... тогда... я уже полна была тобой, Ваня! Я часто, часто думала о тебе... Прекрасном Рыцаре Света!

Ты — чудный Ваня! Ты светлый гений! Ты... Ангел! Я на коленях пред тобой! Иначе я не достойна! О, милый, светлый, родной мой, чудный Ваня! Не давай никогда злым силам шутить, играть тобой, нами. Они особенно хотят тебя смутить, свернуть, взмутить! Ванечка, ты Божий Голос здесь! Ванечка, ты — Богослов! Какое же тут кощунство?! О, милое, великое сердце! Ваня, чудный мой! Ванечка, как благоговейно мы должны жить, как светло ве-

---

i Современное искусство (*от нем. Neuart*).

рить! Мы увидимся, Ваня! И никогда это не будет поздно! О, нет, Ваня!

Мы же живем уже друг другом! О, гораздо теснее, чем многие (!) под «одним кровом»! Ванечка, мы будем тихи, милостивы, кротки, мы будем очень любить и верить!..

О, милый, нежный Ангел, ты Идеал мой... и потому — недосягаем!?? Но я тебя достану! Ах, Ваня, как тяжела разлука, — но не грусти! Все будет! Мы Божьей Милости давай будем достойны!!!! — Ах, милый! Ты обо мне совсем не беспокойся! Мне лучше! Вот, честное слово! Все пройдет! Не пройдет только то, что в сердце... к тебе, моя радость! Ты не один! Я всегда с тобой! Молись, не забывай! И обо мне! Я не была в Гааге, хоть и рвусь.

Не могу из-за сообщения. Автобус ходит так, что в один день в Гаагу не съездить. Но я уже знаю от тебя, что ты прислал! Господи, Ваня, у меня слезы в горле не дают сказать тебе «спасибо!» Но как же я несчастна: «Куликово поле» №№ 1 и 2 пропали! Ванечка, что же это? Ты пришлешь? и ты — москвич не дошел! Пришли, Ванёчек!

[На полях:] Крещу тебя и молюсь о тебе. Оля

P.S. Сейчас, впервые попробовала (чуть-чуть) твоих шоколадных конфет, присланных на Рождество — я берегу все! Чудесны!! Прелесть!

Ванечка, ты простил меня за все муки? Невольные? Я сама страдала. Я не могла иначе писать. Я не могу фальшивить. Но... прости! Прости! Я не буду больше!

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.42 12 дня

Олёчек милый, ты опять моя, ты вернулась из отчужденности? Гордость моя и счастье. Твой рассказ об «яичке» — в письме 13 февр.! Я потрясен, я очарован. Ты не чувствуешь, что ты и как написала? Лучше нельзя. Я весь захвачен, я бесился от радости и страдал с тобой, девчуркой. На одной страничке ты дала огромное! Не чуешь, глупышка? Не понимаешь, что ты сделала? Толстой обнял бы тебя и включил бы это «яичко» в свою хрестоматию. Ты, злючка, ничего не понимаешь. Ты свое «яичко» невидимыми слезами облила, не сказав о том ни слова... и теперь у нас два яичка: твое, это... и — мое — пасхальное, памятное тебе. Ты такую свою боль — и у каждого читателя из недеревянных сердцем будет своя! — передала

мне, что я мысленно утешал тебя, целовал, ночью сегодня просыпался и целовал твою «грелочку», — сердце твое целовал! Ведь, глупенькая... ты, ведь, одно только свое — «ах!» — сказала, — и все сказала! О, ангелок чудесный, малютка-девятилетка... я тебя всю вижу, слышу, как твое сердечко сжалось... я и ворону вижу, которая унесла твоего птенчика-трепыхалку... я ночь твою бессонную вижу, я твое «убожество» вижу, — твою ручку, охраняющую... я «горнушку» вижу... — откуда ты это выкопала? а? — из недр языка родного! — да, на северо-востоке так говорят про загнетку, налево от шестка! — я твою баньку вижу, и вижу, как ты спешишь скорей отмыться и — за яичко! Ах, ты, дотошная, терпеливка, подвижница! Героиня ты необычная... сердце огромное... чуткость безмерная! Ольга, и ты еще смеешь кукситься?! «Я не могу пи... пи... сать!» Ты с ума сошла, ясного не видишь, глупая! Да ты все, все можешь, все смеешь! Олёньчик, умоляю тебя, пиши о своем детстве... вспоминай, пиши, что хочешь, — все дивно расскажешь, в полон возьмешь всех и вся. Вот так-вот и на-до... просто, без оглядки на будущего читателя, себе рассказывай-пиши, мне... умница ты расчудеска! Я в изумлении от тебя, пой-ми-и!!! Это не «хвалы» мои, глупенькая... пой-ми! Я что-нибудь-то понимаю в искусстве слова-образа?! Или... — ни-чего не понимаю?! Да один этот «ужин» твой... это толканье, это твое «скандальничанье»... и этот вывод во двор, и эта драма..! Го-споди!.. И это — «ах!» — да ведь тут драма детского сердца!

Ты должна теперь это «Яичко» дать рассказом. Чуть подробней, сохраняя тон, простоту. Правка, м. б., самая малая, лишь — раздвинь, ничего не меняя в структуре. Или — просто — так и оставь. Ты — готовая. Потому что сердце твое — так готовым и родилось. Ты — исключительная. Что у миллионов дюжинных детей — в зачатке, у тебя — в расцвете. Ведь ты взрослого победила! Твой дядя только потом почувствовал, что он сделал! Он преступление совершил — перед твоим сердцем, перед всеми, — перед правдой Господней, вложенной в душу человека. Ты — сама Истина. Милая моя девочка, целую тебя в ясный лобик и глазки твои целую, и ручку, ту... Ольгуна, я счастлив, что узнал тебя, что ты е с и... что ты не оставишь незаконченным моего... — ты подлинная, ты поведешь дальше ту линию в творчестве, какую суждено было мне вести — людям. Ты сама, присущим тебе даром-сердцем, будешь служить жизни, достойно, сильно, ярко, нежно. Ты нашла себя.

Твой ягненочек... — я им тоже мучаюсь. Как все похоже у нас! Это же мой — убитый мною — ястребок в рассказе «Последний выстрел»[637]! Все понятно мне. Повторение «яичка». Милая, надо было дать ему разбавленного коровьего молока, кипяченого, надо было взять молочной муки «нэстле»... неужели нет у вас того, чем грудных питают?! Тоже и для ягненочка. Цельного молока нельзя. Слишком много «казеина», а жир не вреден, можно было бы даже сливками — с разбавкой выкормить! И никакого бы «катара» кишок не было бы. Грудной не может усваивать «казеин» в избытке. Молоко кормящей овцы ли, коровы ли, — в начале — особого состава, жидкое оно, но с достаточным количеством «белковых», с минеральными солями, — называемое в народе — «молозиво». Людям противно, теленку — надо. Надеюсь, с ягненком у тебя выйдет? жив? Если бы не недоносок... — должен бы выжить, раз уцелел, после таких болей.

Ольга, как в тебе материнство-то рано сказалось! — в 9-летке. Подвижница-малютка. Целую твои ручки, глазки. И как же мы похожи! Я жалел все живое и... неодушевленное. Я метлу жалел, что на морозе живет, а мы после катанья с горы — в теплые постельки. Я все живым видел, и все любил и жалел. Дворника жалел, что вот я, маленький, в театр еду, а он не увидит «Конька-Горбунка»! И Марьюшку... Сестренка ты моя, Оля... детка моя... ах, если бы... — ...на моя! Да разве я мог бы такую мучить?! Это все от острой, большой любви... такой... ревнивой?

Ты спрашиваешь, что такое — в моем понимании — ты-то понима-ешь! — «однолюб»? Просто: тот, кто не может любить сразу двух. (Понимают и иначе: одна любовь на всю жизнь.) Многие могут. Пушкин мог. В Одессе, в 20-х гг. — Ризнич[638] и гр. Воронцову, сразу. Поди ты вот! А я — нет. Так всегда было. Тебя люблю — превыше всего. Дашу — ни-когда не любил, ни-как. Да, она считала меня больше, чем за человека, знаю. И готова была всю жизнь прожить — около. Мечтала, да... — это я узнал из «малинной сцены», и на кладбище, — чтобы только иметь от меня дитя. Я в этом не виноват. Как не виновата ты, что я мечтаю... о тебе. Ты мне дорога, близка тем, что и во мне, — чудесным даром сердца, пылким воображением и — душевным... уютом. Мы — складень. По одной форме отлиты. Мы — только — для нас. Вот, что могу сказать о моем чувстве. Ты бы не поверила, до чего ты мне близка. Я не стал бы пить воду, какой я умывался.

А твою — мне она — как святая. Я был бы ею исцелен, опьянен.

Ольгуночка, ты очень метко, зорко, умно определила одним словом о. Д[ионисия] — «убогий». Все. Я его ругал, тут я не был художником: я выговорился, от боли, от досады, любви к тебе, что он не взял всей посылки. Не считайся с этим «выкидышем» моим. Глупо, но оправдано. Ты сказала — нельзя точней. Как же не страшиться потерять такую!

Ребенок... это высшее, что даровано смертным. У всех живых существ ребенок — обогащение души, утончение, умиление, пожар тихий всех чувств. Это — тайна. Так — в Божьем Плане дано. Для чего? Можно лишь предполагать. Для достижения — в цепи поколений — лучшего, Идеала. Цель тут несомненная. Но... какая?! Приближение к... Нему? Приказ: творись, достигай! Для чего? че-го?! Меня достигай и — по-стигай! Для чего? Он же — Вседовольный? «Воспой» — для себя. Творческое поет Творца. Это — цель всякого творящего. И дальше — материю одухотворить, дабы и она пела? Гимн <u>всего</u> — Ему, Духу, вся исполняющему. Апофеоз. Он <u>нам</u> нужен, этот апофеоз, дабы познать Великого. И мы познаем его во всем объеме лишь в апофеозе, когда одухотворенная материя, вся, воспоет гимн Ему. Творение славит Творящего. Это предел творческой высоты, когда произведение поет художника. Конечно, это лишь предположение. Кто что знает? Но творческое начало в твари — непобедимо, и как же обставлено! каким же пиром... Любви! Тут явная мысль — заставить. Называют это — «инстинктом». Чуянием? И — покорны приказу. Эту мысль коряво высказал мой Гришка[639] в «Истории любовной». И. А. о-чень с ней посчитался. Я это в себе <u>слышу</u>. Я мечтаю... о тебе, Оля. Я хочу видеть тебя — маму. Господь может все. Ты для меня священна. Смотрю на тебя в благоговейном трепете.

Пишешь: «прочла о-чень внимательно — про Дашу — и сделала интересные наблюдения и получила объяснения многому, чего не понимала». А чего ты не понимала? что нашла? Изволь сказать. Что ты раскапываешь во мне? Я — весь тебе открытый. Никаких «ожогов» от Д[аши] не было во мне, ни-как. Смешно. Сцены для «Путей Небесных»? С «малиной»-то?! Чудачка, это же «опыт накопленный», что видел в жизни, и что пригодилось для «хозяйства» писателя. Только. Незаурядное «жизненное положение», только. Помни: Я ни-когда не имел записных книжек. Все — в уме. Что уцелело — взял в «хозяйство», как всем полез-

ное. И только. А «созвучия» имен — не доказательство «ожога». Так было... — в детстве была «Паша», о ней все дано. Потòм — Даша... Не виноват я, что не выдумываю имен. Ну, да, мимо не прошло, осталось в памяти, как «созвучие», своего рода невольная «мнемоника», так жизнь дала, чтобы запомнилось? Да. «Любви» к не-ровне? Очевидно, тоже от детства сохранилось, и вошло в «хозяйство». Вот тебе матерьял для «творческого акта», как это образуется. А не — «ожоги». Я этим не обжигался. Вот — тобой — да, это — не «ожог», а медленное сгорание. Ты меня обжигаешь давно и — верно. Знаешь свою силу. Ты меня твоим совершенством обжигаешь, глубинностью, необычайностью. И я принимаю это «крещение огнем». Но... не сожги заживо, всего. Смогу ли противиться? Думаю — да. У меня тоже есть какой-то предел и — уже моя — «бесповоротность». У меня спасение — мое искусство. Оно не терпит, если весь захвачен. А если — весь — и ему, и мне — конец. Во мне нет «*томлений*», кроме томлений искусством. Весь твой, целую и крещу, молюсь, Оля. Твой Ваня

[На полях:] Написал 12 страниц «Путей Небесных».

Скажи хоть теперь, получила ли мои рождественские конфеты? Ты писала — получила коробку с золотистой обвязкой, — а как шоколад? не дрянной? Или — вышвырнула? От тебя, такой бешенки, станется!

Сейчас 4 ч. Валит снег с утра. Февраль — ужасный. Оспа, кажется не привилась: двое суток, а не горит.

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.II.42 9 вечера

Оля, светлая моя, я все понял в твоем решении — «найти себя», «обрести мир душевный», выяснить себе честно, чисто и прямо, как дальше жить, и сделать это так, чтобы решение такого важного вопроса жизни не томило неумолимую твою совесть. Я все понял, дорогая моя, — я увидал ярче, как никогда еще, твою изумительную высоту духовную, твою цельность, радостно покоряющую тебе... меня покоряющую, хотя от решения твоего зависит важнейшее в моей жизни. Я ждал увидеть тебя — такую: твой духовный образ создавался в моей душе по твоим письмам, с каждым письмом полнее, глубже, целостнее и нежнее... я уже знал тебя, казалось, вполне и всю... — и

вот, это последнее письмо твое, от 20.II, дает тебя в таком сияньи света, на такой за-предельной для смертных высоте, что я могу только благоговейно сказать — Святая! Это чувство мое прими, как мой душевный венец на твою милую головку, как слабое выражение моей воли найти для тебя — достойное.

Теперь, после того, как увидел тебя еще полнее раскрывшейся, — скажу точнее: в п о л н е раскрывшейся, — мне стыдно, как будто, недавних слов моих... не повторю их, но ты поймешь... когда я писал тебе о планах жизни, о возможной ошибке твоей во мне. Но это, ведь, от великой и чуткой к тебе любви писал я, от страха за тебя, — з н а я тебя! — что ты ввергнешь себя в борьбу с жизнью: вспомни, как ты непосильным трудом себя томила. И когда писал так, как же я страдал! Но ты все поняла... Теперь нет у нас — для нас — темных, неясных друг другу местечек-пятнышек в нашем духовно-душевном естестве! Ах-ты, звонят... помешали...

27.II... 10-30 утра. Сейчас твои письма заказные. Оля, родная, ты меня осветила, согрела лаской, нежностью... твоим неповторимым сердцем! Я пью твои чувства, я сильнею... я — в е р ю, ве-рую, моя Оля! Я радостен, я снова нашел тебя. И з н а ю же, что ни-когда не терял... а томился сомнением, что теряю... Ольга моя! Жизнь моя, в е ч н а я моя!.. Как ты меня залила радостью, когда я узнал, что ты пишешь... что ты уже написала, — и к а к же чудесно написала! — не видя — знаю... Молодец-Оля! Умница, одолевай жизнь, не давай дьявольской силе отнять нас друг от друга, убить в тебе с в е т! — твой дар бесценный, дар творить во-Имя Божие, творить сердцем, верой, талантом от Господа! Ты н а ш л а себя, и я счастлив неизмеримо. Ольга моя, дай обниму тебя братски, моя дружка, — лучшего, радостней для меня нет — любовь твоя-моя и — ты, Творица, ты — художник, Божий слуга! Ольга моя... что со мной, как ты меня одарила! «Творческая задача» у тебя!.. Это — в с е. Я верил, что ты нащупаешь это т в о е, я только вчера писал об этом, — «и щ и в себе!» — это по поводу твоего потрясшего меня «Яичка»! И вот, ты о т в е т и л а мне! Мы с л ы ш и м друг друга, дружки. Олёк, знай: ты найдешь себя в творчестве, в творчестве — и любви, — счастье твое, исход сердцу. Вот э т о г о-то «темные силы — зла» — и не терпят, этого-то и не хотели допустить... — и провалятся, окаянные! по-ихнему н е будет! В творчестве — и любви — для тебя т а к о й-то! — великая услада-радость твоя, и в с я полнота жизни! Как же я счастлив!..

Все, что носишь в душе, уже томит тебя, ищет выражения во-вне, свое рождение. Пойми же: это не слова, а вера моя в тебя. Ты и до встречи со мной мучилась «вопросом Жизни», ждала решения. Ты искала себя. Я счастлив, что ты уже нашла себя. Ты — в творчестве — Ольга моя, да это самая крепкая связь наша, неразрывная во-веки. Теперь ты — моя, я — твой. И это Святое наше, общее в нас обоих, творчество во-Имя, соединило нас. Никто, ничто не в силах расторгнуть эту связанность-спайку: это духовно-кровное нас спаяло. Оля, не смущайся: ты не «приток» мой в твоем искусстве, ты — «дружка», мы лишь рядом течем, рядом, потому что души наши — одна душа, живем одним, мы так похожи, мы из одного истока вытекаем. Ты — своя, у тебя свои слова, свой опыт, какого я не имел, свои выводы, — и свои приемы, поверь же мне! Ты написала «Яичко» так, как никто не написал бы. Тебя расцеловал бы Толстой, за сердце твое. Я за него расцелую-размилую тебя, моя чудесная, моя му-драя, моя сердечная! Господь да благословит тебя! О, радость, счастье мое в тебе! Я безумен от радости, — пиши, пиши, проводи свою «творческую задачу», не смущайся. Не только «дневником», а формой давай, не бойся — совладеешь, ты страшно сильна, я верю. Тебе нужен досуг, покой, здоровье — главное это: накопи. Без этого ты не в силах решать. Ты права: надо отъединиться, обрести равновесие в душе. Всего не исчерпаю в одном письме: напишу еще. Продолжу главное: ответ на письмо от 20.II, вчера невысказанный.

Помоги Господи тебе решить, решить так, как повелевает совесть, для утишения ее, чуткой. Я страшусь: в этом решении и моя судьба, но это решение необходимо тебе, и я жду его, терпеливо. Я знаю всю твою му-ку... все понимаю, Оля... — и молю Бога — тебя наставить на правильный путь. Ты знаешь уже путь этот, ты знаешь — «оставьте мертвым погребать своих мертвецов». Ты знаешь: «Духа не угашайте»[640]! И я верю, что Дух Святой озарит сердце твое. И знаю, как важно для тебя, чтобы это решение пришло вне всякой зависимости от моих чувств к тебе, твоих — ко мне. Да будет так. Я покорен твоему веленью. Дороже всего мне, чтобы ты, ты, ты была здорова, чтобы совесть твоя была покойна. Решение твое необходимо, назрело: только решив так и так, ты удовлетворишь душевную потребность, выполнишь назначенный тебе план жизни, ты его молитвенно, благоговейно выяснишь. Я любуюсь тобою, — какая ты! Не знают такой. Ты — Мария,

ты вся — от Духа. Благую часть избрала — изберешь! — и она не отнимется от тебя[641]. Ты вся — цельная. Теперь мне все стало понятным в твоих письмах. «Бери так, как написано, не ищи за — под... строками!» Ты — истинная. И каким же слепцом я порой бывал! каким пристрастно-страстным — и потому полу-слепцом. А ведь я решал художественно-сложные задачи... в людях... а в своем — терял эту остроту ви-дения. Ольга моя, жизнь моя... я люблю тебя глубоко, вечно, я не ставлю от времени в зависимость — и не боюсь запоздалой пусть — встречи нашей. Я знаю, что она должна быть. Я знаю также, что ты для меня — всегда ты, Оля... — ты для меня бессмертна, неизменна, вечна. Я люблю тебя не для себя лишь, а и для нас, я восторгаюсь твоим светом и молю Господа дать тебе духовных сил решить так, как ответить твоей требовательной совести. Я преклонюсь перед твоим решением, т.к. оно — от Тебя. Твой покой, твое счастье, полное, возможное на земле, — для меня — приказ моей совести, всей моей любви к тебе. Я не знал такой силы любви. Это твоя душа так меня озарила, это — от Света. И когда я писал об «игре нами темных сил», я разумел под «игрой» это наше «помрачение», мое беснование, твою горячность — эти наши письма! вот это все — было нужно «темным силам», дьяволу... разбить наше светлое, чистое, духовное... помрачить, расколоть, разжечь страсти темные, зло в нас. Вот что разумел, только. Оля, в нашем даже страсть, какую я порой ощущаю в себе — к тебе — не темное... это лишь жизнь второго, не главного во всем естестве нашем: телесное. Главное — близость духовная, наша, душевная наша... она все связывает, творит нас, живит. Но второе наше естество, подвластное, форма для жизни духовного начала в нас, естественно просит выхода... это его права — страсть. Это — земное. Мы — на земле. Но главное наше, сила Любви — дает и этому, не-главному отсвет чистого света, оправдывает «земные права». Вот почему я говорил — нет, не грех. И ты говорила — чувствовала то же. Иначе не могу мыслить. Вот почему говорил — все мне в тебе, Оля, свято. Все, самое малое телесное. Ибо оно освящается Любовью. Это — Закон, его же не преступишь. Это — само Благословение. Вот то, что «связывает» Волею Его. Вот — Таинство. И как же прекрасно это, по-человечески прекрасно! Не правда ли, родная?! Я знаю, знаю, я чувствую, что именно так ты чувствуешь. Душу твою я знаю, моя детка, моя истинная из Женщин... каких не «одна на тысячи», а одна на

миллионы!.. Дар мой чудесный, Божий дар мне... Ольга моя, нетленная моя! Лучшим во мне, светлым во мне искал я и пытался воссоздавать идеальнейшее... ты знаешь: и Анастасию, и Дари... Найдешь ли там темное, грязное, от чего отвернулась бы твоя беспредельная скромность, твоя взыскующая чистота, твоя целомудренная совесть? Где, в чем противоречия мои с лучшим во мне — есть же оно, во мне-то! — ты не найдешь, я верю. Так вот, это, такое искание... в творчестве... в жизни — преобразилось в обретение Тебя! Это увенчание трудов, мук — и трепета! — это — чудо, дарованное мне. Я не обольщаюсь, что я заслужил это, я принимаю, как Милость Его. Не могу оторваться, Оля... — так я счастлив тобой, моей Олей... и когда я молил тебя — «верни мне "мою Олю", ради Господа!» — я именно это разумел, а не то, что ты будто бы хочешь отнять у меня ее, отшедшую... — Она недостижима теперь ни для «отнятия», ни для «приятия». Она осталась во мне — духовным обликом, священным. Она — вне наших чувств. Она — светлая, нетленная в памяти и душе. И как я, тебя, такую мог бы разуметь — «пытающеюся отнять»?! Ни-когда, и тени мысли не было, и этому ты веришь, т.к. ты — О-ля... моя Святая, хоть и здешняя. Как это может восполниться — не знаю, но верую, что там мы — все нерасторжимы, мы все — в радости Господней, будем. И без тени даже ущерба. Ты, ты понимаешь это. И вот, почему говорю я: она помогла мне найти тебя. Ибо она — теперь — вся — только Любовь, самая высокая, самая чистая. Вот почему я спокоен, я радостен отныне, Оля... и молю у Креста, с тобой, молю Господа — дать нам силы принять Его путь. Поверь — ни в чем я не разойдусь с тобой. Ни — в — чем! Мы — одно. Никакой «тьмы» не будет больше. Ты победила, я с твоей помощью — победил. Ты вывела меня, ты вознесла меня. Ты осветила меня. И я молитвенно склоняюсь и благодарю тебя.

Помни, Оля: надо окрепнуть тебе. Я вчера был у д-ра С[ерова]. Я ему поведал о твоем моральном и телесном здоровье. Он говорит — он — огромной чуткости духовной и — огромный диагност, без промахов! Я-то убедился. И — все. Говорит: лучшее — клиническое пребывание, хотя бы 2 мес. Церковь — необходима, конечно, особенно тебе. Суди сама... Главное: восстановление сил физических, душа здорова, но «форма» ослабленная и измененная не дает душе выпрямления. Надо окрепнуть. Надо лечение и успокоительными, и крепительными: и бром, и фосфор, и

мышьяк, и гормоны-витамины. Зубы... — поморщился. Если бы на корнях был дефект — сказался бы... болями? Надо — снимок. Лучше не рвать. Это «модное» объясняется «американскими нравами», где нажива — первее всего. Надо было это гг. американским дантистам... они постарались... — протезов-то сколько! А на протезах-то и нагревают!* А там большинство — жиды. Они и пустили эту «моду». Вот мнение. [...][i] Но с зубами — осторожность. Протезы — крайность. Без коренных зубов — все же — и с протезами — ухудшение питания. Ра-но, — вот его «мнение». Передал твой поклон. Просил — тебе кланяться сердечно. «Куликово поле» перепишу. М. б. еще дошлют. «Москвича» послал в заказном письме на Сережу, 13-го. Вышлю и автограф. Твой Ванятка

[На полях:] С приложением photo-passeport.

Что тебе доставил о. Дионисий — не знаю. Я бы засыпать тебя хотел! За-душить, а он, кажется оставил духи! и должно быть оставил — «дрикотин» (печенье), а там был... сюрприз тебе, — я... среднего формата.

Сегодня же 27-го — начну переписывать «Куликово поле» (начало) — для тебя, родненькая.

Прошу: напиши цену жизни в Голландии, приличной в гульденах. Мне надо знать, для себя. Гульден = 10/8 марки, да?

Оля, м. б. тебе понадобятся деньги? Напиши, молю. Скоро я буду богатый. Интересуются фильмовики, уже! Вот бы кстати! Россия все мое поставит, знаю. А «Неупиваемая чаша»!

Мать о. Д[ионисия] пишет: «Вы всех нас очаровали!» Зовут, очень.

«Оспа» моя, кажется, взялась... вспухают местечки, — я на ногах, не мешает. 4-й день с прививки.

На все отвечу, светик, ласковка милая. Как я тобой счастлив! Будь только здорова! Все, все придет.

Оля, знаешь... я сам сделал сладкий пшеник, — и даже моя «Арина Родионовна» сегодня попробовала и похвалила! Я все умею.

«О. А.» — в автографе, конечно, не отместка, а вдруг подумалось — можешь показать кому, не стеснит ли «Оля»?

---

* вспомни, что «Няня» моя говорила об американских докторах! как они ее «вертели»!

[i] Далее приводится заключение доктора С. М. Серова на анализ крови О. А. Бредиус-Субботиной. В настоящем издании не публикуется.

158

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.II.42 8 вечера

Ольгунушка, светленькая моя, будь здорова и покойна, верь непоколебимо, что ты себя нашла, что ты отныне — в творчестве, и это твой долг — творить, ибо этот духовный «узор» твой — в Господнем Плане! Для меня это вне сомний, как то, что ты — большая художественная сила. Уверуй, я ни-когда в этом не ошибался. Или ты будешь ожидать «мнения и суда» бездарных «критиков», которые, обычно, бессильны выжать из себя хотя бы одну живую художественную строчку?! Кстати, — в былой России, как и в эмиграции, эту «командную» высоту занимали почти (%%% — 75—80!!) исключительно еврейчики, — пробирались на нее легко, т.к. большинство периодических изданий было в руках их сородичей. Меня-то они не сглотали, хоть и силились, но многих они вели и погоняли, куда и зачем им хотелось. Нет, ты мне поверишь, себе поверишь. Твори «художественную задачу»[642], обоим нам дорогую, служи свету, которым так богато родное наше, несмотря на проклятую тьму, грозившую почти четверть века свет этот поглотить сполна. Ты его будешь хранить. Перепишу вновь «Куликово поле», не помню только, чем кончил в двух письмах. Ну, приблизительно дам, с излишком. Странно, я послал оба письма 6.II, это точно. По-моему, должны прийти. Письма, под немецким контролем, никогда не пропадают: их могут вернуть, да... но н е теряют. Ни с какой цензурной точки зрения ничего в этом отрывке недопустимого быть не могло. Получишь, уверен. — Жду радостно твой рассказ о «первом посте». Так вот и пиши, как чудесно рассказала об «яичке». Я — в восхищении! Поверь, если бы тебе не удалось это «яичко», никакое пристрастие к тебе не выжало бы из меня хвалы: этим не шутят! Забудь нерешительность, не поддавайся слабости-скромности, — плыви свободно, мо-жешь! Ведь не «комплиментщик» тебе говорит... а — ох, как пытавший себя искусством! На российском конкурсе литераторов я, не зная тебя, присудил бы тебе бесспорный приз. Когда-то я нашел в ворохах рукописей (свыше 800 рукописей!) конкурса рассказ — совершенно безграмотный! — и большого таланта. Все члены жюри признали мою оценку. Рассказ был из жизни портных — ! — что не мешало ему быть «исключительным». Я и сечас помню описание «вешалки» и манекенов (каков образ-то!): «...стояли ряды

пальто, мундиров, фраков, пиджаков... и все эти люди были без головы... (м. б., и без сердца?) — жутко было от этого в мастерской к ночи»... Лет 30 прошло, а... я помню это меткое и редкое «сравнение». Когда жюри послало ему один из призов — 300 руб., кажется, сумма! чуть ли не 1-й приз, в Ташкент, оказалось — спился человек!* *до*-приза! А я-то ликовал было: вот, нашли талант, дадим образование, со-здадим! Кстати: мы в письмах часто, чтобы обратить внимание друг друга, ставим слова в кавычки... — в рассказах лучше избегать этого, но я, например, для оттенения, люблю писать иные слова «разрядкой», т.е. вынимаю между буквами так называемые «шпоны», связи букв. Это я принял сравнительно недавно, м. б. злоупотребляю... иногда, но почитаю важным, когда надо или взять внимание читателя, или показать, что это «слово» имеет особый смысл, «внутренний», что ли (или «переносный»). Такого много в «Путях Небесных». У тебя большой (огромнейший!) вкус, и ты сумеешь сама во всем разобраться. У нас — как у всех — слабо еще развита «пунктуация» (очень мало «знаков препинания».), мало знаков для пауз, например, для передыхания — при чтении вслух, — ведь речь-то наша часто обрывается, н е кончается... В таких случаях я иногда ставлю не просто знак — ! или — ?, а — ..! или..? Приходится самому создавать «дыхание живых слов». У меня слабость... — вот ругались типографщики! — к многоточиям. Не понимали, что в речи нашей всегда «обрывчики»: у них не хватало точек-значков! Идиоты говорили: «это он строчки гонит себе». Истинно, эти идиоты не знали, как я выкидывал целыми столбцами уже написанное: я сжимал «строчки»! Оля бывало, скажет: «ну, что это ты... такое сильное... выкинул!..» И — соглашалась. А то и не соглашалась. В страстном она всегда меня сдерживала. Чистота «Путей» — узнала эту ее правку: там моя страстность вскипала... Впрочем, обычно, я сам, поборов себя, выбрасывал, менял.

Ольгунушка, теперь я знаю тебя вполне: знал подсознанием, теперь — знаю, и — голова кружится от... восторга, святого восторга, перед твоею цельностью, чистотой, духовной высотой. О, ми-лая..! — неизъяснимая красота души.

Сегодня письмо от матери о. Динисия: пишет, что он оставил: духи! — ну, не разбойник?! Я послал тебе — «сирень персидскую» и «фиалку душистую» — что он оставил... не

---

* скоро, кажется, и помер.

пойму. М. б. один флакон? Т.к. она дальше пишет: «2 пакета сухих фруктов!» Ну, не безобразник?! Я тебе сухих бананов фунт, что ли, и — французского чернослива — фунт «для поста»! И еще — «пакетик — очевидно, печение?» Следовательно, взял: коробку шоколадных конфет — слава Богу! — вязигу — ура! м. б. и духи! — 3 пузырька «клюквы», какое-то печенье... не знаю — «дрикотин» ли, где сюрприз для тебя, или — «бретон крепы»..? Уж и забыл, что послал я, т.е. упаковал в картонный короб. Она пишет: «боялся таможни». Он им писал, что «ненапрасно», т.к. французская таможня не желала ничего пропускать в Голландию, — сик! — «сиречь в Германию», несколько человек было задержано. Узнаю у Лукина, какими путями он хлопочет о поездке в Голландию к сыну. Я буду хлопотать. На днях еду к ним, зовут на завтрак. «Очаровал всех»... Посмотрим. Меня это встревожило... дойдет ли до тебя! Мне так дорого хоть пустяком тебя радовать... одинокая... оторванная часть моей — нашей! — Души... О, как я стремлюсь все тяжелое снять с твоего сердца, чтобы светлые глаза только светились, светили... ни-когда не туманились от слез! Ты столько выплакала их в жизни, Олюша! Знали бы люди, как творится истинный писатель..! То-лько страданием. Радостными в творчестве бывают лишь не-глубокие, не-трогающие, не-захватывающие. Эпикурейцы... Таков, например, Анатоль Франс. Ну, он и есть «Анатоль» и «Франс». Даже «гурман» Мопассан знал, что такое страдание, имел сердце. Не говоря о Бальзаке, Флобере, Стендале, Шатобриане, Доде, Гюго, Диккенсе, Шиллере[643], — Гете — исключительное явление! — его «солнечность», но и у него ско-лько «от горько-познания! — это от вдумывания» в Жизнь. Пушкин — тоже, но он много пережил горя, а что бы дал он, не оборвись жизнь так..! Кстати, ты любишь его «Монастырь на Казбеке»[644] — «Высоко над семьею гор»..? — А идиоты пронесли его, как «безрелигиозного»! Тогда ему было лет 30! О, прочти! Ольгунушка, читай его, пере-чи-тывай, родная! Это неутомительно и — питает! Умней, свободней — не было писателя! Всегда, во всем — сам! Никогда — «шпаргалок». «Умнейший в России»[645], — сказал после беседы с ним Николай I. Всегда читай, как Евангелие. Все-гда. И все <u>новое</u> будешь видеть!

А наш Чехов, Гоголь — все, все наши, и Достоевский, стоявший перед смертью на «казни»[646].

Твоя «грелочка» — чудо. И толста же, шельмочка! И уютна же! Надеваю только по воскресеньям, жале-ю..! И

ночью всегда со мной, дышу ею. Целую ее — тебя. Вдыхаю. Сейчас пошел и... швы — духи! Твои, Олель. Как люблю тебя! как нежно-нежно. Как бережно, благоговейно, как святое. Я решил, что «мохры» — для нужной починки, — шерстинки. Храню. Ольгуночка, ешь больше. Фосфор необходим. Ешь ракушки, всякие моллюски... я пристрастился к ним... до жадности. Н у ж н ы. Есть то-нкие..! как бы лангуста, но она грубей. Ольгуна, по-моему — и Серов — надо тебе инъекции мышьякового препарата, «антиневрастеник». Н у ж н о же! Ты страшно ослаблена, разбита. О коренных зубах писал: н е давай рвать, вранье, «мода», — раз н е дает чувствовать — вранье. Сама привела пример клинический.

Я знаю — ты моя, в с я. Какие ласковые письма! Сегодня — как солнце, согрела. Я успокоился совсем. Я верую. Я молюсь с тобой, у Креста. Я почти счастлив. В голове вот начало звенеть, значит — жарок, — знаю! — это «оспа» взялась. Чешется. 5-й день. А в воскресенье один крупный читатель — а м. б., и будущий — он уже есть! — делец экрана просил позавтракать с ним... — если будет жар — не поеду по ресторанам. Пошлю отказ-пнэй. — Как чудесно ты написала — мы в храме, у Креста... мы просим Его... — Оля, как светла ты, как я ж и в у тобой! С тобой, з а тобой... я всюду пойду... и на Крест. Я н е могу без тебя... пусть ты вдалеке, и все же со мной ты. Навеки. Оля, не вспоминай о «повести». Я не думаю о ней, я лишь о страданиях твоих в ней думаю. И она никак не страшна, не мучит меня ныне[i] Ты выше в с е г о. Ты всегда для меня оставалась — чистой, а это «темный бунт» вскипал во мне, и з плохого во мне, смертном-грешном. «Будем детками Христовыми!» — как я это с л ы ш у. Это только ты, юная, чистая сердцем, маленькая Олюша, только могла т а к написать. Сказать-шепнуть. И о Боженьке. В с е понял сердцем. Я — такой же, почти такой же. О, далеко мне до тебя! Но я все твое понимаю, оно — и мое. Ты — дитя, ты сердцем, душой — так и остаешься. И останься такой, навсегда. Подлинные художники — всегда дети, нет исключений. Всегда найдешь в них — д и т я. Но не такое чудесное, как ты... о, нет, не такое.

Твое — «расчистить» я так и понял: это никак не от сомнения твоего во мне. Ни-когда по-другому не понял бы. Да, я буду беречь тебя, всегда, весь. Я верю в нашу встречу. Крепко. Безоглядно. Да, н а д о вручить себя Богу. Я в

---

[i] В оригинале: ни страшна, ни мучит меня ныне.

твое внутреннее чувство верю неколебимо. Ты так нашла — значит, правда. Ты не ошибешься. Это голос святой в тебе. Чей? М. б. папин. Папочкин голос-помощь. Я улыбаюсь Оля, я радостен. Буду счастлив помочь тебе моим миром, моею молитвой, слабой. Верю всем во мне чистым в твою любовь. Ни в чем не сомневаюсь, вот смотри в мое сердце, Олюша, оно — твое. тебе открыто, все. Года... пусть, мне все равно. Ты для меня в не времени, я уже говорил тебе. Благодарю, милая, светличка моя, за твое благословение. Прилагаю автограф к «Няне» и к «Свету Разума». И вот первые главы «Куликова поля», запропавшие... —[i]

[На полях:] Ольгунок, 1 и 2 письма с «Куликовым полем» (посланные, оба, 6 февр. — точно) могли прийти в твое отсутствие? Не допускаю мысли, что застряли. Если не затерялись в Schalkwijk'e, — должны прийти.

Составлю нарочно для тебя —— Это из моего душевного опыта. —— и в следующем письме — пошлю успокоительные «слова внушения» и укажу, как лечиться ими.

Да, мое внутреннее чувство, как и д-р Серов говорит: необходимо клиническое содержание, лечение и полный уход. Подумай! В Гааге найдешь же хорошую лечебницу! И можешь с согласия врача, бывать в Церкви, раз-два в неделю. Ты будешь одна, можешь писать, думать, решать, вслушиваясь в Господень Глас в тебе. Молю тебя. Иначе не поправишься. Сейчас — временное улучшение. Твой Ваня, всегда.

159

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.III.42 11-10 ночи

Золотинка ты моя небесная, чудесная деточка, Ольгуночка! Перечитываю твои дивные письма, полные такой светлой ласки, такого света! — такой нежности... ну, я не могу все словами оценить в них. И нахожу новое, на что, возможно, не ответил еще.

Самое важное увидел, и на него важно сказать тебе, очень важно. Ты мне, Ольгунка, поверишь, знаю, — и это верно, что скажу, это — совесть чистая моя говорит тебе. Знай, Ольга, что уже давно, поняв тебя во всей полноте, глубоко... внутренне молясь на тебя, на святое и

---

[i] Далее — текст повести «Куликово Поле», гл. I—II.

непоколебимое в тебе, — давно я понял, что ты, такая, рано или поздно, должна была бы (совершенно независимо от моей любви к тебе и от твоей любви ко мне) сделать «расчистку» твоей жизни, не могла бы оставить так, бессрочно. Ты, чувствуя, что что-то не то, и то, что есть, — не отвечает тому, что должно бы быть в освященном союзе, что такое уже мучает твою совесть, томит тебя и делает жизнь безрадостной, бесплодной, нудной... ты, такая, не могла бы оставить так, ты стала бы пересматривать, проверять, призывая Господа помочь тебе в этом пересмотре, и, сделав вывод твердый, приняла бы решение. Все равно, приняла бы, даже и не «встретив» меня. Бесцельность, безрадостность, — без намека даже на «душа в душу» — ! — необщность взглядов на жизнь, на твои цели, (а у тебе есть, есть! — и всегда были, назревали! — эти цели), «разноязычие», (а это очень важно!) — ведь думать, чувствовать и понимать исчерпывающе, можно лишь на своем родном языке, — как бы ты хорошо ни знала чужой, — пусть «общий», 3-ий язык! — разность (а это безусловно!) во вкусах, мироощущении, мироприятии, разность — и сколь же потрясающая! — вер, — даже при всем желании принять (понять!), ибо веры-то, разные, кровным закрепленные, — родами! веками! — все это, соединившись, заставили бы тебя, именно такую, какая ты, — томиться, (а это уже да-вно сказалось!), ис-томиться и... принять, в конце концов определенное решение. Вот моя правда. Верь, Оля. Если я раньше не говорил тебе этого, то лишь потому, что не мог. Я не мог, не смел вмешивать себя, и не мог бы отрешиться от мысли, что ты увидишь в этом (могла бы почувствовать так, хоть «боковинкой» мысли-чувства!) мою пристрастность, мою попытку подтолкнуть тебя... я боялся смутить твой — пусть очень относительный, — семейный мир, твою и без того мятущуюся, страдающую душу. Ведь я же — ты понимаешь — слишком захвачен этим, ведь от этого зависит такое безмерное для меня, и — для тебя! Я не смел. Теперь я говорю это легко (с душевной стороны), свободно. Я получил право на это — от тебя, Оля моя, чистая моя. Ты, сама, поставила этот вопрос о жизни, сама, — и так это понятно, ибо отвечает всему в тебе, — и сказала мне, что ты уже поставила. Тогда я получил право сказать то и так, что — и как — и сказал тебе. Веришь?

Да, ты веришь. И понимаешь, почему я не мог касаться сего. Да, я помог тебе, я не раз — чуть ли не до

письма 25.IX, — высказывался, — но косвенно, и укорял себя за это, что я «позволяю себе смущать тебя», «подталкивать»... — я тебе открылся во всем, — это уже я не мог сдержать в себе, — пусть будто безотчетно! — но я никогда не думал, что я — вправе говорить то, что я теперь выговорил. Я — для себя — все решил, бесповоротно... — или безумец я, чтобы отказаться от величайшего Дара — от Света, от тебя, бесценной моей!? — но внушать тебе, воздействовать на тебя, — для себя! — я не смел. Вот это главное, на что я должен ответить, — и ответил.

Оля, повторно: время... — сроки... — да, я не смею ускорять, это твое дело, и это — не только от личных воль зависит. Для многого — и очень дорогого — срок очень важен... — если решение будет светлым для нас, но безотносительно к этому... Оля, ты дорога мне, ты желанна, ты — моя — вне времени! — вне годов твоих и моих: ты — моя Душа, и без тебя я не могу уже — в вечном, узнав тебя. Я знаю: так думаешь и ты.

«Куликово поле» я переписываю и м. б. сегодня (завтра) дошлю из начала. Пишу пером потому, что ночью нельзя стрекотать машинкой, соседи могут серчать. А машинка здравствует. Должно быть они — перо и машинка — притерпелись и — не ревнуют. «Оспа» моя привилась, не мучила, присыхает, t — утром 36,5, и я мог поехать на завтрак. Завтрак был необычно обильный и, должно быть оглушающе дорогой. Но попал в такую большую компанию (много «экранных» деятелей), что мы с пригласившим меня отложили личный разговор до следующей встречи — интимной. И снова — смешно! — новые по... читатели, по... читательницы... и снова мое «в ударе» (это все от тебя!) и... увлекание (без моей в том вины!). Одна дама (лет к 50, замужем) оказалась из рода «староверов-беспоповцев»[647], но, кажется, замужем за евреем! — каково бр..! — со-че-тание-то! — родом из г. Коврова, Владимирской губ. — вдруг объявила мне: «знаете, что странно... я узнала себя... почувствовала себя в Вашей чудесной Дари!» Я «признательно» поник головой. Ну, понятно, очаровал. Я теперь все и вся очаровываю... такая полоса выдалась. Или уж я пою... от опьянения? От трепещущей-плещущей радости во мне? Но что странно! Человек, лет 8—10 меня не видевший... вдруг: «ка-ак Вы изменились... !?»... Я... настороже... — ? — «Вы ужасно... помолодели!» Слава Богу. Вышел с завтрака — в 4 ч. — с 12-30! Весна. Тает. Солнце. Я светло прошел по ярким (и грязным, от снега) улицам, но поспешил в metro, т.к. в 5 долж-

ны были приехать гости, а потом и «юные мои». Остались недовольны моим портретом (у тебя который): «у Вас сильное лицо, а это... для Вас — без лица». И правда. Я недоволен. Все-таки я себе «заработал» л и ц о. Хорошо сказал В. В. Розанов[648]: «Писатели выслуживают себе л и ц о, (и это и в физическом смысле!) выписывают себе лицо, как чиновники — пенсию». Хочу — или пересняться, или переснять, с ретушью, портрет снятый в Риге, в 36 г. — он очень удачен, только там очень т я ж е л о е лицо. Но все хвалят. Но как же я тебе-то, детка, перешлю? Уменьшить до... фото-паспорта? Но тогда все с л и н я е т.

О встрече в 36 г. — думаю — ты, м. б., и права. Твои «сумасшедшие» письма дороги мне, о, как же дороги! Но ты, Олёк, поступай так, как тебе необходимо, как тебе лучше. Я на все согласен, только бы тебе не осложнять, чтобы ты была вся — с в о я, не жгла себя. Это очень важно. Милая... как мне тебя назвать? — тут — в этом — ми... лая..! — в с е. А теперь о чудесном — «душа в душу».

Да, боюсь (смущен), что одно письмо заказное на Сережу — тебе не пометил (может быть?) «pour[i] О. А.» и С. может безвинно вскрыть. О, прости, моя ненаглядная! — А хорошее это слово, родное! Ни у кого, должно быть, такого словечка нет! Н-е-н-а-г-л-я-д-н-а-я!! Ласки-то сколько в нем! И еще, чудесно: «душа-в-душу»! — как бы о д н о й душой. Так должно быть, — и есть! — у нас с тобой.

Ми-лая..! Опять напомню: не забудь же рассказать об о б р а з е 10-летки Оли, который ты надумала, стоя в церкви. Видишь, как я все помню из т в о е г о! И как мне все драгоценно. Олёк, не смущайся, — повторю еще! — п и ш и: ты — с а м а, у тебя свой язык и, главное, такое сердце, какого у меня нет. Ты будешь и м писать. Никакого «влияния» от меня не бойся. Если тебе кажется, что ты говоришь моим тоном, не смущайся: мы черпаем из одного и того же источника, наша суть — о д н а, р о д н а я, и естественно, что ритм, тон м. б. схож. Но ты всегда с в о я, с а м а. Я же в и ж у это, и поверь же мне, моя ненаглядочка! Как люблю..! Как ты чудесно чутка! Ну, во всем это, во всем. Каждое твое письмо — доказательство этого чудного Дара. Все в тебе — Дар, все благое. О цветочке не горюй, если и погибнет, не будь же суеверна. Этот вид бегонии (неклубневой) очень прихотлив. Не слишком ли заливала? Держи посуше. Твой цикламен — «мотыльки»-то! — цветет! Вот почти 3 мес., с 13 декабря. Сейчас 3 распустившие-

---

[i] Для (*фр.*).

ся, огненно-saumone[1], и вылез новый бутончик. Дал химическое усиление (раньше бы надо: несколько бутонов не набрало силы!). У меня — как весна... — такая страсть родится — к посадкам, пересадкам, горшочкам, к земле... к побегам-росточкам... к «клейким листочкам» (Достоевский «Братья Карамазовы»!)[649]

Слушай, глупенькая... как возникли «Пути Небесные». В марте 35 г. с чего-то подумалось... (м. б. даже под влиянием поста, церковных песнопений..?) — а не рассказать ли, как Виктор Алексеевич Вейденгаммер (Олин родной дядя, брат матери) из невера стал иноком? М. б. эта мысль родилась из сознания: как чудесно — веровать! И я решил в 2—3 очерках-главках рассказать, совсем легко, как самому себе. Я узнал их обоих, когда был студентом (В[иктора] А[лексеевича] и его «сожительницу» Дарью Ивановну; она была полная (русской красоты, уже лет 40) и совсем не походила на родившуюся из меня — Дари). Начал писать — и попался. Увлекся. И стал искать (?) идеал новой, чистой девушки-женщины. Глава за главой. А уже первые две были напечатаны! Я должен был продолжать. И — бессознательно — нашел Вагаева, соблазны... и новый образ идеала... Твой Ванюрочка

[На полях:] Прилагаю автограф для книги «Старый Валаам».

Напиши мне: на какие книги еще ты хочешь автографы.

Скоро 1 ч. ночи — надо пока оставить — иначе, знаю, не засну.

Окончание этого письма — в другом. Целую мою ласточку — Олю!

160

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.III.42

Ванёчек, солнышко родное, светик, радость моя, моя!

Не могла писать тебе об новой моей «шишке Макаровой», мама пишет тебе подробно.

А сегодня письмо твое драгоценное от 24-го II, и я все забыла, я вся ликую, пою, свечусь.

Ванечка, ты меня любишь, я тебе не надоела!

---

[1] Цвета лососины (*фр.*).

Ванюшечка, ну милый глупка, чего надумал?! Оля твоя «уходит»? Нет, Ванюша! Не будем друг друга напрасно мучить! О, как мне радостно сегодня! И нет этой «недели», о которой ты писал, что только раз (и кратко) в неделю будешь мне писать! И еще: ты в «Путях»! Какая радость! Это ли не счастье?! Ванюшечка, чудесно как: ты начинаешь весной, в самые трепетные дни возрождения природы! Дай бог тебе силы, бодрости, удачи! Ванёчек, я тебя крещу, благословляю. Писать тебе буду часто (если это тебя не отвлекает), а ты не считай себя должным писать, не утомляйся. Только бы мне знать, что ты здоров!

Я в радости буду пребывать от сознания, что ты в творчестве! Ванёчек, счастье мое! Сердце мое! Мой несказанный, прекрасный рыцарь! Как я люблю тебя. Я так полна тобой, что все забыла. И почку свою забыла, — а к а а к была подавлена, убита! На случай, если ты от мамы еще не получил, — у меня 1-го марта утром случилось опять кровоизлияние, но очень маленькое. И пока мы рассуждали как ехать в клинику, — прошло. Судя по осадку (кровавому) вышло крови очень немного.

Все последующие порции были абсолютно вне всякого подозрения. Очевидно случилось ночью. Как и тогда. Пролежала я воскресенье на спине, не шевелясь и ночь, а вчера чуть-чуть вставала (доктора тогда это находили лучше), правда, не одеваясь а только в теплом халате, ложась, как только устану. Вчера же начала пить снова травы, которые пила тогда, и после чего все пропало на снимке. М. б. опять камень? Буду пить!

Доктор, сторонник рванья зубов, настаивает на этом, т.е. рвать зубы. Но это же ужас!

Подумай только: добро бы еще плохие, а то изволь рвать крепкие зубы, ну, правда с пломбой, но все же хорошие совершенно зубы! Не знаю! Но если прав он, то, пусть! Надоели эти «крови»! Ты понимаешь, этот вечный ужас: «а вдруг сейчас снова...» Всякий раз я смотрю со страхом. И... эта пытка... цистоскоп! Пытка! Единственно, что меня утешает, что ничего серьезного (как tbc. или опухоль), — это то, что Blutsenkung[i] (не знаю по-русски) совершенно нормальна! Только что делали! А она — верный показатель. Теперь я не знаю что буду предпринимать. Ехать ли куда на отдых или бросить себя в п ы т к у... Если надо, то ведь ничего не поделаешь!

---

[i] Осадок крови (*нем.*).

А я хотела уехать в Гаагу, отрешиться от всего, покой найти, себя найти, поговеть хорошенько, в церковь походить... Что же... Господь меня грешную не хочет? Все хотела уехать, уехать, одна остаться... По многим причинам... Ты душой поймешь меня... А вот выходит, что стала так беспомощна, куда я одна?! Но все-таки я хочу. Я постараюсь, если ничего не приключится, уехать, хоть на 2 недели, в Гаагу. Ну, если и кровь случится, то позвоню автомобиль и дам отвести себя в Амстердам в клинику.

Но ты понимаешь мою досаду? Какой-то... полу-человек!.. Ни больна, ни здорова! А я ведь мечтала то: м. б. службу найти, работать! Ну, м. б. еще поправлюсь! И хоть бы знать, что такое! Я чувствую себя хорошо. Ничто не болит. На этот раз не было ни жара, ни рвоты. Вчера вышел маленький сгусточек крови (это «пробочка» так сказать), в те разы выходили с болью адской, огромных размеров. А теперь вот такой[i], — я и не чувствовала как вышел. И собственно само по себе кровоизлияние не причинило мне абсолютно никаких страданий, — если бы не это угнетающее чувство, что «болезнь сидит где-то». И какая?? Странно, что февр. и март в жизни нашей семьи всегда тяжелые месяцы. Я писала тебе как я малюткой «умирала» однажды в марте? От воспаления легких с... сильнейшим кровоизлиянием из легкого. В Москве была у знаменитостей после, никто ничего точно не нашли. Предполагали 2 разных процеса: крупозное и катаральное в одном и том же легком. Отчего такие «потоки» крови — никто не знал. Tbc. не было и нет! А когда я болела тифом в 21 году, то истекала кровью из носа 3 дня и 3 ночи. Ну, это-то понятно: отравление токсинами и поражение сосудов.

Но, видимо, слабы сосуды. Я это все специалисту здешнему говорила. Ну, посмотрим...

У меня сегодня и бодрость, и радость, и сила!

Ты будто посетил меня и приласкал и приголубил, мой Ваня. А я, как трепетная птичка, своим сердчишком бьюсь у тебя... в ручонке... помнишь, как в Благовещенье у Вани ждали птички воли?![650] Ну, поцелуй же птичку, и... «пахнет курочкой»? Помнишь? Я все твое помню! Многое наизусть! Ванечка, я все постараюсь твое достать. И о тебе. Это же жизнь моя! Не загадываю только теперь о том, когда куда двинусь... Читала много еще это воскресенье (больная) И. А. Знаешь его мелкие «Ich schaue ins Leben»?[651] Чудно!

---

[i] В письме — рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

Мне это дало утешения немного. У него там на все: и «Krankheit»[652].

А в субботу Сережа читал вслух нам тебя... «Праздники». Он хорошо читает. Сережа ведь «артист». Правда! Он хорошо играет. Мама и он сам с наслаждением жили тобой, а я горько плакала над каждым твоим словом... Для меня нет теперь твоих различных книг, все они — ТЫ!

Всюду Ты. Ты поймешь это!

Да, Ваня, не слова это, что Душа наша — общая, из кусочков от каждого в отдельности. Все, и хорошее, и плохое, и здоровое, и больное! Мой родной, мой хороший Ванечка, помолись за здоровье мое!

Я не тоскую больше! Странное совпадение (?), — тогда, в 40 г. тоска адская была перед болезнью, — и теперь!

Ну, Господь поможет!

Мне м. б. нужны такие напоминания. Я забываюсь. Я, именно (ты это верно), слишком «себя вижу». Но не так, как бы надо видеть!

Не проси ни в чем прощенья у меня, Ванёчек, не надо! Разве надо это?

Мой дорогой, мой светлый Ваня, будь радостен! Будь светел, силен в творчестве! Мной *не* тревожься! Страшного у меня ничего нет, Бог дает. И не надо «накликать» и Бога гневить...

Ванёчек, я хочу очень писать! Для тебя! Во имя твое! Но так трудно! Ничего не выходит. Я стала рассказик «править», а пришлось все перечеркать! Не правится! Попробую еще! Сказать хочется много! Ты знаешь, я впадаю невольно в твой тон. Я борюсь, но это во мне! Что делать?

Читать тебя пока не надо? Но это же невозможно! Ну Христос с тобой! Как ты, здоров? Я каждый день гляжу на тебя! И ты все больше нравишься! Особенный ты мой! У о. Д[ионисия] ничего еще не взяла, т.к. не ходят автобусы. Теперь по воскресеньям только с 11 ч. — значит никогда не поспеть к обедне. А с ночевкой очень трудно. Но я тебя за все уже сейчас целую! Ванюша, милый! Ласковый! Я любопытствую увидеть «сюрприз»... фото? Как ты это умеешь! Люблю с детства я «сюрпризы»! Крещу, целую, люблю. Оля! Здоровая Оля! Ничего не болит.

Не успела перечитать.

161

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.III.42

Милый мой, дорогой мой Ванюша!

Пишу тебе уже из Гааги. Вчера выбралась все-таки из дома, но не утром, как хотела, а в 2 ч. дня, т.к. вечером накануне засиделись у бургомистра, и я долго не могла заснуть. Набрала с собой всего, что могла, и ужасно тяжелый вышел мой чемодан. Хотели меня провожать до Гааги, но приехал неожиданно один гость и остался обедать, и... я поехала одна. На вокзале меня шофер автобуса посадил в поезд, а там... сама не знала как пробиваться буду с тяжелым чемоданом через массу народа. В вагоне оказалось, что я села в вагон на Rotterdam (поезд всегда составляется из вагонов на Rotterdam и Гаагу), и что на Гаагу надо пересаживаться на 1/2 дороги. Все говорили об этом, и я для проверки, так ли это, обратилась к сидящим напротив меня. Они вежливо ответили, что да, и что один из них тоже на Гаагу едет, и что мне поможет перейти в вагон и укажет, где и как. Я успокоилась и стала смотреть в окно. Холодно, сыро, темный день. Вдруг тучи разорвались ярким лучом (одним каким-то, очень ярким) солнца. И вдруг я слышу: «с о л н ц е!». Я не поверила ушам... Здесь, где никогда не слышно русской речи... вдруг это... «с о л н ц е».

Я так широко открыла глаза, должно быть, что сидевшие напротив улыбнулись, и один сказал: «простите, мне кажется по Вашему акценту, что и Вы русская?» Оказалось, что это член нашего церковного совета, очень симпатичный господин, а другой голландец, но женатый на русской, родственнице Толстого. Они знают всех тут, и очень дружны с о. Д[ионисием] и со всеми там. Меня и пересаживали, и даже в Гааге на (переполненный) трамвай усадили и довезли до самого места. Чудо? А я-то боялась за свою почку, как дотащусь. Обо мне-то, оказывается, этот русский знал от о. Д[инонисия], но я его не знала. Оказались милые, предупредительные люди, какими только могут быть н а ш и. В церковном доме меня очень радушно приняли. Я сплю в комнате, правда, без отопления, но днем у матушки в тепле... и в церкви. Очень рада быть в храме. Сегодня вынос Креста...

Ты будешь? Ванечка, мне о Д[ионисий] пообещал передать твои чудесные подарки. Пока еще не дал — все сидит в церкви, я его и не вижу. Минуточку только говорила и так хотела узнать все о тебе. Он мало говорит. Н и ч е г о не

говорит. Не вытянешь! Тоска с ним. Сейчас сижу у печки, а матушка вяжет длинными спицами. Уютно.

Она же мне сказала, что видела твою посылочку (т.е. она сказала, что видела то, что о. Д[ионисий] мне привез) и рассказала, что там бретонские крэпы, флакончики с клюквенным экстрактом, вязига. Книги она не видала и другого тоже ничего не видала. Сегодня ухвачу Дионисия. Я томлюсь тем сюрпризом, который в бисквитах. Что это? Верно, он не взял. Напиши, что это было? Фото? Какое? Ваня, знаешь, очень часто ездит С. шеф. Ты его адрес знаешь? Когда-то он обещал мне сообщить его тебе. Ты не сердись на о. Д[ионисия], что не все взял. Я думаю это оттого, что у него для себя и для своих близких были гостинцы. И нельзя было много брать, видно. Он всем чего-нибудь привез.

Ванечка, я тревожусь о твоем здоровье. Холодно тебе? Я чувствую себя хорошо, если не считать вечную болезнь, вечные опасения, что... «а вдруг да опять?!» Но это ничего! Поеду вот к доктору — узнаю.

Я не могу найти равновесия в жизни. Я вся «трепыхаюсь» как-то.

И ничто не дает мне этого желанного покоя. Я в церкви плохо могу молиться. Я вся в рассеянии. Отчего это, Ваня? Что это? Но это не то мое чувство, которым я мучилась и «отчуждалась». Я теперь ручная, снова Оля, не «отчужденная», но немножко только усталая, твоя птичка.

[На полях:] Трудно писать на таком «юру». Но я шлю тебе мысленно всю нежность, всю мою ласку. Будь здоров мой дорогой.

Крещу и целую. Твоя Оля

Как «Пути»? В пути? Дай Бог!

162

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.III/24.II.42

Мой родной Ванюшечка!

Вчера все хотела тебе писать, но так и не собралась. Оказывается, что вне дома еще меньше времени для себя. Я много хожу в церковь. Сегодня година смерти папы. Всегда мне грустно в этот день! О. Дионисий отдал мне то, что привез: коробку конфет (дивных, Ваньчик!), бретонские крэпы (я тоже попробовала — очень мне нравятся, но я их

берегу, «хорошенького понемножку!»), флакончики (3) с клюквенным экстратом, вязигу и «Няню из Москвы».

Я думала, что он «Няню» не взял, но она у него лежала *где-то в другом месте*. Я ее читаю вечерами матушке. Она в восторге. У матушки мне уютно. Но все-таки очень долго я не останусь, т.к. кроме трудностей с карточками, надоедает «жить из чемодана», и отсутствие ванны меня очень стесняет. Думаю, что говеть буду в субботу. Ничего теперь о себе наверняка не знаю. Все диктует почка. Беспокоит меня мысль о ней и постоянно лежит на сердце камнем. Потому еще не гостится мне спокойно тут, — хочу поговорить с врачом. Вчера ночью была боль в ней, но крови не было! М. б. камень?! Получила ответ из Берлина относительно зубов. Определенно не советуют. Очень осторожный доктор, сам часто рекомендовавший и даже заставлявший рвать зубы, когда это было нужно. Моя «карточка крови» убеждает его в ненужности удаления зубов. Обычно он никому и никогда заочных советов не дает; я так и просила — только его мнение вообще. Но он даже дал мне совет. Спрошу еще моего специалиста.

Берлинец мой очень учитывает диагноз «нервное истощение» и советует мне укрепляющие средства, перемену климата и Entspannung = (отдых?).

Но легко сказать: переменить климат. Я убедилась теперь вот на том моем маленьком выезде, что невозможно прямо никуда двинуться. Мои, с трудом добытые хлебные боны тут еще не хотели принимать, — из-за этой возни с карточками мне не придется долго остаться в «отпуску». Ужасна такая привязанность к одному месту. Меня поражает, насколько города у нас все «раскуплены». У нас в деревне — благодать. Я могу всегда по моим мучным ярлычкам (они у меня есть, но там только очень малое количество — это так называемая «общая» карточка, где и мыло, и сахар и т.п.) всегда получить печенье. Я могу очень часто получить хорошие конфеты. Здесь этого ничего нет. Меня удивило, какие дивные ты мне прислал! Но это меня ужасно огорчило: где же «сюрприз»? Не взял его о. Д[ионисий]! Ужасно! Я тебя так ждала! Его отец после Пасхи собирается, сказал мне о. Д[ионисий]. М. б. прихватит? Ванечка, спасибо тебе за все! Так мило, заботливо, так чудно-русски! Я варила уже кисель. Очаровательно! Совсем клюква! Я долго облизывалась еще и после. Я очень любила его, — кисель! Ванек, я давно ничего от тебя не слышу. Мама еще ничего не переслала, — только берлинское письмо. М. б. ты заработался? Я горю узнать как твои «Пути». Знаешь,

мне недавно снилось о них. Будто ты все переменил, и вместо Вагаева — ты...

И так было интересно... только как-то совсем иначе. Не помню, заспалось. Ты знаешь, откуда я тебе пишу? От парикмахера. Здесь я по крайней мере совсем одна, никто не смотрит, что я делаю. Я жду когда высохнут локоны и часами сижу. Ужасная процедура эти «permanent». Напиши Бога ради, здоров ли ты.

Мне так одиноко, когда ты не пишешь. Я мечтаю, когда окрепну, и если не надо операции с почкой, то буду пробовать писать. Во имя твое!

[На полях:] Мне так хочется тебе доставить радость — писать! Ты рад бы был? А у меня наполнилась бы жизнь... пока. Как трудно жить, как трудно что-нибудь предпринять мне, — больной. Эта... вечная почка... Если бы ты знал, как это меня гнетет!

Обнимаю тебя и люблю, мое живое солнце! Целую и люблю, люблю. Оля

163

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.[III].42 6 вечера

Ты несравненно очаровательная, Олюньчик, когда вся в ласке. Последние твои письма — такая песня и такой тихий свет! Благодарю, родная.

Богатым сердцем своим приняла ты мое «Куликово поле» и, как никто, поняла его, — я это чувствую. И знаю: ты вот именно т а к же, как Оля Среднева, — а ты... Субботина! — проявила бы себя в этом «явлении». Оля Среднева дана мной только в э т о м, и уже э т о бросает свет на ее богатую «природу». В э т о м и ты была бы смиренна, кротка, глубока. А как ты думаешь, Оля Среднева не проявила бы своей пылкости и «бунтарства», если бы кто дерзнул при ней оскорбить святое-святых ее?! Ты, в с я ты здесь, чудесная! Кому же и чувствовать это, как не автору, внутренне з н а ю щ е м у душу описываемого им лица! И вот, еще раз я прозрил — намекающую во мне — тебя. Прозрил, — ибо я т а к искал... тебя! И — обрел. Признайся, милая... и — не ускользай.

Оля моя, не выдумывай, не бери на себя подвижничества: не смей же поститься. Ты умна, чутка, глубоко религиозна, и потому ты должна понимать, для чего пост. Ты сама себя давно испостила, ты ослабла, тебе лечиться надо,

беречься еще большего изнурения. Прошу тебя, хоть для светлого чувства моего к тебе сделай это. Ты не «распробывай» конфеты, а ешь их, соси, золотая пчелка, и радостно мне будет. Зачем же беречь, портить их вкус? Я же тебе свежих послал. И духи свои лей на себя, они же для тебя и посланы. А у меня есть, для меня, — или платок опрыскаю, или чуть покурю в комнате... а для постельного белья лаванда у меня есть. Жалею, что не послал тебе хотя бы «душистого горошку», если «жасмина» не мог достать. И еще у меня есть очень тонкая «сирень», я весну люблю вызывать. В ее запахе — этой моей сирени — столько тончайших весенних дуновений! По-моему, это самый легкий, самый весенний запах, — столько вызывает во мне ощущений, отсветов юности... и — грусть.

У цветочка осторожно огляди корешки, отсеки больные, стараясь не потревожить «стульчика», откуда и корешки, и «вершки». И отнюдь не поливай раствором удобряющих солей! — пока не оздоровеет. А погибнет — и не воображай, суеверочка, что это м. б. с нашим связано. Ты же му-драя... о, какая ты мудрая!

Да, еще... цветочек поставь под стакан, стеклышко... будто он в лечебнице. Я обещал послать тебе «утишающия слова». Слушай. Раза два в день, особенно — когда неспокойна, ляг свободно, чтобы ничто в тебе не напрягалось, — ну, будто ты уже дремотна. На спине. Левую руку на лобик, —ах, какой красивый, ясный он у тебя! — правую или вдоль тела, или чуть к сердцу. Минута-две полного бездумья, помни: ты в дремоте. Ты скоро заснешь. Ты шепчешь: «Господи, благодарю Тебя... за все, Господи, благодарю. Ты дал мне жизнь, Ты дал мне чудесный дар — сердце. Я пребываю в Лоне Твоем, Господи... и да будет святая Воля Твоя на все во мне. Господи, не оставь меня. Я хочу быть сильной, я хочу быть здоровой, чтобы славить Тебя, Всеблагий, всею душою моею. Я чувствую, я верую, что с каждым часом, с каждым днем я крепну, я сильна, я здорова. Темные мысли, темные чувства меня минуют... их нет во мне, Ты только, Господи! Я покойна, я примиренна, я ценю дарованную мне Тобою жизнь. Я светла, я тиха, я радостна. Мне ничто не грозит, испытания мои минули, я светла, тиха, радостна, я хочу работать, творить во-Имя Твое, Господи. Я набираю силы, я слышу, как они втекают в меня с молитвой. Даруй мне, Господи, прославлять Имя Твое. Я тиха, радостна, покойна. Мне легко, бездумно, тепло от чувств моих. Ноги мои покоятся, легчают, дремлют. Руки мои легчают, покоятся дремотно. Все тело мое

покоится, легчает. Я сейчас усну, я дремлю, — ни думы во мне, ни тревог дня сего. Я засыпаю, затихаю, покоюсь, ни думы во мне, никакой заботы. Я верю, Господи, — все будет хорошо, все мои цели светлые осуществятся, я чувствую... Я засыпаю, все тело мое покоится, и тихий, и светлый сон нежно меня баюкает. Я сейчас засну, я хочу заснуть и засну... засыпаю, ни дум, ни мыслей... Господи, я пребываю и до конца дней моих пребуду в Лоне Твоем... и да будет святая Воля Твоя на все во мне. Господи, не оставь меня... укрепи меня, дай мне силы славословить Тя во все дни жизни моей... Я сейчас засну, я уже засыпаю, засыпаю, засыпаю, тело мое легчает... его не слышно... я с Тобой, Господи...»

Эту молитву я для тебя, Олюша моя, сейчас составил... Она похожа и на мою, всегда успокаивавшую меня. Читать надо медленно и однотонно, будто в дремоте. Помни: ты отдыхаешь. Сначала читай по бумажке, не смущайся. М. б., сперва мама будет тебе читать, положив тебе на лобик свою руку, тогда твои руки — вдоль тела. Ни малейшего напряжения — души и тела. Помни: ты засыпаешь. Можешь менять слова, выражения, повторять одно и тоже... — словом, ты уходишь от дня сего, от его «беготни мышьей». Можешь, перед этим «чтением», прочесть любую молитву, — лучше — вечернюю, — например так успокаивающую — «Слава в вышних Богу...» Ну, Господь с тобой, светлая девочка моя, Оля моя... Я так тебя нежно чувствую.

Да, я не понял, что такое — написала ты (на мое слово?) — «схватило» и дальше — «не схватить» — ? Поясни, не забудь. Когда я писал о Даше, я сказал — «жаль»? Не так это: не для меня ж а л ь, а жаль, что так для нее сложилось. Но в этом я не виноват. Если бы мне была нужна женщина, неужели бы я не мог найти в Москве лу-чше? Я никогда не стремился к этому. Никакого не может быть сопоставления Дари и Даши. Д[аша] перед тобой — стекляшка, а ты — бриллиант ж и в о й; не алмаз, а в ограненности тонкой — бриллиант. Я тебя нашел великими трудами, душой и сердцем, и теперь ты, и только ты, во мне, навеки. Оля, главное для меня в тебе н е твоя видимая п р е л е с т ь, а с в е т твой... душевное существо твое. Я чувствую, как велика во мне ч и с т а я любовь к тебе, к великому богатству души твоей. Чудесное-нетленное твое — вот главная прелесть, заполнившая меня всего. Внешняя твоя прелесть — сила, да, я ее чувствую, к ней влекусь, но это н е главное. Она лишь дополняет тебя во

мне, эта внешняя прелесть, но она потому для меня и не грех, она восполняет большую любовь мою к тебе, и оба эти чувства составляют полную любовь, любовь земную. Да, я облик твой искал — и дал! — но, главное, я тебя искал, всю... душу твою искал, и эта чудесная душа воплощена в прелестном, вечно-женственном облике твоем. И потому любовь моя к тебе предельно чиста, светла, возвышенна. И — при такой любви — земное лишь дополняет тебя, и так естественно, так необходимо дополняет, и потому я не чувствую ничего греховного в полноте любви к тебе. Ты для меня... ну, музыка, чарующая песня, — все. Ты неизменяема. Ты можешь внешне меняться, стареть, и все же ты останешься для меня неизменяемой, как найденный в великих исканиях Идеал. Говорю полным сердцем. Видишь, это совсем [не] то, что писала ты о «герое», о «любви». Как бульварный роман отличается от высокого искусства в подлинном романе, так и любовь маленькая — от любви высокой, жертвенной, любви-Идеи, или — чистой любви, — Любви.

Жду-жду твоего рассказа о «первом говеньи». Пришли! И напиши, какой «образ» представился твоим духовным-душевным глазам, 10-летки Оли, однажды в храме. Ты мне писала еще в июле об этом. Я давно прошу, жду. Так мне ценно внутреннее твое, твой светлый мир!

Ты — о Даше... Да, ведь, она-то — маленькая «марфа», она — знаю — ходила бы за мной самоотверженно, да... но она только «простое сердце» и — просто-женщина, — была, в своей молодости, — и я ничего другого и не помыслю в ней. Ну, можно ли сопоставить светлое твое небо — с земной ограниченностью Д[аши]! Ах, ты, глупеночек милый, гуленька моя нежная!

Еще настаиваю: тебе необходимо систематическое лечение, полный отход от «жизни мышьей беготни». Ты себя успокаиваешь, что тебе лучше... Господи, как это недальновидно, Оля! Пожалей же хоть раз... себя! Для меня это источник болезненной тревоги. Я тебе все сказал. Вижу, что и мама твоя отлично понимает невыносимую трудность твоей жизни... — косвенно слышу в ее письме. Я, мысленно извиняясь перед ней, приведу для тебя выдержку: «нужно набрать сил и привести в ясность мысли и чувства... попасть в свежую обстановку, где можно отрешиться от всего и от здешних китайских церемоний». Воздух, которым дышит твоя душа, очевидно и маме трудно переносим... — ну, а уж тебе-то!.. искавшей всю жизнь воздуха для души..! Во-имя чего же все это... жертвоприно-

шение?! Оля, я не тревожу тебя, нет, когда пишу т а к? Поверь, я с е б я отодвигаю тут... тут — т ы на первейшем плане, все во-имя твое пишу так. Что обо мне говорить! Для меня — великое счастье хоть бы увидеть тебя, почувствовать тебя, душу твою близко-близко..! И я поблагодарю Господа и за такое счастье. — В газетах ты прочла, конечно, и по радио узнала, что был злой и подлый налет на окраину Парижа. Это в моей стороне, Булонь-Бианкур, около версты. Много детишек погубили «благородные островитяне», по ими же изобретенной кличке — «джентльмены»! Большинство французов возмущено. Главным образом, рабочие кварталы пострадали. У меня шелестела картонная стенка, разделяющая временно — на зиму — мою квартирку. У меня тепло, 15 градусов. Об И. А. ничего не знаю. В субботу пойду к Животворящему Кресту, буду с тобой молиться. Ми-лая... как я благодарен тебе за твое сердце, как ты нежно говоришь об Оле! Да, она не по земному чувствует, она постигает в с е. И в с е видит. Я молюсь ей. И так мало з а н е е. 4-й день нет письма. Не больна ли ты? Мне эти дни очень грустно. Как ты живо дала с е б я, будто ты incognito в церкви и потом идешь ко мне. Подумаю — пьяно кружится голова. Я уже в и ж у тебя... всю тебя! Я у твоих ножек, целую их. Ты? Оля?! ... У меня?!! ...Но когда, когда же сбудется?! Такая пытка... если бы ты могла почувствовать; ч т о иногда со мной творится?! ... На великое счастье, но и на сущую муку встретились мы на отдалении. И как мешает мне в работе эта невозможность полной любви! Я сжигаю себя. Ну, Господь с тобой! Целую ушко, глазки, лобик. Твой Ваня

[На полях:] На какую еще книгу хочешь автограф? Из тех, конечно, какие я тебе послал.

Портрет мой очень плохой, здесь нет моего сильного выражения лица. Тут — слабое, невыразительное, не мое! Отдал переснять у дачи — 36 г. А какой у Сережи? Опиши. В 3/4? Солидный?

164

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.III.42 6 вечера

Беленькая моя, светленькая, Ольгуночка, ласкунчик мой далекий, бедная больнушечка... и я бессилен приласкать тебя, помочь, дорогая моя девчурочка! Ты для меня вся девчурочка, вся любимка, Олюнчик светлый... Узнаю у

своего друга-доктора, да в чем же дело с твоей болезнью? Я еще больше, кажется, полюбил тебя (можно ли это?!), к моему светлому и такому крепкому чувству теперь такая жалость прилилась, что, кажется, вот сердце мое истает, — столько в нем сладкой боли, столько просветленного, какого-то неизбывного страдания, н е томящего, а ласкающего страдания, с о-страдания. Если бы ты была здесь, со мной! Я не отошел бы от твоей кроватки, и силой души укрепил бы мою бесценную птичку. Как ты чудесно о птичке! Будь покойна, Олюша, в с е это пройдет, — я думаю, что эта боль вызывается и волнениями, душевной тяготой, тоской. Читай мои слова внушения. Но и лечись, как необходимо. Н и ч е г о — верю! — опасного нет, никакой опухоли, — и не думай! — это в связи со слабостью сосудов, это у тебя, м. б., родовое. Возможно, что кровяное давление повышено? А м. б. и раздражающее питье, что ли... м. б. много жидкостей принимаешь? много соли? Что это повторяется весной — объяснимо: движение соков усиленно по весне бывает... — общий закон р о с т а и обновления, как — ты мне писала — и с язвой желудка — (у меня — дуодэни)! — и я вспоминаю, что да, весной у меня всегда возобновлялось воспламенение язвы. Всегда. Почему я теперь и строже с едой, хоть это и очень теперь трудно: ешь — что найдешь! Но я, право, не страдаю, как-то держусь. Порой лишь чувствуется, и тогда я усиленно принимаю каолин — «глинку фарфоровую», — и снижаю курение.

Голубка, не забывай, пиши мне, — я тревожусь, роднушка моя. «Пути» все же подвигаются (последние дни я мало пишу, но — думаю) — и на бумаге, и в голове. — Я перешел на летнее положенье: снял холостую стенку (картонную), и теперь — огромное ателье у меня, могу мотаться свободно, как горошина в бутылке. И много же свету! — и воздуху! Твои «мотыльки» еще цветут, последний бутончик розовеет, а м. б., и еще будет, — я запоздал дать усиления солями, и много бутончиков не вошло в силу, — теперь усиленно опрыскиваю и подливаю азотные соли. Послезавтра минет три месяца, как они прилетели ко мне — и поют о любви.

Не мудруй, мудрая, с рассказом! Ничего не бойся, он у тебя, — уверен, — сразу вышел, а теперь ты его только замусолишь, «запишешь»! Не оглядывайся, будь уверенней, — знаю, что говорю. Ты вот не думала, небось, что у тебя «яичко» отлично вышло, а оно вышло чудесно. Так и с «Говением»[653]. Легче, легче... свободней, храбрей, не лезь под хомут, не впрягайся, а... пиши — дыши! Ну, будто мне

рассказываешь небрежно-легко, любимая, любимому! Ну, как мне тебя уверить, что ты давно — готова. Помни, что ты не в учебе... — а если и в учебе, то так, как все мы... всю жизнь в учебе, но... вольные!

Ни в какие камни в почке не верю. В 40 г. у тебя это было следствием гриппа, м. б. и теперь... тоже? Не знаю, принимала ли ты, упрямица, антигриппал.

И не бойся моего «влияния» писательского. У тебя — все свое. Никто тебя не упрекнет. У тебя свой мир, хоть и много общего с моим: из одного мы истока, одной закваски. Помни, что все — и великие! — всегда были под чьим-нибудь влиянием, — и это проходило, ибо у них было свое. Как и у тебя. Почему это — «стала (ты) рассказ править, а пришлось все перечеркнуть»?! Из «тона» — ритма, что ли, выпала? Детка моя, не затирай рассказа, — как вылилось — так и довольствуйся, потом все придет. Не старайся, чтобы «красивей» вышло. А чтобы — проще! Будь я с тобой — ты бы с пол-слова все поняла. Да ты и так поймешь, ведь ты — умней всех! Глу-пая моя, — умней всех!!! Поверь же мне. Ты, знаю, в говении, т а к дала от твоего сердечка, как никто еще не давал и никогда не даст. Я — знаю.

Жду твоего рассказа. О-чень жду. О-чень.

В воскресенье был в Медонске. Очень радушно принимали. Но, милочка... да этот «убогий»-то... он ведь оба флакона духов оставил! Идиотство. У них карманы глубокие, ну — кто у него отнял бы! Так это меня расстроило... И бананы, и чернослив — оставил, нарочитый! И... бисквитики с сюрпризом! Как нарочно: самое мое для тебя — и не взял! Бретонские крепы надо есть, подсушив, чтобы ни в коем случае не были отсырелые, тогда они не годятся. Я тебе себя в сюрпризе посылал, средний портрет. Ну, хорошо: я пересниму портрет 36 г. рижский — все говорят — «самый удачный», — снимал знаток-любитель. Кстати, не этот ли портрет у Сережи? Я сижу, почти анфас, лицо тяжелое, в думах. Получила ли «москвича в шубе»? А послать тебе фотографию — это «на розовой воде», мой артист-фотограф не сумел.

Завтра пойду к мефимонам, — они повторяются на Крестопоклонной в четверг. А на пятой хочу послушать Величание — в пятницу — «Похвалы Пресвятой Богородицы». Чудесное пение!.. В субботу, 7-го, был на выносе Животворящего Креста. За тебя молился. Так люблю это обещающее — «Кресту Твоему...»[654]. И так мне грустно за тебя — и в церковь-то нельзя! Ведь это такое для тебя лишение,

Олёк... ведь для тебя Храм — самое нужное леченье! С тобой бы, рука с рукой... — перед Господом, сердце открыть, — какой восторг, Оля! Ми-лая... светлая моя... мы дождемся... придет день — дождемся. Я так верю, я хочу верить. Почему-то мне кажется, что война скоро кончится. Ну, а где же «Голландская империя»[655]? Отныне — н и г д е. Вековые плантаторы, снимавшие сливки, — набивавшие сундуки чужим добром... — плохо лежало! — приведены к их знаменателю. И... — кем же?! Азией. Азия постояла за себя. Закон Правды применен на наших глазах. Ты подумаешь, что это я — от раздражения? что не люблю «голландского»? Нет. Правда, голландский сыр мне никогда особенно не нравился, но какао я и теперь люблю, и печку голландку предпочту электрическому радиатору. Я радуюсь... Правде. Такую Правду увидят и Альбион с бывшей страной индейцев — я всегда любил индейцев, но... н е американцев. Полу-чат..! Я рад, что сбивается спесь с гордых, снимают лишнюю шкурку с толстокожих, хоть тут, м. б. и некоторые интересы и нетолстокожих пострадают... — но — «круговая порука ответственности» ж и в а: ты совершил... так — помни! — за э т о — и... в с е м. Значит: не греши, помни о... сугубой ответственности, под-расти!!! морально. Вот — философия полк. Шеметова, — он же сумасшедший дальше в «Это было». Об этом м. б. и в «Путях» будет сказано. Только смотря т а к, можно примириться с «несправедливостью» (еще римский Сенека[656] ставил этот — ?): по виду-то страдают ма-ленькие! Нет, приходит срок — и отливается сугубо — и... н е-маленьким. В этом великая Правда, Божия. Для Господа нет ни больших, ни маленьких. Да, страдание... з д е с ь... — и э т о — новое доказательство того, что з д е ш н и м н е кончается. Будет — тамошнее. Вот т о г д а — к а к-то — и возмерится, итог будет подведен. И все воспоют: «Слава Правде Твоей, Господи!»

Рад был умному письму мамы. Она — удивительно чуткая. Она понимает наши отношения. И не находит нужным вмешиваться. Это ее ответ на мой вопрос — как мне вести себя в отношении тебя, ибо я томлюсь порой, что много смуты, м. б., внес в душу твою, Оля. Но ведь и с в е т л о г о оба мы нашли, не правда ли? Теперь, если бы — вдруг, б е з т е б я... ?! Да это — тьма беспросветная для меня... и — для тебя, Олюша, да? Ведь в наших чувствах друг к другу... разве греховное? я нежно, молитвенно о тебе мечтаю, в мечтах ласкаю. Л ю б л ю тебя!!!

Олечка, вот уж и весна... и тихо-грустно мне, вдали от любимой. Будем жить верой в благой исход всего. Будем надеяться, Оля. Ты будешь сильной, здоровой. Ты будешь жить, писать, — это твоя судьба. Ты должна жить, и ты, ты только... возьмешь заботу о моих книгах. Я так хочу. Я так прошу тебя. Не падай духом: я с тобой, каждый миг с тобой, возле тебя, Оля, — мое сердце, моя воля — «Оля, ты будешь, ты должна быть сильной, здоровой, радостной». Гони от себя черные думы, тревоги. Мы свидимся. Ах, как бы по душе тебе было у меня, я это чувствую. Всем у меня нравится — легко, светло, уютно. Я повесил много фотографий, я повесил к образам Олю на смертном ложе, прикрыл крепом. Она — ну... будто спит. Над ней Богоматерь, Федоровская икона[657]. Сбоку — Сергий преподобный, Пантелеимон[658]. Распятие. И — Храм Христа Спасителя. Недалеко — картинка: Пасхальный стол. Олёк мой, я пошлю тебе на Св. день красное яичко, — в письме, присланное мне из Иерусалима митрополитом — тогда архиепископом Анастасием[659], моим другом по переписке. Оно лежало на Св. Гробе. На нем сухая травка Св. Земли. Оно лежало сколько лет у меня, в Библии. Ждало тебя. Я верю, что оно дойдет, — никто не вынет эту священную вещицу. Целую тебя, дружка моя, царевна моя светлая... моя больнушечка! И крещу, и лелею в сердце. Я счастлив, что мое бедное письмо от 24 сделало тебя радостной. Светись же, голубка моя, пой... Господа пой, и Ваню помни, Ванятку твоего, моя единственная, незабвенная вовеки. Светло, нежно целую твои глаза, гулька моя, птичка... Весь твой, навсегда — Ваня, Ванёк

[На полях:] Огромные окна промыты — и сколько же света!

Целую неделю не было от тебя писем, наконец — вчера, о болезни.

Олёчек, хорошо ли питаешься? Пей больше молока, м. б., тебе лук надо бы есть! От болезни почек — очень хорошо. Посоветуйся с доктором.

165

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.III.42, 7 вечера

Ольгуночка моя, драгоценка, рыбка моя чудесная, — ты же рыбочка, ры-бинская[660]! — цветик мой неувядаемый, вечная ты моя! Нет, Олюша, для меня, с моим высоким

и таким чистым чувством к тебе, твои недомогания — твоя слабость физическая только еще сильней — если это возможно только! — вызывают во мне все лучшие к тебе чувства, ты для меня становишься неизъяснимо драгоценной, ну... я и сказать не могу... кто ты для меня! Знаешь, Олюнка, во всем, что есть у меня к тебе, — это выше любви! — земного, телесного, что ли, острого, жгучего... страстного... — неизмеримо меньше, чем — чистого, глубочайшего, высочайшего из чувств, прирожденных человеку. Ты говоришь о моем вопросе маме и делаешь вывод безумный. Что за вопрос мой? почему? Я бессилен, при такой любви к тебе, облегчить твою душу... и я как бы в растерянности спрашиваю — себя! — «ну, как же мне повести себя в отношении Оли?» На это, знаю, нет ответа. Если бы надо было, — для твоего покоя, — ну, представь себе! — чтобы я принес в жертву свою любовь... — это же дико! — и только при этом ты могла бы вернуть себе покой и силы, я бы... принес эту жертву, обрек бы себя на страдания. Так я тебя люблю. Для меня это значило бы — бесконечная мука, гибель. И я — ради тебя! — принял бы это. Веришь? Так вот, какое чувство мое — к тебе. Я не мальчик, я все знаю в себе: Оля, я тебя истинно люблю, и нет силы надо мной, которая могла бы эту любовь убить. Ты не представляешь себе, как я томился от твоих писем... где ты как бы «отходила, забывала»... ты выдавливала из себя слова... а я холодел от ужаса и боли в сердце. Теперь я понимаю, — ты была без сил... — и ты любила меня, своего Ваню. Оля, мои слова об «огоньке», о «жажде ласки»... — это растерянность моя, это и от обиды самолюбию... — ты — казалось мне — охладела... а я-то... что же мне делать? Ты м. б. «бесповоротна»..? А я... могу быть — тоже? Нет, я не могу, — я знаю! — тебя забыть... без тебя я не могу... — и, в отчаянии, я вырвал из себя пустое слово — «и я могу быть бесповоротным». Нет, не могу. Меня никто не может полюбить. За что полюбить? Чтобы полюбить меня, как ты любишь, надо знать меня, как ты знаешь... душу мою, му-ку мою... нежность мою. Надо быть... тобою. А такая — одна на свете. Ты — другой я. Ты — духовно пребогата, ты — «нарубки» для моих «нарезок», — как ты удивительно изобразила! Надо иметь ту же душу... — ты только имеешь мою душу, как я — твою. Мы — не выдумали же мы все это! — разделенные «двояшки». И — редкость! — нашлись! не пропали друг для друга, — это ли не чудо, дарованное нам милостиво Святою Волею! Так какие же тут могут

быть сомнения, тревоги, недоверие... неверие друг в друга?! Оставим это: мы нераздельно — одно, даже вдали, не видясь. Оля, знай: без тебя меня нет, надо будет — умру за тебя. Ну, дай глазки твои, нежно коснусь их своими.

Рад, что ты у церкви. Согрей душу. Прошу — не постись же, не ослабляй себя. Ты — лечишься. Не мне тебе говорить, ты все знаешь. Знай же, что у Вани твоего ты в сердце, светлая, чистая, безгрешная, и никакой вины твоей передо мною нет, и не мне посылать тебе «отпущение». Такой во мне свет от тебя! Причастись Господа, Олюша, и будет это тебе в радость и во здравие. Ах, хотел бы видеть тебя в этот день Приобщения, — о, какая светлая, чистая ты, как непорочная отроковица. Как свято люблю тебя, ты вся хорошая, девочка моя нетленная. Господь с тобой.

Милка, как ты умно о «коврике», художник ты! Что ни слово — образ. Про мышей... — «как птички пищат»! Да, знаю, — верно! О котишке чудесно. Лучше нельзя. А ты и не замечаешь своего божественного мастерства. Я все вижу, — вот как ты лепишь! Этот «уют» котишкин... — вижу, и слышу тепло твое, родная... и... прости! — хотел бы котишкой быть, и таким же невинным-чистым. Ну, будто ты мамочка моя. Я готов был бы все ночи стоять на коленях у твоей постельки. И на тебя, за тебя, — молиться. Олёк мой, это только сухие сердцем не любят больных... если бы ты была — не дай же Бог! — больной... я до конца дней моих не оставил бы тебя, я тебя любил бы, освещал лаской еще больше. Я... жалел бы тебя, родная. Это наше народное «жалеть», — я писал тебе как-то, — ско-лько содержит чувств! Вот именно — жалел бы... любил благоговейно-нежно. Столько нежности, ласки, заботы во мне — о тебе, к тебе. Ты — единственная на свете. Умница ты моя, сама себя не знаешь. Мы — больше, чем друзья только, чем любящие только, влюбленные, что ли... куда больше: мы — еще и дружки, пойми это! Одному служим, одно умеем, одним живем, одно чтим, — и как похожи, как глубоко и однородно!

Зачем ты спрашиваешь — люблю ли грим? «и все такое»? Я тебя люблю. Грим — усилитель и возбудитель, и — обманщик. В тебе такая духовная сила, в тебе такая, всяческая, прелесть, — к чему же «усилитель»? «И все такое»... я понимаю, что ты хочешь сказать. Прекрасный портрет только выигрывает от удачной рамки. Но ты такой портрет... — что поглотит всякую рамку. Но я люблю «рамку»... — и как ты неизъяснима, как прелестна, в

«ветре», в белом... и — сейчас любуюсь, ты — вот ты... коснулся рукой тебя, всегда на меня смотришь со стены. Ангел светлый, и... какой же чудесный, до страстной прелести. Прости, я не смею волновать тебя. Тебе понравилось мое «раздетые чулочным шелком ноги...»? Да, удачно вырвалось, верно. Я тоже почувствовал, как и ты. Я всегда стараюсь сдерживать «напор» страсти в процессе работы... мог бы о-чень ярко все дать. Но искусство знает меру. Оно — не безумные любовники, не оголяется. Оля не раз сдерживала меня, была очень целомудренна. Много бы тебе поведал, много трогательного, лично, из уст в уста.

Как у тебя повернулось написать, что я разл..ил тебя? Отку-да это?! «Надоела»?! Оля... ты меня слишком знаешь! Это было бы на меня хулой. Нет, пиши мне, часто, всегда... я не могу без тебя. И я буду тебе. Над «Путями» эти дни не мог работать, — тревога какая-то, тоска была... или я устал? Я столько сил отдал в письмах, — погляди, сравни... — то-мы! Надо с «Путями» осторожно мне, и я думаю над ними, я проверяю себя, перечитываю первый том. А оно само варится во мне, готовится. Даю тебе слово, что с завтрашнего дня буду писать равномерно, хотя бы по три-четыре страницы за день. Летом должен закончить. М. б. все войдет в один том. Не знаю... пока... Знаю одно: ты мне даешь силу. Ты своей волей внушаешь мне, ведешь меня. Во-имя твое будут «Пути» даны.

Да, скажи... ты сама подумала об издании книжечкой — священной — «Куликова поля»? До... моего письма об этом? Или — это твой ответ на мое желание дать твое «Куликово поле» в светлом одеянии? Я так привык, что наши мысли встречаются: одним живем, живы.

«Буду реже писать»... — это я написал в страдании, от твоей хладности, когда ты была истомлена. Это — не моя правда. Твое письмо — и я живу. Нет — я влачусь.

Я так рад, что ты чувствуешь себя покойной, здоровой, — но ты должна долго отдыхать, лечиться. Хочу верить, что никакой операции не надо. Олюша, будь осторожна, — эти доктора нередко друг дружку поддерживают, терапевты — хирургов, — это их обычай в Европе (чтобы дать заработать на... операции. Да, да, я знаю много случаев в Париже!). Это не наши. Чем защитить тебя?! Ничего опасного у тебя, уверен, нет. Это — итог твоих непосильных переживаний за эти месяцы. Это — м. б. протест природы за нарушение закона ее, — но ты волей своей, с Божией помощью, все преодолеешь, — и все исполнится.

Хорошо у тебя вышло о... — «Солнце»! — в вагоне. Целую тебя, художник о-громный! Так и льет из тебя, а ты и не чувствуешь, какая ты большая.

Адреса Сережина шефа не знаю. И как переслать тебе все оставленное монахом — недоумеваю. Он, в сущности, все оставил. Узнал о нем: он учился вместе с Ириной Серовой. По ее словам — он был «с великой амбицией, т.е., честолюбец, властолюбец, самолюбец, и... — должно быть угнетен своей «неуклюжестью», и от сего страдал». М. б. из амбиции и в монахи пошел, — именно, «нарочитый». И ко мне-то не заехал — из-за гордыни. Когда же я приехал к ним, мать его вышла в переднюю встретить, а он... нет, не вышел, это же ни-же его достоинства! И тебе от меня доставил лишь пустяки — тоже из-за упрямства. Ну, Господь с ним. Говорила Ирина, — она была до этой войны, месяца два-три в Гааге, у двоюродного дяди, Пустена, — что он строго держит паству. Тоже, должно быть «из амбиции». Это ты прими во внимание. Материально ох хорошо устроился, — лучше многих-многих (и церковный дом с доходом, и, кажется, церковный капитал). Я не хочу его осуждать, прости мне, Господи. Он лишил тебя маленьких радостей, и мне больно. Нет, он не чуткий.

Молю тебя, не таскай тяжестей, — сломит тебя! Для почек это убийственно. Ну, упрямая ты девочка, кто тебя угомонит? Такая хорошка — и такая упрямка. Я с трепетом читал, как ты чемодан тяжелый взялась, было, тащить, безумица. Ольгуночка, Ольгушонок... как дорога ты мне! как хочу видеть тебя, пусть и разочаруешься внешним Ваней.

Вчера была у меня заведующая парижским отделением германского Красного креста, очень достойная женщина, моя добрая читательница (в немецком переводе). Недавно она была в Нарве, возила теплые вещи для фронта. Там у нее сын воюет. Она ему отвезла «Der niegeleerte Kelch»[i], — ее радость. Было мне радостно, что эту поэму чутко берут и в переводе. Правда, немецкая душа чутка, это не французская. Твой Ваня был одарен щедро, и выражением признательности, и подарками-гостинцами. Она приехала с племянницей Оли, угощал я их чаем и сластями. Потом опять зашла племянница и объявила, что гостья в восторге: «таким и увидала Вашего дядю, каким создала по его книгам». Слава Богу.

---

[i] «Неупиваемая чаша» (*нем.*).

Олюночка, я боюсь, что ты скудно питаешься. Пойми же, дружочек, что это твое главное лекарство — еда! Яйца-то ешь? Тебе надо опиваться молоком. И добавлять — миндальное. Как бы я хотел служить тебе! — моя царевна светлая!! Это не слова: ты для меня не просто любимая, женщина... — ты божественна для меня, ты святое-святых в земном для меня. Глаза наполняются слезами, когда пишу это, — благодарными: столько во мне ласки, тончайшей нежности-умиления. Свет мой чистый, вера моя, сила моя, молитва моя! Сколько счастья дала ты мне, Ольга! такого незапятнанного, святого! Как ты согрела душу, сердце! Не знал — подобной тебе. Не думал, что м. б. такая. Ведь ты — Душа. О, какая это чистая, какая небесная эта любовь моя — к тебе! Выше этого — не может быть счастья, — такую любовь, узнать, понять, в себе силы для нее найти. Такое чувствовать, нести в себе, — это уже безотказно поверить, что есть Бог, есть бессмертие, есть душа, как сущность, — и нет умирания, и — нет возраста, а все — миг один — бесконечный — в вечном. На словах это выходит абсудрдным — «миг бесконечный», но ты поняла: для сего чувства, в этом чувстве — пропадает время. Это — вечное. М. б. таким будет — будущее блаженство, рай?..

Оля, пришли же рассказ. Он — знаю — чудесен. Прошу! У меня уютно стало — с солнцем. Весна. Завтра грачи прилетают. — Герасима-Грачевника[661]. С 3 ч. у меня — солнце. И какой пасхальный свет от малиновых драпри! Всем у меня по-сердцу, уютно. Ах, как тебе понравилось бы! t +19 сегодня (на дворе тепло — и топят!). Каждую ночь не могу нацеловаться с твоей «грелочкой». Цикламен распускает последний бутон. 4-й месяц [цветет]! Олюночка, — ты для меня, как божественный свет, — во всем. Благоговейно целую образ твой. Не забывай Ваню. Твой Ванёк

[На полях:] Я был на выносе Креста. Будь светла — я весь твой, а ты — вся моя!

Ты о поездке в Мюнхен с шефом остановилась на телефонном заказе билетов. Твоя воля: хочешь — дошли. Меня это никак не будоражит.

Скоро — 13 марта? муч. Александра? — день Ангела папочки! Он — Святой. он — живой!! Как это хорошо, Господи!

Какая ты ровная, деловая! моя Оля... моя лю-ба!..

Как ты прелестна на фото «у микроскопа», какая чистая, светлая, тихая, родная.

Я целовал твой лобик, твой пробор, — очень мне по душе, как ты просто причесана!

166

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.III.42 6 вечера
20.*III* — 1 ч. дня

Олюшечка,

Сейчас твое письмо, 9-го, из ателье парикмахера, где ты, милая франтиха, завивалась. Молодец, Олёк, так и *надо*, — и надо *позабыть* о *почке*: не угнетай себя думами, мнитка, — уверен, что все будет хорошо. Тысячи больны почками, и спокойно живут без операций, пьют воды, — почему, непременно, операция? заработать хирургам надо? Не соглашайся, пока все не проверишь. Видишь, тот «рвач» — именно «рвач», а не врач, — настаивал рвать коренные зубы, а вот Серов и твой берлинский не видят надобности. Будь же спокойна, ласточка, Господь да *избавит* тебя от тревог и... «рвачей». Мой гениальный диагност Серов верно говорит, как лечиться тебе: так же и берлинец определяет: укрепиться, отдохнуть, питаться. И никакой не надо цистоскопии, — ты здорова, и все пройдет. Пойми же: если бы у тебя была, действительно, болезнь почек, неужели бы не сказалась за эти два года? Ясно: «болезнь» вызывается — т.е. болевые ощущения и «явления» — периодически! — какими-то неблагоприятными условиями жизни... — я думаю, что и твоим похуданием, почка может «забалтываться», а при слабости сосудов и кровоточить. Не надумывай! — Роднушечка Оля, я счастлив, что хоть клюква тебе понравилась, и конфеты. Милочка моя... ну, чем, чем мне тебя порадовать, приласкать? Ну, конечно, этот «нарочитый» самое важное и оставил, печенье «дрикотин», витаминное, там и я. Но это все то же я, только среднего размера, — и неудачный. И — все духи!! Ну, не злодей?! Ну, что ему стоило опустить флаконы в бездонные карманы рясы? кто его из французских таможенных ищеек стал бы беспокоить?

Детка, я тебе много написал писем: на Сережу, на деревню... — : 27 и 28.II, и от 3.III — два: на Сережу; тебе: от 7, от одиннадцатого, закрытое; 12, открытку, 17.III закрытое и последнее — 18—19, с пасхальным яичком, с Гроба Господня, с сухой иерусалимской травкой. Гг. цензоры — христиане, и я уповаю, что они не вернут мне «святой привет», пасхальный. Как я счастлив, что тебе хочется писать. Спрашиваешь, — буду ли рад? Да это же больше радости, это — счастье, это — свет мне. Оля, неужели стал бы я тебя неосновательно обнадеживать, чтобы ты после впала в

отчаяние?! Я знаю, я верю, как в себя — в тебя. Ты должна — и ты будешь! — писать. Это смысл и цель твоей жизни. И не «пока», а — всей жизни.

Зачем тебе жить «из чемодана» (какое удачное словечко!), на твоем «юру», в церковном доме? Ты должна отдыхать, не думать об «утре»[i]. Обедать, завтракать ты могла бы в хорошем ресторане. У меня есть сведения, раз говорю так. Слыхала ты про фирму «Руссель» — это такие мягкие корсеты, «дающие форму женскому бюсту» и проч. Известная фирма, тратившая на одну рекламу миллионы франков в год. Хозяйка этой фирмы...[662] — муж ее, караим, года три тому скончался от сердца... — так вот она — она родная сестра той караимки, которая с мужем меня дружески опекает, т.к. у них «русская лавочка», и я через них достаю чего-нибудь, чего мне не хватает, т.е., вернее, они мне достают, мои милые читатели... — так вот эта г-жа была недавно в Голландии, и говорит, что в ресторанах кормят чуть ли не лучше, чем до войны. А в кафе подают кофе со сливками! На две-три недели ты могла бы пользоваться рестораном, не разорится же «голландское наследство»?! (Ибо теперь это — «наследство», т.к. «основной капитал» перешел к японцам, чего я всегда ждал: что легко наживается, то еще легче проживается). Ваша Вильгельмина[663] — не твоя, милка моя, не твоя, ты вся наша, и для тебя никакой «вашей» Вильгельмины — не существует, знаю... — так вот эта Вильгельмина получала доходов в год — 600 млн долларов! И — беднилась. На свадьбу дочери пожелала украсить свой пустой храм цветами... — лучшая фирма в Гааге представила смету: 500 гульденов. До-ро-го-о! Тогда фирма заявила: разрешите, мы не возьмем ни гроша. Разрешила, всемилостивейше. Так вот, я и говорю: кушай в ресторане. А ванна... — да разве в Гааге нет отапливаемых «салон дэ бэн»?? Не лишай же себя привычного! Ты упрямка, знаю... и я боюсь... не приняла бы от меня, если бы я попытался послать тебе сколько-нибудь. Олюнь-чик, не сокращай себя, не утомляйся, — живи светлой радостью, — если это радость? — что твой далекий Ваня только тобой и жив... — ты в с е для меня! Олюнчик, ты начнешь писать, и все боли твои кончатся, и не будешь замечать дней. Ждать недолго. Мы встретимся, как верные друзья, самые-самые близкие, на веки-вечные. Неизменные. Как я слышу душу твою! О, свет мой незакатный, немеркнущий! О, какая ты гениальная девчурка! Ты для

---

[i] В оригинале: «утрие».

меня девчурка, детка моя... Будь здорова. Никакой операции, выкинь из головы. Только лечение, воды, режим. Ты же — молодая женщина, и лишь «нервное истощение» внесло смуту в жизнь твою органическую, а никаких там «болезней», — нет их.

Почему не сказала мне адреса, где ты: я бы прямо на тебя писал. А теперь и не знаю, где и когда получишь мои письма. Могут пропадать при пересылке. И где ты сейчас — 19-го, — не знаю. А с твоего сегодняшнего письма прошло десять дней!

Ты говела? Поздравляю тебя с принятием Св. Тайн, чистая моя. Ты всегда чистая, всегда отроковица, страдальница. А когда же получу твой рассказ «Первое говенье»? Зачем ты томишь меня? Умница ты, всегда находишь с в о е слово: вот и сегодня: «жить из чемодана»: лучше сказать нельзя. Я перечитываю «Пути». У меня уже — 38 стр. есть, но надо зорко следить: в I-м томе поставлен ряд вопросов, на них надо ответить... — художественно-логично. Сейчас я даю «Уютово», и Даринькину ж и з н ь в нем, в н о в о м. И раскрываю в ней... н о в о е. Она плещется в н о в о м для нее, в к р а с о т е мира Божьего. Какие утра видит! какие но-чи..! Она ждет... Диму... — его письма. И близится день, когда В[иктор] А[лексеевич] — в раздражении? — проговаривается о его гибели. Как она отзовется... — еще не знаю... — это «ложная гибель». Потом заезжает казачий офицер... — это после «галлюцинаций» ее... Это труднейшее место... за чайным столом, на покошенной площадке... — ох, не знаю, образы — толпой, все во мне еще путается... ищу... Найду! Но все будет медленно развиваться, тихо, как нетороплива жизнь в усадьбе русской... и этот навязавшийся молодой художник[664], — один из бывших владельцев «Уютова», все еще не в силах уехать, — он живет в дворовой избе-флигелечке... — и о д е р ж и м Дари. Ну, видишь, какая путалка я... сам кручусь с ними... — и снова почти влюблен в Дари... в которой — к о г о вижу? Ты-то знаешь. Ты му-драя. Так проходит год. Только на следующее лето появляется Дима... — после очень длительной болезни — ранение в голову! Вот тогда-то... душный июльский день. И... скорая гибель Димы. Но о ней Дари не узнает очень долго. Новые — Хрисанф и Дария[665]. Нет, в одной книге не уместить, теперь вижу. Путь страданий Дари... ее отвержение жизни для себя, ее — «для ближнего». Ее служение. Много-много...

Завтра пойду в собор, слушать пение на «Похвалу Пресвятой Богородицы». Знаешь, Олёк, эти дни без тебя, когда

ты в моем сердце, когда ты — все... — дни эти — дни пропадающие... я срываю их с календаря... почти пустыми. Я их оплакиваю, пропавшие. Но я не прихожу в отчаяние. Столько кругом страданий. Какая-то невзаправдашняя жизнь... Если случится потомкам читать наши письма, подивятся на твои «хлебные боны», на «раскупленные города»... Ах, милая... все это, весь мир петлей опутавшее, все это — итоги жизни, сбитой с рельс тем же несовершенным человеком, который путается. Виновником всего — злая человеческая воля. Ну, суди сама: справедливо ли было, захватив в лапы чуть ли не полсвета, держать другие народы в тесноте и обиде! Не дико ли, что голландский карлик владел, — ! — с соизволения иных сытых и пресыщенных, — богатствами чуть ли не в тысячи раз по территории больше его! И... еще, самое важное, — культивирование большевизма, лишь бы не поднялась национальная Россия! Это было на-руку Англии и... еврейству. Вот тот кровавый узел, который ныне разрубается мечом германским. Много грехов, у всех. За тысячелетия, не найти способа жить счастливо, при такой-то силе техники! Что за подлая слабость у человека! Вот он, грех-то. Забыт, в ущербе нравственный закон, Христов Закон, и льется кровь, и куются-куются новые гвозди, для будущих распинаний... того же человека. А мы... мы — «в круговой поруке». Об этом я писал в 1916 году[666], как бы провидя будущие петли, будущие кресты. Я был в тоске смертной, мой Сережечка был тогда на очень опасном пункте фронта. Так и не проходила моя тоска, пока не была накрыта ударом в сердце. А теперь, для меня, все — пустяк... И боль — тебя не видеть, посланную мне последнею, быть может, Господнею Милостью, Оля. Найти — и не увидеть... — как это было бы жестоко! Светлая Сила помогла мне найти тебя, она же и даст тебя увидеть, — верю. Верь и ты, светлая моя. Да, еще... Закон Правды, без чего нельзя человеку, — закон общий: он же и для человеческого общества, для народов. Им же должна идти и государственность, политика. Пусть узнают подлинную историю русскую: в ней найдут много правды, которую иронически называли романтикой. Мы м. б. ближе всех были к Закону Христову. И нам же выпала доля суровейшая, — от Зла. Мало еще изучено влияние «еврейской морали» на политику: страшное, пагубное влияние. И чудится мне, что придет пора, когда это жестоко отзовется! «Мораль» так называемых «демократий» — не Христов Закон. Первая попытка ввести Христов Закон в государственность — это португаль-

ский опыт Салазара[667]. Одинокий опыт. Будем верить, что недаром прольется кровь: на ней, быть может, вырастет чудесный цветок — счастливое, чистое будущее людское. Дай Бог.

Ольгуна, даром своим служи, буди в людях светлое, чистое, — песнью твоего сердца, благостностью твоей Души. Многое ты взяла от жизни, и оно скажется. Чистая моя детка, как я тебя лелею в грезах, как я люблю, как чту тебя! О, милая дружка... как я хотел бы тебя увидеть, от сердца к сердцу шепнуть — чистая моя радость, свет мой! Напиши же мне об образе, который Душе твоей — 10-летке Оле — представился в церкви. Какой уж раз прошу тебя?! ... Целую, крещу, — да сохранит тебя Пречистая от испытаний, болезни, тревог. Твой Ваня

[На полях:] Ольгуна, я хочу послать тебе — переписать для тебя, — «Вербное Воскресенье». Дошло ли фото — «в шубе»?

Сегодня раскрылся последний бутон-мотылек. Яркий! С 13.XII! Живой!

167

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28 марта 1942 Лазарева Суббота. Верба
2-30

Ольгуночка моя дорогая, я так тревожусь, как твое здоровье, моя больнушка, — последнее письмо твое — и мамино[668] — было от 18 марта! Эти дни никак не живу, — ни писать, ни думать не могу, — влачусь. Подойду к твоему цикламену — цветет последний цветок! — но какой цветок!! Поверишь, нарочно смерил: почти 10 см диагональ по размаху крылышков твоей алой бабочки. До чего сочен, ярок, — пасхальный твой привет мне, от зимы! С 13 декабря у меня, м. б. дотянет до Св. Дня. Я каждый день опрыскиваю его, и целую; тебя, родная, целую в нем. Такое во мне мутное, болезненное... — совладаю ли, пойду ли сегодня в церковь — вербу святить? Послал тебе «Вербное Воскресенье», — мой предпасхальный поцелуй. Молюсь за тебя, ночь проснусь — тобой живу-томлюсь. Ни на что не глядел бы... не могу жить без тебя, — и нет писем, этой чудесной обманки в разлуке нашей. Я понимаю, ты в подавленности, в оторопи, не до писем тебе, — и не принуждай себя, я все вынесу. Ты дана мне — как милость, уже сверх всего, и я ценю это, и я смириться должен: дар

такой — ты! — дар милосердия, и принимаю его благоговейно. Знаю. Но я твоими страданиями томлюсь... и порой виню себя: м. б., через меня это все у тебя, — так я тебя тревожил своим безумством, девочка моя, ты так переживала, так страстно воображала несуществующие мученья, скорбь, — через меня, подрывала здоровье, слабела... Прости, родная, — мы безумцы оба, и из такой чудесной встречи часто творили «трепет без конца». Но ведь в «трепете»-то этом — какая жизнь! Ах, Олёк мой...

Господь да смилуется над нами! Только бы ты Пасху увидала, была бы в церкви! Только бы миновала тебя болезнь, не было бы мучительного, изводящего тебя ожидания, — я говорю о хирургическом вмешательстве. Этого не должно быть. М. б., почки ни при чем тут? Когда-нибудь — не теперь, — я скажу тебе, до чего же мы созвучны! Смешно мне даже... Скажу только одно: я отозвался собой на творящееся с тобой. — !!! Заболел немного, но сегодня все тот же. Пустяк со мной был — ни в какой связи с моей «спящей» язвой... — понимаешь, я смеялся: если бы Ольгуша знала! Что за «созвучие»! И это чуть ли не впервые со мной! Будь покойна, — ты бы рассмеялась! Словом — я твой... дружка! Во всем.

Во мне еще томление, творческое... грусть. Я пока оставил писанье, — не могу, когда ничего о тебе не знаю, когда ты во мне — все. И знаешь, как Пушкин верно определяет такое настроение... — когда ждешь радости новой — захвата работой? Это стихотворение — «ТРУД»[669]:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд
многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик
ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Олёчек, это так верно! Всегда, окончив, — или — временно оставив! — труд, стоишь растерянный... «ненужный». Так было всю жизнь. Я писал — и жил. Кончал — и — «работник ненужный». Ты — мой труд. Ты больна, нет вести от тебя, о тебе... — грусть тайно тревожит меня, мне ничего не надо, все не нужно, и я — не нужен. Да, Оля... — ты... — самый светлый, самый радостный... творческий труд! Я нашел тебя, ты нашла меня, — я пою тебя, живу тобой. Маме не совсем понятны «такие отноше-

ния»... — не зная друг друга — жить друг другом! Для меня все творческое — мое, живая сущность. Думаю — так и для тебя. Ведь ты вся — в творческом. Мы, в далях, — мы — призрачность для других... мы — для нас — живей, сущней самой подлинной сущности. Мы творим себя, взаимно. И — не ошибемся, не обманем себя, а найдем друг в друге высшую полноту, желанную. Творческое становится — творением, порождением, дитёй души, сердца, мысли. Мы обогатили нашу жизнь, — из себя же. Творили из действительно живого в нас, невыдуманного. Олёк, дай глазки... поласкайся киской (помнишь — писала?)... мне так одиноко.

Христос Воскресе! — дорогая, пасхальная весенняя моя веснянка! Я буду с тобой особенно — в заутреню, в половине I-го (да, теперь Утреня — до 12 ч..!) (10-го?). Ты — первая живая (в уме Оля, отшедшая, здешняя, — и Сережечка), кому я шепну — «Христос Воскресе», Оля! и отвечу мысленно на твое — «Воистину Воскресе», радость моя, Воскресение мое! Только бы ты была здорова!

Сегодня Пасха наша будет — скудная. Я пальцем не шевельну, чтобы озаботиться о «столе»: так мне теперь пусто. Я знаю, все у меня будет — внешнее — но — в неизвестности о тебе — мне ничего не надо. Я на второй день поеду в Сент-Женевьев. Отвезу цветов и — если будет — красное яичко. День будет для меня томительный, я вернусь разбитый, как всегда. Тут и усталость физическая, конечно: теперь это путешествие очень сложно, хоть я и легко преодолеваю... но психика бросает в разбитость. А теперь — двойная разбитость.

Несмотря на условия, когда все сплошь теряют вес, я — кажется, прибавил. Я стал сильней. И на днях видел это мой доктор. Ивик взял мою руку, — он атлет, — жал пальцы и заявил: замечательно развита мускулатура. А я делаю гимнастику не более трех мин. в день.

Послал бы тебе чудесных фиников! Ты их любишь, чувствую. Они до того спелы, сладки, что у меня с ними пьют чай, вместо сахара. Напиши мне адрес Сережиного шефа. Но я не пересилю смущения, не рискну навязать ему: теперь — правда — таможня французская свирепствует. Духи бы послать..! Оля, бретонские крэпы надо держать очень сухо — тогда они хороши. Да там такой пустяк... —

Оля, тебе надо непременно пополнять потери крови. Спроси указаний. Тебе трудно писать? Тогда хоть одну строчку, открыткой. Ты мне так и не сказала, что же случилось с г. Бредиусом? Чем болен? Это тоже на тебя тяже-

ло подействовало. Все недуги, недуги... — ах, голландская больница! И вспоминается параличная «тетка». Хоть бы во сне ты приснилась! Видел как-то... — и не могу вспомнить. Будто разбирала с мамой... какие-то материи..? Сережа-то, по крайней мере, — здоров? Здоровье мамы? Все хочу знать. Но первое — ты, ты, ты... Оля, откликнись.

Нет сил писать, весь в нервах. Сплю неважно. Как ты ешь? Есть желание? Питайся же, птичка!

Твой Ваня

А я к тебе буду в Св. День! Поцелуешь? да? И я услышу.

Поцелуй маму и Серьгу. Твой, твой, твой Ваня

Начинают зеленеть, дымком, каштаны.

168

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.III.42

Мой дорогой Ванюша! Пишу тебе из поезда, чтобы ты долго не оставался без вестей, — весь «план» мой сломан, т.к. (вчера передал мне П. К. Пустошкин телефон из дома) — еду домой, — с Аром случилось несчастье, я не знаю точно что с ним, но знаю, что был в больнице, одна рука сломана, а что еще не знаю. Просили мне передать, чтобы я не прерывала отдых, но я узнала, что масса дома дела и неприятностей (у скота детки и не все благополучно), мама, видимо, разрывается. Не знаю себе покоя. Ар очень страдает болями. Меня волнует. Я хотела причащаться в субботу, но оказалось (вчера же), что у о. Д[ионисия] тоже все изменилось, ввиду разрешения амстердамцам снова ходить по улицам до 12 ч.: он служит, таким образом, в Амстердаме. Значит, я торчала бы даже и без церкви в Гааге. И я причащалась сегодня в Амстердаме. Звонила доктору-специалисту и рассказала о кровоизлиянии. Условились, что сговоримся на той неделе, когда мне к нему явиться. Конечно, если состояние Ара позволит уехать мне. Если он не беспомощен. Клиники той больше нет уже, где я лежала. М. б. и не надо мне оставаться в клинике, сказал. Я не отдохнула в Гааге. А все мои исключительные «неожиданности» не дали мне никакой возможности собраться с собой. Складывается все так, что я почему-то должна домой... Я устала. Но исповедь и причащение дали мне мир и некоторое спокойствие. Уповаю на Бога и Его милость. Я писала тебе большое письмо, но не кончила. Не

знаю когда удастся продолжить. Дорогой, родной мой, потерпи, если немного задержу. Я сама не знаю, как и что будет. Одно скажу: у меня чувство, будто стою я на Крестном пути моем. И не только у меня. О. Д[ионисий] подтвердил то же. Он очень чуток и... зрел. Не ждала.

Целую, Ванечка, помолись и молись всегда за твою Олю.

169

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.III.42

Милый мой Ванюша! Пишу тебе из клиники, еще из постели, не могу сидеть. У меня на этот раз было очень сильное кровоизлияние. Только что я тебе послала письмо, что прекратилось, как оно себя снова проявило. Оказалось, что почку забил кровяной сгусток, и потому, все, что было чистого, шло не из нее, а из здоровой. Когда сгусток прошел, то я потеряла еще массу крови. В лечебнице же все уже было занято, и мы с большим трудом смогли вчера найти постель, т.к. мой (чудесный!) доктор отпустил домой одну пациентку для меня. Больной Ар смог меня проводить только с помощью работника в автомобиле от нас и до Амстердама. Пока-то разрешение добыли. В больнице не знали, кто из нас пациент. В 1/2 6-го вечера я прибыла, а уже в 7 ч. доктор меня цистоскопировал. Остался доволен и объявил, что у меня в левой почке полип, который от времени до времени кровоточит. Оперировать не собирается. Ну, а лечение тоже верно будет одно из «приятных». Приехала я сюда в полном расстройстве, плача, т.к. меня с ума свел наш местный доктор (я его должна была для автомобиля позвать, для разрешения на перевоз), он никак не ожидал, что так много крови, заволновался, стараясь скрыть. Бросился звонить специалисту, умоляя его меня принять в клинику. Я все это чувствовала, а вчера и специалист тот сказал: «Ваш доктор не меньше Вас перепугался, а ничего особенного нет в кровоизлиянии, самом по себе, кроме истощения».

Вчера весь день лила кровь. Я побледнела было сперва, и круги стали больше под глазами, но скоро опять порозовела. После цистоскопии не могла согреться, 2 грелки и 3 одеяла не помогали. Первую часть ночи дрожала, а потом поднялся жар, и должно быть был очень высокий, боли тоже мучили. Сердце безумно стучало, я дышала как соба-

ка с бегу. Сестры все время были у меня. К утру стала дремать, теперь жара нет и болей нет — это — сгусток из почки вышел. И верно, в утренней порции осталось масса старой коричневой крови и сгусток. До 1/2 3-го мы не сумеем установить идет ли свежая кровь, и теперь, надо ждать, но доктор думал вчера, что уже все кончилось. Сегодня я весь день сплю-дремлю, даже открытку тебе не могла за один «присест» написать. Что-то скажет рентген!? Ну, целую тебя, Ванёк.

Твоя «больнушка».

Что выяснится я тебе напишу, — мама тоже тебе обещала писать.

170

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.III.42

Ванёчек, здравствуй! Ваньчик мой!

Вчера вечером и вот сейчас был у меня Сережа и ничего не передал от тебя. Где же письмо с яичком? Неужели ты его послал простым? Вчера вечером и сегодня утром не было крови. Жду доктора, еще нового, уже 4-го по счету. Хотят крови взять на витамины. А м. б. все-таки вырвать зубы? Сейчас масса солнца. Сережка меня безумно балует — притащил целый куст цветов. Дивные красные тюльпаны, еле-еле вазу такую огромную нашли. Я вся в цветах: тюльпаны лиловые, красно-желтые, как маленькие солнца, чайные розы, фрезия, пунцовые гвоздики, азалия-карлик, чудесный букет подснежников и диких гиацинтов и вот эти роскошные Сережины! О, если бы здоровье!! Все Сережины компаньоны сейчас в Париже. То и дело ездят. Шутя однажды сказали, что м. б. и С. прихватят когда-нибудь.

Неужели я Пасху пролежу здесь?! Как я люблю Пасху! Но, странно, всегда почти на Пасху я переживаю тяжелое что-нибудь... Сегодня у нас поставили радио. Чуть веселее! Хочешь мою комнату видеть?[i]

Вот так я и лежу. На обоих столиках цветы и цветы. И в углу на столе ярко горят гвоздики. Ночью плохо спали. Опять мешала стрельба. Как бы я хотела быть здоровой! Умучали меня на рентгене. Даже доктор-рентгенолог под конец видимо сжалился и стал уверять, что не в его власти

---

[i] Далее в письме — рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

облегчить мне эту муку, что у него такое сострадание, но Dr. v. Capellen ему так приказал и т.д.

А мне уже все все равно было. Только молила, чтобы отпустили скорей в кровать. Сестра моя — ангел. Она плакала даже тихонько, отвернувшись к умывальнику. Я видела. И когда была в отпуску, то всю ночь меня во сне видела, говорит. Девочка из хорошей семьи. Молодая и с сердцем. И еще одна была... очаровательна, огромные карие глаза, шельмочка, ротик пухлый и всегда, когда что делает, чу-
точку помогает язычком. Хохотушка, вся кипит здоровьем. Послали ее отбывать ее черед в мужском отделении. Воображаю! Я бы с ума сошла от нее, если бы была мужчиной! Вся жизнь! Наивность ребенка, и грация, и резвость, при трогательной заботливости сестры-женщины! Влюбись! Как много чарующего в жизни! Как Фася хороша! Была у меня. Ты бы не посмотрел на меня даже после нее! Как много чудесных женщин! Передают «Дунайские волны»... ... ... Закрою глаза... Чудесный ритм и звуки... «Мой ангел» вбежала сейчас с кофе мне, танцуя, улыбаясь... Зайчик бегает по потолку от чашки. Мне жить хочется!.. Безумно! Танцевать хочется. На море хочу! Тепла... Как бы хотела уехать, далеко... в Америку. В Южную Америку. Всегда хотела... Другие люди, другие звезды!.. Другие звезды... как дивно! Где наш Орион? Большая Медведица? Плеяды? Трогательные плеяды! Знаешь, меня тянула Вега всегда... Как хочется на океан. Во... Францию хочется, не для Франции... И больше всего... знаешь куда? Да, знаешь! Я так хочу домой! О, как хочу. Нищей, убогой, Христовым именем хочу идти! Как хочу работать там. Как люблю Ее! Превыше всего! Ничто и ничье другое, ибо я вся от нее! Зачем ты мне о Королеве бывшей Нидерландской пишешь? Мне они все чужие! Как и тебе... Прервала на обед. Перечитала, боюсь увидишь в моем желании путешествовать желание встречи с Г. Нет. Я и не думаю о нем. Никогда! Но я ужасно люблю путешествовать. Как мне в Иерусалим всегда хотелось, в Святую Землю! А тебе? Узнала, что до понедельника не будут брать крови. И ассистента не было сегодня... А вчера обещал прийти. Маленький такой, доктор-гномик... Тоже хороший уролог. А «знаменитость» моя — чудо! Слыхал м. б. — Dr. v. Capellen. На него молятся все. Но все они мне надоели. Если бы не было войны, то я поехала бы пить «Виши». А ты приехал бы тогда ко мне? И все это — «бы»! Ну, ничего! Какое глупое письмо.

Я просто болтаю, так, без смысла. Скажи, ты тоже ничего не знаешь об И. А.? Как это меня тревожит.

Здоровы ли они оба? Оба не богатырского здоровья. Мне так грустно, что И. А. не пишет. Ты ему писал? Сережа получил от одного приятеля из Берлина письмо, где тот пишет: «видел Марину Квартирову, которая очень просит тебя спросить, получил ли ты портрет И. С. Ш.» Странно?? Почему Сереже? Почему не сама пишет? Ничего С. не получил. Марина ревнует! Да! Да! У С. твой портрет совершенно в профиль, по моему, неудачно, т.к. не видно глаз. Мне бы хотелось сделать для тебя с себя автопортрет. Я когда-то хорошо это выполняла. Но ничего нет, ни бумаги, ни красок хороших. Хотел бы? Мне много хочется чего. Например, очень хочу, хотела бы украсить твои книги. «Куликово поле» издать так, как тебе бы того хотелось! И «Чашу», и все, все! Но, понимаешь, с массой вкуса! У меня в голове уже бродили мысли. Я видела уже эти страницы.

Но я бессильна. Я все утратила из своих знаний. Да и не было их никогда настоящих, законченных. Проф. Беньков[670] тогда бодрил меня и обещал мне много, но я же бросила все. Об образе скажу тебе кратко...

В год, когда мы после папы были летом у дедушки и бабушки в деревне, я много и томительно плакала. Смерть чудилась мне повсюду. Бабушка, чтобы отвлечь меня, в дни, когда я почему-либо не выходила на улицу, читала мне из книжки «Богоматерь»[671]. Или я ей читала. Кто написал ее? Не знаю. Но помню на обложке чудесный Лик — Она, прекрасная из женщин, подняла глаза, вся устремилась к небу, глаза большие, полны веры, обетования и... муки! Полные слез, нескатившихся еще слез. Она не была написана церковно. Художник изобразил Ее Божественно-земную. Описана была легендой вся жизнь Ее. От первых ступеней, когда Ее вводили в храм, маленькую Отроковицу. Все, все пронзало мне душу. Я рыдала над тем, как эту девочку одну оставили в огромном храме. Чудесно описано явление Гавриила... Ее испуг и радость. Ее зачарованность. Ее женская стыдливость. Одна и без подруг. И она не смеет никому поверить все ее надежды, ожидания, радость, муку...

О, это свидание с Ангелом... Благовещание Его Ей! И дни полные скорби Ее, Пречистой! Когда Она увидела Иосифа недоумение, подозрение! Как дивно это было описано! Как тонко, как стыдливо... И как Она молчала!

Мы читали с бабушкой. Обе плакали. А я чувствовала Ее, Прекрасную, Чудесную такой родной, своей, понятной, близкой! Я полюбила Богоматерь просто, по-людски, пламенно и восторженно! И вот однажды, стоя в церкви (я опишу подробно этот храм и даже воздух его!) в один из

будних дней, кажется, на мое рожденье (служили в приделе) я особенно тосковала... Мне так казалось все печально, скорбно, прошедшее счастье с папочкой томило невозвратностью, а будущее пугало рисующимися мне новыми потерями. Я всюду видела только смерть. И плакала, томилась, не могла молиться. Я подняла в тоске глаза и... увидела... лучи солнца упали на разрисовку храма, никогда мною невиданную доселе... Архангел Гавриил благовествует Чистой Деве... Так, обыкновенно написанный образ...

Но мне открылось совсем другое... Я увидела, и захотела видеть иначе! Не опущенный долу, ровный взгляд отроковицы... как обычно пишут. Я увидела Ее чудесную! Ее — всю жизнь с горящими, ищущими глазами. Я вдруг остро сама сознала как могла Она почувствовать это благовестие. Все тут: испуг, непонимание, радость, гордость, самоотверженность и предвкушение «оружия, прошедшего Ей Душу»[672]. Она, девочка Святая, Она в этот момент вступает в Небесное Бытие, Она — Мать, Чудеснейшая из Чудесных!

Я не могла больше (после этого моего просветления) смотреть на образа Благовещения, — все они «калечили» мой, тот образ. И я, увидев его однажды, поняла, что в этом моменте, в этом «будет Мне по глаголу твоему»[673] — «весь закон и Пророки»[674]! И я нигде не находила этого Лика!..

И тогда я, девчонкой, взяла себе в голову научиться писать и написать ненайденное. И с этого момента я ни о чем не думала, кроме художественной школы! Эта школа была моим храмом. В самом строгом смысле! Тогда же, у меня прошла и тоска эта смертельная. Я как бы вручила себя Ей! Я Ее люблю особенно. Я Ее зову просто «милая». Как мать! Понимаешь?

[На полях:] И вот... я не написала... И не напишу, должно быть!?

Хотела написать это рассказом тебе, но ты нетерпеливый. На — же! На-черно.

Ванечка, получила «яичко»! Сейчас, 29.III 4 ч. дня. Отвечу на все!

Начала писать так глупо, а к концу так я вся перестроилась вдруг. Жаль, что про образ написалось вместе с простой глупостью. Мне хочется писать. Но я устаю очень скоро. Пиши мне на деревню, т.к. не знаю, долго ли тут буду.

О «говеньи» никуда не годно. Я же знаю. Перепишу. Целую. Оля

171

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.III.42 8-30 вечера
Великий Понедельник

Христос Воскресе, родная моя Оля!

Родная моя, ненаглядная, светлая Ольгуна, Ольгуночка... больнушка моя бедная, голубка, — столько в сердце нежности к тебе, и такой чистой-чистой, такой святой любви... слезы мешают писать, — и столько хотелось бы пошептать тебе, укрепить тебя, ободрить! Помни, моя прекрасная, я всегда с тобой в мыслях, в сердце, — ты не одна там, в клинике, всегда Ангел твой возле твоей кроватки, папочка твой всегда с тобой, и он оградит тебя, он здоровой выведет тебя, и ты по-прежнему будешь радостной, озаренной надеждами, сильной, уверенной, что все невзгоды, боли, тревоги кончились, и ты будешь, наконец, счастлива. Олюша, я сегодня утром получил твою открытку — 20 марта, из клиники амстердамской. Каждое слово твое светилось для меня, я целовал эти неровные строчки, я говорил себе: это она, моя Ольгуночка, больнушка, писала с трудом, не забыла своего Ваню, своего вернейшего друга, самого близкого, готового жизнь за тебя отдать. Я все переживал и переживаю с тобой, я весь с тобой. Я молюсь, все силы души собрал, молю Господа и Пречистую вывести тебя здоровой из этого дома скорбного... Я все понимаю, Олёк, все твои думы, тревоги, чувства... я вспоминаю себя в госпитале, в Нейи, в мае 34 г., когда мне грозила операция. Я вспоминаю свои ночные боли дома, ночи без сна, мрачные мысли, — сколько было всего! И вот, преп. Серафим... все устранил! О, как я верю! Это же было, воистину, чудо... это мое видение — во сне ли — полусне, или в слабом проблеске сознания, в острых болях... — когда я увидел груду моих рентгеновских снимков, и на них — вместо написанных белой краской букв «Жан Шмелефф пур проф. Брюлэ», — стояло т е м же почерком, той же краской — «Св. Серафим». Только. И вот... — уже в клинике, известном «американском госпитале», лучшем в Париже, я, уже готовый к операции, слышу: «Я нахожу, что операция, на которой так настаивал проф. Брюлэ, не нужна. Я всегда к Вашим услугам... но этого не нужно». Так сказал мне известный хирург Дюбушэ, на ломаном русском языке, на следующий день после Духова Дня, — вторник, помню, кажется 29 мая. Меня, прямо, залило, светом,

радостью. А знаешь, сколько я, при моем среднем весе — 56—58 кг, потерял за два месяца? Почти 15 кг! Я весил — 41—2: Я шатался, когда Оля вела меня под руку в приемную, где — уже в с в о е м, а не в халате, я торопливо надевал пальто, спеша, спеша поскорей из этого роскошного госпиталя, как из какого-то «запредельного» места. Я вдохнул свежий воздух — было часов 5 вечера — я увидел солнце, уже густые, в бело-фиолетовых «свечках» цветущие каштаны, и у меня закружилась голова. Мои ботинки были мне тяжелы, как гири, болтались на исхудавших ступнях... Домой! к милому письменному столу! к рукописям, к планам... — все вернулось! А через два года с месяцем... Оля моя, столько сил мне отдавшая, страдавшая мной, ночи не спавшая... замученная жизнью и болезнью, такая счастливая в тот день «отпущения» моего... у ш л а навеки. И я остался один на свете, потеряв все дорогое... — а впереди *пустота и мрак*. Прошло три года... — какие три года, — страшно вспомнить. И вот, посланный мне — по ее ли молитвам, Милостью ли Господа..? — С в е т. Он осветил меня в первом письме твоем, июньском, 39 г. Думал ли я, что это письмо — начало чудесного Пути, на котором мы встретились заочно, по которому... — пойдем отныне вместе?.. Это знает один Господь. Мы можем лишь просить Его об этом, можем лишь верить, надеяться. Будем же, милая, верить, надеяться!

Ольгуночка... я молюсь за тебя, как умею, и недостойна моя молитва, знаю. Но Господь видит мое сердце. Но ты — в *Лоне* Его, достойная, лучшая из лучших, и Он помилует, Он — верь, Оля! — воздвигнет тебя, чистая! Ты должна выйти из клиники радостной, поющей Ему славу. Я верю, я крепко верю, я всеми чувствами жду с верой. Олюша... ты страдаешь в эти великие Дни Страстей Христовых. Когда тебе будет трудно, тревожно, смутно... когда будет — не дай, Господи! — подступать отчаяние, вдумывайся, вспомни, как в эти Дни, давно-давно, — но э т о было воистину! — Он страдал — за всех! И тебе будет легко. М. б. скоро ты будешь держать и лобызать посланную мною тебе карточку с Гроба Господня, с пасхальным родным яичком, *с т о й* травкой, которая выросла из *т о й* почвы, с тех мест, *по* которым Он ходил, из которой взял щепоть и сделал «брение» и исцелил слепого[675]! Олюша... Господь милостив, Он тебя исцелит, Он — вся Правда! Молись Ему. Молись Ей, Пречистой. Оля, ты — достойная, ты — дитя Божие. И тебя ждет путь светлый, — ты нашла его. И я

счастлив-счастлив, что мне дано было тебе указать его, с крепкой верой в тебя, в твой дар, в твое призвание.

Я всегда с тобой, — почувствуй это, и ты у с л ы ш и ш ь меня. Только шепни — «Ваня... Ванюша мой»... — и я с тобой, я смотрю в твои милые глаза, я целую твой ясный лобик, я оправляю твою подушку, я шепну тебе на ушко — «с тобой, всегда с тобой, родная моя, Олюша моя... и буду вечно с тобой». Ты мне теперь еще дороже, еще ближе, еще родней... — если только можно быть еще дороже, еще ближе, чем ты была вчера! Ты, всякая, здоровая, больная, слабенькая, больнушка моя... ты мне — в с е, ты во мне — только ты, вся, веселая и плачущая, радующаяся и страдающая... — больная, ты мне еще дороже! И как же бессилен я — быть въяве у твоей постели! Но ты услышишь мою д у ш у... мою мысль о тебе, — им нет преграды. Вспоминаю свою ужасную тоску — 12—13 марта! Я писал тебе. Вот оно, чувствование тебя, т в о е г о, в с е г о! Сегодня я почти не спал, разыгрались мысли... — все о тебе! — только в 6-м часу утра забылся. Моя старушка долго стучалась, пока я услыхал, за дверями, двойными. Я принял, ночью, снотворное — «седормид». Она принесла мне твою открытку! Я долго смотрел на нее, — она, э т а, была в твоей ручке! Милая..! И как больно было мне читать о твоих страданиях! Слава Богу, м. б. все обойдется, в почечных болезнях — только специалист может разобраться. И я рад, что доктор тебе по душе. Это очень важно. Выдержи себя, снеси, Олёк, терпеливо и с верой это, преходящее... — все минет, увидишь радости, ж и т ь будешь! О, голубка моя... как ты дорога мне, как чисто-светло люблю тебя! Я просил мою «Арину Родионовну» помолиться за тебя. Она удивительная, редкостно-глубоко-религиозна, — ее молитва — проникновенная, доходчивая... Она вынет просфорку за твое здоровье. Она за Олю молится, она ее ч у в с т в у е т! — она ее — «почти в и д и т». Святая это, новгородка, русская подлинная старушка, — ее все чтут. Мне она говорит — «если Господь доведет Вас до Москвы, ни к кому бы не пошла жить, а к вам пойду». Она чудеса видала, и — странная! — не раз видела в храме Христа и Богоматерь! Вся — в «явленьях». Ты бы полюбила ее. Да ее все любят. Ну, такая — как Горкин, что ли... — только «бесплотней», будто «живые мощи». Таковых есть Царствие Божие. Как старое дитя. Она всю жизнь — в людях. И все — в лучших петербургских семьях. И ни о ком никогда ни слова осуждения! Если есть праведники на земле — она первая. Только наша Русь могла создать такую чистую душу, — вот

наше упование и окреп в России, — такие простые, верующие, чистые души русских лучших людей из народа. В новом поколении будут ли такие? Вряд ли. Но «закваска» от таких сохранится. Она будет молиться о тебе. Я сказал ей, что — чудесная чистая душа, показал ей твой портрет, — ты ей о-чень понравилась, как и моя покойная Оля. Услышит ее Господь.

Не знаю, смогу ли поговеть нынче. Когда я весь в мыслях о твоем состоянии, в тревогах, в ожиданиях, — в тревогах не за исход, а как-то ты, не очень ли страдаешь, как выносишь... — трудно очистить душу, найти нужное спокойствие. Я днями лежу на кушетке, думаю о тебе... — ничего не могу делать, не могу себя заставить. Я страдаю вместе с тобой, родная. Будь сильна, не плачь, — все будет хорошо, должно быть хорошо! Ни о каком «крестном пути» своем не думай. О Христовом Пути Крестном думай — и молись. Он и тебя выкупил! Тебя, достойнейшую Его дитю! Господь любит тебя, свою детку. И не даст страданий сверх сил. Уви-дишь! Тебе будет легко. Его призывай! — и будет легко, свободно. Ты в Его Лоне. И папочка о тебе — вся забота. Помни. Он всегда с тобой, любимкой, со своим «ласкунчиком». Все «плякала», «плякала»... глу-пенькая! Не воображай, сдерживай себя. Тебя все любят, ты — особенная. И все сделают ради тебя, такой. Уви-дишь. Крещу тебя, весь с тобой, мое дитя светлое. Радость моя. Молись преп. Серафиму! Он сохранит тебя. Ты его — радость! И с верой пой — Христос Воскресе! И воздвигнет тебя Господь. Целую твои глаза. Олюша моя! Жизнь моя! Твой всегда Ваня

[На полях:] «Се Жених грядет в полунощи» — поется на утрени, и «Чертог Твой вижду, Спасе мой» — Помнишь — в «Путях Небесных»[676]!

Сегодня (31.III) я поднялся рано 7 1/2. Сейчас пойду к литургии Преждеосвященных Даров.

Твой алый мотылек-цикламен свеж и дождался Пасхи. Твоя фуфайка-грелочка собирается спать до зимы. Она шепнула: «я хочу, чтобы моя "мама" разбудила меня». Я — тоже...

Оленька, наполняй дни Евангелием, вчи-тывайся! Многое глубоко примешь. Завтра — день Дари! С Ангелом! Когда возьму твою руку и поцелую?..

172

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.III ст. ст. 3 ч. 40 мин. дня
4.IV.1942
Великая Суббота

Христос Воскресе, светлая моя Оля, радость моя, пасхальная моя девочка, — Господь с тобою! Я верю, что ты здорова, что никакой болезни почек нет у тебя. Все это — только твое, особенное, мало ведомое врачам. И мою веру укрепляет мнение мамы: у тебя всегда весной, — неизбежно после инфекционных болезней, — такое тревожное явление в сосудах. Мне сегодня легко, я только что причащался, был у чудесной обедни-вечерни (Василия Великого)[677] и слушал великолепный гимн Всемогущему, ныне — для нас — Воскресающему, вновь и вечно воскресающему. Эту славу-хвалу всего сотворенного — от Ангелов до... скотов! от звезд — до гор, от молний — до льдов и мороза — до святых и смиренных сердцем, — это твой гимн, святая, — и я его принял сердцем. Мне легко. М. б. ты уже дома, измученная, но светлая, просветленная! Целую тебя, моя родная, моя детка... Христос с тобой!

Я с тобой был все время, грел тебя у сердца, всюду носил тебя и говорил Господу — я ее люблю, Господи... люблю светло, чисто, — самое светлое в моей жизни ныне.

Олюшечка, будь здорова, светла, вся — в надеждах, вся — в свете, вся — Господня.

Твой, со всем, что есть во мне чистого, весь твой — Ваня

P.S. Ольгуночка бесценная! Только что собрался отнести письмо на почту, — звонок! От тебя пасхальные цветы, чудесные гиацинты!

Такая радость мне, — ты здорова! да! да!!

Я целую их. Они — в корзинке, в гнездышке! Они принесли мне т е б я, пасхальная! Я с тобой, я светел, я чувствую Свет Воскресения!

Твой алый «мотылек»-цикламен дожил до Св. Дня! Он со мной был в Рождество — он и ныне, на Пасху!

Свежий, румяный, сильный.

И ты будешь такая же, сильная!

Будешь в радости творить красоту светлую — н а ш у, Божию!

О, милая царевна — Весна моя! Живи и радуйся. Всегда, всегда, всегда! И Господь с тобой всегда, — Он — Свет тебе.

Целую, благодарю.

Твой Ваня

[На полях:] Распечатал письмо и приписал. Я счастлив твоим сердцем, твоей любовью, такой чудесной! В.

Олюша моя. Это кратко, спешно, но это легкость душевная, сошедшая на меня, — велит сказать тебя — в озарении Светлого Воскресения.

В светлом восторге целую тебя: Христос Воскресе!

173

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.IV.42

Оля, милая, мне так трудно, так пусто без тебя! Да не смутит тебя признание: мне не было Св. Дня, хоть и получил твой пасхальный привет-цветы. Так пусто, одиноко! И нет писем, я не знаю, где ты, что с тобой, родная. Эти дни — сплошная тоска, места не найду. Не могу, не могу без тебя. Нет жизни мне в такой непроходимой разлуке. Я боюсь, что врачи не поймут твоей болезни и могут повредить тебе. Тебе нужен только покой, и укрепляющее лечение. Ты — здорова! Почки твои нетронуты. Но врачи раздражили только их сосуды. Доктор был рад твоему пасхальному привету. Просил похристосоваться за него. У меня <u>все</u> было на Пасху, — в изобилии. И — ничто не согрело: не было весточки о тебе. Я скорблю. Я мечусь. Я — вне жизни. Ты <u>все</u> для меня, одна ты. Родная, светлая, чистая... Ангел милый! Целую тебя, нежно-чисто, о, моя незаменимая, неизъяснимая. Не могу и писать, ушла вся воля. Я одинок. Я постараюсь переслать тебе пасхальные яички. Поеду к Лукиным. Завтра — в St. Genevieve: и туда не было воли поехать на 1—2 день. Оля, Олюша, светик мой чистый, весняночка, птичка... когда ты будешь весенней, здоровой, радостной? Только тогда я найду себя. И стану писать. А сейчас... — хоть конец, вот какой я стал. Но я совладаю с собой. Буду ходить в церковь, молиться за тебя.

Твой, твой, твой Ваня

Девочка светлая, отзовись!

174

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.IV.42 8-30 вечера

Ласточка моя светлая, живая, нежная, Олюша дорогая... Господь с тобой и Его Пречистая Матерь! Будь здоро-

ва. Все сердце мое с тобой, все — только о тебе бьется. Милочка, я только что от всенощной, — тихий, успокоенный, чуть ночной. Я так люблю послепасхальные всенощные, — светлые такие, уносящие от надоедной суеты дней — и каких дней! — Всенощная всегда меня уводит в даль времен, когда никакой «культуры» не было, а душа была — сама культура, вся в служении, — таком понятном сердцу, таком простом, — так мне представляется. Тогда душа была ближе к Богу... чувствую, хоть и не летали на авионах. И сколько раз, бывало, пенял судьбе: ну, зачем я ныне живу? я — весь давний. И знаешь, Олёк, я и по сию пору — как 14-летний, — нахожу радость в чтении таких книг, как «В лесах», «На горах» — Мельникова-Печерского[678]. Кровь моих предков сказывается? манит скитами? подвигами? уютом старины? лесной глушью? таинственной глубиной Светлояра? Олюша моя, как бы хотел тебя увидеть в сарафане, в платке роспуском, как ходили девушки-старообрядки. На днях одна дама — беспоповка когда-то — Владимирской губ., показывала мне себя — фотографию свою, — в наряде скитницы, будто с картины Нестерова. Теперь она — церковная-новоблагословленная (единоверка[679]). Пошел бы тебе этот сарафан! Сегодня я все ждал в нашей уютной церковке — почти домовой — вот Оля войдет! вот сейчас чудо будет, увижу ее... И сколько лиц, чуть тебя напоминавших, — знаешь эти стандартные прически! — но твоего-то, единственного для меня на свете, — нет, нет... Вошел немецкий моряк-офицер, с кортиком, — привела его русская девушка, — м. б. его невеста. Вдумчиво слушал пение. Очень изящная девушка, с нашей, неповторимой ни у кого, грацией... — и я удивился, какое же разнообразие женских типов у нас, и до чего же естественна грация, — прирожденная, как у... восточных девушек! — персиянок, турчанок... — это в крови у нас. Не красота, а пре-лесть... «хорошесть», — вот чем берут наши. Красавиц-то много, а прелестных — поищи-ка! Порой маленькая скуластость дает лицу и всему в ней — такое, чего никакая чистота черт не заменит. Вот у тебя-то этой «неизъяснимой» прелести — богатство. Вот почему ты всех чаруешь, и тебя не могут не любить, ибо если и не поймут, то почувствуют в тебе что-то, такое чудесное, влекущее, чего определить словом нельзя. То, по чему вздыхают, его — раз увидел, — не забудешь: и уже все тогда — не то, не то. Ну, словом, я пою тебе молитвы. И не устану петь. Так вот, все ждал — войдешь, станешь рядом, и я... — и я вспоминаю «Свете тихий».

Твои похвалы красивости «сестрицы кареглазой», Фасе... — меня не удивляют. Тебе иное что-то в них представляется, у тебя с в о й глаз, художнический. Да... сделай мне радость, напиши свой портрет, тебе удастся: ты все сохранила. Не пугай себя.

Ольгуночка... Жадно читал твои два письма из клиники. Благодарю за рисунок комнаты твоей. Ты мастерски все дала, — говоря о цветах, о танцующей сестре. Ну, посмей еще отбрыкиваться, что ты «не можешь писать»! У тебя такой зоркий глаз! И такие послушные слова. Ты так живо дала «сестру», которая помогает себе язычком, хохотушку... — и все! И это — полубольная, в тревоге, «мельком»! Ты — Божией Милостью большой талант. Знай это. И не смущай себя, что «Говенье» не удалось: у-да-лось, знаю. Прекрасно описала и «образ» Пречистой. Мне в с е понятно. Пусть он н е по-евангельски, но это — т в о й. «Гордости», как ты пишешь, в Ней не могло бы быть, чувствоваться. А святой восторг. Девочка моя чистая, как ты умна! Ты, 10-леткой — т а к о е постигала! Ты — исключительна. Книжки той не знаю, чья же она? Справлюсь у духовенства. Знаешь, мне сегодня, после обедни и бездарной проповеди о Фоме пришло на мысль выступать с амвона. Надо получить благословение митр. Серафима.

Я х о ч у говорить. И — буду. И е с т ь — о чем. М. б. в неделю о слепом. На смысл: прозрение Верой (о неверии). И во-имя твое. (Конечно во-Имя Божие — и — т в о е.) Говорят друзья — храм не вместит молящихся. Дал бы Господь! Тогда я разговорюсь. Зажгусь. А ты что скажешь? Одобришь? Это можно, по церковным уставам, — надо лишь облачиться в стихарь.

Ольгуночка, не взводи на меня напраслины: никакой хитрости во мне, когда запрашивал о чулочках. Я хотел только угодить тебе. И настаиваю: какой размер, тон. Скорей извести. От Вани примешь, а то обижусь. Мне нет дела до твоих «лапок», — они в н е меня, ты знаешь, чем ты мне дорога. Будь ты некрасива, мне все равно теперь, когда я знаю т е б я, твою Душу. Я бы любил тебя — всякую видом, — понятно это тебе? — Счастлив я, что «яичко иерусалимское» дошло до тебя. Благодарю доброе сердце цензора: всегда верил, что немецкое сердце — человеческое сердце: вот что ты хочешь, а так крепко верю и так ярко чувствую, что славянская и германская души — широкие, бо-льшие души, и могут понять одна другую. Чем объяснить, что столько браков теперь? Да, да... я знаю. Женятся и на т а м о ш н и х! Находят н е т р о н у т ы х язвой больше-

визма, сохранившихся, удивительно скромных и стро-гих! Говорят так: «вот эта может быть же-ной!» Да, и какой еще! А вот с французскими-то не выходит! И не выйдет. И это так понятно: ни-чего общего. Француженка... типичная-то... — «не для жизни». Наши дураки скоро это раскусывают. Французская женщина прежде всего — «хищница», ибо была всегда рабой. Свободы нашей русской женщины она не знала, и потому ее «свобода» рабья, хищническая, урывком, обманом — и как общее правило — адюльтер. И из терема наша вышла, а — свободна. Потому что — душа-то у ней — христианка, как, вообще, по Тертуллиану[680] — богослов римский — «человеческая душа по самой своей природе христианка». Вывод: у француженки не человеческая душа, а... кошачья. Не оскорбись за свою «киску». Ну, цветочная фея, как же ты с клиникой-то? Неужели тебя все еще томят? не поняли твоего недуга, который весь — в «сосудах». Ты здорова, с клинической точки зрения, — да еще хирургически-клинической. Тебе надо как-то укрепить сосудистую систему. Во всяком случае — не дразнить ее, не надрывать. Весеннее известное в органическом мире «движение соков» на тебе сказывается. Ну, говорил же я, что ты из породы «мимоз». Твои сосуды не выдерживают «напора чувств», слабоваты они для твоей «души». Ты же — особенная, девочка. Одаренности-то твоей не выдерживают. Словом, у тебя, как у Дари моей: для ее души — для ее «внутренней структуры» тело уже не годится, обычное, — она вся вылезает из него, напор ее духовный раздирает ее тленное. Знаешь, я хочу дать твою странную «болезнь» — Дари[681]. Да, и я это поставлю в связь с ее высоким духовным напряжением, для которого обычная кровеносная система уже не подходит, требуется новое «тело». Надо мне это показать, я лишь чуть этого коснулся: «божественное начало в ней настолько сильно — золотинка-то Божья», — что ей жить трудно и... жутко. Вся она мятется. Ты — Дари. Так какие же тут могут быть для меня — «лапы»?! И вообще — твоя видимость!? Ты вся — внутри. — Понимаю твою — «жажду жизни»! Ибо ты — творица. Хорошо говоришь о звездах. Ми-лая... я сам столько мечтал — о других звездах. Но... не поменяю мои, северные. Не нужен мне «Южный крест». В тебе роятся силы, и они хотят применения: двигаться, творить, жить. Да, я показал бы тебе всю Россию! С тобой, перед тобой, я мог бы много сказать несчастным, во тьме сидевшим четверть века! И как бы сказал! Ты еще не слыхала меня, как я говорю, когда — говорю! Я мог бы жечь

сердца. Я это испытывал в свою поездку по России, по Сибири, в 17-м. Нет, о Г. я никак не думал. Нет, твое письмо не «глупое», а чудесное. Не отбрыкивайся от с в о е г о. Ты умна, мудра, остра, тонка. Не скроешь. И твой рассказ об образе — т в о й, и ему не мешает остальное. Ты — в с я тут. Ты — живая. Ты — Ольга моя премудрая, ты мой светик, девочка с цветами. Единственная. Ты ничего не утратила, и твое искусство рисования красками — не ушло. Ты — ю-ная! Глупенькая моя, ты до 75—80 л. будешь юная! Ибо ты — живая душа, художница. Тебе нужна «воля», всяческая, — и творческая. И уверенность в себе. Ты слишком заторкана. Я все время стараюсь пробудить т е б я в тебе! Когда же ты поверишь мне, себе?! Как читала с бабушкой, о Богоматери — все прекрасно. И твоя композиция — оригинальна и смела. Молодец, Олюша! Ай, да 10-летка! Целую, душу тебя! Золото ты мое расчудесное, дарка ты необычайная! Ну, и девчушка! Да из тебя все прет, — неужели ты не слышишь? И это твое — «в этот момент вступает Небесное Бытие...» — это дивно! И это — «весь Закон и пророки», в таком применении... — да, как верно! Как ты у м н а! как глубока, точна! Ольга, зачем ты не со мной?! Я бы молился на тебя, пел тебе гимны священные! Ты — необычайна, таких не знаю. И в с ю тебя з н а ю. На ч т о ты способна. На самое тончайшее о б р а з н о е в творческом. Ольга, не теряй дней... хоть и в сырой канаве живешь: ты можешь у н е с т и с ь... не теряй. О! любить тебя, так одухотворенно, хотя бы не касаясь... молиться на тебя, святая моя девочка, мудрочка! Этот «образ» ты д о л ж н а написать: если не красками, то... с л о в о м. Дай — своей легендой. Найдешь в с е. Дай, Оля, прошу тебя. Ничего не страшись, в с е пиши. Воспоминанья, о детстве, о «праздниках» твоих, у тебя все выйдет — по-твоему. — Как ты дивно о «яичке»! «волшебные кружочки, теснящиеся в ресницах»! Не рви зубы!! О, пиши, пиши, прошу! Да, пусть «для меня», пиши. И будет — для всех. Я мучаюсь тобой, но мне и муки за тебя — дороги. Хорошо, что все о себе написала. Жду письма от Лукиных. Да, твой мир — мой. И Она — ты, ты только. И я во всем — с тобой. Да, какой бы ни увидел я тебя — я тебя любил бы безоглядно. А разве я не в и ж у тебя? Ведь ты же Душа... — а я ее вижу. Слава Богу, что ты з н а е ш ь, сказала, поверила, что я тебя не могу не любить. Своею необычайностью ты меня влюбила в себя. Ибо ты — сама Любовь, лучшее, что только есть в русской женской Душе. Ты всех покоряешь, разве я не вижу это?! Ах, какое ласковое

твое письмо! Как ты меня приголубила, родная! И как же я истомился. Оля... — эти дни такая тоска опять... ничего не могу. А еще постоянные мысли, как ты, где ты... — тревога за обстрелы там... — у нас частенько, но я не хожу в подвал, нет специального оборудования, — может залить водой, задушить газом, завалить: один лишь «вход». Под Господом живу. Его Воля. Да и чего же бояться — мне-то! Только вот тебя еще не видел... и не дописал «Путей». Бог даст — все будет. Думай только о себе, выздоровей, окрепни. Твори. Жизнь моя монотонна. Одиночество давит. Люди — не наполнят его. Ты... другое дело: каждое твое — письмо мне — жизнь. Ты спрашиваешь — «кажется, я не повторила конец нашего путешествия?» С шефом? Да, не досказала. Можешь — доскажи. О, покойной ночи, родная моя, не знаю, где ты. Хочу думать — в Схалквейке. Лучше там, тише. Не написала — и что произошло с Арнольдом. Почему он — в гипсе?

Неприятно быть одному в квартире во время «тревоги». Но... привыкаю. Оторопь, да. И плохой сон. Это мешает мыслям. Сегодня читал «Пути», «вглядывался». Скажи врачам о своих обычных после инфекционной болезни кровоизлияниях. Ни-какой операции! никакого полипа! Камешек — пустяки, — его нет! — полагаю. «Виши» — можно пить и в Голландии. М. б. — Конорксевиль? Что такое — О, фейн, фейн? Ласка? Милая? Влюбила в себя девчурку? Ну, понятно. «Ласкаюсь киской» — твое — во всей тебе, сама не слышишь, а другие чувствуют. О, ласточка... когда же увижу тебя в полете острокрылом? Бровки — как ласточки. Как бы я трепетал в радости, если бы ты вдруг вошла в церковь! Как я сегодня тебя ждал!!! И какая чудесная была всенощная! Какая молитва, хором, Богоматери — Знамение! — после службы. Я был растроган до слез... — это редко со мной! Мне так захотелось быть достойным молиться Ей! О, с тобой бы... дружка моя вечная!.. Духовная моя жена, моя Оля. Моя любовь, чистейшая... как молитва возносимая. Вот какая моя любовь. Только сердце мое знает. И — не скажет, слов таких нет для этого.

И зачем ты опять «оглядку»? О звездах... «подумал — необразованная»?! За-чем? И вовсе не подумал. И в Южной Америке — южное полушарие. Ты все знаешь. О, милая моя «Дева» — созвездие! А где оно — не знаю. В Амстердаме светит. Это — знаю. В глаза бы твои заглянуть... хоть раз! И останется этот взгляд мой — во мне — до конца дней. Свет мой, озари меня издалека, пригрей. Всю,

всю тебя целую, Олёньчик. Без тебя — не жизнь. Завтра, Бог даст, засяду за «Пути». Чтобы к осени кончить. Во-имя твое. Твой Ванчик

[На полях:] Сегодня (12-го) подавал за обедней просфору о здравии болящего Ольгушоночка!

Я счастлив, что ты и в тревогах не забыла подушить сорочку моим «После ливня»! (целую ее). Как ты нужна мне, Оля. Твой о г о н ь мне нужен.

Ольгунка, твои кровоизлияния, очевидно, закономерны: сама природа! Бывало, весной «кровь бросали»... лошадям! и пускали — людям. Состав крови [нормальный] у тебя. Ты будешь здорова. Ешь лимоны, апельсины, клюкву.

Сегодня (12-го IV) получил портрет от Вел. Кн. Владимира. Восхищен был моим «Богомольем». Высказался необычно. «Глубоко русскому писателю».

Я хочу видеть тебя, так хочу и — боюсь.

Ольгунка моя, как хочу я принимать все в вере и церковном так же просто, так же прямо сердцем, как самый простой русский человек! Тогда — легко.

Вчера инженер, который дал проект корпуса «Нормандии» (фр.)[681a] сказал мне: «Ваш "Старый Валаам" меня у н е с».

Я всю Пятидесятницу буду ходить ко всенощной и обедне. Это так покоит. О, если бы ты..! Мы будем так — в России.

Оля, не забывай меня.

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1.IV.42

Светлый мой Ванечка, дружок родной!

Сегодня твое «Вербное Воскресенье»... Как мне тебя благодарить, радость моя?! Я знаю этот твой рассказ. Чудный! А вчера было твое от 16.III (позднейшие были получены раньше). Я умилена, расстрогана, унесена твоим чудным сердцем! О «Куликовом поле» я иначе и не думала. И когда ты мне написал, что хотел бы издать «священной книжкой», то это явилось мне как само собой разумеющимся. М. б. я не оформляла до твоего письма, но я не могу себе иначе представить. Это же совсем нечто особенное. Ты ни с чем бы не мог его связать. Ванёк, родной, ты писал об интересе твоими вещами для экрана... Что именно? Неужели

«Чаша»? Но это же невозможно! Не мыслю иначе, как кощунство «Чашу» на чужом экране, на чужом языке. Это только наше. Так я чувствую. Эту вещь, конечно, оценят и в переводе, но не поймут ее душу никогда чужие, кто бы они, эти чужие, ни были! Ванечка, твой «Въезд в Париж» куда шире надо рассматривать, и то, что ты узнал в Париже и т.д., я узнала так же непреложно на своем месте, *давно*. Или ты мне не веришь?! Тебя трогает понимание твоего искусства такими людьми, как та дама, знакомая матери Ива. Но почему тебя это так трогает? Тебе мало признания, любви мне подобных?

Ты культуру признаешь только за ними? И это тебе льстит? Да, они ценят тебя, но кто же должны быть те люди, которые, зная тебя, не ценят тебя? Это же не люди. Ты только наш, только такого я тебя люблю! И я только наша!

Прости, что высказываю свое мнение, но я не могу иначе думать. «Няня из Москвы» была бы дивным явлением на экране. Не думаешь ли ты? И какое богатство! Безграничность! Чудо! Но осторожно доверяйся. Вспомни, как испоганена была «Анна Каренина» этой жердью-ломакой Гретой-Гарбо[682]! И не только это, а и все! «Чаша» только для Родины! Но, это мое мнение, конечно, ни к чему. Это твое дело. И прости, если я нескромна!

До чего же все здешние — другие люди! Не только голландцы, но все! Представь пример ничтожный: на днях я получила вазу с орхидеей, причудливо, роскошно устроенная зелень и т.п. Для меня все цветы милы! Независимо от их цены в магазине... Для них же... о! Все отделение знало о чудесном цветке. Вечером того дня моя любимая сестра уходила на свадьбу ее брата, по-ребячески радуясь ее новому платью и всему. Девочка не видит никакой радости в жизни и находит еще массу солнца у себя в душе для других. Мне пришло желание ей сделать радость, и я представила себе ее на празднике, вырвавшуюся на минутку из нашего ада. И я ей подарила эту орхидею, чтобы приколола к платью. Детская радость, смущение, ни за что не хочет, не может принять... но я настаиваю.

Если бы ты знал, что было после ее ухода! Что за волнение! Как я могла такую «дорогую» вещь отдать?! Начались пересчеты, сколько могла она стоить??? Моя соседка, тяжело больная пожилая женщина так разволновалась, что сотню раз всем пересказывала, даже своим родным... Они прямо порицали меня, осуждали, как это я не понимаю, что такой цветок «реклама» для меня! И когда я, наконец,

громко и долго стала хохотать, то они заявили: «...и Вы же обижаете того, кто принес!» Об этом я, правда, не думала... Ты понимаешь, какие все у них интересы. И женщины их, поверь, за букет орхидей сочтут себя «обязанными» любому подлецу. А отказаться принять «дары» они не в силах! За чашку кофе (!) не преувеличиваю, уже «платили». Я сама этому была свидетель! И все, все такие!! Поверь мне! Есть исключения, конечно. Но атмосфера, канва, что ли, таковы, что образуются такие «рисунки». Ну, довольно! Ванючечка, вчера я могла в 1-ый раз встать. Еле-еле спустила ноги с постели, а встать могла только держась за сестру, 1/2 ч. сидела я с сердцебиением, с радостью опять легла. Сегодня немного лучше. Вставала, но очень устала. Я не понимаю, одна дама после операции гораздо сильнее, чем я. Неужели такая огромная потеря крови? Я совершенно восковая, особенно ноги и руки, а лицо очень свежо. Все дивятся на мой «тэн»[i]. Но это — обман. Папа такой же был. Сегодня жду v. Capellen. Вчера ассистент его был, очень милый. Много шутил и уверял, что ничего страшного нет, просил не пугаться, если покажется кровь. Сказал, что счастлив, что наконец-то знает, что я тоже умею улыбаться. И правда, иначе, как страдающей меня он не видал. Такой маленький-маленький, «кукольный» гномик, этот доктор. Что-то забавно-детское в нем. Не молодой. Комедия, если у него большие дети! Таких малюсеньких я никогда не видала! У нас был маленький мальчик 6 лет, без одной почки. Приходил иногда ко мне, — хоть немножко было приветней. Я не знаю, отпустят ли меня домой на Пасху. И если да, то как я доеду. Я так слаба! Ну, что мне с собой делать!? Я чудесно питаюсь: яйца свои, молоко свое. Не беспокойся об этом. Но в том-то и ужас, что при таком питании я все такая же тень. Миндальное молоко... откуда? Миндаля же нет! В то, первое кровоизлияние меня поили и кормили миндалем. Мне нужны апельсины и грейпфруты, но их нет! Только в больницах дают. И здесь я уже 3 раза получала. О. Дионисий рассказывал, что у Вас есть все это. Кстати о нем: ты его не обижай понапрасну. Его замечание о «крестном пути» ты понял (я знаю как!) неправильно! Здесь ни «зоркость» матушки, ни «догадки»... О. Дионисий меня ведь знает не с сегодня. Я у него давно уже говела. То, что я назвала «зрелостью» и «чуткостью» его — так и есть. И если бы ты мог присутствовать при моей исповеди, то ты бесспорно согласился бы со всем тем, что мне сказал

---

[i] Цвет лица (*от нем. Teint*).

о. Д[ионисий]. Ты оценил бы его и не сказал бы слов Ирины С[еровой]. Все-таки каждый раз мне приходит на мысль, каким примитивным принимается тобой мой душевный строй, все то, что во мне происходит. Моя «работа». Моя исповедь, вернее мой долгий разговор с о. Д[ионисием] накануне исповеди, не являлся тем, что видишь ты. И твое предостережение мне о Дионисии меня еще и еще убеждает в том, что ты во мне девчонку видишь. Еще одно о Дионисии. Ирина С[ерова] кое-что сказала верно, но абсолютной клеветой звучит ее предположение, что по «неуклюжести», впав в «амбицию»*, он из этой самой «амбиции» стал священником. Как неосторожно! Нет, о. Д[ионисий], при всех его недостатках, настоящий и очень верующий пастырь. У него много смущения и часто именно неуклюжести, но наряду с этим, например, и большое гражданское мужество, свидетельницей которого я не раз бывала. В вопросе моей исповеди о. Д[ионисий] проявил много чуткости и тепла. И не сказал мне ничего, что бы ты — строгий его судья, не одобрил! Относительно его якобы «строгости к приходу» — Ирина очень мало, видимо, приметила, в чем там дело! Не строгость, а «блажь», и не столько его, но кликуш, его окружающих, из коих на первом месте m-me Пустошкина и ее сестра. Эти 2 дамы учиняют самую нездоровую атмосферу по своим, личным, побуждениям. Видишь ли, m-me П[устошкина], не ходившая никогда в храм при о. Розанове по ненависти к его семье из-за любви ее мужа к Вале, вдруг у о. Д[ионисия] превратилась в «мироносицу», до... смешного. С великосветскими, слащаво-умильными ужимками, она плетет паутину свары, всячески оттирая вдову Розанову. Причем, имей в виду, матушка — редкое явление, ни о ком, никому ничего не передает. Интригу Н. И. П[устошкиной] я заметила сама. Она и меня пыталась втянуть в это «оттирание». Вообще — обманутые или оставленные жены ударились в религию и кадят монаху, поддакивая на всякое его нововведение, и, порой, юродство (по своей молодости это он делает), и разбивая лбы.

О. Д[ионисий] справится со всем этим, когда постарше станет. Это так несущественно. Все дурное, что ютится около храма — в большей степени — паутина г-жи П[устошкиной] и ей подобных. Дионисию самому, кажется, претит. Она же настроила о. Д[ионисия] и против матушки,

---

* у него есть амбиции и честолюбие, да, — но 1) это не главное, 2) кто этим не страдает? О его «материальном устройстве»... о. Д[ионисий] — бедняк! Я это хорошо знаю. Какой там капитал!!

мелочно, гадко, по-бабьи. И когда Дионисий выходит из-под этого влияния, то сам, по себе, очень сердечен к матушке. У меня с о. Д[ионисием] не бывает того контакта, который я бы хотела с духовником, — я не разделяю его именно «убожества», «нарочитости». Но что правда, то правда — он достойный священник. Ирина, видимо, находилась под влиянием Пустошкинских (m-me П[устошкиной], т.к. П[авел] К[онстантинович] ценит Розановых), «освещений» в оценке и семьи Розановых. Я это вижу из твоих замечаний и о Вале, и о матушке. Напрасно! И почему-то ты всем остальным сразу веришь, а мне — никогда! — Ну, Господь с этим!

Что я тебе еще должна написать? О поездке с шефом? Ну, хорошо: он заказал билеты и мы были отвезены на автомобиле пациента на вокзал. В поездке оказалось, что он заказал для себя и меня спальные места в одном купе. Я сумела ему глазами показать все, что думаю. Без единого слова. На что тот мне пробормотал, что «ничего особенного, т.к. он ведь мой доктор, и я же должна ему доверять». И этим самым его же определением я и пришпилила его к месту. Мне скучно все вспоминать подробно, но скажу одно, что эта умная бестия отлично поняла, что из благодарности, что я ему не устроила публичного скандала, ему выгодней и дальше сидеть покорно там, куда его ткнула носом. Чудесно (т.е. по моему вкусу) доехали до Берлина. А наутро я отлично поняла его бегающий взгляд с вопросом невысказанным, не отомщу ли ему на месте. Это не было в моих интересах, но я вполне понимаю, что этот урок ему останется надолго в памяти. Коротко говоря: ему ничего от меня не надо было, но важно было ущемить меня, т.к. он все пускал в ход, чтобы оставить меня при клинике, помешать моей свадьбе. Он хотел, надеялся под вином меня хоть чуть-чуть «склонить», ну хоть на рукопожатие, чтобы потом играть на «слабости». Он лечил гипнозом, обладал в совершенстве этим даром. И вот надеялся. Но на меня действовал всегда обратно. Чисто корыстные побуждения. Но таков этот жук. Злился на меня до последнего дня, что ухожу. Трудно было найти заместительницу. Видишь, какие бывают тенета?! Не хочу, однако, вспоминать все это пауковое. Все письмо ушло на какие-то разъяснения чужих личностей. А я так полна тобой! Я писала тебе вчера, большое письмо и... не посылаю. Сумасшедшее оно вышло... смущаюсь. Одно только скажу, что в том письме сказано: «Куликово поле» я приняла как Дар твой бесценный, как Святыню, как чудесное твое сердце, но...

(почему это?) я не чувствую, что оно м о е? Я благоговею перед ним, вроде того, как перед реликвией О. А., что ты прислал мне. Порой и любовь твою ко мне я принимаю так же... как будто эта любовь твоя лишь продолжение пресекшейся 22 июня 1936 г., но не ко мне! Странно?

[На полях:] Крепко целую тебя. Оля

Маленькое яичко с моим карандашом для губ[i]!

В твоем письме (приписочке к «Вербному Воскресению»), дивном письме, чувствую я все же какую-то холодящую струйку... Отчего? И... потому не посылаю мое «сумасшедшее». У тебя так легки «срывы» настроения ко мне! И ты ничему моему не веришь, никогда. Если я говорю: «о. Д[ионисий] — чуткий», то ты заявляешь: «нет, он не чуткий». Как и с З[еммеринг]: я говорю, что меня задирала, — ты — «нет, не могла». [Во] все, что другие тебе говорят, ты веришь. Почему это? Однако, — довольно. Я так устала. Ты придаешь вес оценке И. С[еровой] в отношении о. Д[ионисия], — предостерегая меня ею, как... глупую девчонку.

Знаешь, сколько у меня t°? 35,9—36,2!

176

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.IV.42

Милый мой Ванюша!

Уже 5 дней как не получаю от тебя писем. Здоров ли ты? Я сегодня тебя смутно видела во сне, но не помню как. Мне очень тревожно, что ты не здоров? Что с тобой было тогда? Я начинаю понемногу вставать и ходить. С субботы и до вчера была повышена t°. Очевидно «продуло» — это в постели-то! Но, тем не менее, это так! Болит плечо и шея (не горло), — это у меня всегда, когда простужаюсь. Сегодня все, все в порядке. Принимаю всяческие средства для укрепления. Доктор наш деревенский — медицинский недоросль, по-моему, хотя и славный парень. Я охотно с ним болтаю, но на его врачебные советы не полагаюсь. Ну, авось он мне не нужен будет! Сегодня получила письмо от сестры из клиники, где она сообщает, что хорошенькая дамочка оперирована уже (моим специалистом) и все идет очень хорошо. Господи, если бы она поправилась! Сегодня же письмо от И. А.!

---

[i] На полях письма выполнен рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

Это за целый год молчания! Они здоровы, трудно материально, а питание есть. Холодно было зимой очень. Жили в одной комнате, работал он сидя на кровати, писал на коленях. Просит ему писать нас. Между прочим говорит, что его письма тебе все возвращены ему и о тебе он ничего не знает. Это потому пишет, что давно-давно (до нашей переписки после войны) я его спрашивала, не знает ли он жив ли хоть И. С. Но он знает, что ты жив-здоров. И. А. массу работает и устает очень. Удивительно он всегда тепло о тебе пишет. Мне так приятно, что он тебя так хорошо любит. Прямо трогательно-нежно любит. Знает ли он, что ты пишешь II ч. «Путей Небесных»? Интересно, что он говорил о «Путях Небесных»? Т.е., конечно, они ему нравятся, но я бы хотела знать его выражение, он так метко и коротко умеет определить сущность вещей!

Как бы он тебе, наверное, пожелал удачи в «Путях Небесных»! Он — светлый! Я знаю все его недостатки, но что они все перед его светлой сутью?! ... Сегодня чудесный солнечный день. Совсем весна. Как мне здоровья хочется! Много силы! Хочется и тебе (не ныть и стонать), а тоже радость дать, силу, взлет творческий. Ах, ты такой радостный, Ваня, у тебя и на меня радости хватит!

Ванёчек, мне снилось, или представилось (?), недавно... «Куликово поле» т.е. книжка. Уже готовенькая, такая светлая... Хочешь опишу? Небольшой формат, белая обложка и вместо обрамления — вижу наверху огибает контур чуть-чуть закругленно — гирляндочка, тоненькая-тоненькая, *бледно зеленькая*, а *когда вглядишься*, то вся она из трав-колосьев со спрятавшимися в них... звездами (!). И так это красиво! Эта гирляндочка свешивается только немного, даже не до половины длины обложки и переходит в волнистую зеленую (такого же цвета) линию. И в нижних уголках по звездочке (казалось мне, что они упали с небесной гирлянды), а внизу, по ширине книжки, на серединке — эти травки-колосики (2) разбегаются, а посреди их тоже звездочка. И вот самое главное: там где гирляндочка образует как бы свод, видела я (под этим сводом) тонко-тонко, как в дымке, в дали, намеченную... Троице-Сергиеву лавру, всю в зелени... будто Троица! Разглядеть ее хотелось, а она будто за оградой, что-то стоит еще на переднем плане... смотрю... буквы: К у л и к о в о П о л е. Буквы церковные. Большое «К» — нарядное, в цветах, киноварью писано, а остальные скромным частоколом, будто. Я ясно вижу в дымке колокольню Троицкую, купола, зелень эту.

И, знаешь, это так во мне живет, что я нарисую тебе то, что вижу. Я пошлю тебе в следующем же письме. Только выйдет ли? Ведь те звезды, что я видала в гирляндах, мерцали мне живым, голубоватым светом. Не передать их!

Ну, ты вообрази! Это ни в коем случае — не иллюстрация на твою книгу... Ее должен сделать истинный художник, а не дилетант, как я. И я не заношусь. Не пойми это ради Бога так! Это просто я по-домашнему делюсь с тобой своим сном. Скажу тебе больше: я сама никогда так не представляла эту книжку. Я ее видела в более «строгом» стиле. И по-рассудку, если бы мне такое задание кто-нибудь бы дал — я представила бы иначе. Мне часто снится несуразное. И потому — не будь строг. Это — не наглость моя, не коверканье твоей Святыни, это не «пачканье мадонны Рафаэля», ибо я только сон *мой* стараюсь тебе передать, навеянный твоим рассказом. М. б. ты поймешь. Я боюсь, что я дерзка. Но ты так и смотри, что я и не могу дерзать, ибо я же не претендую на художника, я — только Оля тут!

И лавру-то я хорошо не помню... помню только детскую нашу и на полу массу кубиков, чурбашиков, башенок. Нам строят старшие Лавру... всю розово-золотую! И белую! Я видала, конечно, гравюры, но самая живая — она там — в детской! Такой я ее и видала... Радостной, веселой, светлой! Как чудно горели звезды. М. б. это — небо сошло на землю? И пели Ему и «звезды и свет», и земля пела Ему... в колосьях!? М. б. это мое «подсознательное» напело эту грезу? Пусть выйдет по-детски, наивно, пусть Ваня осудит, но я все-таки постараюсь передать, хоть «схему», моего сна. Только надо все так тонко-тонко, «филигранно», сделать. М. б. и ничего не выйдет. Тогда брошу! Тогда ты просто не получишь! У меня много такого бывало: вижу ясно, хочу, начну изображать — «разлюблю» и брошу... а потом кто-нибудь из знакомых «вытаскивал» на свет Божий. А чаще — жгла. У меня была недурная одна картинка: в осеннем саду кленовом, под голубым небом (знаешь осенью такое синее, синее небо бывает?) белая Богоматерь, скорбно смотрит на крест. Это была в ограде костела... статуя, довольно невыразительная. Я ей дала много чувства, сердца, камень был такой живой, что страшно было видеть Ее такой белой! Но это было очень красиво в красках. Это была моя работа на конкурсе при поступлении в художественную школу, последняя, так называемая «вольная тема». Я рискнула «дать» такое тогда, в большевизии. Приняли. Я знала, что она была удачна. Это было наивно, ребячески, мне было 16 1/2 л., чуть-чуть сентиментально и с претен-

зией на «красивость». Но все же удалось. Она — была одухотворена. Я помню, как «вольной темой» хотела именно Ее «дать». Вспомни, ведь во Имя Ее я и хотела только «творить». Всю школу я пройти хотела для того только, чтобы заключительно смочь дать Ея Лик!

Не вышло. Я иногда очень жалею. Но редко. Я себе внушила, что большого таланта у меня все равно м. б. и не было. Что я себе внушила. Со временем у меня и смелость пропала. А это необходимо. И вся я, будто, задергана. Мне проф. Беньков, правда, говорил, что «что-то есть» во мне, ему родственное, чтобы я работала. Но меня некому было вести, некому ободрить. А в голодное время мне казалось, что все мои на мое «художество» как на «затею глупую» смотрят. У меня было несколько автопортретов, несколько карикатур на учителей и т.п. (в 5 минут), — я не решалась никогда явно ни с кого писать портрета. Стыдилась. Много было фантазий и натюрмортов. Но я любила только лица! Теперь я люблю больше ландшафты. Для лиц я слишком вся — больна... Я не бралась за лица уже 18 лет! Подумать! В школе художественной, в классах — ничего не делали, портреты не полагались по программе. Я часто очень сама позировала в старших мастерских и очень это любила, т.к. у них училась тому, что нам, младшим, не преподавали. У них еще не попали футуристы, а у нас только они и были. Я кое-чему у них уж и научилась. Красивый был мой портрет — в голубом платье на старом стуле с высокой старинной спинкой, а на ней, на одной половине — черный бархат. Косы были тогда густые, длинные. Светлые косы. Еще до тифа, не потемнели еще.

Этот портрет я должна была получить в награду за позирование, но художник, написавший его, пожалел и нарочно изменил лицо. Поражающее сходство исчезло, а с ним и ценность для меня. Этого ему и надо было. Портрет должен был быть отослан в Москву на выставку. Я ужасно упрекала художника. Под конец он «выкрал» его из коллекции для меня. Он в России. Этот портрет все же не имел для меня никакого значения как мой портрет. Я его принесла домой, тогда очень торжествуя... что «восторжествовали товарищеские отношения, слово, уговор»... Но его даже не повесила. Он где-то там. А м. б. сгорел вместе с домом отчима. «Девочка в голубом» — стояло в списке.

[На полях:] Ну, Ванёк, всего доброго! Будь здоров!

Целую. Оля

P.S. Из твоего гиацинта одного, пробивается еще «детка» — новая, 2-ая «гроздь» цветов!

15.IV Ванюша, сегодня твое от 7-го! Родной, я так за тебя мучаюсь! Успокойся!

177

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.IV.42

Милый мой Ванюша,

сегодня твое письмо от 7-го, с тоской... Что с тобой, Ваня? Я тоже очень 7-го тосковала, всю ночь не спала, а на утро разрыдалась, — нервы сдали?! Когда сообразила, что Благовещение, то устыдилась и уняла себя, стала Евангелие читать, — тихо стало. Потом меня взяли из клиники домой. Я браню себя за то, что тебе так скорбно писала — вот и дописалась: навеяла и на тебя тоску. «Вам, И. С., нужны радостные письма...» Помнишь? А вот «Ване» пишу всякие, не только радостные, чаще всего — не радостные. Ну, прости, мой родной! Сегодня мне так за тебя грустно... больно... Скажи, что вызвало у тебя эту тоску? Ты же писал мне в Великую Субботу так светло и радостно. И почему же не осталась эта радость с тобой и до Св. Утрени, до Св. Дня? Почему, Ваня?

Ванечка, это «он», «темный», м. б. украл у тебя радость?

Ему радостно лишать таких как ты Света в такой День! Не поддавайся! Я сегодня целый день сидела за обложечкой для «Куликова поля», чтобы тебе послать, и, хоть немножко, тебя рассеять. Я не делаю так, как «представлялось» мне, в точности, т.е. я не беру красок, но даю тебе точную схему, все совсем так, как видела, за исключением красок. К сожалению, все вышло довольно размазано и грязно — у меня не было ни карандаша нужного, ни кисточки хорошей под рукой, да и рука-то еще «не верная». Сегодня это — первая «работа» моя после болезни. Для тебя. Ну, и это тебя не развеселит?! Ну, улыбнись же! Конечно, это все не так хорошо, не то, что я бы хотела: т.к. Троицкая Лавра не в красках, а карандашом, то она не «в дымке», не «в дали», как я хотела, а очень четко*. Но ты вообрази! А если хочешь, я тебе сделаю и в красках. Красной линией я очертила размер книжки. Но, это только — фантазия моя. Не подумай, ради Бога, что это — мое желание. Ваня, умоляю тебя, напиши о здоровье. У меня всегда перед болез-

---

* Я нашла случайно открытку с Лаврой и «скрала» оттуда Троицу!

нью тоска бывает. Упаси Господи, если у тебя так же! Мы все «расклеенные» все еще. Мама безумно устала за мою болезнь, А. — все еще болен (он сильно и тяжело разбился, с ним было несчастье 12-го III), все еще у хирурга в лечении. Много страдал очень. Не известно еще, как все пройдет. Я все еще тоже на положении больной. Все хочу быть здоровой, но через силу не выходит. Передай С. М. Серову, что я ему шлю «Воистину воскресе!» и прошу его развлечь тебя хорошенько. Скажи, он разошелся с женой, или еще она с ним? И если ушла, то почему? Разлюбила? Или другой? И как он живет? М. б. он, вместо того, чтобы твою тоску развеять, на тебя еще и свою навевает? Ах, Ваня, ты такой счастливый: пойти можешь в собор, послушать хор чудесный, молитвы дивные! Я вот без всего этого сижу! Не пренебрегай этим счастьем — близостью к храму — используй это! И пиши, Ванёк! Я тоже буду писать стараться, как только поокрепну! Был ты в Сен-Женевьев? Устал? Почему же не был во 2-ой день? Неужели и в церкви не был? О. А. духом своим тебя бы укрепила. Никогда не поддавайся унынию, дружок, не отступай от возможности быть в молитве. Подумай, как горько это твое для покойной!

И мне... так больно! Вот ничем, никогда я не могу тебя утешить! Ванечка, подумай: только и радости-то у нас с тобой, что д у ш о й — д у х о м общаться, — а если этот дух у нас падает, то что же остается? Ванечка, ободрись! Ты же так велик! Ты так много можешь взять себя в искусстве. Целую жизнь создать! Ты думаешь, мне легче?

Уж не буду лучше этого касаться! И ты знаешь, что, как это нас ни огорчает, — но пока что разлука остается!

Господи, Ванечка, как хороша и как отчаянно-трудна жизнь! У меня тоже много-много разных трудностей, если бы все тебе писать! Многое множество всякой всячины. Только здоров будь, Ваня милый, береги себя, не швыряй здоровье на ветер! Умоляю тебя: береги себя! М. б. недолго ждать радостного дня! Мне вчера «профессор мой» (как ты когда-то назвал) тоже так закончил: «авось недолго еще дотерпеть». Он во всем со мной согласен: и относительно бабушки, и относительно хирурга. Помнишь, я тебе о них писала? И вот, он верит все-таки, несмотря ни на что! в здоровую натуру бабушки! И м. б. мы скоро поцелуем ее, здоровую и радостную! И хирурга к черту пошлем — никто ей такой не нужен. Сама встанет!.. Господи, как я боялась в клинике операции, — прямо до кошмаров. Не знаю, почему я так боюсь, м. б. потому, что одна моя приятельница по лабораторской работе в Берлине, молодая, красивая де-

вушка, при пустяковой операции (желчного пузыря) умерла от наркоза! Это был ужас! Я очень ее любила. Мы все были потрясены. Она не проснулась, — ее и не резали! С тех пор я панически боюсь наркоза. Я хотела даже, если бы надо было, просить делать без общего наркоза, под местным. Ну, довольно! К счастью, Господь избавил! Будем же верить, что Господь во всем не оставит Своей милостью! Надо верить!

Ванюша, хочешь я тебе еще один сон мой расскажу, о Богоматери? Это было еще в Бюннике.

Я в поле. Солнце ярко светит, очень тепло и зелено-зелено... Я все иду куда-то, и вижу, что длинной шеренгой в два ряда стоят люди — женщины все. Тесно стоят, будто за руки держатся. Стоят лицом к лицу и между ними пространство аршина 3, дорожкой. Ждут чего-то, к о г о - т о? Я встаю к ним и начинаю тоже ждать. Волнующе и напряженно. Осмысленно, будто с целью. Но *не* знаю чего. И вот проходят кто-то, какие-то женские фигуры. Но я знаю, что это еще — не главное! И жду, жду... И вот: идут еще, еще... и... вот (!) — упало сердце, я почувствовала, что это — г л а в н о е. Идет О н а, девушка будто, девочка даже, роста среднего, очень тонкая, кажется поэтому еще более миниатюрной. Она в голубом, совсем как небо, платье у нее распущенные светящиеся золотом волосы. И я вижу, что это только фигурка Ея — «девочка», но вблизи — какая Царственность! Какая власть! Я вижу почет Ей. Она проходит медленно, сосредоточенно, королевски. Вот-вот и до меня дойдет!.. Я замираю, я знаю, что я не ошибаюсь — это О н а, Пречистая. Она проходит молча, равняется и со мной, и... проходит... мимо... молча. Я сознаю всем существом, что это невозвратно, Она уходит, и меня пронизывает такое горе, что я не хочу, не соглашаюсь верить, что Она уже прошла... И вот любовь к ней, горячая, небывалая, не испытанная мною и наяву, охватывает меня, и я вся — любовь к Ней, мольба: «почувствуй же, как я люблю тебя, о, милая!» И вдруг... Она оборотилась и смотрит, ищет взглядом... По линии нашей шепот: «кто? кого Она ищет?» А я знаю. Слезы подступают к горлу, я не слышу ухом, но я внимаю сердцем Ея словам: «да, ты. Но ты не Ольга. Ты — Елизавета». И я проснулась. Не описать тебе того чувства, с которым я проснулась. Знаешь, когда я к Ней стремилась, уходящей, то я ощутила всю силу собранной Души! Это было дивно! Как я Ее любила! Я вся «летела» к Ней, в едином порыве Великой Любви! Странный сон! И почему другое имя? Я даже смеялась, уж не перепутал ли батюшка

при крещении? Но нет. Я — Ольга. И почему же тогда «Елизавета»? У меня часто странные сны. Сегодня Волгу видела. Вода была такая мутная... Я подумала: «письма м. б. будут...» и вот твое, но такое грустное... Ванечка, будь бодр! Будь здоров! Крещу тебя, дружок! Спи и кушай! Гуляй по солнышку! Теперь весна! Не тоскуй! Ну, улыбнись же! Твоя Оля

[На полях:] Господи, хоть бы дошла моя «обложечка» «Куликова поля»[i]! Хоть бы тебя отвлечь!

17.IV Ужасная тревога-тоска... Что с тобой? Твое письмо от 7-го томит меня... и ничего больше от тебя нет! — Умоляю, напиши!

Ванюша, знаешь что напоминает запах «любки»? Духи «Трэфль». Все равно какой марки. Да «Lotion» и то дает нечто-вроде.

Я тебе очень часто писала из клиники. Теперь ты наверно все получил!

Добрый цензор, если можно, то не выбрасывайте мой набросок для книжки! (хоть он и сверх нормы!) Спасибо[ii]!

178

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.IV.42

Милый Иван!

Не могу ничем объяснить твоего состояния. Не представляю, что с тобой творится...

Последнее твое письмо от 7-го, полученное мною 15-го — полно тоски. После него — ничего не было. Чем вызвала я у тебя это? Ты много мне писал о Милости Божьей... Но не думаешь ли ты, что таким отшвыриванием Светлых Дней (подумать страшно: «у меня не было Св. Дня!») отшвыриваешь и Милость Божию?! Ты надумываешь себе тоску, муть, ты пытаешь, терзаешь меня, — ради чего? Ты, бросив мне свою тоску со словами: «я вне жизни», «хоть конец» и т.п. — ты оставляешь меня в неизвестности целую неделю!! Этой самой неизвестностью меня уже в клинике истерзали. Ты, который имеешь величайшее благо — возможность мо-

---

[i] Пометка И. С. Шмелева на конверте: обложка вынута мной и вложена в оттиск «Куликова поля» (среди рукописей).

[ii] Приписка цензора: считала бы грехом выбрасывать такую прелесть, умею оценить ее, так как сама пишу! С почтением «добрый цензор» 3963/11.

литься, ходить в церковь, ты, пренебрегая этим, истязаешь несчастного, больного человека, лишенного и этого утешения. Если бы была у нас церковь, хоть в Утрехте — неужели бы я не собрала всех своих силенок, чтобы хоть раз услышать «Христос Воскресе!»?! Как можешь ты корить меня, что не было от меня вестей?! Я тебе очень часто писала. Моя ли вина, если долго идут письма?!

Я и в муке своей, ни на час тебя не забывала.

Я писала тебе тайком, во время послеобеденного сна. Я не читала иной раз ничего, чтобы не утомлять себя чтением, чтобы смочь сидеть в подушках и писать тебе. Старшая сестра и моя соседка (очень пеклась о моем отдыхе) настаивали, чтобы я не писала много, а спала. Только моя голубка, любимая сестрица понимала меня, — что мне более нужно. Она позволяла. Она же и в ящик их (письма) носила. Я не раз душой была в гостях у тебя на Пасху.., а ты мне ничего, кроме мутных слов тоски, на пасхальной неделе не сказал! Неужели не смог ты на 1-ый — 2-ой день урвать минутки, чтобы черкнуть: «меня запосещали, затормошили, но я о тебе помню»... или: тоску свою побороть, чтобы сказать 2 слова: «я тоскую, но я тебя помню сегодня в Светлый День!» Ну, не мне тебя учить!

Светлый День — Светлый, независимо от нас!

И вот потому, что часто он у нас (*о себе* говорю) «освещается» нашими, собственными светами, часто, очень мало с Христовым Светом сродными, у нас и отнимается радость! Я по себе это знаю, и думаю, что м. б. потому именно я, лично я и должна в страданиях встречать Пасху. Научиться ликовать сквозь свои «страданья», забыть их, пренебречь ими, ради Света Христова! Лишена и храма, ибо вот тоже, сколько раз не ценила достаточно его близость! У меня всегда Пасха тяжелая в личном. Это уже первые шаги к «да отвержется себе!»[683] Так я понимаю. А ты часто отвергаешся другого, в угоду личному, в угоду «себе». Однако, я не хочу «поучать». Скажу тебе только что ты любишь (о, как любишь!) меня терзать. Что, тебе все еще «доказательства» любви надо? Но знай что это дается мне очень дорого. У меня нет сил на такое разрыванье. Тебе мало ровной, мирной, тихой переписки. Тебе нужны бури, мятежи? И слова ласки? У меня нет на бури сил! За все это последнее время я чувствую себя взвинченно, напряженно, и не знаю, — в связи ли с этим, или случайное совпадение, что все это время слегка повышена t°. Для меня 37,3° уже очень чувствительно. Я же стыла в клинике при 35,8°. Доктор меня гонит из постели, но встав и «про-

ходив», т.е. со стула в кресло и обратно, — один день, я разбиваюсь окончательно и следующий день лежу. Укрепляющие средства испортили мне желудок и кишечник, и добились обратных результатов. Селлюкрин тоже! Аппетита и сна нет! Ну, посмотрим!

[На полях:] Не имею сил (*и* духовных) написать тебе больше, и иначе, т.к. ты сам меня отбросил. Ты разорвал контакт своей необъяснимой выходкой. Если бы ты был болен, ты написал бы, если не сам, то Серов. Нет, ты умышленно не пишешь. И это — ...этому нет названья! Ты всю пасхальную неделю оставил меня, бросив мне только твою тоску и обиду! Неужели, неужели ты хоть что-нибудь похожее делал и в отношении покойной О. А.? или это только мне такая честь?

Я боюсь пыток, которые у нас бывали. Я не вынесу их! Напиши же светло. Не мучай себя и меня!

Интересно, когда наконец, ты соберешься написать!?

Оставь же капризы. Подумай, что ты больного человека терзаешь!

Образумься! И не мучай (после этого письма) меня новой мукой, как это бывало. Напиши и устрой мир! Крещу. Оля. Твоя, любящая.

Милый Ванюша, Господь с тобой!

179

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.IV.42 4 дня

Радость, огромную радость дало мне сегодня твое письмо, Олюшечка... — я снова слышу, я так близко-сладко чувствую тебя, наполняющуюся жизнью и мне дающую жизнь, мой светлый Ангел! Я был в таком томлении, в таком опустошении душевном, в оторопи непонятной, в бессилии воли, и уже ничто не могло меня вернуть, казалось, к воле жить. Я з н а л, веря, что ты будешь здорова... но я мучился твоими муками, твоею истомленностью, — она передалась мне, и я был, как полуживой. Сегодня я осиялся, я живу снова, я почти счастливый... — Оля моя — ж и в а я! она — вот она, в с я, чудесная, в этом письме чудесном, изуми-тельном! Ольгуночка, я снова спрашиваю — к т о ты? Моя му-драя, моя — в с я — сверходаренная! необычайная... и снова, снова такая вся смиренная, такая кроткая, такая, такая... ну, вся ласка, вся: ... — тепло, вся — нежность! Ольга, я был потрясен, вознесен

сном твоим... твоим могущественным даром... ка-ак ты дала свой сон!.. Но не это — главное... а — ты здоро-ва! ты наполняешься, ты жизнью наливаешься, — я это слышу в немом шепоте строк твоих, — шепоте в моем сердце, в моей забившейся радости, в моей любви к тебе, вечной... но ныне, на земле, здесь... — наливающейся новым восторгом, таким пасхальным радостным светом..! О, неска-занная, чудесная... как люблю, как благоговею-боготворю..! Ножки твои целую, моя божественная, моя яркая, заря моя разгорающаяся, меня живящая, о, животворящая де-вочка-женщина, свет небесный... и чудесно земной-земной! Оля, Ольгуна, Олюша... я целую твое изумительное пись-мо... — оно — всегда другое, всегда — твое, всегда на-полненное силой и блеском сердца, ума, — ах, ты гениаль-ка многоцветная! райская птица-Жар..! сказка, приснив-шаяся во сне, до того непохожа ни на кого ты, вся — един-ственная, своя — неповторима. Олёк, умоляю и верю, и жду: ты... — о, как я молился о тебе!.. — ты пришлешь мне сон свой, твое творчество, родившееся в дремоте... ро-дившееся из сердца, из всего чудесно-душевного в тебе, — бессознательно так явленное, — это же только гениям да-рован, такой удел — прозревать сквозь сонные грезы! Я с радостным трепетом вчитывался в «рисунок», в эту облож-ку будущей нашей книжечки, — нашего светлого ребенка, малютки чистой... — твоего-моего сна, порожденного све-том сердца — «Куликова поля»! Я вижу эту нежную кра-соту святую — твое творение. Дай же мне его ощутить, я его вижу душевными глазами... я хочу его ви-деть, я, весь здешний, моими, здешними... Художник ты мой, дра-гоценная, Благодать на тебе Господня. Чудесно, чудо мое, чудесно, как все в тебе. Как я счастлив, что мое нежнейшее связано с тобой — ты, не знаемая еще, ты мне внушила это и дала силы — преодолеть! И — навсегда мы с тобой — вместе — одно: пока будет жить эта моя «молитва»... — она будет — к тебе, она будет — ты, на ее девственной ру-башечке, твое блистающее имя — Ольга! — солнечная ты моя царевна, — нерасторжимо вместе, духовно вместе, всегда, довечно. Онемевший, в благоговении, перечитываю я твои строки, вижу твой сон... — нежный, светлый, пол-нее, глубинный, — и так легко, как дуновенье, так ве-сенне... — что и кто мог бы придумать, выразить? Все, что лишь теперь я чувствую, — что вело меня в творчест-ве над этим неожиданно родившимся творением... чем оно, может быть, пронизано... — или я это ночными слезами чувствовал, и слезами чему радовался? — чего и не созна-

вал — ты это мне открываешь, внушаешь «сном». Ты «розовую колокольню-Троицу» моего детства видишь... ты весенний-земной райский сон зришь и — влагаешь в душу мою... и это — твоя любовь, огромная любовь, на какую лишь ты сильна, и я нежно-нежно вдыхая тепло твоего сердца, милая, свет мой! Я опьянен священно тобой, я поклоняюсь, я склоняюсь... — пресветлый Ангел земли родной! Зачарованно ослеплен блеском твоим живым, живая моя, животворящая моя Олюша... — как я наполнен тобой, твоим богатством чувств... Ты все можешь. Одолей оторопь свою, сомнения... — мне досадно, мне дико слышать это — «не могу»... «ничего не выйдет»... — да что же ты, только к себе такая глухая... ?! Ты должна овладеть собой, увериться, — это же твой воздух — творчество, это же рождено с тобой — творческое... — как же ты не поймешь?! Волею Высшею даровано нам — узнать друг друга: это назначено мне тебя найти, тебе вручить — нести жизни свет, вечный Свет, Божий Свет... — так явно отраженный в лучших творениях вечного искусства: любовь, радость, жаленье, снисхождение к греховности нашей, стремление бессознательное очищать жизнь, возносить и рождать лучшее в человеке, оживлять-обновлять истомленные души, пробуждать высшие силы, создавать в мире Образ и Подобие Божие, — радовать райским земное наше. Ты открываешься мне все изумительней, все богаче. Оля, ты — выздоравливаешь, пой Господа! Оля, я чувствую — ты будешь вся в чудесном расцвете, прекрасная, лучшая из лучших, незаменимая, неповторимая.

В субботу я опять был у послепасхальной всенощной, было легче мне, я мог молиться, и все — о тебе, весь с тобой. И опять радостно-благостно слушал гимн Богоматери, в конце службы перед Ее Образом Знамения... — как же прекрасно это! И в этом смешались для меня нежность светлая к тебе, моя с тобой связанность душ и сердец наших, моя неотрывность от тебя — и благодарение Ей... — образ-подобие Которой — в тебе вижу! Вчера, закрывая к ночи спускные ширмочки за окнами, вдруг увидал новый месяц — и мысль — он справа! — и мысль, осиявшая вдруг — это старинное наше — «пожелай самого желанного!», — и я... — «Оле — здоровой быть!» — вот, вырвалось из сердца это желаннейшее из желанного — ты, только ты, всегда — Ты, моя прекрасная! И ты мне ответила — письмо твое сегодня, — о, желанное, от Желанной! Ты слышишь — я — пою тебя... я не могу иначе, я весь наполнен, я чувствую приливающую силу, я хочу для тебя

жить, для тебя писать... писать лучшее, лу-чше, чем досе-ле... — единственно только для тебя.

Олюша, помни, надо набраться сил. Принимай «селю-крин», достань, если можешь, витаминное «Нестровит», лаборатории Роша, м. б. найдется в Голландии, выпиши из главного аптекарского склада. Если я найду возмож-ность, я тебе пошлю с кем-нибудь: это — как чудесные конфеты, как шоколад с молоком. Даст хорошее самочувст-вие. И питайся, питайся, и — больше, больше — лежать, лежать! Ты должна быть — «коровка в лугах», бабочка в цветах, пчелка в розовой чашечке, мотылек мой многоцвет-ный. А твой мотылек-цикламен уже опалил края крылы-шек... но еще розовый, еще живет. Я сохраню его. — Ка-жется, в конце мая — мой литературный вечер. Береги себя, не простуживайся... — прошу тебя, прими антигрип-пал! Что ты упрямишься! Эту зиму я никак не болел грип-пом, кажется — впервые. Я берегусь... для радостной встречи с тобой. Пусть бы увидеть только... — и это какое счастье! Тебя, ты — вся моя! Будь покойна, я весь, слава Богу, здоров, — чтобы не сглазить! — я сильней, я бодрей, я — верю. И знаешь — я тянусь к Церкви, к Бо-жьему... я хочу его, я хочу быть достойней, чище... — и это — через тебя, от тебя. Ты меня творишь, Оля. Ты меня лаской мягчишь, лелеешь мою душу, наполняешь ее богат-ством. В ней отмыкаются какие-то местечки, я полон мыс-лей, картин, планов... — надо лишь больше воли — взять-ся — и все излить... — да, в «Пути Небесные»! Во-имя твое, моя невеста, моя лучезарная, светлая, священная для меня Жена. Пусть только страстно желанная,.. пусть... — но ты воистину для меня — моя. Пусть в серд-це, в думах, во всем во мне... — пусть, — и это мне радость несказанная.

Помогай же себе обновляться и сильнеть, всячески силь-неть, — внушай себе, гони сомнения, верь, что будешь цвести, будешь счастливой, — хлынет потоком радость в тебя, — увидишь! И — творческая радость! Бу-дешь! Зови ее — придет, послушная, к моей упрямке-мнитке. Ах ты, орхидейная... я от тебя в восторге, только Оля могла так... радовать бедную девчушку... чудесно, чудеска-нежка! О, твои бы глаза увидеть, когда дарила... — бледнушка, про-зрачная восковка, русская орхидейка, не жадная, не хищ-ница-плотоядка, а ру-сская, душистая, цветущая... ночная орхидейка... вся ароматная, вся — весенняя-зеленая... «троицкая». Снежинка, пушинка... Олюнка... пальчики дай, тонкие, слабенькие... как их целую, как глажу, как

нежно держу, гляжу... вижу, как набегает кровью, наливается жизнью... моя воскресающая веснянка! Оля моя, как я приникаю нежно, не дыша, боясь оскорбить дыханьем... мою нетленную.

Рад, что И. А. отозвался. Поищу в его письмах о «Путях»[684], напишу. И у одного из твоих гиацинтов — сиреневого — была «детка»! Все думаю о твоем сне — Куликово поле. Как чудесно! Ты э т о сделаешь, я это получу! И бу-дет т в о е, только, ни от кого не приму, ты сделаешь — или не будет! Ты сделаешь — и именно так, как п р о в и д е л а. Это тебе — послано. Для — н а с. Для всех. Это связывает навсегда — нас. Хочу, хочу, хочу! Тебя, твоего, от тебя, из тебя! с тобой, — и ни с кем, ни от кого. Ты мне — в с е, в с я, ты живешь во мне, ты даешь жизнь, течешь в крови к сердцу и там — творишь. Я д л я т е б я — написал «Куликово поле». Ты оденешь его в крестильную рубашечку, мамочка моя, его. Ты его рождала, подарила мне, — дитя мое-твое. Я дерзнул... я коснулся чистейшего, нашел в своем прахе свет, силу — попытку лишь коснуться, выразить мучившее так долго, поведанное мне случайно, явившееся мне на могилке моей первой Оли — для Второй, последней, все завершающей, все превосходящей. Нет, ты не «дерзка», ты — полномочна, ты — назначена для сего. Ты чудесно восполняешь мое, меня, во мне... — ты — творишь. Художник милый, художник нежный, чуткий, полный любви, мне необычной, сказочной, смутно жданной, столько искомой, томившей столько и — обретенной! Оля, ты прими кротко «послушание»: это благодать на тебе, это д а н о тебе. Ты вся отомкнешься, все источники загремят в тебе, все священные огни возжгутся твоим сердцем, тобой, творческим в тебе — для многих. И Лик Пречистой найдешь и воплотишь... — о, если бы, с тобой, моя золотая птичка, моя пчелка, моя Царевна чистая... с тобой..! — увидеть Святое, облобызать все камни святых воспоминаний — были земной-небесной... оплакать радостно, слить слезы наши вместе... с т е м и... т а м, под старыми маслинами...[685] наполнить души светом, таким Светом..! И потом... — древнее увидеть — мечта! — пирамиды... Нил... пустыню... где зародилась мысль о Воскресении, о Бессмертии... таинственный Египет, прибежище Ее, изгнанницы... с Младенцем... — в душу принять святое Материнство, им согреться... вместе... — вместе мы в с е поймем! Ведь ты же — всепонимающая, всеобъемлющая... — ты же себя не знаешь, какая в тебе сила, дары какие... золото мое живое, прекрасная, чистейшая из Жен-

щин мира нашего... — ты — моя молитва, в ней я — лучше, я твой, я Ваня, Олин Ваня... — Как ты чудесно — Лавру, детку-Лавру, увиденную детскими глазами... на кубиках... Гениальная безумица моя, как ты огромна, ты все растешь, ты все чаруешь, — сто-лько в тебе всего. Твое письмо — неисчерпаемо... Ваня твой твою попытку воссоздать «крестильную рубашечку», — не может осудить, он ее зацелует, прильнет устами... и вольет в себя — твое творенье, сон-явь, сон станет явью, оживится... — о, как красиво-нежно! колосья, звезды... весеннее, и Лавра, и за Полем — Лавра... Нет, пришли! Что бы там не вышло — пришли! Хочу, молю! ножки твои целую — пришли, Оля! Оля, восстанови же и Богоматерь под синим небом осени, под золотыми кленами. Оля, благословись, вымоли у Ней силы себе, дерзанья... воплотить. Это — срединная и главная твоя Идея — вся твоя жизнь, Оля! Ты вся насыщена, вся створена Ею, Матерью, Оля... если бы ты здесь была... я тебе молюсь... Ты — для меня! — чудесное отражение Ее, Пречистой... не смущайся, ты же — достойна Ее благословения, Ее ограждения, водительства... Ею живешь ты, Ее впитала с первого дыханья мысли, чувства Божества в тебе. Ты — образ и подобие... — Ее. Да. Сам Бог дал это человеку. Тут нет кощунства. Ты — Ее образ и подобие. Ты — чистая. Ты — творящая, ты — благословляющая. Мне жутко, чу-дно мне сознавать, что ты меня коснулась, держишь в сердце! О, дар священный! Обнимаю твои ручки, нежно целую их... не смею больше. Твой Ванёк

[На полях:] Я не мог исчерпать твои письма. Я весь в волнении, чудесном. Я весь — любовь. Ты здоровеешь! Господи!

Я весь — счастливый, от твоего письма! О, киска! ласка! И вся — святая.

(Здесь капля «Сирени».)[i]

Будем же беречь друг-друга! В письме твоем я слышу: «Я — живу»! Живи! Будь, Оля! Я — весь нежность и благоговение. Люблю, люблю, люблю.

Маме напишу. Напиши, как ты ехала из клиники. Мне все важно, все!

---

[i] Письмо надушено.

180

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.IV.42

Мой милый, светлый, чудный Ваня!

Прости меня мой Ангел за мои упреки, мои последние письма.

Я так истерзалась за тебя, тоской твоей. Ванечек, радость... 23-го получила твое письмо светлое от 16-го, а вчера от 14-го (писал 11-го) и от 17-го, — писала тебе 23-го, много. Дополняла вчера, но не успела послать. И рада, т.к. сейчас твое душистое от 20-го! От 16-го такое, такое кружащее, как все теперь: как воздух, дымящийся на солнце, как зеленый «пушок» на кустах, как бело-серая дымка яблонь, как красные червячки тополя, качающиеся по ветру, как клейко-душистая, зеленая почка сирени!.. А сегодняшнее твое... молитва! Ванечка, я недостойна! Я — мразь. Я такое ничтожество! О, я так это знаю! Не пой меня, не превознеси! Ваня, прости меня за все! Ванёчек мой, светлый! Не говори, что я «только о себе думала», когда писала открытку. Нет, я безумно страдала о тебе. И, конечно, мучилась, что не в силах я тебя «воскресить». Я уверила себя, что я для тебя о б у з а с вечным «долгом» писать мне письма, как «обязанность». Ну, что ты поделаешь?! Я не видела это, ясно. Я, Бог знает, что думала. Все теперь забуду. Ничего и тебе не скажу. Я еще 23-го и вчера тебе написала кое-что про это. Рада, что не успела отослать! Ты не хвали меня, не зови мудрой! Ванёк, не оговаривайся (а то будто все боишься меня обидеть!): «"простая" — в лучшем смысле» и т.п. Ты таким никогда меня не обидишь!

Я люблю все простое! Сама хочу быть проще, проще. Я знаю, что мудрю часто, но не от м у д р о с т и, а от.., пожалуй, от изломов, что ли? Но я это не люблю в себе. Я борюсь с этим. Тебе, все бы я тебе о себе сказала. Именно дурное все, чтобы ты мне помог исправиться! Ванёк, я «сержусь» иногда только за другого сорта «недоверие» твое ко мне. Ты знаешь. Но это ни науки (я же — невежда), ни искусства не касается! Это все касается некоторой моей оценки, которой ты не всегда веришь.

А я, узнав многое «на своей собственной шкуре», готова за верность этих «оценок» на костер идти. Поймешь? Ну мне и горько, что ты никак с ними не считаешься. Думаешь: девочка может ошибаться. А это — моя Правда. Для узнания этой Правды можно и всю жизнь мою прежнюю оправдать, вернее, жизнь приобретает смысл. Ну, вот, мне

и хочется, чтобы ты хоть прислушался только. Уверять я никого не могу!

Но довольно. Коснусь еще только одного: о. Дионисия. В оценке его я касаюсь лишь его пастрырства. Но с остальными его свойствами я соглашаюсь, не спорю. Он — невежа. Это у него бывает. На Пасхе он и в отношении наших «насвинил». Но Бог с ним! Не принуждай себя — не ломай самолюбия, не проси его отца взять яички... Мне это больно! Никогда себя не превозмогай так ради меня! Мой неоценимый, Ваня!

Ах, Ванёк, если бы ты знал, как мучилась я за тебя целую неделю! Ни строчки от тебя не было, а перед тем такое ужасное: «не было Светлого Дня!» Ванечек, голубок мой, прости мне все мои «поучения», все, что я писала тебе о «Светлом Дне». Мне ли тебя «поучать»?!!

Ты так близок к Богу! А я, гадкая, стала тебе еще писать, как к Богу надо обращаться! Ванюша мой, прости мне! И все мое! Мое безумство — с «отражением любви». Разве я смею что-либо об этом! Да конечно ты всегда был и будешь — одно с О. А. И память ее мне священна. Ты прости мне и пойми, что по человечеству все-таки хочется мне иногда самостоятельно для тебя существовать. Так, хотелось бы быть первой. Ни у кого, никогда не была! Прости мне это! Я борюсь с этим, но иногда все таки мучаюсь. Я О. А. берегу в сердце. Я люблю ее. Я ее память чту. Но это все и не касается ее, а что-то у меня же и остается. Прости меня! Прости! Прости! Это от любви к тебе большой. Этот эгоизм любви! Если бы устно, то я бы все тебе сказала. А так выходит и грубо и не точно.

Ты обо мне не беспокойся! Ваня, у меня все хорошо! Силы приходят! Я уже хожу на воздух! Вчера садила в огороде кое-что. Не устала! Не беспокойся, Ангел мой! Я чуть-чуть; — в ямочки готовые уже бросала семечки. Я это так люблю! Это только мне силы дает! Сплю хорошо, ем много. Пью лекарство. Температуры не бывает. Я верю, верю, что оправлюсь, если не будет еще крови! Только бы не было! Д-р ван Коппелен прислал еще письмо со счетом из которого видно, что они исследовали очень точно. Я в письме от 23-го тебе набросала вид моей почки. Но теперь мне скучно сей историей заниматься, — м. б. дошлю как-нибудь. Все-таки я очень люблю медицину, хотя бы и такую «прикладную», как моя работа (бывшая).

Ванёчек, золотко ты мое, как я тебя люблю, душа моя!

Ванюша, милый, прости меня! За все, за все! Солнышко мое, ты не хвали меня. Я возгоржусь еще! Я этим и так

страдаю. Я очень много хочу себе! Да, да! Я знаю это! Мне нужно учиться смирению! Не буди во мне еще больше гордыни! Какой я художник! Я не смогла тебе сделать автопортрета! Понимаешь — не смогла! Я пыталась. Удивительно, что техника еще ничего! Если бы я писать стала, то только для тебя! Но подумай: какое разочарование и тебе — если вдруг увидишь — бездарь! Это меня пугает. Но я хочу, чтобы ты все знал! Чтобы слабости мои знал, — тогда только ты можешь судить меня! О, какая я «подобие Ея», — страшусь даже выговорить-то! Я такая... нечистая! В Ее-то свете! Я со всеми слабостями греха и людского! Не хвали меня, — возьми лучше такой, какая есть.

Ванечка, ты обмолвился: «все сделаю, — о поверь —, чтобы приехать к тебе». О, Ванечка, боюсь поверить!.. Ванюша мой, приедь же! Да ничто не смутит тебя! Как все это несерьезно, (прости!) по-детски, — все, что тебя «смущает». И мама, и Сережа накинутся на тебя с радостью! Еще до войны мы все 3-ое мечтали пригласить тебя отдохнуть.

У меня были дерзкие мечты (не смейся!) — тебя пригласить навсегда к нам. Мне казалось тогда (я тебя совсем не знала), что у тебя не своя квартира, что ты м. б. у каких-нибудь надоедливых французов в пансионе, как многие из одиноких русских. Мне так страшно бывало за твой duodenum и так хотелось послужить тебе. У нас же было преизобилие всего. И мне казалось, что тебе бы понравилось в деревне. Мне мечталось взять у тебя все заботы, дать тебе возможность отдыха и творческого покоя. Но я вскоре же сама увидела, что этого бы не было. Ты бы задохнулся тут. И потом, — нельзя никого «выкорчевывать» из его мира! Я это знаю! О, как знаю! У меня это были мечты тогда, когда... «только я да птичка». Помнишь?

Я и И. А. звала гостить. Мы ему устроили даже лекции тут по иконоведению при выставке византийского искусства. Но он не приехал — не мог отлучиться оттуда из-за визы въездной обратно. Мы 3-ое постоянно томимся в безрусскости здешней.

Это уже помимо всего, у меня-то! О себе я не говорю. Ты же знаешь. Но и мама, и С. — очень, как родному, самому родному тебе будут рады. Никому, ничего странным не покажется! Всегда тебя хотели сюда пригласить, а теперь, когда знают, что мы так сдружились — чего же удивительного?! Не надо так изображать, как ты себе представил! Представь себе обратное: — из-за всего этого внешнего... мы никогда, *никогда*, до смерти... не увидимся! И тогда сам оцени: можно ли смущаться? Я не мыслю пройти

жизнь свою и не увидеть тебя. Не узнать от тебя всего, чем живем мы оба. Милый, родной мой Ваня, как хочу с тобой быть там, вместе! И в Египте!

Будем молиться, — Господь подаст! Я не знаю, что с нами всеми будет. Я так хотела сама все установить и решить, правда молясь, испрашивая Божьего пути. Но все оборвалось так странно. Я стала такой беспомощной, такой зависимой и слабой. И это единственное, что я могу ясно увидеть. Я вижу, что только Господь мне указать может, что делать. Я смиряюсь перед Господом. Ванечка, м. б. все само, великим Промыслом разрешится! Грех было мне так «трепыхаться», — надо спокойно вручить себя Богу! Не зови это — пассивностью. Это — далось мне дорогим опытом, Ваня. Я просто вижу: «без Бога ни до порога!» Я не буду пассивна, не думай! Я буду с помощью Его, творить свой мир. Я буду стараться очистить себя, улучшить. Я верю, что недолго еще — и все откроется. Мы не знаем почему приходят с р о к и не по нашему хотению... но все мудро. Все *н а д о*! И в это время, время неясное, мутное, — давай бережно нести внутри нас драгоценную «Неупиваемую чашу», чтобы не расплескать ее ничуть! Будем счастливы тем, то мы оба имеем! Ванечка, верь, с Божьей помощью плохого не будет!

Я увидала, что из всех моих «трепыханий» вышла только болезнь. Ты спрашиваешь, что я зачеркнула (5 стр.) о болезни зимой... Я зачеркнула о болезни, описание ее, зимой, боясь, как бы ты не поставил в зависимость от себя, не стал бы терзаться... Не надо! Не терзайся. Болезнь мне была нужна. Во многом! Зимой же было ужасно: мне и казалось, что добром не кончится, что я разобьюсь как щепка. И тоска была... Ужас. Теперь нет тоски. Теперь мне светло. Не будем мучиться. Мы ничего ведь изменить не в силах... Это надо безропотно нам принять пока и... ждать! Господь укажет! И растить внутри нас свято то великое, что даровал нам Бог! Мне так приголубить тебя хочется! Не тоскуй, мой милый!

Мне впервые (за всю жизнь) радостно было подумать о «будущей жизни», от слов твоих, что «там мы все будем — одна Душа!» Да, Ваня, там я с тобой буду! И как же неразделько! Но мне хочется и здесь, — не могу иначе мыслить, — здесь, здесь всю твою душу обнять!

Милый Ваня, надо верить друг другу, — тогда легко! Ванюшечка, Гений мой! Не хвали меня, — я так ничтожна! Как много сказать тебе надо... как нету слов!.. Ты получил «Куликово поле»? А сон мой о Богоматери... с «Елизаве-

той»? Вань, я не знаю «Трапезондский коньяк». Милушка, досылаю тебе «кусочек себя», забытый в сумочке тогда. От пояска. Приедешь, Ванюша? Только бы все спокойно было! Ну, хоть ненадолго! Попытайся! Ты хлопочи на месте, в немецкой комендатуре. Не полагайся никогда на женскую помощь в хлопотах, Ваня верь мне, знаю! Они из ревности (пусть читательской) не устроят! И даже мать Ивика. М. б. у нее и еще иные чувства. Ты не знаешь! Это все сложно. Я не хочу клеветать, и м. б. я неправа, но ты имей и это в виду. Я много такого видала. Квартировы, например, отошли от меня. Ревность! Скорей тогда смогут твои немецкие читательницы помочь. Попробуй! Мне не попасть в Виши! Т.к. почка сама здорова. Да и ехать мне невозможно — я слаба. Я буду очень за собой следить, чтобы хорошо поправиться... для т е б я! Приедь! Целую тебя, Ваня мой, нежно, тихо... долго обнимаю тебя и затихаю у тебя на груди! Оля

[На полях:] Никого я не «очаровываю», — напишу вот как меня старшая сестра «любила». Какая я «скандалистка»... Напомни... Ванёк, я орхидею дарила без «самолюбования», — очень я была по-ребячески слаба, зависима, благодарна... Я даже тогда смущалась и дарить-то. Но вообще — мне это знакомо!

Посылаю первые незабудочки!

«Незабудь»! Что ты обещал приехать!

[Приписка карандашом:] Пишу урывками, потому не так ярко! Но в душе у меня так все горит тобой!!

В а н е ч к а!

181

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.IV.42[i] 4-30 дня
23.IV — 11 ч. утра

Олюша, милая детка, какую радость дала ты мне сегодня! Дай же твою ручку, — мою, да? Я нежно коснусь ее, трону ее ресницами, на них еще мешающие мне видеть остатки слез... радостных, от переполняющего меня восторга, от счастья, что это — ты, светлая, мне послала в радость и утверждение. Да разве я мог ошибаться, называя тебя Госпо-
подним Даром?! Ты вся переполнена дарами, ты — «почитающая Господа» — «Елисавета»! Так и сохрани это имя, Ею, Пречистой, тебе дарованное — в н а г р а д у. Твой сон

---

[i] На конверте помета красным карандашом: !!!!

необычаен, и ты описала его необычайно: ярко, благоговейно и — так поражающе п р о с т о! Ты в с е имеешь, ты в с е м владеешь. Ты сочетала в себе и художника слова, и художника-живописца, — ты так богата! Но жаль, что ты так — е щ е — богата... предельной скромностью. Будь чуть победней в этом, хоть чуть-чуть. Больше уверенности, — свободней будешь, и тогда все твои «кладовые и сундуки» — раскроются. Милые глаза мои, такие зоркие, такие чуткие, такие нежно-нежно му-дрые! Ольга моя, как ты чудесна! Я целовал твое «видение», — оно и есть в и д е н и е! — и я так ясно вижу, в и ж у... — это видение «Лавры», в заревой дымке, яснеющее вдали... о, как это, именно, прекрасно, — «чуть проступающее в туманце!» И в этом туманце-дымке... — чуть розовеет-светит «свеча пасхальная», но золотые блески крестов играют, и золотая чаша, откуда проливается золото... — вон она, — о, как же я вижу ясно... сердцем, н о в ы м сердцем, которое ты во мне творишь... Это, будто, и м о е виденье... — из «Богомолья»[686], мутным утром после ночного ливня (пахло твоими «Après l'ondée»[i]!?), когда мы с Горкиным всматриваемся в святую, для нас — такую свято-таинственную даль, которая вот-вот раскроется... О, дивная моя, свете мой тихий, Олюша... Как ты строга к себе, требовательная недоволька! Когда ты в себе уверишься? кому поверишь?! Я... в таком я не смею быть пристрастным, слепым... — ни-когда! Знаешь ли ты, что иллюстрация, да еще — «обложки»! — одна из труднейших художественных работ!? Я-то знаю по опыту. В Москве ли нельзя было найти графиков, мастеров обложки?! Да еще нам, кучке известных писателей, — писателей-издателей, — говорю о нашем издательстве «Книгоиздательство писателей в Москве», — это была наша марка, — ! А вот, большие художники-графики и иллюстраторы... Бенуа... Бакст и др. [Сомов, Судейкин], Коровин[687]... Пастернак[688]... — давали... так бедно, так «без изюминки»! Ты всех бы победила их в конкурсе. Ты вся — в творчестве, ты и во сне творишь, «ты и во снах необычайна»!.. — о, Русь моя — девочка-Оля моя, свет вечный! В снах — ж и в е ш ь. Творчество — сон тончайший, «сон-на-яву», тревожно-чуткий. Ты прирожденно творишь, с первого лепета, с первого шевеленья младенческой твоей мысленки. Я — дружка твой, другая половинка... — я же себя-то знаю!! — и как же не видеть мне, к т о ты, и — д л я ч е г о ты еси?! Ну, слу-

---

[i] Название духов, которые И. С. Шмелев подарил О. А. Бредиус-Субботиной (*«После ливня»*, *фр.*).

шай, скромница кроткая... — а внутри, — я знаю, — кто ты и какая еще, — внутри! — и не запрашивай меня, ты сама отгадала и прекрасно знаешь, и это очень хорошо, что ты хоть внутри такая, — очень к себе нескромно-требовательная — раз, и... очень — подсознательно знающая, что ты — о, какая огромная! — два. Ты знаешь, что ты огромная, но ты страстно самолюбива, до... скромности... — ты поняла меня? ты — да не поймешь! — и потому таишься. Ну, Ване-то отворишься, Ване-то своему покажешь свою душеньку, — да я и без показа ее вижу, — я же себя-то знаю, и — слушай! — еще только начиная свое писательство, я уже знал, что одолею то, что моим современникам не под силу: это не самоуверенность — это чуянье своего «внутри», что там билось, искало своего рожденья. В тебе бьется и ищет... давно, с детства, — и для меня ты — как бы мое повторение (твое умное сердце все и вся покроет!), и... кажется — ярчайшее! Будь же уверена в своем: ты его видишь, ты его носишь, как ребенка. Ну, слушай, я теперь отступаю, и пусть говорит тот, кого ты не ожидала... — бесстрастный «третий». Под твоим обращением к «доброму цензору», — о, какая ты удивительная даже в этом, какая чарующая! — киска! — после твоего надежду таящего «спасибо!» — стоит приписка карандашом... — я вижу твои глаза, в них слезки радостной благодарности, почти молитва! — за «доброго цензора»*! — стоят следующие строки: «считала бы грехом выбрасывать такую прелесть, умею ценить ее, так как сама пишу!» — с почтением, «добрая» цензор —» — заключительные кавычки — мои. Ну, «чай теперь твоя душенька довольна?» Утри же слезки и вознеси молитву — за все, за все. Я счастлив, я — одарен тобой, ласточка. Один вопрос: ты мне писала, что «гирлянда — во сне — дана сводом»? т.е. я разумел — как бы византийским куполом, как... небом? Без «декоративного» двойного изгиба вниз? Второе: думаю, что заглавие должно быть «Кул... П...»? Это урочище, и потому, кажется, должно быть и слово «поле» с прописной. Тем более — ставши историческим именем. Косово Поле, Гуляй-Поле и прочее. Согласен с тобой: «К» м. б. — ? — неуверен все же — несколько тучно. Концы гирлянды разумел чуть волнистыми, — думаю, они не должны бы доходить до «точки»... а лучше остаться как бы

---

* Я позволю себе сказать по твоему письму: помолись же за добрую душу, скрытую для нас под № 3963/11. Перед чудесно данной Лаврой преп. Сергия — кто не преклонит сердца?!

«без конца», м. б. с легким «завитком»? и с них падает звездочка... — она — как ты представляешь..? не должна быть прикреплена к «концу»? — будто сорвалась, еще падает, и потому не долетает до завершения рисунка внизу? Колоски чувствуются — и в светлой — ранне-весенней зелени — звездочки — будто цветочки — земно-небесные! Олюша, ты удивительна! Этот «частокол букв "К. П..."» — как он оберегает, ограждает «Лавру», — это твоя «идея», ты ее не высказала только ясно. «Куликово Поле» — ограждило «Лавру», укрыло ее. И нынешнее «Куликово Поле» — ограждает и — сохранит. И этот «туманец-дымка» — как дивно-тонко! — именно — проступает, как — надежда, надёжа! Дивная, целую твои ручки, твои ножки, твою... Душу бессмертную поцелуем моей Души. Думаю, что автора надо дать помельче шрифтом, чтобы не выпирало, а точки не надо: на обложке, обычно, не дают, точка — завершение, а тут — только оповещение, что автор дает вот книгу такую-то. Мы в нашем издательстве приняли такое положение, и оно утвердилось. Позволю себе спросить, невежда: м. б. игра звездочек может проявиться острыми лучиками, остреечками... — Представляю, — но лишь смутно, — как же будет чудесно... в красках! Ты спрашиваешь — хочешь? Да, хочу, хочу, хочу... так хочу!.. Олюша, очень хочу!.. о-чень, моя бесценная!.. Олюньчик милый, только ты тут хозяин, в обложке, формате, наборе, во всем, во всем... это твое «Куликово Поле», все и совсем — твое. Как и все мое, впрочем, — твое, для тебя, тебе. И это не (отдельно) слова мои в моем письме... это так и будет, это так и есть. Ты должна быть моя правопреемница, единственная на земле, — ты, и только ты. Только ты можешь все исполнить, с чем в моем сердце и воле связаны мои книги. Ты, только. Сейчас был инженер[689], однополчанин моего Сережечки, мой младший друг. Я ему показал обложку... — ты не обиделась, ты позволишь? — «чудесно..!» — только и сказал... не христианин, караим, честнейший человек, никогда не преувеличивающий, всегда прямой. Мало тебе? Ну, жди... когда это будет сказано всенародно. Это будет. Олюночка, козочка моя, ты скоро будешь играть, прыгать... только потерпи, вылежись, окрепни, и ты вся загоришься блеском, мой дивный бриллиант, уже вся ограненная! Оля, у тебя в сердце святой огонь, неси его, питай его... дай ему светить миру!

Твое сердце — редчайшее из редких, — это не хвала. Я знаю. Я вижу тебя, дитя... ты — дитя, как все истинные... и я часто ловлю в себе свое «дитя». И я во многом дитя...

при всех грехах моих и недостатках. Ты истинного теста, творческого. Ты избрана. И сон твой, Богоматерь... — как ты рассказа-ла!! ... это и есть «посвящение», благословение. Для тебя Она являлась. Преп. Сергию было в видении Ее слово — «он Нашего Рода»[690]. И я в «Куликовом Поле» позволил себе вложить в его слово — «есть там нашего роду...» Ты услыхала т о же: «Ты не Ольга, — т.е. не земная только, не светильник только: ты "почитающая Господа", ты — молитва, — вот что значит — "Елисавета"». М. б. и другое тут, но лишь — е щ е, е щ е: ты знаешь, кто была Елисавета... — родственница Ее. И к о г о она создала. И... «взыгрался младенец во чреве моем»... — кто и что знает?! Младенцы бывают и... «духовные»... — нет преград Милосердию Господа. Оля, я не мистик, я просто хотел бы очень просто в е р и т ь. Пастер[691] говаривал: «я хотел бы верить, как бретонский наш мужик... нет... как бретонская баба...» Я хотел бы верить, как... рязанская или новгородская старушка... Быть дитей, евангельским. И тогда только — Царствие Божие. Будем такими, Оля.

В следующем письме я тебе напишу, что писал мне И. А. о «Куликовом Поле»[692] — уже отыскал в его письмах. О «Путях Небесных» — еще не раскопал, все у меня в ворохах, ждет хозяйской руки, любящей, а моя — только ворошит и грудит. Олюшенька, не утомляйся, не форсируй поправки, — все придет без усилий, иначе замедлишь выправку. Я не нашел ни слова в письме, как твое здоровье. Не забывай же писать хоть словечко. Почему был грустен? Но, Оля... если самое дорогое в страдании, так затерзано... так отчаивается, так истерзано... как я могу быть покоен?! Тут не мой эгоизм, тут — любовь, и все, что из нее родится: жаленье, страстное желанье любимой покоя, довольства, радостности, певучести, ж и з н и! А такой, какая ты,.. — Господи, возьми от меня и дай ей! — вот что во мне к тебе. Если бы надо было, чтобы я ни-когда не увидал тебя и только при этом ты в с е получишь, а главное — здоровье и волю творить, светить... — и — все возьми, Господи, но ее сохрани! — вот моя молитва, Оля. Я жил, я работал, и находил радость в ней, — жизнь моя была — так, мимоходом... да, я не видел жизни, я и не дал ее и покойной Оле. Это я сознаю, остро. Но... может быть так только, жертвами... — но я не чувствовал *этой* «*жертвы*», тогда не чувствовал..! — и созидается что-то нужное... — не смею так думать о себе! — что дает многим радость... — но теперь-то я в и ж у, что давало, дает, дает... и все еще дает... и будет давать? — не знаю. Но тебе, родная моя, детка моя

чудесная... тебе я желаю радости и в творчестве твоем, — бу-дет оно, и радость будет! и счастья в жизни, благостности душевной и всех п е с е н, которые может спеть телесное наше в нас, для нас... так желаю! Ты мне много дала в общении со мной, с Ваней твоим... в письмах... — я же тебя, т е б я, *в них не только слышу, я осязаю тебя, я почти* телесно слышу твою близость... твое т е п л о... твою кровь... о, как же дорогую мне! Ты мне много себя даешь, моя Олюша... Да, я страстно хотел бы взять твои руки и прижать их к глазам, и им отдать слезы радости, моего счастья... и бессловно целовать их, и этим все, все сказать тебе... Оля моя, чудесная моя девочка, светлая моя птичка поднебесная! Сколько в глазах твоих! сколько в твоей улыбке, в нежном взгляде, таком глубоком..! Я все еще юн..? — так писать, так чувствовать?!! Да, еще горит во мне огонь, под пеплом уцелевший... — Я буду ходить в церковь... я две послепасхальных всенощных и одну обедню провел — в храме... и как легко мне было! Девочка моя, я понимаю и твою печаль, и мамину — не быть в церкви... это вам-то, от храма-то сущим... да, я понимаю, как это тяжело. Что мешает мне работать «Пути»? Я как бы цепляюсь за всякий повод, чтобы откладывать... и знаю, что н е н а д о откладывать. Но, знаешь, жизнь так дергает... многое мешает уйти всему, — я привык писать без помех, весь отдаваться... это как в одержимости чем угодно — всем своим миром отдаваться... — я всегда «через край», никогда не меряю своих часов работы... — такой уж от роду — «увлекающийся». Но — н е дурным, не думай. Я мог и могу себя держать. Хоть я и слабоволен. И вот, полюбив тебя, я в е с ь — с тобой, в тебе. И ты — закрыла для меня — пока — и страсть в работе. Но ты велишь, ты хочешь, — и я покорюсь тебе и я заставлю себя — д а т ь, о т д а т ь тебе мои «Пути»... Я для тебя должен их закончить. Господи, дай мне сил! Я ничем не болен. Я лишь грущу порой, без тебя. И хочу верить, что Бог будет милостив к нам. Благодарю тебя, дружок-Олюша, и за «сон» твой дивный... за дивный пересказ его. Ты вся дивная.

Прошу: больше лежи, не делай усилий над собой... укрепись, — все наверстаетшь. Все! Все у тебя в нервах, они и сосудами правят. Ты же знаешь, что даже склерозные явления — часто — от расстройства нервов. Многого врачи не знают. Язвы чаще всего нервного происхождения. Всякие выделения желез — рефлексы. Это и до Павлова[693] было известно. О-пытом. Почему и в кулинарном искусстве придавали всегда большое значение «красоте» стола и «вкусо-

вым возбудителям». День ото дня станешь расцветать, только будь терпеливочкой, ну, киска моя... Ты любишь спать «калачиком»? Ну, конечно... и я ярко вижу этот «калачик», теплый, наливающийся здоровьем, слышу, как в нем тук-тук... мое!? и да будет радостным сон твой, без сновидений, хотя бы и чудесных. Оля, молись без надрыва, тихо, кротко, светло. Получила ли ты письмо с молитвой-успокоением... очень похожей на мою когда-то... я забыл, затерял ее. Повторяемость нужна, это и во многих церковных молитвах... — это соответствует каким-то законным необходимостям нашего духа. Ритм? — как бы поглаживание души. Больная, она хочет, чтобы ее ласкали, утишали. Как и больное место. Ты же все знаешь. Ты — чего и не знаешь — знаешь уже. И я перед тобой — мальчишка. Не улыбайся, это правда, так я и думаю. Если бы когда-нибудь узнали люди твои письма... — обогащенными бы себя почувствовали. И я не преувеличиваю, когда думаю: это было бы захватывающее чтение — восторг, переписка этих двух половинок одной Души! Тут все — правда, сама Душа, в этих письмах-перекликаниях, призывах, молитвах, признаниях. Письма должны быть сохранены: это святотатство было бы — их сжечь или утратить сознательно, из каких-либо личных соображений. — В пятницу, 17, я написал еще раз Лукиным, объяснил мое желание быть у них... сегодня получил ответ! Они переезжали, и позовут меня. Раньше июня Л[укин] не думает в Голландию, а м. б. раньше.

Твой Ваня, без остатка. Ну, дай же кусочек «калачика»! Послал сегодня письмо маме.

[На полях:] Чуть не выбранил милых людей, эх, горячка! До чего хороши «пасхальнички»! Они чуть срезаны снизу — и — стоят! Ты их зацелуешь! До чего они мне по-сердцу! Только бы докатились до твоего сердечка!

Дай парижский адрес Сережиного шефа! Я передам ему пасхальные яички.

Я купил 3 пучка ландышей, из лесу с корнями и цветочными стеблями. Посадил. Они день со дня будут распускаться — это — ты — юная!

Не заботься о «вечном цветке» — для меня: у меня есть этот «вечный цветок» — Ты, Светлая.

И. А. сообщил[694], что ты была тяжело больна, но Господь сохранил. что ты — самая чуткая из всех читательниц, что ты — Дар Божий. Ничего обо мне: он — ревну-уч! Ради Бога!!

Узнай, как мне с луковицами твоих гиацинтов и цикламена? Посадить? слабо поливать? Напиши.

А ты, чай, подумала в сердце своем — иноческий лик знаменует перемена имени? Это не ошибка, это — Ольга — Елена — Елизавета — утверждение, ты-то «почитающая Господа»!

182

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IV.42

С благодарностью «доброму цензору» за доставку моего рисунка![i]

Милый мой, ласковый Ваня!

Позавчера, 27-го вечером твое письмо от 23-го, такое... Ну, прямо меня возвеличивающее! Я смущена! Ванёк, ужасно смущена! И главное еще потому, что не выполнила того, что хотела! Я во сне видела все иначе! Я тут «стилизировала» так сказать. Ванюша, я сперва и сделала купол, но думала, что быть может больше принято именно вот так стилизированно. И гирляндочку я сделала симметрически вырисованной, а «виделась» она мне тоже иначе! Звездочку я в уголок посадила, тоже поэтому. Зритель привык к точности графической. Я с этим считалась. Делала «с оглядкой» на постороннего. Лавру я отчасти «скрала» с фотографии, т.к. я ее никогда не видала. И мне за это очень стыдно, когда твои хвалы слышу. Я же тебе об этом писала! Я ничего не выполнила из сна! Осталась только символика. Но странно как: мне снился сон, что меня кто-то чествовал... после «Отче наш», помнишь? И вот это ты! Ты меня так зачествовал! Меня очень тронула приписочка цензора. Как приятно, что письма попадают в чуткие руки! Благодарю т у, «добрую», если ей снова попадет это письмо! Очень благодарю милое сердце! Я посылаю тебе в этом письме еще одну обложечку. Это более «свободно», — это — почти то, что я «видела». Сделай поправку на то, что очень мелко (безумно трудно!), что у меня только одна (!!) кисточка, довольно пухлая, что бумага не специально-акварельная и мало красок. Я кое-где «умучала», например колокольню. Было прилично, а хотелось еще лучше, кисточка мазнула слишком толсто, стала я смывать, бумага же не ватманская, стерлась, — получилось грязно. Затем, — зелень

---

[i] Это предложение взято О. А. Бредиус-Субботиной в рамку.

сразу после букв должна быть иной, — эта слишком густа, по-моему. Я отчасти умышленно ее сгустила, чтобы дать контраст «дымке», — дали. Но это — слишком густо. Она тоже — «умучена». Хочу спросить совета у тебя: какого же цвета всю остальную обложку? Нельзя же белой — это нейдет, по-моему? А? М. б. коричневую? И тогда тебя, твои имена? Киноварью? Крем? Белые? Скажи? Я пока не «мажу», а так посылаю. Я не представляю как делается репродукция?!

М. б. можно бы мне большой размер делать? И они бы уменьшили. Тогда чище, точнее, лучше! Я же тут порой булавкой работала. Это вообще все: «начерно». Звездочки «лучиками» я, представь, сама уже пробовала. И именно в воскресенье, все воскресенье сидела, пробовала. Ты — чудесен! Ты все знаешь! Они нежнее лучиками! Сон был, конечно, чудесный, но Лавра, ее общее «горение», мне почти что так представлялось. Она вся в свете зари! Ах ты мой Горкинский! Так и вижу тебя малютку,.. тянешься «за-ручку», устал, морщишься на солнышко, углядел уже Лавру! Вижу тебя и Горкина твоего! И е г о вижу, душистого, на «Кавказке», в белом, молодчика, твоего отца! Догнал, обрадовал, поласкал, умчался[695]!.. Ванёчек, я не знаю, м. б. я путаю, но мне казалось, что Богоматерь о преп. Серафиме сказала «он Нашего рода», когда Она явилась в сопровождении Иоанна Крестителя и др. святых в храме (?). Но м. б. я ошибаюсь?!

Я вся горю желанием работать! Мне так писать хочется. Я предыдущей ночью, с 27-го на 28-ое, после твоего письма не спала — почти что. А только чуть дремала. Грезила... И опять мне «пришло» что-то! Как хочется описать. Все так просто, так толпится, теснится, просится! Я никогда не знала как приступить к рассказу о «Лике» том! И вдруг, я все «вспомнила». И состояние души «вспомнила». М. б. выйдет! Только все очень «отвлеченно» начинается... Чтобы понятней. Так мне видится.

Ну вот чуть-чуть конспект[696]:

Дом наш деревенский, старый, такой же как раньше, из года в год, и церковь все то же, — но мне — все другое. И приезд наш, обычно шумный, тройками (о, эти переезды! — опишу!), с мальчишками у воротец, одаряемых нами конфетами и т.д., — на этот раз другой... Год смерти отца, — год войны. Мы убого едем с бабой-возницей на 1 лошаденке — все взяты. Из замечаний и «причитаний» бабы (только из этого?) узнает читатель, что и у нас все — иное. Мои детские думы. Первая ночь в так хорошо знако-

мой комнате. Намеком о моей «болезни — смертью», моей одержимостью этим страхом, за маму. Моя неспособность молиться, т.е. обращаться после той исступленной просьбы за отца к Богу с просьбой. В силу этого моя «оставленность», беспомощность. Это *все* **так** и было! Из этого родилось, родился «Лик».

Мои сиденья (тайные) на лестнице ночью, мои беганья «тенью» за мамой в вечном страхе за ее жизнь. Эти подслушивания на лестнице, когда от напряжения начинает тишина звенеть!

Мое отчаяние, почти уверенность, что мама умерла, однажды, когда она с братом ушла пройтись. И почти припадок. Бабушка... Вся ее личность в немногих словах. Ее немудрящие слова, но какие же верные, мудрые! Наши чтения с ней книжки «Богоматерь» и мое «оттаивание». Мой чудный сон, — отдала себя под Ее защиту. Несколько еще странниц, рассуждающих о «талантах» и моя мысль впервые: развить талант во Славу Ему! Утро одно, весеннее — (это — не соответствует «фотографии фактов», — но художественно правдивее!) — бывают такие утра, когда чего-то ждешь! О, я опишу это! Это утро после сна того, моего! И затем — церковь. Этот образ. Это — мое «Видение»! Я не знаю выйдет ли. И потом еще: мне всегда неловко, стыдно так собой занимать читателя. Я бы думала про кого-нибудь это рассказать, а не о себе. Я раньше думала поэтому м. б. «из дневника чьего-нибудь» это взять. Напиши твое суждение! Например: ну, скажем дневник какой-то девочки, попавший при разборе чемодана спасенного при потоплении судна, — это так часто 2 года тому назад бывало. Ну, оставить читателя думать, что из скромности, стесняясь, (или погибла?), хозяйка не отозвалась... И вот, нашедший (кто он? — можно подставить личность) решил, что может описать. Это было бы удобным для следующих «описаний жизни» этой девочки. Конечно не трону «повесть ту, проклятую!» Но мне претит всякая н а р о ч и т о с т ь. Боюсь не вышло бы это так. И наивно! Ну, скажи! Я знаю, что это очень трудно задумано. Надо умело (а где оно, умение?) дать эти детские страданья. Не наскучить, не включить элемент истерии. Но если я себя сейчас забуду, «выключу» из жизни и перенесусь т у д а, в детство, то я все переживу так ярко, что... только пиши!

Умоляю тебя, Ванёк, напиши что ты думаешь. Разбрани! Если не понравится! Все укажи! Потом напишу (снова) «Говение», вернее: «Большой мой грех». Еще опишу рассказ об Иерусалиме одной странницы. «Ильин день» еще

ярко живет в душе. Еще мою первую Пасху, все, все, от «Погребения Христа» до... игрушек в «большой столовой». Эта столовая мне напоминает комнату Виктора Алексеевича с «пунцовым диваном». Там тоже — большие окна в сад, в сирень прямо, дверь в прихожую, — так и вижу вот Даринька с матушкой Агнией[697] входят. И у нас стоял диван по стене (против окон), где и дверь в прихожую, — только не пунцовый, а карельской березы, кожей обитый.

И образа, с радостной лампадочкой в переднем углу. И печка, перед которой сторож «громыхал» дровами зимой. Я именно нашу «большую столовую» (была еще «маленькая», семейная, где *по*стоянно ели) и вижу, когда читаю.

Пиши, Ваня, «Пути»! Как радостно это! Пиши, отдайся им! отдайся Дари! Не ревную, ибо себя вкладываю в Дари, для тебя! Не из гордыни! Ты очень верно обо мне... о... чрезмерности... до... «скромности». Я же говорила, что я самолюбива и духовно горда! Я борюсь с этим! О. Дионисий знает это! Потому и прошу: не величай меня! Ах, давно тебя спросить хотела: читал ты, м. б. «Der Teufel» Neumann'a[698]? Интересно. Оригинально! Жутко. Я читала на берегу моря, — при солнце и т.д. — и не было того, что бы наверное чувствовала иначе. Черта никакого нет, конечно, но так у людей жутко!

Еще: читал ты Stephan Zweig'a[699]? Его теперь запретили, но я читала давно. Интересно, нравится ли тебе. Но его читать надо в оригинале. И Arnold Zweig'a[700]? «Novellen um Claudia»[701], например. Stephan Zweig писал например: «Amok», «Die Briefe einer Unbekannten», «Die Frau und d. Landschaft», «Das zerbrochene Herz», «Die Verwirrung der Gefühle»[702]. И т.д. «Die Frau und d. Landschaft» — удивительная согласованность природы с человеком. Это ожидание дождя, — и это томление девушки. Конечно они все с определенной тенденцией, — много чувственного. Но я умею читать такое, не поддаваясь. Ну, довольно. Не могу тебя читать. Начну, — и так затомлюсь по тебе, так вижу тебя, чувствую, живой выходишь из книги... Тяжело. Не могу. Плачу! Я, читая твою приписку о Лукине «Л. не думает [быть] в Голландии раньше июня», приняла «Л» за нечеткое «я». Я сама так «Я» пишу. Я прямо за сердце схватилась, стала маме читать, но вдруг и осеклась, поняла, что о Лукине. О, приедь! Ты отдохнешь тут! Я закормлю тебя всем, что тебе полезно! Ну, и «глупышку» свою увидишь!

Кланяйся доктору. Ты не ответил мне, где его жена, эта чудесная (?) «Марго»! А сознайся, — она тебе нравилась? Немножко? Да?

[На полях:] Письмо наверно отправлю лишь завтра — некому идти на почту. Целую. Оля

P.S. Как поживают твои «молодые»?

«Куликово Поле» я именно так начала писать, как ты сказал, т.е. Поле с прописной, но чего-то усумнилась: грамматично ли. Спросила маму, она подумала и сказала: «пожалуй, с маленькой». Я и сделала. Рада, что угадала верно!!

Перышки моей птички — ну разве не небесная голубка[i]?

Кланяйся С[ергею] М[ихеевичу]! И «Арине Родионовне», — если это тебя не смутит. Спасибо, что молится! Она «Анна Васильевна»? Как моя бабушка покойная. Мне это так мило сердцу!

[Приписка карандашом:] Я здорова, — силы понемногу возвращаются.

183

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.IV.42 7 вечера

Милая моя Олюша, светик... прости, что невольно доставил тебе беспокойство. Милая тревожка, со мной ничего неприятного, а страдание твое я переживал, им переполнен был, и свет потемнел для меня. Твоя открытка сейчас, 18-го, и я браню себя, зачем о себе писал. Милая, когда рукой пишу — не наспех это, — машинкой скорей пишется, — а, просто, р у к о й захотелось тебе, — приятней, думалось, тебе будет, — ж и в ы е строки. Рукой пишу, когда поздно, после одиннадцати, а то в железо-бетонном доме такой-то гром ночью, в тишине. Весь в очаровании твоим рисунком, твоей мыслью. И все, кому ни показываю. Бриллиантовая ты россыпь, чудесная! В тебе — и великое сердце, и огромная душа, и умище незаурядный! Все, что надо для всякого творчества исключительного по з а р я д у, по калибру. Когда же ты сознАешь это?! Оглядись — и увидишь, какая же относительная мелочь большинство мастеров кисти! Разве т а к и м был бы Репин, при его техническом даре, если бы был он духовно глубок и остро чуток, и — более

---

[i] К письму подшиты перья голубого волнистого попугая.

образован!? Жить в веках не будет. Как и Коровин. Не говорю уже о маленьком Малявине с его яркой «глупостью» — дурак с писаной торбой! — «Бабами»! Насколько же выше их всех Врубель, — хоть и не люблю я его больной символизм, — но у него великое воображение, он творил, а не списывал, у него мысль пылала, у него сердце трепетало. Хоть и больная мысль. Всякое подлинное искусство — творчество воображением, умом и сердцем. Умом лучше на последнее место. Помнишь, Пушкин: «поэзия, прости Господи, должна быть немножко глуповата»[703]. Конечно, дурак ничего не сотворит, но в искусстве чувствам — почет. Страстная кипучесть чувств, пылкость воображения, нежность сердца... ограненные умом острым, — способность постигать жизнь вещей — не только всего живого! — вот Пушкин. У тебя все, все, что надо. Милый ты мой гений, глу-пый, трусливый, нет — робкий, так лучше, точней... трепыхалочка ртутная... Олюша... — «познай самое себя». И помни: краскам уделено малое, СЛОВУ — беспредельность. Ты в слове сильна необычайно, я повторяю тебе это, я обязан неустанно внушать тебе. Я не смею допустить, чтобы затерялся дивный алмаз. Потому и надоедаю, — знай.

Ты вся религиозна, — не в церковном — узком смысле разумею! — для тебя жизнь, мир — тайна, та-инство, и потому ты подлинного теста, ты — истинный художник. Этим признаком, как пробирным камнем, испытываются «призванные». Почему современные евреи ничего не дали в творчестве? Для них нет ни «тайн», ни таинств: они все знают, и все в'умеют. Далекие их предки иными были, и потому оставили вечное: я не знаю более глубокого, чем «Псалмы»[704]. Евангелие в н е сравнений, понятно: тут — Божие. Наглецы и умники никогда не станут художниками, в широком понятии. Только — «смиренные», трепетно вглядывающиеся в «Тайну». Сухостой душевный не может творить, может лишь скрипеть надоедно. Неспособный воображать может только копировать, — таких большинство. И. А. Ильин умница, острый аналитик, остряк, творец схем, но... не образов. Он мыслит понятиями. И потому его «пробы», — я их знаю, — и это я тебе только говорю! — неудачные потуги, неудачные до... стыда. При этом он тонкий критик, острый... я бы сказал — единственно-настоящий в наше время. Подумай: критики ни-когда не были творцами. И потому — но тут и «верная цель»! — евреи очень набивались в критику, — «локти» и тут вывозят! Художник видит и в неживом живое, и в неорганическом —

игру жизни, как дети: между ними знак тождества. И те, и другие строят свое не из понятий и логики, а из воображения — образами, а оно всегда логики бежит. Логика враг «тайны», но тайна имеет свою логику — иного измерения. Когда однажды Бунин сказал мне, посмеиваясь: «у Сергеева-Ценского[705], вашего любимца, даже у лимона — душа!» — я потерял Бунина, хоть он и большой мастер, но только «без изюминки» глубокого искусства. Толстой был бы неизмерим, если бы понимал Тайну: он был слишком «из земли», — чудеснейшей, правда... но Достоевский, в этом («из земли»-то) коротковатый, буйно творил «из себя», мучительно пронзая «тайны». Толстой был суховат и сердцем, пуская в оборот «ум» и «глаз». Чудесное сочетание — Пушкин. Подумай, на 38-м ушел! Самая-то «рабочая пора», жатва-то... не наступила, к горю нашему. Дети из чурбачков создают чудеса. Твоя Лавра из детской вошла в твою жизнь, живая, — вот оно творчество! Да, она лучше всех Лавр, даже и посадской. И твоя Богоматерь «конкурса» — творчество несомненное.

Олюшенька, не робей, не оглядывайся, не стыдись «неопытности»: будь как дитя свободной, живи сердцем в искусстве, как бы во сне, — а форму найдешь, в переработке дашь, но «сердце» произведения рождается чаще всего само, бессознательно, — мать, ведь, не чувствует зачатия младенца. Ночь. Писал с перерывом на ужин. 28-го. Читал «Пути», проверял «вопросы», поставленные в них. Ходил за молоком. Погода свежая. Стряпал обед: овощной суп, картофель. Ходил добывать масла, до-был. Видишь, на что уходит мое время. Моя новгородка завалена работой, может приходить лишь два раза в неделю, — понедельник и пятницу, а другой я не хочу. Эта благочестивая старушка дает покой мне, болтает о «явлениях» ей Христа, а сегодня плакалась над тяжелой работой, выпадающей русской крестьянской женщине, — в былое время! Чинила мое платье. Молится о твоем здоровье. И всех жалеет, а вся в обидах жизни. Олёк милый, сейчас твое письмо, 21-го! Ты не получила моего заказного от 14-го?! Господи... Твое письмо сердце затомило. Нет, не мучаю, не могу, не хочу, не смею. И не таков я: я хочу быть кротким, хочу тебя тихой, светлой, нежной. Не кори меня, Олюша, что не писал с 7-го: себя не находил. Только о тебе думы, тревоги. И себя укорял, да где же воля-то? Я был в оторопи, а не замотан посетителями. Только раза два-три завтракал у друзей, и то с надломом. Погода на Пасхе холодная была, с дождичками, и я не ездил в Сен-Женевьев, был разбит душой. В ночь на

второй день был налет аэроплана, перебил сон, и я не поднялся к раннему поезду. Отложил на Радуницу[706]. Томился тобой, только о тебе. Переломил себя, был у всенощной в субботу, 11-го, уже врата царские были затворены. И так мне было горько! — как в детстве: затворены уже! Но вышел из церкви с тихим сердцем, примиренный. Очень, до слез, растрогала молитва Знамению, в завершение всенощной[707]. О, свет церковный! Какая успокаивающая святая сила! Понимаю тебя, Олюша. И все минуты была ты со мной, во мне. Живу, дышу тобою. Не кори, родная. Нет, никаких «бурь» не хочу, не могу хотеть. Тихую тебя хочу, мою кисулю, мою страдалицу... Господи, как я тебя люблю, Оля! Письмо 14-го было со мной в Сен-Женевьев, у сердца. Грустно было на могилке. Тот, кто мне передал сюжет — быль! — о «Куликовом поле», на могилке, в 39-м... умер. На обратном пути я послал письмо заказом по дороге, на ул. Конвансьон, куда я попал, чтобы поздравить — с опозданием! — вдову проф. Кульмана[708], почтенную женщину, очень любившую Олю. Когда-то, когда я мучился болями в 34-м, перед клиникой, она привозила мне миндальное молоко, сама делала, без ступки. Она все еще убита, не может найти себя. Кульман читал древний славянский язык, и она подбирает его записки об языке. Живет скудно. Ей под 60. Ты сетуешь, что я «отшвыриваю» Св. Дни! Ты права, милая. Только я не отшвыриваю, а... не почувствовал их, в горьком одиночестве, в тревоге, когда самое дорогое ныне... мое живое небо... ты, Олюша... истерзана! Тебя, мученицу, в сердце держал, мучился и... не видел Св. Дней! Так мне остро-больно сейчас, когда читаю твое — письмо. Не надо т а к принимать мое невольное молчание — недельное! Не мог думать, писать. Оторопь и тоска. Ну, что я с собой поделаю!? Никаких пыток я не могу допустить, я же благоговею перед тобой! И я писал тебе 16-го, 17, заказное 20, открытка — 20, заказное 23, заказная открытка 24 — о лечении по указаниям Серова. Как мне больно, что ты тревожилась! Пойми же, — если не приходят письма, — либо запаздывают, либо мне трудно собрать себя для письма. И ты ни словечка, как здоровье, нет ли «почечных явлений»... — хоть бы одно словечко! Вся душа изныла, Оля. Нет сна и аппетита?! Олюна, прошу... держи в сердце, что Ваня твой — тот же все к тебе, с тобой, только для тебя живет-томится. Свет ты мне живой... не буду жить без тебя! не могу! знаю. И ты живи надеждой, Оля... я нежен к тебе, моя святыня, моя Жизнь! Даю слово — всегда, как могу, в храме буду... с

тобой. Больше мне нет дороги. О, какая же тоска без тебя... места не нахожу. Перемогаюсь, не живу. Ухожу в цифровые выкладки, это меня покоит. Если бы тригонометрические задачи решать, да таблицы логарифмов нет под рукой. Люблю. Покоит. И я отправляюсь в... Монте-Карло. Беру «Ревю рулетки», столбики №№№... — и — комбинирую. Это — идиотизм, конечно, но я начинаю забываться. Так всегда бывало, когда не пишу, не читаю... — как Оля мучилась таким моим «опустошением». Когда кончал работу, ставил последнюю точку... — то-ска! «Миг вожделенный настал, Окончен мной труд многолетний... Что ж непонятная грусть Тайно тревожит меня?..»[709] Сейчас заходил Евреинов[710], режиссер, драматург... — мечтал поставить на экране в России «Человека»... Выпросил «Няню» и «Пути» — пенял Нобелевскому комитету, что не дал Шмелеву премии. А я глазами хлопал. Принесли при нем твое письмо. У меня заныло сердце. Я увял. А он что-то болтал о Рамоне Наварро Пиранделло[711], о постановке своих пьес в Америке, Италии... А я мечтал о... тебе, родная детка моя. Кроме тебя — ни-чего, ни-кого не надо. Что с тобой, как ты лежишь, — думаю... как «калачиком» спишь... какая ты бледненькая, прозрачная... — и слезы, слезы... как больное дитя ласкаю, с в о е... И Серов что-то забыл меня... Эти дни было тепло, каштаны цветут, чужие... белыми конусками... Целую горестное твое — письмо. Не надо мучиться, мучить меня... я знаю, ты невольно, ты меня любишь, ты меня жалеешь... ты мной тревожна... не надо, светло думай, светлой будь ко мне, — и ты окрепнешь, ты будешь здоровенькая, веселенькая... — и я тебе что-нибудь сочиню... приласкаюсь... вот только мрак развеется, очень скучно мне. Перед твоей болезнью я видел тебя. Ты сидела на моей постели, спиной ко мне, полная, розовая... в голубом и розовом шелковом. Я поднялся и притянул тебя, поцеловал в ложбинку, между лопатками, и в волоски под головкой, на шейке... Милая, все любуюсь «обложкой» «Куликова поля». Жду — красками. Я тебе много написал. Неправа ты, Оля: я, не писал, «умышленно»!!? Всю Пасхальную неделю я, оставил, т е б я!? Нет, клянусь: я все минуты только тобой и дышал, но не мог писать... — от тоски-тревоги. Олюша, прошу: напиши, возвращаются ли силы, как ты проводишь время, как питаешься. Нельзя принимать несколько укрепляющих средств, фосфор, например, может вызывать раздражение стенок жедудка и пищеварительных путей... лучше бы один селюкрин, но его надо принимать з а полчаса до еды! Это лучший восстано-

витель. Ты не слабеешь? нет кровотечения? Напиши, почему ни словечка об этом? Я волнуюсь, томлюсь. Глупая! Только изыскиваешь, чем бы растревожиться, беспокойка несносная. Я браниться начну, глу-пая! Рад как, что ты пирожка поела с вязигой. Вот, вязига тебе о-чень нужна! Это же — как желатин! Кормил бы я сам тебя! все бы старался достать, в ротик бы пихал, пичужке! Если бы ты была здесь! Не нагляделся бы, днями бы у ножек сидел, как глупый... ох, Оля, как я мечтаю! Ручку бы держал, глазами бы молил, ласкал... мою Олюнку, мою радость, гордость мою, счастье последнее... лучшее! Оля... пасхалики ждут случая — стоят — глядят на меня, на тебя. Вот, ландыш тебе посылаю, м. б., дойдет. Это недавно купил лесные, во мху, посадил, цветут хорошо! В воскресенье был в ресторане с друзьями, угощали завтраком: омар, телятина жареная со шпинатом, морковью... густая сметана — ? или вернее — творожок с клубничным сиропом. Вина не пью, боюсь. Потом поехали под Версаль, к соратникам моего Сережечки. Гуляли в лесу, нарвал я полевых гиацинтов, вот один тебе. Там обедали, у друзей Сережчиных, — два брата инженеры-крымчаки, фамилия Пастак[712]. Вернулся в одиннадцатом. Я, Олька моя, все всеношные был в храме, и две обедни. Меня не тянет обедня, но я вникаю все больше, вбираюсь в нее глубже. Хотел [бы] «Каменный век»[713] послать тебе..! — о Крыме. Он не вошел еще в книги, печатается в «Современных записках». Не понимаю, почему проф. Лютер[714] не устроит мой «Чертов балаган»! — в Германии. Давно послал этот крепкий рассказ. По времени! И. А. запрашивал обо мне через знакомого[715], живущего в незанятой Франции. Написал через него, что ты болеешь. Ничего? Что ты — Божий дар, что ты моя самая чуткая читательница. И — только. И ты — только. Смо-три! Он ревну-учий! Он меня расхает тебе. Шучу. Но... не пиши, что мы большие друзья. Да? У, как целую тебя, «калачик»! Хоть взглянуть бы только... киса моя... кисулинька... ласковка... нежка, гулинька... ну, дай мне чуть-чуть... губку... уголочек... я только ресничкой трону... виском приникну... тепло твое почую... твое дыханье, «после ливня» твое...

Оля, ты всегда изыскиваешь самые горькие причины замедления писем! Не надо так. Помни, что жизнь ныне тяжела, многое мешает. И я не из железа. Целую тебя, детка, Христос с тобой. Твой Ванёк

[На полях:] Люблю свободу и независимость, потому и живу один в квартире. Вот каждый день и надо думать —

чего же есть? И еще диета!.. И это разбивает. Вот тут и п и ш и. А рестораны мне — яд.

Беганье за питаньем удручает. Какая тут работа! Трогательна Юля (мать Ивика!). Но у ней свои дела, урывками забежит, принесет своему Дяде-Ваничке чего-нибудь.

Поздравь от меня Сережу [с] днем рождения.

184

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.V.42. 2 ч. дня

Ольгуночка, милая, как я тебе благодарен за твой автопортрет! Это, должно быть, труднейшая задача — дать себя. Я мало понимаю в этом искусстве — рисовании, но чувствую твою силу. Ты ш у т я даешь высокое искусство, — высоту техники и я, невежда, вижу. Но вышла ты слишком напряженной, и глаза... нет, это не твои милые глаза! Тут — жесткость, а ты — в с я д р у г а я, живая, в моем сердце. Но это твоя работа, и она дорога мне. Целую тебя, моя чудесная. Вчера я был вне себя, распечатав твое письмо... — как бы озарило меня! Светом осияло с твоей обложки на «Куликово поле». Что за прелесть! Удивительно дала ты Лавру Преподобного в туманце. Не нагляжусь. Какой же ты чудесный мастер! Мастерство, вкус... но главное — какая Душа! Это будет ж и т ь. Это поражающее т в о е введение в мое «Куликово поле». Тут мы с тобой благодатно п о в е н ч а н ы. Придет время, и н а ш, общий, труд, наше светлое единство в Духе, увидят многие, многие... Сердце рвется к тебе, прекрасная из прекрасных, художник ты мой чудесный. Готовая. Не оглядывайся, будь вольной, сильной, в великую меру твоих даров. Работай, Олюша! Ты меня запрашиваешь о том, о сем... а я теряюсь, — ну, что я тебе, т а к о й, могу сказать, я, несведущий в этом искусстве! Да, кажется мне, что коричневый тон обложки будет хорошо оттенять краски — зеленую и красную... но ты лучше в и д и ш ь. Думаю, что лучше сделать в более крупном виде, при воспроизведении техническом — уменьшат. Самая же техника многокрасочной обложки мне неизвестна. У нас Гросман и Кнебель воспроизводили очень удачно. Сужу по образцам (журнал «Перезвоны»[716]), какие помню. У меня висит репродукция с картины К. Юона[717] — «Москва — Кремль» — знаешь? — вид Москворецкого Моста, в самом начале весны (март), река еще зимняя, самый горячий час дня, — 4-й? — масса дви-

жения на мосту, масса фигур, оттенков, дымы над Москвой, талый снег, зимне-весенний Кремль, лед в возках, — погреба набивают! — множество оттенков переданы «Гросман-Кнебелем» удивительно. Еще есть у меня «Купчиха» Кустодиева[717а]... — очень сочно. Эта техника очень усовершенствована, и, конечно, когда придет пора, мы... — или ты... — сделаем все, чтобы твои краски ж и л и. Ты — полная хозяйка в этом, «Куликово поле» — твое, а с твоим творчеством — в п о л н е т в о е. О, радость моя бесценная! Да, вот что хочу отметить... Не найдешь ли ты, что лучше было бы чуть-чуть опустить купол гирлянды, чтобы наименование автора не придавливало? Да и «И. Ш.» должно быть немного опущено, а не на самом срезе обложки? Другое. Не лучше ли будет, чтобы было вольнее «дали», «небу»... — дать больше этого «неба» между верхушкой колокольни и гирляндой? Еще: нижний срез обложки не лучше ли завершить... как было тебе во сне? т.е., — дать ч т о-то... м. б. «колоски»? обрывок — завершение гирлянды (как на 1-ом рисунке)? и — со звездочкой? Повторю, — ты только можешь быть здесь решающим голосом, это же — т в о е. Я счастлив, в очаровании от твоего исключительного мастерства — с е р д ц а, какой-то предельной тонкости, удивительной н е ж н о с т и и... с в я т о с т и рисунка! Тут такая ч и с т о т а... такое целомудрие творческое... — т ы, только ты одна можешь т а к. О, как я тебя целую, ручки твои, сердце твое... глазки твои, моя небесная девочка... — ну вот, смотри, к а к уже ты здорова!

Оля, не напрягай себя, не смей возиться с хозяйством, помни же: надо совсем окрепнуть. Ты ведь жила и осень, и зиму, и весну... — в безумстве-перенапряжении! Считай за чудо Милости Божией, что ты не сгорела. Береги себя, тебе предстоит большая и славная работа. Я в таком восторге, в таком очаровании, — вот именно т а к о е... давно-давно... как бы во сне видел... и лишь слабо мог передать в «Богомолье»... — «Лавра в заревой дымке»!.. — именно, отсвет светлой зелени т р о и ц к о й... — чудесный отсвет весеннего... что чудится в Троицыном Дне... когда Земля — Именинница[717б]. Тогда и сердце-Душа — празднуют, обновляются... купаешься в весенне-радостном, животворящем. Ты это мне напомнила своим волшебством, девочка милая, Олюша-детка!

Ты права: это преп. Серафиму было сказано Ею — «он Нашего Роду». И я, еще до твоей поправки, написал тебе о своей ошибке. Но это не меняет сути: преп. Сергий потому и удостоин «явления», что он «Ея Роду». И я был вправе написать так, дерзнул внести в Его слова к Васе — «есть там нашего роду».

Ты уже здорова, — благодари же Господа! (я весь в благодарении, но у меня нет полной молитвенной силы,) — и потому ты так х о ч е ш ь писать. Больной никогда н е «хочет». Вот я... я очень как-то переутомился... итог всего переиспытанного за эти месяцы... напряжение-то душевное сказалось, и потому я отлыниваю... мне н е хочется... ничего... а лежать, бездумно... я как бы топчусь на месте... душевно-то... и я никогда не насилую себя: придет час — б у д е т. И я так понимаю, как ты была «опустошена»! Но теперь, ты будешь наполняться. Только не форсируй, а набирай сил. И писать погоди еще, окрепни, прибавь весу, пополней, порозовей в с я, — спи, лежи, читай самое легкое, не вызывающее на думы, и больше ешь, ешь, ешь... купайся в молоке! Умоляю тебя — не смей поливать, копать, поднимать, носить! Не делай резких движений. Я знаю, какая ты горячка, и какая во всем — страстная. Ты же неуемная, неудержимая, — «скандалистка»! Уймись. Стань хоть на время «важной барыней»... ну, прошу... во все вноси размеренность, ритм, — это тебя введет в форму, оздоровит. И подумай о «сосудах кровеносных»: и́х надо лечить. Порывистость, — всяческая, — и внутренняя! — действует на них вредно. Направляй же себя «в мерный круг»! Это важно и для творческого акта.

Теперь, о работе в с л о в е. Ольгуна, не страшись, не топочи на месте, как испуганная девочка, отдайся рассказу с полной верой в себя. Рассказывай п р о с т о и совсем о т к р о в е н н о, как бы рассказывала самому близкому тебе человеку, его душе. Понимаешь, самое-то важное — п р о с т о и свободно. Пусть «форма» рассказа тебя не останавливает, — она потом явится, потом все поправишь, — главное: как душа хочет, так и начинай рассказ, повествование. Непременно форма сама подыщется, если душа хочет рассказывать. Нет, искусственного приема не вводи, никаких там «спасенных чемоданов», не думай — Боже храни! — что ты навязываешь себя читателю: наплюй на все. Читателю тоже наплевать, к т о это рассказывает: ему нужно, чтобы было «интересно». А дневник ли, записка ли, воспоминания ли... — ничего этого не надо навязывать, а просто... — так и начинай, как хотела... — чудесным прошлым, когда на тройках... через деревни, радостно,.. околицы, мальчишки, леденцы, «барин-барин, дай копеечку...» — орали, бывало! — все это светлое подыми, покажи, введи в него слушателя, не бойся, что длинно, всегда можно сократить. И вот, после этого «света», резче почувствует читатель н о в о е, томительное... — и я вижу эту ло-

шаденку, бабу, войну, пустоту полей... и печаль прежнего дома, и твое сердце... (Я знаю, что суть твоего повествования очень трудная, душевное состояние девочки! о Лике!) Оля, — все, все рассказывай, освобождай душу... потом будешь править, а теперь дай самому повествованию тебя самое захватить, и тогда ты не отстанешь, пока всего не исчерпаешь, и увидишь, сколько же всего, и такого чудесного, в твоей головке милой, в твоем живом сердечке, в твоей, страшным богатством переполненной Душе! Я уже теперь вижу, как глубок и захватывающе интересен твой рассказ. Пусть это будет повесть... — не задумывайся: тебе некуда спешить, ты не по заказу работаешь... — облегчай же себя, в тебе слишком накоплено! Само все уложится в форму. Когда будешь просматривать, — много после! когда все закончишь! — только тогда будешь сокращать, — прикидывая на себя, что может быть неинтересно, излишне — для читателя. Но ты так сложна душевно, так особлива, исключительна, так чутка, духовно-тонко одарена, что — все в твоем будет захватывать. Я тебе предрекаю это: я тебя всю слышу, как если бы это я сам был, стал тобой. Олюша, как я тебя люблю! как ты мне близка... — ты — во мне живешь, ты... я тобой становлюсь... я весь в тебе тону, и я всю тебя несу в себе: вот он, наш дивный союз. Ты — естественно — моя, для меня, ибо ты — и я — мы — из одного куска глины, — так случилось. Я уже владею тобой — во мне, — и не видя тебя живой даже! — так я тебя близко слышу, так ты во мне дышишь... — это куда сильнее мгновенного телесного слияния. Правда, порой бывает недостаточно этого чувствования такой «близости издалека», хочется полной близости... такой, такой... ах, как это неизъяснимо чудесно! и — так чисто, при всем греховном..!

Олёчек, пиши именно так... «выключись из жизни дня сего», «забудь себя», перенесись в далекое... и увидь себя! ту, Олю-детку, 10-летку! — и ее глазками смотри, и ротиком ее дыши, ее грудкой... и губки облизывай, и радуйся всей, той полнотой и радостью жизни детской, стань наивкой, той, полной той, как порой удавалось стать маленькому Ване в «Богомолье». Ничего не страшись, никаких «влияний»: помни: это все — самостоятельно, в каждом из нас. Перечитай «Детство и Отрочество» — Толстого[718], — увидишь. Но у Толстого срывается порой непосредственность, и он делает отступления. Надо всегда, на всем протяжении рассказа — остаться той, малюткой, славкой... и не бойся чувствительности... — если сумеешь

стать 10-леткой, не будет ни слащавости, ни «истерии»: будет девочка Оля... порой «скандалистка» — как за ужином с «яичком»! Ольга, тебя ждет великая радость в этом творчестве! Уви-дишь! Если бы ты была сейчас здесь!.. как я хочу много-много тебе насказать, как писать — в письме и десятой не скажешь.

Нет, Цвейга не читал — и не стану. Немецким я не владею, а переводов нет хороших. И ничего он мне не даст. Вот попробуй достать Эрнста Вихерта, и потом скажи мне, — он глубже всех этих... Из области «чувственного» мне ничего не надо, я з н а ю больше их всех... не опытом, конечно, а постижением. Да и область эта — чувственности! — какая же малая и невысокая — о чувственном, в специфическом понятии. А в с я область — чувств... — да она неохватна, и разбираться в ней хватит на миллионы лет для миллиардов писателей. И это ты сама для нас всех и обнаружишь, когда вложишься в творчество: ты дашь особенное, чего, м. б., никто еще не давал. Я же не побоялся, после сто-льких мастеров, давать с в о е! И мое «Богомолье», и, м. б., — и «Лето Господне» — о с т а н у т с я, как родное, хотя бы по искренней непосредственности рассказа, по д е т с к о с т и, всякой душе с в о е й, близкой. — Чувствую, что ты получила мои «пасхалики». Поставь их, чтобы видеть чаще, в них моя нежность к тебе, ласка, я так на них смотрел, будто тебе свой взгляд, свое нежное созерцание тебя хотел передать, влить.., и они будут шептать тебе, всегда, — «Христос Воскресе!» — нежная, светлая моя, Олюнка моя!» Правда, они такие... ж и в ы е, чистые. И — «фиалочку» получила? А «сирень» ждет еще. Нет, Марго ни-когда ничего во мне не вызывала, ни-как. Слишком она л е г к а. Об их жизни напишу, кратко. Серов в себе носит. Уехал от нее — наконец-то! — он. И взял Ирину с мужем. И, кажется, покоен. Марго лет 48—50, но она все еще не угомонилась. Это у нее и в Питере было, и в Константинополе... — альковные, что ли, и с к а н и я? или — сложней? Не знаю. Она мне ч у ж д а. И никак не привлекательна.

[На полях:] Целую и тянусь к тебе. Крещу, голубка. Твой Ваня

Поцелуй — за перышко! — твою небесную птичку.

Помни, Олёк: ты, ведь, упрямка и не принимаешь anti-grippal! Прошу: берегись гриппа и принимай, хотя бы с сентября. Я принимал — и в эту зиму не болел. Последствия gripp'a для тебя могут быть губительны. Прошу!.. Есть у тебя? Ответь.

185

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.V.42

Ваня мой, неизреченный свет мой, сокровище мое, Ванюша-солнышко мое, соколик ты мой, Ванечка!

У меня нет слов, чтобы выразить все то, что наполняет меня к тебе. Несказанно тянусь к тебе, всем сердцем с тобой, всякой мыслью, всем, всем, всем! Как покажу тебе, как расскажу любовь мою?! О, милый, милое сердце! Родное, н а ш е! Ванечка, я плачу, я так нежна к тебе! О, мой милый, родной Ванюша!

И прости меня, прости за все, чем мучила невольно. Я же сама до одержимости страдала. Не буду больше! Мой ласковый Ваня, ты только и сказал: «не надо так, Оля, и я не из железа».

Ванюрочка, это я тебя истомила, болью своей в тоску загнала?! Я не смиряясь в болезни, а наоборот, распустив нервы, тебя еще, гадкая я, томила. Милый светик мой, теперь ты успокойся! Я у ног твоих. Я все к тебе нежность, ласка... Почувствуй! Оля твоя здорова. Теперь у меня есть силы. Я поправляюсь. Я не хуже, чем была до болезни. Но я должна быть лучше. К этому я стремлюсь! Твой селлюкрин аккуратно принимаю. Хочу здоровой быть... для тебя, моя радость!

Твое письмо от 27-го (вчера его получила) — такое... ну, шепот сердца сердцу! Ах, все они твои чудесны, но иногда бывают особенные. Такие прямо из сердца! И... чуть грустное! Ванечка, счастье мое ненаглядное, неповторимое... как люблю тебя, моего родного! О, не грусти, не надо оторопи! Ванюша, не может того быть, чтобы мы не увидались! Я думаю порой, что коли бы это случилось, то я не пережила бы счастья! Как я хочу тебя увидеть! Ваня, понятно ли тебе, как можно каждый миг думать, жить любимым! Это **не** преувеличение, нисколько! Я все время с тобой... Когда смотрю я на цветы, то думаю: «пошлю Ване», или, «жаль, что Ваня не видит». Читаю ли что прекрасное, — тоже: «почему Вани нет, поделились бы!»

Ах, не пиши мне вздора «боюсь встречи, разлюбишь» и все то, что ты еще об этом говоришь в различных вариантах. Неужели тебе не стыдно?! И за что же ты меня считаешь?! Для меня не существуют годы... никак! А кому из нас сколько «отпущено дней» (как ты пишешь), — это же никому неизвестно! Разве не верно? О, Ванечка!

Какой ты... скромник; — почему И. А. тебя «расхает»? Он-то? Да он тебя так любит! Почему настойчиво ты дважды просишь ему ничего о тебе не писать? И почему «ревнучий»? Дружок мой, И. А. никогда не относился ко мне больше или нежнее, чем к «чуткой читательнице» его. Я же тебя цитировала. Никогда не думай иначе. Самое большее, что бы он мог сказать: «И. С.? Что же он, такой великий, смог найти в простенькой Олечке?» И этого ты боишься, да?

Но не буду. Я шучу! Тоже шучу! И. А. очень чуток к твоему сердцу. Тебя он трогательно любит. Через кого он о тебе справлялся? Через некоего Вигена Н.[719] (имя) м. б.? Если да, то это очень милый, ценный человек. Удивительный! Любит Марину. Безнадежно?! Не знаю.

«Видел тебя в голубом и розовом, сидела на моей постели»... пишешь ты... Если бы! Ах, Ваня, это: «притянул сзади». Я чувствую это, будто наяву. Вчера читала твое письмо еще и еще, на сон, в постели. И... не могла спать. Долго я лежала с открытыми глазами. Потом жмурила их, а веки дрожали, открывались сами.

Тебя в темноте глаза искали? Может быть! Читала молитвы, уснуть старалась... Какие-то сны-грезы были. Не помню. Новый вариант моего «Лика» видела. Совсем *иной*! И все идет не от меня, а из уст моей умершей Нины (подруги), — она была полна видений и Тайн! Я хочу писать! Иван мой, слушай: я тебе клянусь всем, всем Святым мне, что меня давит сознание моей неспособности. Я не ломаюсь. Я, признаюсь тебе только, я страстно хочу верить, что м. б. есть у меня способность! Но я ее не вижу! Пойми! Я именно «с п и с ы в а ю». Я часто презирала себя в жизни за это копирование! Я же тебе давно писала, что у меня нет оригинальности. Помнишь. Именно это я чувствовала. Я умею ценить художество и знаю как омерзительна копировка, и потому именно, ловя себя на этом, падаю духом! Понял? М. б. несколько удачных фраз, определений, тон, заимствованный от тебя же (!), тебя уверили в том, что я могу творить?! У меня именно творческого-то и нету! Я вся пришпилена условностями. У меня нет смелости! Я же чую! Но я тебе верю. М. б. я смогу развиться? Ответь мне! Меня мучает мое бессилие! Все, что я пишу, — все уже писано. Я понимаю «свое» и Врубеля, и Васнецова (и люблю его), и Нестерова, и Билибина[720]... Левитана... Души у него сколько! А у меня — ничего своего! Понял? Не брани меня за трусость — это не трусость, а сознание своей бесталанности! Ну, прости, что так пишу. И пойми, что это серьезно.

Клянусь, что не ломаюсь! Помоги мне! Хочу!! Для тебя хочу творить, если могу! Понимаешь, надо иметь это желание — дать что-то свое миру, иметь сознание, что ты это свое имеешь. А у меня нет его! Пойми! Мое детское все выплыло под впечатлением от твоего. Верь же! У меня открылась эта именно сторона тобой!! Да, я отозвалась на это м. б. особенно чутко, но именно отозвалась. Это — отзвук на тебя. Я не могу твои брать пометы. Это же воровство. Да и для чего? Ты несравнимо все уже дал!! Пойми меня! Я буду только «пачкать мадонну Рафаэля»[721]. Я не брыкаюсь. Ваня, я хочу, пойми это! И помоги мне разобраться. Признай же мои минусы. Скажи о них. Остереги меня! Убереги от разочарований! Хорошо, дружок?

Ванюша, я болезненно-напряженно жду тебя! Вчера в газете «Новое слово» я прочла, что поездки с 1-го апреля в занятую Францию и Бельгию очень сокращаются и затрудняются разрешения. Касается ли это поездок из Германии, или вообще — не знаю. Ваня, милый, попытайся же получить визу! Молю тебя, Ваня! Господи, неужели же это невозможно!? У тебя наверное есть друзья, которые смогут помочь. В немецкой комендатуре попроси, объясни, что тебе, писателю, так же насущно, необходимо, как многим, которые по делам допускаются, устроить свои литературные дела. Теперь, когда твои книги так нужны, когда так важно все, что они дают людям. Именно ты, такой сторонник Германии (скажи же это: как важен твой дух в твореньях твоих), я уверена, ты получишь разрешение. И мне, если суждено мне встать на этот «Путь Слова», — мне же необходимо знать все от тебя лично о твоем творчестве, о его дальнейшей жизни, о том, как я достойно смогла бы следовать тебе!

Господи, я уверена, что это поймут! Уверена! Что же, неужели война уничтожает потребность сердца?! Никогда! И я уверена, что тебя-то, тебя такого, поймут и позволят! Пойди сам! Скажи! Тебе все скажут! Я так тебя жду! Я тебе уютно все устрою! Заботиться о тебе нежно буду! Какое счастье мне было бы! Ну вздор какой ты пишешь: «переломлю себя». Чего переламывать?! Глупый, Ваня! Ну, когда же мы увидимся?! Ты хоть принципиально-то этого хочешь? Или, слушай: спроси не позволят ли мне приехать? Но мне страшно ехать после болезни. Подумай, если в Париже заболею! На тебя свалюсь? Ужас! Господи, Ваня, как то можно: убиваешь время на хождения за едой, на готовку обеда!? Грех! Ну неужели никто из близко-живущих, не может заодно брать и для себя, и для тебя? Это же позор

русским людям, что позволяют русскому Гению такое! — Что за кошмар! А «Пути»... стоят... ждут череда, когда картошка сварится! Неужели никто не подумает об этом?! Ваня, приедь сюда! Отдохни от беганья за молоком! Дай мне за тобой походить! Я же твоя? Своя?! Или отпихиваться, отмахиваться все еще станешь? Глупыш! Не уставай, Ванюша! Береги себя! Здоров ли ты? Я тревожусь за тебя вечно. Береги себя! О, если бы ты ушел в «Пути». Не для меня, нет, но для тебя же! Для всех! Для Бога! Пиши, Ванюша мой! Какая это будет радость! Бедный ты мой, милый... одинушечка!.. Ревю рулетки, тригонометрические задачи... Умница, ты, — все [умеешь]! Не скучай, дружок! И я ведь так же вот все о тебе, а... тебя и нет! Ах, Ванёк, как понимаю все! Больно, больно это «соратники Сережечки...» и все такое... Твой лесной гиацинтик я приняла сердцем! Спасибо, мой ясный! И ландышек! Целую их! Сам рвал! О, если бы был, явь... это... твой сон... Как я тянусь к тебе... целую тебя... обнимаю, притянутая тобой к себе сзади. Люблю тебя...

Оля

Мама кланяется тебе очень. Напишет. Сережа тоже! Цветочки поцеловала, — пусть передадут!

[На полях:] Посылаю тюльпанчик-детку, выросшую среди больших. Миленький, правда? И веточку яблони... Начинают цвести!

Здесь каштаны еще не распускаются.

Здесь капля «Après l'ondée»[i].

Все о тебе! Вся с тобой! Неужели не увидимся!? Увидимся! Да! Да!

186

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.V.42 12-30 дня

Гулька моя радостная, ну, до чего я сейчас весь взят тобой! Сейчас письмо твое, 5-го мая, — так весь и объят тобой, и твои духи, — «После ливня» (чудесные!) — так они меня волнуют, открывают тебя! — вдыхаю от пролитой капли, и зацеловал «детку»-тюльпанчик, и яблонный цветочек-поцелуй твой, и... — ну, тебя всю исцеловал, тобой причастился, радостная моя, здоровенькая Ольгунка... — видишь, жизнь льется в тебя, и из тебя в меня льется!

---

[i] Письмо надушено.

Олька-упрямка, не пиши мне смешных сомнений, — я бессильно и досадно смеюсь на тебя... — это болезненно-напряженный смех, смех с досады, и потому «смех», что в нем, под ним — радостная уверенность, з н а н и е точное, что ты в с е можешь и все преодолеешь из твоих «глупых страхов»! Твоя «Лавра»-сон — всех чарует! — так и все твое будет чаровать. Ты — удиви-тельная, девчонка! Милая моя трепыхалочка, ты что же, за глупца или за лгуна меня считаешь?! Я в э т о м н е могу обманываться: у тебя в с е есть, чтобы писать, и — с в о е писать! Главное, не думай никогда, что ты д о л ж н а с в о е — ! — д а т ь! Это «твое» у тебя бессознательно проявится, и так, что ты и не приметишь. Или я не вижу... ?! Да я еще два года тому, когда и не помышлял, что стану твоим счастливейшим «пленником сердца»... — да, тогда еще чувствовал, что в тебе ч т о-то необычное... ч т о-то... — «много жизни», — но ты тогда все «оглядывалась», пиша мне, не раскрывалась. (Признаюсь, в самом начале нашей «встречи» — я жадно стал думать о тебе, я уже ж д а л тебя, я уже начинал жить тобой! Это — помимо меня было.) И это — первое! — «я да птичка»*... — так меня и пронзило! Вот, вот оно, — «своето», — выскочило помимо твоих «заданий» и сомнений — писать «свое» (и это не мало, это в немногом — многое, это — искусство!). Ты потом так и почла раскрываться, цвести, дурить меня твоим цветеньем ароматным! В с е помню. И про звезды в прудике, и золотую дорогу в колосьях, и краски света, и все, все... и твои сны, и «лик»... и тысячи твоих думок, мыслей, оценок (неба, — парка!), бросков... — да что я, олух, что ли, глухой, слепой?! О, не знаешь ты, ну — знай: как плакал я, глупый, 9-го IX в день Ангела своего, после твоей розы — (роса из розы!) думая, что теряю тебя, совсем! Чего тебе еще от меня, — брани, сетований, топанья..? — чего тебе нужно, когда ты вся блещешь, вся передо мной «разделась», во всей твоей красоте пьянящей (душевной, она выше телесной!) и возносящей?! Ты полна сил сердца, души, чуемости самой тонкой, ты в вещах и людях видишь и можешь увидеть такое... чего мне и в голову не придет, потому что ты сверх-чутка, и твой глаз сердца и духа — пронзает так глубоко и нащупывает так верно, что... — ну, я-то себя знаю!

Зная себя и свои средства, — знание это — как бы лишь ощущение, знание верхним чуянием, — как у охотничьих

---

* Я твою птичку вижу: это малюсенький «попугайчик», что ли, с пестренькими плечиками! с серенькой головкой? но это не русская птичка.

собак! — я в и ж у и глубоко постигаю тебя, твои средства, твой нюх, твои движения сокровенные... и з н а ю, что ты мо-жешь! Выкинь из головы, что ты д о л ж н а давать с в о е... — это приходит с а м о, без твоего «должна», — и только тогда! — оно — пугливо, оно свободно и никаких «должна» — не признает, — оно — вылетает нежданно и бессознательно, когда ты вся в очаровании твоих грез — в писании! — твоего острого и огненно-страстного воображения, оно — становится — оно начинает б ы т ь, как в таинственный миг какой-то... становится — «есть»-ем, зачатое дитя, в страсти зачатое, о чем зачавшая и не помышляет... — но подсознание-то ее, зачинающей — з н а е т и уже тайно ликует, причем уже «понесшая» только дремлет в неге, далекая от всякой тени сознания. Поняла, гулька? Пишу, а во мне все клокочет, так я вдруг это твое «зачатие» страстно переживаю, будто я... вот сейчас... вместе с тобой. Поняла? Так и в творчестве... кажется... пишу «кажется», потому что сознанием никогда не воспринимал, ч т о я написал, ч т о получилось... м о е или не мое... — я просто наслаждался, писал — жил в воображении... а как оплодотворялось... — да кто это может знать? Это только вдолге после, услышит мать, когда э т о в ней дрогнет первым движением жизни... — и, должно быть, это «трепетанье под сердцем» — один из сладчайших мигов! От него вдруг затаится сладостно о н а... сомлеет в этом миге от благовения, от счастья, которого нельзя сознать, можно лишь — пережить его. И потом эти миги станут длящимся счастьем — н о ш е н и я жизни новой... — но я не женщина, мне не дано это пережить. Но я помню... подробное... его отражение, слабейшее, чем у н е е... о, помню... — Оля как-то сказала, шепнула мне: «нет, ты послушай... дай руку... вот сюда...» — она взяла мою руку, приложила ее к себе... — и я... я вдруг услыхал рукой... под теплотой ее тела, на твердой, напряженной ткани его... — д в и ж е н ь е... чего-то другого, чем ее тело... — легкое «волнение», мягкое трепетанье... — два-три толчка... Это было почувствованное мною — п е р в о е движение его, нашего с ней... о б щ е г о — Сережечки... Я до сих пор так остро это помню. Ну, — так и с в о е в творчестве... учувствуется — а м. б. и не учувствуется, хоть и есть, — лишь вдолге после зачатия, после уже рождения в слове, — и ни-когда не раньше! И потому — не задавай себе заданий, не пугай себя, не отступай, еще не приступив к работе. А ты только себя отпугиваешь, у тебя твои колебания опережают самое действие, попытку... У тебя так кипят чувства, воображе-

ние, «нервы», что ты начинаешь себе наворачивать всего, чего и нет (как и свои сомнения во мне — к тебе! и сколько муки, а для чего?! Ведь ты же знаешь, что все во мне заполнила! брильянт выдумывает страхи — стекляшки! Смешно?..), и чего не будет... как одна — это раз мне мой доктор пошутил на мои тревоги, слушай: ...как одна баба, бездетная, — и, очевидно, этим всегда томившаяся! — стряпала перед печкой, и вдруг из чела печи упал на шесток кирпич! И разахалась тут баба та: «Господи милосливый... ну, хорошо, Миколиньки тут не было, у шестка! а если бы он тут играл!.. да ему бы его головеночку прошибло, помер бы мальчишечка... а мучился бы как... Господи..!» — и слезы у нее, слезы, ревет баба коровой, белугой... Слушал-слушал мужик — и говорит: «Настасья, будет блажить-то... одурела... и Миколеньки нет... а ты вон какой сырости-то навела... чего ты ахаешь-воешь... душу тревожишь... да потому-то Господь и не посылает дитю... ты его уж эна когда в гроб-то укладываешь... еще и нет его... а ну-ка будет... да ты тогда и житья-то никому не дашь... вся истекешь от своей дури..!» Смеешься, гулька? И пока ты будешь загодя себя оплакивать и то, что могло бы зажить от тебя, до тех пор — так ничего и не будет, — одно лишь трепетанье и топотанье, — паралич силы творящей, дающей жизнь! Вдумайся, перекрестись, и с Господом, не озираясь, начинай. ВершИ! Не думая, что выйдет. Иди и иди, пиши и пиши, — и родится образ. А техника сама придет, увидишь. Пока дети боятся ходить — и матери за них боятся! — никогда не пойдет ребенок. Он пойдет вдруг, и сам этого мига не почует; как вмиг начинают плавать, уметь плавать, ездить на велосипеде... творить, — и... любить также... и тоже бывает вмиг — физическое сближение между любящими... — это все — одного порядка. Эх, договорился до ... ! «Голодной куме — все хлеб на ум». Хлеб — ты, конечно, вся, живая-огневая!

Не хочу, не смею тебя обнадеживать, но говорю тебе просто, уповая: я почти уверен, что мне удастся получить разрешение на поездку, для меня, м. б., сделают, — и я вижу эти пути, — и м. б., я обойму тебя, моя родная девочка, и мы все скажем друг другу, и о творчестве твоем... и м. б. мне удастся укрепить твою веру в себя, т.е. заставить тебя, наконец, в себя поверить! Не буду загадывать, обнадеживаться и тебя обнадеживать, — пусть это случится нежданно для нас обоих. Как ты нужна мне, Оля! О, ми-лая..!

Я счастлив, я благодарю Бога (и ты благодари! ЕЕ, ЕЕ!.. радостными слезами, — и ты увидишь ЕЕ, ты под Ее защитой, Ее Рода!), что ты здоровеешь, — я это с л ы ш у, — о, весенняя моя, цветочек мой яблонный, нежный, чистый, ароматный тонко, — моя святая девочка, моя неверка! Моя гулька-Оля, Ольгунка! Веришь теперь, к а к люблю, как в е ч н о люблю тебя! как неизменно, безоглядно, чисто, светло, без малейшей укоризны себе, во всем спокойствии совести, чувствуя, как это мое чудесное к тебе чувство д а р о в а н о мне и благословлено моими дорогими отшедшими! Всем сердцем прямым говорю тебе это, Оля. Я не мальчик, не ветер, не пустосердый... — я во всем могу отдать себе отчет, и ни в чем за эту любовь к тебе не могу упрекнуть себя. Это во мне так же естественно, как биение сердца, и без этого я уже не могу жить. Ну, поцелуй же меня, а я так жарко тебя целую, и так благоговейно-нежно. Ты уже давно мне жена, истинная, духовная, жена по сердцу, по мыслям, по грезам... ты, воистину — м о я... мы так — о д н о, так много в нас общего нашего, нам только свойственного! Ну, хотя бы э т о общее... не служит ли оно еще л и ш н и м подтверждением того, что ты п о д л и н н а я — для делания высшей силой творческой в человеке — для творчества искусством, образами — как бы «из ничего», — подобие Божией Силы, — «из ничего» — «да будет!» Играет сердце, ты живешь во мне, и ты думаешь сейчас обо мне, — ликует сердце! Олюша моя здоровеет, находит себя! она радуется жизни, весне, цветам, травке, ветерку, облакам... — всему-всему... — в нее вливается Господня благодать жизни... — о, как я счастлив, что Оля моя хоть немного радостней стала... нет, ты радостна в с я, и от этого приливают силы. Но береги себя, не пересиливай, ешь, зелени больше ешь, витаминься, жуй зеленую кровь растений, салаты, лэтю.. — все это н у ж н о и для творческих актов всякого порядка! Не думай, что ты меня мучила, — все забыто, и ты — ты! — ни в чем не виновата, — не ты это — болезнь твоя это. Теперь моя Ольгушка — пай-пай. Опять со мной... Твой Ваня. Ты — флер-д'оранжик мой, чудесный цветок!

Ваня. Твой.

Ну, хоть призрачного, выдуманного — люби! Не могу, не смею обманывать себя.

187

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.V.42

Ванюша, родной мой... Давно нет от тебя ничего. Последнее письмо получила 4-го, — оно от 27-го. Я томлюсь, т.к. боюсь, что ты тоскуешь от моих гадких писем. Хочется верить, что ты и «хорошие» мои уже получил. Я бегаю к почтальону, но и боюсь, боюсь, что ты страдаешь! Господи, Ванечка, я так браню себя, гадкую, что не умею тебя беречь! А только этого ведь и хочу. Веришь? Ваня, Ваня, сколько надо мне с тобой всего обсудить! Сколько вопросов у меня к тебе, еще... с 1939 года?

Никогда не решусь все изложить на бумаге. И столько необходимо знать. Иногда мне остро кажется, что так, не разрешив всего, невозможно жить. У меня много вопросов о себе лично, о жизни вообще и т.д. Ах, если бы я тебя смогла увидеть! Ах, почему, почему, мы не раньше встретились!?

Если бы мы были так же знакомы, как, хотя бы, с И. А.?! Тогда бы я подошла конечно к тебе в 1936 г. и ты м. б. меня «у в и д е л». Мне невыносима разлука с тобой! Пойми же, наконец! И в то же время, я кляну себя, что пишу так, м. б. это тебе в обузу — это мое настойчивое желание встречи? Но, умоляю, брось всю чушь, которую ты мне писал о свидании нашем! Ты —, неужели ты все еще не знаешь (?), — жизнь моя! Ну, не буду, не буду, — я знаю, мы дергаем друг друга этим!

Но Ванюша, родной мой, знай ты, что не одинок ты, что я и днем, и ночью с тобой. Я также мечусь одна в жизни, одна, как и ты один! Я буду искать тебя, близости твоей в... искусстве. Если не могу увидеть тебя в яви! Ужасно это! В молитве ты со мной! Но я плохо могу молиться. Суета... Дела дома масса...

Ты знаешь как это бывает: все берегут, все хотят, чтобы я н и ч е г о не делала, но я вижу, что это невозможно. И, когда мама сердится на неопытную девушку-прислугу, то я чувствую, что я должна встать у руля. Девчонка не виновата, — она прямо «от сохи», чего с нее взять? Ну, да я теперь молодцом! Не могу больше писать о здоровье, о себе... так скучно.

Я здорова! Ванёк, не беспокойся! Селюкрин дает силы. Ваня, если любишь, если веришь, если хочешь со мной быть, то постарайся (только вправду!) приехать! Ваня, брось глупости! Умоляю! Ты все еще меня не знаешь?! Посмотри,

как я забыла всякую гордость! Как молю тебя! Катичка из «Няни», пожалуй, так бы не стала? Могла бы и я тебя иначе звать. Истомить, истерзать... всем. Но не могу я тебя так. Я тебе так открыта. Можно ли проще?!

Ты все знаешь. Я не мучаю тебя ни ревностью, ни кокетством, ни всем тем, которому даже и имени-то не найду, но чего многое-множество у каждой женщины. Ванечка, я просто, любя, безгранично любя, зову тебя! Ну, не буду! Как хочешь! М. б. и вообще это тщетно, — м. б. не дают пропусков. Мне не дадут, как женщине. Попытайся ты! Ты такой известный! Есть же люди с влиянием! Я уверена! Ваня, ты отдохнешь здесь. Я буду все время с тобой. Мы гулять будем много. Я найду красивые места, с лесом, как у нас! Я буду баловать тебя, будто твоя маленькая «хозяйка»... Ах, Ваня!

Яблони цветут сейчас, хотя еще не все. Ранние только. Я еду завтра (если здорова буду) к Фасе. Ее муж в Берлине. В воскресенье хочу в церковь, в Amsterdam[722].

Однажды в месяц служат там. Ваня, а ты забыл небось, что в 11 ч. вечера я говорю «покойной ночи!»?

Ванюша мой! Я так хочу тебя увидеть! Не глазеть, а душой всего о б н я т ь... Все в тебе увидеть! Все сказать тебе, все спросить, все узнать! Ты же для меня Вечное Начало! Ты не понимаешь все еще, кто ты мне! Ты выше всего земного! Потому-то и могу я еще переносить внешнюю разлуку. Ибо: ты так весь во мне, что я иногда тебя как живого чую. Ну, дай, хоть разок, увидеться! А что потом?! Не знаю, не спрашиваю... Не могу... Вся моя жизнь горестная разбитая какая-то! И кому нужна я? И во всем виной я сама. Я не ропщу ни на что. Все приемлю от Господа. Но молю: «Дай увидеться мне с Ваней!» Ах, Ваня, подумай ты обо мне, о всей жизни моей... что у меня есть! И многого ты не знаешь еще. Сложно жить, сложно общаться с жизнью и людьми. Я будто вне жизни... Помимо меня идет она... У Фаси вроде этого. Но Фася обо мне ничего не знает. Никто ничего не знает. Трудно одной все сносить. И нет ответа... И это чувство тогда зимой, что будто щепочкой несусь в потоке бурливом и вот-вот... разобьюсь! Это — иногда приходит снова, именно с выздоровлением, хоть и не так ярко. Я не хозяин самой себе. Не чувствую себя такой. И еще слабость эта после болезни. И тебя мучаю. И уходят дни и годы! О, если бы домой можно было! Я так от сего устала!

В тебе я нашла бы все счастье, все, все!

О, Ванечка, приедь же! Я ничего не прошу у тебя, как только: «приедь!» Я не осложню тебе ничем твоей жизни. Не буду проситься с тобой, я ничего не попрошу. Я только увидеть Душу твою бессмертную хочу. Тебе все скажу, спрошу совета как мне внутренний свой мир устроить. У меня много сложностей, о которых ты ничего не знаешь. Касается только меня! А. ни при чем! Ваня, как я завидую всем, кто с тобой бывает! Ваня, спроси кого-нибудь о поездке! Неужели нельзя?! Ангел мой, Ванюша! Любимый Ванечка.

Ничего не могу другого писать. Я вся в тоске по тебе. Вся в полете к тебе... Ваня, милый, пиши хоть «Пути», чтобы это ужасное время разлуки не ушло бесплодным.

Я буду себя тоже заставлять работать. Буду писать, тебя все пошлю. Учиться буду. А ты брани, указывай ошибки! Хорошо? Ты тоскуешь? Почему мне так грустно? Ванечка, слов нет, чтобы сказать, как все мысли мои к тебе! Радость моя, Ваня! Любимый мой, Гений! Ласковый Ванюша! Прости меня за все, за все! Я не хочу тебя мучить, не хочу «дерг-дерг», никогда! Но почему же так выходит?! Ванечка, бесценный? Я больше не «больнушка». Я здорова! Не томись моей болезнью. А ты-то как? Здоров? Умоляю, берегись! Почему тебя С[ергей] М[ихеевич] «забыл»? Ну, ты к нему зайди. Только не тоскуй! Ванюша, если бы я знала, что мы, когда-нибудь хоть, увидимся, то я бы воскресла вся! Солнышко мое, радость моя, Ваня, не знаю как, и чем обласкать тебя! Милушка мой, несказанная волна любви заливает мне сердце! Люблю тебя так сверх-земно, что все твои выдумки и «переломлю себя» — ничто, смешны, дым! Никого, никогда не было на земле (так чувствую я), кто бы так были одно, как мы с тобой. Ванечка, на что бы я была способна, чтобы только услужить тебе. Я бы рабыней твоей хотела быть. Обнимаю тебя, бесценный мой, люблю, целую крепко. Оля

[На полях:] 8.V.42

Мне легко, не тоскуй!

Вечер. Милый Ванюша мой, гулять ходила, нашла эти миленькие «сережки», привет тебе мой! Пахнет хорошо от них — весной, радостью... Ванечка, золотой мой, если бы ты был близко! Я так тебя тепло, нежно несу в сердце! Жду почты сейчас, — м. б. от тебя что будет?! Ванюша, здоров ты? Я так живу тобой! Если бы ты это почувствовал! Ты это чуешь? Ответь! Пишешь Дари? Ну, полюби ее немножко, за меня! И ты узнаешь, как она-я тебя могу любить!

188

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.V.42 12-30 дня

Ну, ласка моя, Ольгуночка светленькая, све-женькая... радостная, здоровенькая и... неукротимая... стой, возьму тебя в оборот, наконец. Поговорю с тобой сугубо всерьез о том, к т о и п о ч е м у е с т ь творящий в искусстве, и кто н е е с т ь. Не лекция это, не глава из «эстетики», а вывод из личного опыта, разбор собственного «состава». После сего я и не заикнусь уговаривать тебя писать-творить в любой области, а, просто, закончу: «имеяй уши слышати да слышит»[723] — или — «тан пи»[i], как говорят французы.

Ты, непокорка-неверка, все вопишь — «я могу лишь подражать, "списывать", я — маленькая, я же знаю себя...» — и прочее. Когда я был во 2 кл. гимназии, я писал по Жюль-Верну, — да, как бы подражал в приемах, хоть и брал героями гимназических учителей: «путешествие "мартышки"» — учитель географии, сын известного историка Соловьева![724] — на воздушном шаре, сделанном из штанов «бегемота» — учителя латинского языка — толстяка неимоверного. За это я отсидел два «воскресенья». В 4-м кл., — я тогда читал Гл. Успенского, и его рассказ «Будка»[724а] — не помню точно содержания, — произвел такое впечатление, что я сам написал рассказ... «Будка» — !! — вывел в нем «страдающего будочника», потерявшего от скарлатины своего мальчика — жена померла от родов! — и как он в дождь осенний несет бедный гробок подмышкой... а будка «осиротела, мокла под дождями, и покинутое гнездо ласточек — отсвет Майкова?[725] — одиноко плакало под крышей, дрожа соломинками, словно и оно оплакивало бедного мальчика усопшего»!!! В пятом кл., — под впечатлением «В лесах», Мельникова-Печерского, — начал большой роман из жизни 16 века, причем дал трескучий мороз, когда «термометр (!!) показывал свыше 40 градусов» — !!! — это в 16-м —то веке!.. Под влиянием Загоскина — писал исторический роман из времен Грозного. Под влиянием Толстого — «Два лагеря»[726], — о сем прочтешь как-нибудь рассказ — «Как я ходил к Толстому»[727], — публика влоск от смеха падала. И, уже в 17 л., оканчивая гимназию, написал рассказ «У мельницы», напечатанный в толстом журнале, — был чуть под влиянием «Записок охотни-

---

i Тем хуже (*от фр. tant pis*).

ка»[728], что хвалившая рассказ критика и отметила. Помни закон творчества: все без исключения рождаются в творчестве под чьим-нибудь влиянием, до гениев! Пушкин — ряд лет — уже 20-летний был во власти классиков, античности, ложно-классицизма, Державина, затем — Байрона и прочих... многое из его — и очень высокого! — является, просто, «заимствованием» — !!! — но это никак его не порочит: он оказался выше тех, у кого брал. Его знаменитые «Песни западных славян» — материально взяты у Мериме[729]. Брал у англичан, немцев, у француза Парни[730], у Данте... не боялся исходить из Гете, — «Сцены из "Фауста"»[731], подражание «Песне Песней»... — да раскрой — увидишь. Лермонтов — весь из Байрона, и до бесстыдства из... Пушкина! — возьми же его «Демона», — целые строки... — Пушкина![732] «Мцыри»[733]... — да кру-гом...! И это не помешало ему стать гениальным Лермонтовым. Достоевский здорово напитался от Бальзака (а ныне: Он и — Бальзак!), Мопассан от Флобера, вначале... Толстой — от Стендаля... — его батальные картины! и немцев, и все — от Шекспира!!! и все — от собств[енного] на-ро-да... и все — от — «Божией Милости»! И все, такие, стали «самими собой». Пушкин — в самом замечательном из своего — наполовину от... Арины Родионовны, ну — в кавычках: особенно, за 30 лет перевалив, стал черпать из величайшей сокровищницы народного творчества. А что такое — «народное творчество»? Творчество отдельных, безымянных, наследство коих подхвачено и стало бессмертным в нас. Все мы — от земли, но и... от Образа Божия. Вот этот-то Образ Божий, всеобъемлющий в нас, он-то и дает творцам их особливость, их лицо, их — свое. А земля (персть) — это преемственность, ткань-сермяга, по которой гений вышивает свой узор. Ласковка моя, нежная, робкая... — и — ох, какая напористая-огневая! — зато — еще и особенно люблю, это же «пряность» твоя, огонь этот, он меня жжет, эта твоя «купина», разжигает, влечет страстью, страстностью твоей... — да ты и не могла бы быть истинным художником, если бы не была так страстна, так кипуче-огнедышаща, так опаляюще прелестна! Художником не будет «тепловатый», «лимфа», душевно-вялый, душевно-духовно скудный, тихий... Художник — (большей частью) — всегда вулкан, всегда извержение, «орел», огонь-огнь, с пронзенным или «горе вознесенным» сердцем, и... всегда дитя (как вот ты, девчурка!), всегда «наивный», всегда изумленный новою красотой, какую будто бы только что увидел... — а он уже давно все видел, а каждый

миг видит по-новому, все «раскапывает» вновь и обретает уже в перерытой до него «кротами» (более мелкими) куче — чудесные жемчуга, алмазы, рубины, сапфиры... Каждый миг — новые глаза у него, потому что его душа миллионно-многогранна, налита таинственной силой, и эта-то ее сила множит в простом — чудесное, мно-жит мир! И как же не права ты, гуленька моя, умная-умная — !! да, да, умная, как Христова детка, — когда лепечешь: все описано, все б ы л о... У тебя глаз мушиный, пчелкин, глаз Ангела, наконец: ты, через свои душу-сердце (о, какое богатое, огро-мадное!) в с е воспримешь и все дашь, как раньше н е давали. Я-то з н а ю. Любовь — штука вечная, до-человечная... — в Небе зачатая! — и подлинные писатели дают ее в н о в ь и вновь новорожденной. Поройся в своей литературной памяти. Любовь Наташи Ростовой, Лизы Калитиной, Герман и Доротея[734], Эмилия[735] (нем.), Дамаянти, Елизаветы Николаевны из «Бесов», Настасьи Филипповны из «Идиота», «Первая любовь», Соня Мармеладова, Дуня, Катюша Маслова, Елена Тургенева — в «Дыме»[736], Вера («Обрыв»)[737], «Нана»[738] Бовари, Джульетта, Дездемона... Татьяна, Ольга, Даринька — тебе знакома? Паша, Анастасия Павловна — не кощунствую, что дерзаю взять честь стать рядом? Нет, з н а ю. Нургет... — да сотни «любивших» и в с е — с а м и, в с в о е м. А разве я по твоим «рассказам о жизни» — я теперь мирно их могу перечитать и еще больше чтить и возносить и любить, и душить тебя от любви, и впиваться в тебя всей силой... — не вижу, что у тебя — в с е — с в о е — и потрясающе с в о е!? Не веришь? Ну, тогда поставь между мною и подлецом знак равенства: лгун и пошляк? Нет! ты это з н а е ш ь, моя горячка, гордячка и вопилка-нытик, и птичка-трель, и голубка моя пугливая... и соколка моя ярая, вот-вот хватишь клювом и разорвешь, и сама истечешь кровью, что уже не раз и было. Нет, милая моя, меня ты не обманешь, хоть ты и воплями истеки вся, и все свои ножки оббей о мое настойчивое сердце, я все равно не поверю, как не могу поверить, что искусство когда-нибудь исчерпает... — Ж и з н ь! Искусство — бессмертно и бесконечно, и всемогуще... — ибо оно — от Господа, и все определения свойств Божиих — применимы к определению Искусства. Я эстетик не изучал, они — в н е меня, по ним ничему не научишься, как не научишься верить в Господа и Ему молиться и служить... по бездарным урокам «Закона Божия» в гимназии. Знай же, что я не даром именовал — и буду! — тебя Ангелом, божественной, изумительной, неизъяснимой... — это не потому

лишь, что я всю тебя люблю, от мизинчика на левой ноге до темечка, все жилки твои люблю, все миги глаз, все реснички, ямки, складочки, до яблочков и персиков в тебе, — о, прости же, после-ливенная моя прелесть живая!.. — а — это глубже и главнее... — я родное душе моей в тебе ценю-люблю, я «нашего Роду» в тебе поклоняюсь, я знаю, кто ты, силу твою духовную знаю! — твор-ческую силу. Помни — в искусстве «оглядка» — убивает волю-раздолье, полет сердца и воображения, каменит, как жену Лота, — в соляной столб обертывает[739]. Страх и трепыханье — лютые враги. Тревога, страх, подавленность духа — парализуют и физиологический акт любви, — в большей степени — всякий духовный акт — молитвенное состояние, созерцание, взлет парящий, воображение, все, чем творит, и творится искусство! Девочка моя чистая, ласточка, любочка моя желанная, дружка верная, женка, невеста моя неневестная — прости! — пиши — что хочешь, как хочешь. Свою жизнь, куски ее, — у тебя такие склады всего, ты миллиардерша индийская, а строишь из себя скареда голландского! Гре-меть будешь — предсказываю тебе. Но только тогда, когда вернешь себе все силы телесные, все здоровье. Какую бы жизнь жгучую влил я в тебя, если бы были вместе! Да, и любовью ... ... — и — прильнув сердцем, душой, — и живым словом! Ну верю, что и в этих буквах моих почувствуешь и огонь мой, и веру в тебя, и мою мольбу! Прошу тебя: тебе необходимо мно-го спать... — очень много! Это устроит нервы и сосуды. Ложись в 10, ну в крайнем случае, не поздней 11, вставай в 8. Не думай о Ванюрке, — нечего о нем думать, дня довольно на этот пустяк, а прочти Богородицу, предай себя Ее Покрову — Водитель она твой на всю жизнь. Под Ее знаменем твое искусство. Во Имя Ее творить будешь, чистая моя. Не убойся, не устыдись, Оля! Сердце мое — твое, с тобой, и пусть и оно будет питать тебя. Твое сердце — наполнит твое творчество, и останется его на любовь земную. Опыт у тебя огромный, куплен страданием, куплен и радостями творческими, они в тебе с детства живут, ты же с детства творила, да, да! Творила в переживаниях, страхах за дорогих, в «безумстве», в «исканиях идеала», — твои рассказы о жизни, в тысячах встреч — и это твое богатство, тайное, чуемое вне, как и твоя прелесть телесная — она вы-ше античной красоты, часто охлаждающей влеченье и «вкус любви», — все это такой капитал, что средний «жрец искусства» — нищий убогий перед тобой! Ольга, девчурка милая, верь мне. Больше я не коснусь всего этого, — я же не граммофонная плас-

тинка, с меня и с тебя довольно... — я только знаю, что все эти мои речи не бесследно тонут в твоих глубинах... — в тебе творится — и сотворится, — и — это мой гонорар! — я знаю, что когда-то получу от тебя поцелуй, — лучший из всех твоих п о ц е л у е в... и — счастье — тебя читать, твое смотреть — и уже получил — т в о ю Лавру. Ты, глупенок, и тут скулишь: я ее «скрала»! Смешно. Как если бы кто из художников вопил, что он «скрал» солнечный свет, миллионы раз «краденный» у Господа Бога: Лавра — Лавра, и она, единственная, всем принадлежит, и ее «скрасть» нельзя. Ты договорилась-доскулила до... абсурда. Пишешь — «помоги мне разобраться»! — Вот, помогаю, — помог? мало? Ну, тогда... возьми вербу с моего пасхалика и — !!! Вот — по «калачику». Приласкаться к тебе хочу... тянусь, ушко твое беру, чуть, «карасиком»... — милое мое ушко, соску кискину. Олёк, будешь спать, есть, наливаться, алеть, беречься, не грезить страхами, внимать моему сердцу к тебе, твориться, чтобы дарить радость — и себе, и всем? У, как люблю... отень-отень... лю-бу... — Сережечка, бывало, так... сжимал и скрипел даже... — так «любу»! Ну, какой там рецепт на су-нитрат-де-бисмют? Твое немецкое название верно. Тяжелый висмут. Всегда его без рецепта. Ничего не вредный, глотал — сколько хотел, — от него всякие «жители» кишечного тракта погибли бы! — и у меня их, понятно, никто никогда и не находил. Если можно, на себя возьми. Найду рецепт проф. Брюле — приложу. Твой доктор и для себя может взять в аптеке. А не может — и не надо. Обойдусь, как уже полгода обходился глинкой, Caolin'ом. Язва спит, а м. б. и совсем уснула. Болей нет, а если и будут, так это от чего-нибудь другого, — теперь не приходится разбираться в еде, — что дадут, чего найдешь. Ничего тут страшного, что хожу за молоком. Все ходят. Страшное было бы, если бы не доставал молока! Да и надо мне прогуливаться, а то, не будь этого, валялся бы днями с книгой, или тосковал по тебе. Я порой — увлекающийся! — неделями — в книгах, а когда захватит писание — прощай, солнце! Я не умею — «дозами». Милка моя, зачем ты мне вышиваешь, глаза продаешь? У меня есть и рубашка, — Милочка, рижская, ныне берлинская, — вышила — не ношу. Есть чесучовый пиджак, — мне все твое — свято, но мне приятней было бы, если бы Олюша моя спала, ела, набиралась силы, цвела, лежала под березой в кресле, а пчелы слетались бы к ней, — «какой удивительный цветок! и как чудесно дышит! и какой душистый — апре л'ондэ»! — и молитвен-

но пели — «спящая царевна, баю-баю... ти-ше... ти-ше... сладкая царевна наша... баю-баю...» Ты слышишь, какой нежный гул над тобой, и очарованный червячок готов упасть на шейку... и погреться в твоем цветке! — молочно-розовом, нежном, как зрелый персик, в ямочке-душке твоей, чудеска. И как ты — верно, свое! — «с каждым крестиком любовь вшиваю!» — Целую бесценные ручки твои, горжусь: Олёль моя, мне... подарила! Ведь во всем твое дыханье, твой взгляд, полный любви, — Ольга, я жду, жду... тебя! Я весь дышу тобой, о, ми-лка! Я ликую: моя, моя, моя Оля — живет! в радости Оля моя! воскресает! Я знал это! Я тебе писал. Ты будешь вся моей — ты дана мне! А я не заслужил тебя! но... это милость Божия. Веришь теперь, кто ты мне?! Да, да. Твой Ваня

[На полях:] Оля, береги себя! И что ты так скоро разгулялась — после такой-то слабости?! Еду к Фасе, еду в Амстердам! Непоседа-юла! Ле-жи, глупка, набирай сил, не хозяйствуй! Я — при-е-ду!! Спи, ешь, а то не приеду!

Да, ты у меня — такая..? — первая! Да. Да, я любил Олю мою, и теперь я ее свято люблю — чту. Спокойно. И она, знаю, дала мне тебя. И я — спокоен. И ты — будь.

Олюлька, сейчас мне принесли фото — переснято с карандашно-пастельнно-акварельного портрета, писанного художником Калиниченко[740] (помнишь его картину — студент сжигает в печке «нелегальщину»? — Румянцевский Музей — он меня писал в его имении, Рязанской губернии 21.I.1917 г.). Я тут 40-летний — чудесна [репродукция]. Оля любила..! — но я подарил оригинал, когда после ее кончины все разбросал[741]! Как переслать тебе? М. б. сам привезу.

Да, да, Олюша моя, я чувствую, что ты вся со мной, все эти дни радостью заливает сердце!

Как ты нежна! Ни в чем не укорю! Не ты томила, твоя болезнь. Ты сама истомилась. Люблю. О, как..! Так — никогда еще.

Я весь — о тебе, к тебе, в тебе!

189

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.V.42

Милый мой Ваня, родное сердце! Пишу и думаю, м. б. получишь к Троице — поздравляю — целую, а сегодня еще раз: «Христос Воскресе!»

Голубчик ты мой дорогой, Ванюшенька, получила вчера утром за завтраком какой-то заказной пакетик из корсетного (!) магазина из Гааги... ничего не поняла, думала м. б. кто-нибудь из дам хочет мне доставить удовольствие и «ухватили» что-нибудь для меня из туалета. Еще не торопясь, раскрываю и чувствую уже рукой, что нечто кругленькое, гладенькое ласкает руку... Яички! И духи! Яички — прелесть! Лучше, чем я ожидать могла! Дуси! Очень миленькие, именно «ласковые». Я так рада, что твое желание исполнилось, и они пришли еще до отдания Пасхи. И я их поцеловала, христосуясь с тобой, дружок мой, мыслью! Сегодня отдание уж! Как грустно!.. Ну, и вот я вчера, сразу подумала о «Roussel»... и разыскала по телефонной книге ту фирму, которая мне (вероятно по поручению m-me B[oudo]) послала. Утром же позвонила туда, чтобы узнать, кто приехал, где, и т.д. Я надеялась ее увидеть и еще упросить для тебя кое-что взять, из того, что у меня есть, а у тебя, видимо, нет. И главное, хотелось мне достать лекарство, это «sous nitrat de bismut» (правильно?). И, подумай, я от 1/2 11-го до 2 ч. ждала соединения! Эта Гаага всегда ужасна! (Тогда, когда с Арнольдом случилось несчастье, я тоже не могла добиться телефона.) Так и теперь: ждала, ждала, издергала себе пальцы даже. И когда соединили, то узнала, что m-me B[oudo] уезжает уже в тот же вечер. У меня не было лекарства, надо было достать рецепт, найти аптеку, и самое ужасное — автобус! Они ходят очень редко. Я высчитала, что не могу уже поспеть... и не рискнула бы такая слабая еще так «гнаться» и ночевать в Гааге. И все-таки, не могла мириться, что вот кто-то едет, а я бессильна! Ах, да, мне в фирме сказали, что вряд ли я ее (B[oudo]) смогу увидеть — занята очень, но дали ее адрес. И бранила же я тебя, что не сообщил мне о ее приезде раньше! Шучу, конечно! Но досадно, я бы тебе всего послала, что можно мне достать! И, знаешь, я, несмотря на кажущуюся невозможность, все-таки стала искать лекарство. Подумай, мой доктор мне его в течение 1 часа раздобыл! Это по голландскому темпу прямо чудо! И вот я решила послать свою «трамбовку». Это дитя природы так стремительно, что все на своем пути сокрушает в спешке. Наказала ей, что очень важно и очень спешно, и пустила ее как ракету, ибо она, как услыхала, что «спешно», так уж на ходу и слушала-то. Сказала ей, чтобы добилась madame во всяком случае, если даже уже на вокзале, то пусть дает большой «на-чай» портье и катит с ним на перрон. Укатила. Мама смеется: «смотри, девчонка всех прохожих прямо с ног собьет!»

Утром является: все сделала. За несколько минут madame захватила. На лету в поезд вскочила где-то. Молодец! Рада буду, если ты получишь и если это — то, что тебе нужно. То ли? Напиши! Я написала m-me B[oudo] письмо, но т.к. не знала, говорит ли она по-русски, то написала по-немецки. Ты мне писал как-то, что ее сестра читает тебя в немецком переводе. Я не рискнула, не встретясь лично, «всучить» ей остальное через горничную, да еще такую! Хоть я и учила ее быть вежливой и поаккуратней! А мне так хотелось бы, чтобы ты хоть несколько дней (хотелось написать «пару дней», да вспомнила!..) не бегал за покупками! Ну почему ты раньше мне не сообщил, — я бы все устроила. И madame бы встретила хорошо!.. Сегодня утром получаю от нее письмо, датированное 10-м мая, но опущенное только вчера после обеда! Поручила м. б. кому-нибудь? Забыла? Или просто тоже «боялась» оказии? Она сообщала по-русски, что здесь пробудет до вторника, и предлагала позвонить ей, если что нужно. Подумай, если бы пакет запоздал вчера, то как бы я рвалась на части, получив это позднее сообщение. Ах, Ванюша милый, как же это так, — я тебя не поблагодарила так долго! Солнышко мое, — целую тебя, благодарю за все, за все! Но духи? Что же мне делать? Я их берегу все до тебя. Это на всю жизнь! Фиалочка! Ванюша, мне больно, что я тебя так «опустошила», затерзала. Ты устал. Ты творить не можешь — не хочешь от переутомленности, как ты пишешь «отлыниваю». Если бы ты знал, как это больно мне! Что мне сделать для того, чтобы ты загорелся? Наполнился светом? Чтобы у тебя его для тебя стало слишком, и ты бы захотел дать его и другим?! Я измучила тебя! Невольно, конечно, Ванюша. Поверь! Счастье мое, Ваня, милый!.. Ты получил мой так называемый «портрет»? Ну, не хвали, хоть и «через не могу». Я знаю, что гадость. Гораздо лучше уметь правде глядеть в глаза. Сереже и маме не понравился. Арнольд тоже его нашел «жестким». Но, видимо, я и есть такая. М. б. временами. Я часто ловлю себя такой в зеркале, когда сама не жду себя увидеть. Но сходство есть без сомненья, хоть и никуда не годная работа. Овал (у меня он, как видишь, далеко не «ангело-подобный»), лоб, брови, рот, и что-то в глазах. Но они не удались, я знаю. Ах, не стоит об этой ерунде и писать... «От слова х у д о», — вот какой я художник. «Лавру» я тоже не сумела дать. Мне вообще очень трудно без техники. И потом, не забудь — я не рисовала с 1922 г. В России я презирала прикладное искусство, а за границей оно в почете. Только «прикладное» — ремесленницей была. Большевики

его тоже старались ввести, но молодежь наша очень стойка в идеалах. Не свернешь так скоро... Мы воевали прямо за «чистое» искусство!

За границей я, скрепя сердце, зарабатывала «прикладным искусством», — вот такие и другие яички, иконы, ларьки и т.п. разрисовывала. У меня был успех. Меня «гнали» в модное отделение (рисовать моды), те кто видали мои «яички». Но мне это чуждо. Рекламу — тоже не могла... А «творить» мне не пришлось. Господи, уже 20 лет прошло! С 1922 г.! 20 лет без практики! Чего же ждать! С того момента, как Беньков нашел у меня «1000-чи ошибок» я ничего не сделала для их искоренения! Ах, скучно, Ванёк, не хочу о себе все! Брось!

Не удалось тебе достать, для себя конечно — не подумай, что для меня! духи «Treffle». — Я бы хотела тебе послать, — если найду, то пошлю. Это совсем почти что — «любка». Получил ли мой крошечный тюльпанчик? А «кусочек калачика»? К сожалению, не могу стать калачиком, т.к. могу спать только на спине, высоко, полусидя. Неуютно! Когда будет Лукин? Напиши заранее! Я, кроме того, буду ловить С. «шефа». Ваничка, посылаю тебе вырезку из «Нового слова»[741a]. Удивительно как! И вот в то самое воскресенье я особенно воображала себе то, о чем тебе писала, о твоем Сережечке. Мне страшно и мешает что-то так писать о нем, слишком священно это все, но хочется дать тебе почувствовать, что странно так меня мысль о нем волнует. А вдруг? Вдруг он отзовется! Кто тебе говорил, что его звери-большевики убили? Видел его кто-нибудь? А м. б. бежал? Таился? Вот мой друг детства Миша тот, помнишь писала, тоже бегал под чужим именем и отец его. Года 2 скитались сторожами где-то. М. б. и Сережа где-нибудь притаился. Потому ты ничего о нем там и не слыхал. М. б. я так писать не смею. Прости мне! Но ты знаешь, что из любви это!

[На полях:] Как забилось сердце от твоей фразы: «а потом буду хлопотать о поездке»... Я не верю даже... Ванюша, сходи в комендатуру лучше теперь уже! Разрешение длится очень долго. Иногда 2 месяца. Спроси и о том, не могу ли я получить разрешение. Это должно от тебя исходить, т.к. я тебе нужна, для литературных дел. Сходи туда теперь же, а то м. б. очень затянется!

Я чувствую себя еще лучше. Даже работаю на огороде... Вот как! Ой, только не сердись, — не устаю, ни чуточки. Я только зернышки бросала, а работники все другое делали. Я долго по утрам валяюсь — до 8—1/2 9-го! Позор! Вчера

закончила селлюкрин и начну новое: «Orgatonikum». Antigrippal у меня есть. Ты прав, — я его не брала. Не знаю почему — так просто. Возьму!

Ванёк?.. а ты ведь чуть разочарован... Оля твоя — урод, жесткая, сухая... Да? Боюсь, — когда увидишь — совсем увянет твоя любовь! Художник всегда улавливает и даже другим передает свое, то, что у него в лице главное, и если по-твоему я — художник — то вот, считайся! Ерунда! Не жесткая я! А просто плохо удалось. Вся ласка тебе!

Сейчас прокуковала кукушка! Впервые слышала! Трепетно так стало! Второй день теплого дождя, — м. б. расти все станет! Ну, целую крепко тебя и еще раз: спасибо! Ласкаю «пасхалики» — тебя! Оля

Салфеточка бумажная, в чем были яички, — твоя? Милая!

У меня еще и грушка твоя и конфеты целы! Берегу! Только изредка балуюсь, когда грустно.

Ответь на мои письма. Ты не отвечаешь!

190

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.V.42

Ванюша мой родной, радость моя,

шлю тебе три цветочка: яблоньку, незабудку и первую сиреньку... к Троице и вкладываю в них все свое нежное чувство к тебе. Мамина няня говорила: «поди, сорви к Троицыну дню от трех разных травок, али цветиков, да не губи много-то, а то за каждое творенье Творцу ответ держать будешь! А три-то уж надо, для Троицы!» Удивительная была эта Ульянушка. Столько всякого люда перебывало у бабушки! И чего только не бывало!.. Ну, вот мой неоцененный Ваня, тебе 3 цветочка. Я каждому из них передам свой поцелуй! Боюсь, что из магазина не поспеют ко времени. Чудесно как теперь... Тепло, солнца масса. Дожди были, все оживает, растет вдвое.

Мама сегодня уехала до завтра к Сереже гостить, а мне немного трудно. В Arnhem далеко ехать, я устала от поездки в Амстердам и к Фасе тогда. Утром у меня была прислуга и все сделала, а я только за «детками» смотрю и кормлю их: куры, кролики (8 маленьких от 2-х мамаш), кошка, 3 ягненка и теленочек, — прелестный, ему только неделя, болел он очень, а теперь поправляется, и я боюсь его работникам доверить. Это первая телочка от одной очень породи-

стой коровы. Вся почти беленькая, я зову ее «Беляночка», а по «паспорту» она — «Ольга». Я не люблю давать людских имен скоту, но Арнольд так записал, — у них это делают всегда, — по хозяйке.

А мать ее «Иоганна». Я очень люблю их всех. Телятки всю руку берут и могут без конца сосать. Но трогательней всего, что эта «Беляночка» стоит около «папаши» — огромного бычищи, тот ее лижет, а она у него ухо сосет. И вот картина: малютка, и рядом это страшилище. Если не усле-

дить, то он тоже фартук в рот забирает. Он на цепи, через кольцо в носу. Не бойся!

Ванечка, как твое здоровье? Как боли? Как с диетой? Я мучаюсь этим очень, что не могу ничем тебе облегчить хлопоты по диете. Ах, если бы ты тут был! Все есть, и творог, и чудное молоко, и сметана бывает, и яйца и т.п. Сегодня у меня пирожки с луком зеленым и яйцами. Ты верно не любишь?

Трудно придумать начинку. В следующее воскресенье собираются ко мне русские гости, — дочь матушки замуж-

няя, — Ольга, умница и чудная душа! Хоть очень не красива. До уродства. Но забывается, и даже отыскивается шарм и прелесть, когда с ней имеешь дело. Вот видишь, какая твоя Олька сильная стала, даже гостей ждет! Они тебя тоже все любят. Ольга замужем за русским, и еще один их квартирант, прекрасный человек, рыбинец* (!) приедет. Мало тут русских, да еще земляков! Подумай, теперь я совсем не смогу ездить в церковь: запрещено автобусу нашему ездить по воскресеньям с 15-го. М. б. уедем в субботу, останемся на ночь в Гааге, а в воскресенье работник за нами выедет в Утрехт. Хотя у него тоже Троица, — они свободны. Ужасно

жаль. Так томительно без храма, без б л и з о с т и его. Тебе завидую в этом! Как хотелось бы быть с тобой за летней всенощной, за обедней, а потом куда-нибудь в поле! В лес! В «троичной» церкви березки, травой пахнет, душно. Чулки зеленятся. Голова чуть кружится. И такая легкость во всей!.. Люблю. Господи, до чего бы хотелось быть на твоем вечере. Об этом прямо и писать больно! Ты напиши мне, о чем ты будешь говорить. Все напиши, какой почет тебе, какие овации,.. все, все! Сколько еще сердец тебе забьются навстречу?! Ну, шучу, не ревную. Мне приятно, что тебя любят. Все напиши. И подумай обо мне, когда начнешь, вообрази, что я в зале... О, сколько раз я так мечтала... И так: приезжаю в Париж — ты не знаешь. У тебя

---

* да ты знаешь, — это тот «радостный», что тебе на фото с цыпля тами понравился.

«твой вечер». Я в зале... И все, все, что я могла пережить, толпилось так ярко, что воздуха не хватало! Можешь понять? Ах, я так часто у тебя! И вот сегодня во сне: открытие делаю, будто квартира рядом (дом незнакомый), — твоя квартира. Я собираюсь к тебе. И вот все эти мелочи переживаний, вплоть до гравия в садике твоем... И все время такое чувство, как и во сне, что вот-вот и увижу тебя! Ну, неужели ты огорчишь свою Ольгуну и не приедешь? Не могу думать! Сходи же в комендатуру, узнай! Не теряй времени! И так долго длится пока получишь визу. Узнай у m-me B[oudo] как она хлопочет! М. б. она для меня могла бы что-нибудь устроить, если у нее дела в Голландии. Видимо и женщин пускают по делам? Если не попытаешься приехать, то я не буду лечиться, ни-за-что! А то я каждое утро с таким отвращением, но пью молоко и говорю маме: «только потому, что И. С. хочет!» Я и в детстве пила его «залпом». И вечером пью, и днем! Все для тебя. И лекарств принимать не буду. И твой antigrippal выброшу за окошко, если не приедешь! Вот увидишь! Я — упрямка. Приедешь? Да! Да! Иначе рассержусь! Не на шутку!

Ванечка, никогда не смогу рассердиться... Но грустно мне будет... Но я не хочу насиловать. Это только сердце мое так просит. «А душа вот так и просит...»[742] и т.д.

Был ли ты у Лукиных? Я думаю, что они не очень близкие тебе люди? Мамаша, кажется, очень властная. Как поживает Серов? И как Ивик и его невеста? Ты мне давно о них ничего не писал?! И что Ирина С[ерова]? Рисует? О них тут в Гааге мне рассказывали. Ее-то еще чуть не девочкой знали, а мать кажется уже 15 лет тому назад от мужа уходить собиралась. Странно, как мал свет. В одном доме случайно о них услыхала. Мне жаль доктора, если он тяжело переносит. О нем здесь жена его очевидно рассказывала, что он «грубиян», — я что-то не могу себе этого представить, — и по письму его, и по тому, что тебе близок. Ведь правда? Как доехала твоя «караимочка»? И то ли это лекарство, которое тебе нужно? Если нет, то пришли скорее точный рецепт, а то и тут раскупят. Я все время о тебе думаю. Как твой «duodenum»? Ради Бога берегись, Ваня! Я очень тревожусь о тебе! И вообще, как твое состояние? Мне больно, что из-за меня ты «опустошился». Ужасно это! Я только радость тебе хочу дать, а получается такое. Впрочем, это часто так бывает, что помимо воли и даже совершенно <u>против</u> ее — выходит не то, чего хочешь. У меня это часто, и это мучительно в жизни. Вообще часто я думаю, какой я «бесталанный» человек. И родилась-то я в несчаст-

ный для себя день! Я очень недовольна собой! Как хочу стать лучше! Я ничего не выполнила и не выполняю в жизни. Это меня больше всего гнетет. Как-то раз, давно, ты писал мне: «живите во-всю». О, о! А я только отталкиваюсь, сжимаюсь, не даюсь жизни... Но, все, конечно, так нужно! М. б. когда-нибудь хоть кому-нибудь да пригожусь. Не принимай это за «нытье». Это — мой «Leitmotiv». Всегда. Ну, Ванёк, кончаю вечером, спать иду. Подумал обо мне в 11 ч.? Нет?

[На полях:] Не перемогайся писать мне, если трудно, но хоть кратко извести о здоровье.

Целую, Ванюша, крепко; будь здоров, дорогой мой!

Покойной ночи! Отдохни, Ванёчек, не тревожься ничем. Я стала ровней, покойней. Лечусь. Могу достать еще лимонного сока. И получила лимоны в подарок. Апельсины никак не достать. Ну, ничего. Я часто ем зеленый суп и всякую зелень. Обнимаю. Оля

191

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.V.42 1-30 дня

Чудеска моя, Олюша, как ты меня обрадовала письмами! Вчера утром — от 14.V, — и я недоумевал — не получила еще «пасхалики»! Вознесение... — и я не похристосовался с тобой яичком! В 6-м вечера — от 13: получила, милочка, и в ласках поцеловали они тебя, весеннюю, радостную, здоровенькую совсем. Не успел дочитать о «трамбовке», пришла с сыном караимочка и принесла висмут! Творишь чудеса, Ольгушка, ты только можешь так. Меня потрясло твое меткое описание, твой «рекорд»! Поцеловал твою коробку — ручка твоя держала ее! Как благодарить мне тебя?! И томительно мне, что ты так волновалась у телефона, сколько же нервной силы потеряла! Любушка моя, ласка безграничная ты, — молюсь, живу тобой. Любуюсь тобой, вижу тебя по твоим описаниям, как ты живое любишь, и я люблю как! Как ты растешь в сердце моем! Обо мне не тревожься: ем хорошо, болей нет, — эти дни возникали, а вчера — принял твой висмут, — самый этот! — и сегодня принял, и вот, ни намека. Это н е боли, а отражения лишь, как от давно болевшего. Ничего мне не думай присылать, прошу тебя, — всего достаю. — Нет, Олюночка, обо мне заботятся, приносят — что достанут, это такая редкость в наши дни, когда каждому нелегко, каждый

занят — я лишь свободен! — и так это трогательно! Я живу на свое, не могу иначе, но главное-то — что достают, делятся. Это подвиг. Опять с гостями будешь возиться? Господи, тебе так необходим полный покой! Не превозмогайся... Сокрушаюсь, — без церкви ты! — Вечер мой приходится перенести на 21 июня, 4 ч., т.к. только сегодня, кажется, последует разрешение властей, надо надеяться. Ну, какой там «триумф»! Ну, похлопают, ну, цветы поднесут... ну... м. б., душой отдохнут. В первом отделении читаю — «Чертов балаган» и главу из «Няни», — еще не решил — какую. Во втором — «Небывалый обед», — веселое, из новой части «Лета Господня», — затем — главу из «Богомолья» и — «Орел»[743]. Выбираю не утомительное для слушателей. Читать буду в малом зале, русском (26, rue de Tokio (русской консерватории)), т.к. французские ставят условием, чтобы 60 процентов билетов проходило через их кассу, — это во многом относительно отяготительно, т.к. нет русской печати, не будет афиш — только «летучки», и, главное, много русских в отъезде, по условиям времени, — не та ныне пора, когда без риска брали зал на 600—800 человек или даже на 1200, как в Риге, Праге. Если дождемся здесь осени, хочу сказать «Слово о Пушкине», — что, с легкими вариантами, дал пражанам в 37 г. Вот тогда был триумф!! — какие слезы счастья, что мы — русские! — видал я, какое оглушение аплодисментов! Да, Олёк, много, вижу, у меня читателей, — дошло мое слово до сердца. Узнал, как читают: в уцелевших библиотеках очереди на мои — иные — книги! Приходят ко мне, просят: многих нет в продаже, — трудно достать из Белграда, если еще осталось там. — Что ты чудишь, Бог с тобой! Не пей молоко залпом, какая польза?! оно же в ком сыра свертывается! только вредишь себе. Пей глоточками, милая девочка... непременно с хлебом! — это твое лекарство! Про-шу-у..! Видишь, селюкрин дал тебе силы! Да, он! Изволь снова принимать, если есть у тебя, нет — напиши, — я постараюсь выслать. М. б. сам привезу. Я буду хлопотать, — увидишь! Я должен увидеть тебя, родную душу, ласточку мою дивную, — Оля, я так люблю тебя! Ты этого не представляешь себе, — это граничит с экстазом, — я часами твержу имя твое, я безумствую от тебя, от чувствования тебя, почти — от осязания тебя! Трудно передать словом. Все узнаю, как надо хлопотать. Мадам Б[удо] — у ней контора в Голландии, и ей дали разрешение «деловое», как бы постоянное. Не угрожай, что не будешь лечиться, это же неразумно! — самоубийство?.. Теперь я не тревожусь за тебя, ты б у д е ш ь

умница. У Лукиных не был на новой квартире. Что их беспокоить?.. Но поеду, если будет нужно, — мне надо тебе еще дослать, — ждет флакончик «сирени» Гэрлэн. Черносливки усохли. Что же ты бережешь духи и все? Даже «грушку»! Изволь съесть весь шоколад! Ну, рыбка моя, ссоси весь, будто меня ласкаешь-целуешь. Вот сейчас и возьми, а я учувствую! У меня сердце заиграет. Ивик болел... яцуром! — дней 10, температура до 40. Теперь поправился. А у него на днях конкурсные экзамены, ответственные. Чепуху тебе сказали о Серове. Она, Марго, во всем виновата. «Искательница» она. Он был очень несчастен. В Константинополе избил одного «найденного». Вот откуда — «грубиян»! Да тряпка он, а для нее, очевидно, нужен «кулак». Ирина работает как-то платки яркие, на рынок-люкс. Это дает заработок, и ее муж — то же ремесло. Дарованьеце у нее было, могла бы... — у нее маленькая душа, не хочу и думать о ней, когда о тебе — весь. Ты орлица, ты блеск вся. Ты спутала: ездила не «караимочка», а целая караимица, ее сестра вдова, пудов 7, бельфам, — они — противоположности, сестрами не признаешь. Мое «опустошение» обычно, бывало и раньше. Я все же в «Путях», в думах о них. Не смею ни в чем тебя укорить, ты и не подозреваешь, как наполняла меня душевно. Как бы хотел прочесть тебе — о Пушкине! — хочешь — перепишу для тебя? Все для тебя готов, все... и это для тебя напишу я «Пути»! напишу тобой. Олёлечка моя, не томи себя мыслями, что «бесталанна»! — сама же не веришь этому. Не растрачивайся на хозяйство, собери себя. Будешь писать — всячески! — и я буду. Помни. Брось свои «лейтмотивы». «Калачик» расцеловал, этот розовато-палевый, телесный отрезочек? О, ми-лый, на тебе грелся он. Ольгуночка, как ты близка мне! Вдыхаю тебя — живой мой воздух. Сейчас иду ко всеношной, завтра Никола-Вешний. Сегодня я полуименинник, мой Иоанн Богослов. Молюсь о тебе!

Олюша, дорожи весной, вдыхай ее, мечтай, строй в душе, вглядывайся в переживания. Как хорошо ты... — «чулки зеленятся», и — «такая легкость во всей»! Это верно. Я любил деревенский «Троицын День», — у церкви, на лужку, смотреть народ, девчонок с косичками, в свежем ситчике, их промытые щечки. Хорошо ситцем на солнце пахнет! А новые башмаки ноги жмут, жгут... душно в церкви от вялой травы, от жара бабьего... — выйдешь — и свежей волной с полей, травой размятой, на паперти, кислотцой от грудных ребят, и такое-то гуканье кормящих, и — вдруг — свеже так, поздний соловей чвокает-булькает,

над речкой, в кустах росистых... и кукушка, далекая, приглушенная... — промытое будто кукованье, свеже-росистое! А дома... крепкий, очень горячий, со сливками, чай... и пирожки — пирог! — с яйцами и зеленым луком! Почему это ты — «ты верно не любишь?» Жадно люблю!!! это наши — «троицкие» самые пирожки! Но надо укропа, непременно укропа! больше укропа! Рос на пирожках. Исцеловал твои «троицкие» цветы — чудесна Ульянушка, как чудесна! Возьми для себя (в свою работу) ее «*тройку*», ее *ласку* к творению Господню! Олюнка, ради Господа пиши, что хочет сердце. Я тебе в с е на днях написал о твоем праве-долге — творить. И березовые «сердечки» при «тройке» исцеловал, — будто тебя. — Я видел твое письмо по-немецки, которое ты послала Анне Семеновне. «Караимочка» — Елизавета Семеновна. Это дочери Дувана, евпаторийского городского головы, из очень богатой семьи. У отца в Евпаторийском уезде пять тысяч десятин пшеницы, сады, степи. Между нами, помнишь — писал тебе — «умирающий» меня просил приехать — принять исповедь от него. Так это — он. Я его успокоил, и он выздоровел. Его удручало, что его «Лизочек» не сделала блестящей партии. У него не клеилось с зятем. Я помог, чтобы клеилось. Сумел сказать ему, что разный бывает «блеск». Слава Богу... у ней сын 19 л. Ах, гордость человечья! Сказал ему: «м. б., Вашей "Лизочки" не было бы уже, и внука не имели бы — красивого — ! — если бы не состоялась свадьба в Константинополе, хоть и не "благородного" слоя зять: он "выручил" семью в нужде, любит и "Лизочку", и... вас...» — ну, так н а д о было сказать — «блаженни миротворцы»... И на самом деле, муж Елизаветы Семеновны очень хороший человек, многих спасал, все раскидал в помощь, — у него был в Константинополе банчишка... но он не мог наживаться, как все... — он ставил очень большие моральные требования себе и компаньону, и не нажил милионов. В Париж приехал почти нищим... — теперь — лавочка, и хорошо живут. Ну, у Лизы, м. б., — отцу лучше знать — иные требования, м. б. большей культуры нужно ей в муже... большего развития... — она очень пытливая, умная. А ты меня, деточка, чуть ли не обвиняла в «симпатиях» к ней. Если бы и тебя не встретил, никогда бы не допустил себя — к «симпатиям». Для этого мне надо «по себе» встретить, и еще многое. А тут человек, ко мне расположенный безотчетно!.. — муж-то ее. Я не из «саниных»[743a], поверь. Если бы и молодой был — все равно, есть для меня непереходимые грани. — «Трамбовка»

твоя — изумительна. Вижу ее... Не смей себя принижать: ты — именно — настоящий художник! И понимаю, что не любишь опускаться до «прикладного». Хотя оно не унижает, — может сосуществовать с «чистым». Ты еще — юная, и это пустяк — «20 лет без практики»! Ты за это время наполняла душу, душу — ! — а это главное. Ты теперь — богачка. Не присылай же «трефля», захочу — найду сам, — изволь купаться в «голубом часе», в «ливне»... — пахни ландышем, фиалкой, — чудесной Олькой! Изволь, девочка моя небесная. Прошу. Я, бессильный, только эту маленькую ласку мог послать тебе. В ней живи. Пока. Ах, Оля... почему мне не — хотя бы! — не 40—45!? Сколько бы впереди!.. А теперь... — «О, как на склоне наших лет... нежней мы любим...» — Как верно это. Ну, не надо удручаться — и тебя печалить. Все — в Господе. Надо быть благодарным, что хоть душа — живая! Сережечка... — спасибо за вырезку. Нет Сережечки... сестра милосердия одна, полюбившая его в тюрьме — в подвале, в Феодосии, видела... как вывели его ночью с другими... — на казнь-убой. В таком чудес не бывает, Оля. Я еще надеюсь найти его останки, у меня есть признаки — нехватка двух зубов — передних, — у него был протез в два зубка, — не выросли почему-то внизу, после выпадения молочных. Он, кажется, не любил протеза. Так вот, по этому знаку, может быть найду, отличу, когда будут разрывать «бесовские бойни», в окрестностях города. Слабая надежда... Не мог он спастись, когда уже повели... студеной ночью... черной ночью... моего светлого, чистого, единственного*! О, какой это был мальчик! Святой, весь — любовь. — Завтра пойду к одному полковнику[743б], замести-телю председателя Эмигрантского комитета. Он на Пасхе ездил в Италию. Он даст совет и поможет в хлопотах. Он — на отличном счету, «преображенец», из отряда ген. Самсонова, в 14 г. был в плену в Германии тогда, потом его отпустили в Голландию, где и женился. Потом развелся, — двое детей — и вновь здесь женился на разведенной жене фабриканта Мамонтова — сургучный-то! — спившегося. Был полковник председателем «Союза русских разведчиков», я для союза не раз читал[743в], и полковник единомыслен со мной. Мой чи-та-тель, очень. И сам я числюсь «почетным председателем литературного отдела Комитета»[743г]. Но, лентяй, только числюсь.

---

* NB — убил Сережу еврей, начальник Чека... фамилия Островский (псевдоним?), из Никополя.

Автопортрет твой я храню нежно, как все от тебя. Не кривись же, в нем твое дарование ясно, но тебя, живой, как я вижу... — очень мало. Видишь, я искренний с тобой, моя красавица... ты для меня — красавица... понимаешь?! Вся, всякая. Хоть порой и остроугольна до боли... но и боль эта дорога мне.

Да, «салфеточка» голубоватая — моя, я наскоро завернул «пасхалики», когда караимочка с мужем и сыном были у меня 3-го мая, а на другой день я принес ей духи, и в минуту все устроилось — по телефону с сестрой. 5-го Анна Семеновна выехала. Она мне и в другом поможет, что хотел через Лукиных. Идет дождь второй день. Посвежело. Сейчас — ко всенощной надо. — Как я рад, что получила яички! Сколько на них смотрел я! — в тебя смотрел. Как я люблю их ласковость шелковистую, радостность светлую, — очень они «изящны», уютны душе, глазам, — от них мне свет был, с вербочкой — особенно нежно, — все в нем празднично-весеннее, юное, чистое.

Третьего дня явились вдруг Алеша с Мариной! Завтра опять будут. Вырвались на десять дней. Ничего от них нового не узнал. О тебе не стал говорить. И не знаю, можно ли показать «обложку» твою, — горжусь ею. Я не смею сделать не по тебе. И остерегаюсь. Если сами начнут — отвечу, как Бог даст. Все наше — только наше. Бережно несу, как Дары. Не поймут, как надо. О родном только говорили мы. Марина надеется поехать на работу, на родину. Похудела. Меня нашла оживленным — полтора года не виделись мы. Парижу рада — все, говорит, есть. А я смеюсь — все?! Ну, да... гребеночки, душки, пустяки. Бывший у меня в прошлом году от них, работавший у них, молодой человек — убит красными, когда вылавливали партизанов. Говорила больше Марина. Алеша, как обычно, помалкивал. Он — приятный, чуть мягковато-сладковатый, но что-то в нем не отмыкается. Думаю — душа у него хорошая. Марина мне понятней, хотя тоже «прикровенная», — и — чувствую — волевая, цельная. Все болеет. [...][i]

Они оба — хорошая русская молодежь. Чувствуется резец И. А.

Господь с тобой, Ольгунка, — крещу тебя, целую. Без тебя, без света твоего — что бы я был теперь?! — подумать страшно. Ангел-хранитель мой, светлая моя вера, будь же радостной, молись Пречистой. Она — самое лучезарное,

---

[i] Описание болезни М. А. Квартировой не публикуется.

самое высшее — до чего могла подняться вера и мысль человеческая. Твой Ваня. Лю-ба моя!..

[На полях:] 22.V — пришла «Арина Родионовна», делает мне лепешки на полусметане (после кипячения масла впрок) из настоящей белой муки. На обед суп-лапша из баранины, творог цельный с молоком. Видишь — сыт я.

За всенощной виделся с доктором, кланяется тебе, птичка!

У меня — для тебя, Ольгушка, — 4 пакета «bonbons au miel»[i]! Скажи Сереже: он получит — о чем ему писал. Если бы достал для тебя гардению! Или — апельсинчик. Это моя мечта — завести себе, — и я достану. Это моя idée fixe[ii].

Если бы вязиги тебе послать! Я берегу немного, для тебя. Она нужна тебе! Ешь фруктовое желе!

В Троицын День весь с тобой, в цветах, в молитве!

192

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.V.42

Ванюша милый мой!

Как одиноко-тоскливо мне без твоих писем. Целую неделю ничего от тебя! Здоров ли ты? Отдыхаешь ли, оттаиваешь ли от твоей «опустошенности»? Как это меня тревожит. Я знаю что это за состояние! Ванечка, все сделай для того, чтобы преодолеть в себе это. Мне горько сознавать, что м. б. я этому виной. Ты опять снился мне. Вернее голос твой... я тебя никогда не вижу, но или чувствую, или слышу. А сегодня было так странно во сне, и я так плакала. Проснулась в слезах... Плакала о чужих детках!.. Какая тяжелая жизнь, Ваня! Проснулась, — сердцу не очень важно, горю вся, думала жар. Нет... Разволновалась. Приняла валерьянки, и все прошло. Это верно немножечко устала — вчера гости у меня были. Очень было сердечно-мило. Это такие милые люди и чувствуется с ними родство какое-то, легко так. И «рыбинец» был, и т.к. у него велосипед сломался и не на чем ему было ехать (12 1/2 км), то заехал к своему тезке в Утрехте, тоже инженеру, попросил у того, а я скорее позвонила тому и просила устроить так, чтобы и сам приехал. Ну, и приехали оба. Так что еще одним гостем русским было больше, а нам радость. Пирог с

---

[i] Медовые конфеты (*фр.*).

[ii] Навязчивая идея (*фр.*).

луком и яйцами ели. Хвалили. Я тебя вспоминала и маме сказала: «еще бы одного гостя!..» И еще за завтраком был русский винегрет со всякой всячиной, маринадами домашними и т.п., и настоящий кофе (остатки) со сливками и булкой сладкой (сами пекли). Потом гуляли среди цветущих яблонь — роскошно цветут, будто кружевом бело-розовым покрылись... Потом чай пили с вареньем из черной смородины. Любишь? Я его специально для Ольгиного мужа берегла — тот его обожает. Разговоров было масса, болтовни, смеху. Музыку немного слушали. Я с Ольгой еще всюду ходила «по хозяйству»: телочку поить и т.д. Мужчины накурили так, что синё стало, во главе с Сережкой, — он массу курит. Ну, теперь пусть отучается!

Дивная была погода вчера. Гости наслаждались. Даже скотный двор горожан приводил в умиление.

Потом обед: суп из щавеля с яйцом и сметаной, отбивные котлеты с картофелем и спаржей, салат, огурцы свежие, крем сливочный с персиками. Пришлось бы тебе по вкусу? Ах, как бы я тебя угощала! Я достала еще лимонов — сделала лимонад. И скоро-скоро все уехали.

В 8 ч. никого уже не было — торопились на последний поезд. Сережа хотел снимок сделать, но, увы, нельзя достать пленок для аппарата. Мне это особенно жаль, т.к. я тебе бы себя послала, уже поправившуюся. Ты бы успокоился, какой я молодец. Я все время хочу есть... Вчера сосед мой отказывается, а мне прямо неловко, т.к. я против него вдвое ем.

Умоляла хоть за компанию съесть чего-нибудь.

И сегодня я все остаточки отыскала. И даже молоко пью, все, все ем. Это хорошо? Хороший признак? И погода дивная! Ах, Ваня, как прекрасен Божий свет! Представляю вот весну такую, буйность света, цвета, роста, сочность трав, птиц гомон и... во всем этом, там, у нас,.. Дари... Как чудесно!

Вчера пел соловей! Жидко, робко, будто поперхнулся, умолк, не «целовал», и трели не было рассыпчатой, не цокал, а только чуть-чуть, робко повздыхал, и то... так вдруг заныло сердце... Домой так захотелось!.. Как там все душисто было!

Вчера мы говорили-спорили, какой город лучше, где приятней купаться. Мне не нравится пляж Схевенинга, а «рыбинец» уверял, что «даже очень поэтично». А мама и спроси: «ну, а в Рыбинске как?» «О, там я на "Черемуху" бегал — такой и нет второй...» Знаешь малюсенькую «Черемуху»-речонку? Лужа! Я тоже полоскалась в ней, песка-

рей ловила, головастиков пугала, у нас на даче тоже она протекала.

Как проводишь ты весну? Неужели в городе? Не мог ли бы ты пожить, хоть немножко, за городом? Это так бы тебя освежило! Я не рискую, не смею надоедать тебе все с одним и тем же... Но ты знаешь, как я жду тебя! Узнай, Ванюша, можно ли тебе надеяться сюда приехать. И скорее мне об этом сообщи. Мне бы хотелось, если ты сможешь, то заранее для тебя найти пансион хороший. У Сережи бывает так по-разному: иной раз все набито. Заранее надо. Хоть приблизительно. Arnheme — прелестен. Там парк на много верст тянется, роскошно! И окрестности совсем будто наши: косогоры, березы, обрывы и река... Я верю, что тебя пустят. Но, (не хочу думать) если не пустят (ужасно это!), то я не останусь на все лето тут и в Arnhem без тебя не поеду. Слишком мне будет это больно. Тогда я хочу заранее же условиться с хозяином «Wickenburgh'a». Мне так хорошо было бы там отдохнуть. Я ему должна тогда тоже скоро звонить, иначе может сдать. Напишешь, Ванюша, что тебе скажут о визе? Постарайся, дружок, чтобы вышло все! Ну, не упрямься! Будь милый! Мне кажется иногда, что я слышу кукушек из «Wickenburgh'a». И его видно в дымке, заманчивый, завороженный какой-то. Я там еще ни разу не была теперь.

Продолжаю утром 19-го. Шторм, тепло, был ливень вечером вчера и ночью. Все благоухает. Вот только ветер так бушует. Всю ночь наш работник оставался у моей лошадки, следил, ждал, но нет еще жеребеночка. Это, кажется, у лошадей всегда происходит «нежданно», они любят тайком от людей. Но зато утром у кошки малютки. Не думаю, что этими двумя только и ограничится, — очень уж она была «колокольней», когда сидела, то прямо башенка: головка капельная по сравнению с пузом. Вот и новости.

Мечтаю поехать на Троицу в Церковь: просила о. Дионисия устроить нам возможность остановиться в церковном доме, т.к. автобусы не ходят теперь по праздникам вовсе. Раньше мы останавливались в Hotel'e, когда уезжали на несколько дней Страстной недели и Пасхи (1939—1940), но теперь, по некоторым соображениям, мне бы хотелось лучше или в пансионе, или у частных лиц, а не в больших «проходных дворах». Сию секунду оторвалась — принесли почту. Ваня, от тебя опять ничего! Я не могу больше!

Сердце зажало и, знаю, так и останется до весточки от тебя! Почему ты молчишь? Или м. б. письмо последнее слишком «рано» пришло, оно от 8-го было у меня уже 12-го,

и вот получается перерыв. Или ты болен? Или тоска тебя ухватила? Господи, как это ужасно! Ванёчек, ну, не надо! Ну отогрейся, ну будь милый! Ванюшечка! Тебя сегодня видела (!!) во сне! Тебя обижал кто-то, и я вцепилась. Не помню, кто обижал, но кто-то из русских, к кому ты хорошо относишься. Мне было так больно. Кто-то, о чем-то с тобой спорил. Я так ясно тебя видела, твое удивление, что именно тот, кого ты так ценил, тебя цепляет. И слышала твой голос: «а я-то его так ценил!» Почти каждую ночь о тебе! Ванюша, что мне сделать, чтобы ты стал радостен? Я не в силах? Да? Я не могу? Моя любовь к тебе — недостаточна? Мне это так горько!! Так горько! Ты вечно в грусти! Ну, улыбнись же мне! Миленькой мой, глупка! Была ли у тебя уже «караимочка»? Привезла ли тебе лекарство? И то ли оно, что тебе надо?

[На полях:] Напиши же о здоровье! Я места себе не нахожу — все волнуюсь о тебе. Сегодня я была уверена получить от тебя письмо. Ванечка, не грусти, я так тихонечко-тихонечко тебя глажу по головке, по глазкам, ручки твои держу в своих, грею их. Отогрей же и свое сердечко! Я ушком к нему приложилась и слушаю, хочу услышать, что оно мне скажет!

Ты не ответил ни на что в моих письмах. Перечти последние.

Напиши *срочно* и точно адрес и час и день твоего вечера?! Обязательно! *Скорей* напиши!!!! Почему ты мне никогда больше не отвечаешь на мои письма?

Ванечка, ты разлюбил меня? Отчего ты тоскуешь? Отчего «опустошен»? Отчего тебя не могут согреть мои ласки? Я убаюкаю тебя, ты заснешь, забудешь все тяжелое, что тебя «опустошает». Да? И проснешься веселенький, мой радостный Ваня! Целую и благословляю. Оля

Посылаю это «счастье» сиреневое!

193

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.V.42 вечер

Милый мой Ванюша,

родименький мой, самый близкий сердцу, ненаглядный Ваня! И вечером нет от тебя письма. Я не знаю, почему, но воображаю, что ты болен. Ангелок мой, напиши! Порой я думаю, что ты меня перестанешь любить так, как было раньше... Я со слезами вспоминаю чудесные дни те, что я

проводила в «Wickenburgh'e», еще не услыхав, но уже предчувствуя все то, что ты сказал мне после... Я завидую себе тогдашней, я ревную к себе самой, тогдашней. Я разгораюсь воображением и думаю, что никогда, никогда не получу больше от тебя письма. Господи, когда же будет этот счастливый день, и я узнаю, что ты здоров, бодр и все еще любишь свою Ольгуну?!

Милый мой Ванечка, нет у меня слов, чтобы сказать тебе все то, что на душе и сердце...

Всякой минуточкой я с тобой. Ломаю голову отчего ты молчишь и без конца думаю...

Мне ничего не мило, если не знаю, что с тобой! Ты не простил меня? Да, я гадкая, я нетерпеливая, мучила тебя невольно... Прости, Ваня. Напиши, ответь же (!) простил ли ты меня! Я никуда на отдых не поеду. Я свое время отдыха берегу на твой приезд, — я верю в него! Писала утром я тебе, что Сережа и брат А. меня упрашивают принять их план отдыха. Они наивны. Верят, что еда и воздух поправить могут! Я могла бы и сама уехать, коли была бы воля. Но они, зная, что я никогда не соберусь сама, решили «вытянуть» меня, именно все приготовив, условившись и т.д.

Сережа говорит, что, если я соскучусь, то он поблизости, но вообще я была бы предоставлена сама себе.

Сначала они хотели мне подарить собачку, т.к. моя убежала (или переехали?) в тот день, как увезли меня в клинику, и я тосковала по ней. Меня трогает забота молодых людей. Но ничего мне не надо...

Между прочим: К[ес] относится ко мне хорошо, без тени «ухаживания», не ревнуй!, просто... и трезво*. Заботливо. Мама, Сережа и К[ес] прямо очарованы предместьями Arnhem'a и самим городком, и потому решили меня туда пересадить. Никуда не поеду... Я жду тебя!

Но, Ванечка, не чувствуй это как насилие над тобой. Я не буду «делать сцен» и т.п. Ты знай только как я этого хочу, но поступай как знаешь. Я ни в чем не хочу быть такой к тебе, чтобы ты почувствовал себя стесненным мной. Только будь ты радостен, тих, покоен, а я все перенесу! Все, во имя твое, Ваня!

Ванечка мой, родной мой! Как часто думаю я, что недостойна я тебя, что ты это сам уже понял и разлюбил меня или разлюбишь. Не потому, что ты переменчив, но потому, что я — негодная! Ванечка, мое солнышко, как невыносимо это расстояние! Любишь ли ты меня еще?? Ванюша!

---

* Мы видимся 2—3 раза в год.

Простил ли? Да, простил? Ванечка, если бы я с тобой была, то я такой бы нежной к тебе стала, что ты простил бы! Сегодня я была у Фаси и в переплетной. Книжечки твои будут готовы в середине той недели. К сожалению очень темно-красной материи уже не было. Будет тоже довольно темный красный цвет, приятный, но другой. С немножко золотом. Я сама, рукой на корешке напишу твое имя. У них русских букв нет, не могут. Я заказала переплет мягкий, как однажды ты писал. Не знаю, что получится. Кожи, конечно, не было, да и нельзя, я рада, что еще полотно ухватила. Жду очень книжечки, так мне без них пусто. Почитала бы, и от тебя-то ничего нет, приду к себе, посмотрю на полочку, где стояли — пусто... А «Вербное воскресенье» и «Куликово поле» я перепишу красиво и тетрадочкой переплету тоже, а для «Куликова поля» сделаю еще и обложечку, а м. б. и для «Вербы». Будто мне что-то видится. Еще не ясно. М. б. придет в ночи и для «Вербного воскресенья». Мне бы хотелось и «Лик скрытый» переплести. Ванюша, я не читала «Трапезондский коньяк». Ах, Ваня, милый мой, милый Ваня!.. Дай обниму тебя, сейчас вот, в сумерках, скажу тебе сердцем о всем, о всем... И тебе станет легко и тихо... Мы подождем, не шевелясь, когда стемнеет, не будем говорить и слов... и все поймем! И грусть твоя растает в грустных сумерках... И когда темно станет и холодком подует через открытое окно, и сине-сине заголубеет за занавеской воздух, то станет тебе так тихо, тихо. Я молча глажу тебя, и нам легко. Потом зажжешь веселую лампу, все оживится, и Олюшка твоя тебе много всего расскажет, смеяться станет. И ты м. б. развеселишься! Я много видела забавного, над чем бы можно посмеяться. А хорошо как зарницы за окном бы сверкали! Мы закрыли бы лампу и ждали бы их отсветов. И гром вдалеке... И ливень после. И ночью мы с тобой не усидели и убежали подышать чудесной влагой... С деревьев еще брызжет, лужи, пусто на улицах. Прохладно, ароматно... И нам так весело... Не бывало тоски!..

Ах, смотрю в сумерки, — и веришь — дождик... У нас, в Схалквейке! Хорошо для роста травок. Ванечка, будь бодренький. Ты так хорошо меня бодришь. Я здорова благодаря тебе... Порадуйся!

Порадуй же и ты меня. Я так по тебе тоскую! Совсем темно, но не хочу зажигать электричество, — еле вижу буквы. Жду завтра, — авось от тебя весточку получу! В темном уголке под иконой твои яички радостно напомина-

ют: «мы от Вани!» Ванечка-ласточка, целую тебя, люблю, нежу! Обнимаю тебя...

Напиши же!

Благословляю на сон.

Оставлю местечко до завтра. Оля

Темно писать.

21.V Иоанна Богослова Ванечка, и сегодня ничего нет. Я не могу больше! Что с тобой?? Через смущение великое, но все же сейчас напишу С[ергею] М[ихеевичу] и спрошу его, умолю мне ответить что с тобой! Прости, что обременяю твоего друга, но мне нет сил. Всю ночь о тебе думала. Ты снился, но забыла как. Поласкай меня, ты давно уже не писал мне. Я забыла какой ты, когда ласков... Нет, не забыла, я ничего твоего не забуду никогда. Но так хочу твоей ласки!

[На полях:] Сегодня тепло — дождливо, тихо... Что мне послать тебе, чтобы порадовать? Поищу старые фото. Посылаю одну старую с моря и одну теперешнюю, м. б. она у тебя уже есть. Мне же не очень нравится. Фигура плохая, стою глупо.

Ванечка, пиши мне все, все, не считаясь с тем, как это на мне отразится. Бранись, жури меня, все, все говори мне, только не молчи!

21.V Вчера послала не заказное, а exprès, — его не могла сдать на почте, т.к. говорят, что во Францию не принимают exprès. Я просто его бросила в ящик в надежде, что все же поскорей дойдет.

194

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.V.42 — 30 мая — 6-45 вечера

Родная моя Ольгуночка, славка весенняя... — птичка такая есть! — новорожденная моя, — целую тебя в глазки, которые так светло смотрят на Божий мир. Вот, три года, как ты откликнулась на крик моего отчаяния, на мою одинокость в жизни — сказала мне — «нет, никогда не думайте, что одиноки Вы... не думайте так! Вашим Духом живут много людей, Ваша Божия Искра затеплила у многих лампаду...» Так и осталось в сердце. Правду сказала ты: с той поры много раз подтвердились твои слова от сердца. И раньше я знал, сколько у меня друзей-читателей, но ты нашла с в о е слово — о «лампаде», и пролила свет в меня. С той поры мы узнали друг друга, узнали заочно и стали

душевно слитны, стали такими близкими друг другу, как редко бывает это в жизни. Для меня — мы — — — одно. Верю, что и для тебя — мы — — — одно. Три года тому, в этот день твоего рождения ты плакала, и я — в книге моей — пришел тебя утешить. Так случилось. Надо было, чтобы так случилось. Да будет же этот день твоего рождения ныне для тебя радостным, полным света, моя голубка Оля. Он будет светлым: ведь ты теперь, после болезни, после стольких терзаний душой и телом... — сколько ты вынесла, Олюша! — как бы снова рождаешься, — я чувствую это в твоих письмах. Ничем не томи себя, не омрачайся! Слишком сложна и сурова жизнь, и надо ценить все светлое, что она может дать. Цени, Олёчек... и больше всего цени, что ты уже здорова, что получила себе в удел великую силу чувствовать Божье в мире. Твои последние письма полны для меня твоею радостью, что снова ожила, что свет в душе твоей. О, пей же радость весны, моя голубка! Всему в ней отзывайся, что ласкает тебя, — ты воистину вновь рождаешься, — цени это, моя крошка! И не надумывай, что Ваня забыл тебя, — тебя нельзя забыть, раз узнав. Ты получила, конечно мои письма, от 15[-го] — 3 и 18[-го] — 2. Многое они тебе сказали. Я на все ответил, не укоряй меня. Ах, Ольгунка-Ольгунка! Не всегда могу я быть безотчетно-счастливым. Хоть и люблю тебя безотчетно. Сколько всего подавляет душу! Мы живем под знаком тревоги и печали. Каждый день теряем друзей, — я — верных читателей — ложатся в почти родную землю — на Сен-Женевьев. Жутко слышать. В Троицын День был у меня кн. Александр Николаевич Волконский, чудесный человек, мой вернейший читатель, пришел с одышкой, я угощал его «мюска», кофе... а сейчас «пней» — «внезапно скончался». 62 г., был силен, никогда не болел, недавно перенес — впервые в жизни — воспаление легких. Как мечтал о России, — он был помещик на юге, воевал — артиллерист — и в войну Великую, и в Белой Армии. Здесь работал в биологической лаборатории по борьбе с проказой... Эти «звонки о конце» меня подавляют, я неспокоен. А когда неспокоен, не могу даже письма тебе, светлая, одолеть! Когда-то тебя стыдил за думы о «конце», а вот... — и сам. Как я схож с тобой Олёночек мой нежный... — мне было лет 12, когда умерла не родная бабка[744], а даже неприятная скорей, и ее смерть почему-то ужасно меня подавила... — я месяцы ходил, как бы приговоренный. Ну, довольно о сем.

Я рад, что ты ешь и хорошо ешь. Твой лукуллов пир — 17-го — вызвал и во мне аппетит, — эти отбивные котлеты и крем сливочный... с персиками! Нет, у нас это отошло давно, как и пироги. Мы «побираемся» около былой жизни. Когда ты ела котлеты — как я рад, что ты хочешь есть! — мы с доктором сидели на террасе кафе и ели... мороженое, неизвестно из чего. О, если бы уйти в «Пути»! Какое богатство всего — всех радостей жизни — дал бы! А не могу обмануть себя, забыться... — и не пишу. Все чего-то жду. Че-го?! Порой беспокоят старые боли, опять «ларистин» мне вкатывает доктор. Не выдумывай, милочка, посылать мне цветочный привет — к моему вечеру! Я разгадал, зачем тебе надо знать, где, когда. Я писал тебе, — разрешение все еще «висит», но... дадут. Кажется, 21.VI, — не стану же скрывать от тебя, но прошу — не посылай! У меня чудесные гортензии твои, в шесть шапок. Или ты хочешь, чтобы я публично поцеловал посланное тобой?! — В 4—5 часов 26, авеню де Токио, Русская Консерватория. Но — не посылай, может случиться, что и не получу, и твой эффект не достигнет цели. Зачем? Ах, ты, солнце мое живое! Я очень постараюсь приехать, поверь. Хоть и очень все сложно для меня. — Изволь ехать на отдых! Не смей же заматываться в хозяйстве, — опять гости, гости... — повторение пройденного? Помни, что ты не смеешь играть с болезнью. Цени «милость» Господню. Оля, прошу тебя, — отдыхай. Поезжай в Викенбург, в Арнхем... — прими подарок Сережи и твоего свояка — это меня не томит, я тебя знаю. Да и какое право имел бы я... быть недовольным. Радостной будь, флиртуй, Господь с тобой. Мне дорого, чтобы ты нашла себя в творчестве, — Оля, хоть раз прислушайся к моей огромной любви к тебе, — я полюбил тебя — Олю, да... и еще — Олю — дружку! соратника моего, преемника моего. Ты мне послана Богом, Оля, — для передачи тебе моих прав на все! На творчество — на все! — послана мне. Последняя — и лучшая — радость моя! — Как ты удивительно чутка! до — ясновидения! Да, я разочаровался в одном «почти-друге». Ценил его. Это один поэт, не печатающийся, но — поэт. Он оказался сверх-мелочным. Долго рассказывать. Меня это не очень удручило. Оля оказалась права, она всегда говорила мне: он мелочной, он весь — о себе. А я-то его пытался прославить. Не стоит слова. — Про кошечку ты хорошо — «как колокольня». Да, я вижу — похоже и на «бутылку», увеличенную бутылку из-под рейнвейна. Ах, какая легкомысленная. Да оно и лучше, чем «перекрест». Меня

донимают «запросами». В связи с волей — ехать на восток биться с большевиками. Вижу героев, вижу и лицемеров. Забывают многие, что эта борьба — не только в материальной плоскости, а — главное — з а «живую душу»! Тут всякие политические — земные доводы рушатся. И И. А. наш, если он хочет оставаться верным своему — «борьба с насилием»[745], должен бы оправдать идущих на бой. Ставка слишком важна — «Божеское», тут никакие — меркантильные и политическо-географические положения — не должны играть роли. Тут уж дело творится — в наджизненном, в вечном. «Какая польза человеку, если приобретая тленные сокровища, душу же свою потеряет?»[746] Борьба з а бессмертную душу, за ее свободу, за право — Господу петь, за — жизнь в Духе и Истине! Это бой с бесовской силой... и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью. Иначе — что же? — Лесе-пасе[i]? Довольно: четверть века растлевали, растли-ли! Ответственность я сознаю, и это не смущает меня, что я одобряю уже принятое решение — на борьбу «за Божью Правду». Едущие на восточный фронт оставляют, каждый, жену и дочь — 13—14 лет. Молодцы девчурки! Одна говорит: «пусть голод, холод, все, все... — но я хочу видеть м о ю Россию!» И молодцы жены: они поедут — надеются — следом. Обе — красавицы, обе мои почитательницы. Одна из них пишет неплохие стихи. Вчера явилась ко мне, изящная, чуть подведенная, подвитая, — с глазами византийки, — знаменитые глаза женской линии кн. Кантакузен. Другая — казачья генеральша. Муж ее — шофер — бывало, возил нас с Олей в Аньер, где я читал в Казачьем музее[747] в пользу аньерского прихода. Шофер — изучавший психологию. — Меня тревожит твое беспокойство. Я почти здоров, боли — редко, все знакомое, длящееся десятилетия. Странно, — что-нибудь приятно взволнует, и болей нет, сразу. Долго сидеть за машинкой не могу. В каких болях писал я «Солнце мертвых»! Если бы знала ты, видела меня тогда. Но тогда — я был моложе на... 18 лет! Тогда в болях пил крепчайший мар и ел ослиную колбасу, копченую!! — Оля, изволь ехать на воздух. Умоляю тебя. Экспрессы не посылай, бесплодно: идут 9 дней, тише заказных. Оля, выбрось из сердца, что я могу измениться к тебе: я н е могу! Свет мой, я безоглядно, огромно люблю тебя, — или ты еще не умеешь понять меня?! Ты для меня — в с е. Мне тихо, чудесно нежно с тобой, когда

---

[i] Здесь: невмешательство (*от фр. laisser-passer*).

читаю твои письма, вот такие, как это от 20, где ты мечтаешь со мной. Я люблю радостную тебя, смеющуюся, веселую, — ах, Олёк, милая моя... Благодарю за «грозу» в письме, за отсветы. Благодарю за фото, я их нежно целую — тебя, моя славочка, рад, что «пасхалики» ласкают. С[ергей] М[ихеевич] получил твое письмо, когда ответит... !? Я всегда ласков, когда о тебе думаю. Прошу: будь же покойна за меня. Газеты «Новое слово» у меня нет со статьей, о чем пишешь.

7 вечера, надо сдать на почту, а то — до понедельника. Я все сказал тебе в письмах — от 15-го и 18-го мая. Да, был у меня один приятель, преданный. Как раз я писал тебе письмо о «влияниях» творческих. Пропуская «личное» — к тебе — прочитал ему, каким влияниям подвергался я и наши классики. Он постеснялся тогда просить — оставить ему копию. Получил — письмо — просит те строки. Но у меня не бывает копий, а припомнить не могу. Пишет: «это же очень важно — и о вас, и — как "литературный образец"». Ну, тебя удовлетворил этот «образец»?

Помни, Олюша: я тебе, кажется, все сказал о творчестве, не дал лишь «примеров» обработки тем. Но с твоим чутьем к искусству — ты все сумеешь. Целую, ласкаю, крещу, душу нежно — «сиренью», которая ждет тебя. Ольга, ты мне так нужна, так дорога мне... — и Господи, когда же я тебе сердце свое показать сумею?! Чтобы ты поверила... кто ты для меня!? А на тоску мою не обращай внимания... — это прирожденность моя, это — недовольство собой, это — ожидание «захвата» работой, как всегда, всегда... Ну, милая моя новорожденка, будь радостна, верь, — я всегда с тобой. Всегда, на-всегда. Писал 8-го, а потом 15-го, но в этот промежуток писал Сереже — о тебе все, о тебе, о тебе... Ну, засияй, вот так... — о, как ты чудесна, как ласкова, нежна, как — вся моя! Благодарю Господа за радость встречи с тобой, за незаслуженное счастье. Любимая, вечная моя... Оля, Ольга, Ольгуночка!!! ... Целую, всю-всю.

Твой Ваня

Нет времени проверить, спешу на почту. Если бы Сережа достал для тебя гардению! Или — апельсинчик привитой! Я был бы так счастлив, — покоен!

195

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.V.42[i]

Милуша мой, чудесный Ваня!

Из келейки своей пишу тебе, смотрю на пасхалики твои, ласкаю взглядом, о тебе думаю... Всегда, всегда! О. Дионисий не приедет. Были с мамой у зубника, но т.к. опухоль, то он не рвал. Мама очень мучается (28.V)[ii]. Зашли на минутку к Фасе, чайку попили, отдохнули и домой. Фася взята тобой... Вся! Переживает, думаю, похожее на мое давно, давно... Прочла «Няню»* и говорит: «все время думаю о "Няне", была у меня сестра в гостях, смеется, что я только "Няней" и грежу... чудно как он пишет, и как это так придумать!»** Я спросила: «нравится Вам Ш.? А прочтете «Пути Небесные» и совсем никогда больше не перестанете думать...» Мне на один момент захотелось сказать ей, какой ты! Какой ты и ко мне... Ну, гордость, м. б. моя... И просто так через край, что на кого-нибудь плеснуть захотелось!.. Но я удержалась. И как же заныло сладко сердце от этой волны, удержанной волны воспоминаний о тебе... Да, Иван, мы до странности похожи друг на друга... Легко ли это в жизни? Я не знаю. Иногда до жути мы — одно.

Ваня, я так измучилась, ожидая твоих писем. Но перед Троицей я получила чудное письмо твое... Мы были в Гааге. И впервые после долгого-долгого промежутка я была за всенощной. Мне казалось, что я с тобой. Я тебя близко ощущала.

Я люблю всенощную летнюю, открытые окна, звонкий какой-то храм. И свет дня еще не ушедшего, и свечки, и звуки с улицы... стрижей крики. Пустоватый храм.

Не было этого у Дионисия... У него всегда темно. Был день, совсем светло, а они затемнили, не любит он электричество, горели убого свечки. Полумрак. Запели «Ныне отпущаеши»... Я вспомнила тебя и эту твою молитву, и вспомнила еще «Свете тихий» и затосковала по этой перекрестной дороге в «хлебах»... Я вспомнила тот сельский храм и все, все... И захотелось этой дали из окошка церкви и... стрижей... Грустно так стало. И вдруг... «я-ко вии-

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: чудесное письмо.

[ii] Предложение написано между строк.

* Мама ей свою дала почитать.

** «придумать» — так детски!

деста оочи мои...» и ясно так стрижиный визг! Я не говорила себе... Но когда вышли мы, то я увидела их много, кружащимися, чиркающими — задевающими землю... Утром за обедней было много цветов, березок, травы, но мало света... Я о тебе молилась... Мне хорошо было. Тихо. Но я умом не могла постигнуть, разъяснить своей жизни. И я сказала только: «Господи, покажи мне, дай мне силы, пусть следующее письмо Вани даст мне намек, м. б. я найду ответ на вопросы»... Я очень устала. Мы уезжали быстро, почти не сидели у матушки. Сережа был тоже. «Ах, тебе письмо привез!» Я вся затрепетала. Я думала: «какое?»: «Злое»? «Хорошее?» «Простил?» «Или я права, и он отходит?» Я читала его еще в гаагском трамвае, не утерпела до дома... О, какое дивное письмо твое от 16-го V! Ты все мне сказал! И ты ответил на мой немой вопрос... Я знаю, что чтобы ни стало, но я должна принять то, на что ты настойчиво мне указываешь, ты как бы совесть моя! Я приму это, Ваня. И пусть не будет тоски и томленья. И что, и как дальше... пусть покажет Господь. Я не должна томиться, страдать, «трепыхаться», — ты сказал мне это на мой немой вопрос... Я страшусь выговорить это слово «творить». Но я попробую!

Мне так удивительно твое письмо. Оно такое замечательное, и если бы ты знал мое состояние души к моменту его получения, то ты понял бы меня и теперь... У меня много картин. Одна перебивает другую. Я боюсь их забыть, утратить. Я иногда на каком-нибудь обрывке бумаги, в кухне, или где попало, записываю поразившие меня мысли, сравнения, определения, просто слова. Слова нашей стороны, полузабытые, случайно вдруг всплывшие. Ты знаешь такие «замазырнуть» — это куда-нибудь зашвырнуть, запрятать. Это, например, типично для моей девчонки, которая все так «убирает», что днями приходится искать. Вот по ней-то и вспомнила... «замазырнула». Ах, и много...

Ванюша, твои письма от 14, 15, 16 (это дивное об искусстве, его-то и имею в виду) и 2 открытки. Смеюсь, эта открыточка 15-го... с «прости за волнующие письма от 14-го и 15-го...» и т.д. Ну, конечно, «волнуюсь». Знаешь ты это! И еще больше «волнует», когда ты «извинишься» еще за это! Понял? Но ты знаешь уже, я тебе писала, как встретила я твои эти письма!

Ах, помню, как еще давно, в конце лета прошлого, я получила одну твою открытку... обычную. В конце стояло одно словечко, эпитет мне, — и я бы его, м. б. «пропустила», сочла бы за попавшееся тебе под руку, и вдруг вижу,

мелко, сверху приписанное «простите». Меня обожгло всю, и я вся знала, этим «простите» открыла, что не случайно оно, это словечко, что ты знаешь, как его понять можно, м. б. и нужно, что ты сознаешь это и за это, за его смысл просишь простить. И это «простите» дало именно смысл слову. С того-то дня и началось со мной нечто, чего не могла бы я ни вообразить, ни объяснить себе прежде. Я не спала всю ночь. И поняла, что я для тебя так же что-то еще другое значу, чем просто читатель. Ты этого не знал. И я тебе этого никогда не говорила. Смущалась? М. б... И теперь еще смущаюсь. Вот, видишь, как покорны тебе слова!.. Никто, никогда не мог захватить меня, никакими чарами обворожить, как это ты умеешь вдали! И эти письма. Теперь. Конечно волнуют. Я, знаешь, в церкви молилась, хотела отогнать тебя... (ну, не сердись, — это только для Бога!) и не могла... Ты приходил все снова. И если не ты, то твое. Я вдруг увидела «иллюстрации» к «Вербному воскресению», к «Свете тихий». А эту лыжную прогулку! И многое... Видишь как! А ты — «прости»!

Милочкину рубашку не носишь, а мою будешь! Хочу! Будешь? Она почти готова! Конечно, ее в Европе не наденешь, но пижамой кто тебе запретит ее надеть, какие моды? Она будет тебе приятна летом, в жару, — холодит, она из той материи, из которой шьются шелковые верхние мужские сорочки. Должна быть приятна. И цвет у нее приятный. И безусловно в ней каждый крестик живой и о любви поет! Будешь носить? Ваня, я безумно хочу иметь эту картину — портрет твой! Привези! Очень хочу! Я помню его картину в Пушкинском музее (?), я думала, что видела ее в Третьяковской галерее, ошиблась. Но помню хорошо. Почему ты оригинал отдал? Возьми обратно! Ну, знаю, что говорю абсурд, но зачем отдал?? Хочу! Хочу! Вань, я крепну, розовею и полнею. «Пышка» буду к твоему приезду. Но я не пугаюсь утратить «линию». Хочу здоровья! Ты любишь «худышку»? Мне не к лицу худеть выше нормы. Ну, заболтала глупости... Получил ли ты от m-me Boudo лекарство? Получил ли мои цветы к Троице? Я просила послать тебе «вечный» цветок. У нее были только какие-то... экстравагантные... мне не очень по сердцу. Но м. б. в Париже было и лучшее. Тут были такие с красными цветами такой формы[i]. Модные. Но мало сердца... Глупо? Я уверена, что у цветов есть и душа, и сердце! А ты? И потому мне жаль их рвать! Скажи, любишь ли ты

---

[i] В письме сделан набросок.

полевой букет? Я обожаю! Лучше роз! И еще люблю жасмин! В саду уткнуться лицом в куст и замереть. Я могла бы ужасные глупости делать вот в тихий летний вечер, в саду уснувшем стоя, вдыхая аромат жасмина! Я — шалая. Но нет, не думай ничего дурного... Я всегда знаю меру. У меня рассудок твердый! Но я могу мечтать... И всегда... так грустно... И от свежей зелени мне в ясный день бывает трепетно и... грустно. А тебе? Оттого, что все уходит?? Да? Ваня, у Тургенева в «Дыме» не Елена, а Ирина... А другая, невеста, святая — Таня. Но она бледнее. А Ирина... ты знаешь, меня однажды идиот один сравнил с ней. Я не хочу быть на нее похожей. Неправда — это сравнение! Я обожаю Наташу Ростову! Раньше еще больше! Теперь — Дари! О, люблю еще Нургет. Это твое — обворожительно. Поверишь ли, что я еще могу вот именно так переживать. Именно как Нургет. Мне она очень близка. М. б. в некотором даже больше Дари. Это какое-то состояние натянутой струны любви. Ну, не умею выразить... Знаешь это... в вишнях. И оба не знают, что это такое. И знают. Безумно мне нравится твоя эта вещь.

Но ты знаешь, за что я *себя* не люблю? За постоянную оглядку: «это нельзя», «не полагается». Во всем. Вплоть до мод. Не смейся. Я скована условностями. И потому-то и «вою», что своего нет. Я боюсь своего. Но я буду бороться. Обещаю. Побереги «калачик» от вербочек!

Кукушка кукует... и черный дрозд поет вечернюю зарю... Я люблю тебя! Ты это слышал? Старо? И все же снова хочу сказать! Твои книги переплетут в субботу. Была сегодня там. Мне хочется вклеить автографы[748], но тогда я никому-никому не покажу это заветное! Почему ты думаешь, что караимочка знает, кто тебе я? Ты заметил? И как же она меня находит? Она сама очень хороша? Яркая? Да? С таким меня не сравнивай... Я совсем другая. Я — не яркая. Глаза не черные. Она очень модна? И вообще... в красивой рамке? Ну, расскажи же?! В Гааге m-r Пустошкин мне делал комплименты. Ему понравилась моя новая шляпка. Он — такой какой-то весь из комплиментов, не люблю таких. Но все же, как женщина, я вижу, что это испытанный «дамский кавалер», — много видал. И потому, не ценя его нисколько, я его оценку моды и вообще «рамки» — принимаю с некоторым удовлетворением. И я знала, что тогда у меня был, по их понятиям, был «шарм». Я по нем это видела. И... вообще... Боюсь безумно стать провинциалкой. Всегда слежу. В Париже я боялась тебе показаться. О, какой у тебя глаз!.. А я живу ведь в каком-то

ином мире... часто в несуществующем. Грежу, чтобы проснуться среди моих пернатых и рогатых, и всяких прочих друзей... Какая же я «дама»?! Я просто — Оля. Ку-ку! Ку-ку! Зовет совсем близко! У нас был знакомый, который меня особенно как-то звал Оля. Кругло и ласково. Один доктор — профессор из России (старый друг семьи).

[На полях:] Ваня, не выписывай мне больше еженедельник. Прошу! Откажи! Я не могу! Умоляю, если любишь! Давно хотела тебя просить. Или я сама напишу им.

Ну, кончаю. А сколько еще на душе! Люблю читать твои приписочки и жадно их ищу. Просила купить для меня в Гааге духи «Трефль»-любку. Мы приехали после закрытия магазинов.

Ну, до свидания! Обнимаю тебя! А как нежно и ласково... представь сам! Оля. Хочется написать многое, и из жизни из своей. Так ярко все!

Здесь духи[i].

---

[i] Письмо надушено.

Примечания[1]

1

Ед. хр. 58. Л. 1. Письмо, рук. Адрес О. А. Бредиус-Субботиной до мая 1941 года: Bunnik b/Utrecht, Provincialeweg 78, Holland.

[1] *«О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»* — Исаия. 62, 6; эпиграф к роману И. С. Шмелева «Богомолье» (1935).

[2] *«Лето Господне»* — роман И. С. Шмелева, отд. изд. 1-й части: Лето Господне. Праздники. Белград, 1933; полностью: Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби. Париж, 1948; в 1928—1947 гг. роман публиковался в газетах «Возрождение», «Россия и славянство», «Руль», «Сегодня», «Парижский вестник», «Русская мысль»; *«Богомолье»* — роман И. С. Шмелева, впервые опубликован в газете «Россия и славянство» (1930—1931), отд. изд.: Белград, 1935.

[3] *...и Вашего батюшку.., и старенького Горкина, и Вас ребенка...* — герои романов И. С. Шмелева «Лето Господне» и «Богомолье», их прототипами были реальные люди: отец писателя, подрядчик Сергей Иванович Шмелев (1842—1880) (см.: Шмелев И. С. Автобиография // Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 13—14); М. П. Горкин — столяр и плотник, с которым И. С. Шмелев совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру.

[4] *...Ваше чтение в Берлине...* — 6 октября 1936 г. И. С. Шмелев выступал на литературном вечере Союза русских журналистов и литераторов в Берлине, где присутствовала О. А. Бредиус-Субботина.

[5] *...Ваша супруга.* — Ольга Александровна Шмелева (урожд. Охтерлони, 1875—1936).

[6] *Иван Александрович Ильин* (1883—1954) — религиозный философ, правовед, публицист, литературный критик. Осенью 1922 г. выслан из Советской России, поселился в Берлине. Один из организаторов, затем профессор Русского научного института (1923—1934) при Берлинском университете. Член Союза русских журналистов и литераторов в Берлине. Член-корреспондент Славянского института при Лондонском университете (1924). Редактор берлинского журнала «Русский колокол» (1927—1930), был тесно связан с Российским общевойсковым союзом (РОВС). Преподавал в Берлинском университете, летом 1934 г. уволен, в июле 1938 г. был вынужден уехать в Швейцарию. Писал о творчестве

[1] Все письма кроме № 41, 42 публикуются по оригиналам, хранящимся в: РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3.

И. С. Шмелева в ряде статей и книге «О тьме и просветлении». С 1927 г. в переписке с И. С. Шмелевым. Во время Второй мировой войны переписка неоднократно прерывалась из-за цензуры (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. М.: Русская книга, 2000. 3 т.).

[7] *...замужем за голландцем...* — Арнольд Бредиус ван Ретвельд (1903—1982), старший сын в семье, которая относилась к одной из наиболее богатых и влиятельных в Голландии.

2

Ед. хр. 4. Л. 1. Почтовая открытка, рук. Постоянный адрес И. С. Шмелева: 91, rue Boileau, Paris 16-e.

[8] *...сын, офицер...* — Сергей Иванович Шмелев (1896—1921), единственный сын И. С. Шмелева, студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, во время Первой мировой войны прапорщик 5-го легко-мортирного паркового артиллерийского дивизиона, мобилизован в Добровольческую армию под командованием генерала А. И. Деникина, служил в комендатуре г. Алушты. 3 декабря 1920 г. арестован комбригом 3-й стрелковой дивизии Райманом, с 11 декабря находился в Виленских казармах г. Феодосии. Дата смерти не установлена, предположительно — начало 1921 г. Смерть сына стала тяжелым испытанием в жизни писателя и определила его отъезд из России. Более подробно см.: Волкова Н. Б. «Последний мой крик — спасите!» (Подборка писем И. С. Шмелева к В. В. Вересаеву) // Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. 8. С. 165—194).

3

Ед. хр. 4. Л. 3. Почтовая открытка, рук.

[9] *Св. Иоанна Богослова* — день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 26 сентября/9 октября, именины И. С. Шмелева.

[10] *«Пути Небесные»* — в современной орфографии «Пути небесные», последний, незавершенный роман И. С. Шмелева, т. 1 впервые опубликован в газетах «Возрождение» и «Сегодня» (1935—1936), отд. изд.: Париж, 1937; Т. 1—2: Париж, 1948.

[11] *Ивик* — Ивистион Андреевич Жантийом (Gentilhomme, p. 1920), математик и лингвист, доктор наук, заслуженный профессор Безансонского университета. Сын Андре-Рене Жантийома и племянницы О. А. Шмелевой Юлии Александровны Кутыриной, крестник и воспитанник И. С. Шмелева, окончил лицей Бюффона и Сорбонну. Сохранил французский архив писателя и безвозмездно передал его в Россию. Из письма Ива Жантийома в РГАЛИ: «...Я очень обязан моим дяде Ване и тете Оле Шмелевым. Благодаря им я имел счастливое детство, ...я проникся русской культурой, понял ее и полюбил... Как душеприказчик, я считал своим долгом исполнить завещание моего крестного отца, а именно передать русскому народу, которому он посвятил свое творчество, его литературный архив, а впоследствии перевезти останки его и его супруги в некрополь Донского монастыря, где уже покоятся его

предки...» (21 апреля 2000 г.). В настоящее время парижский архив И. С. Шмелева находится в Российском Фонде Культуры.

[12] *Maison Russe* — имеется в виду Русский дом в Сент-Женевьев-де Буа в 30 км от Парижа, основан в 1927 г. по инициативе кн. В. К. Мещерского. И. С. Шмелев жил там с 13 по 29 сентября 1939 г.

4

Ед. хр. 58. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

[13] *...маму...* — Александра Александровна Овчинникова (урожд. Груздева, в первом замужестве Субботина, 1881/82—?), мать О. А. Бредиус-Субботиной.

[14] *...брата.* — Сергей Александрович Субботин (1906(?)—1992), брат О. А. Бредиус-Субботиной, инженер-строитель, активно участвовал в политической жизни русской эмиграции. Руководитель Берлинского отделения НТСНП (Национально-трудовой союз нового поколения, тесно связанный с РОВС). В августе 1938 г. Берлинское отделение было официально расформировано, до ноября 1939 г. С. А. Субботин продолжал работу нелегально. В марте 1940 г. эмигрировал в Голландию, в 1943(?) г. вышел из организации. О его работе в НТСНП см.: Прянишников Б. В. Новопоколенцы. Silver Spring (USA), 1986. С. А. Субботин был учеником И. А. Ильина, некоторое время финансировал издание его работ (в библиотеке Субботина есть книги с дарственными надписями философа), был знаком с П. Н. Врангелем, М. А. Чеховым, Ф. И. Шаляпиным, Л. В. Собиновым, А. П. Павловой.

5

Ед. хр. 4. Л. 5. Письмо, машинопись[1].

[15] *«легасьон рюсс»* (фр. Legation Russe) — Русская дипломатическая миссия, продолжавшая действовать после 1917 г., т.к. правительство Нидерландов (после начала немецкой оккупации находилось в Лондоне) признало СССР только в 1942 г.

6

Ед. хр. 58. Л. 8, 9. Письмо, рук.

[16] *Мой отец...* — Александр Александрович Субботин (1877—1914), выпускник Казанской духовной академии, в 1905 г. рукоположен в священника, в 1905—1913 гг. служил в церкви Нерукотворного

---

[1] Для машинописных писем И. С. Шмелева характерны значительные рукописные включения (пометы, подчеркивания, уточнения и дополнения, сделанные после прочтения письма) и авторская правка (замена слов, знаков препинания, исправление букв). Эти черты свойственны машинописным текстам Шмелева на протяжении всей переписки с О. А. Бредиус-Субботиной, в дальнейшем они не оговариваются.

Спаса в Рыбинске (см.: [Писарев Н. Н.] А. А. Субботин. Казань, 1914).

[17] *...благочинный...* — административное должностное лицо в Русской Православной Церкви. Обязанностью благочинного является надзор за приходами, входящими в благочиннические округа, на которые разделена епархия.

[18] *...отец пел молитвы...* — здесь и далее в письме аналогии с текстом автобиографических произведений И. С. Шмелева (романов «Лето Господне» и «Богомолье», рассказов).

[19] *...сочельник...* — день навечерия праздников Рождества Христова и Богоявления Господня, проводится в строгом посте.

[20] *...причащалась я в детстве на Крестопоклонной...* — Крестопоклонная неделя, четвертая неделя Великого поста, посвящена поклонению Кресту.

[21] *...Погребение Христа?!* — чин Погребения Христа, когда плащаница с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа на утрене в Великую субботу Страстной недели с пением обносится вокруг храма, перед этим на вечерне в Великую пятницу торжественно выносится на середину храма для поклонения. Во время, описанное О. А. Бредиус-Субботиной, чин Погребения начинался поздней ночью и заканчивался утром в субботу (начиная с советского времени, обычно совершается в пятницу вечером).

[22] *«Благообразный Иосиф»* — тропарь, сопровождающий чин Погребения Христа, по имени св. Иосифа Аримафейского.

[23] *Нерукотворного Спаса храм...* — храм в честь малого праздника иконы Нерукотворного образа Иисуса Христа. Построен в Рыбинске в 1861—1868 гг. Разрушен в нач. 1930-х. В настоящее время на месте храма находится здание телеграфа (ул. Пушкина, 45). См.: Старый Рыбинск. Рыбинск: «Михайлов посад», 1993. С. 214—215.

[24] *...праздник 3-го Спаса...* — праздник иконы Нерукотворного Спаса (храмовый праздник) отмечается 16/29 августа («Ореховый Спас»).

[25] *«Въезд в Париж»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован в журнале «Современные записки» (1926. Кн. 27), вошел в одноименный сборник (Белград, 1929).

7

Ед. хр. 58. Л. 7. Письмо, рук.

[26] *Иван Александрович...* — здесь и далее имеется в виду И. А. Ильин.

8

Ед. хр. 4. Л. 10. Почтовая открытка, рук.

[27] *...для Сельмы Лагерлёф...* — С. Лагерлёф (1858—1940), шведская писательница, лауреат Нобелевской премии (1909). Сохранилось несколько писем С. Лагерлеф к И. С. Шмелеву, в 2000 г. они переданы в Российский Фонд Культуры.

[28] *...в «Неупиваемой чаше»...* — повесть И. С. Шмелева, впервые опубликована в сборнике «Отчизна» (Симферополь, 1918), отд. изд.: М., 1922.

9

Ед. хр. 58. Л. 12. Почтовая открытка, рук.

[29] *«Это было»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован в газете «Россия» (1922. № 2), отд. изд.: Берлин, 1923.

[30] *«Няня из Москвы»* — роман И. С. Шмелева, впервые опубликован в журнале «Современные записки» (1934. Кн. 55—57), отд. изд.: Париж, 1936.

[31] *«Человек из ресторана»* — повесть И. С. Шмелева, впервые опубликована в сборнике «Знание» (1911. № 36), отд. изд.: Рассказы. М., 1912. Т. 3.

[32] *Д. А. Груздев* — Дмитрий Александрович Груздев (?—1939), хирург, дядя О. А. Бредиус-Субботиной.

10

Ед. хр. 58. Л. 14, 15. Письмо, рук.

[33] *«Хвали душе моя Господа...»* — первая строка псалма (Пс. 145), второй антифон из Божественной литургии.

[34] *«Запричастный стих»* — благодарственная молитва после причастия.

[35] *...буду не русская, а финка?* — письмо написано во время советско-финляндской войны 1939—1940 гг. 28 августа 1939 г. между СССР и Германией был заключен договор о ненападении. По секретным протоколам к этому договору (так называемый «пакт Молотова—Риббентропа») СССР получил возможность присоединить территории Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Западной Украины. 30 ноября 1939 г. советские войска вторглись на территорию Финляндии, но присоединить Финляндию к СССР не удалось, 12 марта 1940 г. был подписан мирный договор.

11

Ед. хр. 58. Л. 16. Почтовая открытка, рук.

12

Ед. хр. 4. Л. 11. Почтовая открытка, рук.

[36] *«Возрождение»* — ежедневная, с 1936 г. еженедельная газета в Париже (1925—1940), орган русской национальной мысли. Редактором был П. Б. Струве (1925—1927), затем Ю. Ф. Семенов (с 1927). В «Возрождении» печатались А. В. Амфитеатров, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, И. А. Ильин, С. Ф. Ольденбург, Г. Н. Трубецкой, И. С. Шмелев и др.

[37] *«Russie»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован в газете «Возрождение» (1925. 1 окт.) с посвящением И. А. Бунину, отд. изд. в сб.: Въезд в Париж. Белград, 1929.

[38] *Ван-Вейк* — Николай Васильевич ван Вейк (? — 1941), голландский профессор-славист, включивший произведения И. С. Шмелева в программу русской литературы Лейденского и Амстердамского университетов, участвовал в выдвижении кандидатуры И. С. Шмелева на получение Нобелевской премии.

[39] *«открытое письмо»* — имеется в виду статья Л. Д. Любимова «Размышления о русской истории» (Lubimoff L. Conciderations sur l'histoire Russe // Возрождение. 1940. 16 февр. № 4223). *Лев Дмитриевич Любимов* (1902—1976) — историк и журналист, вернулся в СССР, автор воспоминаний «На чужбине» (М., 1963). 17 февраля 1940 г. И. С. Шмелев послал Л. Д. Любимову по поводу его статьи «Размышления о русской истории» почтовую открытку: «Дорогой Лев Дмитриевич, отлично, крепко, метко ответили на злостную клевету о России — достойно всыпали «лавровому» невежде. Жму руку. Ив. Шмелев» (РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Ед. хр. 23).

[40] *...писателе Ш. Моррасе.* — Шарль Моррас (1868—1952), французский поэт, публицист, с 1908 г. главный редактор националистического журнала «Action Francaise».

[41] *...ее заботой мог я написать «Пути».* — первый том романа «Пути небесные» закончен 10 июня 1936 г. и посвящен О. А. Шмелевой. После смерти жены (22 июня 1936 г.) И. С. Шмелев прервал работу над романом.

13

Ед. хр. 58. Л. 17. Почтовая открытка, рук.

[42] *...его сестра...* — младшая сестра Арнольда Бредиуса Елизавета.

[43] *...брат мужа...* — младший брат Арнольда Бредиуса Корнелиус (Кес).

14

Ед. хр. 4. Л. 13. Почтовая открытка, рук.

[44] *«свет тихий»* — из молитвы «Свете тихий» на Всенощном бдении, впоследствии И. С. Шмелев использовал первые слова молитвы для названия очерка, посвященного О. А. Бредиус-Субботиной.

[45] *«Куликово поле»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован в газете «Возрождение» (1939. Январь—март. № 4168, 4172, 4173), переработан автором в 1947 г.

15

Ед. хр. 58. Л. 18. Почтовая открытка, рук.

[46] *Приехали они 11 марта...* — 11 марта 1940 г. А. А. Овчинникова и С. А. Субботин переехали из Германии в Голландию.

[47] *М. Квартировой...* — Марина Александровна Квартирова (р. 1916, в замужестве Дерюгина), ученица И. А. Ильина, корреспондентка И. С. Шмелева. Сохранилось письмо М. А. Квартировой к О. А. Бредиус-Субботиной от 24 января 1941 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 100. Л. 1—4).

16

Ед. хр. 4. Л. 16. Почтовая открытка, рук.

[48] *...отменили, — чудесно было!* — И. С. Шмелев считал, что исцелился по молитве преп. Серафиму Саровскому в декабре 1934 г., об этом рассказ И. С. Шмелева «Милость преподобного Серафима» (1935). См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 236—237.

[49] *...одна голландская писательница Бауэр...* — Клеменс Бауэр (Clemence Bauer).

[50] «*Родное*» — сборник рассказов И. С. Шмелева (Белград, 1931).

[51] «*Росстани*» — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Слово (1913. № 1), отд. изд. в сб.: Волчий перекат. М., 1914.

17

Ед. хр. 58. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

[52] *...Святые дни...* — здесь: Страстная неделя, последняя неделя Великого поста перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о страданиях Христа.

[53] *...с Великого Четверга...* — четверг Страстной недели, в который Церковь вспоминает Тайную вечерю.

18

Ед. хр. 4. Л. 18. Почтовая открытка, рук.

[54] *Н. Я.* — Наталья Яковлевна Квартирова, мать Алексея Александровича и Марины Александровны Квартировых, учеников И. А. Ильина.

[55] *...в Великую Субботу...* — суббота Страстной недели, последний день Великого поста перед Пасхой.

[56] *...вечная моя...* — имеется в виду О. А. Шмелева.

19

Ед. хр. 4. Л. 27. Письмо, рук.

[57] *...7 месяцев...* — с мая 1940 г. до апреля 1941 г. действовал запрет на почтовое сообщение между Францией и Голландией, письмо И. С. Шмелева от 3 декабря 1940 г. передано с оказией.

20

Ед. хр. 58. Л. 22. Письмо, рук.

[58] *Дашенька* — главная героиня романа «Пути небесные» (также Дари, Даринька), прототип — Дарья Ивановна Королева, гражданская жена В. А. Вейденгаммера (см.: Кутырина Ю. А. Пути небесные // Возрождение. 1957. № 66, 70; Осьминина Е. А. Последний роман // Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5; Любомудров А. М. Оптинские источники романа И. С. Шмелева «Пути небесные» // Русская литература. 1993. № 3).

[59] *...служит в другом городе...* — с 1940 г. С. А. Субботин работал инженером в строительной компании в Арнхеме.

21

Ед. хр. 4. Л. 31. Письмо, рук.

22

Ед. хр. 58. Л. 24,25. Письмо, рук.

[60] *Н. Н.* — Наталья Николаевна Вокач (1882—1963), жена И. А. Ильина, искусствовед, историк.

23

Ед. хр. 4. Л. 32. Письмо, рук.

[61] *...Тютчева из «Цицерона»...* — стихотворение Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1830).

[62] *...Пушкина «Пир во время чумы»...* — трагедия написана в 1830 г.

24

Ед. хр. 58. Л. 26, 27. Письмо, рук. Адрес О. А. Бредиус-Субботиной до [8] августа 1941 года: «Wickenburgh»'t Goij, Post Houten (U.), Holland.

[63] *«ссто, кому усси-то оболтали?»* — слова персонажа рассказа И. С. Шмелева «На пеньках» (1925) (в оригинале «Ссьто, к о м у сеперь ушши-то оболтали?»).

25

Ед. хр. 4. Л. 35, 36. Письмо, машинопись.

[64] *...на курсах при своем лицее...* — имеется в виду лицей Бюффона в Париже, имени французского писателя и натуралиста Ж.-Л. Бюффона (1707—1788).

[65] *«Основы художества. О совершенном в искусстве»* — книга И. А. Ильина (1937). И. С. Шмелев написал на нее рецензию (Книга о вечном // Возрождение. 1937. 23 июля. № 4088). Книгу Ильина и рецензию Шмелева также см.: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. С. 51—182, 409—414.

[66] *...Вашего профессора...* — здесь и далее имеется в виду И. А. Ильин.

[67] *...в переводе Фета...* — перевод стихотворения «Сошло дыханье свыше...» А. А. Фет выполнил в 1859 г. Фет был уверен, что переводил персидского поэта Гафиза (ок. 1325—1389), на самом деле все стихотворения в немецком издании — это оригинальные произведения философа и поэта (в немецком издании автор предисловия и «переводчик») Г. Ф. Даумера (1800—1875) «в духе Гафиза». В рецензии И. С. Шмелева на книгу И. А. Ильина «Основы художества» также приводится цитируемое в письме стихотворение «Сошло дыханье свыше...».

[68] *«Под горами»* — повесть И. С. Шмелева, впервые опубликована: Знание. 1910. № 31; отд. изд.: Рассказы. Т. 2. СПб., 1912. Под

названием «Liebe in der Krim» («Любовь в Крыму») издана на немецком языке (Leipzig—Verlag, 1930).

[69] *Итальянцы еще издали...* — И. С. Шмелев имеет в виду миланское издание 1929 г. (Al piede dei monti. Romanzo. Milano, 1929).

[70] *...наша поездка...* — вероятно, И. С. Шмелев вспоминает лето 1913 г. См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 80.

[71] *Наследственность сказалась!* — И. С. Шмелев подразумевает происхождение своей жены, урожденной Охтерлони (шотландский дворянский род, который Шмелев считал одной из ветвей рода Стюартов).

[72] *...Чатыр-Дага...* — массив в гряде Крымских гор, описан в ряде произведений И. С. Шмелева.

[73] *«куплены дорогой ценой»* — 1 Кор. 6, 19—20.

26

Ед. хр. 58. Л. 29, 30. Письмо, рук.

[74] *...Духов день...* — День Святого Духа, празднование сошествия Святого Духа на апостолов, совершается на следующий день после Святой Троицы.

[75] *...воды живой...* — Ин. 4, 10—14.

[76] *...назову его... в память Вашего Бушуя.* — кличка собаки в романе И. С. Шмелева «Лето Господне».

[77] *Батюшка...* — духовник О. А. Бредиус-Субботиной иеромонах Дионисий (Лукин, 1911—1976), из семьи морского офицера, в 1920 г. эмигрировал с родителями в Турцию, затем во Францию, закончил русскую гимназию, учился на филологическом факультете в Сорбонне, перешел в Православный Богословский институт, закончил его в 1935 г. и принял монашество (10 марта 1935 г. рукоположен во иеромонаха), в мае 1936 г. назначен митр. Евлогием (Георгиевским) настоятелем православного храма во имя св. Марии Магдалины в Гааге (см.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 399), в 1947 г. издал на голландском языке свою книгу о Русской Церкви (Dionissios, archimandriet. Russisch Ortodoxie. Amsterdam, 1947), с 1959 г. настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Роттердаме, 20 марта 1966 г. в Троице-Сергиевой лавре рукоположен в епископа Роттердамского, викария Брюссельской епархии, в августе 1972 г. по болезни ушел на покой, до конца жизни оставался настоятелем храма в Роттердаме (см.: Некролог // Журнал Московской Патриархии. 1977. № 7. С. 13). С 1990 г. настоятель храма в Роттердаме, где служил Дионисий (Лукин) — прот. Григорий Красноцветов (см. его вступительную статью).

[78] *...семья бывшего священника...* — имеются в виду вдова и дочери протоиерея Алексия Розанова, бывшего настоятеля храма во имя св. Марии Магдалины.

[79] *...одна милая дама в Утрехте.* — вероятно, подразумевается Фася (Фавста Николаевна) Толен, подруга О. А. Бредиус-Субботиной.

27

Ед. хр. 4. Л. 42. Почтовая открытка, рук.

[80] *Я так озарен событием 22.VI...* — имеется в виду нападение Германии на СССР, впоследствии И. С. Шмелев изменил свою позицию.

28

Ед. хр. 58. Л. 34—37. Письмо, рук.

[81] *...о нашей дорогой Болящей.* — письмо написано во время нацистской оккупации, поэтому О. А. Бредиус-Субботина иносказательно пишет так о России («Болящая», «Бабушка»), Сталине («племянник», «семинарист») и Гитлере («хирург»). Так же завуалировано в письме идет речь о взглядах на Вторую мировую войну И. А. Ильина («профессор») и самого И. С. Шмелева («Дядя Ивик»). «Хирургом» называет Гитлера в своей статье «Близок час» (28 июля 1941 г.) архиеп. Иоанн (Шаховской). Об этом см.: Вестник ИПХ. 1999, № 1(15).

[82] *...почти 15 лет...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду свое пребывание в Германии (1923—1937).

29

Ед. хр. 58. Л. 39—41. Письмо, рук.

[83] *...увидела Вашу книжку...* — сборник рассказов И. С. Шмелева «Въезд в Париж» (1929).

[84] *...с Анастасией...* — главная героиня повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша» (1918) Анастасия Ляпунова. Писатель придавал большое значение имени героини (Анастасия (*греч.*) — воскресшая).

[85] *...Олей Средневой...* — речь идет о героине рассказа И. С. Шмелева «Куликово поле».

[86] *...эти ложные пара лет...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду продолжительность переписки с И. С. Шмелевым (1939—1941).

[87] *...о Вашем светлом Друге-Ангеле...* — имеется в виду О. А. Шмелева.

[88] *...например Бунина...* — Иван Алексеевич Бунин (1870—1953), прозаик, поэт, публицист, переводчик, мемуарист. В 1920 г. эмигрировал из России, до конца жизни жил во Франции, лауреат Нобелевской премии (1933). В 1923 г. Бунин пригласил Шмелева во Францию, устраивал для него авторские вечера, рекомендовал издателям. Гостя на вилле Бунина в Грассе (6 июня — 5 октября 1923) Шмелев написал «Солнце мертвых», в 1933 г. приветствовал присуждение Бунину Нобелевской премии (Слово на чествовании И. А. Бунина // Россия и славянство. 1933. 1 дек. № 227). Опубликованы письма Бунина к Шмелеву («А Париж Вам может быть полезен всячески...»: Письма И. А. и В. Н. Буниных к И. С. и О. А. Шмелевым // Москва. 2001. № 3. С. 175—195); Черников А. П. И. С. Шмелев и И. А. Бунин (по материалам

переписки) // Русская литература. 1980. № 4. После июня 1941 г. отношения между Буниным и Шмелевым были осложнены тем, что Шмелев поддержал вторжение немецких войск на территорию СССР.

30

Ед. хр. 58. Л. 45—48. Письмо, рук.

[89] *...переживаю душой этот день с Вами.* — 11/24 июля, день памяти св. равноапостольной Ольги (именины О. А. Шмелевой).

[90] *...работавшей с 8 утра и до 11 вечера.* — О. А. Бредиус-Субботина до замужества (1937) работала старшей лаборанткой в госпитале.

[91] *...эта дама...* — Раиса Гавриловна Земмеринг (урожд. Башкирова, 1891—?), почитательница И. С. Шмелева, переписывавшаяся с ним.

[92] *...хора Афонского...* — Николай Петрович Афонский (1892—1971), выпускник Киевской духовной академии, с 1925 г. регент кафедрального собора св. Александра Невского в Париже (ул. Дарю) и руководитель Митрополичьего хора, в 1947 г. переехал в США, с 1950 г. регент кафедрального Покровского собора в Нью-Йорке.

[93] *«Хвалите имя Господне»* — псалом, из Всенощного бдения (Псалтирь. 148).

[94] *«Тебе поем...»* — из Божественной литургии.

[95] *...Львова?* — Федор Павлович Львов (1766—1836), директор Придворной певческой капеллы, историк духовной музыки, автор книги «О пении в России» (СПб., 1834).

31

Ед. хр. 4. Л. 47. Почтовая открытка, рук.

[96] *«Чаша» послана через... моих друзей.* — И. С. Шмелев обратился к Р. Г. Земмеринг с просьбой переслать свой экземпляр повести «Неупиваемая чаша» О. А. Бредиус-Субботиной. Просьба писателя была выполнена, но в дальнейшем отношения между Р. Г. Земмеринг и О. А. Бредиус-Субботиной были очень напряженными.

32

Ед. хр. 59. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

33

Ед. хр. 4. Л. 49. Почтовая открытка, рук.

[97] *...Анастасия — значит — «Воскресшая»!* — имеется в виду «воскресшая» жена писателя, т.к. Шмелев видел мистическую связь между умершей женой и О. А. Бредиус-Субботиной (их имена и отчества совпадали). В творчестве И. С. Шмелева упоминаются две святых Анастасии: *Анастасия Римляныня* (память 29 октября/11 ноября) — мученица III в., небесная покровитель-

ница главной героини повести «Неупиваемая чаша» Анастасии Ляпуновой; *Анастасия Узорешительница* — мученица нач. IV в. (память 22 декабря/4 января), к заступничеству которой прибегала главная героиня романа «Пути небесные».

34

Ед. хр. 4. Л. 56, 57. Письмо, рук.

98 *«Какой выкуп даст человек за душу свою?»* — Мф. 16, 26.

99 *...«дас-эвиге-вейблихе»...* — Das Ewige Weibliche (нем. Вечно-Женственное), символический образ в «Мистическом хоре» из финала «Фауста» И.-В. Гёте, восходит к гностической Софии, связан с идеей мировой души в философии Ф. Шеллинга, В. С. Соловьева и др. Имена Гёте и В. С. Соловьева упомянуты на страницах романа «Пути небесные», тема вечно-женственного неоднократно появляется в творчестве И. С. Шмелева.

100 *...В «Неупиваемой» тоже островок...* — описание пруда и островка в повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша» (1918). См.: Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 379.

101 *«Яичко»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Руль. 1929. 5 мая; отд. изд.: Въезд в Париж (1929).

102 *...Вы отвалили камень...* — аллюзия на Ин. 11, 1—46.

103 *...благовест Оптиной...* — Оптина мужская пустынь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, основана в XV в. около г. Козельска (совр. Калужская обл.).

104 *«Голубенький чистый подснежник-цветок...»* — стихотворение А. Майкова «Весна» (1857).

105 *...Ольгин день...* — память св. равноапостольной княгини Ольги, 11/24 июля.

106 *... был на могилке.* — О. А. Шмелева была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем. В 2000 г. прах И. С. и О. А. Шмелевых перезахоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

107 *...горькое надписание словами Остромира...* — Остромирово Евангелие, древнейший датированный памятник русской письменности (1056—1057), содержащий недельные евангельские чтения.

108 *«Солнце мертвых»* — роман-эпопея И. С. Шмелева, впервые опубликован: Окно. Париж, 1923. № 2—3; отд. изд.: Солнце мертвых. Париж, 1926.

109 *«прощальная улыбка»* — образ из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» (1830).

110 *Тоничка...* — главный герой романа И. С. Шмелева «История любовная» (1929).

35

Ед. хр. 59. Л. 4—6. Письмо, рук.

111 *...Бунин этого не почувствовал...* — «Путевая книга» И. А. Бунина была включена в сборник «Отчизна» (Симферополь, 1919), в

котором опубликована повесть И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша».

112 *...предмет...* — О. А. Бредиус-Субботина использует термин из эстетики И. А. Ильина. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. С. 149.

113 *«Глаголом жги сердца людей»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

114 *...из надписи на «Чаше»...* — имеется в виду дарственная надпись О. А. Бредиус-Субботиной на книге «Неупиваемая чаша»: «Моей светлой душе — Ольге А[лександровне] Б[редиус]-С[уббо-тиной] — первое отсвет-страдание ее, ныне явленной мне».

115 *«ulcus duodeni»* — с 1909 г. И. С. Шмелев был болен язвой двенадцатиперстной кишки.

36

Ед. хр. 59. Л. 11. Письмо, рук.

116 *...рассказать Вам о себе...* — в письме изложеи замысел одной из первых литературных работ О. А. Бредиус-Субботиной автобиографического произведения «Повесть жизни». Вероятно, с этого времеии О. А. Бредиус-Субботина начинает работу над ней.

117 *«Слава в вышних Богу»* — славословие великое на Всеноцном бдении.

37

Ед. хр. 59. Л. 17. Письмо, рук.

118 *...терпкий аромат цветов Воздвиженских...* — упоминается праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня (14/27 сентября).

38

Ед. хр. 4. Л. 60. Почтовая открытка, рук.

119 *Итальянское издание... у Bietty...* — издание повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша» на итал. языке: Calice inconsumabile. Milano: Casa Editrice Bietty, 1932.

39

Ед. хр. 5. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

120 ...о *надписи на книге...* — имеется в виду дарственная надпись И. С. Шмелева на «Неупиваемой чаше», см. примечание 114 к письму 35.

121 *В голландском переводе есть три мои книги...* — «Человек из ресторана» — De Kellner: Roman. Amsterdam, [б. г.]; «Про одну старуху» — Een oud Vrowtje. Amsterdam, 1926; «Неупиваемая чаша» — De nooit geledigde Beker. Amsterdam, 1927.

122 *...он выставлял мою кандидатуру в Нобелевский Комитет...* — в 1932 г. Н. ван Вейк участвовал в выдвижении И. С. Шмелева на получение Нобелевской премии (см.: Марченко Т. В. Иван Шмелев и Нобелевская премия // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 163—171).

40

Ед. хр. 59. Л. 28, 29. Письмо, рук.

41

Публикуется по фотокопии, находящейся в Российском Фонде Культуры (фонд И. С. Шмелева, свидетельство о дарении 1053).

[123] *...«Лебедь» Тютчева...* — стихотворение написано в конце 1820-х гг.

[124] *...Денисовой...* — имеется в виду Е. А. Денисьева (1826—1864), любимая женщина Ф. И. Тютчева, ей посвящен «денисьевский цикл» любовной лирики поэта.

[125] *...как «пели звезды»?* — см. главу «Прозрение» романа «Пути небесные».

[126] *...радостный взрыв и — Крест.* — гл. XXIX «Крестный сон» романа «Пути небесные»: Даринька видит сон, в котором ее распинают на кресте; *Гвоздь будет вбит.* — речь идет о предполагаемом последнем испытании Дариньки, смерти ее ребенка.

[127] *«видевши свет вечерний...»* — из молитвы «Свете тихий».

[128] *«благословенна Ты в жена-ах...»* — из Песни Пресвятой Богородицы, поется во время Великой вечерни на Всенощном бдении.

[129] *«Хвалите рабы Го-спода-а-а-а...»* — из полиелея во время утрени на Всенощном бдении.

[130] *«Слава Тебе, показавшему нам све-эт..!»* — восклицание иерея после стихов к воскресным стихирам во время утрени на Всенощном бдении.

[131] *«Славословим Тя, благодарим Тя...»* — из Славословия великого во время утрени на Всенощном бдении. В цитатах из богослужебных текстов Шмелев соблюдает хронологическую последовательность Всенощного бдения.

[132] *...домик наш...* — с ноября 1918-го по февраль 1922 г. И. С. Шмелев и его семья жили в Алуште, где в 1920 г. писатель купил дом (ул. Горная, 19). См.: Попова Л. Шмелев в Алуште. Алушта, 2000.

[133] *«...будем слушать — в последний раз...»* — И. С. Шмелев цитирует заключительную главу романа «Солнце мертвых» «Конец концов».

[134] *...«Торпедочкой» моей...* — Торпедка, кличка курочки из романа-эпопеи И. С. Шмелева «Солнце мертвых».

[135] *...могила Вашего отца...* — прот. Александр Субботин был похоронен в Рыбинске, в ограде храма Нерукотворного Спаса. Об этом см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 19.10.1939 (в настоящем издании № 6).

[136] *«Донская»* — день Донской иконы Божией Матери (19 августа/1 сентября), установлен в память избавления Москвы от татар в 1591 г.

[137] *...Донской монастырь...* — Донской мужской монастырь за Калужскими воротами, основан царем Федором Иоанновичем в 1591 г. (по др. сведениям в 1592—1593 гг.).

138 *...могила моего отца...* — С. И. Шмелев был похоронен на кладбище Донского монастыря (1880), могила не сохранилась. О поиске места захоронения отца писателя см.: Грико Т. И. История семьи Шмелевых // Венок Шмелеву. М., 2001.

139 *«Журнал де Женев»* — ежедневная газета «Journal de Jeneve», выходившая в Швейцарии на французском языке.

140 *ген. Кутепов* — А. П. Кутепов (1882—1930), генерал от инфантерии, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, после смерти П. Н. Врангеля председатель Русского Обще-Воинского союза (РОВС), в 1930 г. был похищен и убит агентами ОГПУ.

141 *Теодор Обер* — швейцарский адвокат, защищавший убийц В. В. Воровского, в 1924 г. основал Лигу по борьбе с большевизмом; *непримиримые борцы с большевизмом.* — И. С. Шмелев был автором «Воззвания русского общества друзей международной борьбы с большевизмом».

142 *...спас «случай»...* — в ноябре 1920 г. И. С. Шмелев был задержан, но отпущен комиссаром ревкома как автор повести «Человек из ресторана» (см.: Маевский Вл. Шмелев в воспоминаниях // Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 1956).

143 *Иоанн Шаховской* — архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Иоанн (в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, 1902—1989), духовный писатель, поэт, литературный критик.

144 *«...пора уж отдохнуть и погасить лампаду».* — А. С. Пушкин «Борис Годунов» (1825).

42

Публикуется по фотокопии, находящейся в Российском Фонде Культуры (фонд И. С. Шмелева, свидетельство о дарении 1053).

145 *«Твоя от Твоих»* — из Божественной литургии.

146 *Церера* — древне-италийская и римская хтоническая богиня плодородия.

43

Ед. хр. 5. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

44

Ед. хр. 59. Л. 33, 34. Письмо, рук.

147 *Письмо Ваше от 14 сентября, Ваше новогоднее...* — 1/14 сентября по церковному календарю начало года.

148 *«Вся жизнь моя была залогом...»* — А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (Гл. 3).

149 *«Как мы летали»* — сборник рассказов И. С. Шмелева (Берлин, 1923).

150 *«История любовная»* — роман И. С. Шмелева, впервые опубликован: Современные записки. 1927. Кн. 30—35; отд. изд.: Париж, 1929.

151 *«Старый Валаам»* — очерки И. С. Шмелева, впервые опубликованы: Старый Валаам. Владимирова, 1936.

152 *«Die Liebe...»* — «Любовь в Крыму», немецкое название повести И. С. Шмелева «Под горами» (1910).

153 *«Радуница»* — глава романа И. С. Шмелева «Лето Господне», впервые опубликована: Возрождение. 1939. 7 июля.

154 *«Мэри»* — сборник рассказов И. С. Шмелева (Париж, 1928), по одноименному рассказу (1907).

155 *...муж моей подруги.* — имеется в виду И. Толен, муж Ф. Н. Толен (Фаси).

45

Ед. хр. 5. Л. 29—31. Письмо, машинопись.

156 *«Я имени ее не знаю...»* — ария Германа из оперы П. И. Чайковского (1840—1893) «Пиковая дама» (1890).

157 *«Без Вас не мыслю дня прожить»* — из арии Томского оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».

158 *...как мой Илья-страдалец...* — Илья Шаронов, главный герой повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша» (1918).

159 *...Серова — девочка под деревом...* — имеется в виду картина В. А. Серова (1865—1911) «Девушка, освященная солнцем» (портрет М. Я. Симонович, 1888).

46

Ед. хр. 5. Л. 37—39. Письмо, машинопись.

160 *...Врубель в «Царевне Лебедь»...* — картина была написана М. А. Врубелем (1856—1910) в 1900 г.

161 *...Левитан — «Над вечным покоем»...* — картина 1898 г. И. И. Левитана (1860—1900).

162 *...Саврасов в «Грачи прилетели»...* — картина 1891 г. А. К. Саврасова (1830—1897).

163 *Нестеров* — Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942), русский художник; *...малявинские «Бабы»...* — картина 1914 г. Ф. А. Малявина (1869—1940).

164 *...партию «Миньоны»...* — имеется в виду ария Филины из оперы «Миньон» (1866) А. Тома (1811—1896).

165 *...притча о блудном сыне...* — Лк. 15, 1—32.

166 *...«помяни мя» — разбойника...* — Лк. 23, 43.

167 *...«Слово» Иоанна Златоуста...* — Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста, читается на Пасху в православных храмах.

168 *...мы просто — скотина беспастушная!* — имеется в виду высший авторитет римского папы, закрепленный догматом о папской непогрешимости на Ватиканском соборе в 1870 г.

169 *...по слову Достоевского...* — рассуждения Дмитрия Карамазова в романе «Братья Карамазовы» (Ч. 1. Кн. 3).

170 *Мы — «го-рячие», по Апокалипсису...* — Откр. 3, 14—16.

171 *...князь Владимир... принял такую веру...* — киевский князь св. равноапостольный Владимир (ум. 1015) принял крещение и затем ввел христианство в качестве государственной религии на Руси (988).

172 *...чудесный образ! Пушкин дал...* — стихотворение А. С. Пушкина «Кобылица молодая (Из Анакреона)» (1828).

173 *...акафисты...* — наименование особенных хвалебных песнопений в честь Спасителя, Божией Матери и святых.

174 «*Нива*» — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал, издавался в Петербурге в 1870—1918 гг., в 1894—1916 гг. ежемесячно к журналу выходило литературное приложение с сочинениями известных писателей.

175 К сноске внизу страницы:
Не знает их Россия. — в 1923—1928 гг. в СССР были изданы 5 книг из дореволюционных сочинений И. С. Шмелева: «Виноград» (1923), «Гражданин Уклейкин» (1923), «К светлой цели» (1923), «Забавное приключение» (1927), «Стена» (1928). По мотивам повести Шмелева «Человек из ресторана» был снят одноименный фильм (1927, режиссер Я. Протазанов, в главной роли М. Чехов).

176 *...мои «детские»...* — И. С. Шмелев начинал свою литературную деятельность как автор рассказов и повестей для детей («В новую жизнь», «К светлой цели», «Мой Марс» и др.).

177 «*Она меня — за муки полюбила...*» — из трагедии «Отелло» (1604) У. Шекспира (пер. П. И. Вейнберга).

47

Ед. хр. 59. Л. 39, 40. Письмо, рук.

178 «*учитесь властвовать собою...*» — А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (Гл. 4).

179 *...«знание» Дариньки.* — по замыслу автора, главная героиня романа «Пути небесные» наделена интуитивным духовным прозрением.

180 «*Анна Каренина*» — роман Л. Н. Толстого (1873).

181 *...о «совестном акте»...* — термин И. А. Ильина. См.: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 1. С. 110.

182 «*не пищевати вины о гресе...*» — Псалтирь. 140 («непщевати вины о гресех», в совр. переводе «для извинения дел греховных»), поется на Литургии Преждеосвященных Даров во время Великого поста.

183 *...знаю о его «крошке».* — имеется в виду Ульрика фон Леветцов (1805—1899), в которую И.-В. Гёте (1749—1832) был влюблен в 1821—1823 гг., сделал ей предложение и получил отказ.

184 *Я никогда бы не дала Ваши письма ко мне большому свету.* — впоследствии намерения О. А. Бредиус-Субботиной изменились.

185 *Книппер-Чехова* — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868—1959), жена А. П. Чехова. Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой были опубликованы в Берлине в 1924 г.

48

Ед. хр. 5. Л. 45—48. Письмо, машинопись.

186 *«Чистейшей прелести чистейший образец»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Мадона» (1830).

187 *«Честнейшая Херувим...»* — из «Херувимской» песни, которая поется во время Божественной литургии.

188 *...соборе на Дарю...* — храм во имя св. Александра Невского в Париже, построен в 1859—1861 г., духовный центр русской эмиграции.

189 *...19 авг.* — двунадесятый праздник, Преображение Господне.

190 *...и воспел — «радуйся!»* — Лк. 1, 26—38.

191 *«сквозь магический кристалл»* — из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 8).

192 *Вагаев* — герой романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

193 *Карташев* — Антон Владимирович Карташев (1875—1960), общественно-политический и религиозный деятель, богослов, историк Церкви, публицист, мемуарист, член ЦК партии кадетов. Соучредитель братства св. Софии (1918—1922). Участник Религиозно-философской академии, в 1925—1960 гг. профессор Богословского института св. Сергия в Париже. А. В. Карташев был близким другом И. С. Шмелева, именно ему незадолго до смерти писатель передал на хранение переписку с О. А. Бредиус-Субботиной.

49

Ед. хр. 5. Л. 56—58. Письмо, рук.

194 *День Веры, Надежды, Любви, — День Софии* — 17/30 сентября, память святых мучениц, пострадавших в 137 г. в Риме.

50

Ед. хр. 59. Л. 48. Почтовая открытка, рук.

51

Ед. хр. 59. Л. 48. Письмо, рук.

195 *Иов* — библейский праведник (см. Книгу Иова).

52

Ед. хр. 5. Л. 65—67. Письмо, машинопись.

196 *...преп. Сергия Радонежского...* — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря (лавры), ввел общежитийный устав в русских монастырях, благословил московского князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предсказал ему победу, умер в 1391 г. Герой рассказа И. С. Шмелева «Куликово поле».

197 *...услыхал я на могилке моей т о й...* — речь идет о рассказе И. С. Шмелева «Куликово поле», сюжет которого 20 марта 1937 г. писателю сообщил Павел Александрович Васильчиков. О встрече с Васильчиковым на кладбище Сент-Женевьев де Буа Шмелев писал в письме И. А. Ильину: «Васильчиков [...] расска-

зывает "случай". Вы его знаете. [...] Происходит в двух важнейших исторических местах и участником, главным — ! — Святой. [...] Это же мне — так ясно! — от Оли моей — дарок. [...] Рассказ будет называться — "Куликово Поле"» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 185, письмо от 8 апреля 1937 г.).

198 *...прорван фронт дьявола, под Вязьмой...* — 5 октября 1941 г. была прорвана первая линия советской обороны между Ржевом и Вязьмой. 6 октября был взят Брянск.

53

Ед. хр. 6. Л. 1. Письмо, машинопись.

199 *...«о русском счастье»...* — в Пушкинской речи («Пушкин», 1880) Ф. М. Достоевский говорил на примере Татьяны из «Евгения Онегина» об особом понимании счастья русской женщиной, которая не может «основать свое счастье на несчастье другого».

200 *Лиза Калитина* — героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

201 *Татьяна Гремина* — в либретто оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» была введена фамилия мужа Татьяны — Гремин. В романе А. С. Пушкина фамилия этого персонажа не указана.

202 *...моего Диму...* — Вагаева, герой романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

203 *...Ирина...* — Ирина Сергеевна Серова (1913(?)—1999, в замужестве Мамонтова), дочь доктора С. М. Серова, друга И. С. Шмелева.

204 *...друга-доктора...* — Сергей Михеевич Серов (1884—1960), врач, учился в Военно-медицинской академии в Петербурге, в эмиграции работал в госпитале Ляонек в Париже. В 1930-е гг. вошел в Союз деятелей искусства и бесплатно лечил его членов.

205 *...«товарища по школе»...* — Кирилл Мамонтов (1916—1998).

206 «*Мисюсь*» — прозвище героини рассказа А. П. Чехова «Дом с мезонином» (1896) Жени Волчаниновой.

207 *...мать...* — Маргарита Александровна Серова (урожд. Лихонина, 1892—1975), в разводе с С. М. Серовым.

208 *...большой юрист...* — вероятно О. С. Трахтеров (?—1943), присяжный поверенный округа Петербургской судебной палаты, глава Союза русских адвокатов в Париже, автор книги «Мысли и судьбы», погиб в Освенциме.

209 *...убили сына...* — А. О. Трахтеров (ок. 1909—1940), артиллерист, похоронен на военном кладбище Бетанкур (г. Монбейло).

54

Ед. хр. 6. Л. 3—5. Письмо, машинопись.

210 *...это издательство...* — издательство «Православная Русь» монастыря во имя преподобного Иова Почаевского.

211 *Покров Пресвятой Богородицы* — 1/14 октября, церковный праздник, установленный в память видения св. Андрея Юродивого в X в.

212 *отец Варнава* — преподобный Варнава Гефсиманский (в миру Василий Ильич Меркулов, 1831—1906), старец Троице-Сергиевой лавры. И. С. Шмелев писал о нем в романе «Богомолье», рассказе «У старца Варнавы» (см.: Георгий (Тертышников), архим. Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита. Сергиев Посад, 1996).

213 *...Виктор Алексеевич...* — герой романа «Пути небесные», прототип — В. А. Вейденгаммер (1844—1916), инженер, дядя О. А. Шмелевой, в 1900 г. стал послушником в скиту Иоанна Предтечи Оптиной пустыни. Сохранились письма В. А. Вейденгаммера к О. А. Шмелевой (РГБ. ОР. Ф. 387. Карт. 10. Ед. хр. 10). См. также: Любомудров А. М. Оптинские источники И. С. Шмелева. «Пути небесные» // Русская литература. 1993. № 3.

214 *...«весь огончарован»...* — из эпиграммы А. С. Пушкина «Я влюблен, я очарован...» (1829).

215 *...«адвокатом дьявола»...* — advocatus diaboli (в пер. с лат. языка «адвокат дьявола») назывался участник процесса канонизации святых в Католической церкви, который высказывал сомнения в действительности совершенных чудес лицом, предназначенным к прославлению (другой, адвокат Божий (advocatus Dei) приводил доводы в пользу канонизации).

216 *«Свет Разума»* — сборник рассказов И. С. Шмелева (Париж, 1928).

217 *...официально я старше на четыре года...* — И. С. Шмелев родился 3 октября 1873 г. Сам Шмелев неоднократно упоминал о том, что официальные данные не соответствуют его действительному возрасту (см., например, переписку с И. А. Ильиным). Однако, сохранились дореволюционные метрические свидетельства о том, что Шмелев родился в 1873 г., а О. А. Шмелева — в 1875 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 1. Ед. хр. 17). В метрической справке, находящейся в ГАВО (Гос. архив Владимирской обл. Ф. 301. Оп. 7. Д. 32. Л. 3) указано, что И. С. Шмелев родился 21 сентября 1873 г. (по новому стилю 3 октября), крещен 26 сентября.

218 *«Как мы открывали Пушкина»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1926. 7 июня; отд. изд. в сб.: Родное. Белград, 1931.

55

Ед. хр. 60. Л. 5—8. Письмо, рук.

219 *...кавказец...* — имеется в виду хирург Е. Шахбагов, под руководством которого О. А. Бредиус-Субботина с 1929 г. работала в Берлине в частной клинике. Письма Е. Шахбагова к О. А. Бредиус-Субботиной находятся в РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 152. Л. 1—74.

220 *...отчим...* — Александр Александрович Овчинников (1873—1936), второй муж А. А. Овчинниковой, профессор, с 1921 г. ректор Казанского университета, в 1922 г. выслан из России (вместе с Н. А. Бердяевым, И. А. Ильиным, С. Л. Франком и др.), затем жил в Берлине и преподавал в Русском научном институте.

56

Ед. хр. 60. Л. 15. Почтовая открытка, рук.

57

Ед. хр. 60. Л. 17—19. Письмо, рук.

221 *...что сказал ему Горкин?..* — слова Горкина в «Богомолье»: «Всю дорогу хорошо шел, радовался я на тебя... а тут — на вон! Это тебя о н смущает, от святого отводит» (Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. С. 479).

222 *...какой камень мне был положен в протянутую руку...* — аллюзия на Мф. 7, 9. Приведенная в письме скрытая цитата ближе к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Нищий» (1830): «И кто-то камень положил / В его протянутую руку».

223 *...отец посажёный...* — имеется в виду И. А. Ильин.

224 *...после войны...* — т.е. после начала немецкой оккупации Голландии (14 мая 1940).

58

Ед. хр. 6. Л. 16, 17. Письмо, машинопись.

225 *«сквозь сон встречаешь утро года»* — неточная цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 7).

226 *...Овидиевы «Метаморфозы»...* — мифологическая поэма римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) о «превращениях» людей и богов в животных, созвездия и пр.

227 *Спасибо за «баварку»...* — шутливое название фотографии О. А. Бредиус-Субботиной.

59

Ед. хр. 6. Л. 25. Письмо, машинопись.

228 *...кончив Патриотический институт...* — Патриотический институт в Петербурге, благотворительное учебное заведение для девушек из военных семей, готовившее учительниц для сельских школ. Об учебе О. А. Охтерлони в Патриотическом институте см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 37.

229 *...учитель словесности...* — Федор Владимирович Цветаев, преподаватель VI Московской гимназии, дядя М. И. Цветаевой.

230 *«У мельницы»* — первый опубликованный рассказ И. С. Шмелева (Русское обозрение. 1895. № 7).

231 *«Русское обозрение»* — ежемесячный журнал (1890—1898).

232 *Первый курс университета...* — И. С. Шмелев закончил юридический факультет Московского университета (1894—1898).

233 *...в усадьбе матери...* — 14 июля 1895 г. И. С. Шмелев венчался с О. А. Охтерлони в с. Трахоньеве на Клязьме.

234 *«Современные записки»* — ежемесячный общественно-политический и литературный журнал (Париж, 1920—1940), ред. колле-

гия: Н. А. Авксентьев, И. И. Бунаков, М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

235 *...на немецком...* — см.: Шмелев И. С. Библиография / Сост. Шаховской Д. М. Paris, 1980. С. 30—31.

236 *И. А. понял.* — имеется в виду оценка романа «История любовная» в кн. И. А. Ильина «О тьме и просветлении». См.: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 375.

237 *...профессор-педагог немецкий...* — возможно, речь идет о проф. А. Ф. Лютере, переводчике произведений И. С. Шмелева на немецкий язык. О нем см. прим. 714 к письму 183.

238 *...мой успех в Праге...* — Шмелев приехал в Прагу в мае 1937 г. в связи с торжественными церемониями по поводу 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина, выступал 13 и 14 мая.

239 *...моя речь о Пушкине и «купели Православия»...* — «Заветная встреча. Из речи в столетнюю годовщину смерти Пушкина» (1937).

240 *«Последние новости»* — ежедневная газета (Париж, 1920—1940), редактор — П. Н. Милюков (с 1921 г.).

60

Ед. хр. 6. Л. 27—29. Письмо, рук.

241 *...чудесная девчонка...* — имеется в виду Люсьен Лекомт (Lucienne Lecomte) (р. 1920). В 1943 г. приняла православие и вышла замуж за Ива Жантийома (венчание 2 мая в соборе св. Александра Невского в Париже).

61

Ед. хр. 6. Л. 38, 39. Письмо, рук.

242 *...нашему «Книгоиздательству писателей»...* — имеется в виду «Книгоиздательство писателей в Москве» (1912—1923).

243 *...когда рухнул французский фронт...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду дату официальной капитуляции Франции 22 июня 1940 г.

244 *...оказался в Пиренеях...* — с 1940 г. Ив Жантийом был на военной службе в этом районе.

245 *Ecole Normale Superieure.* — имеется в виду Высший педагогический институт. По сведениям, сообщенным Ивом Жантийомом, он не поступил в Высший педагогический институт и окончил математический факультет Сорбонны.

62

Ед. хр. 6. Л. 42—44. Письмо, машинопись.

246 *...французское издание «Солнца»...* — Le soleil des morts. Paris, 1929.

247 *...немецкое — «Любви»...* — Der Vorfruhling — Erlenbuch. Zurich-Leipzig, 1931.

248 *...моя переводчица...* — Руфь Кандрейя, переводчица произведений И. С. Шмелева на немецкий язык.

249 *...из Бальмонта...* — Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942), поэт, переводчик, литературный критик, прозаик, публицист, мемуарист. К. Д. Бальмонт был другом И. С. Шмелева, соседом по даче в Капбретоне, где Шмелевы жили каждое лето в 1924—1933 гг. (см.: Жантийом-Кутырин И. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 48—49). Творчеству Шмелева посвящены ряд статей Бальмонта, его циклы стихотворений «В защите» (поэтическая вариация на тему «Богомолья», 1931) и «Лето Господне» (1933), стихотворения в книге «Ризы единственной» (1927) — «Пролетьем в лето», «Закрома» и др.

250 *...Амфитеатрова...* — Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938), прозаик, драматург, поэт, публицист, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист. Автор ряда статей о Шмелеве. Амфитеатров много лет переписывался со Шмелевым (отрывки из их переписки см: Шмелев И. С. «Я весь бунтуюсь...» // Слово. 1992. № 11/12; Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22). О взаимоотношениях И. С. Шмелева и А. В. Амфитеатрова см.: Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 609.

251 *...от Мережковского...* — Дмитрий Сергеевич Мережковский (1965—1941), прозаик, поэт, драматург, литературовед, публицист, переводчик. В 1923 г. соседствовал с И. С. Шмелевым в Грассе, был его корреспондентом.

252 *...кормление Ходасевичам.* — имеется в виду В. Ф. Ходасевич (1886—1939), поэт, литературный критик, литературовед, переводчик, публицист, мемуарист. В 1927—1939 гг. возглавлял литературно-критический отдел газеты «Возрождение». О конфликте И. С. Шмелева с В. Ф. Ходасевичем см.: Сорокина О. Н. Московиана: жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 199—201.

253 *...Мученица Александра...* — российская императрица Александра Федоровна (урожд. Алиса, принцесса Гессенская, 1872—1918), супруга императора Николая II, в 1981 г. канонизирована Русской Православной Церковью за границей, в 2000 г. — Русской Православной Церковью.

254 *...«Сергия и Вакха»...* — день мучеников Сергия и Вакха, 7/20 октября, установлен в память кончины мученика Сергия в IV в.

255 *...Милочка...* — Людмила Гербертовна Келер (1916—?), дочь Р. Г. Земмеринг, автор воспоминаний о И. С. Шмелеве, публикатор его писем. Личный архив Л. Г. Келер передан в Бахметевский архив Колумбийского университета (США).

256 *Племянница Олина...* — Юлия Александровна Кутырина (1891—1979), племянница О. А. Шмелевой, актриса, сказительница, автор книги, статей и воспоминаний о И. С. Шмелеве.

257 *...ее «муж»...* — имеется в виду Иван Иванович Новгород-Северский (наст. имя и фамилия Ян Пляшкевич, 1893—1969), второй муж Ю. А. Кутыриной, поэт, прозаик. Новгород-Северский окончил военное училище в Иркутске, во время Первой мировой войны был штабс-капитаном, затем полковником Добровольческой армии, эмигрировал в 1920 г. В эмиграции издал сборники

стихотворений «Как растут кресты» (1921), «Заполярье» (1939), «Тундра» (1939), «Айсберги» (1942), «Чум» (1942), «Самоцветы» (1949) и др. И. С. Шмелев написал вступительную статью к сборнику Новгород-Северского «Заполярье». Шмелев называет Новгород-Северского «мужем», т.к. в 1941 г. Ю. А. Кутырина и И. И. Новгород-Северский официально не были женаты.

258 *...ученица Рахманинова...* — С. В. Рахманинов (1873—1943) преподавал в Московском Екатерининском институте, где училась Ю. А. Кутырина (см.: Жантийом-Кутырин Ив. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 38).

259 *...с мужем развелась...* — имеется в виду Андре-Рене Жантийом (1884—1954), французский дипломат, первый муж Ю. А. Кутыриной (до 1932 г.), отец Ива Жантийома.

260 *...самозванцем...* — из-за путаницы с документами во время Гражданской войны многие бывшие участники Белого движения в эмиграции претендовали на звание полковника. И. С. Шмелев не точен, И. И. Новгород-Северский действительно был полковником и кадровым военным.

261 *...знает по-французски одно слово... генерала Камброна.* — имеется в виду французский генерал П.-Ж.-Э. Камброн (1770—1842), который во время битвы при Ватерлоо на предложение о капитуляции ответил «Дерьмо! Гвардия не сдается!».

262 «*Приключение*» — «Забавное приключение», рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Слово. 1917. № 7; отд. изд. в кн.: Лик скрытый. М., 1917.

263 «*Виноград*» — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Северные записки. 1913. № 9; отд. изд. в кн.: Волчий перекат. М., 1914.

264 «*Погоди, тебя заставлю / Я смириться...*» — см. примечание 172 к письму 46.

63

Ед. хр. 6. Л. 55, 56. Письмо, рук.

64

Ед. хр. 7. Л. 1, 2. Письмо, рук.

265 *Schalkwijk* — Шалквейк, деревня в окрестностях Утрехта, где с 1941 г. жила О. А. Бредиус-Субботина.

266 *... генерала Слащова...* — Я. А. Слащов (1885—1929), мемуарист, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 г. эмигрировал, в 1921 г. вернулся в Россию, с 1922 г. преподавал в Высшей тактическо-стрелковой школе в Москве, убит в своей квартире (убийца объяснил свой поступок местью за брата, казненного в Крыму по распоряжению Слащова).

267 *...старец Амвросий.* — преподобный Амвросий Оптинский (в миру А. М. Гренков, 1812—1891), старец Оптиной пустыни, канонизирован в 1988 г.

268 *...крепостная Варвары Тургеневой...* — Варвара Петровна Тургенева (урожд. Лутовинова, 1780—1850), мать писателя И. С. Тургенева.

269 *...пророчество старца Иосифа...* — иеросхимонах Иосиф (в миру И. Е. Литовкин, 1837—1911), старец Оптиной пустыни, келейник и ученик преподобного Амвросия Оптинского. В планах И. С. Шмелева 1938—1939 гг. пророчество о смерти Дариньки произносит старец Амвросий: «Пронесешь всю жизнь Крест свой и умрешь на своей реке» (см.: Кутырина Ю. А. Пути небесные. Заметки к третьему ненапечатанному тому // Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 474).

270 *...28 [июля] Прохора-Никанора.* — память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

65

Ед. хр. 60. Л. 32, 33. Письмо, рук. Постоянный адрес О. А. Бредиус-Субботиной с августа 1941 года: Schalkwijk (U.), Lage dijk 139, Holland.

271 *...«Полукровка»...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду героиню одноименного романса поэта и композитора А. Н. Вертинского (1889—1957). Романс написан в 1930 г.

66

Ед. хр. 7. Л. 20, 21. Письмо, рук.

67

Ед. хр. 60. Л. 38, 40. Письмо, рук.

272 *...наш военный, писатель...* — вероятно, имеется в виду Алексей Александрович фон Лампе (1885—1965), генерал-майор. Во время Второй мировой войны заместитель председателя РОВСа.

273 *Паша* — героиня романа И. С. Шмелева «История любовная».

274 *Верру* — младшая сестра Арнольда Бредиуса.

68

Ед. хр. 60. Л. 47, 48. Письмо, рук.

275 *«Тебе тезоименитая прабабка твоя Ольга...»* — в шуточном «акафисте» аллюзии к «Повести временных лет» (Сказание о мести древлянам княгини Ольги).

276 *...в «Дневнике писателя».* — издавался Ф. М. Достоевским в 1873—1881 гг. (первоначально рубрика в журнале «Гражданин»), включал публицистические статьи, художественные произведения, воспоминания и литературную критику. Выпуск «Дневника» прерывался в годы работы над романами «Подросток» (1874—1875) и «Братья Карамазовы» (1878—1879).

69

Ед. хр. 7. Л. 36, 37. Письмо, рук.

277 *...«подруге дней моих суровых»...* — образ из стихотворения А. С. Пушкина «Няне» (1826).

278 ...*«Семейного счастья»*... — рассказ Л. Н. Толстого (1859).

279 *Пролихачивал, довольно*... — существует ряд свидетельств того, что И. С. Шмелев был азартным игроком. См.: письмо И. С. Шмелева А. И. Куприну от 2.09.1923 (Бахметевский архив Колумбийского университета); Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 159; воспоминания С. Н. Сергеева-Ценского (РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 222).

280 *Тантал* — в греческой мифологии лидийский царь, обреченный богами на вечные муки.

70

Ед. хр. 7. Л. 48, 49. Письмо, рук.

281 ...*упрощенная ткань романа «Пути Небесные»*. — в первоначальном плане II части (1939—1940) ребенок Дариньки должен был родиться в Мценске и умереть на 9 день (см.: Кутырина Ю. «Пути небесные»: Заметки к третьему ненапечатанному тому // Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 440—457). Вариант, обсуждаемый в письмах, также был значительно изменен в окончательной редакции романа (1947).

282 ...*в канун Ивана Купалы*... — в народном сознании праздник Рождества Иоанна Предтечи 24 июня/6 июля связан с языческим культом плодородия.

283 ...*Воскресенский монастырь*. — И. С. Шмелев не точен, в тексте романа «Пути небесные» Вознесенский монастырь.

284 ...*Спасское-Лутовиново*... — родовое имение матери И. С. Тургенева, расположенное вблизи г. Мценска Орловской губернии. В окрестностях Мценска происходит действие второй части романа «Пути небесные» (усадьба Ютово).

285 *Завтра «Казанская»*... — день празднования Казанской иконы Божией Матери, 22 октября/4 ноября.

286 *«ножки устали»* — аллюзия к роману «Богомолье», гл. «У преподобного».

287 ...*о моей светлой девочке*... — речь идет об О. А. Шмелевой.

288 *«Богородицу и Матерь Света...»* — возглас перед девятым ирмосом канона на утрени.

289 ...*мой приходской праздник*... — в церкви Казанской иконы Божией у Калужских ворот (в этой церкви хранилась метрика И. С. Шмелева).

290 ...*о матери*... — Евлампия Гавриловна Савинова (1847—1934).

291 ...*поступил в гимназию*. — 1-я московская гимназия, где Шмелев учился в сентябре—ноябре 1884 г.

292 *Учитель был больной*... — имеется в виду И. Д. Лебедев, директор 1-й Московской гимназии, преподававший словесность. См. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 29.03.1947 (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 105).

293 *В другой гимназии*... — 6-я московская гимназия (Большой Толмачевский пр., 3), где И. С. Шмелев учился в 1884—1894 гг.

294 *Загоскин* — Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852), исторический романист, драматург.

295 *...Румянцевскую публичную библиотеку.* — в наст. время РГБ; основана на собрании книг, рукописей и монет Н. П. Румянцева в 1861 г. в Москве.

296 *У сестры Мани...* — Мария Сергеевна Шмелева (1869—?).

297 *...в пансионе...* — И. С. Шмелев проходил дошкольное обучение в частном пансионе Вертес. См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 24.

298 *...ее деревня, под Звенигородом...* — в рассказе И. С. Шмелева «Росстани» использовано реальное название деревни Ключевая.

299 *...с Сережечкой в Сочи...* — вероятно, лето 1913 г.

300 *...сестрой Катей (самой близкой из 3-х)...* — у И. С. Шмелева было 3 сестры София (1968—?), Мария, Екатерина (1879—1938). См.: Грико Т. И. Шмелевы // Москва. 2000. № 6.

71

Ед. хр. 7. Л. 52. Почтовая открытка, рук.

301 *Читаю А. С. Хомякова о православии...* — вероятно, И. С.Шмелев читал книгу А. С. Хомякова (1804—1860) «О Церкви» (Берлин, 1926) с предисловием и примечаниями Л. П. Карсавина.

72

Ед. хр. 60. Л. 21, 22. Письмо, рук.

302 *...к ним за защитой не обратилась...* — речь идет о нацистах.

73

Ед. хр. 61. Л. 28, 29. Письмо, рук., карандаш.

303 *Подходили Святки...* — двенадцать дней от праздника Рождества Христова (25 декабря/7 января) до праздника Богоявления (6/19 января).

304 *«придите, поклонимся и припадем»* — молитва из Божественной литургии.

305 *...тютчевское о сне...* — имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «Вчера, в мечтах обвороженных...» (1836).

74

Ед. хр. 8. Л. 1, 2. Письмо, рук.

306 *«Восточный мотив»* — позднее И. С. Шмелев дал рассказу новое название «Пурим» (рассказ не завершен). О замысле рассказа Шмелев писал А. В. Амфитеатрову 17 ноября 1928 г. (Слово. 1992. № 11/12).

307 *«В овраге»* — повесть А. П. Чехова (1900).

308 *«Про одну старуху»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Современные записки. 1925. № 23; отд. изд.: Про одну старуху: Новые рассказы о России. Париж, 1927.

309 ...*«Архиерей»*, *«Ночью»*... — рассказы А. П. Чехова (1902 и 1901).

310 ...*писателем Треневым*... — Константин Андреевич Тренев (1876—1945), писатель, драматург, публицист. В 1919—1921 гг. вместе с И. С. Шмелевым был свидетелем голода и Гражданской войны в Крыму. За месяц до своего отъезда из России (20 января 1922 г.) Шмелев писал Треневу: «Знаете ли Вы, что кругом нас уже умирают с голоду? Уже сжигают себя живьем... Уже падают люди на ходу и умирают. И трупы их остаются непохороненными неделю?! ...Знаете ли, что больницы не принимают опухших с голоду, а приюты... наполнены и не берут детей?! Знаете ли, что к нам ежедень заходят и молят о хлебе дети?! А мы бессильны, ибо сами вертимся на последнем...» (РГАЛИ. Ф. 1398. Оп. 2. Ед. хр. 527. Л. 5.)

311 *«...дунканизм»*... — И. С. Шмелев имеет в виду направление в искусстве танца, которое было связано с американской танцовщицей Айседорой Дункан (Duncan; 1877—1927).

312 ...*Пурим (см. книгу Эсфири)*. — еврейский праздник, согласно Ветхому Завету установлен в память спасения иудеев от истребления по приказу Амана, советника персидского царя Артаксеркса (Есф. 9, 26).

313 *«Музыкальное утро»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Звено. 1923. 19 февраля.

314 *«Гунны»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1927. 22 марта.

315 *«чем больше женщину мы любим...»* — перефраз из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 4).

316 *Моя Алушта свободна от большевиков*... — 8 мая 1942 г. был оккупирован Керченский полуостров.

75

Ед. хр. 8. Л. 10, 11. Письмо, рук.

317 ...*Тютчев: «О вещая душа моя...»* — стихотворение 1855 г.

318 ...*даже невер Герцен, говоря об Иверской, признает силу этой «обмоленности»*. — в первой части книги А. И. Герцена (1812—1870) «Былое и думы» (1868) описан эпизод у Иверской часовни, где хранилась Иверская икона Богоматери (копия с афонского оригинала), привезенная в Москву в 1648 г.

319 *«Святый Боже...»* — молитва к Святой Троице.

320 ...*ночь в Кремле?* — имеется в виду гл. IX «Прозрение» романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

321 ...*сколько дам и девушек просили за жизнь Димы*... — имеется в виду судьба героя романа И. С. Шмелева «Пути небесные» Дмитрия Вагаева.

322 ...*проф. Кепиновым*... — Леон Иванович Кепинов (1881—1956).

323 ...*Ее молитвами*. — т.е. молитвами О. А. Шмелевой. И. С. Шмелев был уверен, что знакомство с О. А. Бредиус-Субботиной произошло по молитвам О. А. Шмелевой. Помимо многократного

упоминания об этом в переписке с О. А. Бредиус-Субботиной и И. А. Ильиным известны свидетельства современников писателя, например А. В. Зернина (Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М., 1994. С. 39).

76

Ед. хр. 8. Л. 16. Почтовая открытка, рук.

77

Ед. хр. 8. Л. 18, 19. Письмо, рук.

324 ...*монах!!!* — лицо не установлено.

325 ...*мои «молодые»*... — Ив Жантийом и Люсьен Лекомт.

326 ...*Плоть бысть!!* — Ин. 1, 14.

327 ...*жид переводил?* — перевод выполнил М. Язаксон (M. Izakson).

328 ...*Гауптмана*... — Герхард Гауптман (1862—1946), немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии (1912). Высоко оценил «Солнце мертвых» И. С. Шмелева (Возрождение. 1926. 14 января; Руль. 1926. 20 января).

329 *Кнут Гамсун* — норвежский писатель (1859—1952), лауреат Нобелевской премии (1920). В письме И. С. Шмелеву от 11 января 1927 г. Гамсун писал, что «Человек из ресторана» является «гениальным, глубоким и великолепным по живости рассказа». См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 198.

330 «*Ныне отпущаеши, Владыко*...» — молитва св. Симеона Богоприимца (Лк. 2, 34—35).

331 *Доктор ее убил.* — врач И. С. Чекунов, которого И. С. Шмелев обвинял в неправильном выборе лекарств для О. А. Шмелевой.

332 ...*у профессора-друга, Карташева*... — с 31 августа 1937 г. по январь 1938 г. Шмелев жил у Карташевых (ул. Маним, 3), пока хозяева были в Афинах.

333 ...*был у кумы*... — речь идет о крестной матери Ива Жантийома Павле Полуэктовне Карташевой-Соболевой (1889—1969), жене богослова и церковного историка А. В. Карташева.

334 ...*поехали автокаром в Ментону.* — с 12 сентября до конца октября 1937 г. Шмелев жил в Ментоне с С. М. Серовым.

335 ...*княжна Кантакузен*... *и ее мать*... — сведений о них нет.

336 *архиепископ Владимир* — Владимир (Тихоницкий, 1873—1959), выпускник Казанской духовной академии, с 1907 г. епископ Белостокский, викарий Гродненской епархии, с 1918 г. управлял Гродненской епархией (с 1921 г. часть автономной Польской Церкви), в 1923 г. насильственно отстранен от управления епархией сторонниками автокефальной Польской Церкви, затем жил в Праге, подчинялся митрополиту Евлогию (Георгиевскому), был назначен архиепископом Ниццким на юг Франции, с 1930 г. и до конца жизни находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, с 1947 г. митрополит Ниццкий, умер в Париже.

337 *...читал на полный голос...* — по просьбе Великой княгини Ксении Александровны Шмелев выступал с чтением своих рассказов в Ментоне.

338 *...и няня была, «из Москвы»...* — имеется в виду прототип главной героини романа «Няня из Москвы» няня, жившая в доме купца Ф. Г. Карпова в Севре (ул. Кутюр, 2), где И. С. Шмелев гостил в зимой 1926—1927 гг. Об этом см.: Шешунова С. В. Образ мира в романе И. С. Шмелева «Няия из Москвы». Дубна, 2002. С. 3.

339 *Сергиево Подворье* — храм во имя преп. Сергия Радонежского (освящен 1 марта 1925 г.) в Париже (рю Крим, 93).

340 *В комнатку...* — с 30 октября и до конца 1937 г. И. С. Шмелев жил в квартире семьи Карташевых.

341 *Уехал в Швейцарию...* — по приглашению своей переводчицы Р. Кандрейи с января по апрель 1938 г. И. С. Шмелев жил в пансионе Haldenstein.

342 *...на Карпаты, в монастырь!* — монастырь преп. Иова Почаевского, который И. С. Шмелев вторично посетил в июне 1938 г.

343 *20 апр. выехал из Швейцарии в Прагу...* — в письмах И. С. Шмелева к Иву Жантийому приводится точная дата, 23 апреля 1938 г. См. письма от 22 апреля и 3 мая 1938 г. (Жантийом Ив. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 103—104.)

344 *...мой вечер.* — 24 апреля 1938 г. состоялся литературный вечер И. С. Шмелева в Праге.

345 *К. Д.* — И. С. Шмелев не сообщает фамилию своей поклонницы. Упоминается как Екатерина (Катерина) Дмитриевна, «дама с собачкой».

346 *«Аметист»* — отель в Праге (Polska, 9).

347 *...сын доктора Альтшуллера...* — Григорий Исаакович Альтшуллер (1895—1983), сын известного врача Исаака Наумовича Альтшуллера, лечившего А. П. Чехова и Л. Н. Толстого.

348 *В августе — с доктором в Ментону.* — с 26 августа Шмелев жил с С. М. Серовым в Chalet des Rosiers, в Ментоне, на вилле кн. П. П. Волконского.

349 *...у кн. Волконского.* — Петр Петрович Волконский (1872—1957), князь, дипломат.

350 *...Великой Княгине Ксении Александровне...* — старшая сестра (1875—1960) императора Николая II.

351 *...Ольга Великая Княгиня...* — младшая сестра (1882—1960) императора Николая II.

352 *...Мюнхен — приостановил.* — 30 сентября 1938 г. в Мюнхене было заключено соглашение между Англией, Францией, Италией и Германией, предусматривавшее отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области, что стало поводом для вторжения Германии в Чехословакию и захвата всей ее территории (октябрь 1938 — март 1939 г.).

353 *...нанял квартиру, Буало.* — 15 октября 1938 г. Шмелев снял квартиру в Париже (rue Boileau, 91).

78

Ед. хр. 61. Л. 35, 36. Письмо, рук.

354 *Смердяков* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880).

355 *...его впечатление от Тургенева «Первой любви».* — события и персонажи повести И. С. Тургенева «Первая любовь» (1860) через восприятие главного героя органично введены в роман И. С. Шмелева «История любовная» (1929).

356 *«Преступление и наказание»* — роман Ф. М. Достоевского (1866).

357 *«Степное чудо»* — сборник сказок И. С. Шмелева (Париж, 1927).

358 *«Блаженные»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Перезвоны. 1926. 8 июня; отд. изд.: Свет разума. Париж, 1928.

359 *...С[офьей] А[ндреевной]...* — С. А. Толстая (урожд. Берс, 1844—1919), жена Л. Н. Толстого.

360 *«Праздники»* — первая часть романа И. С. Шмелева «Лето Господне».

361 *...священник, который учил Bauer...* — имеется в виду о. Алексий Розанов.

362 *...у нее дочь...* — имеется в виду Валентина Алексеевна Розанова (?—1943), дочь настоятеля православного храма в Гааге Алексия Розанова.

79

Ед. хр. 61. Л. 47, 48. Письмо, рук.

363 *...проф. Франка...* — Семен Людвигович Франк (1877—1950), философ, психолог, экономист, литературовед, публицист. В 1922—1938 гг. жил в Берлине, читал лекции в Берлинском университете, на кафедре славянской филологии. Шмелев написал рецензию на книгу Франка «Крушение кумиров».

364 *...и его жены...* — Татьяна Сергеевна Франк (ур. Барцева, 1887—?).

365 *«С живой картины список бледный»* — из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 3).

366 *Таких «мироносиц»...* — жены-мироносицы Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия (Мф. 28, 1; Мк. 16, 1; Лк. 23, 55—56; Ин. 20, 1). О. А. Бредиус-Субботина иронически называет так поклонниц И. С. Шмелева.

80

Ед. хр. 8. Л. 29, 30. Письмо, рук.

367 *...были в переписке...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной нет писем к ней И. А. Ильина. Сохранился черновик письма А. А. Овчинниковой И. А. Ильину с припиской О. А. Бредиус-Субботиной (РГАЛИ. Л. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 156).

368 *...хочу ехать в лагеря советских пленных...* — И. С. Шмелеву было отказано в посещении советских военнопленных.

368а *...Алеша Квартиров из Берлина.* — Алексей Александрович Квартиров, брат М. А. Квартировой, ученик И. А. Ильина.

368б *...в марте 17-го и в России, и по Сибири.* — в марте—апреле 1917 г. И. С. Шмелев в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости сопровождал поезд овобожденных политических заключенных. См.: Шмелев И. С. В Сибирь за освобожденными // Русские ведомости. 1917. № 73—76, 78, 81, 86, 96.

369 *«Два письма»* — рассказ И. С. Шмелева в сборнике «Въезд в Париж» (Белград, 1929).

370 *...предчувствовал с семнадцатого—восемнадцатого годов...* — в эти годы И. С. Шмелев работал над повестью «Неупиваемая чаша», где впервые обращается к теме вечно-женственного.

81

Ед. хр. 63. Л. 37, 38. Письмо, рук.

371 *...митрополита Антония...* — Антоний (Храповицкий, 1863—1936), в 1895—1900 гг. был ректором Казанской духовной академии (в это время там учился А. А. Субботин); с 1900 г. епископ Уфимский, с 1902 г. епископ Волынский, с 1914 г. архиепископ Харьковский, с 1917 г. митрополит Киевский, участник Всероссийского Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1917—1918 гг. и один из трех претендентов на Патриарший престол, в 1920 г. эмигрировал, с 1922 г. глава Русской Православной Церкви за границей, богослов и духовный писатель (см.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Нью-Йорк, 1953—1965. Т. 1—10).

К сноске внизу страницы:

Серафим Парижский — Серафим (Лукьянов, 1879—1959), выпускник Казанской духовной академии (1904), митрополит Русской Православной Церкви за границей (с 1938), возглавлял Западноевропейскую епархию с центром в Париже, в 1945 г. воссоединился с Русской Православной Церковью (Московский Патриархат), с 1946 г. экзарх Западной Европы, с 1949 г. на покое, в 1954 г. вернулся в Россию.

372 *Казанский Родионовский институт.* — Родионовский институт благородных девиц, закрытое учебно-воспитательное заведение для девочек из дворянских семей (позже принимались дети купечества и духовенства), основан в 1841 г. меценаткой А. Н. Родионовой, готовил домашних учительниц, в 1917 г. закрыт.

373 *Один был... хороший...* — лицо не установлено.

374 *...Верочка!* — Вера Александровна Овчинникова (ум. 1921), дочь А. А. Овчинникова от первого брака.

375 *...ордер на арест профессора.* — т.е. А. А. Овчинникова, отчима О. А. Бредиус-Субботиной.

376 *...в Костромскую губернию к бабушке...* — вероятно, в с. Баран, где служил протоиереем дед О. А. Бредиус-Субботиной по материнской линии Александр Михайлович Груздев.

377 *...Иван Семенович...* — И. С. Морев (1863/64—?), хормейстер, в 1910-х гг. руководитель известного казанского хора.

378 *...русский дом при кладбище.* — Русский дом в Тегеле (в западиой части современного Берлина), создан для русских эмигрантов рядом с православным храмом и кладбищем.

379 *...Русский институт.* — Русский научный институт в Берлине, одно из высших учебных заведений русской эмиграции, основан в феврале 1923 г., закрыт в 1933 г., в институте преподавали И. А. Ильин, С. Л. Франк (последний директор института с 1932 г.), отчим О. А. Бредиус-Субботиной А. А. Овчинников и др.

82

Ед. хр. 62. Л. 1, 2. Письмо, рук.

380 *Как ужасно о Сереженьке!* — имеется в виду смерть С. И. Шмелева, сына писателя.

381 *«...и Аз воздам...»* — Втор. 32, 35.

382 *... увлекшись одним врачом...* — личность неизвестна, далее упоминается как «Dr. S.», «врач № 2».

383 *...в форме SA.* — т.е. в форме штурмовых отрядов (Sturmabteilungen) военнизированной организации (создана в 1921 г. в Мюнхене) национал-социалистической партии Германии. После 30 июня 1934 г., когда отрядами СС (службы безопасности партии) были убиты лидеры СА (Рем, Гейнес и др.), СА потеряла политическое влияние и была преобразована в подразделение вермахта (1934—1945).

384 *Ивик* — здесь: ласкательное обращение к И. С. Шмелеву.

385 *Зерцалов* — сведений о нем нет.

83

Ед. хр. 62. Л. 8, 9. Письмо, рук.

386 *Частных же...* — частная медицинская практика русских врачей в Германии была закреплена в 1913 г. имперским судом Германии.

84

Ед. хр. 8. Л. 43, 44. Письмо, рук.

387 *...скрадено у Катулла...* — вероятно, Шмелев имел в виду стихотворения римского поэта Гая Валерия Катулла (84—54 гг. до н. э.), в которых соединялись образы любви и вина.

388 *«Быть может, чувствий пыл старинный...»* — А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (Гл. 4).

389 *...как у «Demi-vierges» М. Прево.* — в романе «Les demi-vierges» (1894, рус. перевод «Полудевы», 1898) Эжен-Марсель Прево (1862—1941) выступил против слишком свободного сексуального воспитания девушек. Шмелев мог познакомиться с творчеством Прево по собранию его сочинений на русском языке (СПб., 1912. 14 т.).

390 *...«рассказ о семье»...* — имеется в виду семья Бредиусов.

391 *...Betty...* — И. С. Шмелев имеет в виду Элизабет Бредиус, сестру Арнольда Бредиуса.

392 *Кони* — Анатолий Федорович Кони (1844—1927), известный русский адвокат и общественный деятель, член Государственного Совета, почетный академик Петербургской Академии Наук.

393 *Венгеров* — Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1920), критик и историк русской литературы, по его просьбе Шмелев написал автобиографию (1913).

394 *Василий Иванович Немирович-Данченко* — русский писатель (1848—1936), брат главного режиссера Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко, с 1921 г. в эмиграции.

85

Ед. хр. 8. Л. 50. Почтовая открытка, рук.

395 *...Катички...* — главная героиня романа И. С. Шмелева «Няня из Москвы».

396 *Флобер учил Мопассана 10 лет.* — в 1868—1880 гг. Гюстав Флобер (1821—1880) был литературным наставником Ги де Мопассана (1850—1893), который посвятил учителю первую книгу стихов («Стихотворения», 1880).

397 *...дочки священника* — имеется в виду В. А. Розанова.

86

Ед. хр. 8. Л. 57, 58. Письмо, рук.

398 *«Свете тихий»* — здесь: очерк И. С. Шмелева, посвященный О. А. Бредиус-Субботиной.

399 *«Девушка с цветами»* — стихотворение И. С. Шмелева, написанное под впечатлением от фотографии О. А. Бредиус-Субботиной («Девушка в ветре»), которая хранится в Российском Фонде Культуры (Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

400 *...сюжеты «Мертвых душ» и «Ревизора».* — замыслы комедии «Ревизор» (1835) и поэмы «Мертвые души» (1835—1952) были по словам Н. В. Гоголя подсказаны ему А. С. Пушкиным; *...«Холстомер», «Воскресение», «Живой труп».* — основой этих произведений Л. Н. Толстого послужили реальные события (посещение Толстым усадьбы И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново, где писатель увидел старую измученную лошадь; судебное дело, рассказанное писателю адвокатом А. Ф. Кони; уголовное дело Н. С. Гимерова, которое слушалось в Москве в декабре 1897 г.).

401 *О Достоевском и говорить нечего...* — в фабулах своих произведениий Ф. М. Достоевский активно использовал газетную уголовную хронику: обстоятельства уголовного дела Герасима Чистова («Преступление и наказание»), дело об убийстве семьи Жемариных («Идиот»), материалы процесса над террористической группой С. Г. Нечаева («Бесы»).

402 *«Трапезондский коньяк»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1938. 9 декабря. № 4161.

403 *...г. П[устошкиным].* — Павел Константинович Пустошкин, до 1942 г. управляющий делами Российского представительства в Гааге.

404 ...*«Шпекиных» (почтарей)...* — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин, прочитавший в финале пьесы письмо Хлестакова. И. С. Шмелев подразумевает перлюстрацию личной переписки во время Второй мировой войны.

405 *«Когда идешь к женщине, бери хлыст и розу»* — слова персонажа романа «История любовная» Женьки («Полковника»).

406 ...*«тайна» Георгия...* — И. С. Шмелев использует русифицированное имя американского дипломата Джорджа Кеннана. Джордж Фрост Кеннан (род. 1904) в 1931 г. изучал русский язык и культуру в Восточноевропейском институте в Берлине (к этому времени относится его знакомство с О. А. Бредиус-Субботиной). После разрыва с ней женился и сделал блестящую дипломатическую карьеру. С 1944 г. дипломатический представитель США в СССР, затем директор Совета по планированию внешней политики при президенте США. В архиве О. А. Бредиус-Субботиной собраны его фотографии и статьи о нем (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 163. Л. 2—3).

87

Ед. хр. 9. Л. 1—3. Письмо, рук.

407 *Та бестия...* — имеется в виду И. Толен.

408 *«Благословенна ты в женах!»* — Лк. 1, 26—38.

409 *«Чистейшей прелести чистейший образец»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Мадона» (1830).

410 *«Знакомый мужчина»* — очерк А. П. Чехова (1866).

411 ...*окажусь в положении о. Сергия...* — главный герой повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» (опубл. 1912), в борьбе с искушением отрубил себе палец.

412 *«Искушения святого Антония»* — роман Г. Флобера (1874, рус. перевод 1879), основой которого является «Житие Антония Великого».

413 ...*история Даши...* — имеется в виду Дарья Васильевна Замотина, воспитанница О. А. Вейденгаммер (матери О. А. Шмелевой), после смерти которой жила в семье Шмелевых, сохранила архив писателя. Архив И. С. Шмелева передан ее сыном в РГАЛИ (1949) и РГБ (1957—1966).

414 *«В усадьбе»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Речь. 1914. 6 апреля; отд. изд.: Карусель. 1916.

415 ...*дореволюционное издание...* — имеется в виду «Собрание сочинений» И. С. Шмелева в 8 томах, издававшееся в 1910—1917 гг. издательствами «Знание» (т. 1), «Книгоиздательством писателей в Москве» (т. 2— 8). Т. 6 «Карусель» был издан в 1916 г.

88

Ед. хр. 9. Л. 5, 6. Письмо, рук.

416 *Дафнис* — герой романа римского писателя Лонга (II—III вв. н. э.) «Дафнис и Хлоя».

719

417 «*Дьявол*» — повесть Л. Н. Толстого (опубл. 1911).

418 ...*и з м е н а Софье Андреевне*... — об автобиографичном в повести см. комментарий И. И. Виноградова в кн.: Толстой Л. Н. Повести. Рассказы. М., 1985. С. 508.

419 ...*целовались через гнилой забор!* — из романа «История любовная».

89

Ед. хр. 63. Л. 10, 11. Письмо, рук.

420 *Введение во Храм* — Введение во храм Пресвятой Богородицы, двунадесятый праздник, 21 ноября/4 декабря.

421 *Скромная «Таня»*... — имеется в виду героиня романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

422 *«Ты успокой меня...»* — строки из романса А. Н. Вертинского; *Морфесси* — Юрий Спиридонович Морфесси (1882—1957), эстрадный певец, актер оперетты, исполнитель русских и цыганских романсов, с 1920 г. в эмиграции, жил в Прибалтике, Югославии, Франции.

90

Ед. хр. 63. Л. 15, 16. Письмо, рук.

91

Ед. хр. 9. Л. 9, 10. Письмо, рук.

423 ...«*Прекрасной Елены*»... — опера Ж. Оффенбаха (1864).

424 ... «*книгой злобы и ненависти!*» — имеется в виду оценка романа И. С. Шмелева «Солнце мертвых» в советской печати, был опубликован ряд отрицательных отзывов, в т.ч. И. Аксенова (Печать и революция. 1923. № 3. С. 256), Н. Смирнова (Красная новь. 1924. № 3. С. 256), А. Воронского (Прожектор. 1925. № 13. С. 21). Отзывы о романе «Солнце мертвых» см. также: Черников А. П. Проза И. С. Шмелева. Калуга, 1985 (библиография).

425 «*Собрашеся архиереи и старцы*...» — перефразировано из Мф. 26, 3—4.

92

Ед. хр. 9. Л. 18, 19. Письмо, рук.

426 ...*отчаянные попытки хоть что-нибудь узнать*... — после ареста Сергея Шмелева (3 декабря 1920 г.) И. С. и О. А. Шмелевы в 1921 — начале 1922 гг. оставались в Крыму. Пытаясь выяснить судьбу сына, Шмелевы ездили в Симферополь и Феодосию. И. С. Шмелев обращался во ВЦИК (к М. И. Калинину и П. Г. Смидовичу, август 1921), к А. В. Луначарскому, писателям В. Я. Брюсову, В. В. Вересаеву, М. Горькому, К. А. Треневу. См.: Волкова Н. Б. «Последний мой крик — спасите!» (Подборка писем И. С. Шмелева к В. В. Вересаеву // Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. 8; Спиридонова Л. А. Трагедия И. С. Шмелева, писателя и человека // Шемелев И. С. Родное. М., 2000. В фонде

ОР РГБ находится документ «Сведения по делу И. С. Шмелева, обратившегося к В. Я. Брюсову с просьбой помочь разыскать сына» (К. 386. Оп. 117. Д. 16), предположительно датируемый 1920 г.

427 *«Марфа и Мария»* — Лк. 10, 38—42.

428 *«Благословенно чрево, носившее Тя...»* — Лк. 11, 27.

429 ...*брак в Кане!* — Ин. 2, 1-11.

430 *Моя «Арина Родионовна»...* — именем няни А. С. Пушкина А. Р. Яковлевой (1758—1828) И. С. Шмелев называл женщину, помогавшую ему дома по хозяйству (Анна Васильевна, «Новгородка»).

431 ...*вроде рыжего Гараньки...* — персонаж рассказа И. С. Шмелева «Небывалый обед».

432 ...*мой Василий Васильевич...* — персонаж романа «Лето Господне» и др. автобиографических произведений И. С. Шмелева.

93

Ед. хр. 9. Л. 24, 25. Письмо, рук.

433 ...*Эмигрантский комитет...* — имеется в виду Комитет взаимопомощи русских эмигрантов во Франции, преобразованный 21 апреля 1942 г. в Управление делами русских эмигрантов.

94

Ед. хр. 9. Л. 32. Почтовая открытка, рук.

95

Ед. хр. 63. Л. 20, 21. Письмо, рук.

434 ...*не по «Лизиным» мотивам, и не по «Тане»...* — подразумеваются героини романов «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева (Лиза Калитина) и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (Татьяна Ларина).

435 *«Жаворонок»* — художественно-иллюстрированный журнал для детей младшего возраста, выходил в Петрограде в 1913—1916 гг., затем в 1918 г. — один номер (№ 7/8), в 1923 г. — четыре номера (№ 1—4).

436 ...*«как похож на Г. К.»*. — упоминается Джордж (Георгий) Кеннан.

96

Ед. хр. 63. Л. 25, 26. Письмо, рук.

437 ...*«Аргентинка»...* — персонаж рассказа И. С. Шмелева «Это было», представляющаяся главному герою воплощением женственности.

438 ...*«стриженую нигилистку-акушерку»...* — персонаж романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

439 ...*«сахарному мужику»*. — аналогия с сюжетом рассказа И. С. Шмелева «Сладкий мужик» (Сладкий мужик. Берлин, 1921).

97

Ед. хр. 9. Л. 38, 39. Письмо, рук.

440 *Эти раздоры...* — речь идет о конфликте между митрополитом Антонием (Храповицким), который возглавлял с 1922 г. Русскую Православную Церковь за границей (РПЦЗ), и митрополитом Евлогием (Георгиевским), в 1921 г. указом Патриарха Московского Тихона назначенным управляющим приходами Русской Православной Церкви в Западной Европе. На Архиерейском Соборе РПЦЗ в июне 1926 г. в Сремски-Карловцы (Югославия) Синод РПЦЗ потребовал, чтобы ему подчинились все церковные иерархи русской эмиграции. От подчинения Синоду РПЦЗ отказались митрополиты Евлогий (Георгиевский) и Платон (Рождественский), которые образовали самостоятельные Западноевропейский и Североамериканский митрополичьи округа.

441 *...подойти от «Фомы»* — т.е. апостола Фомы (Ин. 20, 19—29).

442 *...Женька мой.* — персонаж романа «История любовная». Его прототипом был друг И. С. Шмелева капитан Евгений Евгеньевич Пиуновский (?—1914). См.: Черников А. П. Лики жизни: Калужские страницы творческой биографии И. С. Шмелева. Калуга, 2002. С. 42.

98

Ед. хр. 9. Л. 40, 41. Письмо, рук.

443 *«Свечка»* — рассказ И. С. Шмелева; впервые опубликован: Руль. Январь 1925, № 1248, 1249, 1251, 1252; вошел в сб. «Про одну старуху. Новые рассказы о России» (Париж, 1927).

444 *...«В ударном порядке» (из книги «Про одну старуху»)* — рассказ И. С. Шмелева; впервые опубликован: Перезвоны. 1926. № 9.

445 *...одному поэту...* — вероятно, имеется в виду В. Н. Родионов, которому посвящена газетная публикация «Вербного воскресенья». Стихотворения Родионова были собраны И. С. Шмелевым, впоследствии переданы в Российский Фонд Культуры.

446 *Моя адвокатура.* — после окончания Московского университета (1898) И. С. Шмелев служил полтора года помощником присяжного поверенного.

447 *...в Казенную палату во Владимире на Клязьме.* — И. С. Шмелев поступил в Казенную палату в 1901 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 1. Ед. хр. 16). О службе И. С. Шмелева в Казенной палате см. статью Г. Д. Овчинникова (Отечественные архивы. 2002. № 2. С. 43—47).

99

Ед. хр. 9. Л. 44, 45. Письмо, рук.

448 *Сережин патрон...* — в дальнейшем упоминается как Шумахер.

449 *...отчет от «Издательства S. Fisher» (три книги у него).* — берлинское «Издательство Фишера» опубликовало 3 книги Шмелева — «Солнце мертвых» (1925), «Неупиваемая чаша» (1926), «Человек из ресторана» (1927).

450 *«...паука... сплетшего тенетки свои в чердачном окне — на север...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует роман Г. Флобера «Мадам Бовари», Флобер сравнил с пауком тоску героини («тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца», перевод Н. М. Любимова. — Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1971. Т. 1. С. 93).

451 *«Отче наш» ...«Пресвятая Троица»* — главные православные молитвы. *«Святый Боже...»* — трисвятое.

452 *Ген. Деникин* — Антон Иванович Деникин (1872—1947), генерал-лейтенант Генштаба, участник русско-японской и Первой мировой войн, главнокомандующий Добровольческой армии, с 1920 г. в эмиграции. Друг И. С. Шмелева, ему посвящена статья «Памяти непреклонного» (1947); *...был у меня в Севре...* — имеется в виду февраль 1930 г. (rue Rossignold, 9).

452а *...дар рижской русской гимназии.* — имеется в виду Ломоносовская гимназия в Риге, где И. С. Шмелев выступал осенью 1936 г., читал рассказы «Веселый ветер», «Как я покорил немца».

452б *...шишка с... Валаама.* — подарок В. А. Забуевой. На Валааме Забуевы были в 1935 г.

453 *...семьи Редлих...* — Эрнест (по др. источникам Рудольф) Морицевич Редлих (1858—1924), отставной военный и художник-любитель, и его жена Алиса Федоровна (урожд. Матиссон, 1868—1944), пианистка и преподавательница музыки.

454 *Софья Климова* — Софья Терентьевна Климова (урожд. Теодорович, 1899—1991), родилась в Варшаве в семье настоятеля варшавской церкви во имя св. Марии Магдалины протопресвитера Терентия Теодоровича, после начала Первой мировой войны вместе с отцом переехала в Петроград, в 1917 г. вышла замуж за морского офицера Г. Е. Климова. В 1918 г. с мужем покинула Петроград, после окончания Гражданской войны поселилась в Риге, устроила летний пансион в дачном месте близ латвийской столицы (куда приезжал отдыхать И. А. Ильин, а летом 1936 г. по его рекомендации И. С. Шмелев), после окончания Второй мировой войны жила в Германии, в 1951 г. с мужем переехала в Канаду, где жила в Квебеке и затем до конца жизни в Оттаве (сведения любезно сообщил А. Е. Климов).

455 *...7-ой стих, 15 гл. от Иоанна...* — «Если прибудете во Мне и слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».

456 *...Гл. 16, Марка 1—5 ст.* — явление ангела женам-мироносицам, которые пришли к гробнице Христа («По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти — помазать Его...»).

100

Ед. хр. 10. Л. 1, 2. Письмо, рук.

457 *...Шуберта... Мусоргского.* — перечислены композиторы: Ф. Шуберт (1797—1828), Ф. Шопен (1810—1849), Н. А. Римский-Корса-

ков (1844—1908), М. П. Мусоргский (1839—1881); *...степную тоску в Бородине...* — подразумеваются мотивы оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина (1833—1887).

458 *«...Ты и блаженство, и безнадежность!»* — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1852/1854).

101

Ед. хр. 10. Л. 14, 15. Письмо, рук.

459 *...«Знамением Пресвятой Богородицы»...* — праздник иконы Божией Матери «Знамение», 27 ноября/10 декабря.

460 *...стрельбой по ястребам.* — изложен сюжет автобиографического рассказа «Последний выстрел» (1912).

102

Ед. хр. 10. Л. 20, 21. Письмо, рук.

461 *...друг.* — лицо не установлено.

462 *Гейневский дурак у моря...* — подразумевается герой стихотворения Г. Гейне (1797—1856) «Вопросы» из «Книги песеи» (1827).

463 *...пощем в «Притчах»...* — Притч. 30, 18—20.

464 *«Душечка»* — героиня рассказа А. П. Чехова «Душечка» (1899) Оленька Племянникова.

465 *...1—3 страницы.* — имеется в виду описание портрета Анастасии Ляпуновой в повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 379—381)

103

Ед. хр. 10. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

466 *...управляющий делами русской эмиграции во Франции.* — Ю. С. Жеребков, артист балета, эмигрировал в Германию, в 1942—1944 г. руководил Управлением делами русских эмигрантов во Франции.

467 *«Как я стал писателем»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Сегодня. 1929. 29 сентября. Вошел в сб. Родное. Белград, 1931.

458 *...«средь детей ничтожных мира быть может, всех ничтожней он...»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

459 *Напиши продолжение «жизни»...* — «Повесть жизни» О. А. Бредиус-Субботиной из 7 писем (№ 1, 3, 4, 6 не датированы).

104

Ед. хр. 10. Л. 34. Письмо, машинопись.

470 *...в двух №№.* — И. С. Шмелев не точен. Рассказ был опубликован в трех номерах газеты «Возрождение» (1939. Январь—март. № 4168, 4172, 4173).

471 *Я читал им Лафонтена...* — о чтении Шмелевым басен Жана де Лафонтена (1621—1695) и И. А. Крылова (1769—1844) сохрани-

лись воспоминания И. Жантийома-Кутырина (Венок Шмелеву. М., 2001. С. 42).

472 *Пели и «Казанскую»...* — русская народная песня.

473 *«Вечерний звон»* — романс на стихотворение ирландского поэта Томаса Мура (перевод И. И. Козлова).

105

Ед. хр. 64. Л. 6, 7. Письмо, рук.

474 *...какие такие «Lampchen»...* — О. А. Бредиус-Субботина иронизирует иад непрофессионализмом немецкого перевода («лампадки» переведено «лампы»).

106

Ед. хр. 64. Л. 11, 12. Письмо, рук.

475 *...называла тебя так, как Дари Диму в метели...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду эпизод из главы XXV «Прелесть» романа «Пути небесные»: «Что он шептал ей — не помнила. Что ему шептала, о б е щ а л а... — не помнила».

476 *«алчущие исполни благ и богатящимся отпусти тщи»* — Лк. 1, 53.

477 *«Во дни оны восставше Мариам...»* — Лк. 1, 39.

477а *...о Савве Освященном...* — основатель монастыря у Иордана (V в.). День памяти 5/18 декабря.

478 *...король Александр I...* — Александр I Карагеоргиевич (1888—1934), король Югославии в 1921—1934 гг. Покровительствовал русским эмигрантам, в 1928 г. в Белграде поддержал проведение съезда русских писателей. И. С. Шмелев посвятил Александру I роман «Богомолье» и статью «Ты победил, Галилеянин» (1934), называл его королем-рыцарем (См.: Сорокина О. Н. Московиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 192—196).

479 *«Свет Разума»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1927. 7 января; отд. изд.: Свет Разума. Париж, 1928.

480 *...пудренницу-реликвию...* — пудренница О. А. Шмелевой, присланная И. С. Шмелевым О. А. Бредиус-Субботиной в память о жене.

107

Ед. хр. 10. Л. 42, 43. Письмо, машинопись.

481 *...мадмуазель де Хааз... переводили для... старинной газеты...* — переводчицы произведений И. С. Шмелева на голландский язык, в их переводе рассказ Шмелева «Мери» напечатан в газете «Nieuwe Rotterdamsche courant» 12—14 ноября 1934 г.

108

Ед. хр. 10. Л. 49, 50. Письмо, машинопись.

482 *«Спас Черный»* — замысел не осуществлеи.

725

483 «*Солдаты*» — незавершенный роман И. С. Шмелева, первые главы опубликованы в журнале «Современные Записки» (1930. № 41, 42).

484 ...*рассказ Димы о метели*... — в романе «Пути небесные» (Ч. 1. Гл. XVI) Дмитрий Вагаев спасается от смерти во время метели, услышав колокольный звон (благовест) из монастыря во имя преподобного Димитрия Прилуцкого; ...*святой Димы*... — т.е. патрональный святой Дмитрия Вагаева преп. Димитрий Прилуцкий (ум. 1391), основатель Никольской обители на берегу Плещеева озера (Переславль-Залесский) и монастыря около Вологды.

484a «*На морском берегу*» — сб. рассказов И. С. Шмелева «На морском берегу. Из воспоминаний моего приятеля». Белград, 1930 (переиздание одноименного сборника, 1913).

109

Ед. хр. 63. Л. 42—44. Письмо, рук.

485 ...*священник*... — далее упоминается как о. Диодор, иеромонах, служил в русской церкви в Тегеле, затем жил на Валааме.

486 ...*явился на русскую «Татьяну»*... — 12/25 января, день памяти мученицы Татианы, которая считалась небесной покровительницей Московского университета и студентов. О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду студенческий бал в Русском институте в Берлине.

110

Ед. хр. 63. Л. 48, 49. Письмо, рук.

487 *Frl. Sch.* — старшая лаборантка, упоминавшаяся ранее.

488 ...*я познакомилась с одним врачом.* — в последующих письмах О. А. Бредиус-Субботина называет его Дмитрий Михайлович («Микита», «№ 3»).

489 ...*Св. Антоний?* — Антоний Великий (ок. 251 — ок. 356), христианский святой, пустынножитель. О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду борьбу с искушениями, описанную в «Житии Антония Великого».

111

Ед. хр. 64. Л. 17, 18. Письмо, рук.

490 ...*что-то от Нечаева*... — С. Г. Нечаев (1847—1882), организатор революционного общества «Народная расправа», прототип Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» (1870—1871).

491 *Tegeruse* — курорт в Германии.

492 ...*Дашин крестик на груди*...— героиня романа «Пути небесные» в борьбе с искушениями выжгла у сердца знак Креста (Гл. XIV «Злое обстояние»).

493 *Шаляпин* — Федор Иванович Шаляпин (1873—1938), русский певец, дебютировал в 1895 г. (в опере Ш. Гуно «Фауст»), солист Большого и Мариинского театров, с 1922 г. в эмиграции, жил в

Париже, с 1930 г. солист парижской «Русской оперы», исполнитель романсов и русских народных песен.

494 *Собинов* — Леонид Витальевич Собинов (1872—1934), русский оперный певец и исполнитель романсов, с 1897 г. выступал в Большом театре, с 1917 г. директор Большого театра.

495 *Неждановa* — Антонина Васильевна Нежданова (1873—1950), оперная певица, училась в Московской консерватории, с 1902 г. пела в Большом театре, с 1936 г. народная артистка СССР.

496 «*...и умереть у милых ног!*» — этот отрывок не вошел в окончательный вариант романа. См. письмо А. С. Пушкина к М. П. Погодину [август] 1830 г. (Собр. соч.: В 10 т. М., 1977. Т. 10. С. 247).

112

Ед. хр. 64. Л. 22, 23. Письмо, рук.

113

Ед. хр. 64. Л. 27, 28. Письмо, рук.

497 *...Чехова много...* — впоследствии, работая в посольстве США в СССР, Д. Кеннан продолжил изучение творчества А. П. Чехова. Согласно дневниковым записям Е. С. Булгаковой 18 апреля 1936 г. он был в гостях у М. А. Булгакова, с которым говорил о Чехове и русской литературе. М. А. Булгаков подарил Д. Кеннану находящиеся у него архивные материалы А. П. Чехова. См.: Булгаков М. А., Булгакова Е. С. Дневник Мастера и Маргариты. М., 2001. С. 245.

498 *Отношения его сородичей с бабушкиным домом...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду дипломатическую карьеру Д. Кеннана в СССР, успеху которой воспрепятствовал бы брак с русской эмигранткой.

499 *...с Володей...* — лицо не установлено.

500 *В старой России был известен его дядя.* — американский журналист Джордж Кеннан (1845—1924), автор книги «Сибирь и ссылка» (1906).

114

Ед. хр. 64. Л. 32, 33. Письмо, рук.

501 *На Бригитту Хельм.* — известная немецкая актриса 1920—1930-х гг. (снималась в «Метрополе» Ф. Ланга и многих других фильмах).

115

Ед. хр. 65. Л. 1, 2. Письмо, рук.

502 *...дочери священника...* — В. А. Розанова.

503 *...Юрий...* — Юрий Федорович Енакиев, муж Елизаветы Бредиус, полковник Добровольческой армии.

504 *...слова Христа о книжниках и фарисеях...* — Мф. 23, 1—3.

505 «*легче пройти верблюду сквозь игольные уши...*» — Мф. 19, 24.

506 *...уехала к дочке с Юрием.* — здесь идет речь о Елизавете Бредиус и ее муже.

116

Ед. хр. 65. Л. 6. Почтовая открытка, рук.

507 *...Соборное Послание апостола Иакова, гл. I, ст. 10—12...* — «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый — унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его».

117

Ед. хр. 65. Л. 8. Письмо, рук.

508 *...на маленьком фото в Ужгороде.* — 4(?) июня 1937 г. И. С. Шмелев приехал в Ужгород по приглашению организационного комитета по праздноваиию Дня русской культуры (см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 1994. С. 265—266). Упомянутая в письме фотография хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 117), на ее обороте надпись Шмелева: «Снято на Подкарпатской Руси в 1937 г. июнь. В Ужгороде. Я — в светлом, слева» и два пояснения — «после речи в микро [т.е. в микрофон], отдыхаю» и «ленточка — «День Русской культуры»» [на лацкане пиджака у Шмелева светлая лента]. В том же деле фотография, на которой, кроме Шмелева и городского головы, сидят еще трое; на обороте надпись Шмелева: «Ужгород, 37 г. Талаит[ливый] пис[атель] Вас[илий] Федоров. Аз [т.е. Шмелев]. Жена Фед[орова]. Гор[одской] гол[ова] Ужгор[ода] Сова. Сенатор какой-то, карпаторосс. «День Рус[ской] Культуры» только что говорил в micro, и с балкона и б[ыла] толпа на речи чел[овек] тыс[яч] 15. И. Ш.».

118

Ед. хр. 65. Л. 17, 18. Письмо, рук.

509 *...смоковницей, той, которую Христос проклял?!* — Мф. 21, 19; Мк. 11, 13—14.

119

Ед. хр. 65. Л. 22, 23. Письмо, рук.

510 *...пропели «Звезду» — «Рождество»...* — рождественский тропарь («Рождество Твое, Христе Боже наш...»).

511 *...книжка-некролог* о *папе.* — [Писарев Н. Н.] А. А. Субботин. Казань, 1914. Писарев Николай Николаевич (1876—1920), священник, выпускник Казанской духовной академии, в 1904 г. защитил магистерскую диссертацию «Домашний быт русских Патриархов» (Казань, 1904), затем доцент Академии по кафедре общей древней гражданской истории.

512 *Мамин отец...* — протоиерей Александр Михайлович Груздев (ум. 1916), служивший в с. Баран Костромской губернии. См.: Красноцветов Г. П. Как была обнаружена переписка И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 278.

120

Ед. хр. 65. Л. 27, 28. Письмо, рук.

513 *...называла «Поликратом».* — имеется в виду правитель о. Самос (умер в 523/522 г. до н. э.), покровитель наук и искусств, был необыкновенно удачлив в жизни.

121

Ед. хр. 65. Л. 32. Открытка, рук.

122

Ед. хр. 65. Л. 34, 35. Письмо, рук.

514 *«На морском берегу»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Родник. 1910. № 3.

515 *В сочельник...* — 24 декабря/6 января, канун Рождества Христова.

516 *...на литургию 6-го...* — И. С. Шмелев в ответе на письмо высказал предположение, что О. А. Бредиус-Субботина посмотрела Евангелие от Марка с ответом Христа фарисеям о разводе (Мк. 10, 12).

123

Ед. хр. 10. Л. 55. Открытка, рук.

124

Ед. хр. 11. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

517 *«Лик скрытый»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Слово, 1919, отд. изд.: Лик скрытый. Рассказы 1915—1916. М., 1917.

518 *«Твоя от Твоих»* — в Православной Церкви возглас священника, предваряющего освящение даров при совершении литургии.

519 *...как у Марии Египетской...* — святая VI в. (память 1/14 апреля), согласно житию была блудницей, обратилась в христианство, затем более 40 лет жила в пустыне; в христианской традиции является одним из наиболее ярких примеров аскетизма.

520 *Варвара Мученица* — святая великомученица (память 4/17 декабря), пострадала в финикийском городе Гелионе около 306 г.

521 *...Гаазом...* — Федор Петрович (Фридрих-Иосиф) Гааз (1780—1853), московский врач, занимался благотворительной деятельностью, работал в тюремных больницах.

522 *...монографию академик Кони.* — А. Ф. Кони Ф. П. Гааз. Биографический очерк. СПб., 1897. 5-е изд. М., 1914. Об А. Ф. Кони см. примечание 392 к письму № 84.

523 *«Что затуманилась зоренька ясная...»* — русская народная песня.

125

Ед. хр. 11. Л. 7, 8. Письмо, машинопись.

524 *...распевавшееся с а м и м для матерых чекистов...* — Ф. И. Шаляпин неоднократно исполнял «Дубинушку» перед лидерами РКП(б). В «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» упоминаются концерт памяти К. Маркса, организованный РСДРП 21 апреля 1918 г., а также концерт в Большом театре для делегатов VII Всероссийского Съезда Советов 10 декабря 1919 г., на котором присутствовали лидеры партии. См.: Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина / Сост. Ю. Ф. Котляров, В. И. Гармаш. Л., 1985. С. 128, 146.

525 *...Л. Андреева.* — Леонид Николаевич Андреев (1871—1919), русский писатель и драматург. С 1901 г. печатался в издательстве «Знание» (сборник «Рассказы», 1901), участвовал в литературных «средах» Н. Д. Телешова (в кружке принимал участие И. С. Шмелев), с 1907 г. редактор и автор альманахов издательства «Шиповник», рецензировал книгу И. С. Шмелева «Суровые дни» (Русская воля. 1917. 9 января), переписывался с ним. См.: Вильчинский В. П. Л. Андреев и И. Шмелев // Русская литература. 1971. № 4.

526 *...святого* о. *Александра...* — Шмелев так называет А. А. Субботина, отца О. А. Бредиус-Субботиной.

527 *...Бортнянского...* — Дмитрий Степанович Бортнянский (1751—1825), русский композитор, с 1796 г. управляющий придворной певческой капеллы, автор хоровых духовных композиций, в т.ч. семи Херувимских.

528 *«Боже Царя храни»* — государственный гимн Российской империи (музыка Ф. П. Львова, слова В. А. Жуковского, 1834).

126

Ед хр. 11. Л. 29, 30. Письмо, машинопись.

529 *...тяжко больной...* — имеется в виду Семен Эзрович Дуван, городской голова Евпатории (см.: Дуван С. Э. «Я люблю Евпаторию...»: Слово и дело городского головы. Евпатория, 1996).

530 *...военный агент России...* — Дмитрий Иванович Ознобишин, почитатель творчества Шмелева, генерал, заместитель военного атташе в Париже, известный библиофил.

531 *...моя «нянька»...* — главная героиня романа И. С. Шмелева «Няня из Москвы».

532 *«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»* — стихотворение А. С. Пушкина (1831).

533 *...бунтовало от... Золя.* — Эмиль Золя (1840—1902), французский писатель. В произведениях Золя использован натуралистический метод изображения действительности, поэтому иекоторые романы («Нана», «Тереза Ракен», «Жерминаль» и др.) на рубеже XIX—XX вв. имели скандальную репутацию.

127

Ед. хр. 11. Л. 39. Письмо, машинопись.

534 *Доктор...* — С. М. Серов.

535 *...Пимена с Григорием...* — сцена в Чудовом монастыре (А. С. Пушкин «Борис Годунов»).

536 *...философия полковника Шеметова...* — рассуждения Шеметова о законе Великих Весов в рассказе «Лик скрытый»: «На этих Великих Весах учитывается и писк умирающего какого-нибудь самоедского ребенка, и мертвая жалоба обиженного китайца, и слезы нищей старухи» (Шмелев И. С. Собр. Соч. Т. 1. С. 345—346).

128

Ед. хр. 11. Л. 42, 43. Письмо, машинопись.

537 *...управляющим делами русской эмиграции во Франции...* — имеется в виду Ю. С. Жеребков.

129

Ед. хр. 11. Л. 48. Письмо, машинопись.

538 *...получил... «общее»-привет...* — имеется в виду почтовая открытка, датированная 1 января 1942: «Дорогой Иван Сергеевич! В мыслях с Вами встречали Новый Год и первые глотки вина были и за ваше здоровье и за все, все доброе для Вас. Жаль, как мало бережем и храним мы такие чистые немногие светильники, как Вы. Да будет благословен для Вас наступивший год! Сердечно ваша А. Овчинникова / К Новому году шлю Вам, многоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич, мои самые сердечные пожелания всего хорошего. Искренне Вам преданный С. Субботин / Все, что не выскажешь словами, что у меня сейчас на сердце и в душе — знаю — поймется и без слов созвучной мне душой! О.» Письма А. А. Овчинниковой к И. С. Шмелеву находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 97. Л. 1—11).

539 *«Филипповки», «Радуница», «Ледяной дом», «Говенье», «Вербное воскресенье»* — главы из романа И. С. Шмелева «Лето Господне». Впервые опубликованы: Возрождение. 1938. Янв.—апрель.

540 *«Светлый день»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован (под названием «Пасха»): Сегодня. 1932. 1 мая.

541 *«Виноград»* — здесь имеется в виду рассказ И. С. Шмелева 1936 г. Впервые опубликован: Иллюстрированная Россия. 1936. 20 июня.

542 *«На святой»... «Рождество»...* — главы из романа И. С. Шмелева «Лето Господне». Вперые опубликованы: Возрождение. 1939. 7 апр.; 1940. 5 янв.

543 *«Егорьев день»* — глава из романа И. С. Шмелева «Лето Господне» (посв. Н. И. Кульман). Впервые опубликована: Возрождение. 1939. 16 июня.

544 *«Крестопоклонная»* — глава из романа И. С. Шмелева «Лето Господне». Впервые опубликована: Возрождение. 1939. 24 марта.

545 *«Свет вечный»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1937. 1 мая; отд. изд.: Свет вечный. Париж, 1968.

546 *«Лампадочка»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Иллюстрированная Россия. 1937. 16 января; *«Покров»* — глава из романа «Лето Господне». Впервые: Возрождение. 1937. 9 января.

547 *«Глас в нощи»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Возрождение. 1937. 27 марта.

548 *...фурор в Праге!* — 13 мая 1937 г. в Праге в зале городской библиотеки И. С. Шмелев прочитал доклад «О Пушкине. Заветная встреча» на Дне русской культуры, посвященном столетию со дня смерти А. С. Пушкина.

549 *«Каменный век»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Современные записки. 1925. Кн. 25.

550 *«Чертов балаган»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1926. 28 декабря.

551 *«Панорама»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые: Возрождение. 1928. 7 октября.

552 *«Иностранец»* — незавершенный роман И. С Шмелева, впервые опубликован: Русские Записки. 1938. № 4—5.

552а *«В тумане»* — имеется в виду рассказ «Туман». Впервые опубликован: Возрождение. 1938. 3 апреля.

553 *Морозовы* — российская промышленная династия, известна с начала XIX в., основатель династии Савва Васильевич Морозов (1770—1860) происходил из села Зуево Богородского уезда Московской губернии (рядом с так называемой «Гуслицкой волостью», местом массового проживания старообрядцев под Москвой), основу промышленной деятельности Морозовых составляли мануфактуры и ткацкие фабрики (в Орехово-Зуево, Богородске, около Твери и во Владимирской губернии). О родстве с Морозовыми Шмелев писал также П. Е. Ковалевскому 30 декабря 1943 г. (Ковалевский П. Зарубежные писатели о самих себе // Возрождение. 1957. № 70) и в ответе на анкету (ОР ГЛМ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 366).

554 *...через прабабку Устинью...* — Шмелев упоминает свою прабабушку Устинью Васильевну (урожд. Зиновьеву), жену Ивана Ивановича Шмелева (Грико Т. И. История семьи Шмелевых // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 333).

555 *...Лешковской!* — Елена Константиновна Лешковская (1864—1925), в 1888—1920 гг. актриса московского Малого театра, исполнительница комедийных ролей.

556 *...Шпажинского.* — Ипполит Васильевич Шпажинский (1848—917), русский драматург, его пьеса «В старые годы» поставлена в Малом театре в 1888 г.

557 *...написал о современных писателях...* — Шмелев имеет в виду работу И. А. Ильина «О тьме и просветлении. Книга художественной критики», с которой знаком по переписке с философом (см. письма И. А. Ильина к И. С. Шмелеву от 8.12.1935 и 13.10.1938: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2.

С. 116, 244—245). Работа над рукописью была завершена в 1939 г., однако книга была опубликована только после смерти автора (Мюнхен, 1959). Оценка И. С. Шмелевым книги изложена также в его письме к И. А. Ильину от 4.09.1946 (Там же. Т. 2. С. 442—443).

558 *«Атлантида»* — книга Д. С. Мережковского «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (1930).

559 *Обо мне читал в Берлине, две лекции.* — в Русском научном институте (Берлин) И. А. Ильин прочел цикл лекций о русских писателях: в 1930—1931 гг. на немецком, в 1934 — на русском языках.

130

Ед. хр. 11. Л. 51, 52. Письмо, машинопись.

560 *«Ты, волна...»* — имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «Ты, волна моя морская...» (1852).

561 *«невольно к этим грустным берегам...»* — из драмы А. С. Пушкина «Русалка» (1829—1832, опубл. 1837), ария князя из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» (1855). *«Мечтам и годам нет возврата...»* — ария Онегина из оперы П. И. Чайковского (1878).

562 *Саввы Звенигородского монастырь...* — Звенигородский Саввин Сторожевский мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, основан около 1380 г. учеником преп. Сергия Радонежского преп. Саввой Сторожевским, Звенигородским (ум. ок. 1406).

563 *«Мороз и солнце; день чудесный!»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

564 *...Аитов...* — Владимир Давидович Аитов, сын бывшего русского консула в Париже Д. А. Аитова, врач, лечил русских эмигрантов, в том числе О. А. Шмелеву.

565 *...предположительной поездкой за границу...* — в 1936 г. Шмелевы были приглашены Р. Г. Земмеринг посетить Ригу. И. С. Шмелев планировал провести в Прибалтике 25 литературных выступлений, организационную сторону которых взял на себя И. А. Ильин. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 1994. С. 259.

566 *...Лауренс...* — Девид Герберт Лоренс (Lawrence, 1885—1930), английский писатель, автор романа «Любовник леди Чаттерлей» («Lady Chatterley's Lover»), имевшего репутацию порнографического произведения (перевод на рус. язык — Лоренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Перевод Татьяны Лещенко. Берлин, 1932).

567 *...врачу уездному в Миленске...* — имеется в виду Константин Ютов, персонаж романа «Пути небесные».

131

Ед. хр. 12. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

568 *...не сомневается ли сам писатель...* — в отзыве о рассказе «Куликово поле» И. А. Ильин высказал мнение, что в произведении Шмелева выражены сомнения самого автора в отношении чудес-

ного явления преп. Сергия Радонежского (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 261—262).

132

Ед. хр. 12. Л. 10—12. Письмо, машинопись.

569 *Мои российские книги...* — имеются в виду книги, изданные до 1917 г., оставшиеся в Москве после эмиграции писателя. Судьба библиотеки И. С. Шмелева не известна.

570 *...как пролила Дари святую воду...* — глава XXVIII «Вразумление» из романа «Пути небесные».

571 *«Гаудеамус игитур!»* — средневековая студенческая песня (Gaudeamus igitur — в переводе с лат. «Радуйтесь, молодые!»).

572 *...у водосвятия.* — освящение воды является особенностью православного праздника Крещения Господня (6/19 января).

572а *«Оракул»* — упоминается «Астролог, или Новый Оракул и верный имянаугадник, подлинно узнающий, кто кого любит и предсказывающим, кто о ком думает. Сочиненный И. С.» Тип. Решетникова, 1808.

573 *...от Луки, II глава, стихи 1—20.* — явление пастухам Ангела, возвестившего рождение Спасителя.

574 *Не проповедь ли Иоанна?* — Лк. 3, 1—18; читается в православных храмах накануне Крещения Господня.

575 *«Похвала Пресвятой Богородице»* — акафист Божией Матери.

576 *«Величит Душа моя Господа...»* — начало «Песни Богородицы» перед девятой частью канона всенощной службы.

577 *...Марка 10. 2—12.* — ответ Христа фарисеям о разводе.

578 *«...право развода»...* — неточная цитата, в Евангелии: «Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться / Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь» (Мк. 10, 4—5).

579 *«Ночной зефир струит эфир...»* — романс А. Н. Верстовского на одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1824).

580 *...образованная дама, — ее дочь — литературный критик.* — сведений об этих лицах нет.

133

Ед. хр. 65. Л. 39. Почтовая открытка, рук.

134

Ед. хр. 65. Л. 41, 42. Письмо, рук.

135

Ед. хр. 65. Л. 51, 52. Письмо, рук.

136

Ед. хр. 66. Л. 27, 28. Письмо, рук.

137

Ед. хр. 12. Л. 15, 16. Письмо, машинопись.

138

Ед. хр. 12. Л. 20, 21. Письмо, машинопись.

581 *«Покаяние отверзи ми двери Жизнодавче»* — начало покаянного великопостного песнопения, которое поют на всенощном бдении, начиная с Недели (воскресенья) о мытаре и фарисее.

139

Ед. хр. 12. Л. 39—41. Письмо, машинопись.

582 *...поступила бы, как Христос в отношении томлений Фомы...* — Ин. 20, 27.

583 *«Мертвые души»* — поэма Н. В. Гоголя (1842).

584 *...из мира идей, Платоновского мира...* — по учению древнегреческого философа Платона (427—347 до н. э.) мир идей является истинным бытием, «идеи» (или «виды») для материальных вещей служат идеальными образцами, вечными праобразами, не зависимыми от пространства и времени.

585 *«Напишу тебя... и — бу-дешь!»* — слова Ильи из повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша».

140

Ед. хр. 12. Л. 45, 46. Письмо, машинопись.

141

Ед. хр. 12. Л. 55, 56. Письмо, машинопись.

586 *...бываю порой с л е п ц о м.* — аллюзия на Ин. 9, 1—38.

587 *...мой «путь писателя».* — в июне 1907 г. Шмелев ушел в отставку в чине коллежского асессора из Казенной палаты во Владимире.

587а *«...гостил у нас на даче...»* — в селе Оболенском Малоярославского уезда Калужской губ.

588 *«Суровые дни»* — сборник очерков И. С. Шмелева (М., 1916), впервые опубликован в журнале «Северные записки» (1914—1916).

589 *...сестре Катюше...* — Екатерина Сергеевна Шмелева, младшая из трех сестер И. С. Шмелева.

142

Ед. хр. 13. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

590 *«мысль изреченная — есть ложь»* — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Selentium» (1830).

591 *...отец и дед Оли были герои Севастопольской войны...* — в Крымской войне (1853—1856) участвовали дед О. А. Шмелевой генерал-майор Александр Романович Охтерлони (?—1860) и ее отец штабс-капитан Александр Александрович Охтерлони (1830—

1893). См.: Ни Е. А. Предки и родственники О. А. Шмелевой, урожденной Охтерлони // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 324—328.

592 ...*Лессинга?* — Г. Э. Лессинг (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства («Лаокоон», 1766), литературный критик, основоположник немецкой классической литературы.

143

Ед. хр. 13. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

593 «*Голубь в Свете, Лучезарный*» — образ Святого Духа (Мат. 3, 16; Мар. 1, 10; Лк. 3, 22).

594 «*в священном ужасе*» — из стихотворения А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830)

595 «*ресторан Жизни*» — имеется в виду повесть И. С Шмелева «Человек из ресторана» (1911).

596 ...*у мефимонов*... — великое повечерие с чтением канона святого Андрея Критского, совершается в первую неделю Великого поста. Во время службы звучит песнопение «С нами Бог», народный вариант названия службы «Ефимоны» стал заглавием одной из глав книги И. С. Шмелева «Лето Господне».

597 ...*ма-ленькие этюдики, в страничку — обо в с е м*... — замысел реализован И. А. Ильиным в книгах «Я вглядываюсь в жизнь» (Берлин, 1938) и «Поющее сердце» (Мюнхен, 1958).

598 ...*дал такие бега*... — главы XII—XIII в романе «Пути Небесные».

599 *Так говорил В. О. Ключевский.* — в записной книжке (1890-е гг.) русский историк В. О. Ключевский (1841—1911) писал о Л. Н. Толстом: «Разница между Толстым и Мопассаном: второй потерял ум, не подозревая его в себе; первый вечно искал своего ума и не мог найти его» (Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 401).

144

Ед. хр. 13. Л. 39, 40. Письмо, машинопись.

600 «*На паях*» — пьеса И. С. Шмелева, премьера состоялась 22 января 1915 г. на сцене Московского драматического театра П. В. Суходольского (см. рецензии: Рампа и жизнь. 1915. № 5. 1 февраля; Русские ведомости. 1915. 23 января).

601 *кн. А. Н. Волконский* — Александр Николаевич Волконский (?—1942), офицер-артиллерист, бывший помещик. Шмелев называл его «лучшим человеком в Парижской эмиграции» и «святым» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 94).

602 ...*письмо Вел. Князя Владимира*... — Владимир Кириллович (1917—1992), сын великого князя Кирилла Владимировича, с 1938 г. глава дома Романовых в эмиграции.

603 ...*шлет искренний привет*... — в 1942 г., прочитав роман И. С. Шмелева «Богомолье», великий князь Владимир Кириллович послал И. С. Шмелеву свою фотографию с дарственной надписью «И. С. Шмелеву — глубоко русскому писателю».

604 *«...утраченного дня?..»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830).

605 *«мой друг, сюда, сюда!»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Заклинание» (1830).

606 *«Кто к чему приставлен»* — слова Григория Петровича Цыбукина из рассказа А. П. Чехова «В овраге» (1900).

607 *«волхвы придут, большие... Нам не видеть»* — слова профессора из рассказа «На пеньках» (1925).

608 *...капитан Лукин...* — Александр Павлович Лукин (?—1946), капитан II ранга, в 1904 г. окончил Морской корпус, до эмиграции служил офицером в Севастополе, автор двухтомника «Флот» (Париж, 1934).

608а *«Звали меня... "неистовым"»*. — А. С. Серафимович в письме к А. Кипену от 12 апреля 1915 г. назвал И. С. Шмелева «неистовым Роландом» (Серафимович А. С. Собр. соч.: В 7 т. М., 1960. Т. 7. С. 497, 498).

609 *...через Евлогия...* — Евлогий (Георгиевский, 1868—1946), с 1905 г. епископ Холмский, в 1919 г. эмигрировал, с 1921 г. управляющий православными приходами в Западной Европе, с 1922 г. митрополит, с января 1923 г. жил в Париже, в 1930 г. за участие в молебне о страждущей Русской Церкви был уволен митрополитом Сергием (Страгородским), затем перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, в 1945 г. воссоединился с Русской Православной Церковью (Московский Патриархат), автор книги воспоминаний «Путь моей жизни» (Париж, 1947).

145

Ед. хр. 66. Л. 34, 35. Письмо, рук.

146

Ед. хр. 66. Л. 45. Письмо, рук.

610 *...кроме своей земли родной.* — О. А. Бредиус-Субботина не точна: В. И. Немирович-Данченко много писал о России: о Русском Севере — «Соловки» (1875), «Наши монастыри» (5 изд. 1904), «Крестьянское царство» (о Валааме, 1882); об Урале — «Кама и Урал» (1890); о Поволжье — «По Волге» (1877) и «Великая река» (1902).

611 *...хвалы и Голландии...* — подразумевается книга В. И. Немировича-Данченко «По Германии и Голландии» (1893).

612 *«Голландско-французский прохвост»* — имеется в виду Георг-Карл Дантес (д'Антес, 1812—1895).

612а *«...белые ментики...»* — форма Гвардейского гусарского полка.

147

Ед. хр. 14. Л. 24, 25. Письмо, машинопись.

613 *...не даждь ми...* — И. А. Шмелев не точен, цитируется молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...».

614 *«числом поболее, ценою подешевле»* — реплика Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

148

Ед. хр. 14. Л. 30, 34. Почтовая открытка, рук.

149

Ед. хр. 14. Л. 35, 36. Письмо, машинопись.

615 *«бессмертья, может быть, залог»* — из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830), песня Вальсингама.

616 *...как каялся мытарь.* — Лк. 18, 10—14.

617 *«Милости хочу, а не жертвы»* — Мф. 9, 13; 12, 7.

150

Ед. хр. 14. Л. 43, 44. Письмо, машинопись.

618 *«Дасс Ферборгене Антлитц»* — немецкое название рассказа И. С. Шмелева «Лик скрытый».

619 *«Дасс эвигэ Лихьт»* — немецкое название рассказа И. С. Шмелева «Свет вечный».

620 *«Ди-и Зоннэ дер Тоттен»... «Киндерфрау»* — перечислены восемь книг Шмелева, опубликованные на нем. языке («Солнце мертвых», «Человек из ресторана», «Неупиваемая Чаша», «История любовная», «Рассказ бывалого человека», «Мери» (в ней «Мой Марс» и «Полочка»), «Свет разума», «Няня из Москвы»).

621 *«Валльфарт ан Бротт»* — немецкое название рассказа «Про одну старуху».

622 *«Ан дэн Баумстюмпфен»* — немецкое название рассказа «На пеньках».

623 *«Диэзес вар»* — немецкое название рассказа «Это было».

624 *...Эрнста Вихерта...* — Эрнст Вихерт (1887—1950), немецкий прозаик и литературный критик, автор романов «Майорша», «Простая жизнь» и др. произведений, в 30-е годы протестовал против нацистского режима, в 1938 г. арестован, находился в лагере Бухенвальд. Друг и корреспондент И. С. Шмелева, автор ряда статей о нем.

625 *«Über Iwan Schmeliow»* — статья Э. Вихерта «Об Иване Шмелеве» (Eckart. 1933. № 10).

626 *«Профет дер Кризэ»* («Prophet der Krise») — статья И. А. Ильина о И. С. Шмелеве «Предвестник кризиса» (Eckart. 1932. № 7—8).

627 *...ученая работа обо мне... Михаэль Ашенбреннэр...* — Aschenbrenner Michael. Jwan Schmeljow: Leben und Schaffen des grossen russischen Schriftellers — Königsberg / Pr., Berlin: Ost-Europa-Verl., 1937. Книга диссертанта Кенигсбергского университета Михаила Ашенбреннера, который в 1935 г. обратился к И. С. Шмелеву с просьбой предоставить ему биографические сведения и др. материалы для работы.

628 *...караимочка...* — Елизавета Семеновна Гелелович (урожд. Дуван, 1901—?), жена Сулеймана Ильича Гелеловича, владевшего

в Париже «русским магазином». С. И. и Е. С. Гелеловичи жили недалеко от ул. Буало, 91 (последний парижский адрес Шмелева), в соседнем квартале, на ул. Микеланджело, 106.

629 *«Прозерпина»* — стихотворение А. С. Пушкина (1824).

630 *...гордая жена...* — Елизавета Ксавериевна Воронцова (урожд. графиня Браницкая), жена новороссийского генерал-губернатора Михаила Семеиовича Воронцова (1782—1856).

631 *...«упек»... в ссылку...* — М. С. Воронцов составлял доклады министру иностранных дел о вольнодумстве и атеизме А. С. Пушкина. В 1824 г. Пушкин был выслан в село Михайловское.

632 *«легкие, как сон»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

633 *Томас Манн* — немецкий писатель (1875—1955), лауреат Нобелевской премии (1929), весной 1924 г. познакомился со Шмелевым в Париже (см. переписку Т. Манна и И. С. Шмелева: Мосты. 1962. № 9. С. 317—324). Т. Манн номинировал кандидатуру И. С. Шмелева на получение Нобелевской премии. См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 1994. С. 224—228; Марченко Т. В. Иван Шмелев и Нобелевская премия // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 163—171.

634 *«Слава в вышних Богу...»* — Лк. 2, 14; входит в ряд рождественских песнопений, служит началом Великого славословия на всенощном бдении.

151

Ед. хр. 66. Л. 50. Письмо, рук.

152

Ед. хр. 67. Л. 1. Письмо, рук.

153

Ед. хр. 67. Л. 14, 15. Письмо, рук.

154

Ед. хр. 67. Л. 19, 20. Письмо, рук.

635 *«да будет Воля Твоя»* — Мф. 6, 10.

155

Ед. хр. 67. Л. 29. Письмо, рук.

636 *...лекция И. А. о тебе...* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду цикл лекций И. А. Ильина «Россия в русской поэзии», прочитанный в Берлине в 1935—1936 гг.

156

Ед. хр. 14. Л. 53, 54. Письмо, машинопись.

637 *«Последний выстрел»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: В новую жизнь. № 10—11. Отд. изд.: Последний выстрел. Рассказ. М., 1912.

638 *Ризнич* — Амалия Ризнич (1803—1825), с ней А. С. Пушкин познакомился в июле 1823 г. в Одессе, на ее смерть написал стихотворение «Под небом голубым страны своей родной...» (1826).

639 *...эту мысль... высказал Гришка...* — из главы XII романа «История любовная».

157

Ед. хр. 15. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

640 *...«оставьте мертвым погребать своих мертвецов»*. — Мф. 8.22; *«Духа не угашайте»* — 1 Фес. 5, 19.

641 *...не отнимется от тебя...* — Лк. 10, 42.

158

Ед. хр. 15. Л. 9, 10. Письмо, рук. (четвертая страница), машинопись.

642 *...«художественную задачу»...* — И. С. Шмелев пользуется термином из эстетики И. А. Ильина. Ильин отдельно выделял в литературном произведении сюжет и художественную задачу (т.е. интенцию произведения, намерение автора). Более подробно см.: Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 51—182).

643 *...Анатоль Франс... Шиллере...* — перечислены писатели: А. Франс (Анатоль Тибо, 1844—1924), Оноре де Бальзак (1799—1850), Стендаль (Анри-Мари Бейль, 1783—1842), Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848), Альфонс Доде (1840—1897), Виктор Гюго (1802—1885), Чарльз Диккенс (1812—1870), Фридрих Шиллер (1759—1805).

644 *«Монастырь на Казбеке»* — стихотворение А. С. Пушкина (1829).

645 *«Умнейший в России»...* — слова императора Николая I после аудиенции с А. С. Пушкиным в 1826 г. («я говорил с умнейшим человеком России»).

646 *...Достоевский, стоявший перед смертью на «казни»...* — в 1849 г. Ф. М. Достоевский был арестован как участник общества М. В. Буташевича-Петрашевского и приговорен к расстрелу, 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу ожидал исполнения приговора, по резолюции Николая I казнь была заменена четырехлетней каторгой.

159

Ед. хр. 15. Л. 24, 25. Письмо, рук.

647 *...рода «староверов-беспоповцев»...* — беспоповцами называют представителей одного из течений старообрядчества, главной особенностью вероучения которых является отказ от церковной иерархии и рукополагаемого священства на основе тезиса об окончательной всемирной победе антихриста, разделение старообрядцев на беспоповцев и беглопоповцев произошло в 90-е годы XVII в.

[648] *В. В. Розанов* — Василий Васильевич Розанов (1856—1919), русский философ, литературный критик и журналист, один из учредителей Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901—1903), член Петербургского религиозно-философского общества (исключен в 1914 г.); *«...как чиновники — пенсию»*. — неточная цитата из статьи В. В. Розанова «Граф Л. Н. Толстой» (1898), в оригинале «..."лицо" у себя под старость мы "выслуживаем", как солдаты — "георгия"...» (Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 34—35).

[649] *...«клейким листочкам»...* — образ из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (слова Ивана Карамазова брату Алеше: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки». — Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 9. С. 288—289).

160

Ед. хр. 67. Л. 44, 45. Письмо, рук.

[650] *...у Вани ждали птички воли?!* — из главы «Благовещение» романа И. С. Шмелева «Лето Господне».

[651] *«Ich schaue ins Leben»* — книга И. А. Ильина «Я вглядываюсь в жизнь» (1938).

[652] *«Krankheit»* — глава «Болезнь» из книги И. А. Ильина «Я вглядываюсь в жизнь».

161

Ед. хр. 68. Л. 1. Письмо, рук.

162

Ед. хр. 68. Л. 5. Письмо, рук.

163

Ед. хр. 15. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

164

Ед. хр. 15. Л. 36, 37. Письмо, машинопись.

[653] *«Говенье»* — один из ранних рассказов (1941—1942) О. А. Бредиус-Субботиной (др. варианты — «Первое говенье», «Мой большой грех», «Мой первый пост»).

[654] *«Кресту Твоему...»* — из православного песнопения, поется на Воздвижение и на Крестопоклонной неделе.

[655] *«Голландская империя»* — название, которое неофициально применялось к Голландии в период ее колониального владычества. В марте 1942 г. после японского вторжения Голландия потеряла Индонезию, самую крупную свою колонию.

[656] *Сенека* — Луций Анней Сенека (4 до н. э. — 65), римский философ-стоик, воспитатель и советник римского императора Нерона.

[657] *...Федоровская икона.* — по преданию написана евангелистом Лукой, одии из ее списков находился в Костроме, празднование в

честь иконы установлено 14/27 марта в память избрания Михаила Романова на царство в 1613 г.

658 *Пантелеимон* — великомученик, родился в Никомидии, принял крещение, раздал имущество и бесплатно лечил больных, по доносу схвачен и казиен в 305 г., память 27 июля/9 августа.

659 *...архиепископом Анастасием...* — Анастасий (Грибановский, 1873—1965), выпускник Московской духовной академии, с 1906 г. епископ Серпуховской, с 1914 г. епископ Холмский, с 1915 г. епископ Кишиневский, с 1916 г. архиепископ, с 1919 г. в эмиграции, с 1922 г. в юрисдикции Русской Православной Церкви за рубежом, в 1924—1935 гг. жил в Иерусалиме при Русской духовной миссии, с 1935 г. митрополит, с 10 августа 1936 г. возглавлял Русскую Православную Церковь за рубежом, с 1935 г. жил в Югославии, с 1944 г. — в Германии (Мюнхене), с 1950 г. — в США (Нью-Йорке). Митр. Анастасий был в переписке с И. А. Шмелевым. Его письма к Шмелеву переданы в Российский Фонд Культуры.

165

Ед. хр. 15. Л. 44, 45. Письмо, машинопись.

660 *...ты же рыбинская...* — О. А. Бредиус-Субботина провела детство в г. Рыбинске Ярославской губернии.

661 *...Герасима-Грачевника...*— 4/17 марта в Православной Церкви отмечается память преп. Герасима «иже на Иордане» (ум. 475) и преп. Герасима Вологодского (ум. 1178).

166

Ед. хр. 15. Л. 54, 55. Письмо, машинопись.

662 *Хозяйка этой фирмы...* — Анна Семеновна Будо (ур. Дуван), дочь С. Э. Дувана, сестра Е. С. Гелелович.

663 *Вильгельмина* — королева Нидерландов в 1890—1948 гг., в знак протеста против нацисткой оккупации покинула родину, в 1940—1945 гг. жила в эмиграции в Великобритании; *...на свадьбу дочери...* — имеется в виду Юлиана (р. 1909), королева Нидерландов в 1948—1980, вышедшая замуж 7 января 1937 г. за принца Бернарда Леопольда Лиане-Биштерфельдского.

664 *...молодой художник...* — Алексей Ютов, персонаж романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

665 *...Хрисанф и Дария.* — христианские мученики III в., память 19 марта/1 апреля.

666 *...я писал в 1916 году...* — рассказ И. С. Шмелева «Лик скрытый» (закончен в 1917), посвященный сыну писателя.

667 *...португальский опыт Салазара.* — Антониу ди Оливейра Салазар (1889—1970), португальский государственный деятель, один из основателей партии Католический центр (1918), основатель партии Национальный союз (1930), в 1928—1940 гг. министр финансов, в 1932—1968 гг. председатель Совета министров и фактически диктатор Португалии, также в 1936—1944 гг. военный министр, в 1936—1947 гг. министр иностранных дел.

167

Ед. хр. 16. Л. 15, 16. Письмо, машинопись.

668 *...и мамино...* — И. С. Шмелеву пришло два письма (от О. А. Бредиус-Субботиной и А. А. Овчинниковой) в одном конверте. Письмо от А. А. Овчинниковой находится в РГАЛИ: Ф. 1198. Ед. хр. 68. Л. 15, 16.

669 «*Труд*» — стихотворение А. С. Пушкина (1830).

168

Ед. хр. 68. Л. 9. Письмо, рук.

169

Ед. хр. 68. Л. 21. Почтовая открытка, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

170

Ед. хр. 68. Л. 42, 43. Письмо, рук.

670 *проф. Беньков* — учитель О. А. Бредиус-Субботиной в Высшей художественной школе (Свободные художественные мастерские, преобразованные в 1920 г. во «ВХУТЕМАС») в 1921—1922 гг.

671 *...из книжки «Богоматерь»...* — вероятно, имеется в виду наиболее популярная в России начала XX в. книга Авдотьи Павловны Глинки (1795—1863) «Жизнь Пресвятой Богородицы из книг Четьи-Минеи» (М., 1840; 16 изд. М., 1915).

672 «*оружие, прошедшее Ей душу*» — перефразировано Лк. 2, 35.

673 «*будет Мне по глаголу твоему*» — Лк. 1, 38.

674 «*весь Закон и пророки*» — Мф. 22, 40.

171

Ед. хр. 16. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

675 *...исцелил слепого...* — Ин. 9, 6—7.

676 *Помнишь — в «Путях Небесных»!* — глава II «На перепутье».

172

Ед. хр. 16. Л. 38. Письмо, рук.

677 *...обедни-вечерни (Василия Великого)...* — в Великую Субботу, накануне Пасхи, в православных храмах литургия св. Василия Великого начинается великой вечерней.

173

Ед. хр. 16. Л. 43. Письмо, рук.

174

Ед. хр. 16. Л. 48, 49. Письмо, машинопись.

678 *Мельников-Печерский* — Павел Иванович Мельников (псевдоним Андрей Печерский, 1818—1883), русский писатель, автор произведений о старообрядцах, в романах «В лесах» и «На горах» изобразил народную жизнь Заволжья.

679 *...единоверка...* — единоверами называются старообрядцы, на определенных условиях соединившиеся с Православной Церковью, единоверие в России появилось в 1800 г. при митрополите Московском Платоне (Левшине), который предложил правила присоединения старообрядцев (подчинение епархиальному архиерею, признание таинств Православной Церкви, сохранение особенностей старообрядческого богослужения, избрание единоверческих священников прихожанами и т.д.).

680 *...по Тертуллиану... «человеческая душа по самой своей природе христианка».* — И. С. Шмелев цитирует одного из выдающихся христианских апологетов Квинта Септимия Флорента Тертуллиана (ок. 160 — после 220), который в трактате «Апологетик» (Apologeticum, 17) назвал душу «христианкой по природе» (anima naturaliter christiana).

681 *...я хочу дать твою странную «болезнь» — Дари.* — во 2-й части романа «Пути небесные» И. С. Шмелев подчеркивает связь между физическим состоянием главной героини и ее духовным становлением.

681a *...проект корпуса «Нормандии» (фр.)...* — имеется в виду лайнер «Нормандия» (1935), в проектировании которого участвовали русские инженеры.

175

Ед. хр. 68. Л. 53, 54. Письмо, рук.

682 *...Гретой-Гарбо!* — актриса Грета Гарбо (1904—1990) сыграла главную роль в голливудской экранизации «Анны Карениной».

176

Ед. хр. 69. Л. 20, 21. Письмо, рук.

177

Ед. хр. 69. Л. 24, 25. Письмо, рук.

178

Ед. хр. 69. Л. 31. Письмо, рук.

683 *«Да отвержется себе»* — Мф. 7, 7 (на церковнославянском языке «да отверзется вам»).

179

Ед. хр. 17. Л. 9, 10. Письмо, машинопись.

684 *Поищу в его письмах о «Путях»...* — уже в письмах 1935 г. И. А. Ильин сообщает о своем впечатлении от романа (отдельные главы I части «Путей небесных» публиковались в газете «Возрождение», март 1935 — июнь 1936). Оценивая завершенное произве-

дение, Ильин писал: «...в нем все Шмелевское мастерство слова и внешне-чувственного изображения. Но души главных героев — неясны, недоскульптурены, недооформлены, не до-индивидуализированы [...] Здесь необходима величайшая осторожность в подходе к своему собственному творческому акту...» (из письма от 21.03.1937. Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 180). В дальнейшем работа И. С. Шмелева над романом обсуждалась на протяжении всей переписки с И. А. Ильиным, нередко приводя к разногласиям по поводу художественного решения II части (см. письмо И. А. Ильина от 15 марта 1946 г.: Ильин И. А. Указ. соч. Т. 2. С. 386—387).

685 *...под старыми маслинами...* — моление о чаше в Гефсиманском саду (Лк. 22, 40—44).

180

Ед. хр. 69. Л. 37, 38. Письмо рук.

181

Ед. хр. 17. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

686 *... м о е видение...* — *из Богомолья...* — глава «У Троицы» из романа И. С. Шмелева «Богомолье».

687 *...Бенуа... Коровин...*— перечислены художники круга «Мира искусства»: Александр Николаевич Бенуа (1870—1960), Лев Самойлович Бакст (Розенберг, 1866—1924), Константин Андреевич Сомов (1869—1939), Сергей Юрьевич Судейкин (1882—1946), Константин Алексеевич Коровин (1861—1939).

688 *Пастернак* — Л. О. Пастернак (1862—1945), художник, портретист, иллюстратор, отец поэта Б. Л. Пастернака.

689 *...был инженер...* — вероятно, имеется в виду Себастьян Абрамович Пастак, инженер-электрик. См. также комментарий 709 к письму № 183.

690 *...«он Нашего Рода»*. — И. С. Шмелев не точен, путая преп. Сергия Радонежского с преп. Серафимом Саровским.

691 *Пастер* — Луи Пастер (1822—1895), французский микробиолог и химик, член Парижской академии наук (1862), член-корреспондент (1884) и почетный член (1893) Петербургской академии наук, полагал, что занятия наукой не противоречат религиозной вере.

692 *...что писал мне И. А. о «Куликовом поле»...* — в письме к И. С. Шмелеву от 16 марта 1939 г. И. А. Ильин замечал: «Мастерство Ваше велико и чудесно; оно и тут выговорилось. Но, мне чуется, что *Вам мешала какая-то содержательно-предметная оглядка*. Как будто Вы сами *недоповерили* — и *плэромы* предметоутверждения нет» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 261). См. также примечание 568 к письму № 131.

693 *Павлов* — Иван Петрович Павлов (1849—1936), русский физиолог, занимался исследованиями условных рефлексов и высшей нервной деятельности, в советское время академик АН СССР.

694 *И. А. сообщил...* — здесь: Ивану Александровичу. Это письмо И. С. Шмелева не сохранилось.

182

Ед. хр. 69. Л. 48, 49. Письмо, рук.

695 *...поласкал, умчался!* — фрагмент из романа И. С. Шмелева «Богомолье» (Гл. «У креста»).

696 *...чуть-чуть конспект...* — изложен план автобиографического рассказа О. А. Бредиус-Субботиной «Заветный образ» (завершен в 1947 г.), первоначально назывался «Лик».

697 *...матушкой Агнией...* — персонаж романа И. С. Шмелева «Пути Небесные».

698 *...«Der Teufel» Neumann'a?* — исторический роман Альфреда Неймана «Дьявол» об эпохе короля Людовика XI. О. А. Бредиус-Субботина, вероятно, читала голландское издание (Амстердам, 1935); русский перевод романа издавался дважды в Москве (1928, 1940).

699 *...Stephan Zweig'a?* — Стефан Цвейг (1881—1942), австрийский писатель, с 1934 г. жил в эмиграции, автор психологических новелл, романов, литературных биографий (Стендаля, Л. Н. Толстого, З. Фрейда, Ф. Ницше, О. Бальзака), эссе и очерков.

700 *...Arnold Zweig'a?* — Арнольд Цвейг (1887—1968), немецкий писатель, участник Первой мировой войны, после прихода нацистов к власти в 1933 г. жил в эмиграции, автор эпического цикла о Первой мировой войне «Большая война белых людей» («Время созрело», «Молодая женщина 1914 года», «Воспитание под Верденом» и др.).

701 *«Novellen um Claudia»* — роман Арнольда Цвейга «Новеллы о Клавдии» (1912).

702 *...«Amok»... «Die Verwirrung der Gefühle»...* — перечислены новеллы Стефана Цвейга: «Амок», «Письмо незнакомки», «Девушка и природа», «Закат одного сердца», «Смятение чувств».

183

Ед. хр. 17. Л. 34, 35. Письмо, машинопись.

703 *«поэзия... должна быть немножко глуповата»* — фраза из письма (май 1826 г.) А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому (в оригинале «А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». — Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1977. Т. 9. С. 218).

704 *Псалмы* — Псалтирь, книга Ветхого Завета, состоит из 150 псалмов (песен царя Давида).

705 *...у Сергеева-Ценского...* — Сергей Николаевич Сергеев (псевдоним Сергеев-Ценский, 1875—1958), прозаик, драматург, поэт, критик. Друг и корреспондент И. С. Шмелева, автор воспоминаний о нем. В 1918—1922 гг. С. Н. Сергеев-Ценский был соседом И. С. Шмелева в Алуште. См.: Попова Л. Н. Шмелев в Алуште. Алушта, 2000.

706 *...на Радуницу.* — Радоница, день поминовения усопших в Православной Церкви, на второй (Фоминой) неделе после Пасхи.

707 *...молитва Знамению, в завершение всенощной...* — прославление Богородицы («Взбранной воеводе победительная...»).

708 *...вдову проф. Кульмана...* — Наталья Ивановна Кульман (1877—1958), ее муж — Н. К. Кульман (1871—1940), филолог, в России профессор Высших Бестужевских женских курсов и женского Педагогического института в Петрограде, в эмиграции профессор русской литературы Белградского и Софийского университетов, затем профессор, декан русского отделения Сорбонны, автор статей о творчестве И. С. Шмелева.

709 *«...Тайно тревожит меня?..»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Труд» (1830).

710 *Евреинов* — Николай Николаевич Евреинов (1879—1953), драматург, теоретик и историк театра, театральный режиссер.

711 *...о Рамоне Наварро Пиранделло...* — Луиджи Пиранделло (1867—1936), итальянский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии (1934); *Рамон Наварро* — один из его литературных персонажей.

712 *...фамилия Пастак.* — Исаак Абрамович Пастак (1894—1965), уроженец Симферополя, сын известного в Крыму агронома-садовода, служил в Белой армии, в эмиграции закончил Политехникум в Праге, затем работал в лаборатории Трюфо в Париже, крупнейший специалист в области агрикультурной химии, автор около 100 научных работ, кавалер ордена Почетного Легиона, вице-председатель Общества русских химиков во Франции; его младший брат Себастьян Абрамович Пастак, инженер-электрик, работал на предприятиях Трюфо в Версале.

713 *«Каменный век»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Современные записки. 1925. № 5.

714 *Лютер* — Артур Федорович Лютер (1876—1955), немецкий филолог-русист, историк литературы и переводчик, преподавал в Московском университете (1903—1914), позднее жил в Лейпциге и работал в «Немецкой библиотеке», переводчик произведений И. С. Шмелева на немецкий язык.

715 *...через знакомого...* — вероятно, имеется в виду В. А. Нарсесян. Рассказ «Чертов балаган» был перепечатан в газете «Парижский вестник» в сентябре 1942 г.

184

Ед. хр. 17. Л. 44, 45. Письмо, машинопись.

716 *...Гросман и Кнебель...* — П. Ф. Гросман (ум. 1890), И. Н. Кнебель (1854—1926), издатели, книготорговцы. И. С. Шмелев имеет в виду издательство «Кнебель», созданное фирмой «Гросман и Кнебель» в 1894 г.; *«Перезвоны»* — еженедельный литературно-художественный журнал, издававшийся в Риге в 1925—1929 гг.

717 *Юон* — Константин Федорович Юон (1875—1958), русский художник и график.

717а ...*«Купчиха» Кустодиева...* — картина русского художника Б. М. Кустодиева (1878—1927).

717б ...*когда Земля-Именинница.* — языческий праздник именинного чествования земли проходил в различных губерниях в разные дни, в т.ч. и в Духов день (следующий за Троицей). См.: Максимов С. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989.

718 *«Детство и отрочество» Толстого...* — повести Л. Н. Толстого «Детство» (1852) и «Отрочество» (1854), входят в трилогию (3-я часть — «Юность», 1857).

185

Ед. хр. 70. Л. 6, 7. Письмо, рук.

719 *Виген Н.* — Виген Нарсесян, ученик И. А. Ильина, знакомый М. А. Квартировой. Во время нацистской оккупации через него осуществлялась переписка между И. С. Шмелевым и И. А. Ильиным.

720 *Билибин* — Иван Яковлевич Билибин (1876—1942), русский театральный художник и график, иллюстратор русских народных сказок, член объединения «Мир искусства».

721 ...*только «пачкать мадонну Рафаэля»*. — из трагедии «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (1830), слова Сальери о трактирном музыканте, играющем музыку Моцарта.

186

Ед. хр. 17. Л. 62, 63. Письмо, машинопись.

187

Ед. хр. 70. Л. 11, 12. Письмо, рук.

722 ...*в церковь, в Amsterdam.* — вероятно, церковь св. Екатерины (известна с XVII в.).

188

Ед. хр. 18. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

723 *«имеяй уши слышати да слышит»* — Мф. 13, 9; Мар. 4, 23; Лк. 8, 15.

724 ...*сын известного историка Соловьева!* — Михаил Сергеевич Соловьев (1862—1903), сын историка С. М. Соловьева, преподавал географию в 6-ой московской гимназии.

724а ...*читал Гл. Успенского...* — Глеб Иванович Успенский (1843—1902), прозаик, публицист; ...*его рассказ «Будка»...* — имеется в виду очерк «Будка» (1868).

725 ...*отсвет Майкова...* — стихотворение А. Г. Майкова (1821—1897) «Ласточки» (1856).

726 *«Два лагеря»* — неопубликованный роман И. С. Шмелева (1894, ОР РГБ. Ф. 387. Карт. 1. Ед. хр. 2).

727 *«Как я ходил к Толстому»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1936. 7 января.

728 *...под влиянием «Записок охотника»...* — упоминается цикл рассказов И. С. Тургенева (1847—1851).

729 *...взяты у Мериме.* — в «Песнях западных славян» (1834) А. С. Пушкина песни 1—9, 13, 16 — вольный перевод из сборника Проспера Мериме (1803—1870) «Гусли» (1827). Этот сборник один из наиболее ярких примеров литературной мистификации (оригинальные баллады были опубликованы автором как славянский фольклор).

730 *Парни* Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, автор сборника «Поэтические безделки» (1779).

731 *«Сцены из Фауста»* — произведение А. С. Пушкина (1825) по мотивам «Фауста» И.-В. Гёте.

732 *...целые строки — Пушкина!* — параллель между поэмой М. Ю. Лермонтова «Демон» (1829—1839) и одноименным стихотворением А. С. Пушкина (1823).

733 *«Мцыри»* — поэма М. Ю. Лермонтова (1839).

734 *Герман и Доротея* — главные герои поэмы И.-В. Гёте «Герман и Доротея».

735 *Эмилия* — героиня трагедии Г. Э. Лессинга «Эмилия Галотти».

736 *...Елена Тургенева — в «Дыме»...* — Шмелев не точен: героиню романа И. С. Тургенева «Дым» (1867) зовут Ирина, Елена — героиня романа «Накануне» (1859).

737 *...Вера («Обрыв»)...* — главная героиня романа И. С. Гончарова «Обрыв».

738 *«Нана»* — главная героиня одноименного романа Э. Золя (1880).

739 *...в соляной столб обертывает...* — Быт. 19, 26.

740 *Калиниченко* — Яков Яковлевич Калиниченко (1869—1938), русский художник, портретист, написал портрет И. С. Шмелева в январе 1917 г.

741 *...подарил оригинал, когда после ее кончины все разбросал!* — портрет И. С. Шмелева работы художника Я. Я. Калиниченко в 1937 (1936?) г. был подарен писателем В. Ф. Зеелеру (1874—1954), журналисту, литературному критику, другу И. С. Шмелева. Письма И. С. Шмелева к В. Ф. Зеелеру находятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (США). См.: Терехина В. Н. Письма И. С. Шмелева к В. Ф. Зеелеру // Венок Шмелеву. С. 247—262.

189

Ед. хр. 70. Л. 23, 24. Письмо, рук.

741а *...из «Нового слова».* — «Новое слово» (1833—1944) берлинская еженедельная газета, финансируемая ведомством А. Розенберга (с 1941 г. — министр оккупированных восточных территорий). Гл. редактор (с 1934 г.) В. М. Деспотулли.

190

Ед. хр. 70. Л. 28, 29. Письмо, рук.

749

742 *«А душа вот так и просит...»* — неточная цитата из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина (в оригинале «Князь опять: душа-де просит...»).

191

Ед. хр. 18. Л. 11, 12. Письмо, машинопись.

743 *«Небывалый обед»... «Орел».* — творческий вечер И. С. Шмелева состоялся 22 июня 1942 г. в здании Русской консерватории в Париже (26. av. de Tokyo), были прочитаны рассказы «Небывалый обед» (впервые опубликован: Возрождение. 1934. 9 дек.), «Орел» (Возрождение. 1926. 12 сент.; вошел в сб. Про одну старуху. Париж, 1927) и фрагмент главы «У креста» романа «Богомолье».

743а *Я не из «саниных»...* — противопоставление главному герою романа М. П. Арцыбашева «Санин» (1907), который проповедовал «свободную любовь».

743б *...к одному полковнику...* — имеется в виду Павел Николаевич Богданович (1883—1973), полковник Генштаба, участник I мировой войны, создатель и глава организации «Союз русских разведчиков» (1925), редактор газеты «Парижский вестник»; *...из отряда ген. Самсонова...* — генерал от кавалерии А. В. Самсонов (1859—1914), командующий армией, потерпевшей поражение в Восточно-прусской операции.

743в *...я для союза не раз читал...* — И. С. Шмелев автор нескольких статей о Союзе русских разведчиков: «Русский лагерь в Капбретоне» (Возрождение. 1934. 28 июля), «Куда послать детей» (См.: Ив. Жантибом-Кутырин. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 63—64).

743г *...я числюсь «почетным председателем...»* — в 1947 г. в статье «Необходимый ответ» И. С. Шмелев писал: «Мне предлагали возглавить "литературный отдел" при Управлении, и я — отклонил. Предложили — «Почетным председателем», — ответил, что не ценю почета» (См.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 7. С. 554).

192

Ед. хр. 70. Л. 34, 35. Письмо, рук.

193

Ед. хр. 70. Л. 48, 49. Письмо, рук.

194

Ед. хр. 18. Л. 23, 24. Письмо, машинопись.

744 *...когда умерла не родная бабка...* — имеется в виду Надежда Тимофеевна Шмелева (1818 — после 1880), жена двоюродного деда И. С. Шмелева. Описана в повести «Распад» (1906) под именем бабки Василисы. См.: Грико Т. И. Шмелевы // Былое. 1997. № 2.

745 *...«борьба с насилием»...* — И. С. Шмелев имеет в виду одну из наиболее известных работ И. А. Ильина книгу «О сопротивлении злу силой» (Берлин, 1925), направленную против этического учения Л. Н. Толстого. В книге Ильин признает возможным моралъ-

ное (а при необходимости и физическое) воздействие на человека «чтобы это воздействие благодетельно передалось именно «злу», в нем живущему» (Ильин И. А. Собр. соч. Т. 5. С. 49).

746 *«...душу же свою потеряет?»* — перефразировано Мф. 10. 39; 16, 25—26.

747 *...в Казачьем музее...*— музей лейб-гвардии Казачьего полка, после 1917 г. вывезен казаками из Петрограда, в эмиграции размещен в пригороде Парижа Аньере, в музее хранится последний штандарт кавалергардского полка, архив лейб-гвардии кирасирского полка и многие другие реликвии русской армии.

195

Ед. хр. 71. Л. 3, 4. Письмо, рук.

748 *Мне хочется вклеить автографы...* — дарственные надписи к книгам И. С. Шмелева, подаренные писателем О. А. Бредиус-Субботиной. Автографы не были вклеены и хранились отдельно в ее личном архиве. В настоящее время они находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 57).

Именной указатель

Аитов В. Д. — 438, *733*
Александр I Карагеоргиевич, король — 352, *725*
Александра Федоровна, императрица — 189, 199, *707*
Алексий (Розанов), прот. *см.* Розанов А.
Альтшулер Г. И. — 250, *714*
Альтшулер И. Н. — 251, *714*
Амвросий Оптинский, преп. — 510, *708*
Амфитеатров А. В. — 189, 249, *706*
Анастасий (Грибановский), митр. — 564, *742*
Андреев Л. Н. — 416, *730*
Антоний Великий, св. — 371, *726*
Антоний (Храповицкий), митр. — 264, *716*, *722*
«Арина Родионовна» (домработница И. С. Шмелева) — 196, 219, 246, 287, 303, 304, 360, 431, 465, 490, 491, 540, 585, 586, 629, 631, 669, *721*
Афонский Н. П. — 81, 136, 245, 406, *695*
Ашенбреннер М. — 513, *738*

Байрон Джордж Гордон — 652
Бакст Л. С. — 619, *745*
Бальзак Оноре де — 543, 652, *740*
Бальмонт К. Д. — 189, 347, *707*
Барцева Т. С. — 256, *714*
Бауэр Клеменс — 47, 216, 247, 255, 281, 283, *691*
Бенуа А. Н. — 619, *745*
Беньков, проф. — 79, 214, 581, 602, *743*
Билибин И. Я. — 641, *748*
Богданович П. Н. — 667, *750*
Бородин А. П. — 330, *724*
Бортнянский Д. С. — 416, *730*
Бочарова А. — 225, 226
Бредиус ван Ретвельд Арнольд — 28, 30, 31, 36, 39, 42—44, 46, 51, 53, 58, 88, 90, 144, 147, 160, 162, 165, 167—171, 175, 176, 182, 195, 196, 201, 207—213, 215, 216, 232, 252, 258, 259, 274, 275, 277, 278, 284, 295, 299, 388, 406, 455, 473, 495, 496, 522, 523, 526, 576—578, 593, 604, 658, 661, *686*
Бредиус ван Ретвельд А. (отец А. Бредиуса) — 44, 51, 206, 208—212, 258, 275, 278, 284, 387, 388, 524
Бредиус ван Ретвельд А. (дядя А. Бредиуса) — 216
Бредиус ван Ретвельд Верру — 210, 274, 275, 279, 387, *709*
Бредиус ван Ретвельд Елизавета — 44, 210, 274, 275, 279, 387, *690*
Бредиус ван Ретвельд Корнелиус (Кес) — 44, 81, 211, 274, 278, 296, 297, 673, 677, *690*
Бредиусы — 36, 44, 170, 206-209, 211, 213, 216, 260, 521
Брюле, проф. — 152, 583, 655
Будо А. С. — 571, 657, 658, 662, 664—666, 668, 682, *742*
Бунин И. А. — 75, 91, 92, 179, 237, 301, 433, 492, 631, *694*, *696*

Варвара, муч. — 412, *729*
Варнава Гефсиманский, преп. — 156, 222, 510, *704*
Васильчиков П. А. — *702*
Вейденгаммер В. А. — 549, *704*
Вейк Н. В. ван — 43, 90, 100, 298, 514, *690*, *697*
Венгеров С. А. — 279, *718*
Вертинский А. Н. — 202, *709*
Вильгельмина I, королева — 571, *742*

Вихерт Эрнст — 513, 516, 639, *738*
Владимир, кн. 124, *701*
Владимир (Тихоницкий), арх. — 250, *713*
Вокач Н. Н. — 54, 235, 254, 308, *692*
Волконский А. Н., кн. — 488, 676, *736*
Волконский П. П., кн. — 251, *714*
Воронцов М. С., гр. — 515, *738*
Воронцова Е. К., гр. — 515, 533, *739*
Врубель М. А. — 121, 630, 641, *700*

Гааз Ф. П. — 413, *729*
Гамсун Кнут — 248, 516, *713*
Гарбо Грета — 595, *743*
Гауптман Герхард — 248, *713*
Гафиз Шемседдин — 61, 65, *692*
Гейне Генрих — 336, *723*
Гелелович Е. С. — 514, 663, 665, 666, 668, 672, *738*, *739*
Гелелович Р. С. — 514, 663, 666, 668
Гелелович С. И. — 514, 666, 668, *737*
Герасим, преп. — 569, *742*
Герцен А. И. — 242, *712*
Гете Иоганн Вольфганг — 131, 174, 270, 277, 386, 543, 652, *701*
Гоголь Н. В. — 282, 287, 469, 543
Гончарова Н. Н. — 157
Горкин М. П. — 27, 41, 51, 52, 73, 225, *685*
Горький Максим — 302
Гросман П. Ф. — 635, *747*
Груздев А. М. — 33, 399, 457, 581, *716*, *726*, *729*
Груздев Д. А. — 38, 39, 254, 346, *689*
Груздева А. В. — 254, 346
Гюго Виктор — 543, *740*

Данте Алигьери — 652
Дантес Жорж — 501, *737*
Дария, муч. — 572, *742*
Д'Арк Жаина — 312
Деникин А. И. — 326, 327, *723*
Денисьева Е. А. — 104, 123, 141, 435, *698*
Державин Г. Р. — 652
Диккенс Чарльз — 543, *740*
Димитрий Михайлович («Никита») — 370—372, 382, 383, 414, 435, 436, 439, 440, 467, 499, 506, *725*
Димитрий Прилуцкий, преп. — 362, *725*
Диодор, иеромонах 364, 499, *726*
Дионисий (Лукин), еп. — 66, 68, 452, 491, 494, 500, 503—505, 507, 510, 517, 528, 534, 540, 543, 553—555, 562, 568, 577, 578, 596—599, 628, 671, 680, *693*
Доде Альфонс — 543, *740*
Достоевский Ф. М. — 124, 150, 156, 157, 180, 217, 282, 287, 347, 461, 462, 481, 489, 516, 543, 549, 652, *702*, *718*, *740*
Дуван А. С. *см.* Будо А. С.
Дуван Е. С. *см.* Гелелович Е. С.
Дуван С. Э. — 419, 666, *730*
Дункан Айседора — *712*

Евлогий (Георгиевский), митр. — 494, *722*, *737*
Евреинов Н. Н. — 633, *747*
Енакиев Ю. Ф. — 387, 388, *727*, *728*

Жантийом Андре-Рене — 191, *708*
Жантийом Ив — 29, 32, 38, 41, 54, 60, 65, 87,108, 184, 186, 191, 205, 206, 246, 249, 250, 254, 318, 345, 413, 427, 576, 629, 662, 665, *686*, *706*
Жеребков Ю. С. — 339, *724*, *731*

Загоскин М. Н. — 225, 651, *711*
Замотина Д. В. — 285, 288, 290, 291, 300, 305, 306, 315, 319, 320, 322—324, 330, 333, 334, 338, 348, 385, 408—410, 422, 434, 446, 451, 475—478, 520, 533—535, 538, 559, *719*
Зеелер В. Ф. — *749*

Земмеринг Р. Г. — 82, 90, 172, 176, 243—246, 253, 254, 256, 285, 324, 599, *695, 733*
Земмеринг Л. Г. *см.* Келер Л. Г.
Зерцалов — 272, 346, *717*
Золя Эмиль — 421, *730*

Ильин И. А. — 28, 31, 36—41, 44, 51, 54, 61, 69, 114, 130, 167, 168, 172, 181, 195, 210, 213, 221, 235, 241, 254, 256—258, 273—275, 283, 297, 308, 327, 432—434, 441, 486, 497, 512, 513, 516—518, 529, 530, 534, 551, 560, 580, 581, 599, 600, 604, 612, 616, 622, 624, 630, 634, 641, 648, 668, 678, *685, 706, 715, 716, 732, 733, 734, 736, 739, 740, 744, 745, 746, 750*
Иоанн Богослов, ап. — 29, 146, 166, 224, 327, 349, 675, *686*
Иоанн Креститель — 626
Иоанн (Шаховской), арх. — 108, *699*
Иосиф (Литовкин), иеросхимонах — 198, *709*

Калиниченко Я. Я. — 656, *749*
Камброн П.-Ж.-Э. — 191, *708*
Кандрейя Р. Б. — 516, *706, 714*
Кантакузен — 250, *713*
Капеллен ван — 580, 596, 615
Карташев А. В. — 139, 249, 250, 254, 272, 346, *702, 713*
Карташева-Соболева П. П. — 249, 250, *713*
Катулл Гай Валерий — 277, *717*
Квартиров А. А. — 262, 285, 305, 333, 345, 384, 408, 442, 668, *716*
Квартирова М. А. — 47, 48, 54, 57, 146, 154, 148, 193, 194, 199, 232, 256—258, 264, 272, 384, 442, 581, 641, 668, *690*
Квартирова Н. Я. — 49, 193, *691*
Квартировы — 172, 196, 618
К. Д. («Катерина Дмитриевна») — 250, 284, 432, *714*
Келер Л. Г. — 191, 203, 204, 243—245, 256, 655, 682, *707*
Кеннаи Джордж — 381, 422, *727*
Кеннан Джордж Фрост — 284, 310, 341, 344, 373—382, 384, 409, 411, 413, 414—417, 422, 435, 446, 580, 592, *719, 727*
Кепинов — 245, *712*
Климова С. Т. — 327, *723*
Ключевский В. О. — 487, *736*
Кнебель И. Н. — 635, *747*
Книппер-Чехова О. Л. — 131, 489, *701*
Кони А. Ф. — 279, 413, *718*
Коровин К. А. — 136, 619, 630, *745*
Королева Д. И. — 549, *691*
Крылов И. А. — 345, *724*
Кульман Н. И. — 632, *747*
Кульман Н. К. — 632, *747*
Кустодиев Б. М. — 636, *748*
Кутепов А. П. — 107, *699*
Кутырина Ю. А. — 60, 191, 249, 345, 445, 568, 595, 618, 635, *707*

Лагерлёф Сельма — 37, *688*
Лампе А. А. фон — 205, *709*
Лафонтен Жан де — 345, *724*
Лебедев И. Д. — 224, *710*
Левитан И. И. — 121, *700*
Леветцов Ульрика фон — 131, *701*
Лекомт Люсьен — 184, 246, 254, 345, 413, 629, 662, *706*
Леонардо да Винчи — 336
Лермонтов М. Ю. — 652
Лессинг Готхольд — 481, *736*
Лешковская Е. К. — 433, *732*
Лонг — *719*
Лоренс Девид — 439, *733*
Лука, ап. — 303
Лукин А. П. — 491, 543, 555, 624, 628, 659, *737*
Лукины — 588, 592, 624, 662, 665, 668
Львов Ф. П. — 81, 416, *695*
Любимов Л. Д. — 43, *690*
Лютер А. Ф. — 634, *706, 747*

Майков А. Г. — 651, *748*
Малявин Ф. И. — 630, *700*

Мамонтов К. — 152, 639, 665, *703*
Мамонтова И. С. *см.* Серова И. С.
Манн Томас — 516, *739*
Мария Египетская, св. — 412, *729*
Мельников-Печерский П. И. — 651, *742*
Мережковский Д. С. — 320, 391, 433, *707*
Мережковские — 189
Мериме Проспер — 652, *749*
Мопассан Ги де — 281, 283, 543, 652, *717*
Морев И. С. — 266, 388, *717*
Морозовы — 433, *732*
Моррас Шарль — 43, *690*
Морфесси Ю. С. — 294, *720*
Моцарт Вольфганг Амадей — 330
Мусоргский М. П. — 330, *724*

Нарсесян Виген — 641, *726*, *747*, *748*
Нежданова А. В. — 373, *727*
Нейман Альфред — 628, *746*
Немирович-Данченко Вас. И. — 279, 501, *718*, *737*
Нестеров М. В. — 122, 589, 641, *700*
Нечаев С. Г. — 372, *726*
Николай Мирликийский, свт. — 350
Николай I, император — 543, *739*
Николай (Писарев), прот. — *728*
Новгород-Северский И. И. — 191, *707*, *708*

Обер Теодор — 107, *699*
Овидий Публий Назон — 174, 224, *705*
Овчинников А. А. — 164, 169, 207, 209, 214, 265—267, 273, 296, 365—367, 373, 379, 381, *704*, *716*
Овчинникова А. А. — 30, 31, 33-37, 39, 42, 44, 46—53, 55, 56, 58, 62, 68, 72, 73, 76, 85, 88, 90, 108, 148, 169, 176, 193, 212, 216, 233, 246, 256, 258, 265, 266, 273—276, 284, 296, 304, 308—310, 314, 316, 325, 328, 332, 335, 340, 345, 350, 357, 365—368, 372, 373, 377, 379, 382, 383, 386, 388—390, 394, 397—399, 405, 407, 413, 417, 424, 446, 454—457, 491, 492, 497, 498, 504, 514, 519, 520, 528, 529, 552, 555, 563, 565, 574, 575, 577, 604, 613, 616, 623, 624, 626, 629, 643, 657, 658, 662, 670, 673, 680, *687*, *743*
Овчинникова В. А. — 266, *716*
Ознобишин Д. И. — 419, 425, *730*
Ольга, кн. — 214, *694*
Охтерлони А. А. — 480, *735*, *736*
Охтерлони А. Р. — 480, *735*, *736*

Павел, ап. — 62
Павлов И. П. — 623, *745*
Пантелеимон, вмч. — 564, *742*
Парни Эварист Дезире де Форж — 515, 652, *749*
Пастак И. А. — 634, *745*
Пастак С. А. — 621, 634, *745*, *747*
Пастер Луи — 622, *745*
Пастернак Л. О. — 619, *745*
Пиранделло Луиджи — 633, *747*
Пиуновский Е. Е. — *722*
Платон — 469, *735*
Поликрат — 401, *729*
Прево Марсель — 278, *717*
Пустошкин П. К. — 31, 36, 283, 577, 598, 683, *718*
Пустошкина Н. И. — 597, 598
Пушкин А. С. — 56, 116, 124, 139, 156—158, 174, 175, 181, 219, 246, 257, 282, 286, 330, 340, 411, 415, 416, 421, 425, 432, 435, 437, 484, 487, 501, 503, 505, 507, 508, 514, 533, 543, 575, 630, 631, 652, 665, *740*

Рафаэль Санти — 116, 601
Рахманинов С. В. — 191, *708*
Редлих — 327, *723*

Ремизов А. М. — 433
Репин И. Е. — 629
Ризнич Амалия — 533, *740*
Римский-Корсаков Н. А. — 330, *723*, *724*
Роде Б. Э. — 309
Родионов В. Н. — 321, 677, *722*
Розанов А. — 66, 255, *693*, *715*
Розанов В. В. — 548, *741*
Розанова В. А. — 255, 281, 283, 286, 386, 598, *715*, *718*
Розанова О. А. — 77, 661, 670, *693*
Розанова (вдова прот. Алексия Розанова) — 66, 77, 255, 406, 555, 597, 598, *693*
Розановы — 66, 77, 254, 598, *693*
Романов В. К., вел. кн. — 488, *733*, *736*
Романова К. А., вел. кн. — 251, 493, *714*
Романова О. А., вел. кн. — 251, 493, *714*

Савва Сторожевский, преп. — 436, 733
Савва, преп. — 350, *725*
Саврасов А. К. — 121, *700*
Салазар Антониу Оливейра — 574, *742*
Салтыков-Щедрин М. Е. — 157
Сенека Луций Анней — 563, *741*
Серафим (Лукьянов), митр. — 264, 590, *716*
Серафим Саровский, преп. — 626, 636, *690*
Сергеев-Ценский С. Н. — 631, *746*
Сергий Радонежский, преп. — 146, 147, 343, 564, 622, 636, *702*
Серов В. А. — 120, 699, *700*, *731*
Серов С. М. — 152, 153, 235, 249, 251, 273, 294, 302, 305, 320, 321, 335, 341, 386, 390, 391, 395, 404, 406, 425, 431, 432, 438, 449, 515, 524, 529, 539, 544, 545, 561, 570, 604, 608, 629, 633, 639, 650, 662, 665, 675, 677, 679, *703*, *713*, *714*
Серова И. С. — 152—154, 200, 201, 203, 205, 216, 217, 391, 568, 597—599, 639, 662, 665, *703*
Серова М. А. — 152, 153, 629, 639, 662, 665, *703*
Серовы — 250
Слащов Я. А. — 196, *708*
Собинов Л. В. — 373, *727*
Соловьев М. С. — 651, *747*
Соловьев С. М. — 651, *747*
Сомов К. А. — 619, *744*
Сталин И. В. — 41
Стеидаль — 513, 652, *740*
Субботин А. А. — 33, 35, 37, 45, 73, 107, 148, 157, 158, 167, 215, 217, 264—266, 326, 359, 366, 388, 391, 398, 399, 416, 422, 431, 432, 437, 446, 448, 452, 456, 494, 511, 517, 520, 528, 554, 569, 581, 582, 586, 626, *687*, *698*, *728*
Субботин С. А. — 30, 31, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, 51, 81, 89, 162, 164, 168, 193, 199, 209, 221, 227, 233, 235, 246, 256, 258, 261, 262, 266, 269, 270, 273—275, 299, 304, 308, 309, 325, 328, 331, 335, 340, 345, 356, 357, 363, 365, 368, 374, 382, 385, 386, 388, 390, 396, 408, 413, 422, 424, 442, 444, 446, 450, 460, 493, 495, 501, 518, 528, 529, 548, 552, 560, 562, 570, 577, 579, 581, 616, 635, 643, 658, 660, 670, 671, 673, 677, 679, 681, *687*, *691*
Субботины — 31—33, 35, 36, 163
Судейкин С. Ю. — 619, *745*

Тертуллиан Квинт Септимий — 591, *744*
Толен И. (муж Ф. Н. Толен) — 114, 166, 171, 187, 188, 199, 216, 217, 247, 248, 285, 341, 406, 649, *700*

Толен Ф. Н. — 66, 114, 216, 272, 273, 286, 315, 325, 388, 406, 407, 580, 590, 649, 656, 660, 674, 680, *693*
Толстая С. А. — 254, 290, *715*
Толстой Л. Н. — 45, 99, 254, 290, 374, 415, 487, 531, 553, 631, 638, 651, 652, *735*
Трахтеров А. О. — 154, *703*
Трахтеров О. С. — 154, 440, *703*
Тренев К. А. — 239, *712*
Тургенев И. С. — 156, 223, 253, 287, 516, 653, 683
Тургенева В. П. — 198, 223, *709*
Тютчев Ф. И. — 56, 104, 123, 131, 141, 242, 246, 297, 330, 336, 373, 396, 397, 407, 435, 480, *697*

Успенский Г. И. — 651, *748*

Фет А. А. — 61, 373, *692*
Флобер Гюстав — 281, 283, 288, 325, 543, 652, *718*
Фома, ап. — 317, 447, 466—468, 590
Франк С. Л. — 256, *715*, *716*
Франк Т. С. — *715*
Франс Анатоль — 543, *740*

Хааз де — 356, 413, *725*
Хельм Бригитта — 384, *727*
Ходасевич В. Ф. — 189, *707*
Хомяков А. С. — 228, *711*
Хрисанф, муч. 572, *742*

Цвейг Арнольд — 628, *746*
Цвейг Стефан — 628, *746*
Цветаев Ф. В. — 177, *705*

Чайковский П. И. — 116, 119, 122, 330, *699*
Чекунов И. С. — 249, 438, *713*
Чехов А. П. — 131, 180, 236, 237, 251, 287, 374, 414—416, 435, 489, 513, *701*

Шахбагов Е. — 163, 164, 204, 234, 275, 277, 313, 314, 403, *704*
Шахбагова Инге — 164
Шаляпин Ф. И. — 136, 373, 415, *726*, *728*
Шатобриан Рене де — 543, *740*
Шекспир Уильям — 128, 481, 489, 652
Шиллер Фридрих — 543, *740*
Шмелев С. И. (отец И. С. Шмелева) — 27, 41, 73, 107, 158, 190, 192, 224—226, 234, 320, 348, 392, 433, 438, *685*, *699*
Шмелев С. И. (сын И. С. Шмелева) — 28, 60, 65, 74, 77, 104, 122, 135, 136, 144, 146, 149—151, 158, 170, 179, 180, 184, 198, 205, 226, 249, 253, 269, 277, 285, 288, 291, 295, 298, 301, 302, 310, 318—320, 322, 327, 333, 334, 341, 344, 345, 385, 389, 390, 408, 436, 443, 444, 461, 464, 476—478, 512, 573, 576, 621, 645, 659, 667, *686*, *711*, *720*
Шмелева Е. Г. — 177, 178, 199, 206, 224, 225, 284, 333, *710*
Шмелева Е. С. — 226, 478, *711*
Шмелева М. С. — 225, *711*
Шмелева Н. Т. — 677, *750*
Шмелева О. А. — 27—29, 43, 49, 55, 60, 62, 67, 73, 74, 84, 86, 87, 108, 109, 118, 122—124, 134—136, 146—149, 151, 153, 158, 171, 177—180, 184, 186, 188, 192, 196, 198, 205, 206, 220, 224—227, 230, 244, 245, 247—250, 259, 269, 277, 283, 285, 288, 290, 291, 301, 302, 317—320, 322—324, 326, 327, 332—334, 344, 358, 385, 391, 397, 408, 425, 436, 438, 440, 443, 444, 461, 464, 469, 475—478, 397, 408, 425, 436, 438, 440, 443, 444, 461, 464, 469, 475—478, 480, 481, 494, 542, 549, 560, 576, 584—586, 599, 604, 608, 612, 615, 622, 645, 677, 678, *685*, *690*, *693*, *696*, *704*, *705*, *712*
Шмелева С. С. — 178, *711*
Шмелева У. В. — 433, *732*
Шопен Фредерик — 330, *723*

Шпажинский И. В. — 433, *732*
Шуберт Франц — 330, 408, *723*
Шумахер — 254, 258, 324, 568, 624, 659, *722*

Юлианна, королева — 571, *741*
Юон К. Ф. — 635, *726*, 747

Язаксон М. — *712*
Яковлева А. Р. — 219, 652, *721*

Bauer *см.* Бауэр Клеменс
Betty *см.* Бредиус ван Ретвельд Елизавета
Boudo *см.* Будо А. С.
Bredius *см.* Бредиус ван Ретвельд Ариольд; Бредиусы
Duncan *см.* Дункан Айседора
Gentilhomme *см.* Жантийом Ив
Izakson M. *см.* Язаксон М.
Lawrence *см.* Лоренс Девид
Lecomte Lucienne *см.* Лекомт Люсьен
Neumann *см.* Нейман Альфред
Tolen *см.* Толен
Zweig Arnold *см.* Цвейг Арнольд
Zweig Stephan *см.* Цвейг Стефан

Содержание

Последний роман Ивана Шмелева.
Л. В. Хачатурян 5

Возвращение в Россию.
Протоиерей Григорий Красноцветов 16

Архив И. С. Шмелева в РГАЛИ.
Е. В. Калинина 19

От составителя 21

ПИСЬМА. 1939—1942 гг. 25

Примечания 685

Именной указатель 752